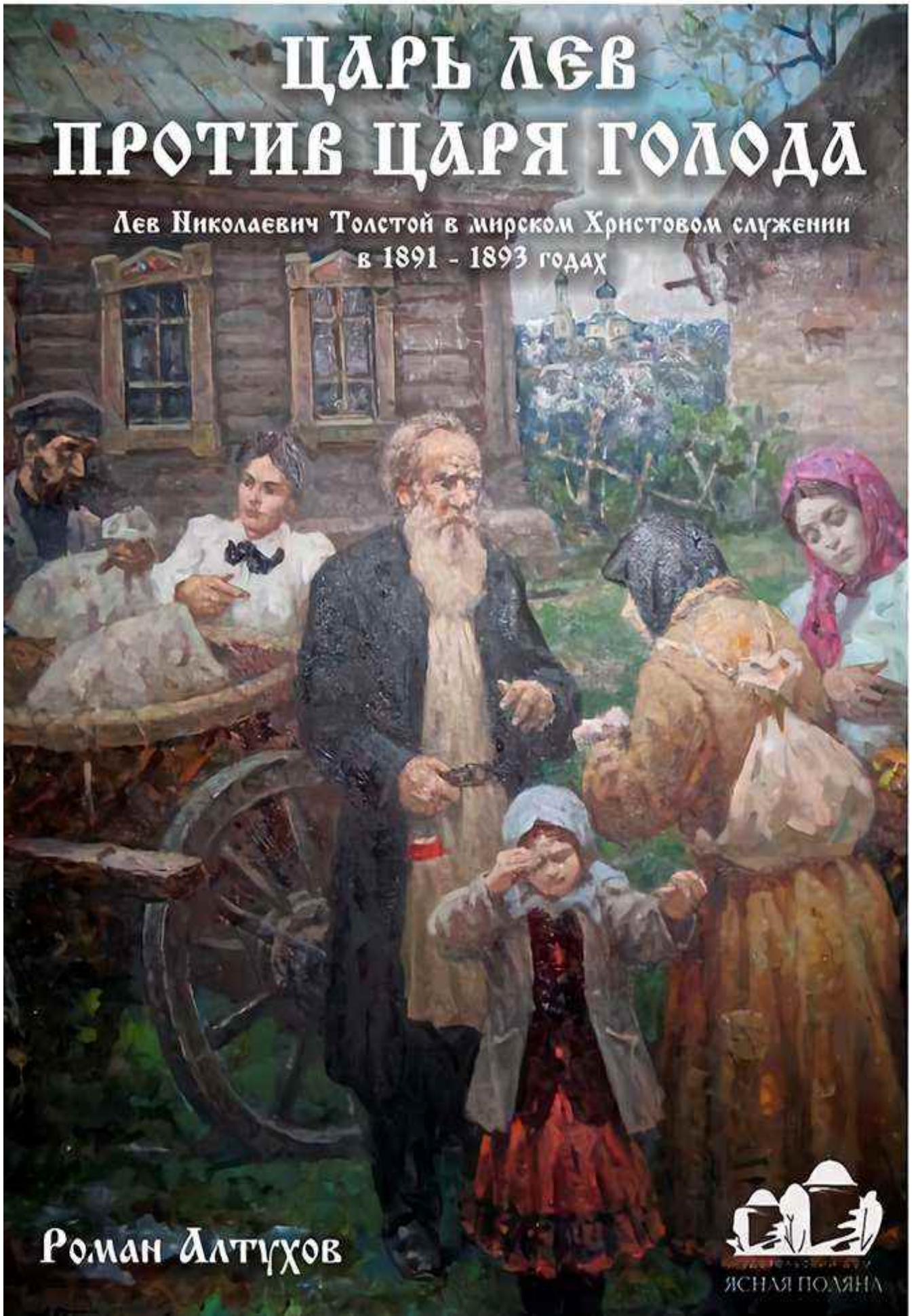


ЦАРЬ ЛЕВ ПРОТИВ ЦАРЯ ГОЛОДА

Лев Николаевич Толстой в мирском Христовом служении
в 1891 - 1893 годах

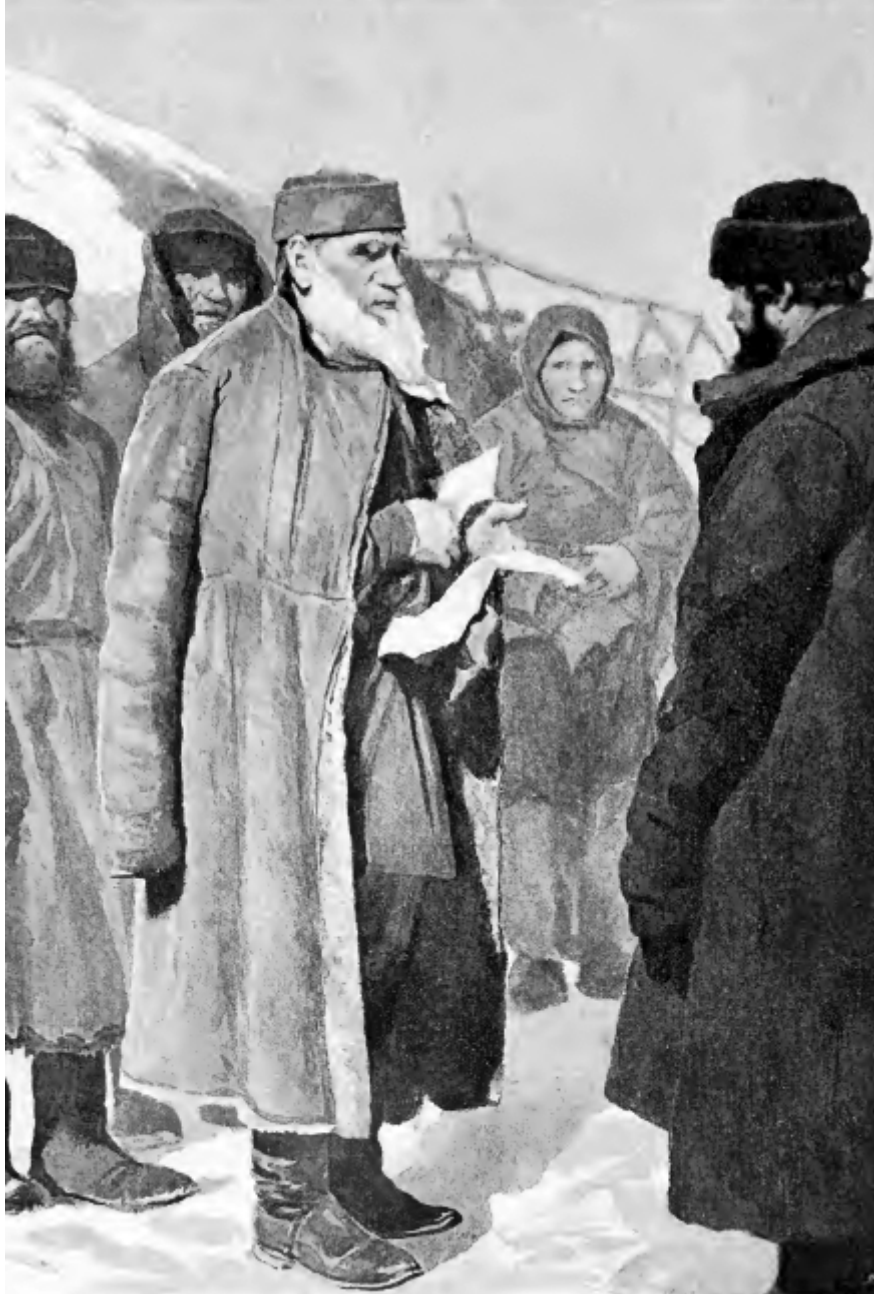


Роман Алтұхов



Роман Алтұхов
ЦАРЬ ЛЕВ ПРОТИВ ЦАРЯ ГОЛОДА

Лев Николаевич Толстой в мирском Христовом служении в 1891 – 1893 годах



2022

НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ!

С Божией помощью.

Благотворительность подобна тому, что бы сделал человек, который, иссушив сочные луга водосточными канавами, потом поливал бы эти луга в тех местах, где они представлялись бы особенно сухими.

У народа отберут то, что ему нужно, и тем лишат его возможности кормиться своим трудом, а потом стараются поддержать его слабых, распределяя между ними часть того, что у него отобрано.

(Дневник. 17 марта 1907 г.)

Не загадывайте о будущем, что нужно будет, то и делайте. Жизнь вам сама скажет. Ведь нет христианского дела, а есть только христианское отношение к делу.

(Вера Величкина. У Л.Н. Толстого в голодный 1892 год)

Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям. Это были: школы, посредничество, голодающие и религиозная помощь.

(Дневник. 8 апреля 1901 г.)

Слово Автора

В одном из томов обширного издания «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии» главу, посвящённую деятельности Толстого в 1891 — 1893 гг. в связи с постигшим Россию неурожаем, советский исследователь, биограф Лидия Дмитриевна Опульская (1925 – 2003) открывает следующей цитатой из наставительного письма от октября 1889 года Льва Николаевича к Ольге Спенглер, молодой дочери духовно близкого ему человека, одного из первых толстовцев, Николая Лукича Озмидова, вышедшей в январе 1887 г. замуж за сельского учителя Фёдора Эдуардовича Спенглера, тоже толстовца и товарища Владимира Григорьевича Черткова, приближённого друга Толстого:

«У меня теперь сделалось вот что: прежде, бывало, хотелось совершить подвиг — удивить и людей, и Бога даже, и себя даже, всё натуживался, всё придумывал, как бы чем бы пожертвовать, а теперь боишься подвигов, блеска, треска, сторонисься от всего такого; а только как-нибудь, как-нибудь потихоньку, не слишком

скверно, чтобы стыдно не было слишком перед Богом или перед совестью, прожить эти годочки, которые остались» (64, 316).

В связи с этим отрывком Лидия Дмитриевна прибегает к характеристическому противопоставлению, как будто возражая главной персоналии своей биографической книги:

«В голодный 1891/92 год Толстой совершил подвиг и чувствовал себя, как некогда в осаждённом Севастополе» (*Опунская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1886 – 1892. М., 1979. [Далее: Материалы... 1886 – 1892]. С. 234*).

Это противопоставление не до конца корректно — даже несмотря на точную биографическую подробность: Толстой и некоторые его помощники, служившие прежде в военной службе, действительно, не раз почувствовали себя в 1891 – 93 гг., находясь среди страдальцев от голода и эпидемий, словно в бою — в сражении со смертью за жизнь. Но всё-таки это была не *та же* деятельность служения молодого Толстого царю и государству, что в годы его военной службы и на фронте Крымской войны!

Приходится сразиться и с ложью за правду — с вкравшимся в точку зрения советского толстоведа следствием влияния её атеистического и светски-гуманистического окружения. Если бы писавший предыдущие тома «Материалов к биографии» Толстого близкий его друг, секретарь и, главное, религиозный во Христе единомышленник Николай Николаевич Гусев (1882 – 1967) успел довести своё повествование до 1891 – 1892 гг., мы не встретили бы такого противопоставления в его тексте. Потому что для христианского сознания «подвиг» — не то же, что для церковного обрядовера и идолопоклонника, для светского гуманиста, для атеиста, для государственного и военного патриота... Для самого Толстого или, скажем, для «генерала в толстовстве» *Владимира Григорьевича Черткова* (1854 – 1936), толстовца № 1 (не по времени, а по значению для Льва Николаевича), подвигом было, например, мученичество сельского учителя Евдокима Никитича Дрожжина (1866 – 1894), лишённого должности учителя по ничтожному доносу, призванного в связи с этим на военную службу, отказавшегося принимать присягу и брать в руки оружие, мучимого в 1892 – 1894 гг. садистами в погонах в Воронежском дисциплинарном батальоне и, наконец, «нечаянно» доведённого, без одежды на морозе, до тяжёлого заболевания, а вскоре и смерти, при пересылке в гражданскую тюрьму. Тихое мученичество матерей в разорённых войнами странах было Толстому ближе, дороже, нежели все «подвиги» взаимной грызни и взаимного уничтожения их отцов, сыновей и мужей в их безумных, никчемных во все времена военных драках.

Мирный труд, даже самый домашний, женский, презренный в лжехристианском мире труд *во славу Божию, а не свою*, в смирении и страхе Божиим (то есть в страхе согрешить, навредить вместо добра), с жертвою своими силами, временем, любыми материальными ресурсами, а часто здоровьем и жизнью — вот что было для Толстого-христианина свидетельством подвига повседневного, истинного служения единому, всехнему нашему Отечеству — Божьему миру, живой планете Земля. Именно о таком подвиге пишет Лев Николаевич в более раннем, нежели цитированное Л.Д. Опульской, письме к супругам Спенглер, от 24 января 1887 г.:

«Никто из нас не призван к тому, чтобы уничтожить все страдания людей, а на то только, чтобы служить им. Всегда спрашивают: Зачем зло? Что такое зло? То, что мы называем злом, это вызов нам, требования, предъявленные к нашей деятельной любви. И тот человек, который будет отвечать на эти требования любовью деятельною, увидит ровно столько зла, сколько ему нужно, чтобы вызвать его к деятельности. Так я теперь в 60 лет думаю и чувствую, но ещё недавно я видел очень много зла и негодовал, и отчаивался, и потому не упрекаю вас, но советую вам тот рецепт, который мне помог: как только видишь зло, хоть самое маленькое — пытаться исправить, уменьшить его. Тогда никогда не увидишь много зла сразу и не придёшь в отчаяние, и руки не опустятся, и сделаешь больше» (64, 7).

Это та самая деятельность, которую афористически описывает обожаемая Львом Николаевичем древняя и знаменитая пословица: «Делай сам то, что должен, а там пусть всё будет так, как будет».

Вот почему в письме Л.Н. Толстого от 17 октября 1889 г. к Ольге Спенглер нет того противоречия с деятельностью помощи голодающим Л.Н. Толстого в 1891 – 1893 гг., которое представилось Л.Д. Опульской. Жить в воле Отца и Хозяина Жизни можно и довольно активно, не фарисейски и не монашески, а именно *христиански в миру*. Для большинства людей это значит, как минимум: лично с юных лет жить так, чтобы не посрамить перед Богом прожитого и своей старости. Иногда это подразумевает и общественный, и гражданский активизм — в случаях, когда греховно, преступно даже простое бездействие!

В том же письме к Спенглер Толстой добавляет:

«Выгода главная та, что для совершения подвигов другие люди могут мешать, и всегда есть такие мешающие люди, а для того, чтобы как-нибудь прожить не постыдно только, ничто не мешает» (Там же. С. 317). Речь о стыде перед Высшей, Божьей правдой, а отнюдь не о стыде *общественном*. В сложных реалиях исповедничества и подвижничества Льва Николаевича Толстого в голодную годину ему

предстояло, конечно, встретить и помехи от людей внешних, не разделявших его чистого, евангельского, христианского религиозного понимания жизни. Но зато встречены были им и многие помощники — со многими из которых на этих страницах ждёт встреча и читателя.

Супруги Спенглер, без сомнения, не забыли наставлений старшего спутника в последовании Христу. К несчастью, сведения о позднейших годах жизни Ольги Николаевны затерялись, но о супруге её, Фёдоре Эдуардовиче, известно, что он служил на железной дороге в Харькове и погиб в 1908 г. от брюшного тифа, которым заразился, ухаживая за больными железнодорожниками в больнице (*Гриценко Е.П. Спенглер Фёдор Эдуардович // Лев Толстой и его современники. Энциклопедия. Вып. 3. Тула, 2016. С. 522*).

Такие подвиги часто забывает и не ценит лжехристианский мир — предпочитая им гнусную, но эпатирующую многих и импонирующую рабам и жертвам мирской лжи деятельность политиков, поэтов, любовников, полководцев, военных «героев»...

11 декабря Антон Павлович Чехов, познакомившись с только что опубликованной в сборнике «Помощь голодающим», изданном «Московскими ведомостями», статьёй Льва Николаевича Толстого «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», поделился в письме к издателю, публицисту и литературному критику Алексею Сергеевичу Суворину следующими мыслями и эмоциями по поводу этой статьи: «Толстой-то, Толстой! Это, по нынешним временам, не человек, а человечище, Юпитер. В “Сборник” он дал статью насчёт столовых, и вся эта статья состоит из советов и практических указаний, до такой степени дельных, простых и разумных, что, по выражению редактора “Русских ведомостей” Соболевского, статья эта должна быть напечатана не в “Сборнике”, а в “Правительственном вестнике”» (*Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 4. М., 1976. С. 322 – 323*).

Широко известна уже позднейшая, от 29 мая 1901 г., дневниковая запись самого Алексея Сергеевича Суворина о Толстом как одном из двух царей в России:

«Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии. [...] Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджимает хвост. [...] Герцен громил из Лондона. Толстой громит в Лондоне из Ясной Поляны и Москвы, в России, при помощи литографий, которые продаются по 20 копеек.

Новое время настаёт, и оно себя покажет. Оно *уже* себя показывает тем, что правительство совершенно спуталось и не знает, что начать. “Не то ложиться спать, не то вставать”. Но долго ли протянется эта безурядица? Хоть умереть с этим убеждением, что произвол подточен и совсем не надо бури, чтоб он повалился. Обыкновенный ветер его повалит» (*Дневник А. С. Суворина. М. – Пг. 1923. С. 263*).

Но раньше Чехова и раньше Суворина этого высочайшего титула удостоил Толстого Н. Я. Грот, назвавший Льва Николаевича в письме к нему “на голод”, в Бегичевку, от 21 ноября 1891 г. «духовным царём», на которого возлагаются все надежды лучших людей России в трудную её годину (*Материалы... 1889 – 1892. С. 251 – 252*).

Да, возлагались надежды. И да — лучших! Но, в массе своей, *не понимавших* Толстого-христианина. *Не близких* по вере. Тот же Чехов, с его материализмом и атеизмом, имел в виду, взирая с позиций светского гуманизма, не более чем пресловутое *общественное благо* от деятельности толстовского «министерства добра» в Бегичевке, и вряд ли имел в виду то же, что имел в виду, как важнейший стимул, сам Лев Николаевич Толстой, как в своей широкоизвестной эпопее помощи голодавшим крестьянам в 1891 – 1893 гг., так и позднее: именно *христианское религиозное служение* бедствующим, служение *добрыми делами и словами*, с жертвою своими временем, силами, трудом, иногда и жизнью, а никак не деньгами, и даже не одним только хлебом.

Царь *проживает жизнь* в своём царстве, со всеми подданными своими — от доверенного советника, до последнего солдата и пастушки, но никогда Царь не откупится от их бед и проблем «благотворительными» подачками!

И по сей день Россия любит царей и «вождей» палачей, убийц — «мужей силы». Любит и богатых «благотворителей» посредством денег, исторических и современных. И — замалчивает, либо говорит очень мало, о подвижничестве в миру истинных *духовных царей*.

Именно об таком, истинном — тихом, в христианских трудах и в смирении — подвиге Льва Николаевича Толстого с духовными его учениками и сочувствующими, близкими и не очень, расскажет наша небольшая, но многополезная и чудоувлекательная книга.





К ИСТОРИИ И ИСТОРИОГРАФИИ ГОЛОДА В РОССИИ 1891 – 1892 (1893) гг.

1. Некоторые общенсторические подробности голода



Изба татарина Саловатова в д. Кадомке Сергачского уезда.

Один из своеобразных «символов» голодных 1891 – 1893 гг:

солома с крыши шла на прокормление скота.

Нижегородская губ. 1892 г. Фото М. Дмитриева

В 1891 г. 26 губерний России поразил неурожай. В 1891 – 1892 гг. сбор хлебов уменьшился на 45% в сравнении со среднегодовыми величинами (*Рязанов В.Т. Экономическое развитие России. XIX – XX вв. СПб., 1998. С. 321*).

В давнишней, 1955 года статье Джорджа С. Куинна (George S. Queen) «American Relief in the Russian Famine of 1891 – 1892» американский историк сообщает, что консул США в Санкт-Петербурге на рубеже 1880-1890-х гг. предсказал для своего правительства «голодную» катастрофу в России ещё за два года до её начала, анализируя сведения об условиях жизни и труда в различных губерниях России (Queen G.S. *American Relief in the Russian Famine of 1891-1892 // The Russian Review. Vol. 14. №. 2 (Apr., 1955). Pp. 140 – 150*).

Но то было очевидно для умного человека, американца... Россия же остаётся Россией всегда, и здесь неурожаем, как зачастую и урожаем, и даже зима с весной — вечные неожиданности.

Причины массовых голодовок в России — то самое, о чём не любят высказываться до конца и правдиво в официальной российской науке и о чём немало спекулируют в околонучной среде. Тема трагических периодов народного голода как была в самые годы бедствий, так и остаётся чувствительной и для современной России, и за последнее столетие области оценочных суждений сместились до полюсных по отношению друг к другу.

Часто можно услышать мнение о том, что прежние выводы о тяжёлом положении сельских жителей сильно преувеличены, да и голода никакого ни в 1891 – 1892-м, ни в последующие годы не было, а был всего лишь «недород» зерновых культур. Та же самая, или идейно близкая сволочь, которая склонна оправдывать государственными либо модернизационными интересами преступления большевизма и сталинщины, заявляет мнение о том, что выводы о тяжёлом положении сельских жителей в конце XIX столетия сильно преувеличены, да и голода никакого ни в 1891 – 1892-м, ни в последующие годы не было, а было «всего» лишь население, «пострадавшее» от неожиданной спецоперации матушки-природы: малоснежной зимы, жары и засухи летом, «недорода» зерновых культур, эпидемий... Само словцо это, «недород», как и название жертв голода «пострадавшими от неурожая» — из того же «арсенала» лжей официальной идеологии, служащих прикрытию, оправданию, а иногда и освящению халтуры либо намеренных преступлений режима: таких же по разрушительным и летальным последствиям, как современная (весна 2022 г.) военная «спецоперация» российской военщины в Украине, или, попросту, захватническая и жестокая война.

Восходит это лганье к временам самих событий — к 1891 – 1893 гг.: и тогда тема голода имела неизбежный политический подтекст. Либерально-оппозиционная часть общества требовала расширения

помощи голодающим, а консервативная общественность утверждала, что масштабы голода сильно преувеличены. В этом проявлялась разница подходов: гуманистического, ставившего в центр проблемы человека и выстраивавшего эмоциональные нарративы, и механистического, рассматривавшего голод сквозь призму государственных институтов и предлагавшего сухую статистику. Первый подход особенно ярко проявился в русской художественной литературе, в которой тема голода стала одной из формирующих интеллигентскую идентичность. Борьба с голодом, помощь неимущим развивали социальный гуманизм, представляли собой важный фактор становления гражданского самосознания. Помимо Л. Н. Толстого, к теме голода обращались писатели В. Г. Короленко, Г. И. Успенский. Но важно подчеркнуть здесь же, что Толстой остался по преимуществу неангажированным в этих спорах ни консерваторами, ни либералами, ни тем более авантюристами революции. Он быстро заметил, что и в этом культурном самостроении господ интеллигентов сам «помогаемый» спорщиками либо отрицаемый в необходимости помощи *народ* остаётся как бы в стороне. Он же — как помещик и как художник слова — был, в свою очередь, с молодых лет неприязнен к политическим и журнальным дразгам, зато внимателен к трудящемуся народу.

Увы! и современные нам дискуссии о благосостоянии российского крестьянства рубежа XIX–XX веков отчасти являются следствием различий всё тех же, идейно ангажированных, взглядов на прошлое: либо с высоты мёртвой статистики, либо сквозь призму живой, человеческой истории. Второй подход представляется нам продуктивнее и жизнеспособнее. Стремясь к научной объективности, очень важно не упустить из виду живого человека. Представленный в данной книге взгляд на тему голода, продовольственной, медицинской, просветительской, а кроме того — моральной и духовной помощи очами её духовно чутких, верующих участников, таких как Лев Николаевич Толстой и его единомышленники во Христе, позволяет вернуть истории христианские религиозные смыслы, по отношению к которым пресловутые «объективные детерминанты» социально-экономических условий окажутся отнюдь не корнем совершившегося зла, а только вторичными, хотя и неизбежными атрибутами и следствиями того, что было и есть в корне.

Но для прояснения ситуации необходимо отталкиваться от привычного, наполняющего самые разнообразные исследовательские тексты, от статей до учебников, а значит — вспомнить состояние

российского сельского хозяйства в пореформенный период и разобраться с обыкновенными дискурсами, в рамках которых освещалась современниками тема голода.

На рубеже XIX – XX веков Российская империя являлась аграрной страной, в которой труд на земле основного производителя во многом оставался архаичным. Отмена крепостного права изменила социально-правовой статус крестьян, однако сопровождавшее её сокращение крестьянских земельных наделов, сохранение в руках помещиков полей, лугов, лесов, важных в сельскохозяйственном отношении, усложняли положение российской деревни.

Особой проблемой, указывающей на нравственный корень зла, была растущая перенаселённость в среде сельских жителей. Решений для этой проблемы, в зависимости от актуальности для человека или общности людей религиозного нравственного руководства, всегда два основных: либо воздержание и актуализация для себя духовных и творческих смыслов жизни, либо — ломка прежней жизни, гармонии в отношениях между людьми и людей с природой ради приумножения, под влиянием распущенной блудной похоти, *вымороченного*, то есть избыточного количеством и бессмысленного своими верой и образом жизни, населения.

Понятно, что православие, как один из реликтов давно отживших своё авраамических религий, так или иначе освящающих *ветхий завет* человека с Богом, не могло стать для его адептов в России духовным руководством в выборе первого, сохраняющего гармонию, варианта: воздержания, аскетике, переключения энергий на духовные цели, а сознания – на высшие, нежели пресловутая половая «репродукция», цели.

Потому остаётся и по сей день для России всего лишь один вариант, да и с тем она справлялась во все времена неудовлетворительно: вместе со всем безверным и лжехристианским миром взнуздывать, «покорять» природу: всё больше и хищнее брать от неё, обманывая себя лжеучениями: в традиционалистских обществах — религиозным, в современных — научным (например, лженауки «экологии»). Модернизация и урбанизация — в ущерб естественности и свободе жизни. И в конце XIX века им противостояли в России уже отнюдь не вера, а, скорее, невежество и омрачённость крестьянских масс: консерватизм, традиционализм вкупе с нищетой и злонравием, характерным для деградирующей общности.

К традиционным сдерживающим модернизацию факторам принято относить низкий уровень сельскохозяйственной культуры. Не-

смотря на планомерное увеличение валового сбора зерновых во второй половине XIX века, происходило это в основном за счёт введения в оборот новых посевных площадей, то есть за счёт экстенсивного развития сельского хозяйства — как это было в Самарском Заповье, о котором будет в этой книге много сказано ниже в связи с деятельностью отца и сына Толстых.

На модернизацию нужны были деньги, дававшиеся, в числе прочего, экспортом хлеба, в котором Россия последней трети XIX столетия устремлялась в лидеры. Но значительный процент экспорта хлеба обеспечивался не традиционным крестьянским хозяйством, а прогрессивными, технологичными хозяйствами помещиков. В общинах же продолжало господствовать трёхполье, при котором ежегодно под паром оставалось около 33% земли от площади пашни (*Островский А. В. Зерновое производство Европейской России в конце XIX – начале XX в. СПб., 2013. С. 101*). Это усугубляло «земельный голод» российских крестьян.

Нельзя также не отметить рутинность используемой сельхозтехники. Хотя в 1910-е годы началось внедрение машин, причём около 40% из них были немецкого и австрийского производства, в большинстве крестьянских хозяйств землю обрабатывали по старинке. В 1910 году в Европейской России железные и деревянные плуги составляли 47% от всех пахотных орудий, почти столько же и традиционная соха – 44%, причём в губерниях центральной России доля сохи была преобладающей – 61% (*Сельскохозяйственные орудия и машины в Европейской и Азиатской России в 1910 г. СПб., 1913*). Несмотря на малую эффективность сохи, которая, в отличие от плуга, обеспечивала меньшую глубину заделки, не переворачивала пласт земли и требовала больших физических усилий от пахаря, вспашка земли сохой могла осуществляться одной малосильной лошадкой, тогда как для плуга, в зависимости от почвы, могло потребоваться и две пары быков.

Традиционные способы обработки почвы, как правило, использовали старожилы, тогда как новосёлы, колонисты экспериментировали с новейшей техникой. Новосёл, успевавший обжиться и получить от трудов своих прибыли, быстро превращался в консерватора, «старожила». Лев Львович Толстой, наблюдая в относительно молодом самарском селе Патровке таяние обильных снегов зимы 1891 – 1892 гг. сетовал на рутинность труда таких «консерваторов», сами себя подводящих под засуху и неурожай:

«Я часто думал в тот год, глядя на это богатство весенней воды, пропадавшей даром, сколько пользы она могла бы принести, если

бы задерживали её так или иначе на местах, не пуская дальше. Придёт лето, и опять будут плакаться о влаге, которую сами же упустили» (Толстой Л.Л. *В голодные года*. М., 1900. С. 118 – 119).



Снѣга 1892 года въ Самарской губерніи.

Серьёзным вызовом для аграрного сектора России была зависимость от метеорологических условий. Главную причину недорода зерновых современники усматривали в регулярно повторявшихся засухах. Неурожаи случались постоянно, но наиболее голодными годами стали 1891 – 1892 гг., когда особенно пострадали чернозёмные районы. Тогда сыграли свою роль сразу несколько метеорологических факторов: лето 1890 года оказалось обильным на дожди, что благоприятно сказалось на всходах урожая, однако резко наступившая во второй половине июня тропическая жара с сильными ветрами засушили зерно на корню. Кое-где начались сильные пожары: «С какою-то систематическою беспощадностью, которая невольно внушает суеверную идею сознательной преднамеренности и кары, природа преследовала человека. По иссыхающим нивам то и дело проходили причты с молебнами, подымались иконы, а облака тянулись по раскалённому небу, безводные и скупые. С нижегородских гор беспрестанно виднелись в Заволжье огни и дым пожаров. Леса горели всё лето, загорались сами собою; огонь притаивался на зиму

в буреломах и тлея под снегом, чтобы на следующую весну, с первыми сухими днями, вновь выйти на волю и ходить пламенными кругами до новой зимы... Голод подкрадывался к нам среди этого зноя и дыма, среди этой засухи», – вспоминал В. Г. Короленко (*Короленко В. Г. В голодный год. Наблюдения и заметки из дневника // Собрание сочинений в десяти томах. Т. 9. М., 1955. С. 102*). При этом засуха в отдельных губерниях продолжалась до сентября, а в ноябре, при полном бесснежии, наступили двадцатиградусные морозы. Весна 1891 года отличалась почти полным отсутствием половодья, в результате чего заливные луга остались неувлажнёнными, а наступившие в конце апреля холода погубили озимые. В мае случилась новая засуха, которую вскоре сменили короткие обильные дожди, а затем морозы, что погубило молодую растительность. Пронёсшийся по ряду чернозёмных губерний сильный циклон сдувал пахотный слой, в других случаях ураганы выбивали зерно из колосьев. Хотя зима 1891 года наступила рано и оказалась обильна на снега, снег этот быстро сошёл, а наступившие после этого морозы привели к вымораживанию озимых (*Ермолов А. С. Неурожай и народное бедствие. СПб., 1892. С. 5 – 9*).

Государственные чиновники, и среди них А. С. Ермолов, будущий министр земледелия и государственных имуществ, неурожай 1891–1892 годов объясняли исключительно природным фактором. Вместе с тем земские деятели задолго до наступившего голода предупреждали власть об угрозах и указывали на необходимость помощи деревне. О спаде производства сельхозпродукции земские деятели говорили с конца 1880-х годов, указывая на рост недоимок в крестьянских хозяйствах. В Казанской губернии в 1890 году окладных сборов было недополучено на более чем 2 млн рублей, в Нижегородской – почти на 1 млн. Помимо природных явлений, среди факторов возможного голода земские работники отмечали высокие выкупные платежи, не позволявшие крестьянским хозяйствам запастись зерном на случай голодных лет. Тульское земство уже летом 1891 года поставило вопрос об отмене выкупных платежей, но они были отменены царским правительством лишь под влиянием первой российской революции 1905 года (*Понарин П. В. Земская реакция на голод 1891–1892 гг. в Российской империи (на примере Тульской губернии) // Genesis: исторические исследования. 2017. № 6. С. 70 – 81*). Ещё одной причиной наступившего голода стала нерациональность общинного землепользования, связанная с такими явлениями, как чересполосица, мелкополосица, дальнотемелье. Общинное земле-

пользование, имеющее целью гарантировать всем семьям минимальный урожай, в силу своей малой эффективности не защищало крестьян в периоды экстремально низких урожаев.

Конечно же, к периодическим голодовкам по-своему готовилось и государство. В 1841 году был создан Общеимперский продовольственный капитал (с 1866 года он находился под контролем министра внутренних дел), формировавший губернский продовольственный капитал, из которого кредитовались земства. В губернском земском продовольственном капитале к 1891 году имелось 14 млн рублей. Более 23 млн составлял общественный продовольственный капитал, который формировался из внебюджетных средств, собиравшихся с местных жителей. Кроме продовольственных капиталов, в государстве функционировали хлебные запасные магазины, которые формировались из зерна, сдававшегося населением. Согласно данным А. С. Ермолова, к 1891 году центрального, губернского и общественного продовольственного капитала имелось более 48 млн. рублей, не считая натуральных запасов. Однако распределялись они неравномерно (например, на начало 1891 года в Екатеринославском земстве продовольственного капитала не было вовсе). Тем не менее всех этих средств для преодоления последствий неурожая оказалось недостаточно. Нарушения в работе хлебных общественных магазинов утаивались, и «когда нагрянула беда», размер запасов мало где превышал 25 % от потребного, в губерниях Казанской, Рязанской, Самарской, Уфимской, оказалось на лицо не свыше 15%, а в Тульской в среднем всего 5%. Земствам пришлось срочно закупать недостающий хлеб, что вызвало рост цен (*Ермолов А.С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос. СПб., 1909. Часть I. С. 20, 105 – 106*). Это повысило и без того немалые суммарные расходы казны на борьбу с неурожаем, составившие к концу 1892 г. цифру в 174 миллиона 992 тысячи 802 рубля (*Там же. С. 104*).

С началом голода к работе подключились официальные благотворительные организации: Человеколюбивое общество, Епархиальные попечительства, учреждения Российского общества Красного Креста (РОКК). В частности, Вольное экономическое общество организовало при своём Совете специальное временное бюро для изучения причин и последствий неурожая. Первостепенной в то время виделась задача определить степень нужды в продовольствии различных пострадавших районов, поэтому бюро разработало и разослало подробную анкету, по результатам которой был выпущен «Сборник ответов на предложенные Вольным экономическим обществом вопросы по изучению неурожая 1891 г.» (*Соколов Н. В голодный год //*

Былое. 1995. №10. С. 10). К работе по организации помощи голодающим подключились также редакция газеты «Русские ведомости», Комитет грамотности при Московском обществе сельского хозяйства и, наконец, те, о ком, по преимуществу, будет ниже всё наше повествование: группа благотворителей, объединённых Львом Толстым с супругой и детьми.

Но тут сразу же обозначились последствия прежних порочных практик государства во взаимоотношениях с гражданами.

Начнём с того, что земства и государство по-разному смотрели на необходимость помощи крестьянам даже в голодные годы. В земствах разрабатывались проекты комплексных мероприятий, как долгосрочных (например, строительство железных дорог для обеспечения скорейшей доставки хлебных грузов из одних регионов в другие), так и краткосрочных (выдача крестьянам ссуд и пособий). Однако правительство, поддерживая первые проекты, отрицательно относилось к субсидированию населения, полагая, что оно «приучит народ рассчитывать на пособия» и отвлечёт его «от изыскания собственных средств к прокормлению», в результате чего крестьянство привыкнет к праздности и сделается «склонным к беспорядкам» (*Ермолов А. С. Неурожай и народное бедствие. С. 81 – 82*). Будущий министр иностранных дел В. Н. Ламздорф, занимавший в 1891 году пост директора канцелярии министерства, выражал в дневнике эту позицию, характерную для большинства чиновников: «Пожертвования... содействуют деморализации народа... Вместо того чтобы работать и заслужить пособие, громадное количество крестьян и рабочих в провинции отказываются от всякой работы, под предлогом, что „царский паёк“ должен им быть выплачен даром. Благотворительность такого рода может в конечном счёте привести к более значительным и ещё более неоправданным бедствиям, чем сами последствия неурожая» (*Ламздорф В. Н. Дневник. 1891–1892. М.; Л., 1934. С. 195*). В итоге безвозмездное субсидирование российским законодательством не предусматривалось. Сельское население субсидировалось таким образом, что после возвращения крестьянами полученных ссуд Общеимперский продовольственный капитал (бюджетный фонд, созданный для преодоления последствий неурожая) постоянно возрастал – помощь голодающим оказывалась доходным делом (*Ермолов А. С. Неурожай и народное бедствие. С. 85*).

Когда убедить губернские власти не удавалось, земства привлекали частные пожертвования, однако некоторые губернаторы запрещали земствам и частным кружкам проявлять инициативу в деле помощи голодающим, заверяя, что губернская администрация «сама спра-

вится». Эта тенденция проявила себя в голод 1891 – 1893 гг., но особенно ярко позднее — в 1898 и в 1910-е гг. (*Панкратов А. С. Без хлеба. Очерки русского бедствия. Голод 1898 г. и 1911–1912 гг. М., 1913. С. 55*). Такое противостояние центральных, губернских и земских органов не способствовало эффективной помощи крестьянам. Впрочем, конфликты возникали не только во властной вертикали, но и по горизонтали, между частными и общественными организациями. Во время голода 1891 – 1892 годов создавались студенческие отряды, которые отправлялись в пострадавшие от неурожая районы. Однако там, по причине взаимного недоверия, у них случались конфликты как с администрацией, так и с представителями РОКК (Российского Общества Красного Креста). Студенты обвиняли сотрудников Красного Креста в формализме, стремлении передоверить кормление крестьян местным сомнительным личностям, которые нередко обворовывали своих же односельчан. Схожие претензии предъявлялись и земским служащим, которых подозревали в нецелевом расходовании средств, выданных на борьбу с голодом. В свою очередь, в адрес частных волонтеров, в особенности молодежи, звучали обвинения в использовании голода в целях пропаганды революционных идей. Как мы увидим ниже, именно в связи с подозрением на «пропаганду» осенью 1891 г. полицейский надзор будет установлен за А. Н. Толстым. Отчасти подозрения губернских властей были оправданы: по воспоминаниям В. А. Оболенского, среди студентов было много социалистов, которые пытались агитировать среди крестьян (при этом внутри студенческих кружков нередко случались конфликты между студентами-народниками и студентами-марксистами). Не все представители студенческого сообщества с сочувствием относились к голодающим. Некоторые революционно настроенные студенты придерживались формулы «чем хуже – тем лучше», полагая, что голод станет революционным фактором, и отказываясь от участия в борьбе с ним (*Оболенский В. А. Моя жизнь. С. 104; Его же. Воспоминания о голодном 1891 годе // Современные записки. Париж, 1921. Вып. VII. С. 264 – 265, 282 – 283*). Согласно воспоминаниям В. В. Водовозова, в 1891 году молодой В. И. Ульянов отмечал «прогрессивное» влияние голода: «Разрушая крестьянское хозяйство, выбрасывая мужика из деревни в город, голод создаёт пролетариат и содействует индустриализации края... Он заставит мужика задуматься над основами капиталистического строя, разобьёт веру в царя и царизм и, следовательно, в своё время облегчит победу революции. [...] Стремление т. наз. «общества» придти на помощь голодающим, облегчить их страдания по-

нятны. Ведь это «общество» есть плоть от плоти, кровь от крови буржуазного общества; в какие бы оно ни рядилось социалистические мантии, в какие бы цвета оно ни окрашивалось, оно не в силах отвлечься от интересов всего буржуазного общества в целом. [...] Психологически же все разговоры о кормлении голодающих и пр. суть выражение обычного слащавого сантиментализма, свойственного нашей интеллигенции» (*Водовозов В. В. Моё знакомство с Лениным // На чужой стороне. Прага. 1925. № 12. С. 177*).

Противодействие губернской администрации низовым частным инициативам отчасти обуславливалось спецификой массового сознания крестьян, которые, наблюдая за деятельностью студенческих отрядов, приходили к заключению, что «добрый» царь распорядился раздать крестьянам хлеб, а губернаторы забирают его себе. Тот же В. А. Оболенский вспоминает слухи в народе о том, что раздающий хлеб студент с золотыми пуговицами на сюртуке – не кто иной как наследник престола, прибывший навести порядок, а остальные студенты – его свита (*Оболенский В. А. Моя жизнь. С. 109 – 111*). В Лукояновском уезде Нижегородской губернии поговаривали, что, так как петербургские власти в деле помощи голодающим не надеются на местного губернатора, они выписали из-за границы племянника какого-то короля. Этот «корольк-королевич» бесплатно кормит голодающих и раздаёт крестьянам лошадей. В действительности этим «корольком» был писатель В. Г. Короленко, развернувший активную благотворительную деятельность в Нижегородской губернии (*Фортунатов Н. М., Уртминцева М. Г. Русская литература последней трети XIX века: Учебник для СПО. М., 2019. С. 297*). За «царского крестника» приняли в селе Патровке, что в Бузулукском уезде Самарской губернии, приехавшего туда «на разведку» ситуации сына Толстого Льва Львовича (*Толстой А. А. В голодные года. М., 1900. С. 35*).

Впрочем, в отношении волонтеров распускались и не менее опасные негативные слухи: что-де это иностранцы, приехавшие переманить местных жителей в свою веру, или что они слуги антихриста. В татарских селениях прошёл слух, что за предоставление продовольственной помощи администрация требует, чтобы местное население крестилось в православную веру. Всё это создавало опасную политическую обстановку, тем более что в отдельных районах вспыхивали беспорядки. Ситуацию усугубляли начавшиеся эпидемии холеры и тифа, вызвавшие распространение абсурдных слухов: «Весной 1892 года эпидемия вспыхнула в Астрахани и оттуда стала постепенно распространяться вверх по Волге. Холеру разносили люди,

в панике бежавшие из астраханского района, а с этими паническими людьми бежали и слухи, нелепые, зловещие и фантастические слухи о докторах, отравляющих колодцы, об агентах „англичанки“, снабжённых баночками с холерным ядом, о том, что в городах людей насильно сажают в „чёрные дома“ и там убивают, и т. д.». Вся вековая тошнотная мерзостыня «русского мира» под давлением связанных с голодом и эпидемиями стрессов полезла из дурацких голов «наружу». Стали появляться списки «вредителей», в которых записывали земских деятелей, врачей, студентов. Современники сообщали о случаях убийства докторов, проводивших санитарные осмотры (*Оболенский В. А. Моя жизнь. С. 118*).

По всей вероятности, некоторым власть имущим на местах казалось, что успех частных лиц и организаций в деле помощи голодающим подрывает их авторитет. Лев Львович Толстой вспоминал, как некий земский начальник самоуправно приказал закрыть устроенные им «голодные» столовые в одном из сёл Бузулукского уезда, и лишь вмешательство губернатора решило дело в пользу сына Льва (*Толстой Л. Л. В. голодные годы. С. 129 – 135*).

Ряд чиновников признавали серьёзность положения крестьян, однако правительство не одобряло публикации статей, рисовавших картины народного бедствия, и за этим бдительно следили цензурные комитеты. В газетах запрещалось употреблять слово «голод», его следовало заменять более нейтральным «недород». В обществе распространился слух, будто, когда один из министров в своём докладе государю упомянул о голодающих крестьянах, Александр III сделал на нём пометку: «У меня нет голодающих, есть только пострадавшие от неурожая» (по другой версии, император произнес эту фразу в ответ на заявление одного полкового командира, что офицеры его полка собираются пожертвовать деньги голодающим). Либерально настроенный князь В. А. Оболенский считал, что «эта формула была принята в руководстве цензорами, которые вычёркивали из газетных столбцов слова „голод“, „голодающие“ и заменяли их словами – „неурожай“ и „пострадавшие от неурожая“» (*Оболенский В. А. Моя жизнь. С. 103*). Возможно, это было связано с распространённой в народе поговоркой: «Неурожай от Бога, а голод – от царя» (*Там же. С. 110*). Цензурной заменой власть пыталась смягчить свою возможную дискредитацию в глазах крестьянских масс.

Впрочем, помимо слухов, есть заслуживающие большего доверия свидетельства отношения императорской семьи к голоду. Так, министр иностранных дел Н. К. Гирс делился с Ламздорфом своими впечатлениями от разговоров за завтраком у императора в конце

января 1892 года: «Его величество не хочет верить в голод. За завтраком в тесном кругу в Аничковом дворце он говорит о нём почти со смехом; находит, что большая часть раздаваемых пособий является средством деморализации народа, смеётся над лицами, которые отправились на место, чтобы оказать помощь на деле, и подозревает, что они это делают из-за похвал, которые им расточают газеты... Цесаревич тоже слушает эти разговоры с одобрительной улыбкой» (*Ламздорф В. Н. Дневник. С. 253*).

В 1870 – 1890-х годах в сознании общественности голод ассоциировался в первую очередь с картинами «Великого голода» 1876 – 1878 годов в Индии, на описание ужасных последствий которого российская пресса не жалела красок, рассказывая о распухших от голода и умиравших прямо на улицах городов мужчинах, женщинах, стариках и детях. В 1891 – 1892 годах некоторые корреспонденты проводили параллели между ситуацией в Индии и России, причём либеральные издания были склонны отмечать общие черты, консервативные, напротив, отрицать всякую связь.

По остроумному замечанию В. Г. Короленко, разум простеца обывателя, поклоняющийся по обыкновению ярким образам и символам, был готов признать голод разве что там, где люди бы умирали в агонии, а матери пожирала бы своих детей (*Короленко В.Г. В голодный год // Короленко В.Г. Указ. изд. Т. 9. С. 100 – 101*). Но хотя масштабы голода в Индии и России действительно несопоставимы, тем не менее в отдельных российских сёлах ситуация была близка к катастрофической. Корреспондент «Русского слова» так вспоминал посещение поволжских деревень: «„Голод в Индии“ был близок к нашей действительности. Не валялись на улице скелетообразные людские тени. Но в цынготных больничках лежало по 15 – 20 человек, людей только по имени. В действительности, это были трупы. Запах трупный, вид умирающего, вспухшее лицо, потускневший взгляд, тяжёлое прерывистое дыхание... Помню ребёнка. Худенькие ручки, огромный отвислый живот. Старческая серьёзность на лице. Он смотрел нам в глаза глубоким, не земным взглядом и ел огромный кусок хлеба из лебеды. Хрустел песок на зубах» (*Панкратов А. С. Без хлеба. С. 23, 28*).

Да, не для всех в имперской России хрустела именно знаменитая французская булка. Лев Львович вспоминал о голодной Патровке конца 1891 г.: «Во многих домах хлеб был с примесями, больше из лебеды, а в иных мазанках — и из глины. Хлеб этот, когда его ели, хрустел во рту, точно вы жевали сахар» (*Толстой Л.Л. В голодные годы. С. 52*).

Во многих сёлах голодающих губерний хлеб был, но это был особенный, «голодный хлеб». Земства собирали его образцы, одинаковые что в 1892-м, что в 1898-м, 1907-м или 1911 году. Чаще всего хлеб разбавляли лебедой, такой «голодный хлеб» крестьяне считали даже вкусным, смешивали муку с дикой гречихой, овсом, желудями и отрубями, делали хлеб из конопляного жмыха. В крайнем случае – из мякины. Часто смешивали с глиной. Когда заканчивалась мякина – употребляли вместо хлеба древесную кору. «Голодный хлеб» из мякины с глиной имел одно важное свойство для людей, мучившихся от голода: он вызывал сильную рвоту, и человек терял аппетит на несколько дней, забывая о чувстве голода. Но и такое положение в глазах современников не выглядело катастрофическим контрастом с относительно «сытыми», урожайными годами. Как и Лев Николаевич Толстой, князь Владимир Андреевич Оболенский, студентом отправившийся на помощь голодающим Богородицкого уезда Тульской губернии (а оттуда, по приглашению гр. Бобринского переехавший в Николаевский уезд Самарской губ.), тоже пришёл к выводу, что «бедность богородицких крестьян хроническая и что в голодный год, при помощи земской ссуды, им живётся лишь немного хуже обычного»; обычным же положением этих людей были «нищета, вонь, грязь и бесконечные униженные жалобы на тесноту и малоземелье», так что обход голодавших изб вызывал у князя ежедневные головные боли (*Оболенский В. А. Моя жизнь. С. 107*).

Попытки земств закупить хлеб в благополучных районах привели к росту рыночных цен, что препятствовало поставкам в голодающие губернии достаточного количества хлеба. В свою очередь, попытки Министерства путей сообщения организовать перевозку закупленного хлеба привели к заторам на железных дорогах. Например, почти на весь ноябрь 1891 года оказалась парализована Владикавказская железная дорога (*Измайлов А. Железные дороги в неурожай 1891 г. СПб., 1895. С. 14*). Грузы закупленного земствами и частными лицами хлеба приходили на станции беспорядочно, подводы для их вывоза — тоже, а большинство станций не были приспособлены для хранения хлеба. В январе – феврале 1892 года, поскольку в целях экономии было решено перевозить зерно не в мешках, а насыпью, когда хлеб прибывал на промежуточные станции, его иногда высыпали из вагонов прямо на снег, «в надежде на лужёные российские желудки», «но в общем вагоны железных дорог обращались в амбары и их накоплялось на одной станции столько, что вновь приходящих некуда было ставить; пока для этого строились новые

пути, прибывающие вагоны задерживались на других, более свободных станциях. Всё это вносило массу недоразумений и беспорядков. Груз приходил не по времени отправления, а случайно и никто не мог сказать, когда какую отправку можно ждать» (Там же. С. 19 – 20).

Специфика российского неурожая заключалась в том, что голод в одних губерниях протекал на фоне относительного благополучия других, так как неразвитость сети железных дорог не позволяла своевременно доставить хлеб в пострадавшие районы.

В том же 1892 году чиновники Министерства финансов признавали, что «голодание населения могло иметь место даже при избытке общего производства хлеба в России» (Ермолов А. С. *Неурожай и народное бедствие*. СПб., 1892. С. 3 – 4).



AN "OBOZ," OR TRAIN OF SLEDGES, BEARING FOOD.

Прибытие обоза с продовольствием с ж.-д. станции.
Самарская губ., 1892 г. По фото Й. Стадлинга

Отсюда, кстати, парадоксы историографической дискуссии (о ней ещё скажем ниже) о «голодном экспорте», который связывают с фразой «недоедим, но вывезем», приписывавшейся современниками министру финансов *Ивану Алексеевичу Вышнеградскому* (1832 – 1895) (Озеров И. Х. *Экономическая Россия и её финансовая политика на исходе XIX и в начале XX века*. М., 1905. С. 165). Однако вывоз хлеба в голодные годы не являлся значимым фактором обедне-

ния крестьянства, тем более что значительная доля экспорта осуществлялась за счёт помещичьих хозяйств. К тому же с лета 1891 года правительство стало вводить запрет на вывоз хлеба из пострадавших губерний: «В конце июля существование неурожая на огромном пространстве было объявлено и 28 июля последовало запрещение вывоза ржи из западных и южных портов и по всей Западной сухопутной границе, а 1 августа распространено на Финляндию. 9-го августа объявлены правила, обеспечивающие невозможность вывоза ржи под видом перевозки в Финляндию и под видом примеси её к пшенице, наибольший процент коей допущен не выше 8 %. 1-го сентября последовало запрещение вывоза ржи из Архангельского порта и пшеницы по всей персидской границе. [...] Вместе с запрещением вывоза ржи последовало запрещение вывоза ржаной муки, отрубей и прочих отбросов при обработке зерна, употребляемых для корма скота. [...] Воспрещение вывоза вытекало также из того соображения, что в тот же год европейские рынки требовали много хлеба и цены на него поднялись» (*Измайлов А. Указ. соч. С. 10 – 11*)

Более существенными факторами оказывалась неразвитая инфраструктура, несогласованность действий центральной, губернской власти и земских организаций. Согласно В. Н. Ламздорфу (но вопреки А. С. Ермолову, который поддерживал обвинения министра финансов в том, что тот выступал за экспорт в ущерб благосостоянию крестьян), Вышнеградский уже в июне 1891 года думал о том, чтобы остановить экспорт и вернуть часть хлеба обратно, так как из-за неурожая у него имелись опасения «политического характера» (*Ламздорф В. Н. Дневник. С. 148*). «Голодный экспорт» в большей степени был проблемой морально-этической, чем экономической, что в итоге и привело летом – осенью 1891 года к запрету экспорта зерна на десять месяцев.

Вообще Вышнеградский был далеко не самым консервативным представителем правительства: например, он предлагал сократить расходы на вооружения и на сэкономленные средства увеличить финансовую помощь пострадавшим крестьянам. В отличие от министра финансов, признававшего голод в России, главным отрицателем голода в правительстве («голодным диссидентом») был министр внутренних дел И. Н. Дурново (*Ламздорф В. Н. Дневник. С. 230*).

Государство, не отказываясь от частной благотворительной помощи голодающим, вместе с тем через систему контроля и распре-

деления пыталось «приватизировать» эту сферу. Князь В. А. Оболенский вспоминал, что прогрессивные круги с недоверием относились к Российскому обществу Красного Креста (РОКК), августейшим покровителем которого была императрица Мария Фёдоровна, а потому предпочитали жертвовать деньги частным лицам, например Толстому: мемуарист делает ошибку, имея в виду, вероятнее всего, Л.Н. Толстого, но называя местом работы «Л. Толстого» Тамбовскую и Самарскую губернию (*Оболенский В. А. Моя жизнь. С. 104*). В Самарской губернии организацией помощи руководил сын писателя, Лев Львович.

Правительство расплачивалось за свои, традиционные для Российской Империи, неуважение и недоверие к гражданам — и не находило ничего лучшего, как искать в этих встречных недоверии и неуважении признаки оппозиционности и «бунта». Симпатизировавший Л. Н. Толстому В. Н. Ламздорф тем не менее отмечал, что граф «располагает, ввиду широкой раздачи пособий голодающим, опасными средствами пропаганды» (*Ламздорф В. Н. Дневник. С. 261*).

Верховная власть пыталась поставить под контроль благотворительную деятельность в империи. 23 ноября 1891 года был создан «Особый комитет по оказанию помощи населению губерний, пострадавших от неурожая» под председательством наследника престола, будущего императора Николая II, целью которого был сбор частных пожертвований и их распределение среди нуждающихся. Однако даже среди министерских чиновников эта инициатива вызвала критику: во-первых, в обществе ожидали большого пожертвования самого Александра III, а император, по сути, переложил сбор средств на общество; во-вторых, тем самым снималась ответственность с Министерства внутренних дел, в чьём ведении находился Общеимперский продовольственный капитал.

Помимо сбора пожертвований, Особый комитет через своих уполномоченных изучал продовольственную ситуацию на местах, выявляя наиболее пострадавшие регионы. И хотя Особый комитет признавал несоответствующей действительности информацию об умирающих на улицах от голода людях, его уполномоченные отмечали бедственное положение поволжских и черноморских губерний. Крайне сложной была ситуация в татарских селениях, где земледелие было неразвито. При этом в Особом комитете обращали внимание, что бедственное положение случилось не из-за одного неурожайного года, но было подготовлено предшествующим бедственным положением крестьян, у которых оказались исчерпаны все запасы.

Привлечение внимания, в особенности иностранного, к теме народного бедствия консервативная печать расценивала как непатриотичное поведение. «Гражданин» князя В. П. Мещерского так отозвался на публикацию 22 января 1892 года в «Московских ведомостях» статьи Толстого «О голоде»: «Какие таинственные враги порядка, какие жидаы могли попутать редакцию „Московских ведомостей“ в виде передовой статьи пустить в обращение бешеный бред графа Льва Толстого?» (*Гражданин. 1892. 24 января*). Несмотря на консервативный и весьма критичный в комментариях характер публикации этой газеты, власти изъяли из обращения нераспроданный тираж. В итоге лишь создался эффект «запретного плода»: плохо переведённые, обратным переводом с английского, отрывки из статьи Толстого «О голоде» читали все, кому не лень — вместе, кстати, с гнусными, лживыми, похожими на донос комментариями газеты. Цена за экземпляр «Московских ведомостей» со статьей Толстого на черном рынке достигала 25 рублей (*Ламздорф В. Н. Дневник. С. 254*).

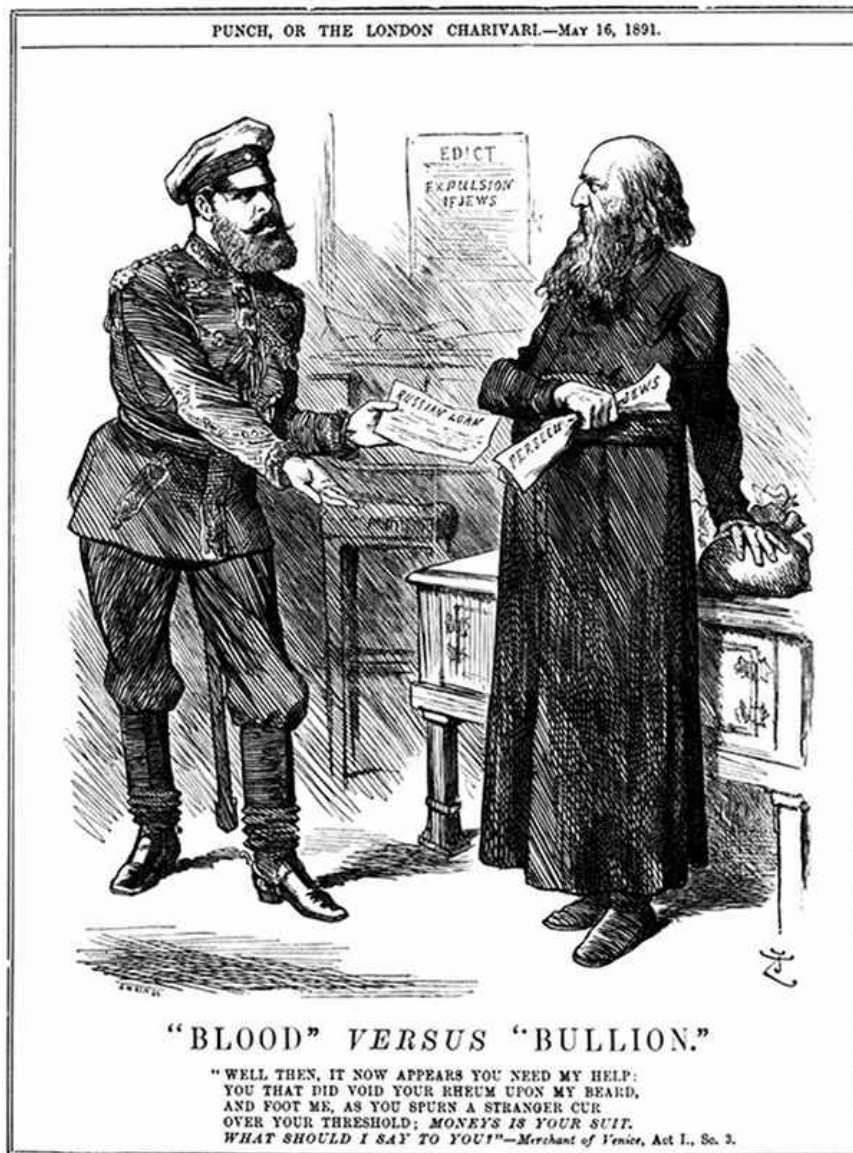
Задолго до большевизма и его омерзительных наследников в современной (весна 2022 г.) России, всё ещё путинской, власти России имперской тоже с подозрением относились к иностранной, в первую очередь американской, помощи голодающим. Корреспондент «Русского слова» А. С. Панкратов отмечал, что газетам предписывалось не высказывать «чрезмерную благодарность» американцам (*Панкратов А. С. Без хлеба. С. 9*).

Неприятие консервативно-патриотической общественностью алармистских публикаций либералов в российской прессе отчасти стало реакцией на публикационную активность русских эмигрантов-революционеров. В первую очередь – Общества друзей российской свободы, издававшего в Лондоне и Нью-Йорке газету «Свободная Россия», где в 1891–1892 годах регулярно печатались материалы о голоде, в которых в сложившемся бедственном положении крестьян обвинялся царизм (*Нечипорук Д. М. Освещение голода в России 1891–1892 гг. на страницах газеты «Free Russia» // Клио. 2005. № 3 (30). С. 70–73*). Даже в более умеренных публикациях указывалось на косвенную вину правительства: «Действующее правительство не несёт ответственность за голод, но оно ответственно за общие условия, которые приводят к нему. Власти повинны не только в нищете населения, но и в невежестве людей, которые стремятся к образованию». Революционер-народник С. М. Степняк-Кравчинский обвинял российские власти в воспрепятствовании деятельности частных благотворительных организаций в России ради сохранения полити-

ческого контроля над обществом. Вместе с тем Общество друзей русской свободы организовывало сбор пожертвований в помощь голодающим, что вызывало неоднозначную реакцию в правых кругах.

Как отмечают историки, деятельность иностранных гуманитарных миссий также вызывала опасения российского правительства, поскольку собранная ими информация могла дискредитировать власть (*Kelly L. British Humanitarian Activity in Russia, 1890 – 1923. P. 64*). В дневниковой записи от 21 ноября 1891 года В. Н. Ламздорф приводит свидетельство об отклонении российским правительством поступивших из-за границы предложений организовать сбор пожертвований в помощь голодающим: «Не желают ни принимать денег, ни допускать проникновения внутрь страны иностранных филантропов. Однако предложение американцев нагрести мукой русское судно... было принято как практическое и деликатное» (*Ламздорф В. Н. Дневник. С. 202*). Когда в феврале 1892 года стало известно об отправленном из Соединённых Штатов пароходе «Индиана», нагруженном мукой, министр иностранных дел Н. К. Гирс выражал обеспокоенность, «как бы вместо благодарности жертвователям их щедрый дар не был отослан обратно». Принимая помощь от Америки, российские власти подчёркивали, что это помощь американского народа, а не американского правительства, отношения с которым в период правления Александра III оставались прохладными. Американское правительство предложило направить в Россию своих представителей, чтобы организовать на местах распределение гуманитарной помощи, однако российские власти ответили отказом, сообщив, что «императорское правительство принимает с благодарностью пожертвования, делаемые частными обществами или лицами в пользу нуждающейся части нашего населения, но не признаёт возможным принимать предложения, исходящие прямо от иностранных правительств» (*Цит. по: Журавлева В. И. «Это вопрос не политики, это вопрос гуманности». Документы о помощи американского народа во время голода в России 1891–1892 гг. // Исторический архив. 1993. № 1. С. 199*). Прибывшая в июле 1892 года в Петербург американская делегация была удостоена приёма, организованного цесаревичем Николаем (император в то время находился в Копенгагене). Всего в Россию из Америки прибыло пять пароходов, доставивших около 10 тысяч тонн продовольственных грузов; в американскую миссию в Санкт-Петербурге, а также на имя Л. Н. Толстого было отправлено пожертвований на 150 тысяч долларов.

Иностранная не только правительственная, но и общественная помощь могла заключать в себе определённый укор верховной российской власти: помочь голодающим откликнулись американские евреи, что в условиях антисемитской политики Александра III вызвало на Западе сарказм. В британском журнале «Панч» появилась карикатура, на которой был изображён российский император, стоящий с протянутой рукой перед евреем.



«Кровь» против «золота» (Александр III просит денег у еврея).
Карикатура из журн. «Punch». 16 мая 1891 г.

Преувеличение масштабов голода земскими служащими и либеральными кругами, равно как его недооценка госслужащими и консерваторами, нивелируются статистикой смертности и сопутствующих эпидемических заболеваний. Согласно исследованию Р. Роб-

бинса, в пострадавших от неурожая губерниях в 1892 году сверхсмертность составила 406 тысяч человек (*Robbins R. G. Famine in Russia, 1891–1892. Columbia University Press, 1975*). В это число вошли умершие как от дистрофии, так и от эпидемий. Количество смертей от холеры в пострадавших районах Роббинс определил в 10 тысяч человек. Как известно, вспышки холеры неизбежно наблюдаются у голодающего населения, санитарное состояние которого невозможно признать удовлетворительным. Общеизвестна и непосредственная связь голода с сыпным, или «голодным», тифом. Динамика заболеваемости тифом коррелирует с ухудшением питания населения, а также с большими скоплениями обездоленных людей, ищущих работы. Эпидемии сыпного («голодного») тифа всегда сопровождали неурожай. Рекордная вспышка сыпного тифа началась после голодных 1891–1892 годов и продолжалась до 1894 года. В 1892 году было зарегистрировано 184 142 случая заболевания тифом и 604 406 случаев заболевания холерой (*Васильев К. Г., Сигал А. Е. История эпидемий в России (Материалы и очерки). М., 1960. С. 270*).

2. Из истории изучения голода 1891 – 1892 (1893) гг.

Проанализировав и приведя выше сведения из несколько источников и исследовательских работ, позволяющих отнюдь не с полнотой, но, в отдельных деталях, с наибольшей, на наш взгляд, точностью представить себе ситуацию, в которой пришлось работать Льву Николаевичу Толстому и близким его в голодные и холерные 1891 – 1893 гг., остановимся теперь на других значительных и так же могущих быть полезными работах наших предшественников за более чем столетие изучения нашей темы.

Первые исследования, посвящённые голоду 1891 – 1892 гг., появились в первое десятилетие после трагических событий. Бедственное положение населения вызвало широкий отклик среди современников. Продовольственные проблемы попали в поле зрения различных социальных и профессиональных групп российского общества — высокопоставленных государственных чиновников, видных политиков оппозиционных партий, учёных, врачей, писателей и литераторов, служащих различных учреждений. Вопрос о причинах голода стал, как мы уже сказали в первой части нашего Вступительного Очерка, не только предметом острых дискуссий, но и инструментом политического влияния на центральные органы власти, на правив-

шую династию Романовых. Зачастую авторами публикаций являлись непосредственные участники событий. Эти разноплановые издания, каждое по-своему трактующие причины голода, масштаб бедствия и акцентирующие внимание на различных его аспектах, отличающиеся глубиной анализа, сегодня сами выступают в роли исторических источников. (См. напр.: Ермолов А. С. *Наши неурожаи и продовольственный вопрос. Ч. I. Продовольственное дело в прошлом и настоящем.* СПб., 1909. С. 96 – 139; Плеханов В. Г. *О задачах социалистов в борьбе с голодом в России.* М., 1906; *Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства / Под ред. А. И. Чупрова, А. С. Постникова. Т. 1.* СПб., 1897; Эрисман Ф. *Питание голодающих // Русская мысль.* М., 1892. Кн. 4. Отд. 2. С. 128–155; Измайлов А. *Железные дороги в неурожай 1891 года.* СПб., 1895; и др.). Среди этих работ непременно называют и статьи публицистического, но выдающегося характера: В. Г. Короленко и Л. Н. Толстого и, намного реже, публикации сына его, Льва Львовича, объединённые в книгу мемуарных записок «В голодные года», опубликованную в 1900 году.

Интерес к проблеме голода 1891 – 1892 гг. в советской научной литературе возник в конце 1920-х гг. и был связан с изучением причин и последствий голода 1921 г. Следует помнить, что время это — время торжества большевистского режима и его пропитанной материализмом идеологии. По сравнению с «откровениями» верующих современников голода 1891 – 1893 гг. любая из работ подчинённых этой идеологии российских авторов становится шагом назад в осмыслении коренных, *духовных*, религиозных причин голодного бедствия. Как следствие, все дискурсы таких авторов толкуются вокруг нескольких второстепенных причин, как например, перенаселённость деревни или развитие средств транспорта мифологем: как, например, миф о «голодном экспорте» хлеба из России как главной причине голода.

В это время группа учёных под руководством В. Г. Громана предприняла детальный анализ статистических данных о влиянии неурожаев на народное хозяйство России на протяжении пятидесятилетнего периода, предшествовавшего кризису 1921 г. Авторы сборника представили ретроспективные данные о колебаниях урожайности на территории Европейской России, уточнили показатели динамики численности и естественного движения населения, рассмотрели влияние урожаев на уровень преступности. В качестве основной причины периодически повторяющихся неурожаев был назван «низкий уровень сельскохозяйственной культуры» (Череванин Ф. А. *Влияние*

колебаний урожаев на сельское хозяйство в течение 40 лет – 1883 – 1923 гг. // Влияние неурожая на народное хозяйство России. Ч. 1. М., 1927. С. 160). Характеризуя причины периодических продовольственных кризисов, В. М. Обухов рассчитал, что на протяжении 1883 – 1914 гг. рост урожайности «в небольшой степени отставал от роста населения» и вырос за указанный период на 52,5%. Рост численности населения за этот же период составил 59,1%, а общий рост «чистой сельскохозяйственной продукции», включая картофель и технические культуры, - на 90%. Выполненный им анализ урожайности зерновых культур показал, что самый плохой урожай за 32 года был в 1891 г., когда «валовый сбор с десятины был на 29% ниже урожайной нормы». Кроме того, неурожайными были 1889 г. (на 18,2% ниже нормы) и 1892 г. с недородом в 13,2% (*Обухов В. М. Движение урожаев зерновых культур в Европейской России в период 1883–1915 гг. // Там же. С. 14 – 15).* Рассматривая демографические последствия неурожая, В. А. Зайцев отметил высокие показатели смертности и сокращение рождаемости в следующие два года после неурожая 1891 г. Оценивая последствия голода, В. А. Зайцев отмечал: «Неурожай 1892 г. захватил большую территорию, причем в отдельных губерниях принял катастрофические размеры. И на почве недоедания в 1892 г. наблюдается огромная вспышка холерной эпидемии, захватывающая большую территорию. В губерниях, даже сравнительно немного пораженных неурожаем, эпидемия принимает большие размеры, благодаря заносу из соседних губерний» (*Зайцев В. Влияние колебания урожаев на естественное движение населения // Там же. Ч. 2. С. 7, 32, 54).*

Как отмечалось в исследовании Н. А. Егизаровой, причиной мирового аграрного кризиса являлась революция в средствах транспорта, позволившая конкурировать на европейском рынке дешёвому американскому, русскому и индийскому хлебу. Победителем в этой борьбе оказалась Америка, за ней шла Россия, дававшая треть мирового экспорта хлеба. Обострившаяся конкуренция и падение мировых цен на зерно негативно отражались на сельском хозяйстве Российской империи. В этих условиях российские экспортеры стремились сократить потери путём увеличения массы товарного зерна, вывозимого за границу. По мнению автора, продовольственный кризис 1891 – 1892 гг. был вызван так называемым «голодным экспортом» (*Егизарова Н. А. Аграрный кризис конца XIX века в России. М., 1959. С. 58–60, 83 – 93).* А. А. Арзуманян так же писал об обострении конкуренции на мировом рынке сельскохозяйственной продукции, которая вела к падению спроса и вызывала массовое разорение

мелкокрестьянских хозяйств. При этом, отмечает автор, «обнаружившееся перепроизводство ярко демонстрировало свой относительный характер. Цены падали, хлеб не продавался, а народные массы голодали, ибо их платежеспособный спрос был весьма низок» (*Арзуманян А. А. Аграрный кризис 80–90-х годов XIX в. в России // Экономические проблемы общественного развития. М., 1968. С. 19 – 186*).

Разделяет положения о «голодном экспорте» и Т. М. Китанина, впервые исследовавшая механизмы правительственной политики в области внутренней и внешней хлебной торговли. Описывая мероприятия, предпринятые правительством по борьбе с продовольственным кризисом, она, в частности, отмечает: «Правящие круги восприняли голод как "стихийное бедствие", не видя и не желая видеть его социальных корней. Помощь населению пострадавших районов носила характер полумер и осуществлялась медленно. Обычные в русской бюрократической практике ведомственные противоречия резко обострились и мешали принятию конкретных решений». Министерство финансов, возглавляемое И. А. Вышнеградским, попыталось противопоставить «стихийному бедствию» чрезвычайный акт – запрещение экспорта хлеба (*Китанина Т. М. Хлебная торговля России в конце XIX – начале XX века. Стратегии выживания, модернизационные процессы, правительственная политика. СПб., 2011. С. 103 – 110, 173 – 192*).

Детальный анализ масштабов неурожая и голода 1891 – 1892 гг. представлен в исследовании П. Н. Першина, уделившего этой проблеме особое внимание. Он отмечает, что неурожай и голод в России были «характерной особенностью» пореформенного развития крестьянского хозяйства. Причина сложившегося положения объяснялась тем, что «мелкое крестьянское хозяйство, разорённое выкупными платежами, чрезмерными налогами и высокой арендной платой, не могло сколько-нибудь рационально организовать производство». Неурожай 1891-1892 гг. отличался «исключительно большими масштабами бедствия», когда в зоне неурожая оказались свыше 40 млн. человек. По расчетам Першина, доля сельского населения, проживавшего в охваченных неурожаем 1891 г. местностях, составляла 59,6% от общей численности сельских жителей Европейской России, а в 1892 г. - 42,9%. «Неурожай и голодовки, - заключает автор, - обрекали население на массовые заболевания и вымирание. В местностях, пораженных неурожаем, обычно широко распространялись заболевания тифом, цингой, куриной слепотой, желудочными болезнями». Ссылаясь на исследования предшественников, он определяет

сверхсмертность населения за период 1891-1892 гг. в 650 тыс. человек (*Першин П. Н. Аграрная революция в России. Кн. 1: От реформы к революции. М., 1966. С. 44 – 62*).

Иной акцент в изучении проблемы голода 1891 – 1892 гг. сделан в исследованиях А. М. Анфимова, проанализировавшего фискальную политику царского правительства по отношению к крестьянству. По его мнению, основной причиной продовольственных кризисов было истощение материальных ресурсов крестьянских хозяйств вследствие чрезмерно высокой налоговой нагрузки (прямой и косвенной), а также значительных платежей в пользу помещичьего землевладения, совокупность которых не соответствовала финансовым возможностям деревни. По его мнению, созданная для решения продовольственного вопроса система общественных и государственных запасов была неэффективна и не могла решить проблему периодических неурожаев. Описывая масштабы и результативность продовольственной кампании 1891-1892 гг., он уточнял: «Продовольственная кампания 1891-1892 гг., исчерпав общественные и губернские капиталы и запасы, потребовала крупного пополнения общегосударственного капитала из сумм государственного казначейства. За 1890 – 1892 гг. из казны на заготовку хлеба и выдачу ссуд было отпущено 152 388 тыс. руб. Закупка хлеба земствами была проведена совершенно безобразно: земства, конкурируя друг с другом, взвинтили цены на хлеб, записав за крестьянами ссуды по этим повышенным ценам. Долги крестьян выросли до невероятных по тем временам сумм» (*Анфимов А. М. Экономическое положение и классовая борьба крестьян Европейской России. 1881–1904 гг. М., 1984. С. 119 – 120*).

Новой тенденцией развития советской историографии голода 1891 – 1892 гг. в 1970 – 1980-е гг. становится появление специальных исследований, посвящённых воздействию голода на общественно-политическую жизнь России, а также участию общественных (в частности, медицинских) организаций в оказании помощи пострадавшему населению.

Начиная с этого времени проблема голода 1891-1892 гг. стала рассматриваться как исследовательская тема, «достойная монографического изучения». По мнению Н. П. Соколова, голод 1891 – 1892 гг. можно определить как «национальный кризис», вполне сопоставимый «по значению и размерам с поражением в Крымской войне», а «активное участие широких слоёв общественности в борьбе с голодом» оценить как «начало нового общественного подъёма» (*Соколов Н. П. Голод 1891–1892 годов и общественно-политическая борьба в*

России: автореф. ... канд. ист. наук. М., 1987. С. 3, 19). Автор констатирует, что голод и продовольственная кампания 1891 – 1892 гг. дали мощный толчок процессам, предшествующим созданию политических партий. Именно в годы голода на базе благотворительных организаций были сделаны первые шаги в этом направлении: состоялась серия совещаний земских деятелей и либеральной интеллигенции, завязались знакомства и более тесные связи столичных деятелей с провинциями, имевшие большое значение для дальнейшего развития оппозиционного движения (*Там же. С. 192*). Господа демократы, самозваные заботники о народе, не только «кормили» его денежными и иными «благотворительными» подачками, но, под прикрытием этой деятельности, суеверно воспринимавшейся в лжехристианской, церковно-православной России в положительном ключе, готовили помогаемому (пока что) народу новые эпидемии и голод — связанные уже с последствиями революционных погромов страны в 1917 году и политикой большевицкой сволочи в позднейшие годы, вплоть до «талонно-карточного» голода 2-й полов. 1980-х — уже в городах СССР, куда из перманентно бедствующих деревень сбежало большинство населения.

Наконец, только приблизительно от юбилея А. Н. Толстого в 1978 году, а в основном уже в 1980 – 1990-е гг., в отечественной историографии голода 1891 – 1892 гг. оформляется особое тематическое направление, связанное с изучением благотворительной деятельности А. Н. Толстого. В фокусе исследовательского внимания оказывается и участие в деле помощи голодающему населению зарубежных филантропических объединений. В это время публикуется целый ряд эпистолярных источников, переводной литературы, воспоминаний иностранцев, участвовавших в благотворительных акциях помощи голодающим (см., напр.: Александров В. Ионас Стадлинг. *С Толстым на голоде в России // Литературное обозрение. 1978. № 9. С. 83 – 93; Уражцев В. История одной расписки (Лев Толстой и русский голод 1891 – 1892 гг.) // Вопросы литературы. 1986. № 8. С. 272–274; Щёлокова Е. Н. Письма американцев Толстому в голодный год (по материалам рукописного отдела ГМТ) // Яснополянский сборник 1992: статьи, материалы, публикации. Тула, 1992. С. 225–232; Журавлева В. И. «Это вопрос не политики, это вопрос гуманности»: документы о помощи американского народа во время голода в России 1891–1892 гг. // Исторический архив. 1993. № 1. С. 194–209).*

С начала 2000-х гг. данная тема получает ещё большее развитие. В работах Т. Виттакер, В. В. Носкова, Т. М. Китаниной, Д. М. Нечипорука, М. Сороки, В. И. Журавлёвой анализируются механизмы орга-

низации благотворительной деятельности по сбору в США и Великобритании денежных средств и продовольствия для голодающего населения России. Авторами отмечено, что на страницах периодической печати США велись острые дискуссии о целесообразности помощи «деспотической» и «азиатской» России Александра III (*Витмакер Т. Доллары Льву Толстому // Огонёк. 1992. № 6. С. 6–7; Сорока М. Квакеры и русский голод // Родина. 2011. № 12. С. 95 – 98*). Исследователи указывают, что 1891 – 1892 гг. были временем *первой* в отечественной истории масштабной гуманитарной (продовольственной) помощи со стороны Соединенных Штатов Америки. В это время в США возникли Комитеты содействия российским голодающим (*Носков В. В., Китанина Т. М. Америка и русский голод 1891–92 гг. // Russian Food Market. New York; Moscow; St. Peterburg. 1995. № 1. С. 54 – 57*). Отдельное внимание уделено деятельности сторонников Л. Н. Толстого, в частности *Изабел Флоренс Хэнгум* (1850 – 1928) – американской журналистки, переводчицы трудов Л. Н. Толстого на английский язык, являвшейся активной участницей сбора благотворительных средств в США в пользу голодающего населения России.

Суеверие «благотворительности» деньгами притягивало к себе зло политической и просто русофобской идеологической ангажированности и на Западе. Д. М. Нечипорук анализирует деятельность «Американского общества друзей русской свободы» (АОДРС), объединявшего разнообразные политические силы (от российских политических мигрантов революционного направления до представителей либерального направления общественной мысли в США) и показывает, что все статьи в издававшейся АОДРС газете «Свободная Россия» («Free Russia») носили в той или иной степени оппозиционно-политический характер, возлагая всю ответственность за голод на внутреннюю политику царского правительства (*Нечипорук Д. М. Освещение голода в России 1891–1892 гг. на страницах газеты «Free Russia» // Клио. 2005. № 3(30). С. 70 – 73; Он же. «Что американцы могут сделать для России?»: агитация Американского общества друзей русской свободы и журнал «Free Russia» (1891–1894 гг.) // Исторический ежегодник. 2008: сб. науч. тр. Новосибирск, 2008. С. 137 – 150*).

Исследователи демонстрируют, что восприятие российского голода отнюдь не было однозначным и в Великобритании. Кампания помощи голодающим во многом осуществлялась благодаря поддержке религиозных сообществ и при активном посредничестве представителей российского дворянства, проживавших за рубежом. Со своей стороны российские власти крайне осторожно воспринимали по-

мощь английских благотворителей: причиной тому были напряжённые дипломатические взаимоотношения двух государств (*Сорока М. Квакеры и русский голод // Родина. 2011. № 12. С. 95–98*).

Наиболее детально история оказания помощи голодающему крестьянству России американскими благотворительными обществами, а также анализ общественных дискуссий в США по этому вопросу представлены в научных статьях и монографии В. И. Журавлёвой. Автор подходит к проблеме голода 1891 – 1892 гг. в рамках широкого контекста взаимодействия культур, показывая разноплановое влияние филантропического движения американцев на процесс конструирования образа России в США. Оценивая важность и масштабы происходивших процессов, В.И. Журавлёва полагает, что «это был первый пример народной дипломатии в действии, так как помощь исходила от частных лиц, общественных объединений и отдельных штатов, и первая международная гуманитарная акция такого масштаба не только Американского общества Красного Креста, но вообще Соединённых Штатов». По её мнению, определить точные результаты филантропического движения в долларах и рублях достаточно сложно. Ссылаясь на оценочные данные американских исследователей, автор определяет её размер в 1-1,6 млн. долларов. Указанная сумма складывалась из стоимости гуманитарных грузов, отправленных пароходами, денежных пожертвований граждан, организаций и комитетов. Эти средства позволяли прокормить 800 тыс. человек в течение месяца, или 133 тыс. в течение 6 месяцев. Сопоставляя помощь, оказанную гражданами США, с аналогичной помощью европейских стран, В. И. Журавлёва полагает, что эта помощь выглядела «довольно весомой», но в то же время была «каплей в море» на фоне затрат российского правительства. В. И. Журавлёва отмечает, что спекуляторы Америки нехило нагрели лапы от запрета на экспорт зерновых в России с осени 1891 г. до весны 1892 г., а «благотворительное» движение, увязанное не на религиозном христианском служении личным трудом, а на деньгах и рынке, оказалось прекрасной рекламой американского сельскохозяйственного изобилия и способствовало расширению рынка сбыта кукурузы, в том числе и в России» (*Журавлева В. И. Понимание России в США: образы и мифы 1881–1914. М., 2012. С. 209–258*).

Параллельно с изучением зарубежной помощи расширялась источниковая основа исследований, публиковались новые документы, раскрывающие механизмы процесса сбора благотворительных средств. Среди таких документальных публикаций необходимо отметить совместный российско-американский проект, посвящённый

эпистолярному наследию Л. Н. Толстого. Его участниками был проанализирован и опубликован значительный массив писем Толстого и его американских корреспондентов, хранящихся в архивах и музейных фондах. Издание содержит ранее не известную переписку Л. Н. Толстого периода 1891 – 1892 гг. (*Л. Н. Толстой и США: переписка / Рос. акад. наук, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; [сост., подгот. текстов, коммент.: Н. Великанова, Р. Виттакер]. М., 2004*).

Другой особенностью отечественной историографии 1990-х гг. стало рассмотрение истории голода 1891 – 1892 гг. в контексте изучения системы продовольственного обеспечения населения. С этой точки зрения события 1891 – 1892 гг. оцениваются как один из ключевых этапов в развитии продовольственного дела в России. Структурная организация продовольственной системы и функционирование её отдельных элементов подверглись в конце XIX – начале XX в. существенным изменениям. Исследователи высказывают мнение, что голодовки населения являлись характерными для многовековой истории России. Как черта старого традиционного общества они были постоянным спутником крестьянства и в первой половине XX в. Одной же из ответных реакций правительства именно на голод 1891 – 1892 гг. явились попытки совершенствования системы продовольственного обеспечения: 18 февраля 1893 г. Александр III учредил Особую комиссию, результатом работы которой стало появление «Временных правил по обеспечению продовольственных потребностей сельских обывателей», утвержденных Николаем II 12 июня 1900 г. По мнению Г. Е. Корнилова, это способствовало созданию более действенной системы мер помощи населению в случае неурожая и голода (*Корнилов Г. Е. Формирование системы продовольственной безопасности населения России в первой половине XX века // Российская история. 2011. № 3. С. 91–101; и др.*).

Ещё одной тематической рамкой, куда современная историография помещает проблему голода 1891 – 1892 гг., являются дебаты о характере социально-экономического развития позднеимперской России и уровне жизни её населения. Одним из первых отечественных исследователей, предпринявших попытку опровергнуть господствовавший в советской историографии тезис о перманентном социально-экономическом кризисе в России конца XIX – начала XX в., был Б. Н. Миронов. Описывая масштабы неурожая и голода 1891–1892 гг., он указывает: «Из 50 губерний Европейской России пострадали 21, или 42%, и из 97 губерний и областей России – 27, или 30%. Сбор хлебов в 1891 г. в Европейской России оказался на 29% ниже многолетней нормы, а в масштабе империи — примерно на 21%.

Недобор зерна равнялся его ежегодному экспорту. С чисто количественной стороны запрещение вывоза обеспечивало страну недостающим хлебом. Однако российская инфраструктура того времени не позволяла решить проблему быстро и безболезненно. Несмотря на меры помощи, предпринятые правительством и общественностью, неурожай, как утверждалось в прессе, породил голод миллионов крестьян, погубивший до 500 тыс. человек. Эта цифра была получена некорректным путём — весь прирост смертности в 1892 г. сравнительно с 1891 г. отнесён на счёт неурожая». Это верно, но автор не проводит и прямой связи между голодом и разразившейся в 1892 г. эпидемией холеры, что, на наш взгляд, уже не вполне оправданно. Он полагает, что причиной массового распространения инфекции было то, что именно в голодные годы «люди плохо соблюдали правила личной гигиены и санитарно-гигиенические предписания». Вполне справедливо Б. Н. Миронов заключает о том, что «неурожай 1891 г. явился самым серьёзным испытанием за весь XIX в., но всё же пресса игнорировала позитивную динамику урожайности и смертности в пореформенное время, недооценивала деятельность коронной администрации и явно педалировала тезис о его феноменально тяжёлых последствиях как результате антикрестьянской аграрной политики» (Миронов Б. Н. *Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века. 2-е изд., испр., доп. М., 2012. С. 471 – 474*).

М. А. Давыдов делает вывод о «политической предвзятости» дореволюционных статистических исследований, а также историко-аграрных работ советского периода. Он также критически оценивает проблему «голодного экспорта», указывая, что «голод возник не только от бездумного форсирования экспорта хлеба», а вследствие проблем в организации системы продовольственного снабжения населения и «иждивенческих» настроений крестьянства. По словам историка, некомпетентность властей всех уровней была очевидна, однако если бы хлебозапасные магазины были «в порядке», если бы имелось то количество хлеба, которое должно было быть в них по закону, то «ужасов голода 1891 г. удалось бы избежать». В заключение своих рассуждений автор настаивает, что понятия «голод» и «голодный экспорт» в конце XIX - начале XX в. применялись прежде всего в целях антиправительственной пропаганды и именно поэтому впоследствии активно использовались в советской историографии (Давыдов М. А. *Очерки аграрной истории России в конце XIX – начале XX вв.: (по материалам транспортной статистики и статистики землеустройства)*. М., 2003; Он же. *Всероссийский рынок в конце XIX – начале XX вв. и железнодорожная статистика*. СПб., 2010. С.

230–361; и др.). При всей взвешенности и аргументированности, в основном, точки зрения данного автора нужно подчеркнуть, в свою очередь, что запрещение в 1891 году упоминания голода, употребления даже слова «голод» в отношении ситуации в губерниях для официальной печати не означало ни того, что голода не было, ни того, что *в обществе*, в частных изустных общественных дискурсах, включая и самые консервативные круги, эта самая ситуация именовалась как-то иначе.

Со сходных позиций события голода 1891 – 1892 гг. рассматривает В. Н. Круглов. Он стремится опровергнуть лживый тезис о бездействии царского правительства в условиях продовольственных кризисов и отмечает достаточно *высокую эффективность* системы продовольственного обеспечения населения. Исследователь анализирует климатические и социально-экономические причины, породившие голод, деятельность правительства и земства, а также оценку этих событий российской общественностью. «Активные и своевременные усилия государства и общества, — резюмирует автор, — позволяли предохранять население от голодной смерти». Но, очень по-русски не сумев «затормозить» на разумной стадии, Круглов скатывается в совершенное отрицание высокой смертности от голода, относя всплеск смертности, имевший место в 1891-1892 гг., к влиянию преимущественно эпидемий (*Круглов В. Н. Царь голод. Факты против мифов // Сборник Русского исторического общества. Т. 11 (159): Правда истории. М., 2011. С. 87–106*).

В отличие от Б. Н. Миронова, М. А. Давыдова и других историков, С. А. Нефёдов даёт негативную оценку динамики социально-экономического развития позднеимперской России. Голод 1891 – 1892 гг. он рассматривает как проявление структурного кризиса, охватившего страну. Как и позднее, при большевистской палаческой диктатуре, проведение политики индустриализации и усиление армии осуществлялись царизмом за счёт аграрного сектора экономики страны. В этих условиях правительство поощряло усиленный экспорт зерна, который был необходим для поддержания высокого курса рубля и создания золотого стандарта. При этом оно сознательно шло на временное снижение потребления хлеба внутри страны. «Урожайи в России сильно колебались, и вывоз хлеба большого урожая мог продолжаться не один год, — пишет С. А. Нефёдов, — после вывоза в текущем году в стране могли оставаться значительные запасы, тогда на следующий год независимо от урожая вывоз увеличивался и остаток хлеба в стране уменьшался... В 1889 году был неурожай, цены поднялись, но благодаря снижению транспортных расходов вывоз оставался выгодным, и это привело к тому, что

остаток на потребление упал до небывало низкого уровня». Поскольку запасы были истощены экспортом предыдущих лет, после неурожая 1890 — 1891 гг. разразился голод. Оценивая демографические потери от голода 1891 – 1892 гг., автор приводит данные Р. Роббинса, определившего сверхсмертность в России в этот период в 400 тыс. человек. Однако, по его мнению, рост смертности в результате нехватки продовольствия был значительно выше, он начался ещё в 1889 г., и составил за 1889 – 1892 гг. 1,75 млн человек (*Нефёдов С. А. История России. Факторный анализ. Т. II. От окончания Смуты до Февральской революции. М., 2011. С. 404–407; и др.*).

Весьма значительно для нашей темы и общее монографическое исследование С. А. Нефёдова «Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России», в которой автор, в частности, анализирует события, предшествующие голоду 1891 – 92 гг. с позиций неомальтузианства и демографически-структурной теории американского социолога Джека Голдстоуна. К этому анализу мы вернёмся ещё в ЗаклЮчении нашей книги.

Важно учитывать, что макроэкономические показатели не всегда объективно отражают положение крестьянского населения даже в масштабах отдельного региона. Крестьянство не представляло однородную структуру, в аграрном секторе экономики страны параллельно существовали как традиционная агрикультура с её экстенсивными технологиями, так и сравнительно развитые формы хозяйствования. Следовательно, заключает О. А. Сухова, и структура потребления не могла быть единой: относительный достаток и рост благосостояния могли соседствовать с нищетой. Мнение автора (не случайно совпавшее с мнением Л.Н. Толстого уже в письме о самарском голоде, о котором скажем в своём месте) хорошо описывает грубоватая народная мудрость: «От чего жирный похудеет, от того же худой подохнет». Голодовки усиливали разрыв в благосостоянии отдельных категорий крестьянства: голодали и болели до смерти обычные бедняки, вымывался в нищету средний слой. Задавленные нуждой крестьяне разорялись и покидали деревню в поисках сторонних заработков или превращались в сельских пауперов. Состоятельные же хозяева лишь беднели, теряли привычные доходы, а если были ещё и предприимчивы, то иногда даже преуспевали, наживаясь на бедственном положении своих соседей. Падающая год от года доходность традиционного хозяйства ставила крестьянина перед выбором: либо интенсификация земледелия и увеличение доли не связанной с земледелием производственной сферы, либо расширение землепользования. В конкретно-исторических условиях, с учё-

том особенностей крестьянской психологии, можно легко прогнозировать выбор большинством крестьян второго пути развития, однако легитимные способы разрешения данного противоречия, именно аренда или покупка земли, были чрезвычайно затруднены (Сухова О. А. *Десять мифов крестьянского сознания. Очерки истории социальной психологии и менталитета русского крестьянства (конец XIX – начало XX в.) по материалам Среднего Поволжья*. М., 2008. С. 147 – 150 и др.). Здесь впору напомнить читателю, что Толстой-христианин с 1880-х годов и практически до конца жизни авторитетно поддерживал миф крестьянского сознания о нехватке земли. Но он же пропагандировал мирное, ненасильственное решение «земельного» вопроса: *просвещение*, светское и религиозное, народа с перспективой не только знаниевой подпитки талантливых, способных работников, но и, главное, духовного христианского переворота в сознании народа, смягчения нравов, ориентации на общинную жизнь в единой живой (определяющей помыслы и поступки человека) вере и в любви.

Как можно видеть уже из этих, только некоторых из множества, авторов, проблема голода 1891 – 1892 (1893) гг. является популярной в современной российской историографии. Содержание работ направлено на такие аспекты, как благотворительность, филантропия, функционирование системы продовольственного обеспечения, деятельность государственных и земских органов управления по преодолению последствий голода, влияние голода на региональные рынки сельскохозяйственной продукции, демография и др.

Не обходится и в этой сфере, как везде в путинской России, без своих позорников — как правило, среди исследователей регионального уровня. Вообще исследователи рептильно-конъюнктурного подленького лагеря осторожно «обходят» в наши дни темы не только большевистских голодоморов, но и имперских, включая голод 1891-93 гг. Взявшись же — умудряются исследование своё, даже и хорошо начатое, вдруг превратить в идеологизированную фикцию, бесполезную, как минимум, для научной мысли, но полезную для путинских ревизионистов прошлого.

Приведём пример. Современный исследователь Олеся Юрьевна Николаева (сейчас уже, в замужестве, Панфёрова) среди общих для России *групп причин* «продовольственного кризиса», как это именует подпутинская, грантожорная, бюджетно-интеллигентская историография, или всё-таки **голода**, как назовём мы, 1891 – 1892 гг. выделяет несколько: природно – климатические (неблагоприятные метеорологические условия , сложившиеся зимой — весной 1891 г.,

которые привели к сильнейшему неурожаю зерновых), экономические (мировой аграрный кризис, низкая покупательная способность крестьян), социальные (консервативность крестьянства в способах и формах хозяйствования, тормозящая роль общины), политические (несовершенства в системе центрального и местного управления, недостатки в системе продовольственного обеспечения населения). Среди специфических региональных причин, катализировавших голодную нищету, характерных для засушливых губерний, как Оренбургская, о которой пишет О.Н. Николаева, или, например, Самарская, с которым Лев Николаевич связал на многие годы судьбу свою и своей семьи, следует назвать слаборазвитость в губернии промышленности как сферы альтернативного заработка для некоторой части сельского населения. Выделив только эти, действительно значительнейшие, но не исчерпывающие себя, общие причины «продовольственного» кризиса, Николаева предлагает и свою периодизацию его «этапов», опять же на примере его развития в Оренбургской губернии. Первым этапом она полагает май-октябрь 1891 г.: «собственно кризис ещё не начался, но об угрозе голода уже говорится в периодической печати и в донесениях чиновников с мест, а правительство предпринимает первые шаги по стабилизации продовольственной ситуации». Второй этап — с октября 1891 г. по январь 1892 г. — характеризуется «началом активных действий со стороны правительства, губернской администрации и местной общественности по борьбе с кризисом». Наконец, с февраля по август антикризисные планы правительства вкупе с получением нового урожая приводят к тому, что «кризис идёт на спад и к августу прекращается» (Николаева О.Ю. *Власть и общество в условиях чрезвычайной ситуации 1891 года. На материалах Оренбургской губернии // Известия Самарского научного центра Российской АН. 2015. Т. 17. № 3(2). С. 383*).

В этой периодизации выразился, с одной стороны, «светлый» миф имперской (во времена Толстого), а в наши дни консервативной подпутинской историографии, когда утверждается, что голод был вызван преимущественно природными катаклизмами вкупе с иностранным экономическим влиянием, а государство, ничем не усугубив, активно *решало* проблемы голода, с другой же стороны — тот самый городской, покровительственно-снисходительный взгляд на «кормимое и помогаемое» горожанами крестьянство, который, как мы покажем ниже, едва ли не более прочего оскорбил, возмутил в 1891 году Льва Николаевича Толстого, вызвав резкую отповедь в статье его «О голоде». Вся однобокая картина сводится Олесей Николаевной, юной путинской целовальщицей, ради карьеры, нужных

срак, к тому, что «тёмный», хозяйствующий рутинно (что правда) народ подвергся влиянию нежданных природных стихий (и о стихиях сказано не мимо), страдая от «кризиса» ровно до той поры, пока озабоченное (что тоже правда) правительство не помогло «дотянуть» до следующего, якобы обильного, урожая. Не говоря уже о том, что урожай 1892 года в России не был обилен, Божья душа есть даже у животных, и решение любого сложного, на уровне социальных гиперсистем, кризиса нельзя свести к раздачах кушаний и денег. Депрессивное психологическое состояние от множества несчастий и смертей распространилось по России, вызвав, как реакцию, массовые заболевания холерой и тифом даже в тех губерниях, которые не голодали и могли бы противостоять натиску эпидемий. Это мертвящее состояние на началось в 1891-м и не закончилось им!

При всём при том, вопреки реанимируемому, как мы покажем ниже, некоторыми пожилыми исследователями (и их верными учениками) «тёмному» советскому мифу о «бездействии царизма», нам следует подчеркнуть, что периодизация Олеси Николаевой, при всей её односторонности и условности, увязана с реальной, хотя и совершенно недостаточной, деятельностью правительства и местных администраций и земств.

Теперь продемонстрируем читателю образчик фальсификаций так же *полезных* путинизму, но с иными симпатиями — к идеологическим штампам «советской науки» — характерных для исследователей старшего, совкоголового поколения.

Типичная конъюнктурная крыса Надежда Афанасьевна Гаврилина (ТГПУ, Тула), в далёкой молодости, в самый расцвет перестройки и недолгой свободы слова, в 1989 г. защитила кандидатскую диссертацию по говорящей сама за себя “научной” теме «Партийное руководство в осуществлении связи вузовской науки с производством», достигла угодением, хитростью и подлостью карьеры декана факультета в Тульском пединституте, а недавно защитила и докторскую — как раз на “трендовую” тему о ненавистной Толстому господской *благотворительности*. В ходе её подготовки она выпустила ряд публикаций об участии в благотворительности Л. Н. Толстого, где мы с удивлением обнаруживаем, в связи с темой голода 1891 – 93 гг., всё те же, восходящие к историографии времён СССР, поклёпы на царя, правительство, земских деятелей, журналистов (кроме оппозиционных, разумеется), клонящиеся к утверждению едва ли не уникального значения инициатив Л. Н. Толстого и его семьи — в некоем противопоставлении пассивности и лжи прочих. Вот образчик суждений Н. А. Гаврилиной:

«Уже летом 1891 года в газетах стали появляться тревожные известия из разных губерний России и надвигающемся голоде. Однако ни правительство, ни земство, ни официальная печать не проявляли беспокойства. [...] Земства, взявшиеся за организацию помощи голодающим, не только не требовали от правительства серьёзной помощи, но в своих статистических сведениях всеми способами сокращали «едоков» — число крестьян, нуждающихся в продовольственной и денежной ссуде. А губернская администрация находила обычно преувеличенными или измененными и эти требования и часто уменьшала размеры помощи, а то и вовсе отказывала в ней» (цит. по.: Гаврилина Н. А. Взгляды Л.Н. Толстого на благотворительность в России. Клио. 2014. № 9. С. 6 – 10). Эти очень узнаваемые для каждого толстоведа строки восходят к статье Л. Н. Толстого «О голоде», но... непосредственно этот текст практически без изменений передут (т. е. сплагичен) Гаврилиной с книжки 1979 г. Л. Д. Опульской «Л.Н. Толстой. Материалы к биографии. 1886 – 1892», которая именно в части подобных оценочных суждений — давно устарела.

А уж из какой советской книжки списала Н. А. Гаврилина вот это, противно и представить себе:

«Ошибочно считая нравственное самоусовершенствование людей единственным средством общественного переустройства, Л. Н. Толстой отвергает насильственное изменение общественных отношений» (Там же). И так далее, по ленинским “лекалам”. Хоть покойная Лидия Дмитриевна и писала так же в эпоху идеологической несвободы — до таких “наездов” на Толстого, уровня школьного сочинения, она себя не унижала!

Конечно, в 1891-м немало подлил «масла в огонь» сам Толстой, подержав в своих статьях некоторые дурные слухи и пессимистические прогнозы. Л. Д. Опульская цитирует его статью «О голоде» — разумеется, вырывая из контекста рассуждения Льва Николаевича, имеющие всегда духовную опору в его чистой христианской вере, и смещая акценты в пользу идеологических установок времён СССР. А уж Н. А. Гаврилина, равнодушная карьеристка, никогда не имевшая собственно научных интересов установления Истины в своих исследованиях — тупо повторяет её полуложь. Ибо дерёт она, не восстанавливая контекста, чтобы тем самым выгоднее преподнести читателю Толстого как выдающегося «благотворителя».

Между тем на неправдивость такого акцентирования указывают уже первые строки статьи «О голоде», к которой восходят цитатки и у покойной, к сожалению, Л. Д. Опульской, и у пока живой Н. А. Гаврилиной:

«За последние два месяца нет книги, журнала, номера газеты, в которой бы не было статей о голоде, описывающих положение голодающих, взывающих к общественной или государственной помощи и упрекающих правительство и общество в равнодушии, медлительности и апатии.

Судя по тому, что известно по газетам и что я знаю непосредственно о деятельности администрации и земства Тульской губернии, упреки эти несправедливы. Не только нет медлительности и апатии, но скорее можно сказать, что деятельность администрации, земства и общества доведена теперь до той последней степени напряжения, при которой оно может ослабеть, но едва ли может ещё усилиться. Повсюду идёт кипучая, энергическая деятельность. [...] Ассигнуют, распределяют суммы на выдачу пособий, на общественные работы, делают распоряжения о выдаче топлива. В пострадавших губерниях собираются продовольственные комитеты, экстренные губернские и уездные собрания, придумываются средства приобретения продовольствия, собираются сведения о состоянии крестьян: через земских начальников — для администрации, через земских деятелей — для земства, обсуживаются и изыскиваются средства помощи» (29, 86).

И писаниями своими, и практической помощью крестьянам, Толстой лишь включился в эту разнообразную, уже совершавшуюся с середины 1891 года, работу — не только *предложив* от себя оригинальные и, как оказалось, *более продуктивные практики помощи* (прежде всего, столовые), но и *идейно* (христиански) *обосновав их* — в том числе в главе V этой же статьи, сделавшей всю её нецензурной и скандальной в искажённом восприятии чуждого христианству сознания ряда православных соотечественников Льва Николаевича.

На деле и правительство, и нормальная пресса, и в особенности земства делали в борьбе с голодом *немало*. В отличие от ситуации 1873 г. в Самарской губернии, когда Соня и Лев, действительно, буквально *обратили внимание* страны на народное бедствие, осенью 1891 г. Толстой с членами семьи и друзьями «влился» в уже начавшееся дело помощи, и если бы не огромность страны и масштабность голодного бедствия, не неподготовленность к нему властей, в особенности на местах; и если бы не *подозрительность* к уже одиозной для многих консерваторов в России фигуре «еретика» Толстого и к его *частной* инициативе (вполне наказуемой зачастую и в наши дни), тем более связанной со сбором крупных сумм денег; и если бы и не *слишком резкая* иногда полемическая фразеология в выступлениях Толстого-публициста, да не ряд иных несчастных обстоятельств, которые мы не обойдём вниманием ниже, так как они

нашли отражение в переписке Сони и Льва — никакого *противостояния* и сопровождающих его скандалов могло бы не случиться.

Вот вывод М. В. Сабашникова в его «Записках», конечно, чуть «припахивающий» либеральщиной, но в то же время отдающий должное мерам, реально принятым царским правительством:

«Как ни оценивать роль частной и общественной инициативы в оказании помощи голодающим, конечно, она была лишь каплей в море и имела преимущественно значение возбудителя правительственной деятельности. При колоссальном размере бедствия справиться с возникшими задачами могло только правительство мероприятиями государственного масштаба. В конечном счёте только ими и устранена была катастрофа. Однако беспечность и нераспорядительность центрального правительства и местных властей повели к тому, что населению пришлось перенести больше страданий, нежели это было неизбежно в силу сложившихся обстоятельств. Нельзя было дольше мириться с косностью крестьянского хозяйства, убогой необеспеченно стью, беспорядком и темнотою населения. Всякому непредубеждённому человеку стало ясно, что правительство не на высоте задач. Мысль, естественно, направлялась к упорядочению всей нашей государственной системы. Голодные годы вывели широкие общественные круги из реакции, в которой они находились, и вернули их к политике, что и проявилось вскоре при воцарении нового императора» (*Сабашников М.В. Записки. Письма. М., 2011. С. 163*).

Ложью советской историографии, повторяемой поныне не одной Н. А. Гаврилиной, является и утверждение о «малоземелии» крестьянства, о нерешённости аграрного вопроса как главной причине голода 1891 – 1893 гг. В статьях «О голоде» и «Страшный вопрос» Толстой оказался удивительным образом солидарен с выводами своего сына, А. Л. Толстого, а позднее и честнейших из числа учёных, о *сочетанном влиянии* целого ряда факторов, превративших постоянную нищету и недоедание крестьян в гуманитарную катастрофу.

Вот, для примера, соображения А. Н. Толстого о некоторых причинах, делающих неизбежным голод, в статье «Страшный вопрос»:

«...Соседние с Россией страны поражены таким же неурожьем и потому большое количество хлеба уже вывезено, и теперь в виде пшеницы продолжает вывозиться за границу».

Это одна из важных, по мнению Толстого, причин голода. А вот и другая:

«...Совершенно противно тому, что было в голодном 40-м году, в нынешнем году нет и не может быть никаких запасов старого хлеба.

С Россией случилось нечто подобное тому, что случилось, по рассказу библии, в Египте, только с той разницей, что в России не было предсказателя Иосифа, не было запасливого управителя — того же Иосифа; но были молотилки, железные дороги, банки и большая потребность в деньгах и правительства и частных лиц. Во все предшествующие года, более 7-ми, хлеба было много, цены были низки, но потребность в деньгах всё росла и росла, как она равномерно растёт среди нас, и удобства продажи, молотилки, железные дороги и агенты, покупатели поощряли к продаже и делали то, что хлеб продавался весь дочиста с осени. [...] В 40-м году были не только запасы помещиков и купцов, были везде по мужикам трёх- и пятилетние кладушки старого хлеба. Теперь обычай этот вывелся и нигде нет ничего подобного» (29, 119).

Как показывают современные исследования, систематические голодовки в тогдашней России были связаны в огромной степени с мощным фискальным прессом государства. В 1891 – 1915 годах произошло десять масштабных вспышек голода, пусть и уступавших по количеству жертв событиям 1891 года. При этом ни в одном случае неурожай не был тотальным — так, в 1891 году западные губернии и нечерноземные губернии Центра России дали неожиданно хороший урожай. Проблема заключалась в том, что у крестьян из голодающих губерний не было сбережений, чтобы купить этот хлеб, — весь излишек уходил на выплату налогов и на выкупные платежи. «Неприкосновенный запас» же во многих хлебных магазинах оказался не приготовлен.

Но обман людей трудящегося народа, ограбление их правительством и спекулянтами в интересах городских дармоедов — только часть картины. Много условий для голода создавали и сами «великорусские пахари» — рутинным, невежественным своим хозяйствованием. Лев Львович Толстой, младший из взрослых к тому времени сыновей Толстого, в ходе своего летнего путешествия по Волге, навещал «родные», связанные с воспоминаниями детства, долгое время владимые семейством Толстых земли в Самарской губернии и имел возможность оценить на месте причины и масштабы начинавшейся катастрофы. И о причинах (коренных: то есть помимо описываемой им страшной засухи 1891 года) он, в частности, пишет в своих воспоминаниях следующее:

«Поселенцы, явившиеся в Самарскую губернию, нашли здесь нетронутую, девственную, богатейшую почву. При самой ничтожной затрате труда степи давали им сначала баснословные урожаи. Двести пудов с десятины лучшей пшеницы-белотурки было обычным явлением. Новые поселенцы живо разбогатели. [...] Но вот проходит

несколько десятков лет — и картина заметно изменяется. Население увеличивается больше чем вдвое, земля выпахивается, травы становятся хуже, крестьяне беднеют. [...] Между тем крестьяне всё так же продолжают относиться к земле, всё так же сеют пшеницу под борону, всё так же надеются на то, что, «может быть, нынче уродит Господь». Но ни нынче, ни завтра, Господь больше не даёт урожая, и всё хуже становится крестьянское житьё. Навоз из-под скотины продолжает сжигаться в форме кизяка из года в год; народ продолжает оставаться без должной помощи, без энергичных руководителей. Несколько лет подряд перед 91 годом стоит засуха, что ещё больше влияет на плохие урожаи, и тем подрывает окончательно крестьянское хозяйство. И вот наступает засуха 91 года...» (Толстой Л.А. *В голодные годы. Записки и статьи. М., 1900. С. 5 – 6*).

Схожие выводы из наблюдений над земледелием в самарском Заволжье можно найти и у кн. В. А. Оболенского.

Такое же *сочетанное влияние факторов*: государственных поборов, продаж хлеба, погодных условий, невежества и нерационального землепользования, суеверий крестьянства, ошибок правительства в подготовке к голодным годам и пр. — называет в числе причин голода и Толстой. Поэтому своя доля правоты есть, вероятно, у каждого из отобранных нами для историографического очерка авторов — даже таких неприкрытых конъюнктурщиков и фальсификаторов, как Н. А. Гаврилина. Но всем им, современным исследователям русского голода, как прежде и советским, отчего-то затруднительно, в дополнение анализа графиков и статистик, взглянуть на затяжной «продовольственный кризис» и эпидемии в Российской империи, лишь «прорывавшийся» голодными годами и до событий 1891 — 1892 гг., и после них, гораздо проще и человечней. **Толстовскими глазами**: как на материальные выражения общего духовного неблагополучия, связанного не с одними материальными факторами, но и с «ушедшим в народ» в эту эпоху из дворянско-интеллигентских кругов кризисом традиционной церковной веры: с отсутствием актуального, действенного в повседневной жизни и встречающего доверие религиозного, духовного руководства со стороны духовенства господствовавшей в России христианской церкви; так же и, не в меньшей по значению степени — с нехваткой *любовного и заботливого отношения* к кормильцу-народу со стороны просвещённой и власть имущей элит Российского государства. Не по должности, не по необходимости в «годину бедствия», а всегда, и именно по христианскому сознанию.

Для великого яснополянца *значительнейшей* причиной катастрофы 1891 г. была, как мы покажем подробнее в основной части нашей книги, именно кастовая разделённость якобы «христианского» общества, которой имманентны не столько эксплуатация труда, сколько *неуважение* обитающих в городах российских «элит» к своим же кормильцам, к трудовому крестьянству. Все прочие причины, даже тесно связанные с неграмотным поведением самих сельских тружеников — так или иначе увязаны на этом неуважении в России людей к людям, как равным сёстрам и братьям в Боге и Христе: или как психологические и психосоматические (болезни) последствия такового отношения, или как внешние условия, усиливающие деструктивное действие глубинных, социопсихологических и религиозно-экзистенциалистических факторов. Трудящийся народ изнурён и физически, и морально от такого к нему отношения городских захребетников, напишет Толстой в 1891-м, и этот же вывод открыто повторит и в 1898 году в статье «Голод или не голод?».

Духовная заброшенность вкупе с ощущаемым неуважением, недоверием «разумных», богатых и властвующих, чувство *бесчестья*, как и понимание того, что честь народная *имеет право быть защищённой* от оскорбительного отношения, но для этого слишком мало, кроме локальных бунтов, возможностей — чем не *глубинные* причины малого противостояния выносливого трудового населения России засухам и пандемиям 1870 – 1900-х гг.? Конечно же, нельзя не признать сочетанного влияния факторов: и того, что голод и болезни увеличивали общую деморализацию, и того, что, как и в военных битвах, гибель самых мужественных и нравственно чутких людей (а зачастую и самых просвещённых среди народа, той самой «деревенской интеллигенции», которая, по воспоминаниям В. Г. Короленко, первой среди русских людей забила в 1891 г. тревогу) сгущала промеж выживших «власть тьмы», мешала преодолению тех невежества и омрачённости в крестьянских массах, которые внутренне, морально мешали противостоянию засухам и болезням и угрожали повторением и усилением опустошительного бедствия.

Кастовая обособленность дармоедов и неуважение их к тем, кого они же объедают и грабят никуда не делись и в современной нам путинской России. Как же не замалчивать и не врать ей о Толстом-христианине и Толстом-кормильце народа?

В обширных государствах с наклонностями имперского генезиса легче всего выживают халтурные политические режимы. Политическая традиция, которой исторически легче всего прикрывает себя халтура — это наследственная монархия в идеологическом союзе с

господствующей религией. А самые неизбывные, первобытные бедствия из числа тех, кои обрушиваются на головы обитателей такого извечно халтурного политического проекта, как Россия, это — война и голод, вместе со спутниками своими: эпидемией, обнищанием, деградацией физической и нравственной, деморализацией, упадком духа народного. Коротко сказать: с *гуманитарной катастрофой*. Природа человека достаточно зверска, а разум простецов примитивен, чтобы последним обстоятельствам помочь звонко провозглашённой «победой» в войне — которую идеологи-скрепотворцы режима часто норовят объявить великой и даже священной. Народу невдомёк, что побед в войнах *для него*, народа, а не разбойничьего гнезда, государства с имперскими замашками, быть не может. Побеждают элиты, денежная и управляющая верхушки таких разбойных гнёзд. Победа народа — в противостоянии обманам и вызванному безверием страху перед «врагом». Поверили, позволили втянуть себя в войну — всё, проиграли! Как правило, так и происходит в истории.

Но есть у людей слабых — недостатком ли знаний, умений демократического самоуправления или материальных ресурсов — враги настоящие. Помимо безверия и невежества, родителей и воспитателей всех пороков, к таковым относится и *голод*. Невежественный, омрачённый, одержимый соблазнами и, для спасения от грехов своих, вверивший себя суеверно попам ложного (церковного) христианства, вкупе с халтурщиками и дармоедами политическими, народ России не мог в Российской Империи периодически не голодать.

Что же касается причин второстепенных и сопутствующих голода, равно и оценки количества его жертв, нам представляется точка зрения упомянутого выше историка В.Н. Круглова наиболее коррелирующей со сведениями из источников, которые мы будем цитировать в основной части книги: писем участников дела помощи, объединившихся вокруг А.Н. Толстого, их выступлений в печати по поводу голода, их дневников и мемуаров.

Вот лишь несколько значительнейших отрывков из статьи В.Н. Круглова «Царь-Голод. Факты против мифов»:

«Постепенная миграция крестьянского населения в лесостепную и степную зоны привела к резкому увеличению сборов зерна в южных чернозёмных и степных районах (и падению зернового производства в районах традиционного земледелия — Центральном чернозёмном и Центральном нечернозёмном). Однако отсталые методы хозяйствования, присущие общинному земледелию, привели к быстрому истощению осваиваемых почв» (*Круглов В. Н. Царь голод.*

Факты против мифов // Сборник Русского исторического общества. Т. 11 (159): Правда истории. М., 2011. С. 87).

«1890 г. был в плане урожая хорошим, однако именно тогда проявились первые признаки трагедии следующего года: сильные морозы зимой при полном бесснежье из-за сильных ветров — поэтому весной 1891 г. не было половодья, от чего пострадали заливные луга. С мая началась засуха, сменявшаяся заморозками, а летом — уже настоящая жара, на юге и юго-востоке сопровождавшаяся суховеями. [...] По масштабам это был один из крупнейших неурожаев в России XIX в. Правда, надо иметь в виду, что в то же самое время имел место обильный урожай хлебов в губерниях Малороссии, Новороссии, на севере Кавказа, Юго-западе и в Прибалтике.

Неурожаем продолжился в 1892 г. [...] Всего в период 1891 – 1892 гг. голодало 30 млн. чел. 1893 – 1896 гг. были исключительно урожайными, хотя последствия небывало сильного, выходящего из ряда неурожая сказывались всё это время...» *(Там же. С. 88).*

«На внешнем рынке в предшествующие годы сложилась отличная конъюнктура на хлеб, посему, озабоченный поддержанием торгового баланса и высоких цен, министр финансов И.А. Вышнеградский поощрял вывоз, и долгое время противился принятию каких-либо ограничительных мер (на которых настаивал, к примеру, его заместитель А. С. Ермолов). [...] Видимо, популярная фраза “недоедим, но вывезем” (в дореволюционной версии: “Сами не будем есть, а будем вывозить!”), приписываемая министру, родилась именно из-за этой его политики.

[...] На низовом уровне системы продовольственного капитала, в общинах, царили большие неурядки, запасы сплошь и рядом оказывались неполны... Земства спешно принялись закупать хлеб у торговцев, но поднятая ими суматоха привела к резкому взвинчиванию цен на хлеб. Резко обозначилась проблема доставки продовольствия...

[...] Правительство принимало энергичные меры: так, на закупку хлеба и выдачу ссуд населению за 1890—1892 гг. было выделено в общей сложности 152, 3 млн. руб., на которые закупили около 1,7 млн. т. продовольствия, дополнительно 7 млн. руб. [...] Были организованы общественные работы для крестьян (строительные, лесные, обводнительные дорожные), хотя, как пишет А. С. Ермолов из-за недостатка кадров они дали весьма низкий эффект» *(Там же. С. 91 – 92).*

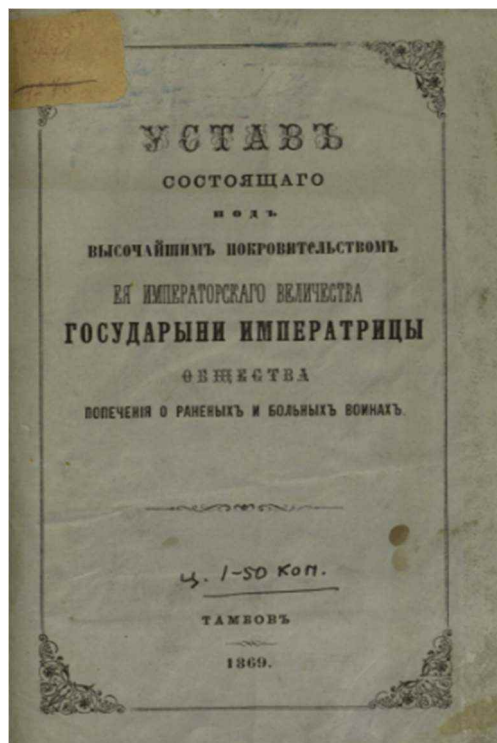
Эти “трудности с кадрами” на местах неплохо иллюстрирует в своих воспоминаниях соратница Толстого в борьбе с голодом, Вера Величкина:

«Всю зиму народ сидел без заработков, и тяжело было смотреть, как здоровые, крепкие мужики целые дни валялись на лавках. [...] В этой местности не было никакого кустарного промысла; народ был чисто земледельческий и ничего больше не умел делать. Как-то раз наняли кое-кого рубить лес и распиливать дрова. Недели через две три все вернулись ни с чем, голодные и оборванные. Они только поломали инструменты, а работать не могли» (*Величкина В.М. У Л.Н. Толстого в голодный год // Современник. 1912. Кн. 5 [Май]. С. 183*).

Кстати сказать, Лев Львович Толстой для организации и контроля работы столовых в Самарском крае привлекал солдат и священников — как людей более смыслённых и толковых, ежели среднестатистический «великорусский пахарь» той эпохи.

Несмотря на первоначальное недоверие и на желание сапмостоятельности, сын Льва Толстого оценил вскоре и слаженность работы профессионалов Российского общества Красного Креста (РОКК).

Деятельность Российского общества Красного креста, как и его мирового предтечи в Швейцарии, восходит к началу системной доврачебной помощи жертвам халтуры «своих» правительств, не умеющих прожить с соседями по планете без побоищ — то бишь о раненых воинах — и регулировалась первоначально Высочайше 3 мая 1867 года утверждённым «Уставом Общества попечения о раненых и больных воинах» (<https://elibrary.tambovlib.ru/?ebook=5174>). В 1879 г., по образцу швейцарского, российское Общество было переименовано в Общество Красного Креста.



Но правительство российское скоро ощутило необходимость расширения функций военно-спасательного общества до полномочий общегражданских. Именно поэтому в 1889 г. в Устав Общества были внесены изменения, касающиеся целей и задач Красного Креста. Согласно этому Уставу Российское общество Красного Креста «имело целью содействовать отечественной военной администрации в уходе за ранеными и больными воинами во время войны. В мирное же время Общество: принимало деятельные меры к возможно широкому обеспечению своих потребностей для военного времени, оказывало помощь увечным воинским чинам, а также помогало пострадавшим от общественных бедствий, употребляя на это суммы, специально собираемые на случай общественных бедствий» (*Устав Общества Красного Креста. Пенза, 1891. С. 3 – 4*). Одним из таких общественных бедствий стал голод начала 90-х гг. XIX в. За время голода 1891-1892 гг. в Российской империи было учреждено 22 губернских, 145 уездных, 1129 участковых и 352 сельских попечительств Общества. Кроме того, под флагом Красного Креста работало ещё в неурожайных местностях 118 частных лиц (*Ермолов А.С. Наши неурожайи и продовольственный вопрос. СПб., 1909. С. 112*). Общий план деятельности попечительств сводился к следующему: губернские попечительства получали все пожертвования и выделяя часть на помощь в самом губернском городе, куда стекались нуждающиеся из уездов, распределяли остатки между прочими попечительствами, от которых они получали постоянные и подробные сведения о ходе поступления к ним пожертвований, степени местной нужды и успехов, равно и проблем в деле в помощи бедствующим.

Уездные, участковые, сельские попечительства организовывались во всех нуждающихся районах. Действовали они самостоятельно, но под контролем губернского попечительства. В их состав входили уездные предводители дворянства, земские начальники, духовные лица, местные граждане, земские врачи, представители сельского управления и др.

Помощь выдавалась почти исключительно материальная: всякого рода питательными продуктами, одеждой, топливом и по возможности «приисканием работ». В случае необходимости оказывалась медицинская помощь. Для таких целей привлекался специальный женский санитарный персонал Общества.

Одним из основных направлений реализации благотворительных мероприятий Красного Креста была заготовка продовольственных запасов. Покупка производилась как при посредстве земских учреждений, так и через местных хлеботорговцев. Для купленного зерна,

обращаемого на местных мельницах бесплатно в муку, организовывались специальные склады в пунктах, лежащих близ наиболее пострадавших районов, а также в местностях, удобных для их распределения. Повсеместно устраивались пекарни, общественные столовые и прочие «питательные пункты». Во избежание злоупотреблений со стороны крестьян, помощь производилась с большой осмотрительностью и лишь в случаях не подлежащей сомнению нужды.

Помощь была весьма разнообразна и включала в себя, кроме «сиротских призрений», покупку лошадей, корма для скота, выдачу зерна для обсеменения полей, земледельческих орудий, организацию общественных работ. Лишь в исключительных случаях помощь оказывалась непосредственно деньгами.

Денежный фонд, составленный Обществом Красного Креста составил 4 835 000 рублей. Эта сумма сложилась из пожертвований, поступивших непосредственно в кассы Красного Креста, из сумм запасных капиталов Общества, из вырученных средств от продажи материальных пожертвований, из поступлений от Особого комитета, его местных органов и епархиальных комитетов, а также из пожертвованных продовольственных запасов и хлебов на сумму 1 450 000 рублей. Сумма, собранная Обществом Красного Креста, пошла на помощь 5,5 млн. нуждающихся (*Ермолов А.С. Указ. соч. С. 112 – 113*).

Особое место в этих цифрах — вкладу зарубежных отделений Общества Красного Креста, и прежде всего американского.

В России с 1 октября 1891 г. пожертвования для неурожайных местностей начали поступать, как в Главное управление Красного Креста, так и в местные комитеты. Наконец, когда 17 ноября 1891 г. был образован Особый комитет для помощи нуждающемуся населению в местностях, пострадавших от неурожая под председательством Наследника Цесаревича, будущего императора Николая II, все денежные пожертвования, включая и те, которыми распоряжалось Главное управление Красного Креста, были поставлены под контроль этого учреждения.

Государственная централизация коснулась и ряда удалённых губерний, не исключая Самарской, в которую отправится с благотворительной миссией сын писателя, Лев Львович Толстой. Деятельность губернских комитетов там была подчинена одному губернскому благотворительному учреждению под личным председательством губернатора.

Огромное значение деятельности РОКК признают и современные свободные от идеологической ангажированности исследователи:

«В России одновременно с действиями государственных органов

развернулась широчайшая благотворительная деятельность, во главе которой встал Особый комитет Наследника Цесаревича Николая Александровича. Под эгидой Комитета оказывалась помощь всем нуждающимся без различия сословий: поддержка хозяйств, борьба с болезнями и эпидемиями, снабжение безлошадных дворов лошадьми, закупка кормов для скота и семян для полей, сбор пожертвований, организация благотворительных лотерей. Активно действовало Российское общество Красного Креста (РОКК): оно осуществляло продовольственную помощь, закупку лошадейкорма для скота, земледельческих орудий, собрало в пользу голодающих 5 млн. руб. пожертвований. На эти средства было открыто 2763 столовых, 40 приютов и ночлежных домов, выдано 3,5 млн. обедов, помощь получили 35 тыс. голодающих. В районы, поражённые эпидемиями (с весны 1892 г. начали распространяться цинга, оспа, тиф, холера), Красный Крест направлял передвижные санитарные отряды» (*Круглов В. Н. Царь голод. Факты против мифов. Указ. изд. С. 92*).

В мемуарах «В голодные годы» Лев Львович Толстой рассказывает, как в худшее время эпидемий тифа, цинги и начавшейся холеры, в феврале и марте 1892 г., он добился привлечения такого санитарного отряда к работе в селе Патровке:

«И вот он приехал к нам, нашёл себе квартиры и сейчас же начал свою деятельность. Врачи ежедневно объезжали или обходили больных, желавших перевозили в больницы, фельдшера и фельдшерицы ухаживали за ними. Приезд отряда сильно поднял общий дух села, как и поднял наш. Не так страшны казались теперь болезни, когда каждый знал, что есть за ним надлежащий уход» (*Толстой Л.Л. В голодные годы. М., 1900. С. 89*).

Непосредственно к нашей теме В. Н. Круглов сообщает следующее:

«За счёт частной благотворительности открывались столовые и питательные пункты (свыше 10 тыс.), пекарни (обслужившие в целом свыше 636 тыс. чел.), покупались лошади и корм...

Иностранные исследователи оценивают предпринятые правительством меры чрезвычайно высоко — так, американский исследователь Р. Роббинс называет их «remarkably successful» («в высшей степени успешными»), указывая, что «помощь получили более 12 миллионов человек и голодный мор был в значительной степени предотвращён». Увы, действия правительства, отмечает Роббинс, «зачастую подвергались несправедливой критике <прежде всего, в среде городской «оппозиционной» интеллигентской сволочи. — Р. А.>. В результате [голод положил] начало новой волне оппозиции царскому режиму». Крестьяне, впрочем, усилия оценили...» (*Круглов В. Н. Царь голод. Факты против мифов. Указ. изд. С. 92*).

Наконец, в отношении цифр смертности в голод 1891 – 1892 гг. В. Н. Круглов придерживается разумной скептической позиции тех, кто оценивает её не в «миллионы», даже не во многие сотни тысяч чел., а в 350 тысяч, с общими демографическими потерями (превышение обычной смертности) немногим более чем на 650 тысяч человек (*Там же. С. 99*). И это *максимальная* цифра, из числа названных исследователями, выкладкам и выводам которых В. Н. Круглов может доверять.

На этом остановимся... Ниже, анализируя обмен письмами по поводу голода с Толстым Н. С. Лескова, мы снова затронем проблемы истории и историографии голода и “попутно” скажем пару ласковых о лганье казённого толстоведения по поводу «ошибочной» установки Толстого на нравственное самосовершенствование, якобы *исключительно* выразившейся в его писаниях о голоде в России.

Здесь Конец Историографии





Предыстория Первая, или **САМАРСКАЯ ГОЛОДНАЯ УГРОЗА** (Годы 1871 - 1873)

Своеобразной «прелюдией» к деятельности Льва Толстого с членами семьи в 1891 году является его деятельность в году 1873-м, имевшая в то время, в соответствии с исповедуемой ещё им верой церковного «православия», характер именно «барской», отчасти даже хозяйской благотворительности, впоследствии, с христианских позиций, осужденной и отринутой Толстым.

Первая поездка Л.Н. Толстого в Самарскую губернию состоялась в мае 1862 года. Решение было принято по настоянию врачей. Они рекомендовали писателю всерьёз заняться поправкой здоровья, подорванного напряжённой работой. Год был для Льва Николаевича очень тяжёлым: утомительная работа в Яснополянской школе, хлопоты по изданию журнала «Ясная Поляна», смерть старшего брата, неустроенность и экзистенциальный вакуум в личной, семейной жизни — всё это пошатнуло здоровье писателя. В те годы в среде «обеспеченных» классов общества явилась мода на кумысолечение, что и определило выбор Толстым места.

12 мая 1862 года Лев Николаевич покинул Ясную Поляну, взяв с собой слугу Алексея и двух крестьянских мальчиков – Васю Морозова и Егора Чернова, учеников Яснополянской школы. На лошадях доехали до Москвы, потом по железной дороге прибыли в Тверь, где пересели на пароход вниз по Волге. 26 мая они уже знакомились с Самарой. На другой день Лев Николаевич писал отсюда своей милой воспитательнице, тётиньке Татьяне Александровне Ёргóльской: «Я нынче еду из Самары за 130 вёрст в Каралык, — Николаевского уезда. [...] Путешествие я сделал прекрасное, место мне очень нравится, здоровье лучше, т. е. меньше кашляю» (60, 427). Из воспоминаний Василия Морозова — того самого ученика Яснополянской школы, что путешествовал с Толстым: «Из Казани мы добрались до Самары, из Самары опять нам пришлось ехать на лошадях 130 вёрст... Ну, слава богу, приехали на место! Это была степь, ни одной деревни не было видно, ни лесочков, ни кусточков, только видны неустроенные какие-то кибитки войлочные. Мы остановились у одной из кибиток. Здесь нам была квартира – кочёвка.

Кибитка наша была не тесная, четверым нам было просторно. [...] Вскоре принесли нам два больших старых ковра и ещё какой-то войлок. Ковры были расстелены на земляном полу, а войлок был принесён для постели Льва Николаевича. В кибитке стало опрятно, как изнутри, так и снаружи. Кибитка была большая, с целую просторную избу, кругообразная, построена была на каких-то кольшках и перекладках, покрыта и обтянута довольно свежими войлоками. Наша кибитка стояла в числе многих других кибиток, расположенных в два ряда друг против друга. Но из всего этого лагеря наша кибитка выделялась своим опрятным, богатым видом.

[...] Вот незаметно прошло две недели с нашего приезда к башкирам. Нам показалось у них весело, мы скоро привыкли к башкирам, и башкиры к нам. В особенности полюбили все башкиры Льва Николаевича, от старого и до малого; он способный с кем как обойтись: с некоторыми стариками беседовал серьёзно о вере, Боге, Аллахе, с некоторыми шутил до весёлого смеха, а с некоторыми происходил все башкирские игры, и во всём он участвовал. И всякий его любил за своё, и это продолжалось каждый день за всё время, что мы там прожили» (Морозов В.С. Путешествие с Л.Н. Толстым в Самарскую губернию // Воспоминания яснополянских крестьян о Л.Н. Толстом. Тула, 1960. С. 80, 84).

Следующий раз Лев Николаевич Толстой вместе с шурином Степаном Андреевичем Берсом и слугою Иваном Васильевичем Суворовым отправляется на отдых в самарские степи. 15 июня 1871 года он снова приехал в башкирские кочевья. Постепенно он втягивался в степную жизнь, и всё сильнее хотелось ему устроиться в этих местах, крепла мысль о приобретении земли. В сентябре того же года он покупает за 20 000 рублей у полковника Н.П. Тучкова в районе сёл Гавриловки и Патровки, ныне Алексеевского района Самарской области, 2500 десятин земли, на которых проживало около 2 тысяч крестьян. Отныне устанавливается постоянная связь писателя с Самарским краем. С тех пор посещение Львом Николаевичем заволжских степей стали ежегодными.

В июле 1872 года Лев Николаевич из Нижнего Новгорода на пароходе отплывает в Самару. В новое имение приезжает на полмесяца, руководит строительством хозяйственных построек, работает над арифметикой для 3-й книги «Азбуки».

А летом следующего, 1873-го, года вся семья Толстых с С.А. Берсом прожила на самарском хуторе около двух месяцев. Имение ещё не было отстроено, и жили они в плохоньком деревянном домике, неподалёку от которого стояли амбар и две войлочные кибитки башкир-

кумысников. Здесь была закончена подготовка к переизданию романа «Война и мир».



Лев Толстой в степях Башкирии. 1978. Холст. Масло. Худ. Амир Арсланов

Побывавшие позднее, в голодные 1891 – 1892 гг. и участвовавшие тогда в помощи крестьянам в Самарском крае средний сын Толстого Лев Львович Толстой (1869 – 1945) и кн. Владимир Андреевич Оболенский (1869 – 1950) едины в мемуарах в своей оценке деятельности земледельцев края как азартной (см.: Оболенский В., кн. *Воспоминания о голодном 1891 году // Современные записки. Вып. VII. Париж, 1921. С. 268 – 270; Толстой Л.Л. В голодные года. М., 1900. С. 120 – 121*). Эта игра на урожай и делалась одной из причин неизбежности голодных бедствий в крае. Воспоминания об этом кн. Оболенского, в его поездке на хутор Мордвиновку (имение гр. Бобринских), как более “сочные”, живые приводим ниже почти без сокращений.

«— Вы из Рассеи?

Этот вопрос ставил меня в тупик. Как будто Самарская губерния не Россия.

— А у вас тут разве не Россия?

— По нашему здесь сибирская сторона, а Рассея за Волгой.

И действительно тут было всё иначе, чем в знакомой мне средней и северной России. Бесконечные пространства волнистых степей, по которым можно было ехать 10-20 вёрст, не встретив ни одного жилья. Вереницы верблюдов, проектирующихся на горизонте, в виде правильных цепочек с петельками и крючочками. Мороз в 30 – 35 градусов, при которых путешествие в 100 – 200 вёрст не представляется экстравагантным.

Вместо грязных деревенок с покосившимися хатками, так похожими друга на друга, громадные сёла в 800 – 700 дворов, с хорошо построенными широкими избами в центре, где живут богатые хозяева, и с маленькими землянками на окраинах, отведённых для безземельной бедноты.

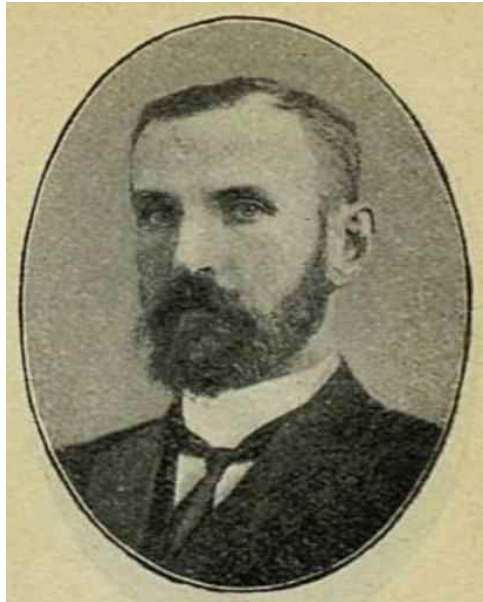
Вместо помещичьих усадеб со старыми липовыми аллеями и белыми колоннами стиля ампир, громадные, воздвигнутые среди голой степи амбары, рядом с которыми домик владельца или управляющего хутора кажется каким-то жалким приживальщиком. Эти амбары, видные за несколько вёрст, являлись как бы символом всего содержания местной жизни. Все помыслы местного населения были направлены к заполнению амбаров...

Огромные пространства целинных и залежных земель давали возможность земледельцам почти беспредельно расширять свои посевы, а плодородная почва в дождливые годы родила пшеницу в изобилии. Зато, если наступала засуха, то всё выгорало, и семян не собирали. Эта неустойчивость урожаев с постоянной сменой урожайных и неурожайных годов придавала занятию земледелием характер азартной игры. Пшеничным азартом были заражены все: крестьяне, помещики, купцы, священники, врачи, учителя, акушерки.

Крупные и мелкие игроки ежегодно ставили ставки на урожай. Кому везло, кому нет. Одни богатели и превращались в несколько лет в крупных посевищиков сначала арендованных, а затем и собственных земель, другие из богачей в один год обращались в нищих и снова вступали в азартную игру, уменьшая ставку с тысячи пудов до десяти.

Наиболее удачливые игроки скупали земли и, превратившись из Ивановых и Петровых в Иванычей и Петровичей, прекращали игру, становились собственниками пшеничной рулетки, собирая доходы со сдаваемых в аренду земель, весь риск игры перекладывая на арендаторов. В Николаевском уезде было несколько таких разжившихся на пшеничной игре семей. И фамилии у этих богачей были хлебные — Аржановы, Пшеничные...

Надельные крестьяне, имевшие большие наделы (помещичьи свыше 6 десятин, а государственные — свыше 15 на ревизскую душу) засеивали свою землю и приарендовывали на стороне столько, сколько могли запахать и засеять. Все запасы зерна шли на расширение посевов.



Кн. В.А. Оболенский

Поэтому неурожайный год сразу уничтожал всё их благополучие. Хозяйства, имевшие по три плуга лошадей (12 штук), в одну зиму распродавали их и весеннюю пахоту работали «супрягой» с соседями. И в просторных, красивых избах водворялась подлинная нужда.

[...] Страна лёгкой наживы и столь же лёгкого разорения действительно не была похожа на знакомую мне Россию, где крестьяне настолько сжились с своей извечной нуждой, что даже не верят в возможность «праведного» пути обогащения.

Россия была там, за высоким берегом Волги... А здесь — «сибирская сторона», нечто среднее между Россией и Америкой, страна, в которой американская предприимчивость причудливо комбинировалась с русской ленью, свободолюбие с раболепством, коммерческая оборотливость с тёмными суевериями» (Оболенский В., кн. *Воспоминания о голодном 1891 году* // Указ. изд. С. 268 – 270).

Вот и Лев Николаевич Толстой, вложив огромные суммы в приобретение суливших семье (и принесших впоследствии) огромные доходы земель в самарской степи, как и всякий на его месте, очень

надеялся на скорую компенсацию расходов — то есть на *удачу*. Однако в последнем судьба Толстому напрочь отказала: годы 1871-й, 1872-й и 1873-й оказались в той местности неурожайными... Зной выжег поля, погибли посевы в окрестных деревнях. Усугубляла положение и примитивная агротехника, применявшаяся на полях. Ещё 12 июля 1872 г. Толстой писал жене из Самары, по дороге на свой хутор: «Чем ближе подъезжал я к Самаре, тем мрачнее слухи об урожае. Говорят — всё пропало. У Тимрота я узнал следующее: то, что возшло весной, очень редко, то всё засохло» (83, 208).

Упомянутый в письме Толстого Тимрот — вероятно, *Егор Александрович Тимрот* (1831 – 1908), сосед Толстого по самарскому имению, по профессии адвокат. Толстой познакомился с ним в 1871 г. и поручил ему управление своей землёй.



Е.А. Тимрот

В 1873 г. пострадали от неурожая уже все восточные, часть северных и южных губерний. Некоторые же уезды Самарской губернии постиг настоящий голод. Местные газеты предупреждали о необходимости принять меры для обеспечения населения Самарской губернии хлебом. Частные пожертвования были незначительными. В Самарской же губернии местная администрация не только не принимала никаких мер для облегчения положения крестьянского населения, но даже старалась скрыть положение дела с продовольствием, собирала недоимки и продолжала сообщать министерству, что всё обстоит благополучно. Не удалось! Это было первое серьёзное народное бедствие, со времени передачи в 1866 г. продовольственного дела в руки земских учреждений. Благодаря этому на начавше-

еся народное бедствие было обращено внимание прессы, взбудоражившей общественное мнение, причём первым застрельщиком в этом деле оказался Л. Н. Толстой. Муж и жена Толстые (в первый, но не в последний раз!) «забили тревогу» наконец на всю страну, подготовив в конце июля 1873 года статью с призывом о материальной помощи самарским крестьянам. Не самым известным фактом является то обстоятельство, что инициатива по организации помощи кормильцам страны, пострадавшим от неурожая, принадлежала Софье Андреевне. Вот собственный её рассказ из мемуаров «Моя жизнь»:

«Голод в нашей стране <т.е. в Самарском крае. – Р. А.> делался всё ощутительнее, и я не могла себе представить, как население проживёт и прокормится зиму. Тогда я решила написать в газетах статью с призывом к помощи. Статью эту я показала Льву Николаевичу. “Кто же тебе поверит без всяких данных”, — сказал он.

И тут же он решил объехать с братом жены Степаном ближайшие деревни и сделать опись семей и едоков по избам через десять дворов, наугад, так как все избы переписать было невозможно. Моя статья, разумеется, уже не была напечатана, а «Московские ведомости» напечатали статью Льва Николаевича с описью голодных семей, считая одну через десять дворов. Публика не поняла этого счёта, и многие посылали пожертвования именно тем семьям, о которых упоминалось в статье» (МЖ – 1. С. 222).

Опись Лев Николаевич заверил у местных властей. Сельский староста «по безграмотству» приложил должностную печать, писарь Ф. Афанасьев расписался, а церковный служитель сделал надпись: «Сие описание верно. Самарской епархии священник Михаил Соловьёв» (Афанасьев И.П. Л.Н. Толстой в самарском Заволжье. – Куйбышев, 1984. С. 13).

Приводим ниже текст этой небольшой статьи, точнее «Письма к издателям» Льва Николаевича, в сокращении.



С.А. Берс. Фото 1870 г.

«Прожив часть нынешнего лета в деревенской глуши Самарской губернии и будучи свидетелем страшного бедствия, постигшего народ, вследствие трёх неурожайных годов, в особенности нынешнего, я считаю своим долгом описать, насколько сумею правдиво, бедственное положение сельского населения здешнего края и вызвать всех русских к поданию помощи пострадавшему народу.

[...] 1871 год был в Самарской губернии неурожайный. Богатые крестьяне, делавшие большие посевы, уменьшили посевы, стали только достаточными людьми. Достаточные крестьяне, также уменьшившие посевы, стали только ненуждающимися. Прежде ненуждавшиеся крестьяне стали нуждаться и продали часть скотины. Нуждавшиеся прежде крестьяне вошли в долги, и явились нищие, которых прежде не было.

Второй неурожайный год, 1872, заставил достаточных крестьян ещё уменьшить посев и продать излишнюю скотину, так что цена на лошадей и на рогатый скот упала вдвое. Ненуждавшиеся крестьяне стали продавать уже необходимую скотину и вошли в долги. Прежде нуждавшиеся крестьяне стали бобылями и кормились только заработками и пособием, которое было им выдаваемо. Количество нищих увеличилось.

Нынешний, уже не просто неурожайный, но голодный год должен довести до нужды прежде бывших богатыми крестьян, и до нищеты и голода почти $\frac{9}{10}$ всего населения.

Едва ли есть в России местность, где бы благосостояние или бедствие народа непосредственное зависело от урожая или неурожая, как в Самарской губернии.

Заработки крестьян заключаются только в земледельческом труде: пахоте, бороньбе, покосах, жнитве, молотьбе и извозе.

В нынешний же год, вследствие трёхлетнего неурожая, посевы уменьшились и, уменьшаясь, дошли до половины прежних, и на этой половине ничего не родилось, так что у крестьянина своего хлеба нет и заработков почти нет, а за те какие есть ему платят $\frac{1}{10}$ прежней цены, как например, за жнитво, которого средняя цена была 10 руб. за десятину, нынешний год платили 1 р. 20 коп., так что крестьянин вырабатывает в день от 7 до 10 коп.

Вот причина, почему в этот третий неурожайный год бедствие народа должно дойти до крайней степени.

Бедствие это уже началось, и без ужаса нельзя видеть народ даже в настоящее время, летом, когда только начинается самый бедственный год и впереди ещё 12 месяцев до нового урожая, и когда ещё есть кое-где заработки, хотя на время спасающие от голода.

Проехав по деревням от себя, до Бузулука 70 вёрст, и в другую сторону от себя до Борска 70 вёрст, и ещё до Богдановки 70 вёрст, и заезжая по деревням, я, всегда живший в деревне и знающий близко условия сельской жизни, был приведён в ужас тем, что я видел: поля голые там, где сеяны пшеница, овёс, просо, ячмень, лён, так что нельзя узнать, что посеяно, и это в половине июля. Там где рожь, поле убрано или убирают пустую солому, которая не возвращает семян; где покосы, там стоят редкие стога давно убранные, так как сена было в десять раз меньше против обычных урожаев, и желтые выгоревшие места. Такой вид имели поля. По дорогам везде народ, который едет или в Уфимскую губернию и на новые места, или отыскивать работу, которой или вовсе нет, или плата за которую так мала, что работник не успевает выработать на то, что у него съедают дома.

По деревням, во дворах, куда я заезжал, везде одно и то же: не совершенный голод, но положение, близкое к нему, все признаки приближающегося голода. Крестьян нигде нет, все уехали искать работы, дома худые бабы с худыми и больными детьми, и старики. Хлеб ещё есть, но в обрез; собаки, кошки, телята, куры худые и голодные, и нищие, не переставая подходят к окнам, и им подают крошечными ломтиками или отказывают».

Дальше Толстой представляет результаты своего объезда и описи каждого десятого двора, и заключает, что, хотя сами крестьяне в разговорах и храбрятся, а катастрофа в их привычно-тяжёлой жизни неизбежна:

«Крестьянин, несмотря на то, что сеет и жнёт, более всех других христиан живёт по евангельскому слову: “птицы небесные не сеют, не жнут, и Отец Небесный питает их”, крестьянин верит твёрдо в то, что при его вечном тяжком труде и самых малых потребностях Отец его Небесный пропитает его, и потому не учитывает себя, и когда придёт такой, как нынешний, бедственный, год, он только покорно нагибает голову и говорит: “прогневали Бога, видно за грехи наши”».

Из приложенного расчёта видно, что в $9/10$ семей не достанет хлеба. Что ж делают крестьяне?» Во-первых, они будут мешать в хлеб пищу дешёвую и потому не питательную и вредную: лебеду, мякину (как мне говорили, в некоторых местах уже это начинают делать); во-вторых, сильные члены семьи, крестьяне, уйдут осенью или зимой на заработки, и от голоду будут страдать старики, женщины, изнурённые родами и кормлением, и дети. Они будут умирать не прямо от голода, а от болезней, причиной которых будет дурная, недостаточно питательная пища, и особенно потому, что самарское

население несколькими поколениями приучено к хорошему пшеничному хлебу. Прошлого года ещё встречался кое-где у крестьян пшеничный хлеб, матери берегли его для малых детей; нынешний год его уже нет и дети болеют и мрут. Что же будет, когда не достанет и чистого чёрного хлеба, что уже и теперь начинается?

Страшно подумать о том бедствии, которое ожидает население большей части Самарской губернии, если не будет подана ему государственная или общественная помощь.

Подписка, по моему мнению, может быть открыта двоякая: 1) подписка на пожертвования и 2) подписка на выдачу денег для продовольствия заимообразно, без процентов, на два года. Подписка второго рода, то есть выдача денег заимообразно, я полагаю, может скорее составить ту сумму, которая обеспечит пострадавшее население Самарской губернии и, вероятно, земство Самарской губернии возьмёт на себя труд раздачи хлеба, купленного на эти деньги, и сбора долга в первый урожайный год.

Граф Лев Толстой.

28-го июля

Хутор на Тананыке» (17, 61 – 63, 69 — 70).

Отсылая письмо к издателям, Толстой приложил к нему 100 рублей как первый вклад в фонд помощи голодающим.

А через два дня, чтобы «подвинуть дело», посылает письмо к А. А. Толстой, в котором излагает боль своих впечатлений и просит «заинтересовать сильных и добрых мира сего». «...Я написал в газеты с свойственным мне неумением писать статьи, очень холодное, неуклюжее письмо и от страха полемики представил дело менее страшным, чем оно есть... Я не люблю писать жалостливо, но я 45 лет живу на свете и ничего подобного не видел и не думал, чтобы могло быть. Когда же представишь себе, что будет зимою, то волос дыбом становится» (62, 43 – 44).

В пакет для А. А. Толстой Лев Николаевич вложил копию своего письма «К издателям».

Примечательно, что в эти, относительно либеральные годы статью охотно опубликовали первыми именно «Московские ведомости» (1873, № 207) — те самые, которые позднее, эволюционировав в консервативный лагерь, в голод 1891 – 1892 гг., предпримут нелепую информационную войну с Толстым в связи с попыткой публикации

им статьи «О голоде» — более глубокой, нежели статья 1873 г., содержащей социально-злободневные выводы, в которых выразится новое, христианское религиозное жизнепонимание Льва Николаевича.

В 1891 году и позднее Толстому, уже христианину, приходилось применяться к жизнепониманию тех, от кого он ждал поддержки. В 1873-м же он говорил ещё с миром на одном языке — именно как «благотворитель», верующий в достаточность и благо помощи деньгами. Впрочем, именно она и была нужнее прочего тогда самарским крестьянам — довольно в прежние годы зажиточным.

Появившееся в газете письмо Толстого изменило ситуацию: помимо побуждения частных жертвователей, была организована и существенная правительственная помощь голодающим. Алексей Сергеевич Ермолов (1847 – 1917), министр земледелия и государственных имуществ (1894 – 1905), в фундаментальном исследовании 1909 г. описывал ситуацию с самарским голодом в 1873 году — в котором он уже состоял на государственной службе при Министерствах госимуществ и финансов — следующим образом:

«1873 год оказался для Самарской губернии ещё более бедственным. Однако местное начальство и тогда отрицательно отнеслось к вопросу о выдаче населению продовольственных ссуд, ссылаясь на то, что уже выданные ранее пособия не вполне достигли цели, возбуждая в сельском населении преувеличенные надежды на постороннюю помощь и тем самым отнимая у него побуждения к личному труду. Вместо ссуд и пособий, Самарский губернатор ходатайствовал о доставлении населению заработков путём скорейшего начатия работ по проведению Самаро-Оренбургской железной дороги и открытия общественных работ по устройству ирригации полей и лесонасаждению на казённых степных участках.

[...] Для продовольственных же и семенных нужд населения Самарской губ. было тогда же отпущено свыше одного миллиона рублей, причём точно были определены как условия выдачи ссуд хлебом, а не деньгами, и не всем крестьянам поголовно, а только наиболее нуждающимся, — так и условия возврата ссуд, из следующего урожая в отношении ссуд семенных, и с расерочкой на три года без процентов — ссуд продовольственных. В то же время сделаны распоряжения о приостановке взысканий казённых сборов и недоимок, разрешена выдача бесплатных паспортов для крестьян, уходящих на заработки, и пр.

В этом году впервые на помощь пострадавшему от неурожая населению выступило Общество Красного креста, носившее в то время название «Общества попечения о раненых и больных воинах». Оно командировало в Самарскую губернию своего уполномоченного,

графа Орлова-Давыдова, с крупными по тому времени средствами, до 146 000 рублей. На месте был образован Самарский Дамский Комитет, который сумел привлечь массу пожертвований из разных концов России. Всего в распоряжение Комитета поступило, вместе с упомянутыми выше деньгами, привезёнными графом Орловым-Давыдовым, до полумиллиона рублей. На эти средства был закуплен хлеб и зерно для обсеменения полей, а также организована покупка лошадей для домохозяев, лишившихся своего скота, и кудели и льна для женских домашних работ. Всего на пространстве 35 волостей трёх наиболее пострадавших уездов (Самарского, Николаевского и Бузулукского) воспользовалось тем или иным видом воспособлений до 130 тысяч человек» (*Ермолов А.С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос. СПб., 1909. Часть I. Продовольственное дело в прошлом и настоящем. С. 84 – 85*).

Публицистическое выступление Толстого, его открытое письмо о голоде было подхвачено общественным мнением и воспринято как крупное общественное явление. Его перепечатала на первых полосах столичная и провинциальная пресса. Ссылки на него воспринимали как важнейший документ. Оно стало одним из первых обращений Толстого-публициста к русскому обществу в связи с голодом в Самарской губернии, предваряющим цикл его статей о голоде 1890-х годов.

Конец Предыстории Самарской





Предыстория Вторая, Московская, или **ДОМ ТВОЙ ТАМ, ГДЕ ТЫ БЛИЖЕ К БОГУ**

В июне 1881 года, после того как старший сын, Сергей Львович Толстой, выдержал экзамен на аттестат зрелости, дававший право на поступление в университет, в Ясной Поляне был окончательно решён вопрос о переезде осенью всей семьёй в Москву.

План переезда в Москву после того как старшему сыну придёт время поступать в университет, а старшую дочь нужно будет «вывести в свет», давно уже обсуждался в семье Толстых. «Моя мать, сестра и я стремились в Москву подобно чеховским трём сёстрам», — писал впоследствии С.А. Толстой в предваряющей статье к запискам своего учителя И.М. Ивакина (*Толстой С. А.: [Вступительная статья к:] Ивакин И. М. Толстой в 1880-е годы. Записки // Литературное наследство. Т. 69. Кн. 2. С. 21*).

При этом сам Сергей Львович Толстой учился прежде в прекрасной мужской гимназии в Туле, а к возрасту студенчества уже совершенно не испытывал желания жить близ родителей и под их опекой. Так что учёба детей и гипотетическое замужество старшей дочери — состоявшееся, кстати сказать, лишь в 1899 (!) году — были поводами к переезду, но не его причиной. Но и коренная, настоящая причина такого решения весьма ясна: Софья Андреевна до 18 лет жила с родителями именно в Москве и впитала в себя с детства все предрассудки, вкусы, пристрастия и гнусный разврат городской (хуже того – московской!), и при том самой сволочной среды — барской и интеллигентской. Толстой, пока воспитывались старшие дети – не мог помешать транслированию многих из этих суеверий и привычек разврата из материнской головы в головы *его* детей. Да он и сам в 1860 – 1870-е гг. ещё разделял с «цивилизованным» миром многие из суеверий, соблазнов и страстей. В результате в семье, действительно, возникла ситуация, описываемая Софьей Андреевной в следующих «самооправдательных» строках её мемуаров:

«Молодая жизнь детей неудержимо шла и стремилась порою к веселью и порою к серьёзным, но личным интересам.

Как мог бы в то время мой сын Серёжа, которому чуть ли не с рождения внушена была важность и необходимость университетского

образования, вдруг признать усилия всей его юной жизни напрасными и взяться за топор или соху?

Как могла Таня, любившая живопись, общество, театр, веселье и наряды отречься от всего этого, и остаться скучать в деревне, и ходить на работы? И наконец, где бы я взяла силы с 8-ю детьми отказаться от привычных условий жизни *во имя идеала, не мной созданного, а насильно навязанного мне?*» (Толстая С.А. *Моя жизнь: В 2-х тт. Т. 1. С. 336. Выделение наше. – Р. А.*)

Без христианства, «насильно навязанного» человечеству Богом и Христом, жить жизнью веселящихся, беспечных (чужими трудами) животных было во все века приятнее и легче, и не одной Софье Андреевне Толстой, а миллиардам её единомышленников и единомышленниц в разные эпохи и века... да они и прекрасно обходились без Него, без Бога, довольствуясь «уставным» церковным обрядоверием, требуемым от них общественной средой и эпохой.

Сведения Софьи Андреевны нужно и фактически немного уточнить: восьмой из выживших её детей, Алексей, рождается уже в Москве, 31 октября 1881 г. Так что на момент решения вопроса о переезде детей было семеро: Серёжа, Танюша, Илюшок, Лёлек, Маша, Андрюша и полуторогодовалый Мишутка. «Семеро у бабы по лавкам, восьмой – в брюхе доспевает». И, по крайней мере для четверых из них, младших, — переезд, в сравнении с природной жизнью в усадьбе, не сулил ничего хорошего. «Перевес», казалось бы, в их пользу. Но Софья Андреевна добавила свой непреклонный голос, так пища 3 февраля 1881 г. в письме сестре: «Оставаться в деревне ни для кого не считаю хорошим, кроме разве четырёх последних детей» (Цит. по: Гусев Н.Н. *Материалы... 1881 – 1885. С. 47*). Трое старших плюс мама — тоже четверо... Поровну. Решающее слово, таким образом, должен был сказать глава семьи — сам Лев Николаевич.

Решение не было для него простым. Как было сказано, ещё до идейного перелома, до обретения христианской веры, городская жизнь, и в особенности жизнь тогдашней барской, буржуазной, торгашеской и интеллигентской Москвы вызывали в Толстом смешанные чувства тоски, ужаса и омерзения. Например, ещё 20 февраля 1872 г. он писал тётиньке Alexandrine, *Александре Андреевне Толстой* (1817 – 1904) о Москве вот такое: «...Вчера я вернулся из Москвы, где я заболел, с таким отвращением ко всей этой праздности, роскоши, к нечестно приобретённым и мужчинами и женщинами средствам, к этому разврату, проникшему во все слои общества, к этой нетвёрдости общественных правил, что решил никогда не ездить

в Москву. Со страхом думаю о будущем, когда вырастут дочери» (61, 281).



А. А. Толстая. Фото к. 1860-х гг.
С.-Петербург. «Фотография Императорских театров»

Тётинька, камер-фрейлина императорского двора, блистательная жительница блистательного столичного Петербурга, сии гоненья на Москву принимала с долей понимания и без особенных возражений. В 1879-м, в письме к ней же от 25 марта, Толстой снова жаловался на «ужасную суету» московской жизни, а в письме этого же дня Н. Н. Страхову сравнивал жизнь в Петербурге или Москве с жизнью в душном вагоне (62, 476).

С другой стороны, Толстого, слишком поздно пришедшего к Богу и Христу, продолжали удерживать самые цепкие — близкородственные — связи с миром и мирским. Он *продолжал любить* земной, животной любовью своих жену и детей и не мог решиться на разлуку с ними — даже на такой «бархатный» её вариант, как жизнь отдельно от них, уединённо, в общем их доме в родной усадьбе. Биограф Толстого Н. Н. Гусев называет и сопряжённую с родственной любовью

причину: Толстой «всё-таки надеялся на своё хотя бы незначительное нравственное влияние на своих семейных» (*Гусев. Материалы... 1881 – 1885. С. 47*).

Не сбывшаяся и жестоко поруганная надежда!

Наконец, памятовал Лев Николаевич и слова из беседы со своим духовным наставником (и одновременно учеником), бывшим революционером, впоследствии сектантом, домашним учителем старших детей *Василием Ивановичем Алексеевым* (1848 – 1919), зафиксированный в Дневнике под 5 мая 1881 г.: «Вчера разговор с Василием Ивановичем о самарской жизни. Семья это плоть. Бросить семью — это 2-ое искушение — убить себя. Семья — одно тело. Но не поддавайся 3-му искушению — служи не семье, но единому Богу» (49, 32).



В.И. Алексеев

Итак, решение было принято в пользу злосчастного, но представлявшегося неизбежным переезда. Толстой, впрочем, выговорил для себя право не участвовать лично во вдвойне противных ему хлопотах по приобретению квартиры и роскошной обстановки для комнат. Софья Андреевна писала сестре 3 марта 1881 г.: «Я решила во всяком случае ехать в Москву... Поеду летом, всё устрою, всё куплю, а в сентябре перееду, да и только» (*Там же. С. 48*). По этим строкам мы можем судить, что решение о своём неучастии в неодобряемом им переезде Толстой принял не позднее начала 1881 г. Жена воспринимала переезд как *личное своё* предприятие, в котором мнение и

голос мужа практически тушевались. «...Перееду, да и только». Сделаю то, что требуют от меня ложь и моды современного общественного устройства – а там пусть всё будет, как будет!

1 июля 1881 года Софья Андреевна выехала в Москву. Метания и тоску супруг предоставил рабыне мира и мирской лжи, сам же — со спокойствием приговорённого ожидал развязки предприятия. Предсказуемо благополучная (для жены), она не заставила себя ждать: был снят дом кн. Волконского в Денежном переулке, в котором семейство Толстых прожило первую, пыточную для Льва Николаевича, московскую зиму 1881 – 1882 г. После 3 июля Софья Андреевна ещё задержалась для распоряжений о меблировке снятого семейством дома. *Ей* городская квартира, конечно, сразу понравилась. Как она признаётся в мемуарах, особенно ей «понравился большой кабинет, выходящий на двор окнами, и совершенно в стороне от других комнат. Но этот-то великолепный кабинет впоследствии приводил в отчаяние Льва Николаевича тем, что был слишком просторен и слишком роскошен» (МЖ – 1. С. 339).

«Московская» трагедия Толстого заключалась в том, что фактически *принудительный* переезд его в город совпал с обретением им как раз такого состояния сознания, такого религиозного понимания жизни, при котором тысячи лет, напротив, мудрецы и пророки бежали *из* городов. Вся же предшествовавшая жизнь Толстого — писателя и общественного активиста — прошла преимущественно в ограниченных для художественных впечатлений и общественной активности условиях усадьбы. При этом интеллектуальная и духовная эволюция Толстого протекала по линии всё большего, от возраста к возрасту, *неприятя* не только крупных городов, но и в целом всей разбойничьей (в отношении трудящегося народа) и садонекрофильской (в отношении и Природы, и людей) городской буржуазной *лжехристианской* цивилизации в целом. «Вехой» на этом пути был первый восторг и радость 9-тилетнего мальчика-Толстого, которого родители привезли в первый раз в невиданный прежде большой город (любование с приятнью *изнутри*, как маленького, непосредственного Обитателя города). Другая «веха» — этико-патриотическое и эстетическое *любование* Москвой зрелого Мастера, автора «Войны и мира». Это уже взгляд *извне*, взгляд, скорее, Прохожего, Чужака (stranger), но по-старому — пока приятненный; взгляд потасканного жизнью и «закалённого в боях», отошедшего на покой этакого плутарховского “мужа и воина”, симпатизирующего ещё лживым мирским суевериям о «необходимости» государства, полисов, площадей, крепостей, оружия, войска, военной «обороны», дрянных военных «побед»... Взгляд, однако, с долей остранённости:

из усадьбы, располагавшей человека творческого к философским и религиозно-богословским рефлексиям.

И, наконец, Толстой 1880-х, автор «Так что же нам делать?» — казалось бы, совершенно «городского» трактата — это, в немалой степени, уже человек XXVIII столетия, когда на планете Земля не будет всего вышеперечисленного. Жизнь шумящего вокруг города сбивала его с мысли, принудительно экстрровертировала его сознание на контрпродуктивные и почти всегда, как минимум, бесполезные для него дискурсы в сферах общественных, религиозных, философских проблематик — в бесконечных спорах с городскими, зачастую недостойными общения с ним и несерьёзными собеседниками. Он стал доступнее для них *территориально*. К нему, не покидая города, легче стало сунуться: очкатой интеллигентской сволоте — с пустым разговором, а людям развращённого в городской среде трудящегося народа — с просьбами, а то и просто за подачкой, чтобы пропить её потом в кабаке... Он понял и принял это единственно продуктивным образом — как *испытание свыше* для его христианских убеждений. Как то затяжное мучение, которое, как оказалось, могло отпустить его только с его уходом из известных нам условий бытия.

На середину июля 1881 г. Толстой наметил очередной отъезд в своё самарское имение. Хозяйством он в эту поездку «почти не занимался» — подчёркивает Н. Н. Гусев: «кроме того, что он охладел к хозяйственным делам, он видел, что всё налажено так, как никогда не бывало» (*Гусев Н.Н. Материалы... 1881 – 1885. С. 52*).

Зато много встреч было у Толстого с тамошним трудовым людом, с сектантами-молоканами. Например, 19 июля Толстой побывал в большом селе Патровке на молитвенном собрании молокан, слушал их толкование Евангелия и сам выступил со своим толкованием. Собрание закончилось обедом, после которого Толстой посетил заседание волостного суда и, на котором задал крестьянам ряд «нецензурных» вопросов о «вечном» для России: «случаются ли магарычи? есть ли обычай угощать судей? Много ли водки выпивают во время суда? и т.д.». С удовольствием услышал Толстой в ответ, что «надираются» исключительно православные, а молокане водки совсем не пьют (*Пругавин А.С. О Льве Толстом и толстовцах. Изд. 2-е. М., 2011. С. 53*). В этот же день из беседы с исследователем сектантства Пругавиным Толстой впервые узнал о тверском крестьянине-праведнике *Василии Кирилловиче Сютяеве* (1819 — 1892), ставшем впоследствии не просто близким згакомцем и частым гостем в московском доме Толстых, но и духовным авторитетом для Льва Николаевича, в

особенности на том этапе его жизни в Боге и Христе, который относится к 1-й половине – середине 1880-х гг.



Хутор (имение А. А. Бибикова) в Самарской губ.

Интересен для нашей темы ответ жены писателя, Софьи Андреевны, на одно из писем к ней мужа, от 22 – 23 июля, описывавших налаженность хозяйства, перспективы доходов от конского завода, убытков от возможного неурожая, а также жизнь соседей крестьян («...Много бедности по деревням. И бедность робкая, сама себя не знающая» — 83, 296):

«Я рада, что тебе *физически* хорошо в Самаре. Не даром, по крайней мере, эта разлука. *Но тебе там и вообще интереснее, спокойнее, симпатичнее жизнь, чем дома. Это жалко, но это так.* Хозяйство там пусть идёт, как налажено, я не желаю ничего переменять. Будут убытки, то к ним уж не привыкать, будут большие выгоды, — *то деньги могут и не достаться ни мне, и детям, если их раздать.* Во всяком случае ты знаешь моё мнение о помощи бедным: тысячи Самарских и всякого бедного народонаселения не прокормишь. А если видишь и знаешь **такого-то** или **такую-то**, что они бедны, что нет хлеба, или нет лошади, коровы, избы и проч., то дать всё это надо сейчас же; удержаться нельзя, чтоб не дать, потому что жалко

и потому что так надо» (Цит. по: 83, 297. Выделения курсивом наши. — Р. А.).

Вопрос о деньгах и доходах семьи — тот самый случай, когда позицию Софьи Андреевны следует однозначно признать хотя и не отвечающей христианским идеалам, но более продуманной, нежели вспомнившиеся ей, вероятно, при писании этого письма, споры Льва Николаевича с нею и некоторые эмоциональные высказывания. Вполне предсказуемо, ад городской (хуже того — московской) жизни, где деньги решают судьбы людей на каждом шагу, уже очень скоро приведёт Толстого к пониманию *гадости* денег как таковых, как социального устройства, и *нравственного вреда* пользования ими — в том числе для барской благотворительности, очень часто — показной, фарисейской, развращающей и донаторов и реципиентов липовой «помощи». О суеверии помощи деньгами и личном его преодолении Толстой напишет подробно в крупнейшем своём трактате 1880-х — книге «Так что же нам делать», о которой скажем ниже.

Кроме того, в принципе, христианское, сознательно совершаемое благотворение (не деньгами, а своим трудом, даже жертвами) не следует путать и смешивать с поступками, диктуемыми человеку не как сыну Бога по разумению и по духу, а как простому социальному животному: совершаемыми под действием общего для высокоорганизованных животных альтруистического инстинкта. Тот вариант помощи, который признаёт приемлемым Софья Толстая («если видишь и знаешь...» и т.д.) — это как раз уровень такого хорошего, умного *общественного животного*. Животное вполне способно откликаться на *зримую* беду, на эмотивно «бередящее» зрелище страданий другого. Это и есть проявление социального альтруизма. Но от человека-христианина требуется, конечно, нечто большее и качественно иное.

Итак, в своём скепсисе относительно денежных доходов и расходов Софья Андреевна большей частью права... Но совершенно — и сознательно! — не права, *игнорируя* содержащиеся в письме Толстого от 22 – 23 июля свидетельства его огромной *не* писательской (приносящей вожделенные доходы), а личной духовной и интеллектуальной работы — в общении с непонятными и неприятными для ней людьми: «тёмными» мужиками, сектантами, революционными пропагандистами... Она грубовато подчёркивает: «...рада, что тебе *физически* хорошо...», хотя речь в письмах Толстого к ней в те дни — отнюдь не об одном его физическом здоровье... И тут же, ниже, «срывается»: «уличает» мужа, что ему *там и вообще интереснее, спокойнее, симпатичнее жизнь, чем дома* — понимая, что это неправда.

Мы уже цитировали выше запись в Дневнике Л.Н. Толстого под 5 мая о разговоре его «о самарской жизни» и желании оставить семью с В. И. Алексеевым. По записи этой можно предположить, что Толстой уже в 1881 г. рассматривал вариант переезда не в Москву, а в самарское своё имение, но именно ненавистный Софье Андреевне «сектант», революционер (и, кстати, многожёнec) Алексеев *отговорил* Льва Николаевича от нежелательного для прочих членов семьи шага.

Дочь В. И. Алексеева Лиза, воспитанная отцом как «мужичка», Толстому ближе и симпатичнее, чем им же воспитанная родная дочь Татьяна, привыкшая к увеселениям и праздности: «Посмотрела бы она, как Лиза помогает матери, гладит и масло бьёт, и за циплятами лазает по крышам» — пишет Толстой жене 31 июля (83, 302).

Эти симпатии к лазающей по крышам Лизе — свидетельство понимания Толстым возможности, а в грядущей жизни человечества и реализации обучения и воспитания детей *гармоничного*, в природе и в честном труде. Отголосок выразившегося в цитированном письме Льва Николаевича его отношения к городскому разврату и казённому т.н. «образованию» (в противоположность истинному народному знанию жизни и умению жить сообразно природе) странно обнаруживается даже в *телеграмме*, отправленной Толстым жене 2 августа (в 7 ч. 10 мин. утра) — по получении её письма от 27 июля:

«Графине Толстой.

Лёльку <т.е. «Льва-младшего», Л. А. Толстого> не надо отдавать нынешний год, и так хлопот много. Мы благополучны. Толстой» (83, 303).

«Отдавать» здесь — конечно же, в гимназию. Лёлька, по мысли отца, был ещё достаточно мал, чтобы его можно было воспитать по Богу и Христу, а не по мирскому обману... В результате, как известно, Толстой покорно свёл сыновей Илью и Льва в частную гимназию Льва Поливанова, где, в процедуре переговоров и приёма над ним всласть поиздевалась собранная там «под крылышком» Поливанова либеральная городская интеллигентская нечисть — во главе с Е. А. Марковым, давним (ещё со времён издания Толстым педагогического журнала «Ясная Поляна» — т.е. с 1862 г.) и жёстким его оппонентом в вопросах педагогики и воспитания. (Марков к тому времени стал значительно солиднее и консервативней, но не погнушался при коллегах «тряхнуть стариной». См. *отвратительные подробности этого диспута в книге Н. Н. Гусева «Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии. 1881 – 1885, стр. 62 – 66.*)

А 6 августа Толстой писал жене с самарского хутора, в числе прочего, следующее:

«Ничто не может доказать яснее невозможность жизни по идеалу, как жизнь и Бибикова с семьёй, и Василия Ивановича. Люди они прекрасные, всеми силами, всей энергией стремятся к самой хорошей, справедливой жизни, а жизнь и семьи стремятся в свою сторону, и выходит среднее. Со стороны мне видно, как это среднее, хотя и хорошо, как далеко от их цели. Тоже переносишь на себя и научаешься довольствоваться средним» (83, 306).

Ни семейной психологии, ни психологии локальных (в частности, урбанистических) общностей во времена Л. Н. Толстого ещё не существовало – во всяком случае, для людей его поколения. Он не мог уразуметь *фундаментальных* отличий условий и образов жизни крестьянских семейств, семей сектантов или сознательно опростившихся просвещённых дворян, с одной стороны, и урождённых зажиточных горожан, равно и тяготеющих к буржуазному городу усадебных бар — с другой. В Софье Берс (в замужестве графине Толстой) и её *берсятах* было *и то, и другое*: и барство детей, и городские привычки и прихотливые желания московской девицы, тоже заражённой с детства и усадебным барством. С такими сожителями *не могло быть* долговременного, устойчивого консенсуса — как не может быть его с волками на предмет вегетарианства или со свиньями на предмет чистоплотности. Конечно, кончилось всё предсказуемым «пшиком». Н. Н. Гусев замечает: «...Проект установления образа жизни семьи на «среднем» уровне [...] теоретически выработанный Толстым на просторе самарских степей, при первом столкновении с действительностью разлетелся в прах» (Указ. соч. С. 59 – 60).

Между тем Софья Толстая в августе наезжает в родную для неё Москву — готова переезд туда к осени с семейством. Толстой вернулся с самарского хутора в Ясную Поляну, на фоне хлопотливых разъездов жены ощущавшуюся им, как готовый к предательству хозяев, к оставлению *настоящий* дом. В начале сентября 1881 г. он писал А. А. Бибикову и В. И. Алексееву, в частности, следующее:

«Серёжа уехал уж в Москву, мы переезжаем 15-го. *Я не могу себе представить, как я буду там жить*» (63, 76).

С первых дней нездоровость, ненормальность городской (хуже того — московской!) жизни буквально «оглушили» и супругов, и их детей, в чём позднее признавалась и сама Софья Андреевна в своих мемуарах:

«То уныние, которое почувствовалось всеми в первый день нашего переезда в Москву (15-го сентября), шло первые дни, всё усиливаясь.

Ходили по комнатам растерянные, не знали, за что взяться, чем заняться. [...] Лев Николаевич почти со мной не разговаривал и всё время давал мне чувствовать, что я его мучаю, что жизнь его вся отравлена мной; и я не переставая плакала. Наконец он разразился целым потоком упрёков, говоря, что, если бы я его любила, я не избрала бы для него этой огромной комнаты **<Имеется в виду кабинет Льва Николаевича в новом доме. – Р. А.>**, где каждое кресло, стоящее 22 рубля, могло бы дать счастье мужику, который купил бы на них корову или лошадь. Что ему всё время хочется плакать... По-видимому, он сам не ожидал, что жизнь в Москве так сильно повлияет на него в смысле тоски и тяжёлых впечатлений, и совершенно забывал, что всю предыдущую жизнь готовил семью к жизни в Москве, к университету для Серёжи и выездам для Тани» (Толстая С.А. *Моя жизнь*. Кн. 1. С. 354).

Свои впечатления от клоаки из клоак — буржуазной Москвы — и своё настроение Толстой передаёт в довольно известной записи в Дневнике под 5 октября 1881 года:

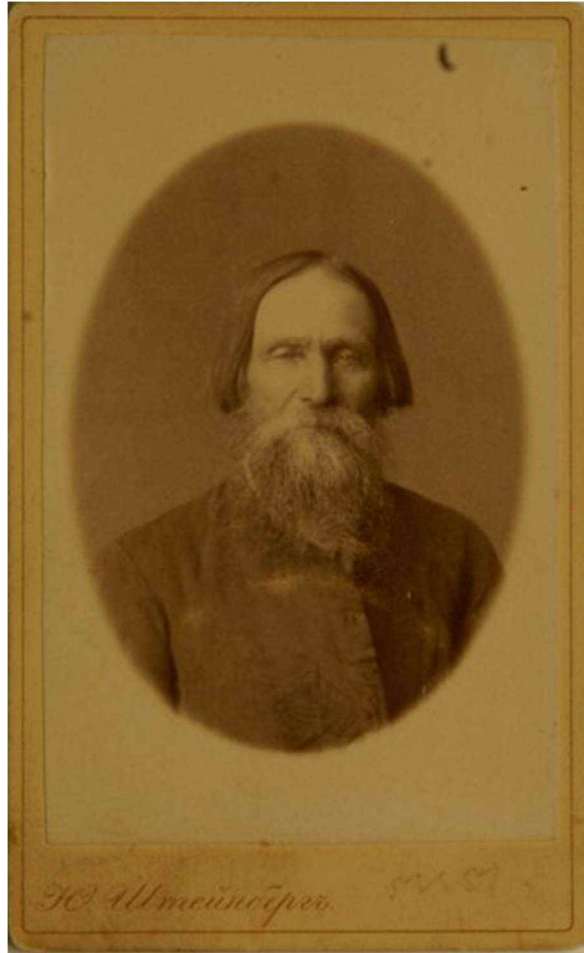
«Прошёл месяц — самый мучительный в моей жизни. Переезд в Москву. Всё устраиваются. Когда же начнут жить? Всё не для того, чтобы жить, а для того, что так люди. Несчастные! И нет жизни.

Вонь, камни, роскошь, нищета. Разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать свою оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное Мужики на это ловчее. Бабы дома, мужики трут полы и тела в банях, возят извозчиками» (49, 58).

Города искони — оплот пресловутой “государственности”, то есть системно организованного ограбления трудов, прежде всего крестьянина, земледельца. Но, в условиях роста населения и уменьшения наделов в пореформенной России, сельский люд “вытеснялся” нищетой в города, где подвергался развращению образом жизни и представлениями грабителей чужих трудов, дармоедов — но оставался для Толстого всё-таки сельским, с надеждой на возвращение к земле!

Эта запись показывает, в частности, насколько «врозь» шла уже тогда жизнь супругов Толстых: пока Софья Андреевна «раскидывала» детей по городским образовательным притонам, заводила и “освежала” светские отношения — муж и в городе высматривал “своё”: мужиков, трудящийся народ... но и не только народ. Искал он — единомышленников в новой для него городской социальной среде. Ещё до вышеприведённой записи Дневника 5 октября он навещал тверского сектанта Василия Сютаева, с которым, как мы упоми-

нали, познакомил его прежде А. С. Пругавин. Тогда же Лев Николаевич наметил для себя поездку для личного знакомства с Сютаевым. И вот в записях Дневника от того же 5 октября появляется и такая: «Был в Торжке у Сютаева. Утешенье» (*Там же*).



Василий Кириллович Сютяев

В ноябрьском письме В. И. Алексееву Толстой утверждал, что они с Сютяевым единомысленны «до малейших подробностей» (63, 81) — что, конечно, было немалым самообольщением Льва Николаевича. С сектантами и мистиками очень и очень трудно оказаться во *всём* единомысленным... Это касается и другого старого (с 1878 г.) знакомого Толстого, отношения с которым он пытался возобновить — мистического философа и аскета Н. Ф. Фёдорова. Побывав у него, Толстой записал в Дневнике под тем же 5 октября такие строки: «Николай Фёдорович – святой. Каморка. Исполнять! – это само собой разумеется. – Не хочет жалованья. Нет белья, нет постели» (49, 58).

Но ни «Бог-любовь» и все проповеди Сютяева, ни аскеза в миру Фёдорова не были достаточны для диалога с Толстым... С Сютяевым он шатко-валко продолжался на уровне переписки до самой смерти

сектанта в 1892 году. С Фёдоровым же Толстой оказался *слишком* не единомысленным: тот хотел использовать авторитетное имя писателя для пропаганды своего учения о воскрешении во плоти всех умерших предков, но Толстой не только не разделял такого учения, но, кажется, и не хотел вникать в него. Не разделял Толстой и идолопоклонничества Фёдорова-библиотекаря перед пыльными фолиантами. До такой степени не разделял, что, как передаёт биограф писателя Н. Н. Гусев, однажды, войдя с Фёдоровым в книгохранилище и оглядев полки с книгами, не удержался «и тихим голосом задумчиво произнёс: — Эх, динамитцу бы сюда!» (*Гусев Н.Н. Материалы... 1881 – 1885. С. 76*). Фёдоров от такого впечатления приходил в себя неделю... В свою очередь, Фёдоров не понял сущности чистой евангельской, христианской веры Льва Николаевича и определяемого этой верой отношения к деньгам и «благотворительности». Окончательно отношения мыслителей оборвались в 1892 г., на фоне скандальных слухов о «радикализме» Толстого, выразившемся в его статьях о голоде (в соответствующем месте мы скажем об этом довольно).

25 ноября Толстой так исповедуется В. И. Алексею (и *только* ему тогда мог *так* искренно исповедаться!):

«Мне очень тяжело в Москве. Больше двух месяцев я живу, и всё так же тяжело. Я вижу теперь, что я знал про всё зло, про всю громаду соблазнов, в которых живут люди, но не верил им, не мог представить их себе... И громада эта зла подавляет меня, приводит в отчаяние, вселяет недоверие. Удивляешься, как же никто не видит этого?.. Нет спокойствия. Торжество равнодушия, приличия, привычности зла и обмана давят» (63, 80 – 81).

Под влиянием такого настроения, развеиваемого семейными и публичными городскими развлечениями и творческими трудами писателя, но постоянно возвращавшегося к нему под влиянием впечатлений повседневности, было пережито и обдумано многое, сформировавшее сполна отношение Льва Николаевича к деревенской и городской нищете, к голодающим и к помощи им, к деятельности благотворителей, выразившееся в многотрудно давшемся Л.Н. Толстому сочинении, вызывающе поименованном публицистом: «Так что же нам делать?» (1882 – 1886).

Первые же строки этого сочинения Л.Н. Толстого, а именно строки эпиграфа, дают религиозный ответ на стоящий в заглавии вопрос. Это – стихи из Евангелий от Луки, Матфея и Марка, содержащие христианский призыв к милосердию и нестяжанию:

ТАК ЧТО ЖЕ НАМ ДЕЛАТЬ?

И спрашивал его народ, что же нам делать? И он сказал в ответ: у кого есть две одежды, тот отдай нищему; и у кого есть пища, делай то же.

(Луки III, 10, 11.)

Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут.

Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут.

Ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше.

Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло.

Если же око твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?

Никто не может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?

Итак, не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?

Потому что всего этого ищут язычники; и потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.

Ищите же прежде царствия Божия и правды его, и это всё приложится вам. *(Мтф. 19—25, 31—34.)*

Ибо легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие Божие.

(Мтф. XIX, 24; Луки XVIII, 25; Марка X, 25.)

Сама работа весьма обширна (40 глав), и главная её тема, как можно догадаться по эпиграфу – тема частной собственности и богатства в капиталистическом мире, создающих условия для вопиющего неравенства в положении трудящейся бедноты и висящей у неё на шее многоликой дармоедской «элиты» нашего лжехристианского мира.

«Городская бедность была для меня нова и непонятна. В Москве нельзя пройти улицы, чтобы не встретить нищих, и особенных нищих, не похожих на деревенских. Нищие эти не нищие с сумой и Христовым именем, как определяют себя деревенские нищие, а это нищие без сумы и без Христова имени. Московские нищие не носят сумы и не просят милостыни. Большею частью они, встречая или пропуская вас мимо себя, только стараются встретиться с вами глазами. И, смотря по вашему взгляду, они просят или нет», — делится своими впечатлениями и наблюдениями Л.Н. Толстой в первых строках трактата «Так что же нам делать?» (25, 182 – 183). Есть нищие «профессиональные», паразиты и завсегдатаи большого города, но есть и те, кто были близки и симпатичны Толстому: «...Настоящие нищие, такие, что почему-нибудь попали в Москву и точно в нужде.

Из этих нищих бывают часто простые мужики и бабы в крестьянской одежде. Я часто встречал таких. Некоторые из них заболели здесь и вышли из больницы и не могут ни кормиться, ни выбраться из Москвы. Некоторые из них, кроме того, и загуливали... Некоторые были не больные, но погоревшие, или старые, или бабы с детьми; некоторые же были и совсем здоровые, способные работать» (Там же. С. 184 – 185). Но если в деревне им недоставало земли и знаний, как оптимизировать её использование, то в городе недоставало для желающих работы... А город держит — кабаками и иными соблазнами. И люди, и без работы, остаются медленно погибать в нём — как обитатели ночлежных домов у Хитрова рынка, посещённые Толстым впервые в декабре 1881 года:

«Дом, у которого дожидались эти люди, был Ляпинский бесплатный ночлежный дом. Толпа людей были ночлежники, ожидающие впуска. [...] Во всех взглядах было выражение вопроса: зачем ты — человек из другого мира — остановился тут подле нас? Кто ты? Самодовольный ли богач, который хочет порадоваться на нашу нужду, развлечься от своей скуки и ещё помучить нас, или ты то, что не бывает и не может быть, — человек, который жалеет нас? На всех лицах был этот вопрос. [...] Ближе всех ко мне стоял мужик с опухшим лицом и рыжей бородой, в прорванном кафтане и стоптанных калошах на босу ногу. [...] Сбитенщик, старый солдат, стоял тут. Я подозревал. Он налил сбитня. Мужик взял горячий стакан в руки и, прежде чем пить, стараясь не упустить даром тепло, грел об него руки. Грея руки, он рассказывал мне свои похождения. Похождения или рассказы про похождения почти все одни и те же: была работишка, потом перевелась, а тут в ночлежном доме украли кошель с деньгами и с билетом. Теперь нельзя выйти из Москвы. Он расска-

зал, что днём он греется по кабакам, кормится тем, что съедает закуску (куски хлеба в кабаках); иногда дадут, иногда выгонят; ночует даром здесь в Ляпинском доме. Ждёт только обхода полицейского, который, как беспаспортного, заберёт его в острог и отправит по этапу на место жительства.



Иллюстрация к трактату Толстого «Так что же нам делать?»
на литографии И.Д. Сытина. 1888

[...] Один попросил денег; я дал. Попросил другой, третий, и толпа осадила меня. [...] Все смотрели на меня и просили; и одно лицо было жалче и измученнее и униженнее другого. Я роздал все, что у меня было. Денег у меня было немного: что-то около 20 рублей...» (Там же. С. 187 – 189).

Пройдя по женскому и мужскому, на разных этажах, отделениям ночлежного дома, Толстой поспешил уйти отсюда — «с чувством совершённого преступления», с тем же покаянным настроением просвещённого и верующего богача, которое будет сопровождать его и через десяток лет, осенью 1891-го, при объезде голодавших деревень.

Весьма значительно, что тема городской нищеты и возможной борьбы с нею с самого начала пересеклась в сознании писателя и публициста с темой нравственной оправданности и применимости в христианском мире смертных казней как средства борьбы с преступностью и вызвала в памяти Толстого глубоко личные и значительнейшие для него во всей его жизни воспоминания:

«Тридцать лет тому назад я видел в Париже, как в присутствии тысячи зрителей отрубили человеку голову гильотиной. Я знал, что человек этот был ужасный злодей; я знал все те рассуждения, которые столько веков пишут люди, чтобы оправдать такого рода поступки; я знал, что это сделали нарочно, сознательно; но в тот момент, когда голова и тело разделились и упали в ящик, я ахнул и понял не умом, не сердцем, а всем существом моим, что все рассуждения, которые я слышал о смертной казни, есть злая чепуха, что сколько бы людей ни собралось вместе, чтобы совершить убийство, как бы они себя ни называли, убийство худший грех в мире, и что вот на моих глазах совершён этот грех. Я своим присутствием и вмешательством одобрил этот грех и принял участие в нём. Так и теперь, при виде этого голода, холода и унижения тысячи людей, я не умом, не сердцем, а всем существом моим понял, что существование десятков тысяч таких людей в Москве, тогда, когда я с другими тысячами объедаюсь филеями и осетриной и покрываю лошадей и полы сукнами и коврами, что бы ни говорили мне все учёные мира о том, как это необходимо, — есть преступление, не один раз совершённое, но постоянно совершающееся, и что я, с своей роскошью, не только попуститель, но прямой участник его. Для меня разница этих двух впечатлений была только в том, что там всё, что я мог сделать, это было то, чтобы закричать убийцам, стоявшим около гильотины и распорядившимся убийством, что они делают зло, и всеми средствами стараться помешать. Но и делая это, я мог вперёд знать, что этот мой поступок не помешает убийству. Здесь же я мог дать не только сбить и те ничтожные деньги, которые были со мной, но я мог отдать и пальто с себя и всё, что у меня есть дома. А я не сделал этого и потому чувствовал, и чувствую, и не перестану чувствовать себя участником постоянно совершающегося преступления до тех пор, пока у меня будет излишняя пища, а у другого

совсем не будет, у меня будут две одежды, а у кого-нибудь не будет ни одной» (*Там же. С. 190*).

Было это в апреле 1857 года, во время первой заграничной поездки Толстого, в Париже. Незадолго до этого Л.Н. Толстой, как многие гениальные люди, пережил очередной приступ депрессии, «сомнения во всём» (см. запись в Дневнике от 19 марта; *ср. 5 апр.*). Приступ был связан, как предполагает биограф его, Н. Н. Гусев, с его тогдашним «рассеянным, малодетельным образом жизни, недостаточной творческой и умственной работой» (*Гусев Н.Н. Материалы... 1855 – 1869. С. 190*). В облегчённой форме это было то же, что и знаменитая «арзамасская тоска», пережитая писателем гораздо позднее, в ночь на 3 сентября 1869 г., при сходных (рассеянное полубезделие путешественника) условиях и ознаменовавшая собой, пожалуй, самое дальнее предвестие грядущего в 1870-х решающего перелома в мировоззрении Л. Н. Толстого: прихода писателя к вере в учение Христа.

5 апреля Толстой узнал, что утром на другой день предстоит на площади, перед одной из парижских тюрем, совершение публичной смертной казни посредством гильотины. Он решил поехать посмотреть на казнь.

Преступник, некий Франсуа Ришё, по профессии повар, был осуждён судом присяжных за два убийства с целью ограбления. В обоих случаях убитые были приятелями Ришё и были убиты им во время сна, когда он ночевал в одной с ними комнате.

По сообщениям газет, Ришё выслушал свой смертный приговор совершенно спокойно и только просил заблаговременно уведомить его о дне казни, чтобы он мог перед смертью «как следует покутить» на оставшиеся у него деньги.

В ночь с 5 на 6 апреля при свете факелов на площади перед тюрьмой, в которой содержался Ришё, была сооружена гильотина. Громадная толпа собралась на необычное зрелище. Газетные корреспонденты определяли численность этой толпы, в которой было много женщин и детей, от 12 до 15 тысяч. Ночные трактиры, расположенные на ближайших улицах, бойко торговали всю ночь.

В семь с половиной часов утра в камеру осуждённого вошли начальник тюрьмы, начальник полиции и священник, в сопровождении которых осуждённый отправился к месту казни, где сам, без посторонней помощи, поднялся по ступенькам на помост гильотины, поцеловал поданное ему священником распятие, — и через минуту всё было кончено.

На Толстого вид смертной казни произвёл потрясающее впечатление. «Больной встал в 7 часов, — записал он в Дневнике, — и поехал

смотреть экзекуцию. Толстая, белая, здоровая шея и грудь. Целовал Евангелие и потом – смерть, что за бессмыслица! — Сильное и не даром прошедшее впечатление».

Не даром, ибо Толстой кое-что важнейшее понял в себе:

«Я не политический человек. Мораль и искусство. Я знаю, люблю и могу» (47, 121 – 122).

И здесь же — ещё более интимно-личное признание:

«Гильотина не давала спать и заставляла оглядываться» (Там же. С. 122).

Тургенев через несколько дней пересказал Аксакову, что Толстому «гильотина снилась во сне. Ему казалось, что его самого казнят» (Цит. по: Гусев Н.Н. *Материалы...* 1855 – 1869. С. 194).

И, как приговор самому себе и своей карьере в политике или в духовенстве — в письме В.П. Боткину 6 апреля 1857 г.:

«...Никогда не буду служить нигде *никакому* правительству» (60, 168. *Выделение* в тексте – Л. Н. Толстого).

Гений — вечное дитя. Свыше избранный лвьёнок Христов и Божий. Воспоминания о парижской гильотине 65-летнего Толстого ментально вернули ему *то*, из 1857 года, настроение — и вот он уже судит себя и референтное ему во всей прежней жизни социальное окружение с максимализмом доброго и страстного юноши-христианина:

«В тот же вечер, когда я вернулся из Ляпинского дома, я рассказывал своё впечатление одному приятелю. Приятель — городской житель — начал говорить мне не без удовольствия, что это самое естественное городское явление, что я только по провинциализму своему вижу в этом что-то особенное, что всегда это так было и будет, что это должно так быть и есть неизбежное условие цивилизации. В Лондоне ещё хуже... Я стал возражать своему приятелю, но с таким жаром и с такою злобою, что жена прибежала из другой комнаты, спрашивая, что случилось. Оказалось, что я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: *«Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя!»* Меня устыдили за мою ненужную горячность [...] и, главное, доказали мне то, что существование таких несчастных никак не может быть причиной того, чтобы отравлять жизнь своих близких» (25, 191. *Выделение* в тексте наше. – Р. А.).

Опять напрашивается неслучайная параллель: *«Нет, это невозможно! Нельзя так жить!.. Нельзя так жить!.. Нельзя и нельзя!»* — именно этими словами, надиктованными в фонограф 11 мая 1908

г. в связи с известием об очередной массовой казни в России крестьян, начата была Л. Н. Толстым работа над статьёй-памфлетом против смертных казней «Не могу молчать», содержащей всё ту же тему *личной ответственности* самого Толстого и привилегированных элит Российской Империи за совершающуюся гибель души и тела множества людей трудового народа.

Ведь смертная расправа всегда имела и имеет в России свои латентные, неочевидные способы, охотно применяемые «элитами», напрямую или через подлых прислужников, ради сохранения выгод и приятностей своей жизни. В статье «О голоде» Толстой обобщит такие отношения «удалённых», опосредованных палача и жертвы в многозначительном образе кнопки,жатием которой можно на расстоянии убить китайского мандарина. Экономические и психологические средства, удерживающие трудящийся народ в подчинении эксплуататорам и продуцируемому ими городскому нравственному развращению — всё суть тайные жатия этой кнопки, медленно, но навсегда убивающие Русь крестьянскую, общинную и христианскую. Ниже, в соответствующем месте, мы остановимся на этом образе подробно.

Автор «Так что же нам делать?» продолжает, повествуя об изменившемся от московских встреч и впечатлений настроении, отношении к домашней роскоши: «Дома я вошёл по коврам лестницы в переднюю, пол которой обит сукном, и, сняв шубу, сел за обед из 5 блюд, за которым служили два лакея во фраках, белых галстуках и белых перчатках. [...] И прежде уже чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все те радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог видеть рядом с этим голодных и униженных жителей Ляпинского <ночлежного> дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого» (*Там же. С. 190 – 191*).

А далее — внимание! — Толстой покаянно и просто рассказывает о том, как подпал самообману и соблазну, на котором и по сей день в православной России и всём лжехристианском мире держится деятельность «благотворительности» и оправдание её для многих и многих:

«Когда я говорил про своё впечатление Ляпинского дома моим близким друзьям и знакомым, все мне отвечали то же, что и мой первый приятель, с которым я стал кричать; но, кроме того, выражали ещё одобрение моей доброте и чувствительности и давали мне понимать, что зрелище это так особенно подействовало на меня только потому, что я, Лев Николаевич, очень добр и хорош. И я охотно поверил этому. И не успел я оглянуться, как, вместо чувства упрёка и раскаяния, которое я испытал сначала, во мне уже было чувство довольства перед своей добродетелью и желание высказать её людям.

Должно быть, в самом деле, говорил я себе, виноват тут не я собственно своей роскошной жизнью, а виноваты необходимые условия жизни. Ведь изменение моей жизни не может поправить то зло, которое я видел. Изменяя свою жизнь, я сделаю несчастным только себя и своих близких, а те несчастья останутся такие же.

И потому задача моя не в том, чтобы изменить свою жизнь, как это мне показалось сначала, а в том, чтобы содействовать, насколько это в моей власти, улучшению положения тех несчастных, которые вызвали моё сострадание. Всё дело в том, что я очень добрый, хороший человек и желаю делать добро ближним. И я стал обдумывать план благотворительной деятельности, в которой я могу выказать всю мою добродетель. Должен сказать однако, что и обдумывая эту благотворительную деятельность, в глубине души я всё время чувствовал, что это не то: но, как это часто бывает, деятельность рассудка и воображения заглушала во мне этот голос совести» (Там же. С. 191 – 192).

Борьба совести с соблазном, постоянный непокой Толстого в зиму 1882 года выразилась как в жизни, так и в его творческих начинаниях этого времени. Библиографы Толстого документируют события этого периода в жизни писателя так: «Работает над статьями “О переписи в Москве”, об искусстве. Приступает к написанию трактата “Так что же нам делать?”. 20 января. В газете “Современные известия”, № 19 опубликована статья “О переписи в Москве”. 23 – 25 января. Участвует в переписи населения Москвы. Январь – апрель. Пишет статью об искусстве в форме письма к издателю “Художественного журнала” Н.А. Александрову (осталась незавершённой). Первая декада февраля. Едет на некоторое время в Ясную Поляну; замысел трактата “Так что же нам делать?” (70, 286).

Вот Лев Николаевич решает лично участвовать в деле, осмысленном им как вовремя представившаяся возможность организовать помощь бедствующим в Москве людям: в переписи населения г.

Москвы, назначенной Московским Городским Общественным управлением на 23 – 25 января 1882 года.

Л.Н. Толстой попросил учредителей переписи назначить его счётчиком на участок Хамовнической части, у Смоленского рынка, по проточному переулку между Береговым проездом и Никольским переулком. Для москвичей конца XIX в. эти места были известны как притон самой страшной нищеты — так называемая Ржановская крепость. Вместе с Л.Н. Толстым обходил ночлежников и художник *Илья Ефимович Репин* (1844 – 1930), с которым Толстой познакомился за год с небольшим ранее до того, 7 октября 1880 г. Под впечатлением от того, что он увидел, Репин выполнил рисунок: «Московская перепись».



Репин И.Е. Московская перепись.

Иллюстрация к статье Л.Н. Толстого «Так что же нам делать?». 1882

Бумага, графитный карандаш

Для чего вообще писателю и публицисту потребовалось личное участие в переписи? Ответ понятен, если смотреть на действия Толстого евангельским оком: для общественной реакции нужно было не одно обращение, а именно предшествующий печатному обращению личный пример благотворительной активности. Конечно же, публичная известность Толстого-писателя в интеллигентных кругах немало помогла и ему, и самой переписи!

Как коренного и убеждённого усадебного жителя, Л.Н. Толстого интересовал потенциал христианской религиозности и нравственной чуткости изрядно уже обуржуазившихся, то есть грязно развратившихся, москвичей, «сухой остаток» человеческого в них, ещё уцелевший по результатам имперских реформаторских преобразований. Толстовские предложения, действительно, могут выглядеть «по-мужицки» и даже «по-дурацки» с позиций идеологии капиталистического Запада, с её диким коктейлем из религиозных догм и «научных» суеверий, не позволяющем идти далее полицейских мер против «нищих», прикрываемых, для очистки совести, помпезной рекламой филантропической деятельности. Но в тогдашней России идеология нарождающегося капитализма ещё не приспособилась паразитировать на вечных моральных ценностях, подмяв их под себя. Обычная перепись населения могла бы стать шагом к нравственному совершенствованию людей, и, не исключено, что – не только в Москве.

Но для этого личный скромный трудовой вклад следовало подкрепить возжигающим сердца призывом-выступлением в печати.



Репин И.Е. Л.Н. Толстой и счётчики на переписи.
Иллюстрация к статье Л.Н. Толстого «Так что же нам делать?». 1886

Накануне переписи в Москве, 20 января 1882 г., Л.Н. Толстой поместил в газете «Современные известия» (1882, № 19, 20 января) статью «О переписи в Москве». Она была сопровождена вводной статьёй редактора Н.П. Гилярова-Платонова, «уступившего своё обычное руководящее слово к читателю почётному и дорогому гостю в издании, графу Льву Николаевичу Толстому» (*Лев Толстой и русская печать. М., 2003. С. 213*). Писатель взял в редакции газеты 200 экземпляров статьи и заказал ещё 500 отдельных оттисков, чтобы раздать их счетчикам, занимавшимся переписью населения.

Внимательно вчитаемся в строки этой статьи Л.Н. Толстого.

«Цель переписи научная. Перепись есть социологическое исследование. Цель же науки социологии — счастье людей. Наука эта и её приёмы резко отличаются от всех других наук.

Особенность в том, что социологические исследования не производятся учёными по своим кабинетам, обсерваториям и лабораториям, а двумя тысячами людей из общества. Другая особенность та, что исследования других наук производятся не над живыми людьми, а здесь над живыми людьми. Третья особенность та, что цель всякой другой науки есть только знание, а здесь благо людей. Туманные пятна можно исследовать одному, а для исследования Москвы нужно 2000 людей. Цель исследования туманных пятен только та, чтобы узнать всё про туманные пятна; цель исследования жителей та, чтобы вывести законы социологии и на основании этих законов учредить лучше жизнь людей. Туманным пятнам всё равно — исследуют их или нет, и они ждали и ещё долго готовы ждать; но жителям Москвы не всё равно, особенно тем несчастным, которые составляют самый интересный предмет науки социологии.

Счётчик приходит в ночлежный дом, в подвале находит умирающего от бескормизны человека и учтиво спрашивает: звание, имя, отчество, род занятия и после небольшого колебания о том, внести ли его в список как живого, записывает и проходит дальше.

И так будут ходить 2000 молодых людей. Это нехорошо.

Наука делает своё дело, и обществу, призванному в лице 2000 молодых людей содействовать науке, надо делать своё. Статистик, делающий вывод из цифр, может быть равнодушным к людям, но мы, счётчики, видящие этих людей и не имеющие никаких научных увлечений, не можем относиться к ним не по-человечески. Наука делает своё дело и для своих целей в далёком будущем делает дело полезное и нужное для нас. Для людей науки возможно спокойно сказать, что в 1882 г. столько-то нищих, столько-то проституток, столько-то детей без призору. Она может это сказать спокойно и с

гордостью, потому что знает, что утверждение этого факта ведёт к тому, что уясняются законы социологии, а уяснение законов ведёт к тому, что общества учреждаются лучше. Но что же, если мы, люди не науки, скажем: вы погибаете в разврате, вы умираете с голоду, вы чахнете и убиваете друг друга — так вы этим не огорчайтесь; когда вы все погибнете и ещё сотни тысяч таких же, как вы, тогда, может быть, наука устроит всё прекрасно. Для людей науки перепись имеет свой интерес; для нас она имеет своё, совсем другое значение. Для общества интерес и значение переписи в том, что она даёт ему зеркало, в которое, хочешь не хочешь, посмотрится всё общество и каждый из нас» (25, 173 – 174).

В начале статьи писатель напоминает русскому читателю о мнениях как революционного лагеря противников нищеты и униженности «низов», так и оппозиции более ему близкой по взглядам, консервативной, не без основания указывавшей на упадок нравственных основ жизни русского общества (Там же. С. 174 – 175). Выход из такого положения Толстому видится в том, чтобы соединить перепись с делом «любовного общения» с бедняками (Там же. С. 175), отвечающем букве и духу номинально исповедуемого в России учения Христа:

«В Евангелии с поразительной грубостью, но зато с определённой ясностью для всех выражена та мысль, что отношения людей к нищете, страданиям людским есть корень, основа всего.

“Кто одел голого, накормил голодного, посетил заключённого, тот меня одел, меня накормил, меня посетил”, то есть сделал дело для того, что важнее всего в мире» (Там же).

Эту деятельность не следует спутывать с обыкновенной буржуазной филантропией, господствующей в лжехристианском мире, и поэтому советы свои Толстой начинает с того, как не надо поступать:

«...Необходимо, по-моему, чтобы не составлялось никакого общества, чтобы не было никакой гласности, не было собирания денег балами, базарами и театрами, чтобы не было публикаций: князь А. пожертвовал 1000 р., а почётный гражданин Б. 3000; не было бы никакого собрания, никакой отчётности и никакого писания, — главное, никакого писания, чтобы не было и тени какого-нибудь учреждения, ни правительственного, ни филантропического» (Там же).

А делать долженствует — следующее:

«Первое: всем тем, которые согласны со мной, пойти к руководителям, спросить у них в участке беднейшие кварталы, беднейшие помещения и вместе с счётчиками 23, 24 и 25 числа ходить по этим

кварталам, входя в сношения с живущими в них, и удерживать эти сношения с людьми, нуждающимися в помощи, и работать для них.

Второе: руководителям и счётчикам обращать внимание на жителей, требующих помощи, и работать для них самим и указывать их тем, которые захотят работать на них. Но у меня спросят: что значит работать на людей? Отвечу: делать добро людям. Не давать деньги, а делать добро людям» (Там же. С. 176 – 177).

Далее же писатель отвечает на столь актуальный до сего дня в российском православном и остальном лжехристианском мире вопрос: почему нельзя помогать *деньгами*? Почему грех — даже участие человека в любых сборах *денег* для помощи кому-либо? Грех, и даже тогда грех, когда те, кому помогают, достаточно развращены мирской ложью для того, чтобы просить именно деньги.

Дело в том, что деньги — это скопленное вместе зло: зло *безверия*. Верили бы мнимые, церковные христиане, то есть доверяли бы Богу — не заводили бы между собой денежных счётов, памятуя, что мир Божий и всё в нём — Божье, то есть *всехнее*, а не «частное». Желая себе дохода, наживы, стяжая капитал, человек и общность людей уступают заблуждению и греху в себе, возвращая постепенно себя и ближних в архаическое состояние, в устройство жизни — ложное, *лжехристианское*, отжитое, побеждённое Христом. В этой жизни люди ограбляют природу единого для всех Божьего мира и эксплуатируют труд друг друга, неизбежно ставя менее сильных и удачливых в положение деморализованных, униженных и нищих. Так что не будь среди ложных «христиан» греха и зла фактического безверия и производимых им страхов, расчётливости, жадности — неоткуда бы было взяться и нищете в городах. Да и самих городов, возникших как центры военного разбоя, ограбления чужого труда, давно бы не стало. А так — они разрастаются, как свидетельства греха наполняющих их людей, желающих продавать там за деньги себя, свой труд.

В той или иной степени, эти простые и общеизвестные в нашем, XXI веке истины осознавал и Лев Николаевич Толстой, когда в статье «О переписи в Москве» написал о роли денег в христианском служении следующее:

«Под словами “делать добро” понимается обыкновенно — давать деньги. Но, по моему понятию, делать добро и давать деньги — есть не только не одно и то же, но две вещи совсем разные и, большей частью, противоположные. Деньги сами по себе зло. И потому кто даёт деньги, тот даёт зло. Заблуждение это, что давать деньги — значит делать добро, произошло оттого, что, большей частью, когда человек делает добро, то он освобождается от зла и в том числе и от денег. И потому давать деньги есть только признак того, что человек

начинает избавляться от зла. Делать добро — значит делать то, что хорошо для человека. А чтобы узнать, что хорошо для человека, надо стать с ним в человеческие, т. е. дружеские отношения. И потому, чтобы делать добро, не деньги нужны, а нужна прежде всего способность хоть на время отречься от условности нашей жизни; нужно не бояться запачкать сапоги и платье, не бояться клопов и вшей, не бояться тифа, дифтерита и оспы; нужно быть в состоянии сесть на койку к оборванцу и разговориться с ним по душе так, чтобы он чувствовал, что говорящий с ним уважает и любит его, а не ломается, любуясь на самого себя. А чтобы это было, нужно, чтобы человек находил бы смысл жизни вне себя. Вот что нужно, чтобы было добро, и вот что трудно найти.

Когда мне пришла мысль о помощи при переписи, я поговорил кое с кем из богатых об этом, и я видел, как рады были богатые случаю так прилично избавиться от своих денег, этих чужих грехов, которые они берегут у себя на сердце. «Возьмите, пожалуйста, говорили мне, 300 рублей, 500 рублей, но я сам или сама не могу идти в эти трущобы»» (Там же. С. 177).

Для иллюстрации того, как может *начать* служить общему делу помощи богатый москвич, Толстой приводит пример евангельского Закхея:

«Не в деньгах недостаток. Вспомните евангельского Закхея, начальника мытарей. Вспомните, как он, оттого что был мал ростом, влез на дерево смотреть Христа, и когда Христос объявил, что идёт к нему, как он, поняв только одно, что учитель не хвалит богатство, кубарем соскочил с дерева, побежал домой и устроил угощение. И как только вошёл Христос, так первым делом Закхей объявил, что половину имения даст нищим, а кого обидел, тому вчетверо отдаст. И вспомните, как мы все, читая Евангелие, низко ценим этого Закхея, невольно с презрением смотрим на эту половину имения и четверное вознаграждение. И чувство наше право. Закхей, по рассуждению, казался бы, сделал огромное дело. Но чувство наше право. Он ещё не начинал делать добро. Он только начал немного очищаться от зла. Так и сказал ему Христос. Он сказал ему только: ныне пришло спасение дому сему» (Там же. С. 177 — 178).

Интересно, что в 1891 году, в статье «О голоде» Толстой снова вспомнит о библейском Закхее, равно и о богатом юноше, испуганно покинувшем Христа (Мф.19, 16 – 30; Мк.10, 17 – 31; Лк.18, 18 – 30) — рассуждая о духовных основаниях деятельности благотворения уже в отношении голодавших крестьян:

«Есть два предела: один тот, чтобы отдать свою жизнь за други своя; другой тот, чтобы жить, не изменяя условий своей жизни.

Между этими двумя пределами находятся все люди: одни на степени учеников Христа, оставивших всё и пошедших за ним, другие на степени богатого юноши, тотчас же отвернувшегося и ушедшего, когда ему сказано было об изменении жизни.

Между этими двумя пределами находятся различные Закхеи, отчасти только изменяющие свою жизнь.

Но для того, чтобы быть Закхеем, надо не переставая стремиться к первому пределу, надо знать и помнить, что идеал, к которому следует стремиться, не состоит в том, чтобы, продолжая жить барской жизнью, приобретать и распространять как можно больше знаний, которые каким-то таинственным, непонятным путём окажутся когда-то полезными народу, но прямо и просто уменьшать свои требования, удовлетворяемые трудом народа, и прямо и просто сейчас сблизиться с ним и по мере сил своих служить ему» (29, 110).

В этих строках — *христианский идеал* Льва Николаевича. Но в них же и ответ, почему писатель был внутренне неудовлетворён, что выразилось на страницах трактата «Так что же нам делать?», своим участием в переписи, а через десятилетие — и участием в деле помощи голодавшим крестьянам. В действительности и 1882-го, и 1891-го годов, в условиях необходимых сношений с множеством людей, не разделявших с Толстым его чистой евангельской, Христовой веры, *продолжить* у него получилось лишь на тех же основаниях, как и *начал*: начал со своих, по обстоятельствам очень скудных, денег — продолжил же с чужими... Без «мамона неправды» обойтись не удалось! Но, конечно же, это позор не «утописта» Толстого, а *номинальных* христиан — через 1800 лет после земной жизни боготворимого ими учителя!

Конечно, жертва собой для Бога — усилие и духовный труд. Но ведь для *мира* и целей мирских люди охотно жертвуют свои силы, время, иногда и жизнь. Об этом писано у Толстого в главном христианском слове к современникам 1-й полов. 1880-х, книге «В чём моя вера?»:

«Пройдите по большой толпе людей, особенно городских, и взгляните в эти истомленные, тревожные, больные лица и потом вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вам довелось узнать; вспомните все те насильственные смерти, все те самоубийства, о которых вам довелось слышать, и спросите: во имя чего все эти страдания, смерти и отчаяния, приводящие к самоубийствам? И вы увидите, как ни странно это кажется сначала, что девять десятых страданий людей несутся ими во имя учения мира, что все эти страдания не нужны и могли бы не быть, что большинство людей - мученики учения мира.

На днях, в осеннее дождливое воскресенье, я проехал по конке через базар Сухаревой башни. На протяжении полуверсты карета раздвигала сплошную толпу людей, тотчас же сдвигавшуюся сзади. С утра до вечера эти тысячи людей, из которых большинство голодные и оборванные, толкуются здесь в грязи, ругая, обманываемая и ненавидя друг друга. То же происходит на всех базарах Москвы. Вечер люди эти проведут в кабаках и трактирах. Ночь — в своих углах и конурах. Воскресенье — это лучший день их недели. С понедельника в своих заражённых конурах они опять возьмутся за постылую работу.

Вдумайтесь в жизнь этих людей, в то положение, которое они оставили, чтобы избрать то, в которое они сами себя поставили, и вдумайтесь в тот неустанный труд, который вольно несут эти люди, — мужчины и женщины, — и вы увидите, что это — истинные мученики.

Все эти люди побросали дома, поля, отцов, братьев, часто жён и детей, — отреклись от всего, даже от самой жизни, и пришли в город для того, чтобы приобрести то, что, по учению мира, считается для каждого из них необходимым. И все они, не говоря уж о тех десятках тысяч несчастных людей, потерявших всё и перебивающихся требухой и водкой в ночлежных домах, — все, начиная от фабричного, извозчика, швеи, проститутки до богача-купца и министра и их жён, все несут самую тяжёлую, неестественную жизнь и не приобрели того, что считается для них нужным по учению мира.

Поищите между этими людьми и найдите, от бедняка до богача, человека, которому бы хватало то, что он зарабатывает, на то, что он считает нужным, необходимым по учению мира, и вы увидите, что не найдёте и одного на тысячу. Всякий бьётся изо всех сил, чтобы приобрести то, что не нужно для него, но что требуется от него учением мира и отсутствие чего составляет его несчастье. И как только он приобретёт то, что требуется, от него потребуются ещё другое, и ещё другое, и так без конца идёт эта Сизифова работа, губящая жизни людей. [...] Нынче приобрёл поддевку и калоши, завтра — часы с цепочкой, послезавтра — квартиру с диваном и лампой, после — ковры в гостинную и бархатные одежды, после — дом, рысаков, картины в золотых рамах, после — заболел от непосильного труда и умер. Другой продолжает ту же работу и так же отдаёт жизнь тому же Молоху, так же умирает и так же сам не знает, зачем он делал всё это.

[...] Переберите в своей памяти тех богачей и их жён, которых вы знаете и знали, и вы увидите, что большинство больные. Из них здоровый человек, не лечащийся постоянно или периодически летом, —

такое же исключение, как больной в рабочем сословии. Все эти счастливицы без исключения начинают онанизмом, сделавшимся в их быту естественным условием развития; все беззубые, все седые или плешивые бывают в те года, когда рабочий человек начинает входить в силу. Почти все одержимы нервными, желудочными и половыми болезнями от объядения, пьянства, разврата и лечения, и те, которые не умирают молодыми, половину своей жизни проводят в лечении, в впрыскивании морфина или обрюзгшими калеками, не способными жить своими средствами, но могущими жить только как паразиты или те муравьи, которых кормят их рабы. Переберите их смерти: кто застрелился, кто сгнил от сифилиса, кто стариком умер от конфоратива, кто молодым умер от сечения, которому он сам подверг себя для возбуждения, кого живого съели вши, кого — черви, кто спился, кто объелся, кто от морфина, кто от искусственного выкидыша. Один за другим они гибнут во имя учения мира. И толпы лезут за ними и, как мученики, ищут страданий и гибели.

Одна жизнь за другою бросается под колесницу этого бога: колесница проезжает, раздирая их жизни, и новые и новые жертвы со стонами и воплями и проклятиями валятся под неё!

Исполнение учения Христа трудно. Христос говорит: кто хочет следовать мне, тот оставь дом, поля, братьев и иди за мной — Богом, и тот получит в мире этом во сто раз больше домов, полей, братьев и, сверх того, жизнь вечную. И никто не идёт. А учение мира сказало: брось дом, поля, братьев, уйди из деревни в гнилой город, живи всю свою жизнь банщиком голым, в пару намыливая чужие спины, или гостинодворцем, всю жизнь считая чужие копейки в подвале, или прокурором, всю жизнь свою проводя в суде и над бумагами, занимаясь тем, чтобы ухудшить участь несчастных, или министром, всю жизнь впопыхах подписывая ненужные бумаги, или полководцем, всю жизнь убивая людей, — живи этой безобразной жизнью, кончающейся всегда мучительной смертью, и ты ничего не получишь в мире этом и не получишь никакой вечной жизни. И все пошли. Христос сказал: возьми крест и иди за мной, то есть неси покорно ту судьбу, которая выпала тебе, и повинуйся мне, Богу, и никто не идёт. Но первый потерянный, никуда, как на убийство, не годный человек в эполемах, которому это взбредёт в голову, скажет: возьми не крест, а ранец и ружьё и иди за мной на всякие мучения и на верную смерть, — и все идут.

Побросав семьи, родителей, жен, детей, одевшись в шутовские одежды и подчинив себя власти первого встречного человека, высшего чином, холодные, голодные, измученные непосильными переходами, они идут куда-то, как стадо быков на бойню; но они не

быки, а люди. Они не могут не знать, что их гонят на бойню; с неразрешимым вопросом — зачем? — и с отчаянием в сердце идут они и мрут от холода, голода и заразных болезней до тех пор, пока их не подставят под пули и ядра и не велят им самим убивать неизвестных им людей. Они бьют, и их бьют. И никто из бьющих не знает, за что и зачем. Турки жарят их живых на огне, кожу сдирают, разрывают внутренности. И завтра опять свистнет кто-нибудь, и опять все пойдут на страшные страдания, на смерть и на очевидное зло. И никто не находит, что это трудно. Не только те, которые страдают, но и отцы и матери не находят, что это трудно. Они даже сами советуют детям идти. Им кажется, что это не только так надо и что нельзя иначе, но что это даже хорошо и нравственно.

Можно бы поверить, что исполнение учения Христа трудно и страшно и мучительно, если бы исполнение учения мира было очень легко и безопасно и приятно. Но ведь учение мира много труднее, опаснее и мучительнее исполнения учения Христа.

Были когда-то, говорят, мученики Христа, но это было исключение; их насчитывают у нас 380 тысяч — вольных и невольных за 1800 лет; но сочтите мучеников мира — и на одного мученика Христа придётся тысяча мучеников учения мира, которых страдания в сто раз ужаснее. Одних убитых на войнах нынешнего столетия насчитывают тридцать миллионов человек.

Ведь это все мученики учения мира, которым стоило бы не то что следовать учению Христа, а только не следовать учению мира, и они избавились бы от страданий и смерти.

Стоит человеку только сделать то, чего ему хочется, — отказаться от того, чтобы идти на войну, — и его послали бы копать канавы и не замучили бы в Севастополе и Плевне. Стоит человеку только не верить учению мира, что нужно надеть калоши и цепочку и иметь ненужную ему гостиную, и что не нужно делать все те глупости, которых требует от него учение мира, и он не будет знать непосильной работы и страданий и вечной заботы и труда без отдыха и цели; не будет лишен общения с природой, не будет лишен любимого труда, семьи, здоровья и не погибнет бессмысленно мучительной смертью.

Не мучеником надо быть во имя Христа, не этому учит Христос. Он учит тому, чтобы перестать мучить себя во имя ложного учения мира» (23, 417 – 418, 421 – 423).

Об этом же рабстве у мирской лжи и выходе из него, на который особенно способна именно молодёжь, Толстой говорит и в статье о переписи:

«Как детям в весёлом духе хочется хохотать, они не умеют придумать, чему бы хохотать, и хохочут без всякого предлога, потому что

им весело, так эта милая молодёжь жертвует собой. Она ещё не успела придумать, за что бы им жертвовать собой, а жертвует своим вниманием, трудом, жизнью, затем, чтобы записать карточку, из которой ещё выйдет или не выйдет что-нибудь. Что же бы было, если бы было такое дело, которое того стоило? Есть и было и всегда будет это дело, и одно дело, на которое стоит положить всю жизнь, какая есть в человеке. Дело это есть любовное общение людей с людьми и разрушение тех преград, которые воздвигли люди между собой, для того чтобы веселье богача не нарушалось дикими воплями оскотинившихся людей и стонами беспомощного голода, холода и болезней» (25, 178).

Не денежная отрывка от излишеств богача, а любовное участие, милосердная личная забота о несчастных – таков предлагавшийся Л.Н. Толстым очень русский и христианский образ действий:

«1) всем нам, руководителям и счётчикам, к делу переписи присоединить дело помощи — работы для добра тех людей, по нашему понятию требующих помощи, которые встретятся нам; 2) всем нам, руководителям и счётчикам, не по назначению комитета думы, а по назначению своего сердца остаться на своих местах, т. е. в отношениях к жителям, нуждающимся в помощи, и по окончании дела переписи продолжать дело помощи. [...] 3) всем тем жителям Москвы, чувствующим себя способными работать для нуждающихся, присоединиться к участкам и, по указаниям счетчиков и руководителей, начать деятельность теперь же и потом продолжать её; 4) всем тем, которые по старости, слабости или другим причинам не могут сами работать среди нуждающихся, поручать работу своим близким, молодым, сильным, охочим.

Пусть будет самое последнее дело, что мы, счётчики и руководители, раздадим сотню двугривенных тем, которые не ели, — и это будет не мало, не столько потому, что не евшие поедят, сколько потому, что счётчики и руководители отнесутся по-человечески к сотне бедных людей. Как счастье, какие последствия произойдут в общенравственном балансе оттого, что вместо чувства досады, злобы, зависти, которые мы возбудим, пересчитывая голодных, мы возбудим сто раз доброе чувство, которое отразится на другом, на третьем и бесконечной волной пойдёт разливаться между людьми. И это много!

[...] Пусть будет то, что будет подана помощь всем тем несчастным, которых не так много, как я думал прежде, в Москве, которым можно помочь легко почти одними деньгами. Пусть будет то, что те рабочие, зашедшие в Москву и проевшие с себя одежду и не могущие

вернуться в деревню, будут отправлены домой, что сироты брошенные будут признаны, что ослабевшие старики и старухи нищие, живущие на милосердие товарищей нищих, будут избавлены от полуголодной смерти. [...] Почему не надеяться, что будет отчасти сделано или начато то настоящее дело, которое делается уже не деньгами, а работой?..» (Там же. С. 179 – 180).

Завершается статья мольбой писателя и публициста к соотечественникам: «Забудемте про то, что в больших городах и в Лондоне есть пролетариат, и не будем говорить, что это так надо. Этого не надо и не должно, потому что это противно и нашему разуму и сердцу, и не может быть, если мы живые люди» (Там же. С. 180).

Опять же, удивительно схож этот отрывок с вышеупомянутым воспоминанием Толстого о казни гильотиной в Париже в 1857 году, когда недопустимость, грех всякого убийства, включая убийство по суду, молодой Толстой вдруг раз и на всю жизнь «понял не умом, не сердцем, а всем существом» (25, 190). Быть может, первый, мучительный, месяц жизни в Москве напомнил ему те давние и столь же неприятные впечатления от столицы тогдашнего эталона «республиканской демократии»?

Поражение заблуждением, грехом — сродни болезни. И можно, нужно не казнить, не карать за грех, а излечить каждому себя, и, в конце концов — всё общество. Этой идеей завершается статья Л. Н. Толстого «О переписи в Москве»:

«Почему не надеяться, что с обществом, с человечеством не будет то же, что бывает с больным организмом, когда вдруг наступает момент выздоровления? Организм болен; это значит, что клетки перестают производить свою таинственную работу: одни умирают, другие поражаются, третьи остаются безразличными, работают для себя. Но вдруг наступает момент, когда каждая живая клеточка начинает самостоятельную жизненную работу: она вытесняет мёртвые, запирает живой преградой заражённые, сообщает жизнь отживавшим, и тело воскресает и живёт полной жизнью.

Отчего же не думать и не надеяться, что клетки нашего общества оживут и оживят организм? Мы не знаем, в чьей власти жизнь клетки, но мы знаем, что наша жизнь в нашей власти. Мы можем проявить свет, который есть в нас, или загасить его.

Приди один человек в сумерки к Ляпинскому ночлежному дому, когда 1000 человек раздетых и голодных ждут на морозе впуска в дом, и постарайся этот один человек помочь им, и у него сердце обольётся кровью, и он с отчаянием и злобой на людей убежит оттуда; а придите на эту тысячу человек ещё тысяча человек с желанием помочь, и дело окажется лёгким и радостным. Пускай механики

придумывают машину, как приподнять тяжесть, давящую нас, — это хорошее дело, но пока они не выдумали, давайте мы по-дурацки, по-мужицки, по-крестьянски, по-христиански налегнём народом, — не поднимем ли? Дружной, братцы, разом!» (Там же. С. 180 – 181).

Статья вызвала некоторый резонанс: к вечеру интеллигентная Москва, от студентов до властных “верхов”, уже знала о воззвании Толстого и обсуждала его на все лады. Одним из первых выразил своё приветствие “вдохновенному обращению Толстого к жителям Москвы, которое, несомненно, укрепит в них силу любви и гуманности”, издатель «Недели» Павел Александрович Гайдебуров (1841 – 1893). В своём издании П.А. Гайдебуров писал: «Это не статья, а крик наболевшего сердца, которому совестно, что голодным есть нечего, а он, барин, роскошествует». «Здесь к ней резко отнеслись, многие насмешливо, но большинство сочувственно, хотя, конечно, как к утопии», — отмечает С. Венгеров, предлагавший Толстому напечатать статью в его журнале “Устой”» (*Лев Толстой и русская печать*. С. 213). Откликнулся и журнал «Вестник Европы» (1882, № III): в общественной хронике напечатали “Речь графа Л.Н. Толстого по поводу московской переписи”, сравнив её с речью В. Соловьёва в годовщину смерти Достоевского. Журнал «Дело» (1882, № 3) поместил статью историка М.П. Драгоманова «Народ и общество», в которой речь Толстого названа знаменательной (Там же).



Павел Гайдебуров

Но пресловутая *знаменательность* в очах культурной элиты не означает успеха и массовой популярности. В реальности на призыв писателя и публициста откликнулись отнюдь не самые богатые люди, главным образом из числа учащейся молодёжи. Воззвание задело сердца и всколыхнуло умы тех, кто сам был знаком с бедностью, унижениями. У тех же, кто имел власть и располагал достатком, умы, по большей части, устояли, а сердца — и вовсе ничего не почувствовали. Постепенно избавляясь от иллюзий, Л. Н. Толстой в трактате «Так что же нам делать?», к которому мы теперь возвращаемся, подробно анализирует причины неготовности этих людей к делу христианского служения, признавая, что его смелое предложение и не могло быть принято теми, кому оно адресовалось в первую очередь.

Публицист вспоминает здесь, в частности, как поначалу, в ходе переписи, он предлагал помочь беднякам деньгами, работой. Крестьянам, не имевшим денег для возвращения в свои деревни, он хотел помогать с выездом из Москвы; детей планировалось устраивать в школы, стариков и старух — в приюты и богадельни. Воображению писателя уже рисовалось некое «постоянное общество, которое, разделив между собой участки Москвы, будет следить за тем, чтобы бедность и нищета эта не зарождались». Но, пройдя по знакомым с этими идеями и черновым текстом статьи о переписи, Лев Николаевич убедился: на него смотрят, как на умного человека, говорящего красивые глупости и не желают давать на его придумку ни копейки денег.

«То же самое впечатление произвело моё сообщение и на студентов-счётчиков, когда я им говорил о том, что мы во время переписи, кроме цели переписи, будем преследовать цель благотворительности. Когда мы говорили про это, я замечал, что им как будто совестно смотреть мне в глаза, как совестно смотреть в глаза доброму человеку, говорящему глупости.

Такое же впечатление произвела моя статья на редактора газеты, когда отдал я ему статью, на моего сына, на мою жену, на самых разнообразных лиц. Всем почему-то становилось неловко, но все считали необходимым одобрить самую мысль, и все тотчас после этого одобрения начинали высказывать свои сомнения в успехе и начинали почему-то (но все без исключения) осуждать равнодушие и холодность нашего общества и всех людей, очевидно кроме себя» (25, 193, 195 – 196).

По одному из адресов Толстой застал смехотворное и неприятное общество типичных буржуазных «благотворителей»:

«Хозяйка этого дома уже несколько лет занимается благотворительностью. У подъезда стояло несколько карет, в передней сидело несколько лакеев в дорогих ливреях. В большой гостиной, за двумя столами и лампами, сидели одетые в дорогие наряды и с дорогими украшениями дамы и девицы и одевали маленьких кукол; несколько молодых людей было тут же, около дам. Куклы, сработанные этими дамами, должны были быть разыграны в лотерею для бедных.

Вид этой гостиной и людей, собравшихся в ней, очень неприятно поразил меня. Не говоря о том, что состояние людей, собравшихся здесь, равнялось нескольким миллионам, не говоря о том, что проценты с одного того капитала, который был затрачен здесь на платья, кружева, бронзы, брошки, кареты, лошадей, ливреи, лакеев, были бы во сто раз больше того, что выработают все эти дамы, — не говоря об этом, те расходы, поездки сюда всех этих дам и господ, перчатки, белье, переезд, свечи, чай, сахар, печенье хозяйке стоили в сто раз больше того, что здесь сработают» (*Там же. С. 194*).

И тут же Толстой без жалости к себе называет потаённую причину, по которой таких, как он, благонамеренных зажиточных добродеев влекло и влечёт к им подобным, на поприще барской «благотворительности»:

«...Не только успех этого дела, но самое занятие им давало мне возможность продолжать жить в тех условиях, в которых я жил; неуспех же подвергал меня необходимости отречения от своей жизни и искания новых путей жизни. А этого я бессознательно боялся» (*Там же. С. 195*).

Опыт — не лучший учитель, зато уж учеников у него много... Столкнувшись на переписи с реальной жизнью московского «дна» (см. главы IV – XI трактата), Толстой пришёл к выводам о недостаточности и, зачастую, ненужности и вреде жалостливой, то есть унижительной, помощи бедным деньгами и о необходимости изменения их миросозерцания, настроенного на ложный идеал безделья и паразитизма.

Некоторые студенты с неохотой, словно для того, чтобы отделаться, передали Толстому заработанные на переписи рубли... Но готовы ли были они, а тем более *богатые* паразиты, к духовной работе истинного благотворения нуждающимся? Нет, и Толстой, сам лишь недавно переживший кризис мировоззрения и обретший христианскую веру, не мог быть им достаточным учителем. Ведь известно, что, для того чтобы переменить миросозерцание другого человека, надо «самому иметь своё лучшее миросозерцание и жить сообразно с ним»; в частности, для примера — надо научиться самому, и лишь

потом учить других «жить, то есть меньше брать от других, а больше давать» (*Там же. С. 207, 215*).

Выявляя причины городской нищеты многих и роскошества меньшинства, Толстой формулирует главную экономическую причину того и другого: это – «переход богатств производителей в руки непроизводителей и скопление их в городах», куда, вослед за вывозимым из деревень продуктом, стекаются, влекомые нищетой и соблазном, деревенские жители (*Там же. С. 228*). Но городская жизнь жалуется только «обеспеченных», для которых созданы искусственные условия отделения их от бедняков посредством роскоши и лжи, оправдывающих нетрудовое потребление продуктов чужого труда. В этих условиях сближение с бедняками для общения и благого на них влияния становится невозможным, а возможной оказывается лишь ограниченная филантропия, озлобляющее бедных и успокаивающее совесть богатых «отбирание у бедных одной рукой тысячей, а другой швыряние копеек тем, кому вздумается» (*Там же. С. 242*).

В главе XVI-й автор делает беспощадно резкое противопоставление себя и других «паразитов» бедным, но работающим людям, которым он в филантропическом ослеплении кинулся помогать. Кто кому должен помогать, если бедные своим трудом кормят и себя, и дармоедов из общественной «верхушки»? Здесь же Толстой повторяет и ставший ему ещё очевиднее, нежели в дни переписи, конечный вывод о вреде и зле денежной системы, о грехе пользования деньгами по отношению к трудам других людей и к их личностям: обладание деньгами, то есть чужим овеществлённым трудом, не является главным подспорьем в деле помощи бедным, в нём «есть что-то гадкое, безнравственное» (*Там же. С. 247*). Таким выражением естественной христианской (то есть человеческой) гадливости в отношении обезьяньего занятия подгрёбания «под себя» публицист подводит читателя к исследованию проблемы денег (главы XVII – XXI).

Вопреки заверениям апологетов насилия в лице юристов и политэкономов, деньги, полагает Л. Н. Толстой, в условиях современного капитализма никак не могут быть лишь «безобидным средством обмена», а приобретают свойство порабощения тех, у кого их мало, теми, у кого имеется капитал. Для последних деньги – это удобнеее средство эксплуатации чужого труда ради ещё большего обогащения. Таково капиталистическое рабство, рабство нового времени, угрозу которого для трудящегося народа России почувствовал великий писатель и мыслитель.

Размышляя об экономических причинах городской нищеты и «нового рабства», Толстой приходит здесь к выводу, что главная из них в аграрной России – это деревенская бедность, следствие того, что у

крестьян, у людей, трудящихся на земле, реформа 1861 г. отняла землю. Реформа заменила личное рабство поземельным и податным порабощением: «У мужика не хватало хлеба, чтобы кормиться, а у помещика была земля и запасы хлеба, и потому мужик остался тем же рабом» (*Там же. С. 281*).

На деле ситуация с землёй и пропитанием крестьян на ней была, именно *на христианский взгляд*, несколько сложнее, нежели *в то время* представилось Толстому. Реформа 1861 г. оставила частновладельческим крестьянам заведомо недостаточные земельные наделы, с требованием выкупа их, но всё же несомненно повысила качество жизни — дала возможность улучшить её более оборотистым и хищным из крестьянства. Имея кров и достаточную пищу, «великорусский пахарь» мог бы, рассуждая сугубо умозрительно, актуализировать для себя культурные и духовные смыслы своего бытия — как дитя и сотворца, работника Божия в мире. Но в реальной жизни, конечно, *так* не было никогда: люди употребляют явившиеся им ресурсы на дополнительные «хлеб и зрелища», когда количество ценнее качества и смысла, а насытившись — отдаются вызванной сытостью похоти. Более частая и назойливая похоть, в сочетании с услугами медицины, повышает рождаемость и выживание сельского населения — но которому именно под сельским солнышком уже не отыскивается места. Соблюди люди нравственный закон Христа, то самое правило «первой ступени», которое Лев Николаевич позднее, в начале 1890-х, как раз накануне эпопели с кормлением голодающих крестьян, описал в одноименной статье, соблюди *воздержание* — меньше было бы греха раздувания городов, роста городских нищеты и дармоедства, опасного перенаселения, уже в наших XX – XXI веках, планеты Земля...

Повесть же «Крейцера соната» и специальное Послесловие к ней, опубликованные, заботами С. А. Толстой, в том же 1891 году, касались другого христианского идеала — чистой, целомудренной половой жизни мужчины и женщины.

Несчастливые события личной жизни не дали Льву Николаевичу, в 1890-х или позднее, создать логически напрашивающееся публицистическое или, лучше, художественное сочинение, специальным образом актуализирующее для читателя идеал, не только совпадающий с духом учения Христа, но и древнейший, чем христианство: идеал *воздержания пищевого и полового (целомудрия)*.

Не случайная «случайность»: статья «Первая ступень» пишется и отправляется в печать Толстым буквально *накануне* участия его в народном деле помощи голодавшим крестьянам. Накануне и пер-

вой, тоже довольно пространной, статьи Льва Николаевича «О голоде», в которой он, как сможет увидеть читатель, повторит многие положения своих статьи «О переписи населения» и трактата «Так что же нам делать?»

Но закончим, теперь уже вкратце, изложение значительнейших положений этого трактата.

Рабство экономическое оправдывается в эксплуататорском обществе лживой и продажной наукой, сделавшейся инструментом господствующей идеологии. В частности, общественными науками активно насаждается в умах «граждан» суеверие общественно-правовое, подобное религиозному. Оно состоит в том, что, якобы, «кроме обязанностей человека к человеку, существуют более важные обязанности к воображаемому существу <государству. – Р.А.>, и жертвы (весьма часто человеческих жизней), приносимые воображаемому существу – государству, тоже необходимы, и люди могут и должны быть приводимы к ним всевозможными средствами, не исключая насилие» (*Там же. С. 284*).

Учёные интеллигенты – обманщики, заменившие в деле обмана первобытных жрецов культа, заявляют, что государство, дескать, существует для защиты свободы и благополучия рядовых «граждан», обитающих на его территории, а потому — якобы вправе требовать от них денег и преданного служения в войске. Л. Н. Толстой не устаёт развенчивать эту удобную ложь: государство любое необходимо лишь для обеспечения господства насильнического «элитарного» (паразитарного) меньшинства над трудящимся большинством. А потому улучшение положения трудящихся возможно только посредством «освобождения нашего от государственных требований», от того положения, при котором «насилующие люди насилуют людей для их свободы и делают им зло для их блага» (*Там же. С. 285, 286*).

Где будет насилие, возведённое в закон власть имущими, используемое эксплуататорами и легитимное в глазах обманутых тружеников, – там будет и рабство. И пока не будут распущены по домохозяйствам вооружённые силы капиталистических стран и сами эти «единые, великие, могучие», то есть садистски-бесчеловечные разбойничьи гнёзда, живущие только обманом, грабежом и насилием, будет рабство в страшных размерах (*Там же. С. 289*).

В последующих главах (26 – 30) Толстой критикует с позиций «теории насилия» современные ему научные оправдания несправедливого общественного разделения труда в различных общественных

классах, в том числе теории Ч. Дарвина и О. Конта. Основная несправедливость, на которую указывает публицист, заключается в том, что служители науки и творческая элита буржуазного мира заявляют свои претензии на результаты производительного труда большинства работников, на «пищу телесную», но при этом не спешат обеспечить трудящихся на них людей плодами своего труда, полноценной и качественной «пищей духовной». А к таковой необходимо отнести: актуализированное в сознании народа с детских лет, воспитанием, религиозное учение о жизни, её смысле и назначении человека, усовершенствованные орудия труда, близкое народу, дарующее радость, эстетическое наслаждение, искусство, объединяющее людей, обогащающее их повседневность новыми образами, ценностями, смыслами и т.п.

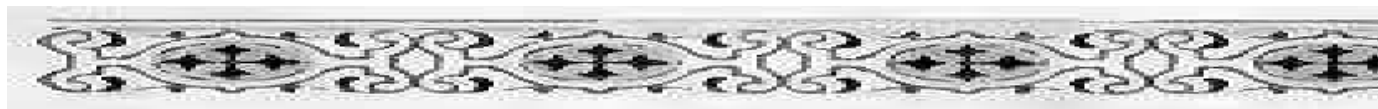
Наконец, последние три главы Толстой посвящает непосредственно ответу на вопрос, стоящий в заглавии. Жить среди народа, служа ему своими знаниями и талантами, не заявляя никаких прав на чужой труд, самим «кормиться, одеваться, отопляться, обстраиваться и в этом же самом служить другим» — к этому, к исполнению общего для всех «закона труда» в природных человеку деревенских условиях жизни, призывает публицист и мыслитель ещё не развёрнувшую западным образом жизни городскую интеллигенцию: «трудом всего существа своего, не стыдясь никакого труда, бороться с природою для поддержания жизни своей и других людей» (*Там же. С. 392*).

Таково значительнейшее для темы нашего настоящего исследования содержание этого крупного христианского и общественно-политического выступления в печати Л. Н. Толстого. Стоит здесь же отметить, что полный текст увидел свет лишь за границей (в 1889 г.), а в России был опубликован с искажениями только в 1906 году, а в более-менее точной авторской редакции — и вовсе лишь в 1937 г., в 25-м томе Юбилейного собрания сочинений писателя. Так что полемизировать «культурным», читающим современникам Толстого пришлось вокруг неполного, урезанного цензорами текста «Так что же нам делать?», который, к тому же, они и не желали понять в его истинном значении, ибо обращён он был как раз против *их* образа жизни, весьма для них удобнейшего и приятного. По существу, властная и культурная Россия наказали таким образом сами себя: будучи более известными, включёнными в общественные дискурсы поддержания либо критики, обсуждаемые — идеи Льва Николаевича, изложенные в слове к современникам «Так что же нам делать?», стоившем Толстому огромного труда, всё же утвердились бы

в головах многих в их настоящих, религиозных смыслах. И послужили бы *охристианению* общественного сознания, с одной стороны, а с другой — предотвратили бы тот вызванный журналистскими спекуляциями и едва не повредивший общему благу делу скандал, который состоится в начале 1892 г. по поводу грубо искажённых (опять же по причине вмешательства в России цензуры), перепечатанных из иностранной прессы, отрывков статьи Л. Н. Толстого «О голоде», в которой он отнюдь не вывел впервые, а повторил многое «нецензурное» из своего трактата «Так что же нам делать?».

Конец Предыстории Второй, Московской





Глава Вступительная.
ВЕЛИКИЕ ИМПЕРСКИЕ ГРАБЛИ,
или
ПОПАДАНЦЫ В ИСТОРИЮ

В майские дни 1891 года, когда супруга Льва Николаевича, Софья Андреевна Толстая в очередной раз была по делам в Москве: на этот раз в связи с вступительными экзаменами в Поливановской гимназии младших сыновей, Андрея и Михаила, — Толстой в письме к ней от 8 мая сообщал из Ясной Поляны следующее: «Всё у нас незаметно. Счастливые народы не имеют истории. Так и мы. Целую...» (84, 79).

Авторство этого изречения возводят обычно к высокочтимому Л. Н. Толстым с юных лет Бенджамину Франклину («Альманах бедного Ричарда», 1740), и на русский язык переводят так: «Счастлив народ, благословенно столетие, история которых незанимательна». Нельзя не согласиться. Во всяком случае, если разуместь под историей, «историческим процессом» то же, что обыкновенно разумеют под этим понятием казённо дипломированные учёные интеллигенты: т. н. политическую, военную историю, революционную, реформаторскую... коротко сказать: парад глупостей и гадостей людских. Но здесь надо сделать важную оговорку: совершается эта пресловутая «история» волею или безволием, разумом или (куда чаще) безумием «общественных элит», или, иначе: дармоедов на народной шее. Так что пока «элиты» вписывают себя кровью, говном и золотыми буквами в историю, то есть безусловно «имеют» её — народ мирный и трудящийся, ограбляемый, обманываемый, развращаемый и убиваемый дармоедами, история, столь же безусловно и во всю дурь, *имеет* сама. Даже случаи торжества «власти тьмы» именно в народных массах: триумфальные шествия невежества, омрачённости, суеверности, беспомощности... — в значительнейшей степени нужно разуместь как последствия такого векового «изнасилования» народа, а отнюдь не его безусловную вину. Ниже мы ещё не раз коснёмся этой проблемы и покажем, что Толстой, анализируя положение народа в голодный год, принимал во внимание и такое соображение.

Особенности восприятия христианским сознанием Льва Николаевича денег и собственности мы уже касались, насколько позволила тема, выше, в историографическом нашем Вступлении и в анализе

отстающего хронологически, но сопряжённого идейно с тематикой нашей книги трактата Льва Николаевича «Так что же нам делать?» (1882 – 1885). Обозначим рельефнее для читателя очень важную мысль: как и А. И. Герцен (хорошо знаемый и любимый), Толстой признавал злую власть денег: их способность создать и поддержать в нужном направлении диалог с людьми или человеком, которые иначе, без некоторого участия денег, без твоего (хоть на словах) признания их значения — не смогут или не захотят понимать тебя, что-то делать хорошее, доброе по твоей просьбе. Счастье, если кровью убитого на охоте животного удастся выкупить у людоедов, заставить отпустить человека. Хотя кровь не перестанет от того быть кровью, а убийство — убийством. Счастье для последователя Христа, если так же, то есть нравственно приемлемой уступкой, удаётся откупить от смерти одного, десять, сто человек — в мире пусть и не людоедской, но вполне варварской и чуждой по сей день христианству России. И уж если судьба привела тебя к исповеданию христианства Христа (а не попов и толковников) в «высоком» общественном статусе, как человека с деньгами, «положением», полезными связями и проч. — какая бы ни была это для тебя, христианского твоего сознания мерзость, но грех не употребить наличествующие ресурсы влияния в диалоге с лжехристианским обществом по поводу жизни и здоровья тысячей тех, кого *имела* веками пресловутая «история государства Российского»: от Владимира Красно Солнышко до... теперешнего (год 2022-й).

Сам человек при этом — даже если и не золотеет впоследствии в «истории» историков, — несомненно творит Историю человеческую истинную: среди иноверцев, людей низшего, нежели христианское, религиозного непонимания, такой человек проповедает *словом и делом* Божью Истину, учение единения и любви, *заставляя*, даже противу рожна, даже врагов её — приближать её торжество в мире. Заставляя уже тем, что в *делах*, не противоречащих Истине, воспроизводит поведенческие конструкты, укоренённые в тех нравственных аксиомах, которые не могут, без укоров от совести, быть совершенно отрицаемы или осуждаемы не только обрядоверами и идолопоклонниками церковных учений, но даже и совершенными противниками учения Бога и Христа. И в *таком*, в Боге соделываемом, историческом акте, сам человек, независимо от прижизненных благодарностей и посмертной славы, обретает — не скажем «счастье», но: радость и благо.

Таково было поприще помощи бедствующему народу в голодный год, на которое, не сразу осознав свою в этом деле роль, но всё же встал с осени 1891 г. Л. Н. Толстой и на которое привлёк множество

нравственно чутких своих современников, не исключая членов семьи, детей и жену.

Но у всякого исторического великого деяния есть, помимо внешне-биографической, своя Предыстория и в духовных биографиях делателей его. Ниже именно на одной из страничек духовной биографии Толстого мы и задержим ненадолго внимание читателей.





Предыстория Третья, Эпистолярная.
«НЕЛЬЗЯ ЛЮБИТЬ И НЕ НАКОРМИТЬ»
(Эпизод из переписки Л.Н. Толстого и Н.С. Лескова)

«Прозёванный гений» — так названа новейшая популярная биография *Николая Семёновича Лескова* (1831 – 1895), вышедшая в 2020 году в России. И если первым назвавший так писателя, не понятый и не полюбленный Толстым выдающийся поэт Игорь Северянин относил такую характеристику к достоинствам именно Лескова-литератора, то М. Кучерская, автор названной биографии, изучив жизнь Николая Семёновича во всех подробностях — смело и справедливо может отнести эти слова и к ней. Именно за неотмирную гениальность человеческую, именуемую одухотворённостью, близостью к Богу, полюбил Лескова Лев Толстой. Искренние, но неосторожные высказывания страстного полемиста Лескова в статьях и его роман «Некуда» (1864) навлекли на него много неприятностей — и даже эта драма сложного характера дополнительно сблизила Николая Семёновича с Толстым! Несмотря на тяжёлое материальное положение, совесть Лескова осталась чиста, а его нравственные и художественные принципы — незапятнанными, что позволило ему в письме к А.С. Суворину от 14 марта 1887 г. написать: «Я доволен моим положением в литературе: меня все топили и не утопили с головою; повредили много и очень существенно — в куске хлеба насущного, но зато больше никто уже повредить не может...» (*Лесков Н.С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. XI. С. 342*).

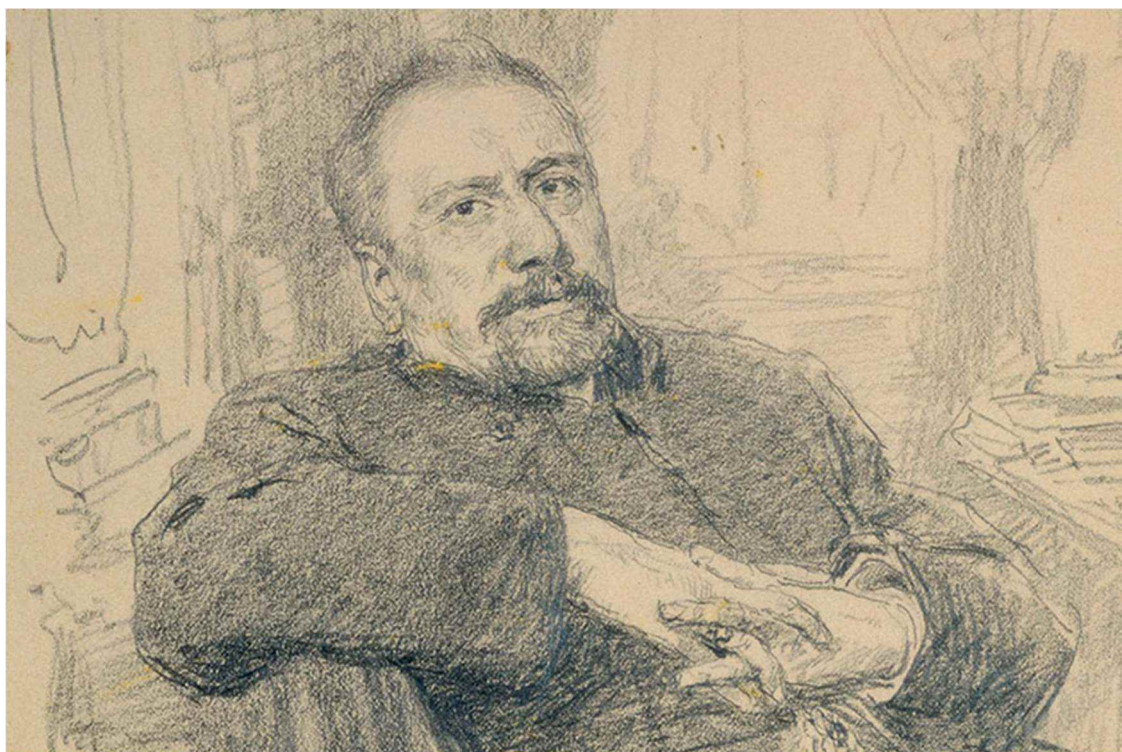
Такая духовная устремлённость навсегда незримо соединила его с Толстым.

Ещё задолго до знакомства Толстой и Лесков в своих произведениях во многом «совпадали» в оценках современной им действительности, считая, что главное в жизни не социально-экономическая, а нравственная сторона.

Первая встреча писателей произошла 20 апреля 1887 г. в Москве, в доме Толстого. Вскоре Толстой писал В.Г. Черткову из Ясной Поляны: «...был Лесков. Какой умный и оригинальный человек!» (86, 49). «О Льве Николаевиче мне всё дорого и всё несказанно интересно, — писал в свою очередь Лесков Черткову. — Я всегда с ним в согласии, и на земле нет никого, кто мне был бы дороже его. Меня никогда не

смущает то, чего я с ним не могу разделять: мне дорого его общее, так сказать, господствующее настроение его души и страшное проникновение его ума. Где есть у него слабости, — там я вижу его человеческое несовершенство и удивляюсь, как он редко ошибается, и то не в главном, а в практических применениях» (Лесков Н.С. *Собрание сочинений: В 11 т. Т. XI. С. 356*).

В 1891 году, в эпизоде, о котором мы расскажем ниже, этой установке Лескова предстояло быть испытанной на устойчивость.



Николай Семёнович Лесков.
Карандашный набросок И.Е. Ретина. 1881

Вторая и последняя встреча писателей состоялась в 1890 г. в Ясной Поляне, где Лесков провёл два дня, 25 и 26 января. Деликатность, сладостная мука интеллигентного человека, не позволила Николаю Семёновичу настаивать на новых личных встречах. Оба продолжили общение в письмах.

Незримыми нитями соединило Толстого с Лесковым отношение к смерти. В мартовской 1895 г. книжке «Северного вестника», той самой, где был опубликован один из глубочайших, на тему жизни и смерти, текстов самого Льва Николаевича, повесть «Хозяин и работник», Толстой прочитал некролог, где сообщалось о завещании Лескова, Толстой записал в дневнике, что и ему нужно написать такое же. Лесков писал в своём завещании: «Погребсти тело моё самым

скромным и дешёвым порядком [...], по самому низшему, последнему разряду. [...] На похоронах моих прошу никаких речей обо мне не говорить. Я знаю, что во мне было очень много дурного и что я никаких похвал и сожалений не заслуживаю. Кто захочет порицать меня, тот должен знать, что я и сам себя порицал. [...] Прошу никого и никогда не ставить на моей могиле никакого иного памятника, кроме обыкновенного, простого деревянного креста. Если крест этот обветшает и найдётся человек, который захочет заменить его новым, пусть он это сделает и примет мою признательность за память. Если же такого доброхота не будет, значит, и прошло время помнить о моей могиле» (*Северный вестник*. 1895. № 3. С. 106). Под влиянием прочитанного Толстой 27 марта составит в Дневнике первый черновик собственного завещания: «Похоронить меня там, где я умру, на самом дешёвом кладбище, если это в городе, и в самом дешёвом гробу – как хоронят нищих. Цветов, венков не класть, речей не говорить» и т. д. (53, 14 – 15).

Как у всякого человека умного, «совпадение» Лескова с Толстым как нравственным и творческим авторитетом не было никогда совершенным. Лесков шёл своей дорогой, и это видел Толстой: «Его привязанность ко мне была трогательна и выражалась она во всём, что до меня касалось. Но когда говорят, что Лесков слепой мой последователь, то это неверно: он последователь, но не слепой... Он давно шёл в том направлении, в каком теперь и я иду. Мы встретились, и меня трогает его согласие со всеми моими взглядами» (*цит. по: Лесков А.Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. Тула, 1981. С. 569*).

Не было никогда полноты и в понимании убеждений друг друга. В сочинениях Лескова Толстой порой не принимал «искусственный язык», «кудрявость» стиля, «exubérance <избыток, излишество. — фр.> образов, красок, характерных выражений». В свою очередь, с благоговением относясь к Толстому художнику, Лесков распространил некоторую долю свойственного его характеру скепсиса на христианское проповедание и служение в миру Льва-учителя. Он, в частности, не остался чист от того, чтобы, как и некоторые из любящих прочих учеников во Христе, не говоря об оппонентах, уловлять Льва-учителя на представляющихся ему свидетельствах несоответствия поступков его заявленным идеям. Л.И. Веселитская вспоминала, что однажды «вдоволь намолившись на Льва Николаевича, Ни-

колай Семёнович сознался в том, что глубоко скорбит о том, что старик не раздал своего имения нищим: «Он должен был сделать это ради идеи. Мы были вправе ожидать этого от него. Нельзя останавливаться на полпути»» (*Микулич В. Встречи с писателями. Л., 1929. С. 193*). Недоверчиво относился Лесков и к практической стороне христианского служения учеников Толстого: у него вызывало естественную иронию увлечение толстовцев 1880-х, в массе своей испорченных с детства городских жителей, земледельческим трудом.

Между тем уже к началу лета 1891 г. готовящееся голодное бедствие деревни заполнило общественные дискурсы. В.А. Оболенский вспоминает атмосферу первых месяцев (лето – осень 1891 г.) общественной реакции на бедствие народнон так: «В Петербурге получались письма из разных губерний с описанием крестьянской нищеты и голода, но сообщать о голоде в печати было запрещено цензурой. Передавали, что Александр III на докладе одного из министров, в котором упоминалось о голодных крестьянах, сделал пометку: "У меня нет голодающих, есть только пострадавшие от неурожая". Эта формула была принята в руководство цензорами, которые вычёркивали из газетных столбцов слова "голод", "голодающие" и заменяли их словами — "неурожай" и "пострадавшие от неурожая".

Официальный запрет говорить о бедствии, происходившем у всех на глазах и волновавшем широкие круги столичного общества, не только не действовал успокоительно, как того хотело правительство, а вносил ещё больше волнения, раздражения и беспокойства, ибо слухи, бороться с которыми правительство было бессильно и которым верили, даже преувеличивали размеры голода. Создалась целая "подпольная литература" из писем с описанием голода, которые переписывались или гектографировались и распространялись во множестве.

В Петербурге образовались кружки для сбора денег в пользу голодающих, и собранные средства отправлялись на места тем или другим местным жителям, на свой страх и риск приступавшим к устройству столовых и пекарен.

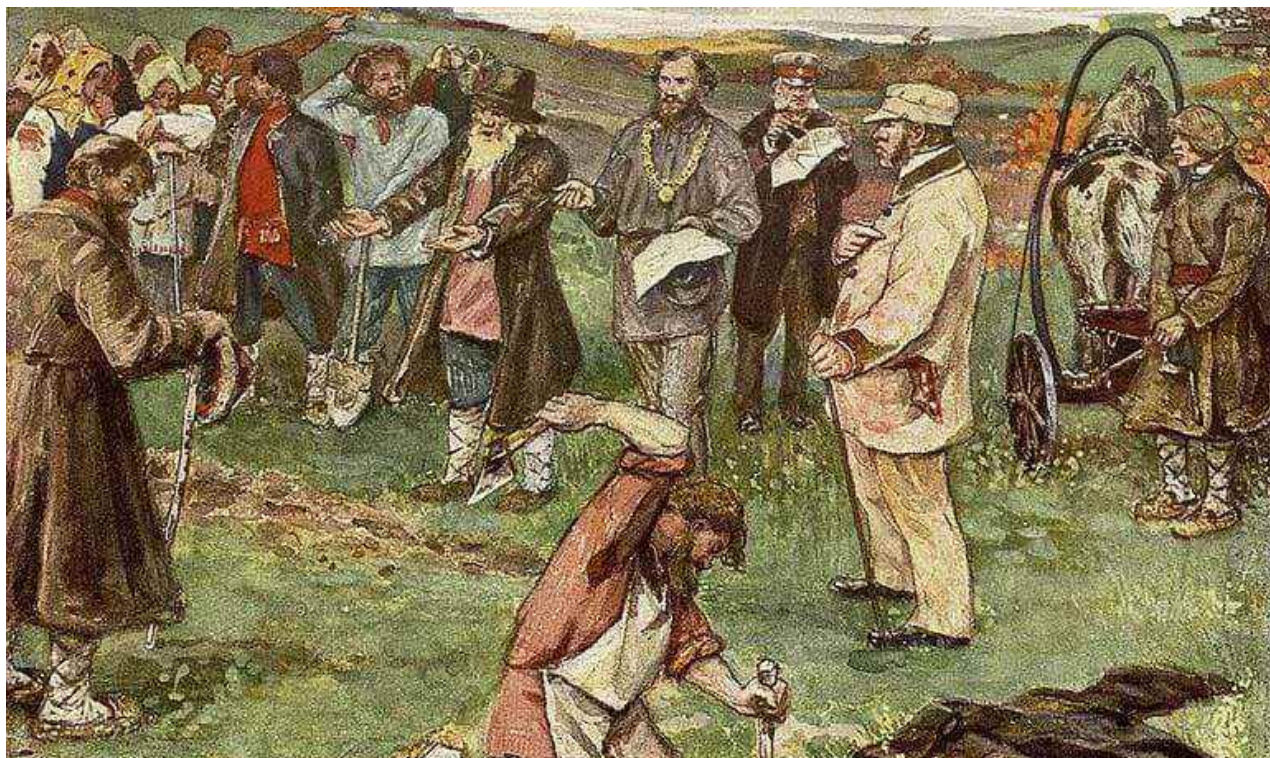
Местные власти по предписанию из Петербурга пытались бороться с возникавшей везде частной инициативой по помощи голодающим. Происходили аресты, высылки...

Однако, ни строгая цензура газет, ни административные кары не могли остановить общественного движения. Правительству пришлось уступить. Голод был официально признан, ссуды земствам увеличены. Правительство сделало было попытку монополизировать всё дело частной благотворительной помощи голодающим в руках официального общества Красного Креста, но и эта плотина была прорвана. Жертвователи не доверяли Красному Кресту и продолжали посылать деньги на места частным лицам» (Оболенский В.А. *Моя жизнь. Мои современники. Paris, 1988. [На русском языке.] С. 103 – 104).*

Из городских и придворных кругов известия и слухи довольно быстро перекочевали в европейские страны и за океан. Джордж С. Куинн отмечает, что уже 11 августа 1891 г. газета «Нью-Йорк Таймс» открыла “голодную” тему, и в вестма типичном для американцев ключе: речь шла о выгодах для американских фермеров и хлебных торговцев от неизбежного для России запрета вывоза зерна. Эту же тему газета развивала в статьях от 17 августа и 7 сентября (*Queen G.S. American Relief in the Russian Famine of 1891 – 1892 // Russian Review. Vol. 14. № 2. (Apr. 1955) P. 141).*

20 июня 1891 г. Н. С. Лесков обратился к Толстому с письмом, в котором спрашивал: «Как Вы находите — нужно ли нам в это горе вступать и что именно пристойно нам делать? Может быть, я бы на что-нибудь и пригодился, но я изверился во все “благие начинания” общественной благотворительности и не знаю: не повредишь ли тем, что сунешься в дело, из которого как раз и выйдет безделье? А ничего не делать, — тоже трудно. Пожалуйста, скажите мне что-нибудь на потребу» (*Лесков Н.С. Собр. соч. Указ. изд. Т. XI. С. 491 – 492).*

Толстой к тому времени, живя в Ясной Поляне, где грядущий голод никак пока не явил себя, не успел ни собрать достаточных сведений о набравшем злую мощь бедствии, ни толком обдумать те конкретные меры, которые через несколько месяцев он предложит в статьях «О голоде», «Страшный вопрос» и «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» (см. 29, 86 – 144). К тому же он сам принадлежал к разочарованным в общественной благотворительности — пожалуй, с более ранних лет, нежели Лесков, если памятовать его опыты с устройением жизни и хозяйства собственных крестьян ещё накануне отмены крепостного права и позднее, в 1-й половине 1860-х, в качестве мирового посредника в родном Крапивенском уезде.



Л. Н. Толстой в роли мирового посредника. Худ. В. Курдюмов. 1910

Назначение в 1861 г. министром внутренних дел Ланским Толстого на должность мирового посредника было вехой в проникновение в посткрепостническую Россию элементов правосознания и гражданского общества. 11 месяцев, с чувством глубокого удовлетворения, удовольствия Толстой защищал перед помещиками права крестьян — строго руководясь законом. Помещики негодовали, намереваясь то ли убить соседа, то ли, что во все времена было и есть гораздо легче в подлом «русском мире», подвести жалобами, доносами под суд. Желая освободить себя от атмосферы ненависти, 30 апреля 1862 г. Толстой подал в Сенат прошение о «добровольной» отставке.

Вот почему Толстой и отвечал теперь Лескову — не только как застигнутый вопросом врасплох, но и как «разочарованный разочарованному» в тех решениях, которые для большинства в российском обществе в ту эпоху, казалось бы, «лежали на поверхности». Не выхвалявая, он всё-таки и не отрицал ни одного какого-то из актуальных способов помощи крестьянам, ни всех вместе; он только указал в письме на *христианский этический фундамент* тех мер, которые несомненно должны быть приняты.

Ниже приводим соответствующий фрагмент из письма Л. Н. Толстого.

«На вопрос, который вы делаете мне о голоде, очень бы хотелось суметь ясно выразить, что я по отношению этого думаю и чувствую. А думаю и чувствую я об этом предмете нечто очень определённое; именно: голод в некоторых местах (не у нас, но вблизи от нас, в некоторых уездах — Ефремовском, Епифанском, Богородицком) есть и будет ещё сильнее, но голод, т. е. больший, чем обыкновенно, недостаток хлеба у тех людей, которым он нужен, хотя он есть в изобилии у тех, которым он не нужен, — отворотить никак нельзя тем, чтобы собрать, занять деньги и купить хлеба и раздать его тем, кому он нужен, — потому что дело всё в разделении хлеба, который был у людей. Если этот хлеб, который был и есть теперь, или ту землю, или деньги, которые есть, разделили так, что остались голодные, то трудно думать, чтобы тот хлеб или деньги, которые дадут теперь, — разделили бы лучше. Только новый соблазн представляют те деньги, которые вновь соберут и будут раздавать. Когда кормят кур и цыплят, то если старые куры и петухи обижают, — быстрее подхватывают и отгоняют слабых, — то мало вероятного в том, чтобы, давая больше корма, насытили бы голодных. При этом надо представлять себе отбивающихся петухов и кур ненасытными. Дело всё в том, — так как убивать отбивающихся кур и петухов нельзя, — чтобы *научить их делиться с слабыми*. А покуда этого не будет — голод всегда будет. Он всегда и был, и не переставал: голод тела, голод ума, голод души.

Я думаю, что надо все силы употреблять на то, чтобы противодействовать, — разумеется, начиная с себя, — тому, что производит этот голод. А взять у правительства или вызвать пожертвования, т. е. собрать побольше мамона неправды и, не изменяя подразделения, увеличить количество корма, — я думаю не нужно, и ничего, кроме греха, не произведёт. Делать этого рода дела есть тьма охотников, — людей, которые живут всегда не заботясь о народе, часто даже ненавидя и презирая его, которые вдруг возгораются заботами о *меньшем брате*, — и пускай их это делают. Мотивы их и тщеславие, и честолюбие, и страх, как бы не ожесточился народ. Я же думаю, что добрых дел нельзя делать вдруг по случаю голода, а что если кто делает добро, тот делал его и вчера, и третьего дня, и будет делать его и завтра, и послезавтра, и во время голода, и не во время голода. И потому против голода одно *нужно, чтобы люди делали как можно больше добрых дел*, — вот и давайте, — так как мы люди, — стараться это делать *и вчера, и нынче, и всегда*. — Доброе же дело не в том, чтобы *накормить* хлебом голодных, а в том, чтобы *любить и голодных, и сытых*. И любить важнее, чем кормить, потому что можно кормить и не любить, т. е. делать зло людям, но *нельзя любить и не накормить*.



Голод в Новгородской губ. Раздача хлеба. 1892 г.

Пишу это не столько вам, сколько тем людям, с которыми беспрестанно приходится говорить и которые утверждают, что собрать денег или достать и роздать — доброе дело, — не понимая того, что доброе дело только дело любви, а дело любви — всегда дело жертвы.

И потому, если вы спрашиваете: что именно вам делать? — я отвечаю: вызывать, если вы можете (а вы можете), в людях любовь друг к другу, и любовь не по случаю голода, а любовь всегда и везде; но, кажется, будет самым действительным средством против голода *написать то, что тронуло бы сердца богатых*» (66, 11 – 12. Выделения в тексте наши. – Р. А.).

Здесь важно снова напомнить, что пишет эти строки отнюдь не наивный усадебный, кабинетный идеалист и тем более не зачерствелый лицемер, а автор социально-экономического трактата «Так что же нам делать?» (1882 – 1886). Это сочинение стоило Толстому не только громадных творческих усилий и времени, но и связано было с практическим, в попытках благотворительных инициатив, постигновением *зла и вреда* и чужести христианскому учению как самих денег, денежной системы, так и неотторжимого от неё *суеверия* о «помощи» деньгами, о делании деньгами добра, о городской и барской «благотворительности».

И это пишет человек, ставший уже в 1880-х одним из знатоков древнейшей мудрости человечества — мудрости Востока. Мы имеем в виду ту же максиму великого Лао-Цзы о том, что сложные задачи правителю и мудрецу лучше *предотвращать* в их сложности, разрешая тогда, когда они ещё легки. Нет религии выше истины. Исполняя номинальные «христиане» православной России учение Христа, устанавливающее равенство права для *всякого* человека на заботливую любовь и уважение, на человеческое своё достоинство, дающее *всякому* человеку статус «ближнего» — разве мог бы возникнуть голод? А и возникни в народе беда, требующая массовой помощи — разве пришлось бы Толстому отрываться от своих художественных замыслов и иных писаний того времени (а это и «Отец Сергей», и не оконченная позднее повесть «Записки матери», и трактат «Царство Божие внутри вас», и замыслы для романа «Воскресение») ради словесного, в статьях, проповедания *христианской помощи*: не деньгами, а личными трудом и жертвой? Это и так бы явилось актуальной мотивацией для всех, могущих помочь.

Начиная с уже написанной к тому времени статьи «Первая ступень» (которую в путинской России толстоеды чаще всего понимают ограниченно, как «проповедь вегетарианства»), осуждавшей обжорство паразитов на народной шее и напоминавшей им о нравственном значении поста и, в частности, пищевого воздержания, Толстой исполнил сам то, что советовал Н. С. Лескову: *затронул богатых* в их лукавстве и тщеславии буржуазного «благотворения» — да так ощутимо, что сытая и зажиточная городская сволочь и по сей день предпочитает *замалчивать* и/или *перевирать* главные тезисы этих статей. На наш взгляд, ни статьи Толстого о голоде 1891 и последующих лет (включая «Голод или не голод?» 1898 года) нельзя рассматривать в отрыве от этического христианского содержания «Первой ступени» и письма Лескову, ни, напротив, это письмо, оказавшееся, как многие частные (не для публикации) тексты Толстого, *очень* неудачным по некоторым своим выражениям и недоговорённости того, что было сказано в позднейших публицистических выступлениях Льва Николаевича по проблеме голода — нельзя, в свою очередь, вырывать из идейного контекста этих выступлений.

Лесков, конечно, не мог знать всего этого контекста и принял содержание письма Толстого с грустной иронией и некоторым разочарованием, судя по этим строкам из ответа его Л. Н. Толстому, 12 июля 1891 г., из Шмецка:

«Письмо Ваше о разноклёвах получил и усердно Вас благодарю, что Вы мне ответили. Суждения Ваши все мне по сердцу и по мыслям, а всё-таки мучительно жаль тех, кого зобастые оклюют и оставят

дохнуть. Однако я, разумеется, послушаюсь вас...» (Л.Н. Толстой. *Переписка с русскими писателями: В 2-х тт. Т. 2. С. 251*).

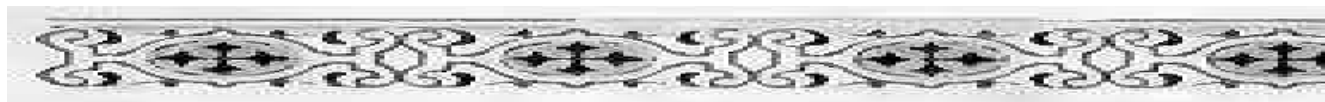
Но позднее, когда Толстой с семьёй продемонстрировал *надстройку* добрых практических дел на выраженном в несчастливом письме идейном «фундаменте» — Лесков понял настоящее значение письма и горячо поддержал Льва Николаевича.

Современной нам путинской России *неизбежно* ставить «барьер» на пути к такому пониманию, и — *лгать, лгать и лгать* о роли Толстого в помощи голодающим в 1891 – 1893 гг. и о выразившемся в его писаниях этих лет по теме голода христианском его мировоззрении. Так, некая А. А. Федотова (тоже из Тульского педуниверситета и, вероятно, ученица Н. А. Гаврилиной) справедливо указывая, что Толстой в письме Лескову «абстрагируется от конкретной проблемы и частных способов её устранения», в то же время замалчивает факт, что способы, обсуждавшиеся *в те дни* в обществе и прессе, Толстой справедливо не считал христианскими, а *своей* программы он тогда же ещё не был готов представить публике. Письмо Толстого «уличается» Федотовой в «дидактизме» и «рациональности», якобы абстрагирующейся и от всей жизненной реальности России (Федотова А.А. *Л. Н. Толстой и «голодный вопрос» 1891 года // Духовное наследие Л. Н. Толстого в современных культурных дискурсах: Материалы XXXV Международных Толстовских чтений. Тула, 2016. С. 310*). Непонятно, насколько прочна должна быть, с точки зрения автора статьи, «связь с реальностью» у писанного наспех частного письма, где Толстой слишком кратко и неловко выразил как раз религиозно-этические *теоретические* основания необходимых, но на тот момент ещё «не готовых», не продуманных им мер практической помощи?

Обоснованием и иллюстрацией изложенных нами выше утверждений станет практическая деятельность Льва Толстого на голоде, о которой пойдёт речь ниже.

Здесь Конец Предыстории Третьей и последней





Глава Первая.

САМОМУ И ЛЮБИТЬ, И КОРМИТЬ!

(Прелюдия Яснополянская. Июнь – октябрь 1891 г.)

В наш век роскоши мы дошли до того,
что нанимаем посторонних людей
для совершения за нас добрых дел.

Джон Стюарт Милль

В книге мемуаров «Моя жизнь» Софья Андреевна Толстая, супруга писателя, вспоминает, что первые сведения о грядущем голоде докатились до Ясной Поляны ещё в мае 1891 г.: дочь Толстого Мария, смотревшая на жизнь народа вполне по-отцовски, писала матери из Данковского уезда Рязанской губ., что у местных крестьян «в полях всё пропало от холода и отсутствия дождя; все с ужасом ждут голода, каждый день все молятся и все плачут» (Толстая С.А. *Моя жизнь: В 2-х кн. М., 2014. Книга вторая. [Далее сокр.: МЖ – 2.] С. 201*).

В Ясной Поляне никаких признаков грозящей засухи не появлялось. Урожай пшеницы был даже больше обыкновенного, трава уродилась высокой. Толстой, по обыкновению, участвовал в её косьбе, а также опробовал в этом году своего рода «хлебный огород» — возделывание пшеничного поля без эксплуатации животных, своими силами и одной только лопатой.

В воспоминаниях двоюродной тётки писателя Александры Андреевны Толстой, гостившей этим летом в Ясной Поляне, сохранились точно не датированные, к сожалению, сведения о настроениях Льва Николаевича летом 1891 года по отношению к слухам о предстоящем голоде: достаточно скептические, свидетельствующие о характерной сформировавшейся позиции Толстого и одновременно — о моральной неприготовленности к нравственной уступке в убеждениях, не только осуждавших буржуазную благотворительность посредством денег, но и отрицавших пользу и благо самой денежной системы:

«Один из приятных вечеров был прерван приездом тульского предводителя дворянства Раевского. Это была пора наступавшего в 1891 году голода; глубоко погружённый в мысли об этой напасти, Раевский не мог говорить ни о чём другом, и это раздражало Льва, не знаю, почему; он противоречил каждому слову Раевского и бормотал

про себя, что всё это ужасный вздор, и что если бы и настал голод, то нужно только покориться воле Божией и проч., и проч.

Раевский, не слушая его, продолжал сообщать графине все свои опасения, а Лёв не переставал вить *à la sourdine* свою канитель, что производило на слушателей самое странное действие» (*Толстая А.А. Мои воспоминания о Л.Н. Толстом / В кн.: Л.Н. Толстой и А.А. Толстая. Переписка. М., 2011. С. 72*).

Дневник Льва Николаевича содержит мысли близкого направления — в «чистом» виде, не перетолкованные предубеждённой тётушкой, и явившиеся, вероятно, вследствие разговоров о голоде — и таким образом помогает нам точнее датировать их период. Так, ещё 17 июня появляется в Дневнике такая запись:

«Дети иногда дают бедным хлеб, сахар, деньги и сами довольны собой, умиляются на себя, думая, что они делают нечто доброе. Дети не знают, не могут знать, откуда хлеб, деньги. Но большим надо бы знать это и понимать то, что не может быть ничего доброго в том, чтобы отнять у одного и дать другому. Но многие большие не понимают этого, особенно женщины» (52, 40).

Здесь же — великолепные мысли, прозревающие духовный корень не только голода, но многих бедствий народной России:

«...Кишит детвора. Родятся, растут, чтоб сделаться пьяницами, сифилитиками, дикарями. При этом толкуют о спасении жизни людей и детей и об уничтожении их. Да зачем плодить дикарей? Что тут хорошего? Не убивать их, не перестать плодить их надо, а надо все силы употреблять на то, чтобы из дикарей делать людей. Только это одно доброе дело. И дело это делается не одними словами, но примером жизни» (*Там же. С. 42*).

А 25 июня — мысль не менее глубокая и безусловно именно христианская, хотя и ещё более далёкая от возможности быть понятой и принятой А. А. Толстой и её церковно-православными, в особенности богатыми, единоверцами в России:

«Спасение жизни материальное — спасение детей, погибающих, излечение больных, поддержание жизни стариков и слабых не есть добро, а есть только один из признаков его, точно так же как наложение красок на полотно не есть живопись, хотя всякая живопись есть наложение красок на полотно. Матерьяльное спасение, поддержание жизней людских есть обычное последствие добра, но не есть добро. Поддержание жизни мучимого работой раба, прогоняемого сквозь строй, чтобы дать ему его 5. 000 <ударов>, — не есть добро, хотя и есть поддержание жизни.

Добро есть служение Богу, сопровождаемое всегда только жертвой, тратой своей животной жизни, как свет сопровождается всегда

тратой горючего матерьяла. Очень важно разъяснить это. Так закоренело заблуждение — принимать последствие за сущность» (*Там же. С. 43*).

В этот же день, 25 июня:

«Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать им, спасти их. И как это противно! Люди, не думавшие о других, о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить ему. Тут или тщеславие — выказаться, или страх; но добра нет.

Голод всегда — (нищих всегда имеем), т. е. всегда есть, кому и для чего жертвовать; ни в одно время не может быть больше нужна моя жертва или служба, чем в другое, потому что материальное самое большое моё дело будет a/∞ [«неизвестное, делимое на бесконечное»], т. е. ничто, а духовно всегда определённая величина.

Нельзя начать по известному случаю делать добро нынче, если не делал его вчера. Добро делают, но не потому, что голод, а потому, что хорошо его делать» (*Там же. С. 43 – 44*).

Легко заметить, что, в идейном плане, эти критические суждения о господской «благотворительности» аналогичны тем, которые несколькими днями позднее Л. Н. Толстой выскажет в письме Н. С. Лескову. Действительно, подобно тому как «богослужением» для христианина может быть только повседневное и всечасное служение Богу, как работника в мире хозяину, а не храмовое идолопоклонство и колдовство, как у язычников — так и «благотворительность» не может между христианами быть неким временным предприятием, актом, совершаемым «по случаю» и опосредованным деньгами, а может и должна быть, как и пишет Толстой — «жертвой, тратой своей животной жизни» понемногу, но во всякий день и час.

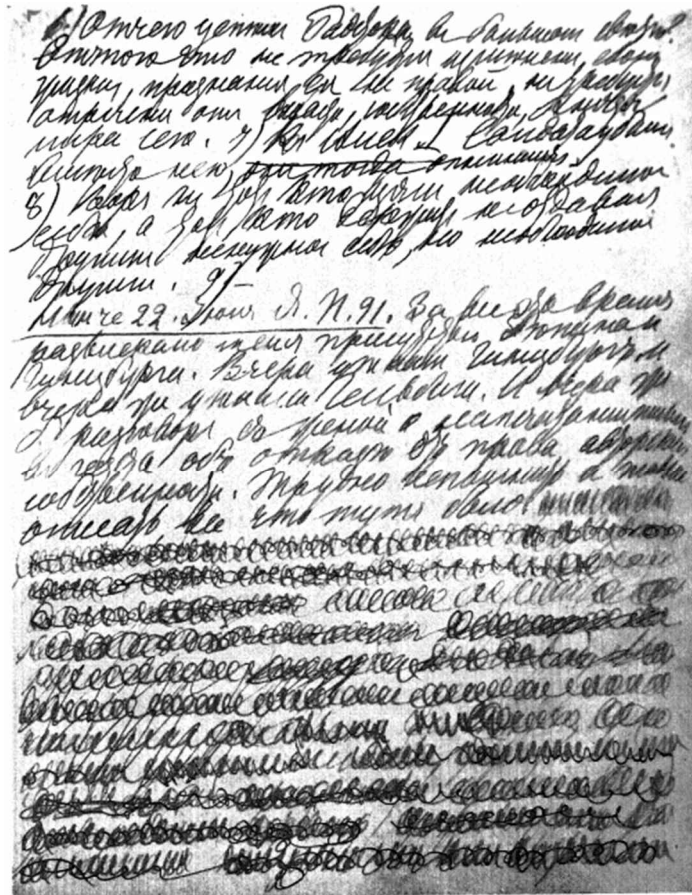
Но вот, уже 27-го — запись о впечатлениях, наносивших удар по «броню» этих соображений — глубоких, справедливых, но более актуальных всё же в какой-то иной общественной обстановке, при более разумном и справедливом общественном строе:

«От 1 до 3 писал хорошо об обжорстве <статью «Первая ступень». — *Р. А.*>. Выясняется хорошо. После обеда грустно, гадко на нашу жизнь, стыдно. Кругом голодные, дикие, а мы... стыдно, виноват мучительно. Отче, помоги мне делать волю Твою.

[...] Ошибка о возможности христианской добродетели без воздержания происходит от представления о возможности любви без самоотречения» (*Там же. С. 44*).

13 июля — ещё одно правило жизни для мира будущего, в котором восторжествует христианское понимание жизни и не будет места голоду: «Вор не тот, кто взял необходимое себе, а тот, кто держит, не

отдавая другим, ненужное себе, но необходимое другим» (Там же. С. 45).



СТРАНИЦА ДНЕВНИКА Л. Н. ТОЛСТОГО 1891 г.

Ведь удерживать от других заставляют человека недоверие, расчёт и страхи, а они, в свою очередь — признаки недоверия Богу, самого отвратительного безверия человека, гнуснейшего, нежели любой атеизм. Это животная поведенческая программа, унижающая в человеке всё собственно человеческое и побеждаемая именно благодатью христианской веры.

А в записях Дневника под 13 сентября — вот эта эмоциональная мысль, отсылающая нас уже к идеям ещё не написанной, даже пока не замысленной Толстым статьи «О голоде»:

«Неужели люди, теперь живущие на шее других, не поймут сами, что этого не должно, и не слезут добровольно, а дождутся того, что их скинут и раздавят» (Там же. С. 51).

Жена писателя, Софья Андреевна, между тем выгодно завершила семейный имущественный раздел; немалую выгоду принесли ей и хлопоты, с визитом весной лично в Петербург и к царю, о разрешении новой и скандальной повести мужа «Крейцера соната»: 13-й

том издаваемого ею собрания сочинений мужа с текстом этой повести, изданный первоначально тиражом в 3 000 экземпляров, читатели моментально смели с прилавков, и хитроумная Соня распорядилась о допечатке этого тома — ещё в 20 000 (!) экземпляров, которые, несмотря на спекулянтскую цену, тоже были быстро раскуплены (*МЖ – 2. С. 206*). Всё, казалось, шло только к лучшему... но только не для бедной Софьи Андреевны, бывшей, как следует признать, просто гением негативистского мышления и мастерицей в умении сделать себя и окружающих несчастными. Записи её дневника фиксируют повторения тех же психосоматических нарушений, приступов (с сердцебиением, стеснением в груди, ощущениями удушья, иногда со слезливыми истериками), которые сопровождали её уже в весенней поездке в Петербург и после возвращения — в Ясной Поляне. Скандалы с мужем делаются нормой, и главный повод их в лето 1891 г. — готовящееся Л. Н. Толстым заявление в газеты об отказе от авторских прав на сочинения *после 1881 г.*, то есть, с точки зрения Софьи Андреевны — от денег за публикации этих сочинений, необходимых для семьи, для её детей. 21 июля, после особенно яростной ссоры, Софья Андреевна намеревается покончить с собой: сперва на железной дороге, затем — утопившись в реке. «Желание смерти было так сильно, что и детей не было жаль» (*Там же. С. 213*). Стечение ряда обстоятельств не даёт ей в тот день совершить рокового шага. Коренная же причина такого поведения открывается нам из записей дневника Софьи Андреевны, сделанных в тот же день, 21 июля:

«И опять, и опять та же “Крейцера соната” преследует меня. Сегодня я опять объявила ему, что больше жить с ним как жена — не буду. Он уверял, что только этого и желает, и я не поверила ему» (*Толстая С.А. Дневники. М., 1978. Том первый. [Далее сокр.: ДСАТ – 1] С. 202*).

Идейное содержание повести Толстого, на самом-то деле, посвящено было *половому воздержанию* и критике чуждого христианскому, евангельскому учению института *брака* и семейной жизни. В этом смысле повесть существенным образом может быть связана и со статьёй «Первая ступень», главами её о посте, то есть религиозно-этическом *пищевом воздержании*, а через неё — с позднейшими статьями о голоде. Эту связь видел, например, американский сектант-шекер, старец и аскет Фредерик У. Эванс (*Frederic W. Ewans, 1808 — 1893*), судя по письму его к Толстому от 6 декабря 1892 г. (в оригинале англ.): «Ты русский Святой — Спаситель. Глядя на тебя, нация должна учиться, как ей спастись от заблуждений христианской религии. Вся система должна быть и будет изменена. Ты это видишь.

Разве не удивительно, что тысячи людей, голодая, продолжают зачинать детей, увеличивая тем самым количество голодных ртов?» (Л.Н. Толстой и США. Переписка. М., 2004. С. 432 – 433).

Великое видится лучше с расстояния. Но бедная Соня жила *рядом* с мужем, входила много лет в одну супружескую постель с ним... и он входил в неё. И верная жена восприняла повесть как публичную, уничтожающую и унижающую, жестокую критику многолетних отношений *лично с ней*. В «Моей жизни» Софья Андреевна дополнительно поясняет выщеприведённые свои слова так: «...Тяжело было сознавать, что я вся завишу от периодов страстности и охлаждения Льва Николаевича. “Крейцера соната”, объяснившая мне отчасти моего мужа, постоянно восставала в моём представлении. Как ни покорна я была как жена, я и себе, и ему сказала, что быть только *любовницей* я не хочу, что это унижительно, гадко» (МЖ – 2. С. 213).

Но гадко ли, не гадко, а спала она, кстати сказать, в последующую за ссорой ночь — всё-таки с мужем, и утром они снова, как обычно, помогли друг другу освободиться от полового желания (*Там же*).

А теперь, наоборот, пусть дополнит мысли мемуаристки её дневник. Из записей 15 августа 1891 г.:

«Если в молодости жили любовной жизнью, то в зрелые годы надо жить дружеской жизнью. А что у нас? Вспышки страсти и продолжительный холод; опять страстность и опять холод. Иногда является потребность этой тихой, нежной, обоюдной ласковости и дружбы, думаешь, что это всегда не поздно, и всегда так хорошо, и сделаешь попытки сближения, простых отношений, участия, обоюдных интересов, и ничего, ничего, кроме сурово, брюзгливо смотрящих удивлённо глаз, и безучастие, и холод, холод ужасающий. А отговорка, почему вдруг стали мы так далеки — одна: “Я живу христианской жизнью, а ты её не признаёшь; ты портишь детей” и т. д.» (ДСАТ – 1. С. 207).

Таким образом, бунт Софьи Толстой был вполне оправданным *бунтом человеческого достоинства*. Протестом против экзистенциальной выхолощенности её семейной, общественной повседневности, ограниченности возможностей самореализации, социальных ролей и прав для женщины в исконно лжехристианской, патриархальной России. Но хотела Соня, увы, невозможного: быть в той степени согласия с мужем и играть в его жизни, в его делах такие роли, которые подразумевают не простое сожитительство, а *дружбу*, то есть огромную степень согласия с мужем в самых значительных для него вопросах. Такое согласие, какого она, по собственным же многочисленным признаниям, не могла иметь, потому что не могла разделить с мужем его *последования Христу*.

Вопрос о переезде на зиму в Москву стал для неё ещё одним поводом для «сезонных» семейных сцен. И в этих скандалах Соня пыталась добиться невозможного: чтобы муж не просто был *согласен*, под её давлением, на переезд с нею и с детьми на осенне-зимние месяцы в Москву, но был *согласен охотно*, то есть радовался бы перспективе ещё нескольких зим (пока учатся младшие дети) провести в ненавистном городе. Радовался бы с тою ощутимой степенью искренности, при которой она могла не опасаться его последующего за переездом недовольства — как это случилось в 1881 и 1882 гг. Исключительно ради этого вечером 29 августа, когда переезд был уже решён, она вновь подняла этот вопрос, увязавшись за мужем на прогулку. И получила вдруг принципиальный, раздражённый отказ: «...Я этого не хочу! Ты — непременно поезжай и отдай детей <в гимназию>, потому что ты считаешь, что так надо и так лучше». — «Да, но ведь это развод, ведь ты ни меня, ни 5-х <младших> детей не увидишь всю зиму!». — «...Ты будешь ко мне приезжать». — «Я? Ни за что!» (ДСАТ — 1. С. 208 — 209).

Последовали припадок и скандал, в ходе которых Софья Андреевна винила супруга в «безнравственной» попытке «разорвать семью пополам», в «бессердечном выбрасывании её из своей жизни». Толстому удалось отговориться и, по существу, бежать в соседнюю с Ясной Поляной деревню Грумант, а Софья Андреевна пошла домой лесом, в слезах, так что встреченные ею по пути мужики и бабы смотрели на неё с удивлением (Там же. С. 209). Дети точно 1 сентября были доставлены на учёбу — «свезены в омут», как ворчал их отец (Там же. С. 210). В постоянном присутствии обоих родителей они, учась в гимназии, не нуждались, но тем не менее, вернувшись в Ясную Поляну, в последующие дни Софья Андреевна не раз возобновляла разговоры о переезде мужа, в том же эмоциональном стиле, так что и сестра её Татьяна наконец, не выдержав, прикрикнула на неё: «Довольно, Соня, ты мне всё сердце растерзала!» (Там же).

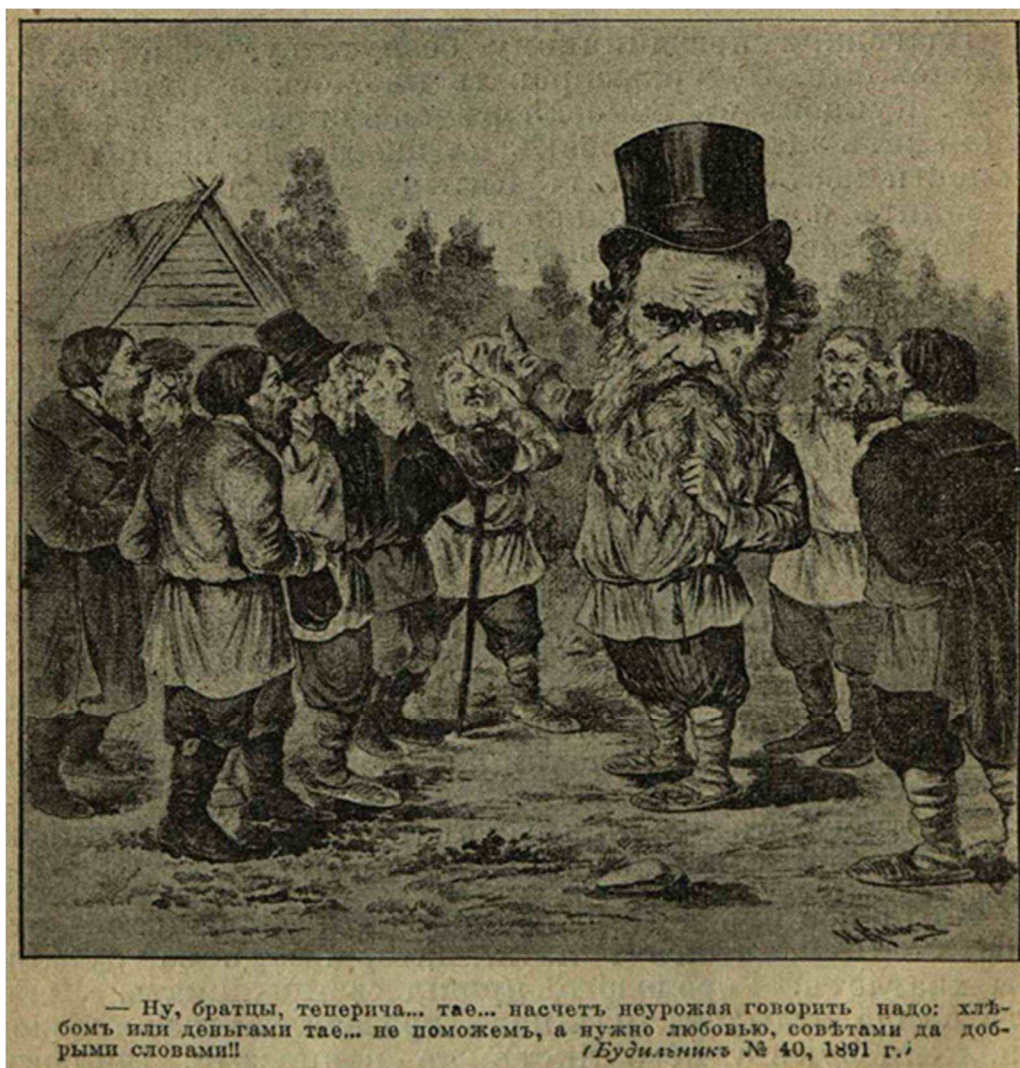
Такова была тяжелейшая для Толстого нравственная атмосфера, в которой ему приходилось обдумывать не только свои творческие работы, но и ситуацию с надвигающимся на сельскую Россию страшным голодом.

Следующий эпизод предыстории великого исторического служения Л. Н. Толстого и членов семьи его — связан уже непосредственно всё с тем же письмом Толстого от 4 июля к Н. С. Лескову.

Как мы помним, знакомы писатели к этому времени были ещё не очень давно — с весны, точнее же 20 апреля, 1887 года. Ко времени письма Толстого — не виделись уже более года. Кроме того, Лесков

всегда старался позиционировать себя писателем и мыслителем, от авторитетов и общественных мод независимым. На деле его уже “подхватила” летом 1891 г. волна общественного беспокойства по случаю засухи и неурожая. Он ждал от Толстого, которого знал как великого народолюбца, примерно таких же суждений о необходимой помощи крестьянству, какие гуляли в прессе — и, вероятно, ещё до получения ответа бессознательно был расположен уже к идее так или иначе *опубликовать* ответ Толстого — испросив, конечно же, на то особенное письменное его разрешение. И вдруг... приходит письмо с ответом, но довольно неясным, какое-то ощутимо «недоговорённое», оставляющее *слишком много смыслов* «между строк». Или же похожее на оборванный устный монолог, в котором говорящий не совсем удачно выразил мысли. Деликатный Лесков не лезет к Толстому с новыми вопросами, а решает, для возможных разъяснений, тихонечко показать письмо близкому единомышленнику Толстого Ивану Ивановичу Горбунову, одному из издателей литературы основанного Толстым в 1884 году, в Санкт-Петербурге, народно-просветительского книгоиздательства «Посредник».

Но тихонечко не получилось. В конторе «Посредника» по каким-то делам оказался в дурной час некто А. Фаресов. Он послушал, вместе с Горбуновым, чтение письма вслух, рассыпался в дифирамбах автору, и тут же выпросил у Лескова копию толстовского письма. А 4 сентября текст письма вдруг появился в газете «Новости» (№ 244), причём со странными, явно намеренными, искажениями текста и комментирующей заметкой авторства самого Анатоля Ивановича Фаресова (бывшего репортёром этой газеты), под псевдонимом “Фрейшиц”. Лескову не оставалось ничего, как объясняться с Толстым и газетной публикой и сожалеть о случившемся. В письме к Толстому от 6 сентября он изложил все подробности конфузливой ситуации и 14 сентября получил от него свидетельство примирения — затерявшееся, к сожалению, письмо, на которое радостно ответил в тот же день следующим:



«- Ну, братцы, теперича... тае... насчет неурожая говорить надо:
Хлебом или деньгами тае... не поможем, а нужно любовью,
советами да добрыми словами!»

Одна из карикатур на Л.Н. Толстого,
связанная с его письмом о голоде к Н.С. Лескову. 1891 г.

«Сегодня я был обрадован, Лев Николаевич, Вашими строками, в которых есть упоминание о напечатании выдержек из Вашего письма. Очень был обрадован. Я чувствовал себя сконфуженным не столько перед Вами, как перед графиней Софьей Андреевной, Татьяной Львовной и Марией Львовной, которые могли подумать: "Что за разгильдяй такой!" А мне не хочется, чтобы они были мною огорчены, и, получив снисходительные слова от Вас, я теперь почему-то начинаю думать, что и они меня не осуждают за волшебный выстрел моего Фрейшица» (Л. Н. Толстой. *Переписка с русскими писателями: В 2-м. Т. 2. М., 1978. С. 258 — 259*).

С А. И. Фаресовым мягкосердечный Лесков тоже быстро и совершенно примирился и имел впоследствии деловую переписку с ним.

Софья Андреевна проводит эти дни в Москве, с младшими детьми и работой над 13-й книжкой Собрания сочинений мужа, бесценной по ожидаемым доходам: ведь туда должна была войти новая, ожидавшаяся читателями и уже успевшая стать скандальной повесть Толстого «Крейцера соната».

Вот отрывок из её письма к мужу от 9 сентября, дающий представление о тогдашнем восприятии слухов о голоде в семье Льва Николаевича, да и в целом в неравнодушной, просвещённой и общественно-активной части российского общества:

«Дунаев и Наташа рассказывали о голодающих и опять мне всё сердце перевернуло, и хочется забыть и закрыть на это глаза, а невозможно; и помочь нельзя, слишком много надо. А как в Москве это ничего не видно! Всё то же, та же роскошь, те же рысаки и магазины и все всё покупают и устраивают, как и я, пошло и чисто свои уголки, откуда будем смотреть в ту даль, где мрут с голода. Кабы не дети, ушла бы я нынешний год на службу голода, и сколько бы ни прокормила, и чем бы ни добыла, а всё лучше, чем так смотреть, мучаться и не мочь ничего сделать» (Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому. [Далее сокр.: ПСТ] М., 1936. С. 446 – 447).

И тут же, кстати вспомнив о еде, Софья Толстая делает приписку для сестры Тани, рекомендуя покупать детям побольше арбузов и фруктов и поменьше — вредных пирожных... Кастовая черта ощущается. Но и влияние Льва Николаевича, его воззрений и дум — несомненно. Оно выразилось даже в фразеологии письма: Соничке хочется отнюдь не деньгами откупиться от совести, а самой «уйти на службу голода», то есть лично трудиться и жертвовать для пострадавшего народа. Мы увидим из последующих её известий, что так она и сделала.

15 сентября, успокоенная устройством на учение детей, Софья Андреевна возвращается в Ясную Поляну... как раз вовремя для того, чтобы стать свидетельницей и участницей *попадания в историю* — вместе с мужем, дочерьми и даже с сыном Львом, ничего пока не подозревающим и разрешающим в Москве свои осенние проблемы с университетом.

Впервые в приведённом выше письме Софьи Андреевны Толстой и в нашей книге появляется весьма незаурядный и значительный в биографии Л.Н. Толстого и членов его семьи человек. Александр Никифорович Дунаев (1850 – 1920) был старшим сыном богатого московского купца и табачного фабриканта, успевшим проявить себя в делах патриотических (снабжение армии в Русско-турецкую войну 1877 – 1878 гг.) и в благотворительности. Как и Чертков, А.Н. Дунаев

ещё до знакомства с Толстым (состоявшегося в 1887 г.) сделался «богоискателем», недовольным своим образом жизни, и пережил духовный кризис. Друзья своеобразно поняли причины его депрессии и, после пожара на фабрике и разорения... устроили на работу в Московский торговый банк, где этот покладистый и приятный человек сделал, как это принято называть, карьеру — вплоть до должности первого директора.



Александр Никифорович Дунаев

В семействе Толстых он только вёл сперва денежные дела, но... проникшись Божественной истиной христианской проповеди Льва Николаевича, немедленно стал его учеником.

Кажется, сблизила их именно хромая судьба. Это были два человека, пришедшие к истинной христианской вере слишком поздно: уже *слишком* крепко, неразрывно связав себя отношениями с избранными любимыми людьми, и, как следствие — с миром и с мирскими приманками и лжами. Об этом Дунаев интимно жаловался Толстому в письме от 6 ноября 1889 г.: «Всё, что около меня, всё кричит мне: я ложь и зло. И дома, и семья, и электричество, и банк, и те разговоры, которые я слышу, и деятельность людей, которую я вижу, их заботы, суета, удовольствия, занятия, верования, желания,

всё осязаемое и чувственное, невещественное и отвлечённое, всё целый день стоит передо мною во всей своей наготе и мучает меня. И я ни в чём не могу остановиться, чтобы отдохнуть...» (Цит. по: *Летописи гос. лит. музея. Кн. 12. Л.Н. Толстой. М., 1948. Т. 2. С. 27*).

Толстой часто навещал семью Дунаевых в маленьком московском особнячке на Девичьем поле. Он поддерживал Дунаева морально, включил его в круг своих друзей и часто обращался к нему с просьбами и поручениями. Благодаря своим обширным связям, тот исполнял все поручения легко и с радостью, находя в этом некоторое оправдание своей служебной деятельности. По просьбе Толстого он доставал для нуждающихся деньги, посылал ходатайства, навещал в тюрьме заключённых, пересылал сочинения Толстого высланному в 1896 г. в Англию приближённому другу Толстого Владимиру Черткову и даже саморучно делал выписки из книг, необходимые Толстому для работы над статьёй об искусстве. Дунаев был хорошо образован, и Толстой доверял его вкусу, прислушивался к его рекомендациям в выборе книг.

В эпоху помощи голодающим крестьянам 1891 – 1892 гг. Дунаев проявил себя блестящим помощником и Льва Николаевича, и Софьи Андреевны Толстых.

Дневник С. А. Толстой и мемуары зафиксировали главные вехи вдруг ускорившихся и драматизировавшихся событий. Днём 16 сентября Толстой достигает давно желанного: отправляет-таки — конечно же, в сопровождении Соничкиного ворчания — в газеты «Русские ведомости» и «Новое время» письмо с объявлением об отказе от части авторских прав (на сочинения с 1881 г.):

«М. г.

Вследствие часто получаемых мною запросов о разрешении издавать, переводить и ставить на сцене мои сочинения, прошу вас поместить в издаваемой вами газете следующее моё заявление.

Предоставляю всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей, по-русски и в переводах, а равно и ставить на сценах все те из моих сочинений, которые были написаны мною с 1881 года и напечатаны в XII томе моих полных сочинений издания 1886 года, и в XIII томе, изданном в нынешнем 1891 году, равно и все мои неизданные в России и могущие вновь появиться после нынешнего дня сочинения.

Лев Толстой» (66, 47).

Заявление это было напечатано в газетах 19-го сентября.

Публичный отказ всемирно известного писателя от авторских прав на свои последние произведения вызвал бурную реакцию. Он привёл к обострению семейного конфликта Толстых. В Дневнике того периода Лев Николаевич с горечью писал о непонимании его поступка: «Не понимает она и не понимают дети, расходуя деньги, что каждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание, позор мой. Позор пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь истины?» (52, 44).



С. А. Толстая в 1889 г.
Фотография М.А. Шиндлера и А.И. Мея
в Москве (под фирмой Шерер, Набгольц и К°)

А далее события развивались как будто в насмешку по отношению к отрекшемуся от «законных» своих денег писателя. Уже вечером того же дня, 16 сентября, Толстой оказывается под очень неприятным впечатлением от прочитанной им, вместе с лесковским письмом от 6-го, газетной критики своей позиции о голоде, выраженной в частном письме к Н. С. Лескову — различных политических лагерей, объединённых одним: неспособностью понять христианскую мысль автора письма. Соня поняла — сердцем, но не могла, после его *только что* совершённого отречения от части писательских доходов, совершенно сочувствовать мужу и в этой его позиции:

«Лёвочкино письмо нескладно, местами крайне, и, во всяком случае, не для печати. Его взволновало, что его напечатали, он не спал

ночь и на другое утро <т.е. 17 сентября. – Р. А.> говорит, что голод не даёт ему покоя, что надо устроить народные столовые, куда могли бы приходиться голодные питаться, что нужно приложить, главное, личный труд, что он надеется, что я дам денег (а сам только что снёс на почту письмо с отречением от прав на XII и XIII том, чтоб не получать денег; вот и пойми его!), и что он едет немедленно в Пирогово <в имение брата Сергея. – Р. А.>, чтоб начать это дело и напечатать о нём. Но писать и печатать, чего не испытал на деле — нельзя, и вот нужно, с помощью брата и тамошних помещиков, устроить две, три столовые, чтоб о них напечатать.

...Если б он это сделал потому, что сердце кровью обливается от боли при мысли о голодающих, я упала бы перед ним на колена и отдала бы многое. Но я не слышала и не слышу его сердца. Пусть своим пером и умением расшевелит хоть сердца других!» (ДСАГ – 1. С. 211).

Откуда же явилась у Толстого идея открытия благотворительных столовых для голодавших крестьян?

По сведениям Н. Н. Гусева, в этот же день, 17 сентября, Толстого навещил давний знакомый, земский деятель, князь Георгий Евгеньевич Львов (1861 – 1925), будущий член Временного правительства, а в то время, в 1891 г., молодой богатейший аристократ, предприниматель и благотворитель, переживавший как раз увлечение толстовством (Гусев Н.Н. *Летопись жизни и творчества Л.Н. Толстого. 1891 – 1910.* С. 42). В 1891 г. он переехал из Москвы в Тулу, где занял должность неперемного члена губернского присутствия. Этим быстрым, значительным повышением он обязан Ник. Ал. Зиновьеву, тульскому губернатору в 1887—1893 годах, хорошему знакомому Л. Н. Толстого.



Князь Г. Е. Львов с родителями и сестрой

В те годы убеждённый свободный христианин — один из тех, кого именовали «толстовцами», — Г. Е. Львов стал активным участником в борьбе с голодом, охватившим Россию. Львов привлекал прессу, вместе с *Рафаилом Алексеевичем Писаревым* (1850 – 1906), другом В. Г. Черткова, а в то время уполномоченным Российского Общества Красного креста (РОКК), помогал пострадавшим от неурожая (см.: 76, 41), возглавлял врачебно-продовольственный комитет с благотворительными целями, создавал пекарни, столовые, санитарные пункты для голодающих, погорельцев и малоимущих. Не случайно Толстой посылал ему собранные миром деньги для голодающих с просьбой непременно называть имена жертвователей (*Там же. С. 79*). Кн. Львов неоднократно приезжал в Ясную Поляну, бывал и в Пирогове, где много беседовал с Толстым о голоде.

Вероятно, именно разговор с Львовым навёл Л. Н. Толстого на счастливую идею благотворительного предприятия со столовыми; если же быть совершенно точным, то *напомнил* о существующем таком способе поддержки бедствующих в крестьянской общинной жизни. Теперь, осенью 1891-го, Толстой уже сознавал масштабы народного бедствия и был морально подготовлен к нравственной необходимости участия в борьбе с ним. В Дневнике его под 18 сентября читаем:

«Был Львов, говорил о голоде. Ночь дурно спал и не спал до 4 часов, всё думал о голоде. Кажется, что нужно предпринять столовые. И с этой целью поехал в Пирогово» (52, 53).

Поехал, кстати, не один, а со старшей дочерью Таней.

По некоторым сведениям, единомышленником Г. Е. Львова, навестившем Л. Н. Толстого в эти же дни (вероятнее всего, позднее, не вместе со Львовым — иначе он обязательно был бы упомянут Толстым в Дневнике как спутник Львова) и с этими же замыслами, был ещё один замечательный участник предстоявшей эпопеи помощи голодающим, о котором упоминалось уже выше, но на котором теперь мы благодарно и любовно задержим внимание читателя.

Дворянин, помещик, земский деятель Данковского уезда Рязанской губернии *Иван Иванович Раевский* (1835 – 1891) родился 26 октября 1835 года и был старшим сыном Ивана Артемьевича и Екатерины Ивановны Раевских. Жажа, как его звали в семье, с детства удивлял всех своими умственными способностями. В возрасте семи лет он свободно говорил по-французски и по-немецки, отлично читал и писал по-русски и знал все четыре действия арифметики. После гимназии Иван поступил в Московский университет на физико-

математический факультет, который успешно окончил кандидатом по чистой математике. Некоторое время он служил чиновником по ведомству народного просвещения, но затем его потянуло в деревню, где он погрузился не только в хозяйство, но и в общественную деятельность. Раевский стал одним из самых активных земских работников Данковского уезда Рязанской губернии.



Иван Иванович Раевский (1835 – 1891)

Он принадлежал к просвещённым помещикам, которые стремились поставить хозяйство на научную основу. Он выписывал из-за границы машины и удобрения. Ему доставляли «гуано» из Чили — чилийский навоз. Мужики смеялись над ним: «Барин наш молодой из-за моря теперь говно покупает, видать, своего хватать не стало» (Раевский С. П. *Пять веков Раевских*. М., 2005. С. 45 – 46).

С Львом Толстым Раевский познакомился в 1857 г. в зале гимнастического общества Пуарэ на Большой Дмитровке в Москве. Молодой Толстой, в своё время разорвавший связи с университетом, был не меньшим поклонником гимнастики, нежели окончивший университет молодой Раевский — поклонником науки. В некрологе памяти Раевского Толстой вспоминал: «Мне было под 30, ему было с чем-то двадцать, когда мы встретились. Я никогда не был склонен к быстрым сближениям, но этот юноша тогда неотразимо привлёк меня к себе, и я искал сближения с ним и сошёлся с ним на “ты”». В нём было очень много привлекательного: красота, пышущее здоровье,

свежесть, молодечество, необыкновенная физическая сила, прекрасное, многостороннее образование... Но больше всего влекла к нему необыкновенная простота вкусов, отвращение от светскости, любовь к народу и главное – нравственная совершенная чистота, теперь редкая между молодыми людьми, а тогда составляющая ещё большее исключение. Я думаю, что он никогда в жизни не был пьян, не участвовал в кутеже, не говоря уже о других увлечениях» (29, 262).

«Вопросы личной морали и общественной этики [...] вносили оттенки в отношения между Толстым и Раевским. Толстой стремился к самосовершенствованию — и это стремление, захватывая все его мысли и чувства, вносило в его беседы с окружающими почти исключительно этические темы, постоянный самоанализ и исповедание. Раевский избегал говорить о морали. Он и охотился, и ел мясо, и курил, и мог казаться слишком уж толстым для человека с тонко развитым моральным миром», — писал в своей статье «Л.Н. Толстой и И.И. Раевский» учитель детей Раевского, а затем Толстого *Алексей Митрофанович Новиков* (1865 – 1927).

Эти свойства обеспечили совпадение многих мнений друзей, не лишая каждого из них своего критического взгляда. Вообще скрытые интенции сближения Толстого с такими людьми, как Раевский или Писарев объясняют коренную причину известного иронического отношения Льва Николаевича к толстовцам: он любил людей, не враждующих с известной им, но не принимаемой ими высокой истиной, при этом же и не раболепствующих перед ней, не останавливающих дальнейшего поиска на поклонении идее или кумиру.

Правнук Ивана Ивановича, К.С. Раевский, в своём очерке об отношениях прадеда с Л.Н. Толстым отмечает, что «общее» у друзей было, вероятно, «не в характерах или вкусах, но во взглядах, общественных идеалах, духовных исканиях»: «глубокий гуманизм и высочайшая, почти болезненная требовательность к себе» (*Раевский К.С. И.И. Раевский и его отношения с Л.Н. Толстым // Яснополянский сборник. 1982. Тула, 1984. С. 202 – 203*). Но тут же К. С. Раевский повторяет об отношениях прадеда с Толстым слова, удивительным образом сходные с суждением Л. Н. Толстого о Лескове: «Не слепой последователь и подражатель, а неизменно доброжелательный друг и справедливо строгий критик», и до такой даже степени, что, как думается правнуку, Толстому «было неприятно такое несогласие с его взглядами» (*Там же. С. 204*). Это весьма вероятно, если вспомнить приведённое нами выше воспоминание А.А. Толстой о первом разговоре Толстого с Раевским по поводу голода. В записях Дневника Толстой был достаточно красноречив в своём давнем скепсисе на

предмет благотворительности, от Раевского же, памятуя своё застарелое впечатление о “неблизости” с ним по вере, как будто старался скорее отделаться!

Но Толстой ошибался о давнем друге... и был немедленно наказан за это обстоятельствами! Подобно тому, как в Самарском голоде 1873 г. Толстого опередила замыслом и начинанием жена, Софья Андреевна, в голоде 1891 года его, в числе множества в России нравственно чутких людей, опередил Иван Иванович Раевский. Он раньше Толстого начал бороться с голодом.

В 1891 г. Раевский стал попечителем двух участковых подведомственных земским собраниям попечительств по оказанию помощи голодающим. С возникновением угрозы голода он пришёл ещё к одной мысли. Смысл существования помещичьего хозяйства заключается в том, чтобы быть «страховым капиталом народа». С мирских позиций — тех самых, с которых оправдана была и барская «благотворительность» посредством денег — это была вполне рациональная идея: крепкое помещичье хозяйство как гарантия благоденствия народа, живущего вокруг богатого феодала, «спасения» его в неурожайные годы. Но она явно противоречила взглядам, к которым пришёл Толстой-христианин. Тот факт, что Толстой не просто согласился сотрудничать с Раевским, но и на первых порах оказался в роли его помощника, гораздо больше говорит о Толстом-человеке, чем его статья о голоде. А то, что Раевский с готовностью уступил Толстому первенство в этом деле и даже большую комнату в собственном своём имении, переехав сам в каморку, многое говорит нам о характере Раевского.

В «Моей жизни» С. А. Толстая сообщает о нём и первом (в связи с начатым предприятием) общении с ним Льва Николаевича следующее:

«Иван Иванович Раевский был первый, который утвердил Льва Николаевича в его намерении ехать кормить голодающих в их краях посредством столовых. Он рассказывал, что исстари ещё во время голодовок устраивали такие столовые, которые народ называл “сиротскими призреньями”.

Лев Николаевич тогда же решил, что он поедет в те края, куда указывал Иван Иванович, и тут же взял у меня денег <90 рублей> на закупку свёклы, картофеля и тех продуктов, которые надо было перевезти на разные пункты — до морозов» (МЖ – 2. С. 223).

Подробнее о начале деятельности Раевского и Толстого по борьбе с голодом в 1891 г. читаем у А.М. Новикова: «Раевского, видимо, задевали и более глубокие идеи Толстого, вопросы богатства и бедно-

сти, личного труда и капитала. Он [...] тяготился своей барской разобщённостью от крестьян и страдал, не находя выхода из своего положения. Но настали события, и для Раевского сверкнула надежда. [...] Раевский с юношеским жаром ухватился за неё и не выпускал до конца своей жизни... Таким лучом, как это ни странно, было общественное бедствие — надвигавшийся голод. [...] Возвратясь в половине июля 1890 г. с экстренного епифанского земского собрания, И.И. Раевский пригласил меня и трёх своих сыновей ехать переписывать одну из соседних волостей. [...] Перелетая с собрания на собрание, И.И. Раевский между двумя сессиями завернул и в Ясную Поляну. Он задумал подвинуть и Л.Н., чтобы тот стал в ряды кормильцев голодного народа. Но начал Раевский с того, что рассказал о картинах голодного края и уговорил Льва Николаевича проехаться и посмотреть. Л.Н. любил такие поездки.

И он поехал в голодный край, чтобы с наибольшим знанием дела написать статью о голоде. Поехал на 1 – 2 дня и остался там 2 года.

Раевский уже раскинул ряд учреждений для кормления голодающих, хотя и в незначительном размере и на небольшом пространстве, когда Толстой согласился поселиться в Бегичевке у Раевских. Приехав туда, он начал в скромных размерах — на деньги, вырученные от своих статей, и на пожертвования — оказывать помощь крестьянам и открывать столовые.

Известно, как потом разрослась эта помощь. [...] Толстой, его две дочери, племянница и И.И. Раевский мирно, бодро и необыкновенно дружно жили в Бегичевке» (*Новиков А.М. Л.Н. Толстой и И.И. Раевский // Международный толстовский альманах: О Толстом. М., 1909. С. 195 – 198*).

Итак, 18 сентября Толстой выезжает, для начала дела, к брату Сергею в имение его Пирогово — уже «вооружённый» и вдохновлённый замыслом о столовых, но ещё не уверенный в том, что его роль в этом будет большей, нежели в Самарском крае в 1873 году: опросить, описать, опубликовать, привлечь благотворителей...

Софья Андреевна, дневник:

«В Пирогове Серёжа, брат, встретил их очень недружелюбно, говорил, что они учить его приехали, что вы, мол, богаче меня, вы помогайте, а я сам нищий и т. д.» (*ДСАТ – 1. С. 214*).

О том же — и в Дневнике в ночь с 18 сентября Л.Н. Толстого, вместе с сомнениями, связанными, однако, с христианской верой Льва Николаевича, а никак не с тем, что брату Сергею удалось убить энтузиазм в брате Льве:

«Из столовых до сих пор ничего не выходит. Боюсь, что я ошибся. Не надо искать, а только отвечать на требования. О деньгах думал. Можно так сказать: употребление денег грех, когда нет несомненно нужды в употреблении их. Что же определит несомненность нужды? Во 1-х то, что в употреблении нет произвола, нет выбора, то, что деньги могут быть употреблены только на одно дело; во 2-ых (забыл). Хочу сказать — то, что неупотребление денег в данном случае будет мучать совесть, но это неопределённо. Теперь 12 час. Я в Пирогове. И мне не хорошо и телом и духом» (52, 54).

В письме от 8 октября к духовному единомышленнику (толстовцу) П.Г. Хохлову Лев Николаевич изложил свои мысли о деньгах уже более обдуманно и зрело:

«О деньгах вы правы [...], что это тонкий соблазн, который надо избегать, сколько возможно, и я вижу теперь это с помощью голодающим. — Но деньги сделались таким необходимым условием жизни, что нельзя всегда обойти их. (Говорю не про себя, потому что я вполне обхожусь без приобретения, удержания и расходования их; но то ли бы я заговорил, если бы я, например, остался вдовцом с малыми детьми?)

Я думаю так: главный грех денег есть власть, которую они дают над людьми, — власть употреблять их так или этак, т. е. заставить людей делать то или это, — сознание того, что я могу этот рубль проесть, проехать на железной дороге или отдать.

И потому тем меньше греха в деньгах и расходовании их, чем несомненнее их употребление. Умиравший человек хочет меня видеть и присылает мне 200 рублей на дорогу за границу, или я беру 15 коп. и покупаю себе винограду, который могу не купить. В первом нет греха, во втором грех» (66, 54 – 55).

Порок жадного деньгопоклонничества именно ради выбора греха — наследственная черта многих Толстых. И в наши дни, в путинской России, управляющие Музеем-усадьбой «Ясная Поляна» члены семейства и дружки потомка Льва Николаевича, В. И. Толстого, члена партии уголовников, «корешей» В. В. Путина «Единая Россия», явно воспринимающие государственные Усадьбу и Заповедник как личное хозяйство, готовы ухнуть миллионы бюджетных денег в собственные блажь и выдумки, как фестивали, спортивные состязания на территории Заповедника, или же как разгульное празднование в 2021 году столетнего юбилея Музея, но зато для *не своих*, *не бластных*, для не желающих пачкаться общением с этой полукриминальной с 1990-х годов московской и тульской шайкой, никогда не найдут не то, что копейки денег, но и штатного места для работы в Музее.

Явно не поддержав отца в этих — слава Богу, не всеобщих — словочных интенциях толстовской породы, *Вера Сергеевна Толстая* (1865 – 1923), молодая дочь Сергея Николаевича от добросердечной цыганки Маши Шишкиной, то есть племянница Льва Николаевича, взялась, на пару с Танечкой дочерью, сопровождать Льва Николаевича в дальнейшем, морально очень непростом его пути.



Вера Сергеевна Толстая

В Дневнике есть свидетельство, что 22-го Толстой снова заезжал к брату, и брат нанёс по брату новый убийственный удар критики: «22 у Серёжи было натянуто. Осталось дурное расположение духа. Говорил с Варей, чтоб она училась» (*Там же*). Вероятно, и Варя, средняя дочь Сергея Николаевича Толстого, хотела, по примеру старшей и вместе с ней, поехать на голод с Толстым, и это взбесило отца.

Для справедливости здесь стоит заметить, что, сотрудничая с Российским обществом Красного Креста, Сергей Николаевич имел основания считать себя опытной младшего брата в деле помощи и благотворительности (равно как и личного общения с лицами, вдохновившими Льва Николаевича на участие в общем деле) и взирать на энтузиазм брата с раздражённым скепсисом.

Изгнанный из богатейшего усадебного рая Пирогово, царь Лев, уже с двумя верными спутницами, объехал верхом окрестные деревни. Вечером 19 сентября он нашёл приют у очень бедного, но зато доброго старинного своего друга, *Василия Николаевича Бибикова* (1830 – 1899), жившего в родовом имении при селе Успенском (Кобылинка

тож). С его помощью Толстой объезжает ещё ряд деревень Ефремовского и Богородицкого уездов. Для действительно нищего Бибикова благодарный ему за помощь Толстой впоследствии собрал 400 рублей на открытие столовой в его деревеньке.

Объезжая поместья, Толстой, с грустью христианского духовного учителя, наблюдающего глупости и пороки рабов и жертв мирского обмана, констатировал контраст нищеты множества крестьян и роскошной жизни зажиточного меньшинства, среди которого, разумеется, оказались и помещики, которых посетил Толстой. В его Записной книжке уже на 19 сентября читаем:

«У Бырдиных помещичья семья, барыня полногрудая с проседью, в корсете, с бантиком на шиньоне, хозяйка, расплачивается с подёнными, угощает и кофеем, и кремом, и котлетами, и грустит о том, что дохода нет... а на детей нужно 1500 р. [...] Когда говоришь, что этого не нужно, особенно для дочери, она согласна, но “что же делать”. За столом подали водку и наливку и предложили курить и объедаться» (52, 192).

Наверняка эта картина напомнила Толстому собственных супругу и семейство — с их рабством у сословных и иных мирских установлений тех «злодеев», которые «ограбили народ» (49, 58).

Такую же картину Толстой наблюдает уже 20 сентября и у богатого помещика *Фёдора Александровича Свечина* (1844 – 1894), владельца имения Ситово, страстного охотника, содержавшего великолепный дом, винокуренный завод, конный двор, псарню, голубятню... Тот встретил титулованного гостя как потенциального приятеля по увлечению: верхом, «в чекмене, с наборным ремнём», и немедленно отвёл на псарню, где взору морально измученного Льва Николаевича предстали хорошо раскормленные «Налетай, Урывай и т. д.» (52, 192).

«Интересы [...] : именьё, доход, охота, собаки, экзамены детей, лошади», — отмечает Лев Николаевич в Записной книжке.



Ф. А. Свечин

И в той же Записной книжке на соседних страницах читаем:

«Ознобишино. — Картофеля нет. Побираются почти все».

«Мещёрки. 6 душ. Сын в солдатах. Раскрыто. 5 четвертей овса. — Побирается, принесла хлеба».

«Третья. Хлеба нет. Испекли два хлеба с лебедой. Овса три четверти. Картофеля нет».

«Лебеда нынешнего года зелёная. Её не ест ни собака, ни свинья, ни курица. Люди, если съедят натошак, то заболевают рвотой. От кваса, сделанного из этой муки, люди <дальше вырван лист. — Р. А.>» (Там же. С. 191— 193).

За вырванным листиком в Записной книжке следуют уже размышления о мерах борьбы с голодом: «...похлёбку картофельную и кисель овсяный и хлеб с отрубями. Для этого нужно скупить картофель и отруби и устроить пункты столовых. От второй беды <нехватки топлива. — Р. А.> нужно в засеке собрать дрова артелями и выслать их по железной дороге» (Там же. С. 192).

И ещё, очень важное наблюдение о том, почему именно бедняку нельзя помогать деньгами:

«Самый бедный это самый нравственно слабый. Как им ни помогай, всё пройдёт тунью, как прошло прежде. Одно — кормить» (Там же. С. 193).

В тот день, 20-го, Толстой увидел наконец настоящую, голодную нищету народа, и страшно устал — и тем драгоценней, нужнее физически, хотя и тяжелее морально был для него приют и ночлег у Свечина. Тот помог ему впоследствии довольно оригинально: отправил в печать как раз готовый к тому времени сборник своих охотничьих воспоминаний, а все доходы от издания передал в пользу крестьян.

22 сентября Толстой, после второго спора с братом Сергеем, возвращается в Ясную. А 23-го, уже с результатами первого своего объезда, он навестил тульского губернатора *Николая Алексеевича Зиновьева*, вероятно, именно с этими, приготовленными в Записной книжке, вопросами:



- «1) Есть ли хлеб в России?
- 2) Сколько надо считать голодных?
- 3) Почему не дают леса?
- 4) Почему собирают недоимки?
- 5) Какие меры в Тульской?
- 6) Какие слышно в других губерниях?» *(Там же).*

От губернатора, однако, Толстой в тот визит нового «узнал мало» *(Там же. С. 54).*

В тот же, вероятно, день состоялась, как радостный контраст общения с губернатором, и новая встреча Толстого с другом молодости Иваном Раевским, заглянувшим в гости, ибо тогда же, 22 сентября, Толстой решает поехать в Епифанский уезд, чтобы и там познакомиться на месте с положением народа. На этот раз Льва Николаевича сопровождала другая его дочь, Мария Львовна. В уезде их неприятно поразила не просто нищета, а *моральная слабость* высочайшей русской пробы, какая-то просто зоологическая опущенность здешнего народа: «разваленные дома, ничего нет, и ещё пьют» *(Там же).* В Епифани они остановились у местного земского деятеля *Рафаила Алексеевича Писарева* (1850 – 1906), и прежде знакомого Толстому.



Р.А. Писарев

Рафаил Алексеевич Писарев служил в гвардейском полку, где сблизился с В. Г. Чертковым. Оставив военную службу, в Русско-турецкую войну 1877—1878 гг. стал уполномоченным Общества Красного креста. С 1897 г. поселился в своём родовом имении Орловке, Тульской губ., Епифанского уезда. Был гласным епифанского уездного и тульского губернского земств, затем епифанским уездным предводителем дворянства. В голодные 1891—1893 гг. служил председателем епифанского попечительства Российского общества Красного креста (РОКК).

Знакомство Писарева с Толстым началось со странного пассажа, о котором впоследствии поведала свояченица писателя Т. А. Кузминская: в октябре 1871 г., вспоминает она, «приехал в Ясную знакомый нам всем молодой человек — Писарев, светский, милый, но самый обыкновенный. Он редко бывал у нас. Соня, сидя у самовара, разливала чай. Писарев сидел около неё. По-моему, это была его единственная вина. Писарев помогал Соне передавать чашки с чаем, оказывая и другие мелкие хозяйственные услуги. Он весело шутил, смеялся, нагибаясь иногда в её сторону, чтобы что-либо сказать ей. Я наблюдала за Львом Николаевичем. Бледный, с расстроенным лицом, он вставал из-за стола, ходил по комнате, уходил, опять приходил и невольно передал мне свою тревогу. Соня тоже заметила это и не знала, как ей поступить. Кончилось тем, что на

другое утро, по приказанию Льва Николаевича, был подан экипаж, и лакей доложил молодому человеку, что лошади для него готовы» (*Кузминская Т.А. Моя жизнь дома и в Ясной Поляне. М., 1986. С. 278*). Уже в дневнике Толстого 1884 г. есть записи о встречах с Писаревым. 24 апреля записано: «Писарев близок, боюсь, что заблуждаюсь» (49, 86). 2 мая: «Писарев неподвижен. Кажется, таким и останется» (*Там же. С. 89*). Затем через семь лет, 25 сентября 1891 г.: «С Писаревым и Богоявленским был оживлённый разговор о жизни. Писарев жив».

Писарев, действительно, был «живым», хотя человеком, идейно не самым близким Толстому: православным консерватором. В Дневнике Л. Н. Толстого под 25 сентября о нём читаем: «Писарев прекрасный тип земца — находящий смысл в служении людям. И жена милая, кроткая» (52, 54).

Это была первая ценнейшая человеческая находка Толстого: Писарев с огромным воодушевлением отнёсся к идее о заведении «сиротских призреций» (так в народе называли общественные столовые).

Второй же, непомерно ценнейшей встречей Толстого была упомянутая нами выше, уже вторая за эти дни, радостная встреча ещё с одним знакомцем, когда-то весьма близким (в молодости они были на «ты», что для Толстого в отношениях даже с друзьями редкость!), земским деятелем Иваном Ивановичем Раевским: человеком, как мы помним, навестившим Толстого, как вестник Свыше, в часы его сомнений и раздумий в Ясной Поляне. Раевский с пониманием и страстно поддержал энтузиазм Толстого.

Наконец, между мужами Христова служения было решено поселиться на всю голодную зиму в скромном имении И.И. Раевского Бегичевке — в 8-ми верстах от имения Писарева, уже в Рязанской губ., но почти на границе с Тульской, — чтобы устраивать в деревнях столовые. Основатель бегичевского имения Иван Иванович Раевский переехал туда с семьёй в начале 1880 года из родового имения Никитское, когда был отстроен новый усадебный дом.

Начались закупки провианта, в которые Толстой с сожалением, но и с надеждой, внёс свою, очень скромную в тот день, лепту. Дело завязалось!

Облегчение полученной поддержкой и тем, что дело началось, Толстой выразил в Дневнике позднее, под 25 сентября, проездом, на станции Клёкотки Сызрано-Вяземской ж. д.: «Доехали до Клёкоток и собираемся дальше. Мне хорошо» (*Там же*).

Но легко догадаться, что так же хорошо и легко не стало на душе Софьи Андреевны, когда, воротившись 22 сентября домой, Толстой

впервые объявил ей о решении жить и трудиться в имении Раевского. Как и в доме брата, его поспешили поддержать перед матерью юные дочери — теперь уже его Таня и Маша, но это лишь “накалало” атмосферу. В Дневнике Л.Н. Толстого о краткой ссоре утром 23-го писано, как всегда, покаянно и сдержанно-кратко:

«Утром я сказал о том, что здесь есть дело, кормление голодающих. Она поняла, что я не хочу ехать в Москву. Началась сцена. Я говорил ядовитые вещи. Вёл себя очень дурно» (52, 54).

В своём дневнике Софья Андреевна свидетельствует: «...Я пришла в ужас. Всю зиму врозь, да ещё 30 вёрст от станции, Лёвочка с его припадками желудочной и кишечной боли, девочкам в этом уединении, а мне с вечным беспокойством о них» (ДСАТ – 1. С. 214). Не могла сперва понять она и смысла затеи со столовыми: «Вопрос о столовых для меня сомнителен. Ходить будут здоровые, и сильные, и свободные люди. Дети, роженицы, старики, бабы с малыыми детьми ходить не могут, а их-то и надо кормить» (Там же. С. 215). Впоследствии Соничке предстоит узнать, насколько она была не права: народ оттого и окрестил благотворительные столовые «сиротскими призрениями», что понимал *очень* хорошо их смысл, состоявший в поддержке слабейших. Не только мужик, даже голодный, но и девушка крестьянская, пока могли хоть как-то держаться на ногах, не посещали *по совести* эти столовые. Это было практическим и христианским мудрым разрешением той дилеммы, которую Толстой выразил в письме Н. С. Лескову в образе птиц, сильных и слабейших, клюющих корм.

Софье Андреевне, москвичке и дочери немца, не было это народное, русское и христианское, сознание ни понятно, ни близко. В дневнике, посетовав снова на мужа и предстоящие расходы, она прибавляет:

«Если дам денег, то на распоряжение <сына> Серёжи, он секретарём Красного Креста в их местности. Его прямое дело служить делу голода...» (Там же).

Брюзжание *очень* знакомое. Схоже судит и всякий почти городской обыватель в современной буржуазно-капиталистической и гнусно-индивидуалистической России. «Зачем должны делать что-то мы, если на то есть особые службы, должностные лица и т. п.?» Все эти суждения обличают лишь эгоизм, фобии, тупость и несамостоятельность таких судителей, да к тому же ощутимо восходят к страшным словам библейского первоубийцы Каина: «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?» (Быт., 4:9). Что нам за дело до наших братьев? Есть

«службы», и мы охотно проплатим их «услуги»... но нас в нашем образе жизни не трожьте!

Насколько отличным от такого образа мыслей было христианское сознание Льва Николаевича, может видеть всякий читатель, который возьмётся познакомиться со статьёй Толстого «О голоде», начатой писанием буквально в день его возвращения домой из объезда нищих и голодных деревень — 26 сентября. Толстой накануне, 25-го, ещё у Писарева, «немного писал о Непротивлении» — это будущий трактат «Царство Божие внутри вас». Зная близость религиозного христианского замысла обеих статей, мы, не имея в Дневнике Толстого точных указаний, всё-таки условно можем отнести вот это авторское суждение того же дня о «Царстве Божием» и к статье «О голоде», замысленной, быть может, в тот же день:

«К стыду своему испытываю иногда некоторое неудовольствие при мысли о ругании меня во всех журналах и думаю о том, как будут ругать за статью. Надо: не думать, а делать для Б[ога]» (52, 54 – 55).

Настроение писателя над работами прерванной и начатой было одним и тем же! Но соиздание «Царства Божия» было отложено царём Львом, *духовным* царём России ради более насущного дела: выперхнуть на газетные листы те впечатления и заразить читателя теми чувствами милосердного сострадания к народу, с которыми воротился он из кратких, но грустных своих командировок.

В статье «О голоде» Толстой начал излагать свежие свои впечатления от поездок и планы помощи крестьянам — там, где необходимость таковой обнаружилась. Попутно изложил публицист и свои общественно-этические выводы, весьма радикальные как по содержанию, так и по резкости, «задору», который хорошо ощутила как всегда прочитавшая статью едва ли не первой супруга писателя. Это был задор трактата «Царство Божие внутри вас», который позднее откровенно напугает Софью Андреевну Толстую и о котором Н.Н. Страхов позднее, в письме к Толстому от 29 октября 1893 г. сообщит не без одобрительного удовлетворения: «Ваша книга “Царство Божие” встречена тихо, но очень враждебно, как и следовало ожидать. Цензура объявила, что это самая вредная книга из всех, которые ей когда-нибудь пришлось запрещать» (Цит. по: 87, 235). Н. Н. Страхов здесь имеет в виду цензуру для иностранных изданий, которая отказалась допустить в Россию изданный в это время за границей французский перевод «Царства Божия». Но если бы само Главное управление по делам печати при МВД изволило где-нибудь в конце 1890-х гг. опубликовать своеобразный «рейтинг нецензурности» толстовских запрещённых сочинений — безусловно, статья «О голоде» заняла бы позицию в тройке лидеров!

В письме к ещё пока толстовцу (в те годы) М. А. Новосёлову, датированном приблизительно 8 октября, Толстой сообщает: «Пишу теперь о голоде. Но выходит совсем не о голоде, а о нашем грехе разделения с братьями. И статья разрастается, очень занимает меня и становится нецензурною» (66, 52).

Как, скажем, и позднейший, 1908 года, знаменитый манифест Л.Н. Толстого «Не могу молчать», это одно из тех сочинений, о котором советское толстоведение полюбило выражаться штампованными фразами: «противление оружием слова» (пущена в ход Г.В. Плехановым), «срывание всех и всяческих масок» (Ленин, от суждений которого, как ни парадоксально, не чисто сознание даже самых молодых российских толстоведов), «писано кровью сердца» и т.п. Ещё о таких сочинениях исследователи более разумного, религиозно-консервативного лагеря, а особенно публицисты из оногo, и до сего дня обожают подмечать, что оно *местами* очень горячо, страстно, бойко — слишком даже для смиренного христианина, для «непротивленца злу».

Не задача наша и этой книги анализировать неправды таких воззрений на статью «О голоде» или даже, вослед передовой толстоведческой мысли XXI века, в *очередной раз* подчёркивать искренность христианской проповеди, и, в то же время, несомненную праведность, *христианскость* даже и гнева Толстого-публициста. Но, пожалуй, как и в отношении некоторых ранних сочинений его посткризисного периода, таких как трактаты «В чём моя вера?» или «Так что же нам делать?», так и в отношении этой пространной статьи, по существу, предшествовавшей всему практическому опыту Л.Н. Толстого, участием его в *общем деле* помощи крестьянам — надо сожалеть не о том, что Лев Николаевич изваял этот великолепный образец публицистического жанра, а о том лишь, что не явилась статья «О голоде», даже именно в том резком, местами остро-нецензурном виде, как она ушла в печать осенью 1891-го, *хотя бы двумя годами* позднее: *после* статьи «Страшный вопрос», *после* «О средствах помощи...» и других рассудительных и полезнейших статей Толстого на тему неурожая и помощи народу, и даже *после* отчётов Толстого об употреблении пожертвований. В большей мере, чем вызванный этой статьёй скандал, повредили Льву Николаевичу Толстому и членам его семьи, друзьям, сподвижникам в *общем деле* — разве что сами голод и эпидемии в стране! В то же время наиболее ценное идейное содержание статьи, вкупе с воспоминаниями о виденных ужасах гуманитарной катастрофы в российских нищих деревнях, не утратило бы своего значения и через эти два года.

Обосновать наш тезис о преждевременности и непредвиденном автором вреде этой статьи — не столько по причине изложенных фактов, сколько по причине идей и настроений оной — нельзя иначе, как обратившись, хотя бы бегло, к содержанию её.

Статья «О голоде» начинается ссылкой на сообщения о голоде в печати: «За последние два месяца нет книги, журнала, номера газеты, в которой бы не было статей о голоде, описывающих положение голодающих, взывающих к общественной или государственной помощи и упрекающих правительство и общество в равнодушии, медлительности и апатии» (29, 86).

Но, помимо фактов, наблюдений в статье изложены и выводы Толстого из оных, больше напоминающие резкие обличения: «Разве теперь, когда люди, как говорят, мрут от голода, помещики, купцы, вообще богачи изменили свою жизнь, перестали требовать от народа для удовлетворения своих прихотей губительного для него труда, разве перестали богачи убирать свои палаты, есть дорогие обеды, обгоняться на своих рысаках, ездить на охоты, наряжаться в свои наряды? Разве теперь богачи не сидят с своими запасами хлеба, ожидая ещё больших повышений цен, разве фабриканты не сбивают цен с работы? Разве чиновники перестают получать жалование, собираемое с голодных? Разве все интеллигентные люди не продолжают жить по городам — для своих, послушаешь их, самых возвышенных целей, пожирая там, в городах, эти свозимые для них туда средства жизни, от отсутствия которых мрёт народ?» (Там же. С. 108).

Анализируя увиденное во время посещения неурожайных мест, Толстой называет общие хронические причины бедствия, считает, что причиной голода является «не один нынешний неурожайный год». «Нынешний год все это ярче выступает перед нами, как старая картина, покрытая лаком. Мы среди этого живём!» — восклицает писатель, заявляя: «Нынешний год только вследствие неурожая показал, что струна слишком натянута» (Там же. С. 93, 106).

И он задаёт свои прямые, «толстовские» вопросы о причинах голода народа: «Разве может не быть голоден народ, который в тех условиях, в которых он живёт, то есть при тех податях, при том малоземелье, при той заброшенности и одичании, в котором его держат?»; «Да отчего он и голоден? Неужели так трудно понять это?» (Там же. С. 105, 106).

Толстой указывает коренные причины народного бедствия, точно ставит диагноз болезни:

«Мы, господа, взялись за то, чтобы прокормить кормильца — того, кто сам кормил и кормит нас.

Грудной ребёнок хочет кормить свою кормилицу; паразит – то растение, которым он питается! Мы, высшие классы, живущие все им, не могущие ступить шагу без него, мы его будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное». И следует жёсткая афористичная, часто цитируемая по сей день формулировка: «Народ голоден оттого, что мы слишком сыты» (*Там же. С. 104, 106*).

Такие именно формулировки дали возможность критикам Толстого обвинять его в радикальной социалистической пропаганде. На деле же в статье, кроме собственно полемической её части — либо полезные сведения о положении в голодающих деревнях, либо вполне христианские идеи и образы.

Писатель призывает изменить своё отношение к народу, верит в силу «любовной деятельности»: «Сила в том, что она заразительна, а как скоро она заразительна, то распространению её нет пределов. Как одна свеча зажигает другую, и одной свечой зажигаются тысячи, так и одно сердце зажигает другое, и зажигаются тысячи. Миллионы рублей богачей сделают меньше, чем сделают хоть небольшое уменьшение жадности и увеличение любви в массе людей. Только бы увеличилась любовь – сделается то чудо, которое совершилось при раздаче пяти хлебов. Все насытятся, и ещё останется» (*Там же. С. 113*).

Здесь кстати вспомнить лишённую мистики, но по существу именно чудесную трактовку Толстым в «Кратком изложении Евангелий» знаменитой евангельской истории о пяти хлебах. Приведём её, с комментарием Л.Н. Толстого, по тексту «Краткого изложения евангелий»:

«*Иоан. VI, 1*. После этого пошёл Иисус в пустынное место.

2. И пошло за ним много народа.

3. И взошёл он на гору и сел там с учениками.

5. И увидал, что много идёт народа, и сказал: откуда бы нам достать хлеба, чтобы накормить весь народ этот?»

7. Филипп сказал: и двухсот динариев не достанет, если всем хоть понемногу дать.

Мф. XIV, 17; Иоан. VI, 9. У нас только есть немного хлеба и рыбы. И сказал другой ученик: у них есть хлеб, я видел вот у мальчика пять хлебов и две рыбки.

Иоан. VI, 10. И сказал Иисус: велите им всем лечь на траву.

11. И взял Иисус хлеба, что были у него, и отдал ученикам и им велел отдавать другим; и так все стали отдавать друг другу, что было, и все насытились и ещё осталось много.

26. На другой день пришёл опять народ к Иисусу, и он сказал им: вот вы приходите ко мне не потому, что вы чудеса видели, а потому что ели хлеб и насытились.

27. И сказал им: работайте не пищу тленную, но пищу вечную, такую, которую даёт только дух сына человеческого, запечатлённый Богом» (24, 855 – 856).

Религиозное безверие в человеке, недоверие Богу и Христу Его, непослушание учению Истины отдаёт такого человека под власть низших страхов и страстей его как зверя в природе, как животного. Страхи же и расчёт, зачастую жадный, заставляют прятать от голодного рядом с тобой даже не нужные насущно («на каждый день») излишки. И это стяжание богатств одних и бедность, иногда голодная нищета многих других — красноречивое свидетельство *безверия* в России, а исторически — и прочем лжехристианском мире.

Как именно подвёл Иисус слушавших его к *недолгому*, но навсегда оставшемуся в памяти человечества исполнению того *закона жизни*, который мог бы освободить его учеников, его Церковь от зоологической, унижающей человеческое в человеке «заботы о хлебе насущном», от которой множество соблазнов и грехов, и привести к положению свободных детей и работников Божьих в мире — поясняет по приведённому отрывку заслуженный российский толстовед Борис Филиппович Сушков в давнишней, но не утратившей актуального значения статье «Земное Евангелие. (Христианское учение как школа нравственного самосовершенствования, как путь жизни)»:

«В Евангелии от Матфея читаем, как, узнав о казни Иоанна Крестителя, своего предшественника и наставника, потрясённый Иисус удаляется в пустыню, а народ, услышав об этом, пришёл к нему из ближайших городов и деревень. Там он учил народ и исцелил многих принесённых больных.

«Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.

Но Иисус сказал им: не нужно им идти; вы дайте им есть.

Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.

Он сказал: принесите их Мне сюда.

И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и преломив дал хлебы ученикам, а ученики — народу.

И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;

А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей» (Мф., гл. 14, ст. 15 – 21).

Чудо это, как и все другие, служит в Евангелии для утверждения веры в Христа как бога, для которого всё возможно, даже насыщение пятью хлебами пятитысячной толпы.

Толстой в этом насыщении видит не сверхъестественные способности Христа бога, дарящего людям пищу, а проявление самой сути нравственного учения Христа, не через чудо, а через самих людей и ими самими утверждаемого на практике.

Как же, по мнению Толстого, он это делает? А вот как. Наверняка, говорит Толстой, не все люди, пришедшие к Христу в пустыню, были без еды. Уходя из дома на целый день, да ещё целыми семьями, с детьми и больными, люди, естественно, брали с собой припасы. Но как заставить их поделиться с теми, у кого по тем или иным причинам ничего не было? Заставить можно только личным примером. И Христос — говорит Толстой, — даёт прекрасный урок человеколюбия. Он заставил всех сесть вместе в большой круг — у Марка сказано, что они “сели рядами по сто и по пятидесяти” (*Мр., гл. 6, ст. 40*) — и тех, у кого была еда, и тех, у кого не было, и повелел своим ученикам, сидящим в общем кругу (или в рядах), предлагать свои хлебы неимущим. Глядя на их пример, стали так же поступать и остальные, делясь едой с теми, у кого её не было. И все поэтому не жадничали, не уничтожали свои запасы хотя бы и через силу, чтобы не делиться с ближним. А ели умеренно, и всем хватило. Что это так именно и было, на это указывают, говорит Толстой, — двенадцать полных коробов оставшихся кусков. (Вот, даже и коробки у людей были! А с чем они были, как не с едой?)

Это чудо, сотворённое, благодаря Христу, самими людьми своими руками, для Толстого и есть подлинное чудо Христа, и оно несравненно бесценнее любого другого его сверхъестественного чуда» (*Сушков Б.Ф. Земное Евангелие // Толстой Л.Н. Евангелие для детей. Тула, Издательство «Посредник», 1991. — С. 11 – 12*).

В побуждении современников и потомков, а прежде всего соотечественников в России, к повседневному повторению этого, вполне посильного человекам «чуда», истинные, религиозные, и именно евангельские, христианские смысл и значение статьи Л.Н. Толстого «О голоде».

Но не все в «православной», лжехристианской России и через 1800 лет после Христа могли, по примеру первых его слушателей, победить в себе эгоизм и страхи. В письме к П. И. Бирюкову, приблизительно 9 октября, Толстой сообщает о неприятности, которую можно было предвидеть, именно протестациях Софьи Андреевны:

«Я ездил с Таней и Машей порознь в самые голодные места нашей губернии и хотел написать о том, что по этому случаю пришло мне в голову. Вы верно догадываетесь, что наш грех разъединения с братьями — касты интеллигентов; и чем дальше пишу, тем более кажется нужным то, что пишу, и тем менее цензурно. План у нас был с девочками тот, чтобы вместо Москвы поселиться в Елифанском уезде в самой середине голодающих и делать там, что Бог велит — кормить, раздавать, если будет что. И Софья Андреевна сначала соглашалась. Я рад был за девочек, но потом всё расстроилось, и едва ли поедем» (*Там же. С. 56*).

М. А. Толстая в письме к Л. Ф. Анненковой от 8 октября, сообщая о плане отца поселиться в Бегичевке, Данковского уезда, рассказывала: «...Так вот мы хотели так жить. Уже приготовили часть провизии, топлива и т. п. Мама обещала дать нам две тысячи на это, мы так радовались возможности хоть чуть-чуть быть полезными этим людям, как вдруг мама (как это часто с ней бывает) совершенно повернула оглобли.... Ужасно было тяжёлое время. Она мучила себя, и папá, и нас так, что сама, бедная, стала худа и больна. Мы всё время говорили ей, что сделаем так, как она хочет, доказывали нелогичность и переменчивость её взглядов. Много было тяжёлых споров... [...] Нам всем было искренно жалко её. Она так страшно себя мучила. И знаете, как у неё часто бывает, она хочет сказать и думает о том, что она боится, что папа заболит, и она говорит о том, что он написал заявление о позволении печатать его сочинения, что это лишит её денег, что она не даст денег, что она должна воспитывать детей, что он ни во что не входит, всё на ней и т. д. до самых неожиданных, не касающихся дела вопросов» (*Цит. по: Там же. С. 57*).

23-го сентября Софья Андреевна успокоилась, и то лишь отчасти, тогда, когда Толстой пообещал ей прожить часть зимы в Москве. В тот же день вечером, вернувшись от губернатора, Толстой в жене «нашёл готовность к примирению и примирились» (52, 54). Но, как видим из цитированных выше писем, супружеские споры на этом не были прекращены, хотя Лев Николаевич и не отказался от своего обещания, и позднее исполнил его.

По христианскому пониманию жизни человек — дитя и работник Божий в мире. Его товарищи — единоверцы, то есть товарищи в осознании этого высочайшего и всеобщего смысла жизни. Удерживая себя в воле Отца, такой человек не разрешит себе никогда многих заведомо греховных поступков. По языческому же, разделяемому церковными обрядоверами и идолопоклонниками, религиозному непониманию, человек служит семье, роду, государству, обществу, «человечеству». И ради этого служения можно насиловать,

драться, воевать, доносить... Такие люди всегда беспокойны: кумекают, как угодить им общественному авторитету, будь то муж или царь. Но если в патриархально-традиционалистском обществе для женщины языческого, церковно-православного, то есть низшего чем христианское, религиозного жизнепонимания пределом беспокойного попечения была (да и остаётся по сей день для большинства) семья, то для государственного мужа естественно беспокойство о судьбах государства — «самодержавия, православия, народности» для тогдашней России. Ниже, в своих местах, мы выведем для читателей образчики и таких заботников, которые окружают семью Толстого атмосферой недоверия, надзора и угрозы репрессивных мер.

* * * * *

В первых числах октября Л.Н. Толстой завершает писанием и отправляет издателю статью «Первая ступень» и переключает все силы на статью «О голоде», которую завершает уже в середине октября и отправляет её с другом-философом Н. Я. Гротом, навестившем его 20 – 22 октября в Ясной Поляне, для публикации в журнале Грота «Вопросы философии и психологии».

22 октября Софья Андреевна выезжает в Москву — с сыном Ванюшкой, дочерью Сашей и прислугой. «Лев Николаевич равнодушно простился с нами, — пишет она в воспоминаниях, — и послал со мной дополнение к своей статье о голоде — Н. Я. Гроту. В это же время была напечатана и статья «Первая ступень». Лев Николаевич чувствовал себя не совсем здоровым и, выждав немного, уехал с дочерьми в Данковский уезд, в Бегичевку, к Раевским» (*МЖ* – 2. С. 225).

С этого момента открывается огромный, очень насыщенный материалом эпизод христианского служения Льва Николаевича, о котором, в особой, по значимости оно, главе, мы поведаем ниже.

Конец Главы Первой



Прибавление к Главе Первой.

ОТРЫВКИ ИЗ СТАТЬИ Л.Н. ТОЛСТОГО «ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ»

I.

Если человек делает дело не для показу, а с желанием совершить его, то он неизбежно действует в одной, определённой сущностью дела, последовательности. Если человек делает после то, что по сущности дела должно быть сделано прежде, или вовсе пропускает то, что необходимо сделать для того, чтобы можно было продолжать дело, то он наверное делает дело не серьёзно, а только притворяется. Правило это неизменно остаётся верным как в материальных, так и в нематериальных делах.

Правило это в делах доброй жизни особенно важно, потому что в материальном деле, как, например, в печении хлеба, можно узнать, серьёзно ли человек занимается делом, или только притворяется, по результатам его деятельности; в ведении же доброй жизни поверка эта невозможна. Если люди, не меся муки, не топя печи, как на театре делают только вид, что они пекут хлеб, то по последствиям — отсутствию хлеба — очевидно для каждого, что они только притворялись; но если человек делает вид, что он ведёт добрую жизнь, мы не имеем таких прямых указаний, по которым мы бы могли узнать, серьёзно ли он стремится к ведению доброй жизни, или только притворяется, потому что последствия доброй жизни не только не всегда ощутительны и очевидны для окружающих, но очень часто представляются им вредными; уважение же и признанно полезности и приятности для современников деятельности человека ничего не доказывают в пользу действительности его доброй жизни.

И потому для распознавания действительности доброй жизни от видимости её особенно дорог этот признак, состоящий в правильной последовательности приобретения нужных для доброй жизни качеств. Дорог этот признак преимущественно не для того, чтобы распознавать истинность стремлений к доброй жизни в других, но для распознавания её в самом себе, так как мы в этом отношении склонны обманывать самих себя ещё более, чем других.

[...] Во всех нравственных учениях устанавливается та лестница, которая, как говорит китайская мудрость, стоит от земли до неба, и на которую восхождение не может происходить иначе, как с низшей

ступени. Как в учениях браминов, буддистов, конфуцианцев, так и в учении мудрецов Греции, устанавливаются ступени добродетелей, и высшая не может быть достигнута без того, чтобы не была усвоена низшая. Все нравственные учителя человечества, как религиозные, так и нерелигиозные, признавали необходимость определённой последовательности в приобретении добродетелей, нужных для доброй жизни; необходимость эта вытекает и из самой сущности дела, и потому, казалось бы, должна бы быть признаваема всеми людьми.

Но удивительное дело! Сознание необходимой последовательности качеств и действий, существенных для доброй жизни, как будто утрачивается всё более и более и остаётся только в среде аскетической, монашествующей. В среде же светских людей предполагается и признаётся возможность приобретения высших свойств доброй жизни не только при отсутствии низших добрых качеств, обуславливающих высшие, но и при самом широком развитии пороков; вследствие чего и представление о том, в чём состоит добрая жизнь, доходит в наше время в среде большинства светских людей до величайшей путаницы. Утрачено представление о том, что есть добрая жизнь.

II.

Произошло это, как я думаю, следующим образом.

Христианство, заменяя язычество, выставило более высокие, чем языческие, нравственные требования и, как и не могло быть иначе, выставляя свои требования, установило, как и в языческой нравственности, одну необходимую последовательность, приобретения добродетелей или ступеней для достижения доброй жизни.

Добродетели Платона, начинаясь воздержанием, через мужество и мудрость, достигали справедливости; христианские добродетели, начинаясь самоотречением, через преданность воле Божьей достигают любви.

Люди, серьёзно принявшие христианство и стремившиеся усвоить для себя добрую христианскую жизнь, так и понимали христианство и всегда начинали добрую жизнь отречением от своих похотей, включающим в себя языческое воздержание.

Христианское учение потому только и заменило языческое, что оно иное и выше языческого. Но христианское учение, как и языческое, ведёт людей к истине и добру; а так как истина и добро всегда одни, то и путь к ним должен быть один, и *первые* шаги на этом пути неизбежно должны быть одни и те же как для христианина, так и для язычника.

Различие христианского от языческого учения добра в том, что языческое учение есть учение конечного, христианское же бесконечного совершенства. Платон, например, ставит образцом совершенства справедливость; Христос же ставит образцом бесконечное совершенство любви. «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный». От этого и различное отношение языческого и христианского учения к различным ступеням добродетелей. Достижение высшей добродетели по языческому учению возможно, и всякая ступень достижения имеет своё относительное значение: чем выше ступень, тем больше достоинства, так что люди с языческой точки зрения разделяются на добродетельных и недобродетельных, на более или менее добродетельных. По христианскому же учению, выставившему идеал бесконечного совершенства, деления этого не может быть. Не может быть и ступеней высших и низших. По христианскому учению, указавшему бесконечность совершенства, все ступени равны между собою по отношению к бесконечному идеалу. Различие достоинства в язычестве состоит в той ступени, которая достигнута человеком; в христианстве достоинство состоит только в процессе достижения, в большей или меньшей скорости движения.

[...] Но в том, что движение к добродетели, к совершенству не может совершаться помимо низших степеней добродетели как в язычестве, так и в христианстве, — в этом не может быть различия.

Христианин, как и язычник, не может не начать работу совершенствования с самого начала, т. е. с того же, с чего начинает её язычник, именно с воздержания, как не может тот, кто хочет войти на лестницу, не начать с первой ступени. Разница только в том, что для язычника воздержание само по себе представляется добродетелью, для христианина же воздержание есть только часть самоотречения, составляющего необходимое условие стремления к совершенству. И потому истинное христианство в своём проявлении не могло отвергнуть добродетели, которые указывало и язычество.

Но не все люди понимали христианство, как стремление к совершенству Отца небесного; христианство, ложно понятое, уничтожало искренность и серьёзность отношения людей к нравственному его учению.

Если человек верит, что может спастись помимо исполнения нравственного учения христианства, то ему естественно думать, что усилия его быть добрым излишни. И потому человек, верующий в то, что есть средства спасения помимо личных усилий к достижению совершенства (как, например, индульгенции у католиков), не может стремиться к этому с той энергией и серьёзностью, с которою стремится человек, не знающий никаких других средств, кроме личных

усилий. А не стремясь к этому с полного серьёзностью, зная другие средства кроме личных усилий, человек неизбежно будет пренебрегать и тем одним неизменным порядком, в котором могут быть приобретаемы добрые качества, нужные для доброй жизни. Это самое и случилось с большинством людей, внешним образом исповедующих христианство.

III.

[...] Огромная масса людей, которая внешним только образом приняла христианство, воспользовалась заменой язычества христианством для того, чтобы, освободившись от требований языческих добродетелей, как бы не нужных уже для христианина, освободить себя и от всякой необходимости борьбы со своей животной природой.

То же самое сделали и люди, переставшие верить во внешнее только христианство. Они точно так же, как и те верующие, выставя вместо внешнего христианства какое-нибудь принятое большинством мнимое доброе дело, вроде служения науке, искусству, человечеству, — во имя этого мнимого доброго дела освобождают себя от последовательности приобретения качеств, нужных для доброй жизни...

Такие люди, отставшие от язычества и не приставшие к христианству в его истинном значении, стали проповедовать любовь к Богу и людям без самоотречения и справедливость без воздержания, т. е. проповедовать высшие добродетели без достижения низших, т. е. не самые добродетели, а только подобие их.

[...] И так как проповедь эта поощряет животную природу человека под видом введения его в высшие нравственные сферы, освобождая его от самых элементарных требований нравственности давным-давно высказанных язычниками, и не только не отвергнутых, но усиленных истинным христианством, то она охотно была принята как верующими, так и неверующими.

На днях только вышла энциклика папы о социализме. Там после опровержения мнения социалистов о незаконности собственности сказано прямо, что «никто, несомненно, не обязан помогать ближнему, давая из того, что ему или семье его нужно (*Nul assurancement n'est tenu de soulager le prochain en prenant sur son nécessaire on sur celui de sa famille*), ни даже уменьшить что-либо из того, чего требуют от него приличия. Никто, в самом деле, не должен жить противно обычаям». (Это место из святого Фомы: *Nullus enim inconvenienter debet vivere.*) «Но после того, как отдано должное

нужде и внешним приличиям», говорит далее энциклика, "обязанность каждого – отдавать излишек бедным».

Так проповедует глава одной из самых распространённых теперь церквей. И рядом с этой проповедью эгоизма, предписывающей отдавать ближнему то, что вам не нужно, проповедуются любовь, и постоянно с пафосом приводятся знаменитые слова Павла из 13 главы 1-го послания к коринфянам о любви.

Несмотря на то, что всё учение евангелия переполнено требованиями самоотречения, указаниями на то, что самоотречение есть первое условие христианского совершенства [...], люди уверяют себя и других, что возможно любить людей, не отрекаясь не только от того, к чему привык, но и от того, что сам считаешь для себя приличным.

Так говорят ложные христиане, и точь-в-точь так же думают и говорят и пишут и поступают люди, отвергающие не только внешнее, но и истинное христианское учение, люди свободомыслящие. Люди эти уверяю и себя и других, что, вовсе не уменьшая своих потребностей, не побеждая своих похотей, можно служить людям и человечеству, т. е. вести добрую жизнь.

Люди отбросили языческую последовательность добродетелей и, не усвоив христианского учения в его истинном значении, не приняли и христианской последовательности и остались без всякого руководства.

IV.

В старину, когда не было христианского учения, у всех учителей жизни, начиная с Сократа, первую добродетелью в жизни было воздержание — ἐγκράτεια или σωφροσύνη, и было понятно, что всякая добродетель должна начинаться с неё и проходить через неё. Было ясно, что человек, не владеющий собой, развивший в себе огромное количество похотей и подчиняющийся всем им, не мог вести добрую жизнь. Было ясно, что прежде, чем человек мог думать не только о великодушии, о любви, но о бескорыстии, справедливости, он должен был научиться владеть собою. По нашим же взглядам этого ничего не нужно. Мы вполне уверены, что человек, развивший свои похоти до той высшей степени, в которой они развиты в нашем мире, человек, не могущий жить без удовлетворения сотни получивших над ним власть ненужных привычек, может вести вполне нравственную, добрую жизнь.

В наше время и в нашем мире стремление к ограничению своих похотей считается не только не первым, но даже и не последним, а совершенно не нужным для ведения доброй жизни делом.

По царствующему самому распространённому современному учению о жизни увеличение потребностей считается, напротив, желательным качеством, признаком развития, цивилизации, культуры и совершенствования. Люди так называемые образованные считают, что привычки комфорта, т. е. изнеженности суть привычки не только не вредные, но хорошие, показывающие известную нравственную высоту человека, почти что добродетель.

Чем больше потребностей, чем утончённее эти потребности, тем считается это лучше.

Ничто так ясно не подтверждает этого, как описательная поэзия и в особенности романы прошедшего и нашего века.

[...] Помню, когда я писал романы, то тогда для меня необъяснимое затруднение, в котором я находился и с которым боролся, [...] заключалось в том, чтобы изобразить тип светского человека идеально хороший, добрый и вместе с тем такой, который бы был верен действительности.

V.

Несомненным доказательством того, что действительно люди нашего времени не только не признают того, что языческое воздержание или христианское самоотречение суть свойства желательные и добрые, но считают увеличение потребностей чем-то хорошим и но, служит то, как в огромном большинстве воспитываются дети нашего мира. Их не только не приучают к воздержанию, как это было у язычников, и к самоотречению, как это должно быть у христиан, по сознательно прививают им привычки изнеженности, физической праздности и роскоши.

Мне давно хотелось написать такую сказку: женщина, оскорбленная другой, желая отметить ей, похищает ребёнка своего врага, идёт к колдуну, прося его научить, чем она злее всего может отметить своему врагу на единственном похищенном детище. Колдун научает похитительницу отнести ребёнка в место, которое он указывает, и утверждает, что месть будет самая ужасная. Злая женщина делает это, но следит за ребёнком и к удивлению своему видит, что ребёнок взят и усыновлён бездетным богачом. Она идёт к колдуну и упрекает его, но колдун велит ждать. Ребёнок растёт в роскоши и изнеженности. Злая женщина в недоумении, но колдун велит ждать. И действительно наступает время, когда злая женщина удовлетворена и

даже жалеет свою жертву. Ребёнок вырастает в изнеженности и распущенности и, благодаря своему доброму характеру, разоряется. И тут начинается ряд физических страданий, нищеты и унижений, к которым он особенно чувствителен и с которыми не умеет бороться. Стремление к нравственной жизни — и бессилие изнеженной, приученной к роскоши и праздности плоти. Тщетная борьба, падение всё ниже и ниже, пьянство, чтоб забыться, и преступление, или су-масшествие, или самоубийство.

В самом деле, нельзя без ужаса видеть воспитание некоторых детей в нашем мире. Только злейший враг мог бы так старательно прививать ребёнку те слабости и пороки, которые прививаются ему родителями, в особенности матерями. Ужас берёт, глядя на это и ещё более на последствия этого, если уметь сидеть то, что делается в душах лучших из этих старательно самими родителями погубляемых детей.

Привиты привычки изнеженности, привиты тогда, когда ещё молодое существо не понимает их нравственного значения. Уничтожена не только привычка воздержания и самообладания, но, обратно тому, что делалось при воспитании в Спарте и вообще в древнем мире, совершенно атрофирована эта способность.

[...] Часто, и всё чаще и чаще, бывает так, что требования настоящей, непоказной нравственности пробуждаются и тогда начинаются внутренняя мучительная борьба и страдания, редко кончающиеся победой нравственного чувства. Человек чувствует, что жизнь его дурна, что ему надо изменить её всю с самого начала, и он пытается это сделать; но тут люди, прошедшие ту же борьбу и не выдержавшие её, со всех сторон нападают на пытающегося изменить свою жизнь и стараются всеми средствами внушить ему, что этого вовсе и не нужно, что воздержание и самоотречение не нужны для того, чтобы быть добрым, что можно, предаваясь объедению, наряжанию, физической праздности, даже блуду, быть вполне хорошим, полезным человеком. И борьба большей частью кончается плачевно. Либо измученный своей слабостью человек подчиняется этому общему голосу и подавляет в себе голос совести, кривит свой ум, чтобы оправдать себя, и продолжает вести ту же развратную жизнь, уверяя себя в том, что он выкупает её верой во внешнее христианство или служением науке, искусству; либо борется, страдает и сходит с ума, пли застреливается.

Редко бывает то, чтобы среди всех соблазнов, окружающих его, человек нашего мира понял то, что есть и было тысячелетия тому назад азбучной истиной для всех разумных людей, именно то, что для достижения доброй жизни надо прежде всего перестать жить дурной жизнью и что для достижения каких-либо высших добродетелей

надо прежде всего приобретать добродетель воздержания или самообладания, как определяли ее язычники, или добродетель самоотречения, как определяет её христианство, — и стал бы понемногу усилиями над собой достигать её.

VI.

Я только что читал письма нашего высокообразованного передового человека, сороковых годов, изгнанника Огарёва, к другому еще более высокообразованному и даровитому человеку — Герцену. В письмах этих Огарев высказывает свои задушевные мысли, выставляет свои высшие стремления, и нельзя не видеть, что он, как это и свойственно молодому человеку, отчасти рисуется перед своим другом. Он говорит о самосовершенствовании, о святой дружбе, любви, о служении науке, человечеству и т. д. И тут же спокойным тоном он пишет, что часто раздражает приятеля, с которым живет, тем, что, как он пишет «возвращаюсь (домой) в нетрезвом виде или пропадаю долгие часы с погибшим, но милым созданием»... Очевидно, замечательно сердечный, даровитый, образованный человек не мог даже представить себе, чтобы было что-нибудь хоть сколько-нибудь предосудительного в том, чтобы он, женатый человек, ожидая родов жены (в следующем письме он пишет, что жена его родила), возвращался домой пьяный, пропадая у распутных женщин. Ему в голову не приходило, что пока он не начал бороться и хоть сколько-нибудь не поборол своего поползновения к пьянству и блуду, ему о дружбе, любви, а главное о служении чему бы то ни было и думать нельзя. А он не только не боролся с этими пороками, но, очевидно, считал их чем-то очень милым, нисколько не мешающим стремлению к совершенствованию, а потому не только не скрывал их от своего друга, перед которым он хочет выставиться в лучшем свете, но прямо выставлял их.

Так это было полстолетия тому назад. Я застал ещё этих людей. Я знал самого Огарёва и Герцена, и людей того склада, и людей, воспитанных в тех же преданиях. Во всех этих людях было поразительное отсутствие последовательности в делах жизни. В них были искреннее горячее желание добра и полнейшая распущенность личной похоти, которая, казалось им, не может мешать доброй жизни и произведению ими добрых и даже великих дел. Они сажали немешанные хлеба в нетопленную печь и верили, что хлеба испекутся. Когда же под старость они стали замечать, что хлеба не пекутся, т. е. что никакого добра от их жизни не совершается, они видели в этом особенный трагизм. [...]

VII.

Заблуждение в том, что люди, предаваясь своим похотям, считая эту похотливую жизнь хорошею, могут при этом вести добрую, полезную, справедливую, любовную жизнь, так удивительно, что люди последующих поколений, я думаю, прямо не будут понимать, что именно разумели люди нашего времени под словами "добрая жизнь", когда они говорили, что обжоры, изнеженные, похотливые ведут добрую жизнь.

[...] Человеку, живущему нашей жизнью, нельзя вести добрую жизнь, прежде чем он не выйдет из тех условий зла, в которых он находится, нельзя начать делать доброе, не перестав делать злое. Невозможно роскошно живущему человеку вести добрую жизнь. Все его попытки добрых дел будут тщетны, пока он не изменит своей жизни, не сделает то первое по порядку дело, которое ему предстоит сделать. Добрая жизнь, как по языческому мировоззрению, так тем более по христианскому, измеряется одним, и не может измеряться ничем иным, как только отношением в математическом смысле любви к себе — к любви к другим. Чем меньше любви к себе и вытекающей из неё заботы о себе, трудов и требований от других для себя, и чем больше любви к другим и вытекающих из неё заботы о других, трудов своих для других, тем добрее жизнь.

[...] Быть добрыми и вести добрую жизнь значит давать другим больше, чем берёшь от них. Человек же изнеженный, и привыкший к роскошной жизни, не может этого делать, во-первых, потому, что ему самому всегда много нужно (и нужно не по эгоизму его, а потому что он привык, и для него составляет страдание лишиться того, к чему он привык), а во-вторых, потому, что, потребляя все то, что он получает от других, он этим самым потреблением ослабляет себя, лишает себя возможности работать и потому служить другим. Человек изнеженный, мягко, долго спящий, жирно, сладко и много едящий я пьющий, соответственно тепло или прохладно одетый, не приучивший себя к напряжению работы, может сделать только очень мало.

Мы так привыкли лгать сами себе и ко лжи других, — так выгодно нам не видеть лжи других, чтобы они не увидели нашей, что мы несколько не удивляемся и не сомневаемся в справедливости утверждения добродетели, иногда даже святости людей, живущих вполне распущенной жизнью.

[...] Не может нравственный человек, не говоря христианин, но только исповедующий гуманность, или хоть только справедливость,

не может не желать изменить своей жизни и не перестать пользоваться предметами роскоши, изготавливаемыми иногда с вредом для других людей.

Если человек точно жалеет людей, работающих табак, то первое, что он невольно сделает, это то, что он перестанет курить, потому что, продолжая курить и покупая табак, он этим поощряет производство табаку, губящее здоровье людей.

Но люди нашего времени рассуждают не так. Они придумывают самые разнообразные и хитрые рассуждения, но только не то, которое естественно представляется всякому простому человеку. По их рассуждениям, воздерживаться от предметов роскоши совсем не нужно. Можно соболезновать положению рабочих, говорить речи и писать книги в их пользу и вместе с тем продолжать пользоваться теми трудами, которые мы считаем для них губительными.

По одним рассуждениям выходит, что пользоваться губительными трудами других людей можно, потому что, если я не буду пользоваться, то будет пользоваться другой. Вроде того рассуждения, что надо выпить вредное мне вино, потому что оно куплено, и если не я, то другие выпьют его.

По другим выходит, что пользование для роскоши трудами: этих людей даже очень полезно для них, так как этим мы даём им деньги, т. е. возможность существования, точно как будто нельзя давать им возможность существования ничем иным, как только тем, чтобы заставлять их работать вредные для них и излишние для нас вещи.

Всё это происходит от того, что люди вообразили себе, что можно нести добрую жизнь, не усвоив по порядку первое свойство, нужное для доброй жизни.

И первое свойство это есть воздержание.

VIII.

Доброй жизни не было и не может быть без воздержания. Помимо воздержания не мыслима никакая добрая жизнь. Всякое достижение доброй жизни должно начаться через него.

Есть лестница добродетелей, и надо начинать с первой ступени, чтобы взойти на последующие...

[...] Воздержание есть первая ступень всякой доброй жизни.

Но и воздержание достигается не вдруг, а тоже постепенно.

Воздержание есть освобождение человека от похотей, есть покорение их благоразумию, σωφροσύνη. Но похотей у человека много различных, и для того, чтобы борьба с ними была успешна, человек должен начинать с основных, — таких, на которых вырастают другие,

более сложные, а не с сложных, выросших на основных. Есть похоти сложные, как похоть украшения тела, игр, увеселений, болтовни, любопытства и мною других, и есть похоти основные: обжорства, праздности, плотской любви. В борьбе с похотями нельзя начинать с конца, с борьбы с похотями сложными; надо начинать с основных, и то в одном определённом порядке. И порядок этот определен и сущностью дела, и преданием мудрости человеческой.

Объедающийся человек но в состоянии бороться с ленью, а объедающийся и праздный человек никогда не будет в силах бороться с половой похотью. И потому по всем учениям стремление к воздержанию начиналось с борьбы с похотью обжорства, начиналось постом. В нашем же мире [...] о посте многими забыто и решено, что пост есть глупое суеверие и что пост совсем не нужен.

[...] Пост есть необходимое условие доброй жизни. Обжорство же всегда было и есть первый признак обратного — недоброй жизни, и к сожалению, этот признак относится в высшей степени к жизни большинства людей нашего времени.

Взгляните на лица и сложения людей нашего круга и времени, -- на многих из этих лиц с висящими подбородками и щеками, ожиревшими членами и развитыми животами лежит неизгладимый отпечаток развратной жизни. Да это и не может быть иначе. Присмотритесь к нашей жизни, к тому, чем движимо большинство людей нашего мира; спросите себя, какой главный интерес этого большинства? И как ни странно это может показаться нам, привыкшим скрывать наши настоящие интересы и выставлять фальшивые, искусственные, — главный интерес жизни большинства людей нашего времени — это удовлетворение вкуса, удовольствие еды, жраться. Начиная с беднейших до богатейших сословий общества, обжорство, я думаю, есть главная цель, есть главное удовольствие нашей жизни. Бедный, рабочий народ составляет исключение только в той мере, в которой нужда мешает ему предаваться этой страсти. Как только у него есть время и средства к тому, он, подражая высшим классам, приобретает самое вкусное и сладкое, и ест и пьёт, сколько может.

Чем больше он съест, тем больше он не только считает себя счастливым, но сильным и здоровым. И в этом убеждения поддерживают его образованные люди, которые именно так и смотрят на пищу. Образованные классы представляют себе счастье и здоровье (и чем уверяют их доктора, утверждая, что самая дорогая пища, мясо — самая здоровая), в вкусной, питательной, легко перевариваемой пище, — хотя и стараются скрыть это.

Посмотрите на жизнь этих людей, послушайте их разговоры. Какие все возвышенные предметы как будто занимают их: и философия, и наука, и искусство, и поэзия, и распределение богатств, и благосостояние народа, и воспитание юношества; но всё это для огромного большинства — ложь, всё это их занимает между делом, между настоящим делом, между завтраком и обедом, пока желудок полон, и нельзя есть ещё. Интерес один живой, настоящий, интерес большинства, и мужчин и женщин — это еда, особенно после первой молодости. Как поесть, что поесть, когда, где?

Ни одно торжество, ни одна радость, ни одно освящение, открытие чего бы то ни было не обходится без еды.

Посмотрите на путешествующих людей. На них это особенно видно. «Музей, библиотеки, парламент — как интересно! А где мы будем обедать? Кто лучше кормит?» Да взгляните только на людей, как они сходятся к обеду, разодетые, раздушенные, к украшенному цветами столу, как радостно потирают руки и улыбаются.

Если бы заглянуть в души, — чего ждёт большинство людей? — Аппетита к завтраку, к обеду. В чём наказание самое жестокое с детства? Посадить на хлеб и воду. Кто получает из мастеровых наибольшее жалованье? Повара. В чём главный интерес хозяйки дома? К чему в большинстве случаев склоняется разговор между хозяек среднего круга? И если разговор людей высшего круга не склоняется к этому, то это не потому, что они более образованны и заняты высшими интересами, а только потому, что у них есть экономка или дворецкий, которые заняты этим и обеспечивают их обеды. Попробуйте лишить их этого. удобства, и вы увидите, в чём их забота. Всё сводится к вопросам об еде, о цепе тетеревов, о наилучших средствах варить кофе, печь сладкие пирожки и т. д. Собираются люди вместе, но какому бы случаю они ни собирались: для крестин, похорон, свадьбы, освящения церкви, проводов, встречи, празднования памятного дня, смерти, рождения великого учёного, мыслителя, учителя нравственности, собираются люди, занятые будто бы самыми возвышенными интересами. Так они говорят; но они притворяются: все они знают, что будет еда, хорошая, вкусная еда, и питьё, и это главное собрало их вместе. За несколько дней уже для этой самой цели били и резали животных, тащили корзины продуктов из гастрономических магазинов, и повара, помощники их, поварёнки, буфетные мужики, особенно одетые, в чистых крахмальных фартуках, колпаках, «работали». Работали получающий 500 и больше рублей в месяц шефы, отдавая приказания. Рубили, месили, мыли, укладывали, украшали повара. Ещё с таким же торжеством и важностью

работал такой же начальник сервировки, считая, обдумывая, прикидывая взглядом, как художник. Работал садовник для цветов. Судомойки... Работает армия людей, поглощаются произведения тысяч рабочих дней, и всё для того, чтобы людям, собравшись, поговорить о памятном великом учителе науки, нравственности, или вспомнить умершего друга, или напутствовать молодых супругов, вступающих в новую жизнь.

В низшем в среднем быту ясно видно, что праздник, похороны, свадьба — это жранныё. Так там и понимают это дело. Жранныё так заступает место самого мотива соединения, что по-гречески во и по-французски свадьба и пир однозначащи. Но в высшем кругу, среди утончённых людей, употребляется большое искусство для того, чтобы скрыть это и делать вид, что еда есть дело второстепенное, что это так только приличие. Они и удобно могут представлять это, потому что большей частью в настоящем смысле слова пресыщены — никогда не голодны.

Они притворяются, что обед, еда, им не нужны, даже в тягость; но это ложь. Попробуйте вместо ожидаемых ими утончённых блюд дать им, не говорю хлеба с водой, но каши и лапши, и посмотрите, какую бурю это вызовет, и как окажется то, что действительно есть, именно то, что в собрании этих людей главный интерес не тот, который они выставляют, а интерес еды.

Посмотрите на то, чем торгуют люди, пройдите по городу и досмотрите, что продаётся: наряды и предметы для объедения.

В сущности это так должно быть и не может быть иначе. Не думать об еде, держать эту свою похоть в пределах можно только тогда, когда человек покоряется необходимости есть; но когда человек, только покоряясь необходимости, т. е. полноте желудка, перестаёт есть, тогда это не может быть иначе. Если человек полюбил удовольствие еды, позволил себе любить это удовольствие, находит, что это удовольствие хорошо (как это находит всё огромное большинство людей нашего мира, и образованные, хотя они и притворяются в обратном), тогда нет пределов его увеличению, нет пределов, дальше которых оно не могло бы разрастись. Удовлетворенно потребности имеет пределы, но удовольствие не имеет их. Для удовлетворения потребности необходимо и достаточно есть хлеб, кашу или рис; для увеличения удовольствия нет конца приправам и приспособлениям. Хлеб есть необходимая и достаточная пища (доказательство этому — миллионы людей сильных, лёгких, здоровых, много работающих на одном хлебе). Но лучше хлеб есть с приправой. Хорошо мочить хлеб в воде, наварной от мяса. Ещё лучше положить в эту поду овощи, и ещё лучше разные овощи. Хорошо съесть и мясо. Но мясо лучше

съесть не вываренное, а только зажаренное. А ещё лучше с маслом слегка зажаренное и с кровью, известные части. А к этому ещё овощи и горчицу. И запить это вином, лучше всего красным. Есть уже не хочется, но можно съесть ещё рыбы, если приправить её соусом и запить вином белым. — Казалось бы, больше нельзя ни жирного, ни вкусного. Но сладкое ещё можно съесть, летом мороженое, зимой компот, варенье и т. п. И вот обед, скромный обед.

[...] И удивительная вещь, — люди, каждый день объедающиеся такими обедами, перед которыми ничто Валтасаров пир, вызвавший чудесную угрозу, наивно уверены, что они при этом могут вести нравственную жизнь. [...]

Ж.

[...] Я хотел сказать только то, что для доброй жизни необходим известный порядок добрых поступков; что если стремление к доброй жизни серьёзно в человеке, то оно неизбежно примет один известный порядок; и что в этом порядке первой добродетелью, над которой будет работать человек, будет воздержание, самообладание. Стремясь же к воздержанию, человек неизбежно будет следовать тоже одному известному порядку, и в этом порядке первым предметом будет воздержание в пище, будет пост. Постясь же, если он серьёзно и искренно ищет доброй жизни, первое, от чего будет воздерживаться человек, будет всегда употребление животной пищи, потому что, не говоря о возбуждении страстей, производимой этой пищей, употребление её прямо безнравственно, так как требует противного нравственному чувству поступка — убийства, и вызывается только жадностью, желанием лакомства.

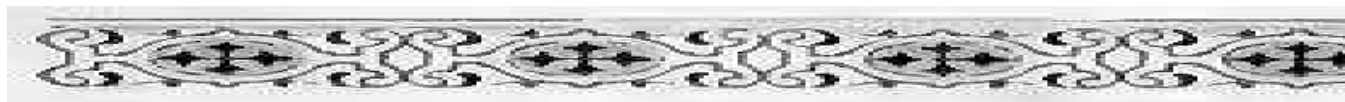
Почему именно воздержание от животной пищи будет первым делом поста и нравственной жизни, превосходно сказано, и не одним человеком, а всем человечеством в лице наилучших представителей его в продолжение всей сознательной жизни человечества. Но почему, если незаконность, т. е. безнравственность животной пищи так давно известна человечеству, люди до сих пор не пришли к сознанию этого закона? — спросят люди, которым свойственно руководиться не столько своим разумом, сколько общим мнением. Ответ на этот вопрос в том, что всё нравственное движение человечества, составляющее основу всякого движения, совершается всегда медленно; но что признак настоящего движения, не случайного, есть его безостановочность и постоянное его ускорение.

И таково движение вегетарианства. [...] Движение это должно быть особенно радостно для людей, живущих стремлением к осуществлению Царства Божия на земле, не потому, что само вегетарианство есть важный шаг к этому Царству (все истинные шаги и важны, и не важны), а потому, что оно служит признаком того, что стремление к нравственному совершенствованию человека серьёзно и искренно, так как оно приняло свойственный ему неизменный порядок, начинающийся с первой ступени.

Нельзя не радоваться этому так же, как не могли бы не радоваться люди, стремившиеся войти на верх дома и прежде беспорядочно и тщетно лезшие с разных сторон прямо на стены, когда бы они стали сходитьсь, наконец, к первой ступени лестницы и все бы теснились у неё, зная, что хода на верх не может быть помимо этой первой ступени лестницы».

(29, 57 – 85)





Глава Вторая.
ЖИВЫМИ В РУКИ НЕ ДАДИМСЯ!
(23 октября – 28 ноября 1891 г.)

Изгой – чужой на земле,
Как солнце в ночи по дороге домой.
Изгой от века в седле,
Со смертью за жизнь принял бой.
Изгой!

(Конст. Кинчев)

2.1. Великий шаг из Ясной Поляны

Хронологически отъезд С.А. Толстой и Л.Н. Толстого из Ясной Поляны разделяют всего четыре дня: 22-го выехала в Москву Софья Андреевна Толстая, а 26-го — Лев Николаевич. 23 октября Толстой шлёт письма жене, Н. Я. Гроту (ещё прибавление к статье «О голоде») и одному из толстовцев, навещавших его летом, *Павлу Васильевичу Великанову* (1860 – 1945), преподавателю в сельскохозяйственной школе на Земском хуторе, Лукояновского уезда Нижегородской губ. (в то время это — один из самых “голодных” хуторов в Новгородской губернии; см.: 66, 93.) Все письма достаточно “деловые”. В частности, Великанову Толстой поручает, по его примеру, объехать деревни Новгородской и Казанской губерний и составить подробное описание впечатлений, полученных от проведённого дня в одной деревне — «главное, без предвзятой мысли и не поддаваясь настроению царствующему — преувеличивать и говорить в общих чертах» (Там же. 61 – 62). Степень дальнейшего участия Великанова в порученном деле неизвестна, более Толстой переписки с ним не вёл.

Конечно, и жене Толстой в письме 23 октября, пишет о деле, занимающем его всего: о необходимости точного подсчёта располагаемого в России хлеба: «Никто этого не знает, а в этом всё. Узнать же это очень легко. Я берусь в две педели одной перепиской узнать это. Всякий местный человек, как я, например, в Крапивенском уезде могу очень легко узнать это» (84, 87 – 88).

Упоминает Толстой в письме о посещении его князем *Дмитрием Дмитриевичем Оболенским* («Миташа»; 1844 – 1931), уездным предводителем дворянства Тульской губ., известным охотником, коннозаводчиком и организатором строительства в Тульской губернии первой железной дороги. Дмитрий Дмитриевич и Лев Николаевич Толстой дружили и очень ценили друг друга. Они часто ездили друг к другу в гости, вместе охотились в имении Оболенских Шаховском. Два деда Дмитрия Дмитриевича участвовали в войне 1812 года: Оболенский Николай Петрович, боевой офицер, и Павел Гаврилович Бибииков (по материнской линии), адъютант Кутузова. Он говорил: «Многое у нас в доме было известно из первых рук и, будучи ребёнком, я много слышал от деда Бибиикова рассказов, а потом, уже будучи студентом, многое передавал Льву Николаевичу» (*Оболенский Д.Д. Отрывки // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. Кн. 1. М., 1978. С. 197*). Л. Н. Толстой, работая над «Войной и миром», использовал рассказы Дмитрия Дмитриевича для написания батальных сцен. Дмитрий Дмитриевич присутствовал при первом чтении романа (27 февраля 1866 года он был приглашён на чтение главы романа «Война и мир» — «1805 год»). В «Анне Карениной» Облонские были написаны с Оболенских, и Стива, возможно, — с Леонида Оболенского. В некоторых черновых вариантах романа Облонский назван Леонидом Дмитриевичем (см. 20, 24 – 26, 39, 42).



Князь Д. Д. Оболенский

Во время Русско-турецкой войны 1877 г. «Миташа» разорился па постройке сахарных заводов, в 1878 г. был предан суду за растрату,

оправдан, но объявлен несостоятельным должником (дело тянулось несколько лет). «Его отдали под суд за то, что он добрый и тщеславный», — отметил Толстой в дневнике (49: 52). «Опять приезжал Оболенский Дмитрий Дмитрич, его дела плохи, и он точно душу отводит у нас», — отмечала С. А. Толстая в дневнике 14 ноября 1878 г. Сам же Оболенский признавался, что к Толстому ездит «не только отвести душу — но для нравственной дезинфекции» (Цит. по: Толстой в воспоминаниях современников. Кн. 1. С. 550).

«Миташа» так и не поправил свои денежные дела, и уже в 1890-х служил в суворинском «Новом времени» простым репортёром. Узнав об уходе Толстого из Ясной Поляны, Оболенский 29 октября 1910 г. приехал к Толстым. «Он с самого начала заявил, что приехал не как корреспондент, а как человек, близкий семье, — писал Булгаков. — Однако через несколько минут обратился к семейным с просьбой разрешить ему подробно написать в газетах обо всём происходящем в Ясной Поляне. [...]

— Я думаю, — говорил Д. Д. Оболенский, — что я имею право написать. Я счастлив, что граф всегда был со мною более чем откровенен.

Бедный князь! Видимо, он заблуждался в определении своих отношений со Львом Николаевичем. Последнему он был по большей части скучен, потому что совсем чужд. [...] Софья Андреевна говорила с Оболенским и сообщила ему текст последнего письма Льва Николаевича» (Булгаков В.Ф. Л.Н. Толстой в последний год его жизни. М., 1989. С. 389). На следующий день многие газеты поместили сообщения о «внезапном отъезде Л.Н. Толстого из Ясной Поляны». Корреспонденции Оболенского печатались 29, 30 октября и 2 ноября в газете «Повое время». По замечанию С. А. Розановой, все они отличались дружелюбием к семье, благороднейшей аристократической деликатностью, исключающей публикацию «компрометирующих семью писателя сведений» (Там же. С. 418).

Визит же князя к Толстому был связан с ранним опытом его журналистской работы: он задумал издать литературный сборник, средства от продажи которого должны были пойти на нужды голодающих. У Толстого он просил для сборника какой-нибудь новый материал, который тот и обещался дать. Ниже мы вернёмся к истории этого сборника.

В следующем же, от 24 октября, письме к жене Толстой уже определённо называет дату отъезда в Бегичевку: «Нынче было письмо от И. И. Раевского, который приглашает нас ехать в воскресенье, что мы и исполним» (Там же. С. 88).

Софья Андреевна посылает навстречу первое письмо 23 октября, уже из Москвы, с тревожащими сведениями о собственном здоровье и о замысле Льва-младшего, Льва Львовича, среднего сына Толстого:

«Он стремится всеми силами куда-то и почему-то ему кажется, что в Самаре он может что-то сделать. Впечатление то, что учиться он в университете, главное, не хочет, а, может быть, и не может, что ему нужны впечатления и разнообразие их. Поездка его совершенно неопределённая; вряд ли он что сможет написать или сделать. Просил он 200 рублей, стало быть только на дорогу и на прожитие. Сам он весел, как будто доволен всем, и мне очень жаль, что он уезжает; он единственный у нас элемент возбуждающий, веселящий и имеющий влияние на мальчиков.

[...] ...Сплю плохо. К утру опять этот пот меня разбудил, и если правду говорить, то мне плохо не здоровьем, а нервами. Точно я закупорена вся, начиная с верхней части груди и вся голова. Сегодня не мудрено, я ещё устала и не привыкла к Москве. Самое несносное, что плакать хочется весь день и боюсь себя, что не то напишу, не то скажу, не то сделаю, и окажется, что я сумасшедшая. Может быть схожу к психиатру.

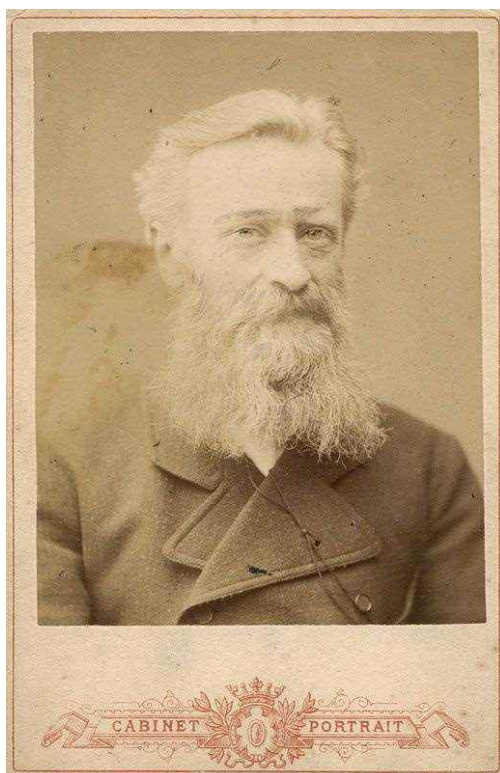
Теперь мне ясно, что я всё время волновалась не от того, что вы и я уезжаем, а что всё зло во мне, в моём нездоровье, и я совсем не желаю, чтоб вы приехали, всё равно измучаю и себя, и вас. — Ещё страшно, что я много ем; сумасшедшие разъедаются и толстеют.

Но это всё мой страх. Вернее, что я поеду завтра или на днях к Мерилизу <«Мюр и Мерилиз», роскошный универмаг в Москве. – Р. А.» и Фету, займусь детьми и приду в нормальное состояние. Только бы ничего ни с кем не случилось, а то свихнёшься тогда.

Лёва выедет к вам или завтра в ночь или в пятницу. Подождите его во всяком случае.

[...] Дел ещё своих не разбирала, может быть, завтра успею, потому и не знаю ещё, сколько денег могу или не могу дать» (ПСТ. С. 447 – 448).

Письмо примечательно откровенным признанием Софьи Андреевны в своём душевном расстройстве, иллюзию свободы от которого она, как и многие во все времена, надеялась обрести в суетах городской жизни, а также, что важнее для нас, сведениями о готовящемся отъезде Льва-младшего к голодающим в Самарскую губернию. Лев Львович Толстой получил в эти дни письмо от Алексея Алексеевича Бибикова, бывшего управляющего самарскими имениями Толстых. Его глубоко уважал даже Толстой-папа: ещё до крестьянской реформы 1861 г. Бибиков отпустил на волю своих крепостных и отдал им почти всю свою землю.



А.А. Бибииков в 1895 г.

В письме к А. А. Толстому Бибииков оценивал ситуацию в крае совершенно безнадежно:

«То, что мы предполагали, наступило. Ни у кого нет хлеба уже давно. Земство помогает недостаточно. Народ распродает скот, имущество, сбрую, платье и ходит, друг у друга прося милостыни. Начинаются болезни, воровство и все последствия голодания. Чувствую полное бессилие помочь им. Приезжайте к нам. Может быть, удастся вам хоть что-нибудь сделать» (Цит. по: Толстой А.А. В голодные годы. С. 10).

В университетах постепенно был налажен сбор средств для голодающих. О таком благотворительном сборе в Санкт-Петербургском университете в зиму 1891-92 гг. князь Владимир Андреевич Оболенский (1869 – 1920), внук героя войны 1812 г. кн. Василия Петровича Оболенского, впоследствии кадет и масон, а в то время студент 1-го курса юридического факультета, вспоминал следующее:

«И вдруг в университетском коридоре появился столик с дежурными студентами от комитета помощи голодающим.

Это было зрелище невиданное.

Я и сейчас представляю себе этот столик и за ним красивого, стройного студента Д. В. Философова, принимавшего горячее участие в сборах. Сборы направлялись преимущественно А. Н. Толстому, открывшему ряд столовых в Бузулукском уезде Самарской губернии и

В. И. Вернадскому, в Тамбовскую» (*Оболенский В. Воспоминания о голодном 1891 году // Современные записки. Вып. VII. Париж, 1921. С. 264*).

Ошибка мемуариста примечательна: сына, Льва Львовича, отправившегося помогать в Самарский край, путали с более знаменитым отцом, но обоим шли значительные пожертвования.

Сына Льва, однако, не могли удовлетворять такие сборы. Пачкотна ему была и политизация благотворительных инициатив, массово распространившаяся среди студентов. Тот же В. А. Оболенский вспоминает:

«Неурожай от Бога, а голод от царя» — была крылатая фраза, которую вкладывали в уста мужиков, едва ли, впрочем, когда-либо её произносившие. [...] Что правительство является виновником голода, считалось аксиомой. Но из этой аксиомы делались различные выводы. [...] «Всякая помощь голодающим является помощью правительству, с которым мы боремся, а потому нужно всё дело помощи оставить в руках правительства. Правительство не справится с бедствием, начнутся крестьянские беспорядки, голодные бунты»... А дальше грезилась революция. [...] Революционеры более умеренные [...] считали, что кормить надо, но нужно вместе с тем использовать открывавшуюся возможность общения с народом для широкой пропаганды революционных идей. [...] Словом, был веер мнений [...]: «Свергать, не кормя», «свергать, кормя», «кормить, свергая», «кормить, не свергая». Кроме того, «вопрос о голоде волновал преимущественно левое студенчество. Правое им совсем мало интересовалось. А если отдельные студенты из правых кругов принимали участие в «голодном» движении, то исключительно по мотивам гуманитарным, не осложняя своего отношения к голоду какими-либо политическими соображениями» (*Там же. С. 264 – 265*).

Лев Львович Толстой, как и юноша Оболенский, автор цитированных выше воспоминаний, относился, разумеется, к таким «правым гуманитарным», не имевшим намерения и не то, что моральной, а даже физической возможности пачкать белую львиную шкурку в деле политизированном. К тому же ему хотелось предприятия самостоятельного — так сказать, именного, какое начал отец. И Лев, сын Льва решает идти трудным, но собственным путём...

Для первой своей самарской поездки Л. Л. Толстой только берёт в университете отпуск на 28 дней, а из денег — смешные 200 рублей, выпрошенные у мамы. Но эта разведочная поездка и связанные с нею впечатления от картин народного бедствия заставят его втянуться в дело помощи народу всеми силами, не пощадив не только учебных своих планов, но и здоровья.

Следующее, очень заботливое, письмо С. А. Толстой, от 25 октября (по получении писем от Л. Н. Толстого и от Т. Л. Толстой от 24 октября):

«Уезжает и Лёва; метель сегодня и холод страшный и все эти отъезды и жизнь врознь, конечно, хуже всего для несчастной меня, сидящей, как прикованная к своим гостиным и без всякою дела, а только с беспокойством о всех. Для голодающих физическая мука, а для нас, грешных, худшая — нравственная. Авось как-нибудь переживётся это тяжёлое время для всех, а без жертв не обойдётся.

Посылаю шубу свою Маше, и купила для тебя, Лёвочка, дешёвую. Без двух шуб зимой 30 вёрст ехать нельзя. Посылаю вам 500 рублей, с прежними 600; Лёва берёт 200, Серёжа 100 на голодающих, итого 900 р. Потом увижу, что можно будет ещё сделать. <«Эти деньги были наши, не жертвованные, а пока для начала дела помощи». — *Примеч. С. А. Толстой.*>

Статью твою <«О голоде»>, Лёвочка, не успела прочесть; Грот сегодня её завёз, но меня не застал, и так я его и не видала до сих пор. [...]

Спасибо, что написали столько писем: я получила три. Здоровье моё лучше, т. е. две ночи не было лихорадки и поту. Но тоска, — с которой борюсь ужасно, не отпускает. Как вечер, так всё мрачно, плакать всё хочется, точно я и физически и нравственно закупoreна.

Надеюсь, что у тебя, Лёвочка, насморк прошёл, а то это может быть начало инфлуенцы. [...]

Сегодня 10 гр. мороза, ветер страшный и снег. Извозчики на санках. Если у вас так холодно, погодите ездить.

[...] Прощайте, милые все, не забывайте меня и пишите при всяком случае, да поподробнее, как устроитесь. А Лёва пропадёт в этом море самарских степей, и о нём тоскливее всего, а удержать невозможно.

Теперь напишу дня через три в Данковский уже уезд.

С. Т.» (ПСТ. С. 449 – 450).

К 26 октября письмо от С.А. Толстой уже получено в Ясной Поляне. Отвечает матери дочь Мария, а сам Лев Николаевич делает приписку, из которой видно, что ещё накануне отъезда в Бегичевку он решает писать уже *вторую* статью на тему голода в России: «...Меня теперь неотвязно тяготит вопрос: есть ли в России достаточно хлеба?

Я кажется напишу об этом в газету; тем более, что ту статью, вероятно, не пропустят, — и тем и лучше» (84, 88 – 89).

Новая статья получит название «Страшный вопрос». Но прежде написанная, вдохновенно и нецензурно, статья «О голоде» уже не «отпустит» его, дав о себе знать рядом неприятных, вредных для начатого дела последствий. Накануне, 25-го, Н. Я. Грот сообщил ему, что номер его журнала с этой статьёй был арестован цензурой. Увы! репрессии против гротовского журнала, сперва имевшие иную адресацию, вскоре обрушатся и на Толстого. Его статья оказалась под подозрением и была, как сообщал Грот, направлена для особой цензуры в контору Феокистова — то есть в Главное управление по делам печати. Какая бы высокая ни выразилась в статье «О голоде» правда, остаётся сожалеть, что Толстой, под впечатлением от картин народной нужды, выразил её столь рано и столь эмоционально.

Приписка от 26-го к жене, небольшое письмо к И. И. Раевскому от 26-го и ответ Н. Я. Гроту 27-го октября, уже из Тулы — последние перед отъездом в Бегичевку письма Л. Н. Толстого. Выехал он из Ясной Поляны 26 октября — со «свитой» в составе любящих старших дочерей, Веры Кузминской (это дочь Тани, сониной сестры), домашней портнихи Софьи Андреевны Марьи Кирилловны Кузнецовой (крестьянам нужна была помощь и в одежде) и с 600 рублями денег.





Отдельную страницу в летописи христианского служения Льва Николаевича занимает Бегичевский цикл его переписки с женой, включившейся в общее дело с обычной для неё насторожённой перед возможными трудностями, но и с понятным желанием деятельности — при нравственной затруднительности пассивного наблюдения. Этот диалог любопытен сам по себе, но в нашей книге он будет “вплетён” в общую хронологическую событийную канву всего христианского подвига Льва Николаевича.

Этот цикл открывает *ночное*, что было так же для Софьи Андреевны не редкостью, письмо от 26 октября 1891 года. Получив, уже после отправки письма от 25-го, письмо мужа от 24 октября, Софья Андреевна, конечно же, не стала дожидаться, по обещанному, трёх дней, а написала ответ в тот же час, как были кончены множественные дневные и вечерние дела, в ночь с субботы на воскресенье:

«Спасибо за письмо, милый Лёвочка. Итак, завтра вы едете, вероятно и Лёва тоже. Очень интересно, что выйдет из ваших попыток помощи. По моему мнению, — я настаиваю на своём, — вы с самого начала не так взялись за дело. Ну, да теперь поздно. Буду жить с надеждой и ожиданием, что когда-нибудь да пройдут тяжёлые времена, все вернутся, и голод минует. Теперь все говорят, что дело гораздо хуже, чем кто-либо мог предполагать, и такая тяжесть на душе от безнадежности помочь такому стихийному бедствию! Поездка Лёвы меня тревожит не менее вашей. Он ничего не взял, ни о чём не подумал; он понятия не имеет, что такое езда на долгое расстояние в деревне, да ещё в степях; и вообще всё его состояние возбуждённое, отчаянное и неясное. Бежать скорей и во что бы то ни стало — и больше ничего.

[...] К обеду приехал Миташа Оболенский и рассказывал мне про вас. Но он меня расстроил, говоря, что у тебя больной и слабый вид, что ты очень похудел и постарел. Хорош ты вернёшься из Данковского уезда!

[...] После обеда пришёл Дунаев, и потом Грот. [...] Грот очень взволнован. «Московские ведомости» подняли целую тревогу по случаю чтения Соловьёва, и тут был Победоносцев, и редактор «Московских ведомостей» с компанией донесли Победоносцеву, что вот, мол, смотрите, какое зло вносят. Тут же арестовали незаконно, по распоряжению из Петербурга, весь номер их ноябрьского журнала. Твою статью считают менее всех вредной и обещают пропустить, а больше

всех напали на Соловьёва. Если скоро не снимут ареста, Грот поедет в Петербург.

Оболенский написал статью (пойдёт передовой) о своём издании альбома в пользу голодающих, и в ней упомянул, что ты даёшь свою повесть. Какую? Он даже говорит, что ты ему *дал слово* написать или дать что-нибудь.

[...] Теперь ночь. Буду ждать с нетерпением известий из Данковского уезда; как-то вы там устроитесь? Надеюсь, что Таня будет хорошо хозяйничать, на неё вся надежда; лишь бы не захворал никто в этот сухой холод. Как приняли мои шубы? Прощай, милый Лёвочка; ты береги тоже девочек, а они — тебя.

Целую вас всех. С. Т.» (ПСТ. С. 450 – 452).

С. А. Толстая коснулась в письме издательской судьбы реферата В. С. Соловьёва «О причинах упадка средневекового мирозерцания», прочитанного на заседании Психологического общества 19 октября 1891 г. Если читатель сопоставит идейное содержание реферата с независимо написанной статьёй Л. Н. Толстого «Первая ступень», он обнаружит сближения в критике писателем и мыслителем церковного догматического учения. Реферат, сблизивший идейно Толстого и Соловьёва как критиков исторически совершившегося извращения первоначального христианства, отравления его миазмами непонимания язычников и евреев, вызвал бурные прения, продолженные в печати. Это означало для автора необходимость скорейшей публикации текста реферата, который выразил бы в печати его позицию. Грот попытался было опубликовать реферат в своём журнале, и именно реферат поначалу вызвал резкие нападки со стороны журналистов консервативного лагеря Ю. Николаева и М. Афанасьева («Московские ведомости», №№ 291 и 293). Николаев приписывал Соловьёву выражение «мошенники и обманщики», обращённое к христианским аскетам. Афанасьев утверждал, что реферат Соловьёва представляет собою «популярное и сплошное глумление над святою и православною церковью» (№ 291), что он является «дерзкой выходкою против всей христианской церкви» (№ 293). Важно подчеркнуть, что это было не только актом клеветы со стороны консервативных журналистов, но и *доносом* — имеющим достаточно близкие параллели с доносительством провластных «активистов» в современной (2022 год) путинской России: об «экстремизме», об «оскорблении чувств верующих», о связях с политической оппозицией, с заграницей и т.п. Николай Яковлевич Грот не желал создавать помехи главному, обозначенному статьёй «О голоде», делу Л. Н. Толстого, именно делу помощи голодающим крестьянам, но,

соединив под одной обложкой два одиозных материала (ведь статья Толстого настораживала цензоров уже именем автора и заголовком!), он невольно predetermined непростую цензурную судьбу для обеих публикаций. Статья Толстого *в полном виде* была впервые опубликована только в 1896 г. в заграничном бесцензурном издании в Женеве, а реферат Соловьёва увидел-таки свет именно в журнале «Вопросы философии и психологии», но... только через 10 лет после создания, через два года после смерти Н. Я. Грота и через год после смерти самого автора реферата.

2.2. Начало служения в Бегичевке и в Москве

28 октября 1891 года скоропостижно умирает друг юности Толстого Дмитрий Алексеевич Дьяков. Толстой узнал об этом только 3 ноября, уже в Бегичевке, из письма жены от 28-го октября (см.: ПСТ. С. 452 – 453).



Дмитрий Дьяков в молодости и в зрелые годы

Для обоих супругов, в особенности же для Софьи Андреевны Толстой, это был знак грозящей, близкой, быть может, беды. Дело в том, что Дьяков погиб от заражения крови, вызванного ссадиной от

травмы в пути: он ударился, выходя из вагона, ногой: «тем же местом ноги, как ты тогда», — подчёркивает суеверно в письме к Толстому жена. Конечно же, здесь она вспоминает о работе супруга с крестьянами Ясной Поляны летом 1886 года на покосе — таком же, как и начатая Бегичевская эпопея, деле *личной трудовой*, жертвенной помощи, хоть и с гораздо меньшей масштабам, — когда, помогая в перевозке сена бедной вдове Анисье Копыловой, Толстой зашиб ногу о грядку телеги и из-за последовавшего за этим лечения недостаточного и неправильного пережил опасное воспаление кости. Чего-то схожего по опасности Софья Андреевна ждала и от Бегичевки, и даже от дороги до неё Льва Николаевича.

Почувствовав это настроение Сони ещё до отъезда, Толстой, прибыв на место без роковых происшествий, 29 октября 1891 г. сообщал жене из Бегичевки довольно успокоительные известия:

«Ах, как хочется, чтобы письмо это застало [тебя] в хорошем духовном состоянии, милый друг. Буду надеяться, что это так, и завтра — день прихода почты — буду с волнением ждать и открывать твоё письмо. — Ты пишешь, что ты остаёшься одна, несчастная, и мне грустно за тебя. Но будет об этом. Напишу о нас. Выехали по хорошей погоде в катках больших все: Лёва, Попов и мы 5-ро с Марьей Кирилловной. <Свиту Льва составляли, напомним читателю: Татьяна и Марья Львовны, Т. А. Кузминская и М. К. Кузнецова. — Р. А.> На станции встретили Ивана Иваныча <Раевского>, который ехал с нами. На станции, как и везде, народа чёрного, едущего на заработки и возвращающегося после тщетных поисков, — бездна.

Нас с билетами 3-го класса посадили во 2-й. Тут нашёлся Керн и потом Богоявленский. <Эдуард Эдуардович Керн (1855 — 1938) — лесовод и ботаник, служил лесничим в казённой Засеке близ Ясной Поляны; Николай Ефимович Богоявленский (1862 — ?) — земский врач, бывш. домашний учитель детей Толстого. — Р. А.> Жара страшная, и мы все осовели от неё. На Клёкотках простились с Лёвой и Поповым и нашли две тройки в санях за нами. Ехать решили что нельзя, потому что шёл снег с ветром, и ночевали не дурно в бедненькой, но не очень грязной гостинице.

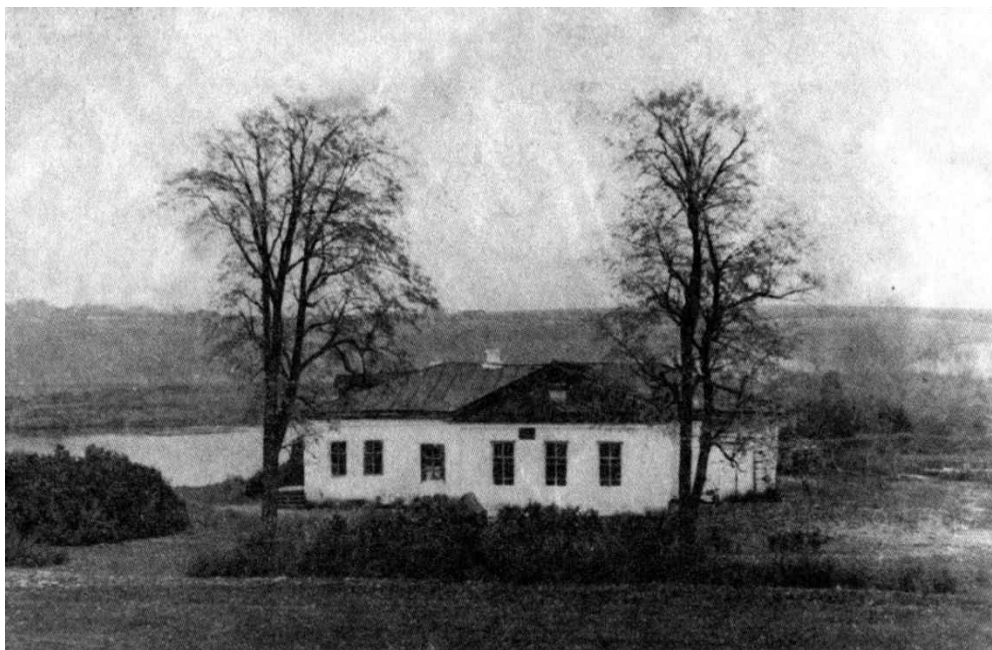
Девочки так ухаживают за мной, так укладывали всё, так старательны, что только можно желать уменьшения, а не увеличения заботы. Всё это твоя через них действует забота, и я ценю её, хотя и не нуждаюсь в ней, или так мне кажется. Рано утром поднялись, но выехали в 10. Ехали хорошо, тепло. Я надел раз тулуп, — и приехали <в Бегичевку> в два. Дом тёплый, топлённый, — всё прекрасно приготовлено. Мне Иван Иванович уступил свой великолепный кабинет. У девочек две комнаты с особым ходом. Общая большая комната для

герас [трапезы]. Сам он поместился в маленькой комнатке <учителя> Алексея Митрофановича, рядом с своим <поваром> Федотом. Нынче я настоял, чтобы он пошёл в кабинет, а я на его место. И сейчас перешёл, и мне прекрасно, и тепло, и уютно, и за перегородкой спит Федот. Обед простой, чистый, сытный; молока вволю.

После обеда заснул. Приехали вещи. Девочки разобрались; вечером приехал <Иван Николаевич> Мордвинов, зять Ивана Ивановича, земский начальник, весь поглощённый заботой о народе. Когда он уехал, и в 9 часов разошлись, я сел писать статью <«Страшный вопрос»> о том, что страшно не знать, достанет или неостанет хлеба в России на прокормление, и до 11 часов пописал. Потом спал прекрасно. Утром продолжал статью. Между прочим побеседовал с Ив. Ив., и больше определилась деятельность девочек. Тане я очень советую взяться за дело пряжи и тканья, т. е. устройства этого заработка <для крестьянских женщин. – Р. А.>. Маша будет при столовых и пекарне.

Я сейчас был в 3-х деревнях, из которых в двух приискал места для столовых, в обоих человек на 50.

Описывать слегка нищету и забитость этих людей нельзя. Но хорошо, здорово их видеть, если можно только хоть сколько-нибудь служить им, и я думаю, что можно.



Дом в Бегичевке,
в котором совершилась эпопея спасения Л.Н. Толстым голодавших крестьян.
Построен был в 1874-75 гг. Разрушен в 1950 – 1970-х гг. «благодарными» потомками спасённых от голода. На месте дома сохранилась стела 1978 г. с табличкой.

От Грота ты, вероятно, знаешь, что статью мою в числе других повезли в Петербург, в цензуру, и, вероятно, запретят. И я рад. Я

напишу другую, и эту переделаю. Надо добрее, то и трудно, чтобы быть правдивым и добрым. Если это напишу, пришлю тебе. Ты с Гротом просмотри и пошли в «Русские ведомости». <Статья Л.Н. Толстого «Страшный вопрос» была напечатана в «Русских ведомостях» за 1891 г., № 306, от 6 ноября. – Р. А.>.

Ну, пока прощай, целую тебя и детей, маленьких и миленьких, как говорил Фет, и тебя, не маленькую, но милую. Иван Иванович уехал к <Рафаилу Алексеевичу> Писареву и вероятно привезёт его с собой. Л. Т.» (84, 89 – 90).

Упомянутый в письме помещик *Иван Николаевич Мордвинов* (до 1859 (?) – 1917), земский начальник в Данковском уезде Рязанской губ. Иван Николаевич был мужем *Маргариты Ивановны Раевской* (1856 – 1912), сестры Ивана Ивановича Раевского. Его хутор Утёс (нынче там расположен пос. Садовый) находился в 2 км. от Бегичевки, вниз по Дону, и Толстой впоследствии из Бегичевки много раз пешком ходил к Мордвинову.



И.Н. Мордвинов

К сожалению, в претендующей на научность статье о И.Н. Мордвинове в Энциклопедии «Лев Толстой и его современники» его автор, Н.И. Бурнашёва, не найдя желаний или времени вникнуть в суть отношений Льва Николаевича с этим незаурядным и честным человеком, поспешила разделить с Н. А. Гаврилиной и подобными ей подпутинскими шарлатанами от исторической науки точку зрения на «бездействие местных властей», то есть, прежде всего, уездного,

которое якобы было «мало обеспокоено тяжёлой ситуацией в голодных деревнях», и, якобы, только Лев Толстой, информируемый Мордвиновым, сумел «расшевелить местные власти, заставить их хоть что-то делать в борьбе с голодом» (*Лев Толстой и его современники. Энциклопедия. Вып. 3. Тула, 2016. С. 358*). Повторим сказанное в начале книги: к сожалению, участники нашей эпопеи, и сам Лев Николаевич в сохранившихся текстах статей, записных книжек и Дневника этого времени, иногда, будучи в раздражении, пеняли на недостаточную помощь государства и земств. На эту не правдивую картину печально «наложились» реальные скандал со статьёй «О голоде», цензурный на неё запрет в России и полицейский надзор за Толстым. О статье и об этих последствиях её мы немало ещё скажем ниже, здесь же лишь подчеркнём, что осуществляем, как одну из актуальных задач нашего исследования, правдивую и подробную реконструкцию участия Л.Н. Толстого *в общем деле*, не только не им начатом и довольно системно, грамотно обустроенном на уровне каждой из голодавших губерний, но даже никогда сполна им не одобрявшемся, а значит, опровергаем этот архаичный миф, доживающий своё время в некоторых совкоголовых головах совкоржённых (старших поколений) исследователей.

Другой важной исторической персоналией, впервые упомянутой Л. Н. Толстым в приведённом выше письме, является *Алексей Митрофанович Новиков*, о котором мы уже писали выше в связи с его мемуарами. Он был талантливым математиком, а также поэтом и переводчиком с нескольких языков. Познакомился Толстой с ним в доме И. И. Раевского, где тот служил учителем, а в 1889 – 1891 гг. Алексей Митрофанович готовил в гимназию младших сыновей Толстого, так же помогая Льву Николаевичу в качестве переводчика и переписчика черновики. Именно Толстой уберёг молодого Алексея от массового и трагического для его поколения увлечения революционными идеями. И именно 1891-й год стал переломным в судьбе Новикова. Откликнувшись на призыв общего знакомого, И. И. Раевского, Алексей Митрофанович поучаствовал в переписи голодающего населения Рязанской губернии, а затем разделил с Раевским и Толстым и поприще служения народу в Бегичевке. Страшные картины вымирающих от голодного тифа деревень так повлияли на него, что он решил стать врачом. И он стал — выдающимся врачом, основателем нескольких медицинских кафедр и доктором медицинских наук!

ПРОФЕССОР, БЛАГОТВОРИТЕЛЬ, ПЕДАГОГ

19 октября 1920 года председатель СНК В. И. Ленин подписал Декрет об учреждении в городе Екатеринбурге Уральского государственного университета. Но еще раньше, 10 сентября 1920 года, начались занятия на его медицинском факультете. Одним из любимейших преподавателей студентов-медиков был доктор медицины Алексей Митрофанович Новиков. В марте текущего года исполняется 150 лет со дня его рождения.



Алексей Митрофанович НОВИКОВ (1865-1927 гг.)
Основатель службы акушерства
и гинекологии на Урале.

«Хочет, не хочет правительство, а сила вещей заставила бы... открыть в Екатеринбурге университет для Западной Сибири и Уральского края... А не будет в Екатеринбурге университета, затормозится на 50 — 100 лет изучение Урала, исследование его и его богатств, разработка их, развитие этой оригинальной, неизученной и много обещающей для России области...» Эти строки написал 5 декабря 1915 года директор Екатеринбургского родильного дома А. М. Новиков министру народного просвещения Российской империи П. Н. Игнатьеву.

Уже сам стиль этого письма указывал на литературную одаренность автора, а глубина постановки проблемы — на его разностороннюю образованность. Действительно, к тридцати годам Алексей Митрофанович успел блестяще окончить математический и медицинский факультеты Московского университета. Развитию его способностей благоприятствовало окружение. Это семейство Льва Николаевича Толстого, детей которого Новиков готовил к поступлению в старшие классы гимназии.

«Очень оригинальный, умный, добрый, ласковый к детям человек», — отзывался о молодом наставнике Л. Н. Толстой. Новиков делал для писателя переводы с французского и греческого языков, занимался с крестьянскими ребятами в Яснополянской

школе, привел в порядок огромную библиотеку Толстого.

Благотворительная деятельность Новикова продолжалась и дальше. В селе Ромодановке Мещерского болотистого края Рязанской губернии он на собственные средства оборудовал больницу, организовал детские ясли, устраивал детские праздники, раздавал крестьянам книги. Немудрено, что, в конце концов, попал под надзор полиции.

После усовершенствования в области акушерства и гинекологии в Петербурге, а затем в Париже, Дрездене, городах Италии и Швейцарии Новиков защищает докторскую диссертацию (1903) и занимает пост приват-доцента кафедры акушерства, гинекологии и детских болезней Московского университета. Он автор 45 научных работ.

Об авторитете А. М. Новикова в среде медиков говорит факт приглашения его на должность директора родильного дома в Екатеринбурге (1909). Он добился преобразования его в повивально-гинекологический институт. По его настоянию почти одновременно с клиниками Москвы и Петербурга на Урале была применена рентгено- и радиотерапия при лечении злокачественных новообразований. Им же был организован специальный уход за недоношенными детьми, которые помещались в так называемые кюветы.

По инициативе Новикова в Екатеринбурге открывается школа повивальных бабок 1-го разряда. В ней создана фундаментальная медицинская библиотека, вводятся в практику подробные клинические истории болезни. Первая в городе патологоанатомическая служба также создана им. А кампания в печати, которую поднял Новиков по вопросу о необходимости в Екатеринбурге скорой помощи!

А. М. Новиков в полной мере оправдал надежды своего учителя, всемирно известного врача-гинеколога В. Ф. Снегирева. В марте 1916 года Снегирев писал Новикову: «Крепко вас обнимаю за неустанную работу, за нескончаемую умственную жизнь... Бог вам дал хороший дар — ум, высокий интеллект, а душа ваша играет на нем, как артист...»

Гражданская война оставила ужасающую детскую смертность. С янва-

ря по июнь 1921 года в Екатеринбурге умерло на 127 человек больше, чем родилось (всего в Екатеринбурге жило 88 тысяч человек). На новорожденных приходилось 21,7 процента всех смертей. Не удивительно, что, забыв о классовой и партийной розни, большевик, заведующий губздравотделом И. С. Белостоцкий и кадет, специалист по кожно-венерологическим заболеваниям И. А. Левин, ученый с мировым именем Н. А. Миславский и начальник санитарного отдела при Уральском военном округе В. А. Анищенко бросились организовывать медицинский факультет Уральского университета.

Профессор Новиков в тяжелых послевоенных условиях оборудует в университете лабораторию гинекологии и акушерства, заведует клиникой, в которой студенты проходят практику. Он блестяще читает лекции и ведет практические занятия, продолжает ежедневно делать операции и вести амбулаторный прием. Кроме того, Новиков — член президиума медицинского факультета, заведующий его учебной частью и секретарь Академической комиссии по улучшению быта ученых.

В октябре 1923 года профессора Уральского университета предложили Главпрофбюро назначить А. М. Новикова на должность ректора университета. Однако в Урал-бюро ЦК РКП (б) рассудили по-иному: ректором должен быть коммунист. Новиков же вошел в правление университета.

То, что Новиков занимал ответственные должности, не спасало его от слезки ОГПУ, которое пыталось взять на учет каждое его ироническое замечание о диктатуре пролетариата. Возможно, это обстоятельство сыграло свою роль при выборе Новиковым нового места службы после перевода в 1924 году медфака Уральского университета в Пермь. Он уезжает в Ташкент заведовать кафедрой акушерства и гинекологии Среднеазиатского университета.

Умер А. М. Новиков весной 1927 года, оставив своим воспитанникам завет: любить больных, работать над собой и добросовестно использовать полученные знания на благо страждущего человека. ■

Валерия Мазур,
заместитель директора Музейно-
выставочного комплекса УрФУ

В литературе обычно первые шаги и впечатления Л. Н. Толстого в Бегичевке подаются глазами мужскими — и, как правило, собственными Льва Николаевича, как главной персоналии всего предприятия. Нарушим и эту традицию. Пусть о прибытии Л. Н. Толстого в Бегичевку расскажет человек немножко сторонний и дама: *Екатерина Ивановна Раевская* (урожд. Бибикова; 1817 – 1899), дочь действительного статского советника, участника Отечественной войны 1812 года Ивана Петровича Бибикова (1787 – 1856) и Софьи Гавриловны, урожд. Бибиковой, мама чудесного Ивана Ивановича Раевского — и, кстати, бабушка внуков, которые также сделаются скоро действующими участниками Бегичевской эпопеи Льва Николаевича Толстого.

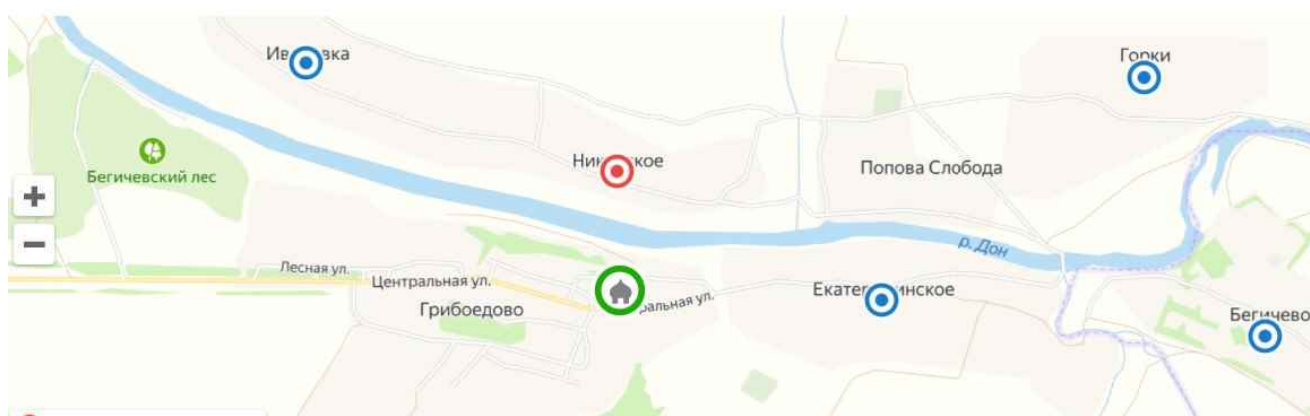
Толстой был многолетне и хорошо знаком со всей «тульской» ветвью огромных родов Бибиковых и Раевских. Раевские имели владения в Каширском уезде, но родовым имением их было село Никитское Епифанского уезда, расположенное на границе с Данковским уездом Рязанской губ. Отец И. И. Раевского Иван Артемьевич (1815–1869), женатый на Екатерине Ивановне, оставил о себе память как об известном общественном деятеле, занимавшемся ещё в 1840-е гг. проектом отмены крепостного права. В 1861 – 1863 гг. И.А. Раевский был мировым посредником Епифанского уезда.



Старинные портреты Е.И. Раевской (Бибиковой) в молодости

Выйдя в 1835 г. замуж за помещика Ивана Артемьевича Раевского (1815 – 1869), Екатерина Ивановна, талантливый живописец и литератор, с печальной (и в чём-то близкой Софье Андреевне Толстой) участью женщины в православной, то есть лжехристианской, гнусно-патриархальной России, сделалась многолетней затворницей рязанского имения. С Львом Николаевичем Толстым Е. И. Раевская была знакома с 1856 г. В 1879 г. Толстой навестил вдову Раевскую вдвоём со старшим сыном, юношей Сергеем. Дадим теперь слово мемуаристке, явно обрадовавшейся и этому приезду старого знакомого.

село Никитское на "Трехверстовка Тульской области. Военно-топографическая карта (1874 год)"



«28 октября 1891 г., утром, приехал в Данковский уезд Рязанской губернии граф Лев Николаевич Толстой. [...] С двумя старшими дочерьми Татьяной и Марией приехал по ужаснейшей, мучительной дороге, в санях по бесснежной колоти и при сильном морозе: по такому пути те 40 верст, что отделяют с. Бегичевку от железнодорожной станции Клёкотки, могут показаться вечностью мучения. Он приехал издали на помощь незнакомому ему краю, тогда как некоторые в нём старожилы спешили бежать от скорбного зрелища, бросили арену борьбы и переселились в города, благо имели на то достаточные средства... А тут приезжает шестидесятитрёхлетний старик и две молодые девушки, отказавшись от столичных удобств и развлечений, сопровождают отца, чтоб ходить за ним и помогать ему посещать с раннего утра до поздней ночи дымные избы голодающих и больных крестьян.

Граф Л. Н. Толстой приехал не с пустыми руками, а со средствами для устройства даровых столовых для крестьянских детей, стариков и старух, для покупки муки и проч., чтобы пополнить, где окажется нужным, незначительное продовольствие, получаемое от земства. Иван Иванович Раевский первый подал графу мысль о столовых, во

всём помогал ему, закупал дрова для раздачи топлива, в котором особенно нуждались крестьяне за неимением соломы, устроил у себя пекарню, откуда раздавался печеный хлеб кому за дешёвую цену, кому и даром; из его же амбаров отпускалась мука, купленная графом. С осени Раевский не велел с своего огорода продавать капусты, а нарубить её в кадки для снабжения ею даровых столовых. Он же сводил счёт деньгам, получаемым Толстым от доброхотных жертвователей, и расходы им на голодающих. К тому же, зная наперёд, кто из соседних крестьян нуждается в помощи и кто нет, он мог руководить графа в раздаче его милостыни и не давать плутам злоупотреблять его щедростью и неведеньем.

31 октября граф Лев Николаевич приехал к нам на хутор с дочерью Марией и племянницей Верой Александровной Кузминской. Приехали они в розвальнях, потому что другой экипаж по теперешней дороге немислим [...].

Наш хутор отстоит в полутора верстах от имения моего сына Ивана Ивановича, сельца Бегичевки. На этом хуторе живу я с меньшей своей дочерью Маргаритой Ив. Мордвиновой. <Маргарита Ивановна Мординова (1856 — 1912) — *Ред.*>

С графом Л. Н. Толстым я была знакома ещё в 1856 г., когда, холостой, посещая московское общество, он бывал и у меня на вечерах; позднее, в 1879 г., уже женатый и отец семейства, он был у меня в деревне, в селе Никитском <Село Никитское Епифанского уезда, Тульской губернии, в двух верстах от Бегичевки, расположено на берегу Дона. Имение И. А. Раевского; затем принадлежало его сыну — Дмитрию Ивановичу. — *Ред.*>, со старшим сыном Сергеем, тогда ещё отроком. У нас шёл тогда домашний спектакль; граф Толстой любовался игрой моей племянницы баронессы Ольги Владимировны Менгден и подписал благодарственный адрес, поднесённый ей молодёжью за её участие в спектакле. Ольга хранит этот адрес, как драгоценный автограф.

С тех пор произошла, конечно, в графе большая перемена: года и болезни оставили на нём свой отпечаток, но главная перемена не в том. Выражение лица его изменилось; на нём легла печать какого-то высшего духовного спокойствия; в глазах стала светиться какая-то божественная доброта, что-то небесное, чуждое земных тревог и мелких страстишек: такое выражение встречаешь только в ликах рафаэлевских праведников.

Простое обращение Льва Николаевича и дочери его всем нам понравилось; то простота была не деланная, не изученная перед зеркалом...

Молодая хозяйка хутора, рождённая и выросшая в деревне, имеющая вечное сношение с крестьянскими семьями всего соседства, спросила у Марии Львовны: «Какие именно она посетила дворы?» и, когда она назвала их, то увидела, насколько народ её обманывает притворными и лживыми жалобами на несуществующую бедность, тогда как до настоящих голодающих молодая девушка не добралась.

— Если хотите, я буду вам сопутствовать и укажу вам, где именно кроется настоящая нужда, — сказала дочь моя.

— Очень вам буду благодарна, — ответила Мария Львовна.

Пока молодёжь разговаривала, старики толковали между собой о народном бедствии.

— Невозможно не кормить голодающих, — сказал граф, — но всё же мы должны сознаться, что даровым хлебом совершенно развратим крестьян: они всю зиму пролежат на печи в полной праздности и совсем отвыкнут от всякой работы.

[...] Несколько дней спустя <1 ноября> сижу у окошка с вечной своей работой — белья для внучат.

— Смотри, мать, — говорит мне Маргарита, — ведь это граф идёт пешком.

Выслали к нему мальчика-лакея. Оказалось, что Лев Николаевич направлялся в село Лошаково навестить на пункте земского врача, Богоявленского, с которым давно знаком, но, попав на хуторскую усадьбу, не знал, как спуститься на Дон. Мальчик указал ему дорогу, а он с ним приказал сказать, что, на возвратном пути, зайдёт на хутор, что и сделал. Мы ему приготовили чёрного кофе, который он пьёт пополам с кипячёным молоком и без сахара» (*Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих // Л. Н. Толстой / Гос. лит. музей. М., 1938. [Т. I]. С. 373 – 375. Летописи Государственного литературного музея; Кн. 12).*

Сразу вставим несколько слов по поводу упомянутой Екатериной Ивановной новой в нашем повествовании персоналии. *Николай Ефимович Богоявленский* (1862 (?) – ?) — земский врач, сын коллежского советника. Ещё будучи тульским гимназистом 8-го класса, давал уроки сыновьям Толстого в Ясной Поляне. Старший сын писателя Сергей Львович, которого Богоявленский учил классическим языкам, вспоминал: «Осенью <1879 г. — Р. А.> опять ученье и в свободное время — охота. По субботам и воскресеньям стали приезжать из Тулы и давать нам уроки [...] два гимназиста Д. В. Ульянинский, впоследствии известный библиофил, и Н. Е. Богоявленский. Богоявленский был в то время революционно настроен и имел на меня некоторое влияние. Впоследствии он был самоотверженным земским

врачом в Данковском уезде, а по своим убеждениям — верующим православным» (Толстой С.А. *Очерки былого. Тула, 1965. С. 72. [Гл. «Жизнь нашей семьи до осени 1881 года. 1879 год»].*). В своих мемуарах за 1880 г. в главе «Как жили дома» С. А. Толстая писала об учении старшего сына: «Классическим языкам учил его новый гимназист, Богоявленский, совершенный нигилист, отрицавший всё на свете и прежде всего, разумеется, Бога. Он презирал богатых людей, аристократов; считал предрассудком всякие хорошие манеры, даже простую учтивость. Но учил он хорошо. Впоследствии этот Богоявленский стал приверженцем учения Льва Николаевича, но, не найдя в нём удовлетворения, сделался православным» (Толстая С.А. *Моя жизнь. М., 2014. Том 1. С. 312*).

В 1880 г. Богоявленский окончил тульскую гимназию; в 1881 г. поступил на медицинский факультет Московского университета, но в самом начале учёбы был исключён из университета за участие в студенческих беспорядках. 22 апреля 1881 г. Толстой записал в дневнике: «Богоявленского исключили из университета» (49: 27). В августе 1881 г. снова поступил на тот же факультет и закончил его в 1886 г., получив звание лекаря. В 1887 – 1894 гг. работал земским врачом в Данковском уезде Рязанской губ.; жил в селе Лошакове, недалеко от Бегичевки.

О характере отношения Толстого к Богоявленскому свидетельствуют его дневниковые записи. Например, в декабре 1888-го: «Посылаю за Богоявленским. Грипп не проходит ещё. Богоявленский очень мил. Не сжёт свои корабли и потому вернётся в царство князя мира, а жаль» (50, 16).

Сам же Толстой явно уже к 1892 г. давным-давно “сжёт корабли” обычного, мирского отношения к болезни и даже смерти. Когда зимой 1892 г. Богоявленский тяжело заболел, Екатерина Ивановна Раевская отметила в своём дневнике, что Толстой, пренебрегая опасностью заражения, «пошёл пешком навестить больного тифом врача» Богоявленского. Но в то же самое время, по воспоминаниям той же Раевской, Толстой спокойно относился к мысли, что доктор может умереть, оставив семью:

«Наш земский врач Н. Е. Богоявленский ездил по эпидемиям, заразился сыпным тифом: жена его в отчаянии. Четверых его детей с тёткой перевезли в имение и дом Философовых.

Граф Лев Николаевич знал Богоявленского с самой гимназической скамьи, когда он был репетитором его сыновей. Пренебрегая опасностью заразиться, граф навещает больного, сидит около его кровати.

— Как жаль Николая Ефимовича! — говорит дочь моя графу. — И его жаль, и жену его жаль. Какое несчастье для семьи, если он умрёт.

— Ну что ж? — ответил граф. — Если и умрёт Богоявленский, большого несчастья в этом не вижу. Ему лучше от этого будет.

— А дети?

— Детей кто-нибудь призреет.

Такого слишком высоко-религиозного воззрения мы не в состоянии разделить» (*Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих // Указ. изд. С. 405, 408*).

Кстати, такой же «барьер невосприимчивости» был у Е. И. Раевской и по отношению к христианским побуждениям Льва Николаевича к тому, что осмысливалось ею как «благотворительность» богатого в отношении к «низшим», к народу. Не без удовольствия фиксирует она в дневнике свидетельства кажущегося ей единомыслия с Толстым в вопросе хлебных раздач крестьянам, по мысли её, развращающим крестьянина как работника и поощряющим лень. Не представляла она помощи крестьянам и без денег. По этому поводу в дневнике Елены Ивановны под 2 марта 1892 г. сохранился такой любопытный диалог:

«Сейчас только вспомнила, что как-то раз в декабре Лев Николаевич спросил у моего зятя Мордвинова:

— Иван Николаевич, зачем вы не открываете столовых?

— У меня на то денег нет, — ответил зять.

— На это деньги не нужны, а только доброе желание, — возразил граф.

Странное суждение! Мы не всемирная известность, как граф Толстой, и нам не сыплется со всех краёв света, из западной Европы, Англии, Америки, тот золотой дождь, что сыплется ему. Лев Николаевич нам сказал месяц тому назад, что получил одними денежными пожертвованиями, кроме продовольствия натурой, до 40 000 руб. сер. А с тех пор с каждой почтой всё шлют деньги и ещё деньги, которые все уходят либо на здешних, либо на самарских голодающих, о которых заботится третий сын графа — Лев Львович. По крайней мере для этих забот находятся и необходимые средства» (*Там же. С. 412*).

В немалой степени Екатерина Ивановна здесь права. Права по отношению к ситуации безусловной бедности своего семейства, о которой тут же свидетельствует: «Мне 73 года, видала два голодных года, 1831 и 1840-й, но в первый раз в жизни ем в деревне хлеб ржаной из покупной муки, да и то еще слёглой и мешанной с картофелем! Своей ржи достало только на семена. И рожь-то взяли в долг,

потому что платить за нее теперь было нечем» (*Там же*). Права и по отношению к известному нашему читателю факту, что и сам Толстой был вынужден на займ в 500 рублей у собственной жены, чтобы сделать первый шаг... Да только вот добрый, совестливый человек, зять Екатерины Ивановны, Иван Николаевич Мордвинов этим совесть не успокаивал. К удивлению Екатерины Ивановны и радости Льва Николаевича, он «обратился в московский благотворительный комитет с бумагой, в которой, как земский начальник и попечитель округа, он просил вспомоществования для своего данковского участка». Бумагу «затеряли» и не ответили, и тогда Мордвинов «сам перебивал везде, где следовало, и вымолил 500 р., на которые немедленно и открыл шесть столовых в своём участке» (*Там же. С. 413*). Практически повторил первый шаг Л. Н. Толстого, вдохновлённого сыном Екатерины Ивановны! Отсутствие в доме денег, действительно, не помешало — и действительно всё решили упорство и желание!

Кое-что, однако, доходило и до сознания усадебной затворницы, старзаветной аристократки Раевской. В самом конце 1891 г., 31 декабря, она записывает об «удалённой», через денгьги и наёмных посредников, помощи народу богачей, «бывших господ», следующее критическое суждение:

«Петербургские благодетели из-за тысячи вёрст благодетельствуют и очень довольны собой. А выборные, которые, по их мнению, честнее земцев, беспощадно обкрадывают и благодетелей, и свою же голодающую братию!

Нет, господа столичные филантропы, так дело не делается. Дело милостыни труднее и хлопотливее! Тут потребно личное самоотвержение, такое, как у графа и у тех интеллигентных людей, которым он доверяет это святое дело, и доверяет разумно» (*Там же. С. 396*).

И тут же записывает суждение Л.Н. Толстого о предрассудках по поводу голода сытой городской сволочи, не умеющей или не желающей видеть голода там, где он по-настоящему есть:

«Странные взгляды у этих людей, — сказал граф. — Они признают голодом единственно корчи умирающего или неизлечимую опухоль всего тела — следствие вредных суррогатов, поглощённых поневоле за неимением здоровой пищи. Другого они не понимают. — Наша же задача состоит в том, чтоб предупредить корчи и опухоль всего тела, часто неизлечимую» (*Там же*).

Ещё отрывки из дневника Екатерины Раевской о первых днях Л. Н. Толстого в Бегичевке:

«В то же самое утро, 1 ноября, когда Лев Николаевич шёл пешком к доктору Богоявленскому, урядник наш Муратов прискакал на хутор на своей маленькой, кругленькой лошадёнке и вбежал в нашу кухню весь бледный и растерянный.

— Боже мой! — застонал он, — что со мной случилось?

— Что такое?

— Еду я по Дону из Лошакова сюда. Вижу — идёт старый мужик в нагольном полушубке, в валенках. Вижу — чужой, не здешний. Я остановил лошадь. Говорю: «Куда идёшь?»

— В Лошаково.

— Откуда?

— Из Бегичевки.

— А есть у тебя пачпорт?

— Пачпорта нет.

— А кто ты такой?

— Граф Толстой.

— Как он это сказал, я так испугался! ударил лошадь кнутом, поскакал, а сам оглядываюсь: не гонится ли он за мной? ну, так напугался. До сих пор в себя притти не могу! К вам зашёл... Уф!..

Люди наши подтвердили ему, что точно граф заходил на хутор и от нас пошёл в Лошаково и что одет он по-мужицки. Несчастный урядник ни жив, ни мёртв ускакал дальше.

6 ноября во весь день шёл снег и поднималась метель. Вдруг к удивлению нашему, вечером, когда уже зажгли лампы, раздался звонок у парадного крыльца.

— Кто же может быть? верно, запутавшиеся путешественники? Бегут двери отпирать.

— Граф и с ним обе дочери и Ив. Ив. Раевский.

— Какими судьбами?

— Мы пришли к вам пешком.

— Как? пешком? в такую метель?

— Мы шли Доном, заплутаться не могли.

— Три версты! по такому снегу?

— Ничего. Дошли отлично.

Мы только плечами пожимали, да головой качали.

Тут познакомились с Татьяной Львовной, которая обворожила всех своим простым и милым обхождением. Она среднего роста, полненькая, отлично сложенная, хорошенькая брюнетка, совершенно тип, отличный от сестры её Марии Львовны, которая при светло-белокурых волосах чертами лица походит на отца своего.

Мария Львовна, не видя моей дочери, пошла её разыскивать: оказалось, что она возилась с кормилицей меньшей своей дочери; у этой женщины сделалось сильное кровотечение из носа, и все усилия остановить её оказывались тщетными. Мария Львовна употребила другие, придуманные ею средства, и успех оправдал её старания.

Вослед Толстым прибыла Наталья Николаевна Философова, молодая двадцатилетняя девушка, по примеру Толстых приехавшая в имение матери для подавания помощи нуждающемуся населению. *<Наталья Николаевна Философова (1872 – 1926) — дочь художника Николая Алексеевича Философова и Софьи Алексеевны Писаревой, сестра жены И. А. Толстого, впоследствии жена профессора экономической географии В. Э. Дена. В то время жила в усадьбе своих родителей Паники, в 5 верстах от Бегичевки. – Ред.>* Разговор зашёл о злобе дня. Наталья Николаевна с восторгом сообщила о том, что получила пожертвования: два вагона ржи. Один от графини Олсуфьевой, другой — от великого князя Сергея Александровича, а мать её прислала ей из Москвы 1 500 рублей сер., также жертвованных. Она открыла столовую в деревне Баскакове *<сельцо Данковского уезда, Рязанской губернии, в 7 верстах от усадьбы Философовых Паники и в 14 верстах от Бегичевки. – Ред.>* для крестьянских ребят и старух, а теперь имеет возможность открыть ещё три такие же в деревнях Прямоглядове, Мосоловке и Шивке, в нескольких верстах от своего имения. Графиня Татьяна Львовна открыла такие же столовые в селе Татищеве, деревне Мещерках, селе Екатерининском и сельце Бегичевке. Крестьяне эти даровые столовые окрестили именем «кормёжки».

<Ошибка Раевской. В селе Татищеве Данковского уезда Рязанской губ. столовую открыла Мария Львовна, а не Татьяна Львовна. Их описывает Толстой в статье «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая».

Деревня Мещерки — Данковского уезда, близ Татищева, в 6 – 7 верстах от Бегичевки.

Село Екатерининское Епифанского уезда, Тульской губернии было расположено на берегу Дона, против Никитского, имения Раевских. Имение Екатерининское принадлежало помещице Марье Ивановне Бегичевой. Толстой был старым другом Н. С. Бегичева и приезжал к нему на охоту в наездку из Ясной Поляны ещё в 1860-х годах. – Р. А.>

Племянница графа Толстого, дочь сестры графини С. А. Толстой, *Вера Александровна Кузминская* (1871 – 1940-е) взяла на себя преподавание в сельской школе с. Бегичевки, так как крестьяне не в состоянии в нынешнем году содержать учителя; она аккуратно ежедневно занимается с ребятами.



Вера Кузминская

Лев Николаевич тут же сообщил, что получил из Англии письмо, где просят его, “так как он один только знакомый им русский, указать им, к кому достойному доверия лицу могут они, англичане, адресовать те денежные пособия, которые они намерены послать голодающему населению России? И какая именно местность более всех нуждается в пособиях?”

Граф намеревался указать им на Тульскую и Рязанскую губернии.

Эти хорошие вести привели всё общество в весёлое настроение...» (*Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих // Указ. изд. С. 377 – 378*).

Эти хорошие известия имели продолжение и множественные последствия в дальнейшей работе Толстого на голоде, и мы о некоторых из них расскажем подробнее в следующей главе книги.

А теперь речь «человеку изнутри», из «команды» Льва Николаевича — но опять же умной женщине! Пусть картину событий и настроений, сопровождавших отъезд Толстого и прибытие в имение И. И. Раевского очень сочными и точными мазками дополнит в своих дневниковых записях этих дней умнейшая и талантливая художница, Татьяна Львовна Толстая.



Т.Л. Толстая с отцом

«26 октября 1891 г. Ясная Поляна.»

Мы накануне нашего отъезда на Дон. Меня не радует наша поездка, и у меня никакой нет энергии. Это потому, что я нахожу, что действия папá непоследовательны и что ему непристойно распоряжаться деньгами, принимать пожертвования и брать деньги у мамá, которой он только что их отдал *<по семейному разделу. — Р. А.>*. Я думаю, что он сам это увидит. Он говорит и пишет, и я это тоже думаю, что всё бедствие народа происходит от того, что он ограблен и доведён до этого состояния нами — помещиками — и что всё дело состоит в том, чтобы перестать грабить народ. Это, конечно, справедливо, и папá сделал то, что он говорит: он перестал грабить. По-

моему, ему больше и нечего делать. А брать у других эти награбленные деньги и распоряжаться ими, по-моему, ему не следует. Тут, мне кажется, есть бессознательное чувство страха перед тем, что его будут бранить за равнодушие и желание сделать что-нибудь для голодных, более положительное, чем отречение самому от собственности.

Я его нисколько не осуждаю, и возможно, что я переменю своё мнение, но пока мне грустно, потому что я вижу, что он делает то, в чём, мне кажется, он раскается, и я в этом участница.

Я понимаю, что он хочет жить среди голодающих, но мне кажется, что его дело было бы только то, которое он и делает: это — увидеть и узнать всё, что он может, писать и говорить об этом, общаться с народом, насколько можно.

Ещё мне грустно то, что мамá в Москве очень беспокойна и нервна и осталась одна с малышами.

Лёва в данную минуту здесь и в одно время с нами едет в Самару.

Да, ещё что меня огорчает: папа говорит, что если нам нужны будут деньги, то он что-нибудь напишет в журнал и возьмёт деньги. Я ему не говорю, что я думаю, потому что, может быть, я не права. А если он сам будет это думать, то, во всяком случае, пока он до этого не додумается, он со мной не согласится. Он слишком на виду, все слишком строго его судят, чтобы ему можно было выбирать *second best* <не самое лучшее (англ.)>. Особенно когда у него есть *first best* <самое лучшее (англ.)>. Если бы я одна действовала, то с какой энергией я взялась бы за *second best*, не имея *first best*, а с ним вместе не хочется делать то, что с ним не гармонирует.

Я рада, что у меня нет чувства осуждения и неприязни к нему за это, а только недоумение и страх за то, что он ошибается.

А может быть, и я? Это гораздо вероятнее.

29 октября 1891 г. Бегичевка.

Третьего дня приехали мы на станцию Клёкотки, и так как была метель, то мы там переночевали на постоялом дворе.

Вечером на меня напала тоска, беспокойство за мамá и жалость к ней и беспокойство за папá. Он кашлял и у него был насморк, и от вагонной жары он совсем осовел и тоже был уныл и мрачен.

Я написала письмо мамá, пошла на станцию его опускать, и тёмная ночь, ветер, который распахивал и рвал с плечей шубу, ещё более навёл на меня тоску. И обстановка угнетательно подействовала на меня: гадкие олеографии на стенах, безобразная мебель и обои, глупые книги. Я думала с замиранием сердца, что есть же на свете Репин, буду же я опять жить так, что всё, что есть нового, интересного

— всё папá, и мы будем видеть, пользоваться этим и ещё тем, что всё это будет нам объяснено и, как на подносе, поднесено папá.

Утром меня утешило то, что было тепло и тихо, и папá приободрился.

В девять часов мы выехали. Папа, Иван Иванович <Раевский> и старуха, которую они подвозили, — в одних санях, а мы: Маша, Вера и я и Мария Кирилловна — на другой, самаринской тройке.

Снегу чуть-чуть, и тот ветром весь сметён в лощины. Лошади наши измучились ужасно, и мы устали от толчков, от жары, потому что мы оделись, как самоеды, так что мы в этот день ничего не сделали.

Вечером пришёл <Иван Николаевич> Мордвинов и говорили все вместе о том, что делать. Папа надоумил меня затеять работы для баб, о чём я сегодня с ними и говорила. У меня была эта мысль давно, без всякого голода, и, может быть, начавши это дело тут, я и в Ясной и в окрестных деревнях сделаю то же самое.

Потом Иван Иванович поручил нам школу. Нынешнюю зиму мужики не в состоянии содержать учителя, поэтому, пока мы тут, мы поучим. Я на это не смотрю серьёзно. Если время будет, то я займусь этим. Это будет средство ближе сойтись с народом и узнать правду.

Иван Иванович показал нам записи тех столовых, или "сиротских призрений", как они тут называются, которые он открыл. По ним видно, что прокормить человека, кормя его два раза в день, стоит от 95 коп. до 1 р. 30 к. в месяц. Ходит в эти столовые от 15 до 30 человек.

Часам к девяти Мордвинов ушёл, и мы пошли раскладывать свои вещи. Нам, девочкам, определили две комнаты в пристройке, а папá приготовили кабинет Ивана Ивановича, из которого он, впрочем, сегодня перебрался, так как не хотел лишать Ивана Ивановича его комнаты. А ему в маленькой удобнее: меньше убирать и дальше от шума.

Маша устроилась с Верой, а я с Марьей Кирилловной. Но она ушла от меня: отгородила себе уголок в сенях и просила её там оставить. Это очень жаль, что между нами такая перегородка, и мне трудно её разрушить. Когда я вижу, что она с нами стесняется, то и мне с ней неловко, и я оставляю её делать, как она хочет.

Тут славный старик повар Федот Васильевич, который против моих стараний старается откормить нас как можно лучше.

Мы легли рано и сегодня встали все к восьми часам...» (*Сухотина-Толстая Т.А. Дневник. М., 1987. С. 232 – 235*).

Без сомнения, расчёты И.И. Раевского в рублях, копейках на едока и количестве открытых и потребных столовых были бесценны: они

перекочевали в дневник Т.Л. Толстой, оттуда – в её письмо к маме, Софье Андреевне, включившей эти расчёты в своё обращение к обществу, разошедшее не только в России, но и по миру и вызвавшее приток благотворительных средств даже из Америки! (Обо всём этом ещё скажем, со всею возможной подробностью, в соответствующих местах книги.)

Здесь же важно обратить внимание читателей на обдуманное *разнообразие деятельности* помощи, за которые сразу принялось семейство Толстых. В значительном количестве просветительских и даже научно-исследовательских работ по теме «благотворительности семейства Толстых», публикуемых в России, деятельность одевания, лечения пребывавших в зоне гуманитарной катастрофы (т.е. живших в России) людей, обеспечения их рабочим инвентарём, содержания и лечения их скота, учения их детей в школах, и, что *тоже важно*, моральной их поддержки уважительным, искренне заботливым и чувствительно любовным к ним отношением — если не элиминируется вовсе, то заметно отодвигается не то что на второй (что хотя бы рационально обоснованно с традиционной и понятной точки зрения: ведь голод телесный действительно — мучитель и палач), а совершенно на задний план: как будто в прибаву к цифиркам статистики об открытых бесплатных столовых!

Причина этого, нам думается, в специфике мышления стандартного, «среднестатистического» обитателя культурных, ментальных просторов «русского мира», именно бывшей православной, то есть лжехристианской и патриархальной Российской Империи. Гнусный *сексизм* — вот имя этому первородному греху. Как мы видели из письма Л. Н. Толстого к жене от 29 октября, дочери Тане отец назначил поприще педагогическое, а более психологически выносливую, менее артистичную и ранимую Марию Львовну взял в помощницы на пекарни — для столовых. Но оказись так, что Толстой, имевший немалый опыт педагога, теоретика и практика, взялся бы сам целиком лишь за «школьное дело» — не подлежит сомнению, что и в советских, и в современных исследованиях бегичевской эпопеи «школы» не только встали бы в один уровень по значению со «столовыми», но и превзошли бы их по вниманию к ним, к столовым, исследователей: ведь занимался ими *муж добрый*, бородатый, маскулинный. Просвещённый и титулованный «мужик». Вожак для мозгов, отравленных миазмами патриархального традиционализма!

Ниже мы постараемся как можно больше показать, насколько Льву Николаевичу в мельчайшей, начиная с бытовой, повседневности тяжёлых и тяжелейших месяцев его святого Христова служения помогали именно женские поддержка и забота, женская любовь: жены

(как в Москве, так и в Бегичевке, куда, как ни тяжело и страшно будет, а приведёт её, пусть и ненадолго, сердце), дочерей, соратниц служения — в Бегичевке, в России, за рубежом...

Пока же дополним картину начатого Толстыми исторического предприятия ещё некоторыми выдержками из дневника Татьяны Львовны Толстой, из той же записи 29 октября:

«Мы легли рано и сегодня встали все к восьми часам. Кончивши кофе, мы было пошли с Верой на деревню, но нас задержали школьники, которые пришли нам показаться. Мы с некоторыми прошли в школу: маленькая, грязная изба с земляным полом. Я там разобрала книги, поговорила с мальчиками и пошла в "сиротское призрение". Раскрытая изба. Я вошла. Страшный дым и угар, а вместе с тем холодно. Я поговорила с хозяйкой о моей идее покупать им лён, чтобы прясть холсты, которые бы я постаралась сбывать в Москве. И она, и старуха, которая в это время пришла обедать, отнеслись очень сочувственно к этому. Мы сделали расчёт, который ещё надо будет проверить, о том, сколько нужно льна на сколько аршин, поговорили о том, где его купить, и я стала спрашивать их о голоде. Тут ещё пришло несколько старух. Потом та, с которой я сперва разговорила, повела меня в избу, в которой она живёт. Изба большая, каменная. Тоже так холодно, что дыхание видно. На столе самовар, чашки. Сидит старик ещё свежий, его сын, жена сына — румяная полная баба, и брат его. Я спросила, почему у них так холодно, но они как будто удивились этому вопросу: верно, привыкли к такой температуре. Я спросила, чем топят? — Торфом. — Но торф плохой, как земля, так что его надо разжигать дровами. Дрова покупают, кто побогаче, а то топят картофельной ботвой, собранным навозом, листьями, щепками — кое-чем. Я спросила, почему они в обеденный час пьют чай. Они ответили, что хлеба нет, есть нечего, так уж чай пьют. Чай фруктовый, маленькая коробка за 5 копеек. Сюда ещё пришло несколько баб, и все румяные и здоровые на вид. Хлеба ни у кого нет и, что хуже всего, его негде купить. Соседка рассказывала, что продала намедни последних четырёх кур по 20 копеек, послала за хлебом, да нигде поблизости не нашли. Предпочитают покупать хлеб печёный, так как торфом трудно растопить печь до нужной для хлебов жары.

Другая баба по моей просьбе принесла показать ломоть хлеба с лебедой. Хлеб чёрен, но не очень горек, есть можно.

— И много у вас такого хлеба?

— Последняя краюшка! *(Сама хохочет.)*

— А потом как же?

— Как? Помирать надо.

— Так что же ты смеёшься?

Эта баба ничего не ответила, но, вероятно, у неё та же мысль, которую почти все высказывают: это то, что правительство прокормит. Все в этом уверены и поэтому так спокойны.

Наташа <Философова> говорит, что она видела в некоторых уже нетерпение, озлобление и ропот на правительство за то, что оно не оправдывает их ожиданий.

Выходя из этой избы, мы увидели Нату с Катей Орловой, которые ехали к нам. [...] С ними до обеда пошла я на Горки — это деревня в полуверсте отсюда. Там в "сиротском призрении" уже шел обед. Это устроено так же, как и в Бегичевке у вдовы. Маленькая курная изба, довольно теплая. За столом больше десятка детей, чинно подставляя хлеб под ложку, хлебали свекольник. Дети миленькие, довольно здоровые, но у некоторых это взрослое, серьёзное выражение лица, которое бывает у детей, много испытавших нужды.

Тут же стояли старухи и дожидались своей очереди. Я заговорила о том, как они живут, сделала несколько вопросов. Одна старуха стала отвечать мне, рассказывать, как ей плохо, что нигде не подают, да ещё упрекают — это ей, видно, было очень обидно, — рассказывала, что только и жива этой столовой и что до обеда бывает очень голодно, так как дома ничего нет.

— Кабы тут не кормили, то хоть рой яму побольше да ложись в неё все вместе.

Старухи, слушавшие её, все стали плакать, а когда хозяйка нам сказала, что они все спрашивают, за кого им Бога молить, то они все захлипали, заохали, стали креститься и приговаривать.

Я посмотрела, что ещё дали детям. После свекольника (холодного) дали ещё щи и похлёбку и по куску хлеба.

Из этого "сиротского призрения" пошли мы домой и сели обедать. Маша поехала с утра в Мещерки и Татищеве и к обеду не вернулась. После обеда Иван Иванович поехал к Писареву. Я приготовила и убрала комнату папá и села за письма. Написала Дунаеву и Маслово́й по поводу продажи холстов. Написала мамá, Лёве и три открытых письма в Тулу, Ясенки и Козловку с просьбой переслать сюда нашу корреспонденцию.

Папá написал мамá, Никифорову и одному купцу Софронову.

Приехала Маша и рассказала несколько интересных вещей, между прочим, что дети сперва не хотели верить, что хлеб с лебедой, говорили, что это земля, кидали его и плакали. Теперь привыкли. Ещё она говорит, что там много изб уже без крыш — их уже протопили — и теперь начинают ломать дворы и ими топить.

Вечером приходила баба, старалась плакать, выпрашивала платья, денег, просила холсты купить, и мне показалось, что она пришла только потому, что слышала, что мы приехали помогать, и боится пропустить случай выпросить что-нибудь. Я ничего ей не дала и сказала, что спрошу о ней Ивана Ивановича. Она думала, что я хочу просить принять её в "сиротское призрение", и с гордостью и хвастовством сказала, что она не пойдёт туда есть. Я спросила "почему?".

— Нет, матушка, что же это, у меня муж есть, как можно!

Видно, это считается стыдом. Тем лучше. Я боялась, что эти столовые будут слишком заманчивы и что будут приходиться есть те, которым и не большая нужда, а так выходит, что только те, которым уж крайность, придут.

Сейчас 10 часов. Мы только что поужинали. Ната и Катя уехали, и мы все разошлись. Вера <Кузминская> грустна. Это потому, что она чувствует себя бесполезной. Это ей очень здорово, но мне её жалко, и мы постараемся её пристроить к школе. Она часто раздражает меня (и Маша сегодня призналась в том же) своими заботами, мыслями и разговорами о себе. Я думаю, что оттого она так мало развита, что она слишком много тратит мыслей и внимания на себя.

Читаю «Robert Elsmere» <роман английской писательницы Х. Уорд. – Р. А.> и поймала себя на том, что, когда читаю места, где описывается интересное общество, музыка, литературные круги и вообще свет, я с удовольствием переносюсь мысленно туда и думаю, что не всегда же я буду жить в глуши, что будет время, когда я увижу и хорошие картины, и цивилизованных и культурных людей и услышу музыку. Пока меня не тянет отсюда, и я рада, что тут я считаю своей обязанностью принять на свои плечи долю тяжести этого года и потом, главное, папá тут и многое мне заменяет. Но и весь тот мир заманчив, и если бы навсегда отказаться от него, было бы тяжело и скучно, безнадежно скучно жить» (Сухотина-Толстая Т.Л. Указ. соч. С. 235 – 239).

Многое в этом красноречивом отрывке не нужно комментировать. Отметить стоит, однако, что Татьяна Львовна, как будто наперегонки с отцом, «сколачивает» быстро в Бегичевке свою банду-команду живой поддержки. О Кате Орловой сведений не много. Но предполагаем, что речь идёт об Орловой Екатерине Николаевне (1869 – 1957), младшей сестре Михаила Николаевича Орлова (1866 – 1907), друга Ильи Львовича Толстого по Поливановской гимназии, юриста, хорошего знакомого и гостя в московском доме Толстых.

Екатерина Николаевна Орлова много жила с юных лет за границей, и в Париже получила медицинское (фельдшерское) образование. Вероятно, именно это обстоятельство послужило причиной того, что Катя Орлова, малозначащая прежде подруга дома, этакая *милая сестричка*, только один раз упомянутая Софьей Андреевной Толстой в письме к мужу от 24 марта 1889 г., в перечислении светских знакомых дочери Тани («Таня ушла сегодня к Мамоновым, там Орлова, Щербатова, Самарина и другие»), одной из первых была благословлена Софьей Андреевной Толстой в *неизмеримо* более серьёзную «свиту» к дочери и к мужу.

В 1898 году, Екатерина Николаевна выйдет замуж за Сергея Андреевича Котляревского (1873 – 1939), который станет впоследствии выдающимся историком, политиком и публицистом.



Екатерина Николаевна Орлова
с будущим супругом. Италия. Рим. 1897.
Альбом семьи Орловых-Кривцовых

И, напротив, совершенно всё необходимое известно нам о Наташе, второй упомянутой Т. А. Толстой помощнице. Это всё та же, выше уже упоминавшаяся, *Наталья Николаевна Философова*, по ма-тушке Писарева. Она была одной из двух сестёр Софьи Николаевны Философовой, жены Ильи Львовича Толстого. Две столовые, из числа самых первых и самых необходимых, Наталья Николаевна открыла

на свои средства, и в том же году на фамильные средства Филосовых была открыта в округе школа. Ещё не имея тогда официального акушерского образования, Наталья Николаевна по велению сердца подключится и к оказанию помощи больным крестьянам: она приносила на дом лекарства, ухаживала за истощёнными крестьянскими детьми. Тяжелобольных они отвозили на подводах в Никитскую больницу к опытному врачу-хирургу Петру Николаевичу Раевскому. На последующих страницах нашей книги имя её явится ещё не раз — в ореоле негромкой, но зато заслуженной славы.



Наталья Филосорова с мужем
(после 1897 г.)

Теперь скажем о *письмах* Толстого этих первых дней бегичевского служения — к вышеупомянутым Л. П. Никифорову и купцу С. П. Софронову. Письма некоторым из адресатов в томе 66 Полного (юбилейного) собрания сочинений Л.Н. Толстого датированы были неточно: например, ответ Софронову от 29 октября 1891 г. — уже началом ноября. С него и начнём.

Сергей Павлович Софронов (1863 – 1915), сын фабриканта, в то время сочувствовал христианской проповеди Льва Николаевича. Он отказался от отцовского наследства и хотел сделаться простым сельским учителем. Познакомившись с Толстым перепискою в 1890 году (по поводу «Крейцеровой сонаты»), успев побывать у писателя в гостях в Москве и в Ясной Поляне, он не успел до его отъезда в Бегичевку переговорить лично о насущном для него деле, и обращался к Льву Николаевичу в письме: «Можно ли теперь быть учителем, не кривя душой перед Богом, не обманывая людей?».

Конечно, Толстой догадался по такой формулировке вопроса, что религиозная жертва желанной профессией далека от молодого человека, и, более того, целесообразность жертвы в пользу учительства прежним образом жизни — тоже для Софронова под вопросом. И Толстой ответил ему следующее:

«Все вопросы такого рода решаются внутри сознания каждого отдельного человека: у каждого есть своё прошедшее, своя инерция прошедшей жизни и своя сила стремления к познанной истине. [...] Но мне кажется, что вам, может быть бессознательно, не столько нужен совет, сколько сочувствие, и пишу я вам преимущественно с той целью, чтобы сказать вам, что я полюбил вас по вашему письму и очень желал бы быть полезен вам» (66, 84).

Софронов, кажется, всё понял. Известно, что в 1892 – 1894 гг. он служил учителем в селе Ирошниково Владимирской губ.

Адресат второго письма, *Лев Павлович Никифоров* (1848 – 1917) был революционером, супругом Екатерины Засулич, сестры Веры Засулич, знаменитой революционерки. Ещё в начале 1880-х Лев Павлович стал одним из первых духовных единомышленников Льва Николаевича. Для толстовского народного книгоиздательства «Посредник» он делал хорошие переводы, а также с 1885 г. находился в переписке с самим Л. Н. Толстым.



Лев Павлович Никифоров (1848 - 1917)

Вероятно, узнав о спровоцированных Софьей Андреевной разногласиях в семье в связи с намерениями Л. Н. Толстого ехать к Раев-

скому, Лев Павлович в двух письмах (без дат), пересланных в Беги-чевку, вопрошал своего старшего учителя во Христе о разумности обращения духовных сил к делу помощи «голодному, больному, за-ключённому», если она вызывает недоброжелательство и разъедине-ние с семейными.

Ответ Толстого от того же 29 октября (неверно датированный в томе 66 Полного собрания сочинений Толстого началом ноября), ос-новной его текст, важен в уяснении религиозных концептуальных основ той деятельности Толстого, которая смешивается по сей день многими исследователями с буржуазной «благотворительностью» бо-гачей. Приводим ниже большую выдержку из этого письма Толстого к Никифорову.

«Получил ваши оба письма, дорогой Лев Павлович, и давно, хотел ответить на первое письмо. Ответ на вопрос, который вы там дела-ете, тотчас же, при первом чтении письма, ясно сложился в моей голове. Нужно ли воздержаться от исполнения дел добра (под делами добра вы разумеете: одеть нагого, накормить голодного и т. д.), по-тому что делание этих дел разъединит меня с моими близкими? Ра-зумеется, нет. И отговорка о том, что если дело делается не от сердца, не по влечению, а по рассуждению, то дело кормления го-лодного, одевание нагого и т. д. не есть дело добра — отговорка лож-ная. Если кто любит добро, ищет того, чтобы творить волю Послав-шего его, то тот будет делать добро всеми средствами: и сердцем, и разумом, и ногами, и руками, и подбородком; и, разумеется, спра-ведливо то, что, только делая добро всеми средствами, добьёшься до того, что оно станет влечением сердца. А тот, кто дожидается влече-ния сердца, не любит добро и не хочет его делать. Добро дол́жно де-лать всегда — и по влечению сердца, и без этого влечения, и с согла-сия близких и без согласия их, и даже противно их желанию, рискуя разъединиться с ними. — Таков идеал и к нему дол́жно стремиться, но не будем осуждать тех, кто не достигает его: ни тех, которые не достигают его, потому что любят эгоистически, любят своих близких и для себя не хотят разъединиться с ними, ни тех, которые не из эгоистической любви не могут разорвать с ними, а из слабости, жа-лости к ним, из страха за ненависть к себе и за горечь в них, которую они вызовут. Всё это не дол́жно. Дол́жно идти перед собой, творя волю Пославшего, и быть готовым не только лишиться тех, которых любишь, но и их любви к себе, и не бояться того, что ты огорчишь и ожесточишь их, зная, что Бог, для которого ты делаешь, и утешит и

смягчит их. Так должно, и не все могут это. И я первый не могу второго. Не могу, но не оправдываю себя и знаю, что это дурно, и стремлюсь к тому, чтобы достигнуть этого.

[...] Пишу вам из Данковского уезда, в одной из самых голодающих местностей, в которой живу теперь с дочерьми. Адрес мой: Рязанск[ой] губ., Данк[овского] уезда, почтовая станция Чернава.

Любящий вас Л. Толстой» (66, 79 – 80).

Здесь кончается Глава Вторая нашей Книги,



Прибавление к Главе Второй

О СТАТЬЕ Л.Н.ТОЛСТОГО «О ГОЛОДЕ»

Замысел статьи «О голоде» Л.Н. Толстым относится к 23 – 26 сентября 1891 г., времени его поездки по деревням с целью ознакомления с положением народа. 27-го он сообщает о начатом писанием сочинения в письме к жене, а 15 октября отправляет к Николаю Яковлевичу Гроту, для опубликования в его журнале «Вопросы философии и психологии», “чистовой” рукописный вариант статьи — оказавшийся, однако, как это часто бывало у Толстого, не заключительным: 22 и 23 октября с письмами к Гроту высылаются дополнения к статье. 27-го, после первого цензурного запрета, Толстой, поняв, что скорейшая публикация «О голоде» как статьи “на злобу дня” не состоится, вытребовывает себе у Грота корректуры и в первых числах ноября снова вносит в них правки, с намерением, высказанным ещё в записи Дневника на 24 октября, свидетельствующей о том, что статья Толстому «нравится», но что нужно бы было «глубже взять вопрос» (52, 56).

Безусловно, настоящий смысл статьи не был понят ни симпатизирующим Толстому Н.Я. Гротом, ни «оппозиционными» правительству, ни тем более консервативными читателями и критиками. О последнем свидетельствует жалоба Н.Я. Грота в письме к Толстому

уже от 25 октября об аресте Десятой книжки журнала «Вопросы философии и психологии» с переправкой статьи «О голоде» для цензурного решения в Главное управление по делам печати.

Между тем в статье сей ощутительно прослеживается замысел о ней Толстого-христианина как о писании не столько общественно-публицистическом, на «злобу дня» (как планировалось изначально), сколько религиозно-проповедническом. Наблюдения и впечатления Льва Николаевича из непосредственно предваряющих его бегичевское служение общему делу сентябрьских поездок явили собой веху в российской публицистике и общественной мысли. Это справедливо признавалось и признаётся даже и, частично названными нами выше, в особом Историографическом Введении, исследователями времён Совка-СССР, равно и современными, постсоветской путинской гадины, то есть особями, в большинстве своём, не только совкорождёнными, но и совкоголовыми: гнусными изделиями атеистической «воспитательной» машины. Но вот о «социально-обличительных», как это было принято в советской литературе именовать, то есть собственно христианско-религиозных страницах этого же сочинения, являющихся плодом *обдуманного* Толстым в самих его разъездах по бедствующим деревням и позднее, за постсоветские 30-ть лет мнения тихонько, *по умолчанию* эволюционировали в сторону более сдержанных оценок. Берущимся за анализ сочинения подпутиинским авторам приходится признавать, что обличает Толстой, по существу, весьма близкое к теперешнему (2022 г.) в России состояние общественных нравов, общественного сознания — с позиций учения Христа, по отношению к истинам Евангелий. И пишут, анализируют на эту тему те, кто получил возможность таких писаний и публикаций, вместе со статусом учёного интеллигента, как раз благодаря единомыслию с этим общественным *заговором по умолчанию*: табуированием обсуждения тех общественных проблем, один лишь поворот к решению которых неразрывно связан с уничтожением всех ложных смыслов и всего вымышленного значения тех интеллигентских, плутократических, казённо-служилых, поповских и прочих стратовых привилегий, на которых держится людоедский строй современного буржуазного российского общества. Люди мирские боятся разрушения этого строя. Рискнуть «миром», мирским *лже*христианским строем жизни для Бога, ради исполнения воли Его, известной по Евангелиям, из учения Христа — люди мира как боялись в эпоху Толстого, так боятся и в наши дни.

Наше впечатление подтверждает черновой план статьи, сохранившийся в самой первой из черновых её рукописей. Вот он:

- «1. Описание положения.
2. Упрёки бездеятельности несправедливы. Деятельность земства.
3. Но достигнет ли она результатов? <зач.: Нет.> Ответ труден, главное п[отому], ч[то] самый голод и степень его — спорный вопрос.
4. Pro и contra теоретически.
5. Действительность. Харибда и Сцилла.
6. Задача распределения невозможная.
7. Не достигнет главного — не предупредит смертей.
8. Что же делать? Сказать правду, перестать лгать. Признать своё равнодушие. Вольтер.
9. А если есть равнодушие — есть вина, то, не заботясь о народе, исправить вину.
10. Исправление вины спасёт.
- Что именно делать. <зач.: Писать.> Жить.
- <11> 12. Последствия какие могут быть» (29, 325).

У нас достаточно биографических и текстовых свидетельств, подтверждающих то, что изначальный замысел статьи «О голоде» подразумевал отодвижение на второй план в этом именно публицистическом выступлении Льва Николаевича его пресловутых «обличения и проповеди», уже известных публике по прежним его выступлениям, а в значительной степени, по причине цензуры — по пересказам и слухам. Дело шло о том, чтобы вызвать у читателей благорасположение к благотворительности, а отнюдь не желание полемизировать, вкупе зачастую с «попутной» неприязнью. Но этот ранний рукописный план указывает нам, что волею Толстого «благотворителя» руководила в этом творческом замысле иная воля, Свыше: всё получилось, как мы знаем, иначе, и признания Толстого в письме от 8(?) октября 1891 г. к М.А. Новосёлову в том, что, по ходу писания, у него «выходит совсем не о голоде, а о нашем грехе разделения с братьями», и что «статья разрастается, очень занимает и становится нецензурною» (66, 52) — достаточно характеристичны. Вероятно, сыграли здесь роль и недостаточность, на тот момент, личного благотворительного опыта Толстого на предстоящем поприще, и нерешённость вопроса с личным его участием: можно было менее бояться грядущей реакции как официальных лиц, так и единичных фанатиков.

Так или иначе, сожалеть Толстой о написанном и тут же угодившем под запрет не стал: и поздно, и тщетно. Напротив того, «кислый лимон» ожидавшегося, предсказанного им для своей статьи запрета Лев Николаевич претворил в сладкое питьё для целых поколений вдумчивых и любящих его читателей, в редакторских правках своих, с существенной опорой на первоначальный план, постепенно наполнив значительную часть статьи содержанием отнюдь не сиюминутным (хотя тоже исторически значительным и небезынтересным), а — глубоким и непреходящим. Ниже, с рядом сокращений и нашими пояснениями — окончательный текст того, что у него тогда получилось.

Начинает Лев Николаевич сразу со *второго пункта* своего плана, о неосновательности некоторых раздражавших его слухов — отодвигая замысленное сперва для начала статьи описание своих поездок по голодающим сёлам на последующие главы:

«За последние два месяца нет книги, журнала, номера газеты, в которой бы не было статей о голоде, описывающих положение голодающих, взывающих к общественной или государственной помощи и упрекающих правительство и общество в равнодушии, медлительности и апатии.

Судя по тому, что известно по газетам и что я знаю непосредственно о деятельности администрации и земства Тульской губернии, упреки эти несправедливы. Не только нет медлительности и апатии, но скорее можно сказать, что деятельность администрации, земства и общества доведена теперь до той последней степени напряжения, при которой оно может ослабеть, но едва ли может ещё усилиться. Повсюду идёт кипучая, энергическая деятельность.

В высших административных сферах шли и идут безостановочно работы, имеющие целью предотвратить ожидаемое бедствие. Ассигнуют, распределяют суммы на выдачу пособий, на общественные работы, делают распоряжения о выдаче топлива. В пострадавших губерниях собираются продовольственные комитеты, экстренные губернские и уездные собрания, придумываются средства приобретения продовольствия, собираются сведения о состоянии крестьян: через земских начальников — для администрации, через земских деятелей — для земства, обсуживаются и изыскиваются средства помощи. Роздана рожь для обсеменения, принимаются меры для сохранения семян овса на весну и, главное, для продовольствия в продолжение зимы.

Кроме того, по всей России совершаются пожертвования в кружках, при церквях, чиновниками отчисляются проценты из жалований, собираются пожертвования при редакциях, жертвуют частные лица и учреждения.

По всей России основались отделения Красного Креста, и не пострадавшие губернии причислены по одной и по несколько к одной пострадавшей, собирая для неё пожертвования.

[...] До сих пор могли быть сделаны два дела: выдача семян на обсеменение и заготовление из казённых лесов дров на отопление.

Оба эти дела сделаны, судя по газетам и по тому, что мне известно непосредственно в нашей местности и по другим губерниям, не совсем удачно.

[...] Но оба эти дела вместе составляют едва ли одну десятую того дела продовольствия, которое предстоит теперь. Так что, судя по тому, как сделалось несовершенно то, что сделалось, трудно ожидать, чтобы огромное и трудное дело продовольствия сделано было лучше. Всё, что известно по газетам, и всё, что мне непосредственно известно о видах на совершение этого дела, — не обещает успеха. Как администрация, так и земства по отношению к этому делу народного продовольствия до сих пор ещё не знают, что и как они будут делать.

Неопределённость эта усложняется, главное, разногласием, которое везде существует между двумя главными органами: администрацией и земством.

Странно сказать, вопрос о том: есть ли то бедствие, которое вызывает деятельность, т. е. есть ли голод или нет его, и если он есть, то в каких размерах, — есть вопрос нерешённый между администрацией и земством.

Повсюду земства требуют больших сумм, администрация же считает их преувеличенными и излишними и или отказывает, или сбавляет их. Администрация жалуется на то, что земства увлекаются общим настроением и, не вникая в сущность дела, не мотивируя, пишут жалобные литературные описания нужды народной и требуют огромные суммы, которые правительство не может дать и которые, если бы и были даны, принесли бы больше зла, чем пользы.

[...] Так смотрит на дело администрация. И нельзя не признать справедливости такого взгляда, если рассматривать дело с общей точки зрения. Но не менее справедливы доводы земства, когда на все эти возражения оно отвечает описанием крестьянского имущества по волостям, из которого явствует, что против среднего урожая нынешний урожай ниже вчетверо и впятеро и что средств пропитания у большинства населения нет.

Для того, чтобы вырезать, приготовить и наложить заплату, надо знать размер дыры.

А вот в размерах этой дыры оказывается невозможным согласиться. Одни говорят, что дыра невелика и как бы заплата не разодрала дальше; другие говорят, что неостанет и материи на заплату. Кто прав?» (29, 86 – 89).

И, внося свой весомый вклад в разрешение этого вопроса, Лев Николаевич в главах 2-й и 3-й статьи рисует читателю ту картину, которая недавно предстала ему самому в поездках по Крапивенскому, Богородицкому, Ефремовскому и Епифанскому уездам Тульской губернии:



Фрагмент карты Тульской губ. 1928 г.

«Первый уезд, посещённый мною, был Крапивенский, пострадавший в своей черноземной части.

Первое впечатление, отвечавшее в положительном смысле на вопрос о том, находится ли население в нынешнем году в особенно тяжёлых условиях: употребляемый почти всеми хлеб с лебедой, — с $1/3$ и у некоторых с $1/2$ лебеды, — хлеб чёрный, чернильной черноты, тяжёлый и горький; хлеб этот едят все, — и дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные.

Другое впечатление, указывающее на особенность положения в нынешнем году, это общие жалобы на отсутствие топлива. [...] Говорили, что порубили лозины на гумнах, что я и видел; говорили, что перерубили и перекололи на дрова все чурбачки, всё деревянное. Многие покупают дрова в прочищающемся помещичьем лесу и в сводящейся поблизости роще. Ездят за дровами вёрст за 7, за 10. Цена колотых дров осиновых за шкалик, т. е. $1/16$ куб. саж., 90 копеек, так что дров на зиму понадобится рублей на 20, если топить всё покупными.

Бедствие несомненное: хлеб нездоровый, с лебедой, и топиться нечем» (Там же. С. 89 – 90).

Впечатления от ситуации в других уездах оказались значительно тяжелее:

«Чем дальше в глубь Богородицкого уезда и ближе к Ефремовскому, тем положение хуже и хуже. На гумнах хлеба или соломы всё меньше и меньше, и плохих дворов всё больше и больше. На границе Ефремовского и Богородицкого уездов положение худо в особенности потому, что при всех тех же невзгодах, как и в Крапивенском и Богородицком уездах, при ещё большей редкости лесов, не родился картофель. На лучших землях не родилось почти ничего, только воротились семена. Хлеб почти у всех с лебедой. Лебеда здесь невызревшая, зелёная. Того белого ядрышка, которое обыкновенно бывает в ней, нет совсем, и потому она не съедобна.

Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наестся натошак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют.

Здесь бедные дворы, опустившиеся в прежние года, доедали уже последнее в сентябре. Но и это не худшие деревни. Худшие — в Ефремовском и Епифанском уездах...» и т. д. (Там же. С. 91 – 92).

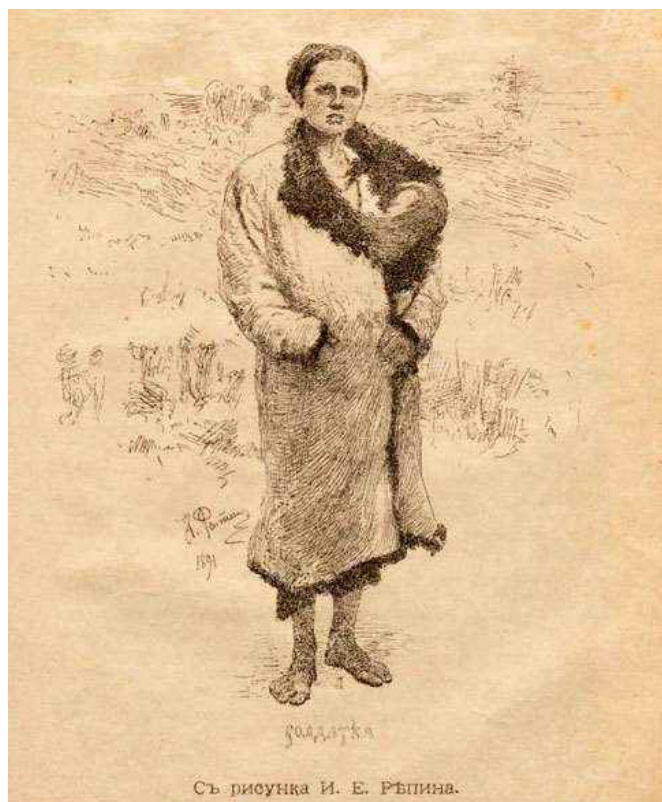
Но Толстой подчёркивает, что состояние гуманитарной катастрофы имеет среди небогатых крестьян этих уездов характер в значительной степени перманентный: «В таком положении не только нынешний год, но и всегда все семьи слабых, пьющих людей, все семьи сидящих по острогам, часто семьи солдат. Такое положение только легче переносится в хорошие года. Всегда и в урожайные годы бабы ходили и ходят по лесам украдкой, под угрозами побоев

или острога, таскать топливо, чтобы согреть своих холодных детей, и собирали и собирают от бедняков кусочки, чтобы прокормить своих заброшенных, умирающих без пищи детей. Всегда это было!



И причиной этого не один нынешний неурожайный год, только нынешний год всё это ярче выступает перед нами, как старая картина, покрытая лаком. Мы среди этого живём!» (Там же. С. 93).

Такое состояние связано с причинами более глубинными, нежели неурожай. «В каждой почти семье своя отдельная беда, гораздо значительнее неурожая нынешнего года» (Там же. С. 96). Среди же общих хронических причин наставшей для многих в 1891-м катастрофы Толстой называет в Третьей главе «малоземельность, пожары, ссоры, пьянство, упадок духа» (Там же). Главным же для много лет наблюдавшего крестьян Л.Н. Толстого свидетельством гуманитарной катастрофы является то, что крестьяне бедствующих местностей относятся к своему положению достаточно пассивно, ожидая помощи извне, от правительства, от земств, но не предпринимая того множества народных, выработанных жизнью поколений, хитрых способов выжить и свести концы с концами, возможность которых знал за ними Толстой, подробно и любовно описавший некоторые из них в Главе четвертой:



«Да учтите всякого среднего мужика не в неурожайный, а в обычный год, когда, как в наших местах, в тех самых местах, где голод сплошь да рядом, хлеба с надельной земли хватает только до Рождества, и вы увидите, что ему в обыкновенные годы, по спискам урожая, кормиться нечем и дефицит такой, что ему непременно надо перевести скотину и самому раз в день есть. Таков бюджет среднего мужика, — про бедного и говорить нечего, — а смотришь, он не только не перевёл скотину, но женил сына или выдал дочь, справил праздник и прокурил 5 рублей на табак.

Кто не видал пожаров, очищавших всё? Казалось бы, надо погибнуть погорельцам. Смотришь, кому пособил сват, дядя, кто достал кубышку, кто задался в работники, а кто поехал побираться; энергия напряглась и смотришь, — через два года справились не хуже прежнего.

[...] Разногласие о том, есть ли голод, или нет голода, и в каких размерах, — происходит от того, что за основание для определения положения крестьянина берут его имущественный бюджет, тогда как главные статьи бюджета его определяются не имуществом, а его трудом.

Для определения степени нужды, которой бы можно было руководствоваться при раздаче пособий, во всех земствах составлены по волостям подробные подворные списки о количестве душ, едоков,

работников, наделов; о количестве посеянных различных хлебов и урожая, о количестве скотины, о среднем урожае и ещё многое другое. Списки составлены с необыкновенною роскошью граф и подробностей. Но тот, кто знает обиход крестьянина, знает, что списки эти говорят очень мало. Думать то, что крестьянский двор наживает только то, что он получает с своей надельной земли, и проживает только то, что он проест, большая ошибка. В большинстве случаев то, что он получает с надельной земли, составляет только меньшую часть того, что он наживает. Главное богатство крестьянина в том, что зарабатывают он и его домашние, зарабатывают ли они это на наёмной земле, или работая на помещика, или живя у чужих людей, или промыслами. Мужик и его домашние ведь всегда все работают. Обычное нам состояние физической праздности есть бедствие для мужика. Если у мужика нет работы всем членам его семьи, если он и его домашние едят, а не работают, то он считает, что совершается бедствие, в роде того как если бы из разошедшейся бочки уходило вино, и обыкновенно всеми средствами ищет и всегда находит средство предотвратить это бедствие — находит работу. В мужицкой семье все члены её с детства до старости работают и зарабатывают. Мальчик 12-ти лет уже в подпасах или в работниках при лошадях, девочка прядёт или вяжет чулки, варежки. Мужик в заработках или вдали, или дома, или на подённой, или берёт работу сдельно у помещиков, или сам нанимает землю. Старик плетёт лапти; это обычные заработки. Но есть и исключительные: мальчик водит слепых, девочка в няньках у богатого мужика, мальчик в мастеровых, мужик бьёт кирпич или делает севалки, баба — повитуха, лекарка, брат слепой — побирается, грамотный — читает псалтирь по мёртвым, старик растирает табак, вдова тайно торгует водкой. Кроме того: у того сын в кучерах, кондукторах, урядниках, у того дочь в горничных, няньках, у того дядя в монахах, приказчиках, и все эти родственники помогают и поддерживают двор. Из таких-то статей, не входящих в графы, составляется главный приход мужицкой семьи. Статьи расхода ещё более разнообразны и далеко не ограничиваются пищей: подати казённые, земские, рекрута справить, орудия, кузнечная работа, сошники, шкворни, колёса, топоры, вилки, шорное, тележное, постройки, печь, одежда, обувь себе и ребятам, праздники, говеть себе и семейным, свадьба, крестины, похороны, лечение, гостинцы ребятам, табак, горшки, посуда, соль, дёготь, керосин, богомолье. У каждого человека кроме того есть ещё свои свойства характера, слабости, добродетели, пороки, которые стоят денег.

[...] Чтобы правильно определить степень нужды крестьянина, нужны не списки, а надо призвать прорицателя, который предскажет, кто из мужиков и его домашних будет жив, здоров, будет жить в согласии с семьёй, работать и найдёт работу, кто будет воздержан и аккуратен, а кто будет болеть, ссориться и не найдёт работы, поддастся соблазнам и увлечениям. Прорицателей таких нет, и узнать этого нельзя. Нельзя заранее узнать нуждающихся, и потому правильно распределить *даровое* пособие народу не то что трудно, но прямо невозможно.

[...] Раздавать даровые пособия только нуждающимся — нельзя, потому что нет тех внешних признаков, по которым можно бы было определить нуждающегося, а самая раздача дарового вызывает самые дурные страсти, так что уничтожаются и те признаки, которые были.

Администрация и земства хлопчут о том, чтобы узнать истинно нуждающихся, все же мужики, и вовсе ненуждающиеся, узнав, что будет раздаваться даровое, стараются притворяться или даже сделаться нуждающимися, чтобы без труда получить пособие.

Веками, поколениями выработались в людях приёмы приобретения богатств и средств к жизни и суждения о достоинстве различных приёмов! Приобретать трудом хорошо, похвально, без труда — дурно, стыдно. И вдруг является способ приобретения без труда, не подлый и не имеющий в себе ничего предосудительного. Очевидно, какую путаницу в понятиях производит такое появление нового способа приобретения. И то, что раздача пособий крестьянам считается заимообразною, не изменяет дела: крестьяне знают, что отдачи не может быть.

[...] Главное же то, что чем больше будет даровое пособие, тем более ослабится энергия народа, а чем больше ослабится энергия народа, тем более увеличится нужда.

А не помогать нельзя.

В этом *sercle vicieux* <фр. замкнутом круге> бьются администрация и земства» (29, 99 — 104).

Этим рассуждением Толстой завершает Четвёртую главу очерка, подводя читателя к главной, Пятой и заключительной, содержащей ответ на вопрос о том, в чём *корень зла* «голодного бедствия» 1891 года и каково разрешение обозначенной в главе Четвёртой дилеммы — обещанное им ещё в начале статьи:

«Если результаты, достигнутые до сих пор, меньше, чем можно бы ожидать, то причина этого не в недостаточности деятельности, но в том отношении к народу, в котором происходит эта деятельность и

при котором, мне думается, помощь народу в теперешнем бедствии очень трудна.

О том, что я разумею под отношением к народу, — я скажу после» (Там же. С. 87).

Наконец в главе Пятой этот решительный момент истины настаёт. Идеи и предложения её, даже будучи, и слишком часто, не вполне и искажённо поняты, всё же были подхвачены многими в обществе, и не только в России, а потому для нашей книги столь значительны, что делают необходимость привести в этой книге полный её текст.

Итак, ниже — вся бесценная Глава пятая «О голоде».

«И выхода из этого ложного круга действительно нет и не может быть, потому что дело, за которое взялись администрация и земство — дело невозможное. Ведь дело это состоит ни больше ни меньше, как в том, чтобы прокормить народ. Мы, господа, взялись за то, чтобы прокормить кормильца, — того, кто сам кормил и кормит нас.

Грудной ребёнок хочет кормить свою кормилицу; паразит то растение, которым он питается! Мы, высшие классы, живущие все *им*, не могущие ступить шагу без *него*, мы *его* будем кормить! В самой этой затее есть что-то удивительно странное.

Детям дали лошадь — настоящую, живую лошадь, и они поехали кататься и веселиться. Ехали, ехали, гнали под гору, на гору. Добрая лошадка обливалась потом, задыхалась, везла, и всё везла, слушалась; а дети кричали, храбрились, хвастались друг перед другом, кто лучше правит, и подгоняет, и скачет. И им казалось, как и всегда кажется, что когда скакала лошадка, что это они сами скакали, и они гордились своей скачкой.

Долго веселились дети, не думая о лошади, забыв о том, что она живёт, трудится и страдает, и если замечали, что она останавливается, то только сильнее взмахивали кнутом, стегали и кричали. Но всему есть конец, пришёл конец и силам доброй лошадки, и она, несмотря на кнут, стала останавливаться. Тут только дети вспомнили, что лошадь живая, и вспомнили, что лошадей кормят и поят, но детям не хотелось останавливаться, и они стали придумывать, как бы на ходу накормить лошадь. Они достали длинную палку и на конец её привязали сено и, прямо с козел, на ходу, подносили это сено лошади. Кроме того, двое из детей, заметив, что лошадь шатается, стали поддерживать её; и держали её зад руками, чтобы она не завалилась ни направо, ни налево. Дети придумывали многое, но только не одно, что должно бы было им прежде всего прийти в голову, — то, чтобы слезть с лошади, перестать ехать на ней, и если они точно жалеют её, отпрячь её и дать ей свободу.

Разве не то же, что делали эти дети с везущей их лошастью, когда они гнали её, делали и делают люди богатых классов с рабочим народом во все времена и до и после освобождения? И разве не то же, что делают дети, стараясь, не слезая с лошади накормить её, делают люди общества, придумывая средства, не изменяя своего отношения к народу — прокормить его теперь, когда он слабеет и может отказаться везти?

Придумывают всё возможное, но только не одно то, что само просится в ум и в сердце: слезть с той лошади, которую ты жалеешь, перестать ехать на ней и погонять её.

Народ голодает, и мы, высшие классы, очень озабочены этим и хотим помочь этому. И для этого мы заседаем, собираем комитеты, собираем деньги, покупаем хлеб и распределяем его народу.

Да отчего он и голоден? Неужели так трудно понять это? Неужели нужно или клеветать на него, как бессовестно делают одни, говоря, что народ беден оттого, что он ленив и пьяница; или обманывать самого себя, как делают другие, говоря, что народ беден только оттого, что мы не успели ещё передать ему всей мудрости нашей культуры, а что мы вот с завтрашнего дня начнём, не утаивая ничего, передавать ему всю эту нашу мудрость, и тогда уж он перестанет быть беден; и потому нам нечего стыдиться того, что мы теперь живём на его шее, — всё это для его блага?

Нам, русским, это должно быть особенно понятно. Могут не видеть этого промышленные, торговые народы, кормящиеся колониями, как англичане. Благосостояние богатых классов таких народов не находится в прямой зависимости от положения их рабочих. Но наша связь с народом так непосредственна, так очевидно то, что наше богатство обуславливается его бедностью, или его бедность нашим богатством, что нам нельзя не видеть, отчего он беден и голоден. А зная, отчего он голоден, нам очень легко найти средство насытить его.

Средство одно: не объедать его.

Неужели надо искать эти *midî à quatorze heures*, [*фр.* трудности там, где их нет] когда так всё ясно и просто, особенно ясно и просто для самого народа, на шее которого мы сидим и едем? Ведь это детям можно воображать, что не лошадь их везет, а они сами едут посредством махания кнута, но нам-то, взрослым, можно, казалось бы, понять, откуда голод народа.

Народ голоден оттого, что мы слишком сыты.

51. Н. Я. Гроту.

1891 г. Октября 23. Я. П.

Дорогой Николай Яковлевич, если можно успеть, то будьте добры выключить, при описании первой деревни Епифанского уезда, описание двухлетнего мальчика на пороге. — А еще что бы мне очень хотелось, это — после слов «он голоден, потому что мы слишком сыты», включить следующее: *«Нам, русским, это должно быть особенно понятно. Могут не видеть этого промышленные, торговые народы, кормящиеся колониями, как англичане. Благосостояние богатых классов таких народов не находится в прямой зависимости от положения их рабочих. Но наша связь с народом так непосредственна, так очевидна, что наше богатство обуславливается его бедностью или его бедность нашим богатством, что нам нельзя не видеть, отчего он беден и голоден»*, — и за этим уже слова: «если мы искренно хотим помочь народу, то перестанем объедать его» или что-то в этом роде.

Простите, что утруждаю.

Дружески жму руку.

Л. Толстой.

В текст Пятой главы (начиная с рукоп. № 16) Толстой включил выписку из своего письма к Н.Я. Гроту от 23 ноября 1891 г. (см. 66, 62).

Разве может не быть голоден народ, который в тех условиях, в которых он живёт, то есть при тех податях, при том малоземельи, при той заброшенности и одичании, в котором его держат, должен производить всю ту страшную работу, результаты которой поглощают столицы, города и деревенские центры жизни богатых людей?

Все эти дворцы, театры, музеи, вся эта утварь, все эти богатства, — всё это выработано этим самым голодающим народом, который делает все эти ненужные для него дела только потому, что он этим кормится, т. е. всегда этой вынужденной работой спасает себя от постоянно висящей над ним голодной смерти. Таково его положение всегда.

Нынешний год только вследствие неурожая показал, что струна слишком натянута. Народ всегда держится нами впроголодь. Это наше средство, чтобы заставлять его на нас работать. Нынешний же год проголодь эта оказалась слишком велика.

Но нового, неожиданного ничего не случилось. И нам, кажется, можно знать, отчего народ голоден.

Заботы общества теперь о помощи народу в беде голода подобны заботам учредителей Красного Креста на войне. Энергия одних на войне направляется на калечение и убийство людей, других — на то, чтобы помогать калеченным и убиваемым. Всё это хорошо, пока деятельность войны и также деятельность истощения народа, угнетения его — считаются нормальными. Но как скоро мы начинаем утверждать, что мы жалеем людей, убиваемых на войне, и людей голодающих, то не проще ли не убивать людей и не учреждать и средств лечения их? Не проще ли перестать губить благосостояние народа, чем, губя его, делать вид, что мы озабочены его благосостоянием?

В последние 30 лет сделалось модой между наиболее заметными людьми русского общества исповедовать любовь к народу, к меньшому брату, как это принято называть. Люди эти уверяют себя и других, что они очень озабочены народом и любят его. Но всё это неправда. Между людьми нашего общества и народом нет никакой любви и не может быть.

Между людьми нашего общества — чистыми господами в крахмаленных рубашках, чиновниками, помещиками, коммерсантами, офицерами, учёными, художниками и мужиками нет никакой другой связи, кроме той, что мужики, работники, *hands*, как это выражают англичане, нужны нам, чтобы работать на нас.

Зачем скрывать то, что мы все знаем, что между нами, господами, и мужиками лежит пропасть? Есть господа и мужики, чёрный народ. Одни уважаемы, другие презираемы, и между теми и другими нет соединения. Господа никогда не женятся на мужичках, не выдают за мужиков своих дочерей, господа не общаются как знакомые с мужиками, не едят вместе, не сидят даже рядом; господа говорят рабочим *ты*, рабочие говорят господам *вы*. Одних пускают в чистые места и вперёд в соборы, других не пускают и толкают в шею; одних секут, других не секут.

Это две различные касты. Хотя переход из одной в другую и возможен, но до тех пор, пока переход не совершился, разделение существует самое резкое, и между господином и мужиком такая же пропасть, как между кшетрием и париём.

Вольтер говорил, что если бы возможно было, пожав шишечку в Париже, этим пожатием убить мандарина в Китае, то редкий парижанин лишил бы себя этого удовольствия *).

*) В конце XIX в. французский фразеологизм «убить мандарина» значил: «совершить дурной поступок, надеясь, что о нем никогда не узнают» (Строев А.Ф.

Убить мандарина: Толстой, Вольтер и другие // Лев Толстой и французский век Просвещения. Вольтер: литература, философия, религия: Мат-лы международной научной конференции. – Ясная Поляна, 2017. – С. 7). Например, обогатиться путём разорения неизвестных людей; пойти на преступление ради наживы, будучи уверенным в своей безнаказанности. Л. Н. Толстой использовал этот фразеологизм дважды. Первый раз в статье «О голоде» в 1891 г., второй — уже в 1900-х, при работе над «Кругом чтения» (см.: «Мысли, выпущенные издателем по цензурным соображениям в первом издании “Круга чтения”»; 42, 423). Этот образ встречается в «Отце Горио» (1835) Оноре де Бальзака, в разговор Растиньяка с Бьяншоном: «Ты читал Руссо? <...> Помнишь то место, где он спрашивает, как бы его читатель поступил, если бы мог, не выезжая из Парижа, одним усилием воли убить в Китае какого-нибудь старого мандарина и благодаря этому сделаться богатым?».

Существует предположение, что Бальзак нарочно вкладывает в уста Растиньяка ошибку с авторством Руссо, чтобы показать его уровень образования, так как в других своих произведениях Бальзак высмеивает персонажей, которые покупают книги Руссо и проч., желая выдать себя за умных и образованных, но не читают их ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс китайского мандарина](https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_китайского_манدارина)).

Ранее Бальзака этот же фразеологизм употребил не Руссо, а Рене де Шатобриан в «Гении христианства»: «Я спрашиваю себя: “Если бы ты мог одним усилием воли убить человека в Китае и унаследовать его имущество в Европе, с абсолютной, сверхъестественной уверенностью, что никто никогда не узнает об этом, ты бы решился на это?”» (В оригинале: “Je me fais cette question: «Si tu pouvais, par un seul désir, tuer un homme à la Chine et hériter de sa fortune en Europe, avec la conviction surnaturelle qu’on n’en saurait jamais rien, consentirais-tu à former ce désir?»»).

Французские исследователи предполагают, что источником вдохновения для Шатобриана послужил Дени Дидро, который несколько раз ставил вопрос об эмпирической основе морали, в частности, в *Entretien d'un père avec ses enfants* (1773 год) размышляя об шляпнике-преступнике, который мог сбежать в Женеву, но отказался, поскольку куда бы он ни сбежал, везде найдёт свою совесть. Он предполагает, что дальние расстояния могут влиять на силу мук совести, и упоминает Китай ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс китайского мандарина](https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_китайского_мандарина)).

Как видим, Толстой в статье «О голоде» несколько переосмыслил семантику фразеологизма: он ведёт речь не о единичном безнравственном поступке индивида, лишённого “автономной” христианской нравственности, а о некотором системном состоянии общества, о лжехристианском устройстве жизни, о строе социального людоедства, в котором своею злой стороной обращается даже кажущаяся многим оправданным добром барская благотворительность. В окончательной как раз перед написанием «О голоде» статье «Первая ступень» впервые появляется у Толстого идея «гастрономического» отчуждённого зла, ради «жранья»: убивают животных одни, жрут трупы их — другие. Позднее, в антивоенной публицистике Толстого, уже без образа мандарина, снова появится схожая идея: о зле *отчуждённом*, творимым с своеобразным «разделением труда», при котором творителям зла невидимы его результаты, могущие влиять на их совесть.

Наконец, в «Круге чтения» переосмысление образа убиваемого мандарина выходит у Толстого за пределы критики именно христианского мира, на уровень всемирный:

«Вольтер говорил, что если бы человеку в Париже стоило пожать пуговку для того, чтобы убить мандарина в Китае, многие из любопытства пожали бы пуговку.

В наше время Вольтер не сказал бы уже этого. Мы знаем теперь китайца и без особенных усилий видим в нем человека-брата. То, что почти не казалось преступным во время Вольтера, теперь уже явно преступно для самого нечуткого человека» (42, 423).

К сожалению, жестокость войн и голодоморов XX столетия совершенно опровергли эту благую уверенность Льва Николаевича.

И ещё один нюанс. До Шатобриана, в сочинениях именно Вольтера, образ мандарина в той или иной трактовке мы не обнаруживаем. «Повинен» в ошибке многих авторов с Руссо может быть поэт Луи Прота, автор песенки 1840-х годов «Убьём мандарина», имевшей какое-то время популярность. В качестве эпиграфа к этой песне Прота приводит эпиграф из фальшивой цитаты (возможно, сочинённой им самим), подписанной Руссо (в поздних перепечатках встречается указание, что из «Эмиля»). Именно там возникает упоминание кнопки, которую необходимо нажать ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс китайского мандарина](https://ru.wikipedia.org/wiki/Парадокс_китайского_мандарина)).

Итак, ошибался с китайским мандарином и Толстой. Но отчего он назвал ошибочно не Руссо, а именно Вольтера? Дело здесь не только в том, что Лев Николаевич знал, читая в оригинале, Жан-Жака Руссо с самых юных лет. Современный исследователь А. Ф. Строев связывает ошибку Толстого с тем, что Вольтер в хорошо известной Толстому пьесе «Китайский сирота» (1755) оказался близок яснополянцу идейно и настроением: «Толстого могла привлечь центральная тема пьесы: непротивление злу насилем и финальное торжество добродетели, долга, милосердия. [...] Так же как Вольтер, Толстой видит в Китае идеалы и ценности, которые близки ему самому: нравственное самосовершенствование; «неделание», непротивление злу насилем. Он восхищается трудолюбивым народом-земледельцем. Подобно Вольтеру, Толстой задается вопросом, олицетворяет ли Китай прошлое человечества или его будущее? [...] Отрицая европейскую цивилизацию, основанную на насилии, Толстой в период создания «Круга чтения» пришёл к мысли об особой миссии восточных народов. Они укажут человечеству иной путь развития» (Строев А.Ф. *Убить мандарина: Толстой, Вольтер и другие // Лев Толстой и французский век Просвещения. Вольтер: литература, философия, религия: Мат-лы международной научной конференции. – Ясная Поляна, 2017. С. 15 – 16).*

Отчего же не говорить правду? Если бы, пожавши пуговку в Москве или Петербурге, этим пожатием можно было убить мужика в Царёвококшайском уезде и никто бы не узнал про это, я думаю, что нашлось бы мало людей из нашего сословия, которые воздержались бы от пожатия пуговки, если б это могло им доставить хоть малейшее удовольствие.

И это не предположение только. Подтверждением этого служит вся русская жизнь, всё то, что не переставая происходит по всей России.

Разве теперь, когда люди, как говорят, мрут от голода, помещики, купцы, вообще богачи изменили свою жизнь, перестали требовать от народа для удовлетворения своих прихотей губительного для него труда, разве перестали богачи убирать свои палаты, есть дорогие обеды, обгоняться на своих рысаках, ездить на охоты, наряжаться в свои наряды? Разве теперь богачи не сидят с своими запасами хлеба, ожидая ещё больших повышений цен, разве фабриканты не сбивают цен с работы? Разве чиновники перестают получать жалование, собираемое с голодных? Разве все интеллигентные люди не продолжают жить по городам — для своих, послушаешь их, самых возвышенных целей, пожирая там, в городах, эти свозимые для них туда средства жизни, от отсутствия которых мрёт народ?

Зачем обманывать себя? Народ нужен нам только как орудие. И выгоды наши (сколько бы мы ни говорили противное) всегда диаметрально противоположны выгодам народа. Чем больше мне дадут жалованья и пенсии, говорит чиновник, т. е. чем больше возьмут с народа, тем мне лучше. Чем дороже я продам хлеб и все нужные предметы народу и чем ему будет труднее, тем мне будет лучше, — говорит и купец и землевладелец. Чем меньше я дам работы народу, заменив её машинами, и чем дороже продам ему свой товар, тем я больше наживу, — говорит фабрикант. Чем дешевле будет работа, т. е. чем беднее будет народ, тем мне лучше, — говорят все люди богатых классов. Какое же у нас может быть сочувствие народу? Между нами и народом нет иной связи, кроме той, что мы тянем за одну и ту же палку, но каждый к себе. Чем лучше мне, тем хуже ему, — чем хуже ему, тем лучше мне. Как же нам при таких условиях помогать народу!

И потому, если человек нашего общества действительно хочет служить народу, то первое, что ему нужно сделать, это ясно понять своё отношение к нему. Когда ничего не предпринимается, то ложь, оставаясь ложью, не особенно вредна. Но когда, как теперь, люди хотят служить народу, то первое и главное, что нужно, это откинуть ложь, ясно понять своё отношение к нему.

Поняв же своё истинное отношение к народу, состоящее в том, что мы живём им, что бедность его происходит от нашего богатства и голод его — от нашей сытости, мы не можем начать служить ему иначе, как тем, чтобы перестать делать то, что вредит ему. Если мы точно жалеем лошадь, на которой мы едем, то мы прежде всего слезем с неё и пойдём своими ногами.

Поняв свое отношение к народу, желая служить ему, первое, что мы сделаем, будет неизбежно то, что мы постараемся rendre gorge, [фр. возмездие, возмездие,] возмездие народу то, что мы отобрали от него, второе будет, что мы перестанем отбирать от него то, что отбираем, и, в-третьих, то, что постараемся, изменив свою жизнь, разорвать кастовую черту, разделяющую нас от народа.

Спасает людей от всяких бедствий, в том числе и от голода, *только любовь*. Любовь же не может ограничиваться словами, а всегда выражается делами. Дела же любви по отношению к голодным состоят в том, чтобы отдать из двух кусков и из двух одежд голодному, как это сказано не Христом даже, а Иоанном Крестителем, т. е. в жертве.

Для того же, чтобы быть в состоянии это сделать, надо прежде всего видеть холодного и голодного, стать в прямые отношения с ним, разрушить те преграды, которые отделяли нас от него.

Я не говорю, что всякий, кто хочет принести помощь голодающим, должен непременно поехать и поселиться в холодной избе, жить во вшах, питаться хлебом с лебедой и умереть через два месяца или две недели, и что всякий, кто не делает этого, тот не приносит никакой помощи. Я не это говорю — я говорю, что поступить так, именно так, жить и умереть вместе с теми, которые будут умирать через два месяца или две недели, было бы очень хорошо — так же хорошо, как прожить и умереть так, как умер Damien у прокажённых. <Бельгийский миссионер Дамиан умер в 1889 г. (в 49-летнем возрасте) на Гавайских островах, где он поселился среди прокажённых. — Р. А.> Но я не говорю, что всякий должен и может это сделать, и что тот, кто не сделает всего этого, ничего не сделал. Я говорю то, что, чем ближе к этому поступит человек, тем будет лучше для него и для других, но что сделает хорошо всякий, кто хотя сколько-нибудь приблизится к этому идеалу.

Есть два предела: один тот, чтобы отдать свою жизнь за други своя; другой тот, чтобы жить, не изменяя условий своей жизни. Между этими двумя пределами находятся все люди: одни на степени учеников Христа, оставивших всё и пошедших за ним, другие на степени богатого юноши, тотчас же отвернувшегося и ушедшего, когда ему сказано было об изменении жизни.

Между этими двумя пределами находятся различные Закхеи, отчасти только изменяющие свою жизнь.

Но для того, чтобы быть Закхеем, надо не переставая стремиться к первому пределу, надо знать и помнить, что идеал, к которому следует стремиться, не состоит в том, чтобы, продолжая жить барской жизнью, приобретать и распространять как можно больше знаний,

которые каким-то таинственным, непонятным путём окажутся когда-то полезными народу, но прямо и просто уменьшать свои требования, удовлетворяемые трудом народа, и прямо и просто сейчас сблизаться с ним и по мере сил своих служить ему.

Прокормится ли, не прокормится народ, весь народ, я не знаю, скажет себе человек, ставший на эту точку зрения, и не могу знать: завтра может сделаться мор или нашествие, от которого и без голода помрёт народ, или завтра же откроется новое питательное вещество, которое прокормит всех, или, что проще всего, я умру завтра и ничего не узнаю о том, прокормился или не прокормился народ. Главное же то, что меня никто не приставлял к делу прокормления сорока миллионов живущего в таких-то пределах народа, и я, очевидно, не могу достигнуть внешней цели прокормления и избавления от несчастий таких-то людей, а приставлен я к своей душе, к тому, чтобы свою жизнь провести как можно ближе к тому, что мне указывает моя совесть.

Совесть же моя говорит мне, что я виноват перед народом, что постигшая его беда отчасти от меня и что потому мне нельзя продолжать жить, как я жил, а надо изменить свою жизнь, как можно больше сблизиться с народом и служить ему.

И удивительное дело, стоит человеку отвернуться от задачи разрешения внешних вопросов и поставить себе единый, истинный, свойственный человеку внутренний вопрос: как мне прожить наилучшим образом в этот год тяжёлого испытания — чтобы все те общие вопросы получили разрешение.

Общая правительственная деятельность, задаваясь внешней целью — прокормить и поддержать благосостояние сорока миллионов людей, встречает на своём пути непреодолимые препятствия. 1) Определить степень предстоящей нужды для населения, могущего проявить в этом поддержании себя наибольшую энергию и совершенную апатию, — нет никакой возможности. 2) Если допустить, что определение это возможно, то количество требуемых сумм так велико, что нет никакого вероятия приобрести их. 3) Если допустить, что суммы эти будут найдены, то даровая раздача денег и хлеба населению ослабит энергию и самодеятельность народа, более всего другого могущую поддержать в нынешнее тяжёлое время его благосостояние. 4) Если и допустить, что раздача будет производиться так, что не ослабит самодеятельности народа, то нет возможности правильно распределить пособия, и ненуждающиеся захватят долю нуждающихся, из которых большинство всё-таки останется без помощи и погибнет.

Только деятельность, имеющая внутреннюю цель для души, всегда соединённая с жертвой, только такая деятельность устраняет все препятствия, мешавшие деятельности правительственной с внешней целью.

Это та деятельность, которая заставляет в нынешнем голодном году в голодной местности, что я видел не раз, крестьянку, хозяйку дома, при словах: «Христа ради», слышных под окном, пожаться, поморщиться и потом всё-таки достать с полки последнюю, начатую ковригу и отрезать от неё с пол-ладони кусочек и, перекрестившись, подать его.

Для этой деятельности не существует *первого* препятствия — невозможности определения степени нужды нуждающегося: «Просят Христа ради Маврины сироты». Она знает, что им взять негде, и подаёт.

Не существует и *второго* препятствия — огромности количества нуждающихся: нуждающиеся всегда были и есть, вопрос только в том, сколько я своих сил могу им отдать. Подающей милостыню хозяйке не нужно рассчитывать того, сколько миллионов голодающих в России. Для неё один вопрос: как пустить нож по ковриге, — потоньше или потолще? Но тонко ли, толсто ли, она подаёт и твёрдо, несомненно знает, что если каждый от себя оторвёт, то всем достанет, сколько бы их ни было.

Третье препятствие ещё меньше существует для хозяйки. Она не боится того, что подача этого ломтика ослабит энергию Мавриных ребят и поощрит их к праздности и попрошайничеству, потому что она знает, что и эти ребята понимают, как дорог ей ломоть, который она отрезает им.

Нет и *четвёртого* препятствия. Хозяйке нет нужды заботиться о том, правда ли нужно подать тем, которые стоят теперь под окошком, и нет ли других более нуждающихся, которым бы надо отдать этот ломоть. Ей жалко Мавриных ребят, она и даёт им, и знает, что если все друг дружку жалеть будут, то всем хорошо будет и нынешний год и всегда и в России и во всём мире.

Вот эта-то деятельность, имея только внутреннюю цель, всегда спасала, спасает и теперь спасет людей. Вот эта-то деятельность должна быть усвоена людьми, желающими в нынешнее, трудное время служить другим людям.

Спасает эта деятельность людей потому, что она есть то зерно, мельчайшее из всех, которое вырастает в величайшее дерево.

Так ничтожно то, что могут сделать один, два человека, десятки людей, живя в деревне среди голодных и по силам помогая им. Очень мало. Но вот что я видел в свою поездку. Шли ребята из-под

Москвы, где они были в пастухах. И один заболел и отстал от товарищей. Он часов пять просидел и пролежал на краю дороги, и десятки мужиков прошли мимо его. В обед ехал мужик с картофелем и расспросил малого и, узнав, что он болен, пожалел его и привёз в деревню.

Кто это? Кого привёз Аким? — Аким рассказал, что малый болен, отощал, не ел два дня. Малого посадили у избы, до старосты. Подошла одна баба, принесла картошек, другая пирожка, третья молока. — Ах, сердечный, отощал! Как не пожалеть? Своё детище. И тот самый малый, мимо которого, несмотря на его жалкий вид, проходили, не пожалев его, десятки людей, стал всем жалок, всем дорог, потому что один пожалел его.

Тем-то и важна любовная деятельность, что она заразительна. Деятельность общая, правительственная, выражающаяся в теперешних обстоятельствах даровой раздачей, по расписаниям и спискам, хлеба и денег, вызывает самые дурные чувства: жадность, зависть, притворство, осуждение; деятельность личная вызывает, напротив, лучшие чувства, любовь и желание жертвы. «Я работал, трудился — мне ничего, а лентяя, пьяницу награждать. Кто же ему велел пропивать? Поделом вору и мука», — говорит богатый и средний мужик, которым не дают пособий. С меньшей злобой говорит бедняк про богача, требующего равную долю. «Мы и бедны-то от них — от богачей. Они нас сосут, а им ещё давай нашу долю; он и так гладок», и т. п. Такие чувства вызывает раздача дарового пособия. Но, напротив, увидит один, как другой поделился последним, потрудился для несчастного, и ему хочется сделать то же. В этом сила любовной деятельности. Сила в том, что она заразительна, а как скоро она заразительна, то распространению её нет пределов.

Как одна свеча зажигает другую, и одной свечой зажигаются тысячи, так и одно сердце зажигает другое, и зажигаются тысячи. Миллионы рублей богачей сделают меньше, чем сделают хоть небольшое уменьшение жадности и увеличение любви в массе людей. Только бы увеличилась любовь — сделается то чудо, которое совершилось при раздаче 5 хлебов. Все насытятся, и ещё останется.

И сделать это чудо могут не те люди, которые с гордым сознанием своей необходимости народу, не изменяя своего отношения к нему, будут изыскивать общие средства прокормления 32-х миллионов, а только те, которые, сознав свою вину перед народом в угнетении его и отделении себя от него, с смирением и покаянием постараются, соединившись с ним, разделить с ним и его беду нынешнего года.

Деятельность эта практически представляется мне такою: человек из общества, желающий в тяжёлый нынешний год принять участие

в общем бедствии, приезжает в одну из пострадавших от неурожая местностей и начинает там жить, проживая там на месте, в Мамадышском, Лукояновском, Ефремовском уездах в голодной деревне, те обычные десятки тысяч, тысячи или сотни рублей, которые он проживает ежегодно и посвящая свой досуг, употребляемый им в городах на увеселения, на ту деятельность на пользу голодного народа, какая ему будет по силам. Уже одно то, что он будет жить там и проживёт там то, что он проживает обыкновенно в городе, принесёт материальную помощь народу; а то, что он будет жить среди этого народа, даже не с самоотвержением, но только с бескорыстием, уже принесёт нравственную пользу ему и народу. Очевидно, человек, приехавший в голодную местность для того, чтобы быть полезным народу, не может ограничиться тем, чтобы только жить в своё удовольствие среди голодного населения. Я представляю себе такого человека, мужчину или женщину или семью с средними средствами, положим с тысячью рублями в год, переехавшего так в неурожайную местность.

Лицо это или семья нанимает или получает от знакомых помещиков помещение, или выбирает, нанимает избу, устраивается в ней согласно своим требованиям и способностям к перенесению неудобств жизни, заготавливает дрова, провизию, заводит лошадь, корм и т. п. Всё это хлеб народу; но этим не могут ограничиться отношения этой семьи или этого лица к народу. На кухню придут сейчас же нищие с сумами. Надо подать. Кухарка жалуется, что хлеба выходит много. Надо или отказывать в кусочках, или печь лишние хлебы. Стали печь лишние хлебы, народу стало ходить больше. Из семьи, где хлеб дошёл и есть нечего, пришли попросить, надо и туда дать. Оказывается, что своя кухарка не управляет и печь мала. Надо нанять избу для хлебов и нанять особую кухарку. Это стоит денег. Денег нет. У поселившегося лица есть друзья, знакомые, которые знают, что он или она уехали в неурожайный уезд. Ему или ей присылают денег люди, знающие его, и дело продолжается, принимает соответствующие нужде формы, растёт.

Мне кажется, что столовые, — места, где кормят проходящих, — эта та форма помощи, которая сама собою сложится из отношений богатых людей к голодающим и принесёт наибольшую пользу. Форма эта более всего вызывает прямую деятельность помогающего, более всего сближает его с населением, менее всего подлежит злоупотреблениям, даёт возможность при меньших средствах прокормить наибольшее число людей, а главное, обеспечивает общество от того страшного, висящего над нами всеми Дамоклова меча, — мысли о

том, что вот-вот, пока мы живём по-старому, здесь, там умер человек от голода.

Если бы такие столовые распространились везде в голодающих местностях, ужасная, угнетающая нашу совесть угроза была бы устранена.

В Данковском и Епифанском уездах с сентября открылись такие столовые. Народ дал им название «сиротских призрений», и, как кажется, самое название это предотвращает злоупотребление этими учреждениями. Здоровый мужик, имеющий хоть какую-нибудь возможность прокормиться, сам не пойдёт в эти столовые объедать сирот, да и, сколько я наблюдал, считает это стыдом. Вот письмо, полученное мною от моего приятеля, земского деятеля и постоянного деревенского жителя, о деятельности этих сиротских призрений:

«Шесть *сиротских призрений* открыто не более десяти дней, и уже питается в них около 200 человек. Заведующий столовыми, с совета сельского старосты, уже принужден допускать едоков с разбором, так много представляется нуждающихся. Оказывается, что кормятся крестьяне не семьями, а что нуждающиеся семьи выставляют своих кандидатов — почти исключительно старух и детей. Так, например, отец шести человек детей — в дер. Пашкове — просил допустить двух из них, а затем через два дня привёл ещё третьего. Староста говорил, что «особливо хорошо поглядеть, как помлаже ребятки свекольник полюбили». Тот же староста мне рассказывал, что иногда матери сами приводят своих детей, «слыгаются, что это для смелости, а оглядится, да и сама поест». Когда слышишь эти слова старосты, то понимаешь, что это не ложь и что придумать их нельзя; ужели голод ещё не наступил? Мы, конечно знаем, что зверь у порога; но беда в том, что этот зверь одновременно врывается во столько семей, что не хватит, пожалуй, наших запасов. Учёт показал, что в день выходит на едока 1½ ф. хлеба и 1 ф. картофеля, но сверх того потребно топливо да всякая мелочь: лук, соль, свёкла и т. д. Более же всего затрудняет топливо, оно представляет собою наиболее дорогой материал. Крестьяне установили очередные подводы, чтоб ездить за припасами. Организация требует распорядительного человека, и хлопотлива хозяйственная заготовка припасов; самые же сиротские призрения *не нуждаются* в надзоре за расходом припасов: сама хозяйка так привыкла жить век крохами, да к тому же все посетители так следят за оборотами своей столовой, что малейшая небрежность — и она моментально бы огласилась, а затем и устранилась бы сама собой. У меня вырыто новых два подвала и в них засыпано уже 300 четвертей картофеля, но всего этого мало, так как требования растут ежедневно. Кажется, что помощь

попала в самую надлежащую точку. Человек над шестью столовыми поставлен, но время расширить круг деятельности столовых и срок ещё не пропущен.

Чую, насколько отрадна для молодого поколения будет работа в столовых; ведь испытываешь наслаждение, поливая в засуху растения; каково же должно быть упоение ежедневно кормить голодных малышей!”

Больших подробностей о деятельности этих учреждений я пока не знаю. Думаю, что эта форма удобная и возможная, но эта форма не исключает все другие. Живущие по деревням лица, как только они вступят в близкое и непосредственное общение с народом, найдут новые, соответствующие нужде формы помощи, которые могут быть до бесконечности разнообразны.

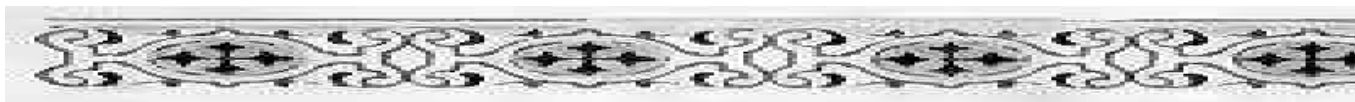
Нужно только, чтобы были люди. А люди эти есть, наверное есть. Я был в 4-х уездах, и в каждом уезде есть уже люди, готовые на эту деятельность и в некоторых начавшие её.

Лев Толстой» (29, 109 – 116).

Как видим, настроения Льва Николаевича, выраженные в этой финальной, важнейшей главе статьи «О голоде» — не сводятся ни к утилитаризму и светскому гуманизму, ни к фарисейской «благотворительности» церковных обрядоверов, ни тем более не тяготеют к политической оппозиционной программе. Восприятие статьи таким образом через 1800 лет после Христа — гнусный позор лжехристианского мира, в особенности же России, так как именно в России, о чём мы расскажем в своём месте, против Толстого в связи с этой статьёй были пущены в ход некоторые гнусные приёмы и, на самом тяжёлом этапе бегичевской его эпопеи, вместо поддержки устроен скандал.

Здесь Конец Прибавлению к Главе Второй





Глава третья. **КАК СТАТЬ ДУХОВНЫМ ЦАРЁМ** (Ноябрь 1891 г.)

Видишь: там, на горе, возвышается крест,
Под ним десяток солдат... Повиси-ка на нём,
А когда надоест, возвращайся назад —
Гулять по воде,
Гулять по воде,
Гулять по воде со мной.

(Илья Кормильцев)

3.1. Благая инициатива Софьи Андреевны Толстой

1 ноября Софья Андреевна ответила на письма от супруга и от дочери Татьяны следующими известиями:

«Вот как много я получила сегодня писем от вас, милые Лёвочка и Таня, и очень это меня оживило. Потом пришли обедать ко мне Грот и Страхов, и мы хорошо разговаривали. Грот сегодня едет в Петербург. Статью твою <«О голоде»>, Лёвочка, пропустили; Грот её смягчил и велел тебе сказать, что она вышла очень добрая. Вчера её читали вслух у Фета, где я обедала (в первый раз), потому что там остановился Страхов, и мне хотелось побыть с ним. Был там ещё Николаев, пишущий в «Московских ведомостях» — тупой человек, и странно: Страхов, Фет и Николаев — три совершенно разные элемента и все очень хвалили статью и искренно, по-видимому. Я прослушала тоже её с удовольствием, очень уравновешенная статья, как я и люблю. Грот говорит, что всем, без исключения, она очень нравится.

[...] Ты пишешь, милая Таня, запродать холстину; не знаю, буду ли я в состоянии бегать по разным местам, а как мне хотелось бы помочь вам! Я очень сочувствую всякой помощи, и очень страдаю, что смерть Дмитрия Алексеевича и моё не совсем хорошее здоровье помешали мне до сих пор действовать. Меня Страхов, Фет и другие подбодряют напечатать воззвание о пожертвованиях и указать на ваш, Серёжин и Лёвин пункты для посылки этих пожертвований.

Сегодня, после лихорадки, я набросала эту статейку, прочла Страхову; он одобрил, кое-что поправил, и я, вероятно, напечатаю. А то никто, ведь, без поощрения не даст ни гроша, да и не знают, куда дать. Вы все за это не сердитесь. Хотела я, было, сама ездить собирать с листом Красного Креста, да вот боюсь теперь простудиться; да одно другому не мешает.

Сижу я тут и всё примериваюсь, за тебя, Лёвочка, как ты тут будешь жить, и мне делается страшно, и я даже не желаю теперь вашего скорого возвращения, лишь бы все здоровы были.

По-видимому, вам хорошо там материально, за что и спасибо Ивану Ивановичу. — Сейчас пришёл Дунаев, поговорю с ним.

.... Дунаев обещает хлопотать о холсте, хочет прислать мне доктора Клейнера, но это бесполезно, я совсем не больна. Целую вас всех. Я теперь совсем помирилась с вашей деятельностью и сочувствую ей. Проживу я хорошо, только берегитесь все и не забывайте меня. Тем радостнее будем жить вместе после разлуки.

С. Т.» (*Толстая С.А. Письма к А.Н. Толстому. М, 1936. [Далее сокр.: ПСТ.] С. 454 – 456*).

Конечно, в присутствии дома маленьких детей и в условиях распространения в ту пору в крупных городах России тяжёлой вирусной пневмонии (коронавирус HCoV-OC43), бывшей в российских условиях не менее опасной, чем сам голод, холера или тиф в сельской местности, самостоятельные объезды потенциальных благотворителей с разрешительным документом от Российского общества Красного Креста были для С. А. Толстой невозможны.

О приведённом нами выше, от 1 ноября, и о предшествующем ему письмам жены Лев Николаевич записал в Дневнике под 6 ноября: «Два письма от Сони. Мне не перестаёт быть грустно за неё и от неё» (52, 57). Сам он открыл 1 ноября *первые три столовые*, завершил писание статьи «Страшный вопрос» и, конечно, был горд собой. Кажется, он едва заметил сказанное Софьей Толстой в письме, не оценил значения, и уж никак не мог знать последствий предприятия Софьи Андреевны, о котором она упоминает в письме: готовившегося ею «воззвания о пожертвованиях».

Об обстоятельствах написания воззвания С. А. Толстая сообщает в мемуарах «Моя жизнь» следующее: «слухи об усиливающемся бедствии в России всё делались ужаснее. Становилось совестно просто жить и быть сытой. [...] Часто, садясь за обед, я ничего не могла есть, меня мучили мысли о голодных — особенно детях» (*Толстая С. А. Моя*

жизнь: В 2-х кн. М., 2014. Книга вторая. [Далее сокр.: МЖ – 2.] С. 228).

Но записи С. А. Толстой в личном её дневнике под 12 ноября 1891 г., то есть по самым свежим воспоминаниям, открывают нам наличие у жены Толстого ещё одного, гораздо менее очевидного, импульса для такой работы. Она боролась таким образом со страшной депрессией, которую вызвал у неё переезд в Москву, в родной, некогда даже любимый город:



С. А. Толстая в 1894 г.

«Приехав в Москву, я страшно затосковала. Нет слов выразить то страшное душевное состояние, которое я пережила. Здоровье расстроилось, я чувствовала себя близкой к самоубийству». Это состоя-

ние усилилось от негативных впечатлений жизни: смерти Д. А. Дьякова и заболевания гриппом всех четверых детей. «Одну ночь я лежала и не спала и вдруг решила, что надо печатать воззвание к общественной благотворительности. Я вскочила утром, написала письмо в редакцию «Русских ведомостей» и сейчас же свезла его. На другой день, воскресенье, оно было напечатано. И вдруг мне стало веселее, легче, я почувствовала себя здоровой, и со всех сторон посыпались пожертвования» (Толстая С.А. *Дневники. М, 1978. Том первый. [Далее сокр.: ДСАТ – 1.] С. 217*).

Без сомнения, те же импульсы, а именно городская осенняя и иногда зимняя тоска досужих, зажиточных людей вкупе с некоторыми волнениями от совести, руководят и в наши дни подпутинской российской сволочью: как благотворителями посредством денег, так и исследователями, пишущими о якобы такой же, как их, благотворительной деятельности Л. Н. Толстого. Но мы уже приоткрыли выше читателю секрет: Соня понимала мужа! В чём отличие христианского служения мужа и сына, с постоянными лишениями, психологическими травмами и риском для жизни и здоровья, от обыкновенных «благотворительных» денежных сборов (или даже пресловутого «волонтерства», в наши дни устраиваемого в России сытыми и всем довольными людьми, с задействованием таких же сытых и довольных людей, да ещё и за деньги, в ряде случаев бюджетные, то есть собранные принудительными поборами с людей, трудящихся подневольно и зачастую куда менее довольных, здоровых и сытых) — понимала лучше всех их и лучше многих современников Софья Андреевна Толстая! Не конкурировать, как сын, Лев-младший, и уж точно не подменить своей эту деятельность, а облегчить её в конкретно-исторических условиях лжехристианской, православной России, в которой деньги будут требовать даже со святого — вот в чём была её задача!

В «Моей жизни» Софья Андреевна добавляет, что перед отсылкой в газету благоразумно показала своё воззвание Н. Н. Страхову, который, как сообщает мемуаристка, «сделал небольшие поправки и сказал мне, что этот призыв вылился из моего сердца так цельно и горячо, что надо его непременно напечатать в том виде, как я его почувствовала непосредственно» (МЖ – 2. С. 228). Напечатано воззвание было в № 303 «Русских ведомостей», вышедших в свет 3 ноября, т.е. уже в понедельник.

Вот его полный текст:

«Благотворительность и денежные пожертвования так велики, что страшно приступать к этому вопросу. Но и бедствие народа оказывается гораздо больше, чем предполагали все. И вот ещё и ещё надо давать, и ещё, и ещё — просить.

Вся семья моя разъехалась служить делу помощи бедствующему народу. Муж мой, граф Лев Николаевич Толстой, с двумя дочерьми находится в настоящее время в Данковском уезде с целью устроить наибольшее количество столовых, или “сиротских призреций”, как трогательно назвал их народ. Два старшие сына, служа при Красном Кресте, деятельно заняты помощью народу в Чернском уезде, а третий сын уехал в Самарскую губернию открывать по мере возможности столовые.

Принужденная оставаться в Москве с четырьмя малолетними детьми, я могу содействовать деятельности семьи моей лишь материальными средствами. Но их надо так много! Отдельные лица в такой большой нужде — бессильны. А между тем каждый день, который проводишь в тёплом доме, и каждый кусок, который съедаешь, служит невольно упрёком, что в эту минуту умирает кто-нибудь с голоду. Мы все, живущие здесь в роскоши и не могущие переносить вида даже малейших страданий наших детей, неужели мы спокойно вынесли бы вид притупленных и измученных матерей, смотрящих на костенеющих от холода и умирающих от голода детей, на не питающихся вовсе стариков?

Но всё это видела теперь семья моя. Вот что, между прочим, пишет мне моя дочь из Данковского уезда об устройстве местными помещиками столовых на пожертвованные ими средства:

“Я была в двух: в одной, которая помещается в крошечной курной избе, вдовой готовится на 25 человек. Когда я вошла, то за столом сидело пропасть детей и, чинно держа хлеб под ложкой, хлебали щи. Им дают щи, похлебку и иногда ещё холодный свекольник. Тут же стояло несколько старух, которые дожидались своей очереди. Я с одной заговорила, и как только она начала рассказывать про свою жизнь, так заплакала, и все старухи заплакали. Они, бедные, только живы этими столовыми, дома у них *ничего* нет, и до обеда они голодают. Дают им есть два раза в день, и это обходится вместе с топливом от 95 копеек до 1 рубля 30 копеек в месяц на человека”.

Следовательно, можно спасти за 13 рублей до нового хлеба — человека. Но их много, и средств помощи нужно бесконечно много. Но не будем останавливаться пред этим. Если мы, каждый из нас прокормит одного, двух, десять, сто человек, — сколько кто в силах, уже совесть наша будет спокойна. Бог даст нам, в нашей жизни, не придётся переживать ещё такого года! И вот решаюсь и я обратиться ко

всем тем, кто хочет и может помочь, с просьбой способствовать материально деятельности семьи моей. Все пожертвования пойдут прямо и непосредственно на прокормление детей и стариков в устраиваемых мужем и детьми моими — столовых.

Пожертвования можно посылать по следующим адресам...» (следуют адреса Льва Николаевича, сыновей Сергея и Ильи, Льва-младшего и самой Софьи Андреевны).

Не мне, грешной, благодарить всех тех, кто отзовется на слова мои, а тем несчастным, которых прокормят добрые души.

2 ноября 1891 г.

Гр. С. Толстая» (*Цит. по: МЖ – 2. С. 228 – 229*).

Николай Николаевич Страхов был прав. Воззвание было написано и талантливо, и умно, и искренне. Тут же С. А. Толстая вспоминает и об общественной реакции на него:

«Пожертвования стали поступать с необыкновенной быстротой. Уже в первое утро мне принесли более 400 рублей, а в сутки я получила 1500 рублей. Во всё время голода и помощи мы получили на семью нашу около 200 тысяч, и даже более» (*Там же. С. 229*).

Дневник Софьи Андреевны Толстой, 12 ноября 1891 г.:

«Как сочувственно, как трогательно отозвалась публика к моему письму! Некоторые плачут, когда приносят деньги. С 3 по 12 число мне прибыло 9000 рублей денег. 1273 рубля я отослала Лёвочке, 3000 рублей вчера дала Писареву на закупку ржи и кукурузы...» (*ДСАТ – 1. С. 217*).

Письмо начали перепечатывать другие газеты, и скоро текст его стал известен в Европе и Штатах.

3.2. «Страшный вопрос». Хлеб и деньги!

Между тем, ещё ничего не зная о блестящем поступке жены, Л. Н. Толстой отправил ей 2 ноября готовую статью «Страшный вопрос» для публикации в прессе, а в прилагавшемся письме — свой отчёт о первых шагах помощи крестьянам Данковского уезда:

«Мы до сих пор ещё не получили писем, милый друг, и я не спокоен о тебе. Надеюсь, что завтра получим, и хорошие от тебя вести. Деятельность здесь самая радостная, если бы можно назвать радостною деятельность, вызванную бедствием людей. Три столовые открыты и действуют. Трогательно видеть, как мало нужно для того, чтобы помочь и, главное, вызвать добрые чувства. Нынче я был в двух во время сбора и обеда. В каждой около 30 человек. В числе их одна попадья вдова и дьячиха. Нынче я сделал наблюдение, что очень приглядываешься к страданиям, и не поражает и большое лишение и страдание, потому что видишь вокруг худшие. И сам страдающий видит тоже. Девочки наши все очень заняты, полезны и чувствуют это. Мы не распространяем своей деятельности, чтобы не превзойти свои средства; но если бы кто хотел быть полезным людям, то здесь поприще широкое. И так легко и просто.

Устройство столовых, которым мы обязаны Ивану Ивановичу, есть удивительная вещь. Народ берётся за это как за что-то родное, знакомое, и смотрят все как на что-то, что так и должно быть и не может быть иным. Я в другой раз опишу тебе подробнее. Ив. Ив. всем нам очень мил. Сердечен, умён и серьёзен. Мы все его больше и больше любим. Жить нам прекрасно. Слишком роскошно и удобно. Писарев был вчера, нынче должна была быть она <жена Писарева, Евгения Павловна. – Р. А.>. Завтра Таня хотела к ней съездить. Наташа <Философова> очень милая, энергичная, серьёзная. Богоявленский был 2 раза.

Написал я эту статью <«Страшный вопрос»>. Прочёл её Писареву и Раевскому, они одобрили, и мне кажется, что она может быть полезна. Красноречия там нет, и места для него нет, а есть нечто, точно нужное и мучающее всех. Пошли её поскорее в «Русские ведомости», и, если будут предлагать, то возьми с них, чем больше, тем лучше, денег для наших столовых. Если пришлют, хорошо, а не пришлют, тоже хорошо. Денег не нужно, но если пришлют, то здесь найдётся им употребление.

Я пишу это, и сам боюсь. Боюсь, чтобы деньги эти и всякие, если бы прислали их, не спутали нас, не увлекли в деятельность сверх сил. Нужнее всего люди. Пиши подробнее о себе, своём здоровье, о детях. Целую тебя, милый друг, и детей. [...]

Попроси Алексея Митрофановича <Новикова>, которого благодарю за его хорошее письмо, просмотреть статью и поправить знаки и даже выражения, где могут быть неправильны, под твоим наблюдением; корректуру, верно, ты просмотришь. [...] Ну, пока прощай» (84, 91 – 92).

Выраженное в этом письме отношение к деньгам Льва Николаевича свято, но и тревожно для перспектив начатого дела: становится ясным, что при жизни И. И. Раевского и, во всяком случае, до получения сведений от жены о привлечённых ею крупных пожертвованиях Толстой, действительно, не планировал «распространять деятельность» шире, чем требовала того совесть: необходимость хоть какого-то участия в начатом *не им*, общем христианском деле.

Из «Биографии Льва Николаевича Толстого» П. И. Бирюкова:

«Так началась деятельность Л<ьва> Н<иколаевича>ча и его дочерей по кормлению голодающих.

Начата была эта деятельность очень скромно. В начале ноября он писал мне:

"Неделю тому назад, нынче 3 ноября, мы — я, Таня, Маша, Вера Кузьм<инская> уехали, с согласия трудно добытого <у> С. А., с 500 р. в Данковск<ий> уезд на границе Епифан<ского> — местность очень голодную, и живём там у Раевского. Все заняты и хорошо. Столовые для самых бедных, у девочек ещё школа и желание и попытки помощи во всех родах. Я очень рад за них. Время очень интересное, положение напряжённое и опасное. Я написал одну статью — поспешную и потому нехорошую — в журнале Грота. Её арестовали и едва ли пропустят, и послал другую в "Рус<ские> ведом<ости>": не знаю, пропустят ли. Должно быть. Статья неважная, но нужная, ставящая вопрос о том, есть ли у нас достаточно хлеба".

Статью, о которой упоминает Л. Н-ч в письме ко мне и в письме к С. А., он назвал "Страшный вопрос". Статья эта хорошо известна читающей публике, и мы приводим из неё только наиболее характерные выдержки, указывающие на ход мысли Л. Н-ча при его заботе о помощи голодным» (*Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого. Указ. изд. С. 162*).

Биография Бирюкова начала публиковаться ещё в царской России — в подцензурных условиях. Излагая текст статьи «Страшный вопрос», биограф предусмотрительно исключил из неё почти все «крамольные» места, касающиеся как указания причин голода, так и описаний недостатков в деятельности представителей власти на всех уровнях и земств на местах. Достаточная краткость статьи, с одной стороны, и достаточная обширность нашего исследования с другой, позволяют нам привести ниже полный, бесцензурный её текст.

«Страшный вопрос»

«Есть ли в России достаточно хлеба, чтобы прокормиться до нового урожая? Одни говорят, что есть, другие говорят, что нету, но никто не знает этого верно. А знать это надо и знать наверняка, теперь же, перед началом зимы, — так же надо, как надо знать людям, пускающимся в дальнее плавание, есть ли или нет на корабле достаточное количество пресной воды и пищи.

Страшно подумать о том, что будет с командой и пассажирами корабля, когда в середине океана окажется, что запасы все вышли. Ещё более страшно подумать о том, что будет с нами, если мы поверим тем, которые утверждают, что хлеба у нас достанет на всех голодающих, и окажется перед весной, что утверждающие это ошиблись.

Страшно подумать о последствиях такой ошибки. Последствием этой ошибки ведь будет нечто ужасное: разрушение всего существующего порядка, смерть голодных миллионов и худшее из всех бедствий — остервенение, озлобление людей. Ведь хорошо только пушечными выстрелами предувещивать петербуржцев о том, что вода поднимается, потому что больше ведь ничего нельзя сделать. Никто не знает и не может знать степени подъёма воды: остановится ли она на том, что было прошлого года, или дойдёт до того, что было в 24-м году, или поднимется ещё выше.

Голод же нынешнего года, кроме того, что есть беда без сравнения бо́льшая, чем беда наводнения, без сравнения более общая (она угрожает всей России), — есть беда, степень которой можно и должно не только предвидеть, но можно и должно предвидеть и предупредить.

«А! полноте. В России достанет, и за глаза достанет всякого рода хлеба для всех», — говорят и пишут одни люди, и другие любящие спокойствие люди склонны верить этому. Но нельзя верить тому, что говорится наобум, по догадкам о предмете такой ужасной важности.

Если скажут, что в сомнительной прочности бане, в которую ходят раз, в субботу, балки простоят ещё и не нужно их переделывать, можно поверить и рискнуть оставить баню без переделки; но если крыша опасна на фабрике, где постоянно работают тысячи человек, и скажут голословно, что есть вероятие, что она не обрушится ещё нынче, — нельзя поверить и успокоиться. Угрожающая опасность слишком велика. Опасность же, угрожающая России, если хлеба, нужного для питания людей, ни по каким ценам не будет, опасность эта так ужасна, что воображение отказывается представить себе то,

что бы было, если бы это было так; и потому довольствоваться голословными успокоительными утверждениями о том, что у нас в России хлеба достанет, не только не следует, но было бы безумно и преступно.

Но существует ли такая опасность? Есть ли вероятность того, что хлеба не достанет? Ответом на этот вопрос могут служить следующие соображения. Во-первых, то, что голодом захвачена $\frac{1}{3}$ России, и та самая треть, которая всегда кормила большую часть остальных двух третей. Калуга, Тверь, Москва, все нечерноземные и северные губернии, даже не пострадавшие от неурожая нечерноземные уезды тех же губерний, никогда не кормятся своим хлебом, а всегда покупают его у тех, которые теперь сами должны кормиться чужим хлебом.

Поэтому, если считать, положим, по 10 пудов на душу, — ну, скажем, только 20 миллионов (когда их вычисляют до 40-а) жителей голодающих уездов, — 200 миллионов пудов нужного хлеба, то это далеко не представит всего количества нужного для пропитания России хлеба. К этому числу надо присоединить всё то, что ещё нужно на тех, которые питались в прежние годы хлебом пострадавших местностей, что, очень может быть, составит ещё такую же цифру.

Неурожай в самых плодородных местах делает нечто подобное тому, что совершается при перестановке точки опоры рычага; не только уменьшается сила короткого конца, но ещё увеличивается во столько же раз сила длинного.

Захвачена неурожаем $\frac{1}{3}$ России — самая плодородная, кормившая остальные $\frac{2}{3}$, и потому очень вероятно, что хлеба на всех не достанет.

Это одно соображение. Второе соображение, что соседние с Россией страны поражены таким же неурожаем и что потому большое количество хлеба уже вывезено, и теперь в виде пшеницы продолжает вывозиться за границу.

Третье соображение то, что, совершенно противно тому, что было в голодном 40-м году, в нынешнем году нет и не может быть никаких запасов старого хлеба.

С Россией случилось нечто подобное тому, что случилось, по рассказу Библии, в Египте, только с той разницей, что в России не было предсказателя Иосифа, не было запасливого управителя — того же Иосифа; но были молотилки, железные дороги, банки и большая потребность в деньгах и правительства и частных лиц. Во все предшествующие года, более 7-ми, хлеба было много, цены были низки, но потребность в деньгах всё росла и росла, как она равномерно растёт среди нас, и удобства продажи, молотилки, железные дороги и

агенты, покупатели поощряли к продаже и делали то, что хлеб продавался весь дочиста с осени. Если в последние годы, когда хлеб особенно понизился в цене, некоторые продавцы и стали выдерживать хлеб, выжидая цен, то эта выдержка была так трудна, что как только цены поднялись в начале весны нынешнего года и дошли до 50 — 60 коп. за пуд, так хлеб весь под метёлку был продан и запасов прежних лет ничего не осталось. В 40-м году были не только запасы помещиков и купцов, были везде по мужикам трёх- и пятилетние кладушки старого хлеба. Теперь обычай этот вывелся и нигде нет ничего подобного. В этом состоит третье соображение о том, что хлеба в нынешнем году не достанет.

Но мало того, что есть вероятия этого, есть признаки — и довольно определённые — того, что недостаток этот существует.

Один из таких признаков есть с каждым днём чаще и чаще повторяющееся явление того, что хлеба нет в продаже. В глуши неурожайных местностей, как в той, в которой я нахожусь теперь, в Данковском уезде, *нет продажной ржи. Нельзя мужику найти муки.* Вчера я видел двух мужиков Данковского уезда, которые объездили округу, хорошо известную им на 20 верст радиуса, по всем мельницам и лавкам, чтобы купить на деньги два пуда муки, и не нашли их. Один выпросил в складе чужого уезда; другой занял.

И это явление не исключительное, а постоянно повторяющееся, и везде. Мельники приезжают просить Христа ради отпустить им муки из земского склада, потому что у них нет муки и негде достать. У купцов, в городе, у железных дорог — можно купить, но партиями, по крайней мере полвагона, вагон; но по мелочи нет продажи. Большие купцы, имеющие запасы, совсем не продают, выжидают; мелкие купцы, торговцы, скупают, перекупают и перепродают с ничтожным барышом большим покупателям. Мелкая продажа есть только на базарах, в базарные дни; и то, если покупатель опоздает, то купить уже негде. Признак этот, мне кажется, показывает довольно верно то, что хлеба нет, сколько нужно. Это самое показывают отчасти и цены, хотя в нынешнем году до сих пор есть причины, не позволяющие ценам быть правильными указателями соответствия требования с предложением. Цены стоят ниже, чем они должны бы были стоять, и удерживаются на этой степени искусственно: во-первых, запрещением вывоза хлеба за границу; во-вторых деятельностью земств, продажей ржи и муки по удешевлённым ценам (я говорю про цену ржи, подразумевая, что цены остальных питательных веществ: отрубей, картофеля, проса, овса — более или менее соответствуют цене ржи).

Запрещение вывоза за границу спутало цены, т. е. сделало то, что цены не могли быть верным показателем количества предлагаемого товара. Точно так же как высота подъёма воды в запруженной реке не может быть показателем её настоящего уровня, так и теперешняя цена ржи не может верно показывать отношения требований её к предложению. Запрещение вывоза других хлебов подействовало так же. Существующие теперь цены суть цены не установившиеся и во всяком случае временно пониженные вследствие запрещения вывоза. Это одна причина того, что цены стоят ниже тех, которые должны бы быть. Другая причина есть деятельность земств.

Земства повсюду скупили только небольшую, редко где $\frac{1}{4}$ часть того хлеба, который им нужен для прокормления, по их же расчету, и продают этот купленный ими хлеб по пониженной цене. И эта деятельность земств сбивает цену, так как если бы не было продажи из земских складов, то продажа эта производилась бы вольными продавцами, которые по мере увеличения требования поднимали бы цены. И потому установившаяся теперь цена, я думаю, не есть настоящая. Цена теперешняя, я думаю, гораздо ниже той, которая бы стояла, если бы не было деятельности земств. И цена эта тотчас же особенно быстро должна возвыситься, как только земствам придётся закупить остальные три четверти нужного им хлеба.

Мы могли бы сказать, что цена не возвысится, если бы земства закупили теперь всё нужное количество, и рожь была бы в продаже по этой цене. Но по тому, что есть теперь, нет никакого вероятия, чтобы это было. По тому, что есть теперь, т. е. при цене 1 р. 70 к., тогда, когда земством не куплено и $\frac{1}{4}$ нужного хлеба и когда ржи нет в предложении повсюду и по мелочи, есть, напротив, вероятия того, что при закупании земствами всего нужного им количества, цена вдруг поднимется на такую высоту, которая покажет, что хлеба этого нет в России. Цена уже теперь в наших местностях дошла до той высшей степени, до которой она когда-либо доходила, до 1 р. 70 к., и продолжает равномерно подниматься.

Все эти признаки указывают на то, что есть большое вероятие того, что нужного для России хлеба нет в ней. Но кроме этих признаков есть ещё одно явление, которое должно бы заставить нас принять все зависящие от нас меры для предупреждения угрожающего нам бедствия. Явления это есть охватившая общество паника, т. е. неопределенный, смутный страх ожидаемого бедствия, страх, которым люди заражаются друг от друга, страх, лишаящий людей способности целесообразно действовать. Паника эта выражается и в распоряжениях правительства, запрете сначала вывоза ржи, потом

других хлебов, кроме почему-то пшеницы, и в мерах, с одной стороны, ассигнования больших сумм для голодающих, с другой стороны — собирания, и даже усиленного, податей с тех, которые могут платить, как будто извлечение из деревни денег не есть прямое усиление нужды деревни. (У богатого мужика заложены посевы бедного. Он бы подождал, — с него тянут подати, он тянет и разоряет бедного.)

Паника эта поразительно заметна ещё в том разгорающемся до озлобления несогласии земств с администрацией. Повторяется то, что всегда бывает при паническом страхе: одни тянут в одну, другие в другую сторону.

Паника эта выражается и в настроении и в деятельности народа. Приведу один пример: движение народа теперь на заработки.

Народ в конце октября нынешний год едет искать заработков в Москве, в Петербурге. В то время, когда все работы на зиму установились, когда харчи в три раза дороже обыкновенного и всякий хозяин отпускает сколько он может лишних людей, в то время, когда везде пропасть оставшихся за штатом рабочих — люди, никогда не имевшие мест в городах, едут тысячами, десятками тысяч искать этих мест. Разве не очевидно всякому, что при таких условиях более вероятия каждому владельцу выигрышного займа выиграть 200 тысяч, чем мужику, приехавшему из деревни в Москву, найти место, и что вся поездка, хотя бы самая дешёвая, с сопряжёнными с поездкой расходами, где и выпивкой, есть только лишняя тяжесть, которая ляжет на голодного? Казалось бы, должно быть очевидно, — а все едут, едут назад, и опять едут, и правительство даёт дешёвые билеты, поощряет это. Разве это не признак совершенного безумия, охватывающего толпу при всякой панике?

Все эти признаки и, главное, явление паники очень знаменательны, и потому нельзя не бояться. Нельзя говорить, как это обыкновенно говорят про врага прежде, чем померяются с ним: мы его шапками закидаем. Враг, страшный враг тут, стоит перед нами и нельзя говорить, что мы не боимся его, потому что мы знаем, что он есть, и больше того, мы знаем, что мы боимся его.

А боимся его — так надо нам узнать прежде всего силу его. Нельзя оставаться в том неведении, в котором мы находимся.

Допустим, что русское общество, те люди, которые живут вне голодающих местностей, поймут свою солидарность и духовную и материальную с бедствующим народом и принесут настоящие серьёзные жертвы для помощи нуждающимся. Допустим, что деятельность тех людей, которые живут теперь среди голодающих, работая для них

по мере сил своих, будет продолжаться так до конца и что количество этих людей увеличится; допустим, что сам народ не падёт духом и будет биться с нуждой как он теперь бьётся с ней всеми отрицательными и положительными средствами, т. е. умеряя себя и усиливая энергию и изобретательность для приобретения средств к жизни, — допустим, что всё это сделано и делается месяц, два, три, шесть и вдруг... цена поднимается, поднимается так же, как она поднималась от 45 к. до 1 р. 70 к., равномерно от базара до базара, и в несколько недель доходит до 2, 3 руб. за пуд, и оказывается, что хлеба нет и что все жертвы, принесённые как теми, которые давали деньги, так и теми, которые жили и работали среди нуждающихся, были напрасной тратой средств и сил, а главное, что вся энергия народа потрачена даром, и сколько он ни бился, ему, т. е. части его, все-таки пришлось умирать голодной смертью, тогда как мы могли знать и предупредить это.

Нельзя, нельзя и нельзя оставаться в такой неизвестности, нельзя оставаться нам, людям грамотным, учёным. Мужик, которого я видел вчера, сделал почти всё, что он мог. Он добыл денег и поехал искать муки. У Михаила Васильева был, на мельнице был, в Чернаве был. Нигде нет муки. Объездив все те места, где могла быть мука, он знает, что сделал всё, что мог, и если бы после этого он не достал нигде муки, и его и его семью постиг бы голод, он знал бы, что он сделал, что мог, и совесть его была бы покойна.

Но для нас, если окажется, что не хватит хлеба, и погибнут и наши труды, а может быть и мы вместе с народом, то совесть наша не будет спокойна. Мы могли и узнать, сколько нам понадобится хлеба, могли и запасти его.

Если нужна нам на что-нибудь наша грамотность и учёность, то на что более важное, чем на то, чтобы помочь такому всеобщему горю, как нынешнее?

Учесть, сколько нужно хлеба для прокормления тех, у которых нет его нынешний год, и сколько его есть в России, и если его нет столько, сколько его нужно, то выписать этот недостающий хлеб из чужих стран — это наше прямое дело, столь же естественное, как и то, которое делал мужик вчера, объезжая округу на 20 верст. И совесть наша будет спокойна только тогда, когда мы объездим свою округу и сделаем в ней всё, что можем. Для него округа Данков, Клёкотки, для нас округа — Индия, Америка, Австралия. Мы не только знаем, что страны эти существуют, мы находимся в дружеском общении с их жителями.

Но как учесть то, что нам нужно, и тот хлеб, который есть у нас? Неужели это так трудно? Мы, которые умеем высчитывать, сколько

каких козявок на свете, сколько каких микробов в каком объеме, сколько миллионов вёрст до звезд и сколько в каждой пудов железа и водорода, — мы не сумеем высчитать, сколько надо съесть людям, чтобы не помереть с голода, и сколько собрано этими людьми с полей того хлеба, которым мы всё время кормились и теперь кормимся? Мы, с такой роскошью подробностей собирающие такую массу до сих пор, сколько мне известно, никому ни на что не понадобившихся статистических сведений о процентном отношении рождаемости к бракам, к смертям и т. п., мы вдруг не в состоянии окажемся собрать единственно в кои-то веки понадобившиеся, действительно нужные сведения! Этого не может быть.

Сведения эти собрать, и не приблизительные, гадательные, а верные, вроде тех точных сведений, которые получаются о количестве населения однодневной переписью, — возможно.

Нужны сведения о том, сколько сверх обыкновенно расходуемого на пропитание русских людей хлеба понадобится ещё для жителей неурожайных мест и сколько есть хлеба в России.

Трудны или не трудны ответы на эти вопросы, они необходимы для предупреждения не только паники, т. е. смутного заразительного страха перед бедствием, в котором живут теперь люди, но главное для предотвращения самого бедствия.

И ответы нужны не приблизительные, огульные, по догадке; дело слишком важно, чтобы можно было делать его очертя голову, т. е. выводить тот свод, на который мы не знаем, достанет ли камня, чтобы замкнуть его.

Сведения эти может получить правительство, может получить земство, там, где оно есть, и вернее всего может получить частное общество, сложившееся для этой цели. Нет того уезда, в котором не нашлось бы не только одного, но нескольких людей, которые не были бы в состоянии и не взялись бы охотно послужить этому делу. Дело это представляется мне нетрудным. В неделю времени без большого труда деятельный человек может объездить $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{5}$ часть уезда, особенно если он живет в ней, и с возможностью ошибки в 10, 15% определить количество необходимого хлеба для пропитания и количество находящегося в продажу, сверх нужного для себя хлеба. Я по крайней мере берусь лично доставить такие сведения в неделю сроку о $\frac{1}{4}$ части уезда, в котором живу. То же говорят, что могут сделать большинство лиц, живущих по деревням, с которыми я говорил об этом. Организовать центральное место, в котором бы собирались и группировались сведения и которое рассылало бы своих членов для этой цели в места, где не нашлось бы добровольцев, я полагаю, что возможно и нетрудно. Могли бы быть ошибки, могли

бы быть утайки владельцами хлеба, могло бы передвижение грузов хлебных произвести ошибки; но ошибки расчета, я думаю, были бы невелики, и сведения, полученные таким способом, были бы настолько точны, что ответили бы на главный если не всеми высказанный, то всеми сознаваемый мучительный вопрос: достанет или не достанет хлеба в России?

Если бы, положим, оказалось, что в нынешнем году, за вычетом употребляемого обыкновенно на армию и винокурение, избыток хлеба против того, что нужно на питание народа, составляет 100 или 50 миллионов пудов, предполагая, что часть этих ста миллионов могла бы быть задержана продавцами, часть могла бы погибнуть, сгореть, часть могла бы составить ошибку расчета, мы могли бы спокойно и уверенно продолжать жить и работать. Если бы избытка совсем не было и оказалось бы что в России столько же и есть хлеба, сколько нужно, положение было бы сомнительно и опасно, но все-таки можно бы было, не выписывая хлеба из-за границы, только умеряя расходы хлеба, как, например, на винокурение, переделывая в пищу суррогаты, можно бы было продолжать жить и работать. Но если бы оказалось, что есть недостаток хлеба в 100 или хоть 50 миллионов пудов, положение было бы ужасно. Было бы то, что бывает, когда уже вспыхнул пожар и охватил строение. Но если бы мы узнали это теперь, то это было бы подобно тому, когда вспыхнул пожар, но еще можно потушить его. Если же бы мы узнали это только тогда, когда уже выходили бы последние десятки тысяч пудов, то это было бы подобно пожару, который охватил уже всё строение и оставляет мало надежды спастись из него.

Если бы мы теперь узнали, что у нас нехватка хлеба, пускай бы она была в 50, в 100, даже в 200 милл. пудов хлеба, — всё это было бы не страшно. Мы бы теперь же закупили этот хлеб в Америке и всегда расплатились с нею государственными, общественными или народными суммами.

Люди, которые работают, должны знать, что работа их имеет смысл и не пропадет даром.

Без этого сознания отпадают руки. А чтоб это знать, для той работы, которой заняты теперь огромное большинство русских людей, надо знать теперь, сейчас же, через 2, 3 недели, знать: есть ли у нас достаточно хлеба на нынешний год, и если нет, то откуда мы можем получить то, чего нам не достает?

А. Толстой.

1-го ноября 1891 г.» (29, 117 – 125).

Из «Биографии Л.Н. Толстого» П.И. Бирюкова

«Хлеба оказалось достаточно. Но горячее слово, сказанное Л. Н-чем, всколыхнуло всё русское общество. Влияние этой статьи было громадно.

Один земский врач писал Л. Н-чу:

“...Ваше обращение к обществу должно ли рассматривать как боевой призыв, за которым последует самое дело, или вы хотели предоставить инициативу этого дела другим людям? Но в России нет теперь духовного вождя, кроме вас. Есть представители разных воззрений, направлений мысли, но вождя, за которым бы шли, который действовал бы на толпу не только нравственно, но и практически, увлекая её за собой, такого вождя, кроме вас, нет. За вами идут уже многие, и когда вы начнёте большое дело, за вами пойдёт большинство, поднимутся и отчаявшиеся в себе, и ослабевшие. Для этого не нужно необходимо быть единомышленником ваших теорий, нравственная мощь чувствуется помимо её, а теперь именно предстоит не теория, а дело, за которое равно могут приняться и христианин, и язычник, и ваш последователь, и ваш противник, но нужен вождь, и только вы им можете быть. Нужна организация, и вы должны дать её”.

Илья Ефимович Репин писал из Петербурга дочери Толстого:

"Статью Л. Н-ча "Страшный вопрос" в "Русских ведом<остях>" читал сейчас же по прибытии газеты сюда. Я приехал к П. в самый раз, читали вместе и удивлялись могучей постановке вопроса. В самом деле, сколько писалось и пишется по этому делу! Везде говорят об этой статье и много пишут. У NN целое литературное собрание было по этому поводу".

Татьяна Львовна писала Репину свои соображения и впечатления о начатом деле и сообщала краткие сведения о самом способе его ведения. Это письмо произвело также сильное впечатление на петербургскую публику. Вот что пишет по этому поводу Репин Татьяне Львовне:

"Письмо ваше так значительно, так животрепещуще интересно, что мне даже жалко было читать его одному. Я бы сейчас снес его в любую газету; оно теперь прочиталось бы всеми. Вечером повезу его к Стасовым, будем наслаждаться, страшно сказать — людским несчастьем. Нет, не этим, а тем, что свет не без добрых людей, что вера в Бога настоящего ещё не оскудела; что сильные люди сильны до конца: дают пример слабым захирелым душонкам, шевелят их... Что молодёжь, здоровая, прекрасная, полная жизни, не на словах, не на

бумаге, у себя в кабинете, а прямо на деле, засучив рукава, действует, спасает от смерти этих отдалённых, несчастных, забитых судьбою и пространством людей. Ведь теперь для них встреча с вами всё равно, что в прежние времена, встреча приговорённой к смертной казни — с царицей — им даровалась жизнь... И теперь вы многих спасаете от верной гибели — велика ваша заслуга!..» (Бирюков П.И. *Биография Льва Николаевича Толстого. Указ. изд. Том Третий. С. 163 – 164*).

О гуманитарной катастрофе, которую, действительно, могла усугубить нерасчётливость правительства в расходовании хлебных сбережений — ещё одна запись в дневнике Т. Л. Сухотиной-Толстой, от 31 октября:



«Голодные сироты». По фото Й. Стадлинга. 1892 г.

«Вчера встала часов в 8. Немножко переписала для папá <черновики статьи «Страшный вопрос». – Р. А.>, скроила себе бумазейную кофту и пошла с Марьей Кирилловной в Екатериненское. Сперва нам показали дорогу не в то Екатериненское, в которое мы хотели идти, и мы даром слазили на Горки и назад. Погода была прекрасная, солнце светило, и морозило. Снегу все нет. Перешли мы опять Дон, вошли в деревню, и я спросила первых попавшихся трёх ребят, где "сиротское призрение".

— Пойдёмте, — говорят. — Мы сами туда идём.

Двое мальчиков лет от 10 до 12 и девочка много поменьше, которая, всунувши руки в рукава, бежала около них. Крошечные ножонки в маленьких чунях. Пока мы шли на тот край деревни, где столовая, дети забегали ещё за другими детьми, и пока мы дошли, уже собралось детей 10. Все одеты очень плохо. Особенно трое детей из двора Соловьёвых. На них оборванные, казинетовые <Плотная бумажная материя. – Ред.> поддёвочки, которые от локтя и от талии в лохмотьях.

Старшая девочка ведёт четырёхлетнего брата за руку. Другую ручонку он засунул за пазуху, лицо синее и испуганное, тоже рысью поспекает за сестрой.

Пришли мы в "сиротское призрение"; там уже народу пропасть набралось. Эта деревня большая, 76 дворов, и многим отказывают в "сиротском призрении". Тут же на лавке стонет больная, кривая старуха. Она — побирушка из другой деревни. Здесь её собака повалила, и у неё после этого ноги отнялись. Принесли её в "призрение", и вот она тут лежит с месяц. На ней, прямо на голое тело, надета рваная кофта. В избе ужасный смрад от торфяной топки. Старуха там несколько раз угорала. Зовёт смерть и жалуется, что она не приходит. Сидит на нарах, один глаз белый, худая, длинная шея, вся в морщинах, говорит слабым голосом и немного трясёт головой в одну сторону.

Хозяйки ещё не было, когда мы пришли. Мы не стали её дожидаться, тем более что Марью Кирилловну стало тошнить от этого запаха и смрада, и мы пошли домой. По дороге прошли мимо мужика, который веял гречиху; другой с бабой молотил овёс. Я с ними поговорила. Они говорят, что это — последнее и что это оставят на семена.

Из одной избы вышла баба, как все тут, очень коротко одетая: сарафан чуть-чуть ниже колен, босая. Я с ней поговорила и вошла к ней в избу. Тут сидит её муж и трёхлетняя дочка. Двое детей ушли в

"призрение" обедать. Девочка бледная, всё время хнычет и показывает пальцами куда-то, точно просит чего-то. Я спросила, обедали ли.

— Нет ещё.

— А что есть будете?

— Хлеб.

— Какой? Покажите.

Хозяйка принесла чёрный, как земля, хлеб с лебедой.

— Ну, а девочке что?

— А девочке картошки есть.

Она вынула из печки на блюде глиняном несколько картошек и очистила одну девочке.

Та стала её есть, но не перестала хныкать. Лицо у неё грустное и взрослое.

Баба говорит, что она была хорошенькая, весёлая, ходила уже и даже рысью бегала, а теперь перестала. Я спросила, больна ли она чем-нибудь.

— Нет, — говорит, — помилуй бог, — а так себе, всё плачет.

Я с бабой поговорила о моём плане насчет холстов, и она так же сочувственно отнеслась к этому, как и другие.

От неё пошли мы домой и только зашли к старосте спросить, где, по его мнению, можно устроить ещё "призрение".

Тут ещё старуха пришла просить её принять есть.

Потом прошли мы с Марьей Кирилловной в Никитское, купили мыло, бумаги, перьев для школы, она себе табаку. Лавочник нам жаловался, что его дела в пять раз хуже обыкновенного, что никто ничего не покупает.

Идя домой, встретили Дмитрия Ивановича, который ехал от брата, и успели как раз к обеду.

После обеда Иван Иванович сдал нам списки лиц, судьбу которых он поручил нам узнать для того, чтобы о них дать сведения в Красный Крест. Я взяла список екатериненских бедных и пошла опять туда. Надо было узнать положение трёх семей. Первая мне показалась не особенно жалка. Однодворец с женой, матерью и четырьмя детьми; один болен. Топить нечем, есть нечего, но в избе тепло и на столе лежит полковриги хлеба с отрубями. Он жил прежде у Ивана Ивановича, но теперь на заводе работы нет, и ему негде достать заработка.

Тут я встретила бабу, которую утром видела в столовой. Она повела меня к себе в избу. Изба крошечная, в одно окно; холодно так, что дыхание видно.

— Чем же ты топишь?

— Котятъями <тульский говор: «котяк» — конский навоз (по В. Далю). — Ред.>. Набрала с осени, да теперь по решету и топлю.

— А их-то хоть осталось?

— Да есть ещё на потолке.

Лавок нет, одна скамейка.

Пока у неё сидела, влетела её дочь с сердитым криком:

— Издохла-а!

Руки у неё были синие, и она, сложивши пальцы, старалась их во рту согреть. Мать сейчас же стала её обшаривать, так как девочка только что пришла с мельницы, куда ходила просить. За пазухой у ней нашёлся кусок пеньки и в кармане другой. Муки никто не дал. Я сообщила бабе то, что мне Иван Иванович сказал, когда я ему сказала, что надо бы открыть другую столовую в Екатериненском, а именно, что не только другую не откроют, но и в этой кормят последний день. Баба совсем оторопела.

— Что же нам, помирать теперь?

Я её утешила, что будут хлеб раздавать на руки и что я похлопочу о том, чтобы и столовую опять бы открыли. Я это и хочу сделать.

От неё пошли мы к старику с старухой. Они двое живут в избе. Он на печке лежит — болен. Изба тоже очень мала, темна и холодна. Они безземельные, так что и у них ничего нет.

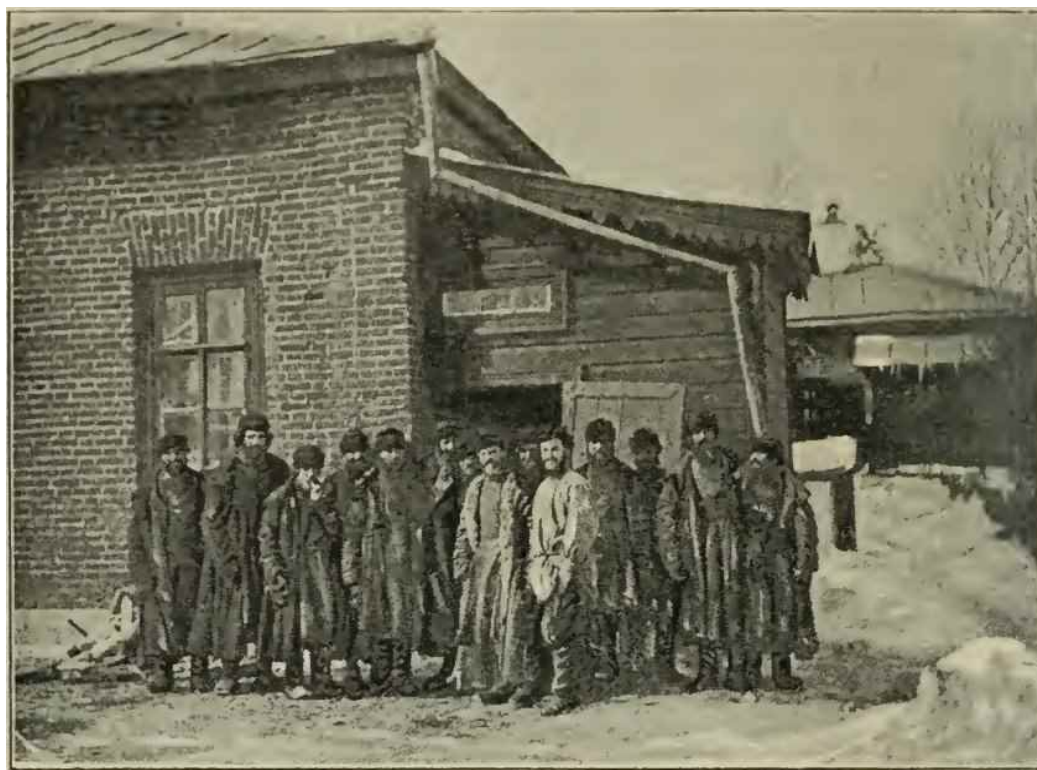
Оттуда я пошла домой. Совсем смеркалось. Пришла к чаю, но так нездоровилось, что я легла на диван в тёмный угол и издали слушала разговор Богоявленских, которые приехали часов в 6, с папá и Раевским. Папа и девочки ездили к Мордвиновым за почтой, но писем, кроме как от Оболенского ко мне, не было, что нас огорчило, то есть меня встревожило» (*Сухотина-Толстая Т.Л. Дневник. Указ. изд. С. 239 – 242*).

Эта зарисовка страшной народной российской повседневности свидетельствует, в частности, что Таня могла, умела быть художницей не только у мольберта в Москве, но и художницей яркого и эмоционального слова, как и её отец. Всё это она сообщила, вместе с припиской от отца, матери в письме от 4 ноября.

В приписке к письму Т. Л. Толстой Лев Николаевич продолжает темы предшествующего своего письма, от 2 ноября, и кстати откликается на известие о смерти Дьякова:

«Хочется приписать тебе хоть несколько слов, милый друг. Жить здесь очень хорошо, чувствуется, что приносишь пользу, и было бы мне и всем нам вполне хорошо, если бы не мысль о тебе, о том, что тебе тяжело и грустно. Жаль, что не пришлось видеться с Дьяковым перед смертью. Ничто так не напоминает о своей близости к смерти, как смерть таких близких, как он был мне. И напоминание это на

меня всегда действует ободряюще. Я совсем здоров. Нынче писал рассказ для Оболенского. Очень бы хотелось, чтобы вышло. Целую тебя и детей.



В ожидании Л.Н. Толстого. Крестьяне-просители.
Фото Й. Стадлинга. Рязанская губ., 1892 г.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Под «рассказом для Оболенского» Толстой подразумевает рассказ «Кто прав?», не оконченный им, готовившийся для сборника в пользу голодающих, в котором участвовал его давний знакомый, публицист Д. Д. Оболенский (1844 – 1931). – Р. А.]

В статье «Страшный вопрос», там, где говорится о бане и театре, замени, пожалуйста, театр фабрикой, т. е. так, чтобы сказать: но если крыша опасна на фабрике, где постоянно работают тысячи человек и т. д. Или вовсе выкинь всё сравнение, как найдёшь лучше» (Там же. С. 92 – 93).

Софья Андреевна не успела внести эту поправку, так как письмо Толстого получила лишь 9 ноября, а статья 6 ноября уже вышла в свет. Впоследствии редакторы 29-го тома Полного (юбилейного) собрания сочинений Л. Н. Толстого внесли это изменение как раз на основании пожелания, выраженного Толстым в переписке. Соответственный отрывок в статье приобрёл такой вид:

«А! полноте. В России достанет, и заглаза достанет всякого рода хлеба для всех», — говорят и пишут одни люди, и другие любящие спокойствие люди склонны верить этому. Но нельзя верить тому, что говорится наобум, по догадкам о предмете такой ужасной важности.

Если скажут, что в сомнительной прочности бане, в которую ходят раз, в субботу, балки простоят ещё и не нужно их переделывать, можно поверить и рискнуть оставить баню без переделки; но если крыша опасна на фабрике, где постоянно работают тысячи человек, и скажут голословно, что есть вероятие, что она не обрушится ещё нынче, — нельзя поверить и успокоиться. Угрожающая опасность слишком велика» (29, 118).

Во встречном, от 4-го же ноября, письме своём Софья Толстая сообщает мужу о судьбе его статьи, но больше — о чудесной, спасительной для общего дела реакции общественности на её, скромной жены “великого Толстого”, обращения через газеты:

«Сегодня вечером получила твою статью, милый друг Лёвочка, немедленно послала с письмом и статьёй Алексея Митрофаньча к Соболевскому, редактору «Русских ведомостей», прося его приехать ко мне. Завтра утром, в 11 часов, он приедет уже с набранной статьёй, и если цензура пропустит, то мы с Алексеем Митрофаньчем её будем старательно корректировать.

Прочли ли вы моё письмо в редакцию «Русских ведомостей» от 3 ноября? В одни сутки мне принесли около 1500 рублей. Пишите скорей, куда выслать деньги. Я пошлю Серёже, Лёве и вам по 500 рублей. Вероятно будут ещё присылать.

Очень трогательно приносят деньги. Кто, войдя, перекрестится, и даст серебряные рубли; кто (один старик) поцеловал мне руку и говорит, плача: “примите, милостивейшая графиня, мою благодарность и посильную лепту”. Дал 40 рублей. Учительницы приносили, и одна говорит: “я вчера плакала над вашим письмом”. А то приехал на рысаке барин, богато одетый, встретил Андрюшу в дверях, спросил: “вы сын Льва Николаевича?” — Да. — “Ваша мать дома? Передайте ей”, и уехал. В конверте 100 рублей. Дети приходили и приносили 3, 5, 15 рублей. Одна барыня принесла узел с платьем старым. Одна нарядная барышня, захлёбываясь, говорила: “ах, какое вы трогательное письмо написали! Вот, возьмите, это мои собственные деньги; папаша и мамаша не знают, что я их отдаю. А я так рада!” В конверте 101 рубль 30 копеек. Брашнин привёз 200 рублей. <Иван

Петрович Брашнин (1826 — 1898), московский купец, религиозный единомышленник А. Н. Толстого. — Р. А. >

Не знаю, как вы все посмотрите на мою выходку. А мне скучно стало сидеть без участия в вашем деле, и я со вчерашнего дня даже здоровее себя чувствую; веду запись в книге, выдаю расписки, благодарю, разговариваю с публикой, и рада, что могу помочь распространению вашего дела, хотя чужими средствами. Дядя Серёжа, который у меня гостит, относится сочувственно; была Екатерина Фёдоровна Юнге <дочь художника, вице-президента Академии художеств гр. Ф. П. Толстого, троюродная сестра А.Н. Толстого. — Р. А. > и восторженно относится к моей выходке, вообще все одобрили, что-то вы скажете. Как только получу из Дирекции театров, опять пошлю вам деньги <авторский гонорар за постановку пьесы «Плоды просвещения». — Р. А. >, только прошу очень, напишите тогда строгий отчёт, что, где куплено на эти деньги, кто прокормлен будет, в каких местах, а то придётся печатать отчёт о пожертвованиях.

Сейчас получила телеграмму Грота, что твоя статья <«О голоде»>, Лёвочка, в Петербурге пропущена с маленькими сокращениями. Очень боюсь за последнюю; она во мне уныние возбудила, а уныние вредно для общего духа всего русского общества и народа.

Тут сидит Нагорнов и Варя; и Нагорнов говорит, что сколько хлеба в России — точно известно. Что *ржи*, *наверное*, не хватит, но овса, кукурузы, пшеницы, картофелю очень много; с Кавказа привезут всякого хлеба 35 миллионов пудов, а останется там ещё 20 миллионов, которых нельзя привезть, потому что ни вагонов, ни кораблей для перевоза достаточно нет, и что всё-таки придётся лишний продать за границу. Насколько всё это верно, — не знаю. — Завтра напишу ещё о том, что скажет Соболевский.

[...] От сыновей ни от кого известий нет, и теперь я больше всего тревожусь о Лёве.

Продолжай, милый Лёвочка, беречься, питайся лучше и больше, тебе силы всякие нужны для твоего организма. — Мне очень радостны и интересны ваши письма; пишите почаще. Кланяйтесь Ивану Ивановичу; сегодня был у меня Петя и читал кое-что из ваших писем с большим интересом.

Целую Машу, Веру, Таню и тебя. Будьте здоровы и помогай вам Бог. Когда-то увидимся! Я это себе и не позволяю представлять, чтоб не придти в нетерпение.

Прощайте. С. Т.» (ПСТ. С. 456 – 457).

Весной 1891 г. Софья Андреевна Толстая предприняла хорошо известную биографам авантюру: приехав в Петербург, она добилась личной аудиенции с царём, а от царя — разрешения на публикацию ненавистной ей лично, но сулившей ей, как издательнице, хороший доход «Крейцеровой сонаты» мужа, в очередной, 13-й, части Собрания его сочинений. При этом она и лично полюбилась имп. Александру III, пообещавшему ей благоволение своё и впредь. И в эту же поездку, но ещё до встречи с царём, и не менее напористо и изящно, Софья Толстая уладила в Петербурге ещё одно дело. Случайно, будто до чужого человека, до неё дошли сведения, что пьеса Л. Н. Толстого «Плоды просвещения», угодившая прежде под запрет для театральных постановок, вдруг оказалась скоренько внесена в репертуар, ни много ни мало, всех Императорских театров России и усиленно готовилась к премьере в ближайший сезон.

Если тётя «родина» захочет тебя ограбить — всегда отыщет способ...

Соня набросилась на Императорский театральный комитет как львица. Вот изложение событий из её дневника:

«Я спрашиваю там, было ли с их стороны какое-нибудь отношение к автору и спрос, желает ли он? Говорят, что нет. Я рассердилась, говорю там чиновнику, что очень уж бесцеремонно и неделикатно относятся к автору, и заявила, между прочим, что прошу теперь обращаться со всеми переговорами не к нему, а ко мне.

На другой день явился режиссёр с бумагой, в которой напечатаны условия: я принимаю на себя все возможные обязательства, например, что *ручаюсь*, что пьесы не будут играть на частных сценах, *обязуюсь* 2000 штрафом за неисполнение и т. д. Меня взбесили эти обязательства...» (ДСАТ – 1. С. 171).

И режиссёр немедленно был отправлен со своей бумагой туда, куда и нужно было его отправить. Без особой надежды на поддержку, Соня написала мужу обо всём произошедшем письмо. Но муж, прелестный муж, и автор пьесы меж тем не только ничего не знал о разрешении её к большой премьере, но даже не стремился узнавать. В письме к жене от 8 апреля, в ответ на утерянное её письмо (не позднее, надо полагать, 5-го), он пишет нечто не самое умное и совершенно не приятное для своей львицы-воительницы за семейные доходы:

«Какие условия тебе предлагают от театральной дирекции о пьесе? Ведь ты знаешь, что я никаких условий не желаю и предоставляю всем играть, где и как хотят. Поэтому ты очень хорошо сделала, что не приняла их условий» (84, 75).

Соня знала мужа и ждала такого ответа, а потому... и вовсе не ждала его. Уже на следующий день она нанесла по конторе Императорских театров третий и решающий, *триумфальный* удар. Пусть снова расскажет о нём её дневник — к сожалению, письма её тех дней к мужу были утеряны:

«Я заявила чиновнику, что я не согласна принять на себя никаких обязательств и пусть лучше пьеса не идёт, но я не подпишусь ни за что. Он говорит, что это надо директору сказать. Я велела доложить о себе директору Всеволожскому. Он было отказался. Я говорю: «Странные у вас порядки, Государя можно видеть, а директора, *обязанного* принимать, видеть нельзя». Моё высокомерие его смутило, и он пошёл докладывать. [...] Всеволожский принял меня развязно [...]. Я сказала: «Как? вы, человек нашего круга, вы не понимаете, что Льва Николаевича нельзя ставить на одну степень с водевильными авторами, что все мы, а прежде всех я, как жена и как порядочная женщина, должны считаться с его идеями, и потому я не могу подписать обязательства, что *нигде* на частных сценах пьесу эту играть не будут; что главную радость Льва Николаевича составляло то, что комедия эта не дала ему до сих пор ни копейки, а обязательство это лишает права играть эту пьесу на всех благотворительных спектаклях...» Я очень горячилась, Всеволожский предложил вычеркнуть некоторые обязательства. Я и на это не согласилась, и наконец он предложил написать письмо частное, что я предоставляю право играть на императорских театрах пьесу с 10 % с валового сбора, что я и сделала» (ДСАТ – 1. С. 171 – 172).

И чего, по преимуществу и добивалась, зная официальные правила об обычных 5 % с выручки (не считая обязательств!). «Ведь мы с Вами люди светские, не так ли, господин Всеволожский?»

Конечно, после опубликования Л. Н. Толстым письма с отказом от гонораров, Дирекция императорских театров получила возможность «забыть» об этом договоре. Но не тут-то было! Ещё 15 октября Софья Андреевна «написала письмо министру двора и сообщила ему намерение Льва Николаевича отдать эти деньги голодающим». Всемогущий граф Илларион Иванович Воронцов-Дашков (1837 – 1916), конечно, был счастлив исполнить просьбу Софьи Андреевны: в изысканно-вежливом письме он учтивейше «изъявил согласие выдать гонорар автору ввиду благотворительной цели, без всяких дальнейших формальностей» (МЖ – 2. С. 232).

И деньги, действительно, пошли на нужды голодавших!

Удивительно сыронизировала судьба над последовательным христианским бессребренничеством Толстого-драматурга: отказываясь

от гонораров за «Плоды просвещения», за плоды гениального творчества своего, он едва не лишил голодавший народ вполне буквальных, съедобных *плодов* организационных усилий множества дорогих ему людей, первой из которых была его любимая и любящая жена!

3.3. Упряжка становится тяжелее

Из очередного письма С. А. Толстой, от 6 ноября:

«[...] Теперь о ваших делах: на моё письмо в «Русских ведомостях» мне нанесли денег 3200 рублей. Вчера Морозова прислала 1000. Какая-то Евдокия Никифоровна, жена Викулы. <Евдокия Никифоровна Морозова (1838 - 1894), жена учредителя Ореховской мануфактуры Викулы Елисеевича Морозова. – Р. А.>

Жду от вас известий, чтоб переслать вам пока 1200 рублей, куда укажете. Но прошу убедительно Таню, чтоб записала подробно, куда истратятся деньги, чем подробнее и образнее, — тем лучше, надо отчёт печатать, многие намекали на это.

Статья твоя, милый Лёвочка, сегодня вышла. Вчера я целый час с Соболевским, который приезжал ко мне, её обсуждала и поправляла по корректуре. Потом читали с Алексеем Митрофанычем <Новиковым>. Соболевский <редактор «Русских ведомостей». – Р. А.> кое-что для цензуры выпустил и слегка изменил в трёх местах выражения. Так про Иосифа, вместо “управителя” — “людей”, “дешёвые билеты от правительства” — выпущено, “земство и администрация” — заменено и так далее.

Вероятно, вы получаете кто-нибудь, а на всякий случай посылаю два номера «Русских ведомостей».

Сейчас был Соболевский, привёз 273 рубля за статью. При первом вашем приказании могу прислать теперь больше, может быть, найдёте, где купить вагон хлеба или чего другого. Вчера Дунаев говорил, что тут продают по 1 р. 30 коп. пуд прекрасный горох и чечевицу. Не купить ли и не послать ли вам? О холсте — дают от трёх с половиной до пяти копеек за аршин, сбыту сколько угодно. Кое-кто даст и побольше. Дунаев сам вам напишет подробно об этом.

Весь день принимаю пожертвования; теперь от вас всех будет зависеть распределение. Вчера пришла учительница городская, принесла 10 рублей, говорит: «от моих детей и от меня» — и начала рыдать. Насилу я её успокоила. Ужасно милая, молодая. Предлагает на

праздники заменить кого-нибудь при столовых. Была сельская учительница и знает народ и жизнь деревенскую. Трогательно относится публика к моему письму и к пожертвованиям. Женщины все почти говорят: “мы плакали над вашим письмом, помоги вам Господь!”

Твою статью, Лёвочка <«Страшный вопрос»>, читал сейчас Сергей Николаевич <брат Л.Н. Толстого. – Р. А.>. Сначала ахал, говорил, что бунт произведёт, а потом сказал: «а конец хорош, очень хорош; да, надо знать, сколько хлеба. Вот у меня 700 четвертей ржи, пусть земство купит». Говорил, что написано очень хорошо. Какой-то купец привёз 26 рублей и говорит: “давно пора бы такую статью, спасибо Льву Николаевичу”.

[...] Сейчас уехал Сергей Николаевич. Миша с Сашей играют в halma. Ваничка спит. Андрюша читает статью отца. Monsieur очень старается и не отходит от мальчиков. Это письмо отвезёт ваш местный торговец; Петя стремится сам отвезти вам деньги. Я сделала запрос Серёже, куда ему послать деньги. О Лёве ничего не слышать; я и ему приготовила 1000 рублей. Есть письмо ему от нашего самарского прикащика, и это меня смущает. Где же он? Ну, прощайте, целую всех, напишу после завтра, 8-го, чтоб вы [в] воскресенье получили. Говорят, что надо было написать: Скопинский уезд, а не Данковский, и мои письма гуляли. <Бегичевка находилась в Данковском уезде, а ближайшая почтовая станция в Скопинском уезде. – Р. А.>

Кланяюсь Ивану Ивановичу. Сегодня был Ваня <сын И. И. Раевского. – Р. А.>.

С. Т.» (ПСТ. С. 458 – 459).

Статья «Страшный вопрос» была напечатана в № 306 «Русских ведомостей», 6 ноября.

Масштабы и многосложность деятельности благотворения разрастались, завершение их лично для Толстого отодвигалось в гипотетическое будущее — и, в огромной степени, благодаря счастливой инициативе Софьи Андреевны Толстой! Многим последствиям которой, однако, как мы увидим из дальнейшего, она сама не будет рада.

А Толстой и рад подольше быть полезным старому товарищу, Ивану Раевскому, но в то же самое время и оглядывается на оставленную прежнюю жизнь: пытается сочетать продолжение дела помощи крестьянам с обдумыванием и писанием, пусть и урывками, своих текущих работ: художественных «Кто прав?» и «Отец Сергей», трактата «Царство Божие внутри вас» (гл. VII и VIII) и статьи «О голоде» (правка

корректур). По Дневнику и письмам разным лицам можно назвать основные, уже определившиеся к этому времени, направления предпринятых им мер помощи. Это: открытие столовых (к 7 ноября их было 6, к 16-му — уже 23, к 25-му — 30-ть); поездки по деревням для наблюдения за работой действующих столовых; запись крестьян, просящихся в столовые; распределение и руководство работой сотрудников; закупка продовольствия: ржи, гороха, пшеницы, кукурузы, пшена, картофеля; закупка и распределение дров, лык для плетения лаптей, льна для тканья, сена для корма лошадей...

Об организации Толстым “лапотного” промысла, как наиболее близко коснувшегося её семьи, упоминает в своём дневнике Екатерина Ивановна Раевская (запись от 25 февраля 1892 г.):

«Граф Л. Н. Т. накупил лык и раздаёт их крестьянам двадцати девяти деревень, чтоб доставить им зимнюю домашнюю работу. Раздаётся лыко таким образом: мужик берёт себе один или несколько пучков лык и обязуется, конечно, на словах, сплести из них лапти из-полу, то есть за свою работу оставляет себе половину сплетённых лаптей, а другую половину должен принести Толстым, которые раздают их тем, кто действительно нуждается в обуви. Но крестьяне пользуются тем, что Толстые не знают, сколько пар лаптей можно сплести из каждого пучка лык. [...] Эта выборка о раздаче лыка и получении лаптей из двадцати девяти деревень и поручена Н. Цингеру <внуку Е. И. Раевской – Р. А.>. Он сегодня весь день за ней сидел» (*Раевская Е.И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих. Указ. соч. С. 409*).

6 ноября 1891 г. Толстой с дочерьми Марией и Татьяной и И. И. Раевским отправился пешком за 4 километра вниз по Дону, на хутор Утёс, где жил уже рассказанный выше Иван Николаевич Мордвинов, зять И. И. Раевского, земский начальник по Данковскому уезду и верный помощник Толстого во всей “голодной” эпопее. Из-за метели было решено заночевать у гостеприимного хозяина и, пользуясь относительно свободным утром 7 ноября, Толстой написал жене очередное, достаточно пространное письмо, ставшее ответом сразу на два её письма: от 1 и от 4 ноября. Приводим ниже его текст с небольшими сокращениями.

«Дня два не писали тебе, милый друг. Кажется, Наташа <Философова> посылает на почту, и я пользуюсь этим случаем. Вчера получили твои два письма: одно унылое и другое более бодрое, в котором ты пишешь [...] о твоём письме в газету.

Я вчера ещё сам себя спрашивал: что мне сосёт и грустно? И отвечал себе: ты, твоё здоровье и душевное состояние. Слава Богу, что теперь лучше. Только бы получить подтверждающее то же известие!

Событий у нас за это время никаких. Маша ездит каждый день в три столовые в Рыхотской волости, за 4 версты. Там много дела — и в том, чтобы следить за хозяйками (те, у которых столовые), и допускать просящихся, и отклонять попытки злоупотреблений. И тут есть. И, разумеется, не важно, что поест тот, кто желает, но, во 1-х, не достанет тем, кому нужно, и хождение ненуждающегося возбуждает дурные чувства в других. Кроме того, со вчерашнего дня там началась выдача муки от земства, и потому надо было отчислить тех, которым при этой выдаче уже не нужно. Таня же облюбовала ближнюю большую деревню *<а точнее село Екатерининское, Епифанского уезда, Тульской губ. – Р. А.>*, где уж получают от земства муку, но, несмотря на то, остаётся много бедняков, которых она и хочет кормить. Нынче она хотела начать. Вера взялась *<в Бегичевке>* за школу и с увлечением занимается ею; иногда ездит и ходит с дочерьми. Я хожу и езжу в Рыхотскую волость, где три столовые, и по утрам пишу.

Пишу я статью художественную *<«Кто прав?»>* для Оболенского. Половина сделана; кончаю свою большую работу *<«Царство Божие внутри вас»>*, и 3-го дня поправил корректуры Гротовской статьи *<«О голоде»>* и послал их. Если он будет печатать, то ты, верно, просмотришь в корректурах новые поправки. Нынче хочу написать статью описание столовых. Это очень важно. Как они устраиваются и как идут, с тем, чтобы каждый знал, как пользоваться этим чудесным, простым, практическим, народным и лучше других достигающим цели. Это тем более нужно, что ты в своём письме упомянула о них. *<Речь идёт о первом замысле статьи «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». – Р. А.>*

Твоё письмо *<в «Русские ведомости»>* очень хорошо. Только одно жалко, что говоришь, как бы восхваляя, о своих. Но всё очень хорошо.

[...] Вчера мы после обеда получили почту с твоими письмами, но не получили газет. Я целое утро был дома и решил идти пешком к Мордвиновым, по Дону версты 4. Это прелестная прогулка. Таня собралась со мной, потом Иван Иванович, потом Маша; только Вера осталась, потому что у ней школа вечером. Мы пошли, надеясь вернуться вечером же. Шёл снег с ветром; но, когда мы пришли и посидели, то оказалось, что ехать нельзя — такая мятель, и вот мы засели и ночевали. Здесь очень милая семья: подростки дети, учительницы, бабушка. *<Екатерина Ивановна Раевская. – Р. А.>* Наташа оказалась

тоже тут и не могла уехать. Теперь утро, и я от Мордвиновых пишу тебе, особенно в виду того, что, узнав о метели, ты будешь беспокоиться. Чтобы ты не беспокоилась в этом отношении, я тебе скажу, что я сам страшно боюсь этого, и как только мы приехали, я сделал уговор со всеми, к которому и сам первый подписался, чтобы в случае малейшей опасности мятели не ездить, а ждать. Так вот, милый друг, все наши новости, целую тебя и детей и жду хороших вестей, и надеюсь тебе всё давать хорошие.

Л. Т.» (84, 93 – 94).

Очередное по хронологии письмо от Софьи Андреевны было писано ею в пятницу, 8 ноября:

«Самое тяжёлое в нашей разлуке, что так редки сообщения. Вот уже дня четыре нет от вас известий, милые друзья. У нас было очень тяжело эти дни.

[...] Денег пожертвованных всего, с теми, которые послала вам, 5018 рублей. Жду от вас, Серёжи и Лёвы распоряжений. Есть и вещи для детей. Вчера Тане купец послал 300 рублей, получили ли? Грот пишет, что говорил час с министром внутренних дел и что узнал об очень хороших правительственных мерах; тогда напишу, когда узнаю. Жду сегодня от вас известий. Лёва меня тревожит, нет писем. Вчера была Софья Алексеевна <Трубецкая, урожд. Лопухина, 1841 – 1901; мать философов Евгения и Сергея Трубецких. – Р. А.> и Дунаев. Софья Алексеевна здорова, деятельна и очень строга. Предлагает мне купить через комитет великого князя кукурузу и рожь, потому что провоз даром. Без совета твоего, Лёвочка, ничего с деньгами не буду предпринимать. Хорошо бы у Серёжи скупить его 700 четвертей. Напишите мне, не могу ли я в Москве вам быть чем полезна, когда дети выздоровеют, а пока целую всех» (Там же).

Вскорости почта доставляет Софье Андреевне письма от близких, в том числе и письмо мужа от 4 ноября, и 9-го в полночь она снова с радостью пишет свой, на этот раз пространный, ответ. Вот что в нём непосредственно по теме нашего исследования:

«[...] Был сегодня Дунаев. Он мне дёшево купил горох и чечевицу, и я всё это отправляю на Клёкотки на ваши столовые, квитанцию пришлю в Чернаву <село с почтовой станцией, ближайшей к Беги-чевке. – Р. А.>. Какая досада, что Таня дала мне адрес Данковского, а не Скопинского уезда. Почтамт не принимал денег от жертвователей по адресу Данковского уезда. Сегодня послала заявление в газеты об этой ошибке. У меня сбора более 7000 рублей с теми, которые я

послала вам, и вот жду твоего распоряжения и совета, милый друг Лёвочка, как распорядиться лучше пожертвованными деньгами. Если б я видела больше народу, я бы послушала, что добрые люди говорят и посоветовалась бы, но болезнь детей, при моём одиночестве, совсем приковывает меня к дому. Софья Алексеевна советует скупить всю рожь у Сергея Николаевича и распределить по голодающим местам, куда нужнее, можно с губернатором посоветоваться.

[...] Мне совестно, что я утром, отправляя вам чужие письма, прекнула, что вы мне давно не пишете. Сегодня получила сразу 4 письма. Спасибо вам всем; это метель задержала, верно, почту, а не вы забыли меня. Я ведь каждое письмо перечитываю по нескольку раз.

Твои поправки, Лёвочка, я не могла сделать. Сегодня 9-е, а твоя статья уже вышла 6-го. Сегодня «Московские ведомости» чуть ли не революционером тебя выставили за твою статью. С какой подлостью они и тут видят какую-то политическую подкладку. Меня тоже они выбрали за письмо. Только злом и жива эта газета.

[...] Прощайте, милые друзья, верно вы мне сочувствуете в болезни Ванички. Судьба меня не щадит и покоя мне совсем нет. Лёва не пишет ничего. Целую вас всех. Завтра вечером напишу ещё письмо о Ваничке» *(Там же. С. 461 – 462).*

В тот же субботний день 9 ноября Л.Н. Толстой отвечает на письмо жены от 6-го:

«[...] Вчера я с Машей ездил на одной лошадке в наши столовые в Татищево, за 5 вёрст, а Таня ходила в свою ближайшую столовую. У нас теперь идёт пертурбация с тех пор, как деревни стали получать муку от земства. Прежде были определённо и несомненно нуждающиеся, а теперь с выдачей является сомнение, и, казалось бы, должно уменьшиться количество посещающих столовые, а оно ещё увеличилось.

Время идёт, запасы истощаются. Те, которые не были нуждающимися, становятся ими; и, кроме того мне кажется, что начинается волнение, недовольство, требовательность в народе. Здесь один мужик, Епифанского уезда, из деревни Курицы, ездил, как говорят, ходоком к <великому князю> Сергею Александровичу **<московский генерал-губернатор. – Р. А.>** в Москву жаловаться на Писарева, что им не выдают хлеба достаточно, и будто Сергей Александрович сказал ему, что дадут всем, и он, вернувшись, мутит народ. На деньги твои, почти на все 1100 р., мы решили купить дров, которые нашлись в околodge. Это было самое нужное и трудное достать.

Хлеба в нашей местности, судя по тому, что закуплено теперь земством, должно достать хотя на половину, но топлива совсем нет. Эти же дрова близко и дёшево, по 18 рублей за сажень. Они пойдут по столовым и прямо в помощь нуждающимся. Если же бы остались, то всегда могут быть променены на хлеб. Я в практическом деле вполне доверяюсь Раевскому, а это его мнение.

Вчера, возвращаясь с Машей домой, уж под домом мы встретили сани с факелом, которые ехали нам навстречу, так Иван Иванович беспокоится и заботится о нас. И дома застали двух Раевских <И. И. Раевского (младшего) и П. И. Раевского> и Ивана Александровича, который, встретившись с ними в Туле, приехал с ними. Нынче Таня и Маша были опять по своим столовым, Вера в школе <занималась с детьми, т.к. многие учителя бежали из голодных деревень. – Р. А.>, а я писал. Теперь же 3 часа. Они все на двух парах уехали к Наташе и вернуться хотели засветло к Мордвиновым, на половине дороги, где я их встречу. Мне очень многое хочется писать, но последние два дня, несмотря на то, что совершенно здоров, ничего не пишется. А хочется писать это заключение к моей большой статье <«Царство Божие внутри вас»>, статью Оболенскому, которую начал и много написал, и статью о столовых <«О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая»>, о наилучшем, по-моему, способе помощи, которую нынче писал. Это нужнее всего: хочется сообщить другим самый простой и практический способ помощи.

[...] Спасибо тебе за хлопоты о моей статье. Перемены так незначительны, что ничего неприятного нет. Получил я ещё письмо от одной г-жи Вагнер, из Курской губ., которая спрашивает совета, где бы она бы могла в продолжении 10 месяцев прокормить от 60 до 80 человек. Я её направил в Оренбург, но предложил заехать к нам.

О Лёве я бы беспокоился, если бы не знал, как там <в степях Самарской губ. – Р. А.> трудно и медленно сообщение. Прощай, душенька, целую тебя и детей.

Л. Т.» (84, 95 – 96).

10 ноября 1891 г. С. А. Толстая пишет мужу, попутно отвечая на письмо от 8 ноября, полученное от дочери Татьяны, где, в числе прочего, была такая просьба: «По почте пришлите на пожертвованные деньги фунта 3 чаю и сколько-нибудь сахару. Тут много больных и очень древних стариков и старух, которые только чай пить и могут. Заваривают они его себе в какой-нибудь махоточке и блаженствуют» (Цит. по: ПСТ. С. 464). Вот её ответ:

«[...] Сейчас получила письмо Тани. Все её поручения исполню, как могу, скоро. Тут Р. А. Писарев, я его увижу вечером у Философовых и, может быть, он возьмётся свезти чай, сахар и вещи. Постараюсь чай выпросить.

Что вы не пишете ничего [...] о том, *что мне делать с пожертвованиями?* Я нетерпеливо этого жду. Денег всего получила более 7000 рублей. Сама я здорова совсем и письма ваши мне достаточны, чтобы совсем быть довольной. Я так боюсь, что тебе, милый Лёвочка, будет тяжело в Москве и что девочки оторвутся от хорошего дела, что пока и не желаю вашего приезда. Только бы все здоровы были!

О Лёве всё нет известий, и это грустно. Много девиц приходят и предлагают себя на праздники, чтоб ехать в голодные места. Я беру адреса. — Ну, прощайте, милые друзья, я в конце концов всей душой живу вашим делом, хотя вот как тяжело под час, что сил моих нет. [...]

С. Т.» (ПСТ. С. 463 - 464).

Что касается якобы нежелания, выраженного С. А. Толстой в этом и последующих письмах, приезда мужа и дочерей в Москву, нам следует больше доверять её позднему признанию, высказанному в мемуарах:

«Хотя я писала, чтобы не ездили ко мне Лев Николаевич и дочери, всё же я болезненно желала и ждала этого» (МЖ – 2. С. 237). Указание на “болезненность” ожидания относится к последним числам ноября, но это, конечно, не означает, что Соничка не ждала их и не желала бы увидеть ранее.

Толстой в эти же ноябрьские дни взялся за исполнение обещания, данного Д. Д. Оболенскому: предоставить для его сборника, издававшегося в пользу голодающих, свой новый рассказ. Таковым должен был стать рассказ «Кто прав?». Оболенский имел глупость анонсировать ещё не написанный рассказ Толстого: именно от него сведения просочились в газеты. Между тем, навестив писателя в Беги-чевке и увидев условия напряжённого труда его над организацией многообразной помощи бедствующим крестьянам, Оболенский устыдился и решил для себя — не торопить, не тревожить Толстого, которому было явно «теперь не до рассказа». К тому же и надобность в сборнике отпала, вспоминал Д. Д. Оболенский, так как «пожертвования посыпались со всех сторон» (Оболенский Д.Д. (предисл.) *Перед операцией. Неизданное стихотворение А.Н. Апухтина // Исторический вестник. 1894. Том II. С. 299 – 300*).

Действительно, по сведениям в дневнике С. А. Толстой, только за дни с 3 по 12 ноября, первые после опубликования ей «воззвания к общественной благотворительности», она получила от разных лиц до 9 тысяч рублей: «1273 рубля я отослала Лёвочке, 3000 рублей вчера дала Писареву на закупку ржи и кукурузы» (*Толстая С.А. Дневники: В. 2-х тт. М., 1978. Том первый. [ДСАТ – 1] С. 217*).

Обращение к общественности Софьи Андреевны Толстой «выстрелило» как нельзя кстати и как нельзя спасительней для дела доброго, но расходливости которого в первый же месяц Лев Николаевич попросту не мог сколь-нибудь точно и предположить. Павел Бирюков, не простой биограф Толстого, а сам единоведец и участник многих общих с Толстым предприятий, свидетельствовал:

«Воззвание С<офьи> А<ндреев>ны получило живой отклик. Оно было перепечатано во всех русских и многих иностранных газетах Европы и Америки. С 4 по 17 ноября, в течение только 2 недель, ею получено около 5 с половиною тысяч в самой Москве, около 3 тысяч пожертвовано неизвестными и около 4 с половиною тысяч прислано из провинции. Всего поступило 13 000 р. 82 к. и довольно много разных вещей — полотна, платья, сухарей и т. п. В числе приславших С. А-не пожертвования находился известный о. Иоанн Кронштадтский, препроводивший 200 рублей» (*Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого. Указ. изд. Том третий. С. 165*).

При всём при этом, в отличие от жены своей, могущей с момента публикации своего воззвания быть практически иллюстрацией к возжеленной подпутинским толстоведам теме «благотворительности семейства Толстых», сам Лев Николаевич, скрипя сердцем согласившись на новые общественные роли, тогда и позднее относился к ним по-христиански: с долей иронии и скепсиса, как к делу не благословенному, не праведному, вызванному грешным общим состоянием лжехристианского мира. То же отмечает и приближённый биограф Толстого, Павел Бирюков: «Сомнения в том, хорошо ли сделал Л. Н-ч, взяв деньги и поехав кормить голодных, высказанные в дневнике Татьяны Львовны, скоро не замедлили оправдаться и нашли отклик в самом Льве Николаевиче» (*Бирюков П.И. Там же. С. 166*). Так, в письме к художникам Николаям Николаевичам Ге, отцу и сыну, около 9 ноября, задуманном с целью выяснить цену на горох в Черниговской губ., где жили на хуторе Плиски отец и сын, «и почём можно купить сотни пудов», Толстой вдруг срывается в такое интимное исповедание «милым друзьям Николаям Николаевичам»:

«Мы живём здесь и устраиваем столовые, в которых кормятся голодные. Не упрекайте меня вдруг. Тут много не того, что должно

быть, тут деньги от Софьи Андреевны и жертвованные, тут отношения кормящих к кормимым, тут греха конца нет, но не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать. И знаю, что делаю не то, но не могу делать то, а не могу ничего не делать. Славы людской боюсь и каждый час спрашиваю себя, не грешу ли этим, и стараюсь строго судить себя и делать перед Богом и для Бога» (66, 81 – 82).

Дело разрасталось, осложнялось, и стало, как пишет П.И. Бирюков смущать делателей, с одной стороны, сознанием его громадности, с другой же — всё равно недостаточности «действительной помощи» перед масштабами бедствия (*Бирюков П.И. Там же. С. 166*). В качестве иллюстрации таких настроений биограф приводит следующую запись, на 6 ноября, из дневника Татьяны Львовны Толстой:

«Дела тут так много, что я начинаю приходить в уныние: все нуждаются, все несчастны, а помочь невозможно. Чтобы поставить на ноги всех, надо на каждый двор сотни рублей, и то многие от лени и пьянства опять дойдут до того же.

Тут много нужды не от неурожая этого года, а от того же, от чего наш Костюшка беден: от нелюбви к физической работе, какой-то беспечности и лени. Тут деньгами помогать совершенно бессмысленно. Всё это так сложно!

Может быть, Костюшка был бы писателем, поэтом, может быть актёром, каким-нибудь чиновником или учёным. А потому, что он поставлен в те условия, в которых иначе, как физическим трудом, он не может добывать себе хлеба, а физический труд он ненавидит, то он и лежит с книжкой на печи, философствует с прохожим странником, а двор его этим временем разваливается, нива не вспахана, и бабы его, видя его беспечность, тоже ничего не делают и жиреют на хлебе, который они выпрашивают, занимают и даже воруют у соседей.

Таким людям дать денег — это только поощрить их к такой жизни. Дело всё в том, как папа говорит, что существует такое огромное разделение между мужиками и господами, и что господа держат мужиков в таком рабстве, что им совсем нет простора в их действиях.

Я думаю, что такое положение дел, какое теперь, не долго останется таким, и как бы нынешний год не повернул дела круто.

Тут часто слышится ропот на господ, на земство и даже на “императора”, как вчера сказал один мужик, говоря, что ему до нас дела нет, хоть мы все издыхай с голода. Еще известие в этом роде привёз вчера Иван Иванович. Ему рассказывали, что несколько мужиков из соседней к Писареву деревни собрали 20 рублей и поехали в

Москву жаловаться на него Сергею Александровичу. Говорят, их за это засадили. А тут ещё вышел этот идиотский и жестокий циркуляр министра, который Зиновьев всем рассылает, о том, чтобы земство помогало только тем мужикам, которые этого *заслуживают*, и лишало бы помощи тех, которые откажутся от каких бы ни было предлагаемых работ. Так что, если мужика будут нанимать ехать отсюда до Клекоток (30 вёрст) за двугривенный и он сочтет это невыгодным, то его надо лишить всякой помощи и оставить умереть с голоду. Это ужасно, что эти люди, сидя в своих кабинетах, измышляют. И ведь эти меры применяются на мужиках, которые в сто раз умнее всех Зиновьевых и Дурново и с которыми обращаются, как с маленькими детьми, рассуждая, заслуживают ли они карамельки или нет

[...] Сегодня метель, но все-таки придется идти в Екатерининское открывать столовую.

Как много жалких людей!

Редкий день Маша или Вера не ревут, и меня, хоть я и подтверже, иногда пробирает. На днях зашла к мужику в избу. Пропасть детей, есть совсем нечего. В этот день с утра не ели. Протопили стену избы, вместо которой мужик подвел мазаную каменную.

— Сколько детей у тебя?

— Шестеро.

— Что же нынче ели?

— Ничего с утра не ели. Пошёл мальчик побираться, вот его ждём.

— Как же это? детей-то жалко!

— Об них-то и толк, касатка!

Мужик отвернулся и зарыдал» (*Сухотина-Толстая Т.А. Дневник. Указ. изд. С. 242 – 245*).

И далее, очень важное, из записей уже на 7 ноября:

«...Самые грандиозные пожертвования придут к нам, вероятно, из Англии, так как папá получил письмо, в котором ему предлагают принимать английские пожертвования. **<Письмо от Томаса Фишера Унуина, о котором подробнее мы расскажем в своём месте. – Р. А.>**

Папа написал, что он согласен и что те деньги, которые не понадобятся тут, он передаст в земства более нуждающихся губерний.

И опять мне не нравится сочетание папа с деньгами. Il y a quelque chose qui cloche. [*фр.* Что-то тут не то] Совет богатой девушке сжечь 200 тысяч гораздо более гармонирует с его взглядами. А тут есть компромисс, хотя я ясно не могу выразить, в чём он заключается» (*Там же*).

Здесь же, в дневнике, Татьяна Львовна цитирует письмо к сестре Маше от Евгения Попова, толстовца, но типа при этом весьма похотливого до женщин, в определённый момент желавшего сделать предложение Марии Львовне (и, несмотря на единомыслие во Христе, Толстой ему, конечно, решительно отказал). Вот отрывок из письма Попова:

«За Козловом в одном вагоне со мной очутился Емельян Ещенко, которого Лев Николаевич знает отчасти и который вчетвером с товарищами возвращался из Сибири. И он рассказал мне про голод в Оренбургской губернии и Акмолинской области, в тех частях около Кургана, через которые они проезжали. В одной хате, куда они попросились ночевать, их не пустили, потому что только что померла от голода женщина, а раньше её трое человек. В другой деревне умерло тоже четверо и 50 человек просили священника их отысповедовать <т.е. готовились умирать. — Р. А.>. Есть люди, которые не ели по шести суток. Вся скотина, мелкая и крупная, заколота и съедена, и в одном месте просили священника и едят маханину <конское мясо>. Те, которые поближе к городам, перебрались под них и перебиваются кое-как, а дальние сидят на местах. Хлеба очень много и хватило бы, так сами голодающие говорят, но весь позаперт у купцов. Два года тому назад был необычайный урожай (овёс был 7 копеек за пуд, пшеница — не помню) и всё было ссыпано к купцам, а они теперь не продают, дожидаясь повышения цен. Народ волнуется и озлоблен. Ещенко проезжал через одну деревню, сгоревшую дотла и сгоревшую от двора хлебного купца, которого подожгли свои односельчане. В одной из деревень мужики заложили свою землю в банк и устроили столовую своим обществом и кормят стариков 1 раз, а детей — 2 раза в сутки. Вот то, что я слышал и что может быть интересно вам, а я надеюсь ещё раз побывать у Ещенко и узнать подробности... Правительственная помощь этим крестьянам доходит в количестве 7 фунтов в месяц, и то только тем, до которых доходит...» (Там же. С. 247 – 248).

И ещё из дневника Татьяны Львовны, уже собственные её записи о тяжёлом дне 7 ноября, всё тоже очень близкое отцу и искреннее:

«Вчера и сегодня я ничего не сделала — это меня мучает. Целых два дня быть голодным из-за того, что мне беспокойно было вчера отпустить папá одного к Мордвиновым, а сегодня совестно второй раз велеть закладывать. Это — не резон, и если только возможно будет, то после обеда я пойду или поеду в Екатериненское открыть столовую. Метель сильная, так что, пожалуй, меня не пустят. Ну, тогда надо написать то, что я хотела, в газеты о том, в каком состоянии народ, и о том, как я намерена употреблять присланные деньги.

Я уже получила денежное объявление на 6 рублей. Тут надо самолюбие и литературу откинуть, а написать попроще и как можно правдивее всё, что я вижу, потому что это необходимо нужно. Во-первых, многие, которые говорят, что нет голода, узнают, насколько он есть, во-вторых, на деле испробовав такой способ помощи, как столовые, надо сообщить о нём все подробности, и, может быть, другие последуют нашему примеру, а в-третьих, может быть, это вызовет в некоторых жалость и желание помочь, что всегда желательно» (Там же. С. 248 – 249).

Татьяна Львовна вскоре напишет, в поддержку матери и отцу, своё открытое письмо в газеты о смысле и значении открываемых ею с отцом столовых.

Наконец, вечер 7 ноября, только одного из множества таких же, морально и физически тяжёлых дней христианского служения Толстого с приближёнными в Бегичевке, увенчался такой записью в дневнике Татьяны Львовны:

«7 часов вечера.

Хотя было трудно, но я пошла в Екатерининское после обеда и рада этому. Назначила избу, в которой будет столовая, и сходила к старосте, чтобы сказать ему назначить очередную подводу за провизией. Видела нескольких мужиков, и сегодня ещё новая сторона голодного вопроса открылась мне. Это то, что крестьяне все приготовились к тому, что проедят к весне свою землю, поэтому не берегут ни лошадей, ни семян. Положим, что если бы они и хотели, то не могли бы. Что-то будет? Я часто думаю о том, чем этот год кончится, и не могу себе представить, что будет с мужиками. Ведь в их хозяйстве камня на камне не останется. А кулаки, купцы, разные мельники и др., которые теперь за крошечные деньги купили и хлеб, и скотину, разживутся на этом и поработят себе мужиков совершенно, если только они это допустят и не восстанут против этого, что очень возможно и вероятно.

[...] Сейчас приходил мужик и говорил, что два дня не ел. Скоро таких будет много. Ещё признак нищеты это то, что вечером в редкой избе виден свет.

Метель продолжается. Идя в Екатерининское, мне приходилось лезть через горы снега, а когда возвращалась, то одну минуту боялась не найти дома. Уже смеркалось, ветер встречный и снег так и залепливал глаза.

Опять вечером у меня то тяжёлое чувство, которое теперь редко проходит. Это не жалость к голодающим и не страх за них, это не

чувство жалости к себе и даже не одно беспокойство за мамá и отчасти за Лёву, и не страх за папá, а всё это вместе. И это выходит очень тоскливо.

Сейчас сижу у себя. Маша рядом учит одного малого грамоте. Вера пишет. Папá у себя. Ветер воет и стучит в окна. Даль от станции и невозможность выехать (хотя я этого и не желаю) тоже удручающе на меня действует. И Бог мне не помогает. Это оттого, что я не умею обратиться к нему. В тяжёлые минуты я всегда чувствую это пустое место или, скорее, не пустое, а наполненное другим: привязанностью к людям, из которых главная к папá.

[...] Надо же, чтобы было что-нибудь, кроме привязанности к людям!

Во мне есть любовь к Богу, то есть любовь к добру, старание быть совершенной, как Отец Небесный, и хотя я страшно далека от этого и иногда иду по совершенно обратному пути, но это для меня решённый вопрос. Но Бог, который распоряжается нашими судьбами, и покорность его воле — этого я не понимаю. И Бога, которого бы я просила, которому бы я молилась, — этого тоже нет. Я понимаю одну только молитву — это старание вызвать в себе Бога, чтобы знать, что должно делать и что нет.

И это “всё в тебе”, как говорит Сютаев» (*Там же. С. 249 – 250*).

3. 4. Недреманное око

Между тем предприятие супругов Толстых и постепенно собиравшейся вокруг них в эти ноябрьские дни команды помощников привлекло, помимо донаторов и журналистов, внимание и МВД: преимущественно потому, что представляло собой частную инициативу, и связанную со сбором крупных сумм денег, с контактами с народом (пропаганда?) и, немногим позднее, с иностранцами. Об этом в письме от 5 ноября Н. Я. Грот писал из Петербурга С. А. Толстой следующее: «Сегодня просидел более часа у министра внутренних дел **<Ивана Николаевича Дурновó. — Ред.>** в интереснейшей беседе о голоде. Узнал много важного и любопытного. Правительство не дремлет и много принято чудесных мер, ещё неизвестных публике. На вас, как и на мою мать, он немножко в претензии за воззвания; впрочем, всё-таки относится благодушно и своего «veto» не намерен накладывать на подобные частные сборы. Он говорит только, что жалеет, что вы не обратились к нему лично, так как он сам бы дал вам денег или послал бы вашей семье» (*Цит. по: ПСТ. С. 460*).

Не в последнюю очередь стучала тучи над поприщем христианского служения Льва Николаевича и членов его семьи некоторая одиозность в правительственных и “духовных” кругах его имени, в том числе как автора «Крейцеровой сонаты». Той самой, которую, опасаясь потери прибыли для семьи от сочинений мужа, так настойчиво выпросила весной Софья Андреевна Толстая для 13-го тома выпускавшегося ею Собрания сочинений мужа — лично, у самого царя! Характеристичен весьма отклик на известие об этой аванюре жены Толстого духовного опекуна императора Александра III *Константина Петровича Победоносцева* (1827 – 1907), к тому времени уже более 10 лет исполнявшего должность обер-прокурора св. Синода. Его письмо императору от 1 ноября настолько значительно как показательностью умственного уклонения российских консерваторов в отношении Л.Н. Толстого, так и некоторыми последствиями для самого писателя, что достойно быть приведённым в этой книге полностью.



«Решаюсь писать к Вашему Величеству о предметах неутешительных.

Если б я знал заранее, что жена Льва Толстого просит аудиенции у Вашего Величества, я стал бы умолять Вас не принимать её. Произошло то, чего можно было опасаться. Графиня Толстая вернулась от Вас с мыслью, что муж её в Вас имеет защиту и оправдание во всём, за что негодуют на него здравомыслящие и благочестивые

люди в России. Вы разрешили ей поместить “Крейцерову сонату” в полном собрании сочинений Толстого. Можно было предвидеть, как они этим разрешением воспользуются. Полное это собрание состоит из 13 томов, кои могут быть пущены в продажу отдельно, 13-й том — небольшая книжка, в которой помещены вместе с “Крейцеровой сонатой” мелкие статьи такого же духа. Эту книжку они пустили в продажу отдельно, и вот уже вышло третье отдельное её издание. Теперь эта книжка в руках и у гимназистов, и у молодых девиц. По дороге от Севастополя я видел её в продаже на станциях и в чтении в вагонах. Книжный рынок наполнен 13-м томом Толстого. Мало того, — он объявил в газетах, что предоставляет всем и каждому перепечатывать и издавать все статьи из последних томов своих сочинений, то есть все произведения новейшего, вредного, пагубного направления. Недавно, когда ему возражали против этого заявления, он отвечал, что ему дела нет до того, какое действие произведут его статьи, так как убеждение его твёрдо. Толстой — фанатик своего безумия и, к несчастью, увлекает и приводит в безумие тысячи легкомысленных людей. Сколько вреда и пагубы от него произошло, — трудно и исчислить. К несчастью, безумцы, уверовавшие в Толстого, одержимы так же, как и он, духом неукротимой пропаганды и стремятся проводить его учение в действие и проводить в народ. Таких примеров уже немало, но самый разительный пример — кн. Хилкова, гвардейского офицера, который поселился в Сумском уезде, Харьковской губ., роздал всю землю крестьянам и, основавшись на хуторе, проповедует крестьянам толстовское Евангелие, с отрицанием церкви и брака, на началах социализма. Можно себе представить, какое действие производит он на невежественную массу! Зло это растёт и распространяется уже до границ Курской губ., в местности, где уже давно в народе заметен дух беспокойный. Вот уже скоро 5 лет, как я пишу об этом и губернатору, и в министерство, но не могу достигнуть решительных мер, а между тем Хилков успел уже развратить около себя целое население села Павловки и соседних деревень. Он рассылает и вблизи, и вдаль вредные листы и брошюры, которым крестьяне верят. Народ совсем отстал от церкви: в двух приходах церкви стоят пустые, и причты голодают и подвергаются насмешкам и оскорблениям. В приходе 6.000 душ, и в большие праздники, напр., в Покров, было в церкви всего 5 старух. Под влиянием Хилкова крестьяне для общественных должностей отказываются принимать присягу. Такое положение грозит большою опасностью, и, по последним известиям, я убедительнейше прошу мини-

стра о высылке Хилкова, который уже хвалится перед народом: “ничего мне не делают, стало быть, я учу правильно”. Теперь надеюсь, что в министерстве сделают должное распоряжение.

Нельзя скрывать от себя, что в последние годы крайне усилилось умственное возбуждение под влиянием сочинений графа Толстого и угрожает распространением странных, извращённых понятий о вере, о церкви, о правительстве и обществе; направление вполне отрицательное, отчуждённое не только от церкви, но и от национальности. Точно какое-то эпидемическое сумасшествие охватило умы. К Толстому примкнул совершенно обезумевший Соловьёв, выставя себя каким-то пророком, и, несмотря на явную нелепость и несостоятельность всего, что он проповедует, его слушают, его читают, ему рукоплещут, как было недавно в Москве. Кружки этого рода сгруппировались особенно в Москве и, к сожалению, около университета, где три общества: юридическое, любителей словесности и новое, психологическое, собирают публику, большею частью из неопытной молодёжи, для распространения самых извращённых идей; все они имеют свои издания такого же направления. В Москве же развелись ныне либеральные богачи-купцы и купчихи, поддерживающие капиталом и учреждения духа эмансипации (вроде женских курсов), и журналы вредного направления. Так, на счёт одной купчихи издаётся журнал “Русская Мысль”, к сожалению, самый распространённый изо всех русских журналов; он в руках у всей молодёжи, и множество голов сбито им с толку. Так, купец Абрикосов (конфетное заведение) поддерживает журнал: “Вопросы философии и психологии”, служащий ареною для Соловьёва и отчасти для Толстого. В этих-то кругах ходит легенда о том, что вся эта вредная литература может рассчитывать на защиту у Вашего Величества противу всякого стеснения речей и писаний, и эта легенда усилилась особенно после того, как принята была Вашим Величеством графиня Толстая.

Теперь у этих людей проявились новые фантазии и возникли новые надежды на деятельность в народе по случаю голода. За границею ненавистники России, коим имя легион, социалисты и анархисты всякого рода основывают на голоде самые дикие планы и предположения, — иные задумывают высылать эmissаров для того, чтобы мутить народ и восстанавлять против правительства; немудрено, что, не зная России вовсе, они воображают, что это лёгкое дело. Но и у нас немало людей, хотя и не прямо злонамеренных, но безумных, которые предпринимают по случаю голода проводить в народ свою веру и свои социальные фантазии под видом помощи. Толстой написал на эту тему безумную статью, которую, конечно, не пропустят в

журнале, где она печатается, но которую, конечно, постараются распространить в списках. Недавно одна богатая московская купчиха являлась к И. Н. Дурново, предлагая 300 000 р. на пособия, с тем, что для раздачи их она будет посылать своих агентов. Когда ей было в том отказано, она объявила, что всё-таки пошлёт их без всякого разрешения. Ей было отвечено, что в таком случае агентов её будут арестовывать. Она ушла с негодованием, а через несколько дней в лондонском "Daily News" явилась телеграмма из Петербурга, что министр внутр. дел приказал арестовывать агентов общества для раздачи пособий...

Всё это показывает, сколько нужно осторожности. Год очень тяжёлый, и предстоит зима в особенности тяжкая, но с Божией помощью, авось, переживём и оправимся.

Простите, Ваше Величество, что нарушаю покой Ваш в Ливадии такими вестями и такими мыслями; но мне казалось нелишним доложить Вам о некоторых обстоятельствах, которые могли бы и не дойти до Вашего сведения.

Константин Победоносцев» (*Письма Победоносцева к Александру III: В 2-х тт. М., 1926. Том 2. С. 251 – 254*).

Нужно отдать должное цепкой, многолетней наблюдательности осведомителей обер-прокурора. Публикация «Крейцеровой сонаты» не была желательной для её автора: за неё, ради семейных доходов от многотомного издания сочинений супруга, хлопотала перед царём Софья Андреевна Толстая. Так же и из своего отречения от того, что в наши дни именуется «интеллектуальной собственностью», «авторскими правами» Толстой не намерен был делать общественного события. А с философом Владимиром Соловьёвым год от года у Толстого отношения только ухудшались — несмотря на действительное и удивительное сближение соловьёвских тезисов в лекции «Об упадке средневекового миросозерцания» с толстовской идеей «церковного извращения» первоначального христианства и с толстовской же концепцией трёх религиозных «жизнепониманий», появившейся в эти же годы, первоначально в составе трактата «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание», а в 1893 году изложенной в статье «Религия и нравственность». Но во всех этих случаях осведомители обер-прокурора были не правы — хотя и нельзя сказать, что «просчитались» в своём чёрном деле: ведь и клевета могла сработать как донос, запустив механизм ответных репрессий со стороны правительства — если не против самого Толстого, которого, по причине

международной его известности и авторитета, император Александр III считал «неприкасаемым», то против полезнейших помощников его. В условиях организации системы мер помощи и поддержки бедствующим крестьянам навредить могли не только высылка или арест, но и простая система административных запретов в сочетании с информационной политикой намеренной клеветы в прессе. Кажется, этим мерзким путём и пошла Империя — как мы постараемся показать из дальнейшей нашей реконструкции событий. Из России газетная клевета быстро попадала в американскую и европейскую малоразборчивую прессу, вызывая самую нежелательную и неприятную, особенно для Софьи Андреевны Толстой, реакцию западного общества: приток пожертвований резко сокращался!

Но вот что касается отношений с князем-еретиком Хилковым и интереса, а позднее и открытых симпатий к сектантам, выраженным Л. Н. Толстым ещё в Самарском крае в 1870-х, здесь писателю, что называется, было «нечем крыть». Много лет среди сектантов Российской Империи орудовали пропагандисты, старавшиеся разжечь и политизировать их глухое, многолетнее недовольство религиозными и социальными притеснениями. Одним из самых знаменитых исторически доказанных пропагандистов был этнограф и «историк сектантства и раскола» *Александр Степанович Пругавин* (1850 – 1920), которого с Толстым связывали многолетние приятельские отношения. На знакомство их в 1881 году повлияло именно то, что Пругавин не только великолепно знал воззрения и психологию различных сектантских группировок и их лидеров, но и был в доверительных отношениях со многими сектантами. Не без помощи Пругавина Лев Николаевич познакомился с интересным для него сектантом Сютаяевым, посетил деревню молокан и т.п. Многие годы они состояли в эпизодической переписке и время от времени встречались.

В 1860-е, 1870-е гг. и позднее в школах, открытых Толстым в родном Крапивенском уезде Тульской губернии, а позднее и в доме, в качестве не только желанных гостей, но и учителей детей, губернёров, переписчиков и проч. – побывали лица, так или иначе связанные с революционным движением, деятели которого, как неизвестно, ложно романтизировались Толстым: лица, бывшие под судом, в ссылке, в бегах...

Наконец, сам князь *Дмитрий Александрович Хилков* (1857/1858? –1914). Персона, стоящая в истории рядом с Толстым не менее двусмысленной, отчасти и мрачной тенью, нежели ближайший многолетний друг и «толстовец № 1» по значению в жизни Льва Николаевича, «генерал от толстовства» Владимир Григорьевич Чертков. И

раздражал князь Хилков российское правительство не менее, чем Чертков: по причине аристократического происхождения и огромных связей, которыми, даже «опростившись» и отказавшись от земельных владений и денежных богатств, не стеснялся пользоваться — этим вполне сближаясь с цинизмом революционеров. Ещё до знакомства с сочинением Л. Н. Толстого «В чём моя вера?» Хилков, офицер лейб-гвардии и ветеран Русско-Турецкой войны 1877 — 1878 гг., уходит с военной службы и поселяется на своей земле в Полтавской губернии. Вскоре он уже причисляет себя к «толстовцам». Толстой узнал о Хилкове от его двоюродного брата Н. Ф. Джунковского, который в ноябре 1886 г. был в Ясной Поляне. «Людей братьев по вере всё прибывает, — тогда же писал Толстой Н.Н. Ге-отцу. — Ныне уехал один лейб-уланский блестящий офицер Джунковский, едет к Хилкову; Хилков же ещё более блестящий богатый князь 22 лет, полковник, который бросил всё и живёт на крестьянском наделе, работая с мужиками. Человек большого ума и образования и большой силы добра по всему, что я о нём знаю» (63, 403). Через несколько дней Толстой признавался В. Г. Черткову: «Радовали меня за это время Джунковский и его рассказы про Хилкова. Какой слуга Божий!» (85, 411).



Конечно же, здесь “сработала” черта психологии Льва Николаевича, хорошо известная его жене: он часто *идеализировал* людей прежде достаточного знакомства с ними, иногда даже *прежде* первой встречи, и *очень* неохотно потом порывал со своими иллюзиями! Так

произошло и в отношениях с кн. Хилковым, с которым лично Толстой познакомился только в 1887 г. и позднее активно переписывался. В письмах к «духовному единомышленнику» Толстой был предельно откровенен — как и в письмах к В. Г. Черткову. Но если Черткова до поры и времени правительство оставляло в покое, то князь Д. А. Хилков до 1891 г. успел попасть не только под полицейское наблюдение, но и под следствие за «отпадение от христианства» и пропаганду «раскола» в крестьянских массах. В 1892 г. за пропаганду против духовенства Хилкова сослали в село Башкичет Ворчалинского уезда Тифлисской губ., в места, где проживали духоборы. Толстой воспринял это как акт насилия над *духовным* другом и был потрясён. В апреле 1892 г. он писал толстовцу Исааку Борисовичу Файнерману, так же одному из ранних и фанатичных своих учеников: «...Я вижу, что вокруг меня насилуют моих друзей, а меня оставляют в покое, хотя, если кто вреден им бы должен быть, то это я. Очевидно, я ещё не стою гонения. И мне совестно за это. Хилкова водворяют среди духоборцев» (66, 198).

Воистину Толстой совестился напрасно. Он начал прозревать к правде о Хилкове, когда тот летом 1895 г. вдруг прислал *духовному* братишке дурно состряпанное и нецензурное сочинение о гонениях российского правительства на сектантов духоборов. Толстому предлагалось, используя своё влияние и связи, распространить крамольный текст в нелегальной российской прессе и за границей. Несмотря на то, что Толстому самому была не безразлична судьба сектантов и для их спасения, эвакуации из России он позднее, по существу, пойдёт схожим путём: используя опыт и связи как «голодных лет», так и новые, привлечёт к судьбам семей ссыльных духоборов внимание общественности в России и за рубежом — *тогда* Хилкову он помогать отказался по причине гнусной, несносной для художника слова, для писателя *бездарности* словесной стряпни Дмитрия Александровича. Отказ князю он сформулировал так: в рассказе Хилкова «нет простоты, точности, определённости и правдивости, и тон всего рассказа нехороший — какой-то иронический, шуточный, такой тон, которым нельзя говорить о таких ужасных делах» (68, 132).

Чутьё не подвело великого яснополянца. В 1898 г. Хилкову было разрешено выехать из России. На Кипре и в Канаде он занимался организацией переселения духоборов из России и сам встречал первый пароход с переселенцами. В 1899 г. Хилков переехал из Канады в Швейцарию. Все эти годы он не прерывал отношений с Толстым, однако во многом расходился с ним во взглядах, о чём и писал ему.

Наконец, 30 января 1901 г. Хилков написал Толстому об окончательном порывании со свободным, недогматическим христианством Христа и Толстого — уввы! в пользу революционной деятельности.

Степень непонимания Победоносцевым Толстого огромна. В письме своём к имп. Александру III он, по существу, относит Льва Николаевича к поклонникам революции — тем, кто, по выражению кн. В. А. Оболенского, намерен был пропагандировать среди крестьян бунт — «кормить, свергая» (самодержавный режим) (*Оболенский В. Воспоминания о голодном 1891 годе // Современные записки. Париж, 1921. Кн. VII. С. 265; ср.: Оболенский В.А. Моя жизнь. Мои современники. Париж, 1988. С. 105*). Эта степень непонимания — свидетельство удалённости от Христа, от действительного его учения поклонников церковного православия, не исключая его высокопоставленную в миру «эли́ту» во все времена.

В числе прочих грозных предзнаменований, послание царю К. П. Победоносцева указывает на тот факт, что, не могущим быть предвиденным образом статья Л. Н. Толстого «О голоде», ещё до её частичной публикации за границей и распространения в России, негативно повлияла на перспективы практической деятельности супругов Толстых. К чему именно привёл скандал с этой статьёй, разразившийся вокруг и без того одиозного в глазах правительства, духовенства и консерваторов России имени Л.Н. Толстого, мы расскажем в хронологически соответствующих местах нашей книги.

3. 5. Напряжение доброты

Как права была Софья Андреевна в письме своём к мужу от 9 ноября! Только злом, только воровством, насилием и ложью и жива «скрепоносная», буржуазно-православная Россия — кстати сказать, и по сей день!

7, 9 и 11 ноября в «Московских ведомостях» появились, будто по чьей-то команде, *четыре* статьи против Толстого и его деятельности помощи голодающим: 1) «Семейство его сиятельства графа Л. Н. Толстого» — в № 308, 2) «План гр. Л. Н. Толстого» — в № 310, 3) «Слово общественным смутьянам» — в № 312, и 4) «Пойманные на месте» — там же.

Содержание было под стать заголовкам. Для примера, в заметке «Семейство его сиятельства графа Л. Н. Толстого» читаем: «Графиня С. Толстая чрез посредство «Русских ведомостей» возвещает России необычайно важное событие, а именно — что всё высокое семейство

его сиятельства разъехалось для оказания помощи голодающим [...]. В настоящее время тысячи больших и маленьких людей в России посвящают свои силы святому делу [...]. Только не кричат о себе. Семейство его сиятельства действует иначе [...]. Графиня просит все газеты перепечатать адреса высоких членов, удостоивающих давать России столь светлый пример» (*Цит. по: ПСТ. С. 463*).

Это была консервативная реакция на самое нетерпимое в России во все времена: на самостоятельную, частную инициативу граждан, на самоорганизацию. Деньги жертвователей шли мимо казначейства, чиновников, посредников, распределителей и прочих ходячих "закромов родины" — непосредственно к Толстым и их помощникам. И деньги большие — так что даже соседи-благотворители на фоне тружеников бегичевского «министерства добра» становились малоуспешны. А это было чревато недовольством населения. Позицию консерваторов тоже можно понять. И всё же — неприязнь, клевета...

Эффект обращения в газеты Софьи Андреевны безмерно превысил ожидания. В «Материалах к биографии...» Толстого, описывая события ноября 1891 года, Л. Д. Опульская отмечает: «Спустя всего две недели после того, как Толстой поселился в Бегичевке, к нему стали приезжать знакомые и незнакомые лица, предлагая безвозмездно свой труд в деле помощи голодающим» (*Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Мат-лы к биогр. 1886 – 1892. М., 1979. С. 255*). Картину эту надо снова скорректировать. Во-первых, ещё раз подчеркнём: в «голодном» служении Христу участвовал не один Толстой, а семья его. Помощники прибавлялись и у Льва Львовича (о котором особо расскажем ниже) в селе Патровка Самарской губ., и у Софьи Андреевны в Москве... Во-вторых же, Лидия Дмитриевна отдаёт в своей книжечке дань распространённому воззрению на Толстого как едва ли не «спасителя № 1» крестьян, как минимум, нескольких уездов — вокруг которого «вертелось» всё. На деле, как мы уже показали, Толстой-христианин первоначально лишь смиреннейше присоединил свои недюжинные талант и силы в общее, не им начатое дело: к моменту приезда его в Бегичевку только у Ивана Ивановича Раевского были открыты уже *шесть* столовых. То, что в памяти народной Толстой выделялся среди множества благородных не только дворянством, а *человечеством* своим, самых замечательных людей — заслуга отчасти действительно колоссальных его трудов в лихолетье голода и эпидемий, в 1891 – 1893 гг., в значительнейшей же мере — увы! его литературной славы, знаменитости как писателя, как религиозного мыслителя, публициста...

Тем важнее для нас временами “вытаскивать” из полузабвения некоторых из достойных памяти помощников Льва Николаевича — таких же, нравственно благоухающих даже со старинных снимков и портретов своих, как и Иван Иванович Раевский, помощников *не деньгами, а добрыми делами*, честным и жертвенным, во Христе, своим трудом и Богом данными талантами.

Таков, например, генерал-майор *Владимир Иванович Ершов* (1844 – 1899), ветеран и герой Русско-турецкой войны, пройденной им уже в чине полковника. Выйдя в 1887 г. с почётом в отставку, Ершов стал предводителем дворянства родного Подольского уезда Московской губ. В 1890 – 1892 гг. он исполняет должность Московского губ. предводителя дворянства. При этом сам Ершов содержит свои имения в образцовом порядке.



Владимир Иванович Ершов

Сведений о том, был ли Владимир Иванович лично знаком и общался ли с Львом Николаевичем Толстым, к сожалению, не сохранилось. Но, безусловно, самоё имя Толстого было для Ершова уважительно и авторитетно. Узнав о трудах Раевского, Писарева, Толстого и прочих, Владимир Иванович Ершов в своём имении Грязновка Епифанского уезда Тульской губ., в 9 верстах от Бегичевки, устроил склад продовольствия, в первую очередь муки, сена для крестьянских лошадей и дров для снабжения организованных Львом Николаевичем или при его участии столовых для крестьян. Склад он передал в ведение Толстого. Управляющий имением, по фамилии Лебедев, распорядился так же и складом в селе Колодези, устроенным тем же Ершовым, и активно сотрудничал с Толстым, что видно из

упоминаний Лебедева и обеих складских локаций в деловых письмах Толстого различным адресатам в 1891-92 гг.

Огромная занятость Л. Н. Толстого и удалённость от Бегичевки ближайшей почтовой конторы вызвали то, что лишь 11 ноября он берётся ответить на полученные от супруги, Софьи Андреевны Толстой письма. В обширной приписке этого дня к письму Татьяны Львовны он сообщает супруге в Москву новости:

«Ездили мы с Машей целый день. И день был удачный. И погода была хороша, и всё спорилось. Мы теперь открываем столовые около другого центра запасов. Прежние столовые около склада Раевского, теперь около склада Ершова, вашего московского предводителя. Там его управляющий будет отпускать провизию на открывающиеся вокруг него столовые. И там очень нужно. Много нужды. Маша застала человека, действительно не евшего два дня и ослабевшего. Я вчера устраивал две столовые для Веры, для её денег, на новом основании, именно на том, чтобы нам не отбирать тех, которые имеют и не имеют права ходить, а на совесть людей предоставить ходить всем без разбора, ограничивая только количеством заготовленного обеда. Это интересно очень, как пойдёт.

Не помню, писал ли тебе я или Таня, что вчера явился к нам студент Дубровин, 4-го курса юрист, желая помогать и ехать в Самару. Теперь хлопочет здесь. Нынче он ездил за дровами. Узнай, что про него знают.

Я уморился, надыхался воздухом, и кругом болтают, и потому кончаю. Но, несмотря на болтовню кругом и усталость, помню одно то, что хотелось бы получить от тебя добрые вести. [...] Прощай пока, целую тебя и детей.

Л. Т.» (84, 97).

Добрые вести не заставили себя ждать. Благодаря оказии, 14-го Лев Николаевич имел удовольствие отвечать сразу на *три* письма от Софьи Андреевны: письма от 8, 9 и 10 ноября. Ниже — не приписка к чужому, а письмо самого Льва Николаевича, хотя и не длинное. Приводим полный его текст.

«Сейчас едет назад ямщик, привозивший Ивана Ивановича с Эленой Павловной, и вот пишу хоть немного. Мы все здоровы вполне. Дело идёт хорошо. Открыто наших 17 столовых. И всё нужно ещё и

ещё. Со всех сторон прибывают и сотрудники, и средства. С вчерашней почтой получено более тысячи.

Твоих писем получили 3. Одно унылое <у Софьи Андреевны в те дни болели дети. – Р. А.>; но зато последнее, от 9 (кажется), более, даже совсем бодрое. От Дунаева получили письмо. Он пишет о тебе хорошо. Он понимает тебя и любит; понимает хорошее в тебе.

Попрекнул я тебя за то, что ты себя упрекаешь в том, что переехала в Москву. Ты сама себя мучаешь и, главное, не верно оцениваешь чувства других к тебе. Je suis sûr, que tu ne t'imagines pas avec quel amour nous pensons et parlons de toi. [*фр.* Я уверен, что ты себе не представляешь, с какой любовью мы думаем и говорим о тебе.]

Вчера получили известие, очень нас поразившее грустно. Аничка, т. е. Анна Петровна <жена художника Н. Н. Ге. – Р. А.>, скончалась. Поболела неделю и умерла. Николай Николаевич пишет, и, видно, очень огорчён.

Здесь приехал Матвей Николаевич Чистяков от Черткова и ещё <Николай Иванович> Тулинов, студент, помнишь. От Лёвы было письмо коротенькое вчера. — Он здоров» (84, 98).

Это письмо Лев Львович Толстой отправил отцу из Самары 30 октября 1891 г. Можно понять, отчего Лев Николаевич сообщил из письма сына жене и матери лишь это краткое: «Он здоров». Лев Львович остановился в доме младшего брата матери, Вячеслава Андреевича Берса, участвовавшего тогда в Самарском крае, в качестве инженера путей сообщения, в строительстве Уфа-Златоустинской железной дороги, и с первых часов своего пребывания в Самаре, как пишет отцу, «наслушался очень многого о голоде». Одно неутешительней и страшнее другого: «Бедствие страшное, насколько можно судить после суток, проведённых здесь. Я не ожидал того, что нахожу. Стараюсь вникать в дело со всех возможных концов. Вопрос о том, хватит ли в России хлеба на самоё себя, и здесь, конечно, важнейший. Амбары в Самаре пусты. Все крупные землевладельцы в сравнении с прошлыми годами не имеют почти ничего. Смертей голодных ещё нет, но уже начались болезни от истощения и плохого питания. Ссуда правительства ничтожна» (*Переписка Л. Н. и Л. Л. Толстых. – В кн.: Толстой Л.Л. Опыт моей жизни. М., 2014. С. 226*). А 12 ноября, уже с хутора А. А. Бибикова, Лев Львович дополнит эти известия ещё страшнейшими, и уже непосредственно с места народного бедствия.

На самом-то деле, ужасов голодной самарской степи не могли предвидеть не только сын, но и родители. Как мы не раз ещё убе-

димся, самому Льву Николаевичу в окрестностях Бегичевки досталась менее катастрофическая обстановка, да и дело вместе с любящими помощниками спорилось успешнее. Помощниками Толстого-отца стали члены семьи, соседи и специально приехавшие для помощи единомышленники во Христе, толстовцы, а на приготовлении и раздаче в столовых — сами бабы и мужики из помогаемых деревень, тогда как сыну, пользовавшемуся большей, нежели отец, поддержкой правительства и церкви, пришлось довольствоваться привлечением к работе для столовых и для хлебных раздач солдат и местное духовенство. Соответственно, отношения с участниками общего дела были формализованнее, прохладнее — и это добавляло стрессов и усталости... С другой стороны, ни правительство официальным образом, ни значительная часть духовенства не приветствовали благотворительность в Данковском уезде Толстого-отца. Среди попов, как мы покажем ниже, отыскивались и откровенные неприятели, пугавшие и настаивавшие против бегичевцев окрестное население. Удивительно, но Лев Львович был и менее стеснен в средствах для своей работы, нежели отец: он собирал сведения о нуждающихся на крестьянских сходах и доверял им, тогда как отцу приходилось лично обходить домохозяйства и определять степень нужды и необходимой помощи, стараясь сэкономить на всём. Илья Львович Толстой, сын писателя, не говорит *всей* правды, когда в мемуарах сообщает, что: его «отец, бережливый по природе, в делах благотворительности был чрезвычайно осторожен и скажу, даже почти скуп. Конечно, это понятно, если взвесить то безграничное доверие, которым он пользовался среди жертвователей, и ту нравственную ответственность, которую он не мог перед ними не чувствовать. Поэтому, прежде чем что-нибудь предпринять, ему надо было самому убедиться в необходимой помощи» (*Толстой И.А. Мои воспоминания. М., 1969. С. 224*).

Впрочем, велика вероятность, что Толстой и не стремился заручаться поддержкою духовенства — в особенности на крестьянских сходах, при составлении или проверке списков нуждающихся. В. Г. Короленко, занимавшийся в 1892 г. помощью голодавшим в Лукояновской уезде Нижегородской губ., свидетельствует в воспоминаниях «В голодный год», что положение священников было в данном случае щекотливое:

«Починить домишко, обработать помочью поле, выстроить школу, и, наконец, просто пойдёт священник за сбором, — богач и горлан при всяком случае люди нужные. Вот почему в большинстве случаев на сходе священник стеснится сказать громко: такого-то не пишите, такому-то не нужно. Он сделает знак, кивнёт головой или сообщит

вам соответствующее сведение относительно того или другого более назойливого, чем нуждающегося прихожанина разве у себя на дому» (Короленко В.Г. *В голодный год* // Короленко В.Г. *Собр. соч.: В 10 тт.* М, 1955. Т. 9. С. 218).

Бегичевские записи самого Толстого в Дневнике по обыкновению кратки, зато касаются вещей сугубо тайных: писательского творчества. К 6 ноября, например, относится замысел к будущему рассказу «Отец Сергей» — вполне отвечающий суровой, строгой атмосфере бегичевского «штаба» помощи голодающим:

«Надо, чтобы он боролся с гордостью, чтоб попал в тот ложный круг, при котором смирение оказывается гордостью; чувствовал бы безвыходность своей гордости и только после падения и позора почувствовал бы, что он вырвался из этого ложного круга и может быть точно смирен. И счастье вырваться из рук дьявола и почувствовать себя в объятиях Бога» (52, 57 – 58).

В этом же дне упоминание о начале работы над рассказом «Кто прав?» для сборника в пользу голодающих.

Ещё, в записи от 17-го, среди воспоминаний о прошедших в труде днях встречаем такое:

«9 <ноября>. <Гостил> у Мордвиновых. Не помню остального. Здоров. Нет духовной жизни. Большие пожертвования — более 10 тысяч. Дело идёт равномерно. Но нет удовлетворения. Нет и стыда и раскаяния. Ещё день полный был посвящён устройству столовых в Никитском и Пашкове, ещё день в Горках. — Завтра, е. б. ж.» (Там же. С. 58).

Пометка «Е. б. ж.» — «если буду жив», явившаяся в Дневнике Толстого впервые в завершение записи на 3 января 1890 года, не оставляла его уже до последних страниц — знаменуя христианское религиозное настроение Льва Николаевича, ощущение им *несения креста*, работы в воле Бога в виду всегда близкой смерти.

Сложность отношения к происходящему «благотворительному» (в глазах мира) предприятию разделяли с отцом и обе духовно близкие ему в эти годы дочери, Татьяна и Мария. Таня, к удовольствию для нас, ещё и вела довольно подробный дневник, к которому нам пора снова обратить внимание читателя.

«8 ноября 1891 г. 10 часов вечера.

[...] После обеда папа с Машей поехали в Мещерки, а мы вдвоём с Верой без кучера поехали к Наташе, которую не застали дома. Туда ехать было холодно, а возвращаться прекрасно: тихо, сумерки, по

Дону хорошая дорога, лошадка бежит бодро и такой приятный запах лошади и снега.

Приехавши домой, нашли, что приехали из Москвы Ваня и Петя Раевские и И. А. Бергер. <Иван Александрович Бергер (1867 – 1916) — в 1890-х гг. управляющий в Ясной Поляне. – Р. А.> Мама пишет с ними, что все четверо детей в жару, но что Филатов говорит, что это инфлуэнца, которая через три дня совсем пройдет.

Мама принесли более трех тысяч рублей, и она присылает нам 1000 р. от Морозова и 273 р. за статью папа в "Русских ведомостях".

Меня опьяняет это количество денег, но и неприятно: куда мы их все денем, как распределим и не стал бы папа куда-нибудь стремиться с ними.

[...] Кажется, мальчики <Раевские> теперь относятся к нам совсем дружелюбно. Я бы этого желала. Я люблю, когда нас и меня любят, и всегда готова платить тем же. Иван Александрович приехал с мальчиками. Он тих и жалок мне тем, что он как будто всегда напоминает сам себе, что он — управляющий и должен знать своё место. Он — славный малый и очень скромный.



Мария Львовна Толстая. 1895 г.

Сегодня приезжали из Екатериненского за запасами, и завтра моё "призрение" откроется, но надо будет открыть там же другое, а то велика деревня – 76 дворов.

[...] 11 часов. Спать хочется, а надо бы [...] кончить письмо к Свечину, которое папа поручил мне написать ему, чтобы сообщить о

том, что у нас делается, и спросить, как употребляется у него кукуруза. <Помещик Ф. А. Свечин организовал раздачу по школам Тульской губернии хлеба, спечённого пополам из ржаной и кукурузной муки. Подробности своего замысла он изложил в письме к Л.Н. Толстому от 24 ноября 1891 г. – Р. А.>

Папа ввёл в здешнем "призрении" овсяный кисель, который имел большой успех. Он питателен и дешёв, так что мы хотим везде его ввести. Сегодня Иван Иванович нашёл купить дров, чему очень рад, а то торфом не умеют топить, а может быть, и нельзя. Иван Иванович выписал пекаря из Епифани и делает разные пробы хлеба с суррогатами. Самый лучший вышел с картофелем: на 2 пуда муки — один пуд картофеля, который предварительно варят и протирают, и выходит чудесный хлеб. Нам его подают к обеду, и разница с чистым хлебом незаметна. Выгода его ж в том, что он дешевле и что, тогда как картофель нельзя перевозить в мороз, хлеб можно.

Пробовали печь хлеб с свекловичными отбросками, которые на сахарных заводах продают по 2 копейки за пуд и которые содержат в себе много питательного, но первая проба не вышла: хлеб сел и вышел мокрый; а теперь попробуем из них варить борщ.

Был поднят вопрос о том, можно ли варить мёрзлый картофель и свёклу. Сделали пробу, и вышло, что если его не оттаивать, а прямо варить, то разницы нет с не мёрзлым.

Многому научит нынешний год. Чем только он кончится? [...]

9 ноября 1891 г. 2 часа дня.

Ходила сегодня утром в Екатериненское, и по дороге домой мне пришло в голову попробовать открыть хоть одно "призрение", не делая списков для приходящих едоков, а пускать всех, кто только захочет прийти. Мне пришла эта мысль потому, что я почувствовала, что мне совестное иметь участь этих людей в своих руках и рассуждать *du haut de mon luxe* [фр. с высоты своей роскоши], кто более и кто менее голоден. Вообще мне никогда не было так стыдно быть богатой, как это время, когда приходят ко мне старухи и кланяются в ноги из-за двугривенного или куска хлеба. А у меня в столе — сотни рублей, от которых зависит их судьба. Нет, не следует иметь денег, что-то тут не то. Недаром так стыдно всегда иметь дело с деньгами.

[...] Папа очень одобрил мой план о том, чтобы пускать в столовую без разбору, а Иван Иванович боится, что будет беспорядок, но тем не менее я это попробую. Выберу для этого Горки, так как они близко

и хоть каждый день можно ходить туда. Папа говорит, что его первоначальная идея такая и была» (*Сухотина-Толстая Т.А. Дневник. Указ. изд. С. 251 – 254*).

Как можно видеть из записей Татьяны Львовны Толстой, помощников у семьи Толстых день ото дня прибавлялось. Для наглядности ролей и значения таких добровольцев мы, помимо упоминаний в общем изложении, проследим ниже ретроспективно судьбы некоторых из них. Так, 15 ноября 1891 г. Толстой записал в дневнике: «Утром приехали Тулинов и Поляков. Милые ребята» (52, 58). Это были «ребята», и прежде знакомые Толстому — посетители его в Москве. Григорий Александрович Поляков, выходец из купеческого сословия, во второй половине 1880-х учился в Москве на естественном факультете и к тому времени завершил учение. Тулинов Николай Иванович — знакомый Полякова по студенчеству, тоже из купцов, юрист, окончивший как раз в 1891 г. О них Толстой упоминает в письме к врачу Владимиру Васильевичу Рахманову от 19(?) ноября 1891 г. из Бегичевки: «Ещё на днях приходили двое – один юрист, другой естествовед, кончившие курс купцы из Москвы, и тоже открывают столовые. Везде это дело распространяется как сыпь. И много есть тут хорошего. Есть и дурное – именно свой произвол, который нельзя вполне устранить, и ложная роль, которую играешь» (66, 93).

Очевидно, отец и дочь Татьяна делились в личных беседах своими настроениями, ибо на письме, в дневниках и письмах своих, рассуждали иногда буквально в унисон.

Толстой направил Полякова и Тулинова в село Монастырщину Епифанского уезда, в 16 км от Бегичевки. Там они открыли на свои средства столовые. В ходе работы Толстой подбадривал Тулинова и Полякова, уберегал от контрпродуктивных шагов, диктуемых часто усталостью: «Смотрите же, не унывайте, милые друзья, — писал он им 4 февраля 1892 г. из Бегичевки. — Я сам всё собираюсь унывать и всё бодрюсь. Я думаю, что так и надо. Дело не весёлое, как кажется издали, а трудное, тяжёлое. Не забывайте нас» (66: 153). Тогда же в письме к С. А. Толстой он отметил: «Сейчас написал письмо Тулинову о горохе, который он просил у нас, и, между прочим, желая подбодрить их, высказал то, что сам чувствую. Много есть тяжёлого, и самое тяжёлое это попрошайничество, недовольство, требовательность, зависть и т. п. И мы на это досадуем. Нам кажется, что всё должно идти гладко, ровно, без тяжести борьбы и напряжения, — не

напряжения труда (его не много нужно, и он лёгок), а напряжения доброты, насколько её есть; а как же это может быть, когда находишься в исключительном положении и делаешь исключительное дело. Всё кажется — и нам так казалось сначала — что это что-то вроде *partie de plaisir* <фр. прогулки>; но чем дальше входишь в дело, тем тяжелее, и попрошайничество есть показатель исключительного положения» (84, 114). Известно письмо обоим Толстого из Бегичевки, уже 1892 г. (не ранее середины апреля, точно не датируется): «Милые друзья сотрудники Николай Иванович и Григорий Александрович, как вы поживаете, что делаете? Довольны ли вашей работой? Не ищете ли более плодотворной деятельности? У вас, говорят, мера пересыпана верхом. Если так, направьтесь в Скопинский, Раненбургский уезды. Там ещё много нужды, к несчастью. Во всяком случае, не унывайте и верьте, что лучшего ничего делать нынешний год нельзя. Можно только лучше делать то, что мы делаем, с большей любовью. Вот это-то и будем стараться делать» (1892. *Апреля 14...июля 08?* - 66: 238). Тулинов и Поляков в Скопинском и Раненбургском уездах Рязанской губ., однако, не работали. Их дальнейшая судьба не выяснена.

«Матвею Николаевичу Чистякову от Черткова» — наше особенное внимание. *Матвей Чистяков* (1854 – 1920) был управляющим у приближённого (с 1883 г.) друга Толстого В. Г. Черткова на хуторе Ржевск Воронежской губ. и навещал Л. Н. Толстого в Ясной Поляне ещё ранее 1891 года — по обыкновению с поручениями от Черткова, так что Лев Николаевич наконец остроумно окрестил вестуна «живой грамотой» (как называл и А.Н. Дунаева).

Толстой почти ежедневно писал из Бегичевки жене, и почти в каждом письме упоминал о М. Н. Чистякове, который «хорошо и много помогает», с которым обсуждаются дела «вместе спокойно и любовно» (84, 102, 106). «Матвей Николаевич всё у нас. Я его не пускаю, и он ждёт, и нам полезен и приятен», — сообщал он С. А. Толстой 19 ноября 1891 г. (84, 101). С Чистяковым Т. А. Толстая ездила в дальние деревни открывать столовые. Когда «милый Чистяков» уехал, Толстой радовался, что он «оставил дела в большом порядке» (84, 154), и писал ему 11 февраля 1892 г. из Бегичевки: «Дорогой друг Матвей Николаевич. [...] Поминаем вас с самым хорошим чувством все. Много нового, есть новые помощники, но вас никто заменить не может. [...] Но я говорю и думаю, что М. Н. везде нужен» (66: 158-159).

Помощники притекали не к одному Толстому, но и к жене его. Так, 12 ноября Софью Андреевну посетил в Москве замечательный ста-

ричок, богатый помещик и земский гласный Мосальского уезда Калужской губернии *Нил Тимофеевич Владимиров* (? - 1897) с не менее замечательным предложением о помощи крестьянству, за которое сам он, крестьянин по происхождению, искренне болел всей душой. Софья Андреевна, выслушав, направила его в Бегичевку с таким рекомендательным письмом мужу:

«Милый друг, податель сего, Нил Тимофеевич Владимиров, по-видимому, горячо занятый делом народного бедствия, просил меня написать тебе, чтоб ты его принял на один час, чтоб поговорить о разных вопросах. А именно: он владетель 3000 десятин земли в Калужской губ., сам и его знакомые берут на даровой корм крестьянских лошадей, жертвуют овёс, картофель и т. д. Сам он из крестьян, но теперь гласный и помещик.

Впрочем, всё это он сам тебе передаст. Мы здоровы все и живём хорошо.

Целую всех, напишите словечко мне с подателем сего.

С. Толстая» (ПСТ. С. 464).

Духовный, интеллектуальный и финансовый русский богатырь Нил Владимиров оказался не просто помощником, а настоящим сокровищем, бесценной находкой для Льва Николаевича. С. А. Толстая вспоминает в мемуарах:

«Некто Владимиров, человек энергичный и горячий, возымел хорошую мысль взять на прокормление лошадей крестьян и, взяв 80 голов себе, распределил ещё многих среди крестьян других, не голодающих мест. Сам он ещё пожертвовал вагон овса и обещал прислать ещё лык для лаптей и льна для баб, чтобы дать заработок крестьянам» (МЖ – 2. С. 234).

Судя по Дневнику Л. Н. Толстого, Нил Тимофеевич прибыл в Бегичевку уже 16 ноября, и сразу произвёл на Толстого и присных самое благоприятное впечатление (см.: 52, 58). С первой же беседы могучие ум и деловая хватка Нилушки Владимирова, его предложения по дополнительным мерам помощи крестьянам вызвали горячее одобрение Льва Николаевича. На следующий день он отправил самого Владимирова к Н. Я. Гроту с рекомендательным письмом, где дал Нилу Тимофеевичу восторженную характеристику:

«...Очень горячий земский деятель Калужской губ. и человек очень много и разумно думавший о продовольственном вопросе и о теперешнем голоде. Очень бы желательно популяризировать его мысли. Он крестьянин-автодидакт и очень своеобразно и дельно судит. Если <В. С.> Соловьёв в Москве, познакомьте его с ним и от меня

рекомендуйте его редактору «Русских ведомостей» (66, 88). Кроме того, рекомендательное письмо было отправлено и к издателю газеты «Новое время» А. С. Суворину, где Владимиров был так же характеризуем как «очень оригинальный и замечательный человек» (Там же. С. 89).

С учителями наставниками, с одной стороны, как И.И. Раевский, а с другой — со всё прибывающими помощниками деятельность Л. Н. Толстого в Бегичевке налаживается. По сведениям из писем к Н.Н. Ге (14 – 16 нояб.), Н. Н. Страхову (около 17 нояб.) и А. Н. Дунаеву (18 нояб.), к середине месяца открыто было 23 столовых (из которых шесть — только лично Н. Н. Философовой), в которых получали пропитание до 1000 человек. Приметой благополучного хода дела является то, что, помимо статьи «на злобу дня» «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», Толстой теперь находит силы и время для продолжения писанием любимого, хотя и мучительного своего дитя — религиозно-философского трактата «Царство Божие внутри вас».

Силы зла по имени «государство Российское» между тем не дремали. 17 ноября Николай Яковлевич Грот, тот самый, кто, как мы помним, своим одобрением статьи «О голоде» и попытками «продвижения» её в свой журнал сыграл в бегичевской предыстории довольно двусмысленную роль, сообщает С. А. Толстой о том, что во все газеты уже разослан приказ от Главного управления по делам печати — не публиковать *ни одной* статьи Л.Н. Толстого. Доносы Победоносцева и консервативных журналистов, к несчастью, делали своё дело!

Спустя два дня газете «Русские ведомости» министром внутренних дел было объявлено второе предостережение за помещение статьи Л. Н. Толстого «Страшный вопрос» и других статей и корреспонденций о голоде. Как и любой халтурный политический режим, российский с нарастающим раздражением следил за общественным, отчасти народно самоуправляемым, активизмом в связи с гуманитарной катастрофой в ряде регионов, а особенно — за дискурсами по её поводу в печати. Если активизм была надежда в несколько приёмов (по известному «правилу сучьей пизды») «зарегулировать», то общественной мысли, по обыкновению, требовалось просто заткнуть глотку!

Ничего ещё не зная о новых репрессиях, которые сделали неизбежными невольно — Николай Грот и вполне сознательно — Константин Победоносцев, Лев Николаевич в эти дни с радостью встретился с сыном, Львом-младшим. Лев Львович, употребив на помощь голодным все наличные и присланные мамою деньги, теперь ехал к ней

самой — взять ещё денег, а главное, отдохнуть расстроенными нервами от мучительных впечатлений бедствия в Самарском крае.

17 ноября Толстой отписал жене и отправил в путь-дорогу вместе с сыном вот такое послание:

«Не пишется, потому что нынче ждал почты и известий о тебе, милый друг.

Письмо это свезёт тебе Н. Т. Владимиров. Он очень замечательный тип нового русского деятеля из крестьян: деятельный, умный, практичный и общественный. Хотел я с ним послать несколько слов о нашей деятельности и список полученных пожертвований и целое утро писал, но не кончил и решил подождать. Главное: у меня есть написанная, не поправленная, большая статья о столовых <«О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая»>, потом у Грота статья <«О голоде»> и эта. Надо подождать, выдет ли гротовская, чтобы не было повторений и недосказанного. Да и нынче голова тяжела, оттепель. Не торопись, соображу завтра.

Лёва тебе всё про нас расскажет. И кроме хорошего, ничего и рассказывать нельзя. Все здоровы, бодры, заняты, дружны. Нынче видел во сне Сашу. Что она, поцелуй её особенно от меня. Я как будто забывал о ней. И теперь, насколько забывал, настолько живо помню и люблю её.

Последнее время, с приездом Элены Павловны <Раевской> и мальчиков, было очень суетно. Да и кроме того постоянно приезжают то тот, то другой. Матвея Николаевича <Чистякова> я задержал здесь в надежде окончить последнюю главу большой статьи. <В.Г. Чертков ждал от Толстого рукописей последних глав книги «Царство Божие внутри вас», которая, однако, как оказалось позднее, была ещё далека от завершения. — Р. А.> Это очень бы развязало меня.

Ты спрашиваешь меня, куда и как употребить деньги? Я думаю, что нам надо теперь, сейчас — хлеб подешевел — купить несколько вагонов ржи, — по крайней мере, такое количество, которое обеспечило бы нам около 20 столовых, на которые нужно хлеба до новины тысяч 8. Впрочем ничего загадывать нельзя и не надо, а жить и действовать по мере требований обстоятельств. Владимиров много хорошего придумал и обещал. Посмотрим, что будет?

Посылаю тебе мои черновые двух статей, которые я готовил. Ты всё разберёшь. Прочти их и скажи своё мнение. Список пожертвований надо начать с тех, которые присланы тебе.

Ну, прощай, голубушка. Не пишется, во 1-х, потому что Лёва расскажет, а во 2-х, потому, что нынче получу от тебя известие. Только бы дал Бог, чтобы ты была здорова и добра, как ты последнее время; но чтобы здорова была, как была летом. Зима верно тебя поправит.

Постоянно думаю о тебе и люблю. Л. Толстой» (84, 98 – 99).

Встречному письму С. А. Толстой от 17 ноября предшествуют ещё два: 13 и 15 ноября. Приводим, вместе с нашими пояснениями и комментариями, их тексты ниже в хронологическом порядке.

13 ноября:

«Посылаю вам квитанцию на чечевицу и горох для ваших столовых. Жаль, что пришлось платить за провоз; если б у меня были бланки Красного Креста, можно бы посылать даром. Не знаю, с кем отправить куски разных бумажных материй, пожертвованных Морозовым. Жду дарового провоза. По всем получаемым сведениям, от вас и от других, я вижу, что всё растаивает, как, если б в бочку воды бросили кусок сахара, и что помощь благотворительная не только не спасёт, но спутает народ, и всё мрачнее и мрачнее смотришь на всё.

Был у меня сегодня Грот, рассказывал, что статья «Страшный вопрос» подняла недовольство правительства. — «Он нас спутал этой статьёй», — сказал министр внутренних дел. От дирекции театральной денег ещё не получила и известий никаких. — Однако, после статьи «*Страшный вопрос*» немедленно дали сообщения и приказали до 20 ноября счесть весь хлеб. Говорят, что будет высочайшее повеление всем, у кого есть хлеб, продать его правительству по известной таксе. Я нахожу, что это давно пора.

Денег у меня около 10 000. Я дала Писареву 3000 на распоряжение твоё, Лёвочка. Он предполагал купить ржи; вы сговоритесь с ним. Надо получше распределить то, что мне все дают с такой любовью. Я получаю трогательные письма.

[...] Сегодня пишу письмо министру внутренних дел <И. Н. Дурново> по поводу статей «Московских ведомостей». По-моему они зажигают революцию своими статьями, приравнивая Толстого, Грота и Соловьёва к какой-то воспрянувшей, по их мнению, либеральной партии, которая, воспользовавшись народным бедствием, хочет что-то делать в смысле политическом. Рассказать всю эту подлость — трудно. Достаньте «Московские ведомости» 9-го и 11 ноября и прочтите. Мысль, которую я хочу провести министру, есть та, что если революционерам указывают на эту мнимую опору лучших представителей интеллигенции и нравственного влияния на общество, то они поверят своему счастью и поднимутся опять. А в настоящее время это ужасно и даже опасно. — Я только вчера узнала, что двое из главных деятелей «Московских ведомостей» были рьяные революционеры и надели теперь личину правительственно-православную. — И как они видны из-под этой личины!

Получила ваши письма <от 11-го>, милый Лёвочка и Таня... Ив. Ал. <Бергер> пишет тоже, что вы все здоровы и очень веселы: играете, поёте, что все у Мордвиновых, даже Лев Николаевич, играли в *petits jeux*. Как всегда весело вне *прямых* обязанностей! Вот посидели бы с горящими капризными детьми 10 дней, как я, — не развеселились бы. Да и сама я не совсем всё здорова. — Я думаю, вы притерпелись к зрелищу голода, а мне отсюда, и всем в Москве, кажется очень плохо. — Я рада, что вы все вне инфлуенцы <гриппа. — Р. А.> и давящей московской атмосферы. Понимаю теперь, как всё труднее с годами менять образ жизни и приравняться к обстоятельствам. Так-то всегда было тебе, Лёвочка. — Я совсем никуда не езжу и не хожу; даже дом не убрала, точно вот, вот куда-то уеду. — Уж не на тот ли свет? — Впрочем, я это говорю, не бывши больная, и напрасно вас смущаю. Прощайте, напишите *без обмана*, какие ваши планы и намерения в будущем. Одного прошу — *для меня* ни одного шагу не делайте и ничего не изменяйте. Я не настолько сильна духом и нервами, чтоб, когда вы приедете, — выносить молчаливые упрёки. А чутка я на это довольно. Прощайте! Отец Иоанн Кронштадтский прислал мне 200 рублей. От Лёвы открытое письмо с хутора Бибикова. Вот где ужасы настоящие — это в Самарской губернии. Целую всех.

С. Т.» (ПСТ. С. 465 – 466).

К сожалению, нервная болезнь Софьи Андреевны — следствие многих, проистекающих из её религиозного маловерия, раздражений и страхов — приняла к началу 1890-х затяжной характер, хотя ещё и не развилась в заболевание очевидное душевное, как оказалось к концу 1900-х... На это состояние любимой Л.Н. Толстым жены нам следует указать, так как оно сыграет в дальнейшем развитии «бегичевской эпопеи» довольно существенную роль.

Мы видим по письму, что Софья Андреевна, помимо собственно христианских религиозных побуждений мужа к работе на голоде, верно оценивает и его (а значит и её!) политическое положение: как помощников правительства, а отнюдь не оппозиционеров. Давным-давно, ещё до женитьбы, Толстому уже приходилось вполне сознательно занимать такую позицию: накануне отмены крепостного права, в 1856 году, он готовил и предлагал своим крепостным проект освобождения. Немало пообщавшись с ними, он “уловил” настроения, о которых в июне того же года писал гр. Дмитрию Николаевичу Блудову (1785 – 1864), главному тогда «законотворцу» Российской империи (председателю Деп-та законов Госсовета и главн. упр.

II Отд. собств. е. и. в. канц.), приложив черновик письма к грустной истории неудачной попытки облагодетельствовать свою «крещёную собственность». Вот отрывки из того письма:

«Теперь не время думать о исторической справедливости и выгодах класса, нужно спасать всё здание от пожара, который с минуты на минуту обнимет [его]. [...] Пролетариат! Да разве теперь он не хуже, когда пролетарий спрятан и умирает с голоду на своей земле, которая его не прокормит, да и которую ему обработать нечем, а не имеет возможности кричать и плакать на площади: дайте мне хлеба и работы. [...] Ежели в 6 месяцев крепостные не будут свободны — пожар. Всё уже готово к нему, недостаёт изменнической руки, которая бы подложила огонь бунта, и тогда пожар везде» (5, 256 – 257).

Соничка знала грустную историю мужа с крестьянами, не принявшими его проекта освобождения их с выкупными наделами из боязни барского обмана. Конечно же, своими взглядами и умонастроениями она была и гораздо ближе к настроениям именно *того* Л. Н. Толстого, молодого помещика и аристократа середины XIX столетия, нежели сам автор процитированных нами драгоценных строк — спустя 35 лет после их написания. Но она понимала, что справедливая, с христианских позиций, социальная критика, очень остро, местами до бойкого задора, выраженная Л. Н. Толстым в связи с голодом, не равнозначна *нравственно невозможной* для него манифестации либеральных или, тем более, революционных настроений. Невозможной не только как нравственная грязь, но и как пошлость, чуждая ему по внушениям детства, по сословному воспитанию и по эстетическому восприятию окружающей жизни чутьём художественного гения. Не столько из дискурсивного пространства актуальной общественной мысли, сколько по наследству от мужа и отца, Соня с детьми «подхватили» эти настроения: надо спасать и личное своё положение, и весь общественный строй от «пожара» голодных бунтов! Надо спасать от их опасности и самих крестьян: пропагандистской сволочи по деревням в 1880 – 1890-х гг. шастало куда больше, чем в 1850-х. Уже в 1909 г., пища мемуары «Моя жизнь», Софья Андреевна не только вспомнила свои с мужем настроения того времени, но и процитировала некоторые интимные записи одной из дочерей, умненькой Тани:

«В деятельности семьи моей иногда возникали тяжёлые сомнения. Лев Николаевич говорил про Россию, что, сколько ни старайся, впереди крушение... Таня думала, что результатом того положения, в котором находилась тогда Россия, будут или рабы, хуже крепостных, или восстания. Последние можно было предвидеть...

В своём дневнике Таня пишет, что, впрочем, “ничего нельзя предвидеть, и что только каждый должен класть свои силы, чтобы сделать вокруг себя, что может... Папа стал часто говорить и пишет в письмах, что дело, которое он делает, не то, а что это *уступка*. Я этому рада, значит, я не ошиблась”» (МЖ – 2. С. 234).

Это цитируется мамой из записей в дневнике дочери, Т. А. Толстой, на 17 ноября. Там же сообщается о приезде помощников, о которых мы уже рассказали выше, и о новых впечатлениях от народного бедствия в повседневно совершающемся служении:

«Пожертвования мы продолжаем получать, и меня это всё пугает. У нас теперь 17 столовых.

На днях я ездила с Чистяковым открывать столовые в двух дальних деревнях — Грязновке и Заборовке. Последняя особенно бедна. Дворы почти все протопили. У некоторых их и не было. В одну такую избу я вошла. Муж, жена, пятеро детей. Земли на одну душу. Изба не своя — нанимают у брата за 7 рублей в год. Отец с дочерью пасли скотину летом, получили 35 рублей, которые прожили. Теперь ничего нет. Когда соседи дадут хлеба займы, тогда он и есть. Я им сказала, что открывается "призрение" и чтобы они посылали детей. Они обрадовались и благодарили. Я вспомнила, что мне в другой избе сказали, что у них на семерых одни лапти, и спросила, в чём они ходить будут? Мужик взял девочку на руки, запахнул полой полушубка и говорит:

— А вот так и буду их туда носить.

Со мной была моя шаль. Я её отдала им. Они сперва остолбенели — не поняли, что я её отдаю им, а потом, как все теперь, которым что-нибудь даёшь, заплакали. Мне было приятно отдать эту шаль, и вот это единственно возможная благотворительность — это отдать своё, и не свои деньги, а то, что мне нужно и чего я лишаяюсь для другого. И это зависти не возбуждает — отдала, что есть. Другой шали на мне нет, так и никто не спросит её и не будет ожидать. Теперь я отдаю шить поддёвочки. Это совсем будет другое: всякий, кто узнает, что они у меня есть, будет бояться пропустить случай выпросить их у меня. И я не сумею выбрать того, кому они более всего нужны.

В Заборовке почти все дети раздеты и разуты, и вот там-то придётся мне с этими поддёвками распоряжаться.

Рядом с избой, о которой я писала, стоит такая же, но ещё меньше и с одним окном. Я зашла и туда. Там хозяйина нет. Баба больная, по моему чахоточная, кормит ребёнка. Тут же дети постарше и девка — соседка. Баба рассказала мне, что со вчерашнего дня не ели. Дети голодные, муж ушёл на мельницу молоть 1 пуд ржи, которую им

вчера выдали. Баба плачет, рассказывая это. Девка слушает, и у неё слёзы тоже так и капают.

У старших детей не по годам серьёзное и грустное выражение лица. Только маленький грудной улыбается и хватается мать за рот и подбородок, чтобы обратить на себя её внимание.

Мне дети особенно жалки. Вчера я ходила проводить трёх, которые вторую неделю больны рвотой и поносом, лежат все рядом на печи, такие покорные, жалкие, бледные. Мать — вдова. Сегодня она приходила ко мне. Я ей дала круп, чаю, баранок, лекарства и гривенник на хлеб. И при каждой вещи, которую я давала, она принималась всё сильнее и сильнее плакать. Жалкий, жалкий народ. Меня удивляет его покорность, но и ей, я думаю, придёт конец.

Елена Павловна говорит, что в Москве удивляются, что мы не боимся тут жить, а мы все ходим одни и, кроме самого ласкового отношения, ничего не видим. Вообще понятие горожан о том, что тут делается, совершенно превратное. Мне очень хотелось бы написать в газеты многие свои наблюдения, но не хватает умения. Между прочим, хотелось бы заявить, что вот уже три недели, как я живу тут, и ни одного пьяного не видала» (*Сухотина-Толстая Т.Л. Дневник. Указ. изд. С. 255 – 257*).

Соничка и Танюша таки немножко ошибались. Мы уже сказали выше, в каком смысле Лев Николаевич полагал свою деятельность благотворения с участием денег «уступкой». В начале 1890-х ему, как христианину, уже дела не было до судьбы “здания” государства, России. А вот отманить от гибели физической (голодной смерти) и нравственной (бунта, убийств, грабежей, ненависти...) людей трудящегося народа — он хотел и мог. Конечно же, *деятельной любовью*. И лишь в той степени, в которой, включившись в эту любовную деятельность, приходилось зависеть от людей безбожных, безверных, порабощённых суеверием о “необходимости” денег и богатства, о “необходимости”, столь же мнимой, государства и всей машины системно организованного насилия — лишь в этой степени неизбежно было уступать их бреду наяву и использовать деньги, как свои, так и добровольных жертвователей.

Христианское религиозное понимание жизни стало для Толстого 1880 – 1890-х гг. во главу угла, но и опасения социального взрыва он, *со своих позиций*, понимал и мог разделить со своими собеседниками и помощниками того времени.

Конечно, не все они улавливали этот тончайший нюанс: главным образом, по причине христианского безверия. Упомянутый выше Софьей Андреевной *Иоанн Ильич Сергиев* (1829 – 1908), в то время

протоиерей Андреевского собора в Кронштадте и ярый, до смерти, ненавистник христианского исповедничества Льва Николаевича — хрестоматийный образчик такого непонимания. Но у него была веская причина: возлюбленная им церковь православия, которую много лет атаковал критикой Лев Толстой. Церковь, давшая ему, выходцу из простого крестьянского семейства, земные блеск и честь в глазах миллионов церковных обрядоверов. Отец Иоанн не был корыстолюбив, но в отношении греха тщеславия — был куда более уязвим, нежели жестоко язвимый, уличаемый церковниками в этом даже посмертно Лев Толстой. У Софьи Андреевны же причины для выстраивания «барьера непонимания» в отношениях с мужем — *никогда* не были столь благородны и основательны.

На очереди письмо С. А. Толстой от 15 ноября — о новой хорошей добровольной помощнице Льву Николаевичу на голоде:

«Милые друзья, едет к вам эта барышня с намерением служить лично народу, и ей хочется очень изучить дело столовых.

Прислана от Грота. Кажется, очень серьёзная и милая и имеет свои средства. Приласкайте её, люди нужны. [...] Эта барышня 2 года училась медицине и может лечить.

Примите её по лучше» (ПСТ. С. 467).

Конечно же, Грот отправил и от себя письмо Толстому с характеристикой новой волонтерки, *Екатерины Павловны Чертковой*:

«Это — друг нашей гувернантки, А. П. Татариновой, — очень образованная и энергичная девушка. Она неспособна ни на какое дурное дело — не нигилистка и не социалистка, а только желает помочь кормлению голодных. Она была 2 года на медицинских курсах и 2 года на курсах Герье, и великая почитательница ваша. Везёт она с собою своих собственных 100 р. для Скопинского уезда, где нужда страшная (хуже, чем в Данковском)» (Цит. по: Там же).

Обратим внимание, что для обоих, Толстого и Грота, это была важная положительная рекомендация кандидатки: отсутствие убеждений или связей революционаристского толка!

Наконец, письмо Софьи Андреевны от воскресенья, 17-го ноября, с неприятными известиями о цензурном запрещении любых газетных публикаций — персонально для Льва Николаевича:

«Милый друг Лёвочка, вы живёте там в тишине, и не подозреваете, какую тут грозу на вас направили. Сейчас был Грот, он говорил, что во все газеты послан приказ из главного управления по делам печати, чтоб *никакую* статью Толстого не печатать нигде. «Московские

ведомости» прокричали тебя революционером за «*Страшный вопрос*», и злобе в сферах правительства и «Московских ведомостей» нет границ. И как это правительство не видит, что «Московские ведомости» систематически готовят революцию — тогда спохватятся.

Но теперь вот в чём вопрос: статья о столовых крайне необходима. Я читаю публике выписки из ваших писем, все страшно интересуются. Статьи твои запрещены. Выхода два: пусть будет подписано: Татьяна Толстая. Она ведь хотела тоже писать, или дай я пошлю государю цензоровать самому. Только вложи в статью побольше *чувства*, ты это так умел прежде, когда был художник; разбуди его — и забудь о всяком задоре и тенденции. Как *чувство* самое маленькое получает немедленно отголосок — это поразительно! Мужички сармарские пришли и в восторге, что я их поместила; и я в восторге. Вчера писала Маше. Сашу всё лихорадит, остальные здоровы. Снег валит.

С. Т.

Целую всех вас, кланяюсь Ивану Ивановичу. Что-то Ваня? Денег жертвованных всё прибывает; сегодня принесли узел с платьями и мешок с сухарями.

Пусть Маша осторожнее разбирает платья, не с больных ли? Я всё держу в сарае» (ПСТ. С. 467 – 468).



М. А. Толстая и Т. А. Кузминская в беседе с земскими старостами.
Зарисовка по фоту И. Стадлинга. 1892 г.

Умная и многоталантливая, как мама и отец, Татьяна Львовна, действительно, поддержала отца и на публицистическом фронте. Вообще «девочки», дочери, жившие и работавшие с отцом в голодной Бегичевке, стали в эти дни его не только деловой, но и моральной огромной опорой, о чём он, в числе прочих известий, не без радости сообщает жене в очередном письме, 19 ноября:

«Известий о нас тебе теперь много с разных сторон, но хочется тебе написать, милый друг. Получили 3-го дня твои два письма нам <Вероятно, от 13 и 15 ноября. – Р. А.> и одно Ивану Ивановичу <Раевскому>. Во всех трёх мне слышна была горькая нота, и мне это было очень больно. Но дело в том, что тебе больнее, и я тотчас же хотел ехать к тебе. Но девочки советовали ехать всем вместе. И после совещания решили подождать ещё известий, но во всяком случае ехать к тебе всем, не откладывая, поручив здесь продолжение дела, кому можно.

Девочки все три кашляют и в насморке, но в общем здоровы. Я совершенно здоров. Не сглазить, давно не было даже изжоги.

Вчера я с вечера усердно писал статью, описывающую нашу деятельность, сегодня утром проснулся в 7-мь и писал, не выходя из комнаты. Пустая статья, но нужна тем, что сообщает другим приёмы заведения и ведения столовых. Она ещё не переписана, и едва ли к завтраму кончу. С Владимировым я ошибся и послал тебе какую-то другую рукопись. <По ошибке Толстой послал жене рукопись неоконченного рассказа «Кто прав?» - Р. А.>

Потом в 10 часов поехал верхом по всем дальним столовым и проездил по прекрасной погоде до 5 часов. Положение становится всё напряжённее и напряжённее: проедаются последние средства, и количество совсем неимущих всё увеличивается. Главное топливо и праздность и мужчин, и женщин. Нынче пишу Владимирову о высылке нам лык для работы лаптей. Лён на днях получится. Знаменательный признак нужды, что по 3-м небольшим деревням в один день набралось охотников отдать на прокорм 80 лошадей, и приходят ещё и ещё просить взять лошадей. Отдают незнакомому человеку, неизвестно куда своих лошадей, и всё хороших, молодых. Очевидно, считают этот риск выгоднее верной гибели, если оставить у себя лошадь.

В последнюю почту получено нами повесток на 3300 рублей. Твои, т. е. тобой собранные, пожертвования очень хороши. Поразительны 1500 аршин материи и комична вермишель. Её надо будет раздать в праздники. <Даже в 1909 г. Софья Андреевна вспомнила эти «20 пудов вермишели от купца Усова из Петербурга» (МЖ – 2. С. 232). –

Р. А. > Материя же тоже поразительно нужна. Нынче я видел вдову с детьми, положительно голую. Только один мальчик может выходить. Я ещё не видел такой бедности.

Таня написала нынче маленькое письмо в газеты, — не знаю, пошлёт ли, в котором она пишет, как устройство столовой, присутствие людей извне, посещения — ободряют людей. Это совершенно справедливо и очень заметно.

Нынче Иван Иванович уехал в Данков, и мы одни. Теперь у девочек сидит Маргарита Ивановна <Мордвинова> и пьют чай, а я пишу. Матвей Николаевич <Чистяков> всё у нас. Я его не пускаю, и он ждёт, и нам полезен и приятен. Ну, пока прощай. Целую тебя и детей от Вани, через Сашу, Мишу, Андрюшу до Лёвы. Надеюсь скоро увидеться. Дай только Бог тебя найти здоровой. Надеюсь на мороз. Что-то даст завтрашняя почта, т. е. какие известия о тебе?

Л. Т.» (84, 100 – 101).

Напомним читателю, что Маргарита Ивановна Мордвинова (1856 — 1912) была младшей дочерью Екатерины Ивановны Раевской, в цитате из дневника которой выше уже упоминалась, то есть сестрой Ивана Ивановича Раевского.



В столовой. Зарисовка по фото Йонаса Стадлинга. 1892 г.

Статья Т. А. Толстой в виде анонимного фельетона «Даровые столовые в деревнях» была опубликована в «Новом времени» от 20 ноября, № 5650. В мемуарах Софья Андреевна любовно цитирует некоторые строки этих добрых писем к ней дочери, давших Татьяне Львовне материал для статьи. Для примера, вот отрывок из письма 11 ноября:

«Положение народа с каждым днём ухудшается, и приходится в каждой деревне открывать вторую столовую. Я думаю, что и по три открыть, и то не будет слишком много. Вчера ходила на ужин в свою столовую. Хозяйка очень проворная, отлично готовит и ласкова с детьми. Сидят крошки, матери их приводят и кормят — сами не едят. Все и весёлые, и довольные. Весело смотреть на эти обеды и ужины, и те, которые жертвуют на это деньги, были бы вознаграждены за это, если бы видели, как жертвованные деньги идут прямо на то, чтобы утолять голод людей» (Цит. по: МЖ – 2. С. 244).

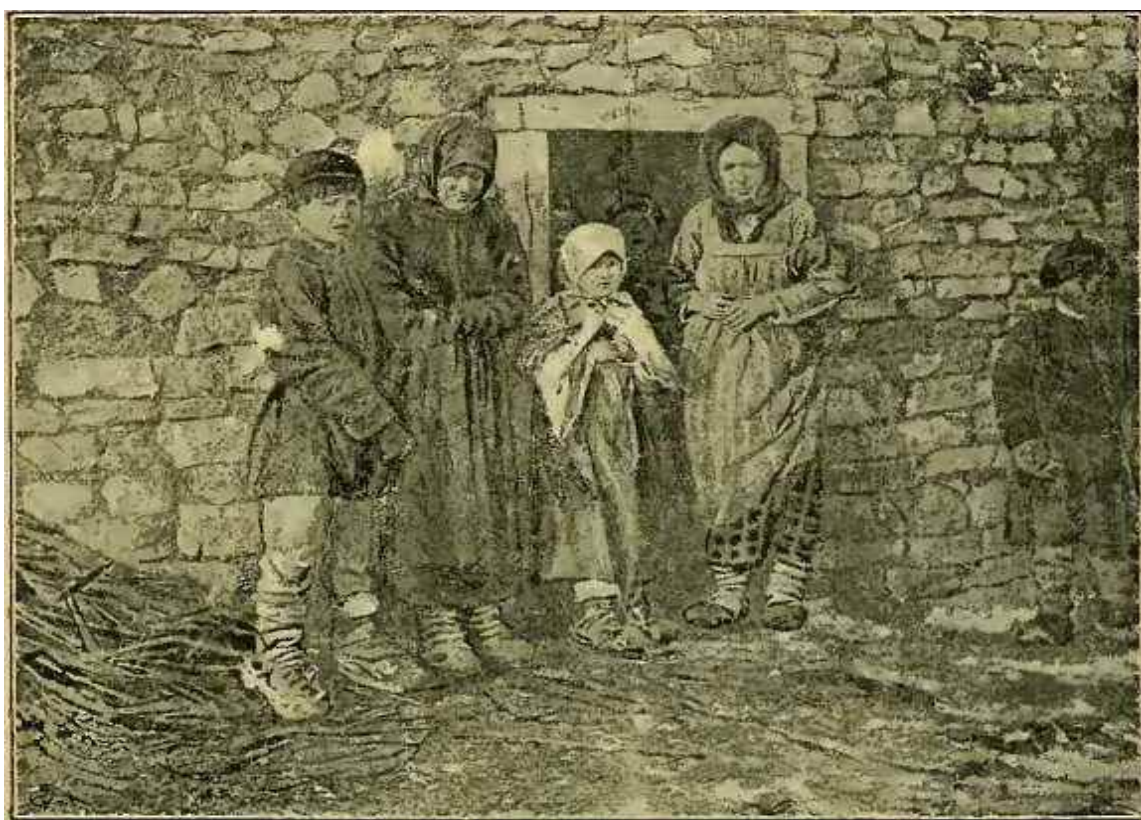
Вот и ещё, из письма Танюши маме от 17 ноября:

«Присланные вами пожертвованный чай и сахар многих осчастливливают. Больные и старые очень радуются. Также и холстинки <мануфактура на шитьё одежд. – Р. А.>. Сегодня я отрезала одному вдовцу 4 аршина холстины девочке на рубашку, так он заплакал. Платье очень нужно. Третьего дня была я в одной деревне очень бедной, открыла там столовую и стала ходить по дворам узнавать, кто ходить будет в столовую. В одном дворе на семерых одни лапти и одна шуба и два рваных кафтана. Я спросила: “Как же дети в признание <в столовую. – Р. А.> ходить будут?” Мужик взял девочку на руки, завернул полрой полушубка и говорит: “А вот так и буду носить их”. Я отдала им свою шаль, так они пришли сперва в недоумение: не знали, как это принять, а потом, как всегда теперь, <как все> которым что-нибудь дашь, расплакались» (Цит. по: Там же. С. 246).

Это было разрешением общих сомнений в ожидании социальной и политической катастрофы. Надо делать, по-Божьи, то, что должно... а что будет с разбойничьим гнездом по имени Россия и со всею лжехристианской цивилизацией — это не важно. Пусть будет так, как будет!

3.7. Силы зла не дремлют. Гибель друга. Привал

Содержание очередных писем Л. Н. Толстого к жене, от 23 и 24 ноября, продолжает тему столовых и иной помощи народу. Но из-за трудностей сообщения и чрезвычайной занятости ознакомиться с очередными письмами *от* жены и ответить на них Толстой не смог раньше 25-го. Поэтому здесь мы немного отступим от строгости хронологического принципа в пользу *диалогового*. Приводим ниже тексты писем Толстого к жене от 23 и 24 ноября, а уже после — письмо С. А. Толстой к супругу от 20 ноября.



A MUSHIK FAMILY.

Голодающая крестьянская семья. Фото Й. Стадлинга. 1892 г.

23 ноября:

«Каждый день вижу тебя во сне, милый друг. Дай Бог, чтобы ты была здорова и спокойна. Мы все совершенно здоровы и изо всех сил бережём друг друга. Таня пишет страшный вздор: предвидеть ничего нельзя, а предвидеть дурное даже дурно.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Т. А. Толстая писала С. А. Толстой (почтовый штампель 22 ноября): «Вчера заболел у нас Ив. Ив. и сегодня ещё лежит в жару. Богоявленский говорит, что грипп, но всегда страшно, когда старики заболевают» (*Цит. по: 84, 102*).

Дочь Толстого беспокоилась не напрасно: в несколько дней простуда и воспаление лёгких убьют Ивана Ивановича Раевского, а ещё через 19 лет – и самого Л. Н. Толстого. Грустно предвидеть дурное, но бывает, что и полезно. – Р. А.]

Наташа обещала приехать в воскресенье, и мы было решили, получив от неё самые свежие известия, ехать в Москву. Теперь болезнь Ивана Ивановича невольно задерживает нас. И дело нельзя бросить, и его, милого человека, которого я, чем больше с ним живу, тем больше люблю.

Занят я очень. Статья моя о столовых <«О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая»>, кажется, готова, но ещё не переписана. Надеюсь завтра выслать её тебе. Ты просмотришь и пошлешь к <Павлу Александровичу> Гайдебурову <т.е. в газ. «Неделя», которую издавал Гайдебуров. – Р. А.>. Он всегда так желателен, а я его обхожу для «Русских ведомостей», совсем мне чуждых. Кроме того, он скорее других напечатает. Впрочем делай, как знаешь. Я вижу, что ты живёшь этим делом не меньше нашего. То писанье, то разговоры с народом, приходящим с разными требованиями и просьбами, то поездки — весь день полон.

Нынче был исправник, льстивый человек, который будто представлялся. Завтра, говорят, приедет губернатор рязанский. Очевидно, их беспокоит наше присутствие.

[ПРИМЕЧАНИЯ.

1) На дальнейшие неприятности с цензурой из-за статей Толстого Павел Александрович Гайдебуров (1841 — 1893), с 1876 г. редактор газеты «Неделя», напросился, что называется, сам: по поводу «О средствах помощи населению...» он «скромно» канючил в письме к дочери Толстого Татьяне Львовне, чтобы та повлияла на отца: «за что ваш батюшка меня забыл?» (*Цит. по: Мат-лы к биографии. 1886 – 1892. С. 251*). Толстой тогда разумно доверился решению Софьи Андреевны, выбравшей для публикации «Русские ведомости», а Гайдебурову передал «обречённую» на цензурные преследования статью «О голоде».

2) Данковский уездный исправник по фамилии Праль был командирован для надзора за деятельностью народных кормильцев. Как

будет видно из представленного ниже, в Приложении № 3 к данной главе, документа, этому приезду уже предшествовали тайные наблюдения за Толстым с последующим докладом в Департамент полиции. Приехавший вслед за ним губернатор Рязанской губернии Дмитрий Петрович Кладищев соревновался с Пралем в сочинении реляций на внушавшую опасения деятельность Толстого и его команды. Эти доносы, один из бессчётных позоров Российской Империи, были опубликованы лишь в 1939 г. в «Красном архиве» (№ 5, стр. 221 и сл.). – Р. А.]

Столовых открыто теперь 28, и всё просят открывать новые. Помощников никого ещё нет. Матвей Николаевич остаётся у нас, видя, что дела много, и хорошо и много помогает. Денег у нас тысяч 6, кажется, и мы на все покупаем хлеба. На днях был премилый человек, Протопопов, бывший моряк, стоявший со мною вместе на 4-м бастионе в Севастополе, а теперь Председатель Елифанской Земской управы. Мы ему поручили купить нам ржи. Завтра буду писать ещё. Теперь ждёт посланный с телеграммой в Клёкотки. Прощай, до свиданья, целую тебя и детей. [...]

А. Толстой. [...]» (84, 101 – 102).

Николай Петрович Протопопов (1834 – ?) — один из тех людей на жизненном пути Льва Николаевича, о которых даже скудные уцелевшие сведения вызывают глубочайшую симпатию и уважение. Отставной капитан-лейтенант флота, в 1891 г. — уездный предводитель дворянства, он своим характером и нравственными качествами был похож на Ивана Ивановича Раевского. Раевский во всякой трудной ситуации в ходе борьбы с голодом, как вспоминал о нём сам Лев Николаевич: «...беспреданно говорил злу: “Живые в руки не дадимся!”» (29, 261 – 262). Так и офицер Протопопов: воспринимал бедствие голода и сопротивление делу помощи правительственных чиновников, торгашей и стихийных обстоятельств — как *вызов на битву*, в которой надо победить. 8 декабря 1891 г., в письме к А. А. Толстой, Лев Николаевич сообщал:

«Я встретил у Раевского моряка Протопопова, с которым мы вместе были 35 лет назад на Язоновском редуте в Севастополе. Он очень милый человек, теперь председатель управы, хлопчет, покупает хлеб. Он очень верно сказал мне, что испытывает чувство, подобное тому, которое было в Севастополе. “Спокоен, т.е. перестаёшь быть

беспокоен, только тогда, когда что-нибудь делаешь для борьбы с бедой». Будет ли успех, не знаешь, а надо работать, иначе нельзя жить» (Л.Н. Толстой и А.А. Толстая. Переписка. – М., 2011. С. 465).

На очереди следующее письмо Л. Н. Толстого жене, от 24 ноября:

«Сейчас 6 часов утра, 24-го. Пишу ещё. Вчера отослал письмо с вечера. Ив. Ив. всё в жару и очень беспокоен. Всё заботы об общих делах, а сидеть едва может. Написал однако письмо <своей жене> Элене Павловне.

Сейчас отправляется отсюда в Тулу человек верный с письмами и с нашими деньгами, 6000, которые мы посылаем Писареву, чтобы положить в Тульский банк и выдавать за купленный хлеб, который будет приобретать вместе с земским Протопопов, председатель земской управы епифанской.

Меня немножко мучает совесть перед Эленой Павловной, что я не известил её тотчас же <о заболевании Раевского. – Р. А.>. Но вышло так, что, когда он 20-го вернулся из Данкова, не стоило посылать, казалось, что ничтожный грипп, который пройдёт, тем более, что на другой день он был совсем свеж и здоров утром и свалился опять к вечеру 21-го. 22-го мы ждали перерыва, чтоб он сам написал. И вот послали только 23-го. Он сам написал письмо Элене Павловне. С большим трудом. [...] Нам будет легче, когда она будет здесь. Богоявленский каждый день бывает и не находит ничего опасного. [...]

Мы все совершенно здоровы и были бы бодры, если б эта болезнь и хозяйина, и дельца главного, и милого и дорогого человека не подавляла нас. Целую тебя и детей.

Л. Т.» (84, 103).

Уже хорошо нам известная Екатерина Ивановна Раевская, мама Ивана Ивановича, рассказывает в дневнике своём обстоятельства роковой простуды сына:

«Погода была отвратительная, и сын, проводив жену и детей обратно в Тулу, несмотря на уговоры жены остаться дома и отдохнуть, захотел непременно ехать на экстренное земское собрание в уездный наш город Данков. Там спорил, горячился и на следующий день с температурой в 40 градусов проехал сорок вёрст в открытых саях, при страшном ветре, прозяб дорогой и слёг, чтоб более не вставать...» (Раевская Е. И. Указ. изд. С. 386).



«Голодные сиротки»
Зарисовка по фото Ионаса Стадлинга. 1892 г.

Настало время для письма С. А. Толстой от 20 ноября. Начало его — о не оконченном, вынужденно брошенном рассказе Л. Н. Толстого «Кто прав?», отправленном к С. А. Толстой, как мы помним, по ошибке:

«Спасибо тебе, милый друг Лёвочка, за письмо и статьи. Вчера вечером собрались у меня Грот с женой, <сестра> Лиза с Машей <Колокольцовой?>, Наташа с Вакой <Брат С. Н. Толстой, Владимир Николаевич Философов. — Р. А.>, и я им прочла вслух. Все очень заинтересовались повестью и очень пожалели, что дальше нет. — Хорошо кур ловят, очень картинно. — Разумеется, ясно, к чему клонит рассказ; и ты видно хочешь, чтоб виноватых не было. Но чувство проскочит невольно настоящее, кто именно прав.

О коротенькой статье я такого мнения: как отчёт — не довольно полный и ясный; как статья — не довольно интересна и чувству ничего не говорит. Так что она не удовлетворяет. Прости, что говорю тебе это.

Гротовская твоя статья <«О голоде»> запрещена бесповоротно. Был у меня Оболенский, совсем неправда, что ему запретили «Сборник»; ему только статью его о «Сборнике» запретили, и он очень ждёт и рассчитывает на обещанное тобою. Тут и дочери его и жена.

<Напомним, что огромный поток пожертвований, благодаря жене и дочери Толстого, сделал писание «Кто прав?» именно для сборника Д. Д. Оболенского ненужным. Издание сборника превратилось для Толстого в неактуальный замысел малоудачливого друга семейства, человека лично не близкого, который сам, однако, не терял надежд повлиять на Толстого через жену и заполучить таки в свой сборник его новый рассказ. – Р. А.>

Приезд Лёвы меня очень оживил и стало легче и веселей. Впрочем, главное хорошо, что все дети выздоровели; Ваничка сегодня гулял в первый раз; дня через два и Сашу выпущу.

[...] Мне неприятно было, что вы Лёву и Наташу послали как будто адвокатами, чтоб они исследовали, как я отношусь к вашему возвращению. Ведь это же видно — их дипломатия. Какая может быть дипломатия между нами? Вот я понимаю Таню. Она пишет: “нужно вам меня, всё брошу, приеду сейчас же”. Иногда мне и приходило в голову, чтоб её выписать, помочь мне. Очень было трудно и страшно грустно во время болезни детей. — Я, таки, рассчитывала, что тебе станет хоть немножко жаль меня и ты приедешь меня проведать. Но и опять ошиблась. Девочек же мне не хотелось отрывать от дела; да думала, что телеграммой испугаешь и дорого она стоит, а писать, чтоб приезжали помочь, — пока дойдёт письмо и пока приедут — бог даст все выздоровеют. Так и вышло. Теперь же я наладила и жизнь свою, и дела, и сердце. Мне никто *не нужен*. — Пусть все живут при деле. Дело во всяком случае несомненно прекрасное и полезное. Я всей душой ему сочувствую и помогаю, чем могу.

Сказал ли ты Писареву, чтоб он на данные ему мною 3000 рублей был так добр и купил бы ржи на ваши столовые? Надо ему написать, если вы его не видали. Пожертвования пошли гораздо тише; вероятно, и совсем прекратятся; кто хотел, дал. — Большую часть я отдам Лёве; там нужнее всего помощь и нужда ужасающая. Лёва пригласил с собой старшего брата Цингера и ещё едет с ним наш Иван Александрович, если мать пустит. Он был тут. — Мне страшно за Лёву, и за его нервы, и за здоровье, и за молодость в таком обширном практическом деле; но думаю, что он делает хорошо, что едет. — Без него опять опустеет тут и будет грустнее. Да что делать, — такие времена.

Сегодня не пишу Тане; всё равно все прочтут, а очень её благодарю за письмо и всегдашнюю заботу обо мне. Если ей много писать, пусть не устаёт ещё *мне* много писать, я довольствуюсь и короткими, лишь бы частыми извещениями о всех вас. Верочке напишу отдельно. Машу целую и всех вас. Маша, я думаю, счастлива, что к *настоящему* делу примкнула. Наташа мало о вас рассказала.

Так вот, Лёвочка, попроще со мной, пооткровеннее и подобрее надо быть, я только одного прошу. — А что я *хочу*, что мне *нужно*, — право, опять того же: попроще, подобрее и чтоб вам же всем было хорошо.

С. Т.» (ПСТ. С. 468 – 470).

Текст письма, в особенности же эмоциональное его завершение, доказывает, что, как ни отрицай этого Соня, а дипломатия в отношениях с нею была нужна. Она могла быть — и раздражённой, и подозрительной, и по-своему мстительной. Это доказывает самая судьба ошибочно, вместо статьи о столовых, посланной Львом Николаевичем рукописи с наброском “семейной” по сюжету повести «Кто прав?». Как показалось Соне, сюжет подразумевал развитие темы любовных отношений “испорченного половым грехом” мужчины с юной, “невинной” девушкой — что сблизило его в глазах Софьи Андреевны не только с ненавистной «Крейцеровой сонатой», но и с собственной её судьбой. И она совершает акт своего рода мазохистского (мучительного ей самой) мщения: устраивает, пусть и в семейном кругу, но *публичное чтение* чернового наброска — с обсуждениями и пр. А также делает ряд собственных, отдающих паранойей, выводов о возможном продолжении и завершении сюжета. Эта выходка имела для Софьи Андреевны больше негативных последствий, нежели для Толстого. Автор воспользовался “тучками на горизонте” нового семейного скандала как поводом для себя — чтобы отложить это художественное писание, ставшее, как мы сказали, лично для него избыточным на фоне притока пожертвований, да и слишком обременявшее его в Бегичевке, в условиях множества практических проблем помощи голодным. К сожалению, позднее он, хоть и планировал вернуться к рукописи, но так и не вернулся... А вот жена Толстого “пережёвывала” в себе негативные собственные впечатления от... того, чего и не было в черновике повести, но что *представилось* ей — практически до конца жизни. Присовокупив эти впечатления к таким же — от «Крейцеровой сонаты». Не без влияния отрывка «Кто прав?» она создаёт собственную повесть с характеристическим названием «Чья вина?» — в которой, разумеется, виноват во всём муж, мучитель и убийца жены умной, талантливой, во всём невинной, но глубоко несчастной с похотливым и ревнивым супругом. Эта повесть считается “зеркальным” ответом Софьи Андреевны на «Крейцерову сонату», но не с меньшим основанием её следует считать и ответом на *ненаписанную* Толстым повесть «Кто прав?».

На деле, судя по черновикам уже 1893 года, когда Толстой пытался продолжить писание повести, замысел его был значительно шире: это была своеобразная художественная ретроспективная иллюстрация к идеям и выводам статьи «О голоде». Толстой в острой форме поднимал столь близкую для голодных лет тему барской «благотворительности» народу — в условиях чудовищного неравенства положений, поддерживаемого эксплуатацией и ограблением этого самого народа. Характерен и эпиграф Толстого, взятый для повести из евангелия: «Аще не будете, как дети, не внидите в Царствие Небесное» (*Мф., 18: 3*). Судя по этому эпиграфу и по фиксируемому исследователями в Дневнике Толстого “рабочему” названию повести «О детях», Толстой «хотел поставить в ней вопрос: кто прав — дети, которые забывают о том, что они “господа”, беззаветно отдаются помощи голодающему народу и входят в непосредственное общение с ним, или их родители, пытающиеся свести всё к расчётливой и “приличной” благотворительности. Как и в статьях о голоде, Толстой в этом рассказе намерен был осудить господ, равнодушных к народу и прикрывающих это равнодушие лицемерной маской заботы о “меньшом брате”» (*Опунльская Л. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М., 1979. С. 250*).

25 ноября Толстой отвечает сразу на два письма Софьи Андреевны: от 17 и от 20 ноября.

«Вчера, 24-го, получили твои два письма, милый друг. Ты напрасно меня упрекаешь в дипломатии: не дипломатия, а дело такое, что я, зная тебя, знаю, что ты будешь скрывать всю тяжесть своего состояния, а нам лучше знать. И, разумеется, всё брошу и приеду к тебе, и буду жить с тобой не с упрёком, а с радостью. Я совсем собрался ехать к тебе на той неделе, после получения тех писем, но девочки не пустили, просили подождать, а тут заболел Иван Иванович.

Вчера вечером, в 10, приехала <жена Раевского> Елена Павловна. Она и не уезжала в Москву; говорит, тоска была и не хотелось уезжать. Ему не лучше. Называют это инфлуенцой, а это горячка по-старинному. Лежит в жару, 39° почти, бредит, тяжело дышит. Бого-явленский тут постоянно, и говорит, что опасного нет. Но нам всё время страшно и жалко и его и Элену Павловну.

Не потеет, кашель. В лёгких ничего нет. Пишу всё это и для сыновей, чтоб они знали всю правду.

Вчера получили опять пожертвований тысячи на 2 с лишком и письма. Столовые расползаются как сыпь. Теперь уже 30, и идут хорошо. Я вчера вечером посетил две; трогательно видеть, как ребята

с ложками бегут толпою. Попался нищенка мальчик из чужой деревни. Его пригласили и накормили, и спать положили в столовой.

Послал я тебе нечаянно начало повести. Ты не угадала, — хотя всегда угадываешь, — к чему клонит. Спиши и пришли мне, если я прежде не приеду. Приеду же я, как только поправится Ив. Ив.

Вчера, прочтя твои письма, страшно захотелось тем сердцем, которое ты во мне отрицаешь, не только видеть тебя, но быть с тобою.

Статью мою, гротовскую, пожалуйста возьми в последней редакции без смягчений, но с теми прибавками, которые я просил Грота внести, и вели переписать, и пошли в Петербург Ганзену и Диллону, и в Париж Гальперину. Пускай там напечатают; оттуда перейдёт и сюда, газеты перепечатают. Адресы Гальперина, Ганзена и Диллона сейчас впишу, если они найдутся у Тани; а если нет, то пошли к Лескову (его адрес в «Русской мысли»), он отдаст и Ганзену, и Диллону, а Гальперина можно узнать через Рише. А Рише знает Грот.

Мы все здоровы. К нам приехала Бибикова, дочь Василия Николаевича, на лошадях. Мы её выписывали, чтоб ей передать деньги и научить её, как вести столовые. <Анна Васильевна Бибикова (1873 – ?) > — дочь старого знакомого Толстых Василия Николаевича Бибикова, помещика села Успенское-Кобылинки (ныне с. Успенское, Тепло-Огарёвский район Тульской обл.). – Р. А.>

[...] Мальчику Раевским скажи, что теперь, 9 часов утра 25, температура 38,8. Пульс хорош. Это слова Богдавленского. Элена Павловна говорит, что если им очень хочется приехать, то она не запрещает этого, но никак не вызывает их» (84, 104 – 105).

Имперская Россия, что называется *нарвалась* сама со своими запретами — и не в последний раз! Получив жёсткое цензурное запрещение для публикаций статьи «О голоде» в России, Толстой справедливо и разумно прибег к помощи представителей свободного и цивилизованного мира. С учёным-физиологом и масоном (парижская ложа «Космос») Шарлем Рише (1850 – 1935) Толстой успел познакомиться через Н. Я. Грота в августе 1891 г. (конечно же, его заинтересовали антивоенные взгляды Рише). На писателя, переводчика с русского на французский Илью Даниловича Гальперина-Каминского (1858 – 1936) Толстой оттого и рекомендовал жене выйти через Рише и Грота, что лично с ним на тот момент знаком не был. Зато хорошо знал Толстой Петра Эмануила (Петра Готфридовича) Ганзена (1846 – 1930), агента в России «Датской телеграфной компании», большого поклонника русской литературы, с середины 1880-х гг. переведшего ряд его сочинений на датский язык. Желая первым заполучить Послесловие к «Крейцеровой сонате», тот в 1890 г. приехал к

Толстому лично в Ясную Поляну и, с разрешения автора, переписал для себя текст Послесловия. А Толстой после этого... отобрал у него готовый список и сделал в нём, что было для писателя весьма обыкновенным, гигантское количество поправок. После, кажется, *пятого* списка бесплатный переписчик наконец что-то понял и уехал восвоюси — очень расстроенный, но и очень заважавший не только литературные таланты, но и житейские ум и сообразительность своего русского кумира. Наконец, *Эмилий Михайлович Диллон* (E. J. Dillon, 1854 – 1933) — англичанин, доктор восточных языков и литературы, живший в 1880-х и 1890-х годах в России, сильно обрусевший. Так же был переводчиком книг Толстого (включая «Крейцерову сонату» и Послесловие к ней) — разумеется, на английский язык... а также постоянным корреспондентом газеты «Daily Telegraph», представлявшим для читателей этой газеты события российской действительности. С Толстым успел познакомиться в декабре 1890 г., так же при личном визите в Ясную Поляну. С его переводом статьи Толстого «О голоде» будет связан неприятный скандал, о котором мы расскажем в соответственном месте нашей книги.

* * * * *

Итак, участь Ивана Ивановича Раевского решалась в эти дни в Бегичевке роковым образом — по сочетанному влиянию ряда негативных факторов, не последним из которых было отсутствие доступа к более качественной медицине, нежели та, которую олицетворял в себе волостной лекарь Богоявленский. Именно тогда, когда Лев Николаевич особенно сблизился со своим старым, но никогда прежде не близким знакомым — узнал его сердце... И это сердце отсчитывало в эти мрачные ноябрьские дни последние удары: совершенно как и сердце Л. Н. Толстого, в такие же ноябрьские дни, через девятнадцать лет.

Потеря Раевского и нарастающая угроза здоровью жены, заждавшейся его в Москве и измучившей себя этим ожиданием — обстоятельства, проложившие как психологический, так и внешне-биографический рубеж первому акту бегичевской драмы Толстого. Неизвестно, сколь быстро заполучила бы Софья Андреевна мужа в Москву насовсем, без новых выездов «на голод» -- если бы остался жив Иван Иванович. Но смерть благословившего его и приютившего в своём доме всю его «команду» христианского трудника сделала Толстого нравственно обязанным в продолжении, с отдачею всех сил, и максимально благополучном завершении всего, начатого в этой местности именно покойным Раевским, благотворительного

предприятия. Ускорить разрыв с ним Толстого могло бы отсутствие средств, к приобретению которых сам Л. Н. Толстой отнёсся, как мы помним, как минимум нерасчётливо. Но Софья Андреевна сама вызвала огромный поток пожертвований! Не раскаивалась ли она в том в эти ноябрьские дни?

На очереди — последние три письма супругов: письма от 21 и 26 ноября С. А. Толстой и письмо от 28 ноября (перед самым отъездом из Бегичевки) Льва Николаевича Толстого. Приводим их тексты ниже в хронологическом порядке.

С. А. Толстая, письмо от 21 ноября:

«Мне ужасно совестно, милый друг Лёвочка, что я так дурно на вас действую. Ты пишешь <19 ноября>, что во всех моих письмах горькая нота. Я думала, что моё письмо к Ивану Ивановичу очень холодно и поскорей написала ему другое, а письма к вам я не помню. Очень я не ровна, и я, право, воспитываю себя, и всё лучше и лучше живу и привыкаю к своему положению. Но что-то во мне надломилось, и этот надлом подчас заставляет меня метаться, тосковать и мучить себя и других. Многому этому виною и голод народный, и положение всех нас в этом году. Тут грозят со всех сторон такими ужасами, что спать спокойно нельзя. Завтра я покупаю на десять тысяч золота, чтоб было с чем пережить то смутное время, которое предсказывают. Сейчас был Дунаев, он болен и взволнован хуже меня.

Ты пишешь, что вы хотите все приехать ради меня. Пожалуйста, не ездите ради меня. Взад и вперёд ездить очень утомительно, особенно всем; теперь же девочки кашляют, им немислимо ехать. Кроме того поступают пожертвования, некоторые вещи не получены, некоторые столовые едва возникли. Вам, вероятно, совсем теперь не следует уезжать. Подождите ещё, из-за меня одной бросать стольких, пожалуй, что не хорошо.

Ведь всё это я вижу и понимаю, и гораздо даже справедливее мне одной хоть вовсе погибнуть, чем оставлять погибать многих. Но я совсем не погибаю.

[...] Лёвы всё дома нет и всё он ворчит на ту же тему объеданья и баловства, но я всё-таки рада, что он тут. Не знаю ещё, когда он едет.

Об отправке гороха и чечевицы я могу сказать следующее: квитанция послана в Чернаву из Москвы 13-го ноября. Почтовая расписка у меня, конечно, цела. Справлюсь завтра на почте. Самый же горох,

чечевица и мука посланы в Клёкотки. Туда же посланы и вещи, и материя, но это только вчера утром. Во всяком случае вам ехать сейчас не надо, распределите хоть то, что послано. Пусть девочки подождут выезжать вообще с кашлем, столько воспалений в лёгких! Вот если б такой человек, как Матвей Николаевич <Чистяков>, вас мог заменить, — можно бы спокойно уехать, а то на кого вы всё оставите?

Сегодня получила из Берлина газету «Welt», и в ней с большим уважением и сочувствием перепечатано моё письмо и следует воззвание к немцам с указанием моего адреса о пожертвованиях с их стороны. Сегодня из Мюнхена получила 50 рублей и из Женевы 13 рублей и пишет: «vous demandez avec une grace si touchante» [вы просите так трогательно.] И чем я так угодила в этом простом письме, — не понимаю! А отзывы о нём удивительно симпатичные.

Как вспомню, что вы вдруг будете все тут — и для меня — меня ужас берёт. И вдруг ты ещё захвораешь, и Маша не будет знать, куда приткнуться, и Таня молчаливо мне будет упрекать. Не надо, не надо, не ездите; ваше дело стоит моей временной скуки, и не ставьте меня в то положение, что я буду сама себя съедать упрёками за то, что оторвала вас от здоровой жизни и хорошего дела. Целую вас всех.

С. Т.» (ПСТ. С. 470 – 472).

...А между строк читается: «Пожалуйста, пожалуйста, поскорее приезжайте!»

Толстой умел хорошо читать между строк письма любимой супруги. Её настроение жертвы во имя «великого общего дела» — не могло нравиться ему. И он готовил отъезд — на время, когда пойдёт на выздоровление его новый бесценный друг... Судьба, однако, распорядилась иначе.

Следующее по времени написания, и заключительное до отъезда из Бегичевки Льва Николаевича письмо С. А. Толстой, писано было в роковой день смерти И. И. Раевского, 26 ноября:

«У нас у всех такая паника, милые друзья, по случаю тревожных известий об Иване Ивановиче, что никто ни о чём другом не может ни думать, ни говорить. Как ужасно быть так далеко от всех вас. Бедный Петя в ужасном положении. Сдержанный, бледный, он ничего не говорит, но так и видно, каково у него на душе.

Неужели плохо? Неужели плохо только от жара без осложнений? Если же воспаление в лёгких, поставьте скорей *пиявки*; такому сангвинику, как Иван Иванович, это не может быть вредно, а только хорошо. При первой возможности, умоляю вас, пожалуйста, Таня, телеграфируй мне опять.

И как Елену Павловну жаль, сколько ей сердечной тревоги! Не смею слова сказать теперь об отъезде вашем, но умоляю, приезжайте, как только будет возможность, т. е. когда всякая опасность минует.

У нас все здоровы... Сейчас вечер, принесли твои два письма, милый друг Лёвочка. Меня немного успокоило, что вчера утром было 38 и 8; следовательно, не 40, и есть надежда, что болезнь, ожесточившись сегодня, судя по телеграмме, переломится и пройдёт. У дяди Кости была инфлуенца, он сегодня был, говорит, жар был страшный, он похудел, но здоров. Захарьин говорит: «никакой *инфлуенцы* нет, есть простуда, берегитесь её и ничего не будет».

Только бы, Бог дал, выздоровел Иван Иванович и ещё никто не захворал. Берегись, милый Лёвочка, и девочек не пускай рисковать ничем. Боже мой, когда же я увижу всех вас! Теперь ещё жутче стало. [...] Мы позвали Петю Раевского до отъезда его, чтоб показать твои письма и ободрить его, бедного. Вероятно, вы послали телеграммы во все стороны, оттого что жар к ночи стал сильнее и вы все перепугались. Дай Бог, чтоб это был кризис к лучшему.

Если вы все мной интересуетесь, то я положительно стала поправляться. *Красный шар*, выпустив весь свой дух, стал опять надуться, а приедете все, то вовсе оживу. <«*Шуточное сравнение меня с шаром, которое Лев Николаевич любил повторять*». – *Примеч. С. А. Толстой.*> Только бы опять что меня не подкосило. Тогда не скоро справишься, а чувствуешь себя всё-таки центром и даже нужным для семьи моих малышей четырёх. И право, я вас всех так горячо люблю, что и всем вам холоднее покажется на свете без любви моей. Всех вас, по одному, себе представляю с восторгом, что скоро увижу.

[...] С. Т.

Что-то все девочки, как им, я думаю, грустно и жутко и за Ивана Ивановича и за тебя, Лёвочка» (ПСТ. С. 472 – 473).

Мама Ивана Ивановича, Екатерина Ивановна Раевская, пишет в своём дневнике о гибели сына следующее:

«Скончался он 26 ноября 1891 г. Потеря громадная для вдовы, детей, для всего нашего семейства, скажу даже, для всего края. — Нет

такого мужика, который бы не говорил: “Хотел идти просить Ивана Ивановича, да вот их нет!”

Увидя Льва Николаевича, я зарыдала...

— Большое вам горе, — сказал он сочувственно.

— Не первое, — рыдала я.

— Хорошую жизнь прожил он...

Ответить не могла... меня душили слёзы.

Когда невестка моя Елена Павловна Раевская была у нас в первых числах ноября, видя, какую тоску на меня и на дочь наводит голодный год, она сказала: “я сама не знаю, куда от тоски деваться. Мне всё кажется, что надвигается на нас какая-то каменная стена, готовая на нас обрушиться и нас всех раздавить”.

Стена обрушилась!»

(Раевская Е. И. Указ. соч. С. 386).

С таким же надрывным, смертным ужасом пережила и Софья Андреевна известие о смерти Раевского — достигшее её в одной из телеграмм (вероятнее всего, от дочери Татьяны), прежде, чем успел сообщить в письме Лев Николаевич. В мемуарах она пишет о тех днях:

«Меня эти две смерти — Дьякова и Раевского — повергли в полное отчаяние. Мне стало ясно представляться, что умрёт и Лев Николаевич» (*МЖ – 2. С. 237*). Ужас только увеличивала простудная эпидемия в Москве, которой переболели осенью 1891-го все младшие дети Софьи Андреевны. Кроме того, отодвигалась в неизвестность будущего надежда жены и матери на то, что возлюбленные семейные воротятся скорее в Москву и более не будут подвергать себя опасности: прежде, как сообщает сама в мемуарах, Софья Андреевна надеялась, «что, дав ход делу помощи и имея для этого достаточно денег, дело пойдёт и без нашей семьи под руководством милого Ивана Ивановича Раевского, живущего у себя в имении, где он был дома» (*Там же*).

В Дневнике под 26 ноября потрясённый утратой Лев Николаевич записывает мужественно и кратко: «Он умер в 3 часа, мне очень жаль его. Я очень полюбил его» (*52, 59*).

И это последняя запись в Дневнике Льва Николаевича в это пребывание его в Бегичевке. Только одно маленькое благо и было в трагическом исходе болезни Раевского: Лев Николаевич мог больше не ждать, получая из Москвы тревожившие его письма жены, а немедленно, и с дочерьми, выехать к ней, в заслуженный отпуск. 29 ноября Толстой ненадолго покидает Бегичевку, а накануне, 28-го, пишет одним душевным порывом прекрасный некролог в память

ушедшего друга и — последнее перед отъездом — письмо к жене, такого содержания:

«Ты уж знаешь страшное событие. Теперь 12 часов ночи 27-го, полон дом наехавшими родными... Теперь 1^{1/2} суток, что он умер. Умер он легко, без страданий — инфлуэнца, перешедшая на лёгкие. <Сын его> Ваня застал его, но уже без памяти. Елена Павловна страшно жалка, также и дети.

Сейчас получил и твоё письмо... Мы все совершенно здоровы и желали бы пробыть здесь несколько дней после похорон, чтобы не было того впечатления людям, что всё дело оборвалось и кончилось со смертью Ивана Ивановича. Я говорю: желали бы, но всё будет зависеть от твоего мужества. Я понимаю, что тебе страшно жутко, но вместе с тем не могу не видеть, что нет никаких оснований для беспокойства. — Всё решится само собою. Одно знаю, что люблю тебя всей душой и стремлюсь тебя увидеть и успокоить.

Нынче Таня сестра пишет Вере, что в Петербурге слух прошёл, что мы уезжаем, и что ропщут, говоря, что нельзя оставлять дела, на которое сделаны такие пожертвования. — И действительно нельзя. Теперь на время здесь остаётся Матвей Николаевич; но он не может один вести дело. Но впрочем всё обсудим вместе спокойно и любовно.

Посылаю тебе статью о столовых «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». Мне хотелось не обидеть Гайдебурова, который прислал тоже пожертвования из своей газеты и скромно писал Тане: за что ваш батюшка меня забыл? Но я готов согласиться и с тобой и отдать в «Русские ведомости». — Ты прочти её, исправь, перепиши (можно и не переписывать), впиши пожертвования твои и Танины и приложи. Если что-нибудь не ладно или задержка выйдет в чём-нибудь, то мы подъедем, и я поправлю.

Тороплюсь писать, чтобы отослать письмо с Писаревым. Мне ужасно жалко его. Я очень, очень его полюбил. И не могу простить себе, что я так не понимал его прежде. Но зато как нам радостно, молодо, восторженно было часто последнее время вместе быть и работать. Я начал было нынче несколько слов о нём написать и хотел напечатать, и потом раздумал. Впрочем, не знаю.

Ну, до свиданья, целую тебя и детей. [...] Л. Т.» (84, 105 – 106).

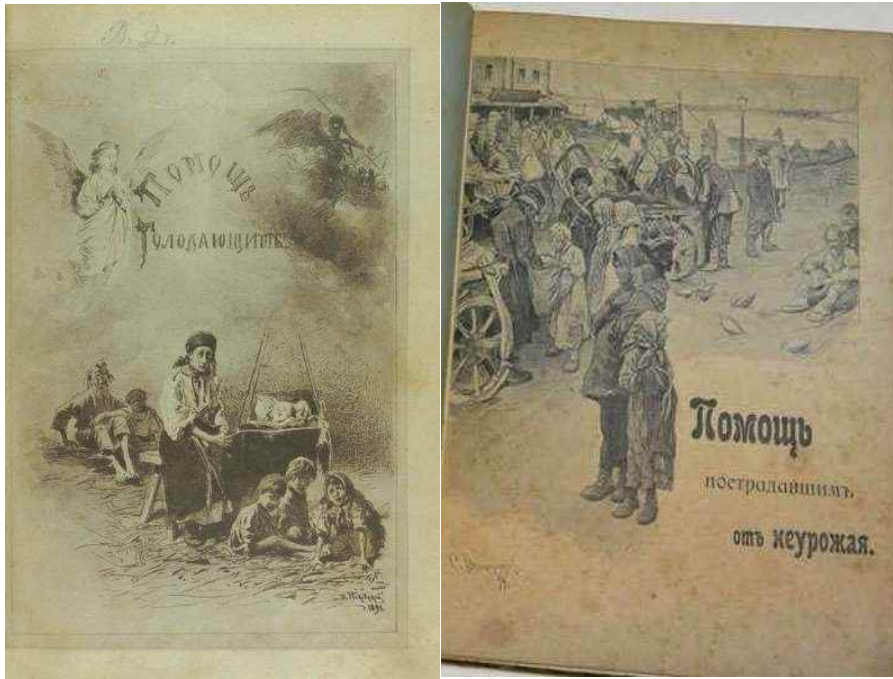
Статья Толстого «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» была помещена в сборнике «Русских ведомостей» «Помощь голодающим», а через несколько дней выпущена редакцией газеты в виде отдельной брошюры. Любопытно, что Л.Н. Толстой усвоил уроки цензурных стеснений быстрее симпатизировавших его

деятельности либеральных журналистов. Сборник, вышедший из печати в начале 1892 г. был назван явно неполиткорректно: «Помощь голодающим». Для сравнения: тематически схожий сборник 1899 г. выйдет уже с заголовком, копирующим «подцензурное» название статьи Толстого: «Помощь *пострадавшим от неурожая*».

Интересно, что “хвостиком” к этой полезной, замечательной статье издателям сборника удалось протащить через цензуру ранее запрещённую сказку Толстого «Работник Емельян и пустой барабан» - под названием «Сказка» и с следующим добавлением в конце: «Из народных сказок, созданных на Волге в отдалённые от нас времена, восстановил Лев Толстой» (*Помощь голодающим. М., 1892. С. 593*). До того сказку эту, намекавшую на явно *не отдалённые* временем порядки в России, запретили даже Софье Андреевне для включения в дорогое и малодоступное народу «Собрание сочинений гр. Л. Н. Толстого» (в часть XII): сказка была опасливо удалена из уже свёрстанного тома. Вообще общество и властные структуры отнеслись к благотворительному изданию значительно снисходительней, нежели когда-либо — к издательским стараниям Софьи Толстой, в которых с существенной долей правды узревали *корыстный* интерес. Так, при подготовке в 1885 году самого первого ещё “доходного” издания неопытная Софья Толстая получила от Писчебумажного товарищества богатого купца 1-й гильдии Михаила Гавриловича Кувшинова бракованную, непригодную для печати «отвратительную бумагу, почти всю из древесной массы» (*Толстая С.А. Моя жизнь. Указ. изд. Том первый. С. 464*). Для благотворительного же издания Товарищество, напротив, сделало существенную скидку в 200 руб. (при тираже в 6100 экз.), за что и получило в предваряющем основное содержание слове от заведующего изданием Д. Анучина особую благодарность (*Помощь голодающим. М., 1892. С. II [Предваряющая часть книги.] Дата: 14 декабря 1891 г.*).

Одновременно с публикацией в России Толстой предложил Э. Диллону перевести её для английской публикации. Перевод был поручен блестящей — и ещё не раз являющейся в нашей книге светлым лучиком — Элизабет Флоренс Хэпгуд и, конечно, одобрен Толстым (66, 232).

Текст статьи см. в Прибавлении № 2 к этой главе (со стр. 326).



Обложки благотворительных сборников
«Помощь голодающим» (1892) и «Помощь пострадавшим от неурожая» (1899)

В воспоминаниях «Моя жизнь» Софья Андреевна сообщает:
«От 30-го ноября до 9-го декабря Лев Николаевич и дочери мои погостили со мной в Москве. Радость свиданья была большая, но продолжалась недолго. Мы оба чувствовали, что смерть Ивана Ивановича Раевского нас теснее связала с делом кормления голодающих и главою этого дела остался один Лев Николаевич» (МЖ – 2. С. 237).

При этом Толстой совершенно не поддавался мирским толкам о смыслах и значении своего участия в «благотворительном», на взгляд большинства, предприятии. Не благословил он и денег, хотя понимал неизбежность дальнейшего консенсуса с этим общественным злом и свидетельством религиозного безверия христианского мира. Это хорошо видно из беседы Льва Николаевича утром 19 ноября с молодым, а оттого настроенным слишком максималистски толстовцем М. Н. Чистяковым, доверенным лицом В. Г. Черткова, выше нами упоминавшимся. По счастью, этот разговор частично подслушала для нас и записала в своём дневнике всё та же умнейшая, блестящая дочь Толстого, Татьяна Львовна:

«Чистяков спрашивал папá, как он объясняет то, что он теперь принимает пожертвования и распоряжается деньгами и считает ли это он непоследовательным с его взглядами?»

Чистяков говорил слишком резко и хотя без малейшего оттенка досады и с большой любовью к папа, но я видела, что папа это было больно до слёз. Он говорил:

– Спасибо, что вы мне это сказали, как это хорошо, как хорошо!

Но ему было больно. Он сам прекрасно чувствовал и доходил до того, что это – не то и незачем было ему это говорить.

Чистяков говорит, что от теперешней деятельности папá до благотворительных спектаклей и до деятельности отца Иоанна совсем недалеко, что он не имеет права вводить людей в заблуждение, так как многие идут за ним и ждут от него указаний и что за теперешнее его дело все будут хвалить его, тогда как оно не хорошее. Папа сказал:

– Да, это, как тот мудрец, который, когда ему стали рукоплескать во время его речи, остановился и спросил себя: не сказал ли я какой-нибудь глупости?» (*Сухотина-Толстая Т. А. Дневник. Указ. изд. С. 258*).

Позднее, уже около 6 декабря 1891 г., в письме из Москвы всё к тому же М. Н. Чистякову, который временно замещал его в Бегичевке, А. Н. Толстой изъяснился спокойней, честней и достойнее: «Я не могу выскочить из колеса, в которое попал, и колесо это вертится всё быстрее» (66, 105).

Уже 9 декабря он поедет обратно на место своего христианского служения — в голодную Бегичевку.

Здесь Конец Третьей Главе

Прибавления к третьей главе

Прибавление Первое.

Лев Николаевич Толстой.
ПАМЯТИ РАЕВСКОГО

Вчера, 26 ноября 1891 года, в 3 часа дня умер в своём доме, в деревне Бегичевке, Данковского уезда, Рязанской губернии, Иван Иванович Раевский.

Он умер на работе среди голодающих, — можно сказать, от сверхсильного труда, который он брал на себя. Он умер, отдав жизнь свою народу, который он горячо любил и которому служил всю свою жизнь.

Но это утверждение могло бы показаться преувеличением, фразой. А тот, о ком я пишу, больше всего в мире ненавидел всякое преувеличение и всякую фразу. Он всю жизнь свою делал, а не говорил. Он был христианином, бессознательным христианином. Он никогда не говорил про христианство, про добродетель, про самопожертвование. У него была в высшей степени черта этой встречающейся в лучших людях pudeur [*фр.* застенчивая стыдливость] добра. Он как бы боялся испортить своё дело сознанием его.

Да ему и некогда было замечать, потому что не переставая делал христианские дела. Не оканчивалось ещё одно, как начиналось другое дело не для себя, а для других: для семьи, для друзей, для народа, который, — повторяю ещё раз, потому что это была его характерная черта, — он восторженно любил всю свою жизнь.

Последнее время, которое я провёл с ним, эта любовь выражалась страстною, лихорадочною деятельностью. Все силы своей души и могучего организма и всё своё время он отдавал на работу по прокормлению голодающего народа и умер не только на этой работе, но прямо от этой сверхсильной работы, отдав свою жизнь за друзей своих. А такими друзьями его были все русские крестьяне. И это — не красивая фраза, которую говорят обыкновенно о мёртвых, а несомненный факт. С утра до вечера он работал с одной этою целью: по прокормлению народа.

Работа его может показаться не трудной и не убийственной: он писал письма, закупал хлеб, сносился с земскими управами, попечителями, нанимал, рассчитывал возчиков хлеба, делал опыты печенья хлеба с различными суррогатами, помогал нам в устройстве столовых, приглашал людей на помощь, устраивал для них удобства, делал учёты, ездил в земские собрания, уездные и губернские, ездил в собрания попечителей по Данковскому и Елифанскому уездам, принимал крестьян, как попечитель по двум попечительствам, и ездил по другим попечительствам, подбодряя тех, у которых, он знал, дело не идёт, и сам лично помогал, как частный человек, тем крестьянам, которые обращались к нему.

Дела эти кажутся не трудными и не убийственными для тех, кому не дорог, не важен успех дела, — но для него это всегда был вопрос жизни и смерти. Он видел опасность положения и не переставая работал так, как работают люди из последних сил для спасения жизни других, не жалея своей жизни. И потому дело его спорилось и росло, — его энергия заражала других.

— Нет, живые в руки не дадимся, — говорил он, возвращаясь с работы или вставая от письменного стола, у которого проводил по 8, по 6 часов сряду.

— Не-ет! живые в руки не дадимся, — говорил он, потирая руки, когда ему удавалось устроить какое-нибудь хорошее дело: закупки дешёвого хлеба, дров, устройства хлебопечения с картофелем, с свекольными отбросами или закупки льна для раздачи работ бабам.

— Знаю, знаю, — говорил он, — что нехороша эта самоуверенность, но не могу. Как будто чувствую этого врага — голод, который хочет задавить нас, и хочется подбодриться. Живые в руки не дадимся!

Так он работал во всех делах; не умел работать иначе как с страстностью. От этого работа кипела у него, и от этого-то вокруг него люди работали так же энергично, заражаясь от него, — и от этого он заработался до смерти.

Физически он не знал никаких препятствий, и никаких у него не было требований: всё ему было хорошо, ничего для него не было нужно и всё было возможно. Ему было 56 лет, — стало быть, он был старый уже человек, но привычек, требований у него никаких не было: спать где и когда — ему было всё равно, — на полу, на диване; есть ему было всё хорошо — хлеб с отрубями, каша, щи, что попало, — всё ему было хорошо, только насытиться, чтоб голод не мешал заниматься делом; ехать он мог по всякой дороге, во всякую погоду, в санях ли, в телеге ли.

Так он в последний раз, оторвавшись от дел, которыми был завален дома, поехал за сорок вёрст в Данков на земское собрание с тем,

чтобы вернуться в тот же день, а на другой день ехать в Тулу по закупке хлеба, но заболел, приехал больной на другой день и свалился, проболел инфлюенцей, как определил доктор, и через шесть дней умер.

Вчера, когда он уже умирал, я, проходя по деревне, сказал мужику, что Иван Иванович умирает. Мужик ахнул: «Помилуй Бог! — сказал он, — что без него делать будем? Воскреситель наш был».

Для мужика он был «воскреситель», а для нас он был тем человеком, одно знание о существовании которого придаёт бодрость в жизни и уверенность в том, что мир стоит добром, но не злом: не теми людьми, которые махают на всё рукой и живут как попало, а такими людьми, каков был Иван Иванович, который всю жизнь боролся со злом, которому борьба эта придавала новые силы и который беспрестанно говорил злу: «Живые в руки не дадимся!»

Это был один из самых лучших людей, которых мне приходилось встречать в моей жизни.

Отношения мои с ним были очень странные (для меня, по крайней мере).

Мне было под 30 лет, ему было с чем-то двадцать, когда мы встретились. Я никогда не был склонен к быстрым сближениям, но этот юноша тогда неотразимо привлек меня к себе, и я искал сближения с ним и сошелся с ним на «ты». В нём было очень много привлекательного: красота, пышущее здоровье, свежесть, молодечество, необыкновенная физическая сила, прекрасное, многостороннее образование. Элегантно говоривший на трёх европейских языках, он блестяще окончил курс кандидатом математического факультета. Но больше всего влекла меня к нему необыкновенная простота вкусов, отвращение от светскости, любовь к народу и главное — нравственная совершенная чистота, теперь редкая между молодыми людьми, а тогда составлявшая ещё более редкое исключение. Я думаю, что он никогда в жизни не был пьян, не участвовал в кутеже, не говоря уж о других увлечениях, свойственных молодым людям.

Мы тогда сблизились с ним как будто только на интересах охоты (мы ездили вместе на медвежью охоту) и гимнастики, но в глубине этого сближения, думаю, лежало ещё и что-то другое.

Странное дело: сближение это продолжалось недолго. Мы не разошлись, встречались с удовольствием, оба одно время занимались школой и виделись, хоть и очень редко; а потом как бы совсем потеряли друг друга не из вида, а из сердца. Каюсь: он женился, занимался хозяйством, — и мне думалось, что он очерствел, сделался сухим дельцом, семьянином, что моё увлечение им не имело основания. Когда мы встречались и он говорил мне о школах, о народе, о

своей общественной деятельности, — мне казалось, что он говорит это по старой памяти, но что уже это не интересует его. Мы почти разошлись и жили так более 30 лет.

И вот надо же было случиться, чтобы теперь, в эту тяжёлую годину, мы опять сошлись на общем деле и чтобы я увидал, что не только он не опустился, не стал эгоистом, но, напротив, сдержал в возрасте близком к старости то, что он только обещал в молодости.

Тогда было с его стороны лишь смутное, неопределённое стремление к народу, теперь была уже деятельная любовь к народу и служение ему с самоотвержением и самопожертвованием. Он не только не очерствел за эти 30 лет, но он, откинув все те соблазны молодости, которые мешали его служению народу, теперь весь отдался ему.

Он представлял удивительное соединение страстной, восторженной любви к своей семье и, вместе с тем, к народу. Одна любовь не только не мешала другой, но содействовала ей. Любовь его к детям, к сыновьям выражалась тем, что он научил их любить народ, служить ему, натаскивал их на это.

Никогда не забуду, с какой любовью рассказывал он мне, как посланный им для переписи бедствующих селений сын его пропадал за этой работой до ночи.

Надо было слышать его рассказ об этом, надо было видеть его лицо во время этого рассказа, чтобы как следует понять и оценить этого человека.

Лев Толстой (29, 260 – 263).

—

*Лев Николаевич не завершил писанием
и не публиковал этого некролога.*

Прибавление Второе.

О СРЕДСТВАХ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ, ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ НЕУРОЖАЯ

Помощь населению, пострадавшему от неурожая, может иметь две цели: поддержания крестьянского хозяйства и избавления людей от опасности заболевания и даже смерти от недостатка и недоброкачества пищи.

Достигает ли этих целей помощь, оказываемая теперь в виде выдачи муки от 20 до 30 ф. в месяц на едока, считая или не считая работников? Я думаю, что нет. И думаю я так по следующим соображениям. Все крестьянские семьи всей земледельческой России можно подвести под три типа: 1) богатый двор — от 8 до 16 душ, в среднем 12 душ семьи, от 3 до 5 работников, в среднем 4. От 3—5 лошадей, в среднем 4. От 3 до 5 наделов, в среднем 4. И от 3 до 9 десятин наёмной земли, в среднем 6. Это богач. Такой мужик не только кормит свою семью своим хлебом, но часто нанимает одного, двух работников, скупает земли у бедняков, ссужает их хлебом, семенами. Всё это делается, может быть, и на невыгодных для бедняков условиях, но результат тот, что там, где в деревне десять процентов таких богачей, — земля не гуляет, и в нужде всё-таки бедняку есть средство добыть хлеба, семян, даже денег.

Второй тип — это средний мужик, с большим напряжением сводящий концы с концами на своих двух наделах при семье от 3 до 5 душ и при одном или двух работниках и одной или двух лошадях. Этот двор кормится почти своим хлебом. Чего не достаёт — добывает член семьи, живущий на стороне.

И третий тип — бедняк с семьёй в 3 – 5 душ с одним работником, часто без лошади. У этого никогда не хватает своего хлеба, он всякий год должен придумывать средства извернуться и всегда находится на волоске от нищенства, и при малейшей невзгоде побирается.

Помощь, выдаваемая в виде муки населению неурожайных мест, распределяется по составленным имущественным спискам крестьянских семей. По этим спискам делаются соображения о том, сколько кому следует выдавать пособия; и пособие это выдаётся только самым бедным, т. е. семьям 3-го типа.

Двору первого типа — богачу и среднему крестьянину, у которого есть ещё несколько четвертей овса, есть 2 лошади, корова, овцы, — не полагается никакой помощи. Но если вникнуть в положение не

только среднего, но и богатого мужика, то нельзя не видеть, что для поддержания крестьянского хозяйства этим-то хозяевам более всего нужна помощь.

У богатого крестьянина, положим, остаётся ещё немного ржи, есть 20 или более четвертей овса, есть и 5 лошадей, и две коровы, и 18 овец и, потому что всё это ещё есть у него, ему не полагается пособия. Но сочтите его приход и расход и вы увидите, что он в такой же нужде, как и бедняк. Чтобы поддержать свой заведённый круг с наемной землей, ему нужно посеять около 10 четвертей. То, что у него останется на 40, 50, даже 60 руб. хлеба, — ничто в сравнении с тем, что ему нужно на семью в 12 душ. На 12 душ ему нужно 15 пудов по 1 р. 50 к. — 22 р. 50 к. на месяц, 225 рублей на 10 месяцев. Ему нужно кроме того 40, 50, 70 рублей на уплату аренды за наемную землю, ему нужны подати, которые с него требуют, как с богача. Члены его семьи, живущие в людях, в нынешнем году или меньше получают, чем прежде, по дорогому хлебу, или вовсе рассчитываются. Ему нужно рублей 350, а он не соберёт и 200, а потому ему остаётся одно — не нанимать земли, продать семенной овес, продать часть лошадей, на которых нет цен, т. е. спуститься на степень среднего мужика и даже ниже, потому что у среднего семья меньше.

Но и среднему, если у него есть ещё овес и лошадь или две, — не дают помощи, или дают так мало, что он должен продать свою землю исключительным богачам, проесть овес семянной, а потом и лошадь. Так что, при том распределении помощи, которая существует теперь, — богатый должен неизбежно спуститься на состояние среднего, а средний на состояние бедного. А по условиям нынешнего года, за исключением особенных богачей, почти все должны спуститься на эту степень. Для подания помощи как будто бы ожидают того, чтобы крестьянин разорился. Вроде того, как бы вытаскивающий утопающего дожидался для подания помощи того, чтобы утопающий перестал пускать пузыри. Выдача, как она производится теперь, не достигает цели поддержания крестьянского хозяйства, во-первых, потому, что она попадает преимущественно только тем людям, — которые уже разорены, во-вторых, потому, что помощь эта, если и попадает в не вполне разоренные дворы, то она слишком незначительна, — в-третьих, потому, что эта помощь даровая, не органически происходящая от труда, которую поэтому не ценят и редко употребляют бережно и осмотрительно. Но мало того, что помощь эта не достигает своей цели, она, кроме того, как всякая даровая помощь, неравномерно распределяемая, производит в народе ничем не утоляемое неудовольствие и даже опасное раздражение,

сначала из зависти друг против друга, а потом и против тех, которые раздадут её.

Выдача, производимая мукою, не достигая цели поддержания крестьянского хозяйства, не достигает и второй цели — обеспечения людей от голодных болезней и смертей. Выдача мукою на душу не достигает этого по следующим причинам.

Во-первых, потому, что при такой выдаче мукою всегда есть возможность для получившего её поддаться соблазну и израсходовать, пропить полученное, чего и были, хотя и редкие, случаи; во-вторых, потому, что, попадая в руки бедных, помощь эта спасает их от голода только в том случае, если в семье есть ещё какие-нибудь свои средства. Наибольшая выдача составляет 30 ф. на человека. И если 30 ф. муки при картофеле и какой-нибудь примеси к муке для печения хлеба может прокормить человека в продолжение месяца, то — при полной бедности, когда не на что купить даже лебеды, чтобы подмешать в хлеб, — 30 ф. муки съедаются в виде чистого хлеба в 15 – 20 дней, и люди, оставаясь на 10 дней совершенно голодными, могут заболеть и даже умирать от недостатка пищи. В-третьих, выдача муки в бедные семьи, даже и в такие, в которых ещё есть свои средства, не достигает своей цели обеспечения людей от голодных болезней и смертей потому, что в семье, где сильные люди легко переносят дурную пищу, — слабые, старые и малые заболевают от недостатка и недоброкачества пищи.

Во всех местностях, поражённых неурожаем, все — и богатые и бедные семьи — едят хлеб дурной с лебедой. (Странно сказать: теперь, в большей части случаев, самые бедняки при получении хлеба от земства едят хлеб чистый, тогда как в богатых семьях едят почти все с лебедой, с отвратительной незрелой лебедой нынешнего года.)*

*) То, что нынешний год лебеду везде употребляют в пищу, можно объяснить только преданием, тем, что ее едали прежде, — и пословица есть о том, что «не беда, что во ржи лебеда», — и тем, что она родилась на ржаном поле и вымолочена вместе с рожью. Мне кажется, что если бы не было предания и не была бы она в ржаном поле, то скорее бы мешали в хлеб солому овсяную, опилки, чем это вредное вещество. А его мешают везде.

И постоянно случается то, что сильные члены богатой семьи переносят лебедный хлеб, а слабые, старые, больные прямо чахнут и мрут от него.

Так, приходит больная женщина из богатого двора, принося в руке комков чёрной лебедной лепёшки, составляющей её главную пищу, и

просысь в столовую только потому, что она больна, и то только на время своей болезни.

Другой пример: прихожу к мужику, который не получает пособия и считается богатым. Их двое с женой, без детей. Застаю их за обедом. Картофельная похлёбка и хлеб с лебедой. В квашне новый хлеб; ещё с большей примесью лебеды. Муж с женой веселы и бодры, но на печи старуха, которая больна от лебедного хлеба, и говорит, что лучше раз в день есть, только бы поесть хорошего хлебца, а то этот душа не принимает.

Или третий пример: приходит баба из богатого двора просить о том, чтобы допустить в столовую её 13-тилетнюю дочь, потому что её не кормят дома. Дочь эта прижита незаконно, и, вследствие этого, её не любят и не дают ей есть вволю. Примеров таких очень много, и потому выдача пособия мукою на руки не обеспечивает старых, слабых и нелюбимых членов семьи от болезней и умирания, вследствие недоброкачества и недостатка пищи.

Как ни больно высказать это, несмотря на ту замечательную энергию и даже самоотвержение большинства земских деятелей, деятельность их, состоящая в раздаче пособий хлебом, не достигает — ни цели поддержания крестьянского хозяйства, ни предупреждения возможности голодных смертей и, кроме того, имеет вредное влияние на народ, раздражая его.

Но если то, что делается теперь, не хорошо, то что же хорошо? Что же нужно делать?

Нужны, по моему мнению, две вещи: для хоть не поддержания крестьянского хозяйства, а противодействия его окончательному разорению, — учреждение работ для всего могущего работать населения и — устройство во всех деревнях голодающих мест даровых столовых для малых, старых, слабых и больных.

Учреждение работ должно быть такое, чтобы работы эти были доступны, знакомы и привычны населению, а не такие, которыми никогда не занимался или даже не видывал народ, или такие, при которых тем членам семей, которые никогда не уходили, надо уходить из дома, что по семейным и ещё другим условиям (как отсутствие одежды) часто невозможно сделать. Работы должны быть такие, чтобы кроме внедомашних работ, на которые пойдут все привыкшие и могущие ходить на заработки работники, домашними работами могло быть занято всё население голодающих местностей — мужчины, женщины, свежие старики, подростки — дети.

Бедствие нынешнего года заключается не только в недостатке хлеба, но и в меньшем совершенном недостатке не только зара-

ботков, но прямо работы, — в принужденной праздности нескольких миллионов населения. Если хлеб, нужный для прокормления населения, есть под руками, т. е. может быть доставлен туда, где он нужен, за доступную цену, то голодающий народ мог бы сам выработать себе этот хлеб, будь только у него возможность работы, материал для работы и сбыт. Если же у него не будет этой возможности, сотни миллионов будут безвозвратно потрачены на раздачи даровых пособий, но бедствие всё-таки не будет устранено. Но дело не в одной материальной трате: праздность целого населения, получающего извне даровую пищу, имеет страшное развращающее влияние.

Работы внедомашние могут быть учреждены самые разнообразные, и на зимнее и, тем более, на летнее время, и дай Бог, чтобы как можно скорее и как можно в больших размерах были учреждены эти работы. Но, кроме этих больших отхожих работ, предоставление народу возможности, не выходя из дома и из своих привычных условий, работать свою привычную работу и сбывать её, хотя бы по самой дешёвой цене, — есть дело настоящей необходимости и огромной важности.

В деревнях неурожайных мест не родились ни конопля, ни лен; овцы почти все проданы, и у баб нет пряжи, нет тканья. Бабы, девушки, старухи, обыкновенно занятые, сидят без дела.

Мало того, мужики, оставаясь дома и не имея денег для покупки лык, тоже сидят без своей обычной зимней работы — плетения лаптей. Ребята тоже болтаются без дела, так как школы большей частью закрыты. Население, имея перед собою только самые мрачные представления о всё более и более увеличивающейся нужде, лишённое привычного и более чем когда-либо необходимого им средства рассеяния и забвения — работы, сидит целыми днями, сложа руки, перебирая разные слухи и предположения о выдаваемой и имеющей выдаваться помощи, о богачах, не желающих делиться с ними, а главное, о своей нужде. «Скучают, тоскуют, оттого больше и болеют», — сказал мне умный старик.

Не говоря уже об экономическом значении работы для нынешнего года, нравственное значение её огромно. Работа, какая-нибудь работа, которая могла бы занять всех праздных нынешний год людей, составляет самую настоящую необходимость.

Пока не будут ещё устроены те большие работы, о каковых были разные, весьма разумные проекты, которые теперь, как слышно, учреждаются и которые принесут огромную пользу, если только при учреждении их примутся во внимание привычка и удобства населения, — если бы только во всех неурожайных деревнях дать возмож-

ность всем остающимся людям работать привычную работу, — мужчинам хоть только плести лапти, а женщинам прясть и ткать, и дать возможность продавать и то и другое, что приобреталось бы этим трудом, то и это было бы если и не поддержкой крестьянскому хозяйству, то по крайней мере большой задержкой в его упадке. Если допустить, что будет найдено помещение холсту хоть по 8 к. аршин (а помещение холста возможно в огромных количествах) и будут скупаться лапти, которые могут сохраняться, не портясь, годами, по 10 к. за пару, то заработок каждого человека будет, самое меньшее, около 5 к., т. е. 1 р. 50 к. в месяц. Если при этом допустить, что в каждой семье, в среднем, не более $\frac{1}{4}$ членов, не могущих работать, то окажется, что на каждое лицо в семье будет заработано $\frac{450}{1}$, т. е. 1 р. 12 к., т. е. значительно больше того, что теперь с таким напряжением, ссорами, спорами и вызывая такое всеобщее неудовольствие — выдается от земства.

Таков бы был расчёт, если бы работалась самая дешевая и несомненно доступная и известная всем деревенским жителям работа.

Средства получились бы бóльшие, чем те, которые теперь получают от даровой или заимообразной выдачи, не было бы той неразрешимой трудности распределения и, главное, того недовольства и раздражения, которые вызываются душевою выдачею.

Для достижения этого нужно бы было только затратить не очень большие суммы на покупки материала для работ — льна и лык — и обеспечить помещение этих произведений.

Устройством таких работ — доставлением бабам прядева и продажей вырабатываемого ими тканья, уже занимаются многие лица и отчасти ведомства, хотя ещё и в очень малых размерах. Мы тоже начали это дело, но до сих пор не получили ещё выписанного льна, шерсти и лык. Предложение наше крестьянам заняться работою — на продажу — лаптей и холста встречалось везде с восторгом. «Хоть три копейки в день выработать, всё лучше, чем без дела сидеть», — говорили нам.

Само собою разумеется, что всё это относится только до 5 зимних месяцев; в остальные 4 летние месяцы, до новины, работы могли бы быть гораздо более производительны.

Для достижения цели, если не поддержки крестьянского хозяйства, то хотя задержания его разорения есть, по моему мнению, только это средство — устройство работ.

Для достижения же второй цели — спасения людей от заболеваний и смерти вследствие дурной пищи и недостатка её, по моему мнению, единственное несомненное и действительное средство есть

устройство в каждой деревне даровой столовой, в которой каждый человек мог бы насытиться, если он голоден.

Устройство таких столовых начато нами уже более месяца тому назад и до сих пор ведётся с успехом, превзошедшим наши ожидания. Столовые устроились следующим образом:

В поездке моей в Епифанский уезд в конце сентября я встретил моего старого друга, И. И. Раевского, которому я передал моё намерение устроить столовые в голодающих местностях. Он пригласил меня поселиться у него и, не отрицая всякой другой формы помощи, не только одобрил мой план устройства столовых, но взялся помогать мне в этом деле и, с свойственной ему любовью к народу, решительностью и простотою приемов, тотчас же, еще до нашего переезда к нему, начал это дело, открыв около себя шесть таких столовых. Приём, употребленный им, состоял в том, что он, по самым бедным деревням, предложил вдовам или самым бедным жителям кормить тех, которые будут ходить к ним, и выдал им от себя нужную для того провизию. Староста же с уполномоченными составил список детей и старых людей, подлежащих кормлению в столовых, и в 6 деревнях открылись столовые. Столовые эти, несмотря на то, что они открыты были одними старостами и прикащиком Раевского, без его личного наблюдения, шли очень хорошо и продержались около месяца. Ко времени же нашего переезда сюда, совпавшего с первой выдачей пособия от правительства, 5 столовых закрылись, так как лица, ходившие в них, стали получать мясину и потому как бы не нуждались в двойной помощи. Очень скоро, однако, несмотря на выдачу пособия, нужда так увеличилась, что почувствовалась необходимость возобновления закрывшихся столовых и открытия новых. В продолжение проведенных нами здесь 4 недель открыто нами 30 столовых. Сначала мы открывали их по собираемым сведениям о наиболее бедствующих деревнях, теперь же, уже более недели, с разных сторон нам заявляют просьбы об открытии новых столовых, которые мы уже не успеваем удовлетворять.

Дело открытия столовых состоит в следующем, — мы, по крайней мере, поступали так: узнав про более нуждающуюся деревню, мы приезжаем в неё, идём к старосте и, объявив о нашем намерении, приглашаем кого-нибудь из стариков и спрашиваем про имущественное состояние дворов с одного края деревни до другого. Староста, его жена, старики и ещё кто-нибудь, из любопытства зашедший в избу, описывают нам состояние дворов. «Ну, с левого края: Максим Антохин. Как этот?» — «Этот плох. Ребята, сам семь. И хлеба давно нет. От этого стоит ходить старухе да мальчику». Записываем — от Максима Антохина двух. Дальше — Фёдор Абрамов: «Тоже плох.

Ну всё может ещё кормиться». Но вмешивается старостиха и говорит, что плох и этот и стоит взять мальчика. Дальше идёт старик, николаевский солдат. «Вовсе с голода помирает». Демьян Сапронов. «Эти прокормятся»... И так обсуживается вся деревня. Доказательством того, с какою правдивостью и без сословного чувства крестьяне определяют нуждающихся, видно из того, что, несмотря на то, что многие крестьяне были не допущены в первой же деревне, в деревне Татищеве Рыхотской волости, в которой мы открывали столовую, в число несомненно бедных, которых нужно принять в столовую, были назначены крестьянами без малейшего колебания вдова попадья с детьми и дьячиха. Таким образом, все перечисляемые дворы разделяются обыкновенно по показаниям старосты и соседей на три сорта: на несомненно плохие, из которых некоторым лицам следует ходить в столовую, на несомненно хорошие — такие, которые сами прокормятся, и на такие, в которых есть сомнение. Сомнение это обыкновенно разрешается количеством людей, ходящих в столовую. Кормить более 40 людей становится уже тяжело хозяевам. И потому если число ходящих менее 40, то сомнительные принимаются, если же более, то приходится отказывать. Обыкновенно некоторые лица, несомненно подлежащие кормлению в столовых, оказываются пропущенными, и по мере заявления делаются изменения и прибавления. Если же набирается в одной деревне очень много несомненно нуждающихся, то открывается в той же деревне другая, а иногда и третья столовая.

В общем как в наших столовых, так и у соседки нашей, Н. Ф., ведущей дело независимо от нас, количество людей, кормящихся в столовой, всегда составляет $\frac{1}{3}$ всех наличных душ. Охотников держать столовую, т. е. печь хлебы, готовить, варить, служить обедающим, за право тут же кормиться и топиться, очень много — почти все дворы. До такой степени все охотятся держать столовые, что в обеих первых деревнях, в которых мы открывали столовые, старосты, оба богатые крестьяне, предлагали сделать у себя столовые. Но так как держащий столовую совершенно обеспечен и топливом, и пищей, то мы обыкновенно выбираем самых бедных, только бы они были в середине деревни, так чтобы недалеко было ходить с обоих концов. На помещение мы не обращаем внимания, так как и в самой крошечной 6-аршинной избе свободно кормятся от 30 до 40 человек.

Следующее за тем дело в том, чтобы отпустить продовольствие на каждую столовую. Дело это делается так. В одном месте, находящемся в центре столовых, устраивается склад всех нужных припасов. Таким складом была для нас сначала экономия Раевского, но

при расширении дела устроены, или скорее избраны теперь, три другие склада, в имениях зажиточных помещиков, там, где есть и амбары, и некоторые продажные предметы продовольствия.

Как скоро выбрано помещение столовой и переписаны лица, имеющие приходить в неё, — назначается день, в который хозяева столовых или очередная подвода приезжают за запасами. Так как теперь, при большом числе столовых, хлопотно выдавать каждый день, — определены два дня в неделю, вторник и пятница, в которые выдается провизия.

В складе выдаётся хозяину столовой книжка, т. е. тетрадка, следующей формы:

Заборная книжка по № столовой

Число и месяц.	У кого открыта.	Мука.	От-руб.	Карт.	Ка-пуст.	Свек-ла.	Ов-сянк.	Торф или дрова.	Соль.	Число едоков.
8 ноя-бря	Лукерья Сомова.	4 п.	2 п.	6 п.	30 к.	2 п.	1 п.	10 п.	10 ф.	5

По этой книге получается провизия и записывается.

Кроме провизии, в один определенный день из всех деревень, в которых есть столовые, ездят подводы за топливом: сначала это был торф, теперь, так как торфа больше нет, дрова. В тот же день, когда забрана провизия, ставятся хлеба, а на третий открываются столовые. Вопрос о посуде для варки, о чашках, ложках, столах разрешается самими хозяевами столовых. Каждый хозяин употребляет свою посуду. А чего нет, он достает у тех, которые ходят к нему. Ложки носит каждый свои.

Первая столовая открылась у слепого старика с женой и сиротами внуками. Когда я, в первый день открытия этой столовой, в 11 часов, пришел в избу к слепому, у бабы уже было всё готово. Хлебы вышли из печи и лежали на столе и на лавках. В истопленной и закрытой заслонкой печи стояли щи, картошки и свекольник.

В избе, кроме хозяев, были две соседки и одна старуха бездомная, которая тут же попросилась перейти в эту избу с тем, чтобы здесь и кормиться и жить в тепле. Народа ещё не было. Оказалось, что дожидались нас, не повещали. Мальчик и мужик вызвались повестить. Спрашиваю у хозяйки — как же все усядутся? «Да уж я устрою, как должно, будьте спокойны», — говорит хозяйка. Хозяйка эта — коренная женщина лет 50, с робким и беспокойным, но умным взгля-

дом. Она до открытия столовой побиралась и тем кормилась с семьей. Про неё её враги говорят, что она пьяница. Но, несмотря на эти наговоры, она располагает к себе своим отношением к сиротам, внукам её мужа, и к самому исчахшему, чуть живому, слепому старику, лежащему на нарах. Мать этих сирот умерла год тому назад, отец бросил детей, ушёл в Москву и там завихрился. Дети — мальчик и девочка — очень красивые, особенно мальчик лет 8, несмотря на бедность, хорошо одеты и обуты, и жмутся к бабушке и требовательны к ней, как бывают требовательны балованные дети.

«Всё будет, как надо, — говорит хозяйка, — и стол достану. А какие не усядутся — после поедят. Хлебов, — сообщает она мне, — вышло 9 из 4 пудов и кроме того затерла квас. Только с торфом измучилась, — говорит она. — Не горит. Уж я своей соломки понадёргала с сарая. Раскрыла сарай, а то торф не горел».

Так как мне тут делать нечего, я иду за овраг, в столовую другой деревни, боясь, что и там меня дожидаются. И действительно, и здесь дожидали. И здесь то же самое, тот же запах горячего хлеба, те же ковриги по столам и лавкам, и те же чугуны и горшки в печи и любопытный народ в избе. Так же добровольцы бегут повещать. Поговорив с хозяйкой, которая так же жалуется на то, что торф не горит, что ей пришлось исколоть корыто, чтобы испечь хлебушки, я иду назад в первую столовую думая, что встретятся какие-нибудь недоразумения или затруднения, которые надо будет устранить. Прихожу к слепому. Изба полна народа и кишит сдержанным движением, как летнюю ночью открытая колодка пчёл. Из двери валит пар. Пахнет хлебом и щами и слышно чавкание. Изба крошечная, тёмная, два крошечные окошечка, и то с обоих боков толсто заваленные навозом снаружи. Пол земляной, очень неровный. Так темно, особенно от народа, спинами загораживающего окна, что сначала ничего не разглядишь. Но, несмотря на эти неудобства и тесноту, стол идёт в величайшем порядке. Вдоль лицевой стены, налево от двери, два стола, вокруг которых со всех сторон степенно сидит обедающий народ. В глубине избы — от наружной стены к печке — хоры, на которых уже не лежит, а сидит, обняв руками худые голени, изможденный слепой, слушая говор и звуки еды. Направо, в свободном углу перед устьем печи, стоят хозяева и добровольные помощники. Все они следят за нуждами обедающих и служат им.

За столом, в переднем углу под образами, николаевский солдат, потом деревенский старик, потом старушка, потом дети. За вторым столом, ближе к печи, спиной к простенку, жалкого вида попадья, кругом дети — мальчики и девочки и дочь попадья, взрослая де-

вушка. На каждом столе чашка со щами, и обедающие хлебают, закусывая теплым душистым хлебом. Чашки со щами опоражниваются. «Кушайте, кушайте, — весело и гостеприимно, подавая через головы ломти хлеба, говорит хозяйка. — Ещё налью... Нынче только щи да картошки, — говорит она мне, — свекольник не поспел. К ужину будет». Старая, чуть живая старушка, стоящая у печи, просит меня давать ей на дом хлеба, она нынче насилу дотащилась, а каждый день ходить не может, а мальчик её тут ест, так он носить будет. Хозяйка отрезает ей кусок. Старуха бережно прячет его за пазуху и благодарит, но не уходит. Дьячиха, бойкая женщина, стоящая у печи и помогающая хозяйке, словоохотливо и бойко благодарит за свою девочку, которая тут же ест, сидя у стенки, и робко просит, нельзя ли и ей самой, дьячихе, тут поесть. «Давно уже и не пробовала хлебушка чистого, нам ведь это, как мёд, сладко».



Получив разрешение, дьячиха крестится, перелезает через доску, перекинутую с скамьи на лавку. Мальчик сосед с одной стороны и старушка с другой сторонятся, и дьячиха усаживается. Хозяйка подает ей хлеб и ложку. После первой перемены щей подаётся картошка. Из солонки каждый насыпает себе на стол кучку соли и макает в эту соль очищенный картофель. Всё это — и служение за столом, и принятие пищи, и размещение людей — совершается неторопливо, прилично, благолепно и вместе с тем так привычно, что

как будто это то самое, что всегда делалось, делается и не может иначе делаться. Что-то в роде природного явления. Покончив картошки и бережно отложив оставшиеся кусочки хлеба, николаевский солдат первый встает и вылезает из-за стола, и все за ним встают, поворачиваются к образам и молятся, потом благодарят и выходят. Дожидавшиеся очереди неторопливо занимают их места, и хозяйка вновь режет хлеб, раздает и наливает вновь чашки щами.

Совершенно то же самое было и во второй столовой; особенного было только то, что народу было очень много, до 40 человек, а изба была ещё темнее и меньше первой. Но то же приличие посетителей, то же спокойное и радостное, несколько гордое отношение хозяйки к своему делу. Здесь хозяин мужчина служил, помогая матери, и дело шло ещё скорее. Так же всё происходило и во всех других устроенных нами столовых, с теми же благолепием и естественностью. В некоторых усердные хозяйки приготавливали три и даже четыре перемены: свекольник, щи, похлебка, картофель.

Дело столовых делается так же просто, как и многие мужицкие работы, в которых все подробности, очень сложные, предоставляются самим крестьянам. В извозе, например, на который нанимают мужиков, ни один наниматель не заботится ни о веретях, ни о шпильках, ни о пехтерях и ведрах, и о многом другом, необходимом для извоза. Подразумевается, что всё это будет устроено самими крестьянами: и действительно, всё это всегда и везде, однообразно и толково и просто устраивается самими крестьянами, не требуя никакого участия и внимания нанимателя. Так точно это делается и в столовых.

Все подробности дела исполняются самими хозяевами столовых и так твёрдо, обстоятельно, что для учредителя остаются только общие дела, касающиеся столовых. Таких дел для учредителя столовой остается главных — четыре: 1) приготовления продовольствия в центре, из которого можно отпускать его в разные столовые, 2) наблюдения за тем, чтобы запасы напрасно не тратились, 3) наблюдение за тем, чтобы не были как-нибудь забыты люди, наиболее нуждающиеся, и заменены такими, которые могут обойтись без даровой пищи, и 4) испытывания и применения в столовых новых малоупотребительных пищевых средств, как горох, чечевица, просо, овёс, ячмень, разного сорта хлебов, жмыхов и др.

Довольно много хлопот доставило нам распределение людей, получающих месячину. Некоторые из членов семьи, получающих недостаточное количество, допускались, некоторые отдавали свою месячину в столовые с тем, чтобы кормиться в них. При этом мы руко-

водствуемся следующими соображениями: при равномерной выдаче, как это делается в нашей местности, 20 ф. на человека, мы принимаем преимущественно из больших семей. При недостаточной выдаче, каковы 20 ф. на месяц, чем больше семья, тем больше совсем необеспеченных пропитанием людей.

Теория столовых поэтому такая: для того, чтобы открыть от десяти до двадцати столовых, для прокормления от трех до восьми сот человек, необходимо в центре этой местности собрать продовольственные запасы. Таким центром всегда может быть зажиточная помещичья усадьба.

Продовольственные запасы на такое количество, положим 500 человек, будут состоять (если рассчитывать вести столовые до новины), считая по фунту смеси муки с отрубями на человека на 300 дней, на 500 человек будет 150 000 фунтов, или 3 750 пудов, или 2 500 п. ржи и 1 200 отрубей; столько же пудов картофеля, 12 саж. дров, 1 000 пудов свеклы и 25 пудов соли. 2 000 кочней капусты и 800 пудов овсянки. (Стоимость всего этого составляет по существующим ценам 5 800 рублей, т. е., с увеличением расхода на овсяный кисель, по 1 р. 16 к. на человека.) Устроив такой склад, вокруг него, на расстоянии 7—8 верст в окружности, можно открывать до 20 столовых, которые будут запасаться в этом складе. Открывать столовые надо прежде всего в самых бедных деревнях. Помещение для столовой надо выбирать у одного из самых бедных жителей. Посуду и всё нужное для изготовления пищи и стола надо предоставлять самим хозяевам столовой. Список лиц, подлежащих хождению в столовую, надо составлять с помощью старосты и, если можно, зажиточных крестьян, не посылающих своих семейных в столовую. Наблюдение за столовыми, если бы их было очень много, может быть предоставлено самим крестьянам. Но, само собою разумеется, что чем больше участия примут люди, открывающие столовые, в этом деле, чем теснее будут их отношения как к хозяевам, так и к посетителям столовых, — тем лучше будет идти это дело, тем меньше будет траты, меньше неудовольствий, тем лучше будет пища. И главное, тем радостнее будет настроение людей. Но смело можно сказать, что даже при самом далеком наблюдении, при предоставлении их самих себе, столовые будут удовлетворять потребности и, вследствие наблюдения за ними самих заинтересованных крестьян, напрасной траты провизии будет никак не больше, чем на 10%, если только можно назвать напрасной тратой то, что люди унесут с собой хлеб, или отдадут его тем, у кого его нет. Такова теория устройства столовых, и всякий, кто захочет приложить ее, увидит, как легко и естественно делается это дело.

Выгоды и невыгоды столовых следующие.

Невыгода столовых, во-первых, та, что продовольствие в них обходится несколько дороже, чем при выдаче муки на руки. Если пособия выдаются даже и по 30 фун. муки на едока, то в столовых выходят те же 30 фун. муки и сверх того приварок: картофеля, свекла, соль, топливо и теперь еще овсянка. Невыгода эта, не говоря уже о том, что столовые более обеспечивают людей, чем выдача на руки, выкупается тем, что при введении новых, дешевых и здоровых пищевых средств, как-то: чечевицы, гороху в разных видах, овсяного киселя, свеклы, кукурузной каши, подсолнечного и конопляного жмыхов, — количество потребляемого хлеба может быть уменьшаемо и сама пища улучшаема.

Другая невыгода та, что столовые обеспечивают от голода только некоторых слабых членов семьи, а не молодых и средних людей, которые не посещают столовые, считая это для себя унижительным. Так, при определении тех лиц, которые подлежат кормлению в столовых, крестьяне всегда исключают взрослых парней и девушек, считая это для них стыдным. Невыгода эта выкупается тем, что именно стыдливость эта перед пользованием столовыми предотвращает возможность злоупотребления ими. Приходит, например, крестьянин, требуя себе прибавки выдачи месячной и утверждая, что он два дня не ел. Ему предлагают ходить в столовую. Он краснеет и отказывается, а между тем такого же возраста крестьянин, оставшись без всяких средств и не нашедший работы, ходит в столовую. Или другой пример: женщина жалуется на свое положение и просит выдачи. Ей предлагают послать свою дочь. Но дочь уже невеста и женщина отказывается послать ее. А между тем дочь-невеста той самой попадьи, о которой я упоминал, ходит в столовую.

Третья невыгода и самая большая состоит в том, что некоторые слабые, старые и малые, и раздетые дети не могут ходить, особенно в дурную погоду. Неудобство это устраняется отчасти тем, что не могущим ходить носят те, которые ходят из того же двора, или соседи.

Больше я не знаю невыгод или неудобств.

Выгоды же столовых следующие.

Пища без сравнения лучше и разнообразнее, чем та, которая готовится в семьях. Есть возможность применять более дешевые и здоровые пищевые средства. Пища приобретается по более дешевым ценам. Топливо на печение хлебов сберегается. Семьи самые бедные, те, у которых устраиваются столовые, совершенно обеспечиваются. Исключается возможность неравенства получения пищи, часто встречающаяся в семьях по отношению к нелюбимым членам;

старые и дети получают соответствующую их возрасту пищу. Столовые, вместо раздражения и зависти, вызывают добрые чувства. Злоупотребления, т. е. получения пособий теми лицами, которые менее нуждаются в них, может быть менее, чем при всяком другом способе помощи. Пределы злоупотреблений, могущих быть в пользовании столовыми, положены размерами желудка. Человек может перебрать муки, сколько хочет, но съесть никто не может больше очень ограниченного количества. И главное, самое важное преимущество столовых, ради которого одного можно и должно везде заводить их, то, что в той деревне, где есть столовая, не может заболеть и умереть человек от недостатка или недоброкачества пищи, не может быть того, что, к несчастью, повторяется беспрестанно: старый, слабый человек, больной ребенок, нынче, завтра получая дурную и недостаточную пищу, гаснет, чахнет и умирает, если не прямо от голода, то от недостатка хорошей пищи. И это самое важное.

На днях, желая избежать тех разбирательств, которые происходили в прежде открытых столовых, о том, кому ходить и кому не ходить, мы, во вновь открываемой столовой, воспользовались собравшейся по их делам сходкой и предложили самим крестьянам решить, кому пользоваться столовыми. Первое мнение, выраженное многими, было то, что это невозможно, что будут споры, ссоры и они никогда не сойдутся. Потом высказано было мнение о том, что пусть ходит с каждого двора по человеку. Но мнение это скоро было отвергнуто. Есть дворы, где ходить некому, и есть дворы, где не один, а много слабых.

И потому согласились принять наше предложение — положиться на совесть. «Будут готовить на 40 человек, а кто придет — милости просим, а съедят всё — не взыщите». Мнение это одобрили. Один сказал, что здоровый, сильный человек и сам постыдится придти заедать сиротскую долю. На это, однако, возразил недовольный голос: и рад бы не пошел, да поневоле пойдешь, как я намедни два дня не ел.

Вот это-то и составляет главное преимущество столовых. Кто бы он ни был — записанный или не записанный в крестьянское общество, дворовый, кантонист, солдат николаевский или александровский, попадья, мещанин, дворянин, старый, малый или здоровый мужик, лентяй или трудолюбивый, пьяница или трезвый, но человек, который два дня не ел, получит мирскую пищу. В этом главная выгода столовых. Там, где они есть, никто не только не может умереть с голоду, но никто не может голодом быть принуждаем к работе.

Мотивами большего или меньшего труда могут быть всё, что хотите, но только не голод. Можно животных дрессировать голодом и заставлять делать противные их природе дела, но пора понять, что стыдно заставлять людей делать не то, чего они хотят, а то, чего мы хотим, посредством голода. Заставлять людей делать то, чего мы хотим, чтобы они делали, посредством голода, — так же постыдно, как заставлять их поступать по нашей воле посредством кнута. Пора уже нам, христианам, пережить этот фазис. Говорят и пишут о том, что крестьяне отказываются от работ и что тем, которые будут отказываться от работ, надо не давать пособия. Пора бы перестать говорить такие вещи. Во-первых, сидеть без работы для всякого человека, а в особенности для крестьянина, привыкшего к работе, есть мученье; а во-вторых, не нам, праздным людям, всегда живущим работой крестьян, говорить о их праздности и лени.

Но возможно ли везде учреждение столовых? Есть ли это мера общая, которая может быть приложена повсюду и в больших размерах? Сначала кажется, что нет, что это мера только частная, местная, случайная, которая может быть приложена только в некоторых местах, там, где найдутся особенно расположенные к такому делу люди. Так и я думал сначала, когда воображал, что для столовой придется нанять помещение, кухарку, купить посуду, придумывать и определять — какую, когда и на сколько человек готовить пищу; но тот прием столовых, который благодаря И. И. Раевскому установился теперь, устраняет все эти затруднения и делает эту меру самой доступной, простой и народной.

С нашими небольшими силами и без особенного усилия, мы в 4 недели открыли и пустили в ход в 20 деревнях 30 столовых, в которых кормятся около 1 500 человек. Соседка же наша, Н. Ф., одна в продолжение месяца открыла и ведет на тех же основаниях 16 столовых, в которых кормятся не менее 700 человек.

Открытие столовых и наблюдение за ними не представляет никаких трудностей, содержание их стоит только немного дороже того, что стоит выдача муки, если она выдается в количестве 30 ф. на месяц. (Хотя мы верно еще не учитывали, но полагаем, что содержание одного человека в столовых обойдется ни в каком случае не дороже 1 р. 50 к. в месяц.)

Мера эта (устройство столовых), не вызывая дурных чувств в народе, а напротив, вполне удовлетворяя его, достигает главной цели, которая стоит теперь перед обществом, — обеспечения людей от возможности голодной смерти, и поэтому должна бы быть принята везде. Если могут земцы — попечители и администрация учи-

тывать крестьянский достаток и, запасая хлеб, выдавать его нуждающимся, то без сравнения меньше труда стоило бы тем же людям устраивать склады для продовольствия столовых и самые столовые.

На днях нас посетил калужский житель, привезший в нашу местность следующее предложение: некоторые помещики и крестьяне Калужской губернии, богатые кормами для скота, сочувствуя положению крестьян нашей местности, принужденных расставаться за бесценок с своими лошадьми, которых они за удешаженную почти цену не купят весной, предложили взять к себе на зиму, на корм, 10 вагонов, т. е. 80 лошадей из нашей местности. С лошадьми поедут выборные из тех деревень, из которых будут взяты лошади, сведут их до места и вернутся назад. Весной опять выборные поедут за лошадьми и приведут их назад.

На другой день после этого предложения, в двух деревнях, в которых оно было объявлено, заявилось охотников на отправку всех 80 лошадей, и всё молодых и хороших. С тех пор каждый день приходят еще и еще крестьяне, прося взять и их лошадей.

Не может быть более сильного и определенного ответа на вопрос о том, есть ли голод и в каких размерах. Должна же быть велика нужда, если крестьяне так легко расстаются с лошадьми, доверяя их неизвестным людям. Кроме того, предложение это и принятие его для меня поразительно трогательно и поучительно. Крестьяне калужские, небогатые люди, для неизвестных им, не виданных ими братьев-крестьян, в беде берут на себя немалый и расход, и труд, и заботу, — и здешние крестьяне очевидно понимая побуждения своих калужских братьев, очевидно сознавая, что в случае нужды они бы сделали то же, без малейшего колебания доверяют неизвестным им людям почти последнее достояние, — хороших молодых лошадей, за которых, даже и при теперешних ценах, они все-таки могли бы взять 5, 10, 15 рублей.

Если бы хоть сотая доля такого живого братского сознания, такого единения людей во имя Бога любви была во всех людях, как легко, да не только легко, но радостно перенесли бы мы этот голод, да и все возможные материальные беды!

Лев Толстой.

26 ноября 1891 г.

Бегичевка Данковского уезда.

(29, 126 – 144)

Прибавление Третье.

НАЧАЛО ПОЛИЦЕЙСКОГО НАДЗОРА ЗА Л.Н. ТОЛСТЫМ В ГОЛОДНОЙ БЕГИЧЕВКЕ

Донесение рязанского губернатора
директору департамента полиции,
14 ноября 1891 г.

Данковский уездный исправник донёс мне, что в имение И. И. Раевского (деревня Бегичевка) прибыл на временное жительство граф Л. Н. Толстой, купил у г. Раевского хлеб и раздаёт таковой бесплатно бедным крестьянам.

Затем в с. Воскресенское, Ивановской волости в домах крестьян Гераскина и Матюхина граф Толстой 1 ноября открыл общественные бесплатные столовые на сто человек для прокормления беднейших жителей означенного села, пострадавших от неурожая текущего года. В столовых этих отпускаются обед и ужин, состоящие из хлеба, горячих похлёбок, картофеля, свекловицы и каши. Ранее открытия этих столовых на одной из сельских сходок присутствовал граф Толстой и обращался к народу с просьбой о том, чтобы богатые люди не посещали открываемые столовые.

Об изложенном имею честь довести до сведения вашего превосходительства.

Д. К л а д и щ е в.

Предписание
директора Департамента полиции
рязанскому губернатору,
19 ноября 1891 г.

По дошедшим до меня сведениям граф Л. Н. Толстой находится в настоящее время в Данковском уезде, по видимому для оказания помощи нуждающемуся населению. В виду сего имею честь покорнейше просить ваше превосходительство приказать собрать сведения, чем именно занимается граф Толстой и в чём выражается его благотворительная деятельность.

Г. У м о в.

**Рапорт
данковского уездного исправника
рязанскому губернатору
27 ноября 1891 г.**

Вследствие телеграммы вашего превосходительства имею честь донести: граф Лев Николаевич Толстой, прибыв во вверенный мне уезд в средних числах минувшего октября месяца, поселился в Лошаковской волости в имении дальнего своего родственника или хорошего знакомого Ивана Ивановича Раевского при д. Бегичевке, Данковского уезда, избранной графом Толстым для оказания помощи нуждающемуся населению вероятно потому, что о нужде в этой помощи могли сообщить ему местные помещики гг. Раевский, Философовы, земский начальник 2-го участка Данковского уезда Мордвинов и другие владельцы, проживающие близ имения, в котором находится теперь граф Толстой, так как они знакомы с графом. Кроме сего по частным сведениям, мне известно, что деятельность графа в оказании помощи нуждающемуся населению не распространена исключительно па Данковский уезд, но распространяется будто бы на Черньский уезд, Тульской губернии, где находится для этой цели один из сыновей графа; другой его сын послан будто бы в Симбирскую или Самарскую губернии, для помощи нуждающемуся населению. Помощь со стороны графа Толстого выражается в открытии в с. Воскресенском, Ивановской волости трёх столовых и пекарен и, предполагаем, ещё одной в деревне Колодезях, той же волости, где всякий нуждающийся может получить даровое питание, и в раздаче хлеба исключительно нуждающимся в оном. Помощь организована графом в широких размерах и мне известно, что граф уже получил пожертвования от разных лиц, как России, так равно из-за границы до 20.000 рублей. Деятельность графа Толстого исключительно благотворительная без всяких признаков какой-либо пропаганды, по крайней мере ничего подобного до сего времени не замечено; личное моё свидание с графом и взгляды его на настоящее положение дел не вызывают ничего противозаконного. Сотрудницами графа по оказанию помощи нуждающемуся населению в Данковском уезде состоят две дочери его Мария и Татьяна Львовны и Наталия Философова, которые также [оказывают] некоторую медицинскую помощь населению, страдающему инфлюэнцией, и, благодаря их уходу за больными и здоровыми, болезнь между населением не принимает широких размеров. При этом имею честь

присовокупить, что графа Толстого посещают корреспонденты некоторых газет и лично при мне, при нём находится корреспондент «Нового Времени» г. Майков.

Вдобавление всего имею честь доложить вашему превосходительству, что за наблюдением порядка и спокойствия, как в столовых, так и нелегального наблюдения за кругом действия графа Толстого, его сотрудников и окружающих, мною лично и через исполнительных чиновников приняты энергичные меры, и в случае проявления чего-либо предосудительного тотчас же будет доложено вашему превосходительству.

Уездный исправник П р а л ь.

Донесение рязанского губернатора
в департамент полиции,
2 декабря 1891 г.

[...] Вполне разделяя взгляд уездного исправника о необходимости надзора за местностью в районе, в которой проявляется деятельность графа Толстого, с одной стороны, а с другой, что надзор этот едва ли удобно возложить на чинов полиции, я имею честь покорнейше просить департамент полиции, не признает ли он возможным отпустить в распоряжение уездного исправника некоторую сумму для найма особого агента, или не сочтёт ли более удобным вышеобъяснённое наблюдение передать начальнику губернского жандармского управления и его агентам.

Генерал-майор К л а д и щ е в.

Здесь конец Прибавлениям к Главе Третьей





Глава Четвертая.
**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ БЛЕВОТИНЫ,
или ОДИНОЧЕСТВО ЦАРЯ
НА ДУХОВНОЙ ВЕРШИНЕ ЖИЗНИ**
(11 – 26 декабря 1891 г.)

Это ложь, когда хочется быть одному,
То патология или коварство.
Одному можно быть только на царстве,
И только с женой нужно быть одному!

(Александр Литвинов)

4.1. Московские будни Духовного Царя России

♦ кратком своём московском отпуске Л. Н. Толстой записал 19 декабря 1891 г. в Дневнике следующее:

«За это время был в Москве. Радость отношения с Соней. Никогда не были так сердечны. Благодарю тебя, Отец. Я просил об этом. Всё, всё, о чём я просил — дано мне. Благодарю Тебя. Дай мне ближе сливаться с волею Твоей. Ничего не хочу, кроме того, что Ты хочешь» (52, 59).

Эти строки — дополнительное свидетельство того, что вовлечённость Л. Н. Толстого в помощь голодающим, как мы это и показали выше, во вводно-теоретической части книги — не была отступлением его от христианского восприятия денег и капиталов, богатства как абсолютного, безусловного зла, но была обдуманым и *системным состоянием* взаимоотношений с миром: мудрой *тактической уступкой* тем нравам рабов мамона и золотого тельца, которые в общественном сознании лжехристианской (церковно-православной) России по сей день лишь отчасти смягчаются, но по обыкновению не религиозной верой (ибо ложная вера беспомощна перед зверем), а работой первобытных альтруистических бессознательных программ человека — именно как зверя, как общественного животного. Толстой, разумеется, не пользовался понятием системности, не мог ведать ничего и об альтруизме в социально ориентированных поведенческих структурах приматов и других высокоорганизованных животных, но своё положение осознавал по существу именно как

такое сложно-системное состояние участия в необходимом деле, которое нельзя было совершить одному, а только с участием поклонников мамона и тельца, ведомых (временами) животной альтруистической программой, но, увы, лучше всего понимающих именно «язык денег». Когда давний знакомый его, толстовец-землероб *Аркадий Васильевич Алёхин* (1854 – 1918) попросил “дорогого учителя” в письме указать ему тот “пост”, то поприще, на котором он мог бы быть полезен и нужен в деле помощи голодающим, Толстой в ответном, от 11 декабря 1891 г., письме поделился результатами своих новейших рефлексий и свежеприобретённым опытом. По его мнению, такому, по случаю голода, служению, открыты три пути:

«Одно решение, единственно истинное, это то, чтобы пойти служить голодающим одною своею жизнью, т. е., не пользуясь ни своими, ни чужими деньгами, стать ниже голодающих — иметь, есть меньше их и всё-таки служить им. Это решение несомненно верное и говорить про него нечего, надо исполнять его. И выбирать место тут не к чему. Если кто готов отдать жизнь за друга своя, то жизнь одна и отдать её недолго и нетрудно. Везде можно и равно.

Другое решение то, чтобы, считая свою жизнь хорошою, правильной, продолжать её, не изменяя, вследствие исключительных условий голода. Для того, чтобы принять это решение, необходимо не сомневаться в том, что то, что ты делаешь, и есть то самое, что хочет от тебя Бог. Решение это *не* несомненно. Я пытался принять его, но не выдержал. Вы то же испытываете, желая связать деятельность свою с голодающими. Всегда страшно: не требует ли чего от тебя особенного это исключительное положение.

Третье решение то, чтобы придти в середину людей нуждающихся и, так как естественно помогать людям тем, чего они требуют — голодающим пищей, а пищу нельзя иначе получить, как деньгами, то, несмотря на сознание греха денег, стать посредником между богатыми и бедными, не боясь самому изгваздаться по уши в нечистоте, связанной с деньгами. Решение это очень сомнительное. Я никак не думал, что изберу его. Но неизбежно был приведён к принятию его, и вот барахтаюсь в условиях, исполненных соблазна и греха, но чувствую, что не могу пока избрать первого решения, не могу, не имея силы духовной; не могу и избрать второго — оставаться безучастным» (66, 108 – 109).

Слово *посредник* здесь особенно значимо. Оно характеризует активное и продуктивное, деятельное (мужское) начало в системном положении Л. Н. Толстого по отношению к двум состояниям рутинным, беспомощным: с одной стороны, городской сволочи (торгашеской, интеллигентской и иной), могущей быть полезной голодным

крестьянам только своевольной делёжкой скопленных в городах продовольствия и денег, которые прежде того и были забраны у этих же крестьян и свезены в города; с другой же стороны — с положением самих крестьян, для многих из которых рутина производственных и рыночных отношений и ряд «сословных» ментальных и психологических особенностей делали в ситуации 1891 года самостоятельное спасение от голода невозможным.

Великорусский пахарь взывал о помощи. Регулярно переживавшие города (снова кстати вспомним здесь «Первую ступень»!) стали с того зова чувствовать себя хреново, наконец совершенно заболели совестью, а заболев — облевались. В письме приблизительно от 23 ноября другому духовному единомышленнику, И. Б. Файнерману, Лев Николаевич, выражаясь весьма аппетитно и образно, констатирует, что *volens nolens* он «оказался распределителем той блевотины, которую рвёт богачей» (66, 94). И чувствовал себя должным не выходить из этого положения.

Это чувство долга поделила с Толстым и верная спутница жизни, Софья Андреевна, не отступавшая от своего участия в общем деле помощи голодающим — несмотря на устойчивые симптомы расстройства здоровья:

«Я всё время тогда хворала, у меня делались удушья с сильным сердцебиением, шла постоянно кровь то носом, то горлом, и нервы дошли до крайнего расстройства. Но я не унывала, трудилась, выезжала, занималась детьми» (*Толстая С.А. Моя жизнь: В 2-х кн. Книга первая. [МЖ – 1.] С. 237*). Лечить сытую и обыкновенно сонную городскую совесть потребовалось в эти дни и ей...

Конечно, получив то, что ей особенно желалось: свидание с мужем в Москве, — она почувствовала себя лучше, тем дав понять Льву Николаевичу, что наступили для него срок и возможность вернуться в Бегичевку. Он и сделал это, как только счастливо определилась судьба его статьи «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» (слово «голод» стало в те дни нецензурным для печати). Напомним читателю, что 10 декабря статья вышла в свет в сборнике «Помощь голодающим», изданном «Московскими ведомостями». Она привлекла восторженное внимание молодого А. П. Чехова, в письме к А. С. Суворину от 11 декабря, как мы помним, похвалившего статью и назвавшего автора её «не человек, а человечище», общественные публикации которого следует помещать в «Правительственный вестник» (*Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 4. М., 1976. С. 322 – 323*).

А ещё раньше Чехова этого титула удостоил Толстого Н. Я. Грот, назвавший Льва Николаевича в письме к нему в Бегичевку от 21

ноября 1891 г. «духовным царём», на которого возлагаются все надежды лучших людей России в трудную её годину (*Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 г. [Материалы... 1889 – 1892.] С. 251 – 252*).

Да, возлагались надежды. И да — лучших! Но, в массе своей, *не понимавших* Толстого-христианина. Мирских «благотворителей». Но *не близких* по вере людей! А позднее, мы увидим — оставят его и некоторые единомышленники, сиречь «толстовцы»: в тот момент, когда, один за другим, во всей неприятности осознают, что *Бегичевка* *взыскует героизма* истинного: не столько героизма военной атаки, сколько тихого, незаметного и не ценимого в гнусно-патриархальных обществах лжехристианского мира героизма матери или, например, медсестры. Впрячься в упряжь и потянуть воз мельчайших, бессчётных хлопот *повседневности*, уязвимой страданию и смерти, обезображенной невежеством, омрачённостью и несчастьями: тем царством тьмы, верховным властителем которого оказался в 1891-м Царь Голод, генеральное сражение с которым после безвременного ухода Ивана Ивановича Раевского Царю Льву слишком часто придётся вести одному: когда на тебе одном все решения и судьба всего великого, затаянного боя со смертью за жизнь, — и из которого надо было силиться, не ретировавшись ни в смерть ни в город, *сделать жизнь*.

Между тем царь оставался царём и вне аскетического своего «дворца» в голодной Бегичевке. Живя в Москве, Толстой не переставал думать о исполненном и о предстоящей, большей и труднейшей части великого своего служения в миру Богу и Христу. Такой слуга всегда проверяется Свыше на смирение: и Толстому необходимо было, памятуя христианский идеал, тем не менее входить во всё новое, необходимые для дела, связи и отношения с миром и людьми его. Так, ещё по пути из Бегичевки в Москву, проездом в Туле 29 ноября, он посылает письмо тётке своей Александре Андреевне Толстой, фрейлине Императорского двора и особе влиятельнейшей, но при этом и даме строгой православной веры, увлекавшейся, как во все времена многие «сильные мира», разнообразной благотворительностью. Толстой известил тётку, что им направлено было письмо к Михаилу Петровичу фон Кауфману (1822 – 1902), генерал-адъютанту, члену Государственного совета и председателю Российского общества Красного Креста (с 1883 по 1898 гг.). Сами письма Толстого к М. П. фон Кауфману не сохранились. В письме 29 ноября к А. А. Толстой Лев Николаевич просил тётку: «Пожалуйста, если можно, попросите его через кого-нибудь исполнить мою просьбу,

очень нужную и никому не могущую повредить. Только бы он обратил внимание на это дело, он, говорят, человек хороший и умный, и он наверно исполнит её» (66, 100).

Общество Красного креста выдавало свидетельства на бесплатный провоз по железной дороге груза для голодающих. На одно свидетельство можно было провезти один вагон. Так, в письме к Р. А. Писареву из Москвы от 1...4 декабря 1891 г., Толстой извещал, что сын его Л. А. Толстой готовится ехать в Бузулукский уезд через Самару, где он должен был видеться с самарским губернатором А. Д. Свербеевым (которого застал в последние дни губернаторства в Самаре) и получить от него, как председателя местного отделения общества Красного креста, свидетельства на бесплатный провоз продовольствия, закупаемого для голодающего населения Самарской губернии. Писареву надлежало закупить для начала с десятков вагонов ржи (66, 102).

И Лев Львович не встретил тогда со стороны самарского губернатора препон для провоза хлеба до станции «Богатое» Оренбургской ж. д., откуда хлеб развозился обозами по голодающим местностям.

Но старый генерал фон Кауфман соединял в себе немецкую твердолобость с русским «служилым» развратом. К сожалению, у председателя Российского Красного Креста был иной взгляд на дело... В продолжении переписки с А. А. Толстой, письме от 8 декабря из Москвы, в приписке, Толстой сообщает тётке: «Кауфман ответил не хорошо: нужны были не деньги, а общее распоряжение о бесплатном провозе лошадей» (Там же. С. 107). М. П. фон Кауфман в официальной бумаге от 4 декабря сообщил, что «право бесплатного провоза по железным дорогам» грузов предоставлено Обществу Красного креста в адрес учреждений этого общества, а не частных лиц. Признавая, однако, что отправка лошадей на прокорм в урожайные губернии может иметь «благодетельное значение», он направил в распоряжение Елифанского уездного попечительства Красного креста 367 рублей на провоз ста лошадей в Калужскую губернию (Там же. С. 108. *Комментарий*).

Первый «поединок» со строгим немцем был хоть не вчистую, но проигран. Бесплатность для членов семьи Толстого означала расходы для вверенной старику-генералу организации. Тот предпочёл перестраховаться. В письме к Н. Н. Страхову от 11 декабря 1891 г., уже из Бегичевки, Толстой так же сетует, что Кауфман «не разрешил общей меры (не ходатайствовал о ней), а прислал мне деньги на уплату железной дороги. Это любезно с его стороны, но не хорошо» (66, 111 – 112). Не хорошо потому, что Толстому в эти дни писали

люди богатые, с Кавказа, о возможности принять на прокорм десятки тысяч крестьянских лошадок... если только Толстой похлопочет о доставке их. Исполнить это было несложно и необходимо. В письме Толстой разъяснял Страхову всё так: «Одно из главных бедствий (впрочем, все главные) это гибель скота от бескормицы и, главное, рабочей силы — лошадей. Спасение лошадей в том, чтобы для них устраивать столовые, дворы, где их кормить до весны. Главный расчёт тот, что если у 4-х мужиков, у каждого порознь, есть лошадь, к[отор]ую каждый порознь кормит и хочет уберечь, то кончится тем, что каждый не докормит до весны и все 4 лошади падут. Если устроить общее кормление, то на цену одной лошади из 4-х, даже если бы и двух, можно прокормить остальных. Это одно средство спасения лошадей, к[отор]ое мы стараемся организовать; другое в том, чтобы перевозить лошадей в те места, где есть корм. Это я и делаю отчасти, но затруднение в том, что провоз <даже> по удешевлённому тарифу 1¼ коп. с версты за лошадь составляет огромную недоступную цифру при дешевизне лошадей и дальности расстояний. [...] Большое количество вагонов, везущих хлеб с Кавказа, должны возвращаться назад пустыми. Отчего бы их не грузить лошадьми?» (Там же. С. 112). Но и хлопоты Н. Н. Страхова в последующие дни не дали желанного результата: Кауфман не разрешил такой масштабный провоз «ввиду крайней сложности организации этого дела» (Там же).

«Напиши, дай понятие о состоянии народа у вас в худших местах» (66, 101) — просит Толстой в письме от 2 декабря старшего своего сына Сергея. Живя в своём имении Никольское-Вяземское, тот в 1891 – 1892 гг. занимался выдачей муки голодавшим Чернского уезда Тульской губ. от земства и от попечительства Красного креста, членом которого состоял. Стоит заметить, что сын этот, не разделивший с отцом его чистой, евангельской, христианской веры, предпочитал действовать подчёркнуто самостоятельно, и оттого на страницах этой нашей книги он не сможет быть частым гостем.

Старого товарища своего, тульского прокурора Н. В. Давыдова Толстой просил в те же дни: «Мне говорили, что в Тамбове очень дёшево просо и пшено. Вы едете туда: не узнаете ли и не сообщите ли мне в Чернаву, что́ стоит на станции железной дороги просо и пшено у вас» (Там же. С. 103).

Или к Н. Н. Ге-сыну в Черниговскую губ., в письме от 4 декабря:

«Купите нам два вагона, т. е. 1200 пудов гороху. Как мне говорили — достоинство гороха, именно то, чтобы он был вполне зрелый, без мелких и чёрных зёрен, очень изменяет цену. Если горох такой

именно, ровный, без мелких и чёрных зёрен и других недостатков, можно получить на ст[анции] железной дороги по 90, 95 коп., то ответьте и купите. Отвечайте в Москву — жене. Она и вышлет деньги и свидетельства Красного креста для провоза бесплатного до нашей ст[анции] Клёкотки Сызрано-Вяземской дороги. Если же нам не удастся достать свидетельства Красн[ого] креста, то узнайте, что будет стоить провоз и не будет ли задержки» (Там же. С. 103 – 104).

Тульскому губернатору Зиновьеву, 4 декабря из Москвы, как раз по поводу свидетельств, которые приходилось “добывать” непрямым путём:

«Свидетельства мои Кр[асного] Креста уже все вышли: 8 я отдал Писареву для доставки ржи и пшеницы, [...] и нынче надо посылать два в Киев на два вагона гороха. Так что одного у меня уже недостаёт. Если можно, то дайте мне ещё десять свидетельств. Если вам почему-либо неудобно, то я постараюсь достать здесь» (Там же. С. 104).

Таковы были хлопотные будни Духовного Царя — это не считая личной и писательской его жизни! А Толстой выкраивает в эти дни время для так и не оконченного им рассказа «Кто прав?» и для трактата «Царство Божие внутри вас»...

Наконец, покончив дела и публициста-практика, и отца-воспитателя, и мужа-успокоителя, 9 декабря Толстой выехал из Москвы. И он был счастливее по пути в вечно нищую и депрессивную российскую провинцию, нежели Софья Андреевна, остававшаяся в Москве, в условиях сытой роскоши и с уже многочисленными помощниками. Накануне отъезда, в названном выше письме от 8 декабря к А. А. Толстой, он признавался, что первый бегичевский месяц с И. И. Раевским, который он провёл в работах для голодающих, останется в его памяти как «один из самых счастливых» — «не счастливых весёлых, а счастливых значительных и удовлетворяющих» (66, 107). Такой же чистой, безгрешной радости, такой же благодати он чаял ожидать и от нового рануда в лишь начатом поединке со смертью за жизни тысячей крестьян. Тётке он писал:

«Завтра, 9-го, мы уезжаем. Соня очень тревожна, но отпускает меня, и мы с ней дружны и любовны, как давно не были. Мне её очень жаль, и я постараюсь поскорее вернуться, чтобы успокоить её. Дело наше идёт так хорошо, как я не мечтал, и всё дальше и дальше затягивает. Бедствие велико, но радостно видеть, что и сочувствие велико. Я это теперь увидал в Москве, не по московским жителям, но по тем жителям губерний, которые имеют связи с Москвою.

Страшно подумать, что бы было, если бы вдруг прекратилась деятельность общества. — Говорят, что в Петербурге не верят серьёзности положения. Это грех. Я встретил у Раевского моряка Протопо[по]ва, с которым мы вместе были 35 лет тому назад на Язоновском редуте в Севастополе. Он очень милый человек, теперь председатель управы, хлопочет, покупает хлеб. Он очень верно сказал мне, что испытывает чувство, подобное тому, к[оторое] б[ыло] в Севастополе. «Спокоен, т. е. перестаёшь быть беспокоен, только тогда, когда что-нибудь делаешь для борьбы с бедой». Будет ли успех, — не знаешь, а надо работать, иначе нельзя жить» (66, 107).

Почти через год, осенью 1892-го, неслучайной случайностью, подвернувшийся на досуге дневник швейцарского мыслителя Анри Фредерика Амиеля напомнит Толстому древнюю, как мир, мудрость, переданную Амиелем по-французски так: «Fais ce que tu dois, advienne que pourra» (*Из дневника Анри Амиеля. СПб., 1894. С. 49. Запись 25 января 1868 г.*). Делай то, что должен, а там пусть всё будет так, как будет!

Великолепно почувствовал и разделил с Толстым эти настроения и эту установку молодой Антон Павлович Чехов, так же участвовавший в эти дни в благотворительности. В письме к своему знакомому, земскому начальнику Нижегородской губ. Е. П. Егорову от 11 декабря Чехов писал:

«Публика не верит администрации и потому воздерживается от пожертвований. Ходит тысяча фантастических сказок и басен о растратах, наглых воровствах и т. п. Епархиального ведомства сторонятся, а на Красный Крест негодуют. Владелец незабвенного Бабкина, земский начальник, отрезал мне прямо и категорически: «В Москве, в Красном Кресте, воруют!» При таком настроении администрация едва ли дожждётся серьёзной помощи от общества. А между тем публике благотворить хочется, совесть её потревожена. В сентябре моск<овская> интеллигенция и плутократия собирались в кружки, думали, говорили, копошились, приглашали для совета сведущих людей; все толковали о том, как бы обойти администрацию и заняться организацией помощи самостоятельно. Решили послать в голодные губернии своих агентов, которые знакомились бы на месте с положением дела, устраивали бы столовые и проч. Некоторые главы кружков, люди с весом, ездили к Дурново просить разрешения, и Дурново отказал, объявив, что организация помощи может принадлежать только епарх<иальному> ведомству и Красному Кресту. <Иван Николаевич Дурново (1834 – 1903) — русский государственный деятель, с 1889 по 1895 г. министр внутренних дел. – Р. А.> Одним словом, частная инициатива была подрезана в самом начале.

Все повесили носы, пали духом; кто озлился, а кто просто омыл руки. Надо иметь смелость и авторитет Толстого, чтобы идти наперекор всяким запрещениям и настроениям и *делать то, что велит долг*» (Чехов А. П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Письма: В 12 т. Т. 4. М., 1975. С. 316. Выделение наше. – Р. А.).

Толстой не забудет уже этой мудрости до последнего дыхания! Будет напоминать себе о ней в Дневнике: о необходимости твёрдости в следовании воле Отца, в христианском долге — в 1910 г., незадолго до смерти (см. 58: 70, 126, 137). «Делай то, что должен, и пусть всё будет так, как будет» Исполни́й христианский долг, а последствия и награда, помни — в руках Бога! Очень продуктивная установка — особенно для гражданина России, вековечно с недоверием и неприязнью относящейся к свободной гражданской инициативе.

Но, конечно же, и в своих добрых надеждах на благодатную радость, награду труднику и праведнику, Толстой-христианин так же оказался прав!

4. 2. ...И будни бегичевские

Через два дня после отъезда из Москвы, 11 декабря, Толстой уже писал жене с дороги открытое письмо, остановившись на ночь в 18-ти верстах от Бегичевки, на хуторе Молоденки (Елифанский уезд), у не близкого, но зато давнего приятеля, *Петра Фёдоровича Самарина* (1830 – 1901), послужившего Л. Н. Толстому прототипом для предводителя дворянства в «Анне Карениной» и Сахатова в «Плодах просвещения».



Пётр Фёдорович Самарин

Вот полный текст открытки:

«Пишу из Молоденки, куда мы прекрасно (чудная дорога и ночь, так что езда была удовольствием) доехали. Не успел написать тебе, и тоскливо всё о тебе. Тем более, что Таня сказала, что у тебя шла кровь носом. Неужели опять было дурно? Без ужаса не могу подумать, как тебе одиноко одной. Надеюсь, что и не будет припадков и, если будут, то ты с мужеством перенесёшь их. Насколько тебе нужно для мужества сознание моей любви, то её, любви, столько, сколько только может быть. Беспреданно думаю о тебе и всегда с умилением.

Надеюсь, что письмо это придёт раньше обычной почты. Целую тебя, детей. Поклон всем.

Л. Толстой» (84, 107).

Письмо Толстого к жене следующего дня, 12 декабря, уже из Бегищевки, буквально даёт почувствовать, насколько оперативно и мощно включился Л. Н. Толстой в разрешение текущих вопросов и проблем — словно специально ожидавших его возвращения и не давших ему никакого отдыха с дороги. Ему некогда оказалось писать большое письмо и, как повелось уже в таких случаях, Толстой сделал приписку к письму дочери Тани: даже не на самом её письме к матери, а на обратной стороне приложенного к нему одного из множества в эти дни крестьянских прошений: обращения поселенцев из села Кеми о содействии их передвижной библиотеке.

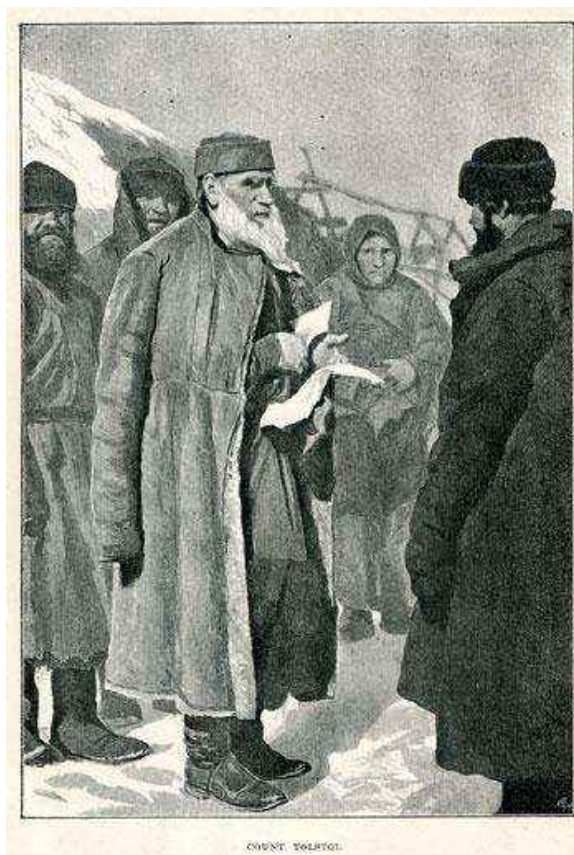
Вот полный текст этой приписки:

«Очень я занят практическими делами — нынче была отправка лошадей и приготовление к прокормлению лошадей на местах, на барде, при винокуренных заводах. Не знаю, как удастся. Кроме того, много дела, которое делаешь дурно — прямой помощи страдающим. Нынче, например, был в доме, где мать, внук 10 лет и мужик, все середь дня лежат на печи, а в комнате дух виден, и топить нечем. И боишься забыть про таких, потому что так много подобных. Мне хорошо, повторяю, если бы не беспокойство о тебе. [...] Береги себя. Пожалуйста, ходи гулять и помни про мою любовь.

Твой Л. Т.

Вышли, пожалуйста, им то, что они просят» (84, 197 – 108).

Последнее замечание, конечно же, касалось обращения крестьян о библиотеке.



Толстой беседует с крестьянами.
Фото И. Стадлинга. 1892 г.

А встречное, того же 12 декабря, письмо от Софьи Андреевны Толстой частично посвящено впечатлениям от просмотра пьесы Л. Н. Толстого «Плоды просвещения» — которая, несмотря на вложенный в заглавие изначально сатирический смысл, стала в эти дни буквальным эквивалентом целого урожая свежих и вкусных плодов для голодных: ведь деньги за её постановки шли на помощь крестьянам!

Приводим ниже текст этого письма с сокращениями.

«Приезд <сына> Серёжи, милый друг Лёвочка, был, очевидно, по твоей инициативе, и я была тронута твоей заботой, и очень обрадована его приездом.

Сидим мы в Малом театре: София Алексеевна с мужем, Лизанька, Варя и я, шла утром генеральная репетиция «Плодов просвещения», вдруг в первом акте входит Серёжа. Всю пьесу просмотрели вместе. Идёт она не дурно, только мужики — особенно 3-й, — совсем не вышли. Фальшиво, не смешно, — очень досадно. Ведь когда Лопатин

про курицу скажет, — все хохочут единодушно; а здесь даже не смешно совсем. Сцена в кухне очень хороша. Когда является повар, то сцена выходит удивительно трагична; даже у меня одышка сделалась от волнения, но скоро прошла. Скучнее всех первый акт идёт, очень вяло. Петрищев и Кокó (толстый, белокуро-жёлтые волоса, похож на дворового) совсем не вышли. Вовó играл в меру и отлично. Профессор (Ленский) очень хорош. Барин с усами похож на отставного военного, но добрый и сдержанный — вышел. Вообще не чисто-аристократический тон, а скорее *parvenus*, [выскочки] желающие быть аристократами — и это не верно. В Туле и у нас шло много лучше и типичнее были люди, но здесь выручало сценическое искусство, привычка сцены, положений и т. д. Очень хорош был Григорий. Таня играла хорошо; но худенькая, минодировала [жеманилась] немного, слишком суетилась. Барыню очень утрировала Федотова. — Но вообще пьеса очень хорошая и весело её смотреть, хотя игры требует превосходной.

Серёжа просидел со мной весь остальной день; никто, кроме Нагорнова, которого Серёжа же вызвал по делу, не пришёл, и с ночным он уехал. Мы многое с ним переговорили, и он мне рассказал и о вас. Здоровье моё хорошо, никаких неприятных припадков не было, надеюсь, и не будет. Погода всё плохая, потому что ветер; у меня тут заболел артельщик инфлуенцей, и совсем не бережётся, всё выходит и видно не хочется помириться с нездоровьем; вот так-то умирают. Только один день пролежал.

Получила две телеграммы от Колички Ге, просит свидетельств на даровой провоз двух купленных им вагонов гороху по 1 р. за пуд. Одно я выпросила уже у Софьи Алексеевны <Философовой> и послала вчера, а за другим послала сейчас Алексея Митрофановича <Новикова> опять к Софье Алексеевне и пошлю Количке. Боюсь, что вы не скоро получите горох, так как с юга идёт всё очень медленно. Вчера послали все наши вещи, т. е. сукно, 100 ф. ваты, сухари, старьё и проч., даровым проездом в Клёкотки. Пошлите скорей за вещами, как только получите квитанции, чтоб раздать тёплые вещи шить и носить, пока холодно. — Голод всё распространяется, рассказывают ужасы.

Лёва пишет короткое письмо ещё из Самары, что здоров, видел губернатора, который обещает хлеб ему продать из земского склада; что голод ужасающий, что Иван Александрович <Бергер> поражён, и что страдает, глядя на всё это; что у Ив. Ал. очень доброе сердце, и ему это приятно. Ещё пишет о мужике вдовце, удавившемся от того, что не мог вынести вида своих трёх голодных детей. — Вот и всё.

Спасибо Маше за её ласковое письмо. Буду ждать с места, и не могу не беспокоиться, видя этот бич — инфлуенцу повсюду. [...] Везде паника в Москве, что появилась сильная оспа. То же и в других городах.

[...] Пожертвования без вас опять пошли: вчера получила от гр. Бобринского из Петербурга 628 рублей сразу. <Граф *Андрей Александрович Бобринский* (1859 – 1930) состоял по министерству народного просвещения и по канцелярии Государственного совета; был представителем Комитета для вспомоществования при миссии США в Петербурге. – Р. А.> С «Плодов просвещения» — 2200 с чем-то рублей. Если нужно, и меня уведомят, то я пошлю за горох Количке.

Теперь больше нечего писать. Я отпустила вас этот раз бодрее, чем думала. Во-первых, не так на долго, и во-вторых, вы все были ласковы, — а мне это главное. Прощайте, целую всех вас и очень жду известий с места. — Как вы себя чувствуете нравственно? Бодро или нет? Как относитесь к отсутствию Ивана Ивановича? Жутко ли, трудно ли, или просто и только грустно, что его нет? Петя уехал.

С. Толстая» (ПСТ. С. 474 – 475).

Чем ничтожней человек или общность людей, чем дурнее и малополезнее для Божьего дела в мире актуальные для этого человека или общности смыслы и образ жизни, чем удалённее они от истинного общего смысла человеческой жизни в Боге и во имя Царствия Его — тем больше пекутся такой человек или такое общество о выживании своём и таких же бесполезных своих отпрысков, о всяческой своей «безопасности». Тем настойчивей атакуют его или их сознание разнообразными, эгоистическими в своей основе, фобии — так или иначе базирующиеся на религиозном *безверии*, на нежелании и неготовности поручить себя воле Бога. Такова типичная городская фобия вируса — модной в ту эпоху «инфлуенцы», то есть гриппа — совершенно вирусно распространившаяся по Москве. Больше вреда причинял, как водится, страх, нежели само заболевание — страх особенно нелепый на фоне уже начавшейся тогда по голодающим деревням по-настоящему страшной, смертной эпидемии голодного тифа (позднее, весной к нему добавится и холера). В случае Софьи Андреевны — её страхи будто притянули в семью то, что было страшно, болезни: грипп для детей и очередное сильное душевное расстройство для неё самой. В последующих письмах она не раз будет жаловаться мужу на расстройство здоровья, связанное с этим самым «вирусом» городских буржуазных фобий России и всего лжехристианского мира.

Субъект сомнительных нравственных достоинств, приближённый «друг» Л.Н. Толстого, Владимир Чертков между тем наблюдал, в эти дни и позднее, драму христианского служения Толстых со стороны: со своего хутора Ржевск Воронежской губ. Продуманное самосохранение это привело Черткова к положению второстепенному в бегичевской эпопее: до конца 1891 года Толстой пишет из Бегичевки только пять (известных и опубликованных) писем этому «толстовцу № 1». Для сравнения, своей настоящей, не жалевшей сил, жертвенной сподвижнице, жене своей Софье Андреевне Лев Николаевич в период с 29 октября по 24 декабря 1891 г. отправил *девятнадцать* опубликованных писем.

Туда же, на хутор Черткова, захватив от Толстого ожидаемые Чертковым рукописи и письма, отправился в эти дни и М. Н. Чистяков, чертковская «живая грамота» и заместитель Льва Николаевича в бегичевском «министерстве добра» на время его отъезда в Москву к семье. В письме к В. Г. Черткову, отправленном вместе с «живой грамотой» (в те времена это гарантировало не только сохранность письма от неизбывных ужасов почты России, но часто и скорость доставки, так что Толстой прибегал в Бегичевке к таким *оказиям* часто), Лев Николаевич сообщал преданному другу, в числе прочего, следующее: «С Матвеем Николаевичем расстался, как с дорогим братом. Я очень узнал его — увидал его до дна и очень полюбил. Поручение своё об изменениях в рукописи он исполнил в точности» (87, 117).

Быть может, последнее замечание писано Толстым не без грустной иронии. Чертков не хотел подвергать себя ни физическому риску, ни психологическому стрессу, присоединившись к «дорогому учителю» в реальном, практическом деле помощи ближним. Но хотя бы *как-то* участвовать в деле, значимом Толстому, для сохранения отношений, ему было необходимо. И он нашёл крысиную «лазейку»: Толстой переживал за судьбу своего трактата «Царство Божие внутри вас», который считал очень важным и почти, к концу 1891 года, завершённым. Но на окончание работы приходилось выкраивать время. Чертков взял на себя роль редактора и посредника с переводчиками и издателями. Он ждал в эти дни рукописи восьми глав трактата, и Чистяков, ещё перед отъездом Толстого в Москву, доносил патрону о ходе работы автора над ними: «Сейчас переговорил с Львом Николаевичем о рукописи, и вот на чем мы остановились: 7 глав остаются здесь со мною, а 8-я пойдет с ним в Москву. Он там ее закончит и перешлёт сюда... Во всяком случае раньше, как через недели две, получить рукопись едва ли можно» (Цит. по: Там же. С.

118). И вот теперь дорогой Владимир Григорьевич заполучал с Чистяковым вождёленные семь законченных и вычитанных автором, после редакторских замечаний Черткова, глав: «С некоторыми замечаниями я совсем согласен, с другими совсем не согласен и не могу согласиться. Главное не могу согласиться с смягчениями. Смягчать, оговариваясь, нельзя. Это нарушает весь тон, а тон выражает чувство, а чувство заражает (чувство иногда негодования) больше, чем всякие доводы» (*Там же. С. 117*).

Ещё до счастливой ссылки своей в Англию, Чертков в России прочил за собой место литературного агента и издателя новых сочинений Толстого, прежде всего духовных его писаний — своего рода “рупора” всей христианской проповеди Льва Николаевича. К глубокой досаде «генерала в толстовстве», Толстому всё равно стало в эти бегичевские дни опять не до трактата, не до рукописей: кругом страдали и умирали люди! Восьмая глава, ко всему прочему, не завершала трактат, да и, по мнению Толстого, не была им в Москве окончена писанием, нуждалась в переделке: «Надо заключить так, чтобы всё держалось, как замок в своде. И мне кажется, что в голове и душе всё готово и только не достаёт времени и тишины. Завтра уеду к соседу или высплюсь днём, чтобы иметь ночь, и тогда пришлю по почте» (*Там же*). Как известно, «замком свода» этого христианского писания Льва Николаевича стала только двенадцатая глава, законченная Толстым, с колоссальным напряжением сил, лишь в 1893 году, уже *после* всей «голодной» эпопеи! На фоне этого факта хлопотливость Черткова и его «посланца» в Бегичевке выглядит особенно неприятно.

С самого года знакомства, 1883-го, Толстой зачастую доверял Черткову в письмах строки довольно интимно-личные и одновременно биографически значительные, как эти, в тот же письме 14 декабря: «В душе, слава Богу, чувствую спокойствие. Даже нынче ночью много думал о себе и нашем деле. Удивительно премудро устроено всё. Сколько раз приходилось думать о том, как невыгодна для души та деятельность, которою мы заняты, тем, что нас все хвалят. Я даже серьёзно сомневался в её достоинстве именно поэтому; но теперь оказывается, что нас ругают и называют и считают меня антихристом. “А если Меня называют Велзевулом, то и вас тоже” сказано. И то, что было в первую минуту огорчительно, стало радостно» (*Там же. С. 117*).

Толстой имеет в виду евангельский стих: «Если хозяина дома называли Вельзевулом, не тем ли более домашних его» (*Мф. 10: 25*). «Иисус Христос говорит, что если уже называли Его Самого – хозяина (господина) дома, т. е. Главу царства, церкви Его, вельзевулом,

князем бесовским; то чего же хорошего ждать домашним Его, т. е. ученикам Его, членам Его дома или царства?» (<http://bible.optina.ru/new:mf:10:25>). Таково толкование, разделяемое адептами церкви православия. Но так как сами они, эти адепты, произвольно ставят знак равенства между своей византийской блудницей и чистой, всемирной и вселенской, единой Церковью Христа, понятно, отчего Толстой цитирует Евангелие в письме к товарищу по “ереси” весьма приблизительно. В полемическом задоре Толстой в своём «Соединении и переводе четырёх евангелий» “перевёл” слово «фарисеи» как «православные», а ещё писал о Церкви то бойкое и задорное, а то и хорошее, и верное по-своему, но не глубокое, как, например: «Живой храм — это весь мир людей Божиих, когда они любят друг друга» (24, 145). Понятно, что в сознании писателя образ Церкви истинной, гонимой в лжехристианском мире, незримой постоянно теснился образами “исторически сложившихся” церквей, самой культурно знакомой из которых, а оттого смелее критикуемой была церковь православная. Оттого до последних дней в его мировоззрении сильна была ошибочная тенденция отрицания того, что Христом была основана Церковь.

Но даже в подкреплении цитатой синодальной, не искажённой памятью (либо “редакторской” волей?) Толстого подобные известия вряд ли бы могли “порадовать” Софью Андреевну — хотя суждено было узнать о них и ей. Толстой имеет в виду слухи, распускавшиеся среди крестьян о том, что он сам и его помощники по кормлению голодающих «антихристовы дети». Позднее, 10 января, в газете «Московские ведомости» (1892 г. № 10) появилась корреспонденция П. Шатохина «Молва и притча о графе Л. Н. Толстом», сообщавшая, будто такие слухи ходят среди крестьян Данковского уезда. О тех же слухах писала в своих воспоминаниях *Вера Михайловна Величкина* (1870 – 1918), которая ещё не раз мелькнёт в нашем повествовании: в начале 1892 г. она приедет в Бегичевку работать с Толстым на голоде как врач.

В один из дней явилась к Толстому и бросилась в ноги суеверная деревенская женщина:

«Лев Николаевич сначала долго не мог понять её просьбы. Оказалось, что она просила *выписать* из столовой её ребёнка. Обыкновенно просьбы были обратного характера, и Лев Николаевич был очень удивлён.

— Пусть уж одна моя душа пропадает, — объяснила баба, — дома, всё равно, есть нечего, а ребёнка своего на погибель я отдать не могу.

Дело состояло в том, что во многих приходах священники с амвона убеждали народ не принимать помощи от Толстого, потому что он — антихрист.

— Вы думаете, — говорили они, — что антихрист со злом придёт к вам. Нет, он придёт к вам с добром, с хлебом, как раз в то время, когда вы будете с голода помирать. Но горе тому, кто соблазнится на этот хлеб.

Трудно было голодному народу не соблазниться на него, и потому мало кто решался следовать геройскому поступку бабы. Да и кроме того, народ серьёзно не верил своим попам. Но разговоров по этому поводу было очень много. Нас во многих местах прозвали антихристовыми детьми, что даже не было вполне безопасно для одиноко бродящей от села к селу незащитной молодёжи» (*Величкина В. У Л.Н. Толстого в голодный год // Современник. 1912. № 5. С. 173*).

Похожий рассказ находим в воспоминаниях журналиста и публициста, шведа Йонаса Стадлинга (посетившего в 1892 г. и Бегичевку, и Патровку и оставившего нам, помимо личных воспоминаний, уникальные фотографии):

«...Попытки <Льва Николаевича> устроить столовые для маленьких детей наконец увенчались успехом. На это ушло много сил и времени. Пришлось преодолеть не только большие трудности в получении нужных продуктов для детей, но также глупость, невежество и суеверия мужиков и, наконец, сопротивление духовенства. Мужики настаивали на том, чтобы продукты для детей раздавали по домам, но делать было это нельзя, потому что они сами, измученные, съели бы детскую еду, не оставив ничего ребятишкам. Священники предупреждали мужиков, чтобы те не посылали детей к графу Толстому, который, как доказывали в соответствии с книгой “Откровения” учёные богословы, является самим антихристом. Духовенство играло важную роль в нападках на графа Толстого, понося его с амвона и, чтобы разогреть страсти, распространяя абсурдные измышления о нём. Говорили, будто он платит каждому мужику по восьми рублей и ставит им клейма на лоб и на руки, с тем чтобы предать их силам тьмы. Прошлым воскресеньем в специальной проповеди, произнесённой в переполненной народом зале ожидания второго класса на станции Клёкотки, епископ в самых суровых выражениях заклеил графа Толстого как антихриста, который соблазняет людей такой мирской тщетой, как еда, одежда и дрова. Он предостерегал слушателей от общения с таким человеком и говорил, будто православная церковь достаточно сильна, чтобы «изничтожить» антихриста и его работу. Неудивительно, что бедные мужики перепугались и не знали, что делать. Я, правда, слышал, как один мужик решил

вопрос следующим весьма логичным образом: “Если Господь, — сказал он, — похож на своих слуг — попов и чиновников, которые притесняют и мучают нас, и если антихрист — это такой человек, как Толстой, который бесплатно кормит нас и наших детей, тогда я лучше буду принадлежать антихристу и пошлю своих голодающих детей в его столовую” (*Стадлинг Ю. С Толстым на голоде в России // Прометей: Историко-биографический альманах. М., 1980. Т. 12. С. 321 – 322*).

Показательно, что inferнального окраса ненависть распространялась рабами попов и лукавого именно на еду и столовые, а вот оптимально ликвидный ресурс, то есть деньги, у «сатаны» Толстого те же суеверы кланчить не стеснялись, и далеко не всегда на гульбу и на спиртное, но и, например, «на дорогу к о. Иоанну Кронштадскому» (*Величкина В. У Л.Н. Толстого в голодный год // Современник. 1912. № 5. С. 173*).

Та же Вера Величкина вспоминает другое проявление ненависти попов к Толстому, способной навредить христианскому служению Льва Николаевича. Когда Вера, постажировавшись в Бегичевке, поселилась уже для самостоятельной работы помощи в селе Татищеве, у мельника, жена последнего, умнейшая Любовь Герасимовна, рассказала, что «её родной брат, бывший священником в одном из ближайших сёл, донёс на нас архиерею, что мы распространяем народные книжки. Тогда этому священнику влетело за донос. Любовь Герасимовна страшно возмутилась его поступком» (*Там же. С. 182*). Это было посерьёзнее причисления к чертям: именно за распространением запрещённой литературы жёстко следило полицейское ведомство, у которого Л. Н. Толстой, как мы показали, уже осенью 1891 г., вскоре по приезде в Бегичевку, оказался под негласным надзором. И, например, 2 декабря 1891 г. рязанский губернатор Кладищев переслал в Департамент полиции донос о том, что среди книг, розданных Толстым крестьянам, оказалась «неудобная для народного чтения» «Сказка об Иване дураке» (*Красный архив. М., 1939. Т. 5 (96). С. 222*).

К эпизоду с публикацией в «Московских ведомостях» шатохинского фельетона относится интересный документ, опубликованный впервые, кажется, биографом Л. Н. Толстого и участником Бегичевской эпопеи П. И. Бирюковым: за Л. Н. Толстого заступаются тульские общественные деятели, хорошо ему знакомые и, в свою очередь, знавшие его, участвовавшие в общем деле помощи голодавшим крестьянам. Приводим ниже полный текст документа по публикации П. И. Бирюкова.

«Письмо к издателю.

М. г. Надеемся, что, желая восстановить правду, вы не откажете поместить несколько слов этих от нашего имени в ближайшем номере вашей газеты.

В номере газеты вашей от 10 января помещена статья, подписанная Г. Шатохиным, озаглавленная «*Молва и притча о графе Л. Н. Толстом*». Правда требует, и мы считаем своим долгом для восстановления истины засвидетельствовать, что деятельность графа по оказанию помощи нуждающемуся населению, не ограничившаяся одним Данковским уездом, а перешедшая теперь в Епифановский, Тульской губернии, где им открыто более 30 столовых, не побуждая никаких ложных толков, вызывает в населении одни только чувства глубокой благодарности и признательности, а со стороны нас и всех стоящих близко к делу, кроме этого и чувства глубокого уважения.

Предводитель дворянства Епифановского уезда *Н. Протопопов*.
Председатель епиф. попечительства Красного креста *Р. Писарев*.

16 января 1892 года, город Епифань» (*Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого. М., 1922. Книга третья. С. 184*).

На очереди письмо Л. Н. Толстого к жене от 13 декабря:

«Давно от тебя нет известий, милый друг, скучно и жутко. Да что делать. Верно завтра, воскресенье, будет. — Одного не люблю, когда в твоих письмах есть сдержанность, невысказанное. Это я сейчас чувствую и очень больно. Правда — лучше всего.

Мы все здоровы и очень заняты. И теперь ещё больше будем заняты с отъездом милого Чистякова. Мы все его полюбили очень. Да и нельзя. И кроткий, и умный, и деловитый человек. Все мы бережём друг друга и сами себя, и потому, по пословице, и Бог должен беречь нас.

Главный характер теперешнего периода столовых тот, что они стали популярны, и народ видит в них не одно средство покрытия нужды, но и средство поживиться. Много просьб от богатых принять членов их семей в столовые. И как сделана ошибка по одному, так их набирается куча. Борьба с этим возможна. И были случаи уже уменьшения числа и откидыванья излишних. Этим мы и заняты с одной стороны, а с другой увеличиванием, т. е. распространением столовых.

Нынче я был с тем молодым человеком, <Владимиром Васильевичем> Келером, который был у тебя (который оказался милым, и твоё суждение о нём верно), в деревне, в которой мы ещё не были, для открытия, по их просьбе, столовой. Староста оказался пьяным; пьян тоже сосед мужик, у которого умерло от тифа три человека и нынче жена, и кроме того оказалось, что указывали как на бедных на семьи, у которых 3 лошади, 2 коровы, 10 овец и пьют чай, и которых я застал выпивши в будни. Такое соединение дурного с жалким, что ужасно трудно разобраться. Я уехал, не открыв столовой, а между тем зная, что там есть много истинно страшно бедных. Надо поехать после. Третьего дня был в деревне: лежат середь дня на печи в чуть топленной избе мать, внук и сын, и лежат так целый день. Дров нет и купить не на что.

Самое утешительное в нашем деле это не общее дело расширения столовых, количество кормящихся людей, а отношение к этим отдельным лицам, как нынче к некоторым голым детям, которым можно дать одежду. Тюки, привезённые Наташей, оказались полны прекрасным платьем. Кто это прислал? Надо поблагодарить того, кто прислал. Наташа у нас с Вакой <домашнее прозвище **Владимира Николаевича Философова**. – Р. А.> и сейчас едет домой и везёт это письмо. Целую тебя, милый мой друг. И люблю тебя очень, очень.

От Лёвы было коротенькое письмо. Он здоров и очень деятелен. Целую детей.

Вели нам прислать газеты и сборник» (84, 108 – 109).

Толстой имеет в виду всё тот же сборник «Помощь голодающим», в который отдал на публикацию статью «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» и сказку свою из “народного” цикла «Работник Емельян и пустой барабан», опубликованную с цензурными искажениями.

4. 3. Лев младший хочет сделать как папа, только ещё лучше

«Коротенькие письма» Лев Львович посылал в эти дни отцу, как минимум, трижды: в нашем распоряжении письма от 8, 9 и 11 декабря. Но последнее — довольно пространное, да и вряд ли могло прибыть от сына к отцу, из самарских степей, в два дня! Для нас, впрочем, не столь важно, какое из писем имел в виду Толстой, отвечая жене. Мы приведём ниже из всех трёх наиболее значительную

информацию, касающуюся положения сына Толстого в Самарской губернии, его умонастроений, а в частности — отношения его к деятельности отца.



Лев Львович Толстой в Бегичевке.
Фото Й. Стадлинга, 1892 г.

Лев Львович, как мы помним, первоначально приехал в Патровку и на хутор Бибикова, бывшего управляющего самарскими землями Л.Н. Толстого, с самой незначительной суммой в 200 рублей, только “на разведку” положения — и его встретил голодный ад степной России: Народ здесь привык к доходам от урожайных лет, и чем богаче — тем разрозненнее, злее становилась общая жизнь. Утратив навыки коллективного сожительства из-за бедности, поневоле, характерного для «традиционной» общины, но не сумевший, не имея настоящих христианских пастырей, не деградировать, не разрушить, а *охристианить* свою общинную жизнь, население самарского Заволжья поделилось на меньшинство богатеев с прочно затворёнными, ожидающими времени спекуляции, амбарами, и большинство — нищих, голодных, воров поневоле... Пойманных на попытках кражи из амбаров нещадно, с отчаянием били, после чего

ослабленный голодом воришка оставался калекой или уже наверняка умирал. При этом религиозных и этактистских суеверий в сознании местного населения было не меньше, нежели в головах жителей Тульской или Рязанской губерний, помогаемых Львом Николаевичем Толстым. Льва Львовича народ принял за *царевича* (что было близко к правде!) и ходил за ним толпой, уверяя, что в нём видит последнее спасение (*Толстой Л.Л. В голодные годы. Указ. изд. С. 19 – 22, ср. 35*).

Ещё не зная об обращении в печать мамы, в котором «упомянуто было его имя и то место, где он намеревался помогать народу», Лев, сын Льва выезжает в Москву на добычу более крупной суммы, но лишь добравшись, получает телеграмму от Бибикова, что «в Бузулуке лежат кучи денежных пакетов» на его имя. Да к тому же и папа обещал высылать часть из пожертвований (*Там же. С. 24*). Это было то, что надо! В эти юные годы средний сын ещё пытается быть «христианином, как папа», но отнюдь не понимает отца и не желает разделить его веры и его не «благотворительных», а именно *христианских* побуждений к трудам для народа. А при таком уж раскладе, как у людей мирских — денежки оказываются на первом и важнейшем месте! Но мы увидим ниже, что, несмотря на охотную (в сравнении с отцом) помощь Льву-младшему самарского правительства, земств, Красного Креста, духовенства и даже армии и при сравнительном же недостатке в средствах — ему, без благодати веры Христовой, придётся в голодные месяцы неизмеримо тяжелее, чем отцу, чем Толстому-христианину.

Письмо от 8 декабря Лев Львович пишет отцу поздним вечером в Самаре, после возвращения от губернатора Александра Дмитриевича Свербеева (1835 – 1917), где на его несчастную голову обрушили обыкновенную «бестолковщину и важную чепуху», характерную для подобных полуофициозных, казённо-аристократических сборищ: «Хотят меня затянуть в К<расный> К<рест>, но мне это очень тяжело справляться с их сетями» (*цит. по кн: Толстой Л.Л. Опыт моей жизни. М., 2014. С. 227*). Отец здесь без лишних слов мог понять сына: забюрократизированность и подотчётность вкупе с толикой невменяемости всякой и государственной, и общественной сложно устроенной организации были неприятно чужды Львам, отцу и сыну, в равной степени! Красный Крест же был окружён тогда атмосферой особой скандалиозности, непрерывной критики и обвинений, во много небезосновательных.

Лев Львович помнил участие своё в заседании самарских попечителей российского общества Красного Креста, с участием губернатора (посмеявшегося, кстати, над его «крайне жалкими» 200 рублями), архиереев, членов от администрации, земских начальников и т.п. дряни, сытно паразитирующей на народном труде, ещё в первый, осенний свой приезд:

«Я стоял в стороне, наблюдал и слушал разговоры собравшихся лиц в одной из просторных комнат губернаторской квартиры. Обсуждали всевозможные вопросы о хлебе, о работах, о корме скота, о врачебной помощи больным; но беда была в том, что нужда была настолько велика, что каждый просил в своё попечительство больше, чем оно могло получить, и потому все сводилось на заседании уже не к тому, чтобы лучше облегчить бедствие в известном месте, а только к тому, чтобы каждому просившему уделить хоть немножко, хоть что-нибудь на нужды его участка. Мне показалось также, сравнительно с тем, что я чувствовал, что члены попечительства не довольно горячо относились к голоду, не довольно болели душой за голодающих, и это впечатление окончательно заставило меня отрешиться от мысли соединить мою будущую деятельность с местной деятельностью, а, напротив, утвердило в решении оставаться совершенно самостоятельным» (*Толстой Л.Л. В голодные годы. Указ. изд. С. 13 – 14*). «От Кр<асного> Кр<еста> я открестился», сообщает сын отцу в следующем, от 9 декабря, письме из Самары (*Там же. С. 228*).

Во второй поездке Льва Львовича сопровождал Иван Александрович Бергер, несколько раз уже упоминавшийся в нашей книге — управляющий в Ясной Поляне и доверенный человек отца. Тот познакомил его с человеком-житницей: богатейшим и чрезвычайно оборотистым немцем Кеницером, местным «макаронным монстром», владельцем фабрик и мельниц, лично делавшим закупки на Красный Крест. Лев Львович мог теперь получать грузы, минуя эту организацию и не отчитываясь перед ней — но при этом пользуясь даровыми свидетельствами от Красного Креста на бесплатный провоз благотворительных грузов, которые, как мы показали выше, всеми правдами и неправдами старались добыть для себя, помощников своих и для него как отец, так и мама. Отцу он отослал шесть таких свидетельств, надеясь получить на них «гороха, чечевицы, ячменя, кукурузы», дабы разнообразить рацион столовых, в которых голодающие пока могли «хлебать... только пшённую кашу» (*Там же. С. 227 – 228*).

Письмо Л. Л. Толстого от 9 декабря написано и отправлено к Л. Н. Толстому вместе с письмом от верного помощника, И. А. Бергера,

дополнившего, в 11 ч. вереча 9-го декабря, сообщение сына рядом подробностей:

«Многоважаемый Лев Николаевич,

Пишу по поручению Льва Львовича, который лёг спать. Сегодня он <снова> был у Свербеева и всё устроил благополучно, то есть Красный Крест нас пропустил, ничем не обязывая, прося только, чтобы его не вводить в неприятности...

Хлеба закупили на имеющиеся 6000 рублей в комиссии Красного Креста частным образом у заведующего закупкою по Красному Кресту известного самарского немца Кемицера три вагона ржи по 1 р. 20 к. и 1 вагон пшена по 1 р. 60 к. И он обещался нам доставлять хлеб впоследствии по мере надобности» *(Там же. С. 227)*.

«Самарский немец Кемицер», а точнее Кеницер, как упоминает Лев Львович в книге воспоминаний «В голодные годы», «имел в Самаре склад земледельческих машин, человек дельный и много потрудившийся в голодный год» *(Толстой Л.Л. В голодные годы. С. 28)*. Современный самарский краевед Татьяна Анатольевна Гриднева сообщает о нём следующее: «Уроженец Франкфурта, Артур Оскар Кеницер 44 лет от роду прибыл из Германии вместе с женой Софьей, урождённой Шлегер, и детьми Робертой-Карлой и Эриком-Вальтером. Семья посещает лютеранскую церковь, принимает активное участие в жизни общины. Сохранились акты о крещении детей, в которых восприемником числится Оскар Карлович. Он входил в совет Самарской евангелическо-лютеранской общины. [...] Кеницер занялся бизнесом. Он торговал новейшим сельскохозяйственным оборудованием — сеялками, жатками, а также научной литературой по аграрной тематике. А в 1882-м на улице Алексеевской (ныне Красноармейская) он построил макаронную фабрику. Огромное по тем временам здание из красного кирпича. Здесь применялась самая современная техника для производства спагетти, вермишели и других мучных продуктов из пшеницы твёрдых сортов» (<https://sgpress.ru/news/84889>).

По существу, талантливый в деловой и хозяйственной сферах Кеницер брал от хлебодатного Самарского края то, что не получилось у Льва Толстого в 1870-е годы. Знаток всего, что касается хлебной торговли, он, конечно же, оказался и в голодном 1891-м в Красном Кресте на своём лучшем из возможных мест!



Артур Оскар (Оскар Карлович) Кеницер

Отметился Кеницер и как благотворитель, о чём свидетельствует архивный документ. При макаронном заводе Товарищества «О.К. Кеницер и Ко», была в 1890-х гг. организована выдача «даровых обедов» из столовой Немецкого общества. Столовая была рассчитана на 150 человек нуждающихся: фактически в ней кормились 208 человек из 53 русских и немецких семей (ГАСО. Ф. 153. Оп. 36. Д. 770. Л. 13-14, 37 об., 210. Информация предоставлена Т.А. Гридневой).

Новая тётя «родина», Российская Империя, успела, прежде чем сама сдохла к чертям, специфически, сугубо по-русски, «отблагодарить» семейство Кеницеров за многолетнюю предпринимательскую, на благо России, просветительскую и благотворительную деятельность. С началом Первой мировой войны немцы попали под подозрение, начались аресты и высылки. 2 октября 1914 г. Самарский Биржевой комитет исключил Торговый дом «Кеницер и Ко» из своего состава, так как его владельцы весьма разумно оставались юридически германскими подданными.

Под репрессии попал и сын благотворителя, Вальтер Кеницер. Сохранилась такая выписка из картотеки Петроградского охранного отделения: «Кеницер Вальтер Оскарович. Прусский подданный, купец, родился в 1883 г. в Самаре. Лютеранин. Рост 1 м 70 см, волосы тёмно-русые. Получил среднее образование в Германии. Холост. Гер-

манский вице-консул в Самаре. Последнее место жительства — Петроград, гостиница “Астория”. Задержан 26 июля 1914 г. Петроградским охранным отделением по подозрению в шпионаже».



Ещё до прихода к власти большевицкой красной сволочи Кеницер с супругой эвакуируется из России. Оставшийся в Самаре его сын был позднее арестован и расстрелян.



Штаб А. А. Толстого по оказанию помощи голодающим в селе Патровка.
Рисунок по фото Ионаса Стадлинга. 1892 г.

Из декабрьской переписки Толстых видно, что Лев Львович Толстой убедился в рациональности подхода покойного Ивана Ивановича Раевского, дядюшки И. А. Бергера, равно как и своего отца, к делу открытия и поддержания столовых: в крестьянских избах и силами, трудом самих крестьян. В письме к отцу от 8 декабря он сообщает: «По уездам уже много столовых, но устраиваются они очень сложно — с большими помещеньями, с котлами, пекарнями и т. д. Способ ваш для всех здесь новый и нашёл сочувствие» (*Там же*).

Наконец, в письме 11 декабря, уже из Патровки, Лев-младший сообщает, что получил «повесток» от жертвователей почти на 4 тысячи; что лично готовится ехать в Бузулук для закупок в столовые «масла, соли, луку и т. д.»; что перевозка подводой от станции Богатое до Патровки обойдётся в 25 руб., но он надеется подговорить мужиков «за харчи только»; что «амбар нам предлагают общественный, вмещающий около 25 000 пудов» и т. п. (*Там же. С. 228 – 229*).

А ещё есть такое, очень близкое отцу: «Когда я вошёл в волостное правление, толпа мужиков встала передо мной на колени. Ты понимаешь моё смущение и неприятное чувство при этом. Я тоже стал на колени перед ними, чтобы как-нибудь выйти из глупого положения. Тогда они встали» (*Там же. С. 228*).



Волостное правление с. Патровки.

Вера Величкина в своих воспоминаниях, уже о начале 1892 года, упоминает такой приём укрощения Толстым самоунизительного народного подбострастия:

«Одной из самых тёмных сторон нашей работы это была передняя. Она с утра набивалась всякаго рода просителями. Разобрать основательно просьбу здесь не было возможности. Чтобы определить степень нужды, мы сами ездили по деревням и на месте видели, кто в чём нуждался. Просители же для большей действительности своей просьбы подкрепляли её разными посторонними средствами, и Льву Николаевичу приходилось переживать тяжёлые минуты, когда они падали перед ним на колени. Однажды, когда один крестьянин опустился перед ним на колени, опустился и Лев Николаевич.

— Ну что-ж, давай так разговаривать, если тебе это удобнее, — спокойно проговорил он. Проситель сконфуженно встал с колен» (*Величкина В. У Л. Н. Толстого в голодный 1892 год. Современник. 1912. № 5. (Книга пятая, май.) С. 172 – 173*).

Не имея головной боли отца о деньгах, а пользуясь уже устроенными, отцом и мамой, каналами получения помощи, Лев Львович не прибегал и к скаредной, по первому взгляду, отцовской экономии. Обходить лично крестьянские дворы для определения необходимого размера помощи он счёл «неразумным и трудным», а кроме того «обыски по амбарам и клетям, заглядывание в печки и подполья» ощущались сыном Льва делом человечески недостойным, несовместимым с самой идеей жертвенной помощи, подразумевающей «открытые и основанные на полном взаимном доверии отношения». К таким гуманитарно-профилактическим шмонам прибегали земства, продуманность и результаты работы которых Лев Львович оценивает в своих воспоминаниях в целом не высоко. Сам он предпочитал опрашивать и собирать списки у сельских писарей и старост, а впоследствии проверять эти списки нуждающихся на деревенских сходах — с вполне отцовской наблюдательностью к народной психологии: «Сход будет сначала галдеть в один голос, что все нуждаются, все бедны, все ровно, но в конце концов, когда вы возьмёте карандаш в руку и начнёте писать, толпа продиктует вам через свою общественную совесть прежде всего имена настоящих бедняков и будет называть вам их в самом правильном, какой только можно установить, порядке, начиная с беднейших и так поднимаясь всё выше к так называемым богачам» (*Толстой Л.Л. В голодные годы. С. 122 – 123*).

Но, как и отцу, Льву Львовичу не удалось избавиться от самого контрпродуктивного и бьющего по нервам способа взаимодействий с реципиентами помощи: ежедневного и практически принудительного приёма просителей, «ходоков». Даже весной, когда Лев Львович мог похвастать открытыми в Бузулукском и Николаевском уездах столовыми, в количестве «около 208» и в почти что сотне сёл, «по 50

– 60 человек в каждой», обыкновенным делом был подобный эпизод, описанный Львом Львовичем с ноткой грустного юмора:

«Отъехав версты две от Патровки и въехав на один из высохших от солнца тёплых южных пригорков, я слез с лошади. Держа повод в руке, я лёг на землю на спину. Лошадь стала щипать пробивавшуюся уже травку. Чувство необыкновенного блаженства наполнило мне душу. То необъяснимое весеннее волнение от какой-то полноты внутренней, которое, конечно, всякий знает, нахлынуло на меня. И мне хотелось в ту минуту вечно лежать так одному в степи и смотреть на чистое небо и сознавать, что всё-таки есть оно, это небо, есть где-то, и, главное, будет, наверное придёт лучшая, радостная жизнь, когда не будет ни жалких голодающих, ни тифозных, ни надоевших просителей с словами «вашего сиятельства».

— Вашего сиятельства? Отдыхаете? — вдруг услышал я голоса надо мной.

Я привстал.

Трое мужиков в полушубках стояли передо мной.

— Отдыхаете в степи? — опять проговорил один из мужиков. — Мы к вашей милости.

— Что? — спросил я.

— Да насчёт семенов. Заставьте вечно Богу молить, вашего сиятельства; за что же патровским дали? Мы хуже их жители считаемся?

И мужик протянул мне бумагу...» (*Там же. С. 121 и 119*).

В нашем исследовании неизбежно возвращаться к эпистолярному общению Льва Николаевича с главным своим и вдохновителем, и помощником на всём бегичевском поприще — к жене. Следующими по хронологии должны стать два письма Софьи Андреевны: от 14 и от 17 декабря. Текст письма от 14-го мы не располагаем. В томе писем Л. Н. Толстого к жене цитируется из него одна строчка: «Конечно, мне дороже всего — твоё ласковое отношение ко мне, и детей тоже. Ты не беспокойся обо мне» (*Цит. по: 84, 110*). И Толстой отвечает на него 18 декабря тоже кратким, по отсутствию времени и сил, посланием:

«Пишу буквально несколько слов, только чтоб ты видела мой почерк. Николай Яковлевич <Грот>, милый человек, тебе всё расскажет про нас. Всё хорошо: и материальное, и, смею думать, духовное. Топчемся, как белки в колесе, а результаты — дело Божее. Коншин тоже оказался премилый человек.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Присланный Софьей Андреевной с положительной характеристикой *Александр Николаевич Коншин* (1867 – 1919) — сын фабриканта, владельца мануфактурной фабрики в Серпухове. Потомственный дворянин и купец 1-й гильдии. Увлекался философией Толстого, за что в семье получил прозвище «толстовца». В студенческие годы он переписывался с Толстым, а позднее познакомился и очень сблизился с ним. Позднее принимал участие в переселении духоборов и в издательстве «Посредник». – Р. А.]



Александр Николаевич Коншин.
Фото Симонова Е.М. Москва 1889 г.

Еду сейчас в столовые около Писарева, и везу ему деньги, и хочу окончательно устроить Новосёлова с товарищами в этой стороне под его покровительством.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Михаил Александрович Новосёлов (1864 – 1938) — в ту пору толстовец, в далёком будущем — православный мученик в застенках большевизма, а после смерти — церковный «святой». Трудно сказать, в какой период жизни от него было больше толку. – Р. А.]

Не могу сказать тебе, как твоё последнее письмо <от 14 декабря> обрадовало меня.

Только, душенька, пожалуйста, пиши всю правду. Раньше срока приехать к тебе ничего не значит. Илюша <сын> тут и очень мил. При случае он может заменить меня.

Целую тебя и детей. А. Т.» (Там же. С. 109 – 110).

В начале 1892 г. Илья Львович Толстой действительно успешно заменит отца и станет его отличным помощником в Бегичевке.



Михаил Александрович Новосёлов,
студент, толстовец и буд. святой

Контрастом толстовскому служит довольно пространное письмо С. А. Толстой, писанное ночью, 17 декабря, как ответ на его письмо от 13-го, а также, одновременно, и как ответ на письмо дочери Тане (читали письма отец и дочери всё равно вместе). Приводим ниже основной его текст.

«Милые Лёвочка, Таня и Маша, спасибо, что так часто пишете; и меня тоже очень подбодряют ваши письма. Сегодня получила сразу твоё, Лёвочка <13 декабря>, и Танино. Но меня смутило, что возникло новое затруднение и неприятность — это устранять злоупотребления и находить, кто настоящий бедный. Я это вначале предвидела и удивлялась, что этого не было.

Пожалуйста, милый Лёвочка, не принимай этого к сердцу; естественно, что всем хочется ещё и ещё лучше; и дурные, как и хорошие, всегда были и будут. Очень рада, что Илюша приехал; он заменит тебя в трудных поездках, закупках, разбирательствах и т. д.

Меня очень часто мучает то, что *главой* авторитетной теперь без Ивана Ивановича, и даже без Чистякова, остался один ты, Лёвочка. Не измучай себя; ведь в практических делах тебе приходилось всегда разбираться с большим усилием.

Ты писала, милая Таня, присылать барышню. <Е. М. Персидская (1865 – ?), фельдшер, выразившая в письме к Толстому пожелание помогать ему на голоде. – Р. А.> Она не может раньше недели или десяти дней выехать; была у меня и продолжает мне нравиться. Вопрос, насколько она будет *уметь*.

[...] Вчера я совсем с ума сошла: поехала утром на базар <благотворительный базар для сбора средств голодающим. – Р. А.>; заехала в карете, с лакеем, Марья Петровна Фет, уговорила и повезла Андрюшу и меня. Вот сумбур-то — этот базар! Миша предпочёл ехать с monsieur на каток и, конечно, выиграл. На базаре народу — это ужас! Плечо с плечом стиснутая толпа, двигается едва по фуае Большого театра, где разукрашенные столы, палатки и всевозможные безделушки и товары, начиная с валенок, рукавиц, — кончая шампанским, куклами, книгами, мелочами, — торгуют аристократки светские и купеческие: графия Кёллер, m-me Костанда, Капнист, Трубецкая, Голицына, Глебова, Истомина, Стрекалова, Ермолова, Боткины, Алексеевы и пр., и пр., все с барышнями, молодыми людьми и детьми. Палатки — то в виде раковины в морской пене (шампанское), то китайский зонтик, то всё чёрное с красным, то цветочный павильон, — так дико, что всё это для тех несчастных, которые забились на печке.

Когда я прочла про этих, меня заинтересовало ужасно, “что именно думают и чувствуют эти люди на печке, в холоде, не евши, похоронив трёх тифозных” и т. д. Ведь за все эти несчастья они должны были бы проклясть и судьбу, и Бога; или если не проклясть, — то усумниться во всём на свете, и, главное, в добре. Потому я верю, что радостно было одеть детей и раздать платья, вещи и пищу, чтоб хоть в ком-нибудь пробудить это добро.

Я хотела уехать с базара тотчас же, но я зависела от Марьи Петровны и потеряла в толпе Андрюшу... Марья Петровна, как попала в палатку своих купчих в бриллиантах, всех очень любезных и милых, так ей и не захотелось уезжать. А я села в большой зале около музыканта Преображенского полка (остальные ушли обедать), там было прохладнее, и с ним разговаривала. Потом, когда пошла искать Андрюшу, меня нарасхват стали зазывать [...], зовут посидеть, отдохнуть. Я не зашла ни к кому, чтоб не быть нелюбезной к кому бы то ни было и уговорила Марию Петровну уехать.

[...] Базар этот я описала больше на Танин счёт.

[...] А как раз накануне я провела очень дурную ночь: меня опять трясло, опять жутко, чувство умиранья, а заснула, — сейчас же проснулась оттого, что все струны в столовой заиграли. Monsieur говорит, что он тоже это слышал, пугался, зажигал свечи и не мог спать. Заснула опять; вдруг тёплая рука по лицу меня разбудила. Я опять зажгла свечу, сказала себе, что всё это нервы, а всё-таки пришло в голову, что это кто-нибудь из вас, отсутствующих, меня о чём-нибудь извещает или ласкает. — Потом через час опять заснула: вдруг шелест огромной бумаги. Тут вышло смешно. Встала, иду к мальчикам со свечёй; Андрюша со стены стащил географическую карту и закатывается в неё, как в простыню, сонный. Стащила я карту с него, это меня немного развлекло и потом к утру заснула. Теперь мне совсем хорошо, но я уже боюсь повторений и сегодня начала принимать бромистый калий.

Был у меня Чичерин, просто поведать; очень был мил и участлив. Был Глебинка Толстой, он рязанский, спрашивал, почему так дёшево обходятся столовые, ужасно пристал, сколько что стоит. Я не могла ему подробно рассказать. Он, говорят, очень добр и деятельно помогает голодающим. Но как недалёк!

[ПРИМЕЧАНИЯ.

Борис Николаевич Чичерин (1828 – 1904), юрист и философ-гегелианец; профессор государственного права Московского университета. Знакомый Толстого с 1856 г., его корреспондент и адресат. Переписка Толстого с Б.Н. Чичериным была опубликована впервые в 1928 г.

Глеб Дмитриевич («Глебинька») Толстой (1862 – 1904), сын Д. А. Толстого, министра народного просвещения (1866 – 1880), министра внутренних дел и шефа жандармов (1882 – 1889), земский начальник в Рязанской губернии.]

[...] От Рафаила Алексеевича Писарева я получила два свидетельства Красного Креста на даровой провоз, а я не знаю, могу ли я с этими листами послать что-нибудь в Чернь. У меня тут пожертвованных платьев масса и 50 пудов пшеницы, и 10 пудов ржаной муки, и сухарей мешки. Не знаю, куда всё направить.

Принялась я и за свои дела, книжные и денежные, и ахнула, сколько дела. Я думаю, что я и ночь тогда провела такую плохую от усталости, всё писала с артельщиком и четвёртой доли не сделала. Сегодня опять принялась; пришла Соня Мамонова, посидела со мной, а потом Лиза с Машей. Может быть и к лучшему для меня, — но дело-то всё-таки *надо* сделать.

Мальчишки, особенно Миша, очень шумны и пристают, то туда пусти, то сюда, спорят, и я очень сегодня рассердилась на Мишу. Беда без ученья. Взяла я им учителя, а у него отец умер, и он в Нижний уехал. Поливанов обещал другого. А сегодня я весь день дома, и занялась с Мишей: он ужасно плохо пишет по-русски. Целый час с ним училась. К вечеру они притихли и читали, сидели.

У нас туман и оттепель. Инфлуенца стала немного слабей, но ходят слухи, что люди всё впадают в *нону* (летаргию) — это свойство инфлуенцы, и теперь боятся хоронить. Одну девушку две недели не хоронили. А у нашей артельщицы отец в гробу на вторые сутки очнулся, это уж факт. Мать подошла к гробу, а он слабым голосом что-то сказал. Так и очнулся.

Вот сколько всего наболтала. Прощайте, мои милые, обо мне не тревожьтесь, я привыкла с собой ладить, а теперь бром поможет. Пишу всю правду. Только бы вас Бог хранил! Погода очень гнилая. Питайтесь лучше и не студитесь, и не утомляйтесь слишком. Очень всех вас, тружеников, крепко целую и люблю, и всё-таки жду к Новому году. Илюшу поцелуйте, молодец, что приехал.

С. Толстая.

Адрес для телеграммы вам, если я хворать буду, я приколола к стенке и всем показала. Это для Таниного успокоения, а я хворать не буду» (ПСТ. С. 476 – 481).

Конечно, свидетельствует здесь жена Толстого только о *физическом* хорошем своём состоянии. Нервное же, а вероятно и психическое — оставалось настолько под вопросом, что и сама Софья Андреевна, как видно из письма, снова беспокоится за него и употребляет успокаивающее лекарство.

О характере злоупотреблений в пекарнях и столовых, упоминаемых и Софьей Андреевной в данном письме, и мужем её в статье «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», с которыми всё-таки пришлось столкнуться Толстому и его помощникам, пишет кое-что помогавший ему уже позднее, в зиму 1892 – 1893 гг., многолетний фаворит Толстого в литературе, духовный единомышленник и просто хороший приятель, писатель-«деревенщик» *Сергей Терентьевич Семёнов* (1868 – 1922):

«Однажды вечером, завернув в пекарню, я увидел сидящего там торговца из соседнего села, богатея, живущего под железной крышей, имеющего лавку с красным товаром, трактир и постоялый двор.

— Как вы сюда попали? — спрашиваю я.

— За хлебом приехал.

— За каким хлебом?

— На пекарню к вам. Да ещё в печи сидит, не вышел, полчаса велели обождать.

— На что же он вам?

— Есть. Помилуйте, мы всю зиму берём. Прямой расчёт, по шести гривен пуд. Из своей муки много дороже обходится.



Я никак этого не ожидал. А он так добродушно рассказывал об этом, как будто бы пользоваться хлебом, предназначенным для голодающих, ему, богатому и сытому, не только не грех, а особая честь. Дальше только я понял, что как же могло быть иначе? Он всё благополучие своё создал на том, что отбирал крохи у голодающих и никогда не считал это грехом, мог ли он в этом случае не воспользоваться? Я всё-таки не утерпел и сказал:

— И вам не стыдно?

— Чего же стыдиться-то? Я ведь деньги плачу. Если бы я задаром...

— Да этот хлеб печётся для неимущих. Неужели вы считаете себя неимущим?

Торговец покраснел и заморгал глазами.

— Да ведь продают, не задаром — опять повторил он свой аргумент, — если торгуют, так всякий покупать может.

Я стал ему объяснять, что у нас вовсе не торгуют. Торгуют с целью нажить, а здесь не возвращают даже того, во что себе товар обходится. Но торговец, вместо того, чтобы понять меня, только рассердился.

— Ну хорошо-с, если я сам не пойду, то пошлю кого-нибудь из мужиков. Ведь ему-то вы продарте?

— Продадим.

— Ну вот, он будет покупать как будто бы себе, а на самом-то деле мне. Всё единственно.

И торговец, рассерженный, уехал.

Встречались и другие злоупотребления. Некоторые продавали свой хлеб и прятали деньги, а сами записывались в столовые. Некоторые подкупали выдающих провизию выдавать им побольше» (*Семёнов С. На голоде у Л. Н. Толстого // Минувшие годы. 1908. Сентябрь. С. 142 – 153*).

Софья Андреевна не могла пока получить очередного письма от мужа: Толстой сделал после 13 декабря вынужденный перерыв. Но получила, естественно чуть позднее мужнина, пространное (на 12 страницах) письмо, тоже от 13 декабря, от сына Льва, из Патровки. Вечером 19 декабря она пишет небольшое письмо мужу — главным образом, о делах и о своём в эти дни тяжёлом состоянии здоровья:

«[...] Сегодня я совсем здорова, а вчера было плохо. Поехала в контору Юнкера продавать иностранные деньги, а тут же в третьем этаже Бергман, пожертвовавший 50 пудов пшеницы. Я зашла узнать, могут ли ждать свидетельства Красного Креста на провоз. На лестнице толпа, покупают билеты выигрышные. Как вошла на третий этаж, — умираю, да и только, как во дворце <при аудиенции у царя весной 1891 г. по поводу разрешения «Крейцеровой сонаты». — Р. А.>. Я крестилась, прощалась со всеми мысленно. Потом вошла, говорю швейцару: “воды”. Он испугался, принёс. Я выпила, стала сердце водой холодной под шубой растирать. Через полчаса прошло. Теперь сижу, боюсь двинуться, и одна не поеду никуда, боюсь умереть где-нибудь. Пишу правду, как и просили.

Получила длинное письмо от Лёвы. Он очень тревожен, не знает, столовые или раздачу устроить, ещё не решил. Ждёт хлеб.

Я думаю, мне от брома хуже, я бросила. [...] Жду вас непременно к Новому году. У вас дела много, но передайте Раевским на месяц.

Прощайте, милые, боюсь, что расстроила вас; да как же быть, и самой жутко, хотя теперь совсем я хорошо себя чувствую. Немного одышка мучает. Оспа <прививка. – Р. А.> и у меня принялась; не она ли на меня действует.

С. Т.» (ПСТ. С. 482 – 483).

В мемуарах о своём участии в помощи голодным самарянам, Лев Львович Толстой упоминает, что при приезде его разнёсся слух, что он «царский крестник, да на каждый двор по сту рублей привёз» (Толстой Л.Л. *В голодные года*. С. 35). Здесь показательно снова, насколько ценнее для голодных, но хитрых крестьян были деньги, равно как и то, что было можно обменять на них, нежели готовое питание в столовых. Когда выяснилось, что Лев Львович «простой» граф, а не великий князь, и капиталов для раздачи при нём нету, крестьянский «мир» начал склонять его, осторожно, через посредников, к идее отказаться от столовых в пользу прямой раздачу муки. Конечно же, на решение Льва Львовича Толстого оказали влияние и практические расчёты, а в не меньшей степени — и страшные первые впечатления от Патровки, которую он мог сравнивать с Бегичевкой, намеренно посещённой им по пути из Москвы:

«Заехать сюда я решил, во-первых, чтобы на деле увидеть и познакомиться со столовыми, которые отец, считал наилучшей формой помощи голодающим; во-вторых, из простого любопытства — посмотреть нужду здешних крестьян и сравнить её с нуждой самарской. Не буду долго останавливаться на этих днях, — скажу только, что столовые мне понравились, хотя я вовсе не нашёл их единственной возможной формой помощи, и скажу ещё, что нужда народа на Дону мне показалась ничтожной в сравнении с тем что я видел в Самаре.

Там народ исключительно земледельческий, живёт исключительно на то, что ему родит земля; здесь — другое дело. Здесь нет деревушки где бы с давних пор не было развито какого-нибудь отхожего промысла, где бы издавна народ не зарабатывал на стороне вследствие невозможности прокормиться на своих малых наделах.

Поэтому неурожаи здесь гораздо менее чувствительны, чем в приволжских глухих губерниях, где отхожие промыслы очень мало или совсем не развиты.

Кроме того, крестьяне Тульской и Рязанской губерний резко отличаются от крестьян самарских что последних не коснулось влияние

крепостного права. Вследствие этого крестьяне первых губерний, хотя и представляют из себя людей гораздо менее свободных и независимых в гражданском отношении, зато в трудные периоды гораздо легче переносят свои напасти, издавна привыкнув к ним, привыкнув к постоянной напряжённой борьбе за существование. Это — вторая причина, почему голодовки переносятся здесь легче. Третьей причиной можно назвать большую густоту населения, сравнительно с населением приволжских губерний, близость Москвы и других больших промышленных городов, а также соседство большого количества помещичьих хозяйств с промышленными учреждениями, в роде крахмальных, винных, кирпичных и других заводов, а иногда просто широко развитых сельских хозяйств, требующих большого числа рабочих рук. В подтверждение этой последней причины могу вспомнить то, что в тех деревнях, которые я посетил на Дону, сравнительно небольшое число взрослых мужиков-работников было дома, остальные все были на заработках» (*Там же. С. 25 – 27*).

Все эти соображения, не вполне точные (в первую очередь, в отношении доступности в Рязанской, Тульской или Липецкой губерниях заработков для крестьян), Лев Львович актуализировал для себя не без чувства соперничества с отцом: как подтверждение большей, нежели Льва Николаевича, значимости своей миссии — действительного спасения крестьян от голодной смерти.

Зная, что отец не одобрит практики хлебных раздач, сын и написал многословно к матери, с которой с самых юных лет связывали его особые эмоциональные связи: хоть и был он Лев-младший, а, скорее, *мамин* сын по характеру и по результатам воспитания. Вскоре, к большому неудовольствию отца, Лев Львович начал в Патровке прямые раздачи муки на хлеб — считая, вопреки отцу, столовые более дорогим вариантом помощи, а кроме того и не подходящим к описанной им в письмах родителям, а позднее в мемуарах критической ситуации в Самарской губернии. На этот счёт у него состоялась с отцом небольшая переписка. Так, в письме от 21 декабря 1891 г. из Патровки Лев-младший решительно заявляет отцу: «Столовые будут для немногих, пекарня на столовые, а всем остальным мукой» (*Толстой Л.Л. Опыт моей жизни. Указ. изд. С.229*).

Свои возражения отец оформил в пространное письмо из Бегичевки от 23 декабря, но далеко не сразу убедил в своей правоте сына. 30 декабря сын повторял родителям, в Москву, свои возражения: «Ты не представляешь себе здешней нужды сравнительно с нашими местностями и потому, примеряясь к своему делу, жестоко ошибаешься, предлагая его всем без исключения. Здесь все пого-

ловно без хлеба, и пока ты будешь заниматься открыванием столовых, рядом будут резаться, умирать с голода, от тифов и т. д. Какие тут столовые, когда нужен кусочек, хоть крохотный, хлеба... Можно бы открыть столовые, я согласен, что они лучше раздачи, но давай нам 100 солдат, пекарей, 10 вагонов привара, целую толпу людей. И именно смешно устраивать это, когда просто нужен хлеб, один голый хлеб...» (Там же. С. 233).

Коронным “аргументом” Л.Л. Толстого отцу в пользу немедленных хлебных раздач был эмоциональный рассказ о попытке самоубийства измученного голодом своим и семьи крестьянина шорника Семёна (Толстой в письме к сыну ошибочно, по памяти, назовёт его Степаном) в селе Землянках. Этот рассказ вошёл, конечно же, и в мемуары Льва Львовича:

«Этот Семён в бреду горячки перерезал себе горло ножом. Конечно, он сделал это не от одной только горячки. Кроме того, что он был сам болен, что жена только что встала от тифа, что ему есть было нечего, — ему всюду отказывали в помощи. Земство отказало ему как «странному» <пришлому, переехавшему ради заработка, не состоявшему в местной общине. — Р. А.>, Красный Крест отказал за неимением средств; наши столовые, в которые двое из семьи Семёна были записаны, пришли на помощь слишком поздно.

[...] Цела ли мазанка этого Семёна на берегу речки Съезжей в селе Землянках; жив ли он сам?.. Тогда мы, слава Богу, поправили его, перевели в другую избу, кормили» (Толстой Л.Л. В голодные года. С. 96 – 98).

Впечатления от увиденного Лев Львович изложил в особом рассказе «Вечер во время голода». Вообще даже и мемуары его, писанные значительно позднее описываемых событий, полны художественных деталей и описаний внутреннего состояния мемуариста-рассказчика, то есть самого Льва Львовича. Это наводит на догадку о том, что не одни уговоры мужиков — и даже, быть может, не они как основная причина — подбили Льва Львовича Толстого на хлебные раздачи. Главными были — его эмоции, как человека многообразно художнически одарённого, чувствительного, трепетного, «тонкокожего» чудесного львёнка великого Льва. Он не мог выдержать патровского стресса! Что ж! по такому случаю, быть может, ему бы лучше было поболее жить в Москве и помогать в непростой повседневности матери своей, Софье Андреевне Толстой, найдя для Патровки помощников, как находил их отец для Бегичевки, и вовсе не стоило лично и длительное время подвергать свои чувства, своё здоровье испытаниям голодной, тифозной и депрессивной Патровкой?



Мазанка Семена занесенная снѣгомъ.

Между тем даже С.А. Толстая, уже наработавшая некоторый опыт, в письме к мужу от 24 декабря сетовала о сыне Льве: «Жаль, что он раздумал столовые» (ПСТ. С. 486). Лев Толстой же старший в ответ выносил свой жёсткий и не вполне справедливый приговор: «Самое неприятное впечатление произвели мне письма Лёвы. Легкомыслие, барство и нежелание трудиться.

Я очень боюсь, что он совершенно бесполезно потратит там деньги жертвованные, чужие. Он свёл теперь дело на то, чтобы покупать и раздавать муку, т. е. делать то самое, что делает земство или администрация. Купить же рожь и раздать сделает земство или чиновники не хуже его, так что ему незачем и быть там. Проще передать деньги земству. Очень мне это жалко: и то, что деньги тратятся даром, и главное то, что он так легкомыслен и самоуверен. Я писал ему об этом» (84, 111 – 112).

Возможно, Лев Николаевич быстро усмотрел в действиях сына досадные признаки наивного и контрпродуктивного соперничества с ним, с отцом — за быстроту и эффективность результатов в помощи голодающим.

Но вот в основном разумное письмо Л.Н. Толстого, писанное сыну накануне, 23-го:

«Ты всё пишешь во всех письмах про какие-то особенные условия; но в чём они состоят, не пишешь. Я-то и не жду никаких особенных условий, потому что годами изучал жизнь и положение Самарских

крестьян, и в хорошие и дурные года, думаю, что знаю их лучше, чем ты, но для незнающих края остаётся непонятно, в чём эти таинственные особые условия, препятствующие разумному распределению пособий, а требующие того странного способа, который ты употребляешь. По всем сведениям, которые можно почерпнуть из твоих же писем, видно, напротив, что в Самаре именно такие условия, в которых больше, чем где-нибудь, необходимы именно даровые столовые.

Ты пишешь в статье, что нужда так велика, что нельзя помогать столовыми. Почему это? Чем больше нужда, тем нужнее именно столовые, потому что, во-первых, они-то только и предотвращают те положения, в которых находился тот человек, который хотел зарезаться, во-вторых, кормление досыта в столовых обходится дешевле, чем кормление досыта одним хлебом. Пшённая каша в три раза теперь дешевле хлеба, потому что в 4 раза увеличивается в весе, а мука в 1½, — а стоимость равная. Потом, ты писал, что для столовых тебе нужно много труда и помощников, тогда как для столовых нужно гораздо меньше труда, чем для раздачи хлеба, особенно при том выгодном условии, что столовые все в одном селе или 2-х, то ты пишешь, что тебе не нужно помощников. Впрочем, не стану выписывать всех противоречий, которыми полны твои письма и твоя статья; ты сам должен видеть их. Одно я боюсь и жалею, это то, что ты не составил себе ни малейшего понятия о том, что такое столовые, зачем они и как их вести. И потому постараюсь вкратце объяснить тебе сначала дело. Может быть, это нужно тебе. Если же ты из упрямства, чтобы не сознаться в своей ошибке, будешь продолжать своё, то уж это твоё дело; но мне, пожалуйста, не пиши о твоём деле, потому что всё, что я слышу о нём, мне больно и совестно. Пиши о себе, своём здоровье и душевном настроении, а не о деле.

Статью твою, вероятно, не напечатают; если бы напечатали, то это был бы прекрасный повод для враждебных нам людей уличать нас в легкомыслии и недобросовестном употреблении пожертвований.

<Зная, что отец готовит для общественности, для публикации в газетах свой отчёт об употреблении пожертвований, Лев Львович не преминул поспешить со своей «отчётной» статьёй. — Р. А.>

История со Степаном есть частный случай, доказывающий только то, как дурно отсутствие столовых. Твои же 10 ф[унтов], очевидно для каждого, или недостаточны, или излишни. Для семьи, у которой ничего нет, кроме 30 ф. земских и 10 твоих, при проезде за мукой и при поедании её хлебом без примеси и приварка, — этих 40 ф. неостанет, как ты и пишешь; для семьи же, у которой есть ещё что-нибудь, очевидно не 10 ф. будут средством питания.

Итак, о столовых:

1) Устраиваются они в деревнях для того, чтобы, во 1-х, обеспечить самые несчастные семьи, из которых прежде всех вполне обеспечивается та, у которой устраивается столовая; во 2-х, для того, чтобы в деревне, где она есть, не мог никто умереть или заболеть с голода (как кому плохо, придёт и попросится в столовую); в 3-х, для того, чтобы можно было кормить более дешёвой пищей, так как хлеб теперь дороже всякого другого приварка, не менее, а часто более питательного, как-то гороха, овсянки, а у вас пшеница (Эрисман об этом самом читает лекцию) <Фёдор Фёдорович Эрисман (1842 – 1915), доктор медицины; профессор Московского университета, председатель Московского гигиенического общества и заведующий санитарной станцией для исследования пищевых продуктов. В письме к редактору «Русских ведомостей» Эрисман писал: «Есть вещества, которые, будучи в известной пропорции прибавляемы в ржаной муке, дают хлеб и вкусный и удобоваримый и в то же время сравнительно недорогой» («Русские ведомости» 1891, № 282 от 13 октября). – Ред.>; в 4-х, для того, чтобы можно было питать людей более здоровой пищей, каково всякое хлебово.

2) Устройство столовых требует никак не больше, а скорее меньше хлопот, чем раздача мукой и хлебом. Дело всё в запасе провизии и в известные дни раздачи её.

3) Столовые же даже без наблюдения, с наблюдением одних столоующихся, идут очень хорошо. Одна Наташа <Философова> ведёт более 30-ти столовых.

4) Расход на столовые немного больше, чем стоимость 30 ф. в месяц и меньше того, что у вас получает человек — 30 ф. от земства и 10 ф. от тебя.

5) Самая трудная сторона дела: правильное распределение без сравнения легче при столовых, чем при всякой другой форме.

Пожалуйста, хорошенько подумай обо всём этом, постаравшись сначала спрятать, вдвинуть назад своё самолюбие, и сделай, как лучше; но мне уж, пожалуйста, не описывай твоей деятельности. Такой достаточно везде. И в Москве так купцы за упокой души раздают.

Ещё советую тебе и очень советую: не искать ужасов, как Степан, а внимательно и спокойно изучать положение народа, и если хочешь описывать <в отчётах. – Р. А.>, то описывать всё положение семей: описать, из чего состоит его помещение, чем топится — есть ли заготовленное топливо, — есть ли скотина, какая? Когда была иногда продана. Это главное (потому что часто семья в страшном положении, но в таком положении она уже 3 года). Есть ли одежда, какая,

есть ли птица. Чем занимаются, как проводят дни члены семьи. Такое описание тронет и подействует, а не ахи и охи.

Главное же пойми, что ты не призван прокормить 5000 или 6 т[ысяч] или x^n количество душ, а призван наилучшим образом распределить ту помощь, какая попала тебе в руки. Делаешь ли ты это перед своей совестью?

Одно объяснение для меня твоего образа действий это то, что большинство мужиков всегда предпочитают раздачу мукой столовым, что было и у нас, и что они сбили тебя. Но надо было не поддаваться.

Дружески жму руку Ивану Александровичу <Бергеру>...

<Дальнейший текст письма написан на отдельном полулисте почтовой бумаги. – *Ред.*>

Написал тебе сейчас этот первый лист письма и ни о чём не могу думать, как о тебе. Думаю, во 1-х то, что как хорошо то, что ты делаешь, что доброе желание руководит тобой, что здесь в Москве живут люди в своё удовольствие с своими привычными им и тебе интересами, что ты молод и живёшь там один, стараясь делать то, что хорошо, то, что должно. Так отчего же ты делаешь такие... <так в подлиннике. – *Ред.*> и с таким упорством? Думаю и не могу придумать. Неужели одно, даже не самолюбие, а амбиция — нежелание сознаться себе, что ошибся, может руководить тобой и испортить всё дело, которому ты служишь. Единственное объяснение это то, что я написал тебе на стороне письма, это то, что толпа — сами крестьяне, которые никогда не смотрят на дело с общей точки зрения, а всегда с личной эгоистической, убедила тебя и уверила так, как они нас старались уверить, что столовые нельзя, неудобно и что гораздо лучше раздавать на руки. При столовой тот, кому нет крайней нужды, ничего не получит, потому что ему и совестно и скучно идти в столовую, а тут хоть по 10 ф., положим на 4-х — пудик, всё-таки деньги или подсобка. Они всегда убеждают и, вероятно, убедили тебя. И так жалко, что ты их послушался.

Но [...] Бог с ними, с столовыми, и наши отношения дороже всего. Если ты находишь, что так и надо делать, как ты делаешь, и делай так. [...] Помогай тебе Бог делать как лучше перед Ним. [...].

Л. Т. [...]

НА КОНВЕРТЕ: Самарской губ. Бузулукского уезда село Патровка, Льву Львовичу Толстому (66, 118 – 121).

Письмо Льва отца, как видим, исключительно обстоятельно, сдержанно по тону и основано на опытных фактах, тогда как в письме, выше цитированном нами, сына Льва прослеживаются признаки эмоционального заражения, внешнего влияния.

Судя по письму от 23 декабря, отец Толстой не задумался на этой, — неочевидной, но сильной для догадки — намалой правотой сына. Кажется, Лев Николаевич более стремился подавить неприятное чувство от неуместного, по его мнению, поведения Льва Львовича, но оно ещё долго тяготило отца. Уже 30 января 1892 г. он записал в Дневнике: «Главные черты и события этого месяца: недовольство на Лёву и тяжёлое чувство нелюбви к нему» (52, 61). Этого стойкого эффекта не могло бы быть, не присутствуя в мотивациях сына понятных отцу личных элементов: желания соперничать и превзойти. Помимо сказанного нами, отец таки не ошибся! В мемуарах «В голодные годы», показав читателю, что хлебные раздачи мукой были, в числе прочего, значительно дешевле столовых и позволяли экономить на дефицитном топливе, Лев Львович вдруг проговаривается о скрытой причине, или, во всяком случае, одной из скрытых причин, предпочтения им таких раздач: даже во второй приезд его к голодавшим Самарского края, в декабре 1891-го, ему пока что «некому было доверить дело столовых» (Толстой Л.Л. *В голодные годы*. С. 55).

Мы показали выше в этой книге, что Лев Николаевич, во-первых, *примкнул*, по приглашению И. И. Раевского, к общероссийскому благотворительному начинанию, а во-вторых, захватил с собой в Бегищевку, и без того сравнительно многолюдную местность, членов семьи, а в-третьих, был к началу 1890-х безусловно знаменитой и публичной персоной, имевшей, к тому же, единомышленников в религиозном христианском исповедничестве — тех, кого современники презрительно, а для некоторых из них и несправедливо, окрестили «толстовцами».

Вспоминает один из них, впоследствии выдающийся биограф Льва Николаевича Толстого, Павел Иванович Бирюков:

«Эта деятельность Л. Н-ча, конечно, привлекала к нему много людей. К этому времени как раз понемногу, одна за другой прекратили своё существование земледельческие общины. И вот целая группа молодых сил, ищущих приложения, явилась в распоряжение Л. Н-ча. Братья Алёхины, Новосёлов, Скороходов, Гастев, Леонтьев, Рахманов занялись распределением пожертвований под руководством Л. Н-ча. Другие помогали собиранием хлеба на месте жительства и отсылкой его к центру помощи.

Первые месяцы этой помощи я был за границей, занятый изданием некоторых запрещённых в России сочинений Л. Н-ча. В январе 1892 года я вернулся в Россию, и, устроив свои личные дела, прикомандировался, как тогда шутя называли, к министерству Л. Н-ча Толстого» (*Бирюков П. И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-х тт. Т. 3. М., 1922. С. 185*).

На столь многолюдную человеческую поддержку не мог рассчитывать сын писателя. В мемуарах «В голодные годы» он вспоминает о своём положении в декабре 1891-го и январе 1892-го годов следующее: «Нас двух с И. А. <Бергером>, разумеется, далеко не хватало на устройство столовых и наблюдение за ними, так как некоторые были открыты нами за 30 – 40 вёрст. Хотя заведовавшими их были, по большей части, священники, которым я верил, однако всё же следовало иногда навещать их» (*Толстой Л.Л. В голодные годы. С. 85*). На помощь сыну Толстой благословил всё того же П. И. Бирюкова, который вспоминает об этом следующее: «Так как вокруг Л. Н-ча уже было много народа, то я, проработав в Бегичевке недели две, по предложению Л. Н-ча поехал с его сыном Львом и корреспондентом шведом Стаддингем 4 марта в Самарскую губ., где бедствие было едва ли не сильнейшее, а помощи не было почти никакой. Мы проработали там со Львом Львовичем и с несколькими помощниками всю весну и лето, до нового урожая. Л. Н-ч посылал нам часть получаемых пожертвований, и нам удалось распространить нашу деятельность довольно широко на два уезда Самарской губернии – Бузулукский и Николаевский» (*Бирюков П.И. Указ. соч. Т. 3. С. 185*).

Позднее, в более спокойной обстановке переговорив с отцом и матерью лично и получив собственный опыт столовых и раздач, Льву Львовичу пришлось признать правоту отца и уже покойного И. И. Раевского в отношении оптимальности столовых как метода поддержки голодавших. 10 января 1892 г. Лев Львович признавался в письме к матери, что два критических письма отца к нему заставили его «ещё внимательнее вникнуть в свои действия» (*Цит. по: Опыт моей жизни. С. 447*). В мемуары свои, вышедшие на грани веков, в 1900 году, Лев Львович включил уже зрелые свои заключения о варианте со столовыми — значительной частью совпадающие с тем, что пытался довести до его понимания отец:

«Столовые, кроме того, что они прямо достигают цели того, кто поехал кормит голодных, т. е. насыщать их здоровой пищей, имеют ещё громадное общественное и психологическое значение, которое особенно дорого.

Во-первых, нуждающиеся люди видят в них искреннее попечение о себе добрых людей, стоящее настоящего внимания и труда, и это

ободряет и поддерживает их дух; во-вторых, в столовые богачи и сытые не пойдут, тогда как зерна или муки всякий примет, даже и не нуждающийся, и, в-третьих, столовые собирают голодный народ вместе, служат местом его общения, чем вносят собой в тяжёлые года бедствия элемент оживления и утешения в народную жизнь и среду.

Поэтому столовые, хотя и в два с лишком раза дороже стоящие, чем простая выдача, всегда останутся лучшей формой помощи голодающим, пока они у нас не переведутся. Я был против них сначала, но потом, наученный опытом, увидал их действительную пользу и значение, и теперь стою за них» (*В голодные годы. С. 56*).

По существу, метод Ивана Ивановича Раевского и его единомышленников, который перенял и талантливо применил Лев Николаевич Толстой, уже представлял собой «золотую еередину» по отношению к идеалу любовного «духовного общения», с одной стороны, а с другой — антиидеалу «технологичной» барской благотворительности посредством раздач хлеба или денег. Об этом свидетельствует из своего места христианского служения, из Лукояновского уезда Нижегородской губернии, Владимир Галактионович Короленко:

«Возможны два приёма помощи населению в пределах частной благотворительности. Первый — когда интеллигентный человек, живущий или хоть поселившийся на продолжительное время в нуждающейся деревне, вступает в непосредственное, более или менее тесное общение с теми, кому он помогает. К материальной помощи он может прибавить в этом случае нравственную поддержку, может отдать людям, которых знает и которые его знают, всё, на что способен, всё, что находится в его распоряжении из нравственных и материальных ресурсов. Не раскидываясь широко, вы можете затонуть в самую глубь народной нужды, войти во все её детали, не упустить ничего... Без сомнения, это наиболее симпатичная, полная и человечная форма благотворительности, устанавливающая известную взаимность между принимающим и дающим, наконец, приносящая наибольшее удовлетворение для обеих сторон.

Об этом мечтал и я, отправляясь из Нижнего.

Однако есть и другой приём, и он-то, по обстоятельствам, выпал на мою долю. Как ни хорошо, как ни благотворно нравственное общение и взаимность, однако и прямо кусок хлеба, сам по себе, составляет великое благо там, где его не хватает, где матери приходится целые дни слышать немолчный крик голодного ребёнка. С первых же шагов на лукояновской почве я увидел, что в этом обездоленном уезде мне придётся отказаться от первоначальной мечты и вместо

того, чтобы сосредоточить работу в тесном районе, необходимо будет раскинуть её вширь, почти по всей площади, жертвуя и общением, и многими другими хорошими вещами — простейшей задаче: открыть как можно больше столовых, охватить ими поскорее, ещё до распутицы, возможно широкое пространство, доставить хлеб в самые отдалённые и глухие деревушки.

Обстоятельства складывались явно в этом направлении...» (*Короленко В.Г. В голодный год // Короленко В.Г. Собр. соч.: В 10 тт. М, 1955. Т. 9. С. 218*).

Итак, пусть столовые — лучшее из возможного, идеал. Но идеал, как общеизвестно, суть нечто, чего ещё требуется достигать — стремиться к нему.

Взглянем на голодный Самарский край, на голодавшую крестьянскую Россию 1891 г. взглядом независимым, не толстовским, а — того огромного большинства благотворителей бедственного года, которые выбирали на определённом, как правило начальном, этапе работы не толстовский путь. Вспомним, что Лев Николаевич Толстой не был зачинателем всего предприятия от начала даже в той местности, на границе губерний, где жил среди голодавших. Таким зачинателем был уже покойный Иван Иванович Раевский. А в начале дела кормления голодающих крестьян (как убедились в те бедственные осень и зиму не один Лев Львович Толстой, но многие участники общего дела милосердия) выбирать приходится между непосредственностью сближения с небольшой общностью бедствующих, когда возможны столовые, и, напротив, размахом, охватностью первых шагов — когда рациональней продажи и раздачи хлеба. Иван Иванович Раевский начал с малого, без размаха: с нескольких столовых для крестьян соседей. Лев Николаевич только продолжал, не имея этого опыта труднейших, самых первых шагов! Министр земледелия А. С. Ермолов в авторитетнейшем до сего дня труде «Наши неурожаи и продовольственный вопрос» (Часть I, год 1909 - й) цитирует значительные, приобретённые непростым опытом выводы «Особого комитета по оказанию помощи населению губерний, пострадавших от неурожая»:

«Опыт тяжёлой зимы 1891 — 1892 годов, по отзывам многих компетентных местных деятелей, показал, что оказание благотворительной помощи всегда целесообразнее было начинать с удешевлённой продажи хлеба и, по мере уменьшения платёжной силы населения, переходить к бесплатным хлебопекарням и к столовым, устраивая их, по преимуществу, для женщин, детей и лиц, неспособных к

труду» (Ермолов А. С. *Наши неурожаи и продовольственный вопрос*. СПб., 1909. *Часть первая*. С. 119).

Вместе с тем, как отмечается в том же отчёте, «по отзывам большинства местных деятелей, в ряду бесплатных способов благотворительности система столовых и пекарен оказалась предпочтительнее, чем выдача муки и сырья на руки. Последний способ иногда сопровождался злоупотреблениями; в столовые же и пекарни, за немногими исключениями, и то преимущественно в больших торговых центрах, преимущественно являлись лишь действительно нуждающиеся крестьяне» (Там же. С. 118). Это уже вполне совпадает с наблюдениями Ивана Ивановича Раевского и Льва Николаевича Толстого! Многие, *начинавшие*, по образцу земств, раздачей печёного хлеба, зерна, *продолжали* именно столовыми, и сеть их, наряду с пекарнями для раздачи либо продажи хлеба, была в ту бедственную зиму, по сведениям А. С. Ермолова, весьма широка:

«Общее число столовых и пекарен, действовавших в зиму 1891/2 гг., превысило 10 000 (столовых — 8,115, пекарен для бесплатной раздачи хлеба — 1,498, для продажи хлеба по удешевлённой цене— 407).

Общее число лиц, продовольствуемых в столовых, составило свыше 636 000 человек: средний размер расхода на едока определился в 4,16 коп.» (Там же).

20 декабря вечерком Лев Николаевич отвечает наконец на «болтливое» письмо жены от 17-го. Пишет, что в деле помощи крестьянам «всё то же, значит, всё хорошо». сетует на отсутствие подвалов для хранения прибывшего как помощь голодным импортного картофеля: «...И он весь — десятки тысяч пудов — пойдёт на винокуренные заводы, а не на пищу людей. Ах, это винокурение. Пьянство не ослабевает. В деревне Ивана Ивановича, даже в двух, открываются кабаки, и нет возможности их запретить» (84, 110).

Рассказывает Лев Николаевич и о новобранцах в его бегичевском «министерстве добра», прибывших как нельзя кстати:

«Вчера наши сожители решили переехать от нас за 18 вёрст, в центр самых дальних столовых, в Ефремовском уже уезде, и нам недоставало человека, чтобы поместить его в другом дальнем конце. И вот нынче явился, — пришёл пешком, один из тёмных, из Полтавы, Леонтьев. Леонтьев этот, несмотря на фамилию, самый еврейский тип. Но человек, кажется, тихий, и трудолюбивый, и толковый. Он привёз из Полтавы собранные там средства на содержание двух столовых. Из помощников наших самый полезный Гастев. Всё делает весьма скоро, умно. Про Новосёлова нельзя судить, потому что у него

несколько дней страшно болят зубы. Нынче я был дома, а Коншин с Черняевой поехали в одну сторону за 7 вёрст, Гастев в другую — за 7 вёрст и Маша одна в третью, вёрст за 5. Утро было хорошо, но к вечеру, 4-м часам, поднялась сильная метель, и я очень тревожился. Послал за Машей, а она приехала, потом вернулся Гастев, и позднее всех вернулись те. Я очень беспокоился. Пишу это, чтобы ты знала, как мы благоразумны и бережём друг друга» (*Там же. С. 110 — 111*).

Выше из названных уже упоминались подключившиеся к общему делу ранее Новосёлов и Коншин. Из новых же, во-первых — «тёмный», как в семье Льва Николаевича называли толстовцев, *Борис Николаевич Леонтьев* (1866 – 1909), бывший воспитанник пажеского корпуса, ставший толстовцем. В 1891 г. Борис Николаевич работал в устроенной толстовцами И. Б. Файнерманом и М. В. Алёхиным в Полтаве столярной мастерской. А 20 декабря он пришёл пешком в Бегичевку, снабжённый собранными в Полтаве деньгами на содержание двух столовых. Толстой направил его в деревню Муравлянку для открытия столовых в Скопинском уезде. Проработал Борис Николаевич «на голоде» до лета 1892 г., когда точно так же, как пришёл, пешком ушёл с толстовцем Н. И. Дудченко в Полтавскую губ. и снова занялся столярным делом в той же мастерской. В 1893 году Леонтьев гостил у Л. Н. Толстого в Ясной Поляне, работал переписчиком. Бегичевский опыт пригодился Леонтьеву: летом 1898 г. он был одним из инициаторов помощи голодающим в Малоархангельском уезде Орловской губ. К сожалению, в 1890-е гг. Леонтьев разочаровывается в толстовстве, защищает революционеров, но и среди политических радикалов не находит себе места. В 1909 г. в состоянии депрессии Борис Николаевич Леонтьев кончает жизнь самоубийством.

Выпускник Тверской духовной семинарии *Пётр Николаевич Гастев* (1866 – ?) не разделил с товарищами слепой веры в учение православия, а примкнул к толстовцам, жил в Новосёлковской общине Дугино в Тверской губ., у М. В. Новосёлова, и в общинах Кавказа, а ещё — был, как и Толстой, огромным поклонником личности и взглядов тверского крестьянина-сектанта В. К. Сютаева. К 1891 г. он сошёл с ума, и с марта по август 1891 г. содержался в Бурашёвской лечебнице близ Твери. Покинув её, он, конечно же, незамедлительно приехал в Ясную Поляну — для личного общения с Львом Николаевичем, духовным единомышленником и учителем. В сентябре 1891 г. П. И. Бирюкову Толстой писал: «Гастев был в больнице, а теперь совсем здоров и очень милый — наивное и чистое дитя» (66, 38). Разумеется, такое «дитя» не могло не оказаться полезнейшим помощником! Впоследствии Гастев стал автором мемуарных записок «На

голоде с Л. Н. Толстым в Рязанской губернии» и (опубл. в сб. «Лев Толстой и голод», Нижний Новгород, 1912).

Наконец, про *Марию Владимировну Черняеву* известно, что она родилась в 1860-х, училась на высших женских курсах Герье, по окончании которых работала учительницей в Бронницком уезде Московской губ., а в период своего толстовства была в 1888 – 1889 участницей той же тверской земледельческой общины Дутино М. В. Новосёлова и сотрудницей толстовского народного книгоиздательства «Посредник».

К событиям этого дня относится следующая запись из дневника Татьяны Львовны Толстой:

«20 декабря 1891 года. Бегичевка. 3 часа дня.

Случайно выдалось свободное время, и я хочу записать всё, что мы переживаем за это время. Во-первых, дела у нас стало так много, что нет времени ни думать, ни читать, ни разговаривать (до чего я, впрочем, не охотница) и даже нет времени соображать хорошенько то, что нужно для дела.

Папа тоже очень утомляется, и мне жалко и страшно на него смотреть. Я замечая это за ним и за собою: мы начинаем отвечать на что-нибудь, что нас спрашивают, и вдруг вспоминаем что-нибудь другое и отвечаем не то, что следует, и с большим усилием возвращаемся к первой мысли. Это оттого, что надо помнить слишком много разных вещей. То приходят просить вписать в столовую, то выдать хлеб на дом, то желают отдать выдачу и ходить в столовую, то в столовой не хватило хлеба, то у нас вышла свёкла, надо послать к Лебедеву, то надо ввести новые перемены в столовые, вроде пшена, гороха и т. п., то пришёл побирушка, то "пожалуйста книжечку", то надо рассортировать лён, то едут в Клёкотки — надо мамá написать, то вышли свечи и мыло — надо откуда-нибудь их добыть, то надо послать свидетельства Красного Креста для дарового провоза, то надо послать за лыками, а то их таскают, то надо заказать обед, послать за капустой — и так без конца, без конца. Одно кончишь — другое требование является, да ещё вписывать полученные пожертвования, отвечать на многие из них, пересчитывать деньги (что для меня всегда представляет трудность).

Вчера я до первого часа сидела и сличала расход с приходом, и то у меня 10 тысяч не хватало, то 500 рублей лишних. И оттого я так плохо стала считать, что вдруг посреди расчёта вспомню, что надо завтра послать Писареву письма или что-нибудь подобное. И все у меня запутается, и сверх того надо постоянно помнить, чтобы папá не подвернулась под руку постная похлёбка, кислая капуста и что-

нибудь подобное, и беспокойство о том, что он простудится или провалится в Дон.

Теперь 4 часа, сильная метель и градусов 15 мороза. Маша поехала в Татищево постараться водворить там порядок, а то говорят, что хозяйка столовой с своих питомцев берёт водку, овчины и всякие взятки» (*Сухотина-Толстая Т.А. Дневник. Указ. изд. С. 258 – 259*).

Нашлось в письме Льва Николаевича к жене от 20-го место и паре интимно-личных строк:

«Твоё письмо вчерашнее опять хорошее, успокоительное, но что-то ты уж слишком хвалишься своим здоровьем. Во мне запало сомнение: правда ли? Вижу тебя часто во сне. И теперь тороплю время, поскорее быть с вами. Целую тебя и детей. Видел очень живо во сне Агафью Михайловну. Жива ли она?» (*Там же. С. 111*).

Старая «собачья гувернантка», служившая ещё бабушке Льва Николаевича Пелагее Николаевне, жившая в покое и почёте в яснополянском доме и славившаяся любовью к животным и особенно к собакам — Агафья Михайловна (1812 – 1896) была ещё жива. Трудно заключить, отчего явилась она Толстому во сне. Толкователи снов утверждают, что собака снится тому, кто испытывает потребность в согласии с кем-то, чьей-то преданности. Толстой недаром упоминает о сне именно в интимно-личной части письма. Конечно, он чаял единения и преданности в отношениях с женой! И не напрасно. Нет худа без добра! В письме к Н. Н. Ге-сыну, датированном приблизительно 18 – 22 декабря, Толстой сообщает, что на деле кормления голодающих, которое «само по себе нехорошо, исполнено греха», он «сошёлся, как никогда не сходился, с женой» (66, 117). И в Дневнике под 19 декабря записано: «Радость отношения с Соней. Никогда не были так сердечны» (52, 59).

В Толстом, несмотря на демократические декларации, без сомнения сохранилось — и передалось, как субъективное восприятие жене — привитое воспитанием крепостнической эпохи отношение к народу, именно к крестьянам, как к нуждающимся в опеке детям. А детей, как мы знаем, Соничка готова была любить до самозабвения. И дети, по глубочайшему её убеждению, было то *настоящее*, утраченное со временем, что связывало её с Львом Николаевичем. Помимо похоти, полового влечения, за утратой которого у мужа она наблюдала с ужасом, будучи уверена, что «когда он отживёт совсем свою любовную жизнь со мной, он просто, цинично и безжалостно выбросит меня из своей жизни» (*ДСАТ – 1. С. 212*). Эта страшилка не сбылась, хотя, не разделив с мужем христианского исповедания, она до

конца дней имела немало субъективных оснований для утверждения обратного.

Это не единственная, но очень важная причина состоявшегося согласия и единения супругов «на голоде». Другой была — конечно же, всё та же личная потребность Софьи Андреевны Толстой в самореализации, в *разнообразии* доступных для неё, женщины в России, социальных ролей и сопряжённых с ними прав. Соединял супругов, как мы уже сказали выше, и непокой совести: невозможность пассивности в постигшей массу населения России беде.

Во встречном, от 20 декабря, письме к мужу Софья Андреевна хорошо выразила эти субъективно-личные интенции: и опытной «деловой леди», участвующей в сложном благотворительном предприятии, и мамы, заботящейся о своих чадах, в числе которых оказались и голодавшие крестьяне, и старший её возрастом супруг. Любопытно, что, начав писать это письмо как ответ дочерям Тане и Маше, она вдруг заговорила в нём и со Львом Николаевичем — без прямого обращения, но несомненно видя его умозрительно — и получилось письмо уже *троим*. Приводим основное из этого замечательного письма.

«Посылаю вам, милые Таня и Маша, всё, что вы просили с дамой, которая едет к Натe. [...]

Привёз ли или прислал ли Алексей Митрофаныч тебе, Таня, шёлковую материю? Он ведь не едет в Самарскую губернию. Отберите у него Лёвины вещи. Туда едет Протопопов и сегодня будет у меня; могла бы с ним послать, такая досада. Протопопов едет в Николаевский уезд; я его ещё не видала. Факел я купила, было, чудесный, 4 р. 50 коп., горит 16 часов очень жарко, но он так и остался у Алексей Митрофаныча. Непременно возьмите у него, может быть, кто поедет в Самару к Лёве понадежней.

Видела я Грота, он сообщил, что все здоровы, но очень смутил ненадёжностью *тёмных*. Говорил, что Новосёлов очень противен, ухаживает за Богоявленской; что Черняева тоже ненадёжна и крайне не симпатична. Ох! Не люблю я этих господ! Вот *не* тёмная Наташа или Лёва или Коншин — всё люди потвёрже этих шальных, и дела от них будет больше.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Анна Николаевна Богоявленская, урожд. Андреева, жена Николая Ефимовича Богоявленского, земского врача в Лошакове близ Беги-чевки.]

Очень жаль, что Раевские не едут в деревню. Я очень на них надеялась, но это для меня новость, так как Алексей Митрофаныч писал, что они все едут 20-го или 21-го.

[...] Ездил я всюду по банкам от бестолковости Колички Ге. Переведи я ему за горох 1200 рублей в Кишинёв на имя брата, через Волжско-Камский банк. Там не приняли, у Дунаева в Торговом — не приняли; в Купеческом — не приняли. Так и вернулась домой, не послала, а написала Ге.

Письмо Лёвы вам посылаю, очень интересное; привезите мне его назад. Да постарайтесь так устроиться, чтоб месяц тут пожить, я все дни считаю, сколько осталось до вашего приезда.

[...] Трудно вам справляться, я думаю. Пожертвования пошли тише гораздо. Лёва умоляет прислать муки, да вы прочтёте, что он пишет. Целую всех вас. Если нельзя будет ездить и кончать дела перед отъездом, то, ради Бога, не рискуйте, не спешите, и лучше приезжайте позднее, только не простудитесь.

С. Толстая» (ПСТ. С. 483 – 484).

В письме от 21-го Софья Андреевна снова тоскует и сетует: и на публику, которая именно перед Рождеством стала прижимистей, желая тратить не на гибнущий народ, а на свои праздничные удовольствия, так что «пожертвования очень тихи, но есть ещё более 15 000 р.»; и на сына Льва, который «раздумал столовые», в чём и маме и папе справедливо виделась его большая ошибка (скоро им осознанная и поправленная); и на то, что «вам теперь часто от меня письма, а мне от вас редко»; и на прививку оспы, от которой «вся рука распухла, рвёт, чешется, по ночам будит, под мышками железа распухли»... А радовали Соничку в эти дни: снизившиеся цены на рожь и горох, да ещё новая помощница, могучая «барышня Персидская», прекрасная фельдшер и к тому же урождённая донская казачка, «милая, умная, энергическая и здоровая девушка»; а более всего — радовали, хотя и со слезами на глазах, мысли о скором свидании с мужем и детьми:

«Как ты себя чувствуешь, милый Лёвочка, и духовно и физически? Жили вместе — не ценили своего счастья, а теперь, как грустно! Очень надеюсь скоро увидаться и радуюсь этому» (ПСТ. С. 485).

Елена Михайловна Персидская (1865 – ?) впервые обратилась к Толстому с письмом ещё 26 сентября 1891 г. Ответ Толстого утерян (66, 459). В декабре приехала в Бегичевку, чтобы вместе с Толстым оказывать помощь голодающим. «Дела очень много», — сообщал Толстой

М. Н. Чистякову 11 февраля 1892 г. и далее перечислял, кто работает рядом с ним, в т. ч. «две девицы очень хорошие» (одна из них и была Персидская) (66, 159). 12 мая 1892 г. Толстой писал жене: «...помощницы две явились: Елена Михайловна и Антипова. Они уже ездят и хлопочут. Всё это время раздаём семя, и большая от этого суета» (84: 150). 14 мая Толстой направил Персидскую в село Никольское Ефремовского уезда, в 36 км. от Бегичевки. Там она продолжала помогать открывать столовые, наблюдала за их работой. Толстой писал ей 5 июня 1892 г. из Бегичевки: «Горох мы вам пришлём. Столовые открывайте. Деньги есть. Но старайтесь сами добывать провизию. [...] Открывайте столовые и приюты, но тут же делайте смету и сообщайте нам. Помогай Бог. Ваш А. Толстой» (66, 225 — 226).

Елена Персидская оставалась с Толстым до 24 июля 1892 г., когда была вызвана в родные края на борьбу с холерой. За эти месяцы она не только вылечила бесчисленное число крестьян, но и распоряжалась открытием и организацией работы многочисленных столовых и детских приютов. Почуввав родственную Софье Андреевне деловую хватку, Толстой доверял ей продовольствие, кассы и составление смет. Могучая и прекрасная «Элена» заменила ему на эти месяцы жену — которая по состоянию здоровья, конечно же, не выдержала бы ни столь напряжённого труда, ни самых бытовых и психологических условий проживания в Бегичевке.

У нас осталось по хронологии последнее, перед новым временным отъездом А.Н. Толстого в Москву, письмо его к жене, писанное уже в рождественский Сочельник, 24 декабря — основной текст которого мы и приводим ниже.

«Получили вчера ещё твоё письмо <от 20 декабря>, милый друг, через Протопопова. Протопопов приехал с другим г-ном <Л. А.> Обольяниновым. Оба они петербургские и плохо понимающие условия жизни, а вместе с тем возбуждённые отчасти фальшивым представлением о голоде и раздражённо осуждающие правительство. При том занятии делом, в котором мы находимся, это производит неприятное впечатление. Но они недурные люди, в особенности Протопопов.

Самое неприятное впечатление произвели мне письма Лёвы. [...]

Посетителей у нас бездна. Накануне Протопопова был Леонтьев, тёмный, — приехавший из Полтавы, с деньгами на столовую. Нынче я его устроил в 15 верстах от нас, — самый дальний пункт в одну

сторону. Новоселов, Черняева и Гастев, которых мне очень жалко, что ты так осудила <в письме от 20 декабря. – Р. А.>, они очень и очень хорошие, самоотверженные люди и работники, — уехали в другую сторону, тоже на самый дальний пункт от нас, за 15 же вёрст, и поселились там в избе, без чаю, молока, пици иной, как та, которая в столовых, без постелей и т. п. Если будет хороша погода, я завтра проведаю их.

Потом 3-го дня приехала и вчера уехала одна Вагнер, сестра милосердия, выдержавшая курс сестёр Красного Креста, мать 17-летнего сына, готовая ехать повсюду с небольшими деньгами. [...] Нынче приехала Эл[ена] Павловна. Очень она жалка и мила.

Я нынче ездил далеко верхом по столовым. Надо всё объездить перед отъездом. Всё идёт хорошо, всё независимо от нашей воли расширяется. Третьего дня был в деревне, где на 9 дворов одна корова; нынче был в деревне, где почти все нищие. Я говорю нищие в том смысле, что это всё люди, не могущие уж жить своими средствами и требующие помощи — не держащиеся уже сами на воде, а хватающиеся за других. Таких всё больше и больше.

Мы все здоровы и, кажется, не дурны. Я приятно и легко занят. Маша не совсем хороша, но плохого нет. Целую тебя и детей.

Пишу лениво, но это не значит, чтобы таково было чувство к тебе. Радуюсь его силе» (84, 111 – 112).

Предприятие вошло в качественно новое системное состояние: сеть столовых и других мер помощи расширялась уже «независимо от воли» зачинателя, стараниями помощников. Покойный Иван Иванович Раевский был бы очень рад! Отпуск стал не только физически необходим, но и нравственно возможен.

Толстому было легче, чем Софье Андреевне, завершать год: погружённым в практическое дело, имевшее свои результаты, выразившиеся к Рождеству в открытии 70 столовых. Успев сколотить надёжную команду, сам Толстой теперь не боялся выехать из Бегичевки в Москву — дабы успокоить жену. Он исполнил это вскоре, и 30 декабря Соня радостно встретила его в Москве (ДСАТ – 1. С. 218).

В тот год дни Рождества совершенно не порадовали москвичей погодой: из серых туч поливал холодный дождь. Под стать погоде было и настроение Софьи Андреевны. Вспоминая предыдущее, весёлое Рождество 1890 года, которое вся семья встречала вместе, в Ясной Поляне, она пишет 26 декабря грустное письмо к мужу. Значительная часть письма посвящена, как и прежде, сетованиям: на запер-

тые из-за праздника банки, отчего нельзя пересылать деньги; на задерживавшего важные бумаги (вероятно, ушедшего в рождественский запой) рязанского губернатора Кладищева; на то, наконец, что дождь, погубив дороги, наверняка задержит приезд мужа и детей: «...и боюсь радоваться вашему приезду, всё ждёшь что-нибудь плохое» (ПСТ. С. 487).

Глубоко трогательна интимно-личная часть письма:

«Сегодня второй день праздника и очень тоскливо без всех вас, милые друзья. Хожу из комнаты в комнату, всех всё напоминает и никого нет! Особенно о Лёве беспокою. Он пишет, что в Самарской губернии и у них там повальный тиф и инфлуенца. Отправлены врачи, сёстры милосердия и фельдшера от Красного Креста. А Лёва так подвержен этим горячешным болезням!» (Там же. С. 486).

К сожалению, и это недоброе предчувствие Софьи Андреевны материализовалось не добром. В мемуарах несчастливая мать вспоминает:

«Озабочивал меня больше всех тогда мой сын Лёва, которому душой посылала свой материнский привет и о котором постоянно молила Богу. Жил он в то время в упразднённом кабаке, был окружён тифозными и впоследствии сам подхватил тиф, оставивший тяжёлые следы на его здоровье и на ослабевшем организме» (МЖ – 2. С. 242).

Как мы сказали выше, в зиму 1891 – 1892 гг. Лев Львович Толстой организовал работу в Самарской губернии более 200 (!) столовых и спас от верной голодной гибели десятки тысяч крестьян. Их молитвами он и сам был «вытащен с того света», но... заболевание, которое он, чудовищным напряжением сил, переходил на ногах, не отрываясь от работы, равно как и сопутствующие этой работе тяжелейшие стрессы и общее изнурение организма катализировали в нём иные расстройства, вероятнее всего генетически перешедшие от мамы и «затаившиеся» как раз до такого случая. К осени 1892 г., по свидетельству родового биографа Толстых С. М. Толстого, «здоровье его ухудшилось, он потерял аппетит и сон, его мучили слабость, боли в животе и тоска». Поведение «нервное, раздражительное» чередовалось с депрессивными состояниями, отягчёнными общими с мамой, но ярче выраженными функциональными расстройствами: «головной болью, нерешительностью, болями в животе». Припадки агрессивные чередовались со слезливо-истерическими и мрачно-депрессивными. Завершая грустную тему, С. М. Толстой повторяет, вероятно, позднейшее заключение какого-то врача, с которым он мог беседовать, о том, что заболевание Л. Л. Толстого «было результатом расстройства соматической нервной системы. Этот тип болезней

выявлен в наши дни, но в те времена врачи не могли объяснить их природу» (Толстой С.М. *Дети Толстого*. – Тула, 1994. – С. 139 – 141).

И ещё кое-что, из того же письма С. А. Толстой от 26 декабря:

«Вчера была у нас плохенькая ёлка, но дети остались довольны. Пришла Наташа Оболенская, артельщиконы малыши и маленькие Фридман <дети учительницы музыки Е. Н. Фридман. – Р. А.>. Андрюша всем распоряжался. Соня Мамонова и Стёпина Машенька тоже были. Обед тоже был для меня грустный. В прошлом году в Ясной все были вместе, и Маша с Эрдели были, и на ёлку ребят пустили. Всё это я с грустью вспоминала, и всё больше и больше остаётся в прошедшем; как куст с цветами или яблоня с плодами — так жизнь: осыпаются цветы и плоды, и всё голее и голее дерево и, наконец, совсем засохнет» (Там же. С. 487).

Как не вспомнить здесь запись из дневника Софьи Андреевны Толстой от 15 мая 1891 года:

«Весна во всём разгаре. Яблони цветут необыкновенно. Что-то волшебное, безумное в их цветении. Я никогда ничего подобного не видала. Взглянешь в окно в сад и всякий раз поразишься этим воздушным, белым облакам цветов в воздухе, с розовым оттенком местами и с свежим зелёным фоном вдали» (ДСАТ – 1. С. 185).

Запись из блаженных, прекраснейших дней весны, когда не было голода, а была прелесть цветущего яблочного сада и робкая, как всегда с оглядкой, с недоверием к миру — но всё же её попытка радоваться весне и жизни, надеяться на лучшее... Как на плоды великолепно цветущего сада. Увы! Это «лучшее» опять и снова не сбылось. И картина сада, уронившего плоды свои и облетелого — печально переключаясь с процитированной выше записью дневника Софьи Андреевны — становится красноречивым символом всей тяжести для них обоих уходящего года и всей мрачности вероятных перспектив года нового, 1892-го.

Здесь Конец Главы Четвертой





Глава Пятая.
ДУХОВНЫЙ ЦАРЬ РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ
(Январь – март 1892 г.)

И если завтра начнётся пожар
И всё здание будет в огне,
Мы погибнем без этих крыльев,
Которые нравились мне.

Где твои крылья?..

(Илья Кормильцев)

МЫ начали книгу нашу с цитаты из ноября 1891 года, из письма, отправленного в Бегичевку Н. Я. Гротом, в котором он, сообщая о «мерзостях», творящихся в Петербурге вокруг известий о голоде, назвал Л. Н. Толстого «духовным царём», на которого возлагаются все надежды лучших людей России в это трудное время (см.: *Опуньская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Мат-лы к биогр. с 1886 по 1892 г. М., 1979. С. 251 – 252*).

И это не было хвалебным преувеличением, а было правдой. Даже противу рожна поначалу (не желая, как мы помним, участвовать сперва никаким образом в благотворительности при участии денег), но Толстой *естественно* для человека христианского сознания и христианского же религиозного понимания жизни, выстраивал систему своих, по поводу голода, отношений с общественным окружением таким образом, что неизбежно духовно влиял на множество современников — способствуя делу Бога и Христа в мире. Пусть и внутри государства, пусть для большинства только на время, но он собирал их в христово братство — в Церковь истинную, способную не только благотворить трудом, а не мирскими неправедными богатствами, но и духовно противостоять слугам мирских насилия и лжи. Развитие этой системы в последующие десять лет несомненно дало почувствовать российской имперской сволочи всю опасность этого духовного влияния Льва Николаевича для возлюбленного ими государства Российского: потому что верно понятое христианство Христа несомненно противостоит *всякому* государству: как на уровне религиозного христианского понимания жизни, разоблачающего

давно отжитые суеверия низшего, языческого и еврейского, жизнепонимания, так и на уровне общественного устройства жизни, в котором закон насилия должен быть отменён законом любви, и разбойничьи гнёзда государств, разделяющих людей ради власти над ними, должны быть побеждены единою Церковью Христа и прямым безгосударственным общинным самоуправлением.

Хорошо известно суждение о Толстом в дневнике писателя, журналиста и театрального критика А. С. Суворина (1834 – 1912), записанное им 29 мая 1901 г., вскоре после публичного «отлучения» Толстого от православного лжехристианства:

«Два царя у нас: Николай II и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай II ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой несомненно колеблет трон Николая и его династии. [...] Новое время настанет, и оно себя покажет. [...] Хоть умереть с этим убеждением, что произвол подточен и совсем не надо бури, чтоб он повалился. Обыкновенный ветер его повалит» (*Суворин А.С. Дневник. М., 2015. С. 314 – 315*).

К сожалению, слишком мало людей последовали за духовным царём Львом — и революционной «бури» России избежать не удалось. Нам, однако, важно в этом суждении Алексея Сергеевича признание *политического* значения духовного авторитета Толстого-христианина.

Авторитет этот, как мы уже показали, повлиял, сколь было можно, и на ближайшее окружение Льва Николаевича: на его жену и детей, на его духовных единомышленников (среди которых, заметим, не было Владимира Черткова — во всяком случае, в предприятиях, вредных для его жизни и здоровья). Все вместе они составили, как в шутку их называли тогда, «министерство Льва Николаевича Толстого» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого: В 4-х тт. М., 1922. Т. 3. С. 185*). Совершенно особенное по важности министерство — раз уж заведовал им не простой министр, а сам Духовный Царь России!

Если в начале 1891 г. в деятельности Софьи Андреевны в связи с определением судьбы «Крейцеровой сонаты» и «Плодов просвещения», ещё превалировал интерес личный и семейный, в том числе денежный, то в «голодном» деле, начатом осенью этого же года, она уже — пусть и не единомышленница мужа во Христе, но активнейшая, инициативная и талантливая союзница и соратница, вдохновлённая и окрылённая духовным авторитетом мужа... и одновременно — жена, заботливая о здоровье любимого мужа. Год 1892-й явит это союзничество без общей веры в не менее ярких и исторически значимых формах, нежели предшествующий.

5.1. Солнечные веретёнца под январским свинцом (Начало 1892 г.)

Мы оставили Льва Николаевича в предыдущей главе в момент его отъезда в Москву, к семье, с которой он пробыл с 1 по 23 января 1892 г., не оставляя руководства, посредством переписки, деятельностью столовых и закупкой продовольствия. Результаты впечатляли: по сведениям из письма Л. Н. Толстого от 12 января к Н. Н. Гемладшему, к этому времени в открытых Толстым столовых ежедневное получали питание 4000 человек (66, 135).

В этом же письме Толстой сообщает, что, благодаря зимнему «отпуску», «кажется, кончил» большое своё «писание» (Там же). Здесь Толстой имеет в виду трактат «Царство Божие внутри вас», который, однако, позднее снова стал переделывать и продолжать.

В письме к В. Г. Черткову от 15 января Толстой обнадеживает его в том же преждевременном окончании сочинения: «Нужно это, нужно. Может быть, я заблуждаюсь, но мне кажется, что, пища это, я делаю то, что велит Бог» (87, 124). Кроме того, Толстой сообщает духовному другу некоторые новости о себе и общем деле:

«Я ещё в Москве, и очень, каюсь, тягочусь здешней жизнью. Здесь всё идут пожертвования, есть ещё деньги столовых на 30 и всё прибывают, а когда я уехал оттуда, там было 70 столовых и были просьбы от деревень 20 очень нуждающихся, которые я думал, что нельзя удовлетворить. А теперь можно, а я сижу здесь. А 30° мороза, а там нет во многих близких местах ни пищи, ни топлива. Жена обещается ехать со мной туда на неделю, она на неделю, а я останусь после 20-го... Не говоря о том, что всё-таки я там нужен, моя-то жизнь здесь ненужная» (Там же. С. 123–124).

В последнем своём суждении Царь Лев был не прав. По поводу московского «привала» супруга, С. А. Толстая отмечает в мемуарах: «Прожили тогда со мной в январе Лев Николаевич и дочери Таня и Маша целых три недели, и я отдохнула немного душой...» (Толстая С.А. *Моя жизнь: В 2-х тт. Том 2. [Далее сокр.: МЖ – 2]. С. 249*). Не без удовольствия наблюдала она, что муж, приобретя опыт практической организации сложнейшего дела, стал с иными критериями подходить к людям, и прежние отношение к единомышленникам по вере так же изменилось: «...Я замечала, что Льву Николаевичу как будто привычнее, легче и приятнее было общение с людьми обыкновенными, своего круга, и исчезла та узость и упорство, которые были

в нём раньше. Добрее, проще принимал он все впечатления города, семьи и событий» (*Там же*).

Была бы Соня мужчиной, она бы поняла: нельзя «узко и упорно» выделять из толпы уважателей и обожателей *мнимых* учеников и друзей, если на поверку, в испытании они оказываются предателями, даже фарисейскими осудителями общего дела. А таковые, именно из числа «толстовцев», уже появились тогда в Бегичевке. А вот мама Соня, всем любящим сердцем тянувшаяся к возможности *понять* мужа и Христа, и не поминая, явила преданность этому же делу и немалый, с первых же дней, талант в его обеспечении самым насущным: деньгами и людьми! При этом деликатно уступив своему Царю Льву морально необходимое ему лидерство. Находясь в Москве, Толстой тяготился «суею, праздностью, роскошью, тщесла-вием и чувственностью московской жизни» (*Дневник, запись 30 января; 52, 61*). Все три московские недели он продолжал путём пере-писки руководить деятельностью столовых и закупкой продоволь-ствия. «За главного» в этот раз остался второй сын Толстого Илья, *Илья Львович (1866 – 1933)*, так же, как и отец близко сошедшийся с пышной и великолепной, а главное трудолюбивой и неутомимой, казачкой Еленой Персидской. А скоро папка подарил себе и сыну ещё одну верную помощницу, нами выше уже упоминавшуюся. С презентования её Толстой открывает письмо к сыну, которое при-везла в Бегичевку сама гостья:



Илья Львович Толстой в 1894 г.

«Любезный друг Илюша!

Письмо это передаст тебе В[еличкина], девица, которая может трудиться. Пока пускай она помогает вам, когда приедем после 20-го, мы устроим её иначе. Очень жаль, что не написал тебе приехать прежде к нам, чтобы поговорить с тобою обо всём. Я очень боюсь, как бы ты, по незнанию всех условий, не наделал ошибок. Писать нужно было бы о стольком, что и не начинаю, притом, не зная, что и как делается.

Одно прошу тебя, будь как можно осторожнее, поддерживай дело, не изменяя. И главное заботься о приобретении, подвозе приходящего хлеба и правильном его размещении, и о том, чтобы в столовые не попадали могущие кормиться, получающие достаточную помощь от земства и, с другой стороны, чтобы не отвергнуты были нуждающиеся.

Теперь надо помогать топливом самым бедным. Это очень важно и трудно, и тут, как это ни нежелательно, уже лучше, чтобы получили ненуждающиеся, чем чтобы не получили нуждающиеся.

Что сено от Усова? Я боюсь, чтобы Ермолаев тут не напутал. Они пишут про разбитые тюки. Надо поскорей поднять его и свезти к Лебедеву в Колодези *<Напомним для читателя: это село Данковского уезда, километрах в пятнадцати от Бегичевки, где был один из складов продуктов в имени Ершова, управляющим которого был Лебедев. – Р. А.>*. Приискивай картофель на местах, не продают ли где, и покупай. Много ещё нужно, но нельзя распорядиться перепиской, не зная что и как. Полагаюсь на тебя. Пожалуйста: делай из всех сил. Целую тебя, передай поклоны наши Елене Михайловне и Наташе и всем, кто там.

Л. Т.» (66, 137).

Скажем несколько слов о *Григории Алексеевиче Ермолаеве* (даты жизни не установлены), о котором Толстому придётся упоминать в письмах разным адресатам неоднократно. Григорий Алексеевич был торговцем, а у Льва Николаевича — комиссионером на базе близ станции Сызранско-Вяземской железной дороги Клёкотки, в 35 км. от Бегичевки. Он заведовал приёмом, хранением и выдачей приходящих на имя Толстого грузов. С. Семёнов в статье «На голоде у Л. Н. Толстого» отмечал: «Клёкотки была ближайшая станция от Бегичевки, главного пункта распределения помощи голодающим, устроенного Л. Н. Толстым. На этой станции был склад всех продуктов,

направляемых для районной помощи ихз Москвы и других местностей. Заведовал складом и наблюдал за всем живший на станции комиссионер Ермолаев. Он принимал всё привозимое по железной дороге и отправлял по требованиям в те места в которых продукты были нужны. Продукты были следующие; мука, крупа, соль, горох, керосин и дрова. Дров шло огромное количество. В этих местах обыкновенно топили соломой, а при неурожае соломы топить было нечем. И крестьяне, кроме голода, должны были переносить и холод (). На все операции с грузами Толстой регулярно получал от Ермолаева выписки из приходно-расходной книги.

С Верочкой Величкиной, упомянутой в начале письма, мы уже знакомы читателя. У ней, как мы помним, есть собственные воспоминания, и пора дать ей слово. Рассказ о первых шагах к бессмертию рядом с именем Льва Толстого она начинает с того, как в конце 1891 г. она вступила с сестрою в одно из благотворительных московских обществ «либеральной интеллигенции», кумекавшей на своих собраниях, как бы подступиться к помощи народу:



Вера Михайловна Величкина.
Фото 1891 г.

«Посылать ли просто деньги, или муку, или же лучше прямо печёным хлебом, — так как деньги и муку голодные крестьяне могут, мол, пропить, — и кому, и как посылать?…» (Величкина В. У Л. Н. Толстого в голодный 1892 год. Современник. 1912. № 5. [Книга пятая,

май.] С. 162). Вера чувствовала, что она не там и не с теми, где и с кем должен быть человек, реально желающий помочь голодавшим крестьянам Умная Верочкина мама посоветовала дочерям расплестись с городской либероидной интеллигентской сволочью и обратиться непосредственно к Льву Николаевичу Толстому. Не без колебаний, Вера Величкина так и поступила. Но визит в московский дом Толстых в конце декабря, ещё до приезда Льва Николаевича к семье, был напуганной девочкой морально провален:

«Ко мне вышла Софья Андреевна. Взгляд, которым она окинула меня, был не только неласков, но прямо даже враждебен. Впоследствии она говорила, что, увидев мою маленькую, худенькую фигурку, она никак не могла себе представить, чтобы я могла серьёзно работать, и с досадой подумала, что это будет только обуза для её близких. Тем не менее, она не отказала решительно, но сказала, чтобы я приехала 3-го января, когда из деревни вернутся её муж и дочери, так как сама она не может сказать ничего определённого, — она не вполне в курсе дела» (Там же. С. 163).

Такой совет был, как минимум, ошибкою Софьи Андреевны: в первый день 1892 года семья только-только собралась вместе и какое-то время *им всем* было не до деловых разговоров (хотя Толстой продолжал непрерывно помнить и думать о деле). Поэтому, когда Верочка, наивный полурёбенок, утром 3-го января явилась снова к Толстым, перехватившая её на пути к отцу Татьяна Львовна обошлась с гостьей откровенно неласково: «У нас открыто уже до семидесяти столовых, — говорила она, — открывать больше мы пока не решаемся, так как нет средств, а на эти у нас достаточно работников, и кроме того, просится масса народу, — все хотят ехать на голод» (Там же. С. 163 – 164).

Не исключено, что у матери и дочери были вполне понятные и, более того, связанные одно с другим побуждения для отказа: во все годы замужества Софья Андреевна была мучительно ревнива — хотя и безосновательно: любящий муж был ей предан всегда и не допускал для себя даже мыслей об «изменах». Однако присутствие в удалении от неё, в «команде» Толстого, молодых красавиц не могло не раздражить её — а значит, навредить и самому делу, в которое жена Толстого вдохнула уже немало *своей души* и *влила своей крови*.

Но Таня Львовна была не только умным человеком, но и художницей, обожавшей ум и красоту во всех и везде, где и в чём, и в ком находила их. Вот почему, испытав к Верочке с первого взгляда большую симпатию, она шепнула ей совет: зайти через несколько дней ещё разок.

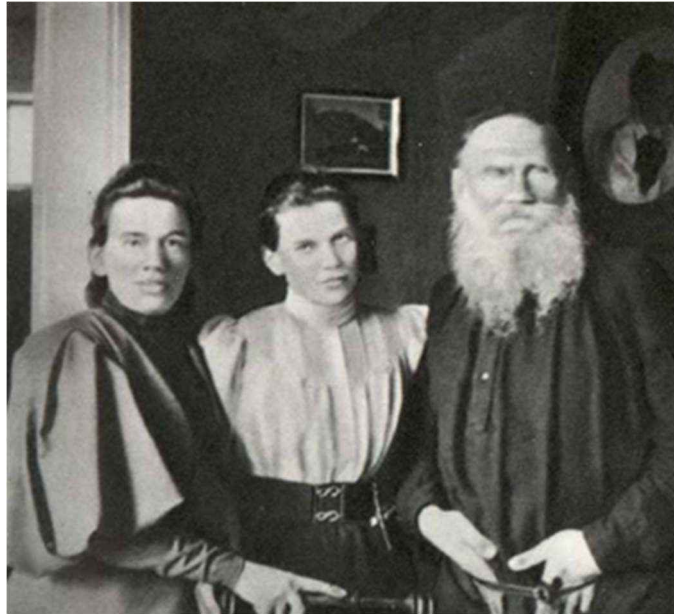


Т.Л. Толстая в 1892 г. Рис. И.Е. Репина

И в этот третий визит, 11 января, Вере Величкиной повезло: к ней вышел сам Царь Лев. Бросив один лишь взгляд на Верочку, на этого трясущегося от холода и страха аппетитного оленёнка, Духовный Царь России почувствовал и понял: она должна быть в его команде! К удивлению Верочкиному, с первых же минут беседы он смотрел на неё «уже как на сотрудницу в своём деле и рассказывал, в чём оно, собственно, состояло» (Там же). Кстати сказать, очень образно и мудро рассказывал:

«Мы находимся в положении людей, у которых в руках находится большой сосуд, и из этого сосуда нам нужно разлить в стоящие перед нами крохотные пузырёчки и скляночки, не разлив ни капли жидкости зря и влив в каждую из скляночек как раз сколько нужно. Это — очень нелёгкое дело и требует огромного, самого мелочного внимания к каждому отдельному случаю» (Там же. С. 164 – 165).

Пропустив 12 января, семейный праздник — Татьянин день, именины Татьяны Львовны — 13-го, в понедельник, Вера Михайловна явилась к Толстому, где, подальше от очей Софьи Андреевны, в маленькой комнатке преданной единомышленницы отца, второй дочери его, Марии Львовны, её снарядили в путь, снабдив приведённым нами выше письмом.



Лев Толстой с дочерьми Таней и Машей

Рассказывает Илья Львович:

«"Помощница", вручившая мне это письмо, приехала на лошадях со станции в то время, когда мы с Персидской садились ужинать.

Старый столяр, служивший нам за лакея, докладывает: "Ещё барышню Господь послал".

Входит девица-курсистка с огромной банкой монпансье под мышкой и подаёт мне письмо от отца.

Я попросил её сесть и предложил ей ужинать.

На столе стояла кислая капуста с квасом и чёрный хлеб.

Несчастливая москвичка посмотрела, хлебнула две ложечки и уныло притихла, с нежностью посматривая на свои конфеты.

"Попала в голодные места, тут только одна капуста и есть, что бы я стала делать, если бы не догадалась взять с собой эти карамели", — читал я на её лице.

Когда принесли котлеты, она вся так и просияла.

На другой день, чуть свет, она потребовала себе "работы".

Я велел запрячь ей лошадь и попросил её поехать с кучером в деревню Гаи и переписать там всех столующихся» (Толстой И.А. Указ. соч. С. 223).

С воспоминаниями Веры Величкиной мемуары Ильи Львовича разнятся здесь одной деталью: Вера таки выехала без кучера. Поворочавшись так и этак в неприлично жёстких для неё *розвальнях* и довольно точно вообразив жёсткость предстоявших в пути толчков, она, чтобы сберечь хотя бы до первых встреч со Львом Николаевичем интимные свои мягкости, решила, не объясняясь ни с кем, ехать одна и *стоя*. Илья Львович вспоминает:

«Через полчаса вваливается ко мне Дмитрий Иванович Раевский (брат Ивана Ивановича), весь в снегу, и с ужасом говорит мне:

— Что я видел? На дворе метель, стоит какой-то ребёнок в санях и мчится куда-то без дороги один. Лошадь здешняя. Кто это?

Я так и ахнул.

Оказалось, что девица поехала без кучера неизвестно куда.

Пришлось послать человека её искать и привезти домой» (*Там же. С. 223 – 224*).

К удивлению сотоварищей, кинувшихся с кучером в погоню ей, Верочка не заблудилась и даже, пока не настигли её в Гаях, успела исполнить поручение! Несмотря на это, временно её отставили от поездок, поручив быть до времени при Льве Николаевиче и помогать прекрасной Елене Персидской с лечебными порошками и прочим потребным для крестьянских детишек.

По окончании трёх недель Софья Андреевна выехала в Бегичевку вместе с мужем, так как, по собственным её словам, «решила сама поехать посмотреть на месте, как производится помощь голодающим и как там живут все мои» (*МЖ – 2. С. 252*). Однако настроение её накануне поездки и в дороге намекает: несчастная ждала от своей поездки нечто недоброе для её с супругом личных отношений. Уже в дороге, в поезде, ей стало плохо: её раздражили разговоры мужа с пассажирами до такой степени, что наконец «сделался нервный припадок, удушье», сменившиеся, как обыкновенно, припадком депрессивным. Повторились нервные симптомы, сопровождавшие и до того стрессовые для супруги Льва Николаевича ситуации поездок, переездов — в последний раз, мы помним, Соня писала о таких состояниях мужу в письме от 23 октября 1891 г., предполагая там же, что ей нужно сходить к психиатру (*Толстая С.А. Письма к Л.Н. Толстому [Далее сокр.: ПСТ]. М., 1936. С. 447 – 448*).

К сожалению, такие болезненные состояния повторялись и в дни пребывания Софьи Андреевны в Бегичевке, чему способствовала, конечно же, физически и психологически напрягающая обстановка в «Большаке» (так народ издревле звал Бегичевку за проходящий поблизости проезжий тракт). Вот картина из письма Софьи Андреевны к сестре от 1 февраля 1892 г.:

«Дом тут низкий, тёмный, грязный; обои тёмные, воздух душный, природа безотрадная, народ бедный, грязный, очень добродушный и жалкий... Если бы ты видела, Таня, как тут всё некрасиво и скучно, и природа, и люди, и дом, и вся жизнь. Может быть, когда Дон растает, то вид изменится; большая река очень красива и приятна» (*Цит. по: Опульская Л.Д. Материалы... 1886 – 1892. С. 257*).

Те же впечатления от Бегичевки повторяет она, не меняя акцентов, и через много лет, в мемуарах: «Дом мрачный, природа скучная, степи, река замёрзшая, лесу нет. И везде горе, несчастье, голод, слёзы... Столовые производили отрадное впечатление. Но когда я видела всё это, на меня всё-таки находило отчаяние невозможности помочь этой громадной безнадёжной нищете, и делалось тоскливо на душе» (*МЖ – 2. С. 254 – 255, 257*).

Борясь с депрессией, Соничка всё же взялась за общий труд. Вот что рассказывает о нём и о всей своей поездке она сама в дневнике: «Лёвочка с Таней и Машей приезжали <из Бегичевки в Москву> два раза: первый раз от 30 ноября по 9 декабря. Второй раз от 30 декабря по 23 января. Бывало много гостей, мы все рады были быть вместе, но ещё тяжелее было разлучаться. Тогда я решила сама ехать с Лёвочкой и Машей в Бегичевку, а Таню оставила в Москве с детьми.

[...] Приехав в Тулу, мы застали Елену Павловну Раевскую, у которой остановились, больную, с страшной болью в ноге и лихорадкой. Она, бедная, никак не может поправиться со смерти мужа.

[...] Из Тулы 24-го мы поехали по скучной Сызрано-Вяземской дороге на Клёкотки. В вагоне у меня сделалось удушье и нервный припадок. Лёвочка всё выходил, был суетлив, беспечен и молчалив. Погода была отвратительная: таяло, шёл дождь, небо серое тяжело свисло, ветер дул страшный. Мы поехали в двух санях: Маша, повар Раевских — старичок Федот, и Марья Кирилловна; а в других, маленьких санках мы вдвоём с Лёвочкой. Было тесно, темно и жутко. Машу всю дорогу тошнило, а меня тревожило, что Лёвочка простудится от такого ветра.



Народная столовая общественного питания.

Село Большой Муром, Нижегородская губерния, Княгининский уезд. Фото М. П. Дмитриева, 1891 – 1892 гг.

Наконец доехали к ночи. Встретили нас в Бегичевке, в доме: Илья, Гастев, Персидская, Наташа Философова и Величкина. Илья был в странном боязливом духе... На другое утро он уехал, и мы остались с нашими помощницами.

Жили мы с Лёвочкой в одной комнате. Я взяла все письменные работы и уяснила что могла в их делах. Потом я пошла посмотреть столовые. Вошла в избу: в избе человек десять, при мне стали собираться ещё до 48 человек. Все в лохмотьях, с худыми лицами, грустные. Войдут, перекрестятся, сядут. Два стола сдвинуты, длинные лавки. Чинно усаживаются. В решете нарезано множество кусков ржаного хлеба. Хозяйка обносит всех, все берут по куску. Потом она ставит большую чашку щей на стол. Щи без мяса, слегка приправлены постным маслом. К одной стороне сидели все мальчишки. Эти были веселы, смеялись и радостно приступали к еде. После щей давали похлёбку картофельную; или же горох, пшённую кашу, овсяный кисель, свекольник. Обыкновенно по два блюда на обед и два на ужин. Мы обошли и объехали несколько столовых. Сначала я была в недоумении, как относится народ. Но во второй столовой какая-то девушка, серо-бледная, взглянула на меня такими грустными глазами, что я чуть не разрыдалась. И ей, и старику, сидящему тут же, и многим, я думаю, не легко ходить получать это подаяние. Не дай бог взять, а дай бог дать, — это справедливая русская пословица.



Детская столовая в школе села Черновского.

Село Черновское, Нижегородская губерния, Сергачский уезд.

Фото: М. П. Дмитриева (1891—1892)

[...] Самое трудное в деле, которое все наши взяли на себя, — это выбор беднейших. Это трудно и в выборе кому ходить в столовые, и в раздаче дров, и в одежде, которую тоже жертвовали, и во всём. Когда я сделала списки, последние дни было 86 столовых. Теперь открыли до ста. Раз мы с Лёвочкой ездили вдвоём в чудный ясный день по деревням. Справлялись на мельнице о помолё; заезжали в другой склад провизии велеть выдавать пшена (из Орловки) и вообще узнать о выдаче; и наконец открыли столовую в Куликовке, где погорелые. Вошли к старосте, спросили о беднейших. Велели ему позвать на совет ещё старцев и мужиков. Собрались мужики, сели на лавки. Стали их спрашивать, какие семьи беднейшие, и назначали по столько-то человек из семьи ходить в столовую. Когда я всех переписала, Лёвочка велел приезжать за провизией во вторник и бабе, жене старосты, предложил иметь столовую у себя так, как прочие погорелые.

Возвращались мы сумерками: с одной стороны красно село солнце, с другой поднялась луна. Ехали мы по Дону и степями. Местность плоская, скучная. Только по берегам Дона красиво расположены старые и новые усадьбы.

По утрам я кроила с портным поддёвки из пожертвованного сукна, и мне их сшили 23; большую радость доставляли мальчикам эти поддёвки и полушубки. *Тёплое и новое*; это то, чего некоторые от рождения не имели» (Толстая С.А. *Дневники: В 2-х тт. Т. 1. С. 218 – 220*).

Юная Верочка Величкина, поражённая, с любовью и восхищением смотрела на трудолюбие и хозяйственную хватку преданной Царицы Духовного Царя и настоящей чародейки повседневности:

«Софья Андреевна была возмущена, что у нас было так грязно и беспорядочно в комнатах, и прежде всего принялась, со свойственной ей энергией, наводить порядок. Она сама мыла и тёрла полы, на обеденном столе появилась чистая скатерть, и вообще, в доме почувствовалась женская, хозяйственная рука. Затем она занялась нашей голодающей кассой, которую до сих пор вела Елена Мих<ай>ловна»; заглянула в наши склады и увидела, что там лежит много разных пожертвованных материй, платья, белья и т. п. Нам присылали всевозможные вещи, иногда даже совершенно непригодные для крестьянского обихода. [...] Софья Андреевна призвала деревенских портних, быстро заставила их перекроить на поддёвки для мальчиков-подростков всё сукно и тут же поскорее сшить, пока не прошла зима. Она сама всё время следила за кройкой, стоя целые дни в холодной, нетопленной комнате. Энергия её была поразительна, и скоро множество мальчиков защеголяли уже в новых поддёвках»

(Величкина В. У Л.Н. Толстого в голодный год // Современник. СПб, 1912. Книга пятая. [Май.] С. 174 – 175).

После отъезда Софьи Андреевны это портняжное подспорье не прекратилось, удовлетворяя потребности в одежде для крестьян куда лучше, нежели присланная — и недостаточная, и часто слишком роскошная для деревни — одежда.

Своеобразным “эхом” пребывания Софьи Андреевны Толстой в январе 1892 г. Бегичевке является, по нашему мнению, такой смешной и одновременно страшноватый анекдот, записанный в дневнике Татьяны Львовны — в копии, дошедшей до нас, к сожалению, без обозначения даты:

«Смешно рассказывал Чистяков о разговоре, который он слышал в Горках. Заговорили о папá, и один мужик говорит другому, что он слышал, что «этого графа надо *потребить*». А другой говорит: «Дурак ты, говоришь, такого человека *потребить*. Он умнеющий человек. Коли сам царь, бросивши дела, мог с его супругой осьмнадцать минут руководствоваться... а ты говоришь “потребить”» (Сухотина-Толстая Т.А. Дневник. М., 1987. С. 260; ср.: Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого. М., 1922. Том третий. С. 182).

Достоверность анекдота может вызывать сомнения: в “правдинском” издании дневника Т. А. Сухотиной-Толстой составитель делает особое примечание, указывающее на источник публикуемой записи: том третий «Биографии Толстого» П. И. Бирюкова. Не все странички дневника сохранились, но Павел Иванович списал анекдот с одной из утраченных впоследствии — оплошно не обозначив дня, к которому относилась выписка. В том же “правдинском” издании она датирована весьма приблизительно: «Вторая половина ноября – первая декада декабря (?) 1891 г. (?) Бегичевка». Такая датировка оставляет вопрос: от кого простые мужики-крестьяне могли знать в декабре 1891 г. о приеме, оказанном 13 апреля 1891 г. С. А. Толстой в Аничковом дворце императором Александром III? Жена добилась этой аудиенции, не предупредив о планах своих мужа — именно потому, что догадывалась о его неизбежном неодобрении. Но сама она, судя по записям в её дневнике тех дней и по воспоминаниям о них в книге «Моя жизнь», гордилась и тем уважением, которое вызвала в императоре, и существенными результатами аудиенции, в том числе разрешением к печати «Крейцеровой сонаты» супруга. С наибольшим вероятием, именно она могла не стерпеть — проболтаться, похвастать своей поездкой к царю, когда трудилась рука об руку с простыми крестьянками — вплоть до указания длительности аудиенции! А уж бабоньки разнесли историю на много вёрст окрест...

Таким образом, датировать запись следует не концом 1891-го, а, как минимум, началом 1892 года.

Для сравнения. Значительно более страшный анекдот, не смешной, зато более достоверный, приводит в дневнике своём Екатерина Ивановна Раевская. Со слов Л. Н. Толстого, было подслушано, как один мужик хвастал другому:

«— Еду я из Скопина (Лев Николаевич никогда в Скопине не был), — ораторствует мужик в кабаке. — Идёт граф эвтот в полушубке по большому трахту пешком. — Говорит: “Подвези меня”. Я его посадил в свои сани.

— Куда едешь? — говорит.

— Спешу домой, — говорю. — Завтра Микола, у нас храмовой праздник. Хочу угоднику Миколе помолиться, чтоб урожаю помочь. А он, граф-то: “Никоего нет Миколы! Никоего угодника нет! всё враки!” Я развернулся, да его в зубы! Он так с саней и покатился.

Мы негодуем, а Лев Николаевич только смеётся» (*Раевская Е.И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих. Указ. соч. С. 397*).

Такая хвастливая байка вполне могла быть озвучена кем-то из крестьян: “благодаря” влиянию не симпатизировавших к “еретику” Толстому попов. Такие случаи неприязни к Толстому и его команде среди тех даже, кого он кормил и спасал в голодный год, были нередки.



Fröken Kuzminskij och bönder.

Вера Кузминская и крестьяне около столовой.
Фото Й. Стадлинга. 1892 г.

После поездки и трудов в Бегичевке на какое-то время потеплело на Соничкином сердце: она поделилась с мужем заботливое отношение к народу как к голодным, раздетым и больным, нуждающимся в заботе детям. Но постепенно, по мере роста усталости, тоскливое состояние снова брало верх... Она не могла не убедиться, что никаких «измен» с женскими участниками Божьего служения со стороны мужа не было и нет. Свой вклад трудовой, сколько хватило сил, она внесла. Более оставаться в Бегичевке было не для чего — да и просто опасно для её здоровья. Измучив своей тоской и себя, и Льва Николаевича со всею командой помощников, 3 февраля Софья Андреевна «грустно рассталась» с мужем, который, видя её нездоровье, «очень мучился» необходимостью расставания (*МЖ – 2. С. 257*). На следующий день, 4 февраля, он адресовал ей в Москву довольно пространную приписку к письму М. А. Толстой — успокоительную и как бы намекающую, что её эмоции и поведение не сбили с рабочего настроения «команду» Льва Николаевича. Приводим ниже основной текст.

«Мучался о тебе, милый друг, вроде как в тот вечер о наших девицах. Только дай Бог, чтобы так же напрасно. Нынче получил от Ермалаева выписку и сводил счёты и писал деловые письма, и считали с конторщиками. Всё вполне уяснил и мог бы тебе похвастать. От Писарева получил весь первый заказ 12 вагонов. От Колечки 1 вагон ржи и 4 гороха, из которых один послан Наташе. Знаю, и где они, и сколько осталось. Утомляют и мучают попрошайки. А нынче я решил насчёт дров; и с завтрашнего дня будем выдавать записанным, более чем 200, семействам записки на дрова.

Если успеешь, похлопочи у казны и у Хомякова о дровах. Нынче я убедился, что эта нужда ужасная и что попрошайничество очень путает представление о действительности нужды.

<Упомянут Дмитрий Алексеевич Хомяков (1841 – 1919), сын А. С. Хомякова. В «Моей жизни» С. А. Толстой есть указание, что Хомяковым было пожертвовано 50 куб. сажень дров (тетрадь VI, стр. 215). – *Ред.*>

Сейчас написал письмо <Н. И.> Тулинову о горохе, который он просил у нас, и, между прочим, желая подбодрить их, высказал то, что сам чувствую. Много есть тяжёлого, и самое тяжелое это попрошайничество, недовольство, требовательность, зависть и т. п. И мы на это досадуем. Нам кажется, что всё должно идти гладко, ровно, без тяжести борьбы и напряжения, — не напряжения труда (его не много нужно, и он лёгок), а напряжения доброты, насколько её есть;

а как же это может быть, когда находишься в исключительном положении и делаешь исключительное дело. Всё кажется — и нам так казалось сначала — что это что-то вроде *partie de plaisir*; [прогулки;] но чем дальше входишь в дело, тем тяжелее, и попрошайничество есть показатель исключительного положения.

Ох! как ты доехала! Не было ли у тебя мрачных мыслей? У меня нет. И если вспомню о тебе, то проходят, и чувствую только грусть, что тебя нет. Прощай, голубушка, целую тебя и детей.

А. Т.

Узнай о льне [...]. Завтра поеду, если хороша погода, в Андреевку <село в 17 км. от Бегичевки. — Р. А.> о соломе и тамошних столовых» (84, 114 – 115).

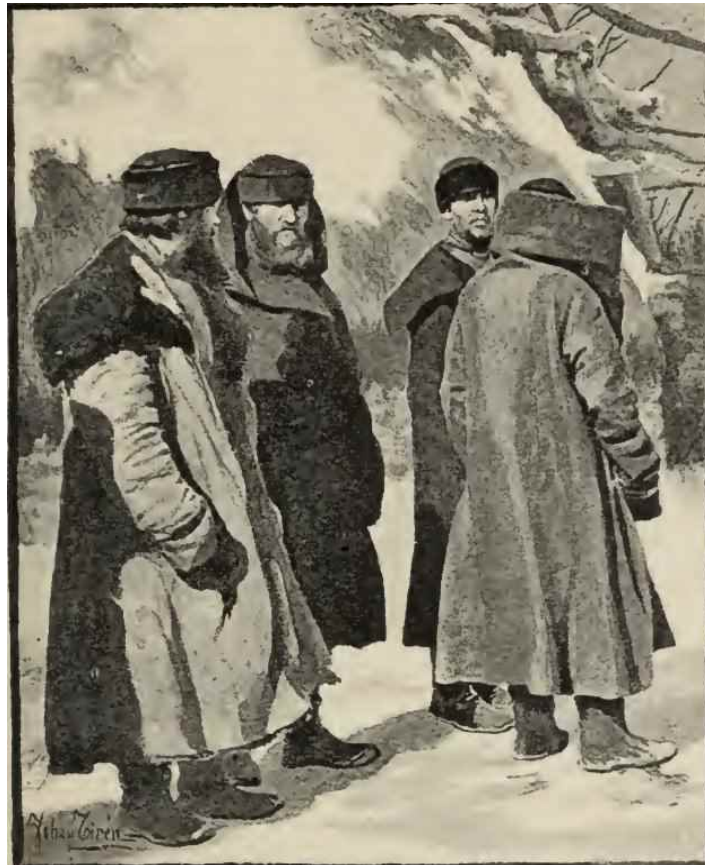
Положение Софьи Андреевны в общем деле помощи голодающим — как жительницы Москвы — определило её судьбу: участие в этом деле (а позднее, по причине возрастания известности и авторитета) и множестве других общих с мужем исторических предприятий — поневоле более активное и тяжёлое, связанное с массивом разнообразной, атакующей её сознание, информации. Как следствие, именно её письма будут снова, как и в предыдущих главах, весьма информативны и источниково ценны для нас, но потребуют и существенного комментирования.

Приведём здесь же ещё один женский взгляд на повседневность христианского служения Духовного Царя России — на этот раз не от Царицы его, а от Верочки Величкиной, оставшейся после отъезда Софьи Андреевны помощницей Толстого:

«Каждое утро вставали мы в седьмом часу, так как передняя была уже битком набита народом. Если мы немножко просыпали, то Лев Николаевич, проходя по коридору, стучал нам в двери. Утро работали мы вместе в передней, разбирая просьбы, нужды собравшегося народа. Затем кто-нибудь один оставался дома, а остальные разъезжались по окрестным деревням, всегда посоветовавшись раньше со Львом Николаевичем. Он неизменно был в курсе дела и всегда помнил каждую мелочь, куда и зачем нужно было ехать. Но занятие с народом в передней его всегда несколько расстраивало и мешало его литературным работам, и мы, по возможности, старались предупредить его приход, чтобы он мог поработать утром за письменным столом. В такие дни он чувствовал себя гораздо лучше, спокойнее. Но

это не всегда удавалось, так как вставал он очень рано и не мог видеть, чтобы народ дожидался» (*Величкина В. У Л.Н. Толстого в голодный год // Современник. СПб, 1912. Книга пятая. [Май.] С. 172 – 173*).

Картина сия в мемуарах Веры Величкиной не датирована, но её смело можно отнести к почти что каждому утру Толстого и его команды в Бегичевке. В приватной беседе вечером 5 марта 1892 г. с Е.И. Раевской Толстой такие приёмы в передней крестьян назвал как главную причину своей усталости:



В ожидании помощи...

Зарисовка по фото Й. Стадлинга. 1892 г.

«Ведь вы не видели, что у нас в доме делается? У нас каждый день такая давка, как бывает в соборе, когда архиерей служит! И неизвестно, кто тут приходит? Какие-то ребята, которые вовсе ничего не просят, а так, стоят. Пишешь у стола, и вдруг против вас у самого стола стоит старик с котомкой и мальчуган. Зачем пришли? и сами не знают, а так, стоят.

Жена требует, чтоб к 15 марта я вернулся в Москву, и я даже рад, что она это требует, потому что сам чувствую, что мне необходимо отдохнуть» (*Раевская Е.И. Указ. соч. С. 414*).

5. 2. «Ах, так у тебя есть крылья? Порвем! Порежем! Обломаем!» (Реакция «русского мира» на христианское служение Толстого)

В дневниковой записи своей от 16 февраля 1892 г. Софья Андреевна Толстая называет ещё одну вероятную причину плохого своего настроения в бегичевской поездке. В самый день отъезда Толстому принесли статью из № 22 «Московских ведомостей», «в которой перифразировали статью Лёвочки “О голоде”, написанную для журнала “Вопросы философии и психологии”, и, сопоставив её с прокламацией», объявили Льва Николаевича революционером. Мы с Лёвочкой написали опровержение, которое он меня заставил подписать, и уехали» (ДСАТ – 1. С. 218).

Назад в Москву приехала только Соня, и, таким образом, на её именно плечи легли не только испуг за мужа, себя, детей и общее христианское дело в связи с возможными последствиями раздутого «Московскими ведомостями» скандала, но и важная и неблагодарная работа опровержения клеветы.

Самое первое в данном параграфе Пятой главы нашей книги, встречное, от 4 февраля, письмо Софьи Андреевны — уже из Москвы, то есть, очевидно, написанное сразу по возвращении. Главная тема письма — очередной подлый выпад журналистов газеты «Московские ведомости». Мы остановимся на этой теме подробнее ниже, в комментарии к письму С. А. Толстой от 12 марта, так же посвящённому в основном клевете «Московских ведомостей».

Приводим основной текст письма от 4 февраля.

«Милый друг, на всякий случай пишу тебе на Клёкотки, может быть, будет случай. [...] Доехала я благополучно, спала хорошо. В Москве сегодня страшная, именно без преувеличения, *страшная* метель. Что-ты вы все делали и как провели день? Хотя и Ванюшка ласкается очень приятно, и мальчики мне рады, и жизнь здесь удобнее и легче, но мне жаль было тебя оставлять. От этой поездки во мне вдруг перевернулось чувство досады и недоброжелательства к тому, что ты всех нас бросил и уехал от нас, — на чувство сожаления к тебе и сочувствия к твоей тяжёлой, но, конечно, несомненно полезной деятельности. Я увидела, как тебе трудно и далеко не весело, и как невозможно теперь всё это оставить.

Первое впечатление в Москве — это общий крик и стон о “Московских ведомостях”. Таня, Вера — из Петербурга, Стаховичи три: мать

и две дочери, Алексей Митрофаныч и пр. — все с разными рассказами, которые передадут и тебе. Таня видела Суворина, просмотрела en regard [*фр.* наглядно сопоставляя] статью у Грота с “Московскими ведомостями” и Суворин телеграфировал, чтоб напечатали моё опровержение. Пришёл утром Грот, он больше всех хлопотал в Петербурге, и очень умно. Носил гранки, с которых переводил Диллон, — к Плеве, показывал о смысле, как *поднимется народ*; эта фраза всех с ума свела, и её никто не понял, а он всем толковал. Государь, будто, сказал Александре Андреевне: «Посмотрите-ка, прочтите, что наш с вами *protegé* [любимец] написал». Очень будет досадно, если государю не объяснит никто этой клеветы “Московских ведомостей”. Ещё рассказывали, будто тебя хотели водворить <т. е. с позором, с полицией выслать по месту жительства. — Р. А.> в Ясной Поляне, но что государь сказал: «Толстого не смей трогать». Всё это пересуды. Но что государь своим добрым сердцем чует всегда правду — это я уверена. Про Диллона говорят, что он ненавидит Россию и нарочно прибавил злое к твоей статье, едва заметное, но ехидное. Вот Таня тебе это всё расскажет. Грот удивительно мил и предан тебе всей душой.

Гостей сейчас — мальчики Раевские, Коля Оболенский, Соня Мамонова и Машенька Стёпина. Дети легли, я устала, иду спать. Как здоровье Наташи, целую Машу свою, Вере и Елене Михайловнам мой дружеский поклон, и тебя обнимаю.

[...] Я тебе советую взять ещё помощника прямо себе, чтоб меньше работать; а то тебе слишком трудно. Напиши ответ мне; присылай скорей обратно то, что посылала почтой Таня: английские деньги, объявления на моё имя, Лёвины письма. Ну, прощай.

С. Толстая» (ПСТ. С. 488 – 489).

По сведениям из архива В. Г. Черткова, приводимым биографом Л. Н. Толстого Н. Н. Гусевым, 30 января 1892 г. министр внутренних дел И. Н. Дурново сделал доклад Александру III по поводу опубликованного «Московскими ведомостями» “перевода” статьи Толстого. Признавая, что эти “письмо” Толстого «по своему содержанию должно быть приравнено к наиболее возмутительным революционным воззваниям, и считая, что привлечение в настоящее время графа Толстого к ответственности может повлечь нежелательное смятение в умах», министр считает целесообразным «предложить графу Толстому через рязанского губернатора прекратить на будущее время печатание в иностранных газетах статей противоположи-

тельственного направления, с предупреждением его, что в случае отказа подчиниться этому требованию правительство, к сожалению, вынуждено будет сделать иные распоряжения для прекращения вредных последствий такой пропаганды». Александр III приказал «оставить на этот раз без последствий» (*Цит. по: Гусев Н.Н. Летопись... 1891 – 1910. С. 66*).

Вероятно, на основании именно этих сведений комментатор сборника писем С. А. Толстой, вышедшего в 1936 г. выражает уверенность, что причина отклонения царём от Толстого ожидавшихся репрессий заключалась не в добром сердце императора Александра III, а исключительно «в том, что он учитывал силу общественного мнения, которое было на стороне Толстого. То, что правительство не тронуло Толстого, объяснялось популярностью последнего» (*ПСТ. С. 489. Комментарии*). Рискнём предположить, что истина в данном вопросе... приблизительно посередине. Софья Андреевна пересказывает в мемуарах слова императора так: «Толстой меня предал моим врагам англичанам, а я его жену принял». И ещё, по поводу подтасовок и лжи «Московских ведомостей»: «Меня не интересует эта подлая газета, а интересует *мой Толстой*» (*МЖ – 2. С. 259*). В то же время хорошо известно и высказанное императором нежелание, сделав из Толстого мученика, «обратить на себя всеобщее негодование» (*Цит. по: Бирюков П.И. Указ. изд. Т. 3. С. 175*). Так что в решении Александра III оставить доносы «Московских ведомостей» без последствий сказались разнообразные факторы: безусловно, и авторитетность Духовного Царя России, но в то же время и неприязнь российского императора к журналистской лжи, а равно и добрые воспоминания от общения: литературного, через книги и театр — с Л. Н. Толстым, а приятнейшего личного — с его супругой.

От последующих дней, 5 и 6 февраля, мы располагаем только письмами Л. Н. Толстого, являющимися, однако, по выводу комментаторов, ответами на два неизвестных письма Софьи Андреевны (см. 84, 115 и 116). Первый из ответов, от 5 февраля (№ 483 в томе писем) — совсем краткая приписка к письму М. А. Толстой:

«Как обрадовало меня твоё письмецо, не могу тебе выразить. Мы очень осторожны и тихи. Я нынче утром хорошо писал. Целую тебя и детей» (*Там же. С. 115*).

«Хорошо писал» — вероятнее всего, трактат «Царство Божие внутри вас», в котором Толстой «увяз» на годы.

Следующее послание Толстого — вполне самостоятельное, в отдельном конверте, письмо, но тоже достаточно краткое, в основном о текущих делах. Мы приводим в начале Главы такое письмо Л.Н. Толстого целиком — как образец многих подобных в дальнейшем, которые мы, по возможности, будем уже пересказывать и сокращать.

«Сейчас 8 часов утра четверга. Яков Петров <Я. П. Шугаев, приятель Раевских. — Р. А.> едет в Москву и пришёл спросить, не будет ли письма. Вчера мы писали тебе, и с тех пор ничего нового. Мы здоровы, бодры. Нынче хотели ехать — я в Куркино (Ефремовского уезда), много там дела, и проведать Гастева, который один; а Маша в Осиную Гору <деревня Данковского уезда, в 15 км. от Беги́чевки. — Р. А.>. (Они вчера кидали жребий с Верой Михайловной <Величкиной>, кому ехать, и вышло Маше). Но опять метель, и придётся дожидаться. Вчера стали выдавать записки на дрова. Вчера получили Танино письмо и твоё, и объявления на посылки. Вероятно, Танина там. Был вчера у Наташи. У неё всё жар. Теперь покойно, что Софья Алексеевна там. — Новосёлов тоже всё болен. Теперь зубами. Маша всё спит. Целую тебя, Таню, Веру и детей.

Вероятно, теперь будет оттепель. Это бы хорошо для Таниной поездки.

Л. Т.» (Там же. С. 116).

Стоит заметить, что оба письма Толстого к жене из Беги́чевки были отправлены не по почте, а «с оказией». Это стало часто практиковаться Толстым: у него было теперь много помощников, приезжающих и отъезжающих из Беги́чевки, и письмо было, с кем послать — минуя почтовую контору.

Софья Андреевна, судя по всему, отправила мужу от 6 февраля два письма, текстом одного из которых мы располагаем:

«Написала на Клёкотки и пишу ещё в Чернаву, чтоб вы не беспокоились. <Дочь> Таня и Вера <Кузминская> выедут завтра в ночь и прямо уж к вам. У Веры железы распухли, и Таня первый день совсем здорова. Приехали <из Беги́чевки> Поша <П. И. Бирюков> и <И. Е.> Репин. Вчера до трёх часов ночи сидел М. Стахович. Измучили меня толки о статье «Московских ведомостей». Таня пишет, что был собран в Петербурге комитет министров и решили тебя выслать за границу, но что государь отменил и сказал: “предал меня врагам моим”, и будто очень он огорчён: — “И жену его принял, ни для кого

этого не делал”. — Погубишь ты всех нас своими задорными статьями; где же тут *любовь и непротивление*? И не имеешь ты права, когда 9 детей, губить и меня и их. Хоть и христианская почва, но слова не хорошие. Я очень тревожусь и ещё не знаю, что предприму, а так оставить нельзя. Буду осторожна и кротка — это будь спокоен. Целую тебя и Машу.

С. Т.» (ПСТ. С. 490).

Как видим, в этом письме (и, вероятно, в двух предшествующих, не опубликованных, от 5 и 6 февраля) выразилось беспокойное состояние Софьи Андреевны, вызванное слухами о возможных репрессиях против Толстого как автора статьи 14 (26) января в “вражьей” английской газете «Daily Telegraph», названной в переводе Диллона весьма привлекательно для читателя: «Почему голодают русские крестьяне?» (у Толстого было просто: «О голоде»).

Стиль статьи «О голоде», как мы и отмечали в предшествующих главах, действительно, местами «задорен». Но в целом Соничка, как, впрочем, и император Александр III, пеняют автору, Толстому, совершенно напрасно. Он не «губит» ни себя, ни семью, а, обличая общественные неправды орудием *слова* — не нарушает и христианского закона непротивления злему насилеи. «Губить» могла только Российская империя, как все империи — духовная наследница языческого мира, в частности римлян, убийц Христа. И лживо оправдать себя в этом государство Российское может и по сей день — только опираясь на *нехристианское* массовое сознание и общественное мнение в России, на массовую этатистскую *суеверность* обитателей гнусного «русского мира».

Пенять и царю, и жене следовало бы, прежде всего, на цензуру — запретившую полезнейшую, особенно нужную в создавшейся в стране обстановке статью Толстого, но в то же время допустившую её распространение в искажённых отрывках и пересказах. Конечно, такие тексты могли быть восприняты и как политическая прокламация Толстого. На деле же обращена статья «О голоде» была к *совести* городских дармоедов — не менее жёстко обличая их, нежели написанная Толстым несколькими годами ранее «Сказка об Иване-дураке», по сей день “не перевариваемая” в своём идейном содержании городской интеллигентской сволочью. Как раз в те дни, 20 января 1892 г., явились особые циркуляры, за №№ 429 и 430, Главного управления по делам печати, запрещающие продажу отдельным изданием этой остроненцензурной сказки (Гусев Н.Н. *Летопись... 1891*

– 1910. С. 63). Не мезтью ли тайной, в числе прочего, и за неё были выпады «Московских ведомостей»?

Софья Андреевна понимала всё это. Она, одна из немногих в России, могла прочесть *и* полный текст статьи мужа, *и* настоящие прокламации радикальных пропагандистов тех лет... которым она, судя по приводимым ею в мемуарах их отрывкам, даже *отчасти* сочувствовала: потому что *на деле* познала в 1891 – 1893 гг., какова цена общественного активизма в России, стране неуёмной имперской паранойи, всеторжествующего неуважения и недоверия власти к собственным гражданам:

«Правительство смотрело на дело помощи голодающим очень несочувственно. Чего-то боялись, всему мешали, а сами в правительственных сферах, очевидно, не справлялись с помощью народу» (МЖ – 2. С. 249).

А где лукавство, скрывание, подлое изворачивание, враньё — там рядышком традиционно и воровство:

«Дело помощи обставлено так, что нельзя быть уверенным, доходят ли пожертвования по назначению. Правительство охраняет безгласность злоупотреблений и делает невозможным обличение администрации...» (Там же. С. 250).

Это — цитата из прокламации петербургского «Свободного слова» за январь 1892 г., приводимая Софьей Андреевной в мемуарах. Но под этими словами она готова была бы подписаться. Люди, присылавшие ей деньги для голодающих, часто сопровождали свои посылки записками такого характера:

«Прошу принять в ваши *чистые* руки для дела помощи народному бедствию...

Или ещё, при переводе в 33 рубля:

«Чтобы эти скромные средства не стали ещё скромнее в руках хищников, которых за это время так много развелось на Святой Руси, мы решили послать эти деньги именно Вам, многоуважаемая Софья Андреевна, как особе, вполне заслуживающей доверие общества...» (Там же. С. 251).

Как видим, чиновным «закромам родины» умное меньшинство населения России доверяло в конце XIX столетия не больше, чем сто лет спустя, чем в наши дни... да и поделом!

Итак, Софья Андреевна на самом деле *сочувствовала* мужу, в особенности понимая, что критика его самая умеренная: по содержанию, хотя, увы, не по «задорному» стилю. Но страх за мужа и детей от этого не становился меньше. Его подогревали разнообразные слухи, вызванные скандалом, раздутым «Московскими ведомостями»:

«Были слухи, что Толстого хотят водворить безвыездно в Ясной Поляне, но что Государь строго приказал Толстого не трогать никак. Брат Стёпа писал мне из Витебска, что ходят слухи о ссылке Толстого в Соловецкий монастырь. Сестра ещё писала мне из Петербурга, что был собран Комитет министров, на котором решено было выслать Льва Николаевича за границу» (*Там же. С. 259*). Такие придворные слухи вспоминали позднее А. В. Богданович в своих мемуарах «Три последних самодержца» (про «разговоры о необходимости выслать Толстого или посадить его в дом для умалишённых») и А. А. Толстая, писавшая в мемуарах о проекте заточения Толстого в тюрьму Суздальского монастыря — ошибочно приписывая этот проект гр. Д. А. Толстому, умершему в 1889 г. (*Гусев Н.Н. Летопись... 1891 – 1910. С. 64*).

Сестра Софьи Андреевны и её муж, А. М. Кузминский, предупреждали в письмах довольно мутно о некоей *опасности*, грозящей всей семье Л. Н. Толстого, если он немедленно не опубликует опровержения на публикацию в «Daily Telegraph». Этим “заботливая” родня достигла лишь того террористического эффекта, которого не могла достигнуть глубоко презренная Софье Андреевне газета: она заболела и слегла с невралгией, как раз тогда, когда готовила уже было новую поездку в Петербург «для личного объяснения с властями» (*МЖ – 2. С. 260*). Пришлось ограничиться письменными сношениями.

Написанное в ночь на 8 февраля к мужу письмо вполне передаёт нервное, мучительное и суетливое состояние Софьи Андреевны:

«Весь нынешний день провела в писании писем: министру внутренних дел, Елене Григорьевне Шереметевой <урожд. гр. Строганова (1861—1908), внучка Николая I, дочь вел. кн. Марии Николаевны. – Р. А.> и в «Правительственный вестник». Помог мне в составлении письма в газету Грот. Но вряд ли где и что-либо напечатают. А вместе с тем я беспрестанно слышу и читаю угрожающие слухи. Сегодня получила письма от Александра Михайловича Кузминского и от Тани. Оба с участием и каким-то отчаянием пишут мне о какой-то опасности, умоляют меня *скорей* действовать, вызывают в Петербург. Но дипломатично умалчивают, в чём именно опасность? Я сегодня чуть не уехала в Петербург с курьерским поездом. Но боюсь детей оставить и боюсь нервного удара, так как затылок, висок, все скулы странно и напряжённо болят. Весь день вздрагиваю и жду, что вот, вот известие придёт, что сделают с нами что-нибудь не хорошее. Будет нечто очень печальное: тебя сошлют, у меня будет удар, и дети останутся одни. И за что, подумаешь! Как же не нашли

в этой статье ничего предосудительного, когда читали её в цензуре для журнала Философии? Неужели объяснение «Московских ведомостей», что это революционное движение, могло переменить суть её? Что может наделать злоба людей!

Написала, как могла, всюду. Но не довольна письмами. Слишком я взволнована, чтоб хорошо и умно действовать. Если б мы были все вместе, всё легче бы было! — Пишите мне, милые друзья, чаще, и если будет случай, даже телеграфните раз, что вы все там и благополучны. Мне смешно вспомнить, Лёвочка, что ты беспокоился о том, что я *озябну*. Если б ты знал, насколько хуже и ужаснее то состояние, в котором я теперь, — всякой простуды и болезни.

[...] О себе ты ничего не пишешь, надеюсь, что ты здоров. Сегодня вечером была у меня m-те Юнге и помогала мне писать. Если б не она, кажется, с ума бы сошла одна.

[...] Прощайте, милые друзья, не могу больше писать, скоро два часа ночи, а я уже столько писала! [...]

С. Толстая» (ПСТ. С. 491).

13 февраля министр внутренних дел Дурново ответил Софье Андреевне отказом: «При всём желании исполнить Вашу просьбу, я затрудняюсь допустить обнародование доставленного мне Вами опровержения, по той причине, что оно, вызывая по существу своему вполне основательные возражения, несомненно породит дальнейшую полемику, весьма не желательную по соображениям, до общественного порядка относящимся» (Цит. по: Там же. С. 492).

В ответе от 11 февраля отказала в публикации и правительственная газета. И, как всегда было и есть в подлой, дрянной, сволочной стране России, только обращение «по знакомству» и «по благу», а именно к могущественной графине Е. Г. Шереметевой, имело результат: та, выждав удобный случай, дала почитать царю *настоящий*, не искажённый, текст статьи Л. Н. Толстого «О голоде» (МЖ – 2. С. 260 – 261). Конечно, Софья Андреевна была недовольна собой: «Слишком я была взволнована, чтобы умно и хорошо действовать» (Там же. С. 261).

Контрастом всей этой нездоровой катавасии — очередное, от 9 февраля, письмо из Бегичевки Л. Н. Толстого, твёрдо и спокойно продолжавшего своё христианское служение:

«Третьего дня ездил в Ефремовский уезд, в Куркино. Погода была очень дурна, дождь. Я доехал до купца Сычёва и, помня твои

наказы, остался ночевать. Прекрасно спал, купил солому, устроил, что нужно было для корма там лошадей, и вернулся вчера благополучно, повидав Гастева и столовые тамошние, в которых многое неправильно было.

Дома у нас англичанин Стевени, возвращающийся из Самары от Лёвы с хорошими известиями о нём. Он здоров и хлопочет.

Дело всё видоизменяется и растёт. Но труда особенного нет. Помощники много и хорошо работают. Вчера я купил 1000 пудов проса для переделки в пшено и для корма лошадей отходом. Всё это поручил Григорию Фёдоровичу Кузнецову <кучер у Раевских. – Р. А.>, и тот прекрасно действует; свёл счета на мельнице и осмотрел и исправил столовые.

Ещё хороший, кажется, будет помощник <Фёдор Алексеевич> Страхов.

Вчера получил твоё письмо обо всех толках по случаю статьи «Московских ведомостей». Всё это пройдёт и забудется, и чем скорее, тем лучше. Мы же давай содействовать тому, чтобы это скорее забылось, т. е. молчать об этом. От Грота очень хорошее письмо. Скажи ему, что благодарю его за добрые речи. Разумеется, чем добрее, тем лучше. — Но мандарин не зол, а прямо в глаз, от того возбуждает.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

В письме к Толстому от 30 января Н. Я. Грот писал, что ему приходится «ежедневно спорить и защищать» Толстого от нападков в петербургских аристократических кругах.

В своём письме Грот сообщал, что давал читать письма о голоде, предназначавшиеся к печати, своему тестю Лавровскому, попечителю императорских богоугодных заведений, которому сначала статья понравилась, «но как дошёл до места о Вольтере и о мамадышских крестьянах, так вдруг рассердился». Толстой намекает на то, что анализированный нами выше образ «китайского мандарина», приводимый им в статье «О голоде» и сопоставленный с положением русских крестьян по отношению к кормящимся их трудом «элитам», оказался весьма меток и точен, и именно поэтому вызвал читательское раздражение, в особенности у лиц, гордившихся прежде своей «благотворительной» деятельностью. – Р. А.]

[...] Писарев телеграфировал. Что, он не думает приехать к нам? — Таню сейчас ждём. Она приезжает, а англичанин уезжает.

Маша едет в Чернаву за почтой и по дороге открывать столовые в двух деревнях. С ней едет Страхов, которого мы помещаем в Скопинском уезде. — Я очень хорошо думаю последнее время, и на душе

хорошо. Целую тебя и детей. — Пишу, торопясь. Постоянно тебя теперь вспоминаю.

Л. Толстой» (84, 116 – 117).

Идиотский цензурный запрет статьи Льва Николаевича «О голоде» с последующим, вполне предсказуемым, попаданием его в российскую печать окольными путями, вызвал нездоровое, ажиотажное внимание к статье. Советник при министре иностранных дел Владимир Николаевич Ламздорф с неодобрением здорового консерватора записал в понедельник, 27 января, в дневнике: «Со всех сторон просят этот номер на прочтение; его нельзя приобрести ни за какие деньги; говорят, в Москве за номер этой газеты предлагают до 25 рублей». И в другом месте, уже 31 января: «Прокламации, захваченные на днях, находились в прямой связи с мыслями, высказанными Толстым. Это доказало действительную опасность письма. В связи с этим в городе было произведено несколько обысков. По видимому, соответствующие власти находятся в большой нерешительности, не зная, принята ли меры против “Московских ведомостей” или же против графа Льва Толстого и как это сделать. Последний располагает, ввиду широкой раздачи пособий голодающим, опасными средствами пропаганды и пользуется большой популярностью» (Ламздорф В.Н. Дневник. М. – Л., 1934. С. 254, 261). Сам Владимир Николаевич, как и многие в те дни, не сомневался в подлинности перевода и в справедливости “выводов” консервативной, как и он сам, газеты: «...Слишком хорошо узнаётся неподражаемый замечательный стиль нашего великого писателя. [...] Гениальные, всеобъемлющие и прекрасные мысли близки к истине и в то же время ложны и опасны именно в силу таланта, с которым они высказаны. Это квинтэссенция социализма, но отнюдь не христианского социализма, основывающегося на любви и сострадании» (Там же. С. 248).

О более глубокой, нежели консервативные общественные убеждения, причине неприязни публики к неполной и искаленной газетчиками статье Л.Н. Толстого «О голоде» писал Толстому один из главных, как мы помним, заинтересованных в её публикации и, до поры до времени, одобрявших её персонажей — Николай Яковлевич Грот. 30 января тот сообщает Толстому, что «весь Петербург уже целую неделю только и говорит» об его статье о голоде. «Все богатые тунядцы раздражены против вас донельзя». «Но надо сказать, что и Вы виноваты немножко. Ваши письма всё-таки полны раздражения, злобы и презрения к богачам... Вы... когда пишете, то не спокойны

вполне и даёт направо и налево пощёчины» (Цит. по: Гусев Н.Н. *Летопись... 1891 – 1910. С. 65*).

С развитием конфликта, в письме уже 21 марта 1891 г. из Петербурга к Аф. Аф. Фету Н. Я. Грот сетовал:

«...Лев Николаевич задал такую работу языкам (перьям не даёт работать цензура), что нельзя не удивиться. На него вооружились все чиновники, светские люди, духовные, литераторы и пр., и никто уже не думает разбирать дела, никто не задаёт простого вопроса: да что же он такое ужасное наделал? — а все бранятся с ожесточением, с неистовством. Конечно, во всякое время необходим какой-нибудь предмет для излияния того злословия, которое кипит в груди всех людей, но однако!.. В нём видят какое-то чудовище лицемерия, рассказывают, напр., что он получает 60 тысяч в год и ни копейки не тратит на бедных, что свои блузы ежегодно заказывает у Айе <Филипп Айе, в ту эпоху самый дорогой, популярный у богачей французский портной в Москве. — Р. А.> [...], а вегетарианскую пищу выписывает из Парижа... и т. п. Всё это высказывается с благороднейшим негодованием на такое нарушение правил истинной добродетели» (Ямпольский И. (публ., предисл.). *Лев Толстой в письмах Н. Н. Страхова к А. А. Фету // Яснополянский сборник. 1978. Тула, 1978. С. 120*).

Не последнюю роль в раздувании скандала сыграла и вековая ксенофобская паранойя «русского мира». Помощь голодающим, пересекшаяся с подобной же деятельностью иностранных благотворителей, добавила Толстому знакомств и популярности среди иностранцев и сделала невозможным на все последующие годы столь желанное императору Александру III и российским властям изолированное положение Л. Н. Толстого-публициста и общественного деятеля. Степень открытости Толстого миру и Толстому миру была для той эпохи почти беспрецедентна и бесценна для культурного диалога России с выдающимися представителями культур других народов.

Шпиономания в уже склонявшейся к гибели Российской Империи распространялась «сверху вниз», от власти к обществу, создавая помехи культурному и гуманитарному диалогу народов. В дневнике Е. И. Раевской находим такой диалог Толстого с Екатериной Ивановной, относящийся к началу марта 1892 г.:

«— Сколько же у вас теперь столовых, граф?»

— До ста пятидесяти будет. Ужасно боюсь, что мы зарвёмся и не достанет нам средств поддержать это дело до нового урожая. Аме-

риканцы прислали целый корабль «Индиана», нагруженный кукурузой, но она разошлась по всей России. Мельники американские прислали до 15 000 рублей, и те все разошлись.

— Англичане много наобещали, да что-то не видать от них ничего, — заметила я.

— Англичане прислали, но мало, — сказал граф.

— Не оттого ли, что с ними так грубо обошлись в Петербурге? Сестра мне писала, что приехал в Петербург англичанин и привёз с собой 500 тысяч для голодающих: его приняли за шпиона и выгнали из города» (*Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих. Указ. изд. С. 413*). Вероятнее всего, Раевская пересказала Толстому старушечьи слухи — но довольно показательные!

Впрочем, заметим здесь же для справедливости, что громкость славы и условно «неуязвимый» публичный статус привлекали к Толстому и действительно сомнительных личностей из числа иностранцев. Красноречивый тому пример — визит к отцу и сыну Толстым Джеймса Уильяма Барнса Стевени (*James William Barnes Steveni, 1859 – 1944*). Он жил в Петербурге ещё с 1887 года — официально как учитель английского. Но именно с 1892 года (и до самого 1917-го!) он активно сотрудничает с лондонской газетой «Daily Chronicle», собирая материал о жизни в России. Отчего-то он особенно интересовался политическим положением в России и состоянием вооружённых сил и военных объектов; его обобщающая книга на эту тему «Армия России изнутри» («The Russian army from within») вышла в Лондоне в 1914 г., как раз накануне Первой мировой войны. Это наводит на ряд размышлений о реальном статусе в России этого «мирного» учителя английского языка и газетного корреспондента... в особенности в связи с обиженной репликой императора Александра III о том, что Толстой-де стакнулся с врагами России — англичанами.

Но Толстой отнюдь ни с кем не «стакнулся», как волен был думать о нём император Александр III, а искренне был убеждён, что принимает у себя в московском доме 18 января, а 8 – 9 февраля в Бегичевке — именно обыкновенного иностранного корреспондента, изучающего проблемы России, связанные с голодом и организацией помощи голодающим. В этом же был уверен и Л. Л. Толстой, принимавший гостя в Патровке (см.: *Толстой Л.Л. В голодные годы. М., 1900. С. 69 – 70*). Гость, кстати говоря, возил с собой фотоаппарат и сделал ценнейшие, исторической значимости, снимки... оригинальные негативы которых, однако, тут же отправил своим заказчиком в Англию. В том же 1892 г. вышла в Лондоне книга Стевени «Through

Famine-Stricken Russia», куда вошли все материалы его корреспондентских очерков.

Куда «прозрачней», очевиднее, честнее был новый помощник Толстого, упоминаемые им в письме — *Фёдор Алексеевич Страхов* (1861 – 1923).

Яркая, колоритная персоналия среди «министров» Льва Николаевича, Фёдор Алексеевич Страхов, известный как писатель, как религиозный мыслитель (разумеется, «толстовец») и даже как музыкант. Упомянувшиеся выше в письмах супругов Толстых Клёкотки (в то время в Ефремовском уезде Тульской губ.) были родовым имением Страховых, так что даже свои салонные романсы и пиески для фортепиано Фёдор Алексеевич подписывал псевдонимом «Клёкотовский». За 1892 г. при личном участии Ф. А. Страхова в Рязанской губернии было открыто семь столовых — и это, безусловно, было важнейшим и полезнейшим из всего того, что он сделал к тому времени в своей жизни.



Фёдор Алексеевич Страхов

С именем Фёдора Страхова связан один значительный документ, приводимый П. И. Бирюковым в «Биографии Льва Николаевича Толстого», иллюстрирующий своеобразную «эпопею», протекавшую одновременно с Бегичевской Толстого — эпопею полицейского надзора за Духовным Царём и его «министерством добра». Это донесение, в

виде частного письма, полицейского исправника правителю канцелярии рязанского губернатора:

«Многоуважаемый Василий Иванович. Посылаю вам ещё 5 книжек, розданных гр. Толстым. Дознано: Толстой приезжает с письмоводителем, а в с. Руденку, Горновской волости, приезжал его доверенный, житель с. Клёкоток, Страхов, около 30 лет, высокого роста, борода рыжая, а волосы на голове белые. Как Толстой, так и его письмоводитель и Страхов не едят мясного и когда садятся за стол, не молятся Богу. Это последнее обстоятельство породило в крестьянах подозрение, что Толстой делает это не от Бога, а от антихриста. Но такого мнения не все, а большинство, не мудрствуя, пользуется столовой и заочно благодарят. Надзор, самый тщательный, учреждён, и мне будет известен каждый шаг. С истинным почтением имею честь быть готовый к услугам. Д. Г.» (Цит. по: Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого. М., 1922. Том третий. С. 183).

Теперь продолжение скандальной истории с толстовской статьёй — в письме С. А. Толстой от 10 февраля:

«Милые друзья, сейчас вернулась из Нескучного, где имела длинный разговор с великим князем <Сергеем Александровичем> по поводу статьи “Московских ведомостей” и просила, чтоб он приказал напечатать в газетах моё опровержение. Он очень интересовался ходом дела, но помочь он мне ничем не может. Очевидно, как он и говорил мне, ждут опровержения от тебя, Лёвочка, в «Правительственном вестнике», за твоей подписью; в другие газеты запрещено принимать, и желание это идёт от Государя и любя тебя. Негодование на «Московские ведомости» очень большое и недовольство, главное, не на тебя, а на то, что твоим именем *взволновали умы*. И, чтоб их успокоить, нужно официальное опровержение твоё. Я поняла так, что если б твоё опровержение было и лживое, чего, конечно, никогда быть не может, то оно всё-таки необходимо, потому что из тебя, к которому Государь имел такое доверие, сделали какого-то революционера. Вспомни письмо двух петербургских студентиков, которые написали тебе, выражая своё недоумение. И это недоумение везде. По словам и тону великого князя я поняла, что напряжённо ждут все от тебя несколько слов объяснения, что ничего пока не предпринимают, но что, если это объяснение не появится, тогда.... Вот это-то и ужасно. И объяснение, как он мне дал почувствовать, не для того, чтобы тебе оправдаться, а для того, чтоб в такое время успокоить поднявшееся недоразумение публики и уличить, уничтожить “Московские ведомости”».

Провожая меня, великий князь сказал: “очень благодарю вас, графиня, за ваше посещение”. Потом прибавил: “я слышал, что вы так много трудитесь, что на вас так много возложено обязанностей; во всём вы одна”.

Теперь вот что: напиши, милый друг, несколько слов: а именно: “что в иностранные, периодические издания ты ничего не посылал, ни писем, ни статей, что на основании отказа своего от авторских прав, ты разрешаешь и разрешил и Диллону переводить свои сочинения, что статья, о которой поминают «Московские ведомости», была предназначена для журнала философии и психологии, но что её перефразировали и придали ей совершенно несвойственный ей характер — «Московские ведомости». Всё это будет правда, умеренно и кратко. Ради бога, сделай это, успокой меня; я живу теперь в таком ужасном состоянии. Какая-то судьба нацелилась на мою жизнь, чтоб её уничтожить. Я не сплю, не ем и измучилась более, чем когда-либо. Более всего смутили меня письма Кузминских супругов, которые пришли уже после отъезда Тани.

[...] Всё бы хорошо, если б не эта туча над нами. И чувствуется, что несколько слов от тебя её рассеют, и совершенно.

Сейчас обрадовал меня англичанин Стевени письмом от тебя, милый Лёвочка. Он совершенно разделяет моё мнение о твоём опровержении, т. е., что оно *необходимо*. За что вводить в заблуждение и грех умы слабые, могущие усумниться в истине твоих убеждений? За что смущать студентиков и других любящих тебя людей.

Если в будущем письме твоём я найду твоё письмо в газету, или увижу подписанным тот листок, который прилагаю, я приду в такое радостное, спокойное состояние, в котором давно не была, если же нет, то, вероятно, поеду в Петербург, пробужу ещё раз свою энергию, но сделаю нечто даже крайнее, чтоб защитить тебя и истину, а так жить не могу.

Поздравляю Машу со днём её рожденья после завтра; целую её, Таню и Веру. Как-то они доехали? Рада, что их видел англичанин целыми и приехавшими. Напишите об акушерке, Таня знает, нужна ли она будет? Посылаю переводы и письма из Англии; едет в Тулу Александра Ивановна Бергер <сестра И. И. Раевского. – Р. А.> на свиданье с сестрой Маргаритой Ивановной, которая вам всё и передаст.

С. Толстая» (ПСТ. С. 492 – 494).

Таково письмо С. А. Толстой от 10 февраля. Следующее за ним письмо от 11-го достаточно малоинтересно: посвящено примерно

наполовину вопросам с деньгами и накладными на продовольствие, со свидетельствами Красного Креста на бесплатную перевозку грузов, а в другой части — подробностям кончины Анны Петровны, жены художника Ге. В продолжение же главной темы предыдущего письма Софья Андреевна пишет следующее:

«Великий князь был, говорят, после моего визита у Истомина и говорил: “мне так жаль графиню, она так волнуется, а ведь нужно только несколько слов от графа, и Государь, и все мгновенно успокоятся”. — Видно, напряжённо ждут этого. — И я жду для своего покоя» *(Там же. С. 495)*.

Конечно же, для любящего мужа достаточно было и того, что ждёт жена. Уже 12 февраля он пишет необходимые письма и жене, и в «Правительственный вестник» *(см.: 84, 118; 66, 161 – 162)*. Через два дня, 14 февраля, делая объезд деревень, Толстой из Богородицка отсылает жене текст своего опровержения — записанный, видимо, по черновику и несколько отличающийся от посланного в газету *(84, 119 – 120)*. Поэтому мы пропустим письмо Л. Н. Толстого жене от 14 февраля и приведём ниже его письмо от 12-го и, как более точный вариант текста, отправленного 14-го Софье Андреевне — письмо редактору «Правительственного вестника».

Письмо от 12 февраля к С. А. Толстой:

«Погода превосходная и мы хотим воспользоваться ею, чтобы съездить в Богородицкий уезд...

Как мне жаль, милый друг, что тебя так тревожат глупые толки о статьях «Московских ведомостей», и что ты ездила к Сергею Александровичу. — Ничего ведь не случилось нового. То, что мною написано в статье о голоде, писалось много раз, в гораздо более сильных выражениях. Что же тут нового? Это всё дело толпы, гипнотизация толпы, нарастающего кома снега.

Опровержение я написал. Но, пожалуйста, мой друг, *ни одного слова не изменяй и не прибавляй*, и даже не позволяй изменить. Всякое слово я обдумал внимательно и сказал всю правду и только правду, и вполне отверг ложное обвинение.

Студенты мне очень помогли.

Целую тебя и детей. Л. Т.» *(Там же. С. 118)*.

И письмо Толстого в газету от 12-го:

«Г-ну Редактору «Правительственного Вестника».

Милостивый Государь,

В ответ на получаемые мною с разных сторон и от разных лиц вопросы о том, действительно ли написаны и посланы мною в английские газеты письма, из которых приводятся выписки и содержание которых будто бы излагается в № 22 «Московских Ведомостей», покорно прошу Вас поместить в Вашей газете следующее моё заявление.

Писем никаких я в английские газеты не писал. То же, что напечатано в № 22 «Московских ведомостей» мелким шрифтом, есть не письмо, а выдержка из моей статьи о голоде, написанной для русского журнала, выдержка весьма изменённая, вследствие двукратного и слишком вольного перевода её сначала на английский, а потом опять на русский язык. То же, что напечатано крупным шрифтом вслед за этой выдержкой и выдаётся за изложение второго моего письма, есть вымысел. В этом месте составитель статьи «Московских ведомостей» пользуется словами, употреблёнными мною в одном смысле, для выражения мысли не только совершенно чуждой мне, но и противной всем моим убеждениям.

Примите, Милостивый Государь, уверения моего уважения.

Лев Толстой» (66, 161 – 162).

Мелким шрифтом «Московские ведомости» опубликовали искажённые выдержки из статьи Л. Н. Толстого «О голоде», крупным же — свою произвольную трактовку этих неверных текстов.

К письму Л. Н. Толстого от 14 февраля с текстом письма-опровержения в черновой редакции Софья Андреевна сделала такое примечание: «Письмо это “Правительственный вестник” отказался напечатать на том основании, что полемика не допускалась в этой газете. Посоветовавшись с Н. Я. Гротом, я дала отгектографировать 100 экз. письма Льва Никол[аевича] и разослала в 30 периодических изданий, из которых многие его напечатали» (Цит. по: 84, 120).

О том же — первая часть довольно пространного письма С. А. Толстой к мужу от 16 февраля, начинающееся предупреждением:

«Не читай вслух.

Спасибо, милый друг Лёвочка, что послал письмо в «Правительственный вестник». Хотя мне Сергей Александрович и говорил, что желательнее бы было, чтоб ты сам написал опровержение в «Правительственный вестник» и что это *успокоило бы умы и удовлетворило вполне Государя*, но бог их знает, напечатают ли. На *моё* возражение, которое я послала, Случевский, редактор «Правительственного вестника» мне отвечал, что «Правительственный вестник» полемических статей не принимает. Истомин же говорил, что это *закон*. Чего, может быть, и не знал вел. кн. Сергей Александрович. Ну, да всё равно. Шереметева покажет *моё* письмо к ней Государю. Это через Павла Ивановича велела мне передать Александра Андреевна и через Кузминских. Сегодня получила от Дурново письмо в ответ на *моё*, что *моё* опровержение, в виду дальнейших толков, напечатать нельзя. Я теперь успокоилась. В московском свете взяли такой тон: «La pauvre comtesse, comme elle est dérangée», [«бедная графиня, как она взволнована»] и т. д. Вчера мне передали, что великая княгиня мне очень сочувствует и велит мне сказать, чтоб я не беспокоилась, qu'il n'y a rien, rien à craindre». [«ничего, совершенно *ничего* бояться»] Второй раз на *rien* [«ничего»] делается особенное ударение. Это Олсуфьева передавала, для передачи мне. Я была у Ермоловой на её субботе и много было народу. — Теперь завтра пост, и я с радостью уйду опять в свою скорлупу, из которой и не вышла бы нынешний год, если б не вся эта глупая история. — Но на долго ли спокойствие? Теперь всегда живёшь, вздрагивая нравственно; вот-вот опять что-нибудь начнёт тебя бить.

Таня кому-то в Москве сказала: «как я *устала* быть дочерью знаменитого отца». — А уж я-то как устала быть *женой* знаменитого мужа! [...] Я письмо в «Правительственный вестник» послала сегодня же, и расписку получила; письмо я очень одобрила» (ПСТ. С. 496 – 497).

К 19 – 22 февраля относится очень большое, даже уникальное в корпусе проанализированной нами переписки, *четырёхдневное* по времени писания письмо С. А. Толстой, в котором, в числе множества иных тем, идёт речь об отказе «Правительственного вестника» и решении по этому поводу Софьи Андреевны и Н. Я. Грота:

«Грот вчера <20 февраля> советовал послать твоё письмо, Лёвочка, во все редакции в России. Где-нибудь, да напечатают, тогда другие газеты имеют право перепечатать. Грот думает, что в «Вестнике Европы» решатся напечатать. Тут говорят, что расстроенная молодёжь рвёт твои портреты и т.д. Вот, что жаль, и вот что следует восстановить» (Там же. С. 505).

Как следует из вышеприведённого примечания Софьи Андреевны к письму мужа от 14 февраля, восстановление репутации Л. Н. Толстого обеспечили сразу несколько газет. Но это, как мы увидим из дальнейшего, не было завершением скандальной истории.

Приводим ниже другие значительные части из письма С. А. Толстой к мужу от 16 февраля, а следом — его ответ от 18-го.

«...На меня нашло беспокойство, что Маша наладила настойчиво ездить сама в Чернаву. Не затеяла ли она тайной переписки с Петей? Это очень не желательно. Что ещё из этого выйдет, а она всю жизнь проводит в этих тайных амуретках, которые лопаются так же, как шары у детей, а на неё налагают ничем не изгладимые пятна и упрёки совести, если она у ней есть, в чём сомневаюсь, так как люди с совестью *не обманывают*, и всё делают открыто и честно. — Если я ошибаюсь, что она *тайно* переписывается, я прошу у ней прощения: но ведь она меня уже столько раз обманывала!» (Там же. С. 497 - 498).

Духовная близость дочери Толстого Марии Львовны к отцу вызывала стойкую неприязнь к ней матери, проявлявшуюся, в числе прочего, в желании «уличать» дочь в отступлении от нравственных устоев в отношениях с мужчинами. На деле ни одно из увлечений Маши не было в те годы ни глубоким, ни длительным, включая краткое сближение с П. И. Раевским, сыном покойного И. И. Раевского, которого добросердечная Маша очень жалела. Толстой к середине февраля 1892 г. уже давно замечал это сближение (уже и сходившее к тому времени на нет), но не придавал ему того гипертрофированного значения, которое придавала неприязненная в отношениях с дочерью мать.

«Насчёт Маши ты хотя и не ошиблась, но я к удовольствию своему вижу, что это проходит. И пройдёт, не оставив следов» — сообщает жене Толстой в своём ответе 18 февраля (84, 122). Так и вышло.

Ещё из письма от 16 февраля, уже обычные новости и выражение беспокойства жены и матери:

«Это письмо везёт Павел Иванович <Бирюков>. Мне его теперь жаль и я его по-старому люблю и уважаю. Куда-то вы его определите? Не исполнит ли он твою мысль о столовых в Самаре? Хорошо бы, если

б он заменил Лёву, а Лёва засел бы за экзамены в университете и не уходил бы из оногo. Но, пожалуй, это безнадежно; вышел из колеи. Я вообще о Лёве и его планах ничего не знаю и не пойму.

Ваша поездка продолжает меня тревожить, какие она будет иметь последствия. Мы с Пошей <Бирюковым> так и ахнули, когда прочли, что ты “поел блинов”. Ты раз чуть от них не умер в феврале же. Самый плохой месяц для желчных болезней. Мне с самой Бегичевки нездоровится, часто стало под ложечкой болеть; пожалуйста, не запускай себя, берегись и ешь осторожно.

[...] Ваничка всё бегал и искал, что послать “барышням”. У него были фисташки, он их все высыпал, потом выпросил у меня ещё что-нибудь и велел написать: “от Вани барышням”. Пусть они не побрезают его коробочкой и вниманием» (Там же. С. 498).

И далее снова «деловая» часть письма: о пожертвованиях, о закупках и перевозке продовольствия, дров... Деньги заканчиваются, и Соничка предупреждает мужа: «Не советую распространяться, пожертвования совсем остановились» (Там же. С. 501). «Распространяться» здесь означает: расширять сеть столовых и других пунктов помощи. В конце же письма следуют, в качестве резюме, вопросы, на которые Софье Андреевне необходимо получить ответы, и приписка для дочери Тани.

Благодаря обоюдному использованию супругами по сию пору актуального в России почтового ресурса под названием «оказия» (т. е. пересылка писем и мелких грузов с кем-то, а не по почте), Лев Николаевич уже 18 февраля имел возможность ответить на это письмо жены следующим:

«Получил нынче утром твоё письмо с Пошей и очень рад был и тому, и другому. Особенно рад, что ты успокоилась. Я не мог беспокоиться, потому что знал, что не сделал ничего особенно дурного; в том смысле, что дурное я всегда, к сожалению, делаю, но с этой статьёй ничего не сделал и, главное, не хотел сделать дурного и ни в чём не каюсь, и потому и беспокоиться не мог.

Вчера мы были очень деятельны, все вечером писали письма, так что всех было готово к отправке 32 письма, из коих моих 20, да ещё большинство иностранных. Нынче утром была выдача, а потом Таня с Верой поехали открывать столовую, на своём хлебе, в Полевых Озёрках <в Епифанском уезде, 10 км. от Бегичевки. – Р. А.>, а Маша ездила в Орловку <в 8 км. от Бегичевки> и принадлежащие к ней столовые, чтоб привести всё в порядок после Кузнецова, которому я, как ни тяжело было, отказал.

Столовые на своём хлебе <с земской выдачи. – Р. А.> приходят в порядок. Их желают и просят в них. И хотя и жалко видеть, как дети идут туда с маленьким ломтиком хлеба, да ещё с лебедой, нельзя давать хлеб тогда, как они получают по пуду на душу, а рядом в Скопинском уезде по 15 фунтов, из которых половина скверные отруби. Третьего дня <Фёдор Алексеевич> Страхов открыл там 5 столовых в новом селе. Нужда там большая, и вчера Таня [...] осмотрела деревню, где надо открыть [столовую] и куда я поеду завтра с Пошей.

Поездка наша удалась очень хорошо. Лёва расскажет, как ехали туда; назад тоже ехали прекрасно и приехали все здоровые. — Результат поездки тот, что туда направлять силы не нужно. — Алёхин Аркадий здесь; поехал в Вязьму и в четверг вернётся и сядет на место с Страховым в Муравлянке <Скопинского уезда, в 20 км. от Бегичевки. – Р. А.> и заменит его, когда тот уедет. Кажется, он будет хороший помощник. Страхов прекрасный, — и жалко, что не может остаться.

[...] Счёты наши хлебные все теперь приведены в ясность, и я с Пошей намерен всё это бухгалтерски изложить.

[...] Ещё не можешь ли ты через кого-нибудь [помочь] [...] в том, что у нас до 50 вагонов, с дровами, разной клажи на платформе станции Клёкотки и по дороге, вдруг, и в самую масляницу, когда нельзя найти подвод, — сделано распоряжение взыскивать за полежалое всё в увеличивающейся прогрессии?

Девочки утомились и спят, а я ходил днём по деревням и устав выспался и теперь ночью пишу тебе.

Ну вот, прощай пока, милый друг, целую Леву, Андрюшу, Мишу, Сашу, Ваню. — Не беспокойся о заразительности тифа Богоявл[енского], мы бережёмся и не ходим. Хотя, кажется, что это не прилипчиво.

Соня! Таня хотела тебе писать, да разоспалась и не успела.

Ванечка! Напиши мне письмо. Я тебя люблю!

Папа» (84, 121 – 123).

И, конечно же, Лев Николаевич отвечает жене на вопросы — так же, по пунктам, как они приведены в её письме. Ему явно понравилась эта деловая эпистолярная дисциплина. Немецкая наследственность Сони плюс опыт, полученный в бизнесе издания книг...

Упомянутый в начале письма «Поша», то есть Павел Иванович Бирюков, ужасно обрадовал Толстого своим приездом 18 февраля. Будущий биограф Толстого станет помощником и заместителем его в Бегичевке на длительное время.

Некоторые мысли и настроения свои, которыми Толстой не дерзал, в особенности в сложившейся ситуации, расстраивать супругу, он доверял прочим своим адресатам. Так, в письме к Н. Н. Ге-сыну от 17 февраля он признаётся:

«Измучился я, голубчик, от этой деятельности, не физически, но нравственно. Если было сомнение в возможность делать добро деньгами, то теперь его уж нет — нельзя.

Нельзя тоже и не делать того, что я делаю, т. е. мне нельзя. Я не умею не делать. Утешаюсь тем, что это я расплачиваюсь за грехи свои и своих братьев и отцов. Тяжесть в том, что не веришь в добро матерьяльной помощи и что главный труд есть не доброе отношение к людям, а напротив — злое, недоброе, по крайней мере: удерживаешь их в их требованиях, попрошайничестве, уличаешь в неправде и вызываешь в них недобрые чувства. Не только в них, но сплошь да рядом и в себе» (66, 165).

Но в этот же день Толстой адресует письмо Сергею Николаевичу Трубецкому (1862 – 1905), в то время исполнявшему, довольно коряво, должность уполномоченного по общественным работам в Рязанской губ., в котором с усталой удовлетворённостью свидетельствует, что «самая острая нужда потушена» (66, 166). Толстой изыскивает возможности помогать другим благотворителям: например, подтверждает письмом 17 февраля писателю-народнику и, в то время, сотруднику Московского комитета грамотности Григорию Александровичу Мачтету (1852—1901) устное своё, высказанное в Москве, обещание передать в распоряжение Комитета сбор от продажи «Русскими ведомостями» 1000 экземпляров брошюры со статьёй «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» (Там же. С. 165 – 166). Дело в том, что Московский Комитет грамотности в голодные годы имел в уездах свои комиссии, устраивавшие бесплатные столовые для школьников.

Софья Андреевна между тем, зная об ужасном и вредном влиянии на поведение потенциальных жертвователей поражающих воображение слухов в иностранной прессе о репрессиях, даже о «заточении» Толстого, позаботилась написать, снова без ведома мужа, и в иностранные газеты, письмо такого содержания:

«Милостивый государь господин редактор!

Ежедневно получаю я письма и вырезки из иностранных газет, где говорится об арестовании моего мужа, графа Толстого. Считаю своей обязанностью сообщить всю правду о муже тем, кто интересуется его судьбой. Графа Толстого правительство не только не тревожит, но администрация, напротив, деятельно помогает ему в его работе на пользу пострадавших от неурожая. Враждебные ему элементы, небольшая горсть, впрочем, с «Московскими ведомостями» во главе, постарались было извратить его статью, написанную для русского журнала и далеко не верно переданную в переводе, в таком смысле, что статья противоречила всем взглядам графа. Случай этот и вызвал все разговоры и толки. В особенности тяжело мне читать в иностранных газетах, что заточение моего мужа произошло по приказанию высшей власти. Высшая власть была всегда особенно благосклонна к нашей семье» (*Цит. по: Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого. М., 1922. Том третий. С. 177.*)

В этот же день, 18 февраля, Софья Андреевна пишет большое письмо дочери Тане — то есть, по сути, и Льву Николаевичу, так как многие письма читались членами семьи сообща. Лично для Толстого в этот день было послано лишь небольшое, в один абзац, письмо, где, самое важное, Софья Андреевна упоминает об иностранных денежных переводах и о посещении её в тот день Александром Александровичем Стаховичем (1830 – 1913), давним (с 1850-х гг.) знакомым Л. Н. Толстого — тем самым Стаховичем, который в 1885 г. дал Соне займы стартовый капитал для издания ею собрания сочинений мужа. Такое добро не забывается.... Но в тот день в гостях у Толстых Стахович пересказал некоторые сплетни, связанные с клеветнической кампанией «Московских ведомостей», и «очень расстроил» Софью Андреевну (*ПСТ. С. 502*). Подробнее о разговоре со старым сплетником Софья Андреевна пишет уже в следующем, *четырёхдневном* своём, очень просторном письме (от 19 – 22 февраля), к изложению которого, с сокращениями и комментариями, мы теперь и приступаем.

Вот первая часть этой огромной корреспонденции, письмо от 19 февраля:

«Милые друзья, посылаю вам накладную на получение капусты. Обратите внимание на то, чтоб *бочки* от неё были целы. Ещё я давно хотела вам напомнить о *мешках*, не помню, писала ли. А мешки стоят несколько *сот* рублей. Я удивилась, когда Количка Ге писал цену мешков.

[...] Я не надписываю на конвертах сколько денег иностранных, так как я теперь посылаю письма иностранные в конвертах и с переводами, как их сама получаю.

Приехал ли, наконец, к вам Бибилов? Меня очень тревожит Бого-явленский. Неужели и он умрёт? Это было бы ужасно! И никакая разлука, ничто меня теперь так не тревожит, как эти болезни. Лёва тоже многое в этой области рискует и за него я страшно буду бояться. Едет ли Поша в Самару? У него такой был измученный и грустный вид последний раз! Мне его очень жаль.

Вчера был старик Стахович, и страшно меня опять расстроил. Не стану повторять всего, но по всему чувствуется, что общество раздражено больше правительства ещё, что на руку правительству, и что мы далеко не безопасны. Малейшее что, и нас не пощадят. Это в Бегичевке стало казаться, что всё ничего, я же тут чувствую себя травленным зайцем, точно и я в чём-то виновата, и такое чувство, что спрятался бы куда, только бы никого не видеть и не слышать.

Лёва поправился, послал отчёт в «Русские ведомости», занялся немного детьми, т. е. говорил с ними. Андрюша плохо учится очень. Жалкий он! Припишу завтра ещё, а теперь принесли кучу писем и дел. Да и грустно что-то, не пишется.

Таня, милая, я посылаю вам все «Argus de la Presse», потому что интересно их читать, но, пожалуйста, сохрани их все и верни потом мне. Это всё *исторически* интересно сохранить» (ПСТ. С. 503).

«L'Argus de la presse» — это парижская консалтинговая и сервисная компания по связям со СМИ, основанная в 1879 году и дожившая аж до 2017-го (когда была разорена и продана американцам). Когда она только начиналась, это была своеобразная дайджест-газета, в которой собирались важнейшие выдержки из прессы. Как ни устала умница Софья Андреевна быть женой знаменитого мужа — а не забывала уже в то время собирать «для истории» отзывы в прессе о деятельности мужа в пользу голодающих. А вот Стахович, конечно, кругом дурак: самое распоследнее из *не подтверждённых ничем* сплетен, что стоило бы доводить до ушей вечно беспокойной матери, живущей в Москве без мужа и с маленькими детьми — это как раз то, что он ей пересказал...

Продолжила Софья Андреевна своё большое послание мужу уже 20 февраля. Судя по всему, распространители слухов не переставали тревожить её:

«[...] Прибежал Миташа Оболенский и спрашивает меня: “правда ли, что Льва Николаевича арестовали и сослали в Ясную Поляну?” Говорят, что в университете прокламации, подписанные “Лев Толстой” и революционные. Я уверена, что и эти прокламации напечатаны в редакции “Московских ведомостей” под фальшивым именем Толстого. Если правда, что прокламации появились, то для меня нет сомнений, что это “Московские ведомости”, благо типография своя.

[...] Очень тревожусь о вас во всех отношениях: болезни, слухи о недовольстве общем на папá, метель, — всё это не успокоительно и вот 4 дня, как ничего о вас не знаю.

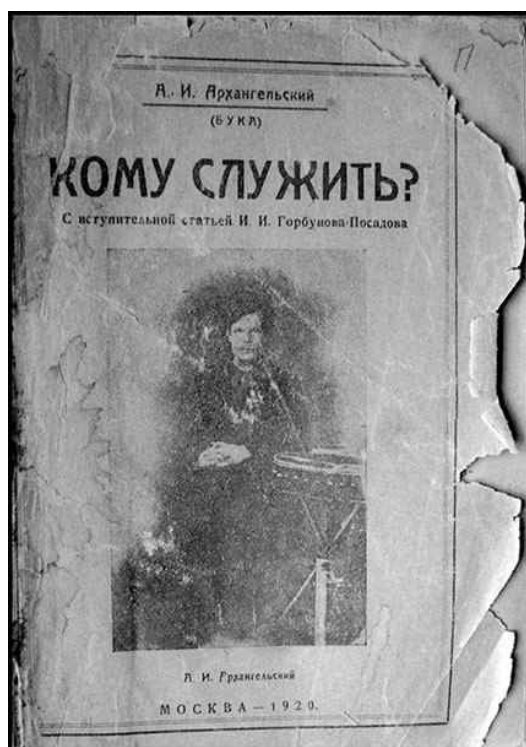
Отправили ли вы Кузнецова? Не берите ни за что неизвестных людей. Если папá трудно, пусть лучше наймёт прикащика какого-нибудь для приёма ржи, вообще всего, для разъездов и практических дел. Да если поискать, в Москве найдутся. Лёва отказывается от этого Архангельского в Бронницах, рекомендации Никифорова. Может быть он вам пригодится; он, говорят, здоровый, работающий, на всё выносливый.

[КОММЕНТАРИЙ.

Александр Иванович Архангельский (1857 – 1906), ветеринарный фельдшер, выходец из духовенства, оставивший службу после знакомства с сочинением Л. Н. Толстого «В чём моя вера?» Знакомый Л. Н. Толстого с 1889 года. Писатель. Публиковался под псевдонимом «Бука». Вершинный труд его — исповедально-биографическая и религиозно-философская книга «Кому служить?», опубликованная впервые в 1911 г. болгарскими толстовцами в г. Бургас (в России — в 1920 г. силами толстовской Общины-коммуны «Трезвая жизнь»). Книга эта была забыта в России почти на столетие, пока её не отыскал и не опубликовал, вместе с биографическими сведениями об авторе, современный исследователь Роман Алтухов. Отрывки и отдельные мысли из книги «Кому служить?» Лев Николаевич поместил в «Круг чтения» и другие свои сборники мудрой мысли.

Отказ Л. Л. Толстого от помощи А. И. Архангельского мог, вопреки сведениям Софьи Андреевны, быть связанным как раз с состоянием здоровья Александра Ивановича. В бытность свою в юные годы воспитанником «духовного» училища (бурсы) и затем попом, он вёл нездоровый образ жизни, в частности много пил спиртного и нанёс тогда же ущерб своему здоровью, наложивший ограничения на его способность к физическому труду. Уже о первой встрече с Архангельским в Дневнике Л. Н. Толстого под 11 февраля 1889 г. осталась характерная запись: «За кофе пришёл Архангельский, фельдшер ве-

теринар Бронницкий, переписывает “В чём моя вера?”, свежий, ясный, сильный человек, но, кажется, пьёт. Надо помочь ему» (50, 35. *Курсив наш.* – Р. А.). То есть выглядел Архангельский как человек пьющий — что подтвердилось позднее для его прошлого. А опыт казённой ветеринарной службы очень повредил характеру Архангельского, что признавал и сам Александр Иванович, выбрав недаром для себя литературный псевдоним «Бука».]



Обложка единственного в Советской России издания книги А. И. Архангельского «Кому служить?» (1920)

Лёвочка, сегодня был у меня от Александра Ивановича Эртеля — какой-то воронежский, кажется, помещик... Он говорил о страшной нужде в их местах, и просил на столовые их, которые они трое открыли — денег. Я спросила: «сколько?» Он говорил: «1000 руб.». Я не дала, не знаю, хватит ли самим.

[КОММЕНТАРИЙ.

Александр Иванович Эртель (1855 – 1908) был довольно выдающимся писателем своей эпохи. Знакомый А. Н. Толстого с 1885 г. Толстой высоко ценил лучший из романов Эртеля «Гарденины» (1889). В 1892 г. Эртель проживал в имении Емпелево Воронежской губернии (нынче это пос. Трудовое Новоусманского района Воронежской области) и оказывал помощь голодающим крестьянам окрестных сёл и деревень. – Р. А.]

Сейчас получила письмо из «Правительственного вестника» с отказом <в публикации написанного Л. Н. Толстым опровержения. – Р. А.>. Прости меня, Лёвочка, что я тебя вызвала это писать. Теперь я зарок даю ни в какие дела не вмешиваться.

Делянов сказал Гроту: «пусть напишет в “Правительственном вестнике” и мы поверим». Великий князь сказал то, что я писала. Вот и пойми их!

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Далее в оригинале письма — приписка от Л. Л. Толстого, гостившего тогда дома из Патровки, опровергавшего дурацкие и злые, смутившие маму, слухи:

«Никто нас не трогает и трогать к несчастью не хотят. В университете сегодня был, никаких прокламаций нет. [...] Я отвык от беспокойства вечного обо всём и суетливости мамá, и это бывает тяжело, но когда вникнешь в источники, откуда идёт это, понимаешь и иногда ценишь её действия» (Цит. по: ПСТ. С. 506).]

[...] Сейчас получила письмо Маши. Очень жалею, что её огорчила, но писала же она П[ете], а хорошо ли она делает, она сама не знает. Если б она была откровенна и послушна, никаких и подозрений не могло бы быть» (ПСТ. С. 504 – 505).

К сожалению, понимающее и деликатное в юные годы отношение сына Льва к непростому характеру матери с годами приведёт его к ситуациям выражения крайней неприязни в отношении отца и к безусловной, непродуманной защите точки зрения матери в её конфликтах с Львом Николаевичем. Эта позиция будет столь же несправедлива, какой была в 1892-м году выраженная в письмах неприязнь Софьи Андреевны в отношении дочери своей Марии Львовны, на которую та ответила матери сама в письме от 20 февраля:

«...Ваши предположения о тайной моей переписке теперь ложны. Давно уже я писала П., но теперь нет. Так что пожалуйста не беспокойтесь об этом и ради Бога не намекайте ни на что П. Всё, что вы пишете относительно меня, очень мне больно. Во всём такая злоба и ненависть ко мне, что ужас» (Цит. по: ПСТ. С. 506).

Папа просил малыша Ваничку написать — и тот исполнил! Его письмо Софья Андреевна приложила к собственному листку, уже 21 февраля, такого содержания:

«Вот вам письмо Ванички в ответ на ваше и просьбу написать. Он второй вечер в жару; других болезненных признаков нет, и всё тревожно и грустно: 38 и 5. Сегодня оживлённо диктовал письмо, красненький, смеётся в постельке. Лёва смотрел, смотрел на него и сказал: “не жилец он на этом свете”. — А мне ещё тоскливей.

Был нынче Стадлинг, из Стокгольма. Сидел, сидел; мы его уж обедать позвали. Очень интересовался положением дел в России, едет к вам.

Получила я, милый Лёвочка, твоё длинное письмо с ответами по пунктам, и очень благодарю. Но что вы с Количкой путаете с покупкой хлеба — я ничего не понимаю. Он пишет, что ты 22 вагона заказал, а ты пишешь, что ничего не заказывал больше. Ничего не понимаю. Завтра перешлю последние 5000 рублей, а уж вы ведайтесь с ними сами. Сегодня телеграммой он мне делает запрос, нужно ли ещё закупать рожь сверх 22 вагонов, так как цена 1 р. 4 коп. Я отвечаю, что не нужно. Ещё припишу завтра утром и пошлю уж всё с Екатериной Ивановной Баратынской» (*Там же. С. 505*).

Екатерина Ивановна Баратынская, урожд. Тимирязева (1859 - 1921) — известная в свою эпоху журналистка и переводчица, жена московского вице-губернатора Л. А. Баратынского, вознамерившаяся тогда включиться в работу бегичевского «министерства добра».

Йонас Йонссон Стадлинг (Jonas Jonsson Stadling, 1847 – 1935) получил в «министерстве Толстого» кличку «швед», коим, собственно говоря, и был. С 1877 г. Стадлинг подвизался в журналистике. С 1891-го — работал на шведскую ежедневную газету «Aftonbladet» и параллельно — на американский журнал «The Century Illustrated Monthly Magazine».

Вот что рассказывает сам Стадлинг о причинах и обстоятельствах своего прибытия в Россию:

«В январе 1892 года, живя в Швеции, я получал письма из охваченных голодом губерний России. В них рассказывалось, в частности, о страдальцах, которые по тем или иным причинам не получали официальных вспомоществований. Ещё ранее небольшие суммы, жертвуемые шведами для помощи голодающим, были направлены в Россию. Но так как друзья в Великобритании и Америке выразили надежду, что смогут собрать более значительные пожертвования, мне предложили поехать в Россию и попытаться организовать там благотворительную работу среди наиболее пострадавших и обойдён-

ных. Опасаясь, что иностранцу будет трудно, а то и вовсе невозможно осуществить этот план собственными силами, я написал графине С. Толстой, спрашивая её совета». Софья Андреевна изложила ему в ответном письме условия, на которых могут приниматься в России иностранные пожертвования и пригласила его приехать для личного наблюдения и посильной помощи. После упомянутой Софьей Андреевной беседы 21 февраля Стадлинг с нужными сведениями и, на правах репортёра, с фотоаппаратом «Кодак», купленным уже в Москве, отправился к Толстому в Бегичевку (куда, однако, прибыл не ранее 28-го). На последнем этапе пути, от станции в Клёкотках до Бегичевки, его сопровождали Баратынская и, вероятно, Фёдор Страхов:



Йонас Стадлинг, шведский журналист
и фотокорреспондент

«С ужасной головной болью и скудным запасом русских слов я вышел в пронизывающий холод, не без опасений попасть в руки сыщиков, которые, как говорили, кишели в этих местах. Войдя в зал ожидания для пассажиров второго класса, где несколько мужиков и баб клали поклоны и крестились перед иконами (зал напоминал часовню с большим количеством икон), я заметил сидевшую в одиночестве знатного вида даму. Заговорив с ней по-французски, я был приятно удивлён, когда узнал, что она тоже направляется к графу Толстому, чтобы участвовать в его трудах. Г-жа Б., принадлежащая

к известной московской семье, дала мне лекарство от головной боли и познакомила с г-ном Ф. С., молодым человеком, одетым в крестьянский костюм, который предложил переночевать вместе с ним. Мы проехали пару миль по слепящей глаза метели и добрались до одноэтажного деревянного дома, состоящего из довольно просторной комнаты, в которой было несколько лавок и большой стол, и маленького чулана. Он служил спальней. Комната использовалась как судейское помещение: здесь работал дядя моего спутника, мировой судья. Ф. С. оказался одним из самых горячих поклонников и последователей графа Толстого. Он отказался от собственности, следуя примеру учителя, жил среди мужиков. Теперь он помогал графу, стремясь облегчить участь голодающих» (*Стадлинг Ю. С Толстым на голоде в России // Прометей. – М., 1980. Т. 12. С. 314 – 316*).

Собственно говоря, тип сей столь же «мутен» и двусмыслен в голодавшей России, как и Джеймс Стевени, о котором мы писали выше. Как и А. С. Пругавин в России, Стадлинг изучал сектантство и расколы, но, в отличие от Пругавина, не стремился скрыть некоторые, отличные от собственно научных, интересы своих поездок в Россию. «Филантропически настроенный баптист» - так характеризует Й. Стадлинга современный исследователь Бен Хеллман в книге «Северные гости Льва Толстого. Встречи в жизни и творчестве» (14. 05. 2022: <https://flibusta.club/b/632646/read>). Автор подчёркивает, что Стадлинг уже успел до голода познакомиться с Россией: «Первые поездки сюда он предпринял по поручению Национального библейского общества Шотландии и Евангелистского общества распространения христианских знаний». Попросту говоря, Стадлинг промышлял миссионерством в пользу “своей” религиозной лавочки. В поездке февраля 1892 г. тоже имелись, по сведениям Бена Хеллмана, религиозные задачи: «По мере возможности и при поддержке саратовского представителя Британского библейского общества он намеревался оказывать помощь евангельским христианам, так называемым штундистам», то есть одной из наиболее деструктивных сект в тогдашней России. Был и смысл политический. Как журналист, Стадлинг намеревался освещать «русскую голодную катастрофу» в западной прессе — по договорённости некими «с американскими благотворительными организациями, сообщает нам Бен Хеллман, отчего-то затруднившись тут же назвать их. Но в другой части своей книги пробалтывается, что швед имел сношения с т.н. «рабочим движением» в Европе и США и за свою писанину, как то книга «In the Land of Tolstoy: Experiences of Famine and Misrule in Russia» («В стране Толстого: голод и беззаконие в России») (1897) и

др., и её популяризацию в публичных лекциях перед рабочими получал благодарности от Общества «The Friends of Russian Freedom» («Друзья русской свободы») и лично от Петра Кропоткина и Сергея Степняка-Кравчинского. Это Общество создано было активистами революционной эмиграции из России, озлобленными на «царизм». О деструктивной роли его в благотворительном деле помощи России мы особо расскажем в соответствующей главе книги.

Итак, среди заказчиков и покупателей журналистских материалов Стадлинга были не только шведы, но и англичане, и американцы. Вместо большинства оригинальных фотоснимков Стадлинга, выполненных в голодающих местностях России, исследователи полагают по сей день только зарисовками с них, так как права на шестьдесят оригиналов были выкуплены у Стадлинга какой-то английской газетой (*Там же. С. 322. Примечания*). Вероятно, впоследствии бесценные фотоснимки были утеряны.

Впрочем, если о Стевени лишь в 1914 г. стало известно достоверно, что он выведывал в России (в пользу Великобритании) политические и военные её секреты, то «корреспондент и благотворитель» Йонас Стадлинг остался в истории вполне чистым от скандальной славы.

Помимо критических замечаний о России в своих очерках, он, по воспоминаниям Е. И. Раевской, очень специфически использовал свой фотоаппарат: «снимал виды избы, раскрытых сараев, оборванных ребятишек и проч.»: «Его прислали сюда друзья его, американцы, чтоб удостовериться в голоде, поразившем русское население, и доставить им сведения, кому им следует пересылать денежную свою помощь» (*Раевская Е.И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих // Указ. изд. С. 410*).

К увиденному швед явно был ни морально, ни физически не подготовлен:

«Ездил со мной в одну столовую и пришёл в ужас от того, что там увидал.

— У нас в Швеции, — говорит, — у каждого крестьянина дом в несколько комнат, чистота везде, для скотины особенное помещение, а здесь одна изба вроде хлева, и люди, и скот — всё смешано» (*Там же*).

При этом, по воспоминаниям Веры Величкиной, вид шведа в оленьих сапогах и в «лапландской» дохе мехом наружу, с довольно шумным фотоаппаратом и полным незнанием русского языка, внушил

крестьянам суеверный ужас. Явился ещё один «кандидат в антихристы», маркированный к тому же одной из «живучих» по сей день в России этактистских фобий:

«Когда я после приехала в те деревни, которые он посетил, мне там рассказывали, как у них был антихрист и накладывал свою печать. Посмотрит пристально на кого-нибудь и щёлкнет своей печатью. — А потом, — добавляли они — всех, кого он припечатал, назначить к выселению. И мы теперь уж и не знаем, что делать.

Почему, — назначать к выселению, — так и осталось неизвестным» (Величкина В.М. Указ. соч. С. 141).

Однако Стадлинг оказался не только красавцем, но и умницей, весьма сговорчивым и покладистым человеком, щедрым на похвалы всем, кого, как он понимал, нужно было хвалить: самого Толстого, дочери его Марии (которую он сопровождал в поездках по деревням, где переходил из одной нищей, грязной избы в другую со своим фотоаппаратом), других помощников Толстого, крестьян, «толстовцев» и проч., и проч. Снискав всеобщее расположение, он исполнил свою миссию, следует признать, весьма профессионально и с огромным успехом. Иллюстрированные очерки Йонаса Стадлинга имеют ценнейшее источниковое значение и в наши дни.



Фотопортреты Йонаса Стадлинга

Наконец мы добрались до последней части пространного четырёх-дневного послания к мужу С. А. Толстой: листка, писанного уже утром 22-го февраля, перед отправкой всего письма «с оказией».

Приводим ниже лишь главный его текст (открывается письмо «традиционным» для писем С. А. Толстой кошмариком о больном и гибнущем ребёнке):

«[...] Получила письмо от Alexandrine, которое посылаю. Грот вчера советовал послать твоё письмо, Лёвочка, во все редакции в России. Где-нибудь да напечатают, тогда другие газеты имеют право перепечатать. Грот думает, что в “Вестнике Европы” решатся напечатать. Тут говорят, что расстроенная молодёжь, усомнившаяся в тебе, рвёт твои портреты и т. д. Вот, что жаль, и вот что следует восстановить.

Таня, как твоё расположение духа?

У меня опять камень навалился недавно; и очень что-то тоскливо. Стараюсь себя поднять — и не могу. Мне смешно на Лёву, что он всё говорит: “у вас прекрасный вид”, — это, чтоб не видать, что мне плохо. Ну, да это, бог даст, пройдёт. Тут, главное, виновата статья, да дети похворали. — Екатерина Ивановна столько раз откладывала отъезд, что я третий день пишу это письмо. Сейчас всё это ей свезу.

Прощайте, милые друзья. Меня тревожат переводы, объявления и проч., которые я посылаю. [...] Целую вас всех.

С. Толстая» (ПСТ. С. 505 – 506).

Об упомянутом письме А. А. Толстой мы скажем ниже. Здесь же скажем о другом, письме того же 22 февраля Толстого к жене, писанном из имения Философовых Паники в 6 км. от Бегичевки, куда Толстой попал проездом в дальнюю деревню Рожню, до которой из-за погоды не смог добраться. В основном письмо посвящено текущим делам в Бегичевке, здоровью самого Толстого и его помощников и работе столовых «на приварке», в новых условиях, когда хлеб крестьяне стали получать из земских ресурсов и приносить с собой в столовые:

«Столовые без хлеба очень хорошо идут. Стоят дёшево, питают прекрасно, так что в них без хлеба можно быть сытым и стоят 50 к. в месяц на человека. Теперь все просят. Ещё хорошо идёт помощь дровами. [...] Корм лошадей тоже налаживается» (84, 124).

Таких тяжёлых поездок, да при отвратительной погоде, было немало. Как и не менее тяжёлых (морально) приёмов «просителей» с деревень. Но это и была повседневная жизнь «министерства Толстого».

На три дня, с 21 по 24 февраля, Бегичевку почтил визитом знаменитый уже в те годы художник Илья Ефимович Репин, хороший приятель и во многом духовный единомышленник Толстого. Именно при нём — быть может, не без кокетства «духовного учителя», — рассуждал Толстой о смерти доктора Н. Е. Богдавленского. Самому Репину, судя по письму его из Петербурга к Т. А. Толстой от 12 января, хотелось увидеть и зарисовать изменившееся от ужасов Бегичевки лицо Льва Николаевича, которое наверняка «ещё выразительней стало, и гораздо бледней от растительной пищи и от лишений» (*Цит. по: Опульская А.Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 г. М., 1979. С. 259*). Конечно же, он наслаждался впечатлениями Бегичевки — даже с избытком! Толстой сумел и вознаграждать чаяния художника, но и своеобразно взять моральный реванш за разглядывание Репиным осунувшейся его грустной морды и всей фигуры — судя по воспоминаниям самого Ильи Ефимовича о поездке с Толстым в голодавшие деревни:

«День был морозный, градусов двадцать по Реомюру при северном ветре, и светом солнца слепило глаза. В деревнях от заносов появились импровизированные горы; сильным морозом они были так скованы, что казались из белейшего мрамора с блёстками. Дорога местами шла выше изб, и спуски к избам были вырыты в снегу, между белыми стенами. Совсем особый, необычный вид деревни.

Мы заезжали в два места. В одной большой избе во всю длину, и даже в сенях, стояли приготовленные столы, узкие, в две доски на подставках. Здесь кормилось много детей. Час для еды ещё не наступил, но дети давно, уже с утра, ждали здесь обеда, околачиваясь то на лавках, то в сенях и особенно на печи, где сидели один на другом. Лев Николаевич принял отчёт от распорядительниц-хозяек, и мы поехали дальше. В другом селе, пока мы доехали, на хлебники только что вставали из-за стола. Молились, благодарили и уходили не торопясь. И здесь больше подростки-дети. Взрослые как будто стыдились.

Некоторым семьям выдавали пайки — мы заехали и к таким пайщикам. В одной избе мне очень понравился свет. В маленькое оконце рефлексом от солнца на белом снегу свет делал совсем рембрандтовский эффект.

Лев Николаевич довольно долго расспрашивал хозяйку о нуждах, о соседях. И наконец мы повернули назад, домой, но другой дорогой. Место пошло гористое. Красиво. Вдали виднелся Дон. То с горы, то на гору. Сани наши при поворотах сильно раскатывались. Весело

было. Но хотелось уже и домой вернуться; сидеть в санях надоело, плечи и ноги устали.

И вот мы быстро несёмся домой по блестяще-залоснённой дороге. Лошадь постояла в четырёх местах и бежала домой резво. Скрипели гужи, и ворковала дуга с оглоблями.

— Эх, мороз-морозец!

Но вот на спуске с одного пригорка наши розвальни без подрезов очень сильно раскатились, сделали большой полукруг, завернулись влево, тр-р-р! — и мы с санями потянулись назад; вдруг глубоко провалились в овраг и потянули за собой лошадь; оглоблями подбивало её под ноги, она не могла удержаться на залоснённой горе, сдавалась, сдавалась за нами назад и провалилась наконец и сама между оглоблей глубже саней; только голова из хомута торчала вверх. Побилась, побилась, бедная, и улеглась спокойно... Мягко ей стало. И мы в санях сидели уже по грудь в снегу.

Я решительно недоумевал, что мы будем делать. Сидеть и ждать, не проедут ли добрые люди и не вытащат ли нас из снежного потопа? Но Лев Николаевич быстро барахтается в снегу, снимает с себя свой пятипудовый тулуп, бросает его на снег по направлению к лошади и начинает обминать снег, чтобы добраться к ней.

— Прежде всего надо распрячь, — говорит он, — освободить от чересседельника и оглоблей, чтобы она могла выбраться на дорогу.

Северный ветер поднимал кругом нас белое облако снежной пыли. На фоне голубого неба Лев Николаевич, барахтаясь в белом снегу, казался каким-то мифическим богом в облаках. Энергическое лицо его покраснелось, широкая борода искрилась блёстками седины и мороза. Как некий чародей, он двигался решительно и красиво. Скоро он был уже близ лошади. Тогда я, следуя его примеру, начинаю пробираться к лошади с другой стороны по краю саней и по оглоблям, чтобы помогать. Вот где я сказал “спасибо” своим валенкам! [...] Какое блаженство! Вот я и у лошади.

Но с животным недалеко до беды: оно не понимает наших добрых намерений. И, отдохнув, так вдруг рванётся и двигает ногами! Ушибёт, ногу сломает! Я уже получил несколько чувствительных толчков от её подкованного копыта.

А Лев Николаевич уже размотал супонь, вынул дугу, бросил её в сани и, освободив лошадь от оглоблей, взял её за хвост и погнал к дороге, на кручу. Лошадь взлезла на дорогу прыжками, и Лев Николаевич, не выпустив её хвоста из рук, уже стоял на дороге; он держал её в поводу, бросив мне вожжи, чтобы завязать ими оглобли саней и лошадью вытащить сани на дорогу.

Руки коченели от мороза и от непривычки. Трудно, но, как загипнотизированному, мне как-то всё удаётся: я всё понимаю и всё делаю как надо. Завязал вожжи за оглобли, вытацил даже втоптаный в снег тулуп, взвалил его на сани и по значительно уже примятому снегу лезу с концами вожжей ко Льву Николаевичу. Он вытягивает меня на вожжах, привязывает их к гужам хомута, и наши сани торжественно поднимаются на дорогу. Какое счастье!

И во всё это время ни души проезжих.

Слава богу, и сани и сбруя — всё в целости, только запрячь. Лев Николаевич совершенно легко и просто проделал всю запряжку, как обычное дело, хорошо ему знакомое. Закладывается дуга, поднимается нога к хомуту, чтобы стянуть гужи тонким ремешком супони, продевается повод в кольцо дуги, заводжживается лошадь, — готово. Надо было только выбить овчину тулупа. Мы взяли его за края и долго старались вытряхнуть забившийся в овчину снег. Вот тяжесть! На месте трудно удержаться во время тряски. Нельзя же его надевать со снегом... Разгорелся и я от этих упражнений, весело стало.

— Хо-ох, так вот как... — улыбнулся Лев Николаевич радостно. — Теперь, — говорит он, — мы спустимся вон с той горы и поедем Доном. Я знаю, там дорога хорошая, и внизу по реке не намечает таких сугробов. А? Каков глубокий овраг. Ужас как намело.

[...] По тихому Дону мы катили весело и бойко. Лошадь, полежав в овраге, отдохнула, да и дорога ровная по льду, — кати! Только левую сторону неумолимо пробирает морозным ветром. Борода моего ментора развеивается по обеим сторонам, и мы весело разговариваем о разных знакомых.

— Ну, так как же? А вы всё такой же малодаровитый труженик? Ха-ха! Художник без таланта? Ха! [...] И по своим нравственным идеалам вы всё ещё язычник, не чуждый добродетели? Так, кажется, говорили вы? Этого мало, мало.

Вдруг я с поразительной ясностью вижу: впереди нас, шагах в тридцати, полынья. Из глубины чёрной воды валит морозный пар. Я оглядываюсь на Льва Николаевича, но он совершенно спокойно правит разогнавшейся лошадью. Резво мы летим прямо в пропасть. Я в ужасе...

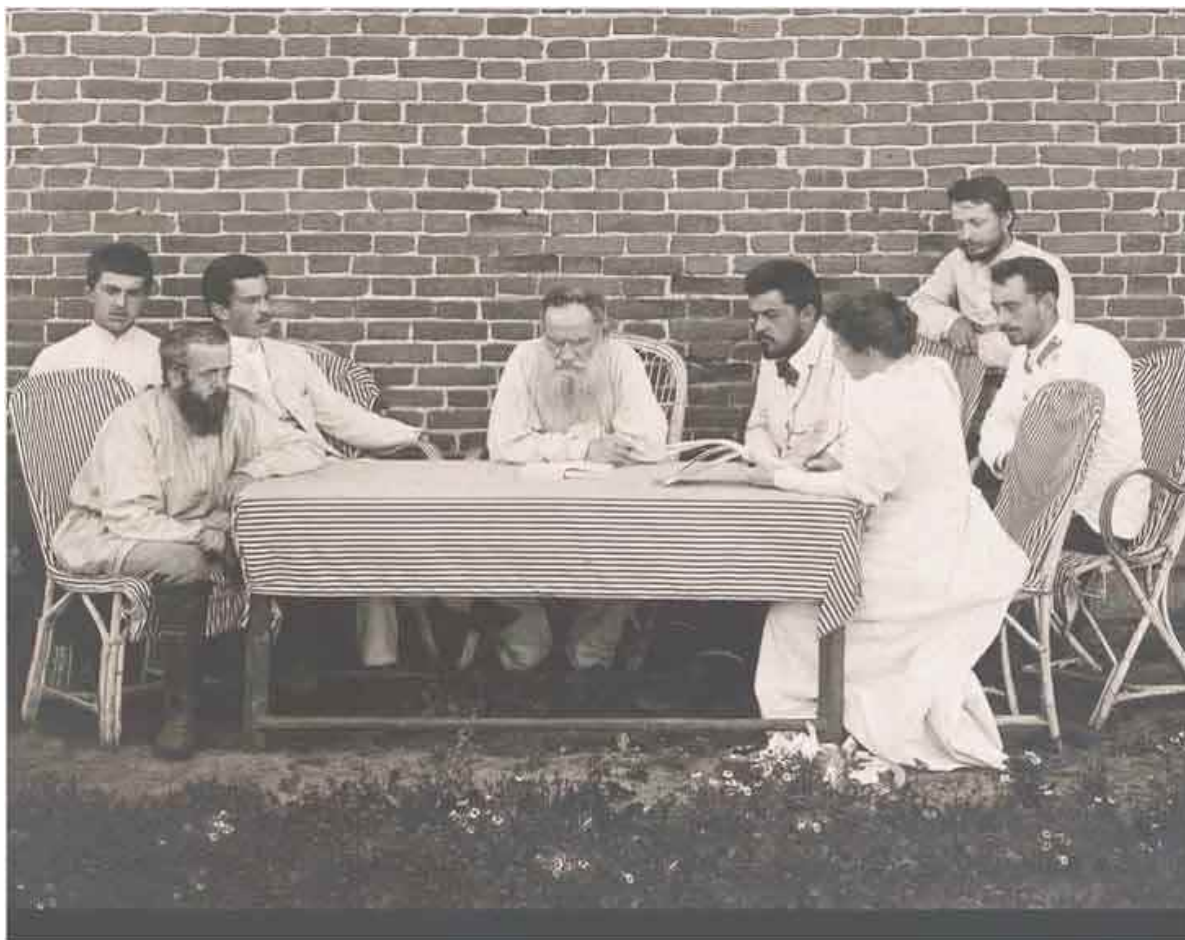
С криком «боже мой!» я схватываю его за обе руки с вожжами, стараясь остановить.

Но где же удержать на лету! Лошадь скользит, и мы, как в сказке, летим по пару над чёрной глубиной.

О счастье! Так зеркально в этом глубоком и тихом омуте замёрз Дон, а снежная пыль, несущаяся поверху, делает вид пара. Я точно проснулся от тяжёлого сна, и мне было так совестно» (Репин И.Е. Из

моих общений с Л.Н. Толстым // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2-х тт. М., 1978. Том первый. С. 485 – 489).

Конечно, не одним страхом было совестно Илье Ефимовичу Репину, но и самой ошибкой своего “намётанного”, как наверняка, и не без оснований, о себе он думал, глаза художника.



Л. Н. Толстой составляет списки крестьян.

Слева направо: П. И. Бирюков, Г. И. Раевский, П. И. Раевский,
Л. Н. Толстой, И. И. Раевский, А. М. Новиков, А. В. Цингер, Т. А. Толстая.
Бегицевка, 1892. Фото П.Ф. Самарина

Продолжение известий о деятельности помощи — в письме к С. А. Толстой от 26 февраля:

«Пишу опять в Клёкотки, милый друг. У нас туда теперь беспрестанно случаи **<оказии. – Р. А.>**, и надеюсь от тебя получить оттуда более свежие известия, чем через Чернаву. Что Таня? Как доехала? и поправляется ли и поправились ли? **<Т. А. Толстая заболела и уехала в Москву 24 февраля. – Р. А.>** Без неё нам скучно, но ведём

себя, как и при ней, — примерно. Всё та же метель, и мы никуда в даль не ездим. Я даже никуда не ходил, кроме как около дома. Читаю, немного пишу, но главное соображаю, распоряжаюсь. Помощники, особенно Поша, чудесные. Все те <П. Н. Гастев, М. В. Алёхин и М. А. Новосёлов>, которые были тут <в> воскресенье, разъехались, и мы одни. Нет даже и Элены Михайловны <Персидской>, и Вера Михайловна приезжала только на понедельник и опять уехала. Хотела приехать нынче, да верно что-нибудь задержало. Теперь 10-й час и её нет.

Главное занятие теперь, кроме обычной выдачи на столовые и упорядочения ходящих, выдача дров, в которых нужда всё больше и больше. И радостно, что мы можем раздавать много. И раздаём очень пока хорошо, разумно: кому даром, кому исполу, кому за деньги. Разумеется, не без ошибок, но кажется, что делаем нужное. Другое дело — это устройство приютов для маленьких детей от 1 до 3-х лет, или скорее — разливной, с молочной кашкой на крупе и пшене, которые устраиваются и принимают определённую форму. Я напишу подробнее, когда это совсем пойдёт.

Вообще нужно опять написать отчёт о пожертвованиях и о том, что сделано. А сделано, как оглянешься назад, с того времени, как писал последний отчёт, не мало. Столовых более 120 разных типов; устраиваются детские, с завтрашнего дня вступают на корм лошади, и много сделано разными способами в помощи дровами. Часто страшное испытываешь чувство; люди вокруг не бедствуют, и спрашиваешь себя: зачем же я здесь, если они не бедствуют? Да они не бедствуют то от того, что мы здесь, и через нас прошло — как мы умели пропустить — тысяч 50.

Нынче пришёл лук. Хотя он и помёрз, он не пропадёт и весь пойдёт в дело. Сначала мне показалось его слишком много, но потом мы решили, что весь понадобится. По чём он ровно? Нынче мы не могли уж выдать на выдаче картофеля, потому что весь вышел; мы скупаем по 2 р. за меру, и начинают просить больше. Нынче же, читая газету «Русские ведомости» о грибном торге, я прочёл, что картофель продавали за мешок в три меры от 20 – 30 коп. — Если это так, если бы мера стоила даже в двое дороже — до 15 коп., то выгодно бы было прислать нам. Если это так, попроси кого-нибудь купить, и пришли нам вагона два. Теперь мороза уже не может быть выше 5°, и картофель может дойти безвредно.

Нынче приехал <кучер> Михайла с двумя лошадьми: Миронихой и Мухортым. Михайло уедет назад, а лошади нам пригодятся очень. А то стесняло нас неимение их.

Рожь постоянно приходит. Нынче Ермолаев пишет, что на Клёкотках 13 вагонов. Мы возим старательно по складам, и счёт теперь ведётся, и мы знаем, сколько и где у нас чего. О ценности мешков я знаю. Их всех почти на 1000 р. И мы постараемся, чтобы они не пропали.

Доктор Богоявленский очень слаб. Жар спал, но у него расстройство желудка и большая слабость. Если Екатерина Ивановна Баратынская не выезжала, то не лучше ли отговорить её ехать к нам и направить в иное место.

Лёву я вполне понимаю. Как ни кажется иногда ничтожной и нескладной деятельность здесь, московская жизнь как-то особенно тяжело переносится после этой. Это я говорю совсем не потому, что не хочется ехать к вам, в Москву; напротив, — очень хочется и с радостью об этом думаю; но я — другое дело — я, во 1-х, стар; во 2-х, у меня есть письменная работа, которая иногда представляется тоже нужной и которую удобнее вести в Москве.

От тебя то было часто, — а теперь давно, — т. е. дня три, нет известий, и я только не говорю, но я о тебе беспокоюсь не меньше, чем ты обо мне. И имею основание, потому что всё так тебя тревожит. Дай Бог, чтоб все были здоровы и чтоб ты не слушала разговоров Стаховичей и т. п. обо мне и об отношениях ко мне общества. Ведь это всё должно быть давно решено, и мы должны знать, каково должно быть отношение ко мне общества, и не заботиться о том, что говорят. Мне иногда мучает мысль, что я не ответил Гроту на его милые, сердечные письма <от 20 января и 7 февраля>. Теперь уж поздно. Но скажи ему, что я его люблю и благодарю за его любовь ко мне. — Напиши поподробнее о себе, Тане, Лёве; целую тебя и детей. Мы все совершенно здоровы, и только скучаем о дурной погоде и дороге. — Если что забыл ответить, прости. Вспомню — напишу.

Л. Т.» (84, 125 – 127).

Попутно — подробность из дневника Е. И. Раевской, суждение Льва Николаевича о «вступивших на корм» лошадях:

«Мы теперь занимаемся кормлением крестьянских лошадей: в эту минуту это самое нужное дело, но оно втрое дороже, чем кормление людей. В сущности, следовало бы заранее объявить крестьянам, что кормить лошадей их не станем даром, а чтоб за прокорм одной лошади хозяин её обязался бы вспахать безлошадному односельчанину одну десятину земли безвозмездно. Но они этим что-то недовольны, ожидали, что лошадей даром кормить станут» (Раевская Е.И. Указ. соч. С. 414).

Очередное письмо Л. Н. Толстого к жене особенно значительно. И вовсе не первым упоминанием Толстого о Стадлинге: для нас гораздо интереснее содержащееся в письме вынужденное объяснение Толстым жене своей общественной позиции в связи с подтасовками и клеветой «Московских ведомостей». Толстой не хотел писать такого объяснения, но почувствовал его необходимость после ознакомления с письмом к жене троюродной тётки своей Александры Андреевны Толстой (она же Alexandrine), чьи суждения вообще часто и расчётливо-болезненно задевали его. Софья Андреевна знала о таком влиянии на мужа писем старшей и очень умной тётки — вероятно, потому и переслала ему очередное её письмо, так как выражено в нём было нечто желанное и близкое и ей самой.

Приводим отрывок из письма А. А. Толстой не только по причине связи его с эпистолярным дискурсом супругов как участников общего дела, но и как доказательство *обоюдной* вины в грязнейшем, с политическим акцентом, газетном скандале и «Московских ведомостей», и переводчика Диллона. 19 февраля тётушка писала жене Толстого:

«Очень бы хотелось узнать, как Диллон толкует свой невероятный перевод и как он изъяснил его Льву? Я читала его *in extenso* дословно в «Daily Telegraph» и ужаснулась. Письмо моё было прервано появлением Елены Григорьевны [Шереметевой]. Вот какую мысль она выразила между прочим: отчего бы Льву Николаевичу не написать возражение в английских газетах? Я считаю это тем более «нужным», прибавила она, что все недоброжелатели графа отвечают мне на это: он этого не сделает и не может сделать потому, что статья, появившаяся в «Daily Telegraph», — совсем не та, что была напечатана в «Неделе». В продолжение разговора я могла заметить, что мысль эта не собственно принадлежит Елене Григорьевне, а была ей внушена» (Цит. по: ПСТ. С. 507).

Напомним читателю, что в январе статья Толстого в специально переработанном для цензуры и сильно урезанном виде, под заглавием «Помощь голодным», была напечатана в либеральном журнале «Книжки Недели», редактируемом симпатизировавшим Толстому со времён его статьи «О переписи в Москве» и много с ним сотрудничавшим Павлом Александровичем Гайдебуровым. И, между прочим, к переводчикам, с ведома Толстого, статья рассылалась именно Гайдебуровым. В этом свете инициативы Эмиля Диллона смотрятся не как «безобидное» стремление опередить конкурентов (пользуясь своим пребыванием в России и личной известностью Толстому), а

много ближе к той картине неуважительного к автору мошенничества, которую нарисовала в воспоминаниях Софья Андреевна Толстая. Читатели «Книжек Недели», как мы видим из приведённого отрывка письма А. А. Толстой, решительно оценили и публикацию Диллона в «Daily Telegraph», и обратный её грубо искажённый и ложно представленный читателю перевод «Московскими ведомостями» как тексты совершенно отличные (т.е. не близкие ни текстологически, ни идейно) от единственной русской публикации.

А теперь — письмо Л. Н. Толстого от 28 февраля, ставшее достойным ответом не только на вышеприведённое четырёхдневное послание жены, но и на это письмо тётушки. В начале его — любопытная подробность: прибытию самого Стадлинга предшествовало письмо от него (очевидно, уже из Клёкоток, где он задержался), о котором в уже цитировавшихся нами выше мемуарах он не упоминает.

Ниже приводим в сокращении текст этого интереснейшего и важного письма Льва Николаевича.

«Жили мы в продолжении этих мятежей в совершенном уединении и тишине; вчера, 27, поехал я опять в Рожню (Таня знает) верхом, но опять не доехал. Намело снегу горы, и дорог нет нигде. Был в Колодезях и другой деревне о дровах и приютах для детей, потом ковал с мужиками и приехал домой в 5. Дома нашёл Е. И. Баратынскую с письмом шведа; тотчас же после приехал Высотский, приятель Владимирова, потом к вечеру два брата Алёхины, из Полтавы Скороходов и Сукачёв, их товарищ. Всем порознь я очень рад, но все вдруг слишком много. Нынче Высоцкий уезжает и везёт это письмо. Скороходов с Сукачёвым поедут в Куркино к лошадям. Митрофан Алёхин поедет с Пошей в Орловку на выдачу и с тем, чтобы заведывать орловскими столовыми и вести у нас всю бухгалтерию, чего он мастер. Он очень симпатичен, — не похож на Аркадия. — Теперь о хлебе. [...]

О Гроте я писал, а он ещё пишет письмо и присылает гектографическое заявление для отправки в газеты и журналы. Я всё подписал и отправляю.

Ради Бога, милый друг, не беспокойся ты об этом. Я по письму милой Александры Андреевны вижу, что у них тон тот, что я в чём-то провинился и мне надо перед кем-то оправдываться. Этот тон надо не допускать. Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам, уж 12 лет, и пишу не нечаянно, а сознательно, и не только оправдываться в этом не намерен, но

надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чём не я, а вся жизнь их обвиняет.

В частном же этом случае происходит следующее: Правительство устраивает цензуру, нелепую, незаконную, мешающую появляться мыслям людей в их настоящем свете, невольно происходит то, что вещи эти в искажённом виде являются за границей. Правительство приходит в волнение и вместо того, чтобы открыто, честно разобрать дело, опять прячется за цензуру, и вместе чем-то обижается и позволяет себе обвинять ещё других, а не себя. То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я 12 лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной всё, что есть просвещённого и честного во всём мире, что говорит сердце каждого неиспорченного человека, и что говорит христианство, которое исповедуют те, которые ужасаются. Пожалуйста, не принимай тона обвинённой. Это совершенная перестановка ролей. Можно молчать. Если же не молчать, то можно только обвинять: не Московские Ведомости, которые вовсе не интересны, и не людей, а те условия жизни, при которых возможно всё то, что возможно у нас. Я давно тебе хотел написать это. И нынче рано утром, с свежей головой, высказываю то, что думаю об этом.

Заметь при этом, что есть мои писания в 10000 экземпляров на разных языках, в которых изложены мои взгляды. И вдруг по каким-то таинственным письмам, появившимся в английских газетах, все вдруг поняли, что я за птица! Ведь это смешно. Только те невежественные люди, из которых самые невежественные это те, что составляет двор *<Alexandrine Толстая была придворной фрейлиной. — Р. А.>*, могут не знать того, что я писал, и думать, что такие взгляды, как мои, могут в один день вдруг перемениться и сделаться революционными. Всё это смешно. И рассуждать с такими людьми для меня и унижительно, и оскорбительно.

Боюсь, что ты будешь бранить меня за эти речи, милый друг, и обвинять в гордости. Но это будет несправедливо. Не гордость. А те основы христианства, которыми я живу, не могут подгибаться под требования нехристианских людей, и я отстаиваю не себя и оскорбляюсь не за себя, а за те основы, которыми я живу.

Пишу же заявление и подписал, потому что, как справедливо пишет милый Грот, — истину всегда нужно восстановить, если это нужно. — Те же, которые рвут портреты, совершенно напрасно их имели.

Екатерина Ивановна отправляется к Стебуту.

Целую тебя крепко. А. Т.» (84, 127 – 129).

Коротко и ясно. И если бы не новые “изыски” Э. Диллона и «Московских ведомостей» — выраженная Толстым позиция могла бы поставить точку в скандале.

Попутно — об ещё одной, упомянутой в письмах Толстого и жены его, персоналии. Эпизодические сношения с *Иваном Александровичем Стебутом* (1833 – 1923) – ещё одна малая страница в огромном томе Бегичевской эпопеи Толстого. Учёный-агрохимик, профессор Петровской сельскохозяйственной академии и либеральный общественный деятель, Стебут и Толстой были знакомы ещё в 1880-х. Они встречались на собраниях московской интеллигенции, на так называемых «Беседах», в которых принимали участие либеральные земские деятели из разных губерний и где Стебут представлял Тульское земство. Как раз в январе 1892 г. Толстой присутствовал на заседании, где обсуждалась программа помощи уездам, пострадавшим от неурожая.

Имение Стебута Кроткое в Ефремовском уезде находилось в 37 верстах от Бегичевки и считалось в то время одним из образцовых хозяйств в России. В мае 1892 г. Стебут навесит Толстого и выпросит себе в помощницы «на голод» Елену Михайловну Берс, двоюродную сестру Софьи Андреевны Толстой. А вот у Екатерины Ивановны Баратынской, упомянутой Толстым в письме, отношения с профессором отчего-то не сложатся.

5.3. Собаки лают на гуманитарный караван

Мы не располагаем текстами писем Софьи Андреевны от 24 и 28 февраля. Письмо же Л. Н. Толстого от 29-го супруге — сравнительно малоинтересно. Толстой сообщает об ужасной погоде, мешающей делать объезды по деревням; о «злобе дня»: раздаче дров и о столовых для малышей от нескольких месяцев до 3 лет («кормильни» — так назвал их в письме Толстой) и для лошадок («лошадиное кормление тоже началось»); также и о множестве помощников, среди которых названы «покойная и добрая» Баратынская и «очень приятный» швед Стадлинг, высказавший пожелание ехать с Л. Л. Толстым, навещавшим в эти дни отца, в Патровку (84, 130).

О новоприбывших помощниках Толстой сделал запись и в Дневнике под 29 февраля. Помимо Стадлинга, названы толстовцы К. А. Высоцкий, приехавший со своего хутора близ ст. Дубровка, братья А. и М. Алёхины, В. И. Скороходов и Е. А. Сукачёв. Толстой признаётся

в письме, что ему тяжело от такого наплыва новых лиц, что он вообще устал, что называется — «выгорел» на психологически и физически тяжелейшем своём поприще, «огрубел» от постоянного лицезрения человеческого несчастья, склок с мелкими местными начальниками и подсчётов денег (см.: 52, 63 – 64).

Моральную тяжесть приезде «толстовцев» добавлял Льву Николаевичу давний его скепсис, с которым он наблюдал попытки общинной жизни своих единомышленников во Христе. Многие общины разваливались как раз из-за неспособности их членов разрешать повседневные конфликты и споры. Так что и от приехавших Толстой имел основания ожидать проблем в области сплочённости и дисциплины. «Мне тяжело от них. Я очень устал» — записывает Толстой в Дневнике в последний, високосный, календарный день страшной зимы 1891 – 1892 гг. (52, 63).

К этому же дню 29 февраля относится запись в Дневнике о памятной встрече с бедствующими отцом и сыном, включённая Толстым позднее в отчёт о распределении средств помощи:

«Третьего дня было поразительное: Выхожу утром с горшком на крыльцо, большой, здоровый, лёгкий мужик, лет под 50, с 12-летним мальчиком, с красивыми, вьющимися, отворачивающимися кончиками русых волос. “Откуда?” Из Затворного. Это село, в котором крестьяне живут профессией нищенства. Что ты? Как всегда, скучное: — К вашей милости. — Что? — Да не дайте помереть голодной смертью. Всё проели. — Ты побираешься? — Да, довелось. [зач.: Лошадь...] Всё проели, куска хлеба нет. Не ели два дня. — Мне тяжело. Всё знакомые слова и всё заученные. Сейчас. И иду, чтобы вынести пятак и отделаться. Мужик продолжает говорить, описывая своё положение. Ни топки, ни хлеба. Ходили по миру, не подают. На дворе мятель, холод. Иду, чтоб отделаться. Оглядываюсь на мальчика. Прекрасные глаза полны слёз, и из одного уже стекают светлые, крупные слёзы.

Да, огрубевашь от этого проклятого начальства и денег» (Там же. С. 63 – 64).

После этого дня Толстой от усталости не ведёт Дневник более месяца, и нашими помощниками в реконструкции событий вплоть до 12 марта, до нового отпуска Толстого из Бегичевки, пускай станут письма этих дней и другие источники.

1 марта встречные письма пишут оба супруга. Вот письмо Льва Николаевича. Он отвечает на заданные женой вопросы (один из которых, о дровах, она повторит в письме от 2 марта):

«Пишу только, чтобы ответить на вопросы твоего письма, сейчас полученного из Чернавы. ...Хочу ответить на твой вопрос о том, платить ли Усову <управляющий на жел. дороге. – Р. А.> по счёту за дрова. Пожалуйста, плати, и поскорее, и если будешь писать, пиши поласковее. Он сделал нам большое благодеяние, доставив нам эти дрова за баснословно дешёвую цену, именно дрова, которые в Москве стоят около 30 рублей за сажень, за 4 и 5 рублей, т. е., очевидно, только за работу рубки, колки и подвоза. Благодаря ему, мы могли сделать много помощи дровами.

Лёва у нас. Очень мил. Поша с <В. Н.> Тушиним уехал открывать столовые в Рожню, а я ходил нынче в Горки и Никитское <3 км. от Бегичевки. – Р. А.> по детским приютам. И мне кажется, что это хорошо. Завтра едет Екатерина Ивановна <Баратынская> с Верой Михайловной <Величкиной> в Ефремовский уезд. Вера Михайловна её будет там шапронировать [*фр. chareronner* — сопровождать] и вернётся. И я еду с ними до Куркина, им через него ехать — посмотрю там лошадей на кормах и вернусь, если хороша будет погода, а то переночую. Я берегу себя, как больше нельзя. Целую Таничку милую и детей и тебя — last, but not least [хотя последнюю, но не менее дорогую]. Маша только желает всё кончить <с Петей Раевским> и освободиться; надеюсь, что осуществит свои добрые желания.

Поша и швед едут послезавтра с Лёвой. Очень хорошая компания» (84, 131).

Вынужденное повиновение дочери своей, Марии Львовны, воле родителей в разлучении с предметом юношеской симпатии, а быть может, и любви Толстой относил к желаниям и деяниям добрым, пожалуй, необдуманно. А вот прочие предприятия тяжёлого конца голодной зимы — раздача дров, кормление детей и лошадей и проч. — уместны были безусловно.

Теперь слово Софье Андреевне. Письмо от 1 марта предваряет особенное указание на приватность, так как дружная бегичевская команда уже слишком привыкла прочитывать письма от своей московской помощницы Сони сообща и вслух. Но это письмо — именно жены Толстого, глубоко личное, к мужу:

«ЛВУ НИКОЛАЕВИЧУ

Милый друг, к вам всякий день случай, и вы про нас всё знаете, но всё-таки пишу несколько слов.

Во-первых, вчера я получила твоё длинное письмо, в котором ты пишешь, чтоб я не принимала вида *обвиняемой*. К несчастью, я не такого характера, и как раз перед всеми взяла вид оскорблённой за несправедливость, возмущённой, готовой бросить всё русское и даже перейти в европейское подданство со всеми детьми. Одно я говорю и чувствую, это что мне жаль, что огорчили и ввели в заблуждение Государя; он действительно очень добрый и теперь стало ещё очевиднее из всех толков, что несмотря на путаницу, которая его окружает, он сердцем любит тебя и считает отнюдь не революционером; но до конца ему не дадут понять тебя, ты это увидишь из письма Страхова, которое я послала с Петей. **<К сожалению, это письмо не сохранилось. – Р. А.>**

Подписанные тобой письма мы с Гротом (который теперь болен в инфлуенце) разошлём по всем главным русским редакциям, и, может быть, иностранным.

Хоть ты мне и не велишь считать себя гордым, но я не могу считать тебя и смиренным. Прячась за христианские принципы, ты всё-таки возмущён, я это чувствую, и сама испытываю то же без христианских ширм. Истинное христианство: пусть бьют, бранят, преследуют, клеветуют, а христианин только должен говорить: “любите друг друга”. Это идеал, я не могу быть такой, но я и не говорю, что я христианка; спасибо хоть за то, что я это поняла немножко.

[КОММЕНТАРИЙ.

Очень распространённый в мире «православного» лжехристианства софизм, имеющий свои вариации, но по существу сводящийся к типовым суждениям такого плана: если идеал повседневно неисполним — значит, лучше не стремиться исполнять, а вместо того — даже тщеславиться, как общественной заслугой, своей “честностью” в отвёртывании от Бога и Христа, от Истины, от Идеала. А те, кто стремится исполнить хоть что-то — сами тщеславные лицемеры, стремящиеся скрыть от людей мира своё истинное непоправимо греховное состояние, обмануть их и себя.

Если же будешь верен познанной Истине до конца, мир объявит тебя особенным «святым», неотмирным (как «отрезанный ломоть»), будет почитать, но... не последовать вместе с тобой Истине и Христу. Одна из прочнейших, многовековых уловок дьявола. – Р. А.]

Меня очень взволновало, что к вам поехало столько народу. Когда вы одни, вы помните друг друга и заботитесь о себе, а теперь эта толпа, которую всю надо уложить, накормить и распределить на дело — это ужасно утомительно и усложняет дело. По крайней мере

определите их на ваше дело всех скорей и приезжайте. Эти холода, которые стоят так упорно, показывают, что весна дружно станет и всё растает вдруг. Не допускайте до этого и уезжайте. У нас 7 гр. мороза и ветер страшный всё время.

Как нашёл ты Лёву? Я его отправила с тяжёлым чувством, и здоровьем, и духом он не хорош был. Тане гораздо лучше; не знаю уж, хорошо ли я делаю, что отпускаю её в среду. Но мне и за тебя страшно, и я надеюсь, что Маша на время забыла свои личные дела и помнит тебя во всех отношениях.

Я очень соскучилась по тебе, и если б не моё сознание, что я вам там совершенно бесполезна, я бы поехала непременно вместо Тани. Детям лучше, но они ещё не выходят. Жизнь идёт по-старому, довольно бесцветно; и энергия, серьёзность к тому, что делаю, часто упадают совсем. Здоровье моё хорошо, близость весны всё-таки подбадривает. Целую тебя и девочек.

С. Толстая» (ПСТ. С. 507 – 508).

В письме следующего дня, 2 марта, Софья Андреевна, не успевшая получить ещё письмо мужа 1 марта, повторяет свой вопрос о плате за дрова от Усова, сообщает о морозе в Москве, о болезни Н. Я. Грота и готовящейся к очередному отъезду в Бегичевку Татьяне Львовне. В конце письма она признаётся, что считает дни до 15 марта — крайнего условленного срока, в который Лев Николаевич планировал закончить текущие дела в Бегичевке и приехать к ней в Москву (см.: Там же. С. 509 (№ 252)).

Письмо этого же дня Льва Николаевича содержит ряд второстепенных денежных и организационных подробностей жизни бегичевского «министерства»; в частности — Толстой сообщает, что «ездил нынче в Куркино и остался очень доволен кормлением лошадей» (84, 132).

В следующем по хронологии письме от 4 марта Толстой упоминает об ожидаемом приезде Татьяны Львовны, что, однако не позволяет с точностью ответить на вопрос, на какое письмо жены он отвечает: об отъезде дочери в Бегичевку Софья Андреевна писала и 1, и 2 марта. Само письмо несколько интересней, и мы приводим его в сокращении.

«Получил вчера твоё письмо с Лизаветой Прохоровной (забыл фамилию). Слава Богу, что у вас всё хорошо. Таню ждём и не ждём. У нас всё хорошо. Все здоровы. Только очень хлопотно. И дрова, и корм-

ление лошадей, и приюты, и новые столовые, и новые люди, и, главное, пришедший хлеб, и распределение его по складам. Но как всегда бывает: идёт всё волнами — прилив и отлив. Когда наберётся слишком много вдруг дела, то начинает уменьшаться. Так и теперь. Всё хорошо, приходит в порядок, и я надеюсь, что к моему отъезду всё будет в порядке и оставить будет не трудно, т. е. не вредно для дела...

Теперь в отношении средств, мы опять кажется уж в 4-й раз переживаем период, когда я чувствую, что мы зарываемся и надо сдерживаться. <А Софья Андреевна предупреждала! См. её письмо ещё 16 февраля. – Р. А.> Я теперь боюсь, что неостанет денег на всё, что начато, и только прошу всех сдерживаться. [...]

Тревожит меня ещё заказанная мною кукуруза с наложным платежом. Денег у нас теперь не хватит — остаётся около 3000, и постоянно расходуются, а нужно на все 9 вагонов 3600. *Пожалуйста, пришли с первым случаем 3000.* Если с Таней, то с Таней, а нет, то можно и с тем, кто поедет.

Письмо это везёт в Клёкотки Петя <Раевский>, который пробыл здесь два дня. Маша, сколько я видел и понял, старалась развязать завязанное, т. е. говорила, что до 4-х лет не надо говорить об этом, но не разорвала совсем. Так я думаю по словам Веры, но не успел с Машей самой переговорить, что сделаю нынче. Вообще же, как я заметил, она вела себя хорошо и более спокойна, чем бывала прежде. Она прекрасно работает, и от неё мне кроме радости до сих пор ничего нет.

Ещё попроси Таню написать и как-нибудь кончить с стаховичевской пожертвованной мукой. Я не знаю, где, как. А дорога кончается. <Т. е. начинается весенняя распутица. – Р. А.> Не могут ли они нанять, а прикащик их, и мы бы заплатили.

Прощай пока, милый друг, теперь не на долго, если будем живы. Детей целую.

Лёва на всех нас произвёл самое хорошее впечатление нравственно и нехорошее физически. Компания их поехала прекрасная: Поша неоценённый и милый швед.

Так до свиданья, крепко целую тебя. Л. Т. [...]» (Там же. С. 132 – 133).

Завершая текущие дела и готовясь к отъезду в Москву, Толстой составил черновой отчёт об употреблении пожертвованных денег. Об этом и о других текущих вопросах Толстой пишет в кратком на строчки, но весьма ёмком на смыслы письме 5 марта, содержащем и интимно-личные строки, и даже шутку, выдающую внутреннюю

удовлетворённость сделанным и усталое, но хорошее настроение писавшего. Приводим полный его текст:

«Как и пишет Маша, всё у нас хорошо. Мы оба в очень сдержанном, напряжённо акуратном духе. Я вчера написал отчёт, — отчёт о том, что и что сделано. И, кажется, просто, коротко и ясно. Надо только переписать и вписать цифры. Другой отчёт денежный составим, Бог даст, нынче.

Пожары от столовых пугают и потому приходится изменить дело: надо будет выдавать муку <крестьянам>, т. е. не печь хлеба, и все столовые переделать в бесхлебные.

Сейчас все сотрудники разъезжаются. Все они очень молоды, но хорошие.

Я здоров и бодр. Буду что-нибудь хорошенькое писать. Тебя видел во сне и паяву о тебе помню и думаю с любовью. Таня, — да, чтоб была она здорова, скверность какая! — пусть не торопится приезжать, а как ей приятнее. Кутелева приехала. Отчего тёмные <толстовцы> Кутелеву меньше обращают, чем Наташу?

Целую вас и детей. Достаньте пожалуйста номера газеты «Русские ведомости», где отчёты, и свой новый опять пришлю.

Целую тебя, милый друг, и Таню — чтоб она была здорова — и детей — вобще!

Л. Т.» (84, 134).

По поводу упоминания в письме «тёмных», толстовцев, и новоприбывшей помощницы, акушерки и фельдшера *Елизаветы Прохоровны Кутелевой* (1862 – 1913), — той самой, чью фамилию запомнил Толстой в начале письма 4 марта — Софья Андреевна поясняет следующее: «Шутка Л. Н-ча, намекавшего, что Кутелева была очень некрасива и не молода, а Наташа Философова, напротив, была красивая девушка, ещё очень молодая» (*Цит. по: Там же*).

Наконец, встречное, тоже от 5 марта, письмо Софьи Андреевны:

«Сегодня утром пошла к Гроту, он здоров, с «Календарём», где список всех периодических изданий в России, и мы с ним вместе отметили, в какие издания послать письма <с опровержением, написанным Л. Н. Толстым. – Р. А.>. Сейчас вечер, и я только что кончила запечатывать письма и адресовать их. Всех разошлю 30, и этим действием надеюсь покончить навсегда с этим делом, какой бы ни был результат. — Потом я ездила в «Склад», где просила пожертвовать

мне или продать рубашек мужских, но нам ничего не дали; я тогда поехала покупать какой-нибудь бумажной материи; зашла в оптовый склад Викулы Морозова. Там директор допрашивает: «на что мне 500 аршин?» Я говорю, что хочу сшить 100 рубашек для тифозных в Самарской губернии и послать. Он говорит: «Мы вам пожертвуем». — Ну и спасибо. В «Складе», где Ермолова, сошьют по 10 коп. сер. и мы с няней, Аннушкой, Дуняшей всё перекроим дома. Потом я купила чаю, сахару, тоже послать Лёве; немного лекарства и кое-что Лёве съедобное, что не портится. Я всё о нём думаю, и всякие другие тревоги отстранились и на первом плане страх, что Лёва заразится тифом. Когда он уехал от вас? — Сегодня всё мне казалось, что Танин голос. Пошла наверх вечером с Сашей и Ваней, чуть не окликнула её. Надеюсь, что она благополучно доехала, буду ждать письма от неё.

Какое несчастье быть так привязанной к семье! Всякое дело тормозит; если б не забота обо всех, я нашла бы себе столько интересного и хорошего дела. А пока всё детьми занимаюсь. Играла с ними, читала Саше вслух, рассказывала кое-что. С Андрюшей декламировали заданные ему стихи по-немецки: «Nach Frankreich zogen zwei Grenadiere» «Во Францию два гренадера», стихотворение Г. Гейне. — Р. А.>, а сейчас маленькие спят, а мальчики ещё сидят с <Георгием Ивановичем> Челпановым <Ученик Н. Я. Грота, впоследствии выдающийся философ и психолог. — Р. А.>. Сегодня никого у нас не было, и даже Машеньку весь день не видала.

Завтра хочу Сашу с Ваней выпустить погулять, хотя всё тот же восточный ветер, который сушит мне грудь и скоблит горло. Были Количка и Оличка, играли с нашими. <Николай и Ольга Рыздзевские, дети Ольги Александровны, урожд. Стахович. — Р. А.>

Сейчас пришла Машенька в самом возбуждённом состоянии: она опять поступила в больницу тюремную, в отделение тифозных, сестрой милосердия. «Не могу так жить; все поехали на хорошее дело, и Таничку проводила, а я то что ж берегу своё тело! Не могу, решила и поступила». И в большом волнении и восторге. Сейчас она мне говорила, что <Владимир Алексеевич> Бобринский свалился. Ещё один! Что-то Богоявленский? — Жду вас всех, не дождусь. Теперь тревогу свою буду топить в кройке 100 рубах для тифозных.

Прощайте, милые друзья, будьте здоровы и не мучайте себя слишком. Таня, берегись, чтоб тоже не впасть в тиф, теперь желудок слаб. Ешьте меньше и чаще, и не студитесь пуще всего. Целую вас всех.

С. Толстая» (ЛСТ. С. 509 – 510).

Ещё одно, «деловое» по преимуществу, письмо Софьи Андреевны Толстой, но проникнутое достаточно бодрым настроением близящегося завершения дел и, хоть и на время, но приезда мужа. Датировано письмо 7 марта и по содержанию является ответом на письма Толстого от 1, 2 и 4 марта.

«Милый Лёвочка, посылаю тебе с Евгеньей Павловной <Писаревой> 3000 р. с., которые ей свезёт Ваня Раевский. Он едет сегодня в Тулу на два дня. С Ваней же я посылаю 1700 р. с., которые ты <в письме 2 марта> велел кроме того уплатить Рафаилу Алексеевичу Писареву по телеграфу, чего я не успела сделать.

Получила от Лёвы телеграмму, просит выслать поскорей ещё 5000 р. с. денег и медикаментов от Феррейна. Но у меня всех денег осталось 4500 рублей, которые я ему *последние вышлю* в понедельник. Да, не распространяйтесь больше, все пожертвования прекратились и не предвидятся. Не знаю наверно, сколько у Тани на текущем счету в Москве, а у меня всем деньгам конец. За дрова я уплатила и письмо ласковое Усову написала.

Посылаю вам ещё немного яблок, бумаги Маше и книг для школы. Мне пишет Елена Михайловна Персидская прислать 20; посылаю по пять всех «Книг для чтения» и «Азбук». Что так мало просили?

К Софье Алексеевне съезжу сейчас и спрошу о кукурузе. Пусть она вам напишет с Ваней. Посылаю для подписки объявление, которое я нечаянно подписала, и английское письмо.

Если вам нужны свидетельства Красного Креста <Для бесплатного провоза грузов. – Р. А.>, то мне Зиновьев прислал десять. Как я рада, что Поша уехал с Лёвой; очень он меня тревожит своим нездоровым видом и состоянием. Куда девали вы Елизавету Прохоровну Кутелеву? Я очень желала, чтоб она ехала в Самару. — Будь осторожен с *смелым Алёхиным*. Как бы он не сделал расходов, какие не из чего платить. У меня останутся только бриллиантовые деньги <деньги, которые предполагалось выручить с продажи бриллиантов, пожертвованных для голодающих. – Р. А.>, значит, тысяч около двух, и больше ничего, и то ещё не проданы.

Получила с Петей письмо Тани, и меня тревожит, что у ней боль под ложкой была сильная. Пусть бережётся и пусть Вера ей закажет с Марией Кирилловной <домашняя портниха Толстых. – Р. А.> куриный суп. Ещё ей не худо понемногу ревень и Эмс рюмочками тёплый раз шесть в день, при чём диета.

Сегодня свезла в «Склад» 66 мужских и 24 женских рубашки шить по 10 коп. из пожертвованного Морозовым товара — суровой бязи.

Это для самарских голодающих. Сегодня отправляю большую партию платьев, чаю, сахару, лекарств, провизии Лёве и 68 аршин той же материи для больниц в Лёвиной стране.

Вчера вечером очень мне нездоровилось, я даже легла; но пошла кровь носом и сегодня я совсем здорова. Погода удивительная: ручьи так и бегут; по вечерам три градуса мороза, а днём жара. Больше одного дня на санках не проездают. Ваня с Сашей ходили к Фетам и их привезли в карете. Миша учится лучше и сегодня я платила деньги в Поливановскую гимназию и надзиратель очень хвалил их поведение, но говорил, что ленятся. Машу особенно поцелуй за то, что тебе она так приятна и полезна, и вообще мне чувствуется, что она очень старается идти по хорошей дороге, что она стала благоразумнее. Таню больную приласкай от меня и сочувствующую Верочку поцелуй. Не заживитесь до невозможного пути.

С. Толстая» (ПСТ. С. 511 – 512).

Это последнее «деловое» письмо С. А. Толстой к мужу в Бегичевку. Зная о его отъезде, но не зная точной даты, она посылает ему ещё три небольших письма: два 19 марта (одно не опубликовано) и одно — в самый день отъезда мужа из Бегичевки, 12 марта. Сам же Толстой посылает жене ещё только одно письмо — в тот же день 7 марта — следующего содержания:

«Доживаем последнее время, и дела всё делается больше и больше; но вместе с тем и видится хоть не конец ему, но то, что оно придёт в большую правильность. Нынче я для опыта затеял записывать всех приходящих с просьбами, и оказалось в обыкновенный день не выдачи 125 человек, не считая мелких просителей лаптей, одёжи и т. п. Нынче принимала их Таня и я отчасти, когда хотел и нужно было. Они все меня берегут. Маша ездила в Колодези за Наташиными владениями, а Вера в Бароновку и Софьинку. Я же утром немного писал, а после завтрака ездил к <Ф. Е.> Лебедеву <в Грязновку> свести счёты по складу. Чудесная погода и верхом очень хорошо. Если погода не переменится, то дорога простоит до 15. Это и нам нужно для развоза провианта по складам. Делаем учёты и, главное, сметы, — сколько в какой склад нужно провианта до новины. Надеюсь до отъезда привести всё в совершенную ясность. Митрофан Алёхин, который один из помощников живёт с нами, большой знаток бухгалтерии и очень акуратно всё высчитывает и записывает. Писарев приехал. Завтра увижу его и попрошу заменить отчасти меня, и, если

он согласится, уеду спокойно. Мы все здоровы вполне, если не считать констипацию (от *лат.* *constipatio* — запор) Тани и маленькую горловую боль Веры. Прощай, голубушка, целую тебя и детей. [...]» (84, 134 – 135).

Итак, у отъезда Толстого из Бегичевки и очередного, на этот раз месячного, перерыва в его работе помощи голодающим были несколько причин. Помимо личной (желания свидеться с семьёй), были и «технические» причины: весенняя распутица и недостаточность денежных средств так же вынуждали к перерыву. Не последнюю роль играли и усиливающиеся эпидемии среди крестьян: тифа, оспы, цинги и только начинавшейся повальной холеры. Жертвами болезней стали ещё в конце февраля и в марте сперва Татьяна Львовна, приехавшая из Бегичевки к матери с И. Е. Репиным уже совершенно больной, а затем, в Патровке — и Лев Львович (*МЖ* – 2. С. 270).

12-го марта 1892 г. Толстой временно покидает бегичевское «министерство добра» — оставив своих помощников распоряжаться работой 170 (!) работающих к этому времени столовых для крестьян, для их детей и их лошадок, для обеспечения которых на тот момент оставалось денег 8 тысяч рублей из 15 – 16 необходимых (66, 178).

5. 4. И ещё кое-что о русской «благодарности» Толстым

Скандал вокруг заграничной публикации выдержек из статьи Л. Н. Толстого «О голоде», поднятый в консервативной прессе, нанёс вредящий удар не только по делу, в которое «впряглись» супруги Толстые, но и лично по ним, в особенности — по склонной к тревогам жене и матери, Софье Андреевне Толстой. Поэтому и в этой части Пятой главы нашей книги основным источником будут материалы эпистолярного общения супругов. Следуя хронологии, приводим ниже два письма Софьи Андреевны — сначала 10 марта:

«Пишу одновременно в Клёкотки и Чернаву, чтоб сказать, что мы все здоровы и благополучны и ждём вас, так как тепло, тает сильно и дорог на днях не будет. Читал ли ты, Лёвочка в «Русской жизни» твоё письмо? На другой день и в «Новом времени» напечатали. Послала в *Клёкотки* этот номер. В Москве ясно по-весеннему; дети гуляют и радуются. Нового ничего, всё по-прежнему. Очень интересно будет послушать ваши рассказы. Последнее время вы все скупы на длинные письма. Целую всех.

С. Т.» (ПСТ. С. 512).

Опровержение Толстого на клевету «Московских ведомостей» 8 марта опубликовали сразу две газеты: «Санкт-Петербургские ведомости» и «Русская жизнь». За ними, как по команде, его перепечатали другие российские газеты. Вероятно, «Московские ведомости» уже были к этой публикации приготовлены, ибо новый их удар не заставил себя ждать. В следующем письме от 12 марта, Софья Андреевна сообщает:

«Вот мрачность то сегодня!

«Московские ведомости» сегодня весь номер заняли обличением, вследствие письма твоего (во всех русских газетах напечатано), и Диллон от себя написал и прислал в «Московские ведомости» все написанные тобой письма и то письмо, которое он сам написал в Бегичевке и умолял тебя подписать. По-моему, «Московские ведомости», обличая тебя, обличают больше всего себя. Не посылаю газеты, чтоб тебя не расстроить, да и не моя газета. Тогда прочтёшь. Но ужасно неприятно, точно захлебнулся в помойной яме; да опять поднимется страшный гвалт по всей Европе. Вчера я послала в «Temps» письмо, отрицая известие о твоей ссылке. Хоть бы приехали скорей! Я измучилась этими неприятностями. — Валит мокрый снег, метёт, ветер и темнота. На дворе такая же гадость, как и в «Московских ведомостях». Мы все здоровы. Целую всех. От Лёвы известий нет.

С. Толстая» (ПСТ. С. 513).

Это письмо уже не застало Толстого в Рязанской губернии, но тематика его наверняка составила предмет устных его бесед с женой после возвращения в Москву. Вообще нужно заметить, что в поединке с «Московскими ведомостями» Софья Андреевна оказалась не менее преданным соратником и другом супруга своего, Льва Николаевича Толстого, чем в самом деле помощи голодающим крестьянам. В письме от 11 марта к Н. Н. Ге-сыну Толстой признавался, что уже минимум лет за 10 он не может упомянуть такого сближения с женой, «а ведь это важнее всего» (66, 177).

История же, изложенная С. А. Толстой в письме 12 марта, имеет, подобно айсбергу, огромную «скрытую часть». Мы приводили выше письмо Л. Н. Толстого к жене от 25 ноября 1891 г., в котором он

просит жену разослать запрещённую уже его статью «О голоде» переводчикам – обратим внимание! — «в последней редакции без смягчений» (84, 104). П. А. Гайдебуров, о котором мы так же рассказали выше, готовил для своих «Книжек Недели» смягчённую, подцензурную версию, а *бесцензурный*, полный и точный список статьи пообещал Эмилю Диллону, работавшему специальным корреспондентом «Daily Telegraph» в Петербурге, о чём Диллон известил Толстого в письме от 11 декабря (66, 126). Отвечая Диллону из Бегичевки 24 – 25(?) декабря, Толстой особо сожалел, что статья уходит к английскому переводчику «в необработанном виде», искажённая множественными изменениями для цензуры и давал Диллону полное право *сократить* в тексте «повторения и неловкие обороты», которые он там наверняка обнаружит (*Там же. С. 125 – 126*).

Опубликована статья была в нескольких номерах «Daily Telegraph» в виде «писем» Толстого под общим заглавием «Почему голодают русские крестьяне?». Толстой, занятый “по маковку” делами организации и поддержания деятельности столовых, вычиткой перевода себя не обременил. И, конечно, не мог получать в Бегичевке английских газет. Неприятность не заставила себя ждать: «Московские ведомости» добавили к искажениям перевода Диллона искажения своего обратного, с английского языка, перевода, а кроме того снабдили его в своей публикации тенденциозным комментарием: «...В другом письме граф Толстой задаётся “самоважнейшим вопросом”: понимают ли сами крестьяне серьёзность своего положения и необходимость *вовремя проснуться и самим предпринять что-нибудь*, в виду того, что никто другой им помочь не может, ибо если *сами* они ничего не предпримут, “они передохнут к весне, как пчёлы без мёду”». В следующем абзаце даётся такая характеристика словам Толстого: «Пропаганда графа есть пропаганда самого крайнего, самого разнужданного социализма, пред которым блекнет даже наша подпольная пропаганда» (*Цит. по: ПСТ. С. 489*).

Возмущённая очевидной, и с элементами политического доноса, клеветой «Московских ведомостей», Софья Толстая выступила 23 января с опровержением, сославшись на мужа. «Московские ведомости» отреагировали телеграммой в «Daily Telegraph», в которой извещали, что «граф Толстой» отрицает подлинность опубликованного английской газетой 26 января “письма”. Конечно же, встревоженная редакция газеты снеслась телеграммой с переводчиком, а Диллон, не застав уже Толстого в Москве, ринулся в Бегичевку: речь шла, ни мало, ни много, как о его профессиональной репутации!

Биограф Толстого П. И. Бирюков, в то время активно помогавший семье Толстого в работе помощи голодающим, свидетельствует:

«Достаточно лёгкого, поверхностного сравнения текста, напечатанного в “Московских ведомостях”, с тем, что было написано Л. Н-чем, чтобы увидеть, что если нет больших искажений, то есть весьма неточный перевод, перестановки, подбор и сопоставления более резких фраз, от кого бы это ни исходило...» (*Бирюков П.И. Указ. соч. Т. 3. С. 179*).

Но от кого «исходило»? Кто исказил текст? Диллон? Маловероятно, что он один — ибо речь идёт об *очень больших и намеренных* искажениях. В любом случае, вина за скандал вокруг английской публикации лежит однозначно на щелкопёрах «Московских ведомостей», которые, как справедливо подметила Софья Андреевна, были сами бывшими «толстовцами» или «революционерами». То есть субъектами, желавшими не только угодить, срептильничать в отношении правительства, но и, заодно — отомстить своим прежним идеалам за их предательство, за собственное малодушное разочарование в них. Но мстить радикальной оппозиции было опасно. Осталось — насесть на безответного и тяжело занятого делом христианина Толстого, приписав ему попутно собственные прежние социалистические фантазии.

На сторону Диллона встали Вл. Соловьёв и Н. С. Лесков, которым переводчик успел заплакаться в жилетку. П. И. Бирюков в своей «Биографии Льва Николаевича Толстого» цитирует посланное ему Н. С. Лесковым эмоциональное письмо, ключевые слова в котором: «...Где искажения, когда нет искажений!» (*см.: Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Т. 3. С. 178 – 179*). Таким образом, Лесков, полного текста статьи «О голоде», разумеется, не читавший, по наивности “лил воду на мельницу” не одного опекаемого им Диллона, но и «Московских ведомостей». У Вл. Соловьёва позиция была несколько иная. Диллон привёз 29 января в Бегичевку большое письмо Соловьёва, в котором тот давал Толстому совет, больше похожий на распоряжение: «Разъясните дело в Англии так, чтобы ответственность за непозволительное и неточное разглашение Ваших мыслей в России перешла с Диллона на тех, кто действительно виноват, то есть на “Московские ведомости”» (*Цит. по: 66, 146*).

Толстой симпатизировал Диллону и был так же склонен оправдать его. А вот Софья Андреевна...

В дневнике под 16 февраля и в мемуарах «Моя жизнь» Софья Андреевна рассказывает свою версию гадких событий (*см.: ДСАТ – 1. С. 220 – 221; МЖ – 2. С. 252 – 254, 259 – 267, 272*). Вот версия из «Моей жизни»:

«...Англичанин Диллон явился к Льву Николаевичу с просьбой позволить перевести эту статью. Лев Николаевич ничего не имел против

и направил Диллона в редакцию “Недели”. Вместо того чтобы перевести то, что было напечатано <пропущенные цензурой отрывки статьи, опубликованные Гайдебуровым в январе. – Р. А.>, Диллон старательно подобрал то, что было выпущено [...], придал всей статье революционный характер и привёз в корректуре Льву Николаевичу» (МЖ – 2. С. 253).

Итак, именно Диллон, как свидетельствует Софья Толстая, *пошёл своим путём* в работе над переводом статьи Л. Н. Толстого «О голоде», и, вместо разрешённой ему автором корректуры, *отредактировал* её, по-своему поняв и усилив и без того довольно радикальную социальную критику в статье.

Далее в «Моей жизни» — о визите к Толстому обиженного и встревоженного переводчика, имевшего несчастье застать в Бегичевке и Софью Андреевну, которая, как мы знаем, всегда «на страже»:

«Приехав в Бегичевку к Льву Николаевичу, Диллон *сам написал к себе от имени Льва Николаевича* письмо, в котором было сказано, что Лев Николаевич вполне согласен и одобряет перевод Диллона, и это письмо Лев Николаевич, не прочитав, подписал». Корректуру же переведённой статьи Толстой смотреть не стал по недостатку времени (МЖ – 2. С. 253. *Курсив наш.* – Р. А.).

На деле всё-таки Диллон сперва написал письмо *к Толстому*, передав его уже в Бегичевке. Вот ответ Толстого — письменный, специально для газетной публикации:

«В ответ на ваше сегодняшнее письмо я могу только выразить своё удивление на содержание той телеграммы, которую вы получили от «Daily Telegraph». Я никогда не отрицал и никого не уполномочивал отрицать подлинность статей, появившихся под моим именем в «Daily Telegraph». Я знаю, что эти статьи являются переводом той статьи о голоде, которую написал для журнала «Вопросы философии и психологии» и которую передал вам для перевода на английский язык.

Хотя я не читал всех этих статей, но у меня нет основания сомневаться в правильности вашего перевода, так как я имел уже неоднократные доказательства вашей точности и аккуратности в этом отношении.

Полученную же вами телеграмму могу объяснить только письмом моей жены в «Московские ведомости», в котором она отрицала утверждение, будто я послал какие-то статьи в иностранные газеты, а также отрицала подлинность некоторых выдержек из «Московских ведомостей», утверждая с полным основанием, что они настолько искажены, что стали почти неузнаваемы» (66, 144 – 145. *Курсив наш.* – Р. А.).

Обратим внимание: Толстой явным образом указывает на *инициативу жены* в январском выступлении с опровержением. Этому легко можно поверить: Лев Николаевич в принципе избегал газетных и журнальных полемик, когда нужно что-то «подтверждать» или «опровергать».

Обратим внимание и на утверждение, что Толстой не читал всех «писем» – т.е. фрагментов своей статьи, подготовленных Диллоном для «Daily Telegraph». Комментатор в томе писем Толстого в Полном собрании его сочинений поясняет, что Толстой-таки *ознакомился с одним из* «писем», в котором был переведённый Э. Диллоном текст как раз 5-й, самой «крамольной», главы его статьи «О голоде» (см.: 66, 146).

Между тем в мемуарах Софьи Андреевны дальше — уже совсем увлекательно. Она настаивает, что письмо, которое Толстой передал Диллону 29 января... написал в первой редакции сам Диллон — а Толстой лишь подписал, не читая:

«...Волнение Диллона, поспешность его сборов к отъезду — всё это меня навело на мысль, что Диллон затевает что-нибудь недоброе. Я просила его показать письмо, подписанное Львом Николаевичем. Он отказал и сказал, что боится опоздать к поезду. Тогда я загородила его чемодан и сказала, что не дам ему вещей, если он не покажет мне письма, написанного им самим и подписанного Львом Николаевичем. По-видимому, он понял, с кем имеет дело, и достал письмо. Когда я его прочла, я так и ахнула. В нём было сказано в самых лестных словах, что Лев Николаевич вполне согласен и одобряет перевод Диллона.

Я побежала к Льву Николаевичу и показала ему письмо. Он удивился и был недоволен» (МЖ – 2. С. 253 – 254). По настоянию Софьи Андреевны и был написан второй вариант — по сути своей, однако, не обвинявший Диллона ни в чём из того, что готова была возложить на него в 1909-м Соня-мемуаристка.

Трудно во *всём* поверить её версии событий. Хотя бы потому, что всех этих подробностей *нет* в Сонином *дневнике* 1892 года: там все пени — в адрес «Московских ведомостей», а кроме того, начинается тема лишь с записи 3 февраля, дня возвращения Софьи Толстой из Бегичевки в Москву:

«Когда я вернулась в Москву, я постепенно слышала всё большие и большие толки о том, что Лёвочка написал письма будто бы в Англию о русском голоде; что все негодуют; наконец я стала получать письма из Петербурга, что надо мне спешить предпринять что-нибудь для нашего спасенья, что нас хотят сослать и т. д. Я долго ничего не предпринимала. Целую почти неделю я ездила к зубному врачу зубы

все чинить; но мало-помалу меня разобрало беспокойство. Я написала письма: министру внутренних дел Дурново, Шереметевой, товарищу министра Плеве, Александре Андреевне и Кузминским. Во всех письмах я объясняла истину и опровергала ложь “Московских ведомостей”» (ДСАТ – 1. С. 220 – 221).

О Диллоне и конфликте с ним в дневнике 1892 года — *ни слова*. Сведения сониного дневника подтверждает, как мы показали выше, и её переписка. По версии же Софьи Андреевны-мемуаристки получается, что Диллон даже очень, и прежде всего, преступен, а уж после него и «Московские ведомости».

Точку зрения об изначальном искажении статьи Толстого именно переводчиком, высказала, как мы помним, Alexandrine Толстая, читавшая, по её утверждению, самые “письма” в «Daily Telegraph».

Трудно теперь сказать, кто больше искажил правду: Эмиль Диллон, Софья или Александра Толстые. Одно несомненно: глубоко чтя Толстого и как писателя, и как христианского исповедника и публициста, Диллон действительно для заграничной бесцензурной публикации охотно “подобрал” всё, что столь небрежно “обронила” криволапая российская цензура. А Толстой, который таки бегло просмотрел 29 января 5-ю, самую нецензурную, главу своей статьи в диллоновском переводе — только одобрил такую работу своего английского помощника и почитателя. Искажений *грубых*, появившихся в “версии” «Московских ведомостей» он не обнаружил.

Конечно же, текст толстовского письма Диллон использовал для публичной защиты своей репутации, и вскоре он был в распоряжении и «Daily Telegraph», и, к сожалению, «Московских ведомостей».

«Cherchez la femme, pardieu! cherchez la femme!» Как мы видели, и второе, февральское, опровержение Толстой написал, в основном повинувшись настояниям жены. В нём, напомним, перевод был назван «слишком вольным» — но уже в том виде, обратного перевода с английского на русский, как его дали «Московские ведомости». И особенно подчёркнута ложь *трактовки* этих отрывков (*см.: в письме к жене: 84, 119; ср. п. к ред.: 66, 160 – 162*). Диллон оправдан — в той степени, в какой это было возможно. Но это совершенно невыгодно, конечно, «Московским ведомостям».

И вот в № 71 «Московских ведомостей» от 12 марта 1892 г. явилась обширная передовая статья, специально посвящённая разбору письма-опровержения Толстого от 12 февраля. В статье даны параллельно русский текст Толстого, с которого переводил Диллон, английский перевод и обратный перевод на русский язык; приложены тексты писем Толстого к Диллону и Диллона. «Московские ведомости» стремились показать, что Толстой напрасно отрёкся от собственных

взглядов и что предшествующая статья «Московских ведомостей» якобы правильно вскрыла разрушительные и революционные тенденции мысли Толстого.

Это, кстати сказать, очень распространённый и в наши дни манипулятивный приём. Вокруг клеветнических публикаций «Московских ведомостей» сложился некоторый круг доверившихся их трактовкам почитателей, которые, по свойствам человеческой психологии, теперь до последней возможности готовы были видеть в статье Толстого то, что «увидели» фельетонисты этой газеты. Им не грозило ничем даже опубликование *верных* отрывков из статьи Толстого: вырванные из общего контекста и «снабжённые» тенденциозными комментариями газеты, они воспринимались её поклонниками именно так, как желалось авторам. Люди же, не обманутые изначально — давно уже составили себе мнение о всей клеветнической кампании газеты, но мало чем могли помочь Толстому.

В письме В. Г. Черткову Л. Н. Толстой так отозвался на эти новые выпады: «Статьи “Московских ведомостей” и “Гражданина” и письма Диллона были мне неприятны — в особенности Диллона [...]. Тут всё полу-правда, полу-ложь, и разобраться в этом, когда нет доброжелательства людей друг к другу, нет никакой возможности. И потому самое лучшее ничего не говорить. [...] Скучно и некогда иметь дело с людьми, которые всё усложняют, из всего делают какие-то вопросы, которые надо доказывать или опровергать» (87, 132 – 133).

Оставим и мы эту пачкотную историю: её дальнейшее, уже угасающее, развитие не представляет интереса для нашей книги.

Здесь Конец Пятой Главе

Прибавление.

Занимаясь организацией помощи голодающим, члены семьи Толстых с самого начала своей деятельности время от времени публиковали отчёты об использовании полученных денег, продовольствия, вещей.

Несколько отчётов написал сам Толстой. Первый из них, неоконченный, относится к 17 ноября 1891 г. и был использован частично при работе над статьёй «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая». Следующий — «Отчёт с 3 ноября 1891 г. по 12 февраля 1892 г.» так же окончен не был и остался неопубликованным. Первым отчётом, работу над которым Толстой довёл до конца, был «Отчёт об использовании пожертвованных денег с 3 декабря 1891 г. по 12 апреля 1892 г.».

ОТЧЁТ С 3 ДЕКАБРЯ 1891 г. ПО 12 АПРЕЛЯ 1892 г.

Деятельность наша со времени последнего отчёта состояла в следующем:

Первым и главным нашим делом было устройство и ведение столовых.

Столовые, которых во время нашего последнего отчёта было 72, продолжали размножаться, и теперь их в 4-х уездах — Епифанском, Ефремовском, Данковском и Скопинском — 187. Размножение это происходило и происходит следующим образом: из соседних деревень с теми, в которых у нас есть столовые, приходят к нам то отдельные крестьяне, то выборные от общества со старостою и просят об открытии у них столовых. Один из нас едет в ту деревню, из которой приходили просители, и, обходя дворы, составляет опись имущественного состояния беднейших жителей. Иногда, хотя и очень редко, оказывается, что деревня, из которой приходили депутаты, не из очень бедных и что нет ещё настоящей нужды в помощи; но в большей части случаев тот из нас, кто обходил деревню, находил, как это всегда бывает при внимательном наблюдении крестьянской нужды, что положение беднейших семей так дурно, что необходима помощь; и помощь эта подавалась посредством устройства столовых, в которые записывались слабейшие члены беднейших семей. Таким образом разрастались и продолжают разрастаться столовые по тем направлениям, где нужда сильнее и менее покрыта, а именно по направлению к Ефремовскому и в особенности к Скопинскому уезду, где помощь особенно скудна. Всех столовых 187, из которых 130 таких, где посетители получают приварок и хлеб, и 57 таких, где получается один приварок. Разделение это на столовые хлебные и бесхлебные произошло с марта, вследствие того, что с этого месяца в Данковском уезде в беднейших деревнях, где и были наши столовые, стали выдавать от земства в ссуду по 30 фунтов на человека, а в Епифанском уезде и более 30 ф., так что в этих уездах беднейшее население было почти или совсем обеспечено хлебом и нуждалось только в приварке — картофеле, капусте и другом, который если и был у кого из бедных, то к марту месяцу совершенно истощился. Для этих-то беднейших жителей и были открыты нами бесхлебные столовые, в которые посетители ходят с своим хлебом. Привыкши получать в столовых и хлеб, крестьяне сначала были недовольны этой переменой и заявили, что выгода, получаемая от этих столовых, не окупит их трудов по очередному привозу дров из рощ на столовые и что они не желают пользоваться этими столовыми. Но

недовольство это продолжалось очень недолго. Отказались только богатые, и то очень скоро стали просить о допущении их в столовые.

Расчет выдачи провизии на эти бесхлебные столовые был следующий на десять человек в неделю:

муки ржаной на квас 5 ф.

муки пшеничной на заправку похлебок 2 ф.

муки гороховой, овсяной или кукурузной на кисели 10 ф.

гороху 10 ф.

пшеница на кашу или кулеш 10 ф.

картофеля 2 меры

свеклы 1 мера

капусты кислой $\frac{1}{2}$ ведра

масла конопляного $\frac{1}{2}$ ф.

соли 4 ф.

луку 1 ф.

Кроме того, зимой шло керосина на неделю на столовую $1 \frac{1}{2}$ фун. и дров на месяц 60 пуд.

При этой выдаче выходит на каждого человека по 2 фун. в день овощей, т. е. картофеля, капусты и свеклы, и по $\frac{1}{2}$ ф. мучной пищи, т. е. пшеница, гороха и ржаной муки, что даёт в разваренном виде более 4 ф. в день на каждого человека.

Столовые эти особенно интересны тем, что они наглядно показали ошибочность утвердившегося среди большинства и самих крестьян убеждения о том, что ржаной хлеб есть самая сытная, здоровая и вместе с тем дешёвая пища. Столовые эти несомненно показали, что горох, пшеница, кукуруза, картофель, свекла, капуста, овсяный и гороховый кисель составляют и более сытную, и здоровую, и дешёвую пищу, чем хлеб. Люди, ходившие в бесхлебные столовые, приносили очень маленькие кусочки хлеба, иногда приходили даже совсем без хлеба, и провели зиму сыто и здорово, съедая в день на 2 копейки приварка и на 2 или 3 коп. хлеба, тогда как, питаясь одним хлебом, они съедали его по крайней мере на $7 \frac{1}{2}$ коп.

Вот расписание кушаний на неделю, составленное одним из наших сотрудников:

понедельник: щи, каша;

вторник: картофельная похлёбка, кисель гороховый, на ужин то же;

среда: гороховый суп, картофель варёный, на ужин горох с квасом;

четверг: щи, кисель гороховый, на ужин то же;

пятница: картофельная похлёбка, кулеш пшеничный, на ужин то же;

суббота: щи, картофель варёный, на ужин картофель с квасом;

воскресенье: гороховый суп, каша, на ужин горох с квасом.

Составитель этого списка руководствовался теми продуктами, которые имелись в его распоряжении в данное время. При свекле же, из которой всю зиму варился весьма любимый всеми свекольник, и при овсяном киселе, расписание это ещё более может быть разнообразно, не делая пищу более дорогою.

Столовые наши распределяются теперь по местностям так:

В Епифанском уезде всех столовых бесхлебных 57. В Мещёрках 1, в Екатерининском 2, Горках 2, Никитском 2, Иванове 2, Мясновке 1, Пашкове 1, Полевых Озёрках 2, Куликовке 1, Прилипках 2, Кузминках 1, Яковлевке 1, Хуторах 2, Курцах 2, Донских Озерках 2, Моховой 2, Хованских хуторах 3, Хованщине 6, Барятинках 2, Зубовке 2, Себине 3, Колесовке 2, Журилках 2, Устье 2, Щепине 1, Крюковке 1, Жохове 1, Грязновке 1, Заборовье 1, Плоховке 1, Исленьеве 2, Семичастной 1.

В Данковском уезде хлебных столовых 21. В Бегичевке 3, Осиновой Горе 2, Пеньках 2, Прудках 2, Александровке 1, Гаях 2, Бороновке 2, Софьинке 2, Катериновке 2, Александровской Слободе 2, Татищеве 3, Колодезях 3, Ершовке 3, Ивановке-Колки 2, Крюковке (другой) 2, Троицких Выселках 1, Огарёве 1, Толстых 1, Потапове 2, Кунакове 1, Горохове 3, Колтовой 1, Рожнях 3, Круглом 2, Воейкове 2, Колодезях (других) 4.

В Скопинском уезде хлебных столовых 48. В Горлове 6, Руденке 6, Муравлянке 7, Потеревке 3, Хорошеве 4, Писаревке 1, Затворном 6, Борщевом 6, Александрове 5, в Кикине 2, Карасёвке 1, Бугровке 2. В Ефремовском уезде всех хлебных столовых 30. В Андреевке 2, Козловке 1, Глебовне 2, Павловке 1, Куркине 4, Рязанове 2, Страховых хуторах 1, Сергиевских хуторах 1, Починках 1, Мешковке 1, Сумбулове 1, Телешовке 1, Татьяновке 1, Сергиеве на Птани 3, Никольском на Птани 5, Кукуевке 1, Алексеевке 1.

Во всех столовых этих 4-х уездов в настоящее время кормится 9 093 человека.

Таково было одно и главное наше дело.

Другое дело наше в последние зимние месяцы состояло в доставлении дров нуждающемуся населению. Нужда эта с каждым зимним месяцем становилась всё заметнее и заметнее, и с середины зимы, в особенности когда продовольствие уже было более или менее обеспечено, стало главною. В здешней местности, где нет ни дров, ни торфа, о соломе же на топку и думать нельзя было, с половины зимы нужда эта стала очень велика. Очень часто можно было находить не только детей, но и взрослых уже не на печи, а в печи, топленной накануне и удерживающей ещё немного тепла, и во многих дворах

разоряли дворы, риги, сараи, сени даже, употребляя на топливо и солому, и решетник, и стропила.

Благодаря щедрым пожертвованиям нам дров: от Д. А. Хомякова 50 сажень, г. Рубцева — 7 вагонов, М. А. Сабашниковой — 4 вагона и, главное, заботе П. А. Усова и г-на Рубцева, которые доставляли нам дрова из Смоленска по дешевой цене, около 6 руб. кругом кубическая сажень, — и тому, что мы на местах закупили более 200 саж. дров по 17 и 19 руб. за саж., — мы могли, кроме того, что понадобилось нам на столовые, раздать населению более 300 саж. дров.

Способ раздачи наш был такой: более зажиточным крестьянам мы продавали дрова по своей цене (считая среднюю цену за дрова, купленные в рощах и в Смоленске, по 5 коп. за пуд); средним крестьянам мы давали исполу на станции Клекотки за 30 верст, так, что они одну половину брали себе, другую привозили нам. Бедным крестьянам, но имевшим лошадей, мы давали дрова даром, но с тем, чтобы они сами привозили их себе со станции. Самым бедным, безлошадным, мы давали дрова на месте, дома, те самые дрова, которые привозили нам те, которые брали дрова исполу.

Третье дело наше было кормление крестьянских лошадей. Кроме тех 80 лошадей, которые с перевозимья были отосланы в Калужскую губернию, 20 были взяты на прокормление кн. Д. Д. Оболенским, 10 — купцом Сафоновым и 40 лошадей поставлены на двор г-на Ершова, где они кормились двумя вагонами сена, пожертвованными П. А. Усовым, и старой соломой, данной владельцем, и ещё купленным кормом.

Перед весной же, с февраля месяца, были устроены для кормления крестьянских лошадей на дворах два помещения: одно у г-на Сычёва, другое у г-на Миллера в Ефремовском уезде. Для корма лошадей было куплено 10 000 пуд. соломы, 2 вагона жмыха и припасено 300 пуд. просяной лузги для посыпки. На эти средства прокормлены 276 лошадей в продолжение последних двух месяцев.

Четвёртое дело наше составляла раздача льна и лык для работ и бесплатно нуждающимся в обуви и холсте. Один вагон льна на 660 руб. роздан нуждающимся безвозмездно, а другие 80 пуд. и 100 пудов, пожертвованные, розданы исполу. Полотно, приходящееся на нашу долю, до сих пор не получено, так что мы не могли до сих пор еще удовлетворить требованиям г-жи NN, приславшей нам 120 рублей за холст, и г-жи К. М., предложившей тоже покупать крестьянские холсты для доставления заработков крестьянским женщинам.

Лык пожертвовано нам: один вагон П. А. Усовым, 100 пуд. Ломоносовым и 1 000 пудов куплено на 219 р. Часть этих лык продана по дешевой цене, часть отдана безвозмездно самым нуждающимся,

другая часть отдана исполу для плетенья лаптей. Принесённые лапти частью розданы, частью раздаются.

Дело это, доставление материала для заработков, менее всего удалось нам. Дело это до такой степени мелочное, до такой степени неудобно нам, стоящим по отношению к крестьянам в положении распределителей пожертвований, стать в положение работодателей, требующих строгого отчёта в употреблении материала, что дело это совершенно не удалось нам, вызвав только неосуществлённые ожидания, зависть и недобрые чувства. Самое лучшее было бы, что мы и делаем теперь, продавать эти предметы по самым дешёвым ценам тем, которые могут купить их, и отдавать даром тем, которые не могут купить, — беднейшим.

Пятое дело наше, начавшееся в феврале, состояло в устройстве столовых для самых малых детей, от нескольких месяцев, грудных, и до 3-х летних. Устраивали мы эти столовые так: описав все дворы, в которых есть дети этого возраста и нет молока, мы избирали хозяйку, имеющую отелившуюся корову, и предлагали ей за вознаграждение 15 пудов дров, 4 пуда жмыха в месяц (равняющиеся по ценности 3-м рублям), готовить из своего молока молочную кашку для 10-ти детей (из пшена для детей от 1 1/2 до 3-х лет, и из гречневых круп для грудных). На ребёнка от 1 1/2 до 3-х лет выдается по 2 ф. пшена на неделю, а на грудных — по 1 ф. гречневых круп.

В больших сёлах столовые эти устраиваются так: покупается молоко по 40 коп. ведро. Выдаётся пшена детям грудным до года 1 ф. в неделю; детям от 1 года до 3-х л. 2 ф. Молока даётся детям меньшего возраста 1 стакан в день, старшего — 2 стакана. Бескоровные получают молоко и пшено в виде каши; имеющие же корову, получают кашу, взамен которой дают молоко.

Матери приходят иногда одни за кашкой и уносят её домой; иногда приносят с собой детей и тут же кормят их. Обыкновенно при устройстве этих приютов, матери, да и все крестьяне, предлагают вместо столовой у одной хозяйки — раздачу на руки пшена и круп, утверждая, что молока везде достанут у добрых людей. Но мы думаем, что для обеспечения здоровья малых детей необходимо именно такое устройство. Получив на руки 5, 10 фун. пшена и круп, каждая крестьянка, какая бы она ни была хорошая мать, смотрит на это пшено и крупу, как на провизию, принадлежащую всему дому, и изведёт её, как ей вздумается и понадобится, или как прикажет хозяин, так что очень часто пшено это и крупа не дойдут до детей. Если же она каждый день получает порцию готовой молочной каши для своего ребёнка, то она непременно ему и скормит её.

Приютов этих теперь устроено у нас около 80-ти, с каждым днём устраиваются новые. Приюты эти, сначала ещё вызывавшие сомнения, теперь совершенно вошли в привычное явление, и почти каждый день приходят бабы с детьми из деревень, в которых ещё нет таких приютов, прося устроить их. Приюты эти стоят около 60 коп. в месяц на ребёнка.

Так как никак нельзя, при том сложном и постоянно изменяющемся деле, которым мы заняты, расчесть раз в раз, сколько нам понадобится денег для доведения всего начатого нами до нового урожая, и мы потому не начинаем дела, которого не можем довести до конца, то, по всем вероятностям, у нас останутся неистраченные деньги от приходящих вновь пожертвований и от денег, затраченных заимобразно и имеющих возвратиться осенью. Самое лучшее помещение этих оставшихся денег, я думаю, было бы продолжение таких приютов для маленьких детей и на следующий год. Если же, как я уверен, найдутся на это дело и деньги, и люди, то отчего бы не продолжать его всегда? Устройство таких приютов везде, я полагаю, могло бы в большей степени уменьшить процент детской смертности. Таково было наше пятое дело.

Шестое дело, которое теперь начинается и которое, вероятно, так или иначе будет окончено, когда этот отчёт появится в печати, состоит в выдаче нуждающимся крестьянам на посев семян овса, картофеля, конопли, проса. Выдача семян этих особенно нужна в нашей местности, потому что, сверх посева ярового поля, неожиданно понадобилось пересевать значительную часть, около одной трети, в некоторых местах пропавшей ржи. Семена эти раздаются нами самым нуждающимся крестьянам, тем, у которых земля неизбежно останется незасеянной, если им не дадут семян, но выдаются они нами не даром, а под условием возврата зерном с нового урожая, независимо от теперешней цены и той, которая будет стоять тогда на эти предметы. Деньги, вырученные за эти предметы, могут пойти на устройство приютов младенцев на будущую зиму.

Покупка лошадей и раздача их составляет седьмое дело. Кроме того огромного процента безлошадных, всегда не имевших лошадей, достоящего во многих селах до трети, в нынешнем году есть крестьяне, проевшие лошадей и теперь неизбежно долженствующие впасть в полную нищету или кабалу, если они не приобретут лошади. Таким крестьянам мы покупаем лошадей. С весны купили таких 16, и необходимо ещё купить около 100 лошадей в занятых нашими столовыми местах. Покупаем мы этих лошадей в цену около 25 руб. за

лошадь на таком условии: получающий лошадь обязуется за это обработать два душевых надела беднейшим безлошадным крестьянам, вдовам и сиротам.

Восьмое дело наше было продажа ржи, муки и печёного хлеба по дешёвым ценам. Дело это — продажа печёного хлеба — продолжавшееся в малых размерах зимой, теперь, с наступлением весны, увеличивается. Мы устроили и устраиваем пекарни для продажи дешёвого, по 60 к. за пуд, хлеба.

Кроме этих определённых отделов, на которые употреблялись и употребляются пожертвованные деньги, небольшие суммы употреблены нами прямою выдачей нуждающимся на исключительные нужды: похороны, уплату долгов, на поддержание маленьких школ, покупку книг, постройки и т. п.; таких расходов было очень мало, как это можно видеть из денежного отчёта.

Таковы в общих чертах были наши дела за прошедшие 6 месяцев. Главным делом нашим за это время было кормление нуждающихся посредством столовых. В продолжение зимних месяцев эта форма помощи, несмотря на злоупотребления, встречающиеся при этом, в самом главном, в том, что она обеспечивала всё беднейшее и слабейшее население — детей, стариков, больных, выздоравливающих — от голоданья и дурной пищи, вполне достигала своей цели. Но с наступлением весны представляются некоторые соображения, требующие изменения существующего порядка устройства и ведения столовых.

С наступлением весны представляется, во-1-х, то новое условие, что многие, ходящие в столовые, будут на работах или за лошадьми, и им нельзя будет посещать столовые во время обедов и ужинов; во-2-х, то, что летом, при усиленной топке в столовых, легко могут быть пожары. Как вследствие этого видоизменится наша деятельность, мы в своё время сообщим, если будет к этому возможность.

При этом прилагаем краткий общий отчёт о полученных нами пожертвованиях и об употреблении их. Подробный отчёт, если будет время, мы составим и напечатаем после.

Пожертвований всех получено нами с 3-го ноября по 12-е апреля деньгами:

В Москве на имя С. А. Толстой	72 805 р. 38 к.
В Москве и в Рязанской губернии на имя Л. Н., Т. А. и М. А. Толстых от русских жертвователей	23 755 р.

Из-за границы на имя Л. Н. и Т. Л. Толстых, кроме полученных С. А. Толстой:

Из Америки	28 120 р. 19 к.
» Англии	15 758 р. 35 к.
» Франции	1 400 р.
» Германии	759 р.
Итого, кроме пожертвований, посланных прямо в Самарскую губ. и в Чернский уезд. Л. Л., С. Л. и И. Л. Толстым, нами получено всего	142 597 р. 92 к.

Из этих денег израсходовано по 12-е апреля	110 414 р. 33 к.
--	------------------

Израсходованы эти деньги на следующие предметы:

1) Послано Л. Л. Толстому для продовольствия населения в Бузулукском уезде Самарской губ.

деньгами	18 700 р.
послано капусты на	297 р. 50 к.
» луку »	45 р.
» лекарства, чаю, сахару на	98 р. 89 к.
На Самарскую губ. итого	19 141 р. 39 к.

2) Послано и передано разным лицам для продовольствия населению в разных местностях:

Г-же Головацкой	200 р.
Сергею Львовичу Толстому в Чернский уезд	1 000 р.
Илье Львовичу Толстому туда же	800 р.
г-же Вердеровской в Ряжский уезд	200 р.
г. Лыжину в Цивильский уезд Казанской губ.	200 р.
г-же Бибиковой в Богородицкий уезд Тульской губ.	300 р.
г-же Беклемишевой в Ряжский уезд Рязанской губ.	500 р.
доктору Рахманову в Лукояновский уезд Нижегородской губ.	100 р.
кн. Г. Е. Львову в Алексинский уезд Тульской г.	500 р.
г-же Серовой в Симбирскую губ.	400 р.
Итого разным лицам для помощи населению в разных местностях	4 200 р.

3) На покупку хлеба: куплено через посредство Рафаила Алексеевича Писарева для столовых Рязанской и Тульской губ.:

19 вагонов ржи и 2 вагона пшеницы	15 968 р. 65 к.
8 вагонов ржи для Самарской губ.	7 192 р. 50 к.
Куплено через посредство Н. Н. Ге (сына) в Черниговской губ.	

Для столовых Рязанской и Тульской губ.	
34 вагона ржи	25 101 р. 36 к.
6 вагонов ржи для Самарской губ.	4 264 р. 12 к.
для Тульской и Рязанской губ. 6 вагонов гороху	3 505 р. 25 к.
2 вагона гороху для Самарской губ.	1 148 р. 35 к.
Куплено еще для столовых Рязанской и Тульской губерний:	
ячменя на	1 480 р. 92 к.
ржи по экономиям 1 183 пуда на	1 605 р. 20 к.
кукурузы 10 вагонов	4 100 р.
проса 1 000 пудов на	1 000 р.
гороху по экономиям на	1 034 р. 43 к.
пшеница по экономиям 1 450 пуд. на	2 029 р. 59 к.
отрубей ржаных 1 430 п. на	1 004 р. 68 к.
овсяной муки 1 290 п. на	1 000 р. 75 к.
Итого хлеба куплено для Самарской губ.	12 604 р. 97 к.
и для столовых Рязанской и Тульской губ. на	57 830 р. 73 к.
Всего на сумму	70 435 р. 80 к.

4) Для столовых Рязанск. и Тульск. губ. куплено овощей:

картофеля 15 519 п. на	3 103 р. 93 к.
свеклы 4 112 п. на	617 р. 84 к.
капусты 2 060 п. на	721 р. 17 к.
луку 260 п. на	153 р. 20 к.
соли, масла, керосину на	820 р. 32 к.
Итого на сумму	5 416 р. 46 к.

5) Куплено дров по разным ценам: в рощах по 17 и 19 р. за сажень и в Смоленске при бесплатном провозе по 6 р. за сажень, всего более 323 кубич. сажени.

Всего на покупку дров для столовых и для раздачи издержано 3 415 р. 21 к.

6) Куплено для корма лошадей около 10 000 и. соломы от 10 до 20 коп. за пуд на 1 300 р. 39 к.

куплено 2 вагона жмыха	610 р.
за устройство помещения	45 р. 20 к.
овсяной муки для посыпки	35 р.
заплачено за отправку лошадей в Калугу и обратно	434 р.
Всего на корм лошадей	2 424 р. 59 к.

7) На покупку льна 680 р. 78 к.

на покупку лык	214 р. 26 к.
на покупку пеньки	18 р.
Итого на покупку материалов для работы	913 р. 4 к.

8) Отдано за переделку проса и помол ржи и пшеницы 417 р. 48 к.

уплачено за подводы	1 943 р. 73 к.
за выгрузку, нагрузку, комиссию, переписку и телеграммы	913 р. 62 к.
Итого на расходы по доставке, хранению и на помол хлеба	3 274 р. 83 к.

9) На разнообразную помощь наиболее нуждающимся:

на поправку крыш и построек	99 р. 18 к.
дано прямо деньгами	512 р. 37 к.
куплено 18 лошадей на	428 р. 30 к.
на лекарство	36 р.
на молоко детям	82 р. 70 к.
печеный хлеб для раздачи	34 р. 46 к.
Итого на разную помощь нуждающимся израсходовано	1 193 р. 1 к.
Итого всего расхода с 3-го ноября по 12-е апреля	110 414 р. 33 к.
В остатке к 12-му апреля 1892 г. состояло	32 183 р. 59 к.

Сверх 32 183 р. 59 к. получено еще 1 247 р. 46 к. от продажи пшеницы, ржи, лык, льна, дров, печеного хлеба и жмыха. Из этого остатка — 19 300 р. необходимы по смете, сделанной нами, для продовольствия существующих 187 столовых и около 100 детских приютов на три месяца с половиною, до нового урожая, так как запасено нами до нового урожая только необходимое количество ржи, другие же предметы — пшено, овес, горох и пр. — частью еще должны быть куплены. Остальные деньги будут употреблены нами на оказание помощи населению в виде выдачи семян овса, проса, картофеля, отчасти лошадей и в устройстве новых столовых как в Рязанской и Тульской, так и в Самарской губ., где открыто теперь около 150 столовых и где необходима помощь для посева. Пожертвования хлебом и вещами были следующие:

ржаной муки	730 пуд.
пшеничной	150 пуд.
ячменя	100 пуд.
свеклы	100 пуд.
проса	150 пуд.
картофеля	10 четв.
галет	70 пуд.
вермишели	20 пуд.
манных круп	10 ф.
дров	11 вагонов, 57 сажений.

Все эти жертвования употреблены на столовые. Сверх этого в продолжение зимы получены нами для Рязанской губ. сухари, чай, сахар, 9 тюков с платьем, сукном, тёплыми сапогами, рубашками, одеялами и всякого рода одеждами, которые все розданы нуждающимся. Многие из жертвованного послано и в Самарскую губ. и частью в Чернский уезд.

Более подробный отчёт о полученных вещах напечатаем после, если будем иметь время.

Лев Толстой.
21-го апреля 1892 г.

(29, 145 – 156).





Глава Шестая.

ВОПРОС НЕ ПОЛИТИКИ, А ГУМАННОСТИ

(Помощь России зарубежных благотворителей в к. 1891 – 1892 гг.)

6.1. «Общество друзей» из страны врагов

Первые известные нам отклики из-за рубежа желающих помочь России относятся ещё к осени 1891 года.

В Третьем томе «Биографии Льва Николаевича Толстого» Павел Иванович Бирюков, не просто автор биографии, но и единоведец во Христе Л. Н. Толстого и участник многих предприятий великой Бегичевской эпопеи, описывая возросшую в ноябре 1891 г. снежным комом и перекинувшуюся за границу реакцию на открытое письмо 3 ноября, с просьбой о жертвованиях, Софьи Андреевны Толстой, сообщает следующее:

«Не остались глухи к воззванию... в Англии, где движение в пользу сбора пожертвований для голодающих в России быстро приняло обширные размеры: кроме подписок, открытых для этой цели редакцией "Nineteenth Century", госпожой Новиковой, романисткой Гесбой Стретам и квакерами, которые послали своих представителей на места голода в России, основан фонд для оказания помощи России (Russian Relief Fund), в котором принимали участие такие известные личности, как герцог Вестминстер, лорд Абердер, лорд Кольридж и др.

Печатая своё воззвание благотворителям, учредители этого фонда, лорд Максвелл и Джильберт Кольридж, заявили, что часть собранных денег будет роздана на месте делегатами квакеров, а другая часть послана графу Льву Толстому, письмо которого к ним было напечатано во всех газетах» (Бирюков П.И. *Биография Льва Николаевича Толстого. Указ изд. Том третий. С. 165*).

Что касается упомянутых П. И. Бирюковым квакеров, исследование вопросов общения с ними именно Л. Н. Толстого, членов его семьи и прочих участников «голодной» благотворительной эпопеи, размеров и характера помощи с их стороны именно названным нами

лицам и прочих подробностей затруднено недостаточей или малодоступностью источников. Надо подчеркнуть, что речь идёт о контактах с представителями страны, не без основания считавшейся недружелюбной по отношению к России, а значит — находящимися у царского правительства заведомо “на подозрении”. Толстой, будучи и сам “неблагонадёжен” в глазах полиции, под пристальным наблюдением, постоянно опасавшийся препон для своей деятельности со стороны властей — не стремился к контактам с подобными лицами ни лично, ни эпистолярно.

Современный британский исследователь Люк Келли оценивает британское отношение к событиям в России как снисходительно-высокомерное. На формирование такого отношения влияли, с одной стороны, деловые круги, так или иначе причастные к эксплуатации индийских и российских рынков (а значит и к голоду в Индии, с которым, как мы упомянули во Вступительной части нашей книги, европейцы сравнивали голод российский), с другой же — круги российской революционной эмиграции. Британский читатель, чванливо убеждённый в превосходстве британских порядков над любыми другими в мире, а тем более над «автократическими» российскими, был настроен воспринимать критику даже самими русскими порядков в России как «противостояние» имперским монархии и цензуре. Негативные сведения об урожае зерновых в 1891 г. не вызвали в массах таких читателей сочувствия, а лишь подтверждали в их глазах справедливость избранной установки. Решение о помощи было неотделимо от этих чувств превосходства и от либеральной (а в эмигрантских кругах — и вполне революционаристской) критики российских порядков (*Kelly L. British Humanitarian Activity in Russia, 1890 – 1893. Manchester (UK). 2018. P. 54 – 55; 81 – 83*).

Именно революционным эмигрантам, стоит здесь отметить, принадлежит дело особенно нехорошее: они «подготовили» общественное сознание англичан и, шире, европейцев к восприятию едва ли не всякого критического выступления автора из России или в России как «оппозиционного» по отношению к монархии, к российскому режиму в целом, и так или иначе клонящегося к оправданию революции. При этом крикливые выступления такого деятеля революционной эмиграции, как небезызвестный Сергей Степняк-Кравчинский в журнале «Свободная Россия», а тем более сообщения из России соотечественников, в частности Джорджа Кеннана, Джейсма Стевени, Эмиля Диллона — воспринимались с большим доверием, нежели «бунтарские» сочинения Л. Н. Толстого 1880-х гг., в которых для секуляризованного британского мозга было везде «не то» — и

этим «не то» была живая вера Христа, исповедовавшаяся Львом Николаевичем Толстым!

Собственное, не инвазированное пропагандой недовольство Британии Россией имело куда более “шкурные” интересы: сообщения о возможном срыве зерновых поставок из России вызвали уже в июле 1891 г. обвинения в «Manchester Guardian» российского правительства в скрывании сведений об урожае. Одновременно нарастали обвинения в неэффективности мер против голода, предпринимаемого правительством. С подачи радикальной эмигрантской оппозиции происходила, по терминологии Люка Келли, идеологическая «делеги-тимизация автократии», при которой «неэффективному» правительству противопоставлялись трудолюбивое крестьянство и заботливая о народе, граждански активная интеллигенция, которой-де «режим» активно препятствовал в оказании помощи жертвам голода (*Ibid.*, P. 54 – 64).

Эмигранты не просто манипулировали настроениями британского обывателя, но создали ряд мифологем о Л. Н. Толстом. Не без поддержки «генерала в толстовстве» В. Г. Черткова, высланного в 1897 г. российским правительством в Англию и там быстро нашедшего общий язык с «подпольщиками», сотрудничавшего с ними и за это обласканного красной большевицкой сволочью впоследствии, после прихода её к власти в России, в т. н. советскую эпоху, в литературе, даже научной, эти мифологемы получили развитие и удержали влияние надо многими совкорождёнными и совкоголовыми представителями научного мира — как мы показали в Историографической части нашей книги на примере мамзель Н. А. Гаврилиной.

Дурную службу, и прямо накануне голода, сослужило поганому «русскому миру» его дрянное юдофобство (антисемитизм). Причиной для раздражения против России в 1890 году послужили антиеврейские меры властей. Массу евреев выселили из Москвы во исполнение старых законов о праве на жительство. В ответ в Лондоне прошли митинги протеста, а газеты подвергли правительство России справедливой на этот раз критике. Банкир Ротшильд, с которым министр финансов И. А. Вышнеградский вёл переговоры о займе, выразил беспокойство по поводу того, что митинги приведут к ещё большему антиеврейскому раздражению в России. Александр III ответил: «Это неправда, но мы ровно никакого внимания на их митинги не обратим» (*Ламздорф В. Н. Дневник 1886 – 1890. Минск. 2003. С. 374 – 376*). Ранее император вернул министру иностранных дел нераспечатанный адрес от жителей Лондона в защиту выселяемых евреев — с повелением отослать обратно (*Там же. С. 6*).

Весной 1891-го банкиры в Европе объявили России финансовую войну, а Ротшильд взял обратно согласие на намеченную конверсию рубля. В ответ Вышнеградский пригрозил банкирам изъять у них депонированный золотой фонд, но одновременно рекомендовал министру внутренних дел проявлять снисходительность к евреям (*Там же. С. 125*). В июле курс рубля падает. Общественности России, в массе её, ещё пока неведома связь между неурожаем и кредитоспособностью Российской империи, которая должна обслуживать огромный внешний долг. В стране бытует миф о несметных богатствах казны, и нехватка средств у правительства кажется обывателю отговоркой. Это раздражение в российских умах легко способны использовать адепты английской пропаганды.

В создавшихся условиях российское правительство не без основания опасалось, что английское вмешательство, даже в лице наблюдателей за распределением продовольствия или средств добровольных жертвователей, будет направлено на повторение международного скандала, вызванного книгой Дж. Кеннана о сибирской пенитенциарной системе (*Kelly L. British Humanitarian Activity in Russia, 1890 – 1893. Manchester (UK). 2018. P. 64*).

И всё же контакты Льва Николаевича с английскими благотворителями состоялись – начавшись даже ранее многих других!

Вероятно, первым из англичан, ещё в октябре 1891 г., в переписку с семейством Толстых вступил от имени названного П. И. Бирюковым фонда «Russian Relief Fund» человек прогрессивных убеждений из Лондона, некий *Томас Фишер Анвин*, или *Унуин* (Tomas Fisher Unwin; 1848 – 1935), издатель и владелец (с 1882 г.) собственного издательства «T. Fisher Unwin». В далёком 1911 г. именно Томас Фишер Анвин опубликует для английских читателей «Жизнь Толстого» Романа Роллана. А в начале 1890-х он был известен в родной Англии как человек либеральных и интернационалистских воззрений, благословлявший свою жену Джейн Кобден на деятельность по защите прав женщин и осуществлявший сам в те годы, ни много ни мало, пересмотр, с прогрессивных позиций, всей мировой истории посредством выпуска обширной, многолетней серии книг идейно дружественных ему авторов, поименованной «Story of the Nations» («История народов», 1885 – 1908).

23 октября (5 ноября нов. ст.) лондонский издатель пишет Льву Николаевичу письмо, в котором сообщает о предпринятом Фондом сборе пожертвований в Англии для помощи пострадавшему от неурожая русскому крестьянству и о двух затруднениях, связанных

с организацией Фонда. «Первое касается, — говорил он, — пересылки денег из Англии в Россию; второе — того, кому и в какие пункты или области их следует адресовать». Анвин спрашивал, согласен ли Толстой дать своё имя для подтверждения солидности «всякого движения в Англии, направленного к сбору денег и пожертвований, устройства их, распределения в верных местах и среди достойных людей». «Наша мысль состоит в том, чтобы вы сделались посредником между руководителями сбора пожертвований в Англии и добровольными местными комитетами или земствами, которыми, как мы слышали, организована помощь. Мы будем, таким образом, смотреть на вас, как на наше доверенное лицо и советчика, и вы тем самым окажете нам большую услугу и существенную помощь в нашей работе в Англии» (*Цит. по: 66, 77*).

4 (16) ноября Л. Н. Толстой ответил из Бегичевки Томасу Фишеру Анвину следующим посланием:

«М. Г.,

Я очень тронут тою симпатией, которую выражает английский народ к бедствию, постигшему ныне Россию. Для меня большая радость видеть, что братство людей не есть пустое слово, а факт.

Мой ответ на практическую сторону вашего вопроса следующий: Учреждения, которые всего лучше работают в борьбе с голодом нынешнего года, — это без сомнения земства, а потому всякая помощь, какая будет препровождена им, будет хорошо употреблена в дело и вполне целесообразно. Я теперь живу на границе двух губерний, Тульской и Рязанской, и всеми своими силами стараюсь помогать крестьянству этого округа, и состою в ближайших сношениях с земствами обеих этих губерний. Один из моих сыновей **<конечно, это Лев Львович Толстой. — Р. А.>** трудится для той же самой цели в восточных губерниях, из которых Самарская находится в самом худшем положении. Если деньги, которые будут собраны в Англии, не превзойдут той суммы, которая необходима для губерний, в которых теперь работаем я и мой сын, то я могу взяться, с помощью земств, употребить их наилучшим возможным для меня образом. Если же собранная в Англии сумма превзойдёт эти размеры, то я буду очень рад направить вашу помощь к таким руководителям земств других губерний, которые окажутся лицами, заслуживающими полного доверия и которые будут вполне готовы дать публичный отчет о таких деньгах. Способ помощи, который я избрал, хотя он вовсе не исключает других способов, это — организация обедов для крестьянского населения.

Я надеюсь написать статью относительно подробностей нашей работы, — статью, которая, будучи переведена на английский язык, даст вашему обществу понятие о положении дел и о средствах, употребляемых для борьбы с бедствием настоящего года.

Преданный вам Лев Толстой» *(Там же. С. 76).*

Ответ Л. Н. Толстого весьма интересен не только с точки зрения прослеживания возникновения и первых шагов английского благотворительного фонда «Russian Relief Fund», и конечно, не одним указанием на замысел им статьи «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая», сколько смиренным и ценным признанием Львом Николаевичем значительнейшей, по сравнению с усилиями отдельных лиц, как он, роли земств в организации помощи голодающим.

Как мы видим, Англии и английским квакерам принадлежит абсолютное первенство — благодаря отклику, ещё от 23 октября, лондонского издателя Фишера Унуина, которого Толстой в ответном, от 4 ноября письме благословил на создание фонда по сбору пожертвований, названного Фишером Унуином «Russian Famine fund» (66, 76 – 77).

Об ещё одной персоналии, с высоким вероятно связанной с английской конгрегацией «Общества друзей» (как именовали себя квакеры), но исторически малоизвестной, вспоминает в дневнике своём Е. И. Раевская. В один дней первой декады декабря — тех самых, когда Толстой был вынужден выехать из Бегичевки для небольшого отдыха, а главным образом для успокоения жены, и замещал его временно толстовец М. Н. Чистяков — усадебный дом безутешной матери, только что схоронившей прекрасного, нравственно благоухавшего сына, давнего друга Л. Н. Толстого и вдохновителя на дело помощи голодающим Ивана Ивановича Раевского, посетил неожиданный и необычный гость:

«С Чистяковым засиделись мы почти до полуночи; вдруг слышим звон ямских колокольчиков.

— Кто же к нам так поздно жалуется? — сказали мы. — Не здешний, вероятно.

В передней раздалась шаги. Зять вышел посмотреть на ночного посетителя. Слышим, раскланивается, как с незнакомым.

Возвращается через несколько минут в кабинет в сопровождении высокого, красивого, черноволосого, молодого человека, который рекомендуется:

— Mister Braley, из Лондона.

Англичанин! говорящий по-русски безо всякого акцента. Вот чудо! Объясняет, что прислан с целью объездить все страдающие от голода губернии, чтоб удостовериться, справедливы ли слухи, дошедшие до Англии о нуждающемся русском населении. Говорит, что до Скопина доехал по железной дороге, а оттуда просёлком на ямщике; заходил в крестьянские избы; разыскивая себе сносного ночлега, заехал к г-же Медведевой, скопинской помещице: там его не приняли. Тогда ямщик довёз его до князя Михаила Владимировича Долгорукова, данковского земского начальника. Тут Бролей провёл ночь, а Долгорукий дал ему письмо к И. Н. Мордвинову. С этим рекомендательным письмом он к нам и явился. Сообщил он, что в Англии уже собрано 60 000 фунтов стерлингов и ждут только известия о том, где более страдает от голода народ и к кому, в какие верные руки следует адресовать те суммы, которые желают жертвовать на помощь нуждающимся.

— Мы тогда только поверили ходящим слухам, — прибавил мистер Бролей, — когда узнали, что граф Лев Толстой переселился в провинцию, чтоб подавать помощь голодающим. Это известие было, если смею так выразиться, реклама о голоде.

— Граф Толстой действительно был в наших краях, и вот господин Чистяков, его уполномоченный, — сказал зять мой, указывая на Матвея Николаевича, который из учтивости пересел на дальнее кресло.

Лишь только англичанин это услышал, как вскочил со стула и ответил Чистякову глубочайший поклон. Потом стал его расспрашивать в подробности о деятельности графа, о даровых столовых и проч. Разговор принял деловой характер.

Мистер Бролей ужинал с большим аппетитом, ночевал у нас. Он изъясняется самым чистым французским и немецким языком, об английском и говорить нечего.

— Как случилось, что вы так хорошо говорите по-русски? — спросила я.

— В детстве я пробыл двенадцать лет в России, — ответил Бролей.

Утром в разговоре, обращаясь ко мне, он, говоря, о Мордвинове, сказал: «ваш племянник».

— О ком вы говорите?

— Об Иване Николаевиче.

— Он мне не племянник, — возразила я, — а — зять, муж моей меньшей дочери. Я — Раевская.

— Неужели? — воскликнул Бролей, — неужели господин Раевский сын ваш?

— Да. Я имела несчастье лишиться его. Вы видите, я в трауре.

— Неужели? — повторил он, — мы хорошо знаем господина Раевского! Он друг графа Толстого.

Когда Бролей, откланиваясь, брал адрес И. Н. Мордвинова и давал ему свой, я услышала из соседней комнаты, как он говорил ему:

— Мы вполне вам доверяем, потому что вы — зять г-на Раевского. Слёзы брызнули из глаз моих, я спешила уйти, чтоб скрыть их.

И так доброе имя того, кто погиб жертвой своего непосильного сподвижничества, и по кончине своей принесёт пользу народу своему, русскому...» (*Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих // Л. Н. Толстой. — М., 1938. — [Т. I]. — С. 394. — Летописи Государственного литературного музея; Кн. 12).*

По всеё вероятности, Бролей представлял Общество друзей — английских квакеров, об участии которых в помощи голодным и Льву Толстому мы ещё скажем ниже. Но дальнейшие судьба и роль в деятельности английского Фонда помощи голодавшей России мистера Бролея неизвестны.

Ведь он утешил мать чудесного, безвременно ушедшего сына. И то, будем считать, не зря приезжал в Россию.

Что касается именно английских представителей «Общества друзей», то есть секты квакеров, они имели огромный опыт в сохранении политической нейтральности, «либерального интернационализма» (*Kelly L. Op. cit. P. 65*). Но они печально были известны другим: вмешательством в отношения правительств с близкими им, как им представлялось, по вере сектантами. На этой «почве» они найдут общий язык с Толстым позднее, в годы помощи российским духоборам. Но и в начале 1890-х им близки были хорошо известные религиозные убеждения Толстого. С огромным вдохновением квакерским сообществом Великобритании было воспринято и открытое письмо 3 ноября 1891 г. С. А. Толстой. Вероятно, именно на этом вдохновении 6 ноября начало работу традиционное очередное благотворительное собрание квакеров, именовавшееся членами секты «Meeting for Suffering» («Встреча страдающих»), в этот раз целиком посвящённый мерам против голода в России. Решено было для разведки положения, сбора сведений отправить в Россию «комиссионеров». Ими стали Эдмунд Райт Брукс, инженер и лингвист, и востоковед Фрэнсис Уильям Фокс. Приезд их и путешествие по России

стали возможны благодаря содействию влиятельной и глубоко консервативной, вызывавшей доверие в правительственных и придворных кругах писательницы Ольги Алексеевны Новиковой, жившей в Лондоне и публиковавшей статьи в защиту монархии и российской политики. В Петербурге с квакерами встречался Победоносцев и объяснил, что вынужден отклонять предложения помощи из-за границы. Правительство организует помощь через Комитет наследника. Но, добавил обер-прокурор Синода, частным лицам власти не помешают и будут благодарны за помощь

Объехав голодные губернии, англичане отметили, что при всём старании облегчить голод, возможности помещиков ограничены. Туда, где нет железной дороги, доставить продовольствие почти невозможно: лошади съедены или пали от голода. По возвращении в Петербург квакеры встретились с чиновниками, чтобы поделиться выводом: только срочная доставка зерна из южных портов может спасти положение. Прежняя настороженность сменилась дружелюбием, хотя помощь опять отклонили.

Сведениями о встрече комиссионеров с Л. Н. Толстым в этой поездке мы не располагаем. Лев Львович Толстой в воспоминаниях «В голодные годы» относит посещение Бруксом и Фоксом его Патроровки к февралю 1892 г. Но к этому времени отношения отца и сына с «обществом друзей» были уже налажены: Лев Львович пишет, что «знакомя английское общество с русским бедствием, они добывали деньги и пересылали нам», таким образом «много сделав для голодающих в тот год». Лев, сын Льва был как раз в отъезде в Москве и не смог свидеться с Бруксом и Фоксом, о чём сожалел (*Толстой Л.Л. В голодные годы. М., 1900. С. 86*).

Вернувшись к своей конгрегации в Лондоне, Брукс и Фокс рекомендовали на очередном Собрании не посылать в Россию уполномоченных, вызывавших в «русском мире» яростную ксенофобскую паранойю, а доверить контроль за распределением средств жертвователей частным лицам, уже участвующим в помощи и сочувствующим квакерскому движению. К таковым был решительно причислен и Лев Николаевич Толстой с семейством. На это решение, указывает Люк Келли, помимо состоявшихся уже к зиме 1891 г. благотворительных инициатив Л. Н. и С. А. Толстых, повлияли антивоенные дебаты в Собрании: Толстой ведь был хорошо известен и как христианский пацифист (*Kelly L. Op. cit. P. 72*). Но практически важной для квакеров была отмеченная ими великолепная организация дела у Л. Н. Толстого. Он собрал своё «министерство» из людей искренних и внимательных, общение с которыми убедило Брукса и Фокса, что им

можно доверить дело без присылки помощников из Англии (*Ibid.*, P. 75).

На этих убедительных для конгрегации основаниях приступил к работе фонд «Quaker Russian Famine Committee» («Квакерский Комитет по голоду в России»), вскоре объединивший усилия с британским же «The English Famine Relief Committee». Фонд принял решение часть средств пересылать Л. Н. Толстому, а на остальные организовывать помощь непосредственно от лица «Общества друзей» (*Ibid.*, P. 68 – 69). Квакеры имели возможность быстро распространить свой призыв о выделении средств в адрес большого числа собраний в Англии и за её пределами, провести различные публичные собрания, подключить к делу помощи прессу. Одна из главных идей, транслированных ими общественности посредством публикаций в «Guardian» и «Free Russia» восходила к счастливому открытому письму в газеты Софьи Андреевны Толстой: «каждый пожертвованный фунт стерлингов может спасти жизнь», и притом «стоимость поддержания жизни одного русского крестьянина не превысит полдоллара в день» (*Ibid.*, P. 68).

В зимней поездке по России Брукса и его помощника, Герберта Сефтона Джонса, знатока России, хорошо говорившего по-русски, сопровождало, для успокоения властных структур, доверенное лицо — граф Пётр Александрович Гейден, известный земский деятель. В каждом уезде они находили надёжного человека, уже работавшего для голодающих, и вручали ему деньги. От тех, кто брал их пожертвования, они просили только присылать отчёты.

Сохранились следующие воспоминания кн. Владимира Андреевича Оболенского, участника дела помощи голодавшим в Николаевском уезде Самарской губернии, о его скоротечном свидании с Бруксом и Джонсом в Самаре:

«Дело, начатое с небольшими средствами, благодаря притоку денег из Петербурга расширялось и район нашей работы постепенно увеличивался. В особенности разбогатели мы весной, когда получили большой транспорт муки из Америки.

Понемногу мы стали одним из центров притяжения для столичной молодёжи, отправлявшейся на голод. Начали мы работу вдвоём, а весной в нашем районе работало уже более десяти человек студентов и курсисток. Одни кормили, другие ходили за тифозными больными. [...]

Первое время, однако, мы сильно нуждались в средствах, ибо нужды кругом было много. Прослыщав о «комитете», крестьяне

окрестных деревень к нам ежедневно присылали депутации с вычурными писарскими прошениями, в которых нас просили о помощи. И всегда всем почти приходилось отказывать.

Понятно поэтому, с какой радостью мы прочли в газетах, что в Самаре приехали английские квакеры, которые раздают крупные деньги на помощь голодающим. Сейчас же собрались и поехали за двести вёрст в Самару, репшв, в случае надобности, гоняться за ними и дальше. На наше счастье в Самаре мы их застали в единственной тогда приличной гостинице Батуева. С ними приехал известный общественный деятель, граф П. А. Гейден и два молодых князя Долгоруковы, Пётр и Павел, которых совершенно нельзя было отличить друг от друга. До такой степени были похожи.

Через графа Гейдена мы получили аудиенцию у квакеров в их номере.

К этой аудиенции мы обстоятельно готовились, предполагая, что квакеры, сделав такое далёкое путешествие, будут нас подробно расспрашивать о положении деревни, о степени нужды, о формах нашей помощи, и надеялись путём красноречия моего товарища, В. Д. Протопопова, хорошо говорившего по-английски, выманить у них крупную сумму денег для наших столовых.

В условленный час мы были в номере у квакеров. Квакеры, один маленький и толстенький, с окладистой седой бородой и большими добрыми голубыми глазами, другой помоложе, атлетического сложения человек с угрюмой физиономией красного цвета и густыми рыжими усами, молча пожали нам руки и предложили сесть.

В. Д. Протопопов стал сконфуженно мямлить заранее приготовленную речь, но седой квакер остановил его, добродушно улыбнулся и произнёс “Yes, very good”. А затем полез в карман за бумажником, отсчитал пять тысяч рублей и отдал их нам.

После этого оба квакера встали, пожали нам руки и мы удалились.

Было несколько обидно, что нам уделили так мало внимания, но пять тысяч было больше того, что мы ожидали получить.

В конце концов, если квакерам не интересно, как будут израсходованы деньги, — это их дело. Главное — деньги у нас в руках, и мы можем расширить район помощи.

Засунув деньги в валенки, мы покатали назад в Николаевские степи» (*Оболенский В., кн. Воспоминания о голодном 1891 г. // Современные записки. Париж, 1921. С. 273 – 274*).

Не нашедшие избранных квакерами частных адресатов средства Брукс и Джонс передавали в местный Красный Крест.

По этому поводу, действительно, стоит посочувствовать Льву Львовичу Толстому, столь неудачно выехавшему поклянчить наугад денег у родителей в Москве и пропустившему визит столь щедрых дарителей!

* * * * *

Ведущее, признанное самим Л. Н. Толстым и семьёй его, место в помощи делу христианского служения голодающим крестьянам принадлежало Америке. В рукописном отделе музея Л. Н. Толстого хранится около 9 тысяч писем иностранцев к Толстому. Более полутора тысяч из них присланы писателю из Америки. Обработка этой интереснейшей части эпистолярного фонда только начинается, но уже сейчас исследователями сделано немало важных находок: открываются новые имена учеников и последователей Толстого в Америке, уточняются представления о том, насколько широко были распространены идеи Толстого и какой отклик они находили среди американцев, как воспринимались художественные произведения писателя.

Отдельный корпус переписки связан с нашей темой — «работой на голоде» Льва Николаевича Толстого зимой 1891 – 1892 гг. Известно, что «для облегчения участи голодающих» писатель получил помощь из-за рубежа, в частности из Америки. Анализ переписок Толстого и членов его семьи именно с американцами, откликнувшимися на российскую беду особенно живо, позволяет выявить или уточнить многие факты: в частности, то, как именно была организована эта помощь, кто принимал в ней самое деятельное участие, какие трудности приходилось преодолевать американским помощникам Толстого — все эти и многие другие вопросы проясняются лишь из личной переписки Толстого с его американскими друзьями, которую в наиболее существенном её содержании мы представим читателю ниже.

Как мы помним, судьба сыронизировала над Толстым на первом шаге пути его христианского служения, в октябре 1891 г.: он отказался от прав авторства — по существу, от гарантированных в близкой перспективе доходов, от денег, и тут же, несколькими днями спустя, был вынужден начать свою помощь голодающим крестьянам Тульской и Рязанской губерний, имея при себе всего несколько сотен, выпрошенных у жены.

Вопреки благороднейшим идеалам Толстого, начатое им дело требовало ещё и ещё денежных средств, которых постоянно не хватало. Об этом свидетельствуют его письма друзьям. Так, в декабре 1891

года Толстой писал И. Б. Файнерману: «Бедствие здесь большое и всё растёт, а помощь увеличивается в меньшей прогрессии, чем бедствие» (66, 95). Ещё более определённо он высказывался в письме к В. Г. Черткову от 15 января 1892 г.: «Я ещё в Москве, и очень, каюсь, тягочусь здешней жизнью. Здесь всё идут пожертвования, есть ещё деньги столовых на 30 и всё прибывают, а когда я уехал оттуда, там было 70 столовых и были просьбы от деревень 20, очень нуждающихся, которые, я думал, что нельзя удовлетворить. А теперь можно, а я сижу здесь. А 30° мороза, а там нет во многих близких местах ни пищи, ни топлива» (87, 123 – 124).

Начав решать проблему финансирования с 500 рублей, Софья Андреевна продолжила, как мы помним, ходом счастливым и успешнейшим: обращением 3 ноября 1891 г. к общественности через газеты. К концу года не в одной России, но и в европейских странах и США в пространстве общественных дискурсов фигурировали два побуждающих к благотворительной поддержке текста: несчастливый (для автора) «Письма о голоде» Л. Н. Толстого, то есть цензурированные фрагменты его статьи «О голоде», и обращение от 3 ноября его жены. Красноречивым обстоятельством является то, что первые же отклики и денежные средства из-за рубежа стали приходить на имя не только Л. Н. Толстого, но и его супруги.

Иногда, впрочем, происходили и осечки. Так, 29 января 1892 г. Департамент полиции выслал рязанскому губернатору предписание: передать Л. Н. Толстому, в заклеенном конверте банковский чек, который прислал в Министерство внутренних дел из США «некто Альва Адамс» из города Пуэбло (*Красный архив. Том 5 (96). М., 1939. С. 224*). Вероятно, экс-губернатор (в то время, а позднее — вновь избранный губернатор) штата Колорадо Альва Адамс (*Alva Adams, 1850 – 1922*) считал себя достаточно знаменитой в России персоной, чтобы выслать чек через официальный правительственный орган. Но для МВД России он оказался просто... некто. Деньги, однако, предписанием рязанского губернатора от 12 февраля были добросовестно переправлены Толстому через данковского уездного исправника — уже хорошо известного нашему читателю г-на Праля (*Там же. С. 225*). Толстому Альва Адамс направил 21 (н. ст.) января письмо, на которое, по его поручению, ответила Адамсу дочь писателя Мария Львовна (66, 470).

Как образчик типичный, характерный для частных, единовременных американских жертвователей из числа частных лиц, возьмём краткую, из трёх писем, переписку с Толстым меннонита, инспектора воскресных школ, проживавшего в Маунтен Лейк (округ Коттонвуд, штат Миннесота) Исаака Баргена (*Bargen Isaac I., 1857 –*

1943). В последней декаде декабря 1891 года — вероятно, как дар Рождества — он выслал телеграфом Толстому 200 долларов, о которых сообщил чуть позднее, уже 2 января 1892 г. <зд. и далее датировки писем от иностранных адресатов даются нами по новому стилю, ответов им Л. Н. Толстого — по старому и новому стилю. — Р. А.>, в небольшом письме к Толстому: «Эти деньги пожертвовала наша воскресная школа, которую посещают люди, переехавшие в Америку из Вашей страны. Надеюсь, Вы получили 200 долларов и распределите их среди страждущих по своему усмотрению» (Л.Н. Толстой и США. Переписка. Сб. документов. [Далее: США. Переписка] М., 2004. С. 668).

Вероятно, добрый меннонит поручил отправку денег какому-то доверенному помощнику и вряд ли желал ввести получателя в заблуждение. Дело в том, что деньги были посланы через три банка, но известила получателя об отправке только контора «Banking House of Gilman Son & Co», так что Толстой, на момент получения письма И. И. Баргена от 2 января, не мог ещё дать ему удовлетворительного ответа. Выбрав время и отвечая из Бегичевки множеству лиц, Толстой надиктовал неизвестному помощнику (почерк в подлиннике не атрибутирован) и ответ для Баргена, в котором попросил уточнить, на какой банк были посланы деньги (см. 66, 141 – 142). И.И. Барген затруднился с ответом, либо послание от него не сохранилось. Уже 30 мая 1892 г. он делает Толстому вторичных запрос, ссылаясь на своих жертвователей, которые «желали бы знать», что деньги дошли до Толстого и как он распорядился ими (США. Переписка. С. 670 – 671). В свою очередь, вторая часть запроса, конечно же, затруднила Льва Николаевича: американский его корреспондент не мог и представить себе огромности проходивших через бегичевское «министерство добра» сумм и разнообразия направлений их применения. Бог весть, куда ушли эти именно доллары... На обороте письма Баргена сохранился черновой набросок ответа Толстого: «Милостивый государь, деньги получены вовремя и очень быстро» (Там же). Быть может, к этой строчке и свёлся весь ответ, но Толстой подкрепил его, отправив И. И. Баргену письма от банкиров.

Это типичный пример переписки с частным жертвователем — сравнительно со многими другими, весьма честным и покладистым.

6.2. «Общество американских друзей русской свободы»

Почти в те же самые январские дни 1892 года в дело помощи Толстому включился человек, неизмеримо значительнейший не только по масштабам оказанной помощи, но и в писательской и духовной

биографии самого Льва Николаевича Толстого и даже в истории Североамериканских Штатов. Френсис Джексон Гаррисон (*Francis Jackson Garrison, 1848 – 1916*) – так звали этого значительнейшего благотворителя, и был он, как и брат его Уэнделл Филлипс (*Wendell Phillips Garrison, 1840 – 1907*), сыном выдающегося общественного деятеля Америки Уильяма Ллойда Гаррисона (*William Lloyd Garrison, 1805 – 1879*), аболициониста, высокочтимого Львом Николаевичем Толстым. В 1838 году Уильям Ллойд Гаррисон составил декларацию под названием «Провозглашение основ, принятых членами общества, основанного для установления между людьми всеобщего мира». Толстой узнал о Гаррисоне, получив в 1886 г. письмо с приложенным к нему текстом «Декларации» от его сына и биографа Уэнделла. В первой главе трактата «Царство Божие внутри вас», над которым, напомним читателю, Толстой продолжал работать, выкраивая время, в течение всего периода Бегичевской эпопеи, Толстой приводит этот документ, воспринятый им как декларация христианского «непротивления злу насилием», и, конечно, в самых положительных выражениях, не без доли романтизации этой исторической персоналии, рассказывает об его авторе.

Но переписка, к сожалению, состоялась не с Уэнделлом, а с менее известным его братом, соавтором биографии отца, Френсисом Гаррисоном, который в то время служил казначеем в Обществе американских друзей русской свободы.

У Общества этого — довольно отвратительная история. Пореформенная Россия тяжело, но набирала могущество. Как водится, активизировались геополитические конкуренты — умевшие уже в ту эпоху действовать не одним лишь военным путём...

В 1865 г. в Русско-американскую телеграфную экспедицию поступает на работу телеграфистом молодой человек — Джордж Кеннан (*George Kennan; 1845 – 1924*). Он провёл два года путешествуя по Чукотке и Камчатке, после чего вернулся в Америку через Петербург. Опубликовав свои путевые записки, Кеннан почувствовал в себе литературный талант, но применение ему нашёл не сразу. С 1878 г. он сотрудничает с «Associated Press», в связи с чем снова отправляется в Россию — на этот раз для знакомства с системой каторги и ссылки. Исполняя журналистское задание, Кеннан общается с некоторыми из политических заключённых, таких как Екатерина Брешко-Брешковская, Егор Лазарев, Феликс Волховский — и, без сомнения, подвергается с их стороны «идейной обработке». Кеннан имел репутацию не только крупного знатока России, но и страстного апологета российской политики и общественного строя. Из поездки же в Си-

бирь публицист возвращается непримиримым антогонистом царского правительства. Вернувшись в США, в 1887 – 1889 гг. Кеннан опубликовал в журнале «Century» (американский аналог «Вокруг света») ряд статей, в которых резко критиковал царское правительство и романтизировал революционеров. Этим он не мог не сойтись с настроениями Л. Н. Толстого, чьей влиятельной поддержкой желали заручиться работодатели Кеннана. Кто-то указал ему на эту возможность, и в июне 1886 года, явившись снова в Россию, на этот раз для работы над очерком о российских тюрьмах, он заявляется в гости к великому яснополянцу. В письме к В. Г. Черткову от 28 – 29 июня 1886 г. Толстой писал о Кеннана: «Да, ещё посетитель у меня был, американец, путешественник [...] — очень милый – приятный и искренний человек, хотя с разделённой перегородками душой и головой – перегородками, о которых мы, русские, не имеем понятия, и я всегда недоумеваю, встречая их» (85, 363 – 364).



Джордж Кеннан

Статья Кеннана «A Visit to Count Tolstoi» («В гостях у гр. Толстого») была опубликована в журнале «Century» (Century Magazine. 1887, 34. P. 253 – 265) и имела широкий резонанс. В свою очередь, вошёл в «резонанс» Кеннан и со взглядами Толстого. 26 ноября 1888 г. Толстой писал в Дневнике: «Суждения о русском правительстве Kennan'a поучительны: мне стыдно бы было быть царём в таком государстве, где для моей безопасности нет другого средства, как сослать в Сибирь тысячи и в том числе 16-летних девушек» (50, 5). Кеннан подложил Толстому свои публикации, и, прочтя работу «Political exiles and Common Convicts in Tomsk» («Политические ссыльные и

обычные осужденные в Томске»), Толстой записывает 5 января следующее: «Дома читал Кеннана, и — страшное негодование и ужас при чтении о Петропавловской крепости» (50, 20). 11 ноября 1889 г. он дочитал статью о Петропавловской крепости и сибирской ссылке. Впоследствии материалы этой статьи писатель использовал в романе «Воскресение» и в повести «Божеское и человеческое». В комментариях Н. Н. Гусева к роману «Воскресение» говорится о некоторых совпадениях романа с книгой Кеннана «Siberia and Exsile System» («Сибирь и ссылка») (1891). 8 августа 1890 г. Толстой писал Кеннану: «С тех пор, как я с вами познакомился, я много и много раз был в духовном общении с вами, читая ваши прекрасные статьи в “Century”...» (65, 138).

Здесь кстати заметить, что и экземпляр биографии У. Л. Гаррисона, сохранившийся в Яснополянской библиотеке, был прислан Толстому всё тем же Кеннаном после визита к писателю. «Прощупав» ничего не заподозрившего яснополянца, тот выяснил его пристрастия и разработал меры влияния на Толстого — с перспективами вовлечения его, через религию и благотворительность, в деятельность международной политической оппозиции российскому режиму.

Таким образом, сам того не зная, Толстой «подтвердил» соображения «революционной» эмиграции о возможности использования его в антироссийской деятельности и пропаганде. Вряд ли бы Толстой спешил с выводом о *духовной близости* его с Кеннаном, если бы знал, как использовал тот собранный в России материал и *какой* стремился вызвать резонанс у себя на родине!

Разоблачение злоупотреблений российских властей сделало Кеннана знаменитым. Он начал активно печататься в серьёзных общественно-политических журналах. Кроме «Century», это были «The Outlook», «The Nation», «Forum» и другие.

С середины 1880-х гг. преимущественно негативная реакция в Англии и США на действия народовольцев, в особенности царевбийство 1881 г., стала меняться в противоположную сторону, и ключевую роль в этом повороте сыграли публикации «эксперта по России» Кеннана. Наиболее важным результатом публикаций Кеннана стало возникновение по обе стороны Атлантики мессианского по настроению движения за «свободную Россию». Под впечатлением прочитанного, отдельные общественные и политические деятели выступили в защиту российских революционеров, боровшихся с самодержавием. В подтверждение правоты своей позиции они ссылались прежде всего на публицистические работы проживавшего с 1884 года в Лондоне беглого политического преступника, террориста *Сергея Степняка (Кравчинского)* (1861 – 1895). Сергей Михайлович имел

«народнический» опыт 1870-х — в том числе “вольных”, в социалистическом духе, трактовок Евангелия. Знал он и о симпатиях, которые вызвала у Л. Н. Толстого книга его «Подпольная Россия» — “удачно” подтвердившая для Толстого внушённое ему окружением романтизированное восприятие личностей революционеров. В свою очередь, Степняк читал за границей лекции, в одной из которых выставил английской публике Толстого как бунтаря, ненавистника самодержавия на “ложной” религиозной “подкладке”. Примерно так же позднее аттестовал Толстого Владимир Ульянов (Ленин).



Сергей Михайлович Кравчинский (Степняк)

Именно Степняк (Кравчинский) организует в 1891 г. в Лондоне «Фонд вольной русской прессы», который занимался изданием и переправкой в Россию агитационной литературы. А ещё раньше, с апреля 1890 г., он организует в Англии «Общество друзей русской свободы» (*«Society of Friends of Russian Freedom»*), которое занималось пропагандой против российского самодержавия и поддержкой российских революционеров, выпускало англоязычный ежемесячник «Свободная Россия» (*Free Russia*). Редактором журнала до 1893 года был сам Кравчинский, затем его сменил Феликс Волховский (1846 – 1914). В 1891 году после поездки Кравчинского в США здесь возникло американское отделение «Общества друзей российской свободы». Издателем американского издания ежемесячника «Free Russia» стал российский политэмигрант Лейзер Борухович (Лазарь Борисович) Гольденберг-Гетройтман (*Lazar Goldenberg-Getroitman*;

1846 – 1916), а постоянным автором, активно использовавшим «сведения» Кеннана — другой ярый «противник самодержавия», Эдмунд Нобл (*Edmund Noble; 1853 – 1937*).

С 1892 г. журнал, затронувший, конечно же, и тему притеснения в России евреев, получал денежную поддержку нью-йоркских финансистов Штрауса, Шиффа, Э. Лемана и З. Нойштадта, благодаря чему «протянул» ещё целых два года. Но показательно, что за эти годы журнал и стоящее за ним Общество друзей русской свободы развернули всего лишь две получившие некоторый резонанс и вошедшие в историю кампании: одну — за отмену русско-американской конвенции 1887 г. о взаимной выдаче преступников, а вторую — как раз за сбор средств для Л. Н. Толстого, на помощь голодающим.

Благодаря умелой агитации, смысл которой заключался в изображении российских «нигилистов» и террористов убеждёнными сторонниками конституционного строя и гражданских прав, Степняк-Кравчинский сумел заручиться поддержкой не только английских социалистов, но и других общественных деятелей Англии и США, более умеренных по политическим взглядам. В своих выступлениях они отождествляли российских нигилистов с западными либералами, интерпретируя используемые ими террористические методы как вынужденную меру против «произвола» и «деспотизма» самодержавия. Джордж Кеннан стал не просто «авторитетным» автором этого издания, но своего рода лидером движения, на скромный талант которого ещё более бездарные (кроме Степняка) участники «движения» очень рассчитывали, формируя негативное отношение европейцев и американцев к «царизму».

Френсис Гаррисон в то время был издателем захудалого религиозного ежемесячника «The Andover Review», который издавался в компании «Houghton Mifflin Harcourt» (Бостон). Но Френсис, конечно же, помнил, что он — сын выдающегося аболициониста, «борца с рабством», и, вероятно, достоин лучшего поприща. «Обработка» таких мечтателей шла у Степняка и его помощников на «ура»: помимо Ф. Гаррисона, в сомнительное Общество были завербованы и другие деятели аболиционистского движения, такие как полковник, командир первого негритянского полка в годы Гражданской войны, неудачливый литератор Томас Хиггинсон или известная общественная деятельница, аболиционистка и феминистка, а кроме того третьестепенная поэтесса Джулия Уорд Хоу *)

*) Более подробно об американском турне Степняка см.: Хомяков В. А. Поездка С. М. Степняка-Кравчинского в Америку // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1963. № 3. С. 167 –171).

14 апреля 1891 г. Общество выпустило воззвание «К американскому народу». В нём говорилось, что целью организации «является оказание помощи русским патриотам в их борьбе за обретение политических свобод и самоуправления для своей страны всеми моральными и законными средствами» (Цит. по: Нечипорук Д. М. «Что американцы могут сделать для России?» // Исторический ежегодник – 2008. Новосибирск, 2008. С.138 – 139).

В ноябре 1891 г. Степняк-Кравчинский выступил перед американской аудиторией в качестве автора пространной статьи «Что американцы могут сделать для России?». В ней он призвал американцев поддержать оппозиционное движение в России, выступающее «за политическое освобождение... приобретение элементарных гарантий гражданских свобод и конституционного правительства». Степняк-Кравчинский не скрывал, что после бегства на Запад он решил своей агитацией «завоевать весь мир во имя русской революции». Он указывал на то, что его задачу значительно облегчили, во-первых, огромный успех произведений русских писателей, прежде всего Толстого, Тургенева и Достоевского, а во-вторых, публикация статей Кеннана (*Там же*. С. 137). Но сам Дж. Кеннан не спешил присоединиться активно к Обществу, оказывая ему лишь небольшую материальную поддержку. И тогда «каналом влияния» на Толстого сделался сын его кумира и человек, что называется, *сидящий на деньгах*, казначей Общества — то есть, безусловно, человек полезный яснополянцу, только что публично (с сообщением в газетах) отказавшемуся от денег, необходимых для организации помощи голодающим.

Это была, по времени, первая в Бегичевской эпопее попытка людей нравственно и пачкотных, и ничтожных политизировать чистую христианскую инициативу Толстого. В свете сказанного, полагаем, нашему читателю станет понятным, отчего *бостонские* письма к Толстому Френсиса Джексона Гаррисона сопровождались *лондонскими* чеками, с суммами в английских фунтах стерлингов.

Интересующая нас опубликованная часть корпуса переписки Л.Н. Толстого с Френсисом Дж. Гаррисоном посвящена истории создания сыном толстовского кумира американского Фонда помощи голодающим в России и пересылке пожертвований на нужды голодающих в пользу Л. Н. Толстого и членов его семьи. Это 20 писем, написанных из Бостона в период с 8 января по 29 июня 1892 г.

В период с 8 по 19 января 1892 г. Ф. Дж. Гаррисон посылает в Москву, Софье Андреевне Толстой, четыре кратких и довольно однотипных письма, сопровождаемых чеками или копиями чеков,

представляя первое из них, от 8 января, ответом на её обращение в газетах к общественной щедрости от 3 ноября (в письме ошибочная дата: 2 ноября): «...Оно произвело в нашей стране глубокое впечатление и было опубликовано в множестве газет» (Ф. Дж. Гаррисон — С. А. Толстой. 8 января 1892 // Л.Н. Толстой и США. Переписка. М., 2004. С. 29 – 30).

К первому из писем Френсиса Джексона Гаррисона был приложен чек на 16 фунтов, 14 шиллингов и 8 пенсов — вероятно, с тайной целью создать у адресата впечатление, что кто-то буквально “выскреб по сусекам”, в рвении помочь голодным. При письме от 12 января было уже ровным счётом 20 фунтов, 15 января — 17-ть, а 19 января — целых 80 фунтов (Там же. С. 30 – 32). Показательно, что в письмах этих к жене Толстого Ф. Дж. Гаррисон не только не упоминает своего выдающегося отца, но и не выдаёт своего настоящего статуса: писаны они на бланках того издательства, с которым, для прикрытия, продолжал сотрудничать Ф. Дж. Гаррисон (Там же. С. 30. Примечание 2). Да и о самих пожертвованиях, несмотря на странные суммы в фунтах стерлингов, говорится лишь, что это «американские пожертвования», собранные «от разных лиц» (Там же. С. 30, 32).

Но вскоре казначея настигли тревожащие слухи из России. В нескольких американских газетах появилась “утка” о запрещении Толстому благотворительной деятельности, в связи с открытием централизованного Комитета помощи голодающим, возглавленного цесаревичем Николаем Александровичем, и даже о помещении Толстого в Москве под надзор полиции. Даже смерть И. И. Раевского, по информации, полученной творцами сплетни «из частных источников» в кругах российских либералов, якобы могла быть вызвана «страхом или неожиданным разочарованием», связанными с правительственным запретом на благотворительность. Одна из газет, именно «Boston Evening Transcript» («Бостонские вечерние известия»), поместила 19 января “новость” под броским заголовком: «Графу Толстому русским правительством приказано прекратить благотворительную деятельность» (цит. по: Ф. Дж. Гаррисон – Л. Н. Толстому. 22 января 1892 г. // Л.Н. Толстой и США. Переписка. С. 34 – 35).

Встревоженный кассир впервые обращается в письме от 22 января к самому Л. Н. Толстому, и даже вынужден, уже переслав к С. А. Толстой несколько чеков, представить себя наконец, как «сына умершего У. Ллойда Гаррисона», дабы сразу расположить к себе бесценного по доверчивости Льва Николаевича. Он просит Толстого подтвердить телеграммой возможность и дальше распоряжаться по

назначению посылаемыми ему деньгами: «Сомнения в порядочности российской администрации отвращали бы нас от мысли посылать деньги, которыми они бы распорядились, а кроме Вас мы в настоящее время не знаем никого, кому бы могли доверить собранные средства» (*Там же. С. 34*). Ответ Толстого неизвестен, но, судя по упоминанию Френсиса Дж. Гаррисона в письме от 12 февраля, «каблограмма, рассеявшая ложные слухи, кочевавшие по страницам газет» была Толстым к нему отправлена (*Там же. С. 37*). Кроме того, понимая произведённое такими слухами вредное влияние на общественное мнение американцев, Френсис Джексон Гаррисон берёт на себя публикацию особой листовки-призыва, уже второго от его лица, но в этот раз более массового по распространённости. Листовку кассир Общества друзей русской свободы приложил к письму от 16 февраля из Бостона, вместе с чеком, в этот раз на целых 40 фунтов. Вот, в переводе на русский, текст этого интересного документа:

ГОЛОДАЮЩАЯ РОССИЯ

Четырнадцать миллионов в истинной нужде

В докладе, только что представленном правительству Соединённых Штатов американским послом в С.-Петербурге Смитом, сообщается, что самые крайние оценки размеров бедствия, поразившего Россию, не являются преувеличением. Опираясь на свидетельства очевидцев, г-н Смит констатирует, что голодом охвачены 13 губерний в европейской части России, что на одну треть превосходит территорию всей Германии.

Официально считается, что число тех, кто голодает и лишён средств к существованию, равно 14.000.000 человек, однако, скорее всего, настоящее число выше.

В докладе делается вывод: *«Время — очень важный фактор в работе по спасению голодающих. Каждая неделя на счету. Необходимо сто восемьдесят миллионов фунтов провизии. Пятьдесят вагонов должны ежедневно доставлять её в пострадавшие уезды, но на Святочной неделе их прибывало всего 11 в день.*

К сожалению, нависшая опасность до сих пор не до конца осознана; однако угроза голода омрачает всё, и, чтобы приостановить бедствие, необходимо приложить все усилия. К настоящему времени царское правительство выделило из государственной казны в помощь голодающим 85. 000. 000 рублей (42. 500. 000 долларов). Но работу необходимо продолжать, ибо расходы составят куда более значительную сумму.



Чарльз Эмори Смит,
посол США в России (1890 – 1892)

Русский Государь лично пожертвовал огромные суммы, и представители всех сословий вносят вклады согласно своим возможностям. По скромным оценкам, потери России, учитывая последствия, составят не менее 1. 000. 000. 000 рублей (500. 000. 000 долларов).

Поступления из-за границы до настоящего времени были незначительны, но русские люди и правительство глубоко признательны американцам, отозвавшимся на их бедствие в разных уголках Соединённых Штатов. Министры царского правительства, так же как и многие другие, выразили послу Смицу своё одобрение».

Граф Толстой продолжает писать в газетах на тему голода, а его жена, графиня, сказала в своём недавнем обращении: «[...] *Тринадцать рублей (6 долларов) спасут от голода до следующего урожая одного человека.* Но страждущих так много, что необходимы огромные суммы. Давайте, однако, попробуем предпринять хотя бы то, что в наших силах.

Если каждый, исходя из своих возможностей, спасёт одну, две, десять или сто человеческих жизней, ему на душе станет легче. И да избавит нас Бог от повторения ещё одного такого года!»

Вспомоществования страждущим переводить по адресу: Бостон, Парк Стрит, 4 — на имя г-на Фрэнсиса Дж. Гаррисона, который лично оприходует их и незамедлительно перешлёт графу и графине Толстым» (Там же. С. 39 – 40).

Обратим внимание, что хитрый кассир не называет нигде ни свой ублюдочный теологический журналец, с которым сотрудничал фиктивно, ни тем более Общества друзей русской свободы, на которое работал в реальности, но которое не пользовалось в США сколько-нибудь массовой популярностью и поддержкой, а представляет себя, по существу, частным посредником между американскими жертвователями и русскими частными же благотворителями, отчего-то именно супругами Толстыми.

Судя по всему, листовка Гаррисона сделала своё дело, и поток пожертвований возобновился. Независимо от этой услуги и ещё не зная о ней, Лев Николаевич пишет 18 февраля первый свой в данной переписке ответ с благодарностью «досточтимому сэру» Гаррисону и его «соотечественникам и друзьям» (*Там же. С. 40 – 41. № 17*).

Другой, не менее интересный, документ приложен к письму Ф. Дж. Гаррисона от 22 марта 1892 г. Это письмо от консула Соединённых Штатов в Виндзоре (Канада, Новая Шотландия), относительно пожертвований, собранных несколькими женщинами в этой провинции и направленных консулом в адрес Л. Н. Толстого.

«Эдвард Янг
Консул США

Консульство США
Виндзор, Н.Ш., 18 марта 1892

Милостивый Государь,

К сему прилагаю десять (10) долларов, пожертвованных дамами из Общества временно объединённых западных церквей Женского христианского объединения трезвости в Хаутспорте, Новая Шотландия, в помощь голодающим русским. Они выразили пожелание, чтобы эта сумма (около 18 рублей) была определена графиней Толстой или её семьёй для поддержания сил какой-нибудь женщины до следующего урожая. Поскольку (как писала графиня) на одного человека необходимо 13 рублей, пусть это будет женщина с ребёнком, которые проживут на эти деньги до следующей осени. Не будете ли Вы столь любезны довести пожелание дам из Хаутспорта до сведения графини Толстой. [...]» (*Там же. С. 45 – 46*).

Умилительная и смешная расчётливость. Дамы-баптистки не имели понятия о том, насколько ближе, чем они, к Богу и Христу был

не только сам адресат их, Лев Николаевич Толстой, но даже и православные посетители его столовых, крестьяне.

Судя по «высокому» консульскому вниманию к скромнейшей особе Френсиса Дж. Гаррисона, его инициатива переживала в эти дни своеобразный «расцвет», пик внимания и общественной поддержки. Но Бог не фраер, и удержаться на этой вершине долго мутному «Обществу друзей русской свободы» и его проворному казначею было не суждено. Скоро всё закончилось — и при довольно щекотливых, как увидит наш читатель, обстоятельствах для Общества.

Своеобразный итог — промежуточный, как тогда ещё думалось Гаррисону — деятельности его на поприще распределителя английской и американской денежной отрывки можно видеть в письме его к Л. Н. Толстому от 1 апреля 1897 г. Гаррисон сообщает, что всего до 10 марта 1892 г. им было собрано, в пересчёте на американскую валюту (американское Общество было «филиалом» ранее созданного английского, и отчётность в нём велась обыкновенно в фунтах стерлингов), довольно солидные 1567, 56 долларов. Прилагался к письму и список жертвователей за период до 10 марта. В нём, среди прочих, поименован Ральф Стоун, секретарь американского отделения Общества друзей русской свободы, собравший по подписке среди жителей Буффало 100 долларов. Но буквально следом названа Изабел Флоренс Хэпгуд, хорошо известная Льву Николаевичу американская переводчица, собравшая, «в ответ на своё обращение в прессе», больше 200 долларов, которые передала Л. Н. Толстому (*Там же. С. 47 – 48*).

«Нас согревает мысль о том, что в своём благородном начинании Вы не знаете вынужденных перерывов и даже расширяете поле своей деятельности» — кадит фимиамом Гаррисон в письме к Толстому от 1 апреля 1892 г. Нам не нужно напоминать читателю, что именно вынужденные перерывы, из-за чудовищной усталости и по семейным обстоятельствам, у Толстого как раз происходили. А вот что мутное Общество мутных американских «друзей» было хорошо «разогрето» расширением благотворительной работы как в России, так и в США — не приходится даже и сомневаться! Маловлиятельному Обществу, в котором отказался участвовать даже Кеннан, его идейный вдохновитель, пришлось конкурировать за денежные потоки и влияние с куда более бескорыстными и честными друзьями России, её бедствующего трудового народа. В том же документе, который мы цитировали выше, в списке крупных жертвователей, мы находим известие о создании в Нью-Йорке Комитета помощи голодающим в

России: «Его воззвание написали известные литераторы, в его поддержку выступило более двадцати деятелей, обладающих общенациональной известностью». Выдающееся место среди этих деятелей действительно *общего дела* принадлежит скромной прежде переводчице, любившей писателя Толстого, русский язык и Россию, хорошей знакомой и Софьи Андреевны Толстой, Изабел Ф. Хэпгуд. Поэтому, чтобы не раздуть безмерно данную главу, превратив её в своеобразную «книгу в книге», ниже мы будем говорить именно о мисс Хэпгуд и её *настоящих* союзниках и единомышленниках.

А о Френсисе Джеконе Гаррисоне сказать остаётся сравнительно не многое. 13 апреля Л. Н. Толстой кратко поблагодарил жертвователей и самого Гаррисона «за братскую помощь голодающим крестьянам» (*Там же. С. 49*). Завершается же тема благотворительных сборов для России в переписке Толстого с Гаррисоном письмом от 29 июня 1892 г., которое сопровождал последний из этого источника чек Толстому на сумму около 10 английских фунтов (*Там же. С. 51*). Но уже в конце весны, в письме от 20 мая, Гаррисон жалуется, что пожертвования в кассу его выморочного Общества «почти прекратились», и скоро он не сможет больше ничего прислать:

«Это, однако, никак не связано с охлаждением интереса или симпатий со стороны американцев. Дело в том, что мисс Хэпгуд и несколько других фондов начали действовать по официальной линии, что, естественно, привлекло многих сочувственно настроенных людей, и бесспорно повысило их статус, с чем едва ли может поспорить в своей скромной деятельности Общество американских друзей русской свободы» (*Там же. С. 49 – 50*).

Ниже мы особо рассмотрим деятельность о главной, вероятно, «доброй фее» всего бегичевского и патровского благотворительного начинания Толстых — Изабел Хэпгуд и её успешного, эффективнейшего Фонда помощи!

6.3. Всенародное дело

Деятельность «благотворителей», подобных Обществу друзей русской свободы, позволяет констатировать наличие уже с конца 1891 года множества политических спекулянтов на бедствии России. Им противостояла централизация организованных мер помощи, совершившаяся в России в ноябре 1891 г. открытием 17 ноября Центрального Комитета под председательством великого князя Николая Александровича, будущего Николая II, а в США — рядом правительственных мер, предпринятых уже в 1892 году. Но и в США, как в

России, источником самого устройства всего труда помощи были неспокойное сознание и любящие сердца частных жертвователей — задолго до первых шагов правительства.

В памятной многим, одной из первых на постсоветском медийном пространстве статей на эту тему, опубликованной в 1992 году в журнале «Огонёк» статье «Доллары для Толстого» американская славистка украинского происхождения Татьяна Виттакер сообщает массовому читателю, с осязаемым увлечением, ряд подробностей начавшейся помощи России, энтузиазма в этом деле американцев:

«Американцы живо откликнулись на горе, постигшее Россию. В Новой Англии, на северо-западе Америки («великой житнице Соединённых Штатов») сразу припомнили времена, когда Россия поддерживала их в борьбе за независимость и — совсем недавно — в гражданской войне с Югом. Бизнесмен и редактор из Миннеаполиса У. Идгар на страницах своего «Северо-Западного мельника» обращался с призывом к мукомолам: собирайте пожертвования! В течение часа он собрал подписку на 400 000 фунтов муки. Его энтузиазм распространился по всей Миннесоте, заразил соседние штаты Айова и Небраска, достиг штата Нью-Йорк... [...] Американцы так увлеклись, что насобирали зерна больше, чем нужно. Стоимость перевоза товара через океан не могла превышать стоимости самого товара. Это условие поставило царское правительство, которое брало на себя обязательство оплатить перевоз, но не имело больших денег... Мукомолы обратились в Конгресс, чтобы тот уполномочил казну выделить 100 000 долларов (около 200 000 рублей) на отправку зафрахтованного парохода в Прибалтику. Сенат одобрил эту идею, но в палате представителей она не прошла. После долгих споров о внешней и внутренней политике России, о притеснении евреев и нетерпимости к другим вероисповеданиям решено было отложить дело на неопределённый срок.

Попутно выяснилось, что такой суммы всё равно в казне нет.

Тогда за дело взялись женщины. Президент общества американского Красного Креста Клара Бартон в январе 1892 года опубликовала открытое письмо к соотечественникам с призывом срочно собрать деньги для немедленной отправки провизии в Россию. Клара воздействовала на самолюбие своих читателей. Она упрекала их в чёрствости и едко писала о том, что заботы об устройстве предстоящей всемирной Колумбийской выставки и увлечение новыми технологиями сделали американцев равнодушными ко всему на свете.

Изабелла Хэпгуд, знаменитая переводчица сочинений Толстого для американского читателя, поместила объявление об открытии Толстовского фонда для сбора пожертвований в пользу голодающих.

[...] Американцы, едва речь заходила о деньгах, отказывали в доверии любым правительствам, организациям, фондам... Они верили только конкретным людям, чей нравственный авторитет был непрекаем. Таким человеком стал для них русский писатель Толстой. Успех фонда его имени был обеспечен, ибо кто же лучше и честнее его сумеет распорядиться средствами для нуждающихся? Американцы начали посылать свои деньги — кто на адрес фонда, а кто и прямо в Ясную Поляну. Доллары потекли рекой.

Вместе с деньгами американцы посылали письма Льву Николаевичу. [...] Вот одно из первых писем, от эмигранта из России Авраама Мейеровича Гидина (Итака, штат Нью-Йорк). Он пишет по-русски со смешными ошибками, но сердце его не допускает ошибок: "... Прочитав в газете «Неделя» письмо графини Софии Андреевны Толстой, в коем графиня яркими красками описала бедствия народа, я невольно вспомнил о пресловитом воззвании графа Растопчина в 1812 году; и с помощью моих двух товарищей, г-на А. В. Бабина и г-на W. S. Salanta 1-й Рязанской губ. 2-й Кобенской; я же из Тулы, также студенты «Cornell University» обдумали что если у нас ружий нет, то и вилы пригодятся, т. е., что если деньгами не можем помочь нашему отечеству, то и язык на что-нибудь сгодится..."

Гидин с друзьями выступали в церквях, рассказывали о голоде в России, получали скромные пожертвования от прихожан и посылали деньги Толстому.

[...] Америка выслала пять пароходов с мукой и крупой. Сопровождавшие груз комиссары желали лично удостовериться в том, что товар доходит до места назначения. В секретном письме американский консул Джеймс Кроуфорд жаловался казначею благотворительного общества в Огайо на некомпетентность русского Красного Креста: эти люди "проходят мимо нуждающихся и дают помощь не нуждающимся". Американцы решили не вмешиваться в процесс распределения продовольствия и твёрдо придерживались этого правила» (*Виттакер Р. Доллары Льву Толстому // Огонёк. – 1992. № 6. С. 6 – 7).*

И так далее, тем же вольным стилем...

Многое в этой истории справедливо — как и красноречивый идеологический её посыл. Но ниже мы поправим и уточним ряд подробностей, с которыми Т. Виттакер обошлась довольно небрежно, и попутно осветим многие иные обстоятельства помощи голодавшей России из-за рубежа.

Филантропическое движение в пользу России зародилось в северо-западных штатах Америки. Проживавшие там фермеры и мельники стали инициаторами и основными участниками кампании милосердия. Россия стояла перед необходимостью резкого ограничения экспорта хлеба, что расширяло рыночные возможности для американских производителей. Но люди не ангелы, даже американцы, и вряд ли нужно пенять американским хлебобородам и их помощникам на то, что они радовались этому обстоятельству — и делились впоследствии только крохами от выросших своих барышей. Кроме того, не этим одним грешило американское восприятие жизни. Соблазн был слишком велик... В. И. Журавлёва отмечает: «Это был первый пример народной дипломатии в действии, так как помощь исходила от частных групп и отдельных штатов, и первой международной гуманитарной акцией такого масштаба не только американского общества Красного Креста, но и вообще Соединенных Штатов. Отчасти благодаря этой гуманитарной акции идея поиска свободных рынков начала сопрягаться в общественном сознании граждан США с идеей глобальной миссии Америки по распространению свободы во всём мире. В мотивации участников движения переплетались прагматизм и идеализм, следование собственной выгоде и альтруизм, что было вообще свойственно этой нации. Национальный эгоизм американцев, по наблюдению известного американского писателя Г. Мелвилла, находил выражение в безграничной филантропии, ведь согласно их убеждению, подавая милостыню остальному миру и сохраняя для него ковчег свобод, они делали добро собственной стране» (Журавлёва В.И. *Американская кукуруза в России: уроки народной дипломатии и капитализма // Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные отношения. 2013. С. 122 – 123*).

В августе 1891 г. Уильям Эдгар, редактор еженедельного коммерческого журнала «Northwestern Miller» («Северо-Западный Мельник»), издаваемого в Миннеаполисе (штат Миннесота) опубликовал на страницах журнала сообщения, в которых говорилось о голоде, угрожающем российским жителям. Его статьи нашли отклик в сердцах американских граждан и были восприняты ими как призыв к действию.

24 ноября 1891 г. временный поверенный в делах российской миссии в Вашингтоне А. Е. Грегер получил поистине историческую телеграмму от объединения мукомолов северо-западных штатов. В документе было высказано предложение из разряда тех, от которых невозможно, да и нравственно преступно было отказываться: «Мель-

ники нашей страны предлагают пароход, гружённый мукой, для голодающего крестьянина вашей страны. Согласно ли Ваше правительство принять этот пароход, заплатить стоимость перевозки груза до Нью-Йорка и зафрахтовать корабль для транспортировки муки в Россию? Мы начнём сбор пожертвований, если вы позаботитесь о них и обеспечите доставку» (Цит. по: Журавлёва В.И. (подг. публ., предисл.). «Это вопрос не политики, это вопрос гуманности». Документы о помощи американского народа во время голода в России 1891 – 1892 г. // Исторический архив. 1993. № 1. С. 196).



Страница «Northwestern Miller». 1880 г.

Оценив предложение как «великодушное и щедрое», временный поверенный поспешил передать его содержание российскому правительству, и 4 декабря получил из Санкт-Петербурга телеграмму с положительным ответом:

«Императорское правительство с благодарностью принимает великодушное предложение мельников Миннеаполиса. Обеспечьте отправку груза в нашу таможню в Либаву, сообщите о размерах расходов по пересылке» (Там же).

Особенно значительно для американской стороны было то, что русские были готовы оплатить доставку собранного продовольствия из

внутренних районов в Нью-Йорк, а затем к берегам Российской империи.

О положительном решении правительства Александра III А. Е. Грегер сообщил Уильяму Эдгару, которого мукомолы называли вдохновителем их филантропического движения, с которым нужно держать связь.



Уильям Эдгар. Снимок нач. 1890 г.

Получив положительный ответ из российской Миссии в Вашингтоне а также заручившись предварительным одобрением губернатора штата Миннесота Уильяма Раша Мерриэма, Уильям Эдгар составил план помощи голодающим губерниям России и в декабре 1891 г. начал сбор. Незадолго до Рождества, 13 декабря 1891 г. Уильям Эдгар опубликовал в своём журнале «Northwestern Miller» историческое воззвание. Ниже мы приводим текст его по публикации в России, с переводом на русский язык.

«Двадцать миллионов человек голодают. У вас есть продовольствие. Пожертвуйте. Пожертвуйте быстро. Пожертвуйте великодушно. Выделите несколько мешков муки из того изобилия, которым вы обладаете, для груза милосердия. Вы никогда не пожалеете об этом. Мы намереваемся собрать 6 000 000 фунтов <более 2 млн. 600 тыс. тонн> муки. К настоящему моменту собрано 1 000 000 фунтов

<453,5 тыс. тонн>. Если 4 000 мукомолов пожертвуют по 10 мешков каждый, мы соберём необходимое количество. Всё, что вы должны сделать, — это указать своё имя и то количество муки, которое вы намереваетесь пожертвовать, остальное сделаем мы.

Совершенно естественно, что в нашей стране, где статьи мистера Кеннана о российской системе политической ссылки и его лекции о сибирских тюрьмах привлекли пристальное внимание и вызвали симпатию во всех слоях общества, где жестокость, допускаемая российским правительством по отношению к евреям, стала предметом резкого всеобщего осуждения, преобладает крайне враждебное отношение к деспотическому режиму в России.

Что касается вопроса о политике российского правительства, то мы вряд ли сможем здесь что-либо сделать. Россия — огромная страна, далёкая, незнакомая и непостижимая для западного мышления.

Мы не сможем верно оценить ситуацию в России, т. к. мы не знакомы с тем многообразием причин, которые её вызвали к жизни. Россия и её обычаи находятся за пределами нашего понимания, потому что мы не имеем представления об её общественных институтах. Это вопрос не политики, это вопрос гуманности. Мы знаем, что 20 миллионов крестьян умирают от голода. И этого достаточно. Так сделаем же всё, что от нас зависит, чтобы облегчить их страдания. Что же касается вопроса о российском правительстве — оставим его решение самим россиянам» (*Цит. по: Журавлёва В.И. «Это вопрос не политики, это вопрос гуманности...». С. 196 – 197).*

В тексте фигурирует вездесущий Дж. Кеннан — увы! это свидетельство огромности его влияния в то время на умы американцев. Влияния недоброго и вредного для начатого мельниками Миннесоты и Уильямом Эдгаром благотворительного предприятия.

Губернатор Мерриэм, в свою очередь, опубликовал воззвание и от своего имени. Вскоре его примеру последовал Дж. Тайер, губернатор «кукурузного» штата Небраска. Он подчеркнул, что отправка в голодающую Россию кукурузы, практически неизвестной в Европе, расширит рынок сбыта этого вида сельскохозяйственной продукции. По предложению Мерриэма и Эдгара, комитет Небраски, возглавляемый Л. П. Ладденом, действовал в тесном сотрудничестве с комитетом Миннесоты по сбору и отправке продовольствия (*Журавлёва В.И. Американская кукуруза в России С. 123).*



У. Р. Меррием, губернатор Миннесоты

По сведениям из депеши А. Е. Грегера министру иностранных дел Н. К. Гирсу от 16 (28) декабря 1891 г., подписка на сбор муки в Миннеаполисе, «вращаясь среди хлеботорговцев и мельников, принесла по настоящую пору пожертвования, доходящие до 1,5 миллионов американских фунтов, т. е. свыше 45 тысяч пудов. Одновременно с этим губернатор штата Миннесота сделал призыв к своим согражданам, приглашая их помочь голодающим. Губернаторы штатов Небраска и Айова последовали его примеру, и в настоящую минуту желание жертвовать в пользу нуждающихся в России принимает характер народного движения» (*Журавлёва В.И. «Это вопрос не политики, это вопрос гуманности...». С. 197).*

Заочно настроением этого движения заразился морской министр США Трэси, предложивший использовать для перевозки муки казённое судно. Аргументация Трэси достойна цитирования: «Дружественные отношения, существующие между Соединёнными Штатами и Россией, ведут своё начало с давних времён. Не раз уже русское правительство, движимое дружелюбными чувствами, выходящими из ряда обыкновенных, проявляло свои симпатии стране в те минуты, когда Соединённые Штаты всего более нуждались в друзьях, и когда Россия возымела решающее значение на взгляды и политику других европейских держав» (*Там же. С. 198).*

Речь идёт о позиции, занятой Россией во время Гражданской войны в США в 1861 – 1865 гг. Когда Северу грозила интервенция

Англии и Франции, императорское правительство выступило за единство США, проводя политику дружественного нейтралитета. Отношения России с Англией и Францией обострились из-за попытки этих стран вмешаться в польский вопрос. Заинтересованность российского правительства в единстве США была вызвана желанием получить поддержку в борьбе с общим противником. В 1863 г. царское правительство послало две эскадры — в Нью-Йорк и Сан-Франциско, преследуя свои цели на случай войны с Англией и Францией. Однако объективно это оказало моральную помощь Вашингтонскому правительству и способствовало укреплению русско-американских связей. К сожалению, Палата представителей американского Конгресса не поддержит настроений умного и справедливого Трэси и откажет морскому министерству в субсидии суммы, необходимой для фрахта парохода — при обстоятельствах самых дрянных, о которых мы скажем ниже.

Между тем к работе в пользу русских голодающих крестьян подключается в это время американский Красный крест. В названной депеше А. Е. Грегера извещает российское министерство внутренних дел о том, что «г-жа Бартон (Miss Clara Barton), глава Американского отдела Красного Креста, предложила нам свои услуги с целью организовать местные комитеты для принятия пожертвований» (*Там же. С. 197*). Кларе Бартон А. Е. Грегер выслал подтверждение готовности российского правительства принять помощь американского народа. С этого времени АОКК стало одним из центров по сбору денежных пожертвований.

Создание и многолетнее руководство Американского общества Красного Креста (АОКК) связано, прежде всего, с именем *Клары Бартон* (1821 – 1912), ставшей живой легендой ещё в годы своей долгой (91 год) жизни. Не будет преувеличением утверждать, что своим возникновением американское общество Красного Креста обязано исключительно энергии и настойчивости *Клары Бартон*. Дело в том, что в 1864 г. США *не* подписали Первую Женевскую Конвенцию «Об улучшении участи больных и раненых воюющих армий на поле боя», которая создавала международно-правовые основы деятельности Красного Креста, и *не* присоединились к движению за создание национальных обществ Красного Креста. Американцы не знали о движении, которое в 1860 – 1870-х гг. набирало силу в странах Старого Света.

Клара Бартон узнала, можно сказать, случайно о существовании Международного Комитета Красного Креста. В 1869 г. она оказалась

в Швейцарии на лечении, где и услышала о новой организации. Бартон с энтузиазмом восприняла идеи движения. Как никто другой, она понимала их значимость: в годы Гражданской войны в США Бартон была сестрой милосердия, причём на волонтёрских началах. Так что идеи Женевской конвенции были ей близки, и Бартон присоединилась к движению на началах индивидуального членства.



Клара /Кларисса Харлоу/ Бартон (англ. *Barton, Clara Harlow*; 25 декабря 1821, Оксфорд, Массачусетс, США — 12 апреля 1912, Глен-Эко, Мэриленд, США) — основательница Американского Красного Креста.

Американское общество Красного Креста было создано в 1881 г. К. Бартон стала его президентом. Другим успехом Бартон было то, что Женевская конвенция таки была ратифицирована сенатом США 16 марта 1882 г. (*Barton C. The Red Cross in Peace and War. Ed. 1906. P. 81*).

Основополагающим принципом АОКК стал предложенный Кларой Бартон новый, расширенный подход к миссии Красного Креста, а именно: гуманитарная деятельность должна распространяться не только на солдат на поле боя, но и на гражданское население; не только в условиях военных действий, но и в мирное время в случае стихийных бедствий и катастроф. Этот принцип войдёт в 1884 г. в

Женевскую конвенцию как «американская поправка» (*Там же. С. 383*).

За двадцать три года президентства Клары Бартон американский Красный Крест провёл 20 спасательных операций во время стихийных бедствий в США, а также за рубежом – в России, Армении, на Кубе.

Первой зарубежной акцией американского Красного Креста станет помощь России во время голода, в 1891 – 1892 гг. (*Там же. С. 175 – 197*).

С АОКК сотрудничал второй крупный филантропический Комитет, возникший в декабре 1891 г. ещё в одном «кукурузном» штате – Айова. Это произошло по инициативе редактора газеты «The Davenport Democrat» Б. Ф. Тиллингхаста и известной писательницы Элис Френч (*Alice French; 1850 – 1934; литературный псевдоним Octave Thanet*) после воззвания губернатора Горация Бойса.



Элис Френч (*Octave Thanet*)

Помимо американского общества Красного Креста, В. И. Журавлёва насчитывает к началу февраля 1892 г. четыре крупных центра помощи голодающему населению России:

«1. Штат Миннесота, под руководством губернатора У. Мерриэма и назначенных им комиссионеров — У. Эдгара, Д. Эванса и полковника Ч. Ривса.

2. Штат Айова, воодушевлённый воззванием своего губернатора Г. Бойса. Здесь действовал Комитет помощи русским голодающим.

3. Город Нью-Йорк, где по инициативе Торговой палаты был создан Комитет, возглавляемый Ч. Смитом. Впоследствии инициатива по

сбору продовольствия перешла здесь к владельцу газеты «Christian Herald» Л. Клопшу и её редактору пастору Д. Талмажу. Комитет, в свою очередь, сосредоточил всю деятельность на сборе денежных пожертвований.

4. Штат Пенсильвания, который действовал по инициативе губернатора Р. Паттисона. В городе Филадельфии был создан Комитет помощи русским голодающим, возглавляемый мэром города» (*Журавлёва В.И. Это вопрос не политики... С. 194*).

Каждый из этих центров ставил своей целью отправку парохода с грузом продовольствия. Общим их противником и злым критиком в прессе предсказуемо оказалось Общество американских друзей русской свободы. Продолжая настраивать американское общество против ратификации с Россией подписанного ещё в 1887 г. договора о выдаче политических преступников, выше упоминавшийся нами журнал Общества «Free Russia» стремился сформировать «демонический» образ официальной России как тюрьмы для политических и религиозных диссидентов. И не без успеха... Газеты и журналы проявляли большой интерес к теме русского голода, однако общий тон прессы едва ли можно было назвать положительным. Смысл большинства публикаций сводился к тому, что бессмысленно и недостойно помогать правительству, которое отправляет наиболее энергичную и просвещённую часть общества в Сибирь, жестоко обращается с евреями, вынуждая их эмигрировать в США, преступно бездействует и продолжает обирать крестьян, несмотря на разразившийся голод, наконец, потворствует взяточничеству и спекуляции. Противники кампании милосердия поставили во главу угла соображения идеологического характера: республика свободы и демократии не должна помогать империи деспотизма и произвола. Между двумя печатными органами – «Northwestern Miller» и «Free Russia» – развернулась полемика, за которой стояло разное позиционирование России, её разный образ в американских репрезентациях.

Ареной столкновения диаметрально противоположных подходов к вопросу об оказании помощи голодающим русским крестьянам стала палата представителей Конгресса США, где обсуждался вопрос о выделении денег на транспортировку собранного продовольствия за океан, поскольку организаторы филантропической акции видели её от начала и до конца американским предприятием. В итоге палата представителей отказала морскому министерству в выделении 100 тыс. дол., необходимых для фрахта парохода. Вопрос об оказа-

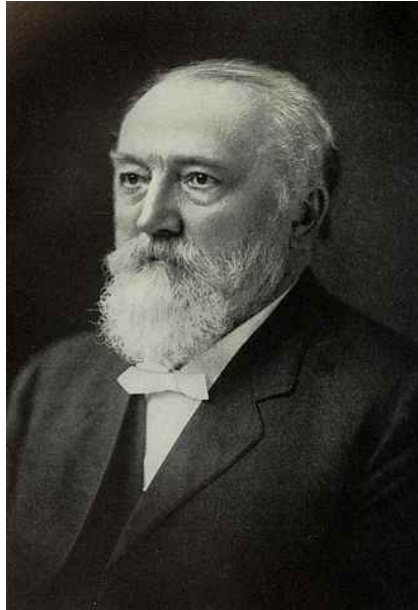
нии федеральной помощи голодающим в России был отложен на неопределённый срок преимущественно из-за действий демократов и популистов.

Однако ни критика на страницах прессы, ни решение палаты представителей не смогли остановить начавшееся движение. В январе 1892 г. начал работу Национальный комитет помощи российским голодающим, ставший единым координационным центром и действовавший в тесном сотрудничестве с АОКК. Его возглавил Джон Уэсли Хойт (*Hoyt, John Wesley*; 1831 – 1912), недавний редактор журнала “*Wisconsin Farmer and Northwestern Cultivator*”, бывший губернатор территории Вайоминг (1878 – 1882), человек обширного международного опыта, много путешествовавший по миру и побывавший в Российской империи.



Джон Уэсли Хойт

Фермеры и мельники Миннесоты, Айовы и Небраски развернули бурную деятельность, намереваясь вскоре отправить один из пароходов с пшеничной и кукурузной мукой в Россию. Однако в северо-западных штатах, где продовольствие собиралось на обширной территории, приходилось учитывать метеорологические условия и решать транспортные проблемы. В результате инициативу перехватили восточные штаты. В начале февраля 1892 г. по инициативе мэра Филадельфии Э. С. Стюарта был создан комитет для сбора денежных пожертвований. Вошедший в комитет Рудольф Блэнкенбург (*Rudolph Blankenburg*; 1843 – 1918), квакер, известный реформатор и будущий, 81-й по счёту, мэр города, подготовил и опубликовал специальный памфлет с символическим названием: «Должны ли русские крестьяне умереть от голода? Вопрос для процветающей Америки».



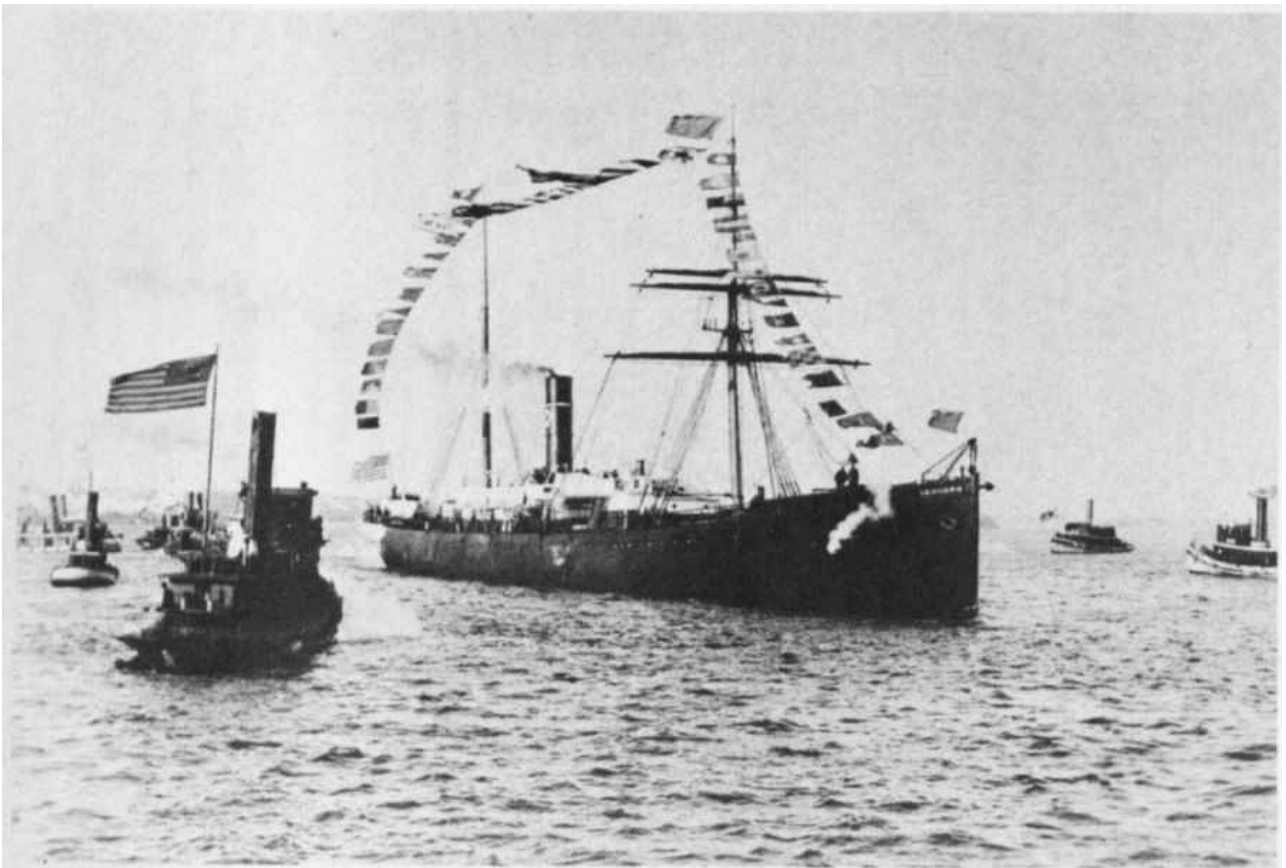
Рудольф Блэнкенбург

За три недели комитет проделал грандиозную работу: собрал деньги, закупил 2000 т. продовольствия, которое оперативно и бесплатно доставили к месту отправки (*Журавлёва В.И. Американская кукуруза в России С. 125*).

22 февраля 1892 г., в день рождения Дж. Вашингтона, пароход «Индиана», освобождённый от оплаты фрахта Международной судоходной компанией, отплыл из Филадельфии в российский порт Либавы под восторженные крики 50-тысячной толпы. Пароход был снабжён бесплатным топливом, а его экипаж – бесплатным питанием. Представители различных церквей организовали совместное прощальное богослужение, которое произвело на собравшихся неизгладимое впечатление (*Там же. С. 125 – 126*).

О предполагавшейся отправке этого первого филадельфийского парохода Лев Николаевич уже знал. В письме от 25 января 1892 г. секретарь Комитета по Всемирной торговле («World's Fair commission») от штата Миннесота К. Мак Рив (Mac Reeve C.) известил Толстого о предложении мукомолов Северо-Запада, о котором публиковала материалы газета «The Northwestern Miller»; о губернаторском назначении его вместе с Эдгаром, издателем газеты, ответственным за сбор пожертвований; о том, что решился вопрос с бесплатной (для России) перевозкой груза по железной дороге и решается вопрос с перевозкой по морю, а так же о своём решении лично прибыть в Россию для контроля судьбы всего благотворительного груза — о важнейших лицах и местах для распределения которого в

России он надеялся осведомиться и у Толстого — и просил разрешения заехать к самому Льву Николаевичу, «чтобы узнать, сколько мешков муки (140 фунтов каждый) может понадобиться Вам для бесплатных столовых, которые, насколько я понял, существуют под непосредственным началом, Вашим лично и Вашей семьи» (*Л.Н. Толстой и США. Переписка. С. 672 – 676*). Толстой ответил ему в письме, датированном приблизительно 6 – 12 февраля, следующее:



Транспортный корабль «Индиана»

«Я получил ваше письмо только вчера и боюсь, что вы не успеете получить моего ответа до вашего отъезда из Америки. Мы сердечно благодарны вашему народу за его пожертвования и за чувства побудившие его к этому. Надеюсь увидеть вас в России и тогда буду очень рад дать все справки, какие смогу, о местах, куда следует направлять муку для её наилучшего использования в интересах голодающего населения» (*Там же. С. 676; ср.: 66, 160*).

В свою очередь «добрая фея» семьи Толстых во всей бегичевской эпопее, переводчица сочинений Л. Н. Толстого, посетитель и друг семьи его, умнейшая и прекрасная Изабел Флоренс Хэпгуд, о которой мы ещё многое расскажем ниже, в письме к Л. Н. Толстому от 12 февраля извещала, в числе прочего:



Isabel F. Hapgood

Изабел Ф.Хэпгуд

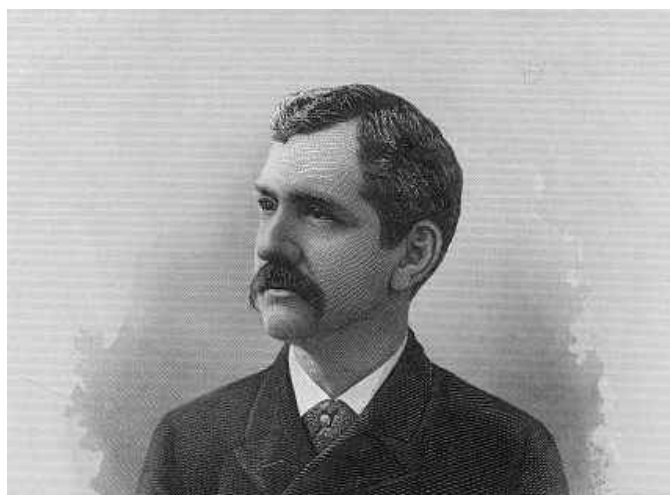
«Я телеграфировала щедрым фермерам нашего замечательного Северо-Запада, это зерновой район, с просьбой погрузить пшеницу и рожь для весеннего сева. <Основной груз составляла кукурузная мука. – Р. А.> Может быть, они смогут погрузить некоторое количество на судно, которое они предполагают отправить с продовольствием из Филадельфии 20-го февраля» (Л.Н. Толстой и США. Переписка. С. 125). И 15 февраля: «Я телеграфировала... Они обещают сделать всё, что смогут. [...] Возможно, будет послано некоторое количество семян, если хватит времени.

По поводу кукурузной муки — Вы должны предупредить людей, что пища требует тщательного приготовления, иначе она может вызвать дизентерию и ослабить организм. В следующем письме я пошлю Вам несколько простых рецептов её приготовления, которыми моя матушка поделится с Вами из своего опыта» (Там же. С. 127).

К этому событию относится письмо Л. Н. Толстому от 10 (22) марта из Санкт-Петербурга, от выше упоминавшегося нами посла Соединённых Штатов Чарльза Эмори Смита (*Charles Emory Smith; 1842 – 1908*), который, в учтивых выражениях, вежливо втюхивал Толстому парочку наблюдателей за распределением и употреблением груза с «Индианы», именно гг. Рудольфа Бланкенбурга и Уильяма Грунди, уполномоченных «присутствовать при распределении», то есть для слежки за Толстым и его помощниками, «согражданами» в Филадельфийском комитете:

«Возможность посоветоваться с Вами — что может быть полезнее для их дела и приятнее для них лично! ...Слава о Ваших трудах так же велика, как и воздействие Вашей славы» (Там же. С. 683 – 684). Толстой на этом месте письма, вероятно, поморщился, сплюнул и мысленно послал посла нахуй — как и при чтении просьбы выслать четырём адресатам расписки в получении денежных переводов по

отдельности (Там же. С. 684; ответное письмо 29 марта с благодарностью Толстого: С. 686). «Каплей мёда» были, однако, отнюдь не лишние денежки, в количестве 7 тысяч рублей от «Американского фонда помощи», полученных уполномоченными в Коммерческом банке Санкт-Петербурга. В свою очередь, в эту сумму входили: 388 рублей 18 коп. – от Государственного департамента США, 3 тысячи и 2 с лишним — от Фондов Кливлендского (Огайо) и Меннонитского, и 1554 рубля 22 коп. – от частных жертвователей, пересланных в США через Нью-Йоркский Коммерческий банк (Там же. С. 684).



Чарльз Эмори Смит

23 апреля 1892 г. комитет Филадельфии отправил ещё один пароход – «Конемаг». На его борту находилось 2,5 тыс. т. продовольствия. Судно было предоставлено Международной судоходной компанией на тех же условиях.



Встреча транспортного корабля «Конемаг» у входа в порт г. Риги

Сопровождал пароход американский бизнесмен и общественный деятель Френсис Б. Ривс (*Reeves Francis B., 1836 – 1922*).



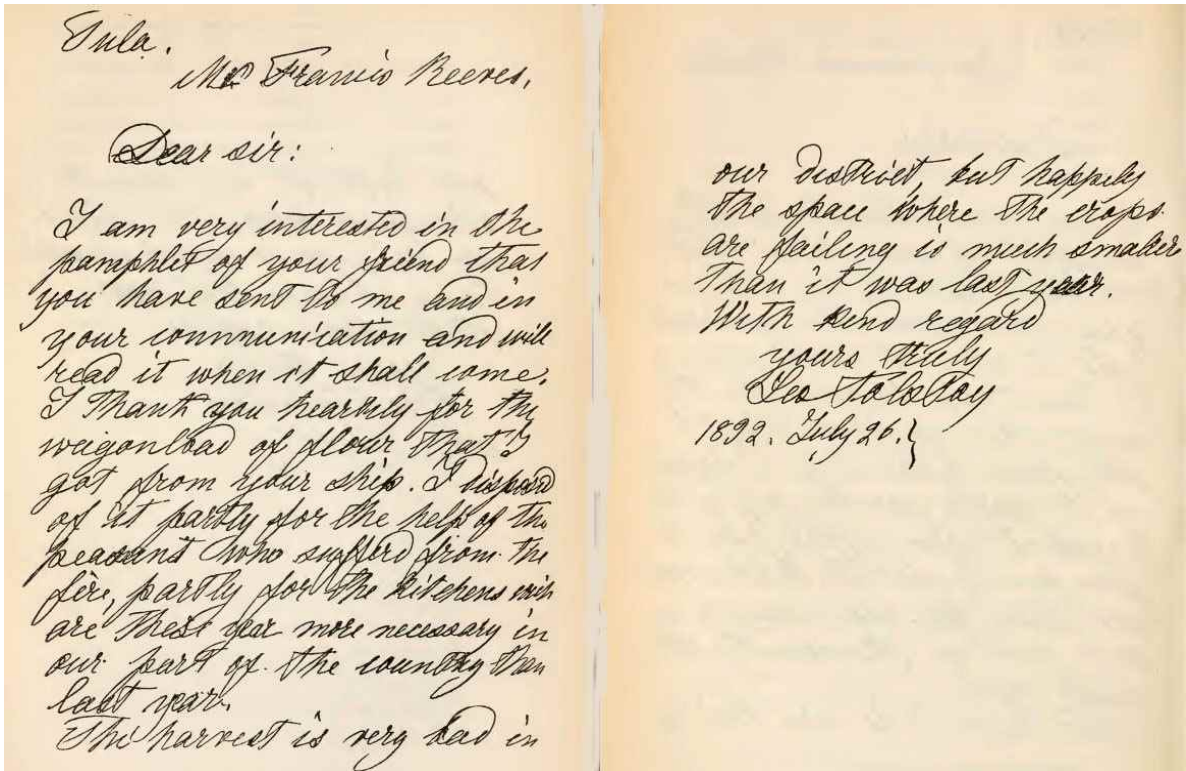
From Left to Right: U. S. Consul Niels Peter Bornholdt, Captain Spencer of S. S. *Conemaugh*, U. S. Consul-General Dr. Crawford, Francis B. Reeves.

Френсис Б. Ривс (крайний справа)

среди официальных лиц при встрече корабля «Конемаг»

Судя по письму его 9 (21) июня с борта парохода «City of Paris», Ривс навестил Льва Николаевича в Ясной Поляне в период до 15 (27) мая (дата начала визита, к сожалению, не обозначена в письме), беседуя много, судя по прощальному письму, на религиозные темы. «Полезной» для Толстого частью письма являлось сообщение о погорельцах деревни Кашино во владениях графа Андрея Бобринского, служившего в то время секретарём Американского комитета помощи голодающим. Разумно придержав при себе свои деньги, запас которых счёл недостаточным для благотворительности, добрый еврей, но и верующий христианин, к тому же истинный янки, тем не менее сообщил о положении крестьян Толстому и обещал, по возвращении в Америку, «склонить наш Комитет к тому, чтобы он переслал Вам часть средств для оказания помощи пострадавшим» (*Л.Н. Толстой и США. Переписка. С. 677 – 680*). Толстой в ответном письме от 14 (26) июля сдержанно поблагодарил Ривса — но не за обещания, а только за тот единственный мешок с мукой, который он уделил ему со “своего” корабля: «Я её отправил частично на помощь тем крестьянам, которые пострадали от пожара, частично в столовые, которые в этом году оказались намного более нужными в нашей области, чем

в прошлом году. Урожай в нашем уезде очень плох...» (Там же. С. 680 – 681).



Письмо Л. Н. Толстого Ф. Б. Ривсу. 14 (26) июля 1892 г. Факсимиле.

Известно ещё одно письмо Ривса к Толстому, от 6 (23) октября 1905 г., из Филадельфии, на фирменном бланке «The Girard National Bank», президентом которого он был тогда. Напомнив, конечно же, яснополянцу о своём визите и о пароходе «Конемаг», Ривс сообщал в этом письме о своей инициативе (общей, вероятно, с братом, подвизавшимся ещё в начале 1890-х в издании книг) «выставить на продажу книги выдающихся авторов с их автографами и, по возможности, с кратким высказыванием» (Там же. С. 681 – 682). Толстой оставил это письмо без ответа.

Government of Orel.....	Prince Kurakin
Government of Simbursk, St. Vevuline.....	Mr. Rodionof
Government of Nishni Novgorod, St. Sviashsk...	Mrs. Masloff
Government of Saratof, St. Atkarsk.....	Mr. Shidlovsky
Government of Tamboff, St. Fitkingoff.....	Mrs. Bostrom
Government of Tamboff, St. Tokahevka.....	Mrs. Plahovo
Government of Tamboff, St. Morshansk.....	Princess Sagarin
Government of Saratoff, St. Saltikovka.....	Mrs. Saburoff
Government of Orel, St. Babarakine.....	Mrs. S. Pizareff
Government of Skopino; to Count Leo Tolstoy.	

Лев Толстой в списке основных адресатов груза с корабля «Конемаг»
По книге Ф.Б. Ривса «Russia then and now» (1917). Р. 34

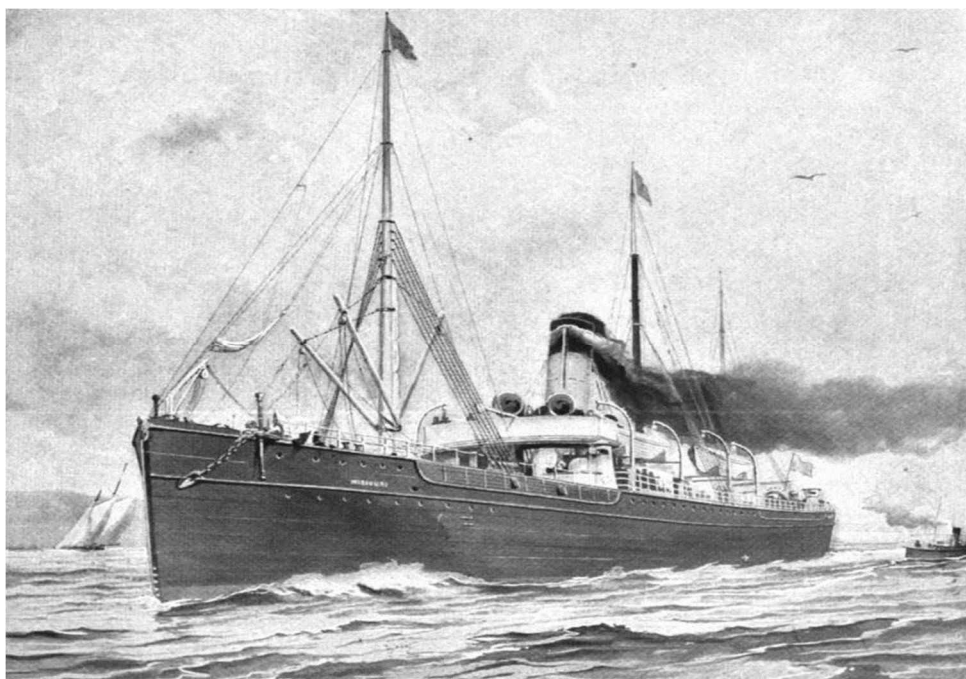
В начале марта 1892 г. успешно закончили свою работу комитеты штатов Миннесота и Небраска, снарядив для отправки в Россию пароход «Миссури». По свидетельству Эдгара, пожертвования поступили от «жителей 25 штатов, 450 городов и населенных пунктов США, представителей различных экономических классов» (Там же. С. 126).



Пароход «Миссури» с грузом продовольствия

В Небраске удалось собрать 1 млн 350 тыс. фунтов кукурузы. 17 февраля 1892 г. два поезда отправились из Линкольна и Омахи с грузом для голодающих русских крестьян. Вагоны были красочно декорированы и пестрели надписями: «Небраска может накормить весь мир», «Небраска – России: живи и помогай жить другим», «Кукурузный царь Небраски шлёт верительные грамоты русскому царю», «Процветающая Небраска в помощь голодающим русским», «Патриотическая Небраска благодарна России за поддержку Союза в лихолетье войны». К каждому мешку прилагалась инструкция на русском языке о способах приготовления блюд из кукурузной муки.

Предусмотрительные американцы отдавали себе отчёт в том, что русские не были с ней знакомы, а плохо приготовленная пища могла вызвать дизентерию.



Пароход «Миссури» в пути

Здесь стоит заметить, что эпидемии дизентерии, неразлучной спутницы голода, в тех условиях всё равно избежать в русских деревнях не удалось. Что же касается инструкции по правильной выпечке кукурузной муки, то, по свидетельству Льва Львовича Толстого, его, патровским, подопечным она не очень-то помогла:

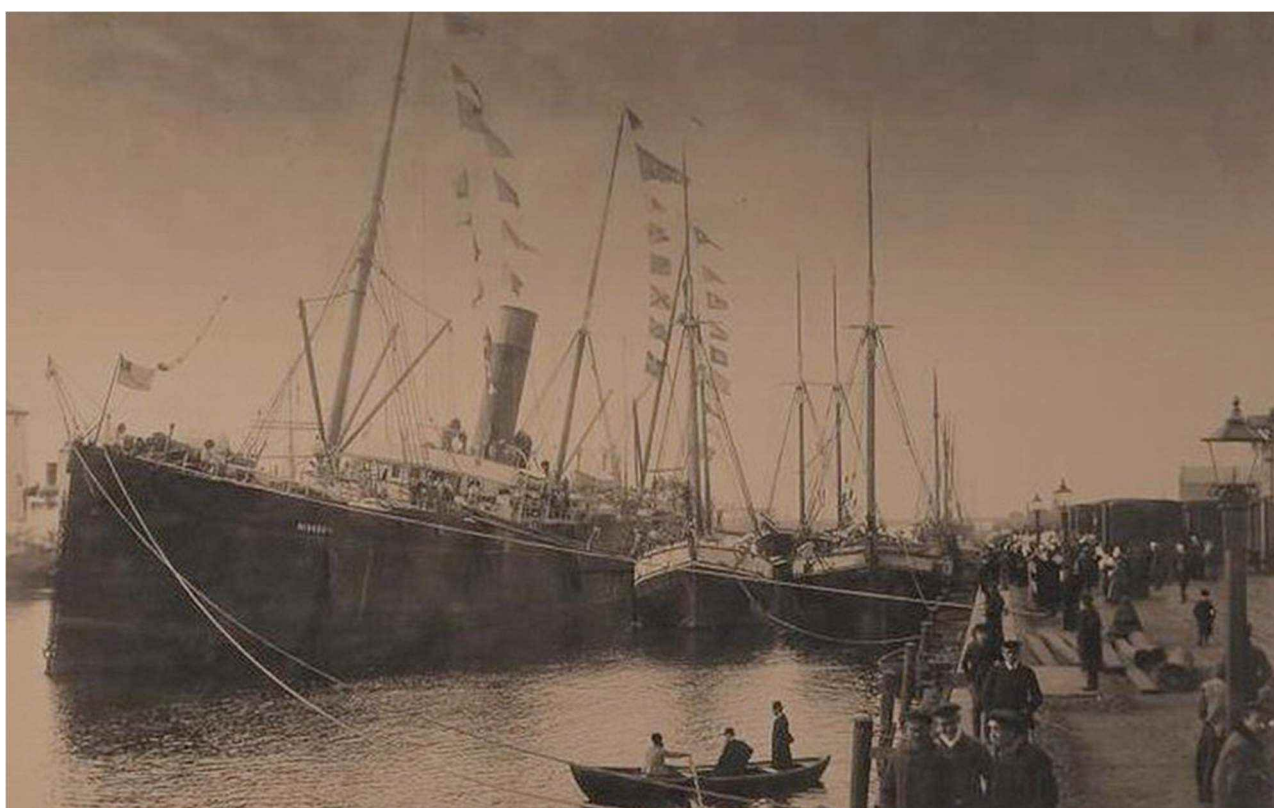
«Уже приближаясь к весне, получили мы десятка два вагонов с американской мукой пшеничной и кукурузной в аккуратных белых и чистых мешках, со штемпелями различных штатов: Колорадо, Онтарио, Квебек и других. Эта американская мука имела большой успех у нас. Из неё пекли кукурузные лепешки, пшеничные булки, а также месили, или заправляли ею вариво, которое от этого делалось гуще и питательнее.

Стадлинг, благодаря которому в Америке узнали о нас, **<ошибочное мнение Льва Львовича, вероятнее всего, внушённое ему самим Й. Стадлингом. – Р. А.>** был на вершине счастья, когда этот хлеб пришёл к нам. Его писания и приезд, стало быть, не пропали даром. Но когда он узнал, что из кукурузной муки никто не умел печь хлебов, он огорчился и пошёл к попадье просить её испечь пробный кукурузный хлеб и научить печь его других в селе.

Матушка испекла прекрасный хлеб, и Иван Иванович **<так ещё в Бегичевке прозвали Йонаса Стадлинга — вероятно, с “лёгкой руки”**

Л.Н. Толстого. — Р. А.> был в восторге. Он спросил меня, как по-русски выразить матушке благодарность и одобрение. В то время Стадлинг ещё плохо знал по-русски. Я научил его, и он несколько раз повторял фразу, запоминая её, прежде чем идти в дом священника. — Матушка, ви пешете хлеби хорошо американска мука...—говорил он десятки раз подряд, коверкая русскую речь и очень довольный собой.

Но матушка, конечно, никого не научила печь эти хлебы, и кукурузную муку поели потом, как кому пришлось — больше всего лепёшками и месивом, как сказано, а также блинами» (Толстой Л.Л. *В голодные годы*. С. 93 – 94).



«Миссури» в порту Либавы перед выгрузкой. 22 марта 1892 г.

Всего на борт «Миссури» погрузили 5,5 млн фунтов (2 800 т) пшеничной и кукурузной муки и зерна. Подписка закрылась 12 февраля, так как остальные грузы не успевали к сроку прибыть в Нью-Йорк. К этому времени удалось собрать 4 753 516 фунтов. Остальную часть груза закупили на 12 тыс. дол., предоставленные Комитетом помощи Торговой палаты Нью-Йорка. Пароход принадлежал Атлантической транспортной компании, освободившей его от оплаты фрахта. Железнодорожные фирмы бесплатно пропускали пожертвованное продовольствие, а телеграфные компании отправляли сотни сообщений во все пункты страны. Общая стоимость груза с учётом

транспортных и телеграфных расходов, оплаты складских помещений в Нью-Йорке, погрузки, обслуживания рейса, предоставленного топлива, а также расходов на страхование составила 200 тыс. дол. (Журавлёва В.И. *Американская кукуруза в России*. С. 126).

По мнению Эдгара, фермеры и мельники Соединённых Штатов смогли продемонстрировать всему миру высокий гуманизм, присутствующий американцам, которые готовы накормить голодающих в различных частях мира, не ожидая ничего взамен от тех, кто далёк от них не только географически, но и по уровню экономического развития (Там же. С. 126 – 127).

15 марта «Миссури» отплыл из Нью-Йорка в Либаву. Газеты города нашли немало тёплых слов, комментируя это событие. Влияние на умы революционаристской эмигрантской сволочи ослабело, как только множество людей включилось в общее доброе дело — если не личным участием, то восторгом за своё отечество и благожелательными переживаниями по отношению к русским. Поэтому и пресса Нью-Йорка, Филадельфии, Чикаго и Вашингтона, мелкоугодливая, как и вся газетно-журнальная сволочь, своим подписчикам, к началу февраля 1892 г. начала оказывать поддержку филантропическому движению, принимая участие в его популяризации.



ON APRIL 3, 1892, the "Missouri," laden with flour, docked at Libau, Russia.

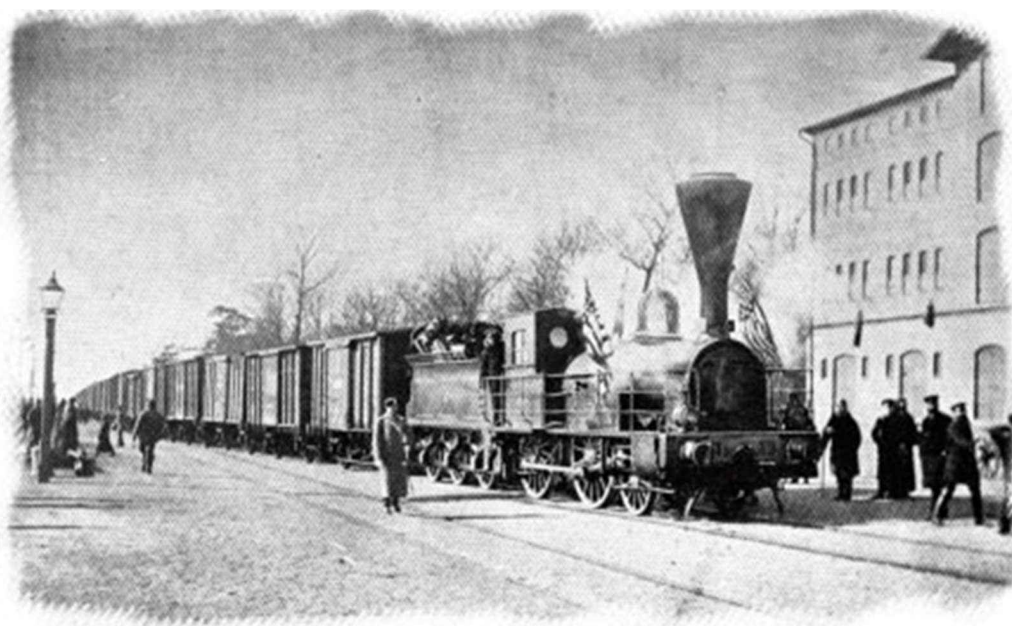
A PUBLIC DINNER officially marked the arrival of the "Missouri" at Libau. American and Russian dignitaries included Consul General J. M. Crawford (1), Edmund J. Phelps (2), William C. Edgar (3), and Count Andre Bobrinskoy (4).



Пароход «Миссури» и участники его торжественной встрече в порту г. Либавы. Второй справа (под № 3) – Уильям Эдгар

Совместные усилия жителей штата Айова и АОКК также увенчались успехом. В Айове вообще развернулось одно из самых консолидированных региональных движений. Когда стало очевидно, что федеральная помощь не последует, Клара Бартон активизировала работу по сбору денежных пожертвований и инициировала беспрецедентную международную акцию АОКК.

Благодаря инициативе и энергии Элис Френч, она же Октав Танет, в движении штата Айова самое активное участие приняли американские женщины. Интернационализация филантропической деятельности расширяла для американок возможности социализации, хотя и в традиционной для их общественной активности сфере.



Перевозка груза из порта по железной дороге

Губернатор Айовы Г. Бойес по согласованию с К. Бартон создал комитет из 12 американок, ставший вспомогательным женским отделением АОКК в этом штате. Активистки движения использовали тактику предвыборных кампаний (“a house-to-house canvass”): ездили по всему штату, посещая каждую ферму и каждый дом. Денежные пожертвования собирались в школах, церквях, на благотворительных концертах и спектаклях. В университете штата устраивались благотворительные лекции. Пресса Айовы единодушно поддержала движение, публикуя обращения и имена участников. В сельской местности пожертвования кукурузой колебались от одной меры до целого вагона. Всего было собрано зерна и денег на сумму 40 тыс. дол (*Там же. С. 127 – 128*).

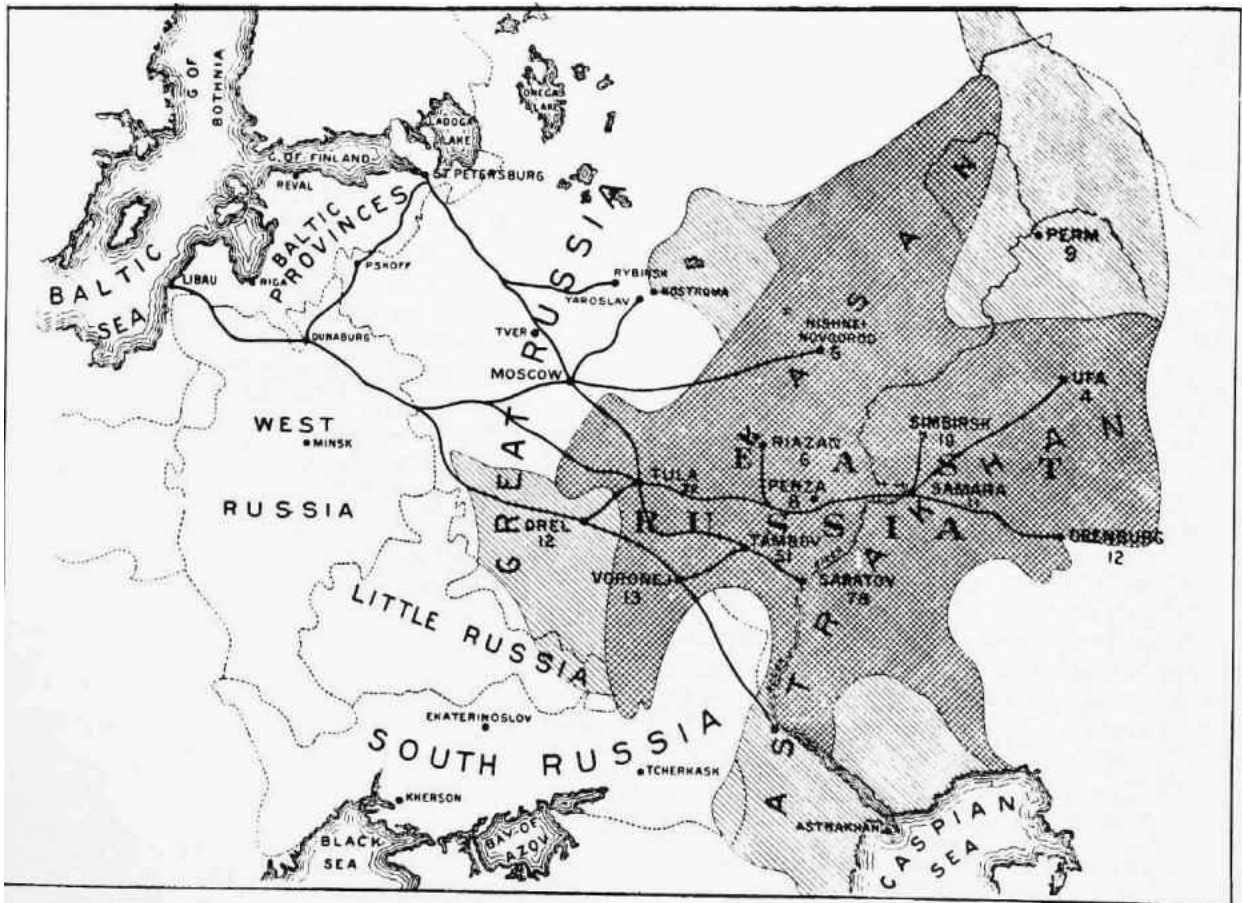
Собственными усилиями Кларе Бартон удалось собрать 20 тыс. долларов. Это был дар жителей округа Колумбия, где действовало

отделение АОКК, обратившееся к жителям столицы со специальным воззванием. 12 651 дол. использовали для оплаты фрахта парохода «Тьюнхед», на борт которого погрузили 117 тыс. бушелей кукурузного зерна, 400 мешков кукурузной муки и 200 т пшеничной муки, больничное оборудование и медикаменты. 2 мая корабль, украшенный флагами и вымпелами, отплыл из Нью-Йорка в Ригу с грузом, отправленным русским крестьянам от имени американских женщин и собранным, несмотря на непогоду, плохие дороги, непонимание и порой открытую оппозицию. Общий вклад Айовы равнялся приблизительно 100 тыс. долл. (*Там же. С. 128*).

Вскоре после этого события Б.Ф. Тиллингхаст спросил мнение Эдгара о значении филантропического движения для развития российско-американских отношений. В ответ редактор «Northwestern Miller» заметил, что четыре парохода (американцы называли эти корабли «*Famine Fleet*») сделали для укрепления дружбы между народами двух стран больше, чем 50 лет дипломатических связей (*Там же*).

Но это ещё не всё... Последний, пятый, пароход с благотворительным грузом был снаряжён благодаря деятельности религиозного журнала «Christian Herald», который издавался пастором пресвитерианской церкви в Бруклине Т. Талмажем и его другом Л. Клопшем, соединявшим в себе таланты бизнесмена и журналиста. В марте 1892 г., после проповеди Т. Талмажа в бруклинской церкви, журнал «Christian Herald» объявил подписку с целью сбора денег, необходимых для закупки продовольствия. На призыв откликнулись представители разных слоёв населения США. Однако сами организаторы движения подчёркивали, что груз последнего парохода был куплен на пожертвования малообеспеченных американцев. За 7,5 тыс. дол. был зафрахтован пароход «Лео», на борт которого в итоге погрузили 2 млн фунтов пшеничной муки. С учётом муки, отправленной на корабле «Конемаг», журнал «Christian Herald» собрал самый крупный груз продовольствия. «Лео» отплыл к берегам России 13 июня 1892 г. (*Там же. С. 129*).

По сведениям А. С. Ермолова, «в течение апреля, мая и июня прибыло из Америки собранного путём частных пожертвований американского хлеба, преимущественно кукурузы, 652 000 пудов» (*Ермолов А.С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос. СПб., 1909. Часть I. С. 116*).



Карта перемещений по России груза с корабля «Миссури»

Все корабли *Famine Fleet* благополучно достигли берегов Российской империи, а сопровождавшие их представители филантропических комитетов, следившие за разгрузкой и распределением пшеничной и кукурузной муки и зерна, поведали американцам о радужности, с которым в России встречали посланцев далёкой Америки, поделились своими размышлениями о причинах голода и воссоздали образ русского крестьянина. Американцы и русские ещё немножко лучше узнали друг друга: то есть приблизились немного к тому идеалу просвещённого и любовного мирного сожительства, которое было проповедано Львом Николаевичем Толстым как единственно достойное званий человека и христианина.

6.4. Добрая американская фея семейства Толстых, Изабел Флоренс Хэпгуд

Остановимся теперь на переписке «о голоде» ещё одного частного инициатора оказания помощи бедствующим крестьянам России — американской переводчицы сочинений Льва Николаевича Толстого

Изабел Флоренс Хэпгуд (*Hargood Isabel Florence*; 1850 – 1928). В рукописном отделе Государственного музея Л.Н. Толстого в Москве хранится 51 письмо И. Хэпгуд к Толстому, из которых «теме голода» посвящено 28 писем.



Изабел Флоренс Хэпгуд

Изабел Флоренс Хэпгуд родилась 21 ноября 1850 г. в Бостоне. По словам биографа Хэпгуд, «в её колониальном англо-шотландском происхождении нет ничего такого, что могло бы объяснить её необычайные способности к языкам» (*Цит. по: Неизвестный Толстой. Из архивов России и США. М., 1994. С. 230*). Окончив школу в 18 лет, она сумела в последующие два десятилетия овладеть практически всеми европейскими языками и переводила поэзию и прозу с французского, испанского, итальянского, немецкого языков. Её переводы романов В. Гюго «Отверженные» и «Собор Парижской богородицы» были признаны современной ей критикой каноническими.

Но главная и прелестнейшая из тайн этой личности — особая любовь к русскому языку, русской культуре, народу русскому и вере его. Она выучила не только русский литературный язык, но изучила и его народные устные диалекты, а старославянский знала настолько хорошо, что перевела текст православной литургии для русской церкви в Америке. Переводила она русские былины, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Лескова, Горького. Перевела многие произведения Толстого. В Нью-Йорке в 1886 году в её переводе вышли

сочинения Гоголя: сборник «Вечер накануне Ивана Купала и другие рассказы» (в книгу вошли также «Старосветские помещики», «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Портрет» и «Шинель»), «Тарас Бульба» и «Мёртвые души». В этом же году в её переводе вышли «Детство», «Отрочество», «Юность» Л. Толстого. Эту книгу, вместе с своим же переводом русских былин, она передала в Ясную Поляну с дарственной надписью: «Графу Л. Н. Толстому с уважением и приветом от переводницы. Бостон. 24 августа 1886». Хэпгуд специально освоила в 1886 – 1887 гг. разговорный русский язык, наняв для этого русскую учительницу, и в 1887 – 1889 гг. самостоятельно путешествовала по России на пару со своей овдовевшей матерью. В 1888 году Хэпгуд перевела «Севастопольские рассказы» Льва Николаевича и трактат «О жизни», в 1889 — «Рубку леса», «Первый винокур»; в 1890 — статью «Николай Палкин». Её переводы отличались большой точностью и яркостью языка. В одном из писем к Л. Н. Толстому (от 1 декабря 1887 года) мисс, презентуя себя, наивно похвасталась, что “сам” Джордж Кеннан назвал её «the best translator of Russian now living» («самым лучшим переводчиком с русского среди живущих в настоящее время») (*Л.Н. Толстой и США. Переписка. С. 61*). Этот высокий отзыв Кеннана касался опубликованного в 1886 г. перевода Хэпгуд трилогии Толстого «Детство. Отрочество. Юность» — кстати, обожаемой женой писателя, Софьей Андреевной Толстой, как образец не только нравственной, но и эстетической высоты Толстого, его художнического мастерства.

В том же письме от 1 декабря 1887 г. Изабел Ф. Хэпгуд, жившая тогда в Петербурге, выражала надежду лично познакомиться с Толстым, для чего приложила к письму рекомендацию от знакомого, которому Толстой мог сполна доверять — критика В. Стасова — такого содержания:

«Лев Николаевич, г-жа Гапгуд просит меня сказать Вам пару слов в её пользу. Что я могу сказать?! Очень немного, но всё только самое *отличное* в её пользу. [...] Я нашёл, сам, что она прекраснейшая женщина, в высшей степени интеллигентная и симпатичная; из английских книг и журналов я также знаю, что её считают *лучшею* переводчицей современных русских писателей на английский. Но *всего лучше* она переводит Вас и Гоголя [...]. Не надо мне прибавлять, что Льва Толстого она — боготворит» (*Л.Н. Толстой и США. Переписка. С. 62*).

Хэпгуд приезжала в Россию осенью 1888 года, в Москву, и тогда же осуществила давний замысел личного знакомства с Л. Н. Толстым. В гостях в московской усадьбе она была 25 ноября 1888 г. В

дневниковых записях Толстого упоминаются ещё две встречи с переводчицей, 17 и 18 декабря того же года. Кроме того, Изабел Ф. Хэпгуд приняла приглашение С. А. Толстой побывать в Ясной Поляне летом 1889 г., и была там с 27 июня по 2 июля, а также 8 и 9 июля.

О своём посещении Толстого Изабел Ф. Хэпгуд писала в статье «Count Tolstoy at home», опубликованной в «Atlantic Monthly» (1891. Vol. 68. № 409); перевод был опубликован в «Историческом вестнике» (1892. № 1). Постепенно Хэпгуд добилась своей цели, создав себе в Америке имидж близкой знакомой и посредницы Толстого. К ней обращались редакторы журналов с просьбой получить у Толстого материал для своих изданий: например, редактор журнала «The Independent» через Хэпгуд просил Толстого написать статью о Джордже Вашингтоне, а редактор «The North American Review» — специальную статью о голоде в России.

Надо подчеркнуть, что очень тёплые отношения связывали прекрасную Изабел Хэпгуд с обоими главными участниками реконструируемой нами эпопеи: не только со Львом Николаевичем Толстым, но и с Софьей Толстой, его женой, полюбившей мисс Хэпгуд с первой встречи. С Соней Изабел связало не только обожание художественных сочинений Льва Николаевича, но и общность происхождения: из семейств высококультурных, хотя и не аристократических, а также и любовь к детям Софьи Андреевны — по крайней мере, к троим: взрослой умнейшей, артистичной, многоталантливой, как отец и мама, Тане и младшим, в то время малышам, Саше и Ванечке. Для Софьи Андреевны, состоявшейся к этому времени, помимо семейной жизни, в бизнесе книгоиздания и мечтавшей о независимой от мужа творческой самореализации, великолепная мисс Хэпгуд была и идеалом женской свободы (у счастливицы не было никогда своей семьи), и женских креативности и общественного активизма. Связывал двух чудесных женщин и интерес к религии — именно к обрядовому православию, отвергнутому Львом Толстым. Это же, кстати, указывает на причину всей ограниченности сближения Хэпгуд с Толстым: она никогда не разделяла его недогматической христианской веры, и дело, которым тот занялся в Бегичевке, осмысливалось ею в русле обыкновенной филантропии, пусть и поставленной «на широкую ногу».

Не поняла и не оценила Изабел Ф. Хэпгуд многих других христианских писаний Льва Николаевича, художественных и публицистических. Так, во время пребывания Хэпгуд в Ясной Поляне летом 1889

года Толстой, который в то время работал над «Крейцеровой сонатой», выразил надежду, что она переведёт эту повесть на английский язык. Хэпгуд охотно согласилась. Однако, получив рукопись книги и ознакомившись с нею, она отказалась переводить её, назвав в качестве повода то, что автор «не уследил» за авторскими своими правами, за «пиратскими», неавторизованными переводами и публикациями повести на английском языке, что уменьшает шансы внимания издателей и читателей именно к её переводу. Однако в комментариях к собственным письмам, которые Хэпгуд передала в Нью-Йоркскую публичную библиотеку, она поясняет свой шаг так: «Во время моего посещения графа Л. Н. Толстого и его семьи в Ясной Поляне (по приглашению графини) Лев Николаевич попросил меня перевести книгу, над которой он тогда работал. Я согласилась, но это оказалась «Крейцера соната», и когда я прочитала её, я сняла с себя все обязательства» (*Цит. по: Неизвестный Толстой. Из архивов России и США. С. 232*).

Ещё отчётливей на настоящие причины своего отказа Хэпгуд указала в статье ««Крейцера соната» Толстого», написанной 29 марта 1890 года и опубликованной в нью-йоркском журнале «The Nation» 17 апреля того же года. «Почему я не перевожу сочинение известного, вызывающего восхищение русского писателя? Потому что, несмотря на всю признательность графу Толстому за то, что он так любезно прислал мне первый экземпляр рукописи, и несмотря на мою веру в его убеждение, что такая трактовка подобного предмета необходима и принесёт пользу, я не могу с ним согласиться» (*Цит. по: Хэпгуд И.Ф. Лев Толстой дома [Предисл. В. Александровой] // Вопросы литературы. 1984. № 2. С. 164*). Хэпгуд с её симпатиями к православию оказался ближе церковный, библейский, еврейский, то есть грубо архаичный и суеверный взгляд на семью и брак, нежели толстовский, выражающий строгий аскетический дух евангелий, учения Христа.

Упоминание любезного приглашения Софьи Толстой можно понять и как намёк на сердечное сочувствие прекрасной, чуждой и недоступной мужчинам (так и не вышедшей никогда замуж) Изабел к многострадальной Софье Андреевне, оскорблённой сближением сюжета, образов, идей повести с её семейной жизнью.

Толстой решил переслать Хэпгуд для перевода и издания в Америке и своё новое произведение «Царство Божие внутри вас», не надеясь напечатать его в России. Уезжающий на международную выставку в Чикаго профессор Московского университета И. И. Янжул охотно согласился выполнить просьбу писателя. Зная о том, что Хэпгуд не разделяет многих его взглядов, и помня о том, что она отказалась

переводить «Крейцерову сонату», Толстой не был уверен в её согласии, о чём и писал В. Г. Черткову 17 марта 1893 года: «Янжул профессор едет в Америку. Я с ним посылаю Гапгуд мою рукопись всю... Удобно то, что Янжул поможет Гапгуд в трудных местах, и, в случае отказа Гапгуд, даст другому» (87, 182). Опасения Толстого оправдались. Хэпгуд действительно отказалась переводить его книгу, заявив при этом Янжулу, что она не может «сочувствовать распространению этого анархического сочинения» (Цит. по: Хэпгуд И.Ф. Лев Толстой дома [Предисл. В. Александровой] // Указ. изд. С. 165). Отказом своим переводчица очень огорчила Льва Николаевича. При этом, несмотря на предвидимую скандальность романа «Воскресение», она не оставляла надежды в конце 1890-х получить разрешение писателя на его перевод — но, по всем вероятностям, уже не получила...

Без сомнения, лучшее, на что употребила Изабел Ф. Хэпгуд напористо созданный ею свой имидж в США — это сбор средств для голодавших российских крестьян в 1892 г.

В начале января 1892 года Хэпгуд напечатала в ведущих газетах Нью-Йорка объявление об открытии ею Толстовского фонда в помощь голодающим крестьянам России. Приводим его текст:

«ТОЛСТОВСКИЙ ФОНД

Редактору «Nation»

Сударь, несомненно, многие люди хотели бы внести свой вклад в дело помощи голодающим русским, если бы у них была возможность посылать небольшие суммы и они были бы уверены, что таковые быстро, непосредственно и наиболее экономным путём будут использованы при посредстве человека, который был бы глубоко сведущ, исходя из долгого опыта, в нуждах страждущих и в местных условиях. Этим требованиям полностью отвечает личность графа Льва Н. Толстого, великого писателя и гуманиста, который уже проявил столько благородства для страждущих крестьян.

Поскольку почтовые переводы и незначительные по суммам денежные чеки не могут посылаться в Россию и есть серьёзные возражения против использования в этих целях заказных писем, я предлагаю основать Толстовский Фонд. Я буду рада принимать любые суммы, пусть даже самые небольшие, которые мне пожелают переслать, тут же уведомляя об их получении. Как только будет накапливаться сумма в 5 (пять) долларов, я буду пересылать чек графу Тол-

стому, сопровождая его списком жертвователей. Поэтому те, кто собирается внести свою лепту, могут быть уверены, что собранные деньги не уйдут на расходы по пересылке и канцелярские траты. Исходя из личного знакомства с графом Толстым и его семьёй, которая помогает ему в работе, я могу гарантировать, что ни одного пенни никто не сможет использовать или истратить более честно и справедливо, чем они. На один доллар можно прокормить одного человека в течение более чем месяца, а потому даже самые малые пожертвования принесут несомненную пользу и будут с признательностью приняты графом Толстым.

Мне доставляет особое удовольствие сообщить о поступлении от одного из моих друзей первого пожертвования на практические нужды Толстовского Фонда в сумме 100 долларов.

Изабел Ф. Хэпгуд

Восточ. 22-ая ул., 9.

Нью-Йорк. 5 января 1892» (*Л.Н. Толстой и США. Переписка. С. 113 – 114*).

Вырезка из газеты с обращением Хэпгуд к американцам была прислана ею Толстым вместе с письмом от 18 января 1892 г.

Сразу же после публикации этого обращения к И. Хэпгуд начали стекаться добровольные пожертвования, так что уже 18 января 1892 года она смогла переправить Толстому достаточно внушительную сумму — 584 доллара (*Там же. С. 112*). 4 февраля из Бегичевки Толстой отправил своё первое письмо с подтверждением получения чека и благодарностью:

«Я глубоко тронут состраданием ваших соотечественников к нашей теперешней беде и прошу вас выразить мою сердечную благодарность вашим друзьям за их пожертвования.

Оказывая помощь голодающим на собранные вами деньги, я непременно объясню им, что эту поддержку они получают от своих незнакомых братьев из далёкой Америки» (*Там же. С. 132*).

Со вторым письмом от Хэпгуд, от 19 января, в Бегичевку отправился список из 84 частных жертвователей фонда И. Хэпгуд. Кроме того, Изабел рассказала кое-что о деятельности в Нью-Йорке благотворительного «Citizens' and Buisness Mem's Committee» («Комитета граждан и деловых людей»), в частности об опасении скопления у Л. Н. Толстого избытка денег при недостатке помощи за пределами местности, окормляемой «министерством добра» Льва Николаевича.

Кстати, с близких, но всё же своих специфических позиций не одобряли масштабов деятельности Толстого и наблюдавшие за ним представители власти: соседи «сытых», благодаря Толстому, помогаемых им крестьян могли из зависти решиться на бунты. Хэпгуд в письме признавалась:

«...Мы хотели бы знать имена людей из различных пострадавших районов, которые были бы не только безукоризненно честными и хорошо знающими нужды народа, цены и т.д. (что вытекало бы из их собственного опыта жизни среди народа), но и были бы вне всяких подозрений в том, что они могли бы использовать эти средства в революционных целях. Вы — именно тот человек, кто мог бы рекомендовать нужных людей на основании личного знакомства» (*Там же. С. 115 – 116*).

Ответ Льва Николаевича на это письмо Хэпгуд не известен. Вероятно, Толстой отнюдь не посчитал себя таким знатоком людей, могущим ручаться за других или даже за себя, и на просьбу Хэпгуд не отозвался.

В таком требовании Хэпгуд ощутим отголосок споров в Комитете по поводу деятельности Общества американских друзей русской свободы, источники финансирования которого были известны, конечно же, не одному его казначею.

Как и в случае с Френсисом Дж. Гаррисоном, и даже намного катастрофичней, по фонду Изабел Ф. Хэпгуд ударили сплетни и слухи из России, начавшиеся в январе, после скандала с английской публикацией отрывков из статьи Л. Н. Толстого «О голоде». Текст заметки, перепечатанной рядом американских газет, о запрете в России частной благотворительной деятельности и высылке Толстого под полицейский надзор в Москву, мы приводили выше. Изабел Ф. Хэпгуд приложила вырезку из газеты к письму своему из Нью-Йорка от 21 января, сообщая, что заметка была прислана человеком, затребовавшим назад свой вклад.

Увы! Злосчастный перевод Диллона, его публикация и её тенденциозная трактовка в консервативной прессе России сделают милым Изабел и Льву ещё немало подобного зла. В первый момент им поверила и сама добрая американская фея семьи Толстого, предпочтя придержать уже собранные для отсылки полных 424 доллара (*Там же. С. 117*). В этом же письме она просит Толстого *немедленно* выступить с личным заявлением по поводу этих слухов: «Это может означать жизнь или смерть для всего нашего большого Комитета, о котором я вчера писала, и в конечном счёте, для тысяч крестьян» (*Там же*). Искренность переживаний доброго друга Сони, Льва и

народа русского подчёркивает и надпись, сделанная Изабел на самой газетной вырезке: «Возобновить подписку будет очень трудно, если она однажды прекратится из-за отсутствия Вашего собственноручного заявления. Американцы либеральны, но они склонны верить всякой чепухе о России <как и положено любой либеральной сволочи во все времена. – Р. А.>. Если же Вы напишете, *по-английски*, опровержение этой информации, я опубликую его факсимильным способом в газетах, и Вы таким образом спасёте жизни сотен и тысяч крестьян с помощью пожертвований, которые вновь будут поступать в большом количестве» (Там же. С. 118).

Письмо отправлено; потянулись тяжёлые для милой Хэпгуд дни ожидания востребованного ею ответа Толстого — телеграммы и факсимиле-опровержения на английском. Вдруг с тяжёлыми, удушающими ужасом и отчаянием она узнаёт, что пароход «Айдер», вёзший американскую корреспонденцию в Европу, потерпел крушение (Там же. С. 119 – 120). Взяв себя в лапы, она пишет 5 февраля новое письмо, и довольно пространное, содержащее, помимо повторного моления о *каблограмме* (так именовались в ту эпоху телеграммы, передвававшиеся в Америку по подводному кабелю), некоторые подробности успехов Изабел и дела, столь убедительно и шумно начатого её благотворительной, на первых шагах совершенно личной, инициативой:

«Мои скромные усилия в организации *Толстовского фонда* дали существенные результаты в Нью-Йорке. Нью-Йорк всегда медленно трогается с места, но когда он берётся за что-нибудь, за ним следует вся страна. Ничего не было сделано здесь до тех пор, пока я не создала моего Фонда. Когда же стало очевидным, что он имеет успех, то было предложено организовать *Комитет граждан и деловых людей* и я была приглашена в качестве секретаря. Тогда мы приступили к работе, провели несколько собраний, нашли ряд влиятельных людей, и уже готовы были обратиться с призывом ко всей стране, когда в наших планах произошло существенное изменение.

Дело в том, что Торговая Палата, которая обсуждала вопрос о Фонде помощи месяц тому назад и решила, что предпринимать ничего не нужно, теперь объявила, что берётся за это дело. Председатель Палаты был приглашён в наш комитет и увидел, что есть люди, полные решимости что-то сделать, — и тогда он стал делать это сам. Мы уполномочили нашего председателя для того, чтобы отказаться от требований на приоритет и слиться с Торговой палатой. Несколько человек из нашего Комитета будут работать в Комитете Палаты; ряд лиц, которые не хотели работать с нами, тоже будут ока-

зывать содействие Палате. Это торжество моих скромных начинаний. Там, где я имела бы сотни долларов, Комитет, секретарём которого я была, собрал бы тысячи, Торговая Палата, посредством своей систематической деятельности, будет получать десятки тысяч». Но при этом, подчёркивает Хэпгуд, есть жертвователи, желающие пересылать деньги именно через неё и именно Толстому (*Там же. С. 120 – 121*).

Как мы увидим ниже, даже средства этих немногих составят в конце концов довольно солидную сумму. В письме от 8 февраля, например, Изабел рассказывает, что часть денег была собрана и прислана «американскими детьми для русских детей» (*Там же. С. 123*). И ещё добрая фея из Нью-Йорка добавляет: «Большая часть денег поступает, мне кажется, от людей небогатых, и все они пишут, что они хотели бы послать в тысячу раз больше, и добавляют, “Бог да благословит графа Толстого”» (*Там же*). Стены, разделяющие людей, не растут до Небес! А в позднейшем, от 7 марта, письме к Толстому, коснувшись той же темы, Изабел как будто лишней для Льва Николаевича раз подтвердила ему зло самих денег, денежной системы, равно как грех и ложь суеверия «благотворительности», то есть массового самообмана людей лжехристианского мира о возможности «помощи» деньгами, а не любовным участием и личным трудом:

«Письма, поступающие с пожертвованиями, продолжают быть очень сочувственными. Богатые люди не часто бывают щедры. Зато многие бедные фермеры, которые испытывают угрызения совести, сядя за свои уставленные едой столы, посылают небольшие суммы и выражают сожаление, что не могут выслать больше. У них изобилие продовольствия, но очень мало денег. Если бы богатые помогали соразмерно, Россия получила бы настоящую помощь» (*Там же. С. 141*).

Но, в отличие от кормильцев своих, от фермеров и мукомолов, богатых и не очень, богатая городская сволочь не спешила во все времена расставаться со своими излишками — как мы помним по рассказанной Толстым в «Так что же нам делать?» эпопее с переписью населения в Москве. Зато охотно верила и верит слухам, таким, которые могли бы снять с неё, сволочи, нравственную обязанность раскошелиться хотя бы на пенни, цент, копейку... Толстой понимал это, знал по горькому опыту своему — а оттого поспешил исполнить просьбу Хэпгуд, полученную с письмом от 21 января, к счастью, не утонувшем. 8 февраля 1892 г. добрая подруга и соратница получила его каблогранму с опровержением измышлений зарубежной прессы. Позднее было получено письмо — к сожалению, не сохранившееся в

архиве Хэпгуд (*Там же. С. 122. Комментарий*). Ещё же ранее, 6 февраля, из города Москвы, куда прибыло спасённое от вод морских послание, ответила прекрасной Изабел Татьяна Львовна кратеньким письмом, с такими строками — всё доброго известья:

«Отца в настоящее время нет в Москве, и я вынуждена ответить вместо него, что заметка в “Boston Evening” (“Бостонской вечерней газете”)» совершенно не соответствуют истине. Он в настоящее время находится с матушкой и сестрой в Рязанской губернии, где продолжает расширять ту деятельность, которую начал. Он получил чек, который вы прислали ему, и несколько дней назад послал вам ответ» (*Там же*).

Используя эти свидетельства, Хэпгуд опубликовала в Нью-Йоркских газетах заметку, опровергающую распространившиеся ложные слухи (эту заметку она приложила к своему письму, отосланному Толстому 12 февраля 1892 г.). В последнем письме были такие строки: «Сердечно благодарю Вас за быстрый ответ. Это было чрезвычайно важно именно в данный момент. К моему следующему отправлению я добавлю деньги на покрытие стоимости каблограммы. Я телеграфировала щедрым фермерам нашего замечательного Северо-Запада, это зерновой район, с просьбой погрузить пшеницу и рожь для весеннего сева. Может быть, они смогут погрузить некоторое количество на судно, которое они предполагают отправить с продовольствием из Филадельфии 20-го февраля.

Теперь, когда Нью-Йорк пробудился, страна следует за ним, как я Вам и предсказывала. Директор нашего большого Мюзик-Холла предложил мне организовать цикл концертов в пользу фонда помощи с участием нашего лучшего симфонического оркестра. Я послала его письмо в Торговую Палату, полагая, что они могут справиться с этим делом гораздо лучше, чем я» (*Там же. С. 125*).

Комитет по оказанию помощи голодающим при Торговой Палате Нью-Йорка начал пересылать в Россию довольно внушительные суммы. Так, 9 февраля 1892 г. Торговая Палата перевела дипломатическому представителю США в Петербурге Ч.Э. Смиту 10.000 долларов с указанием о передаче части этой суммы Толстому (о чём так же упоминает Хэпгуд в письме от 12 февраля 1892 г.). От себя благотворительница высылает, вкуче со списками жертвователей так же довольно солидные суммы: 8 февраля — 1075,8 долларов, 15 февраля — ещё 642, 7 долларов и бесценную моральную поддержку: «Евангелист Дж. Х. Уэр из Канады, который прислал мне 5 долларов, просит меня сообщить Вам о его сочувствии и восхищении Вашей благородной деятельностью. Мне следовало бы послать Вам все по-

лучаемые мною письма. Они так полны сочувствия и любви к крестьянам, к Вам и Вашей семье» (*Там же. С. 123, 127*). В письме от 16 февраля к Татьяне Львовне Толстой Изабел Хэпгуд упоминает, что получила уже около 2445 долларов, или 5 000 рублей, «которые сопровождаются письмами с добрыми пожеланиями» (*Там же. С. 130*).

Действительно, как и предполагала Хэпгуд, за Нью-Йорком последовала вся страна, и помощь поступала от самых разных лиц: от жен и дочерей фермеров, членов Нью-Йоркской ассоциации, от двух не назвавших себя лиц из Нассау, с Багамских островов, от прихожан конгрегациональной церкви из Гротона и монахинь — майертских сестер из Куинси, добывших присланные ими деньги тяжёлым трудом, от граждан Лэнсингсбурга и от множества отдельных лиц, называвших свои имена или подписывавшихся просто как «друзья».

Конечно, силы зла, так или иначе связанные с Россией и поганым «русским миром», не оставили своей зависти и злобы в отношении Духовного Царя России и периодически напоминали о себе. Так, на удивление, родственница Толстого, троюродная тётка Александра Андреевна Толстая, весьма состоятельная придворная, жаловалась Изабел, что та выслала Льву Николаевичу избыток денег. Для справедливости следует подчеркнуть, что сама православная тётушка тоже, и на постоянной основе, занималась благотворительностью. Мисс Хэпгуд отнеслась к инвективе Александры Андреевны серьёзнее, чем она того стоила, и просила Толстого, в письме от 20 февраля, «если это действительно так», посылать ей часть переводимых сумм: «Я ничего не могу посылать непосредственно ей, так как я организовала сбор от Вашего имени и мои отчёты в газетах должны быть в порядке» (*Там же. С. 133*). В глазах Изабел Ф. Хэпгуд в пользу тётушки говорила её влияние: «Её каналы распространения <пожертвований — Р. А.> очень хороши и эффективны» (*Там же. С. 135*). На Александру Андреевну американская, во многом на неё похожая, благотворительница возложила миссию напечатать большим тиражом, для распространения в народе в России, рецептов блюд из кукурузной муки (*Там же*).

В письме от 23 февраля — весть о новом неприятном ударе: одна из американских газет провела, что Толстой в Бегичевке находится «под надзором жандармов». «Эта очередная ложь не должна остаться без ответа, — делится прекрасносердечная Изабел своим гневом со Львом Николаевичем, — Это позор, что враги России так лгут в момент такого ужасного кризиса» (*Там же*). Выше, в соответствующих главах нашей книги, мы уже показали читателю, что данная картина была, к сожалению, немало близка к действительности: Россия во все времена умела оказаться врагом сама себе.

Наконец, судя по письму от 26 февраля, в котором, в свою очередь, упоминается «взволнованное письмо» к Изабел Френсиса Джексона Гаррисона, к 20-м числам февраля американские газеты захлестнула волна слухов по поводу публикации Диллона. «Постарался» в этот раз русский корреспондент лондонской газеты «Standart», сообщивший через телеграф в американскую прессу, что Толстой находится под домашним арестом в своём имении, а Софья Андреевна отрицает авторство мужа в отношении некоей «антипатриотической» статьи (*Там же. С. 137*). Встревоженная Изабел встревожила телеграфом Александру Андреевну Толстую, в которой справедливо видела возможную заступницу Толстого против возможных репрессий правительства.

К сожалению, в мемуарах, составленных старушкой А. А. Толстой только в 1899 г., ей очень изменяет память. По её версии, император Александр III имел беседу с министром внутренних дел, в ходе которой произнёс знаменитое: «Прошу Льва Толстого не трогать; я нисколько не намерен сделать из него мученика и обратить на себя негодование всей России. Если он виноват, тем хуже для него» (*Толстая А.А., гр. Мои воспоминания о Л.Н. Толстом // Л.Н. Толстой и А.А. Толстая. Переписка. М., 2011. С. 63*). И Александра Андреевна прибавляет здесь же: «С какою радостью я стала писать во все концы Европы и за океан, что граф Лев Толстой преспокойно живёт у себя в Ясной Поляне и что великодушный наш Царь не обидел его даже упрёком» (*Там же. С. 64*). Любопытно и замечание Толстой о том, что, гостя в доме Льва Николаевича и Софьи Андреевны, она «никогда не упоминала об этом эпизоде, находя в нём много противоречий и слишком мало ясности» (*Там же*). Где уж разобраться в хитросплетениях скандалов с переводом несчастной американке — переводчице неизмеримо более и мастерской, и добросовестной, нежели Диллон! Её попытки разобраться в ситуации носят на себе отпечаток настроения гадливости — как и в случае с Софьей Андреевной, а равно и желания поскорее отделаться от этого скандала и не отвлекаться от дел серьёзных — как и в случае с Львом Николаевичем Толстым. «То, что виной всему двойной перевод — не вызывает никакого сомнения» — выводит переводчица в письме к Л. Н. Толстому от 11 апреля 1892 г. (*Л.Н. Толстой и США. Переписка. С. 161*). И на том успокаивается, тем более, что известия о разрешении скандала из России идут успокоительные, а американцы, как малые детишки — быстро переключают внимание с одной газетной «клубнички» или «клюковки» на другие.

В письме от 29 февраля Изабел констатирует, что поток жертвований уменьшился от «вредного воздействия» слухов (*Л.Н. Толстой и*

США. Переписка. С. 139). Но собранное высылается с тою же добро-совестностью, и 8 марта Изабел подводит новый промежуточный итог своей работы: отправлено Толстому шесть чеков на общую сумму 3198 долларов (*Там же. С. 141*).

К 21 марта добрая помощница Льва Николаевича получила сообщение от Александры Андреевны Толстой, что «недоразумение» исчерпало себя, а Толстой отмахнувшись от общего шума, как от лающих собак, продолжил свою работу (*Там же. С. 148*).

Между прочим, письмо Изабел Ф. Хэпгуд от 10 марта 1892 г. — то есть написанное в дни наибольшего кризиса, связанного с влиянием «клеветы “Московских ведомостей”», является дополнительным свидетельством в пользу нашего вывода о том, что статья Л. Н. Толстого «О голоде», как ни ярка и ни талантлива, а была *преждевременна и вредна* своим влиянием на практическую деятельность Льва Николаевича. Переводчица, зная, что написана статья была до начала работы Толстого в Бегичевке, просит Льва Николаевича в этом письме написать другую статью «на 3000 слов, в течение трёх недель, с оплатой 1200 рублей», специально для влиятельного и пользующегося огромным читательским уважением и доверием в США журнала «North American Review». Нужна статья именно «с места бедствия», и именно с того места, где *сейчас* работает Толстой. Вся огромная статья «О голоде» под такие запросы не подходит. Конечно же, Толстого не порадовало такое — кстати, весьма щедрое по оплате — уни-зительное предложение. В ответе своём 16 марта, телеграмме а затем письме из Москвы, он решительно отказывает Хэпгуд: «писать я никак не могу за деньги и тем более по заказу» (*Там же. С. 153*). Но эти, в начале письма, резкие слова с пыльной полки толстовской гордости «подслащены» во второй его половине словами искренней благодарности мисс Хэпгуд «за энергическую и добрую деятельность». Толстой искренне благодарил свою добрую американскую фею и сообщал, что общее дело «до сих пор идёт хорошо, т. е. что мы ясно видим, что деятельность наша приносит ту пользу, которая от неё ожидается, и что мы не имеем до сих пор недостатка ни в средствах, ни в помощниках-работниках. Четыре раза уже с нами было то, что мы пугались слишком большого распространения нашей деятельности и останавливались, не предвидя увеличения средств. [...] На днях, перед отъездом, когда мы свели учёт и увидели, что у нас 176 столовых и неостанет 8000 р., для доведения дела до конца мы опять остановились и стали сокращать себя. Но, как и в те раза, приехав сюда, я нашёл новые пожертвования, покрывающие наш дефицит (из которых ваши занимают немалую часть), и мы смело поведём дальше наше дело» (*Там же. С. 153 – 154*).

Здесь же стоит привести и письмо с благодарностью от Софьи Андреевны Толстой, 6 апреля 1892 г. из Москвы:

«Милостивая госпожа Хэпгуд,

Вы так много сделали, чтобы помочь нам в нашей работе, что я действительно не знаю, как благодарить Вас за сочувствие и участие в том горе, которое сразило такую большую часть России.

Ни одна страна не сделала столько, сколько сделала Америка! Мы с восхищением наблюдали в последнее время, с какой энергией, добрыми устремлениями и быстротой были отправлены пароходы для оказания помощи страждущим от голода русским! Если бы Россия восприняла опыт славного американского народа, она бы никогда не оказалась в том положении, в котором она сейчас.

Да, дорогая г-жа Хэпгуд, у нас в последнее время были большие неприятности с русской газетой «Московские ведомости». Если бы не наш добрый император, наши враги нанесли бы нам большой урон. Слава Богу, это теперь уже в прошлом, но мне пришлось пережить нелёгкое время.

Разве не удивительно, что человек, который сделал в настоящее время для своей страны больше, чем кто-нибудь другой, преследуем в России более кого бы то ни было. И все забыли, что граф Толстой сделал для страны до этого, какой славой его имя покрыло Россию и как много он работал всю жизнь только во имя добра.

Мой муж и дочери в настоящее время сроком на две недели находятся в Москве, из-за плохих дорог и того, что в реке Дон поднялась вода. Все они свидетельствуют Вам свою любовь и выражают глубокую признательность за то участие, которое Вы приняли в их работе.

[...] Р. S. Поблагодарите от моего имени г-на Уэйланда за его вклад» (Л.Н. Толстой и США. Переписка. С. 159).

Преподобный пастор Баптистской церкви Филадельфии Х. Л. Уэйланд несколько раз пересылал деньги через Изабел Хэпгуд к Софье Андреевне Толстой, предназначая их «баптистам, штундистам и вообще всем сектантам, которые голодают в России» (Там же. С. 151 – 152, 160, 165, 170 – 171, 175, 188 и др.). С одним из чеков, на 58,2 доллара, пришло наивное «разрешение» употребить 15 долларов из этой суммы на нужды штундистов или баптистов, а остальные средства — «для страдальцев, независимо от их вероисповедания» (Там же. С. 160). Не посылая их напрямую в Россию из Филадельфии, умный баптист сэкономил на стоимости дальней пересылки, а посылая

на имя Софьи Андреевны, а не Льва Николаевича Толстого — быть может, выражал несогласие с религиозными убеждениями последнего? Теперь уже трудно сказать. С чем точно выразил несогласие строгий фанатик — это с отказом четы Толстых разыскивать по России “страждущих” сектантов. В письме к Хэпгуд от 24 мая С. А. Толстая особо подчеркнула: «они живут очень, очень далеко от нас и мы даже не знаем, есть ли там голод», так что, если г-н Уэйланд «хочет помогать *только* штундистам или другим протестантам, ему следует посылать деньги кому-то другому» (*Там же. С. 194 – 195*). Если пастор намеренно избегал связи с Толстым, общаясь лишь с его женой, можно считать, что он “наказал сам себя”: за резкостью ответа Софьи Андреевны чувствуется её неприязнь к сектантам как таковым, из-за многолетнего общения с которыми она боялась, и тоже годами, правительственных репрессий в отношении как Толстого, так и всей семьи. Она *не желала* связываться с этим поручением супруга!

Толстовский фонд «доброй американской феи» семейства Толстых, великолепной Изабел Флоренс Хэпгуд, оказался жизнеспособным. Он просуществовал почти до нового урожая в России — лишь 29 июня 1892 года мисс Хэпгуд опубликовала объявление о его закрытии (письмо от 19 июля 1892 г.). По сведениям в письме Хэпгуд к Толстому от 22 июня, точная сумма, пересланная ему к этому времени, равнялась к 22 июня 6 014, 92 долларов (*Там же. С. 203*). Александре Андреевне поступило 1 049,58 долларов. В общей же сложности, по сведениям из письма Хэпгуд Толстому от 9 августа, доброй Изабел было собрано и переправлено на имя Толстого и графини Александры Андреевны 7.200 долларов (*Там же. С. 216*). Вместе с переводами лично Софье Андреевне общая сумма собранных ею пожертвований приближается, в пересчёте, к 10 000 рублей!

К этим итогам необходимо присовокупить содействие в отправке с пароходами «Famine Fleet» (пароходы «Indiana» и «Tynehead») особо ценного для русских крестьян груза — *посевного материала*. В Америке думали о том, как накормить голодающих, Изабел же думала и о будущем урожае. Из письма к Л. Н. Толстому от 12 февраля:

«Я телеграфировала щедрым фермерам нашего замечательного Северо-Запада, это зерновой район, с просьбой погрузить пшеницу и рожь для весеннего сева. **<Основной груз составляла кукурузная мука. – Р. А.>** Может быть, они смогут погрузить некоторое количество на судно, которое они предполагают отправить с продоволь-

ствием из Филадельфии 20-го февраля» (*Л.Н. Толстой и США. Переписка. С. 125*). И 15 февраля: «Я телеграфировала... Они обещают сделать всё, что смогут. [...] Возможно, будет послано некоторое количество семян, если хватит времени.

По поводу кукурузной муки — Вы должны предупредить людей, что пища требует тщательного приготовления, иначе она может вызвать дизентерию и ослабить организм. В следующем письме я пошлю Вам несколько простых рецептов её приготовления, которыми моя матушка поделится с Вами из своего опыта» (*Л.Н. Толстой и США. Переписка. С. 127*).

К сожалению, материальные результаты этой огромной заботы о небольшом, но ценнейшем для крестьян прибавлении к грузу, как и труда крестьян по засеиванию полей, были поглощены природной стихией: продолжившейся в 1892 году в России засухой. В письме к Хэпгуд от 11 мая (30 апреля) С. А. Толстая, посылая с ним отчёт мужа (известный как «Отчёт об употреблении пожертвованных денег с 3 декабря 1891 г. по 12 апреля 1892 г.»), не преминула рассказать и о погоде в России: «Весна не внушает в нас радужных надежд на грядущий урожай. Во многих местах засуха и ветрено, и совсем нет дождей. Никто не может противиться воле Господней! Но так грустно местами видеть покрытые пылью поля и отчаявшихся людей» (*Там же. С. 185 – 186*).

Неладно было этою весной и в Америке. Подобно тому как на Толстого и трепетную супругу его обрушился шквал злобы и клеветы, так на фермеров в весну 1892 гг. обрушивались шквалы природные: «чудовищные наводнения, неожиданные снегопады, морозы, свирепые штормы» (*Там же. С. 192*). Фермеры потерпели убытки в 50 млн. долларов «от наводнений, сгнивших в земле посевов и других бед, а плохая погода всё держится», в связи с чем Хэпгуд ожидает, что «американцы направят свою благотворительную деятельность в это русло», и жертвования в Россию резко сократятся (*Там же. С. 192 – 193*). Конечно же, она была права в своих прогнозах! Благотворительность американских фермеров и правительства, как было отмечено выше, была основана, в немалой степени, на радости от огромного выигрыша на мировом продовольственном рынке, а также на идеологии американского мессианизма. Когда возник риск, что на рынок, а возможно, и на собственные столы скоро будет нечего отправить — янки, естественно, стало не до идеологии!

Завершая рассказ о деятельности милой Изабел Флоренс Хэпгуд, стоит отметить, что переписка её с Л. Н. Толстым продолжалась до февраля 1903 г., но со всё увеличивавшимися перерывами. В чём-то сблизившись в этом плане с сестрой Толстого Марией Николаевной, Изабел, как и она, не обрела в жизни семейного счастья. Она так и не вышла замуж! После смерти в 1900 г. любимой матери она стала ещё религиозней, но, конечно же, не ушла в монастырь, как Мария Николаевна в России. Будучи сама прихожанкой Епископальной церкви США, Изабел Флоренс Хэпгуд, живо интересуясь православной литургией и церковным пением, продолжила, после ряда личных жизненных драм, свою экуменическую работу. Она первой в США осуществила в 1906 г. полный перевод и публикацию церковнославянских литургических текстов — с благословения архиепископов Аляскинского и Алеутского Тихона и Николая. В 1917 году она готовила второе издание переводов и лично беседовала в Москве с Тихоном, ставшим Патриархом. После большевистского переворота она с трудом, через посредство американского консула, но и с сожалением навсегда покинула Россию.

Скончалась Изабел Флоренс Хэпгуд в Нью-Йорке 26 июня 1928 г.

6.5. Голоса любви из Скандинавии

Сведений как о системно организованной, посредством фондов, так и о частной (отдельных лиц) благотворительной деятельности других стран значительно скуднее. Там большую благодарность следует адресовать современному финскому исследователю Бену Хеллману, специально изучившему деятельность благотворителей в родной автору Скандинавии.

О Петере Эмануэле (Петре Готфридовиче) Ганзене и его личном, в 1890 году, знакомстве с Л. Н. Толстым в этой книге уже шла речь. Для соотечественников своих и для жителей Скандинавии обрусевший датчанин, журналист и переводчик, сделался «скандинавским Диллоном»: авторитетным источником информации по России, известным личным знакомством с Л. Н. Толстым. В связи с этим его поприщем исследователь из Хельсинки Бен Хеллман рассказывает следующее:



Пётр Готфридович Ганзен

«Датская пресса начала публиковать сообщения о голоде и деятельности Толстого в начале ноября. Петербургский корреспондент Андре Люткен (1843 – 1916) делал репортажи для «Politiken», а Ганзен обеспечивал свежей информацией читателей «Morgenbladet». Статья Толстого «Страшный вопрос» вышла в «Politiken» (27.11.1891) под заголовком «Grev Leo Tolstoi om nøden i Rusland» («Граф Лев Толстой о голоде в России»). Открытое письмо Софьи Андреевны, опубликованное в «Morgenbladet», «Politiken» и «Aarhus Stiftstidende», немедленно получило положительный отклик. По инициативе крупнейших датских газет в декабре развернулся сбор средств. Вдохновителем процесса в редакции «Aarhus Stiftstidende» стал юрист Сигфред Виктор Винге, собравший 227 рублей и 87 копеек, которые были отправлены Софье Андреевне. Фунч Томсен, редактор *Aarhus Stiftstidende*, пожертвовал 412,16 датских крон для сбора, который осуществляла его газета. В редакции «Morgenbladet» инициативу взял на себя писатель и переводчик Ааге Мейер (1866 – 1927), сумма составила 2480 датских крон (1393 рубля). Благодарственные письма Софьи Андреевны цитировались в газете 20 января 1892 года, о помощи датчан сообщали также «Российские ведомости» (<https://flibusta.club/b/632646/read>).

Желание помочь выразили и шведы, инициатором стал профессор языкознания Фритц Леффлер (1847 – 1921). В январе 1892 года он пишет Софье Андреевне и спрашивает, как отправить собранные средства по назначению наиболее надёжным способом. Подробный

ответ графини был опубликован в газете «Aftonbladet» в феврале. Именно с ним, готовясь к поездке в Россию, знакомился Йонас Стадлинг. Бен Хеллман приводит в своей книге мокращённый перевод письма с датской его публикации:

«Господин Леффлер!

Трудно давать советы по поводу благотворительности. В этой беде приветствуем любую помощь, и организация, призванная облегчить страдания людей в голодающих районах России, могла бы принести много пользы. Однако организации (частные) в России не разрешены; каждый сам делает всё, что в его силах, чтобы помочь народу. Если кто-либо желает пожертвовать значительную денежную сумму, её можно послать либо в Комитет для сбора пожертвований и их распределения под председательством великого князя-престолонаследника в Санкт-Петербурге, либо в Комитет под председательством великой княгини Елизаветы в Москве; если вы предпочитаете передать средства в частное распоряжение, то мы, мой муж и вся наша семья, сделаем всё возможное, чтобы разместить их с максимальной пользой. [...]

Жить в охваченных голодом деревнях очень тяжело, приходится преодолевать многочисленные невзгоды. Если вы никогда не были в России и не представляете, что такое русская деревня, вы не сможете вытерпеть жизнь там.

Голод чудовищен! И хотя правительство пытается делать всё возможное, частная помощь крайне необходима. Лошади мрут от отсутствия корма, коровы и прочий домашний скот либо забиваются крестьянами, либо подыхают от голода. Выживет лишь малая часть поголовья.

Если вам удастся собрать достаточную сумму, мы бы подумали о том, чтобы весной купить лошадей и раздать их крестьянам южной России, дабы они могли опять работать. Без домашнего скота наши крестьяне сделать ничего не смогут. Но это всего лишь планы. Сейчас нам нужно многое сделать для того, чтобы люди выжили. Так печально видеть бедных страдающих крестьян, беспомощных и ищущих поддержки, но они начинают надеяться, как только встречают кого-то, кто чувствует к ним сострадание и интерес.

Если вы постараетесь предпринять что-либо, Бог благословит вас.

Ваша графиня С. Толстая» *(Там же)*.

Бен Хеллман продолжает рассказ:

«Находившийся в эпицентре голода соотечественник Леффлера журналист Юнас Стадлинг подтвердил, что графиня надёжный посредник, и сообщил московский адрес Толстых.

На счёт Леффлера «Юрскольмский сбор средств в пользу бедствующих русских крестьян» начали поступать деньги. Подписавшийся как Теософ прислал организаторам пятьдесят крон с «благодарностью во имя человечества». Писатель профессор Виктор Рюдберг внес скромную десятку, в то время как «два друга мужиков и Толстого» пожертвовали в пять раз больше. Историк профессор Харальд Хьернэ перевел гонорар за лекцию в размере ста крон...

Такая же значительная сумма – сто крон – пришла от «Работницы». В одном из писем к Леффлеру Софья Андреевна отозвалась об этом так:

«Господин Леффлер, от своего имени прошу вас сердечно поблагодарить человека, который под именем Работница милостиво отдал в пользу несчастных, страдающих от голода русских крестьян 100 крон, возможно полученных в результате тяжёлого труда и имеющих гораздо большую ценность, нежели средства, пожертвованные в условиях их переизбытка.

Я отправляю господину Стадлингу отчёт о расходах, совершённых ради бедных голодающих, и о суммах, присланных для нашей деятельности неизвестными благотворителями. Отчёт составлен моим супругом, графом Львом Толстым, и я надеюсь, что господин Стадлинг найдёт того, кто переведёт этот документ на шведский. Примите мои и т. д.»

Средства «Юрскольмского сбора» были отправлены в Москву тремя почтовыми отправлениями – в апреле, мае и июне 1892 года. В письме от 18/30 мая 1892-го Софья Андреевна благодарит за 475,50 кроны, из которых триста получены от неместных жертвователей. «Юрскольмский сбор» уже официально закрылся, когда был получен взнос в размере 150 крон, сделанный литератором и фотографом Карлом фон Платеном при посредничестве Виктора Рюдберга.

Общая сумма, собранная за четыре месяца, составила 607,50 крон.

[...] В редакции «Aftonbladet» также существовал список для желающих участвовать в сборе шведской помощи. [...] Среди жертвователей были, к примеру, лютеранская миссия Оммеберга, «дама, которая жила в Петербурге» и учащиеся Юрскольмской школы. В начале осени поступили ещё 97 крон.

Существовали и другие каналы. В письме Юнасу Стадлингу, шведскому журналисту, дочь Толстого Мария благодарила за деньги, которые «Счастливая семья» отправила Софье Андреевне через Стадлинга. Фрёкен Мария Эрстрём организовала сбор в местном баптистском приходе и получила из Москвы персональное благодарственное письмо, датированное 24 апреля 1892 года. Стадлинг пригласил подключиться к сбору средств и шведского издателя Толстого, который не был обязан выплачивать гонорары русским писателям. Ответным жестом Альберта Бонниера стала отправка в Москву суммы в 500 немецких марок, за что он получил личную благодарность от Софьи Андреевны. В Бегичевку, штаб благотворительной деятельности Толстых, 2 марта 1892 года пришло также письмо из Швеции от Акселя Лидмана, главного редактора «Södra Dalarnes Tidning» в Хедемора. По просьбе Толстого Стадлинг перевёл вопрос шведа: «Как мне передать незначительную сумму денег вашим бедным соотечественникам?» «Горячее желание» Лидмана помочь растрогало Толстого до слёз. В отчётах Толстого о поступлении и использовании средств за второе полугодие 1892-го упоминается ещё одно шведское пожертвование: 53 рубля, полученные от неизвестного лица через газету «Aftonbladet».

Разрозненные суммы в помощь голодающим поступали из Швеции и в 1893 году. В годовом отчёте Толстой упоминает 87,37 рубля от «Христианского союза молодых женщин Швеции» Бедные батраки из Сундсвалля собрали 60 крон, которым Стадлинг добавил 37,50, что в сумме составило ровно 50 рублей. На этот раз благодарственное письмо Стадлингу прислала дочь Толстого Татьяна: «Эта помощь была весьма кстати и спасла от голода несколько семей».

В Финляндии активно цитировались публикации русской прессы о голоде и благотворительной деятельности Толстого. «Страшный вопрос» напечатали в «Nya Pressen» (29. 11. 1891), а текст «О голоде» в обобщенном виде вышел в «Hufvudstadsbladet» под заголовком «Ett nytt nödrop av Tolstoj» («Новый крик о помощи Толстого»), а также в «Nya Pressen» (02. 02. 1892) и местных газетах. Газета «Finland» (28. 05. 1892) процитировала отчёт Толстого о распределении собранных

средств и результатах работы. Со справедливым негодованием сообщалось, что «Московские ведомости» и «Гражданин» позволяют себе бесстыдную клевету и издевательские выпады в адрес жертвенной работы Толстого, но упоминалось и о материалах, защищающих честь писателя, например, в «Вестнике Европы». Широкое распространение получил фальшивый слух о том, что Толстой помещён под домашний арест в собственном имении, что усилило недоверие финнов к российскому правительству.

В Финляндии так же, как в Дании и Швеции, призыв Софьи Андреевны, опубликованный по-шведски в «Finland» (28. 11. 1891) и по-фински в «Kaiku» (03. 12. 1891), послужил сигналом для сбора средств. Однако, в отличие от Швеции и Дании, здесь процесс шёл официально, а не на уровне частных лиц. Царь Александр III нашёл просьбу «Финского союза помощи больным и раненым воинам» (с 1919 года – Красный Крест Финляндии) о сборе средств «весьма отрадной» и охотно пошёл навстречу желанию подданных. Благодаря губернаторам призыв был услышан во многих муниципалитетах и получил положительный отклик, несмотря на то, что российская политика в Финляндии уже успела породить антирусские настроения и <на то также, что> часть населения самой Финляндии тоже остро нуждалась в помощи. До февраля 1892 года было собрано 108 300 финских марок и 1230 рублей. [...] Через полгода итоговая крупная сумма сбора составила 166 541 марку и 1543 рубля, из которых в Россию отправили 64 400 в рублях и 6400 в финских марках.

В общей сложности в Швеции, Дании и Финляндии (данные о норвежских сборах отсутствуют) было собрано 70 000 рублей, что позволило более чем пяти тысячам голодающих пережить зиму.

Письма в Россию от желающих помочь переводил для Софьи Андреевны Петер Ганзен. Самое странное пришло от финского шведа из Гельсингфорса. Этот человек изобрел оружие, «в сравнении с которым все армии, броненосцы и крепости – ничто». И если ему дадут всего лишь 3 – 4 тысячи рублей на развитие изобретения, то через два месяца прибыль составит 30 – 40 миллионов рублей, и её можно будет использовать на нужды голодающих.

Возникали разнообразные идеи, и предлагались прочие типы помощи. Кристина Кнудсен из Тандрупа предложила датским семьям принимать русских детей из пострадавших деревень. По крайней мере, её собственная семья и её родители были готовы принять по

одному ребёнку. Поездку в Данию они также могли оплатить. Журнал «Северный вестник» намеревался издать в пользу голодающих антологию зарубежных писателей. Ганзен обещал посодействовать изданию и связаться с известными скандинавскими авторами. Однако ни Георг Брандес, ни Бьёрнстjerne Бьёрнсон, ни Александр Хьелланн интереса к проекту не проявили. Хьелланн полагал, что вместо того чтобы собирать крохи со стола власть имущих, надо призвать голодающих опрокинуть весь стол!

Ганзен прокомментировал ответ Хьелланна в письме к Бьёрнстjerne Бьёрнсону: «Предложение Хьелланна не принимает в расчёт реальность, поскольку русский народ считает царя богоизбранным. Царь, мол, заботится о народе, но в вопросах голода его могли ввести в заблуждение придворные».

В Финляндии женские кружки рукоделия устраивали благотворительные лотереи, полковник в отставке Георг Фразер выступил с серией лекций о Й. Л. Рунеберге, а музыканты Финского стрелкового батальона дали несколько концертов, доходы от которых были пожертвованы голодающим» (14. 05. 2022: <https://flibusta.club/b/632646/read#n121>).

Множественность откликов в странах Скандинавии, в большей степени культурно изолированных от России, нежели ведущие европейские державы той эпохи или США, подтвердила положение Духовного Царя России, Льва Толстого, как писателя и христианского нравственного учителя, авторитетного далеко за пределами отечества. Но и в отношениях с норвежцами, датчанами, шведами, финнами, как мы видим, не обошлось без огромных трудов преданной и любящей супруги Льва Николаевича, Софьи Андреевны Толстой: её открытое письмо прозвучало, обратив на себя внимание, и на Скандинавском полуострове, а её напряжённые труды сделали диалог Толстого-благотворителя с жертвователями названных северных стран максимально продуктивным для огромного общего христианского дела помощи бедствовавшим крестьянам.

Здесь Конец Главе Шестой

Прибавления

Прибавление первое.

Газета «Крымский вестник» за февраль-март 1892 г. о прибытии в Россию из Америки пароходов с грузом муки для пострадавших от неурожая

Филадельфия, 10-го февраля.

Завтра выйдет в Либаву пароход «Индиано» с 29 839 мешк<ами> и 65 бочками муки для населения местностей России, пострадавших от неурожая (*Крымский вестник. 1892. № 35. 12 февр. С. 1*).

23-го февраля выехал в Либаву генеральный консул Северо-Американских Штатов в Петербурге – Крауфорд – для встречи американского корабля «Индиана», прибывающего с грузом пшеницы, в количестве 100 тысяч пуд., пожертвованной в пользу пострадавших от неурожая. В субботу, 22 февраля, из Нью-Йорка вышел второй пароход – «Миссури», гружённый таким же количеством хлеба, предназначенного с той же целью. 23-го февраля в Петербурге получена телеграмма из Филадельфии с запросом о согласии русского правительства на снаряжение третьего корабля, который предполагает прибыть в Россию в марте месяце. Кроме пожертвований хлебом, американцы высылают ещё в пользу пострадавших от неурожая 150 тысяч долларов деньгами» (*Крымский вестник. 1892. № 48. 1 марта. С. 3*).

Либава. На встречу прибывшего с грузом хлеба для нуждающихся русских губерний американского парохода «Индиана» вышли: пароход «Страж» и два частных парохода с публикой. Американцев приветствовали восторженно; произведены были пушечные салюты, матросы выстроены были на реях. Горячие овации сделаны были американцам властями и публикою, при высадке на берег раздавалось восторженное «ура». Дихтера [очевидно, опечатка, правильно – «лихтера»] приступили на рейде к разгрузке парохода, который послезавтра пойдёт в гавань.

Либава, 5-го марта. Нынешним вечером отправлен в пострадавшие от неурожая местности первый поезд в составе 27 вагонов с принятым с парохода «Индиана» грузом. Локомотив поезда убран русскими и американскими флагами» (Крымский вестник. 1892. № 52. 7 марта. С. 1).



Айвазовский И.К. Корабль помощи (1892)

Либава. Сегодня город чествовал американских гостей обедом, на котором после тоста за здоровье государя императора, покрытого громким «ура» и гимном, американский консул Крауфорд, между прочим, сказал: «Всё, что сделал в данном случае американский народ, бледнеет в сравнении с услугой, оказанной тридцать лет назад Россией Соединённым Штатам отправкой русского флота к нашим берегам с целью помочь нам в сохранении нашего единства и независимости, и в виде угроз всем тем державам, которые собирались сорвать с прекрасного американского флага одну из самых блестящих звёзд». В заключение речи, протянув руку графу Бобринскому, Крауфорд сказал, что передаёт ему, как представителю Особого комитета, груз «Индианы». Граф Бобринский отвечал: «Цесаревич, глубоко тронутый дружелюбием и гуманными побуждениями,

вызвавшими этот поступок американского народа, поручил мне выразить его сердечную благодарность жертвователям и всем принявшим участие в этом великом проявлении братских чувств».

Либава. Сдав свой груз, пароход «Индиана» вчера вечером отправился в обратный путь. Весь город провожал американцев. Русское общество чествовало их особым завтраком» (*Крымский вестник.* 1892. № 54. 10 марта. С. 1).

Либава. Как сообщают «Нов.», третий день Либава чествует американских гостей. 6-го марта, в одиннадцать часов утра, капитану Сардженту представлялись на «Индиане» делегации от рабочих и либавских граждан. На приветствия рабочих капитан отвечал: «Я счастлив, что Филадельфия поручила мне дружескую миссию к великому русскому народу. Я привёз дружеский подарок не только от богатых, но и от бедных американских граждан, жертвовавших в пользу русских братьев своими трудовыми деньгами». Рабочие подбросили капитана и американского консула Крауфорда на «ура». На окружавших «Индиану» пароходах с публикой гремело «ура». Приняв либавских нотаблей и власти на «Индиану», Сарджент отдал им визит на их пароходе. В шестом часу пополудни облегчённый от груза пароход «Индиана» с открытого рейда вышел в гавань, при салютах таможенного крейсера «Страж» и приветственных криках всего населения. Махали платками и шапками. В толпе слышалось «Спасибо! Благодетели! Ура!» Момент был торжественный. 5-го марта отправили 27 вагонов с мукой с «Индианы», сегодня утром ещё двадцать семь в голодающие губернии.

Пароход «Индиана» вошёл в либавскую гавань под флагами американским и русским. В публике собрана сумма денег для семьи моряка, погибшего на «Индиане» во время шторма.

7-го марта назначен был обед в честь Сарджента, а 8-го числа отъезд «Индианы» через Ливерпуль – Нью-Йорк. Сарджент очень доволен радушным приёмом со стороны русских» (*Крымский вестник.* 1892. № 56. 12 марта. С. 3).

[Ссылка «Нов.», вероятно, обозначает «Новости и Биржевую газету»]

Либава. Перед самым отъездом «Индианы» от курляндского губернатора получена была телеграмма, в которой командир американского судна уведомлял о пожаловании ему государем императором всемилостивейшей награды. Супругой председателя окружного суда американцам поднесена была хлеб-соль и богато вышитое русское полотенце. Священник отец Карелин, после краткой речи, благословил капитана и команду. При криках народа, салютных выстрелах, «Индиана», осыпанная блеском фейерверка, скрылась на горизонте» (*Крымский вестник.* 1892. № 61. 18 марта. С. 3).



Айвазовский И.К. Раздача продовольствия (1892)

Петербург. В Петербурге ожидается прибытие редактора «Northwestern Miller» Эдгара, организовавшего в Соединённых Штатах сбор в пользу голодающих русских крестьян» (*Крымский вестник.* 1892. № 64. 21 марта. С. 3).

Телеграммы (Северного телеграфного агентства). Либава, 23-го марта. Северо-американский пароход «Миссури», везущий хлеб из Нью-Йорка, прибыл на здешний рейд и был торжественно встречен» (*Крымский вестник.* 1892. № 67. 25 марта. С. 1).

Мистер Эдгар

В Петербурге несколько дней провел весьма дорогой гость – мистер Эдгар, редактор очень распространенной в Северо-Американских Соединённых Штатах специальной газеты «Northwestern Miller», прибывший в Россию в качестве уполномоченного для передачи пожертвованных его соотечественниками муки и других продуктов в пользу пострадавших от неурожая». Далее в заметке рассказано о том, как проходил сбор пожертвований через объявления и сообщения в «Мельничной газете». Эдгар с двумя спутниками прибыл в Петербург на почтовом пароходе, и 20 марта из Петербурга отправился в Либаву для встречи парохода «Миссури». (*Крымский вестник. 1892. № 68. 27 марта. С. 1).*

Либава. По сообщению «М[осковских]. В[едемостей]», северо-американский пароход «Миссури», везущий из Нью-Йорка муку для пострадавших от неурожая, прибыл на здешний рейд и был торжественно встречен пароходом «Concordia», на котором находились американский генеральный консул Крауфорд из Петербурга, граф Бобринский от Особого комитета, редактор газеты «Northwestern Miller» Эдгар, консул Бернгольм из Риги и высшие власти. Военный оркестр исполнил русский и американский народные гимны. Тотчас по прибытии парохода началась его разгрузка» (*Крымский вестник. 1892. № 69. 28 марта. С. 3).*

Подробное описание прибытия в Либаву 22 марта 1892 г. парохода «Миссури» с 2500 тоннами муки см.: *Крымский вестник. 1892. № 70. 29 марта. С. 3–4.* Указано, в частности, что во встрече участвовал оркестр Венденского [резервного] батальона. 23 марта первый поезд из 33 вагонов был отправлен в Самарскую губернию.

Либава. 24-го марта, ночью «Миссури» окончательно разгружен. Последний мучной поезд отправится завтра утром. Такой небывалой почти быстроте разгрузки и отправки хлеба удивляются даже приехавшие сюда американцы. Третий американский мучной пароход «Cometangh» <Так в тексте. – Р. А.> отправится 3-го апреля из Филадельфии прямо в Ригу, куда на днях поедет уполномоченный Особого комитета граф Бобринский для переговоров с правлением железной дороги относительно скорейшей отправки ожидаемого груза» (*Крымский вестник. 1892. № 71. 31 марта. С. 3).*

Прибавление второе.

**Из отчёта доктора Дж. Б. Хаббелла,
представителя Американского Общества Красного Креста,
сопровождавшего весной 1892 г. груз продовольствия
для голодавшей России**

Прибыл в Санкт-Петербург. Пройдёт неделя или десять дней, прежде чем мы сможем ожидать прибытия «Тайнхеда» с грузом для голодающих; но у нас была копия его декларации, и мы знали, что он привезёт. Среди тех, кто должен был встречать судно, было что-то вроде беспокойства, доходящего даже до испуга, поскольку из Соединённых Штатов были распространены сообщения о том, что на борту судна находились лица, которые были нежелательными, если не откровенными врагами российского правительства, и такие лица не могли быть допущены. Это беспокойство было нелегко развеять, пока не стало ясно, что на борту «Тайнхеда» не было никого, кроме его собственных офицеров и экипажа.

По прибытии прежних кораблей помощи были проведены тщательно продуманные церемонии, которые планировались и для «Тайнхеда». Этого мы не хотели и воспользовались случаем, чтобы выразить чувства Красного Креста и американских донаторов в письме с признательностью за любезность, оказанную Председателем Российского Красного Креста...

Санкт-Петербург, 8/20 мая 1892 года.

Его Превосходительству
генералу де Кауфману,
Президенту Российского Красного Креста

Уважаемый Президент.

[...] Что касается прибытия груза с судна «Тайнхед», я надеюсь, что ваше превосходительство уже поняли от нашего временного поверенного в делах г-на Вуртса, что никаких публичных демонстраций не требуется. Этот груз в основном от жителей сельскохозяйственных областей нашего государства, многие из которых сами страдали

от неурожая у себя дома, и поэтому остро осознают аналогичные условия, в которых могут пострадать другие, когда на такой обширной территории, как внутренние районы Российской империи, сезон за сезоном не бывает дождей; и они просто воспользовались этим методом выражения своего сочувствия, поскольку у них в обычае оказывать подобную помощь в своей собственной стране всякий раз, когда в случае бедствий или страданий любого рода требуется помощь извне. Сейчас они чувствуют, что, возможно, те же дожди, которые были задержаны у их братьев в России, увеличили их собственный урожай, который был необычайно обильным в прошлом году; и, таким образом, добавили к желанию помощи и чувство долга. Более того, во всей стране царят глубокие братские чувства; ибо наш народ никогда не забывает, что Россия всегда была другом Америки.

[...] С большим уважением, Джей Би Хаббелл,
генеральный полевой агент Американского Красного Креста,
ответственный за груз "Тайнхед".

Ниже приводится ответ генерала Кауфмана:

Санкт-Петербург, 11/23 мая 1892 г.

«Дж. Б. Хаббеллу, доктору медицины,
главному полевому агенту Американского Красного Креста:

Многоуважаемый сэръ.

Я горю желанием выразить Вам настоящим свою самую искреннюю благодарность за сочувственный отчёт о деятельности Российского Общества Красного Креста, который Вы были так любезны дать в своём письме от восьмого мая текущего года. У вас была возможность убедиться в общем направлении между Российским и Американским Обществами Красного Креста, согласно которому помощь нашим ближним не ограничивается облегчением страданий во время войны, но распространяется на все вызовы национальных бедствий, начиная с бесплатного медицинского лечения бедных на большую помощь, оказываемую во время эпидемических заболева-

ний, голода и других бедствий. Мне доставляет огромное удовольствие видеть симпатию американского народа к русским, доказательство которой было столь очевидным в последние годы.

[...] Дар, принесённый “Тайнхедом”, будет принят с глубокой благодарностью и распределён среди нуждающихся людей, согласно желанию дарителей, через офисы благотворительного комитета под августейшим председательством Его Императорского Величества Наследника Короны. [...]

Председатель РОКК М. де Кауфман».

С помощью мистера Вуртса из нашей миссии, нашего Генерального консула доктора Кроуфорда, графа Бобринского, представляющего Российский Красный Крест, русское правительство и Комитет Цесаревича [...] было организовано распределение груза для отправки по восьмидесяти двум центрам хранения для дальнейшего распределения. Груз должен был быть передан лицам, не вызывающим сомнений в честности и пригодности для этой работы. С этими людьми было отправлено письма, и они приняли плату, и каждому было сообщено количество вагонов, которые каждый должен получить, чтобы на местах могли принять необходимые меры для принятия и распределения груза.

Граф Бобринский приказал подготовить в Риге 320 грузовых вагонов для бесплатного приёма и транспортировки груза в любой желаемый пункт. Когда эти предварительные приготовления были завершены и «Тайнхед» был замечен с сигнальной станции, мы отправились в сопровождении графа Бобринского в Ригу, порт, который ранее был выбран российским послом в Вашингтоне как свободный ото льда и наиболее благоприятный для транспортировки груза вглубь страны. «Тайнхед» был одним из крупнейших океанских грузовых судов, но даже он пришёл перегруженным, и, чтобы он мог войти в гавань, его груз был частично выгружен лихтерами. Он бросил якорь в восьми милях от порта. [...] Благодаря расторопности нашего консула мистера Борнхолдта лихтеры уже стояли рядом, чтобы принять зерно. После чествований на борту, капитана доставили обратно на губернаторском корабле, на котором мы пообедали, а позже пообедали в губернаторском дворце, где капитану подарили красивый чайный сервиз с русской эмалевой инкрустацией в подарок от царя.

Было решено, что на причале будут стоять две линии вагонов, в которые зерно должно было перевозиться прямо с корабля, стоявшего у причала. Как только вагон был заполнен, он был перемещён, взвешен и опечатан, и когда было заполнено достаточно, их погрузили в поезда и отправили к месту назначения с преимущественным правом проезда перед любыми другими составами, не исключая экспрессы и пассажирские поезда. В пункте назначения никто не мог ломать печать кроме того, кому это было предназначено.

Когда мы добрались до Риги, то узнали, что двести сорок крестьян уже два дня стоят на причале, ждут корабля из Америки. Не ожидая еды, потому что Рига не была в числе голодающих провинций, а ожидая, чтобы не упустить возможность и честь разгрузить американский корабль, который доставил еду их несчастным братьям во внутренних районах страны. Как только они смогли попасть в трюм корабля, сто сорок из них начали разгрузку. Они работали день и ночь, без отдыха, полные решимости выгрузить весь груз самостоятельно, без посторонней помощи. Но на третью ночь наш консул, мистер Борнхольдт, настоял на том, чтобы их освободили на двенадцать часов, и когда двенадцать часов истекли, они все снова были на своих местах и оставались до тех пор, пока груз не был вывезен, отказавшись брать какую-либо плату за свой труд. Двенадцать женщин работали вместе с ними, в том же духе, на корабле и в доке, с иглами, зашивая дыры в мешках, чтобы предотвратить отходы при обработке.

Только часть груза “Тайнхеда” была в мешках; поэтому для удобства и экономии при обработке и окончательной доставке мы закупили в Санкт-Петербурге и Риге 43 000 дополнительных мешков для упаковки остального груза, что в общей сложности составило почти 117 000 бушелей очищенной кукурузы, 11 033 мешка муки, а помимо того — небольшое количество пшеницы, ржи, бекона, консервов, лекарств и т.д. Для перевозки всего груза потребовалось 307 российских грузовых вагонов. Часть потом была перевезена на пароходах, отправленных вверх по верховьям Волги, почти до подножия Уральских гор, на расстоянии 3000 миль от Риги.

Несмотря на наше заявление, сделанное в Санкт-Петербурге, что ни Красный Крест, ни американский народ не желали никаких публичных церемоний в знак признательности, были запланированы обеды, экскурсии, публичные демонстрации и иллюминации, от которых мы чувствовали себя обязанными отказаться.... В нашем

отеле русский и американский флаги были скрещены над входом; в витринах магазинов были американские флаги, а в витринах мы увидели ноты американских песен, таких как “Америка”, “Да здравствует Колумбия”, “Янки Дудл”, “Звёздно-полосатое знамя” и т. д. Маленькие мальчики на улицах несли американские флаги собственного изготовления. Один малыш нарисовал российский флаг на одной стороне своего изделия, а американский — на другой. Телефонная станция оставалась открытой всю ночь, чтобы быть готовой к любым возможным нуждам, а локомотив под паром был готов к любым услугам. Таможня вывесила на своём главном штабе только американский флаг в течение всего времени разгрузки “Тайнхеда”, с утра субботы до полудня вторника — три с половиной дня.

Когда всё было закончено в Риге и последний поезд был в пути, мы признали, что всё было так хорошо спланировано, так хорошо сделано во всех деталях, что мы почувствовали, что не было ни малейшей необходимости в каком-либо дальнейшем внимании с нашей стороны в отношении порученного нам. Но для жертвователей Россия была далека; они не знали лично людей, которым пытались помочь, и некоторые критики распространяли опасения по поводу того, дойдут ли дары по назначению. Следовательно, чтобы мы могли быть готовы предоставить отчёт из личных наблюдений для удовлетворения дома жертвователей, которые внесли свой вклад, было решено посмотреть, как были сделаны некоторые окончательные распределения.

В Москве мы получили от любезного графа Бобринского телеграмму, в которой говорилось, что его брат проедет через город в район голода, и при желании мы можем составить ему компанию. Такую возможность нельзя было упускать, и наш курс меняется на юг, сначала по железной дороге до Богородицка, оттуда на «дрошках» до Михайловского, к дому Шестопарова, управляющего свекло-сахарными заводами Бобринских.

Здесь домашний вкус и внешний вид всего внутри заставили нас чувствовать себя так, как будто мы находились у себя в Новой Англии, хотя не слышно ни слова по-английски. На следующее утро после завтрака мы отправляемся на распределительную станцию, которую поддерживает семья Бобринских в одном из зданий сахарного завода. Здесь мы находим доктора, пекаря, повара, нескольких первых леди этого места, большие котлы с превосходным супом, чай, молоко, питание «Nestle», ржаной и кукурузный хлеб — чай и молоко

для больных и для детей — и доктора, который знаком с каждой семьёй, определяет, кто и что должен получить. Хлеб и суп подаются регулярно, все дома и семьи были посещены, и состояние каждого тщательно записано. Как только человек становится в состоянии частично позаботиться о себе, хлеб продается по умеренной цене. Несколько деревень снабжаются из этой пекарни и кухни, и это лишь одна из девяти, которые эта семья ведёт полностью за свой счёт.

Во второй половине дня мы посетили разные деревни, около двадцати домов, если не больше. Мы нашли там двух медсестёр Красного Креста из Москвы, которые работают и живут вместе с крестьянами. За четыре месяца у одного было только четыре смертных случая, у другого — только два, а среднее число заболевших за последние четыре месяца, согласно отчёту врача, составляет триста человек. Крестьяне говорят, что они предпочли бы обойтись без врача, чем остаться без медсестёр в деревне.

[...] В Богородицке другая аристократическая семья, в дополнение к работе, подобной вышеупомянутой, снабжала крестьян сырьём для прядения, ткачества и изготовления местных товаров и одежды как для себя, так и для рынка, которым графиня находила сбыт либо дома, либо отправляя их в более крупные города.

Благодаря рекомендательным письмам нам посчастливилось найти графа Толстого в его имении в Ясной Полонии.

Когда графа спросили его мнение о причинах существующих условий, он сказал, что правительству, возможно, не понравится, если он скажет, что крестьяне должны иметь больше земли и владеть ею сами — что теперь у них достаточно земли только в лучшие сезоны, и то лишь чтобы едва прокормить их, а когда настанет скудный год, они не могут не быть обездоленными. Когда его спросили, улучшились ли их условия после освобождения, он сказал, что если это означало имущественное, финансовое положение, то нет, но в умственном плане был прогресс и развитие.

Одним из первых вопросов, который мне задал граф Толстой, был: «О чём вы думаете больше всего?». Или ещё: «Какие темы больше всего занимали мои мысли, когда я ложился спать?» и т. д. Такие вопросы извинителен для Толстого: известно, что ему всегда нравилось проникаться симпатией к человеку, с которым он разговаривал, и знать, как его понять.

Ночью я спал в библиотеке, окружённый английскими и американскими книгами и журналами.

Когда Толстого спросили о деморализующем эффекте бесплатной помощи крестьянам, как судили об этом многие, он отвечал, что это оправдание для тех, кто не хотел помогать. Крестьянин никогда не был так несчастен, как когда был без работы и ему нечего делать. Даже день безделья утомлял его, и он не думает, что люди, которые работали на пределе своих возможностей в течение целого поколения, будут деморализованы, если им дадут суп, когда они проголодаются.

Крестьяне приходили в любое время дня, чтобы увидеть графа. К обеду двое ждали уже несколько часов. Граф позволил обеду продолжаться и остановился, чтобы внимательно прочесть длинную газету, которую они принесли; долго беседовал с ними; [...] когда они ушли, рассказал, что у них был судебный процесс и они пришли к нему за советом, и, насколько он мог судить, крестьяне были правы. Когда я попрощался с ним, он сказал, что из того, что он слышал о мисс <Кларе> Бартон, он почувствовал к ней любовь, словно к близкой родственнице, и хотел, чтобы я передал ей его любовь.

(Перевод. По книге К. Бартон «Красный Крест в мире и войне».

https://www.gutenberg.org/files/44202/44202-h/44202-h.htm#Page_175)

Прибавление третье.

Г. А. Толстая.

Письмо к Эрнесту Ховарду Кросби

14 (26) марта 1892. Москва

Милостивый государь,

Я получила Вашу великодушную помощь для нашего бедного страдающего народа и выражаю глубокую признательность Вашей супруге и Вам.

То сочувствие, которое проявили к нашему несчастью за рубежом, русские никогда не забудут. И мы стараемся, чтобы наши крестьяне знали о том, что большая часть средств для них поступает от английских, американских и других благотворителей за рубежом.

Мой муж граф Лев Толстой уже организовал 176 бесплатных столовых для крестьян, и теперь озабочен тем, чтобы обеспечить питанием их детей.

Женщине выдают корм для коровы и дрова, и за это ей приходится варить кашу на молоке. Таких много. Матери или кто-то из родных приводят с собой дюжину ребятишек, и все они каждый день могут получать здесь хорошую горячую пищу.

Кроме заботы о том, как накормить людей, приходится думать, как сохранить крестьянских лошадей, ибо если не хватит фуража, крестьяне вынуждены будут их продать и тогда не смогут обрабатывать свои наделы, так что будущий год мало чем будет отличаться от нынешнего.

Для тех, кто помогает голодающим, большим утешением может служить то, какое облегчение приносит их благотворительная деятельность (Л.Н. Толстой и США. Переписка. М., 2004. С. 501 – 502).

Комментарий. Об адресате

Эрнест Ховард Кросби (*Ernest Howard Crosby, 1856 – 1907*) -- американский поэт, публицист, реформатор. Корреспондент, адресат и посетитель Л.Н. Толстого, его христианский единомышленник, автор ряда работ о Льве Николаевиче. Юрист по профессии, представитель Международного суда в Египте, Кросби после чтения в 1891 г. книги Толстого «О жизни» резко изменил свою жизнь, отказавшись от блестящей политической карьеры ради распространения идей Толстого в Америке. Как отметил канадский профессор политэкономии Дж. Мейвор, сочинения Кросби показывают, насколько глубоко «он впитал толстовское евангелие опрощения». О начале общения с ним Толстой вспоминал: «Первое моё знакомство было письменное. Он прислал мне из Египта, где он был судьёю, довольно большую сумму денег для пострадавших от неурожая. Я отвечал на его письмо, и скоро после этого он сам приехал...» (40, 339).





Глава Седьмая.
ЦАРЬ ЛЕВ В СИЛЕ И СЛАВЕ СВОИХ
(13 апреля – 16 мая 1892 г.)

ПТИЦЫ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ
(Предисловие к Главе Седьмой)

Взгляните на птиц небесных:
они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы;
и Отец ваш Небесный питает их.

(Мф., 6: 26)

Низшая ступень — жизнь для похотей тела, чтобы угодить телу,
вторая ступень — для одобрения людского, чтобы угодить людям,
третья — для награды от Бога, чтобы угодить Богу вне себя,
четвёртая, выше которой я не знаю,
жизнь ни для чего, а только чтобы угодить Богу в себе.

(Дневник. 2 апреля 1908 г.)

К 13-го марта Лев Николаевич с дочерьми вернулся в Москву и до 12 апреля жил с женой, чему та была несказанно рада. По трудам — и заслуженный отдых! Толстой провёл этот месяц с семейством так беззаботно, как лишь мог себе позволить, продолжая как своё руководство делом помощи крестьянам, так и работу над книгой «Царство Божие внутри вас», одна из глав которой доставила ему в то время немало трудов: «Всё время стараюсь кончить 8-ую главу и всё дальше от конца» (52, 64). Кроме того, Толстой замысливал новый, более зрелый и сдержанный вариант статьи «О голоде», основанный на опыте его работы, как он это называет в Дневнике сам, «проводника пожертвований»: «Хочется написать всю перечувствованную правду, как перед Богом» (Там же).

Вместе с тем он не отказал себе в удовольствии гуляния на Пасху с другом-художником Репиным (который побывал уже с ним в Бегицевке и много помогал), дочерью Таней и гостями московского дома Толстых. Совершались в наёмном экипаже загородные прогулки — в Останкино, в Кунцево и другие отдалённые от заразной московской клоаки милые природные уголки. «Там и завтракали, и гуляли,

— вспоминает Соничка, — и гонялись за майскими жуками, и искали первые цветочки, которые приносили мне... Весна томила всётаки в городе, и хотелось, как всегда, в деревню. Я писала Льву Николаевичу, что у меня болезненная тоска по деревне. “Я ведь птица, вот и бьюсь в клетке”» (Толстая С.А. *Моя жизнь: В 2-х т. М., 2014. Том второй. [МЖ – 2.] С. 275*).

Не нужно переоценивать этих слов Софьи Андреевны о любви к деревне, процитированных ею в воспоминаниях по тексту одного из не опубликованных, к сожалению, апрельских её писем мужу. Любила она — *не ту* деревню, которую знал с юных лет, и понимал, и любил её муж. Не *ту трудовую народную* сельскую жизнь, которая и в наши дни ещё теплится, влача жалкое существование среди заплывшей буржуазным жиром путинской России. Нет, нравилась урождённой москвичке Соне Толстой именно *та жизнь на природе*, какой она и описана во многих местах её дневника и мемуаров «Моя жизнь». Её идеал — примерно тот же, что и идеал современных российских городских хомячков, томящихся в ожидании весны и лета, чтобы, подобно потоку блевоты, которой давно тошнит переполненные, душные и зачумлённые мегаполисы, выхлестнуть на пикники и прогулки, на жраньё, фотографирование и собирание букетов и гербариев... Идеал миллиардов в наши дни городских паразитов на трудящемся народе и на живом теле всей планеты Земля. Любовь Софьи Андреевны Толстой к деревне — это любовь *дачницы*, зажиточной горожанки, взыскующей, помимо искусства, ещё и красот природных, и участия в барской благотворительности во имя молчания и покоя совести. Такое, преимущественно эстетическое, обожание деревни и природы не было тождественно восприятию Толстого, родившегося и выросшего в усадьбе. Во многом оно было ему чуждо, а в христианский период его творчества — ещё и порицаемо им с этических позиций. Вспомним хотя бы знаменитый рассказ Л. Н. Толстого «Неужели это так надо?» (1900), явно писанный «с натуры», в котором такие же праздные гуляки, как семейство Толстого (или как современные нам, городские по воспитанию, привычкам и мышлению, на автомобилях, «любители» природы и деревни, включая сюда и *потомков* Толстого) проезжают, любуясь окрестностями, в коляске мимо надрывно трудящегося и не замечаемого ими народа, чьим трудом они живут.

Толстой ведь тоже не прочь был расправить крылья. Он тоже был — птица. Роман Алтухов, замечательный современный исследователь духовной биографии Льва Николаевича Толстого, напоминает о христианском образе, появляющемся ещё в романе Л. Н. Толстого

«Война и мир» и находящемся в сопряжении с важнейшими страницами внешней и духовной биографий Льва Николаевича. Вот что пишет Р. Алтухов о значении для Толстого смерти брата Николая и отражении этого события на страницах толстовского романа:

«Ему не было суждено прийти к новому, высшему пониманию жизни: слишком тяжёл для разума и души оказался «груз» внушённой светской, научной и богословской лжи. Но сам Толстой оттого и чтит высочайше память именно этого своего брата, что понял порыв его разума и сердца к Истине, неведомой большинству в лжехристианском мире. И понял, что сам-то он отстал от тогдашнего, в канун его смерти, состояния сознания своего брата – придя к нему, по меньшей мере, лет через 15-ть» (<https://www.proza.ru/2016/05/30/1756>). Началом этого пути стало для Толстого в сентябре 1869 года *temento mori*, напоминание о смерти в лице тоскливой, мучительной ночи, пережитой в Арзамасе, знаменитой «арзамасской тоски», заглянувшей жёлто-зелёными очами в его лицо.

Рассуждение Р. Алтухова подтверждается хорошо известными и памятными строчками из «Исповеди» Льва Николаевича, посвящёнными описанию гибели брата:

«Умный, добрый, серьёзный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и ещё менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания» (23, 8).

Исследователь делает такой вывод:

«Князь Андрей в «Войне и мире» — это образ такого же прерванного на самом первом взлёте полёта «птицы небесной», каким явилась жизнь Николеньки: человека, отринувшего мирской бунт и только-только, ещё в большей степени бессознательно, начавшего своё рождение духом. Он и успел пожить этой жизнью — но лишь на краю земного бытия и лишь в лучшие свои часы... Из-за смертельного ранения это его рождение не могло стать рождением в жизнь – в обновлённую духовно жизнь в прежнем материальном теле» (Там же).

Р. Алтухов находит сближения с христианским образом «птицы небесной» и на страницах того самого трактата «Царство Божие внутри вас», над которым усиленно работал Толстой в тот же период, к которому относится его эпопея помощи голодающим крестьянам. Речь идёт о концепции *трёх различных религиозных жизнепониманий*, изложенной Толстым в этом трактате (см.: 28, 69 – 70). Исследователь так пересказывает и толкует её:

«...Иудей, римлянин, мусульманин или церковный лжехристианин («православный» или какой-то иной) равно враждебны истине учения Христа. Их мировоззрение, оправдывающее и освящающее служение, во-первых, себе и “своим” (эгоизм личный и семейный), а также учению мира, князям и сильным мира сего: служение им своими физическими силами или разумом, пользование организованным насилием и оправдание его и многие-многие иные неправды – эти жизнепонимания («личное» и «общественное», по терминологии Толстого) и этот образ жизни были враждебны задачам выживания человечества и прежде, со времён спасительной миссии Христа, и в особенности стали несоответственны вызовам истории в нашем III-м тысячелетии. Они враждебны самой живой жизни: начиная с «осевой» эпохи, эпохи Христа и переданного им от Бога нового учения жизни, они – лишь безумный бунт человечества против Бога, против замысла Его о человечестве, эволюционирующем в разумности и добре.

Жизнепонимание же, которое Лев Николаевич назвал «всемирным», или «Божеским» и высшее, полнейшее и лучшее выражение которого он обнаружил в отчищенном о церковно-богословского дерьма учении Христа: жизнепонимание о служении человеком Богу как Отцу, жизни в Его воле — это и есть учение спасения и жизни, учение революционного преобразования мира».

И положение человека по отношению к «Птице Небесной», то есть к жизни духа и разумения в мире и в нём самом — различно в той степени, в какой человек сперва прозревает к христианскому религиозному жизнепониманию, а затем и сознательно принимает его — уже не как обременяющую догму, а как руководство в реальной жизни, со всеми возможными компромиссами, отступлениями от идеала, необходимыми в ней:

«...Для этого прежде всего человеку самому надо принять к исполнению законы воздержания и неделания, обратить помыслы в глубины собственного духа, а прежние требования к другим и принуждения других – на самого себя.

Бунтарство – антипод истинной, победной революционности! Даже самые искренние идеалисты из числа людей мира, борющихся за внешнее устройство или переустройство жизни [...] всё это лишь бунтари против Бога и закона Его. Отринувший их ложь Лев Толстой 1880-х – это человек с сознанием, пробудившимся к высшему, чем у всех их, жизнепониманию Христа».

С этих позиций раскрывается автором и судьба Анны Карениной в другом великом романе Толстого:

«Бунт Анны – это состояние двойной опасности: её отказ от общего для большинства бунта против Бога и Христа не детерминирован обретением нового религиозного понимания жизни. Она не делается христианкой, но бунт её уничтожает и её прежние социальные связи и возможности, которыми она пользовалась прежде как бессознательная поделница в общем со всем её окружением преступления служения мирским лжам и злу и оправдания, иногда освящения и возвеличения их. Она должна обличить их – но обличить-то, по существу, и нечем...» (<https://www.proza.ru/2016/05/30/1756>).

Напомним здесь же читателю, что С. А. Толстая дала героине своей повести «Чья вина?», погибшей от рук мужа, имя — *Анна*. Не напрасно, не случайно. Повесть была протестным ответом жены Толстого на его «Крейцерову сонату», воспринятую Софьей Андреевной как удар мужа лично по ней и по супружеским узам, связывавшим её с ним (не исключая и наиболее интимных). Но протест этот, как и все протесты Сони против «новых» убеждений мужа — с начала 1880-х и до его смерти — так и не эволюционировали до мировоззренческих оснований высших, нежели индивидуальный социальный протест женщины и жены против «мужского» деспотизма и всей лжи православной России.

А такие основания, как справедливо указывает Р. Алтухов, есть, и их уже прочно держался Толстой в своей миссии помощи голодающим крестьянам:

«...К мешающему взлёту Птицы Небесной балласту относятся не только образованность без мудрости: то, описанное ещё Паскалем, межеумочное состояние учёных интеллигентов, от детской и народной простоты невежества ушедших, а истинной мудрости не достигших, но и все суеверия, церковные и светские, все дурные привычки человека, уступающее почестям и лести самомнение и многое иное. В отношении них у человека с пробудившимся разумным сознанием есть лишь четыре возможных поприща: 1) наиболее массовидного, слепого бунтарства против Бога, т.е. жизни по учению мира, будучи при этом в плену этих заблуждений и грехов; 2) бунтарства же, но против этих, уже осознанных, зол и неправд – без ориентиров в Боге; 3) покойного, беззлобного и любовного к рабам и жертвам их отречения от них, созерцания их, равно как и созерцания, постижения Божьей истины извне – уже в трансцендентном «ласточкинском полёте»; и, наконец, 4) поприще мирского служения Богу – противостояния грехам, соблазнам и суевериям мира с укрепленного «фундамента» нового жизнепонимания, вооружение умов и воспитание сердец ближних — то есть жертва человеком в земной жизни своим полётом ради других. Это уже абсолют, далее которого

всегда только известная нам плотская смерть человека — тот же «отлёт» Птицы Небесной, но с осознанием исполненного долга земного бытия. Страдания и смерть не страшны такому человеку и принимаются как благо» (*Там же*).

Первое состояние — это все недовольные общественным строем и проявляющие своё недовольство в пропаганде революций, реформ, в политике и т. п. глупостях и гадостях. Второе состояние, как мы указали — это как раз Софья Андреевна. Оно соответствует очень высокой (высококультурной) стадии человека второго же, именно общественно-государственного (языческого, еврейского или церковного, то есть лжехристианского) жизнепонимания. Третья стадия — прозрение в подлинно христианское понимание жизни без возможности («ещё» или «уже») жить с ним в мире: брат Толстого Николаенька, князь Андрей в «Войне и мире». Наконец, четвёртое «поприще мирского служения Богу» — это именно путь Христа в его земной жизни, путь Христовых исповедников (включая сюда и лучших представителей «исторических» церквей) и... путь Льва Толстого-христианина. Тернистый — как и должно быть. На челе Христа перед казнью ведь тоже не из розочек венец был... Путь, предполагающий многие компромиссы, которые, как мы видели, анализируя переписку Толстого, ему приходилось зачастую выстраивать буквально «на ходу». Не только в отношениях с женой, оставшейся, как она и сама не раз признавалась, церковноверующей язычницей. В отношениях со всем «большим», чуждым вере Христа, российским обществом — тоже. Выше мы уже подробно разобрали пример установления Толстым для себя такого компромисса — как раз в связи с формированием его позиции в отношении голода в России и необходимости помощи бедствующему народу.

Да, Соня, и ты от рождения — Птица. Мы все... Но не все готовы понять, что тесную клетку, в которой приходится «биться» и невозможно вполне расправить духовные крылья, создаём мы сами: для себя и друг для друга. Твои с детьми «вылеты» на весенней барской колеснице — мимо народа — «на лоно природы», на прогулки и пикники, равно и на концерты, в театры и на выставки, не более чем иллюзия свободного полёта, обманка жизни, богатой культурными событиями, но всё так же *скудной духом*. Заразительная «инфлуенца», которой переболела, со значительным процентом москвичей, и твоя семья зимой 1891 – 1892 гг. – не более, чем “звоночек”, ваш *temento mori*: напоминание о бессмысленности и гибельности такого мнимобытия. И, напротив, тяжёлое, как пахота в ярме, повседневно-

ное служение твоего мужа в голодной, заразной дизентерией, холерой и тифом Бегичевке — это затруднённый, но всё же полноценный, с отдачей всех сил, настоящий полёт Птицы Небесной.

И он не закончится с окончанием бегичевской эпопеи. Компромисс с мирскими ложью и злом ради творения добра, ради служения Истине и Богу — закончится для Толстого лишь с самой жизнью в известном нам мире.

Здесь Конец Предисловия к Главе Седьмой

Итак, ровно месяц, с 12 марта по 12 апреля 1892 года, Толстой — в активном отпуске, живёт с семьёй. Руководство делом осуществляется посредством переписки. За “наместниками” Духовного Царя России наблюдала Е. П. Раевская, оставившая о них такую запись в дневнике на 10 апреля:

«Уполномоченные графа Льва Николаевича, два брат Олёхины и другие, продолжали начатое им дело и каждое воскресенье собирались в с. Бегичевке, чтоб получать там субсидии хлебом и деньгами. В самой Бегичевке проживала Елена Михайловна Персидская и Вера Михайловна Величкина; обе занимались столовыми в отсутствии Толстых» (*Раевская Е.И. Лев Толстой среди голодающих. Указ. изд. С. 415*).

Среди адресатов Толстого этих дней — толстовец Митрофан Алёхин, заменявший Толстого в Бегичевке, ссыпщик хлеба и распорядитель складов близ станции железной дороги Клёкотки Григорий Алексеевич Ермолаев, Михаил Чистяков, толстовец и “правая рука” В. Г. Черткова, желавший снова приехать в Бегичевку и караулить готовность у Льва Николаевича новой главы «Царства Божия», с нетерпением ожидавшейся Чертковым.

В письме к единомышленникам во Христе и помощникам И. И. Горбунову-Посадову и Е. И. Попову от 23 марта Толстой возвращается к теме статьи «О голоде» и скандала с переводчиком Диллоном и «Московскими ведомостями». Через толстовца Михаила Новосёлова Чертков заполучил выписку из письма Л. Н. Толстого к жене от 28 февраля, то место, где речь идёт о недовольстве в правительственных и светских кругах, вызванном публикациями «Московских ведомостей». К выписке, сделанной с разрешения Толстого, Новосёлов,

вполне в духе и стиле «Московских ведомостей», приспособил свой комментарий. И Чертков испугался; за Толстого ли более или за своё при нём приближённое положение — трудно сказать. Он тупо селится: панически рассылает запросы разным участникам скандала. Толстой по этому поводу отвечает 23 марта своим адресатам, другу, единомышленнику и сподвижнику в книгоиздательстве Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову и толстовцу Евгению Ивановичу Попову, следующим образом:

«Чертков за меня испугался. Это он слишком любит меня. Я, может быть, напрасно показал и дал списать письмо жене, но я писал его от души жене и не думал о его распространении, а если так случилось, то беды, главное греха, большой нет. Лучше было вовсе не писать, и писать и не показывать, но знаю, что никакого во мне такого дьявола задора или тщеславия в это время особенного не было. Скорее меньше, чем всегда. Одно главное чувство усталости, стыда за своё дело, недовольства собою и сознания, что надо кончать, не перед людьми, а перед своим Богом.

Знаете вы рассказ из Прологов о том, как монах взял к себе в дом с улицы нищего в ранах и стал ходить за ним, обмывать и перевязывать раны? Нищий сначала был рад; но прошло несколько недель, во время которых нищий становился всё мрачнее и мрачнее, раздражённее и раздражённее, и наконец, когда в один день монах подошёл к нему, чтобы перевязать его раны, нищий с злостью закричал на него: не могу видеть лица твоего, уйди ты от меня, ненавижу тебя, потому что вижу, что то, что ты делаешь, ты делаешь не для меня, ты не любишь меня, а только мной спастись хочешь. Отнеси меня назад, на угол улицы. Мне легче было там, чем здесь принимать твои услуги.

Вот такое же я чувствую отношение к нам народа и чувствую, что так и должно быть, что и мы им спастись хотим, а не его просто любим — или мало любим» (66, 182 – 183).

Очень интересно письмо Митрофану Алёхину от 2 апреля. Здесь Толстой извещает, что возвращение его в Бегичевку согласовано на «половине святой», т.е. пасхальной недели, которая должна была начаться 5 апреля (в реальности он вернулся только в ночь на 14-е апреля). Помимо нежелания рано отпускать его, мешали возвращению, как писал Толстой, «суета: пожертвования, письма, посетители, иностранцы» (Там же. С. 190). Поступлением пожертвований Лев Николаевич был доволен: «Теперь более 30 тыс[яч]. Из них мы 5 послали в Самару, и надо послать ещё, так как там Лёва и Бирюков всё распространяются» (Там же). И тут же некоторые общие христи-

анские чувства и мысли о ходе общего дела помощи: «Здесь впечатление насчёт голода получается такое: что как будто сделано уже слишком много и что всего — и денег, и хлеба так много, что девать некуда и что мы все такие благодетели, что на нас только надо умиляться. Но вместе с тем есть и то сознание, что мы много должны народу и что несколькими вагонами пшеница не расчесться. Вообще же есть, или мне кажется, что есть, в обществе сознание греха и неправомерности нашей жизни. И это сознание не в одной России, а везде» (Там же). Своё сочинение «Царство Божие внутри вас», которое мечтал кончить, Толстой рассматривал как важный, своевременный вклад в это начавшееся в христианском мире духовное движение.

В этот же день, 2 апреля, Толстой отвечает на возникшие вопросы А.П. Никифорову — тому самому горе-христианину, в то время ещё единомышленнику Льва Николаевича, который позднее, как свинья на блевоту, воротится к исповеданию церковного православия. Никифоров, в числе прочего, просил Толстого разъяснить ему место в статье «О голоде», где отрицательно говорится о благотворительности и распределении имущества богатых среди бедных. И автор статьи не без грусти «разжёвывает» своему нестойкому ученику некоторые азбучные истины христианского отношения к труду и собственности:

«Распределять значит раздавать, значит считать что-либо своим и в раздаче, в выборе тех, кому раздаёшь, утверждать свою собственность. Поэтому раздавать нельзя, т. е. нехорошо, и отдавать именье нищим тоже нехорошо, хотя бы это и было написано в книге. Христианин не признаёт ничего своим, кроме себя, своего тела, труда, и его только может раздавать и распределять. — И это можно распределить правильно, хорошо, а имущество нельзя.

Мне грустно то, что *вы* так не понимаете или криво понимаете, предполагая как бы возможность того, чтобы я защищал, что ли, собственность. [...] Я требую не меньшего, а большего, и говорить о том, что то, что считалось у христианина до его христианства *своим*, собственностью, само собой перестаёт быть своим и собственным и поступает тому, кому это нужно, нищим, не может быть и речи, я говорю только, что распределять этого, т. е. утверждать на это в процессе раздачи своё право — нельзя и нехорошо, а откинув то, нужно отдавать себя» (66, 193).

О том же — из письма к Н. Н. Ге — сыну, этого же дня: «Всё это мое участие в этой заботе о голодающих — это грех, я свихнулся, поддавался славе людской и теперь каюсь, ясней вижу тот путь, с которого не надо сходить. Не согрешишь — не покаешься, а покаешься, то на

время твёрже становишься. Уйти всё-таки нельзя. Ещё больше был бы грех. Надо кончать, признаваясь в грехе, что я и хочу делать (*Там же. С. 193 – 194*).

Исааку Файнерману, 3 или 4 апреля — о том же, и о гонениях на друзей, на толстовцев: «Вокруг меня насилуют моих друзей, а меня оставляют в покое, хотя, если кто вреден им бы должен быть, то это я. Очевидно, я ещё не стою гонения. И мне совестно за это» (*Там же. С. 197 – 198*). Совестно и оставлять надолго духовных единомышленников в Бегичевке, обрекая заниматься делом, которое сам не одобрял: «Друзья наши там живут, трудятся и тяготеют той нравственной тяготой, которая связана с делом. Нельзя представить себе, до какой степени тяжело быть в положении распорядителя, раздавателя и по своему выбору давать или не давать. А всё дело в этом. Очень тяжело, но уйти нельзя. И я томлюсь поскорее выбраться отсюда» (*Там же. С. 198*).

Но до конца Бегичевской эпопеи, как и до конца писания трактата «Царство Божие внутри вас» было ещё очень далеко. «Урожай ожидается средним» — вспоминает Л. Л. Толстой (*Толстой Л.Л. В голодные годы. С. 142*). Оказался же — снова голодным...

Наконец, в дополнение темы иностранной помощи — ответ Толстого от 5 – 8 апреля, сохранившийся только в черновике, на довольно позорное письмо от секретаря английского общества «Russian Famine Fund» по фамилии Госсэн. Тот прежде жил в России, и, прочитав суждения Л. Н. Толстого о голоде, обратился с письмом к своей бывшей учительнице русского языка Вере Дмитриевне Лебедевой, в котором просил её выяснить у Толстого, следует ли их обществу продолжать свою деятельность, так как «последние статьи Толстого о бесполезности филантропической деятельности» вызвали сомнения в рядах членов общества в целесообразности продолжения их деятельности. В. Д. Лебедева с этой целью посетила Толстого, и Толстой в её присутствии набросал такой ответ свой Госсэну:

«Нужда ещё очень велика, так велика по количеству нуждающихся, что деньги, конечно, нужны до нового урожая. Деньги всегда могут быть употреблены с пользой для голодающих, но так как вся нужда не может быть покрыта, то просить о высылке денег Толстой считает неуместным» (66, 200). Как видим, человеку заведомо далёкому от возможности настоящего христианского отношения к деньгам, собственности, труду и личной помощи нуждающимся Лев Николаевич даже не посчитал нужным ничего объяснять.

Недоразумение с Госсэном не навредило в целом отношениям Толстого с «Russian Famine Fund» и процессу получения пожертвований.

14 апреля 1892 года, в час пополуночи, Лев Николаевич с неизменной помощницей своей, дочерью Машей, возвращается в Бегичевку — с пониманием совершаемого долга служения, но, конечно, без охоты и радости: как мог видеть читатель, само по себе «распределение блевотины, которой тошнит богачей», то есть помощь посредством денег, всё больше и больше тяготило Толстого. В этом его могла понять и Софья Андреевна, жертвовавшая для общего дела «высшей радостью жить с мужем и дочерьми» (*МЖ – 2. С. 277*). В мемуарах «Моя жизнь» она цитирует строки из Дневника мужа, запись 3 апреля 1892 г.:

«На душе — зла мало, любви к людям больше. Главное — чувствую радостный переворот — жизни своей личной не почти, а совсем нет. [...] От всей души говорю: да будет не моя, но Твоя [воля], и не то, что я, а что Ты хочешь, и не так, как [я], а так, как Ты хочешь.

[...] Я один, а людей так ужасно, бесконечно много, так разнообразны все эти люди, так невозможно мне узнать всех их — всех этих индейцев, малайцев, японцев, даже тех людей, которые со мной всегда — моих детей, жену... Среди всех этих людей я один, совсем одинок и один. И сознание этого одиночества и потребности общения со всеми людьми и невозможности этого общения достаточно для того, чтобы сойти с ума. Одно спасение — сознание внутреннего, через Бога, общения со всеми ими. Когда найдёшь это общение, перестаёт тревожить потребность внешнего общения» (*52, 64 – 65*).

Это, как мог, Лев Николаевич описал своё состояние на духовной высоте жизни — Птицы Небесной в её бесстрашном и любовном полёте. И Соничка — тоже, как могла — поняла эти строки любящим сердцем, почувствовав биение Птицы в клетке временного материального бытия:

«Точно Лев Николаевич хотел обнять весь мир и проникнуть во всех людей в мире» (*МЖ – 2. С. 278*).

Между тем, несколько дней до отъезда Толстого в Бегичевку “выпадают” из его биографии. Толстой не ведёт Дневник и не пишет писем. Зато есть сведения, что 9 апреля Толстой посещает женское отделение психиатрической клиники Московского университета, возглавлявшейся проф. С. С. Корсаковым: к 10 апреля относится благодарственное письмо от пациенток за посещение (*Гусев Н.Н. Летопись... 1891 – 1910. С. 71*). Можно предположить, что довольно неожиданный интерес Льва Николаевича к душевнобольным женщинам связан был с очередным изменением в поведении любимой жены — конечно же, на почве нежелания отпускать его в Бегичевку! С точки зрения Сони “налаженное” супругом дело могли продолжать

без него и толстовцы. Но сам Толстой, заметив ещё ранее усталость и нравственные колебания в том же Митрофане Алёхине и других, считал иначе.

* * * * *

Мы вступаем в хронологический период, хуже обеспеченный как источниковым материалом, так и вниманием предстоящих нам исследователей. Ниже мы будем компенсировать эту недостаючу более всего *перепиской* Толстого, в том числе делового характера, о чём предупреждаем читателя.

* * * * *

Первое письмо к жене А. Н. Толстой по обыкновению написал уже с дороги, 13 апреля:

«Пишу хоть несколько слов, милый друг, из Тулы, перед отъездом <в Бегичевку> — скоро час. Доехали, спали хорошо. Я очень нервами упал, вероятно после усиленной работы последнего времени.

Едем с бодростью и самыми добрыми намерениями спокойного и добросовестного, но только, исполнения долга. Погода прекрасная. Беру шубу всё-таки на всякий случай у Раевских. Всё утро писал. Сейчас был Давыдов. Очень добр. Маша пошла к Зиновьевым.

Целую тебя, Таню. — Чтоб она была здорова. Не для меня, а для себя и детей. А. Т.» (84, 135).

«Усиленная работа», которую имеет в виду Толстой — это, конечно и прежде всего, 8-я, долго не дававшаяся ему, глава трактата «Царство Божие внутри вас...».

В ставших уже знакомыми до боли и оскомины краях встретило Толстого могучее и хорошо обустроенное, а главное — толково управляемое благотворительное хозяйство. По сведениям биографа, к 12 апреля в него было вложено 108 тысяч рублей, на которые в четырёх уездах — Епифанском, Ефремовском, Данковском и Скопинском — силами Толстого и его помощников было открыто 187 столовых, в которых ежедневно кормилось свыше девяти тысяч человек (*Опунская Л.Д. Материалы к биографии А.Н. Толстого с 1886 по 1892 год. М., 1979. С. 263*). Приехав, Толстой, судя по письмам первых дней к Н. Н. Ге-сыну (18 апреля) и Г. А. Ермолаеву (21 апреля), сразу взялся лично за контроль над поставками для столовых продовольствия, в частности гороха и капусты, а также семян крестьянам для ярового

посева. Толстой искал конопляных и льняных семян сначала в Калуге, через купца П. А. Усова, потом обратился к А. А. Берсу, брату С. А. Толстой, в то время орловскому вице-губернатору (66, 202 – 203).

К 14 или 15 апреля (точно датировать затруднительно) относятся сразу два письма Л. Н. Толстого к жене, оба уже из Бегичевки. В утреннем речь, конечно, о поездке, которая в этот раз ознаменовалась приключениями, и о сразу по прибытии навалившихся хлопотах:

«В Клёкотки доехали благополучно и так заторопились уехать поскорее, что не успели написать тебе. Ехали хорошо, но в темноте долго, сбились с дороги и попали па Мясновку <4 км. от Бегичевки. – Р. А.>, и Пётр Васильевич, которого мы взяли в Туле, ехавший впереди на телеге, свалился с возом. Хорошо, что не ушибся. И тут же самаринская лошадь, коренная, стала хрипеть, упала и издохла. Мы дошли до перевоза пешком. Все уже спали, но услышали нас и перевезли.

Здесь только Высоцкий и Митрофан <Алёхин>. — Спать легли в 2. Но выспался я до 10 отлично и нынче вхожу в дело. Нужда в помощи на лошадей и на посев, который идёт и надо делать скорее, ко времени. Послал Высоцкого к Писареву, а сам еду к Мордвинову узнать, что они, земство, делают по посеву и лошадям, чтобы нам делать, что они не доделают. Целую тебя, Таню больную, чтоб она была здорова, и детей» (84, 135 – 136).

О трудной поездке Толстого с дочерью в Бегичевку 13 – 14 апреля рассказала в дневнике и Е. П. Раевская, со слов самого Льва Николаевича:

«Они со станции Клёкотки (40 вёрст) ехали в тарантасе по отвратительной дороге шесть часов; в селе Никитском свалили телегу с их вещами, а коренная лошадь в их тарантасе пала, так, что граф с дочерью в страшную темноту принуждены были пешком идти более версты до бегичевского перевоза, где долго ждали лодку, пока спящие перевозчики не услышали их зова. Всё это мне рассказал сам Лев Николаевич, приехавший вчера к нам верхом; на лошади он сидит молодцом, несмотря на свои 63 года; видно, что всю жизнь был хорошим ездоком» (Раевская Е.И. Указ. соч. С. 415).

С 14 по 21 апреля Толстой работает над очередным отчётом об употреблении им пожертвованных денег, на этот раз за период с 3 ноября 1891 г. по 12 апреля 1892 г. А об важнейшей для крестьян в это время года помощи — семенами овса и картофеля для посева — он

теперь будет упоминать в переписке с женой регулярно, вплоть до очередного отъезда из Бегичевки 16 мая (см.: 84, №№ 509 – 520).

Об этом и следующее письмо Толстого к супруге, написанное вечером того же дня:

«Писал утром и пишу сейчас, 11-й час вечера, с Ермолаевым, который приехал <со станции> считаться. Я нынче занимался выдачей семян, и вечером мы готовили с Митрофаном Васильевичем <Алёхиным> отчёт. Считали приход и расход, и всё ясно и сходится. Недостаёт последних пожертвований тебе в приходе и Таниного списка пожертвований поимённо: книжки её тут нет. Я пришлю вам отчёт, оставив en blanc [незаполненным] то, что вы впишете.

Живём хорошо. Маша спокойно деятельна. Погода прекрасная. Зелёная <новый урожай. – Р. А.> положительно плохи. Целую Таню (чтобы она была здорова). Kipling плох.

Была Кутелева. Действует очень спокойно и энергично. Присылайте больше народа, если будут проситься, — особенно хороших. А то многие уходят. Целую тебя, милый друг, и детей» (Там же. С. 136 – 137).

Произведение знаменитого Редьярда Киплинга (1865 – 1936), которое произвело на Толстого невыгодное впечатление, не названо, но, с наибольшей вероятностью, это был единственный его к тому времени роман «The Light That Failed» (1891). Толстой и позднее не изменит о Киплинге первоначального негативного мнения — как о представителе современного «ложного» искусства.

Очень хороша подробность: просьба Толстого присылать хороших (выносливых, толковых и трудолюбивых) помощников. «Экзаменовывать» их на соответствие, конечно же, приходилось Софье Андреевне.

Обратимся теперь к её очередным письмам. Первые три письма Софьи Андреевны, от 13, 16 и 17 апреля, мы пропустим: первое и третье из них, к сожалению, не публиковались, а второе касается преимущественно подсчётов истраченных и остаточных денежных средств из сумм, пожертвованных благотворителями. А вот четвёртое по хронологии письмо Софьи Андреевны к мужу, от 18 апреля — хоть и кратко, но небезынтересно. История его такова: 17-го Софья Андреевна была вызвана в Ясную Поляну по хозяйственным вопросам тогдашним управляющим усадьбой, Иваном Александровичем Бергером, племянником И. И. Раевского, успевшим к тому времени помочь и Льву Николаевичу, и супруге его, а в особенности сыну его

Льву Львовичу в организации помощи голодающим. Конечно, Софья Андреевна выехала в весеннюю, апрельскую, прекраснейшую Ясную Поляну с превеликой радостью — хотя и всего на один день. По окончании переговоров с управляющим и прочих дел, уже из Тулы и готовясь к возвращению в Москву, из дома Е. П. Раевской, она написала супругу письмо такого содержания:

«Провела чудесный день в Ясной Поляне. Распорядилась всё по хозяйству, с большим усилием просмотрела книги, всё очень исправно; смотрела коров, лошадей, надувшиеся почки на яблонях в молодом саду, опять будут яблоки; прекрасные зелены, а главное такая погода, так хорошо, красиво в деревне, что с тоской возвращаюсь в Москву, где сидят бедные дети, и откуда надо бы бежать. Я сейчас еду опять на поезд, сижу у Елены Павловны, она не совсем здорова, лежит. Прощай, пишу второпях, надеюсь в Москве найти твоё письмо. Целую вас. С. Т.» (ПСТ. С. 514).

В книге воспоминаний «Моя жизнь» есть прекрасное дополнение к этому письму, которое мы не можем не привести здесь же:

«Приехала ко мне Марья Александровна Шмидт, мы весело варили себе сами обед, и я провела чудесный день... Давно я не испытывала такого восторга: каталась, рвала цветы, уже распустились медунчики, жёлтые одуванчики и другие лесные цветы, и почувствовала я весну по-молодому, почти по-детски, так как давно не переживала этого подъёма молодых духовных и физических сил. Красиво, хорошо мне показалось в деревне, и с тоской возвращалась я в Москву, пожалев, что там сидят мои дети, и мечтая как можно скорее бежать оттуда» (МЖ – 2. С. 275 - 276).

Здесь выразился тот же типичный городской взгляд жены Толстого, с приматом эстетического любования жизнью: взгляд гуляющей на отдыхе дачницы. Фактически же, как мы помним, как только в этой усадебной обстановке жизнь дачная и барская «разбавлялась» подлинной, с её заботами о хозяйстве и семье, Софья Андреевна с самых первых лет замужества выражала неудовлетворённость этой повседневной и настоящей деревенской жизнью, устремляя помыслы к тому образу жизни, который могли вести в ту эпоху только люди богатые и только в Москве и крупных городах России или же в путешествиях за границу.

В тот же день 18 апреля пишет письмо к жене и Лев Николаевич — не из Бегичевки, а из села Пашкова, что в Епифанском уезде, в 7 км. от Бегичевки, и... на французском языке. Вот перевод этого письма:

«Пишу из Пашкова, куда я приехал, чтобы купить овса и ржи, которая здесь продаётся. Племянник Ермолаева возвращается сейчас в Клёкотки, и я пользуюсь случаем, чтобы сообщить тебе о нас.

Так как нет конверта, пишу тебе по-французски. Мы чувствуем себя хорошо, погода восхитительная. Мы, т. е. я и Маша, очень деятельны и в хорошем настроении. Я гораздо спокойнее, чем раньше. Не строю себе иллюзий и стараюсь делать как можно лучше то, что необходимо делать, и чувствую себя очень хорошо. Всё идёт хорошо. Я посетил 4 столовых, нашёл всех довольными, сделал несколько распоряжений, и у меня такое чувство, что моя поездка была необходима. Возвращаюсь от Писаревых. ...Мы условились о семенах. — Завтра мы собираемся с Машей проехаться в Ефремовский уезд. Сегодня Маша отправилась в Дубки. Целую Таню (нужно, чтоб она была здорова) и детей.

А. Т.

Сейчас два часа дня. Я голоден, как собака, это доказывает бодрое, цветущее состояние моего здоровья» (84, 137).

Как видим, Толстой, исполняя долг своего христианского служения, снова использовал по возможности *оказии*, а не почту, для более быстрой пересылки писем жене. Это позволяло сообщать новости оперативно, пища при этом не длинно, т. к. на длинные письма часто не было ни времени, ни сил. Соничка со своей стороны приоровилась к такому стилю эпистолярного общения с нею мужа, и, как мы видели в одной из предшествующих Глав нашей книги на примере *четырёхдневного* письма (см.: ПСТ. С. 503 – 506), в свою очередь иногда «собирала» доставленные ей письма мужа, чтобы ответить на все одним большим письмом. Так она поступила и с только что приведённым нами письмом А. Н. Толстого: начав писать ответ 21-го апреля, она закончила его только в ночь на 23-е. За это время посланники Духовного Царя России доставили его благоверной ещё *три* письма: от 19, 21 и даже от 22 апреля (потому что привозили их «с оказией», минуя почту). Приводим сначала их тексты.

Толстой, 19 апреля 1892 г.:

«Опять пользуюсь случаем. Вчера, после моего французского письма, я, вернувшись домой, лёг отдохнуть. Меня разбудили <Р. А.> Писарев и <его знакомый, помещик> Балашёв. Балашёв едет нынче, и вот я посылаю письмо с ним. Писарев очень мил. Очень дорожит

столовыми, которые так не нравились нашим помощникам. И помогает во всём.

Теперь забота наша посев, и народ одолевает, но я не робею и разбираюсь понемногу. Мы с Машей не поехали нынче, 19-го, во 1-х потому, что тут дел было много не конченных; отчёт надо докончить. Немного осталось и у Маши дела, и она лежит, страдает, но не очень. Даже не грели овёс.

[...] Скучно, нет от вас писем. Интересов у нас мало, потому пишу о чтении. Kipling совсем слаб, растрёпан, ищет оригинальности; но зато Flaubert M-me Bovary [«Мадам Бовари» Флобера] имеет большие достоинства и не даром славится у французов.

[...] Сейчас ездил верхом [...] в те столовые. Всё очень хорошо. Особенно детские, которые совсем утвердились. Погода чудная, жарко. Мы покупаем горох, просо на столовые, и овёс, и картофель на семена. Я выписал ещё вагон семени из Калуги, через Усова. Теперь 7-й час, Маша ест суп в постели, а я сейчас пойду обедать. Пётр Васильевич, как всегда, спокоен и мил. <Повар Толстых П. В. Бойцов. – Ред.>

Целую тебя, милый друг, и Таню, которая должна быть уже здорова, и детей. А. Т.

Сейчас приехала Наташа и привезла твоё письмо. Слава Богу, что все здоровы и всё хорошо. [...]» (84, 138).

Очень сходно своей «хозяйственно-организационной» частью и следующее письмо А. Н. Толстого к жене, от 21 апреля. О трудностях писания отчёта: «Меня спутало, главное то, что я не умею считать и вести бухгалтерию, а у нас она не только двойная, но тройная, и не в смысле порядка, а беспорядка» (Там же. С. 139). О столовых: «Вчера я ездил верхом в Софьинку и Бароновку <деревни Данковского уезда, в 7 – 9 км. от Бегичевки. – Р. А.> и опять получил самое хорошее впечатление от столовых и главное от детских приютов. Все довольны. В избу к хозяйке собрались все бабы с детьми, и дети здоровенькие и сытенькие, и бабы всем и хозяйкой довольны» (Там же). Наконец, понимающий и любовный совет жене не засиживаться в лучшие весенние дни дома: «Грустно тебе в городе, да ты ездь побольше с детьми — маленькими за город — отдыхать и думать и радоваться» (Там же).

Наконец, текст небольшого письма от 22 апреля, которому предшествует текст отчёта о помощи голодающим (подписанный 21-м апреля):

«Милый друг, посылаю отчёт, который можно напечатать, как он есть, без тех подробностей, которые можно бы ещё прибавить. Он составлен так, что даёт действительный и точный отчёт о нашем деле и употреблении денег, хотя и не имеет полной бухгалтерской точности. Ошибка, могущая быть в нём, состоит в тех 23 755 р., которые мы показываем полученными нами от русских жертвователей. Этих сведений я не имел и вывел эту сумму по остатку. Я думаю, что она так и есть в действительности. Если же нет, то всё равно все деньги пошли на то же, и ошибка только в цифрах, а не в деле. — Отчёт же даёт понятие жертвователям о том, как употреблены и употребляются их деньги. Это главное. Если Таня ещё с тобой, просмотрите с ней вместе, и если можете что прибавить — прибавьте, особенно в жертвованиях вещами, но не изменяйте стоившего нам большого труда этого отчёта. Лучше же всего, если что можно написать подробнее, то написать прибавление подробностей в другом отчёте.

Целую тебя и детей. Не знаю, когда дойдёт тебе это письмо, во всяком случае сообщаю о себе; сегодня, 22, мы здоровы, и я еду один в Андреевку.

Л. Толстой» (Там же. С. 140 – 141).

На все четыре (!) приведённых нами выше, полностью или в отрывках, письма мужа Софьи Андреевны отвечала большим, *трёхдневным* по времени писания, письмом от 21 – 23 апреля, текст которого, с комментариями и сокращениями, мы и приводим теперь.

«Милый Лёвочка, мне смешно было читать твоё французское письмо, немножко ненатурально, но меня ужасно утешает и трогает то, что ты при всяком случае вспомнишь нас с Таней, и не поленись написать хоть немного. Это так помогает мне жить.

От Лёвы получили ещё длиннейшее письмо, очень хорошее <из Патровки; штемпель: Бузулук, 16 апреля. – Р. А.>, к Тане. У него 150 столовых, горячая деятельность, видно удовлетворяющая его, но жалуется всё на плохое состояние желудка.

У них всё дорог нет, весна холодная и не дружная; а у нас теперь в Москве такая страшная жара, как только бывает в июле. Ужасно тяжело быть в Москве, хоть сад наш (ещё совсем не распустившийся), но всё же, такой для всех нас *ressource* [помощь]. Дети в саду весь день...

Ездил я в Ясную по делам, а вместо того увлеклась радостью быть в деревне; бегала везде, как девочка, рвала и выкапывала душистые

фиалки, мылась в пруду, обегала все посадки, сад; ездила по купальной дороге, кругом ёлок и домой по Грумонтской дороге. — Я давно не была в таком восторге. Но я всё-таки пересмотрела все книги, распорядилась везде и порадовалась на густые зелены, и почки яблонь, и хорошую траву. Провела я в Ясной одну субботу, а в вагоне две ночи, и приехала очень усталая.

Теперь справляю здесь весенние дела. Раньше месяца отсюда не выберешься. [...]

Завтра кончу это письмо, а теперь два часа ночи, я написала очень много писем. — Да, ещё не забыть: что же вы не тратите денег на голодающих? Ведь лежат они в банке, и очень много. Я искала купить горох, нашла один вагон, и то по 1 р. 35 коп. очень плохой. Я думаю, вы в Скопине найдёте и горох, и лук, и картофель. Там огородников много, и верно дешевле. Помощников ищу, говорю всем, но никак не могу найти.

22-го. Сегодня Таня проснулась, говорит, что едет к доктору, всю её прострелило, колет и больно всякое движение. Я испугалась, поехала сама с ней к Флёрову. Он говорит: простудилась, ревматизм в мускулах, окружающих лёгкие, велел горчишники, растереть скипидаром и сидеть дома. Желудок и общее здоровье нашёл лучше. Говорит: дня через два, три пройдёт, жару нет и ничего внутри не больно, но ехать к вам ей едва ли скоро придётся; очень она слаба, худа и легко сваливается.

Я приколола к панталонам газету с *моим последним отчётом*. Пошлём две фуражки: одну купили, другую Таня с Соней Мамоновой сшили. Мне до того некогда, что я даже этого не сделала. [...]

23-го. Целый дневник пишу. Ещё было от вас два письма. Спасибо, спасибо, голубчики, я очень рада всегда. Тане получше, но она ещё не выходит и всё больно правая сторона груди и под лопатку, но сама бодра.

[...] Если фуражки, панталоны или блузы не впору, пусть Марья Кирилловна перешьёт, на то она у вас и *портниха*. Маша, вели папа сделать из картофеля салат, немного огурцов нарезать туда тонко, как ему в Москве понравилось; всё для этого посылаю. Твои вещи тоже посылаю, которые просишь.

От Лёвы было письмо; он радуется, что много семян роздал, такое видно это произвело хорошее на всех действие, *эта* помощь. Сегодня послала ему из ваших сумм 3000 рублей. Прощайте, милые друзья [...]. С. Т.» (ПСТ. С. 514 – 516).

Написал Лев Львович письмо и отцу, датировано 21 апреля.

«Мы много пострадали, много сделали подвигов, хворали тифами и т. д.» -- сообщает сын отцу и уверяет, что так же, как и отец, «почувал общее отношение теперь к голоду», и вообще стал лучше понимать отца: «Для меня... теперь больше, чем когда-либо, стали видны те безнадежно тяжёлые условия народа, которых причина мы. [...] То, что тебя интересует, интересно очень и мне, особенно, что ты и твоё писание <трактат «Царство Божие внутри вас»>. Мама пишет мне, что в новом твоём сочинении, кажется, крайности и что это так себе, что-то большое, скучное, а главное — опасное и неприятное. Это отношение, поверхностное и женское, мне объяснило в этом письме, насколько мало мама тебя понимает. Она и не может никогда понять то, что ты говоришь» (Л.Л. Толстой — Л.Н. Толстому. 21 апреля 1892 г. Патровка // Толстой Л.Л. Опыт моей жизни. М., 2014. С. 239). Занят Лев-младший в эти дни был преимущественно помощью крестьянам семенами и в организации самого сева (Там же).

В следующем письме отцу, от 7 мая, Лев Львович признаётся, что «питался словом Евангелия нынешний год, больше, чем прежде, а не читал его, как интересную книгу» (Л.Л. Толстой — Л.Н. Толстому. 7 мая 1892 г. Патровка // Там же. С. 240). И — заслуженная радость: возможность похвастать отцу, что столовых открыто более 200-т: «Я не думал, что мы так широко разъедемся» (Там же). А ещё, вполне в духе отца или же возлюбленного отцом американского философа и просветителя Генри Дэвида Торо, Лев Львович Толстой задумался о «пище духовной» для спасённых им от голода крестьян: он надумал открыть в Патровке «волостную общественную библиотеку» и просил отца посодействовать в собрании для неё книг: «Здесь эта пища нужнее хлеба. И если родится что-нибудь нынешний год на пашнях, может быть, родится и что-нибудь от этого моего предприятия на плодородных и девственных пашнях духовных здешнего народа, если ты меня за это не побьёшь» (Там же. С. 240 – 241).

Это декларативное сближение с отцом не продлилось долго: в письме от 14 июля 1892 г. сын не менее искренне признаёт разницу во взглядах и желаемом образе жизни с отцом и невозможность «обманывать себя, тебя и других» (Там же. С. 242 – 243).

Благодаря возможности для обоих супругов взаимно избегать неспешного сервиса почты России, Толстой ответил на большое письмо (или, точнее, три письма в одной корреспонденции) жены уже 25 апреля — и, разумеется, и этот свой ответ отослал «с оказией», минуя почту:

«Получил твои письма и посылки с Верой Михайловной, милый друг. Всё бы прекрасно, если бы не Танино нездоровье. Но неприятно только нездоровье, а никак не то, что она не помогает. Теперь самое хлопотливое прошло или проходит, именно раздача семян, картофеля. И народ подъезжает. [...] Нынче суббота, но уже съехались сотрудники: Алёхины 3 брата, Леонтьев, <Николай Иванович> Дудченко. А вчера ещё приехала <М. А.> Пинская с своим помощником. У них идёт дело хорошо, и там особенно нужна помощь, так что мы им дали тысячу четыреста рублей. Мы купили кое-что, но много не покупаем, потому что надеемся, что после посева всё подешевеет. Погода ужасная, сушит, как в июле.

[...] Письмо это привезёт тебе человек Мордвиновых. Он может рассказать про зеленя и народ.

[...] Посылаю обратно два чека подписанные. Таня напрасно пишет, чтобы я написал receipt [расписку в получении]. Я бы мог, но послано ей. Впрочем, напишу. Да скажи ей, чтоб она послала Hargood расписки в получении всех полученных денег. Таня, голубушка, отвечать нужно только Hargood и американцу, который chargé d'affaires [поверенный в делах]. Hargood ты сама получше отвечай, да и chargé d'affaires тоже. Посылаю для этой цели листок с моей подписью.

Пожалуйста, не думай, милая, что ты нам нужна. Ты нам приятна и дорога так, а для дела, как ты ни полезна для него, мы в тебе не нуждаемся.

Целую вас и детей. А. Т.» (84, 141 – 142).

Последним замечанием Л. Н. Толстой выразил своё пожелание, чтобы жена берегла свои силы, не беспокоясь о том, что помощь её на данном этапе уж совершенно незаменима. Помощников не хватало, но они были. В письме упоминаются, в частности, важные иностранные помощники: помимо уже хорошо известной читателю Изабел Флоренс Хэпгуд, это Джордж В. Вуртс (George W. Wurts), уполномоченный от американского правительства, только что приславший Толстому для помощи голодающим солидную сумму: в рублях она вышла «чистыми» 504 р. 30 коп.

Среди других значительных адресатов этих дней — Николай Николаевич Страхов, писавший Л.Н. Толстому 18 апреля следующее:

«Всё время я с умилением думал об Ваших теперешних трудах, сердился на низкие выходки “Московских ведомостей” и других подобных изданий, на цензуру, на затруднения, в которые Вы попали благодаря переводчикам и всем, желающим пользоваться Вами, и т.

д... Но в конце марта обнаружилось что-то удивительное — против Вас поднялась такая злоба, такое непобедимое раздражение, что ясно было: Вы задели людей за живое сильнее всяких революционеров и вольнодумцев; дело, очевидно, не в Ваших мнениях, а в Вашей личности» (66, 205).

Вот значительнейшие строки из ответа ему Толстого от 24 апреля: «Мы теперь с Машей здесь одни. Очень много дела. На в последнее время мне стало нравственно легче. Чувствуется, что нечто делается и что твоё участие хоть немного, но нужно. — Бывают хорошие минуты, но большей частью, копаясь в этих внутренностях в утробе народа, мучительно видеть то унижение и развращение, до которого он доведён. — И они все его хотят опекать и научать. Взять человека, напоить пьяным, обобрать, да ещё связать его и бросить в помойную яму, а потом, указывая на его положение, говорить, что он ничего не может сам и вот до чего дойдёт предоставленный самому себе — и, пользуясь этим, продолжать держать его в рабстве. Да только перестаньте хоть на один год спаивать его, одурять его, грабить и связывать его и посмотрите, что он сделает и как он достигнет того благосостояния, о котором вы и мечтать не смеете. Уничтожьте выкупные платежи, уничтожьте земских начальников и розги, уничтожьте церковь государственную, дайте полную свободу веры, уничтожьте обязательную воинскую повинность, а набирайте вольных, если вам нужно, уничтожьте, если вы правительство и заботитесь о народе, водку, запретите — и посмотрите, что будет с русским народом через 10 лет. Скажут, что это невозможно. А если невозможно, то невозможно ничем помочь и чем больше заботиться о народе, тем будет всё хуже и хуже, как это и шло и идёт. И вся деятельность правительственная не улучшает, а ухудшает положение народа, и участвовать в этой деятельности — грех» (Там же. С. 204 – 205).

Не имея в распоряжении писем С. А. Толстой от 25 и 27 апреля, мы приводим ниже очередные по хронологии письма Льва Николаевича.

Письмо от 26 апреля, в сокращении:

«Нынче заедет купец, возвращаясь в Клёкотки, и вот я готовлю письма, и первое пишу тебе, милый друг, а то, пожалуй, не успею или успею дурно. Не знаю, как вы с Таней решили с моим отчётом: не нашли ли таких неправильностей и пропусков, что решили прежде исправить. Если так — делайте.

[...] У нас идёт напряжённая работа с раздачей семян и теперь лошадей. (Это очень трудно — раздать так, чтобы не было обиды.) Вчера я целый день ездил верхом (самая покойная езда на Мухортом), отчасти по этому делу, и для открытия столовой в Екатериновке <деревня Данковского уезда, в 7 км. от Бегичевки. — Р. А.>, и для приютов в Екатериновку, Софьинку и Бароновку, и мне было очень хорошо нравственно и всё сделал, как умел и мог, физически — тоже хорошо; я совершенно здоров, но погода ужасная. По полям ярового ветром несёт, не переставая, целые тучи пыли, как это бывает по дорогам в июле. Я никогда не видывал ничего подобного. Эта сушь не обещает ничего хорошего.

Помощников нам нужно, и чем больше, тем лучше. Лошадей мы купили теперь 19 и всех раздали. Раздали 1 на трёх, так что один хозяин, получающий лошадь, обязуется обработать ещё два надела. Я не ошибся, написав в отчёте, что для удовлетворения крайней нужды в лошадях нужно бы 100 лошадей. Нужно больше в нашем округе. Думаю, что после раздачи картофеля в конце апреля и начале мая будет перерыв напряжённых занятий.

[...] Чертков пишет <16 апреля из Россоши Воронежской губ.> о положении народа у них и о цынге. Это страшно. Просит тебя прислать как можно больше капусты. Я думаю, он писал тебе? Если же нет, то пошли ему 300 пудов капусты. Ужасно особенно то, что все эти страшные страдания цынки: слепота и всякие уродства проходят и уж всегда предупреждаются хорошей, стоящей 50 к. в месяц на человека, пищей.

От тебя мало писем. Последнее, что я знаю, это то только, [что ты] приехала в Москву. <Речь о «тройном» письме С. А. от 21 – 23 апреля. — Р. А.>.

[...] Видел Андрюшу сегодня во сне. Как он живёт? Как все твои дела, не дела денежные, а с детьми?

Прощай, милый друг, целую тебя, Таню, если она с тобой, и детей.

Пожалуйста купи учение 12 апостолов и пошли: Белый Ключ, Тифлисской губ., Борчалинский уезд, Триолетск. приставство, село Башкичет, Дмитрию Александровичу Хилкову.

Прилагаемое письмо Нарgood перешли, на её письме нет адреса. При этом же два подписанных чека» (84, 142 – 143).

Судя по просьбе Толстого к жене *купить* и выслать князю-штундисту Хилкову книгу «Учение двенадцати апостолов», речь может идти

только об оригинальном Дидахе, а не о его вольном «переводе», с собственным Предисловием, выполненном Л. Н. Толстым в 1885 году, но ещё не выходявшем к тому времени в России отдельным книжным изданием.

Самому Хилкову Толстой вполне искренне пишет 25 апреля, что желал бы быть сосланным туда же, куда и он — в Закавказье (66, 208). И потому, что любит Хилкова, считая верным Христу, и вот ещё почему (строки из того же письма):

«Вы делаете наблюдения над жизнью духоборов, и неутешительные, а я такие же невольно делаю над жизнью здешних крестьян. Трудно себе представить положение христиан, хотя бы и номинальных, но всё-таки людей, среди которых проповедывалось и как будто принято учение Христа, более диких в более далёких от Христа, как здешние жители. Интересы: пища, одежда, жилища и улучшение этих предметов и увеличение денег. Все борются, одни вверху, другие внизу, но стремления у всех одни — все гипнотизируют, заражают друг друга этой жадностью и все горят одним желанием, стремятся в одну сторону и только отдыхаешь при виде детей, сумасшедших и пьяных. Особенно заметно это при теперешнем положении голода и при нашем занятии. Мне всё кажется, что так продолжаться не может и что должен произойти переворот.

Может быть, это так кажется мне оттого, что в моей жизни готовится переворот — переворот смерти уже наверное скоро» (Там же. С. 206).

Соприкасаясь с народной «властью тьмы» помощники Льва Николаевича из числа толстовцев избавлялись от собственных иллюзий о «народе» и склонны были винить в своём разочаровании очаровавшего их в прежние годы своими общественно-политическими и религиозными писаниями Толстого. С этим разочарованием в «народе» как идее, в крахе народнической составляющей мировоззрения толстовцев, вкупе с тяжёлым трудом настоящего христианского служения, следует связать наметившееся за прожитую в Бегичевке зиму обострение отношений «учителя» и «учеников». Не последнюю роль сыграл и наследственный желчный аристократизм Толстого, с которым он не мог в себе справиться. На деле претензии толстовцев было столь же неосновательно, как, скажем, неосновательны были бы претензии к личности и писаниям автора хорошего теоретического учебника по педагогике — от молодых учителей, испытавший педагогическое поприще на практике. Прежняя, до обращения ко Христу, жизнь толстовцев в городе, в удалении от народа, в студенческой или иной гнусной, развратной, интеллигентской среде была от-

части всё-таки их выбором; так же как и “шутейные”, не подготовленные ничем попытки аграрных общин в 1880-е. Помощь учителю Льву в деле христианского служения бедствующему народу стала для большинства из них, по существу, первым настоящим, “взрослым” поприщем — и далеко не самым тяжким из возможных! Хрупкая Верочка Величкина, никогда до 1891 г. не мыслившая даже записывать себя в «толстовки», приехав ко Льву Николаевичу, как мы видели, буквально с порога детства, со студенческой скамьи — справилась со своими задачами в общем деле на “ура”, без нытья и споров.

* * * * *

Продолжим нашу реконструкцию картины весенних, 1892 года, малых дел великого Царя Льва и всей его бегичевской команды. Хотелось бы добавить: *славной* команды, но нет. Скорее: достойной памяти и славы в лице лучших её представителей, имена которых в основном уже явились на этих страницах.

Кто-то из семейных Толстого пустил в апреле слух, что Толстой собирается переехать из бегичевского особняка в другое место. Слух дошёл через С. А. Толстую (желавшую этому слуху верить, так как она желала скорейшего возвращения супруга из Бегичевки) до хозяйки усадьбы, жившей в Туле вдовы Ивана Ивановича Раевского, Елены Павловны. Та в письме 20 апреля просила Толстого не покидать усадьбы, уверяя, что только рада проживанию в ней «бегичевского министерства», а переезд её, напротив, «глубоко оскорбит». В ответном письме от 26 апреля Л. Н. Толстой слух решительно развенчивает, а также сообщает Елене Павловне об итогах сделанной работы — моральных, не менее значительных для участников его, нежели цифры отчётности:

«Мы очень теперь заняты обеспечением посева, помощью лошадьми и столовыми, особенно детскими, и хотя очень много дела, но почему-то у меня всё время более радостное чувство, чем зимой, сознание того, что дело, которое делаешь, было нужно и теперь ещё нужнее, чем когда-нибудь, несмотря на то, что дело это всем наскучило, кроме тех, для которых оно делается» (66, 209).

В сокращении приводим письмо 27 апреля Толстого к жене, довольно сбивчивое, буквально дающее ощущение писания в спешке, промеж множества иных дел. Толстой начал писать было на обороте

письма одного из благотворителей (вероятно, торговца), некоего Рубцова, но в результате письмо получилось довольно длинным, разнообразным, в приписке вместившим в себя даже сугубо «семейное» замечание об учёбе сына:

«Вот полученное вчера письмо Рубцова. Как это случилось, что он не получил денег, когда уж давно в наших счетах значатся эти 844 рубля. Пожалуйста, голубушка, разъясни и исправь это. Это ужасно обидно, так как он жертвовал и трудился для нас. Я пишу ему.

Сегодня понедельник, 27, 12 часов дня. Приезжал один господин, в Раненбургском уезде, ведущий столовые, и сейчас возвращается. Я с ним посылаю это. Мы живы, здоровы, очень заняты, всё хорошо и приятно. И видится, что особенные дела весенние скоро придут к концу. Лошадей роздал и больше не покупаем, овёс тоже. Теперь раздали картофель. И когда кончится, то отдохнём. Деньги у нас все вышли, и потому, пожалуйста, пришли с первым случаем тысячи три.

Вчера, [...] главное, не было от тебя письма. Верно опоздало или едет с кем-нибудь в Клёкотки. Жара чрезвычайная, и дождя нет. [...] Вчера был у Писарева, [...] и общий голос, что ржи дурны и от засухи всё хужеют. Писарев очень энергично работает и уж начинает думать о будущем годе. Я думаю, что это преждевременно, и загадывать не надо хорошего, и ещё менее дурного.

[...] Я перешёл в комнату Елены Михайловны <Раевской>. Маша меня туда перевела, потому что в спальне ужасно жарко. Маша очень заботится обо мне и для себя, и для тебя, и для меня. Очень благодарю тебя за фуражки и блузы.

Целую тебя, милый друг, и детей. А. Т.

Надеюсь, что Андрюша не унывает и будет летом работать, чтоб выдержать <переекзаменовку>, а то он ошибается. Ему надо учиться, чтобы иметь всё то, что он любит...» (84, 144 – 145).

Не только сами столовые, открытые Львом Николаевичем, были живой и животворящей, саморазвивающейся системой: когда на базе уже открытых в той или иной местности столовых готовились ресурсы для открытия в ближних сёлах и деревнях новых... Опыт Толстого развивался и приумножением количества тех, кто брал с него пример — как упомянутый в приведённом письме помещик из Раненбургского уезда Московской губернии. Многие неравнодушные сердца и проворные головы и руки в России развивали дело по-

мощи этим путём — как сам Толстой лишь недавно, в октябре-ноябре 1891-го, учился на примере замечательного, трагично и безвременно ушедшего Ивана Ивановича Раевского.

Для примера, в книге «Семь месяцев среди голодающих крестьян», опубликованной в 1893 г. А. А. Корниловым, описана практика «работы на голоде» в 1891 – 1892 гг. в Моршанском и Кирсановском уездах Тамбовской губернии самого Корнилова и товарищей его, В. И. Вернадского и В. В. Келлера. В. И. Вернадский начал, как и Толстой, с малого: с 500 руб. денег, на которые закупил хлеб для крестьян, живших близ своего имения — чтобы раздать его в декабре 1891-го в то время, когда у них закончится хлеб со скудной земской выдачи:



В. И. Вернадский

«Вернадский хорошо понимал несовершенство этого способа оказания помощи, но, чтобы перейти к более рациональному способу, указанному Л. Н. Толстым — к устройству столовых, нужно было кому-нибудь ехать на место, а он был связан чтением лекций в университете и потому не мог принять этого на себя. Положение дела изменилось, когда двое из друзей его, Л. А. Обольянинов и В. В. Келлер, вызвались в середине декабря ехать на место и заняться устройством столовых по системе, рекомендованной Л. Н. Толстым. Оба они заехали предварительно к Л. Н. Толстому, чтобы видеть лично

систему его столовых в действии, и уже оттуда приехали в Вернадовку» (*Корнилов А.А. Семь месяцев среди голодающих крестьян. М., 1893. 12 – 13*).

«Опыт» Толстого и Вернадского быстро приобрёл известность в России. Кн. В. Оболенский вспоминал, что уже в конце 1891 г. в студенческой среде Санкт-Петербургского университета начались «явочным порядком» сборы денежных средств, которые «направлялись преимущественно Л. Н. Толстому [...] и В. И. Вернадскому, в Тамбовскую губернию» (*Оболенский В. Воспоминания о голодном 1891 году // Современные записки. Вып. VII. Париж, 1921. С. 266*).

Наконец 28 апреля до Бегичевки доехало письмо С. А. Толстой от 25-го. Отвечая на него открытым небольшим письмом, Толстой писал в тот же день:

«Получил сегодня твоё письмо... Спасибо. Напрасно ты думаешь, что мы с Машей унывали. Напротив, до сих пор дело спорится и не трудно.

Нынче приехал оригинальный старик швед из Индии» (*Там же. С. 145*).

В эти дни в жизнь Льва Николаевича, членов его семьи, его единомышленников во Христе и других помощников ненадолго вошёл самобытный духовный искатель, бродячий аскет и проповедник *Абрахам фон Бонде* (ок. 1821 – ?), шведский еврей. Как и князь Хилков, он отказался от немалых земных богатств и тем осуществил столь страшный для Софьи Андреевны и столь желанный мужу её идеал праведной бедности. В дальнейшей «бегичевской» переписке Толстого с женой ещё явится немало подробностей об этой экстравагантнейшей и незабвенной личности.

В тот же день 28 апреля Софья Андреевна пишет такое встречное письмо мужу:

«Очень радостно, что всякий день почти от вас письма, милый друг Лёвочка. Сегодня пришло письмо с чеками и ответом Hargood, который пошлю. Хилкову книгу тоже пошлю, хотя не знаю, где её купить. Поправку в отчёте сделаю. Я послала его только сегодня, всё Таня не выпускала из рук, хотела проверить с своим в газетах. Она завтра едет к Олсуфьевым на три дня с М. Зубовой, и очень собирается, укладывается. Здоровье её лучше в женском отношении, но

всё запоры, и без кл<истира> только раз было действие <кишечника> во всё время. Она стремится после Олсуфьевых к вам, в Бегичевку; не знаю, пуцу ли её или нет, посмотрю тогда.

Мне и вас страшно жаль: воображаю, как вам трудно, хлопотно и одиноко! Ты просишь помощников, милый Лёвочка. Я всем на свете это говорю: студентам, профессорам, просила репетитора детей — все обещают, но никого не найдём. Вчера был <В. С.> Соловьёв, <М. С.> Сухотин и <Е. И.> Баратынская. Последняя обещает какую-то барышню; я просила её присылать. Что вы пишете о зное и ветре — очень огорчительно. Здесь, в Москве, почти всякий день дождь; была чудесная гроза, но сегодня жара страшная, и я весь день не выходила. Прождала напрасно Серова, он не пришёл, а портрет после 12 сеансов далеко не готов; ужасно надоело сидеть по три часа.

Дела мои с детьми хороши: все здоровы, послушны. <Гувернёр> Борель отходит, его вещи тут ещё, но сам он пропадает. Очень робею за нового, мало вообще известный, не молодой и вегетарианец крайний. Если *не* молодой плох, то это ещё хуже. Ну, да можно и отказать, если что. Поступит он 10 мая.

В саду черёмуха распустилась, и на всё это я смотрю с сантиментальной грустью. Жалкие кусты крыжовнику цветут и тоже яблони в саду зацветают.

Что ты, Лёвочка, деньги не тратишь? Ведь чем скорее ты их определишь, тем скорее ты будешь свободен. В газетах пишут опять о засухе в разных губерниях. Что-то будет! Конечно, если б деньги остались, можно будет беднейшим дать потом на посев ржи, летом. Но всё это втягивает тебя дальше и дальше в труд, и мне это страшно.

О себе и жизни нашей нечего писать. Вы без радостей при деле, и мы без радости при деле. Думаешь: будто так надо, а всё вперёд глядишь, что будет время, когда мы соединимся и будем счастливы в Ясной. — От Лёвы писем не было, что-то в их степях! Уныло вскрылась весна.

Сейчас ещё от вас письма. Вот спасибо, такое это утешение.

Рубцовские деньги были посланы 4 марта в Калугу. <Деньги за дрова для их поставщика, Н. К. Рубцова. — Р. А.> Так как это ошибка, моя вероятно, то только вчера мне их вернули. Я [...] теперь поняла, что надо было послать в Смоленск, что и сделаю завтра.

Вы ни разу не упомянули о посланных 1000 рублях с Верой Михайловной, и пишете, что нуждаетесь в деньгах. Если Таня не поедет скоро, не послать ли их почтой эти 3000 рублей? Ещё я думаю, милый Лёвочка, что капусту посылать в такую жару и так далеко те-

перь невозможно, она протухнет непременно. Я, впрочем, от Чертова ответа не получала, посылать ли по такой высокой плате за проезд — или нет? И хороша ли, получена ли та капуста, которую я посылала им.

Андрюше я прочла то место <в письме Л. Н. Толстого от 27 апреля. — Р. А.>, которое относится к нему, но он остался, кажется, холоден. Он очень огорчителен своей бессодержательностью, заботой о внешнем и равнодушием ко всему духовному, художественному и даже настоящему в жизни: природе, людям, животным, движению и т. д.

Что делать! жалкий он и много будет тосковать, а мало радоваться. Такого ещё у нас не было.

Всё время через раскрытые окна слышу детей в саду, плотники стучат, забор новый в сад делают, и корова мычит отчаянно, и ей, как мне, в поле хочется. Я дала пастуху 1 р., чтоб он её брал эту неделю в поле.

7-го уедут с сестрой Таней Саша и Ваничка с няньками, людьми, коровой и вещами. Останется Дуняша, Митя и мальчики со мной до конца мая. Станный год!

Вы не получили письма в воскресенье, это удивительно, мы часто пишем и пригоняем аккуратно; это на почте неисправно. — Ну, прощай, милый Лёвочка, будем мужаться, а как хорошо бы быть вместе! Будем утешаться, что так надо. И Машу мне сердечно жаль, что ей трудно; целую её, и радуюсь, что о тебе заботится. Пусть и себя бережёт. Еду в редакцию «Русских ведомостей» исправить, что ты просил.

Соня» (ПСТ. С. 517 – 518, 521).

К сожалению, некоторые опасения С. А. Толстой о будущем оказались не напрасны: урожай 1892 года снова погиб в части России засухой, очередные зима и весна снова были голодными, и Толстому, несмотря на всю отлаженность работы его «министерства добра», неизбежно было лично участвовать в работе на голоде, и в 1893-м году снова и снова выезжая в свой штаб в Бегичевке.

В постоянно тревожном состоянии, вожделенно не желая пропускать никакой okazji для продолжения хотя бы эпистолярного, через расстояние, общения с мужем, Софья Андреевна продолжала писать в Бегичевку ежедневно. Вот следующее её письмо, от 29 апреля, настолько переполненное и милыми повседневными, и значительными, касающимися Л. Н. Толстого, биографическими подробностями, что достойно быть приведённым без сокращений:

«Милый друг, вчера писала тебе, но не хочу пропускать Чернавской почты. Сегодня уехала к Олсуфьевым Таня до субботы. Пусть рассеется, хотя и тут сердце не покойно. Если она чего ждёт и не дожждётся, то только сердце растравит. Здоровье её получше, но медленно идёт к улучшению, всё кишки не действуют.

Сегодня в конторе Волкова встретила <Нила Тимофеевича> Владимирова, и он кое-что рассказал, что вынес из своей заграничной поездки. Всякий кучер, рабочий во Франции знает тебя и читал. Вообще образование низших классов его поразило сравнительно с Россией.

Получила письмо от Ивана Ивановича Горбунова, просит капусты и других продуктов; но картофелю отсюда посылать нельзя, дорого; особенно платно. Для капусты прислали одно свидетельство Красного Креста. У них там цынга и бедность. Сегодня ещё барыня просила денег для Бугурусланского уезда, но я ещё не дала.

Был этот капустник, у которого я покупаю, и рассказывал, что нанял двух работниц из ваших мест, и они рассказывали про *графа*, какой он благодетель, детей кашкой кормят, народ кормят, обо всех пекутся; несправедливые дела с кукурузной мукой разобрал, праведный человек!

А вечера Грот принёс письмо Антония, в котором он пишет, что митрополит здешний хочет тебя торжественно отлучить от церкви. — Вот ещё мало презирают Россию за границей, а тут, я воображаю, какой бы смех поднялся! Сам Антоний хвалит очень «Первую ступень», и умно и остроумно отзывается о ней и об отношении к этой статье митрополита и духовенства. Тебе Грот хотел сегодня или завтра писать, он лучше расскажет, а у меня перебиваются разные впечатления, и я плохо помню.

[...] Сидит Дунаев, помогает считать и завтра поможет, где купить клюквенный экстракт, лимоны и другое для Горбунова.

Как поживаете? Кончился ли зной, сушь и ветер? Теперь у нас так, да ещё холодно.

Прощай, милый друг, что-то не пишется. Провела день скучно: утро в банках, днём — позировала, вечер держала корректуру твоего отчёта. Пишу теперь письма, счёты, 10 часов вечера. [...]

С. Толстая. 29 апреля 1892 г.

Статью «Первая ступень» в журнале Грота пропустили, сейчас получила известие от ликующего Грота. Только сегодня всё решилось» (ПСТ. С. 521 – 522).

О названной статье Л. Н. Толстого, специально посвящённой христианскому воздержанию, в частности же пищевому посту и осуждению культа *жранья* в лжехристианской, буржуазно-православной России, о связи её со статьями о голоде и практикой помощи голодавшим мы достаточно сказали в соответствующей части нашей книги. В мемуарах «Моя жизнь» Софья Андреевна дополнительно вспоминает, что получила статью «Первая ступень» в печатном виде через Н. Я. Грота уже 1 мая и «прочла с удовольствием», несмотря даже на то, что уловила в тексте «живой упрёк» *своему* с семейством городскому и барскому образу жизни (МЖ – 2. С. 280). Опубликована статья была 6 мая.

Очень значительны и упоминания в письме Софьи Андреевны об Алексее Павловиче Храповицком (церковная кличка «Антоний»; 1863 – 1936). Алёшке в детстве повезло: родители не имели единого мнения о жизненной стезе, по которой надлежит направить сынка. Мать обеспечила ему религиозное домашнее воспитание; отец же, помещик и военный генерал — настоял на светском образовании для сына. В результате мальчик Алёшенька успел за гимназические годы послушать публичных лекций В. С. Соловьёва и Ф. М. Достоевского, но, под действием мистической «прививки в мозги» от матушки, принял их к сердцу чрезвычайно страстно. С 1881 по 1885 гг. он уже учится, вопреки воли отца, в Санкт-Петербургской духовной академии, понемногу, но далеко не полностью, преодолевая влияние «ересей» Соловьёва и Достоевского. А вот «профессиональная практика» выпускника Академии — конечно же на время реанимировала многие его юношеские социально-критические и церковно-либеральные настроения. В особенности — с 1890 г., когда, уже с кличкой «Антоний», иеромонах Лёха Храповицкий получил сан архимандрита и должность ректора той самой академии, в которой учился. Среди «духовных якорей», которые удержали его под влиянием учения православия самой влиятельной была весьма неравная по возрасту и влиянию дружба с харизматичным кронштадтским протоиереем Иваном Сергиевым (1829 – 1908), то бишь «святым праведным отцом Иоанном Кронштадтским».

Но рвало умненького Лёшку с церковного «якоря» долго и нехило. Именно с этим кризисом связано его поверхностная симпатия в начале 1890-х к христианской проповеди Льва Николаевича — в её аскетическом и практически-благотворительном аспектах. Конечно же, «роман» с толстовством не был у «Антония» ни прочным, ни длительным: уже в том же 1892 г., будто кем-то «одёрнутый» (быть мо-

жет, тем же Сергиевым?), он публикует критический очерк «Нравственная идея догмата Троицы», направленный частью и против Толстого — как бы публично «расписываясь в лояльности» матушке-церкви, обеспечившей ему завидную карьеру и весьма денежную должность.



Арх. «Антоний» (А.П. Храповицкий)

Через много лет, в марте 1908 г., вспоминая об Антонии (в связи с известием о желании того явиться в Ясную Поляну для «внушения» еретику о возвращении в «лоно церкви»), Толстой отозвался о нём так: «...Я не сказал <своей проповедью> ничего нового Антонию, он всё это знает. У него устройство психики такое, что всё это соскакивает» (*Маковицкий Д. П. У Толстого. Яснополянские записки. М., 1979. Т. 3. С. 28*).

Митрополитом же, о котором сообщил в письме Гроту архимандрит Антоний, был старенький да глупенький *Иван Алексеевич Лебединский* (церковная кличка «Леонтий»; 1822 – 1893), митрополит московский с 1891 г. По возрасту он имел счастье не дожить до того дня, когда его церковь таки осуществила предложенную им меру воздействия на Л. Н. Толстого — отлучение.

Стоит попутно заметить, что составители сборника писем Софьи Андреевны Толстой 1936 года в комментарии к приведённому нами только что письму ошибочно указывают на другую персоналию, а именно на *Александра Васильевича Вадковского* (церковная кличка

«Антоний»; 1840 – 1912) (см.: ПСТ. С. 522). Но вот он как раз никогда и нимало Толстому не симпатизировал. Как раз поп Шурик Вадковский, будучи в 1901-м году уже митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским и первенствующим членом Синода, стал одним из инициаторов знаменитого «Определения» об «отпадении» Толстого от церкви. Кроме того, он состоял в 1900-е гг. в особой переписке с С. А. Толстой и так же, как Храповицкий, но с особой настырностью, как о важном церковно-государственном деле, пёкся об «обращении» Толстого в православие. Этими сближениями, вероятно, и вызвана ошибка комментатора в томе писем С. А. Толстой.

Сам того не зная, архимандрит сыграл заметную роль в творческой истории одного из самых нецензурных и «еретических» сочинений Толстого, трактата «Царство Божие внутри вас». Дело в том, что около 15 марта, известясь о появлении Толстого в Москве, Лёха Храповицкий нанёс ему личный визит. В цитирувавшемся уже нами выше письме от 2 апреля к М. В. Алёхину Толстой раскрывает причины визита:

«Антоний архимандрит и ректор Троицкой академии напечатал в журнале Грота религиозно-либеральную статью и был у меня, поколебался в вере в православие. — “Что ж, говорит, если опоры церкви так непрочны, на что же опереться? Придётся — с выражением отчаяния — опереться на разум и совесть”» (66, 191). Как следует из письма 21 марта к В. Г. Черткову, Толстого это посещение подкрепило в намерении «поскорее кончить» трактат и в вере в его нужность, в то, что он «может оказать доброе влияние» (87, 132). При этом в Дневнике Толстой 3 апреля запишет, что «всё дальше от конца» восьмой главы сочинения — которая впоследствии даже не стала заключительной, как предполагалось весной 1892-го.

Наконец 30 апреля Соня кратко отвечает на столь же краткое открытое письмо мужа от 28-го. Главная в нём новость — успешная публикация 30 апреля толстовского отчёта в газете «Русские ведомости», свежий номер (№ 117) которой прилагался к письму:

«[...] Вчера писала тебе, сегодня высылаю твой напечатанный отчёт в «Русских ведомостях» и это письмо. Мы все здоровы. [...] Прощай, писать нечего. Дай бог вам всего лучшего, напишу в Клёкотки скоро.

С. Толстая» (ПСТ. С. 523).

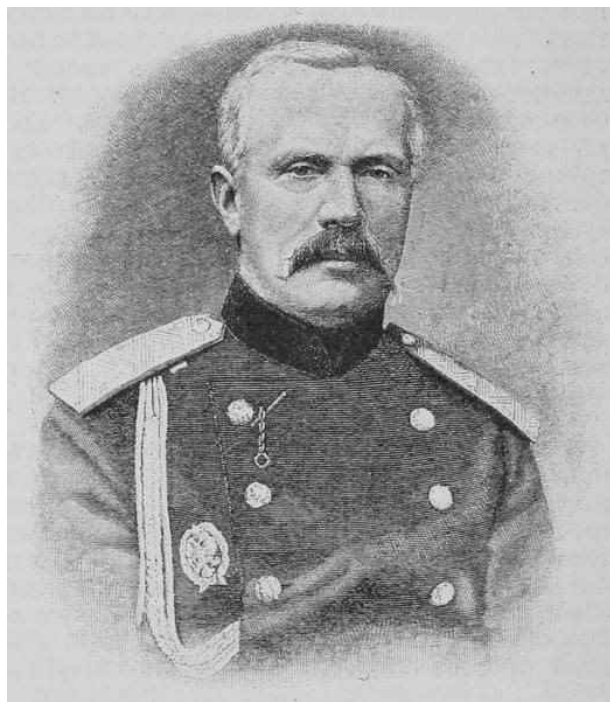
По приведённым нами выше письмам супругов достаточно подробно можно восстановить картину основной их деятельности, связанной с помощью голодавшим крестьянам. Ниже мы опустим очень сходные по тематике документы из опубликованного корпуса переписки супругов. Это касается корреспонденций Л. Н. Толстого к жене от 2, 4, 12, 13, 15 и 16 мая и С. А. Толстой — от 2, 9, 10, 11, 18 и 19 мая. Такое наше решение связано как с второстепенностью, для нашей темы, многих сообщений в этих письмах, так и с тем, что сам Толстой публикацией своего отчёта подвёл итог большому этапу своей бегичевской эпопеи: с декабря 1891-го по середину апреля 1892-го года.

Из письма Л. Н. Толстого от 4 мая значительно упоминание о посещении бегичевского «министерства добра» экспедицией генерала *Михаила Николаевича Анненкова* (1835 – 1899), организатора вспомогательных работ для крестьян. Экспедиция занималась попутно исследованием причин обмеления реки Дон и, соответственно, определением возможных средств восстановления его русла посредством этих же, поручавшихся крестьянам, работ по обводнению. Вот суждение о генерале со свитой Толстого в письме к жене (а о причинах такого суждения скажем ниже):

«Сейчас только мы проводили от себя заезжавшего к нам Анненкова с своей свитой — человек 20 и Глебов <Владимир Петрович Глебов — уполномоченный Красного Креста по Тульской губ. – Р. А.>, и Кристи <Григорий Иванович Кристи — уполномоченный Красного Креста по Рязанской губ. – Р. А.>, и <кн. Сергей Николаевич> Трубецкой <уполномоченный по общественным работам в Рязанской губ. – Р. А.>, и <Павел Андреевич> Костычев (друг Ге) <по профессии агроном. – Р. А.>, и разные профессора, инженеры, не хочется осуждать, но нельзя не сказать, что странно» (84, 149).

Несмотря на огромное значение общественных работ для осчастливленных неурожаем без средств существования крестьян, именно персона руководителя их устройством, М. Н. Анненкова, оказалась в истории данного благого правительственного предприятия достаточно нелепой. Вот некоторые сведения о ходе и финансовых результатах деятельности Анненкова из авторитетнейшего источника — от царского министра земледелия и государственных имуществ А. С. Ермолова:

«Во главе всего дела общественных работ поставлен был энергичный генерал М. Н. Анненков, незадолго перед тем прославившийся постройкою, при самых тяжёлых условиях, Закаспийской железной дороги. Приходится, однако, признать, что М. Н. Анненков далеко



Михаил Николаевич Анненков

не оправдал возлагавшихся на него ожиданий и что общественные работы были организованы им во многих случаях крайне неудачно, нерационально, убыточно для казны и не всегда даже с должною пользою для местного, пострадавшего от неурожая, населения» (*Ермолов А.С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос. СПб., 1909. Часть первая. С. 120*). Многие строительства, от зданий до шоссе-ных дорог, или остались без завершения, уже после огромных вложений из казны, или достраивались посредством найма профессиональных рабочих за немалую плату. Контракты, включая ряд зарубежных, оказывались невыполненными. Что же касается работ, по преимуществу земляных, на орошении и обводнении, те действительно доставили необходимый заработок крестьянам – так как с ними они могли более-менее справляться — но впоследствии большинство сооружённых прудов, плотин, колодцев, должным образом не обслуживались: попросту говоря, будучи построены необдуманно, оказывались невостребованными местным населением и заустевали, разрушались. «Большинство плотин уже при первом половодьи было размыто и снесено»; «В одном селении вода из пруда во время половодья хлынула на соседние крестьянские избы и несколько из них разнесла, причём не обошлось и без человеческих жертв. В других случаях пруды устраивались без надлежащего исследования грунта, вследствие чего оказывалось, что вода в них не могла держаться и уходила в землю» (*Там же. С. 121 – 122*).

«В конечном выводе все эти общественные работы принесли, как уже сказано, казне, помимо непосредственно ассигнованных на них сумм, колоссальные убытки, которые даже и подсчитать трудно, но, во всяком случае, далеко превосшедшие то, что досталось на долю пострадавшего от неурожая населения. [...] На генерала Анненкова и его управление были по ревизии его операций сделаны огромные контрольные начёты, но так как прямых злоупотреблений и хищений обнаружено не было, а одна только безхозяйственность, то, в конце концов, всё дело было предано суду и воле Божией» (С. 128 – 129).

О нерентабельности и плохой организованности «анненковских» вспомогательных работ Лев Николаевич был уже наслышан, вот почему профессорско-интеллигентская орава в голодной местности, обходившаяся казне каждый день своей экспедиции в большую сумму, нежели он за любой день мог потратить на прокормление голодавших сёл и деревень, показалась ему, по мягкому его выражению, «странной».

С посещением 4 мая 1892 г. Анненковым Бегичевки связан трагикомический эпизод, описанный в дневнике Е. И. Раевской:

«По долгу службы исправник, становой, урядник и проч. встретили генерала Анненкова на границе Данковского уезда и Рязанской губернии, т. е. в Бегичевке. Крестьяне, увидав, что полицейские чины, с раннего утра, в полной форме, при сабле и с револьвером через плечо, расхаживают около господского дома и услыша, будто поджидают петербургского губернатора, вообразили себе, что готовятся арестовать Льва Николаевича, они собрались полным сходом и хотели броситься в ноги генералу Анненкову, умоляя его “оставить им их отца”» (*Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих // Л. Н. Толстой / Гос. лит. музей. М., 1938. [Т. I]. С. 423*).

И о том же — в воспоминаниях В. М. Величкиной:

«И жизнь, в конце концов, показала, что несмотря на всю ненормальность отношений, население всё-таки сумело оценить Толстых и увидеть в них нечто большее, чем мешок с деньгами. Когда весной разнеслись слухи, что Льва Николаевича хотят арестовать, и тут как раз появилась в наших краях экспедиция генерала Анненкова, организовавшего общественные работы, то крестьяне решили, что он-то и приехал арестовать Л. Толстого. И кругом бегичевского дома собрались целые толпы народа, — они решили, во что бы то ни стало, не выдавать Льва Ник<олаевича>, так что их с трудом удалось успокоить».

Когда Лев Николаевич уезжал после сбора нового урожая, население так трогательно прощалось с ним и провожало его, что он и сам мог убедиться, как сумели крестьяне оценить его труды и заботы о них» (*Величкина В.М. В голодный год с Львом Толстым // Современник. СПб., 1912. Июнь. С. 150*).

О том, что не стоит идеализировать такое сытое влюбление обитателей страны воров и дураков, поганого «русского мира» с его вековой «властью тьмы», свидетельствует малоприметная деталь: после краткого, из-за болезни Льва Николаевича, посещения Бегичевки, Софья Андреевна высылает ему с письмом (из-за перлюстрации и задержек письма супруги слали, напомним, при всякой возможности по «оказии», минуя почту) минеральную воду Эмс для измученного экспериментами желудка, а также «простые часы» (*ПСТ. С. 523*). Почему вдруг оказался Толстой без часов в длительной своей трудовой вахте, поясняет запись 8 мая в дневнике Е. И. Раевской:

«— Который час? — спросил граф у жены.

— Вообразите, — обратилась ко мне Софья Андреевна, — у мужа моего украли здесь с окошка часы с цепочкой. Дело не в часах — а грустно за принцип. Теперь ему негде посмотреть, который час.

— Это просители, вами облагодетельствованные, вас обокрали! — с горечью заметила я.

Граф повернулся и молча ушёл в дом» (*Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих // Л. Н. Толстой / Гос. лит. музей. М., 1938. [Т. 1] С. 421 – 422*).

Теперь нам осталось представить читателю два важных сюжета, берущих начало именно в весенние, 1892 года, дни славной Бегичевской эпопеи и не напрямую, но довольно значительным образом связанные с ней. Первый из них — трагикомический, а местами и просто смешной, связанный с похождениями явившегося к Толстому шведского бродячего еврея.

Татьяна Львовна, дочь Толстого, много беседовала с Авраамом фон Бонде и передаёт в своих воспоминаниях историю его жизни. Он был богатым землевладельцем в Нью-Йорке и однажды услышал, как бедная нанимательница проклинала его за то, что на оплату жилья у неё уходили последние гроши. Он решил отдать все свои деньги и весь дом даром своим жильцам. Но добрая женщина, почуяв слабость характера хозяина, накинулась на него с ещё большей и злейшей бранью: «А кто заплатит мне за годы горя и лишения, которые

мы терпели...» и т. д. Несчастный еврей в ужасе бежал — из собственного дома, из Нью-Йорка, из Америки... В Индии он услышал восторженные рассказы местных жителей о Толстом и отправился к единомышленнику в Россию (*Сухотина-Толстая Т. А. Воспоминания. М., 1976. С. 308 – 309*). Не застав Толстого в Ясной Поляне, он явился в Бегичевку. О его приезде Толстой сделал в Дневнике 26 мая такую запись: «Явился швед Абрагам. Моя тень. Те же мысли, то же настроение, минус чуткость. Много хорошего говорит и пишет» (52, 66). Забегая вперёд можно заключить, что именно это самое: «минус чуткость» — и сделало долгое проживание Авраама фон Бонде в Ясной Поляне, мечтавшееся ему, совершенно невозможным.

В письме к жене от 1 мая Л. Н. Толстой характеризует гостя довольно подробно:

«Ещё 3 дня тому назад явился к нам старик, 70 лет швед, живший 30 лет в Америке, побывавший в Китае, в Индии, в Японии. Длинные волосы, жёлто-седые, такая же борода, маленький ростом, огромная шляпа; оборванный, немного на меня похож, проповедник жизни по закону природы. Прекрасно говорит по-английски, очень умён, оригинален и интересен. Хочет жить где-нибудь, он был в Ясной, и научить людей, как можно прокормить 10 человек одному с 400 сажень земли без рабочего скота, одной лопатой. Я писал Черткову о нём и хочу его направить к нему. А пока он тут копает под картофель и проповедует нам. Он вегетарианец, без молока и яиц, предпочитая всё сырое, ходит босой, спит на полу, подкладывая под голову бутылку и т. п.» (84, 146).

Судьбу такого аскета в глазах Софьи Андреевны Толстой можно было бы предвидеть: в её восприятии этот старый еврей мог быть столь же «вредным» для её отношений с мужем, для её семьи человеком, что и еврей молодой, ранее упоминавшийся нами Исаак Файнерман, приблудивший к Толстому в Ясной Поляне ещё в середине 1880-х. Файнерман осуществил наяву один из Соничкиных кошмаров: живя по толстовским теориям, он разорил до голодной нищеты свою семью, сделал глубоко несчастной свою жену... А Бонде практически осуществил другой постоянный кошмар Софьи Андреевны (из цикла «этим обязательно всё и кончится»): он бежал из дома и стал бродягой, надрывая свои силы в 70 лет тяжёлым физическим трудом и портя желудок грубой пищей.

В дальнейшей переписке Толстой вспоминает шведа уже не так часто и пространно, но тоже достаточно для того, чтобы известиями о

нём насторожить ещё более Софью Андреевну. Для примера, вот такие шуточные строки из письма от 2 мая:

«Теперь 9 часов вечера, суббота. За столом, на котором стоит самовар, который швед называет идолом, сидит Маша, Саша Философова, Вера Михайловна, Митрофан, Скороходов и швед, съевший яблоко и больше ничего не желающий. Про него говорят, что он самый антихрист, он обещает прокормить 20 человек на осьминнике и копает уж, но только с уговором, чтоб ему душу продать» (84, 148).

Шутки шутками, а швед, в числе прочих сближений с духовными практиками Льва Николаевича, оказался сторонником и пропагандистом того же восточного «хлебного огорода», возделываемого без использования скота, который, как мы помним, уже испытывал в Ясной Поляне и Толстой.

Вот, в передаче Екатерины Ивановны Раевской, старушки мамы умершего И. И. Раевского, некоторые высказывания фон Бонде:

«— Я — часть вселенной. Всё то, что я делаю, мне кажется, что так и должно делать. Если б я осуждал то, что делаю, то осуждал бы всю вселенную. Если осуждают одно колесо в машине, то осуждают и всю машину. Всё то, что делается, делается к лучшему.

[...] Религия ничья мне не нужна. Религия запрудила весь ход человеческой жизни, и самый большой чёрт — это нравственность, так как она остановка жизни. Как реку запрудяют плотинами, так жизнь запрудили моралью. Надо брать пример с животных.

[...] Скота держать не следует, потому что он съедает траву, которая часть природы.

[...] Чистота не имеет смысла, это предрассудок. Мыться не нужно, потому что это стирает жир с тела. [...] Не должно стричь волос, ни ногтей; это отнимает сок у человека. Держите ваш желудок в порядке, никогда не лечитесь. Если желудок в порядке, то не тратьте более пяти минут на испражнение. Если вы на это тратите больше времени, вы — больны. Чтоб желудок был в порядке, ешьте больше яблок и картофеля и пейте три стакана воды в день. Если будете жирно есть, то и два часа просидите без последствий. [...] Когда я здороваюсь с моим приятелем, то всегда говорю: не здравствуйте, а: «Хорошо ли вы испражнялись?» и тот тем же мне отвечает» и т. д. (Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих // Л. Н. Толстой. Летописи Государственного литературного музея. Кн. 12. М., 1938. [Т. I]. С. 419 – 420).

Легко догадаться по этим суждениям бродячего философа, что именно он мог послужить Толстому одним из прототипов для образа

«свободного человека», беспаспортного старика-сектанта в романе «Воскресение» (см. ч. 3, гл. XXI). Кстати сказать, сопоставление реального Бонде с реальным Толстым делает невозможными никакие спекуляции по линии отождествления бродяги из «Воскресения» с самим великим яснополянцем — к которым по сей день периодически прибегают непрофессиональные и нечестные, обманывающие читателей исследователи, такие как П. В. Басинский с его книгой о Толстом «Свободный человек» и единомысленные, единосущные ему такие же сволочи и дряни в Москве, в Туле и в Музее Ясной Поляны.

Казалось бы, длительные отношения с великим яснополянцем шведу обеспечены. Но, к сожалению, аскет не учёл состояния здоровья своего младшего по летам нового приятеля... да и тот, увлечшись, забыл про свои хронические болячки. Рассказывает Т. Л. Сухотина – Толстая:

«Кроме сырых яблок, швед готовил какие-то лепёшки, которые он ел тоже сырыми, и пил болтушку из овсяной муки с водой. Тяжёлые, как камень, лепёшки, конечно, совершенно расстроили здоровье отца, всю жизнь страдавшего болями желудка. Он сильно поплатился за своё увлечение» (*Сухотина-Толстая Т. Л. Указ. соч. С. 306*).

В конце концов в письме к супруге от 4 мая Толстому пришлось сознаться в своей оплошности:

«...У меня 3-го дня, следовательно, 2 мая, были довольно сильные боли в животе, похожие на те, которые бывали у меня при камнях. Я тотчас же поставил несколько клестьев, горячее на живот, потом компресс и через 3 часа боли прошли, и вот теперь, 4-е, 2-й час дня, я совсем здоров, только напуган этим приступом, и осторожен, как только можно быть. Ещё не ем ничего твёрдого, и не хожу, и не езжу, хотя ничего не болит. Маша [...] ходила за мной и хотела писать тебе тотчас же, но я удержал её и, как видишь, сделал очень хорошо, потому что всё прошло... Это наверно были камни, потому что очень было резко больно, хотя и не долго. Ни желтухи, ни окраски мочи, ни жару не было.

Странно сказать, но я истинно люблю эти боли. Бога вспомнишь. А главное, до этого я два дня был в страшно дурном расположении духа, ничего не мог работать. А теперь так свеж и бодр и 2-е утро хорошо работаю. Прощай, душенька, пожалуйста же, не беспокойся и знай, что я всю тебе написал правду» (84, 148 – 149).

Сомнительно, что такое письмо могло успокоить Софью Андреевну, или что она могла хотя бы совершенно поверить ему. Но, по воспо-

минаниям всё той же Е. И. Раевской, Софья Андреевна узнала о болезни мужа прежде получения этого письма: Елена Павловна Раевская, вдова И. И. Раевского, жившая в Туле с детьми, узнала о приступах Толстого от прибывшего к ней из имения управляющего и, конечно, немедленно довела всё до сведения Софьи Андреевны:

«Получив письмо 6 мая в 10 часов вечера, графиня, не медля ни минуты, тут же выехала 6-го по двенадцатичасовому ночному поезду и 7-го числа вечером прибыла в Бегичевку, приехав со станции Клёкотки [...] в маленькой тележке» (*Раевская Е. И. Там же. С. 420*).

Дальнейшее пусть расскажет сама С. А. Толстая, по мемуарам «Моя жизнь»:

«Приехала вечером, Лев Николаевич уже здоровый сидел за большим столом с своими сотрудниками, которых было много, а на полу лежал старый швед и спал, а может быть, и притворялся, что спит, так как было очень шумно.

Лев Николаевич как будто был мне рад. Я гуляла с ним, посещая столовые, следила за его здоровьем, а главное, регулировала его пищу, стараясь как можно лучше кормить его. Желтуха, очевидно, была, так как зрачки его совершенно пожелтели.

9-го мая я уехала, заехала в Туле к Елене Павловне Раевской, куда приехал и губернатор Зиновьев и вручил мне там свидетельства Красного Креста, которые я тотчас же послала в Бегичевку с письмом, в котором между прочим пишу: «Целую Машу, которая была очень мила: светлая, кроткая и приятная... Так и вижу вашу пыльную Бегичевку, но мне там было оба раза хорошо» (*МЖ – 2. С. 282*).

Это очень важное для нас признание Сони из цитируемого ей в мемуарах письма её к мужу. В особенности если помнить отрицательные отзывы её о Бегичевке из прежней, зимней поездки. Пусть и не сразу, но Птица Небесная духа и разума расправила крылья и в ней. И назвать христианское служение Сони «второстепенным», менее значительным, чем служение бедствовавшему народу Льва — не решится никто. Титану с огромными крылами потребно накормить народ (да и всему человечеству оказать своей нравственной проповедью важную духовную помощь!), а маленькой птичке рядом... важно, чтобы сам кормилец не голодал и не болел, оставался в силах для благороднейшего своего дела!

В письме Л. Н. Толстого к жене из Бегичевки от 12 мая о Бонде он пишет всего одно предложение, свидетельствующее о сохранившейся и после неудачной диеты и болезни симпатии к нему (хотя, кажется, ставшей более умеренной): «Швед грустен, сидит в уголке и зябнет, но говорит всё так же радикально и умно» (*84, 150*).

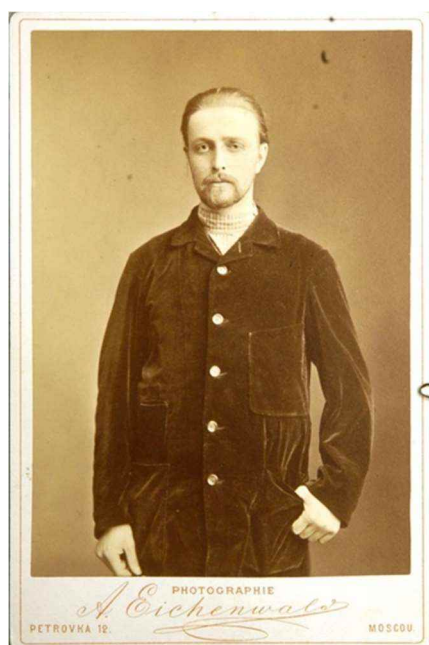
Однако, как вспоминает дочь писателя Татьяна, уезжая в мае из Бегичевки, Толстой шведа с собой в Ясную Поляну не взял, попросив приехать следом «и обещая прислать за ним экипаж в Тулу на Сызрано-Вяземский вокзал». Объяснение этому Толстой дал вполне юмористическое:

«— Когда я езжу один по железным дорогам, то меня стесняет то, что на меня обращают внимание. А везти с собой своего двойника, да ещё полуголого — на это у меня не хватит мужества!» (*Сухотина-Толстая Т.А. Воспоминания. М., 1976. С. 307*).

Дальнейшая судьба странного шведа постепенно теряется в неизвестности. Конечно же, Авраам фон Бонде, помимо непростительного своего проступка в отношении здоровья Льва Николаевича, и в целом произвёл на Соничку самое невыгодное впечатление — что-то сродни грязному и нездоровому животному. Всё же, по воспоминаниям Т. А. Сухотиной-Толстой, он был принят и долго терпим в Ясной Поляне — вместе со всеми своими чудачествами, как, например, раздевание догола, спаньё на полу и под. И лишь когда он стал грубо конфликтовать с другими гостями Ясной Поляны, Толстой с дочерью Таней деликатно выселили его — сперва в ближнюю деревню Овсянниково, в маленький домик, в котором жила такая же радикальная аскетка, «толстовка» Мария Шмидт, а позднее, хлопотами Толстого, Бонде должен был переехать в Воронежскую губернию, на участок земли, где мог бы осуществить свои земледельческие планы, но... не признавая документов, он не смог, по действовавшим законам, сделаться официально оседлым жителем Российской Империи и, вероятно, вскоре покинул её (*Сухотина-Толстая Т. А. Указ. соч. С. 309 – 314, 490. Примечания.*).

Второй сюжет, на котором, завершая данную Главу реконструирования картины святого христианского служения Льва Николаевича Толстого голодающей России в 1892 году, нам необходимо задержать внимание читателя — довольно печальный и чреватый той трагедией, которой завершилась для Софьи Андреевны в 1910 году попытка жить с мужем-христианином, не разделяя его религиозного понимания жизни. В центре этого сюжета снова оказывается ближайший друг Льва Николаевича, Владимир Григорьевич Чертков — человек с тяжёлым характером и далеко не всегда открытыми, честными намерениями. Не умом, а именно своим психическим складом он был «язычник» — в том же смысле, в каком грустно признавала себя «язычницей» и Софья Андреевна Толстая: то есть человек, необходимо и во многом разделявший то низшее по отношению к христианству, «мирское» понимание жизни, которое отдаёт человека во

власть главных и страшнейших по разрушительности грехов: властолюбия, тщеславия, похоти, корысти... Впрочем, в отношении Льва Николаевича Чертков вряд ли когда-то мог явить именно грех корыстолюбия: он по наследству был гораздо богаче, чем семья Толстого. Вряд ли можно говорить и о похоти — вопреки позднейшей «догадке» уже совершенно душевно не здоровой в 1910 г. Софьи Андреевны о гомосексуальном партнёрстве её 81-летнего мужа с Чертковым. А вот что касается властолюбия и тщеславия... Это и были главные обвинения в адрес В. Г. Черткова из уст и в писаниях уже его современников. Он стремился наложить тяжёлую длань своего влияния не только на рукописи Льва Николаевича, не только на ход и результаты его творчества, но и на *семейные отношения* Толстого, и прежде всего — с *женой*, в которой Черткову виделся конкурент за историческое место «по правую руку от гения».



Владимир Григорьевич Чертков.
Фотография А.Ф. Эйхенвальда. 1883 г.

Конфликтные, неприязненные отношения жены Толстого с В. Г. Чертковым берут начало в 1887 г., когда она нечаянно (хотелось бы верить, что именно так) прочла письмо Льву Николаевичу его «одноцентренного друга», где были такие строки:

«Галя около меня, и нет такой области, в которой мы лишены обоюдного общения и единения. Не знаю, как благодарить Бога за всё то благо, какое я получаю от этого единения с женой. При этом я всегда вспоминаю тех, кто лишён возможности такого духовного общения с жёнами, и которые, как, казалось бы, гораздо, гораздо более

меня заслуживают этого счастья. ...Я объясняю себе это обстоятельство, с первого взгляда кажущееся несправедливым, тем, что люди эти, именно потому, что они сильнее меня и могут обходиться меньшим, именно, потому-то лишены той роскоши духовного единения с женой, которою я пользуюсь. Силы их больше и задача и условия их жизни соразмерно труднее и значительнее» (Цит. по: 86, 33).

Конечно же, это по внешности «общее» суждение о жёнах, с которыми великим мужьям невозможно духовное общение Софья Андреевна вполне справедливо отнесла на свой счёт. Вдвойне болезненней было Соничке сопоставление Чертковым её с собственной его женой, *Анной Константиновной Черткой* (урожд. Дитерихс; 1859 – 1927), имевшей в кругах толстовцев кличку «Галя». Духовное единомыслие «Гали» с мужем и Львом Толстым, единоверие в Боге и Христе либо переосмысливалось в сознании Софьи Андреевны таким образом, что превращалось в свидетельство «глупости» или «слабохарактерности» Анны Константиновны, либо находило рационализацию в том, что семья Чертковых, будучи чрезвычайно богатой и защищённой от репрессий могучими «связями», вплоть до придворных, могла себе позволить «юродство» христианской жизни.



Анна Константиновна Чертова

В дневнике Софьи Андреевны под 9 марта 1887 г. появилась такая запись о тайном чтении чужого письма:

«Я прочла, и мне больно стало. Этот тупой, хитрый и неправдивый человек [...] хочет разрушить ту связь, которая скоро 25 лет нас так тесно связывала всячески!»

И ниже, как резюме:

«Отношения с Чертковым надо прекратить. Там всё ложь и зло, а от этого подальше» (ДСАТ – 1. С. 116).

«Я возненавидела тогда Черткова» — признаётся Софья Андреевна в мемуарах (МЖ – 2. С. 19). Но дальше «установки на разрыв» отношений дело так и не пошло: человек, во-первых, воспитанием и происхождением светско-аристократический, то есть принадлежащий как раз к тем кругам, которые были ближе и любимее всего Соне; во-вторых молодой и красивый мужчина (что, конечно же, имело значение для Сони не столько как для женщины, сколько как для эстетически утончённого человека); в третьих же, и главное — многообразно полезный её мужу и *духовно* необходимый, Чертков не мог быть изгнан из толстовского дома так же просто, как сделали это с чудачком шведом.



Хутор Ржевск. На лестнице барского дома: слева вверху — В.Г. Чертков с сыном Володей; в центре сидят — Е.И. Черткова и А.К. Черткова, другие домочадцы. 1896 г.

Отношения продолжились... и приняли к 1892 году ещё более, со стороны Черткова, «токсичный» характер. Почуввав в готовящемся Львом Николаевичем трактате «Царство Божие внутри вас» значительное в человеческой и христианской истории сочинение, навязчиво заботливый друг озаботился не просто *контролировать*, но и специфически «стимулировать» работу Льва Николаевича. Напомним читателю, что приехавший в ноябре 1891 г. в Бегичевку М. Н. Чистяков имел от Черткова поручение: забрать у Толстого и привезти к нему (на хутор Черткова Ржевск в Воронежской губ.) первые восемь готовых глав «Царства Божия». Как мы знаем, Толстой сильно задержался с писанием 8-й главы, и Чертков никак не мог дожидаться заполучить её. Первые семь глав были переписаны на хуторе Черткова начисто, будто для публикации. В марте 1892-го тот

же Чистяков снова караулил, буквально «над душой» автора, 8-ю главу — в Москве, во время пребывания там Толстого. Несомненно, это был элемент манипулятивного давления на Толстого, любившего возвращаться к уже, казалось бы, оконченным писанием текстам и снова перемарывать и переделывать их... В середине апреля 1892 г. рукопись 8-й главы отправилась к Черткову, а оттуда в конце месяца, уже в переписанном виде — снова к Толстому, в Бегичевку. Причём Чертков прислал с рукописью своего переписчика, Евдокима Платоновича Соколова (1873 – 1919), крестьянина-грамотея, ловкого и хитрого, служившего в хуторе Ржевск у Черткова и для выполнения иных, что называется, «особых» и негласных поручений. В письме от 28 апреля Лев Николаевич деликатно давал понять «заботнику», что не намерен прерывать работу помощи крестьянам ради желаемого Чертковым скорейшего окончания трактата (87, 144 – 145). Соколов, однако, так и кружил, как стервятник, вокруг Толстого битый месяц, уехав из Бегичевки только 23 мая — конечно же, без вожделенной Черткову рукописи.

Примечательно, что в этом же письме Толстой рассказал Черткову и о новоприбывшем в Бегичевку шведе Бонде, с самых положительных сторон охарактеризовав его интеллект, нравственный облик и согласные с убеждениями поведенческие практики. Он просил Черткова принять Бонде и поселить на хуторе, на клочке земли. Но Чертков в ответном письме... открестился от «духовного собрата» из Швеции, попросив Толстого *не* присылать Бонде к нему. С наибольшим вероятно — побоявшись внимания к себе полиции в связи с проживанием на его земле «хлебороба», не признающего ни денег, ни документов, ни даже обыкновенной человеческой одежды. Копию с письма Толстого Чертков направил толстовцу Е. И. Попову, а тот переслал её другому «сочувствующему», А. И. Алмазову, бывшему психиатру, занимавшемуся сельским хозяйством в своём имении. Это могла бы быть идеальная судьба для неотмирного шведа: любимый труд под наблюдением духовно сочувствующего психиатра! Но, видимо, и тот испугался селить в своём имении «лицо» без документов.

Сам «христианнейший» Владимир Григорьевич во всю «голодную эпопею» не подверг (в отличие от той же Софьи Андреевны) свою задницу никакой опасности, не навестив ни тифозной, холерной и дизентерийной Бегичевки, ни Патровки, где едва не погиб от простуд, тифа и переутомления младший сын Толстого, Лев Львович. Он предпочитал «просвещать во Христе» народ, готовя к публикации тексты для издательства «Посредник»: это ведь куда как менее хлопотно и более безопасно, чем кормить или лечить!

Толстой молчал, терпел и не жаловался жене на дёрганья со стороны «посланцев» от Черткова. Но скрыть ничего не удалось. О «стервятнике» Соколове её известили, и 4 мая она отправила В. Г. Черткову некое критикующее письмо, которое тот, прочтя, переслал Толстому с жёстким распоряжением: ознакомиться и *изорвать*. К сожалению, Толстой исполнил эту волю своего духовного собрата (или уже *контролёра*?). Чертков же отправил Софье Андреевне 8 мая отповедь такого лживого и гнусного содержания:

«...Вы находитесь в полном заблуждении. Никого я к Льву Николаевичу за рукописью не посылал и нисколько его не тороплю, не “мучаю” окончанием этой работы. Я наоборот послал ему списанную рукопись, следуя в этом его собственному желанию, определённо мне сообщённому» (*Цит. по: 87, 147*).

Последнее, кстати, было правдой. Но подчеркнём: во всём письме — ни слова о «сторожах», включая Соколова, *вымогавших* у Толстого рукописи, хотя и не вербально, но одним своим молчаливым присутствием в его доме, в Москве и в Бегичевке!

А далее — *очень* болезненный удар по Соне:

«В вашем письме ко мне вы упоминаете о Льве Николаевиче, как об “утомлённом *нервном* старике”. Вы знаете, Софья Андреевна, как давно я уже совсем воздерживаюсь от высказывания вам моего мнения о ваших отношениях к Льву Николаевичу. Но раз вы сами затрагиваете со мною этот вопрос, я чувствую, что обязан и с своей стороны ответить вам откровенно и правдиво. Во Льве Николаевиче я не только не вижу *нервного* старика, но напротив того привык видеть в нём и ежедневно получаю фактические подтверждения этого, — человека моложе и бодрее духом и менее *нервного*, т. е. с большим душевным равновесием, чем все без исключения люди, его окружающие и ему близкие. Он вообще, по моему глубокому убеждению, гораздо разумнее нас всех; а по отношению к *своим* поступкам и распоряжению *своими* занятиями он несомненно гораздо лучше кого-либо из нас знает что, где, когда и как делать. И потому ни вам, ни мне, и никому из нас не подобает становиться по отношению к нему в положение «оберегателя его труда», как вы о себе выражаетесь. [...] ...Теми вашими поступками, в которых вы действуете наперекор желаниям Льва Николаевича, хотя бы и с самыми благими намерениями, вы не только причиняете ему лично большое страдание, но даже и практически, во внешних условиях жизни очень ему вредите.

[...] Высказал я вам всё это, Софья Андреевна, для того, чтобы объяснить вам, почему, если в данном случае вы и ошиблись в вашем

предположении о моём образе действия с рукописью Льва Николаевича, я однако в будущем не могу обещаться воздерживаться от такого именно отношения к Льву Николаевичу, которое вы порицаете, но я считаю единственным правильным. [...] ...При возникновении таких или иных запросов к нему, буду их предъявлять ему, не откладывая до наступления других предполагаемых условий, которые могут никогда и не наступить» (Цит. по: Там же. С. 147 – 148).

Любопытно, что в черновике письма Чертков прямо указал, что-де жена годами лишает Льва Николаевича «душевного отдохновения», но позднее вычеркнул эти строки (Там же. С. 149).

Это уже не «третий лишний» в общении мужа и жены. Это уже лишний *на месте одного из двоих*, а именно Софьи Андреевны — настырно «отодвигающий» её от мужа, претендующий на *дуэт*, без её «духовно чуждого» влияния в жизни мужа.

Вот по поводу этой чертковской злой филиппики Софья Андреевна пишет мужу в ночном письме 14 мая уже открыто, хотя по-толстовски деликатно (скорее снова ставит вопрос о поведении Черткова, нежели разрешает его):

«Чертков написал мне неприятное письмо, на которое я слишком горячо ответила. Он, очевидно, рассердился за мой упрёк, что он торопит тебя статьёй, а я и не знала, что ты сам её выписал. Я извинилась перед ним; но что за тупой и односторонне-понимающий всё человек! И досадно, и жаль, что люди узко и мало видят; им скучно!» (ПСТ. С. 524).

Письмо это, ответ Сони Черткову, сохранилось. Приводим наконец выдержки и из него:

«Вл. Григ., в том, что я упрекнула вам за присылку конца статьи — я виновата. Так как я не живу с Л. Н., я не знала, что он сам её у вас вытребовал, и прошу извинения. Но ваше недовольство, что я упомянула о том, что человек 64 лет — старик, что деятельность утомила его и что он нервный — мне было удивительно. О духовном его состоянии я не говорила: не вам, не мне его судить, а вы наивно выражаетесь, что он — разумнее нас всех! Да разве такое сравнение возможно? Мы, люди простые, крайне односторонние, — а он вековое явление. И если я 30 лет *оберегала* его, то теперь ни у вас и ни у кого-либо уж учиться не буду, как это делать [...]. Что касается *вреда и страдания*, о которых вы упоминаете, что я причиняю мужу моему, то кроме вашего взгляда, который усмотрел это, — ещё другого не было. Все видели и видят нашу 30-летнюю счастливую жизнь, а если последнее время иногда и казалось, что были тяжёлые минуты, то только благодаря посторонним вмешательствам совершенно чуждых нам людей, которые сознательно и бессознательно портили

нашу семейную жизнь и вторгались в неё [...]. Не забыла и не прощу я вам никогда одного — это ещё несколько лет тому назад я прочла в вашем письме сожаленье Л<ьву> Н<иколаевичу>, что ему в лице меня послан *крест*. Теперь вы это повторяете иносказательно — мне. Да вспомните, Вл. Гр., что кроме вашей — есть воля Божья, и если бы правда была, что это крест, то нельзя даже упоминать об этом человеку, которого любишь; а, любя, надо искать и указать на те светлые стороны жизни, которые есть у всякого. Больше мне вам сказать нечего, как пожелать больше доброты и ясности, и меньше вмешательства в чужую жизнь» (Цит. по: ПСТ. С. 525 – 526).

С несением креста жизнь Толстого с женой Чертков сравнил ещё много ранее рокового письма 1887 года... и, разумеется, ошибался. Вот как своё положение, по отношению к этому христианскому образу, характеризовал сам Толстой в Дневнике 3 мая 1884 г.:

«...Нашёл письмо жены. Бедная, как она ненавидит меня. Господи, помоги мне. Крест бы, так крест, чтобы давил, раздавил меня. А это дёрганье души — ужасно не только тяжело, больно, но трудно» (49, 89).

Увы! но уже к началу 1890-х, и до самого конца земного бытия Льва Николаевича Толстого, таким «дёргателем», на пару с Софьей Андреевной, стал — конечно же, тоже с самыми благими намерениями — и В. Г. Чертков. Именно с этим, с благими намерениями, «дёрганьем души» связана знаменитая и трагическая запись Льва Николаевича во второй тетради «Дневника для одного себя» 1910 г.: «Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти ото всех» (58, 138).

Однако возможности, как в начале 1890-х, уйти от суетливых претендентов на «духовное наследие» и просто наследство в практическое дело, каким была помощь голодавшим крестьянам, у Толстого в 1910-м не выдалось. Земной полёт был окончен, миссия выполнена. Отяжелевшие мирскими тяготами и горем крылья Птицы Небесной Льва отказали ему, приковав умирающее тело к постели в доме железнодорожного начальника на станции Астапово. Там и до сей поры музей, в котором, как и в Ясной Поляне, копошится полчище бюджетных, от роду и пожизненно бескрылых музейных крыс, кормящихся с материальных останков этого, одного из величайших в человеческой истории, духовных освобождений.

Здесь Конец Главы Седьмой





Глава Восьмая

ТАК УСТАЛИ ОБА, А ДО КОНЦА ДАЛЕКО

(Лето 1892 г.)

Пословица говорит:
сухая рука прижимиста, потная рука торовата.
Так и в «Учении 12 апостолов» сказано:
пусть милостыня твоя потом выходит из руки твоей.

(Л. Н. Толстой)

8. 1. В БЕГИЧЕВКЕ В ИЮНЕ 1892 Г.

В начале Восьмой главы, реконструирующей события уже лета 1892 года, финала первого года бегичевской эпопеи, вспомним характеристическое, очень эмоциональное признание Софьи Андреевны из письма к мужу от 18 февраля:

«<Дочь> Таня кому-то в Москве сказала: “как я *устала* быть дочерью знаменитого отца”. — А уж я-то как устала быть *женой* знаменитого мужа!» (ПСТ. С. 497)»

Усталость, конечно же, коснулась и Толстого. В своём втором публичном «Отчёте об употреблении пожертвованных денег», теперь за период уже с 12 апреля по 20 июля 1892 г. он свидетельствует об определённых эмоциональных «выгорании» и «отупении», сделавших его и помощников его малочувствительными не только к видам крестьянских несчастий, но даже к слёзам и мольбам:

«...Я не мог бы ответить на вопрос о том, каково положение народа: тяжело, очень тяжело или ничего? потому что мы все, близко жившие с народом, слишком пригляделись к его понемножку всё ухудшавшемуся и ухудшавшемуся состоянию.

[...] Да, нам надоело. А им всё так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви...» (29, 166, 168).

Но это «отупение», скорее, было психологической защитой, необходимой при длительном стрессе — чуждой эгоизма. В Дневнике после приезда из Бегичевки в Ясную Поляну, 26 мая 1892 года, Толстой свидетельствует, что для него в Бегичевке «время прошло как день»: а вот некоторые из интеллигентской толстовствовавшей сволочи — «выгорели», что называется, начисто: «Тяжелое больше, чем когда-

нибудь, отношение с тёмными, с Алёхиным, Новосёловым, Скороходовым. — Ребячество и тщеславие христианства и мало искренности» (52, 66).

Перед очами очень молодых, по преимуществу, людей, протекала, в изнурительном напряжении трудовой повседневности, жизнь исповедника Христа в земном, в миру, святом служении — георическая и бесстрашная перед болезнями, перед смертью в той степени, какой не могли похвастать они сами. Их самих сцены реального ужаса народной жизни и смерти повлекли в мистические настроения, сомнения, страхи, а за их разрешением они, аки псы на блевоту, массово потянулись к «родной» с детства православной церкви. Той единственно потребной внутренней работы над собой, в которой черпал Толстой-христианин силы для служения Богу и Христу, казались им недостаточными вне церковного «лона» и вне возможности каких-нибудь внешних, выходящих из ряда вон, манифестаций своей веры. Разочарование в самих себе перед историческим подвигом Духовного Царя России они, по свойству человеческой психологии, переносили на личность и веру самого Льва Николаевича. Усталость и разочарование приняли формат довольно острых религиозных прений с «учителем». Вот свидетельство Веры Величкиной о настроениях в Бегичевке в мае 1892 г.:

«Среди сторонников учения Льва Никол<аевича> и его близких учеников начинался тогда серьёзный раскол. Одни продолжали оставаться на его точке зрения; другие, как Ар<кадий> Ал<ёхин> и Мих. Н<овосёлов> уходили в мистицизм и возвращались в православие. Страстная душа Ар. Ал<ёхина> искала тогда сильной организации, обладающей традициями и влияющей на широкие массы народа, и ему, по-видимому, казалось, что такую именно организацию может собой представить официальная церковь. Мих. Н<овосёлов> интересовался больше отвлечёнными вопросами, — искуплением, воскресением, благодатью и т. п. Он был одним из любимцев Льва Ник<олаевича> и сделался потом одним из самых ярых противников его. Льву Ник<олаевичу> самая мысль о какой-то внешней организации была неприятна, а возвращение к православному образу мыслей прямо чуждо.

Иногда разговоры принимали довольно острую форму. Лев Ник<олаевич> волновался иногда и долго после повторял:

— Ах, какой ужас, как они могли дойти до какой-то веры в благодать. Так, ведь, один шаг только до настоящего поповства.

И жизнь показала, как мало он ошибался.

Очень остро стоял также и семейный вопрос. Лев Ник<олаевич> очень настойчиво уговаривал одного из наших товарищей вернуться

в свою семью, где у него осталась жена и несколько человек детей, и работать на них. В ответ на это ему говорили, что Христос сказал: «Оставь отца и мать твою и следуй за мной», и затем поднимали вопрос о самом Льве Ник<олаевиче>. Преданные ему и страстно его любящие ученики страстно убеждали его тоже оставить семью и идти в народ, говорили, что место его среди масс.

Лев Ник<олаевич> часто раздражался на это, говорил, что человек не имеет права отнимать себя у семьи и что он должен нести свой крест, хотя он и чувствует, что этот крест для него тяжёл. К вопросу об уходе он относился с необыкновенной резкостью.

В ответ на это его обвиняли в консерватизме. Слушая его горячие возражения, кто бы мог подумать, что и у него у самого зрела та же мысль об уходе» (*Величкина В.М. У Л. Н. Толстого в голодный год // Современник. 1912. № 6. [Июнь.] С. 158 –159*).

Тут же, в Дневнике на 26 мая, Толстой даёт христианский простой «рецепт» о том, как сберечь силы: «Бог учит людей страданиями, теперь голодом, как люди учат бессловесных животных: не понимает — ещё 5 часов без еды. Так нас учит Бог теперь; но мы плохо понимаем. Хотим, не изменяясь, быть сытыми. Это-то и плохо. [...] Надо быть по отношению воли Бога как добрая породистая кобылка, которую я выезжал. Она не вырваться хотела, не перестать служить, а только хотела догадаться, чего, какой работы я хочу от неё! Она пробовала то с той, то с 2-ой, то с 3-й ноги, то вправо, то влево, то голову вверх. Так и нам надо. Так и я желаю. Помогите» (*Там же. С. 66 – 67*).

К «усталости» же Софьи Андреевны, помимо вербализируемых ей забот о семье, о своих иссякающих силах и о здоровье мужа, применялась особенная «любовь», неотторжимая от потребности *обладать* любимым человеком, постоянно видя его, и даже *контролировать* в его действиях и отношениях с прочими людьми. Почувствовав снова в Черткове конкурента в этом обладании и контроле (а значит, и врага), как свидетельствует запись в Дневнике Льва Николаевича, в дни его очередного краткого, с 24 мая по 2 июня, отпуска и приезда с дочерью Машей и жизни с ней — уже в Ясной Поляне, куда по обыкновению переехала на лето семья — Софья Андреевна снова была не в духе:

«Соня мрачна, тяжела. Уж я забыл это мученье. И опять. Молился нынче о том, чтобы избавиться от дурного чувства». И тут же: «Я собрался ехать» (*Там же. С. 67*).

Хорошо, когда *есть, куда уехать!*

Главное занятие Толстого этих дней — попытка завершить «последнюю», как он ещё предполагает тогда, VIII - ю главу религиозного трактата «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание». Работы подвигается «очень медленно», «никогда я не писал с таким напряжением» признаётся Толстой в письме к Г. А. Русанову от 31 мая. Причина — в особенной важности предмета, которому посвящено сочинение: «О новой форме жизни, о новой ступени Царства Божия, на которую мы вступаем» (66, 224 – 225).

В письме Русанову, духовному единомышленнику, выразилось полученное бегичевской практикой убеждение Толстого, позднее, в 1900-е гг., приведшее его к идее религиозного «конца века», слома эпох, выраженной в одноименной статье:

«Много я за нынешний год, копаясь во внутренностях народа и пытаясь делать невозможное — помогать деньгами беде людской, многое я узнал, передумал и более всего проверил и подтвердил известное, а именно, что внешней беды нет, а все беды внутренние. Какая будет развязка, не знаю, но что дело подходит к ней и что так продолжаться, в таких формах, жизнь не может, — я уверен» (Там же. С. 225).

Поездка Толстого в Бегичевку со 2 по 15 июня, как и предыдущая, лучше всего реконструируется по его переписке с разными лицами и мемуарам близких участников: будучи слишком занятым, он не ведёт Дневника.

Вот некоторые сведения из дневника Е. И. Раевской:

«23 мая 1892 г. Лев Николаевич с Марией Львовной уехали в Ясную Поляну; в Бегичевке остался распорядителем и уполномоченным ими Матвей Николаевич Чистяков.

По сие время открыто графом Л. Н. Толстым 206 даровых столовых как в Тульской, так и Рязанской губерниях. Кроме того, он раздавал крестьянам дрова на топку, посылку лошадям, семена овса, льна, проса, конопли.

Третий сын графа Лев Львович в Бузулукском уезде, Самарской губернии открыл и обеспечил до июля месяца 1892 г. 200 даровых столовых и обсеменял на свой счёт 700 десятин овса для нуждающихся. Его считают там благодетелем всего края. Помощником в этом добром деле служил ему Иван Александрович Бергер.

2 июня 1892 г. вернулись в Бегичевку Лев Николаевич с Марией Львовной, а вслед за ними приехала и Татьяна Львовна.

[...] 9 июня собралось на хуторе большое общество: все Толстые, В. А. Кузминская, трое молодых Раевских, двое Давыдовых <Николай Васильевич Давыдов (1848 – 1920) и Василий Васильевич Давыдов (1843 – 1896), член московской судебной палаты, женатый на сестре Е. П. Раевской. – *Ред.*>, студент-медик, все Философовы с американкой мистрис Томас (Mistress Thomas), уже немолодой женщиной, приехавшей из Нью-Йорка, чтоб ознакомиться с деятелями по народному продовольствию. Мистрис Томас говорит только по-английски с американским, впрочем, акцентом, по-русски, конечно, ни слова» (Раевская Е.И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих. Указ. изд. С. 423 – 424).

Вера Величкина раскрывает некоторые неприглядные подробности июньского приезда Толстого, которые обошли молчанием и биографы Толстого, и, конечно же, бабушка Раевская. Барские детки вдруг восхотели — вероятно, по причине летней поры — выселить из бегичевского дома «министерство добра» Льва Николаевича (и, кстати, добились в этом успеха):

«Заведывание центральным складом и счетоводством, в отсутствие Льва Ник<олаевича>, поручено было теперь К<апитону> Ал<ексеевичу> В<ысоцкому>, прекрасному работнику и очень скромному человеку, которого мы все очень полюбили. Но вскоре после отъезда Толстых, в Бегичевскую усадьбу приехали молодые помещики Р<аевские>, и у них вышло какое-то столкновение с К<апитоном> Ал<ексеевичем>, и настолько неприятное, что К<апитон> Ал<ексеевич> хотел немедленно же уехать; но другие товарищи уговорили его пока переехать в помещение школы, — крошечный домик, стоявший пустым, благодаря летнему времени. А двое из них, — Ар. Ал<ёхин> и М. Н<овиков> отправились в Ясную Поляну, чтобы выяснить положение вещей и попросить Льва Ник<олаевича> вернуться и опять направить нашу работу так же независимо от местных помещиков, как она была до сих пор.

Миссия их увенчалась успехом, и Толстые в самых первых числах июня снова вернулись в Бегичевку...

По-прежнему, по воскресеньям стали собираться сотрудники, теперь даже в гораздо большем количестве, чем зимой, потому что и сотрудников было больше, и ездить летом стало легче. А обо мне в Бегичевке так трогательно заботились, что каждую субботу присылали за мной лошадей <В.М. Величкиной тогда было поручено наблюдение за работой столовых в 30 верстах от Бегичевки, в дер. Сухорожне. – Р. А.>. Но собирались мы теперь уже не в усадьбе, потому что там жила семья местных помещиков, и стеснять их было

неудобно, а или в школе, или, когда соберётся много народу, — в большой просторной риге. Всегда к нам приходил и Лев Ник<олаевич>, и, по-прежнему, завязывались горячие разговоры и споры.

Нередко на Льва Ник<олаевича> нападали за то, что он дружит с помещиками и "пьёт чай с прокурором", — своим родственником А. М. Кузминским, бывшим тогда прокурором суда. "Так можно, пожалуй, и с жандармом чай пить", — говорили ему его пылкие ученики. — Да, я и с жандармом буду пить чай, — горячо возражал Лев Ник<олаевич> — и в жандарме постараюсь найти человека. А вот с теми, которые в какую-то благодать верят, у меня уже ничего не может быть общего. Тут конец разумному сознанию. Вот, например, Бобринский — и хороший человек, а верит в какое-то искупление. И нам с ним теперь не о чем больше говорить.

Как раз в то время у некоторых сторонников учения Льва Ник<олаевича> начинался переход к православию, и Лев Ник<олаевич> не мог без некоторого раздражения говорить об этом. И после таких разговоров между ним и его учениками чувствовалось что-то враждебное. Только женский элемент среди нас почти всегда был на стороне Льва Ник<олаевича>, и он тихонько переходил и подсаживался к нам, спрашивал о нашем мнении.

И затем опять завязывались разговоры, исчезала тёмная тень вражды, и Лев Ник<олаевич> иногда принимался рассказывать что-нибудь из своей прошлой жизни» (*Величкина В.М. Указ соч // Современник. 1912. № 6. [Июнь.] С. 170 – 171*).

У части толстовцев, как мы уже отметили выше, протест против "учителя" принял формат особенного мистического настроения, осязаемо противостоящего утилитарной повседневности Бегичевского христианского служения Толстого: дождавшись тёплых дней, они захотели уйти искать Царства Божия на Земле. Это одна из уникальных, дышащих настроениями верующей, нравственной молодёжи той эпохи, и одновременно романтических страничек Бегичевской эпопеи!

Рассказывает Верочка Величкина.

«В семье Толстых сторонники Льва Ник<олаевича> носили кличку "тёмные". Окрестила их так Софья Андреевна. Когда в кабинет Льва Ник<олаевича> приходили никому неизвестные, плохо одетые люди, желавшие потолковать со Львом Никол<аевичем>, они не приглашались к семейному чайному столу, и если кто-нибудь из знакомых Толстых спрашивал у Софьи Андреевны, что это за люди, то она просто отвечала: это — тёмные. В этом году кличка эта приобрела совсем особенное, высокое значение. Мы, молодёжь, подхватили её и придали ей глубокий, внутренний смысл. Всех последователей Льва

Ник<олаевича> мы разделили на "тёмных" и "светлых". "Тёмные" — это те, которые проводят в жизни учение Льва Ник<олаевича>, то есть те, кто отказался от всех благ и преимуществ своего положения и живут только трудами рук своих. А "светлые" были те, кто теоретически разделял взгляды Льва Ник<олаевича>, а в своей жизни не проводили и продолжали жить обычной, буржуазной жизнью, хотя и изменились к лучшему. Быть "тёмным" сделалось для нас идеалом, к которому мы стремились, и с тех пор слово "тёмный" получило определённый внутренний смысл. Один раз, гораздо позже, летом, как-то Татьяна Львовна, с которой я тогда уже сблизилась гораздо теснее и как-то сразу, как это бывает только в молодости, излагала мне свои взгляды. Я с удивлением заметила ей: "Да ты говоришь совсем, как тёмная" — "Да, я — тёмная в кружевах, разве ты этого не знала?" — ответила она мне.

И тогда ещё молоды были первые ученики Л. Н. Толстого. В пору общественного безвременья они представляли собой живой, протестующий элемент, полный, может быть, несбыточных мечтаний о царстве Божиим, об Иерусалиме небесном и самой мистической веры. Когда раз наш местный доктор спросил у А<лёши> Ал<ёхина>, что бы он выбрал: "тьмы низких истин" или "нас возвышающий обман", — тот, не колеблясь, ответил: "нас возвышающий обман". М<итрофан> А<лёхин> и Е. Сухачёв, тихий и кроткий человек, застрелившийся впоследствии в Канаде, говорили о физическом бессмертии, которое существует для тех, кто верит в него. М<итрофан> А<лёхин> видел разные пророческие сны и невольно заражал силой своего мистицизма.

И волей-неволей являлось страстное желание отказаться от всех своих логических выводов и погрузиться самой в это море веры, и идти к чему-то неведомому, но зовущему к жизни, вместе с теми, кто жертвовал, как нам казалось, всем ради того, что они считали истиной, — хотелось порвать все связи с своей прежней, бледной жизнью.

Обстоятельства благоприятствовали нашему более тесному общению. [...] К Святой все съехались в усадьбе Раевских. Здесь мы были отделены от остального мира разлившимися реками и могли только ездить в соседнее имение Паники.

Деловые разговоры о нашей повседневной работе поневоле прекратились, и мы целиком ушли в мир отвлечённых идей и планов на будущее. Здесь учениками Льва Ник<олаевича> поднят был знаменитый разговор об "уходе", который после не раз поднимался и со Львом Ник<олаевичем>. Нужно отречься от себя, оставить семью,

занятия, всё "мирское", как они выражались, всё личное, что привязывает нас к земной жизни, и идти к народу, делить его страдания и трудовую жизнь, проповедовать наступление царства Божия на земле и, по их образному выражению, искать "Иерусалима небесного", то есть добиваться царства правды и любви на земле. Это тяжело и серьёзно обсуждалось теми, у кого были семьи. Мы же, молодёжь, готовы были идти, куда угодно. С этим решением хотела я ехать в Москву, только станут дороги, и получить согласие моей матери» (Там же. С. 152 – 153).

Но не мать, а прежде неё Лев Николаевич деликатно, постепенно отговорил девушку от легкомысленного замысла и от самого идеала жизни с бродягами, убедив, что она со всеми устремлениями её разумного сознания и прекрасной души нужнее в Бегичевке — ему и крестьянам, которым он помогал. Вот продолжение рассказа:

«Наступил, наконец, день ухода наших странников. Это было 10-го мая. Они распростились уже с Бегичевкой и со всеми её обитателями и должны были провести ночь в Паниках, чтобы на утро уже отправиться оттуда. Идти они хотели без копейки денег, чтобы зарабатывать себе пропитание в дороге своим трудом.

Я окончательно уже решила остаться до нового хлеба в голодной местности и, чтобы не поднимать больше волнующих меня разговоров, распростилась с ними тоже в Бегичевке» (Там же. С. 164).

Лев Николаевич видел девичье сердце насквозь и нашёл повод отправить Верочку в деревню Паники — проститься с душевно милыми ей юношами.

«Только после полуночи добрались мы до Паник. Когда я вошла во флигель, то М<итрофан> А<лехин> встретил меня словами:

— Я знал, что ты придёшь.

Он был в каком-то приподнятом, мистическом настроении. Сначала жуткое чувство опять охватило меня, но затем его настроение стало передаваться и мне. Мы проговорили большую часть ночи.

Утром я с А<лександрой> Ф<илософовой> пошла проводить наших странников. Но, как только мы вышли из усадьбы, навстречу нам показалась только что вернувшаяся из Москвы Н<аташа> Ф<илофова>. Она была очень рада, что ещё застала странников и уговорила их остаться ещё на день. Я же простилась с ними и пошла в Бегичевку, но они догнали меня и тоже уговорили остаться на денёк вместе.

День прошёл в самых серьёзных и напряжённых разговорах. На утро все были в спокойном и даже радостном настроении. Когда странники вышли в путь, вся окрестность была закутана густым, тёплым туманом. В двух шагах ничего не было видно. Я должна была

идти с ними до подороги по пути в Бегичевку, а сёстры Ф<илософовы> провожали нас. Вдруг впереди разорвалась белая пелена тумана, и из-за её обрывков на нас выглянуло яркое, сияющее солнце и осветило всю окрестность. Под его горячими лучами быстро, быстро начали исчезать и таять белые стены тумана и всё, что закрывало от нас далёкий горизонт. А яркое солнце всё больше и больше заливало окрестность и, как победитель, поднималось всё выше и выше. На всех эта картина произвела сильное впечатление.

— Теперь мы вступаем в область света, — сказал М. А., — а там всё прошлое останется позади, в тумане. Нас ждёт Иерусалим небесный!

Простившись с Ф<илософовыми>, мы пошли дальше молча; никому не говорилось. Наконец, мы дошли до перекрёстка, где я должна была с ними расстаться.

— Пойдём с нами, — сказал В<овка> С<короходов>, — вот так прямо, как есть, не готовясь. Платье можно по дороге обменять на крестьянское.

Предложение было очень заманчиво, но у меня уже не было никаких колебаний в душе. Мы тихо расстались, и они пошли. Но едва они отошли несколько десятков шагов, как я сделала движение и чуть было не последовала за ними. Они почувствовали это и обернулись ко мне. Но я уже опомнилась, улыбнулась своему порыву и махнула им только рукой. Они пошли дальше, а я спокойно направилась в Бегичевку» (*Там же. С. 166 – 167*).

Стыд же тому, кто о добрых порывах этих молодых людей подумает насмешливо или недобро! Именно чистый Божий и Христов лъвёнок Митрофан Алёхин сам повлиял на Толстого своими *бесценными* прозрениями о христианских смыслах пищевого и полового воздержания — как раз в период работы писателя над «Крейцеровой сонатой» и статьёй «Первая ступень». Впоследствии Митрофан Васильевич поселится в Нальчике, став свободным — и выдающимся в крае! — художником, а также столяром и бортником. В тихой, просветлённой радости среди любящих и благодарных ему людей он доживёт до 1936 года. А Владимир Иванович Скороходов, поселившись в Грузии, осуществит мечту Льва Николаевича Толстого о трудовой жизни на земле. В 1916 году, он опубликует мемуары «Воспоминания старого общинника». Судьба будет благоволить Владимиру Скороходову до конца: он не доживёт до эпохи большевистской расправы над независимыми христианами-общинниками и уничтожения самих толстовских общин, скончавшись в относительно свободном 1924 году.

Верочка знала, что, проводив милых своих просветлённых искателей, сама она возвращается к реальной — не столь заманчивой и радующей воображение, жизни, как та, в которую позвали её добрые, чистые, искренние юноши-толстовцы. Она вспоминает, насколько лучше, увидев в течение зимы 1891 – 1892 гг. спасительные, благие результаты, стала относиться к христианскому подвижничеству Льва Николаевича Толстого в Бегичевке официальная власть. Полиция продолжала следить за “настроениями” в помогаемом народе, в окрестностях и тщательно проверяла на “крамолу” каждую книгу, переходившую из рук Толстого и его команды к крестьянам. Данковский уездный исправник получил в январе 300 рублей из полицейской кассы для продолжения надзора (*Красный архив. Том 5 (96). М, 1939. С. 224*). Не меньше, по всей видимости, получал для схожих “нужд” исправник скопинский, прилежно доносивший рязанскому губернатору об открытии Толстым новых столовых в уезде и о распространении в народе книжек, в том числе «признанных непригодными для народного чтения», как то сказки и притчи Толстого «Христос в гостях у мужика», «Первый винокур», «Свечка» и др. (*Там же. С. 224 – 225*). Но Верочка Величкина вполне правдива, когда утверждает в мемуарах, что полиция в тот период «не теснила» бегичевское «министерство добра». Один из земских исправников, случайно встреченных ею в помещичьем доме, когда она рассказала об осваиваемых ею навыках медицинской помощи народу, утирая сыто-пьяную слезу, пообещал всяческое содействие от земства и проговорил под конец: «Одно только буду просить вас: лечите, лечите мой народ!» (*Величкина В.М. У Л. Н. Толстого в голодный год // Современник. 1912. № 7. [Июль.] С. 175 – 176*).

Истинно непримиримыми, озлобленными и мстительными врагами Льва Николаевича Толстого и его помощников в Божьем служении, в последовании Христу оказались... богослужители уставного православного обрядоверия, “христианнейшие”, а проще говоря — попы. Конечно, далеко не все из них — но *некоторые* из числа местного духовенства. И влияние их фанатизирующих проповедей Вере Величкиной вдруг пришлось ощутить на себе в сцене опасной, смешной и нелепой одновременно — но сполна характеризующей сволочной «русский мир» до настоящего его времени. Воспоминания относятся к лету 1892 года:

«Я всегда ходила одна пешком, от деревни к деревне, иногда через лес, нередко возвращалась поздно ночью и никогда ничего не боялась, кроме разве собак, которые, в самом деле, были очень опасны. Один раз, заблудившись, часов в 10 вечера в лесу, я только каким-

то чудом не натолкнулась на сторожевых собак, и потом меня еле провели мимо них случайно работавшие в лесу рабочие.

И вот, раз прихожу я в соседнее село Круглое и, не доходя ещё до столовой, зашла отдохнуть в одну знакомую хату. Кругом меня, как всегда, мало-помалу собрался народ, и мы мирно разговаривали. Вдруг через собравшуюся толпу пробивается ко мне какой-то мужик в очень возбуждённом настроении, здоровается со мной, садится рядом и говорит:

— Расскажи мне всё по правде, Вера Михайловна! Кто нас кормит, от кого эти столовые и хлеб, и кто вас к нам послал? Скажи сама всё откровенно.

Я очень охотно исполнила его желание, потому что мы всегда искали случая познакомить население с истинным положением дел, рассказать им о том, что рабочие других стран, — и немцы, и англичане, и американцы, — собирают средства, для голодающих русских братьев, а в самой России средства идут не из какой-нибудь правительственной кассы, а помогает само население: собирают извозчики, посылают дети, жертвуя своими игрушками и подарками, собирают рабочие из своих трудовых грошей и т. п.

Рассказала и о нас, как и почему мы надумали ехать к ним на помощь.

Я была очень довольна, что мне представился случай рассказать всё, что есть на самом деле, и рассеять разные нелепые, ходившие про нас слухи. Говорили, между прочим, про нас также и то, что мы — питомки воспитательного дома, которым царь дал денег и разослал кормить свой народ.

Толпа делалась кругом меня всё гуще, все внимательно слушали. Когда я кончила, спрашивавший меня встал и сказал:

— Ну, теперь я от тебя самой всё слышал, кто вы и на какие деньги кормите. И пусть мне теперь кто что хочет говорит про тебя, я везде тебя буду защищать и всем буду рассказывать то, что ты мне сказала. Ходи теперь промеж нас спокойно, не бойся, никто тебя обидеть не посмеет...

Я удивилась.

— Да ведь я и так всегда спокойно ходила одна по всем селениям и никогда никого из вас не боялась.

— Да, это точно, мы и то на тебя дивились, что ты одна ходишь. А опасность для тебя была немалая...

Оказалось, что в селе Круглом, в 2-х вёрстах от Рожни, местный священник сказал с амвона проповедь, в которой говорил народу, что мы — антихристовы дети, явились сюда соблазнять народ, и что

нас нужно избивать. И это говорилось там, где на протяжении 15 – 20 вёрст работали только две молоденькие девицы.

У Ал. Ал. тоже был аналогичный случай. Она лечила одного зажиточного старика и, кажется, помогла ему. И вот он как-то заявил пришедшим к нему посетителям: “Какие же это антихристовы дети, это — ангелы Божии, которых нам Господь послал”.

Когда я, по приезде в Бегичевку, рассказала Льву Ник<олаевичу> о том, что со мной произошло в Круглом, он пришёл, положительно, в ужас и взволнованно повторял: «Какой ужас, какой ужас, до чего же они, наконец, дойдут!..» (Там же. С. 176 – 177).

Не обходилось и без иного традиционного в России идиотизма. Чудесная Елена Михайловна Персидская, вполне удовлетворившая Льва Николаевича на должности фельдшерицы в Бегичевке и с 14 мая работавшая по его поручению в селе Никольское, Ефремовского уезда, сообщала Толстому в письме от 5(?) июня, что земский начальник Ефремовского уезда Николай Алексеевич Лобанов-Ростовский (в будущем знаменитый сенатор) вдруг прекратил самовольно земскую выдачу муки по Никольской волости. В беседе с Е. И. Раевской Толстой негодовал на этого земского начальника: «Он отказал в продовольствии всем деревням, где мы открыли столовые, и теперь крестьяне на нас негодуют. — Ведь наше стремление — пополнить недостаток, оказывающийся в земской раздаче, идти рука об руку с земством, а теперь оказывается, что земство идёт с нами вразрез, лишает народ хлеба за то, что мы кормим детей, которым земство ничего не давало» (Раевская Е.И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих. Указ. изд. С. 406). «Попытайтесь всё-таки добром взять его. [...] Столовые открывайте. Деньги есть» — советует Толстой в ответе Елене Михайловне (66, 225 – 226). Вероятно, тётя «родина», в лице поддеца Лобанова, оценив масштабы и бюджет частной деятельности Толстого, решила сэкономить на не оправившихся ещё от голода и угрожаемых новым неурожаем крестьянах!

12 июня Толстой с дочерью Марией Львовной совершал объезд открытых его сотрудицами дальних столовых Ефремовского уезда. О поездке своей он писал по возвращении, 13 июня, к жене следующее: «Элена Павловна <Раевская> дала свой прекрасный кабриолет ресорный, и мы на паре без кучера объездили Ефремовские дальние столовые, вёрст 120. Всё было очень хорошо и с пользой» (84, 155). Добравшись до села Борисовского, Ефремовского уезда Тульской губ., Толстой по свежим впечатлениям пишет небольшое письмо тульскому губернатору Николаю Алексеевичу Зиновьеву, сообщая о

сложной ситуации в этом удалённом уезде: «Это едва ли не самая пострадавшая местность из всех, которые я видел; и теперь засуха страшная и не обещает ничего хорошего» (66, 227). Масштабы организованной Толстым помощи поражали воображение — даже в отношении сугубо географическом. В этот период губернатор — безусловный поклонник Толстого, гость в Ясной Поляне, внимательно выслушивавший даже проповеди чудаковатого Бонде. Вероятно, Н. А. Зиновьев повторил ошибку многих тех, кто отнёсся к чудаку-шведу как “двойнику Толстого” и пытался в болтовне его и наблюдениях за ним отыскать “ключики” для углубления своего понимания личности и деятельности Л. Н. Толстого. Скоро, однако, этим взаимным симпатиям и диалогу придёт конец — закономерный, хотя и по-своему драматический...

Наконец, июньская поездка Толстого сопровождалась недлительным эпистолярным общением его с женой. Со стороны Софьи Андреевны к этому периоду относятся письма от 2, 4, 8 и 11 июня, которые мы опускаем. В целом они производят удручающее впечатление: писавший их человек явно очень устал, не вполне здоров и настроен на негативное восприятие всех новостей и вообще впечатлений жизни. И запоминается-то Соничке не самое лучшее. Для примера, из письма от 4 июня, из прекрасной летней Ясной Поляны:

«Удушье у меня не повторялось, немного спина болит и плохо ночь спала, но купаюсь, гуляю, ем — всё по-старому. Сестра Таня вдруг решила, что: “а ведь ты, Соня, долго не проживёшь” — и повторяет мне это несколько раз. Я это и сама думаю...».

А тут ещё изгнанный из дома грубый немец-гувернёр (вероятно, тоже не вполне здоровый душевно человек), пользуясь отсутствием хозяина, пишет ей и грозит отомстить:

«...И если б не маленькие дети, не соловьи, не цветы, не чудное солнце, не дубы и вся цветущая растительность, то жить бы было очень тяжело. Уйдёшь в лес с Ваничкой, ну и хорошо» (ПСТ. С. 526).

А в письме 8 июня — другая грустная история: крестьяне с дальнего покоса решили, в отсутствие «барина», проехать с возами сена прямо по барским лугам, да ненароком наехали на Софью Андреевну, сидевшую в высокой траве с детьми:

«...Четырнадцать возов, человек 20 народу. Всё это ехало Калиновым лугом, без дороги, мимо ёлочек и мимо ржи и Заказа. Я рассердилась, послала переписать всех и заявить уряднику» (Там же. С. 527 – 528). На следующий день мольбы на коленях мужичьих жён довели

Соню до очередного нервного срыва и припадков удушья... но бабы добились своего: оштрафованы мужа не были.

Поступок, казалось бы, совершенно оправданный. Защита собственности. Была опасность для детей... И так далее. Но выглядит эта хозяйственная грозность Софьи Андреевны достаточно чрезмерной в отношении *трудящихся соседей*, бедняков-крестьян — если посмотреть на неё глазами Толстого.

Это был только один из цепочки конфликтов жадной и принципиальной горожанки (хуже того — москвички) Sophie с нелюбимым ею сельским народом. По этому поводу Татьяна Львовна предостерегала маму в письме от 12 июня 1892 г. из Бегичевки:

«Ваши истории с ясенским и телятинским народом очень огорчительны, и всё это пойдёт crescendo и crescendo, потому что чем хуже будут отношения с народом, тем они будут больше делать неприятностей. Это — дурное начало... Со временем начнут вас поджигать, и такие будут ожесточённые отношения, что жить в Ясной нельзя будет» (Цит. по: Гусев Н. Н. *Летопись жизни и творчества Л. Н. Толстого. 1891 – 1910. С. 78*).

Пророчество умнейшей дочери Льва могло бы совершенно сбыться уже в годы Первой российской революции 1905 – 1907 гг., когда в России массово разграблялись и сжигались протестующим народом дворянские усадьбы. Если бы не гигантский, созданный в немалой степени именно в «голодные годы», авторитет в глазах крестьян Льва Николаевича Толстого, *назло* которому Софья Толстая продолжала и в последующие годы преследовать крестьян.

В эти же дни Лев Николаевич с дочерьми Машей и Таней и множеством иных помощников продолжал своё служение Духовного Царя России. Виды на урожай были далёкими от благих ожиданий, так что ни о каком свёртывании бегичевского «министерства добра» не могло идти и речи. Но всё же Лев Николаевич стремился максимально успокоить и обнадежить жену, с целью чего писал, например, 8 июня, перечисляя своих главных помощников в Бегичевке:

«Сейчас ожидаются Писаревы, Философовы и тут Давыдовы, и я спешу уйти. Вчера я ездил, нынче пойду ходить по ближним <столовым>. В свои поездки я, глядя на поля, решил, что урожай не так плох, как казалось, и, несмотря на то, что приходят депутации о том, чтобы продолжать, можно будет спокойно уехать, хотя и многих жалко» (84, 154).

А в письме от 13 июня — небольшая коррекция этой, специально для Сони состряпанной, радужной картины, но «подслащённая» одновременно известием о скором, пусть и не окончательном, приезде домой, в Ясную Поляну:

«Если ничего не помешает, приедем во вторник, как ты желала. Готовим всё к тому, чтобы откланяться, для чего надо будет приехать ещё один последний раз» (*Там же. С. 155*).

Но «одного раза» оказалось мало. Конец «бегичевской эпопеи» скрывался за горизонтом...

8. 2. НА ПРИСПУЩЕННЫХ ПАРУСАХ (14 – 29 июля 1892 г.)

Конец «бегичевской эпопеи» скрывался за горизонтом. К 27 июня относится ответ Л. Н. Толстого на запрос американского консула в России Дж. Крауфорда (*J. M. Crawford*), извещавшего Толстого в письме от 30 июня о получении из Америки денег для помощи голодающим и наивно вопрошавшего, нужны ли они Толстому. Толстой отвечал, что он отнюдь «не откажется употребить» эти деньги, так как в некоторых уездах Рязанской и Тульской губ. «урожаем почти такой же плохой, как и в прошлом году», и он «вынужден продолжить» свою работу «в некоторых деревнях» (66, 232). О том же положении с урожаем сообщает Толстой в письме купцу П. А. Усову, прося его подготовить 30 вагонов для отправки продовольствия... Толстой ещё не решил, куда (*Там же. С. 234*). Примерно в то же время, в конце июня, Толстой отвечает Изабел Флоренс Хэпгуд, так же сообщая о плохих видах на урожай и благодаря переводчицу за «правильность и изящество» её работы над статьёй «О средствах помощи населению, пострадавшему от неурожая» (*Там же. С. 232 – 233*).

В эти дни были получены деньги из далёкой Дании — от некоего Дж. Крумиагера из Рёддинга (*Rødning*) в Ютландии, сообщившего, что посылает деньги на нужды помощи голодающим, собранные датчанами, проживающими в разных местностях Дании. В ответном письме, писанном по-французски, Толстой благодарит датского посредника и уверяет, что деньги эти очень кстати, «потому что, к сожалению, мы ещё не довели до конца наше тяжёлое дело» (*Там же. С. 236 – 237*).

Наконец, вот искренние строки из письма от 20 июня к художникам, отцу и сыну, Н. Н. Ге:

«...Постараемся кончить, оставив кормёжки для детей, для слабых и стариков и на будущий год. Очень мы с Машей испортились за это время, избаловались — разделение труда: мы заняты распределением, давай нам всё готовенькое. <Т. е. денежные пожертвования. — Р. А.> Хорошо ещё, что мы знаем, что балуемся, и не хотим этого» (Там же. С. 229).

В новом отпуске, с 16 июня по 9 июля 1892 г., у Толстого с супругой гостили в Ясной Поляне не менее усталые его помощники и друзья: Николай Николаевич Страхов, Павел Иванович Бирюков, толстовцы Высоцкий, Новосёлов, Арк. Алёхин. На четвёртый день по приезде, 23 июня, Страхов делился своими впечатлениями в письме другу, поэту А. Н. Майкову: «Вообще я застал в Ясной то светлое оживление, радостное возбуждение, которое свойственно жизни этой семьи. Л. Н. в наилучшем духе и усердно работает над своей книгой о непротивлении... Л. Н. прочёл мне последнюю главу своей книги» (Цит. по: Опульская Л.Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М., 1998. С. 7 [Далее: Материалы... 1892 – 1899]).

Толстой продолжил работу над трактатом «Царство Божие внутри вас». Восьмая глава наконец далась ему: по совету Н. Н. Страхова, он разделил её на *три главы*, что помогло определиться с необходимыми дополнениями и правками всего текста. В письме от 27 июня к дочери Тане, с 24 июня по 1 июля помогавшей К. А. Высотскому в Бегичевке (и вместе с ним гнусно изгнанной тогда барскими детками Раевскими из усадьбы!), Толстой признался: «Хотелось бы очень приехать без 8-й главы и в этот приезд отдаться всему делу. Дела будет много» (Там же. С. 234).

А ещё в эти же дни, но уже перед самым отъездом, Толстой довершил юридически раздел имущества между женой и детьми, подписав 7-го июля раздельный акт. Придя к убеждению о недопустимости владения собственностью и убедившись, что его семья решительно несогласна отказаться от собственности, Толстой ещё в начале восьмидесятых годов устранился от хозяйственных дел, связанных с владением имуществом, но отказ этот не был закреплён юридически. В декабре 1890 г., в связи с присуждением двух крестьян за порубку леса в имении Ясная Поляна к шестинедельному тюремному заключению и отказом С. А. Толстой их простить, Толстой решил отказаться от владения имуществом не только фактиче-

ски, но и формально, и в апреле 1891 г. подписал акт отказа. Окончательный раздел имущества Толстого произошёл в июле 1892 г. 7 июля 1892 г. Толстой вместе с женою и со всеми совершеннолетними своими детьми, за исключением Марии Львовны, засвидетельствовал акт раздела, которым всё его имущество было разделено между всеми его детьми за исключением дочери Марии. Была выделена соответствующая часть и С. А. Толстой, которая вместе с тем назначалась и опекуницей над именем малолетних детей Толстых: Андрея, Михаила, Ивана Львовичей и Александры Львовны. М. А. Толстая отказалась от своей доли наследства, но братья и сёстры взяли всё же на себя обязательство выплатить ей её часть, когда встретится в этом необходимость, и осуществили это решение в 1897 г., при выходе М. А. Толстой замуж за Н. А. Оболенского.

Показательно, что гостившие в эти дни в яснополянском доме Н. Н. Страхов и П. И. Бирюков, люди покладистые и психологически выносливые, всё-таки 5 и 6 июля соответственно спешно выехали во свояси — не выдержав, резко сменившей бесхарактерное «светлое оживление», атмосферы бодрой домашней свары, сопровождающей всякий денежно-имущественный раздел. Её отчасти передаёт относящаяся к разделу запись в Дневнике Л. Н. Толстого от 5 июля:

«Остаюсь ещё для раздела. Тяжело, мучительно ужасно. Молюсь, чтоб Бог избавил меня. Как? Не как я хочу, а как хочет Он. Только бы затушил Он во мне нелюбовь. — Вчера поразительный разговор детей. Таня и Лёва внушают Маше, что она делает *подлость*, отказываясь от имения. Её поступок заставляет их чувствовать неправду своего, а им надо быть правыми, и вот они стараются придумывать, почему поступок нехорош и подлость. Ужасно. Не могу писать. Уж я плакал, и опять плакать хочется. Они говорят: мы сами бы хотели это сделать, да это было бы дурно. Жена говорит им: оставьте у меня. Они молчат. Ужасно! Никогда не видал такой очевидности лжи и мотивов её. — Грустно, грустно, тяжело мучительно» (52, 67).

Чтобы оправиться от домашних впечатлений, Толстой с неразлучной Марией Львовной предпочитает поскорее вернуться в Беги́чевку.

Этот «раз», то есть эта поездка в Беги́чевку в период с 9 по 29 июля, конечно же, не будет последней для Толстого. Но именно о ней, преимущественно на материалах хронологически связанной с этими днями переписки участников общенго дела мы и будем говорить ниже.

Биографически время пребывания Льва Николаевича в Бегичевке в июльскую поездку, с отъезда из Ясной Поляны до возвращения в неё же — это числа с 9 по 29-е. Но первое из известных писем, относящихся к этой поездке Толстого, именно 14 июля от Софьи Андреевны, не публиковалось. Первое же из писем Толстого — уже из самой Бегичевки, датируемое исследователями приблизительно 15 или 16 июля: труд описать дорожные приключения поездки на лошадях через Пирогово, Успенское (имение В. Н. Бибикова) и Богородицкое (имение А. П. Бобринского) в Бегичевку — взяла на этот раз на себя дочь Толстого Маша. В своём же письме Толстой сообщал все те подробности своего временного, сезонного «сворачивания» работы помощи крестьянам, которые, как он знал, будут необходимы или хотя бы интересны жене:

«Маша тебе, вероятно, описывала <в письме 12 июля> всё наше путешествие, которое было не только безопасно и безвредно, но очень мне приятно. Здесь все приготовились и готовят давать отчёты последние. Провизию остальную всё свозим в Бегичевку. Делаем перерыв всех столовых — думаю — до конца сентября. Что дальше будет, покажут обстоятельства. Но одно, что я и прежде думал и в чём теперь ещё более утвердился, это то, что самых слабых людей, старых, больных — небольшое количество — всегда бесприютных и беспомощных, нынешний год при неурожае и потому при неподавании милостыни, при дорогом хлебе и при привычке, взятой ими и теми, кто о них заботился, что их кормят, — что нельзя их бросить. И это то самое дело, которым мы займёмся теперь. — Их надо как-нибудь устроить. Нынче приходила такая команда из Татищева. Вчера приходила Бегичевская вся деревня. Но целые деревни мы не можем кормить, а бездомных нельзя бросить. В этом было и главное дело прошлого года. И теперь, как это устроится, не знаю. Вчера я целый день был дома. Все съехались. А нынче поеду в сторону Орловки и по деревням, попробую, испытаю, как это устроится.

Торопят меня, едет Гриша к Давыдовым и свезёт письмо в Клёкотки.

Я здоров, хотя слаб и не пишется. Получены два вагона, и нет дубликатов, и потому, пожалуйста, все объявления присылай. Целую тебя, Лёву и детей. Тани, верно, ещё нет. — Здесь все благодущны и дружны» (84, 155 – 156).

Следующее небольшое письмо Толстого к жене, от 17 июля, так же связано с проблемами принятия на станции продовольствия для столовых. Цитируем из него строки, которые касаются общих личных интересов Сони и Льва:

«Мы все благополучны и здоровы. Но положение народа, особенно в нашей местности, очень дурно. Положительно хуже прошлого года. Так что искать худшего негде» (84, 156).

А на оборотной стороне листа с этим письмом — типичная деловая записка, одна из множества, вынужденно, но необходимо отвлекавших внимание и силы Толстого:

«Управлению Сызрано-Вяземской желез. дор.

На станцию Клёкотки получено для столовых на моё имя 463 пуда гороха в вагоне № 200987. По недоразумению свидетельство Красного Креста не было предоставлено. За посланные по недоразумению без свидетельства Кр. кр. на станцию Клёкотки для столовых 463 п. гороха в вагоне 200987 взыскивается 154 тарифу. Прошу покорно приказать отпустить горох и принять свидетельство» (Там же).

Вместе с предшествующим письмом это, от 17 июня, однозначно давало Софье Андреевне понять: ни о каком зимовании без выезда, при ней и в Москве, мужа она могла даже не мечтать. Её интересы явно расходились с текущими интересами и планами работника Божьего в мире Льва. Как раз очередное, встречное, то есть тоже от 17 июля, письмо Софьи Андреевны продемонстрировало это очень ярко. Приводим ниже полный его текст.

«Милый друг Лёвочка, получила, наконец, и от тебя письмо; ты пишешь, что здоров, но слаб, что голод опять, что вы кончаете до сентября дело и *не знаете*, что будете делать впредь. Как всегда письма и вести из Бегичевки наваливают мне на душу камень, в горле спазма и слёзы, а кроме того предчувствие надвигающейся тучи, как было и в прошлом году. Говорить о том, как я отношусь к незнанию того, как ты пишешь, *что* вы будете делать, — много раз и впредь я не буду. Но один раз я должна высказать своё мнение и чувство относительно будущего. Я считаю, что ты более *физически* не в состоянии переносить трудности прошлогодней жизни, а *нравственно* неправ отдавать свои последние силы и годы на другое что, чем твою умственную и художественную деятельность. — Кроме того я считаю себя не в состоянии пережить ещё то, что пережила

весь этот год. Надорванность моих всяких сил я чувствую так сильно, что сегодня, только при получении письма твоего, всё поднялось во мне: и тоска, и сердцебиение, и желание опять, по-прошлогоднему, уйти из жизни. Но ведь всё это старые боли, и это совсем невыносимо. Следовательно, я прямо и ясно говорю, что я употреблю все свои последние силы на то, чтоб не пустить вас в Бегичевку ни за что, ни за что. Насилие и обман можно всегда производить; меня и этот год жестоко обманули; но иначе трудно было, я это понимаю. Нынешний же год только начинается, и от тебя зависит устроиться именно теперь так или иначе. — Всякая женщина, прожив без порока тридцатилетнюю замужнюю жизнь, имеет хоть то право желать иметь с собой, чтоб покоить, любить и общаться с любимым мужем. Если б ты хоть на минуту мог быть справедлив и любящ сам, то ты понял бы, насколько законно и сердечно моё желание.

Довольно мне и страдания видеть, как это гордое дело помощи народу погубило и Таню. Её здоровье очень, по-моему, плохо. Лёва высказал от себя то чувство, которое постоянно испытываю я: что когда Таня тут сидит, то у него тоскливое чувство глядеть на неё. — Вчера она вернулась с Сашей; как будто вид её свежей. Никто ей душу не терзал, и уж она отдохнула. В Бегичевку я её не пущу. Вчера была уже неделя, как и вы уехали. Я очень рада была узнать от вас, что вы легко совершили путешествие; спасибо Маше, что описала мне всё подробно.

Она пишет прислать разных продуктов и лекарств; но я вчера только получила её письмо, а пока всё дойдёт до места, вы уж, надеюсь, вернётесь, а оказии никакой не предвидится. Сегодня захолодало и ветер непрерывный. От Эрдели известий нет, у нас все здоровы, только меня одышка от холодного ветра одолевает. Гостей никого не было, только сестра Лиза приезжала. Она будет жить в Москве и предлагает, чтоб муж её мне помогал во всех моих делах, чтоб я посылала его, куда надо, что он свободен и охотно это будет делать. *<Александр Александрович Берс (1844 – 1921), сын Александра Евстафьевича Берса, родного брата отца Софьи Андреевны. Второй муж Е. А. Берс. – Р. А.>* Мне всегда больно, когда Берсы, Дунаевы и пр. должны помогать мне, когда у меня есть муж и старшие сыновья; и пусть уж лучше мои силы последние надрываются, а посторонних вмешательств я принять не могу. У всякого своя гордость.

Мне очень жаль, что моё письмо тебя расстроит; но я предпочла написать, ибо разговора могу и не вынести, сердце и при письме так стучит, что удары в стол отдаются. Письмо это разорви, чтобы неосторожно не попало посторонним.

Ты скажешь, что деньги остались и их надо хорошо употребить. Денег мало; можно купить муки, дров, посадить человека, и пусть выдаёт самым нуждающимся. Столовые открывать нельзя; в них явится такая потребность везде, что очень скоро дело это окажется невозможным. Кроме того на это нужно опять много людей, и их не будет. Помощь же в виде раздачи можно поручить Павлу Ивановичу, благо он за это взялся, т. е. согласился приехать, когда нужно.

Посылаю два объявления, но оба *на посылки*. Дубликаты на горох я послала <ссыпщику на станции> Ермолаеву, верно вы получили; их было именно два.

Прощай, милый Лёвочка, береги себя, пожалуйста; не пей везде воды сырой; лучше бери с собой миндального молока, когда будешь отъезжать далеко, и то на кипячёной воде. Целую Машу и Веру и кланяюсь Елене Павловне.

С. Т.» (ПСТ. С. 528 – 530).

Это письмо было во многих отношениях тяжело для Льва Николаевича: своими свидетельствами и нездоровья жены, и непонимания ею смыслов якобы «гордого» дела его помощи народу, которому, не без колебаний, как мы помним, именно по причине сближения с нехристианским, гордым делом «благотворительности» деньгами и всем, что приобретается на деньги, посвятил себя Толстой. Тяжёлая, эгоистическая сторона Сониной любви снова дала ему знать себя. В то же время было невозможно не понять её и не сочувствовать ей, не желать идти навстречу во всём и насколько возможно. Вскоре Толстой воспользуется советом Софьи Андреевны, и именно Павел Иванович Бирюков частично заменит его в Бегичевке на месте «верховного министра» в его «министерстве добра». Но совершенно отлучек от семьи по бегичевским делам избежать не удастся.

Вечером следующего дня Софья Андреевна пишет ещё письмо, в основной своей части продолжающее, хотя и в более спокойном настроении, тему прежнего:

«Вчерашнее письмо у меня на совести, но что делать, крик сердца не удержишь.

Вчера приехала Маня Рачинская, ехавшая на поезде с Женей Писаревой, и к нашей радости мы имели свежие известия, что в Бегичевке все здоровы и благополучны. У нас тоже всё слава богу.

[...] Как вам теперь трудно, как я страдаю постоянно за вас, за то тяжёлое, неопределённое дело, которое пришлось взять на себя.

Надо развязать всё попроще. Пустыню Сахару не заставишь производить, если она засохла. И не по нашим это слабым силам.

[...] Как мне тоскливо без тебя, Лёвочка, хоть бы можно было не разлучаться!» (Там же. С. 530 – 531).

Толстой в эти дни упраздняет столовые, но лично контролирует устройство приютов для детей и стариков, собирает отчёты у сотрудников, следит за сбором в Бегичевке остатков продовольственных запасов со столовых... С 16 июля он начинает писать свой второй отчёт («Отчет Л. Н. Толстого об употреблении пожертвованных денег с 12 апреля по 20 июля»), о чём сообщает в открытом письме к дочери от того же дня (66, 237). Софья Андреевна между тем уже опередила супруга с отчётом по своей части благотворительных расходов.

После заполненного трудами перерыва, который показался Льву Николаевичу большим, 19 июля он наконец пишет жене довольно пространное письмо. Приводим текст его с незначительными сокращениями.

«Очень давно, т. е. два дня, не писал тебе, милый друг. Нынче видел газету, в которой твой отчёт. Всё очень хорошо. Мне надо писать свой, и я завтра принимаюсь за него; но боюсь, что много сведений не достанет. Скажи Тане, чтобы она прислала всё, что у неё есть, и тебя прошу прислать, что у тебя есть.

[...] Дела наши понемногу уясняются: т. е. определяется то, что нужно, и как сложится дело. Нужно, необходимо кормить население местности втрое или вчетверо меньше прошлогодней, но нужда в этой местности хуже прошлогодней. Кроме того, так как осталось около 10 вагонов разного хлеба и денег (не знаю сколько, кажется, около 12 т.), то надо продолжать детские приюты, как я и обещал в последнем отчете. К приютам же этим мы хотим пристроить теперь, сейчас самых нуждающихся и слабых. Столовые же придётся открыть их позднее — в сентябре. Заведовать этими делами [...] выпишем Пошу <Бирюкова>.

[...] Мы здоровы. Машу и Веру сбивает, т. е. мешает им, отнимает у них время общественность и гости. И у меня тоже. [...] Я не выходил. Я очень много занимался эти последние дни и устал, но, кажется, кончил, и так написал Черткову, и завтра начну отчёт и то, что имею сказать про это. Постараюсь сказать цензурное отдельно, чтобы напечатать.

Хорошо, что вы все здоровы. Целую тебя и детей. Привет всем домочадцам. У нас всё это время были сотрудники, сдавали отчёты и все разъехались. Остались только два брата Алёхины, уезжающие завтра. Я, слава Богу, самым любовным образом расставался со всеми, также и с Алёхиными. Не перестаю радоваться тому, что знаю и люблю такими хорошими людьми.

Л. Т.» (84, 156 – 157).

Это настроение расставания. Пока же работали вместе — бывало разное, и Софья Андреевна не без удовольствия цитирует в своих воспоминаниях такое, не в лучшем настроении записанное, суждение Льва Николаевича в Дневнике под 26 мая о своих помощниках-толстовцах:

«Тяжёлое больше, чем когда-нибудь, отношение с тёмными, с Алёхиным, Новосёловым, Скороходовым. Ребячество и тщеславие христианства и мало искренности» (52, 66; ср.: МЖ – 2. С. 283 – 284).

Вероятно, и в таком суждении была немалая доля правоты, но делаемый тут же С. А. Толстой вывод о том, что-де Толстой ощутил «контраст» толстовцев, «тёмных», со «светскими людьми», не в пользу первых — вряд ли справедлив. Как мы показали выше, причина тяжёлых отношений Толстого с «тёмными» лежала значительно глубже.

Следующее, очень краткое письмо Толстого, датированное приблизительно 21 – 22 июля:

«Напишу хоть несколько слов...

Вчера ходил пешком далеко, за мной посылали и разъехались, что я прошёл вёрст 30 и очень устал. Но совершенно здоров. Занят отчётом, для которого жду матерьялы и от Тани, и от Высотского, который очень мил, но медлителен. Дело всё обозначилось, и надо поскорее написать. От <сына> Лёвы вчера получил письмо и очень благодарен ему за него. Целую тебя и детей. Я в нынешний раз мало и редко знаю о тебе.

Л. Т.» (84, 158).

Известие о том, что Толстой заблудился и прошагал пешком 30 (!) вёрст, так просто сообщённое в письме, поразило и до глубины души взволновало Софью Андреевну. В мемуарах она вспоминает об этом известии в связи со своим письмом от 17-го, этим как бы дополни-

тельно оправдывая перед читателем столь эмоционально выраженную в нём бескомпромиссную позицию (см.: МЖ – 2. С. 286). Позиция эта настолько важна для Софьи Андреевны, что она не замечает, как путает в мемуарах даты своих писем супругу: месяц *июль*, в который происходила переписка, называет *июнем*.

Теперь обратимся к письмам С. А. Толстой из Ясной Поляны, отвечающим на приведённые выше письма Льва Николаевича. Вот что было отвечено вечером 20 июля на письмо его от 19-го:

«Сегодня получили от вас два письма, милые Лёвочка и Маша, и видно, что вам тяжело живётся в Бегичевке. Напрасно ты, Лёвочка, себя с двух концов жжёшь, т. е. и статью догоняешь до конца, и дела по голодающим, которых так много. Ни то, ни другое хорошо и обстоятельно не кончишь, а устанешь страшно. Я это всё издали чувствую. Тянет, тянет за душу — бесконечно это Бегичевское мучительное дело! И тянет, тянет — эта статья. Лучше бы по очереди сделать эти два дела.

У нас двое больных: Ваничка в жару и Андрюша в жару. У обоих только по 38, но это, пожалуй, хуже, когда с маленького начинается. Кроме того меня очень тревожит то, что у всех мальчиков: у Андрюши, Сани и Васи по телу пошли нарывы, в роде чирьев; у Сани их было больше всех, Андрюша очень страдал от своего, а теперь у него нарывает в неприличном месте. Почему у всех? Я спросила у Зандера, не дурная ли эта болезнь? Он говорит: «ручаюсь головой, что нет». Купались они с Афонькой, а он весь в чирьях, может быть и пристало. Но меня очень это беспокоит. — Ваничка заболел сегодня. Мы поехали с ним и с Сашей к Зиновьевым во втором часу. День тёплый, тихий, они очень веселились дорогой. Но там вдруг начал скучать, валиться, смотрю — голова горячая. Я сейчас же увезла его домой, он всю дорогу спал и лёг потом в постель, всё пил, ничего не ел. Андрюша всё бредит в соседней комнате.

[...] Ты просишь, Лёвочка, все счёты. Сегодня взяли у Зиновьева 26 свидетельств Красного Креста, а у меня только ещё четыре. Завтра пошлём через Ясенки. Пошлём тоже и счёты тебе. Я ещё раз на листок бумаги переписала весь свой расход; читай его по страницам, я перенумеровала. Не хотелось переписывать; не очень я аккуратно написала, но понять всё можно. [...] Меня удивило, что ты счёты потребовал. Они не скоро дойдут до тебя, а ведь ты через две недели хотел уже вернуться.

Напрасно ты столовые затеваешь. Жить вы не будете, помощники разъехались, денег мало; явится холера, надо жить всем вместе, разлучаться невозможно ещё год, это даже немыслимо, и потому помочь

оставшимися деньгами и хлебом лучше бы всего раздачей. Помощников на эту каторгу ты не найдёшь, довольно и одного года муки, кто выдержит больше? — Вы поработали довольно, пример показали, пусть другие поработают. Я помню, как ты говорил в прошлую осень: я напишу о столовых и для примера открою *несколько*. — Теперь пример показан.

[...] С. Толстая» (ПСТ. С. 531 – 532).

Бдительно, «со всех сторон» пытается устеречь Софья Андреевна главный свой интерес: вернуть любимого мужа в семью, живым и, желательно, здоровым и больше вовсе не пускать в опасное место! Подробное описание состояния вдруг ужасно расхворавшихся детей мы приводим здесь не мимо темы, не напрасно: это хорошо известный работавшим с её перепиской исследователям приём «вытягивания за сердце» мужа из поездки.

23 июля она пишет и отправляет с оказией ещё одно, совсем небольшое на этот раз, вот такое письмо:

«Дети выздоровели, Ванюшка опять гуляет. Живём потихоньку, скучаем по отсутствующим. Сегодня две недели, как вы уехали, а ещё и не похоже по письмам вашим, что вы собираетесь домой. По-видимому, и по рассказам Веры <Кузминской>, ты больше был занят своей статьёй. А это можно было и дома делать, окончив те тяжёлые дела; и лучше бы было дома. Погода чудесная, заметили ли вы вчерашний вечер, что была за прелесть! Или в Бегичевке всё некрасиво и мрачно? Самой мне нездоровится, дыханья нет, кровь показала горлом; сегодня начну опять купаться, а то вянешь совсем, точно и ходить-то трудно. Вот ты пишешь, что обо мне мало знаешь, да я думаю, тебе это мало и надо; это я о тебе всю жизнь тревожусь и томлюсь желаньем большего сближения, а ты всё дальше и дальше. Теперь и к этому стала привыкать. Целую Машу. Береги себя.

С. Толстая» (ПСТ. С. 533).

В одном абзаце — бездна зла. Дети выздоровели — но теперь больна она. И, в отличие от детей, болезни которых Сонюшка так любила, от случая к случаю, или выдумать, желая завлечь мужа скорее домой, или преувеличить (и так и не усвоила себе, потеряв нескольких малышей, что этого делать *нельзя!*), её болезненное состояние очевидно и по письму: по открыто, грубо выраженным в который уже раз упрекам мужу, что он равнодушен к ней и только «удаляется» от

неё... Понятно, что после *таких* двух писем ни о каком *спокойном* завершении дел в Бегичевке и речи для Толстого не было. За окончанием дел минувшего сезона и контролем текущих он поедет туда ещё раз, в сентябре, а отчёт свой будет дописывать уже под контролем любящей «второй половинки» (подобно тому как «Царство Божие» ему приходилось писать под жестоким контролем Черткова и его засланцев в Бегичевку, в Москву и в Ясную Поляну).

На очереди у нас — письмо Л. Н. Толстого от 24 июля, ответ на приведённые выше письма жены от 20-го и 23-го:

«Сейчас уезжает Капитон Алексеевич <Высоцкий> и сдаёт нам все счёты. Всё удивительно хорошо и аккуратно. Чудесный человек — я ему очень благодарен. Сейчас же и получил твоё письмо, в котором ты пишешь о болезни Андрюши и Ванички. Андрюше лучше, надеюсь, что и Ваничке тоже. Ты пишешь, боясь, что я хочу вернуться и опять жить в Бегичевке; пожалуйста, не думай этого. Всё устроится без моего личного присутствия, особенно, если Пошу выпишем.

Остаюсь здесь только на несколько дней, — дня на 4, 5, может быть, и меньше, пока начну и хоть начерно напишу отчёт, для которого может понадобится справиться на месте. Кроме того, надо получить счёты. Посылаем завтра получить по объявлениям. К этому же времени может приехать Попов от Черткова за рукописью, которую думаю, что кончил. Остаются здесь одни девицы Антиповы, склад же поручил Раевским, пока ещё дела мало.

Мы здоровы. Губа моя совсем прошла, и я бодр, а то был не в духе. Нынче был у Философовых и Мордвинова по делу. По последнему письму твоему решу, когда именно поеду, и тотчас же телеграфирую. Нынче же уезжает Елена Михайловна.

Прощай пока, милый друг, целую тебя и детей. Л.Т.» (84, 158 – 159).

Жену, конечно же, следовало успокоить... На деле Толстому было понятно, что новый неурожайный год потребует и от него продолжения участия в общем деле. Реалистическая картина Толстого с помощниками перед лицом нового народного бедствия предстаёт нам в дневниковой записи Е. И. Раевской:

«Лев Николаевич с дочерьми пробыл в Бегичевке почти до конца июля месяца 1892 г. Там же летом жила и вдовствующая невестка моя Е. П. Раевская с сыновьями. Я поехала их навестить. Граф был болен лихорадкой и казался утомлённым. Он собирался уезжать из

здешнего края и составлял отчёты своей благотворительной деятельности и всему оставшемуся у него в наличности. Помогал ему в том молодой человек Высоцкий, непохожий на прежних тёмных, буде то сказано ему в похвалу.

— У меня, — сказал мне граф, — осталось хлеба, пшена, дров и проч., причисляя к тому немного жертвованных денег, всего на сумму 8 000 рублей сер. Склад хлеба помещён в разных деревнях, он пригодится для раздачи в нынешнем году нуждающимся, ввиду того, что урожай в здешней местности ещё хуже прошлогоднего. На берегу Дона в Тульской и Рязанской губерниях рожь почти вся пропала, овёс также от весенней и летней засухи, трава сгорела; ни хлеба для людей, ни корма для скота. Овса не достаёт даже на семена. Дожди же пошли проливные только в июле и затянули уборку и без того скудного хлеба. Были даже два паводка; навоз и снопы с полей уносило в Дон; овраги гудели, как во время весеннего половодья» (*Раевская Е.И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих. Указ. изд. С. 423 – 425*).

Ни о каком свёртывании дела помощи нельзя было и говорить.

Между тем следующее по хронологии письмо от Софьи Андреевны, 25 июля, снова встревоженное, *догадливое* о том, что пытался скрыть супруг, и с признаками даже ультимативной требовательности о возвращении:

«Приезжай, пожалуйста, домой, милый Лёвочка. У вас в Рязани, Ефремове и в Ельце, — это уже дальше, — но везде начинает распространяться холера. День и ночь тоскуешь и мучаешься о вас. Вот уж две с половиной недели, как вы уехали. Я не боюсь холеры, но когда какое бедствие — надо быть вместе. Разлука постоянная потому хуже даже смерти, что смерть переживёшь горе раз, а так не жизнь, а вечное мучение.

Сегодня заболела Таня: жар, всю ломает, грудь заложило, болит с правой стороны. Вчера она была в бане, а потом сидела на террасе с открытой головой, а было довольно холодно. Она лежит внизу и стонет. У всех было это нездоровье, как теперь его называют — инфлуэнца, но ни у кого грудь не болела, и меня это тревожит.

[...] Ты скажешь, Лёвочка, что ты дела не можешь оставить. Но ведь дело тогда дело, когда его делаешь, а оставишь, и не будет дела. Вот я завтра должна была ехать в Москву. Уж так нужно по разным делам: раздела, книжным и денежным. Заболела Таня, вот и дела останутся, не поеду опять.

Что Маша? Она тоже писала, что: «домой желаю». Приезжайте непременно и скорей. Это моя твёрдая, убедительная просьба. Или уж совсем надо меня замучить, до смерти, и себя уморить какой-нибудь болезнью или просто переутомлением. Пусть другие теперь работают по очереди, а вы много сделали и других научили, надо же и отдохнуть.

Это моё последнее письмо; я надеюсь, что и оно вас не застанет в Бегичевке. [...] Ещё и опять прошу: приезжайте немедленно. Я ничего не могу больше писать, только приезжайте скорей. Кланяюсь Раевским: Элене Павловне и мальчикам, целую вас.

С. Т.» (ПСТ. С. 533 – 534).

И, наконец, последнее её письмо из относящихся до июльской поездки Толстого, от 26 июля, ответ на письмо мужа от 24-го:

«Сейчас получила твоё письмо, в котором ты пишешь, милый Лёвочка, что дня через четыре вернёшься, и что не имеешь намерения оставаться опять в Бегичевке. Я так всему этому обрадовалась, по-детски обрадовалась, что увижу скоро тебя, что ты от меня не уедешь больше, что сразу мне совестно стало и за свои письма, если в них проскочило что недоброе, и за своё недоверие к тому, что и тебе с нами лучше, чем с Раевскими. Какое несчастье до самой старости быть так привязанной и любить человека, как я тебя. И сегодня я убедилась, к горю своему, ещё больше, когда вдруг при известии хорошем от тебя мне стало всё весело и хорошо.

[...] Целую тебя и Машу и радуюсь страшно вашему возвращению.

С. Т.» (Там же. С. 534 – 535).

Здесь с Софьей Андреевной надо, конечно же, согласиться: её любовь, замешанная на эгоистическом желании постоянного контроля над «любимым», чувства своеобразного «обладания» им, в дурном смешении с мнительностью, тревожностью, ревностью и нежеланием, а отчасти и неспособностью последовать за близким человеком в самых драгоценных для него духовных устремлениях — такая Соничкина «любовь» уже успела стать несчастьем для обоих, и для всей семьи! Надеюсь, читателю не составило труда представить себя на месте именно *супруга*, Льва Николаевича Толстого — сваливавшего с себя муторную, но необходимую “организационную” рутину христианского благотворительного предприятия в условиях такого регулярного “разогрева” из дома!

К 26 июля относится и последнее перед отъездом письмо к жене Толстого (см. 84, 159 – 160 (№ 532)), уже малоинтересное для нас. Вызвав в этот же день П. И. Бирюкова, передав наскоро помощникам дела и набросав черновик нового отчёта, Толстой 29 июля 1892 г. возвращается в Ясную Поляну. Трудно представить себе, чтобы в это время года, в перерыв между голодными вёснами и зимами, когда работы для благотворителей было мало, да ещё при всплеске в окрестностях Бегичевки страшной и опасной эпидемии холеры, Толстой мог поступить иначе, даже если бы Соня не написала ему этих эмоциональных, требовательных и даже обвиняющих писем. Но в том-то и дело, что получила она не только всё то, что хотела, но и *как и когда* хотела: она именно *заставила* мужа вернуться — не дописав отчёта, не завершив всех необходимых дел в Бегичевке, а “перекинув” их спешно П. И. Бирюкову и ещё паре-тройке не уехавших помощников. Письмо Толстого к другу «Поше» от 26 июля с просьбой принять дела не сохранилось: не исключено, что Толстой попросил Павла Ивановича уничтожить его после прочтения (как просил не раз Черткова) из-за откровенных подробностей о поведении жены.

Толстой не мог не ощутить этого *унизительного* понукания, этого ненужного, мелочного, но мучительно раздражавшего его посягновения на его свободу — столь же недопустимого, как недопустимо удержание за крылья стремящейся к полёту птицы. Как следствие, после возвращения домой он отмечает в Дневнике состояние апатии и слабости — подобное состоянию птицы, пойманной и запертой в клетку: «опустился нравственно», «энергии жизни нет» (52, 69). Духовное состояние *побеждённого*. Не могли быть для него духовной опорой и братцы толстовцы, затеявшие тогда так и не состоявшийся общий съезд. Об одном из них, Бодянском, отмечая громадное его тщеславие, Толстой выводит: «Ужасно то, что искупление ему нужно. Это не даром. Должна быть болячка! С доброй жизни не полетит...» (Там же). То есть жизнь «добрая», безопасная да сытая, которую, как думала с успокоением, навязала и ему жена — мешает полёту Птицы Небесной, а нужна как раз “болячка”, нужно “искупление”, страдание! Как ни парадоксально, но, став в последующие годы таким постоянным страданием для мужа, Софья Андреевна, не раз помешав духовному полёту Льва в земной жизни, приблизила его совершенное освобождение — отлёт Птицы Льва к Богу, близкий (но отнюдь не тождественный по *духовному значению*) описанному Толстым в «Войне и мире», в сцене кончины князя Андрея. Даже уход из дома, предшествовавший этому последнему, безвозвратному вылету, она, не желая и боясь его, приближала уже в 1880-х, и в том же 1892-м

году. Об этом свидетельствует запись в записной книжке Л. Н. Толстого под 13 августа того же 1892 года: «Ясно понял возможность уйти». В Дневнике, уже под 21 августа, по неслучайному соседству с суждением о смерти как выходе из состояния известных времени и пространства, та же мысль выражена развёрнуто, обдуманно и решительно: «...Мне не в минуту раздражения, а в самую тихую минуту, ясно стало, что можно — едва ли не должно уйти» (Там же. С. 71). То есть уйти не только из Ясной Поляны, но и из времени и пространства — в мирском смысле: исчезнуть для мира, умереть. Улететь. Но это будет ещё не скоро, не скоро...

Здесь Конец Главы Восьмой



Прибавления

Прибавление Первое

ОТЧЁТ С 3 ДЕКАБРЯ 1891 г. ПО 12 АПРЕЛЯ 1892 г.

Деятельность наша со времени последнего отчёта состояла в следующем:

Первым и главным нашим делом было устройство и ведение столовых.

Столовые, которых во время нашего последнего отчёта было 72, продолжали размножаться, и теперь их в 4-х уездах — Епифанском, Ефремовском, Данковском и Скопинском — 187. Размножение это происходило и происходит следующим образом: из соседних деревень с теми, в которых у нас есть столовые, приходят к нам то отдельные крестьяне, то выборные от общества со старостою и просят об открытии у них столовых. Один из нас едет в ту деревню, из которой приходили просители, и, обходя дворы, составляет опись имущественного состояния беднейших жителей. Иногда, хотя и очень редко, оказывается, что деревня, из которой приходили депутаты, не из очень бедных и что нет ещё настоящей нужды в помощи;

но в большей части случаев тот из нас, кто обходил деревню, находил, как это всегда бывает при внимательном наблюдении крестьянской нужды, что положение беднейших семей так дурно, что необходима помощь; и помощь эта подавалась посредством устройства столовых, в которые записывались слабейшие члены беднейших семей. Таким образом разрастались и продолжают разрастаться столовые по тем направлениям, где нужда сильнее и менее покрыта, а именно по направлению к Ефремовскому и в особенности к Скопинскому уезду, где помощь особенно скудна. Всех столовых 187, из которых 130 таких, где посетители получают приварок и хлеб, и 57 таких, где получается один приварок. Разделение это на столовые хлебные и бесхлебные произошло с марта, вследствие того, что с этого месяца в Данковском уезде в беднейших деревнях, где и были наши столовые, стали выдавать от земства в ссуду по 30 фунтов на человека, а в Епифанском уезде и более 30 ф., так что в этих уездах беднейшее население было почти или совсем обеспечено хлебом и нуждалось только в приварке — картофеле, капусте и другом, который если и был у кого из бедных, то к марту месяцу совершенно истощился. Для этих-то беднейших жителей и были открыты нами бесхлебные столовые, в которые посетители ходят с своим хлебом. Привыкши получать в столовых и хлеб, крестьяне сначала были недовольны этой переменой и заявили, что выгода, получаемая от этих столовых, не окупит их трудов по очередному привозу дров из рощ на столовые и что они не желают пользоваться этими столовыми. Но недовольство это продолжалось очень недолго. Отказались только богатые, и то очень скоро стали просить о допущении их в столовые.

Расчёт выдачи провизии на эти бесхлебные столовые был следующий на десять человек в неделю:

муки ржаной на квас 5 ф.

муки пшеничной на заправку похлебок 2 ф.

муки гороховой, овсяной или кукурузной на кисели 10 ф. гороху 10 ф.

пшеница на кашу или кулеш 10 ф.

картофеля 2 меры

свеклы 1 мера

капусты кислой $\frac{1}{2}$ ведра

масла конопляного $\frac{1}{2}$ ф.

соли 4 ф.

луку 1 ф.

Кроме того, зимой шло керосина на неделю на столовую $1\frac{1}{2}$ фун. и дров на месяц 60 пуд.

При этой выдаче выходит на каждого человека по 2 фун. в день овощей, т. е. картофеля, капусты и свёклы, и по ½ ф. мучной пищи, т. е. пшена, гороха и ржаной муки, что даёт в разваренном виде более 4 ф. в день на каждого человека.

Столовые эти особенно интересны тем, что они наглядно показали ошибочность утвердившегося среди большинства и самих крестьян убеждения о том, что ржаной хлеб есть самая сытная, здоровая и вместе с тем дешёвая пища. Столовые эти несомненно показали, что горох, пшено, кукуруза, картофель, свёкла, капуста, овсяный и гороховый кисель составляют и более сытную, и здоровую, и дешёвую пищу, чем хлеб. Люди, ходившие в бесхлебные столовые, приносили очень маленькие кусочки хлеба, иногда приходили даже совсем без хлеба, и провели зиму сыто и здорово, съедая в день на 2 копейки приварка и на 2 или 3 коп. хлеба, тогда как, питаясь одним хлебом, они съедали его по крайней мере на 7½ коп.

Вот расписание кушаний на неделю, составленное одним из наших сотрудников: понедельник: щи, каша; вторник: картофельная похлёбка, кисель гороховый, на ужин то же; среда: гороховый суп, картофель варёный, на ужин горох с квасом; четверг: щи, кисель гороховый, на ужин то же; пятница: картофельная похлёбка, кулеш пшенный, на ужин то же; суббота: щи, картофель варёный, на ужин картофель с квасом; воскресенье: гороховый суп, каша, на ужин горох с квасом.

Составитель этого списка руководствовался теми продуктами, которые имелись в его распоряжении в данное время. При свёкле же, из которой всю зиму варился весьма любимый всеми свекольник, и при овсяном киселе, расписание это ещё более может быть разнообразно, не делая пищу более дорогою.

Столовые наши распределяются теперь по местностям так:

В Епифанском уезде всех столовых бесхлебных 57. В Мещёрках 1, в Екатерининском 2, Горках 2, Никитском 2, Иванове 2, Мясновке 1, Пашкове 1, Полевых Озёрках 2, Куликовке 1, Прилипках 2, Кузминках 1, Яковлевке 1, Хуторах 2, Курцах 2, Донских Озерках 2, Моховой 2, Хованских хуторах 3, Хованщине 6, Барятинках 2, Зубовке 2, Себине 3, Колесовке 2, Журилках 2, Устье 2, Щепине 1, Крюковке 1, Жохове 1, Грязновке 1, Заборовье 1, Плоховке 1, Исленьеве 2, Семичастной 1.

В Данковском уезде хлебных столовых 21. В Бегичевке 3, Осиновой Горе 2, Пеньках 2, Прудках 2, Александровке 1, Гаях 2, Бороновке 2, Софьинке 2, Катериновке 2, Александровской Слободе 2, Татищеве 3, Колодезях 3, Ершовке 3, Ивановке-Колки 2, Крюковке (дру-

гой) 2, Троицких Выселках 1, Огарёве 1, Толстых 1, Потапове 2, Кунакове 1, Горохове 3, Колтовой 1, Рожнях 3, Круглом 2, Воейкове 2, Колодезях (других) 4.

В Скопинском уезде хлебных столовых 48. В Горлове 6, Руденке 6, Муравлянке 7, Потеревке 3, Хорошеве 4, Писаревке 1, Затворном 6, Борщевом 6, Александрове 5, в Кикине 2, Карасёвке 1, Бугровке 2. В Ефремовском уезде всех хлебных столовых 30. В Андреевке 2, Козловке 1, Глебовке 2, Павловке 1, Куркине 4, Рязанове 2, Страховых хуторах 1, Сергиевских хуторах 1, Починках 1, Мешковке 1, Сумбулове 1, Телешовке 1, Татьяновке 1, Сергиеве на Птани 3, Никольском на Птани 5, Кукуевке 1, Алексеевке 1.

Во всех столовых этих 4-х уездов в настоящее время кормится 9 093 человека.

Таково было одно и главное наше дело.

Другое дело наше в последние зимние месяцы состояло в доставлении дров нуждающемуся населению. Нужда эта с каждым зимним месяцем становилась всё заметнее и заметнее, и с середины зимы, в особенности когда продовольствие уже было более или менее обеспечено, стала главною. В здешней местности, где нет ни дров, ни торфа, о соломе же на топку и думать нельзя было, с половины зимы нужда эта стала очень велика. Очень часто можно было находить не только детей, но и взрослых уже не на печи, а в печи, топленной накануне и удерживающей ещё немного тепла, и во многих дворах разоряли дворы, риги, сараи, сени даже, употребляя на топливо и солому, и решетник, и стропила.

Благодаря щедрым пожертвованиям нам дров: от Д. А. Хомякова 50 сажень, г. Рубцева — 7 вагонов, М. А. Сабашниковой — 4 вагона и, главное, заботе П. А. Усова и г-на Рубцева, которые доставляли нам дрова из Смоленска по дешёвой цене, около 6 руб. кругом кубическая сажень, — и тому, что мы на местах закупили более 200 саж. дров по 17 и 19 руб. за саж., — мы могли, кроме того, что понадобилось нам на столовые, раздать населению более 300 саж. дров.

Способ раздачи наш был такой: более зажиточным крестьянам мы продавали дрова по своей цене (считая среднюю цену за дрова, купленные в рощах и в Смоленске, по 5 коп. за пуд); средним крестьянам мы давали исполу на станции Клёкотки за 30 верст, так, что они одну половину брали себе, другую привозили нам. Бедным крестьянам, но имевшим лошадей, мы давали дрова даром, но с тем, чтобы они сами привозили их себе со станции. Самым бедным, безлошадным, мы давали дрова на месте, дома, те самые дрова, которые привозили нам те, которые брали дрова исполу.

Третье дело наше было кормление крестьянских лошадей. Кроме тех 80 лошадей, которые с перевозимья были отосланы в Калужскую губернию, 20 были взяты на прокормление кн. Д. Д. Оболенским, 10 — купцом Сафоновым и 40 лошадей поставлены на двор г-на Ершова, где они кормились двумя вагонами сена, пожертвованными П. А. Усовым, и старой соломой, данной владельцем, и ещё купленным кормом.

Перед весной же, с февраля месяца, были устроены для кормления крестьянских лошадей на дворах два помещения: одно у г-на Сычева, другое у г-на Миллера в Ефремовском уезде. Для корма лошадей было куплено 10 000 пуд. соломы, 2 вагона жмыха и припасено 300 пуд. просяной лузги для посыпки. На эти средства прокормлены 276 лошадей в продолжение последних двух месяцев.

Четвёртое дело наше составляла раздача льна и лык для работ и бесплатно нуждающимся в обуви и холсте. Один вагон льна на 660 руб. роздан нуждающимся безвозмездно, а другие 80 пуд. и 100 пудов, пожертвованные, розданы исполу. Полотно, приходящееся на нашу долю, до сих пор не получено, так что мы не могли до сих пор еще удовлетворить требованиям г-жи NN, приславшей нам 120 рублей за холст, и г-жи К. М., предложившей тоже покупать крестьянские холсты для доставления заработков крестьянским женщинам.

Лык пожертвовано нам: один вагон П. А. Усовым, 100 пуд. Ломоносовым и 1 000 пучков куплено на 219 р. Часть этих лык продана по дешёвой цене, часть отдана безвозмездно самым нуждающимся, другая часть отдана исполу для плетенья лаптей. Принесенные лапти частью розданы, частью раздаются.

Дело это, доставление материала для заработков, менее всего удалось нам. Дело это до такой степени мелочное, до такой степени неудобно нам, стоящим по отношению к крестьянам в положении распределителей пожертвований, стать в положение работодателей, требующих строгого отчета в употреблении материала, что дело это совершенно не удалось нам, вызвав только неосуществлённые ожидания, зависть и недобрые чувства. Самое лучшее было бы, что мы и делаем теперь, продавать эти предметы по самым дешёвым ценам тем, которые могут купить их, и отдавать даром тем, которые не могут купить, — беднейшим.

Пятое дело наше, начавшееся в феврале, состояло в устройстве столовых для самых малых детей, от нескольких месяцев, грудных, и до 3-х летних. Устраивали мы эти столовые так: описав все дворы, в которых есть дети этого возраста и нет молока, мы избирали хозяйку, имеющую отелившуюся корову, и предлагали ей за вознаграждение 15 пудов дров, 4 пуда жмыха в месяц (равняющиеся по

ценности 3-м рублям), готовить из своего молока молочную кашку для 10-ти детей (из пшена для детей от 1½ до 3-х лет, и из гречневых круп для грудных). На ребёнка от 1½ до 3-х лет выдаётся по 2 ф. пшена на неделю, а на грудных — по 1 ф. гречневых круп.

В больших сёлах столовые эти устраиваются так: покупается молоко по 40 коп. ведро. Выдаётся пшена детям грудным до года 1 ф. в неделю; детям от 1 года до 3-х л. 2 ф. Молока даётся детям меньшего возраста 1 стакан в день, старшего — 2 стакана. Бескоровные получают молоко и пшено в виде каши; имеющие же корову, получают кашу, взамен которой дают молоко.

Матери приходят иногда одни за кашкой и уносят её домой; иногда приносят с собой детей и тут же кормят их. Обыкновенно при устройстве этих приютов, матери, да и все крестьяне, предлагают вместо столовой у одной хозяйки — раздачу на руки пшена и круп, утверждая, что молока везде достанут у добрых людей. Но мы думаем, что для обеспечения здоровья малых детей необходимо именно такое устройство. Получив на руки 5, 10 фун. пшена и круп, каждая крестьянка, какая бы она ни была хорошая мать, смотрит на это пшено и крупу, как на провизию, принадлежащую всему дому, и изведёт её, как ей вздумается и понадобится, или как прикажет хозяин, так что очень часто пшено это и крупа не дойдут до детей. Если же она каждый день получает порцию готовой молочной каши для своего ребёнка, то она непременно ему и скормит её.

Приютов этих теперь устроено у нас около 80-ти, с каждым днём устраиваются новые. Приюты эти, сначала ещё вызывавшие сомнения, теперь совершенно вошли в привычное явление, и почти каждый день приходят бабы с детьми из деревень, в которых ещё нет таких приютов, прося устроить их. Приюты эти стоят около 60 коп. в месяц на ребёнка.

Так как никак нельзя, при том сложном и постоянно изменяющемся деле, которым мы заняты, расчесть раз в раз, сколько нам понадобится денег для доведения всего начатого нами до нового урожая, и мы потому не начинаем дела, которого не можем довести до конца, то, по всем вероятностям, у нас останутся неистраченные деньги от приходящих вновь пожертвований и от денег, затраченных заимобразно и имеющих возвратиться осенью. Самое лучшее помещение этих оставшихся денег, я думаю, было бы продолжение таких приютов для маленьких детей и на следующий год. Если же, как я уверен, найдутся на это дело и деньги, и люди, то отчего бы не продолжать его всегда? Устройство таких приютов везде, я полагаю, могло бы в большей степени уменьшить процент детской смертности. Таково было наше пятое дело.

Шестое дело, которое теперь начинается и которое, вероятно, так или иначе будет окончено, когда этот отчёт появится в печати, состоит в выдаче нуждающимся крестьянам на посев семян овса, картофеля, конопли, проса. Выдача семян этих особенно нужна в нашей местности, потому что, сверх посева ярового поля, неожиданно понадобилось пересевать значительную часть, около одной трети, в некоторых местах пропавшей ржи. Семена эти раздаются нами самым нуждающимся крестьянам, тем, у которых земля неизбежно останется незасеянной, если им не дадут семян, но выдаются они нами не даром, а под условием возврата зерном с нового урожая, независимо от теперешней цены и той, которая будет стоять тогда на эти предметы. Деньги, вырученные за эти предметы, могут пойти на устройство приютов младенцев на будущую зиму.

Покупка лошадей и раздача их составляет седьмое дело. Кроме того огромного процента безлошадных, всегда не имевших лошадей, достигающего во многих сёлах до трети, в нынешнем году есть крестьяне, проевшие лошадей и теперь неизбежно должныствующие впасть в полную нищету или кабалу, если они не приобретут лошади. Таким крестьянам мы покупаем лошадей. С весны купили таких 16, и необходимо еще купить около 100 лошадей в занятых нашими столовыми местах. Покупаем мы этих лошадей в цену около 25 руб. за лошадь на таком условии: получающий лошадь обязуется за это обработать два душевых надела беднейшим безлошадным крестьянам, вдовам и сиротам.

Восьмое дело наше было продажа ржи, муки и печёного хлеба по дешёвым ценам. Дело это — продажа печёного хлеба — продолжавшееся в малых размерах зимой, теперь, с наступлением весны, увеличивается. Мы устроили и устраиваем пекарни для продажи дешёвого, по 60 к. за пуд, хлеба.

Кроме этих определённых отделов, на которые употреблялись и употребляются пожертвованные деньги, небольшие суммы употреблены нами прямою выдачей нуждающимся на исключительные нужды: похороны, уплату долгов, на поддержание маленьких школ, покупку книг, постройки и т. п.; таких расходов было очень мало, как это можно видеть из денежного отчёта.

Таковы в общих чертах были наши дела за прошедшие 6 месяцев. Главным делом нашим за это время было кормление нуждающихся посредством столовых. В продолжение зимних месяцев эта форма помощи, несмотря на злоупотребления, встречающиеся при этом, в самом главном, в том, что она обеспечивала всё беднейшее и слабейшее население — детей, стариков, больных, выздоравливающих

— от голодания и дурной пищи, вполне достигала своей цели. Но с наступлением весны представляются некоторые соображения, требующие изменения существующего порядка устройства и ведения столовых.

С наступлением весны представляется, во-1-х, то новое условие, что многие, ходящие в столовые, будут на работах или за лошадьми, и им нельзя будет посещать столовые во время обедов и ужинов; во-2-х, то, что летом, при усиленной топке в столовых, легко могут быть пожары. Как вследствие этого видоизменится наша деятельность, мы в своё время сообщим, если будет к этому возможность.

При этом прилагаем краткий общий отчёт о полученных нами пожертвованиях и об употреблении их. Подробный отчёт, если будет время, мы составим и напечатаем после.

Пожертвований всех получено нами с 3-го ноября по 12-е апреля деньгами:

В Москве на имя С. А. Толстой	72 805 р. 38 к.
В Москве и в Рязанской губернии на имя Л. Н., Т. Л. и М. Л. Толстых от русских жертвователей	23 755 р.

Из-за границы на имя Л. Н. и Т. Л. Толстых, кроме полученных С. А. Толстой:

Из Америки	28 120 р. 19 к.
» Англии	15 758 р. 35 к.
» Франции	1 400 р.
» Германии	759 р.
<i>Итого</i> , кроме пожертвований, посланных прямо в Самарскую губ. и в Чернский уезд. Л. Л., С. Л. и И. Л. Толстым, нами получено всего	142 597 р. 92 к.

Из этих денег израсходовано по 12-е апреля	110 414 р. 33 к.
--	------------------

Израсходованы эти деньги на следующие предметы:

1) Послано Л. Л. Толстому для продовольствия населения в Бузулукском уезде Самарской губ.

деньгами	18 700 р.
послано капусты на	297 р. 50 к.
» луку »	45 р.
» лекарства, чаю, сахару на	98 р. 89 к.
На Самарскую губ. итого	19 141 р. 39 к.

2) Послано и передано разным лицам для продовольствия населению в разных местностях:

Г-же Головацкой	200 р.
Сергею Львовичу Толстому в Чернский уезд	1 000 р.
Илье Львовичу Толстому туда же	800 р.
г-же Вердеровской в Рязанский уезд	200 р.
г. Лыжину в Цивильский уезд Казанской губ.	200 р.
г-же Бибиковой в Богородицкий уезд Тульской губ.	300 р.
г-же Беклемишевой в Рязанский уезд Рязанской губ.	500 р.
доктору Рахманову в Лукояновский уезд Нижегородской губ.	100 р.
кн. Г. Е. Львову в Алексинский уезд Тульской г.	500 р.
г-же Серовой в Симбирскую губ.	400 р.
Итого разным лицам для помощи населению в разных местностях	4 200 р.

3) На покупку хлеба: куплено через посредство Рафаила Алексеича Писарева для столовых Рязанской и Тульской губ.:

19 вагонов ржи и 2 вагона пшеницы	15 968 р. 65 к.
8 вагонов ржи для Самарской губ.	7 192 р. 50 к.
Куплено через посредство Н. Н. Ге (сына) в Черниговской губ.	

Для столовых Рязанской и Тульской губ.	
34 вагона ржи	25 101 р. 36 к.
6 вагонов ржи для Самарской губ.	4 264 р. 12 к.
для Тульской и Рязанской губ. 6 вагонов гороху	3 505 р. 25 к.
2 вагона гороху для Самарской губ.	1 148 р. 35 к.
Куплено еще для столовых Рязанской и Тульской губерний:	
ячменя на	1 480 р. 92 к.

ржи по экономиям 1 183 пуда на	1 605 р. 20 к.
кукурузы 10 сагонов	4 100 р.
проса 1 000 пудов на	1 000 р.
гороху по экономиям на	1 034 р. 43 к.
пшеница по экономиям 1 450 пуд. на	2 029 р. 59 к.
отрубей ржаных 1 430 п. на	1 004 р. 68 к.
овсяной муки 1 290 п. на	1 000 р. 75 к.
Итого хлеба куплено для Самарской губ.	12 604 р. 97 к.
и для столовых Рязанской и Тульской губ. на	57 830 р. 73 к.
Всего на сумму	70 435 р. 80 к.

4) Для столовых Рязанск. и Тульск. губ. куплено овощей:

картофеля 15 519 п. на	3 103 р. 93 к.
свеклы 4 112 п. на	617 р. 84 к.
капусты 2 060 п. на	721 р. 17 к.
луку 260 п. на	153 р. 20 к.
соли, масла, керосину на	820 р. 32 к.
Итого на сумму	5 416 р. 46 к.

5) Куплено дров по разным ценам: в рощах по 17 и 19 р. за сажень и в Смоленске при бесплатном провозе по 6 р. за сажень, всего более 323 кубич. сажени.

Всего на покупку дров для столовых и для раздачи издержано 3 415 р. 21 к.

6) Куплено для корма лошадей около 10 000 и. соломы от 10 до 20 коп. за пуд на 1 300 р. 39 к.

куплено 2 вагона жмыха	610 р.
за устройство помещения	45 р. 20 к.
овсяной муки для посыпки	35 р.
заплачено за отправку лошадей в Калугу и обратно	434 р.
Всего на корм лошадей	2 424 р. 59 к.

7) На покупку льна 680 р. 78 к.

на покупку лык	214 р. 26 к.
на покупку пеньки	18 р.

Итого на покупку материалов для работы	913 р. 4 к.
--	-------------

8) Отдано за переделку проса и помол ржи и пшеницы 417 р. 48 к.

уплачено за подводы	1 943 р. 73 к.
за выгрузку, нагрузку, комиссию, переписку и телеграммы	913 р. 62 к.
Итого на расходы по доставке, хранению и на помол хлеба	3 274 р. 83 к.

9) На разнообразную помощь наиболее нуждающимся:

на поправку крыш и построек	99 р. 18 к.
дано прямо деньгами	512 р. 37 к.
куплено 18 лошадей на	428 р. 30 к.
на лекарство	36 р.
на молоко детям	82 р. 70 к.
печёный хлеб для раздачи	34 р. 46 к.
Итого на разную помощь нуждающимся израсходовано	1 193 р. 1 к.
Итого всего расхода с 3-го ноября по 12-е апреля	110 414 р. 33 к.
В остатке к 12-му апреля 1892 г. состояло	32 183 р. 59 к.

Сверх 32 183 р. 59 к. получено ещё 1 247 р. 46 к. от продажи пшеницы, ржи, лык, льна, дров, печёного хлеба и жмыха. Из этого остатка — 19 300 р. необходимы по смете, сделанной нами, для продовольствия существующих 187 столовых и около 100 детских приютов на три месяца с половиною, до нового урожая, так как запасено нами до нового урожая только необходимое количество ржи, другие же предметы — пшено, овёс, горох и пр. — частью ещё должны быть куплены. Остальные деньги будут употреблены нами на оказание помощи населению в виде выдачи семян овса, проса, картофеля, отчасти лошадей и в устройстве новых столовых как в Рязанской и Тульской, так и в Самарской губ., где открыто теперь около 150 столовых и где необходима помощь для посева.

Пожертвования хлебом и вещами были следующие:

ржаной муки	730 пуд.
-------------	----------

пшеничной	150 пуд.
ячменя	100 пуд.
свеклы	100 пуд.
проса	150 пуд.
картофеля	10 четв.
галет	70 пуд.
вермишели	20 пуд.
манных круп	10 ф.
дров	11 вагонов, 57 сажений.

Все эти пожертвования употреблены на столовые. Сверх этого в продолжение зимы получены нами для Рязанской губ. сухари, чай, сахар, 9 тюков с платьем, сукном, тёплыми сапогами, рубашками, одеялами и всякого рода одеждами, которые все розданы нуждающимся. Многие из пожертвованного послано и в Самарскую губ. и частью в Чернский уезд.

Более подробный отчёт о полученных вещах напечатаем после, если будем иметь время.

Лев Толстой.
21-го апреля 1892 г.

(29, 145 – 156)

Прибавление Второе.

**ОТЧЁТ ОБ УПОТРЕБЛЕНИИ ПОЖЕРТВОВАННЫХ ДЕНЕГ
С 12 АПРЕЛЯ ПО 20 ИЮЛЯ 1892 г.**

К 12-му апрелю оставалось из пожертвованных нам для помощи голодающим денег 32 183 р. 59 коп. И из вырученных с продажи ржи, пшеницы, льна, льна, дров, печёного хлеба и жмыха — 1 247 р. 46 к. Итого — 33 431 р. 5 к.

После 12-го апреля в разное время получено из-за границы на имя Л. Н. и Т. Л. Толстых 13 373 р. 83 коп. от следующих лиц:

1. Miss Hapgood	407 p. 35 коп.
2. 2 of Tolstoy's american readers	24 p.
3. Courier newspaper of Charleston through George W. Wurts	504 p. 30 к.
4. Ralph Stone (America)	28 p. 82 к.
5. Miss Hapgood	196 p. 65 к.
6. » »	652 p. 57 к.
7. Jas W. Smith and other citizens of Arington (Amer.)	211 p.
8. C. Z. Hamilton (U. S. A.)	15 p.
9. New Jork Chamber of Common	1 683 p. 25 к.
10. Mayor of City of Norfolk	65 p.
11. Baltimore Russian Famine Relief Commitee	499 p. 55 к.
12. Garrison	89 p. 47 к.
13. Belle Wheeler (Amer.)	20 p.
14. S. B. Hupbell	200 p.
15. Through miss Charlotte Adams	133 p. 51 к.
16. Miss Hapgood	299 p. 5 к.
17. Antoinette H. Horneman (Голландия).	250 p.
18. Howard Hadyrins (Англия)	25 p. 36 к.
19. Mr. E. Bevan Esy	30 p.
20. Miss Hapgood	219 p. 30 к.
21. » »	111 p. 86 к.
22. Wurts	2 804 p.
23. »	238 p. 22 к.
24. Garrison	109 p. 52 к.
25. Hapgood	321 p. 95 к.
26. »	133 p. 51 к.
27. Habitants de la portée Danoise de Slesvig	17 p. 20 к.
28. Habitants de la portée Danoise de Slesvig	1 032 p. 15 к.
29. William Rosenheim and C ^o	335 p.
30. Miss Hapgood	699 p. 36 к.
31. Russian Famine Fund	1 920 p.
32. Francis J. Garrison	96 p. 88 к.
Итого.	13 373 p. 83 к.

И из России 3 259 р. 5 к. от следующих лиц:

1. К. Гринштейн	3 р.
2. В. Н. Тушина	27 р.
3. П. И. Егорова	42 р.
4. Н. Данилова	50 р.
5. Е. Жилина	13 р.
6. 39-го летучего артиллерийского парка	4 р. 40 к.
7. Гайдебурова	280 р.
8. Е. Фракиной	25 р.
9. А. Чарторижского	34 р.
10. Через газету Новости	5 р.
11. Профессора Янжула	500 р.
12. Учеников, учениц и преподавателей харьк. школы рисования	266 р.
13. Неизвестной	13 р.
14. С концерта в Бийске	199 р.
15. Собрано П. И. Егоровым	92 р.
16. От Трескина	30 р.
17. Неизвестного	5 р.
18. Через Н. Н. Петрова	50 р.
19. От Н. Л. Бубновой	25 р.
20. Через А. Каталинскую	55 р.
21. Ю. Зотовой	5 р.
22. Конторы Русских ведомостей	510 р.
23. М. Степанова	8 р.
24. Лидочки Мальшевой	12 р.
25. Кожевникова	3 р.
26. М. Степанова	8 р.
27. Конт. Русск. ведом	10 р.
28. То же	54 р. 20 к.
29. То же	12 р.
30. Служащ. в канцелярии Рязанской губернс. земс. управы	27 р.
31. Служащ. Товарищ. Н. К. Л. О	39 р.
32. Астраханск. Управл. рыбн. и тюлен. промыслами	100 р.
33. Неизвестного	25 р.

34. То же	20 р.
35. То же	25 р.
36. Н. А. Дукельского	10 р.
37. Конт. Русск. вед	3 р.
38. М. Голевой	20 р.
39. Рязанск. земск. управы	6 р.
40. Фабрики Кашина в Костроме	34 р.
41. Ред. Русск. ведом.	9 р. 45 к.
42. То же	6 р.
43 Е. В. Б.	2 р.
44. П. Н.	20 р.
45. Шляхтиной	5 р.
46. Г. А. Малеевой	9 р.
47. Конт. Русск. вед.	4 р.
48. А. Н. Войцева	5 р.
49. Н. А. Дукельского	10 р.
50. Д. Траскиной	50 р.
51. Волкенштейна из Полтавы	407 р.
52. Померанцевой	59 р.
53. Ширяева из Харькова	23 р.
Итого....	3 259 р. 5 к.

На имя С. А. Толстой получено из-за границы и из России 10 185 р. 63 к.

Итого... 60 249 р. 56 к.

Получено ещё за проданные 1 188 пуд. печёного хлеба 791 р. 81 к.

Всего... 61 041 р. 37 к.

Кроме того, получено натурой, пожертвованных американцами:

1) Из Риги 27-го мая пшеничной муки	1 503 пуда
2) Еще 27-го мая кукурузы	1 203 п.
3) В июле пшеничн. муки	600 п.

4) Из Нового порта: муки, фасоли, домашних вещей, бисквитов и консервов 116 пуд.

Денег израсходовано с 12-го апреля по 20 июля	47 990 р. 83 к.
1. На покупку ржи для столовых и для хлебопечения	10 068 р. 92 к.
2. На покупку проса, пшена, гороха, ячменя, кукурузы, гречи и гречневой крупы	16 886 р. 85 к.
3. На покупку картофеля, свеклы, масла, керосину	1 455 р. 29 к.
4. На покупку дров для столовых и для раздачи нуждающимся	859 р. 67 к.
5. На покупку картофеля, овса, конопли для обсеменения яровых полей	2 952 р. 31 к.
6. На покупку лошадей	1 063 р. 23 к.
7. На покупку коров	248 р.
8. На покупку молока для детей	1 064 р. 52 к.
9. На корм лошадям	617 р. 7 к.
10. На исправление жилищ	108 р. 8 к.
11. На лекарства, употребленные в Самарской, Тульской и Рязанской губ.	170 р.
12. Роздано деньгами	335 р. 54 к.
13. За провоз грузов со станций железных дорог, за выгрузку, нагрузку, хранение и др. расходы по доставке	4 703 р. 80 к.
14. Размол ржи и переделка проса и гречи	735 р. 86 к.
15. На устройство пекарен, наем помещений и за полежалое на станциях жел. дор.	1 233 р. 19 к.
16. На покупку для столовых печеного хлеба из пекарен Красного Креста	450 р.
17. Послано в Самарскую губ. Льву Львовичу Толстому	4 483 р.
18. В Нижегородскую губ. врачу Рахманову	350 р.
19. Послано капусты для цынготных в Воронежской губ. на	205 р. 50 к.
Итого	47 990 р. 83 к.
В приходе было	61 041 р. 37 к.
Итого в остатке денег к 20-му июля было	13 050 р. 37 к.

Кроме того, к 20-му июля в остатке было около 8 тыс. пудов разного хлеба: гороха, кукурузы, ржи, бобов.

Дело наше в продолжение лета состояло в следующем: 1) в поддержании прежде бывших и устройстве новых столовых; 2) в устройстве приютов для грудных и двухлетних детей, 3) в выдаче семян для ярового посева, 4) в покупке лошадей и 5) в устройстве пекарен и продаже печеного хлеба.

Первое дело наше — столовые продолжались с 12 апреля по 20-е июля почти в том же виде, как и в предшествующие месяцы с тою

только разницею, что, опасаясь пожаров от жаркой топки, мы прекратили печенье хлеба в столовых. Там, где мы могли это сделать, мы выдавали печёный хлеб, а где нельзя было приготовить достаточное количество хлеба, выдавали муку на руки.

Во многих деревнях некоторые из наших сотрудников предложили и приварок выдавать на руки. Перемена эта в первое время принята была с радостью, но очень скоро в большей части деревень сами крестьяне пожелали вернуться к старому порядку.

Нужда в столовых чувствовалась летом при длинном дне и напряженной работе больше, чем зимою. Очень часто во многих деревнях женщины просили, чтобы вместо того обеда, на который они имели право, вечером принимали бы на ужин их мужей или отцов, приходивших поздно с работы.

Число столовых за это время значительно увеличилось.

В Данковском уезде были следующие: в Бегичевке — 3, в Гаях — 2, в Татищеве первом — 5, в Софьинке — 2, в Екатериновке — 2, в Бароновке — 2, в Марьинке — 2, в Прудках — 2, в Пеньках — 2, в Осиновой Горе — 2, в Александрове — 1, в Осиновых Выселках — 2, в Рожне — 3, в Круглом — 2, в Воейкове — 3, в Долгом — 6, в Татищеве (другое) — 1, в Мышенке — 1, в Колодезях — 4, в Толстых — 1, в Потапове — 2, в Горохове — 3, в Змеивке — 6, в Букове — 1, в Миловке — 1, в Колодезях (других) — 4, в Ивановке — 2, в Крюковке — 2, в Спешневке — 1, в Семичастном — 1, в Огареве — 1. Итого 72 ст.

В Епифанском: в Екатериненском — 3, в Горках — 2, в Никитском — 2, в Ивановке — 2, в Мясновке — 1, в Пашкове — 1, в Донских Озёрках — 2, в Полевых Озёрках — 2, в Моховой — 2, в Хуторах — 2, в Куликовке — 1, в Телятенке — 1, в Мещёрках — 1, в Курцах — 2, в Кузминках — 1, в Грязновке — 1, в Жохове — 1, в Заборовке — 1, в Плоховке — 1, в Хованщине — 6, в Хованских Хуторах — 3, в Себине — 3, в Журичках — 2, в Устье — 2, в Крюкове — 1, в Прилипках — 2, в Колесовке — 2, в Щепине — 1, в Барятине — 2, в Зубовке — 2, в Колотыровке — 1. Итого 56 ст.

В Ефремовском: в Андреевке — 2, в Козловке — 1, в Глебовке — 2, в Куркине — 3, в Мариинских Выселках — 1, в Клешне — 2, в Павловке — 1, в Рязанове — 2, в Починках — 1, в Мешковке — 1, в Сумбулове — 1, в Телешовке — 1, в Татьяновке — 1, в Рахмановских Хуторах — 1, в Безобразовских Хуторах — 1, в Тишинских Хуторах — 1, в Страховских Хуторах — 1, в Травине — 1, в Тимирязеве — 1, в Щепотьеве — 1, в Хохловке — 3, в Никольском — 5, в Алексеевке — 1, в Озёрках — 1, в Кукуевке — 1, в Ивановке — 1, в Каменке —

1, в Жемайловке — 1, в Моховских Хуторах — 2, в Моховой — 1. Итого 43 ст.

В Скопинском: в Горлове — 7, в Руденке — 6, в Муравлянке — 8, в Потеревке — 3, в Хорошевке — 4, в Затворной — 7, в Борщевом — 8, в Ново-Александровке — 5, в Михайловке — 2, в Кикине — 3, в Дмитровке — 4, в Богородицком — 4, в Карасевке — 1, в Бугровке — 3, в Бугровских Хуторах — 1, в Колтовой — 1, в Озёрках — 2, в Ухтомке — 6. Итого 75.

Всех столовых было 246 и кормилось в них разновременно, то больше, то меньше, между 10-ю и 13-ю тысячами человек.

Второе дело, устройства приютов (так неправильно назывались у нас кухни для варенья каши молочной детям), продолжалось на прежних основаниях и очень распространилось. Для некоторых приютов в деревнях, где было мало коров (а в нашем округе были деревни, в которых 60 % дворов было бескоровных), мы покупали коров с уговором, чтобы те, которые получали коров, за это давали молоко на приписанных к ним детей. Для некоторых же, где это было можно, покупали молоко.

Приютов было:

В Епифанском уезде: в Моховой — 1, в Никитском — 2, в Заборовке — 1, в Грязновке — 1, в Пашкове — 1, в Екатериненском — 1, в Курцах — 1, в Хуторах — 2, в Кузминке — 1, в Донских Озерках — 1, в Мясновке — 1, в Горках — 1, в Хованщине — 2. Итого 16 приютов.

В Ефремовском: в Андреевке — 1, в Козловке — 1, в Глебовке — 1, в Куркине — 1, в Мариинских Выселках — 1, в Клешне — 1, в Павловке — 1, в Рязанове — 1, в Починках — 1, в Мешковке — 1, в Сумбулове — 1, в Телешовке — 1, в Татьяновке — 1, в Рахмановских Хуторах — 1, в Безобразовск. Хут. — 1, в Тишинск. Хут. — 1, в Страховск. Хут. — 1, в Алексеевке — 1, в Кротком — 1, в Кукуеве — 1, в Никольском — 3, в Ивановке — 1, Моховских Выселках — 1, в Травине — 2, в Тимирязеве — 1, Щепотьеве — 1, в Хохловке — 1. Итого 30 пр.

В Скопинском: в Колтовой — 1, в Бугровке — 2, в Карасевке — 1, в Бугровск. Хут. — 1, в Горлове — 7, в Дмитровке — 4, в Потеревке — 1, в Руденке — 6, в Муравлянке — 7, в Затворном (выдавалось на 140 детей), в Хорошевке — 4, в Борщевом — 8, в Александрова — 6, в Кикином — 1, в Богородицком (выд. на 80 детей). Итого 51 пр.

В Данковском: в Бегичевке — 1, в Ивановке — 1, в Огареве — 1, в Пеньках — 1, в Екатериновке — 1, в Софьинке — 1, в Осиновой Горе — 1, в Осин. Прудках — 1, в Гаях — 1, в Марьинке — 1, в Бароновке

— 1, в Александровке — 1, в Татищеве — 2, в Козловке — 1, в Колодезях — 2, в Крюкове — 1, в Спешневе — 1, в Колодезных Выселках — 1, в Ивановских Колках — 1, в Рожне — 1, в Круглом — 1, в Мышинке — 1, в Горохове — 1, в Даниловке — 2. Итого 27 пр.

Кормилось всех детей в 124-х приютах от 2-х до 3-х тысяч.

Третье дело, состоящее в раздаче яровых семян — овса, картофеля, проса, конопли, мы делали так. Приехав в ту деревню, из которой были просители, мы приглашали 3-х — 4-х зажиточных и ненуждающихся в помощи домохозяев и прочитывали им по списку имена лиц, нуждающихся в семенах, и по указаниям этих добросовестных назначали количество, нужное каждому просителю: иногда уменьшали, иногда увеличивали его, иногда совсем вычёркивали некоторых и на место их вписывали других, не обозначенных в списке.

Четвёртое дело, — раздача лошадей тем, у которых было заведенное хозяйство, но или была проедена лошадь, или истратилась каким-либо несчастным случаем, — было особенно затруднительно тем, что помощь на одно лицо была слишком большая и потому вызвала зависть, пререкания и неудовольствия тех, которым мы должны были отказывать. Назначали мы эту помощь, так же как и помощь семенами, по указанию добросовестных той деревни, из которой были просители.

На этих двух делах мы с особенной ясностью увидали резкое различие между деятельностью, имеющей целью накормить голодного, достигавшеюся столовыми, и деятельностью, имеющей целью помощь крестьянскому хозяйству, в которую мы были вовлечены раздачею овса, проса, конопли, картофеля и лошадей.

Задавшись целью избавить в известной местности людей от опасности зачахнуть, заболеть и погибнуть от недостатка пищи, мы, устроив в этой местности столовые, вполне достигали этой цели. Если и могли при этом быть злоупотребления, т. е. что были люди, могущие прокормиться дома, которые питались в столовых, то злоупотребления эти ограничивались съеденною пищею ценностью от 2-х до 5-ти копеек в день. Но, задавшись целью помочь крестьянскому хозяйству, мы сразу встречались, во-1-х, с непреодолимою трудностью определения, кому и сколько и чем помочь; во-2-х, с громадною нуждою, на покрытие которой не хватило бы в сто раз больших средств, чем те, которыми мы располагали, и, в-3-х, с возможностью самых больших злоупотреблений, сопутствующих всегда даровой или даже заимообразной раздаче.

Оба эти дела, несмотря на большие усилия, положенные нами на исполнение их, не оставили в нас сознания того, что мы принесли этим настоящую пользу крестьянам нашей местности.

Пятое дело было хлебопечение и продажа хлеба по дешёвой цене. Сначала мы продавали хлеб по 80 коп., потом по 60 коп. за пуд и так продолжаем до сих пор.

Дело это шло и идёт очень хорошо. Народ очень дорожит возможностью иметь всегда под рукой дешёвый хлеб. Часто, и в особенности летом, приходили люди за 10 и более вёрст и, не поспевая к первому выходу из печки, который уже весь был разобран, записывались, как в городах на ложи театра, на 10 фунтов из следующей печки и по полдня дожидались своей порции.

В конце июля мы намеревались сделать перерыв столовых, продолжая только хлебопечение и детские приюты, нужные всегда и на которые мы положили истратить оставшиеся в нашем распоряжении деньги. Но перерыва этого нам не удалось сделать, потому что, вследствие прекращения деятельности Красного Креста, необходимо было устроить тотчас же столовые для всех тех лиц, которые были на попечении Красного Креста и с 20-го июля остались без призрения. С 1-го августа нами устроены 70 столовых для самых нуждающихся краснокрестников, к которым очень скоро присоединились и самые бедные из земельных крестьян. Число их постоянно прибавляется.

Урожай в нынешнем году в местности нашей деятельности такой: в круге с диаметром около 50 верст, в центре которого мы находимся, урожай ржи хуже прошлогоднего. Во многих деревнях по Дону: Никитское, Мясновка, Пашково, в которых я был в первых числах сентября, ржи уже не было ничего. Что было, то посеяно и съедено. Овса не родилось совсем, редко у кого достанет на семена. Есть овсяные поля, которые вовсе не косили. Картофель и просо хороши, и то не у всех. Кроме того, просо сеют не все.

На вопрос об экономическом положении народа в нынешнем году я не мог бы с точностью ответить. Не мог бы ответить потому, во-первых, что мы все, занимавшиеся в прошлом году кормлением народа, находимся в положении доктора, который бы, быв призван к человеку, вывихнувшему ногу, увидал бы, что этот человек весь больной. Что ответит доктор, когда у него спросят о состоянии больного? «О чём хотите вы узнать? — переспросит доктор. — Спрашиваете вы про ногу или про всё состояние больного? Нога ничего, нога простой вывих — случайность, но общее состояние нехорошо».

Но и кроме того, я не мог бы ответить на вопрос о том, каково положение народа: тяжело, очень тяжело или ничего? потому что мы все, близко жившие с народом, слишком пригляделись к его понемножку всё ухудшавшемуся и ухудшавшемуся состоянию.

Если бы кто-нибудь из городских жителей пришел в сильные морозы зимой в избу, топленную слегка только накануне, и увидал бы обитателей избы, вылезавших не с печки, а из печки, в которой они, чередуясь, проводят дни, так как это единственное средство согреться, или то, что люди сжигают крыши дворов и сени на топливо, питаются одним хлебом, испечённым из равных частей муки и последнего сорта отрубей, и что взрослые люди спорят и ссорятся о том, что отрезанный кусок хлеба не доходит до определённого веса на осьмушку фунта, или то, что люди не выходят из избы, потому что им не во что одеться и обуться, то они были бы поражены виденным. Мы же смотрим на такие явления как на самые обыкновенные. И потому на вопрос о том, в каком положении народ нашей местности, ответит скорее тот, кто приедет в наши места в первый раз, а не мы. Мы притерпелись и уже ничего не видим.

Некое понятие о состоянии народа в нашей местности можно составить себе по следующим статистическим данным, извлечённым из *Тульских губернских ведомостей*. В урожайные годы в 4-х уездах: Богородицком, Епифанском, Ефремовском, Новосильском, в среднем, с 1886 по 1890 г. умерло в 5 месяцев от февраля до июня включительно 9 761 человек и рождалось 12 069 чел. В неурожайном же 1892 г. в тех же уездах в те же 5 месяцев умерло 14 309 человек, а родилось 11 383 чел. В обыкновенные годы рождаемость превышала смертность в среднем на 2 308 чел., в нынешнем же неурожайном году смертность превысила рождаемость на 2 926. Так что последствием неурожая в этих 4-х уездах было уменьшение населения против обыкновенных годов на 5 234 чел. По сравнению же с другими урожайными уездами выходит следующее. В четырех урожайных уездах: Тульском, Каширском, Одоевском, Белевском в 1892 г. в продолжение тех же 5 месяцев родилось 8 268 человек, умерло же 6 468. В неурожайных же уездах родилось 11 383 чел. и умерло 14 309, так что тогда как в урожайных уездах рождаемость относится к смертности приблизительно как 4 к 3, в неурожайных уездах смертность относится к рождаемости приблизительно как 7 к 5, т. е. что тогда как в урожайных уездах на каждые 4 рождения было 3 смерти, в неурожайных уездах было на 7 смертей только 5 рождений.

В процентном же отношении положение неурожайных местностей особенно ярко выражается смертностью в июне месяце. В Епифанском уезде умерло в 1892 г. на 60 %, в Богородицком на 112 % и в Ефремовском на 116 % более, чем в обыкновенные годы.

Таковы были последствия неурожая прошлого года, несмотря на усиленную помощь от Красного Креста и частной благотворительности. Что же будет в нынешнем году в нашей местности, где рожь родилась хуже прошлого года, овса совсем не родилось, топлива совсем нет и последние запасы сил населения вытянуты прошлым годом?

Так что же? Неужели опять голодающие? Голодающие! Столовые! Столовые. Голодающие. Ведь это уж старо и так страшно надоело.

Надоело вам, в Москве, в Петербурге, а здесь, когда они с утра до вечера стоят под окнами или в дверях, и нельзя по улице пройти, чтобы не слышать всё одних и тех же фраз: «Два дня не ели, последнюю овцу проели. Что делать будем? Последний конец пришёл. Помираться, значит?» и т. д., — здесь, как ни стыдно в этом признаться, это уже так наскучило, что как на врагов своих смотришь на них.

Встаю очень рано; ясное морозное утро с красным восходом; снег скрипит на ступенях, выхожу на двор, надеюсь, что никого ещё нет, что я успею пройтись. Но нет; только отворил дверь, уже двое стоят: один высокий широкий мужик в коротком, оборванном полушубке, в разбитых лаптях, с истощённым лицом, с сумкой через плечо (все они с истощёнными лицами, так что эти лица стали специально мужицкие лица). С ним мальчик лет 14-ти, без шубы, в оборванном зипунишке, тоже в лаптях и тоже с сумой и палкой. Хочу пройти мимо, начинаются поклоны и обычные речи. Нечего делать, возвращаюсь в сени. Они всходят за мной. — Что ты? — К вашей милости. — Что? — К вашей милости. — Что нужно? — Насчёт пособия. — Какого пособия? — Да насчёт своей жизни! — Да что нужно? — С голоду умираем. Помогите сколько-нибудь. — Откуда? — Из Затворного. Знаю, это скопинская нищенская деревня, в которой ещё мы не успели открыть столовой. Оттуда десятками ходят нищие, и я тотчас же в своём представлении причисляю этого человека к нищим профессиональным, и мне только досадно на него и досадно, что и детей они водят с собой и развращают. «Чего же ты просишь? — Да как-нибудь обдумай нас. — Да как же я обдумаю? Мы здесь не можем ничего сделать. Вот мы приедем». Но он не слушает меня. И начинаются опять сотни раз слышанные одни и те же кажущиеся мне притворными речи: «Ничего не родилось, семья 8 душ, работник я один, старуха померла, летось корову проели, на Рожество последняя лошадь околела, уж я, куда ни шло, ребята есть просят, отойти некуда, три дня не ели!» Всё это обычное одно и то же. Жду, скоро ли кончит. Но он всё говорит: «Думал, как-нибудь пробьюсь. Да выбился из сил. Век не побирался, да вот... бог привёл! — Ну, хорошо, хорошо, мы приедем, тогда увидим», — говорю я и хочу пройти и

взглядываю нечаянно на мальчика. Мальчик смотрит на меня жалостными, полными слёз и надежды прелестными карими глазами, и одна светлая капля слезы уже висит на носу и в это самое мгновение отрывается и падает на натоптанный снегом дощатый пол. И милое, измученное лицо мальчика с его вьющимися венчиком кругом головы русыми волосами дёргается всё от сдерживаемых рыданий. Для меня слова отца — старая, избитая канитель. А ему — это повторение той ужасной години, которую он переживал вместе с отцом, и повторение всего этого в торжественную минуту, когда они, наконец, добрались до меня, до помощи, умиляют его, потрясают его расслабленные от голода нервы. А мне всё это надоело, надоело; я думаю только, как бы поскорее пройти погулять.

Мне старо, а ему это ужасно ново.

Да, нам надоело. А им всё так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви, как я видел по его прелестным, устремлённым на меня, полным слёз глазам, хочется этому измученному нуждой и полному наивной жалости к себе доброму жалкому мальчику.

Лев Толстой.
11-го сентября 1892 года. Бегичевка.

(29, 157 – 168)





Глава Девятая

ГОЛОД, ЭПИДЕМИИ И УСТАЛОСТЬ

(21 октября – 21 ноября 1892 г.)

Привычка терпеть и приспособливаться превращает людей в бессловесных скотов, даже превосходящих их в беззащитности. И каждый новый день порождает новый ужас зла и насилия.

(Стругацкие)

Как из гнилых и кривых брёвен, как ни перекладывай их, нельзя построить дом, так из таких людей нельзя устроить разумное и нравственное общество. Из таких людей может образоваться только стадо животных, управляемое криками и кнутами пастухов

(Л. Н. Толстой)

9. 1. ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

(Предыстория)

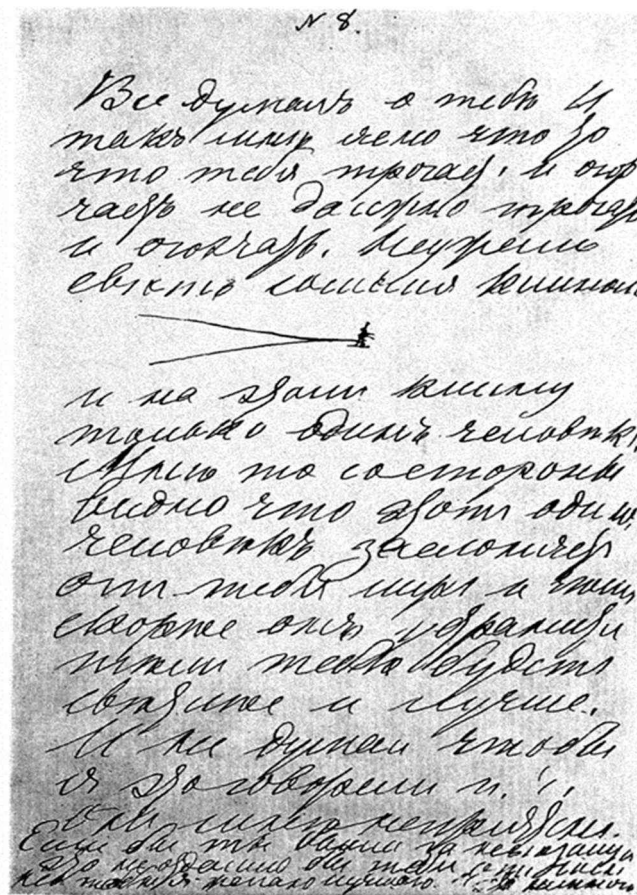
У событий, совершившихся в обозначенный в заголовке Девятой главы временной интервал, имеется существенная предыстория. Начало её — в сентябрьской краткой и деловой поездке Толстого в Бегичевку, в ходе которой два мощных и негативных впечатления повлияли и на мировоззрение, и на творчество Льва Николаевича.

В письме к жене от 10 сентября из Бегичевки, первом после сентябрьского приезда туда (если же точнее, это пространная *приписка* к письму дочери Тани), Толстой сообщает некоторые новости, среди которых вдруг — эти краткие, без пояснений, слова:

«Впечатление Узловой ужасно» (84, 160).

Толстой выехал в Бегичевку с сыном Львом и дочерью Татьяной 9 сентября. Машу в этот раз в Бегичевку он не взял по причине деоикатной: нежелательные для родителей романтические отношения её с Петей, сыном покойного Ивана Ивановича Раевского, получили

продолжение. С дороги уже, с вокзала в Туле, в продолжение непростого разговора, Толстой посылает дочери такое письмо:



Письмо к М. Л. Толстой от 9 сентября 1892 г.

«Всё думал о тебе. И так мне ясно, что то, что тебя трогает и огорчает, не должно трогать и огорчать. Неужели свет сошёлся клином и на этом клину только один человек?

Мне-то со стороны видно, что этот один человек заслоняет от тебя мир, и, чем скорее он устранился, тем тебе будет светлее и лучше. И не думай, чтобы я это говорил потому, что он мне неприятен. Если бы ты вышла за него замуж, это не отдалило бы тебя от меня. Но тебе я желаю лучшего. И это не много» (66, 257).

Толстой посчитал необходимым заехать по пути с ответным «визитом вежливости» в Молодёнки Епифанского уезда, имение Петра Фёдоровича Самарина (1830 – 1901), за 18 вёрст от Бегичевки. В тот же день он проезжал станцию Узловая, что в Тульской губернии, где был свидетелем ужаснувшей его сцены, которую или не захотел, или не нашёл в себе силы тогда же подробно описать в письме к жене.

Это сделала Татьяна Львовна в письме к маме 10 сентября (тот самым, к которому Л. Н. Толстой сделал обширную приписку):

«В одном поезде с нами ехали вчера Давыдовы — тоже в Молодёнки, — и Зиновьев с Львовым, чтобы усмирять бунт в Бобриках, где крестьяне не дают Бобринскому рубить лес, который они считают своим. В Узловой мы нагнали поезд с 400 солдат, которых туда гонят с ружьями, готовыми зарядами и музыкой. Это произвело на нас всех и особенно на папá ужасно неприятное впечатление. Зиновьев казался очень сконфуженным и жалким» (*Там же. С. 160 – 161*).

Ещё бы тульскому губернатору Николаю Алексеевичу Зиновьеву (1839 – после 1917) не быть сконфуженным. Как уже знает наш читатель, он успел познакомиться с Толстым, стать гостем его семейства и вполне поддерживал инициативу со столовыми. Тульский прокурор Николай Васильевич Давыдов, давний общий знакомый Толстого и Зиновьева, особенно подчёркивает в своих мемуарах, что Николай Алексеевич относился к Толстому-благотворителю «с большим уважением», не как «представитель наблюдающей власти, а в качестве знакомого» (*Давыдов Н.В. Из прошлого // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1978. Т. 2. С. 15*). Ещё 28 августа он нанёс Толстому в Ясной Поляне неофициальный, вполне дружеский визит, чтобы поздравить с днём рождения...

И вдруг — такие обосратушки. Аж кучкой!

В черновых рукописях двенадцатой главы «Царства Божия...» сохранился такой портрет Зиновьева в стадии «извините, обосрались» — из окончательного текста сочинения убранный, но, без сомнения, нарисованный Толстым по свежим воспоминаниям «с натуры»:

«Следующее, что я увидал, - это начальника всей этой экспедиции, седого человека, у которого, я знаю, дочь выходит замуж и маленькая 5-летняя дочка, невинный ребёнок, которую он любит и крестит, старушка мать, у которой он целует руку и тоже крестит. Лицо этого человека несчастно. Он знает всю мерзость того дела, которое он совершает, но старается притвориться спокойным. И бегающие глаза и неестественная развязность тона выдают его» (*«Царство Божие внутри вас». Из рукописей двенадцатой главы // Литературное наследство. Т. 69. Кн. 1. М., 1961. С. 454*).

Нехорошо, конечно же, было и Льву Николаевичу. В третьем томе «Биографии Л. Н. Толстого» Павел Иванович Бирюков, ставший, как мы помним, с лета 1892 года ответственным заместителем Толстого в Бегичевке и, после перерыва и посещения в Ясной Поляне Толстого, уехавший снова туда не позднее 22 августа, вспоминает: «Я жил в это время в Бегичевке, заведывая столовыми Льва Николаевича. Мы ждали его приезда для составления отчёта за прошлый год, и в

назначенный день, 9 сентября, он приехал. Я встретил его на крыльце дома, когда он выходил из экипажа. Радостная улыбка встречи озагновилась на моих губах, когда я увидел взволнованное, расстроенное, мрачное лицо Л. Н – ча. Я понял, что что-нибудь случилось дорогой. И только что Л. Н-ч вошёл в дом, как, не садясь, с волнением и слезами в голосе начал рассказывать о том, что с ним произошло...» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. М., 1923. Том третий. С. 202 – 203*).

Итак, 9-го сентября 1892 года совершилось событие историческое — в истории русской и мировой общественно-публицистической и религиозной мысли. На станции Узловая Сызранско-Вяземской железной дороги писатель встретился с карательным отрядом, направлявшимся, под личным руководством тульского губернатора, для наказания крестьян, не давших своему помещику рубить лес, вероятно, вполне законно приобретённый им «на извод», но который сами эти дети природы, чуждые буржуазного «правосознания», считали своим.

Конечно же, Толстой-публицист не преминул со своих позиций описать и охарактеризовать виденное им. Взывающая к дремлющей совести «паразитов» проблема неуважения к правам и человеческому достоинству своих кормильцев, поднятая Львом Николаевичем ещё в трактате «Так что же нам делать?», развитая им позднее в гениальных работах «Неужели это так надо?», «Стыдно» и «Голод или не голод?», нашла весьма многословное и эмоциональное выражение в главе XII трактата «Царство Божие внутри вас», в котором эта, заключительная, глава — самая пространный, могущая быть прочтённой даже отдельно от предшествующих ей, как особенное публицистическое выступление Л. Н. Толстого. Конечно же, после публикации этой главы и прочтения её Н. А. Зиновьевым отношения его с Толстым были разорваны взаимно.

Тема, заявленная в трактате, по всей видимости, не скоро утратит свою актуальность для России.

Толстого возмутила не столько жестокость самого наказания, сколько та лёгкость, то нравственное безразличие, с которыми чиновники, офицеры и солдаты готовились совершить истязание «голодных и беззащитных, тех самых людей, которые кормят их» (28, 230).

Вошь и гнида ополчились на бабку Степаниду, которую и без того грызут... Не апофеоз ли это того «стиля взаимоотношений» власти и общества в России, который господствовал и при царях, и при Сталине, и торжествует и в наши дни, в современной (весна 2022 г.),

гопническо-бандюжье-сволочной, полицейской и фашистской путинской России?

С болью и гневом пишет Л. Н. Толстой в трактате (гл. VIII), что, подобно тому «как из гнилых и кривых брёвен, как ни перекалывай их, нельзя построить дом, так из таких людей нельзя устроить разумное и нравственное общество. Из таких людей может образоваться только стадо животных, управляемое криками и кнутами пастухов» (28, 165). Пока «мирные народы» покойно «пасутся», не помышляя о своём праве на свободу, честь, достоинство, до тех пор послушное стадо можно «стричь» (налогами, штрафами и иными поборами), «резать» (войнами), да ещё и обманывать тем, что иначе нельзя и прожить стаду. Но как только традиционные неуважение, насилие и обман встречают отпор, как только стадо становится обществом людей, знающих о своих человеческих правах, о естественности своего равенства с самозванными распорядителями их судеб, все эти люди обречены становиться жертвами насилий и обмана. А убивать их будут такие же, в прошлом, простые люди, но загнанные уже в военное рабство.

Это патетическое и эмоциональное место в трактате не напрасно, не случайно перекликается с пушкинским стихотворением «Свободы сеятель пустынный...»: как и это стихотворение одного из немногочисленных поэтов, признанных Толстым, многие главы «Царства Божия...» писались в период не только ужасной хронической усталости, которую Толстой до лета 1892 г. не мог до конца снять как по причине необходимости и в периоды кратких отпусков удалённо руководить бегичевскими и иными делами, так и из-за домашнего, связанного с поведением жены, непокоя. Сказывался и процесс утраты автором некоторых известных по его высказываниям о крестьянах и достаточно наивных «демократических» иллюзий — конечно же, связанных с длительным ежедневным наблюдением *реальной* жизни этих самых крестьян. В том тяжёлом состоянии души, которое преследовало гения периодически всю жизнь. Кроме того, пушкинские образы, настроения, понятие свободы и чести всегда были близки Толстому, хотя в понятие «свобода» Толстой-публицист вложил своё, очень своеобразное содержание, отражающее его высшее, чем пушкинское, истинно-христианское жизнепонимание.

По мнению П. И. Бирюкова, встреча с карательным отрядом произвела на Толстого такое же сильное впечатление, какое в прежние эпохи земного бытия произвели на него «смерть его отца и бабушки; столкновение с губернёром-французом, затем его внезапная поездка на Кавказ, перенёсшая его из московских ресторанов с картами и цыганами на лоно дикой кавказской природы. Таковы были

для него севастопольские ужасы, смертная казнь в Париже, смерть любимого брата и проч. Московская перепись и знакомство с городской нищетой» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Том третий. М., 1923. С. 202*).

Павел Бирюков вспоминает об условиях, в которых пришлось ему начинать второй сезон работы толстовского «министерства добра»: «Пространство России, постигнутое на этот раз неурожаем, было значительно меньше, но зато там, где пришлось второй раз пережить это тяжёлое время, было во много раз труднее. Истощённые предыдущими плохими годами и сошедшие на нет в прошлую, голодную зиму, они уже не могли сопротивляться стихийному бедствию. И в тех местах, где прежде кормили, теперь лечили и часто хоронили истощённых до смерти могучих работников-пахарей. Они покорно подставляли свои согбенные спины и безропотно умирали от голодного сыпного тифа.

Одна из характерных особенностей сыпного тифа это его заразительность, которая распространяется не только на само население, но и на медицинский персонал. Заболевают доктора, фельдшера, сиделки. [...] Как только появилась эпидемия сыпного тифа близ Беги́чевки, осенью 1892 года, пришлось организовать медицинскую, а главное — санитарную помощь. Пришлось приискивать помещения, куда отделять больных, улучшая, облегчая обстановку их жизни, усиливая питание. А главное — найти людей, готовых самоотверженно идти на борьбу с эпидемией, с явной опасностью болезни и смерти. Это было не так-то легко.

Вследствие уменьшения размеров бедствия, вследствие охлаждения прежнего пыла пожертвований в русском и заграничном обществе, вследствие стремления руководящих классов поскорее заявить о том, что теперь "всё благополучно", приток пожертвований и предложение личных услуг значительно ослабели» (*Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого. Указ. изд. Т. 3. С. 193 – 194*).

Всё это предвиделось опытному глазу писателя уже в сентябре и вызывало множество тяжёлых дум, отягощёнными которыми, Толстой и встретился с поездом с 400-ми вооружёнными карателями.

И вот под гнётом свежих, как кровоточащая рана, впечатлений от Узловой, в физически и морально надорванном состоянии Толстой, по пути в страшную, смертельно опасную из-за эпидемий, депрессивную Беги́чевку, заезжает в Молодёнки, имение давнего друга и частого гостя толстовского семейства Петра Фёдоровича Самарина. Н. В. Давыдов, общий знакомый, вспоминал о Самарине, что был он умеренный либерал и вроде как даже обладал душой «благородной,

сочувствовавшей всему высокому», но... как-то *со стороны* сочувствовавшей. Не высовываясь наружу. Собеседникам он казался сухим, даже чёрствым. В спорах с Толстым он преследовал цель не только опровергнуть, но и раздражить, измучить его — так что споры часто переходили в препирательства... впрочем, на французском языке (*Давыдов Н.В. Из прошлого. М., 1914. С. 191, 234*). Именно П. Ф. Самарина Толстой однажды, в 1881 году, едва не вытолкнул в шею из своего дома, когда тот «с улыбочкой» высказался в пользу смертной казни участников покушения на имп. Александра II (49, 36). За них, как известно, Толстой заступился тогда в историческом письме к его наследнику, Александру III.

Что же застаёт он, что видит обострённым зрением в доме столь неблизкого лично ему «друга семейства» (а следом и в имении Раевских, которое тоже навещал попутно) сразу после кошмарной сцены сотен военных рабов и палачей народа? Вот впечатления и мысли Толстого из уже цитировавшейся нами выше приписки к письму к С. А. Толстой от 10 сентября дочери Татьяны:

«Самарины, и особенно он, были чрезвычайно милы. Здесь так все претерпелись к бедствию, что идёт везде непрерывный пир во время чумы. У Нечаевых были именины, на которых была <Александра Павловна> Самарина, и обед с чудесами французского повара, за которым сидят 2½ часа. У Самариных роскошь, у Раевских тоже — охота, веселье. А народ мрёт. А как рассказывал Поша, когда он спросил про смерть в Татищеве одного человека от холеры, то ему ответили: «Да что ж тут такого, у нас 2-й год мрёт народ семьями и никто не заботится».

Не хочется осуждать и не осуждаю в душе, а больше жалею и боюсь. Контраст между роскошью роскошествующих и нищетой бедствующих всё увеличивается, и так продолжаться не может» (84, 160).

Нам важны все эти подробности для того, чтобы лучше уяснить истоки тех настроений, которые нашли своё выражение не только в названном трактате, работу над которым (и над отчётом за апрель – июль!) Толстой продолжил по возвращении из трёхдневной (10 – 12 сентября) поездки в Бегичевку, но и в переписке его с женой и другими лицами в октябре-ноябре 1892 года, которая, как и в прежних главах, станет необходимым для нашей работы источником.

Здесь Конец Предыстории Главы Девятой

9. 2. В Ясной Поляне и в Москве осенью 1892-го

Хлопотная зима 1891 – 92 гг. в Москве кажется ещё более, чем прежде, отвратила Софью Андреевну от этого проклятого города, пусть и родного, но ставшего для неё за прошедшие десять лет местом многих тяжёлых трудов, переживаний и невзгод. Тем более, что с осенними холодами в городе снова, и со страшной силой, вспыхнула опасная вирусная пневмония, наивно именуемая в ту эпоху «инфлуенцей» (гриппом), пожиная ежедневно страшный урожай всё новых и новых жертв. Среди выживших или погибших от смертельного заболевания было уже немало лично знакомых Софье Андреевне людей. И она с мрачным, изнурявшим её внутренним напряжением ждала известий о новых потерях, и с ужасом — об опасности для её семьи, детей, которых совсем неохотно отвозила в этот год на учение в Москву.

В воспоминаниях «Моя жизнь» она признаётся:

«Тоску, испытываемую моими мальчиками, чувствовала часто, особенно в начале осени, и я. Мне казалось, что *весело* может быть только в Ясной Поляне, а в Москве точно что-то сомкнётся, весь Божий мир закроется и попадаешь в какую-то узкую колею жизни, в которой можно и застрять, а это было бы ужасно» (*Толстая С.А. Моя жизнь. Книга вторая. [МЖ – 2.]. М., 2014. С. 294*).

В день 30-летия свадьбы, 23 сентября, кажется впервые за всю совместную жизнь, Толстой был не вместе с женой.

С городскими скукой и тоской Соничка боролась мудро: радостным трудом в природе, в прекрасном хамовническом саду:

«Купила я в Петровском-Разумовском лип, сажала их в саду, в аллее. ...Сажала на лужайке перед домом луковицы гиацинтов, нарциссов и других луковичных цветов, мечтая, как они будут цвести весной» (*Там же*).

7-го октября она забрала в Туле готовые исполнительные листы по завершавшемуся наконец семейному разделу. Ясная Поляна теперь принадлежала юридически ей и младшему сыну Ивану Львовичу. Не расслабляясь, она и в Ясной продолжила свои работы в природе: «...подсадила деревья, кончала разные постройки, вычистила пруды» (*Там же. С. 296*). 20-го октября она вернулась с младшими детьми в Москву, на этот раз без споров, с пониманием, оставив мужа в тихой, творческой атмосфере осенней родной усадьбы. Ему предстояло закончить второй отчёт об употреблении пожертвованных для голодающих денег и продолжить писание книги «Царство Божие внутри вас». Удивительно, но при таком раскладе на одино-

чество этих дней жаловалась, по воспоминаниям, именно Софья Андреевна (*Там же. С. 297*). Понятно, что недоставало ей именно мужа. И, конечно, Лев Николаевич понимал это и не отказывал супруге в этот месяц разлуки в частых весточках от себя.

Первой из них, однако, была телеграмма 21 октября, передававшая Софье Андреевне весть скорбную для всего её семейства:

«Сейчас получил телеграмму <из Бегичевки>, что Марья Петровна скончалась, — в 9 часов утра, 20. Лев Толстой» (84, 162).

Скончалась от тифа Марья Петровна, урожд. Шварцман, а в замужестве Берс (? - 1892), первая жена младшего брата Софьи Андреевны Степана. Самого Стёпку в такое опасное и слишком серьёзное для него место, как Бегичевка, к больной жене не вызывали, известив только об её кончине — чем он, конечно же, был весьма раздосадован. 29 октября он ворчал в письме к Толстому: «Сколько Соня писала глупостей и дурного; сколько раз она вмешивалась между нами, а написать две строчки, что жена моя при смерти, она не догадалась» (*Цит. по: ПСТ. С. 538*). Ворчал Стёпка лукаво и напрасно: где-то около 1888 или 1889 года он жену бросил, не жил с ней — опорочил и «погубил» в соответствии с взглядами той эпохи. Вероятно, по этой именно причине среди предсмертных просьб несчастной не было высказано пожелания видеть давно чужого для неё Степана.

Добрая Е. И. Раевская включила в свой дневник небольшой некролог о М. П. Берс, который мы приводим ниже.

«В зиму 1891 – 92 г. и в продолжение лета и осени 1892 г. кроме бича-голода, свирепствовал по деревням смежных двух губерний, Тульской и Рязанской, другой бич — эпидемия сыпного тифа. Земские врачи, врачи, призванные в частные дома, на иждивении местных помещиков, так же как и молодые фельдшерицы, живущие в с. Бегичевке у графа Толстого, все с одинаковым самоотвержением ходили за болящими крестьянами, многих спасали, но многие и гибли, несмотря на подаваемую помощь.

Одна из самых доброотверженных, добровольных сестёр милосердия пала жертвой своего подвига... второй агнец искупления страждущего народа. <«Первым агнцем» Е. И. Раевская, конечно же, считала своего погибшего сына, И. И. Раевского. – Р. А.>

То была Марья Петровна Берс, жена Степана Андреевича Берс, брата графини С. А. Толстой. Эта чистая и кроткая душа прошла

свой век никем незамеченная, посвятивши всю жизнь на служение отверженным и неимущим. В Москве посещала она тюремные больницы и вносила в них с собой тихое утешение христианской любви. Пусть хоть на этих страницах запишется с заслуженным ею уважением имя Марии многострадальной.

В 1892 г. Марья Петровна перенесла свою деятельность в с. Бегичевку и поселилась в соседней деревне Прудках, где заведывала даровыми столовыми, а вечером в свободные часы собирала к себе крестьянских ребят и вслух читала им разные доступные их пониманию книги, что не мало их радовало и занимало; родители же их горячо благодарили добрую барыню-благодетельницу, обучающую детей их уму-разуму.

Когда в Прудках открылась эпидемия сыпного тифа, Марья Петровна безустанно ходила по избам за больными и многих спасла разумным уходом. — Долго длилась эпидемия; наконец, утихла, больных более не оставалось. Тогда усталая и разбитая Марья Петровна решила вернуться в Бегичевку, надеясь там отдохнуть от непосильных трудов. В Бегичевке находился тогда Павел Иванович Бирюков и слушательница медицинских курсов, молодая девушка Павла Шарапова <Павла Николаевна Шарапова (1867 – 1945) — с 1899 г. жена П. И. Бирюкова. – Р. А.>, очень симпатичная личность.



Павел Иванович и Павла Николаевна Бирюковы с дочерью Ольгой.
Начало 1900-х гг. Женева

Узнав о предстоящем отъезде Марьи Петровны, всё народонаселение Прудков взволновалось.

— Благодетельница наша нас покидает! — твердили старые и малые. Всем сходом пришли мужики со слезами её провожать; конца не было благодарению, благословениям и пожеланиям всего хорошего.

Недолго прожила среди друзей народная печальница.

Зараза, вероятно, в ней таившаяся, развилась; переутомление всего организма ей способствовало. Марья Петровна заболела тифом. Три врача и две фельдшерицы (одна привезена была из Тулы) день и ночь не отходили от больной. Употреблены были все доступные науке средства для её врачевания, и всё напрасно. Тиф прошёл, но Марья Петровна в полном сознании скончалась от упадка сил 20 ноября 1892 г.

Она просила, чтоб её положили в простой, деревянный, не окрашенный гроб и похоронили на общем крестьянском кладбище, среди бедных поселян, которым посвятила всю скорбную жизнь свою. Не посмели её послушаться и свезли останки на кладбище села Никитского, Елифанского уезда, Тульской губернии.

Мир праху твоему, святая мученица!» (*Раевская Е.И. Лев Толстой среди голодающих. Указ. изд. С. 427 – 428*).

А в своей следующей корреспонденции жене, именно в приписке к письму В. А. Кузминской от 22 октября, Толстой по поводу той же смерти прибавляет:

«Смерть Марьи Петровны очень трогательна. Древние говорили, что кого Бог любит, те умирают молодыми. И смерть хорошая. У всех останется самое хорошее чувство к ней, а со всех сторон, кроме горя, её ничего не ожидало» (*Там же. С. 162 – 163*).

Судя по встречному, от 21 октября, письму С. А. Толстой, супруги будто «соревнуются» в мрачном трагизме комментариев известия:

«Очень тяжело было и неожиданно известие о смерти Марьи Петровны. Мы все успокоились, что ей лучше и вдруг — конец. Воображаю как и на вас всех, особенно девочек, мрачно подействовало это известие.

Надо написать Стёпе о его жене и очень не хочется. Прощайте, милые друзья, будьте здоровы и бодры.

С. Толстая» (*ПСТ. С. 536 – 537*).

Приводим теперь и остальную часть приписки Л. Н. Толстого к письму Верочки Кузминской от 22 октября:

«Верочка не велела мне читать её письма, и я знаю, что она написала всё, только не обо мне. А обо мне писать нечего. Я здоров и всё также мало разнообразен. Утром весь вхожу в свою работу, а потом прозябаю; но не неприятно. Ни на чём так не чувствую старость, как на этой умственной усталости.

Илюша хочет бал<ло>тироваться в члены Управы. Это со всех сторон не хорошо: и не хорошо деньги брать, и не хорошо, что новый предлог отлучек из дома. Я сказал ему это. И жалею, что огорчил его.

Снег теперь очевидно, что стает, и осень ещё будет длинная и мокрая.

Я думал вчера о том, что нехорошо печатать мои портреты в разных видах в новом издании. Это совестно и неприлично при жизни. Как ты думаешь?

Что статья в «Русских ведомостях»? Что Лёва, приедет ли сюда до отъезда?

Целую тебя и детей. А. Т.» (84, 162).

Такое письмо от супруга очень расстроило и разгневало Софью Андреевну. Упоминание о старости она связала (конечно же, несправедливо) с желанием мужа подчеркнуть его с нею разницу в возрасте, почти пенсионный (64 года) возраст, а значит — оправдать своё «право на покой» в Ясной Поляне, на свободный образ жизни, который вели в его возрасте многие путешествующие, развлекающиеся и флиртующие с молодыми девицами аристократы, на *неучастие* в её, всё ещё подневольно-московской (пусть и нелюбимой уже!) жизни, в воспитании младших детей... Даже в мемуарах, в 1909-м году, уже без злости, но с явным сожалением жена Толстого подчёркивает, что к 1892-му году «Лев Николаевич стал стариком», что «дети его тревожили, были в тягость», что «жена стала не нужна так, как прежде» (МЖ – 2. С. 299). Кажется, её желание скорее увидеть мужа в Москве, вмешивавшееся в бегичевскую работу Толстого и мешавшее ей, проявилось после его несчастливых строк 22 октября с новой силой.

Не могли порадовать Софью Андреевну Толстую и строки, критикующие «нормальный», в мирском понимании, выбор в пользу государственной службы сына Ильи. Хотя она и могла ожидать этой критики, с давно известных ей отрицающих позиций супруга, но всё же, всё же...

Наконец, Толстой вмешался в её книгоиздательский бизнес — и совершенно неудачно. Помещённый в книге портрет автора в ту эпоху

несколько увеличивал её стоимость, но зато и служил хорошей рекламой, повышая продажность и доходность всего издания.

Вот письмо Л. Н. Толстого к супруге от 23 октября:

«Со вчерашнего дня новостей у нас совсем никаких. Все вполне здоровы. Маша ездила в Крыльцово к больным. Таня и Вера ходили гулять. Я хожу гулять, пишу утром. Вечером писал письма и читал с девочками. Нынче начали «Фауста» Гёте, перевод Фета. Поклонись ему хорошенько от меня. Скажи, чтобы он не думал, как он иногда думает, что мы разошлись. Я часто испытываю это, — и с ним особенно, что люди составят себе представление о том, что я должен отчудиться от них, и сами отчудятся меня.

Из Бегичевки не имели ещё известий. Я боюсь за Пошу. Берёзки теперь можно сажать будет, уж много стаяло. — Еду сам на почту, везу это письмо. Целую тебя и детей. Надеюсь, что ты теперь спишь хорошо в Москве.

Л. Т. [...]» (84, 163).

Добрые слова к старому другу семьи Аф. Аф. Фету Лев Николаевич адресовал в связи с известием о тяжёлой его болезни, вскоре унёсшей великого поэта в могилу.

На очереди письмо от 26 октября, открывающееся известием о необходимой по цензурным соображениям редакции второго отчёта Л. Н. Толстого по расходованию денег жертвователей. Редактор «Русских ведомостей» В. М. Соболевский с сожалением просил Льва Николаевича исключить из отчёта всякую статистику, и даже самые упоминания о смертях от голода. Такова была (и остаётся по сей день) лукаво-лживо-подлая идеологическая политика буржуазной России: если нельзя отрицать, то надо *оболгать* или хотя отчасти *по-таить* всё дурное и позорное, что можно.

На «чистовую отделку» новый отчёт отправился, конечно же, к Софье Андреевне:

«Посылаю нынче корректуру отчета. Я изменил там всё, что нужно и можно, и больше изменять не могу. Я пишу Чупрову, который заменяет Соболевского, чтобы они прислали корректуру тебе. Ты посмотри, пожалуйста, с Лёвой — нет ли каких грубых ошибок.

Получил вчера твои письма. Очень жалею, что моё желание огорчило тебя. <«Не печатать портреты в новом издании 1893 года». —

Примеч. С. А. Толстой. > Я же не огорчаюсь. Так мне как-то ridicule [смешным] показалось при жизни себя предлагать публике во всех видах. — Но ты права, что это будет мало заметно. Вообще, чем меньше, тем лучше.

У нас по-старому. Девочки ездили в Тулу. [...] Маша видела сиделку, которая была при смерти Машеньки <Берс>. Она вдруг ослабела и почувствовала, что умирает — кое-какие распоряжения делала, маленькие долги заплатить, и сказала: Господи, прости мне мои грехи. И скоро потеряла сознание. И в таком положении была около суток. Похоронили её в Никитском. [...]

Снег, кажется, ляжет. Целую тебя и детей» (84, 163 – 164).

Вечером 27 октября Софья Андреевна пишет мужу ответ на его общее с В. А. Кузминской послание от 22 октября:

«Получила сегодня твоё и Верино письмо, милый Лёвочка. С каким поездом будет она в Москве? Я бы к ней выехала поговорить о вас и вообще проститься с ней.

[...] А вчера я была проведать Фета. Там из “Московских ведомостей” Говоруха-Отрок. Я с ним сцепилась за прошлогоднюю историю. <Под псевдонимом «Николаев» Ю. Н. Говоруха-Отрок участвовал в 1891 г. в кампании газеты «Московские ведомости» против В. С. Соловьёва и Л. Н. Толстого. – Р. А.> Он очень сконфужен, говорил, что он не при чём, но что-то пустил насчёт того, что жаль, что ты статьи пишешь и т. д. Фет его остановил и начал поэтическую картину о том, что “в Африке мы пришли в пустыню, вся она белая, покрытая песком, и никого нет. И вдруг мы увидели, ходит могучий лев и рычит. И он *один* и кругом пустота”. И вот этот лев — ты.

А ещё он говорил на мои слова, которые ты ему велел передать: «вот я это время умирал и вспомнил “Смерть Ивана Ильича”, как мужик здоровый с ним сидел и ноги ему держал, и ему было легче. И если б в эту минуту вошёл Толстой, я поклонился бы ему в ноги. Кто такую вещь понял и написал, тот не просто человек, а единица, или громадина» я уж не помню этого последнего слова. Ему немного лучше теперь.

[...] Как всё-таки трогательно и хорошо умирала Машенька! Завтра год смерти Дьякова. Всё покойники — много убывает людей, и грустно назад оглядываться. Я помню, как раз говорила Пелагея Ильинишна о том, как вся её жизнь в прошлом, в умерших, и никого не осталось. А ведь всё ей жить хотелось! <Пелагея Ильинишна Юшкова (не позднее 1801 – 1875) — тётка Льва Николаевича, сестра отца. – Р. А.>

[...] С. Толстая» (ПСТ. С. 538, 541).

«Холодом повеяло» на Соню от мужниных строк из письма 22 октября. Зато от фетовского образа, «веявшего» жаром белой пустыни — повеяло чем-то единомысленным, близким. Легко догадаться, куда завернул разговор с участием двоих собеседников, а именно, старого поэта и консервативного публициста, с которым совсем недавно Софья Андреевна буквально билась «не на жизнь, а на смерть», защищая мужа. Теперь ей этого вовсе не хотелось: напротив, хотелось согласиться с обоими, включая прежнего «врага» из «Московских ведомостей». Потому что Ю. Н. Говоруха-Отрок повторил в своём разговоре то давнее сожаление, что Толстой не пишет новые художественные шедевры, а пишет «вредные» статьи, с которым уже более десяти лет к тому времени была солидарна и она. А Фет, приведя в пример «Смерть Ивана Ильича» как один из безусловных шедевров, в которых выразился «настоящий», по мнению многих, Толстой-художник, для «ненастоящего», для «нигилиста», отрицателя, каким почитали тогда Толстого многие — придумал страшный, inferнальный образ безжизненной пустыни (в которую, как подразумевается, обращает жизнь Толстой, её отрицатель), по которой сам отрицатель бродит потерянно, без смысла и цели (намёк на отрицание Толстым руководства православной церкви). Страшный, но, слава Богу, не правдивый в отношении Льва Николаевича образ!

Следующий месяц, вплоть до приезда Толстого 25 ноября в Москву, стал месяцем тревоги и гнева Софьи Андреевны: обиды, гнева на мужа за разлуку, даже в «сакральный» день годовщины свадьбы, ради окончания (не состоявшегося тогда) писания трактата и тревоги о том, что Лев Николаевич снова навредит своему здоровью или откажется вовсе приехать к ней и детям, предпочтя личное участие во втором годе служения бедствующему крестьянству.

В письме Л. Н. Толстого к жене, датированном приблизительно, 30 или 31 октября, мы находим свидетельства забот и дел, которыми был занят Толстой дома, в Ясной Поляне. Примечательно упоминание в этом и следующем за ним письме только недавно обильно обосравшегося на глазах Толстого губернатора Н. А. Зиновьева. Толстой не спешил рвать отношения с карателем крестьянского бунта: он был ему полезен до окончания эпопеи помощи голодающим крестьянам. Он *наблюдал* губернатора как художник, готовя в продолжающемся

писанием трактате «Царство Божие» яркую, достойную и заслуженную месть.

Итак, вот письмо Толстого жене от 30 или 31 (?) октября 1892 г.:

«Хотя ты и не велела ждать ничего нынче, мы всё-таки посылаем на Козловку, во 1-ых, чтобы перетелеграфировать тебе, от Веры, так как она едет с курьерским, а во 2-ых, чтобы написать тебе. У нас зима совершенная. Уж дней 5 градуса 3, тишина и такой иней, какого я, кажется, никогда не видал: иглы чуть ли не в вершок, и усыпаны поля им, и гнутся чудно разукрашенные деревья. Пруд копают. Плотину он *<управляющий усадьбой. – Р. А.>* не прудил. Боятся оттепелей. И прав. Берёзки закопаны в земле. Иван Александрович *<Бергер>* 2-ой день как уехал на Дон на санях и лошади для Поши.

Жизнь наша идёт всё одинаково — хорошо. Девочки затеяли читать и подучивать ребят и девушек деревенских: они приходят по вечерам и через день. Маша кроме того ездит по больным. Вчера она ездила в Тулу с Аннушкиной Веркой, у которой глаза болят. *<Вера Деева, дочь кухарки Анны Петровны. – Р. А.>*

Я вчера тоже был в Туле. Особенной нужды мне не было, но было несколько просьб до Давыдова и Зиновьева и хотелось воспользоваться чудной погодой, проехаться. И я поехал верхом в час, а в 6 вернулся. Пришёл к Давыдову, он в суде. Я пошёл в суд и там застал большое дело о шайке воров. Обвинял *<Сергей Алексеевич>* Лопухин *<товарищ прокурора, Н. А. Давыдова. – Р. А.>*. Я посидел там с час. И мне это было нужно. А потом пошёл с Давыдовым к нему, по дороге встретил Зиновьева. Он вернулся с нами. И я им передал, что было нужно.

Вчера получил письмо от Черткова, одно из Тулы, вот с этим обращением в газеты, которое он хочет поместить в «Русских ведомостях» [...]. Сообщение его пошли, пожалуйста, в «Русские ведомости», прося их напечатать. Сопоцько в тот же день пишет из Бегичевки, что нужда там страшная и всё увеличивается, и что он всё больше и больше народа допускает в столовые. Всё это очень тяжело.

По разговорам с Зиновьевым вижу, что нужда действительно нынешний год хуже прошлогодней; но мы как будто выпустили весь заряд своей энергии и теперь только хотим как-нибудь отделаться.

Зиновьев сказал мне, что Илюша выбран в члены Управы.

У вас ли ещё брат Серёжа? Ему бы не грех отдать нам наши многочисленные визиты. Мы и то к нему ехали. Напрасно ты не чувствуешь нас; мы — я — тебя чувствуем. Ну, прощай пока, целую тебя и детей» (84, 165 – 166).

Толстому 17 октября Чертков писал: «Посылаю вам письмо, которое я стараюсь поместить в газетах. Содержание его, к сожалению, не преувеличено. Здесь готовится что-то ужасное; одним словом настоящий голод. Мне очень хотелось бы, чтобы вы поподробнее и несомненное узнали о положении здешнего населения, так как вы находитесь в таком положении, что, если только сознаете, что следует, то можете очень существенно помочь и предупредить много страдания... В конце месяца Ростовцев хочет совсем переехать сюда, в Ржевск, постоянно заведывать хозяйственной помощью населению. Так что недостатка в опытных управителях у нас не предвидится. Но материальных средств у нас в сравнении с тем, что нужно, ужасно мало. Я с своей стороны помогаю, как могу, круглый год. На предстоящую зиму (до 1 мая) у меня моих личных средств остаётся для этой цели около 6 т. рублей. Но для того, чтобы запастись своевременно хоть отчасти тем, что, как теперь ясно видно, будет необходимо зимой для самой элементарной помощи, т. е. просто для того, чтобы не голодали, следовало бы *сейчас* иметь в своём распоряжении по крайней мере *ещё* 10 тысяч. При этом я разумею, конечно, ближайший к нам район населения, в котором мы можем сами лично наблюдать за тем, что делается. Можете ли вы принять участие в доставлении нам этих материальных средств?... Другое, чем вы можете помочь, это попросите кого-нибудь из ваших домашних от *вашего имени* послать прилагаемое заявление в «Русские ведомости», прося их поместить его в газете в виде письма в редакцию. (В «Новое время» я уже послал; но можно большего ожидать от читателей «Русских ведомостей».) — Наконец, третье: не припишете ли вы несколько слов от себя к прилагаемому письму к г-же Гапгуд: это способствовало бы тому, что мы получили бы, быть может, из Америки весьма существенную поддержку. Очень, очень прошу вас, дорогой друг Лев Николаевич, сделайте что можете для того, чтобы помочь нам» (*Цит. по: 87, 167 – 168. Комментарий*).

К этому письму Чертков приложил два своих письма — одно, от 17 октября, американской переводчице Толстого Изабел Хэпгуд с просьбой организовать в Америке сбор средств в пользу голодающих, другое, от 15 октября, в редакции газет. В этом письме Чертков писал: о голоде и в южных уездах Воронежской губернии — Богучарском и Острогжском — и цынге, давшей значительную смертность. Сообщая об этих фактах, Чертков обращался с просьбой делать пожертвования в пользу пострадавших от неурожая.

Письмо В. Г. Черткова о якобы надвигающемся в Воронежской губернии сильнейшем, чем в прошлую зиму, голоде не было допущено

к публикации цензурой. А письмо к Изабел Хэпгуд Толстой решил задержать и не отправлять, пояснив свою позицию в ответе Черткову 30 октября следующим образом:

«Я по тону её писем видел, что она устала и ей надоело это дело. Кроме того, когда у нас уж так охладели, то в Америке, где всё дело было в том главное, чтобы показать сочувствие России, уж очень охладели. Я думаю, что ничего не выйдет из этого, да и обращаться прямо просить, по моему, не хорошо» (*Там же. С. 167*).

Почуввав натяжку в такой аргументации, Чертков попытался получить ещё объяснения: «Положение голодающих и долженствующих голодать и мёрзнуть здесь ужасно, я испытываю потребность обращаться за помощью ко всем к кому возможно, и чувствую, что это от чистого сердца. Но мне слишком тяжело, в чём бы то ни было вас не понимать. Хотелось бы и в этом вас понять и сойтись с вами; и потому, прошу вас, объясните мне хоть в самых общих чертах, почему не хорошо просить?» (*Цит. по: Там же. С. 170. Комментарий*). В ответе ему от 16 ноября Толстой был краток, но и безжалостен: «...Потому что: 1) не будет успеха, а 2) своим ближе помочь, чем чужим. И в той прошлогодней помощи было много для других кроме, как для добра, целей» (*Там же. С. 169*). По существу, «генерал от толстовства» был послан «драгоценным учителем», куда и напрашивался: нахуй. Христианское содержание помощи голодным через личный труд оставалось для Толстого аксиомой. Чертков же, пускай и в интересах масштабности и результативности всего дела, навязывал себя в роли посредника в денежных сборах — и довольно неразборчивого, не смотрящего на подлинные мотивы жертвователей.

В приведённом выше письме Л. Н. Толстого к жене впервые на нашем исследовательском пути упоминается новый помощник его в Бегичевке — *Михаил Аркадьевич Сопоцько* (1869 – 1938), сын адвоката из знатного польского рода, состоявшего на службе Российской Империи, будущий ультраправый критик и даже грубый ругатель Толстого, человек, по воспоминаниям Софьи Андреевны, всегда ей неприятный (*МЖ – 2. С. 312*). Именно Сопоцько принадлежит ставший популярным, до сих пор тиражируемый православными публицистами образ Толстого-«дьявола, у которого и лицо с тех пор, как его отлучили от церкви, изменилось» (*Цит. по: Маковицкий Д. П. У Толстого. Яснополянские записки. Кн. 1. С. 300*). Но и это существо можно понять и пожалеть. В марте 1890 г. Сопоцько неосторожно прогулялся с товарищами по университету на демонстрацию по поводу смерти Н. Г. Чернышевского, за что жестоко поплатился карь-

ерой врача: был исключён из университета и провёл два года в тяжёлой для молодого человека ссылке в мерзкой Вологде. Там он и начитался “запретного” Толстого, и ненадолго возомнил себя соратником его в общем Божьем деле.

Ещё из ссылки — 2 сентября 1891 — Сопоцько написал первое письмо Л. Н. Толстому с призывом «побудить своих последователей и почитателей быть щедрее на пожертвования в пользу голодающих». Второе письмо было послано им Толстому тоже из Вологды 3 января 1892 с приложением его статьи по поводу «Татьянина дня» — «Корпоративное пьянство». На конверте этого письма рукою Толстого помечено: «Отв[ечать]», но письмо Толстого в ответ на это письмо Сопоцько не сохранилось. 20 января 1892 г. он вновь пишет Толстому с просьбой участвовать в сборнике, задуманном в Вологде в пользу голодающих. В марте 1892 Сопоцько, освободившись из ссылки, несколько раз был у Толстого по делам этого вологодского сборника. Толстой дал ему для публикации сделанный им перевод статьи Генри Джорджа «Равные права и общие права». Сборник вышел в 1892 г. в Петербурге под названием «Помочь».

4 мая 1892 г. Сопоцько вновь обратился к Л. Н. Толстому с вопросом, не может ли ему понадобится при его «теперешней деятельности в пользу голодных честный, энергичный и выносливый человек», готовый «безвозмездно, единственно только за пищу, хотя бы самую грубую, взяться за самую тяжёлую работу» под руководством Толстого. Толстой открытым письмом, которое не сохранилось, ответил ему согласием. Одновременно Михаил получил письмо и от В. Г. Черткова с приглашением приехать на хутор его матери Ржевск, Воронежской губернии для деятельности среди голодных. Чертков, как сообщал Сопоцько в письме к Толстому 17 мая 1892 г., писал ему, что «у них нещадно свирепствует цынга, развилась устрашающая смертность, а работников, именно добровольцев, честных и, главное, выносливых людей у них нет». Сопоцько решил поехать к Черткову. Здесь он заведывал пунктом Холмивка-Софиевка, устраивая столовые на средства, пожертвованные англичанами, и борясь с эпидемиями дифтерита и холеры. В первых числах октября 1892 г. Сопоцько поехал в имение друга Толстого И. И. Раевского Бегичевку, бывшее в то время центром деятельности Толстого и его последователей в пользу голодающих. Здесь он встретился с П. И. Бирюковым. Его убедили взять на себя заведывание столовыми для голодающих в одном из пунктов помощи, и он, после короткого отдыха, поселился в деревне Козловке, Ефремовского уезда, Тульской губернии, верстах в пятнадцати от Бегичевки. В 1893 на его попечении лежали столовые в двадцати трех деревнях. Об этом времени в трудах

и в тесной компании единомышленников, Сопоцько вспоминал в 1908 г., уже будучи снова православным: «Вообще, собрания бывали очень оживлённы, ибо дух был у всех поднят деятельностью, и каждый спешил поделиться своими впечатлениями и посоветоваться... Чувствовалось тогда потому так хорошо, что плоть не знала покоя, который приятен для неё самой, но для духа тягостен. А тогда и ели почти на ходу, а иногда почти не ели, а спали мало и мёрзли, и мочимы были дождями, и вьюгами застигаемы. Трудились, благодаря преобладанию духа над плотью, за десятерых» (*Товарищ Михаил. Моё знакомство с графом Л. Н. Толстым, его семьёй и последователями // Студент-христианин. 1908. № 1. С. 24 – 25*).

Но это сопутничество Льву кончилось для злосчастного весьма драматически: будучи после ссылки “на заметке” у имперских полицаев, в 1894 г. он был повторно арестован и сидел в тульской тюрьме, где его навещал Лев Николаевич, а в июне 1895 г. он был арестован в третий раз — за якобы “революционную пропаганду” среди крестьян, и на этот раз отправлен в ссылку на три года в Олонецкую губернию. Там бедный Миша Сопоцько и свихнулся в православие. Узнав о новых воззрениях Сопоцько, Толстой, тонкий психолог, смекнул, что дело тут сугубо личное: в потребности Сопоцько чувствовать себя правым перед самим собой, иметь в своём положении некий мировоззренческий фундамент под ногами, пусть и состоящий из софизмов самообмана и самооправдания (53, 70 – 71). Так обманывали себя многие “горячие головы”, не удержавшиеся на пути христианской жизни: якобы от “безбожия” и революционерства они пришли к “истинной вере” (православию) через не истинное, неполноценное толстовство. Чтобы такого не случилось с человеком, надо научиться быть строже к себе и «любить истину больше своей правоты» (*Там же. С. 71*).

Приводим теперь с сокращениями, в хронологическом порядке, ответы жены Л. Н. Толстому.

Письмо от 1 ноября открывается упоминанием о толстовце Е. И. Попове, караулившем тогда по заданию Черткова рукописи толстовского «Царства Божьего...». Но бедному святоше явно не фартило:

«Вчера я поехала на железную дорогу повидать Веру. Она передала мне письма и в том числе письмо Евгения Ивановича. Я положила всё в карман и хотела прочесть письмо Евгения Ивановича дома, но когда приехала домой, его не было в кармане.

Веру я, к великой нашей радости, привезла в Хамовники. Дети ей очень рады и я тоже; она мне всё понемногу рассказывает про вас. [...]

Напомни Маше обещание достать бабьи вещи для Hargood; я ей послала в Америку отчёт. [...]

Вечером.

Сейчас проводила Веру на Николаевский вокзал, и там в дамской комнате нашла письмо Попова.

[...] Надеюсь, что девочки исполнили моё желание, освободили от грязи детские и велели их вымыть. Вера говорит, что она Таню предупредила, что мне будет неприятно. Точно они меня издали хотят дразнить и мучить; я понять не могу, зная моё отношение к присутствию ребят в доме и страх всяких скарлатин, как может придти в голову посадить полдеревни в детские! Я как подумаю, — у меня всё внутри дрожит и болит. Уж лучше б на мою постель их загнали, чем на Ваничкину, куда будут лезть все эти ребята. За себя я ещё никогда не сердилась, а за детей не могу не заступаться.

[КОММЕНТАРИЙ.

Это состояние, достаточно обыкновенное для Софьи Андреевны и в принципе для обитателей буржуазных городов: бояться воображаемых несчастий в будущем, требуя заранее «обеспечения безопасности», но при этом мириться с настоящими опасностями, привычно вписанными в их повседневность. По Москве в то время собирала жатву смерти гриппозная зараза («инфлуенца»), которую медицина той эпохи не всегда умела даже вовремя и верно диагностировать. Но Софья Андреевна боится отдалённого: боится воображаемо заразных детей из Ясной Поляны (однажды, на Рождество 1866 г., действительно заразивших скарлатиной её малых чад), которые для неё — что-то сродни нечистым уличным животным в церковном алтаре. Вот отрывок из её раздражённого письма Татьяне Львовне:

«...Я в диком отчаянии, что единственное моё святое святых — детские — вы не могли не загадить. Чья эта злобная мысль? Занимайтесь в зале, гостиной, библиотеке, но не заражайте мне моих святых уголков» (Цит. по: ПСТ. С. 543).

Идолопоклонство семейное, детей, и связанные с ними фобии так же обличают массовое безверие лжехристианского мира, как и прочие актуальные пережитки животного состояния человека. — Р. А.]

Тут в Москве всё мрут; сегодня была у Елены Павловны Раевской с Ильёй, и там узнала, что Марья Павловна Щербатова умирает. Завтра, верно, её уж не будет. Воспаление почек и заражение крови.

[...] Что у вас делается? Приехал ли Репин? Уехал ли Митя Олсуфьев? Павел Иванович был ли у вас? Говорят, что он хочет вещи Марьи Петровны мне прислать. Нельзя ли их все раздать там, в Бегичевке, бедным, только книги наши из библиотеки выручить и то хорошо бы их чем спрыснуть от заразы. Если будете ему писать или увидите его, скажите ему это.

Прощай, милый Лёвочка; вы, говорят, не скоро приедете; что ж, ко всему притерпишься; только жаль, без причины врозь доживать то малое время, которое нам осталось жить на свете.

С. Т.» (ПСТ. С. 541 – 543).

Следующий день, 2 ноября, подарил Соне ещё одно письмо мужа, прибывшее вместе с М. А. Олсуфьевым. На него она отвечает довольно пространном и тематически «пёстрым» письмом 3 ноября, откуда берём теперь лишь соотносимое с темой нашей книги.

«[...] Сегодня сокращала и переписывала Лёвин отчёт. Он длинен, написан неумело, и когда я его брала из редакции, Постников меня очень просил его сократить и исправить, что я и сделала, и обещал тогда напечатать. Завтра свезу его; тоже проверки и поправок было много, очень небрежно и он отнёсся к цифрам и слогу. <Отчёт Л. Л. Толстого об употреблении пожертвованных для голодающих денег был опубликован в газ. «Русские ведомости» от 9 ноября. – Р. А.>

Газету с твоим отчётом раскупили на 5000 номеров больше, и всё ещё поступают требования. <Газета «Русские ведомости», № 301, 31 октября 1892 г. – Р. А.> Я взяла в редакции 30 номеров и разослала: Alexandrine, Страхову, Кузминским, Лёве, министру двора <И. И. Воронцову-Дашкову>, так как одновременно написала официальное напоминание в контору императорских театров о гонораре за «Плоды просвещения», не полученном с 1 января, и ещё некоторым богатым жертвователям, как бы для того, чтоб напомнить о помощи. Послала и Hargood в Америку.

Дунаев говорит, что все плачут, когда читают последнюю сцену. Ещё бы! это не рассуждения, а художество! Это сила настоящая, золото, а не позолота по меди.

Хорошо Amiel пишет: «La philosophie ne doit pas remplacer la religion; les révolutionnaires ne sont pas des apôtres, quoique les apôtres aient

été révolutionnaires. Sauver du dehors au dedans, et par dehors j'entends aussi l'intelligence relativement à la volonté, — c'est une erreur et un danger» [«Философия не должна заменять религии; революционеры не апостолы, хотя апостолы были революционерами. Ошибочно и опасно спасать извне внутреннее, — а под внешним я понимаю также ум в отношении воли»]. Ещё дальше хорошо: «l'homme ne devient homme que par l'intelligence, mais il n'est homme, que par le coeur» [«Человек становится человеком лишь посредством ума, но только благодаря сердцу он человек»]. Помнишь наш спор о том, что такое *сердце*? Вот и ответ прекрасный.

Насчёт Репина, вы напрасно им стесняетесь; если он не едет и не отвечает, то, верно, он не может теперь или вовсе раздумал приехать. Только когда вы уедете из Ясной, я о вас буду больше тревожиться. [...]

Митя Олсуфьев говорил, что ты очень жаловался на то, что тебе в Москву придётся ехать, — и это ужасно всегда больно. Я ведь и не зову тебя, во-первых, вы меня приучили к разлуке, и во-вторых — я вас боюсь. Боюсь упрёков молчаливых и высказанных, боюсь твоих скучливых и безучастных требований здесь, — и не разберёшь, что тяжелее: разлука и беспокойство о вас — или последнее. **<Напомним читателю, что на тоскливое состояние Толстого в зимней Москве Софья Андреевна жаловалась начиная с первой московской зимы 1881 – 1882 гг. – Р. А.>**

О Лёве имела известие от Тани сестры: ездил по родственникам, уехал в Царское. Прощай, Лёвочка, желаю тебе продолжать быть здоровым и бодрым. Целую тебя и детей.

Пожалуйста, не читайте никогда моих писем вслух при посторонних и Попове.

С. Т.» (ПСТ. С. 543 – 545).

Заметим мимоходом, что заключительная просьба означает, что Софья Андреевна предполагала от себя не менее интимно-личные по содержанию дальнейшие письма, чем уже отправленные: она не желала “сдаваться” в борьбе за мужа с Бегичевкой и даже с Ясной Поляной!

Данное письмо С. А. Толстой содержит несколько биографически значимых сюжетов, требующих отдельного комментария. Первый из них — великолепная художественная зарисовка, которой Л. Н. Толстой завершил «Отчёт об употреблении пожертвованных денег с 12 апреля по 20 июля 1892 г.», действительно «сила настоящая, золото,

а не позолота по меди», как охарактеризовала его С. А. Толстая. Вот отрывки из него:

«На вопрос об экономическом положении народа в нынешнем году я не мог бы с точностью ответить. Не мог бы ответить потому, во-первых, что мы все, занимавшиеся в прошлом году кормлением народа, находимся в положении доктора, который бы, быв призван к человеку, вывихнувшему ногу, увидел бы, что этот человек весь больной. Что ответит доктор, когда у него спросят о состоянии больного? “О чём хотите вы узнать? — переспросит доктор. — Спрашиваете вы про ногу или про всё состояние больного? Нога ничего, нога простой вывих — случайность, но общее состояние нехорошо”.

Но и кроме того, я не мог бы ответить на вопрос о том, каково положение народа: тяжело, очень тяжело или ничего? потому что мы все, близко жившие с народом, слишком пригляделись к его понемножку всё ухудшавшемуся и ухудшавшемуся состоянию.

Если бы кто-нибудь из городских жителей пришёл в сильные морозы зимой в избу, топленную слегка только накануне, и увидел бы обитателей избы, вылезавших не с печки, а из печки, в которой они, чередуясь, проводят дни, так как это единственное средство согреться, или то, что люди сжигают крыши дворов и сени на топливо, питаются одним хлебом, испечённым из равных частей муки и последнего сорта отрубей, и что взрослые люди спорят и ссорятся о том, что отрезанный кусок хлеба не доходит до определённого веса на осьмушку фунта, или то, что люди не выходят из избы, потому что им не во что одеться и обуться, то они были бы поражены виденным. Мы же смотрим на такие явления как на самые обыкновенные. И потому на вопрос о том, в каком положении народ нашей местности, ответит скорее тот, кто приедет в наши места в первый раз, а не мы. Мы притерпелись и уже ничего не видим.

[...] Что же будет в нынешнем году в нашей местности, где рожь родилась хуже прошлого года, овса совсем не родилось, топлива совсем нет и последние запасы сил населения вытянуты прошлым годом?

Так что же? Неужели опять голодающие? Голодающие! Столовые! Столовые. Голодающие. Ведь это уж старо и так страшно надоело.

Надоело вам, в Москве, в Петербурге, а здесь, когда они с утра до вечера стоят под окнами или в дверях, и нельзя по улице пройти, чтобы не слышать всё одних и тех же фраз: «Два дня не ели, последнюю овцу проели. Что делать будем? Последний конец пришёл. Помирать, значит?» и т. д., — здесь, как ни стыдно в этом признаться, это уже так наскучило, что как на врагов своих смотришь на них.

Встаю очень рано; ясное морозное утро с красным восходом; снег скрипит на ступенях, выхожу на двор, надеюсь, что никого ещё нет, что я успею пройтись. Но нет; только отворил дверь, уже двое стоят: один высокий широкий мужик в коротком, оборванном полушубке, в разбитых лаптях, с истощённым лицом, с сумкой через плечо (все они с истощёнными лицами, так что эти лица стали специально мужицкие лица). С ним мальчик лет 14-ти, без шубы, в оборванном зипунишке, тоже в лаптях и тоже с сумой и палкой. Хочу пройти мимо, начинаются поклоны и обычные речи. Нечего делать, возвращаюсь в сени. Они всходят за мной. — Что ты? — К вашей милости. — Что? — К вашей милости. — Что нужно? — Насчёт пособия. — Какого пособия? — Да насчёт своей жизни! — Да что нужно? — С голоду умираем. Помогите сколько-нибудь. — Откуда? — Из Затворного. Знаю, это скопинская нищенская деревня, в которой ещё мы не успели открыть столовой. Оттуда десятками ходят нищие, и я тотчас же в своем представлении причисляю этого человека к нищим профессиональным, и мне только досадно на него и досадно, что и детей они водят с собой и развращают. «Чего же ты просишь? — Да как-нибудь обдумай нас. — Да как же я обдумаю? Мы здесь не можем ничего сделать. Вот мы приедем». Но он не слушает меня. И начинаются опять сотни раз слышанные одни и те же кажущиеся мне притворными речи: «Ничего не родилось, семья 8 душ, работник я один, старуха померла, летось корову проели, на Рожество последняя лошадь околела, уж я, куда ни шло, ребята есть просят, отойти некуда, три дня не ели!» Всё это обычное одно и то же. Жду, скоро ли кончит. Но он всё говорит: «Думал, как-нибудь пробьюсь. Да выбился из сил. Век не побирался, да вот... Бог привёл! — Ну, хорошо, хорошо, мы приедем, тогда увидим», — говорю я и хочу пройти и взглядываю нечаянно на мальчика. Мальчик смотрит на меня жалостными, полными слез и надежды прелестными карими глазами, и одна светлая капля слезы уже висит на носу и в это самое мгновение отрывается и падает на натоптаный снегом дощатый пол. И милое, измученное лицо мальчика с его вьющимися венчиком кругом головы русыми волосами дёргается всё от сдерживаемых рыданий. Для меня слова отца — старая, избитая канитель. А ему — это повторение той ужасной години, которую он переживал вместе с отцом, и повторение всего этого в торжественную минуту, когда они, наконец, добрались до меня, до помощи, умиляют его, потрясают его расслабленные от голода нервы. А мне всё это надоело, надоело; я думаю только, как бы поскорее пройти погулять.

Мне старо, а ему это ужасно ново.

Да, нам надоело. А им всё так же хочется есть, так же хочется жить, так же хочется счастья, хочется любви, как я видел по его прелестным, устремлённым на меня, полным слёз глазам, хочется этому измученному нуждой и полному наивной жалости к себе доброму жалкому мальчику.

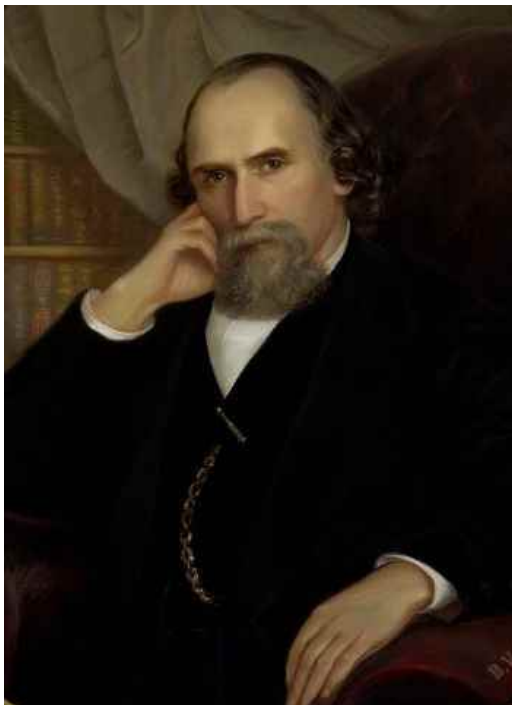
Лев Толстой.

11-го сентября 1892 года. Бегичевка» (29, 165 – 168).

В основном тексте Отчёта явил себя Толстой-бухгалтер, да к тому же и плохой, выкладки которого приходилось неоднократно поверять. В завершении же его явился Толстой-художник: честный, серьёзный и безжалостный как в характеристиках положения народа, так и в изображении сцены подлинной его нужды — от которых так стремилась «уберечь» городских газетных читателей российская цензура! Как Гулливер свои путы, Толстой рвёт пеньковое вервие цензуры — заменив множество не допущенных в печать ужасающих статистических и документальных сведений *всего одной* подлинной сценой, вызвавшей слёзы и душевный отклик тысяч читателей. Одновременно, как стон измученного титана, звучит и признание, *насколько* тяжело пришлось ему в краю народного бедствия: честное признание психологического изнурения, «выгорания», даже не от работы, а от кошмарной атмосферы крестьянской повседневной жизни.

А второй интересующий нас биографический сюжет, нашедший выражение в письме С. А. Толстой — это знакомство осенью 1892 года Льва Николаевича Толстого с Дневником швейцарского философа, ученика Шеллинга, *Анри Фредерика Амиеля* (Henri-Frédéric Amiel, 27 сентября 1821, Женева — 11 мая 1881, там же). Сначала на 5-ое французское издание избранных мест из этого великого Дневника, которую женевец вёл практически всю сознательную жизнь, набрёл Лев Николаевич. Первая запись об Амиеле в Дневнике Толстого от 1 октября 1892 года кратка, но однозначно положительна: «Читаю Amiel'a, недурно» (52, 73). Он сразу почувствовал духовное родство с уже, к несчастью, умершим к тому времени философом духовной аскезы, труда, самообуздания и долга перед Всевышним и обществом, политическим консерватором и «застенчивым христианином», человеком одиноким и малоуспешным в мирской жизни. Впоследствии стараниями Толстого и дочери его, аскетки и труженицы Марии Львовны — понимавшей покойного Анри

тем же сердцем, любящим и живым, каким она искренне отвратилась от сибарита и фарисея В. Г. Черткова — избранное из Амиелева Дневника было переведено на русский язык и опубликовано в 1894 году издательством «Посредник».



Анри Фредерик Амиель

Весьма вероятно, что цитатой из Амиеля Софья Андреевна напомнила мужу семейный спор о примате «сердечных» отношений над рассудочно мотивированными. Конечно же, она заблуждалась, относя выбор Толстого в пользу открывшейся ему Истины учения Христа — лишь к интеллектуальным предпочтениям. Истину тоже можно любить... больше того, что связывало тебя до прозрения к ней, привязывало к прежней жизни. Больше *той, кто...* Да и как можно любить женщину, которая сама не желает быть для мужчины просто самкой, женой, но не может, не отваживается по маловерию стать и духовным спутником в христианской жизни?

Свидетельством затяжной духовной катастрофы России, связанной с искажённым восприятием «в своём отечестве» христианского исповедничества и проповеди Л. Н. Толстого, является и отнесение женой Толстого (а за нею, и по сей день, ещё многими и многими) на его счёт критического замечания Амиеля о революционерах. Повторим ещё раз его в русском переводе:

«Философия не должна заменять религии; революционеры не апостолы, хотя апостолы были революционерами. Ошибочно и опасно спасать извне внутреннее...».

Собственно говоря, это именно то, что пытался до конца жизни донести до современников Толстой — вплоть до последней крупной работы, книги «Путь жизни» и последней большой публицистической статьи «О социализме». Ни революции, ни эксперименты социализма, ни реформы, опирающиеся на те или иные теории науки, ни самая щедрая благотворительность — не будут добром. *Ничего* не будет добром — без религиозного начала, без опоры в вере, в актуальном религиозном понимании жизни. Но в письме Софьи Толстой эта цитата из Амиелева Дневника (запись 7 апреля 1851 г., не вошедшая в русское издание 1894 г.) звучит как намёк и как упрёк мужу — как раз в революционаристском лжеапостольстве. Такой ложный взгляд любовно берегут и лелеют в своих мозгах и современные соотечественники Толстого в России — в особенности православно-религиозной, националистической и имперско-этатистской ориентаций.

На очереди — письмо Л. Н. Толстого 5 ноября, писанное и отправленное почтой в один день с письмом сыну Льву, жившему тогда, в связи с военной службой, в Петербурге.

«Вчера не писал тебе, милый друг, но зато видел тебя всё во сне и писал Лёве. Девочки тоже ему написали. Я постоянно за него боюсь, боюсь за то, чтобы не заболтался в этом сквернейшем в нравственном отношении городе. Там все соблазны роскошной столицы, *moins* [без] тех добрых сторон передового движения общественной мысли которое слышится в других свободных столицах. Я помню, как я в молодости ошалел особенным, безнравственным ошалением в этом роскошном и без всяких принципов, кроме подлости и лакейства, городе. То же ошаление я видел на Серёже и боюсь теперь за Лёву. Особенно вспоминал, как он нравственно хорош, лучше т. е. стал, последнее время, главное, в смысле доброты.

Нынче вечером наконец приехали в 7 ч. вечера Павел Иванович <Бирюков> и Иван Александрович <Бергер>. Павел Иванович рассказывает про тамошнее дело, и всё у него идёт хорошо. Он не выходит из рамок наших средств, но нужда растёт, и по тому, что он говорит, и из других сведений я вижу, что очень плохо.

[...] Поша <Бирюков> будет у тебя, вероятно, завтра, после этого письма, и всё расскажет. Я совсем здоров; немножко работаю физически и, когда могу, как нынче, много над своей работой. У нас снег и зимний путь, а в Бегичевке нет, и Иван Александрович на санях насилу доехал. [...]

Л. Т. [...]» (84, 168 – 169).

Судя по переписке следующих дней, Софья Андреевна пытается свыкнуться с мыслью о необходимом расставании ещё на зиму с мужем и “девочками”, Таней и Машей. «...Я волновалась, — вспоминает С. А. Толстая о тех днях, — интересы детей и мужа я разделяла всей душой и стремилась к жизни с ними вместе, а не врозь» (МЖ – 2. С. 299). В коротком письме её от 10 ноября — радость о “добытых” на работу столовых деньгах:

«Прислали по просьбе моей 622 р. за «*Плоды просвещения*». Вот ещё на столовые. И за брошюру о голоде — прошлогоднюю — 200 р. из редакции «Русских ведомостей». Я рада, что можно увеличить помощь» (ПСТ. С. 549).

То же — в письме к мужу 14 ноября:

«Получила для голодающих 200 р. от «Русских ведомостей», 300 от Коптевой из Цюриха, 622 за «*Плоды просвещения*» и ещё 75 от «Русских ведомостей». Итого, слава богу, более тысячи, которые и передам Павлу Иванычу при свиданьи» (ПСТ. С. 552).

Мария Львовна всё-таки съездила в период с 13 по 18 ноября в Бегичевку и привезла отцу известия, подтверждавшие для него нравственную необходимость личного участия в развёрнутом годом ранее благородном деле: «Положение там очень тяжёлое. И нужны и люди, и средства, и руководство. Но какая то апатия на всех. Таня нынче ездила в Тулу достать деньги и передать их и свидетельства Львову, который взялся выписать нам 50 вагонов дров» (84, 174).

Конечно же, и в этот раз Софья Андреевна добилась «воссоединения» мужа с собой и детьми — именно в Москве: 25 ноября Толстой уезжает из Ясной Поляны к семье.

Здесь Конец Девятой Главы





Глава Десятая, Заключительная
УТОМЛЕННОЕ СВЕТИЛО
(30 января – 6 ноября 1893 г.)

Ses ailes de géant l'empêchaient de marcher.

(Baudelaire)

Если б граф Лев Николаевич Толстой
в какой-либо местности Европы, а не в России,
прокормил в продолжение двух лет целый край,
т. е. несколько десятков тысяч голодных бедняков и даже скот их,
то ему воздали бы всем обществом шумные овации, поднесли адреса,
приветствовали благодарственными речами...

Но в своём отечестве не тут-то было.
Графа обкрадывали те самые, которые ели его хлеб, обманывали его,
а власть имеющие делали ему неприятности, клеветали,
взводя на него всякие небылицы, подозревали его, шпионили и даже угрожали...
Он же без шума, неустанно продолжал свой благотворный подвиг
и, покончив его, тихо и кротко удалился.

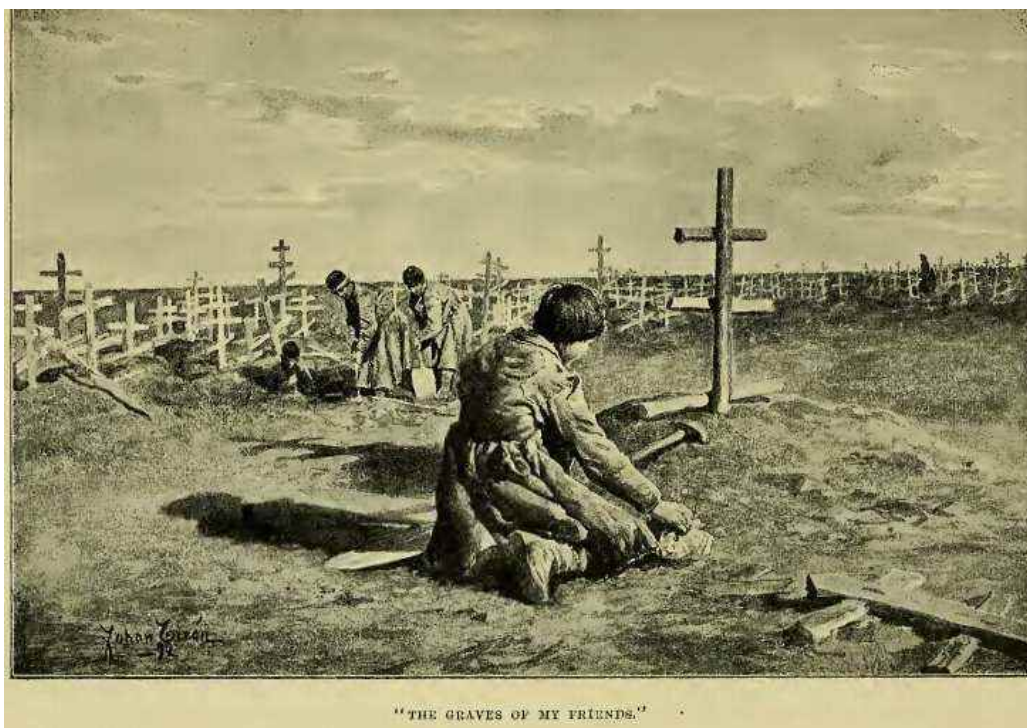
(Е.И. Раевская. Лев Толстой среди голодающих)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

Год 1893-й начался и прошёл для Толстых-родителей в заботе о тяжёлой болезни сына, Льва-младшего. Тот под самый новый год был отпущен домой с военной службы, куда, из-за разрыва отношений с университетом, попал всего на два месяца, будучи и до того уже больным. Когда он явился неожиданно к новогодней ёлке, мать и отец ужаснулись. Вспоминает Софья Андреевна:

«Это был не человек, а привидение. [...] Всё веселье погасло сразу. Он был худ ужасно. Когда он улыбался, зубы были как-то особенно видны, щёки вваливались и делалось жутко. [...] ...Он долго, долго не поправлялся. Стояли в то время страшные морозы, от 25 до 32-х градусов. Холод дурно влиял на Лёву, он зяб, слабел, и, когда свесился, в нём оказалось два пуда и 20 фунтов [меньше 42 кг. – Р. А.], а ему был уже 21 год с лишком» *(Толстая С.А. Моя жизнь. М., 2014. Книга вторая. [МЖ – 2.] С. 307).*

Конечно, заболевание было спровоцировано условиями жизни в страшной степной Патровке, где Лев Толстой-младший спас от мучительной смерти десятки тысяч душ (как и отец его в Бегичевке), но чуть не погиб сам... Стоит подчеркнуть, что никто из родителей не был в этом повинен: разрыв с университетом Лев-младший планировал — очевидно, очень глупо подражая в этом папе Льву — ещё до начала “голодной” эпопеи, желая посвятить всё время и силы писательскому творчеству. И поездка в любимый с детства “райский” (по детским же воспоминаниям) Самарский край была его, 20-летнего взрослого человека, выбором. Конечно, он не мог представить и вообразить себе бездну «традиционного» русского ада, которая ждала его там, в утробе поганого «русского мира». А и увидев — он не мог отступить, отказаться: ведь отец в это время уже начал свою благотворительную работу, и надо было «не отстать» от него в сыновнем соперничестве! Конечно, было бы лучше, если бы он, по примеру родных сестёр, удовольствовался помощью отцу в Бегичевке и матери в Москве: отец, как мы видели, приняв маленькое, типичное «помещичье», благотворительное хозяйство из рук Ивана Ивановича Раевского, преобразил его в уникальное, с печатью собственной личности, “голодное министерство” из друзей и волонтеров, так что уже осенью 1891-го ему было, кого отправить в степной голодный, холерный и тифозный ад, вместо любимого сына! Но юности не свойственна рассудительность.



“THE GRAVES OF MY FRIENDS.”

Массовое захоронение погибших от голода и эпидемий в Патровке.
Зарисовка по фото Ионаса Стадлинга. 1892 г.

В болезни Льва-младшего было и одно положительное обстоятельство, на которое тут же указывает Софья Андреевна:

«Это горе — болезнь сына — нас всех сплотило ещё ближе, и жили мы дружно и спокойно. По-прежнему принимали всех по субботам, и часто собиралось довольно приятное общество: профессора, родные, поющие барышни, художники и прочие» *(Там же)*.

Деятельность Толстого на ниве помощи голодавшему крестьянству неизмеримо увеличила российский и международный его авторитет, умножила знакомства и связи. Для Толстого очень приятной была в декабре 1892 г. всего лишь вторая (после 1887 г.) встреча с важнейшим “творческим вдохновителем” его будущего романа «Воскресение», гением адвокатского ремесла Анатолием Фёдоровичем Кони. Тогда же и в январе он знакомится или общается в переписке с рядом литераторов, как давно знакомых, так и новых. Например, 24 декабря он нечаянно встречает в книжном магазине крестьянского поэта С. Д. Дрожжина. Намечаются, но не осуществляются в январе 1893-го посещение больного Н. С. Лескова и знакомство с А. П. Чеховым. От Лескова он получает письмо с просьбой духовной поддержки перед лицом предвидимой им смерти — и отвечает письмом 7 – 8 января (впоследствии, к сожалению, затерявшимся), в котором убеждает духовного собрата во Христе, что смерти бояться не следует, что «у неё кроткие глаза» *(Цит. по: Гусев Н.Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. М., 1960. [Книга вторая.] 1891 – 1910. С. 91)*.

Достаточно интересна была Толстому и парочка английских квакеров, Д. Беллоуз и Д. Нив, навестивших его около 8 декабря 1892 г. Квакеры, как мы показали выше, внесли свой вклад и в помощь голодным, но эти, в данном случае, интересовались жизнью российских сектантов, духоборов, молокан и штундистов, в условиях преследования их правительством. Направлялись они в Южную Россию и на Кавказ, намерены были посетить и Хилкова — который до знакомства с учением Толстого тоже был “чистым” штундистом. С ними Толстой отправил драгоценное письмо к духовному собрату во Христе, в котором наконец мог высказаться, не опасаясь утраты письма по пути к адресату или иных последствий от навязчивой перлюстрации корреспонденции в Российской Империи.

Наконец, полезным и приятным было для Л. Н. Толстого участие в собрании либеральных общественных активистов-благотворителей, прошедшем в эти январские дни в доме земского врача М. И. Петрункевича на Смоленском бульваре, впоследствии известного кадета, члена Государственной думы. Здесь Лев Николаевич снова

увиделся со своими “учениками” из Тамбовской губернии, “командой” Вернадского и Келлера.

Сработали они, надо сказать, молодцами: с 18 декабря 1891-го по конец февраля 1892 г. открыли 34 столовых, и, помимо беднейших крестьян, так же как и Толстой, кормили детей и лошадок (*Корнилов А.А. Семь месяцев среди голодающих крестьян. М., 1893. С. 99, 123, 174 – 177 и др.*). О встрече с Толстым вспоминал сам А. А. Корнилов. Толстой при том свидании выпросил у Корнилова на прочтение книгу «Былое и думы» А. И. Герцена, которую непросто было достать в России, довольно зло нападал на либералов, но одного из них, кн. Д. И. Шаховского, почтил ласковым взглядом, когда тот, после речи Гольцева (кстати, довольно правдивой) «об утомлении, которое испытывает публика ввиду слишком усиленного сбора пожертвований, и об охлаждении её к делу продовольственной помощи», вследствие чего в России уже затруднительно будет “раскошелить” достаточное количество жертвователей на следующие “голодные” месяцы, бросил вдруг в собрание эмоциональную реплику: «Позор это будет, позор для нас всех, если мы не сумеем этого устроить!» (*Корнилов А. О знакомстве с Л. Толстым // Русская литература. 1916. № 4. С. 160 – 161*). Вероятно, Толстому как художнику и психологу понравилась эта нотка оживления в чопорном сборище в целом нелюбимой им либеральной городской интеллигентской сволочи.

Толстой и позднее не терял из внимания деятельности сына своего старого приятеля (с Иваном Васильевичем Вернадским, видным экономистом и статистиком, он был знаком ещё в 1850-е гг.). Ещё в 1880-х, после переезда Толстого в Москву, сложился специфический кружок регулярных его посетителей, куда входил и молодой Вернадский. Желая воротить хозяинам любовно “скушанную” и продуктивно “переваренную” книгу Герцена, Толстой позднее навестил Вернадского в Москве: «Я помню, когда [...] Толстой зашёл к нам, в голод, кажется, 1891 г., и помню разговор с ним. Он говорил И. И. Петрункевичу, что я симпатичный – тогда я составлял отчёт о помощи голодающим» (*Цит. по: Мочалов И.И. Л.Н. Толстой и В.И. Вернадский // В.И. Вернадский. Pro et contra. СПб., 2000. С. 267*).

В 1942 г. старец Вернадский вспоминал: «Для меня Толстой [близок] благодаря тому, что Д. И. [Шаховской] был к нему близок, что к нему близки Чертков, Бирюков, Калмыкова — наш кружок 1880-х годов. [Были близки] Петрункевичи и особенно Софья Владимировна Панина» (*Там же. С. 266*). Конечно же, симпатичен Вернадский Толстому был не своими околонучно-мистическими спорами, не защитой идеи бессмертия души и уж точно не членством в «брат-

стве» молодой интеллигентской сволочи. И, конечно же, упоминаемая встреча, в условиях составления В. И. Вернадским уже *отчёта* о работе столовых, не могла быть ранее 1892 г.

После смерти Толстого, размышляя о его личности, его учении и наследии, В. И. Вернадский, к тому времени уже выдающийся учёный, записал 9 августа 1911 г.: «Толстовство может существовать лишь на фоне научной работы – и является полезным коррективом для отдельных людей» (*Там же. С. 265*). Эту мысль можно и нужно скорректировать: чистое, евангельское христианство Христа, а не попов и богословов, расчищенное и возвращённое миру Толстым — путеводный свет не для одних учёных, а для всех *сотворцов* великого Творца, всех работников дела Божия в мире, всех искателей и провозгласителей, и слугителей единой Божьей правды-Истины.

Но *прочие*, то есть большинство гостей московского дома Толстых, были ему иногда просто в тягость. А разрыв в ноябре 1892-го отношений с московским аскетом, философом и библиотекарем Румянцевской библиотеки Н. Ф. Фёдоровым стал ощутимой для Толстого духовной потерей. Оказалось, что наивный, но горячий характером книжный старичок слишком поверил грязным пасквилям «Московских ведомостей», о лжи которых по поводу заграничной публикации фрагментов статьи Л. Н. Толстого «О голоде» мы уже достаточно сказали выше. Несчастный при встрече отказался подать руку своему собрату по духовной аскезе, и, подобно современным нам жертвам телевизионной пропаганды, выругался на «письмо» Толстого в «Daily Telegraph» довольно стереотипной отповедью:

« — Неужели Вы не сознаёте, какими чувствами продиктовано оно и к чему призывает? Нет, с Вами у меня нет ничего общего, и можете уходить» (*Цит. по: Опульская А. Д. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М., 1998. С. 29*). Фёдоров не захотел слушать ни слова объяснений от Льва Николаевича и холодностью приёма буквально «выморозил» Толстого из библиотеки.

Серьёзность этой потери мы полагаем в том, что сам Николай Фёдорович был для Толстого до этой трагикомической ссоры незыблемым духовным авторитетом: живым примером человека, живущего в чумной и грешной клоаке большого города — по высшим, неотмирным законам. Толстой, хоть для частично такой же жизни, тянулся к физическому труду и к трудовой жизни круглый год в сельской провинции. Но такой образ жизни, волею семьи — по преимуществу жены, то есть самой судьбы — останется для него невозможным ещё целый ряд лет, до начала XX столетия. Оттолкнув от себя

«разнузданного революционера» Толстого, Фёдоров оставил его в обществе людей, в большинстве своём куда менее духовно близких и достойных.

Ещё два приятных, но, к сожалению, заочных духовных диалога продолжил в начале 1893-го Лев Николаевич: с уже покойным жене-вским философом Анри Амиелем, к постигновению которого подключилась тогда же и Софья Андреевна и переводом которого, с помощью дочери Маши, он занялся, а также с живым ещё французским классиком Ги де Мопассаном, которому предстояло умереть всего через полгода, в июле 1893-го, от тяжёлых последствий сифилиса. Если Тургенев ставил Мопассана по художественному мастерству сразу за Толстым, то сам Толстой готов был удостоить тяжело больного французского гения редкой, но справедливой в данном случае чести *равенства*: если не на творческом, то на духовном пути. Это он и сделал, совсем ненадолго оторвавшись от тяжело, медленно (до мая 1893-го!) завершавшегося писанием трактата «Царство Божие внутри вас» и подготовив по заказу московского издательства небольшое Предисловие о Мопассане для книги «Сочинения Гюи де Мопассана, избранные Л. Н. Толстым» (в 2-х книгах). Окончательная редакция Предисловия датирована 2 апреля. Вот завершающие его строки, похожие на некролог по физически ещё живому на момент их написания человеку:

«Мопассан дожил до того трагического момента жизни, когда началась борьба между ложью той жизни, которая окружала его, и истиною, которую он начинал сознавать. Начинались уже в нём приступы духовного рождения.

И вот эти-то муки рождения и выражены в тех лучших произведениях его, в особенности в тех мелких рассказах, которые мы и печатаем в этом издании.

Если бы ему суждено было не умереть в муках рождения, а родиться, он бы дал великие поучительные произведения, но и то, что он дал нам в своём процессе рождения, уже многое. Будем же благодарны этому сильному, правдивому человеку и за то, что он дал нам» (30, 24).

Книга 2-я «Сочинений Мопассана...» с Предисловием Л. Н. Толстого вышла в свет лишь в 1894-м, так что сам французский писатель уже точно никак не мог прочесть заслуженно высокие отзывы русского классика о лучших образцах его творчества и пронизательно-строгие, но и сочувственные строки о ряде других его сочинений и лично о нём.

Вот, собственно, и все «живые, трепетные нити» в тот момент — кроме, конечно, Черткова с толстовцами, о коих здесь умолчим.

Много было связей светских, да мало душевных уз. Многие были званы в московский дом Толстых, и ещё большая массовка являлась традиционно без приглашения... а вот *призванных* Свьше к понимающему общению с Духовным Царём России, к сопутничеству ему на пути жизни христианского исповедничества и проповедания — не было новых никого. И Лев Отец заскучал. Он чуял сердцем зияющую неоконченность своего в Бегичевке дела. Он не мог любить его в том формате *помощи деньгами*, который, как мы показали, был в 1891 году *навязан* ему лжехристианским устройством общественного бытия. Ему не нужны были практические подтверждения недействительности такой «помощи» народу, без подлинной христианской любви к нему и подлинного равенства в человеческом достоинстве, со стороны городской барской, интеллигентской и прочей дармоедской сволочи — но ему навязали и этот опыт! Но самым неприятным было это вынужденное проживание с женой — условие покоя её нездоровых нерв (и, вероятно, психики) — в ситуации продолжавшегося вторую зиму бедствия голода. Софья Андреевна вспоминает в «Моей жизни» о середине-второй половине января 1893 года:

«...На Льва Николаевича уже напало беспокойство, он был не в духе, и под предлогом помощи соседней деревне Городне и другим деревням в ближайшем от Ясной Поляны расстоянии он решил уехать 28-го января с дочерью Машей в Ясную Поляну». С точки зрения жены, это было почти предательством: она была, по её мнению, покинута «одна с учащейся молодёжью в Москве», а муж, *будто не желая* помогать детям, *нашёл повод* для отсутствия: помогать мужикам и бабам, которые почти всегда сами виноваты в своей нищете из-за «повального пьянства» (МЖ – 2. С. 308).

Тяжесть жизни и омрачённость сознания Софьи Толстой сильнее усугублялась мерами экономии, ею предпринятыми: ведя, как прежде, свой издательский бизнес, она отказалась от наёмных корректоров и, несмотря на болезнь глаз, снова взялась сама готовить корректуры для очередного, уже 9-го (!) издания сочинений мужа: «...Мне приятно было думать, что этой работой я делаю экономию на 12 рублей в день» (Там же. С. 309). Отказалась она в этот период московской жизни и от прислуги, что в мемуарах описывает как особенный подвиг, противопоставляя отчего-то «принципам» христиански верующего мужа: «Я чистила платья, мыла калоши, чистила башмаки, мела комнаты, вытирала пыль, стелила постели, накрывала на стол...». Как следствие, возникали новые основания для неприязненного отношения к мужу: «Уходило и время, и много сил, оставалось мало для более серьёзного в жизни» (Там же. С. 328).

Толстой был философом и учителем жизни не по формальному «образованию», а по призванию: он ощущал *разумную меру*, необходимую во всём, и действительно не спешил становиться ни кухаркой, ни портнихой, ни прачкой, пусть даже и в собственном доме. Плох из него был и детский воспитатель: ведь с начала 1880-х он всеми силами перевоспитывал *себя*, причём в тех направлениях, которые не понимались и не принимались Софьей Андреевной как женой и матерью. И несчастная *убивалась*, во всех смыслах этого слова, отрицая всякую свою долю вины, и не смея винить в своих тяготах общественный строй сволочной во все времена, безжалостной к женщине, патриархальной и лжехристианской России, а вина во всём — лишь мужа, мужа, мужа, “кусая”, будто хищница, любящего и любимого человека в самые незащитные и слабые места:

«А что Лев Николаевич сделал, чтобы дети ему были близки? Ни в чём не помог, ни за что никогда не похвалил; ни разу не взглянул с любовью в их душу. Осуждение, отрицание, критика и отчуждение... Дети ему мешали, надоедали. [...] Лев Николаевич напрасно ставил вопрос о соперничестве. У нас этого совсем не было. Он просто всё отрицал и, не давая ничего положительного детям, просто ничем не занимался и совершенно игнорировал их существование. Зато занят был Лев Николаевич *всем* человечеством и всё более и более приобретал любовь людей и славу» (МЖ – 2. С. 316, 319 – 320).

Ложь жены Толстого о совершенном «неучастии» его в воспитании детей, равно как и об искании общественной славы, решительно опровергается в наши дни даже её поклонниками из числа *честных* учёных-толстоведов. Сдержанность Толстого в выражении благодарности, в похвалах и ласке связывают — и, вероятно, справедливо — с собственным его в детстве «полусиротским» положением, ранней утратой матери и отца. Что же касается славы... Поневоле вспоминается снова гениальная концепция разных религиозных «жизнепониманий», данная Л. Н. Толстым в статье «Религия и нравственность» (1893) и трактате «Царство Божие внутри вас...» (1890 – 1893). Человеком, не достигшим ещё жизнепонимания христианского, но держащимся низшего, общественно-государственного, «значение жизни признаётся [...] в благе известной совокупности личностей: семьи, рода, народа, государства, *и даже человечества*» (39, 9. *Выделение наше.* – Р. А.). И ещё: «Человек языческий, общественный признаёт жизнь [...] в племени, семье, роде, государстве, и жертвует для этих совокупностей своим личным благом. *Двигатель его жизни есть слава*» (28, 70. *Выделение наше.* – Р. А.).

Очевидно, что, приписывая мужу желание служения человечеству ради личной славы, Соничка делала, а её поклонницы и поклонники

делают по сей день одну и ту же ошибку: приписывают Толстому *собственные мотивы*, низшие по отношению к непостижимой для них системе поведенческих мотиваций человека высшего жизнепонимания, именуемого Толстым в названных сочинениях христианским или «божеским». Столь же ошибочен и их вывод о тотальном «отрицании» Толстым *всей* семейной и общественной жизни, без положительного идеала. Начиная с книги «В чём моя вера?» Толстой указывал на этот идеал, идеал *последования Христу* — справедливо отрицая то, что лишь маскируется под такое последование («исторические» церкви), и то, конечно же, что совершенно противоречит идеалу (например, государства и их системно организованное насилие). Но для сознания человека, не пробуждённого ещё к христианскому жизнепониманию, вразумительна и понятна лишь «отрицающая» часть. Даже духовно чуткий, живой Николай Семёнович Лесков, как мы помним, сделал летом 1891 года эту ошибку: отрицание Толстым суетливой барской «благотворительности» народу посредством собранных с народа же денег счёл за отрицание необходимости помощи крестьянам как таковой.

И ещё, из той же книги воспоминаний С. А. Толстой «Моя жизнь», жалоба на ею же созданные условия повседневности, личный домашний «адик»:

«На вид моя жизнь всем представлялась очень счастливой с таким знаменитым мужем, с обеспеченными средствами, хорошим здоровьем и так далее. Но ежедневная суета и труды мои не давали мне ни минуты досуга для пользования моим счастьем. Всё как-то наваливалось на меня. И опять, и опять вспоминались мне слова, сказанные мне давно известным <учёным> Charles Richet [Шарлем Рише]: “Je vous plains. Madame, vous n'avez pas même le temps d'être heureuse” [“Мне вас жаль, сударыня, у вас даже нет времени быть счастливой”]» (Там же. С. 315).

В такую же суету, которой, конечно же, имелась альтернатива в отвергаемом обоими, *не удовлетворяющем обоих* животном и простеческом «семейном счастье», погрузил себя в эти дни в очередной раз и Лев Николаевич. И он был жёстче связан, нежели супруга его, необходимостью продолжения и завершения своего благотворительного предприятия, но при этом, как мы увидим, благодаря истинно христианским фундаменту и якорю в сознании своём, *мог*, потому что *умел*, от времени до времени быть и покойным, и счастливым.

КОНЕЦ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ОЧЕРКА

10.1. НЕТ ВРЕМЕНИ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ

(30 января – 25 февраля 1893 г.)

Ссылаясь на «Ежегодник» Софьи Толстой на 1893-й год, биограф Л. Н. Толстого Н. Н. Гусев называет 22 января 1893 года как день отъезда писателя с дочерью М. А. Толстой в Ясную Поляну (*Гусев. Летопись... 1890 – 1910. С. 91*). Его датировку корректирует Л. Д. Опульская: 25 января (*Указ. соч. С. 35*). Но вот сама Софья Андреевна Толстая указывает в воспоминаниях иной день отъезда мужа: 28 января (*МЖ – 2. С. 308*). Точность датировки затрудняется отсутствием на эти дни, вплоть до 3 февраля, переписки, а также записей в Дневнике Л. Н. Толстого (возобновлённых только в мае) и в дневнике его жены. Но дата 28 января вероятнее потому, что начало переписки супругов относится к 30 января, и в первом из писем Толстой определённо указывает на недавний приезд, а в письме к В. Г. Черткову от 3 февраля уже совершенно точно указывает, что приехал в Ясную Поляну «из Москвы 4 дня тому назад» (87, 179). Он обещает Черткову в три дня закончить «Царство Божие», отдать рукопись неотлучному Е. И. Потову и наконец-то «поехать около 7[-го] в Бегичевку свободным и приняться за многое, что хочется» (*Там же*).

А вот полный текст письма Л. Н. Толстого от 30 января к жене:

«Здравствуй, милая Соня. Надеюсь, что ты идёшь на поправку. Пожалуйста, напиши правдиво и обстоятельно. Мы доехали хорошо. Дорогой немного развлекал нас жалкий Глеб Толстой. <Сын министра внутренних дел Дмитрия Андреевича Толстого; служил в то время земским начальником в Рязанской губ. – Р. А.> Ужасно жалко видеть этот безнадежный идиотизм, закрепляемый вином с добрым сердцем. Мог бы быть человек.

В доме тепло, хорошо, уютно и тихо. И в доме и на дворе. И тишина эта очень радостна, успокоительна.

Утром занимался до часа, потом поехал с Пошей в санях в Городну. Там нищета и суровость жизни в занесённых [нрзб.] так, что входишь в дома тунелями (и тунели против окон) — ужасны на наш взгляд, но они как будто не чувствуют её.

В доме моей молочной сестры <Авдотьи Данилаевой> умерла она и двое её внуков в последний месяц, и, вероятно, смерть ускорена или вовсе произошла от нужды, но они не видят этого. И у меня, и у Поши, который обходил деревню с другой стороны, — одно чувство:

жалко развращать их <раздачей муки. – Р. А.>. Впрочем, завтра поговорим с писарем.

Погода прекрасная. Вечером читали вслух, и я насилу держался, чтоб не заснуть, несмотря на интерес записок Григоровича. «Русская мысль» здесь.

Целую всех вас. А. Т.» (84, 177).

Писатель Дмитрий Васильевич Григорович был давнишним, с 1855 г., знакомым Льва Николаевича — ещё по Петербургу и по редакции «Современника». Его воспоминания Толстой с интересом читал в журнале «Русская мысль», где они были напечатаны в № 12 за 1892 год и №№ 1 и 2 за 1893 год. Судя по завершающей реплике письма, Толстой специально ждал возможности прочитать дома, тихими зимними вечерами, номера любимого журнала с этими дорогими для него мемуарами.

Своим письмом Толстой упредил жену, спрашивавшую в своём письме от 31-го, «есть ли настоящий голод» в окрестностях Ясной Поляны, а попутно упрекавшей мужа в эксплуатации духовно близкой и послушной дочери:

«...Сегодня вижу на столе Машины мне покупки и ясно себе её представила, бледную и жалкую, портящую ту жизнь, которая могла бы быть так хороша. Два раза молод не будешь!» (Толстая С.А. Письма Л.Н. Толстому. [Далее сокр.: ПСТ] М., 1936. С. 553).

Со своих, мирских позиций Софья Андреевна безусловно права. Желая «лучшей участи», поприца духовного христианского служения для своих дочерей и оттого удерживая их от брака, Толстой невольно иллюстрировал своим поведением народную мудрость о том, что «лучшее» иногда — враг просто хорошего. Кроме того, некоторые обстоятельства, так же освещённые в цитированном выше письме Софьи Толстой от 31-го января, заставляют предполагать и в Толстом живучие мирские, сословные предрассудки в отношении выбора женихов «благородными» дочерьми. Софья Андреевна ведёт речь в письме о сватовстве юриста *Ивана Васильевича Денисенко* (1851 – 1916) к *Елене Сергеевне Толстой* (1863 – 1940), племяннице Толстого, младшей дочери его сестры *Марии Николаевны Толстой*, прижитой ею от «незаконной» связи с Гектором Виктором де Кленом. «Счастья взрыв мы промолчали оба» - вспоминает Софья Андреевна

кстати строку одного из любимых ею стихотворений уже покойного Аф. Аф. Фета, датированных 9 июня 1887 г.:

Светил нам день, будя огонь в крови...
Прекрасная, восторгов ты искала,
И о своей несбыточной любви
Младенчески мне тайны поверяла.

Как мог, слепец, я не видать тогда,
Что жизни ночь над нами лишь стукнется,
Твоя душа, красы твоей звезда,
Передо мной, умчавшись, загорится,

И, разлучась навеки, мы поймём,
Что счастья взрыв мы промолчали оба,
И что вздыхать обоим нам по нём,
Хоть будем врознь стоять у двери гроба.

И таким образом намекает мужу, что и его дочери вынужденно, из послушания отцу, могут «промолчать» своё семейное счастье.

В том же году у Денисенко состоялась свадьба. И Толстой, зная «низкое» происхождение Елены Сергеевны, не только не удерживал её, но благословил выгодный для племянницы брак в письме к ней от 5 февраля, пожелав счастья с супругом (см.: 66, 291).

Продолжение рассказа о текущих делах и, частью, предваряющий ответ на вопросы жены — в письме Л. Н. Толстого того же дня, 31 января:

«Вчера приехал Евгений Иванович <Попов>, который к сожалению не был у вас и не привёз никаких писем. Напоив его чаем, легли спать около 12. Нынче отправили утром Пошу. Я по обыкновению писал, Маша ездила в <деревню> Мостовую. Работалось мне дурно, и я рано кончил и лёг. Проснувшись в час, поехал в Ясенки к писарю и старшине поторопить их об отправке приговоров крестьян о продовольствии и узнать ещё подробности о нуждающихся. Он даст мне список самых нуждающихся, и мы раздадим муку. Общей нужды нет, такой, как около Бегичевки, но некоторые также в страшном положении. Такое же впечатление и Маши. Так что поедем в Бегичевку, как только приедет Таня, если она хочет приехать. Нужно ли тебе, Таня голубушка? — Нужда в некоторых случаях ужасная. Тоже дров нет от снега. В Ясенках умер мужик от холода и голода — неделю не топил. Погода чудесная, — тепло. Я ездил верхом. Живу в

Таниной многосложной и приятной комнате. Сейчас едут на Козловку за Марьей Кирилловной и привезут верно известия о вас. Дай Бог, чтобы хорошие. Целую вас.

Маша здорова, бодра. Я думаю, что ей здорово во всех отношениях уехать из Москвы» (Там же. С. 178).

В этом бодром, как солнечный январский день, письме Толстой сразу даёт понять жене, что намерен, помимо текущих занятий, всерьёз присмотреться, на предмет возможной помощи, к жизни крестьянства близ родной усадьбы. Жизни, истинные беды и проблемы которой не поставишь ни в какое сравнение ни с временными, отчего-то слишком часто сопутствующими его поездкам, недугами жены и детей, ни с прочими проблемами зажиточного московского семейства — отчасти надуманными или раздутыми «благоверной».

Она получила оба письма мужа, 30 и 31 января, и отвечала на них вечером 2 февраля следующим:

«Милый Лёвочка, получила все твои письма и Машины письма, и я так вам сочувствую и понимаю ваше наслаждение тишиной, белизной, беспредельностью и свежестью деревенской природы и жизни. Я рада за вас, пока совсем покойна за вас, Ясная и близко и своё родное хорошее гнездо. А вот когда вы в Бегичевку поедете, — вот это терзание всем! Хоть бы вы подольше остались в Ясной и поскорее вернулись из Бегичевки. Сегодня смотрю в окно на ясный закат и сама так бы и убежала куда-нибудь на простор, особенно от масляницы.

Вчера, мучаясь, возила Сашу, Ваню, Мишу и Лидию в Большой театр. [...]

Лёва опять мрачен и дёргает меня за сердце, браня и доктора и меня, и воды, и приходя в отчаяние. Мечется он ужасно и мне это тяжело, а помочь не умею и не знаю, как. Не могу я изменить своего убеждения, что ему нужно последовательно и терпеливо полечиться. — Сама я здорова, исключая желудка, но не спокойна во всех отношениях, что и досадно на себя и противно, и я это поборю трудом и заботой о детях.

Сегодня ездила проведать Машеньку, она всё больна; была у Грота и ещё кое у кого. Завтра, в среду, уезжают все Толстые в Пирогово, а в четверг приедет к вам, вероятно, Таня. Сейчас у нас Ге и Дунаев, Серёжа уехал к Самариным на спектакль в новом фраке, и мне очень хотелось, но без Тани скучно, а у ней платья нет. Да и совестно ездить, хотя я без тебя, Лёвочка, всегда ищу развлечений, а с тобой

никуда не стремлюсь и всегда довольна. Я рада, что Маша себя хорошо чувствует в деревне; дай бог ей поправиться и духом и телом. Целую вас обоих, сидели бы в Ясной, отдыхали бы и я радовалась бы, что вам хорошо. Право, нужно ли в Бегичевку? А может быть не нужно совсем!

Ну, прощайте, теперь Таня привезёт известия, а писать уж буду в Клёкотки.

С. Т.» (ПСТ. С. 554).

Софья Андреевна по письмам мужа, как ей представлялось, “убедилась”, что его присутствие для помощи голодающим «не так нужно» (МЖ – 2. С. 309). Описывая болезненное поведение сына, она стремилась к тому же, к чему и раньше, когда писала мужу о болезнях малышей: прервать его отлучку, *заставить* приехать... Но Толстой, хотя и не вполне справедливо, связывал “мрачность” сына Льва с его недовольством собой: ни таланты на литературном поприще, ни силы в благотворительном предприятии — не оказались у него не то, что равными отцовым, но и близкими к нему!

Младшие же дети пока ничем серьёзно не болели, а гениальный малыш Ваничка, подлинная надежда отца, даже заражал окружающих своими бодростью и жизнелюбием. Выучив к 4 годам неплохо английский язык, чудесный львёнок с радостью начал учить по-английски старика-художника Ге, походившего на папу Льва не только одухотворённостью, но и некоторыми чертами внешности. Пообщавшись с малышом, духовный старец убеждённо сообщил Софье Андреевне, «что Ваничка познал уже всё в здешнем мире, потому что он живёт уже не в первый раз, а жил раньше неоднократно» (МЖ – 2. С. 310).

3 февраля Толстой ответил на письма жены от 30 и 31 января. Письмо, если вчитаться, отчасти странное: Толстой как бы «не слышит» негативных известий из Москвы (например, о болезни сына), предпочитая реагировать на всё по-своему и сообщать лишь своё, относящееся к скорому отъезду и к самому бегичевскому предприятию:

«[...] Мы поедem, когда приедет Таня. Завтра увижусь с новым земским начальником, Тулубьевым, и сговорюсь о том, что сделать здесь. Вчера ездил в Ясенки, нынче ездил в Тулу... Свидетельств **<от Красного креста на право бесплатного провоза грузов. – Р. А.>** больше нет, а Поша пишет, что дров мало и очень нужны. Нельзя ли

достать из Петербурга, из комитета Наследника <по оказанию помощи голодающим, работал с ноября 1891 г.. – Р. А.>, через Александру Андреевну <Толстую> или кого ещё. Посоветуйся с кем-нибудь, и если да, то пусть Таня напишет.

Работается хорошо. После обеда поправляли с Машей Амиеля. <Т. е. перевод «Избранного» из Амиелева Дневника. – Р. А.> Очень хорош. [...] Мы вполне здоровы. Только бы вы были такие же.

Целую всех. Едим чудесно и так же спим. На дворе прекрасно, в доме тепло» (84, 178 – 179).

Следующее, очень краткое, почти как извещение, «открытое письмо» (открытка) Льва Николаевича, от 4 февраля:

«Не знаю, написала ли тебе сегодня Маша, а она уже ушла на конюшню, чтоб ехать за Таней, и потому пишу, чтобы сказать, что мы здоровы, что у нас всё хорошо. Нынче был земский начальник Тулубьев, и мы с ним сговорились о помощи, кажется благоразумно. Если ничто не изменит наших планов, то поедем в субботу <6 февраля>. Пожалуйста, пиши почаще, хоть по несколько слов.

Л. Т.» (Там же. С. 179 – 180).

Давний знакомый Толстого, помещик и лейб-гусар в отставке *Иван Васильевич Тулубьев* (ок. 1838 – после 1917) остался в доброй памяти просвещённых туляков до сего дня. 30 лет (!) он беспорочно прослужил в Тульском уездном земстве и был в уезде почётным мировым судьёй. По натуре — энергичный, бодрый, словоохотливый... Толстой с ним обсуждал в эти дни необходимость открытия столовых, но пришёл к выводу, что достаточной пока что помощью будут земские выдачи мукой.

Возможно, Софье Андреевне письма супруга от этих дней могли показаться «не сердечными», отчуждёнными и вызвать критический, исполненный обид и гнева, ответ: недаром очередные её письма от 5 и 6 февраля, написанные *в ночное время* в ответ на письма мужа, не были опубликованы в общем сборнике, а только упоминаются в нём (см.: ПСТ. С. 555). Но нужно помнить, что Толстой готовил себя физически и морально к Бегичевке — с которой и сам уже рад был бы кончить, но, памятуя долг свой перед И. И. Раевским, просто отказать и не поехать он не мог! Ему хватало дурных воспоминаний и предвидений и без соничкиных жалоб. Подмогой же ему в эти дни были — дочери, одна из которых, Маша, переводила дневник Анери

Амиеля, в философии которого одним из фундаментальных концептов был как раз *нравственный долг*.

Но при том, что мысленно Лев Николаевич уже был «в деле», он не забывал и о жене, беспокоился о ней, что доказывает последнее его, перед отъездом в Бегичевку, письмо из Ясной Поляны от 5 февраля:

«Теперь вечер 5 числа. Мы собираемся ехать завтра, девочки укладывают, а я пишу письма. Пожалуйста, ты об нас не беспокойся. Мы в путешествии будем осторожны, как только ты могла бы желать. Если будет метель, не поедем. Я по тому говорю это, что мне ломит сломанная рука, и, кажется, идёт на ветер и на оттепель.

Я вчера тебе написал мельком о том, что здесь делается. Дело стоит так: нужда большая в Мостовой, Городне, Подъиванкове и Щёкине, деревни вёрст за 10. Маша ездила туда нынче. Но до сих пор, благодаря заработкам, которые тут есть, всё ещё кое-как кормятся. Кроме того, неизвестно, сколько и кому выдадут от земства. А выдавать начнут на днях. И потому мы решили с новым земским начальником Тулубьевым (он был у нас, как говорит, 5 лет <назад>; хороший, кажется, малый, бывший лейб-гусар), что подождём до выдачи, а тогда, вернувшись из Бегичевки, устроим здесь, в чём поможет Тулубьев. У него же я и купил для этого рожь.

Таня приехала благополучно, но мне жалко её отрывать от увлёкшего её занятия живописью. Может быть мы отправим её одну к тебе, тем более, если Лёва уедет, и ты останешься одна. Хотя Лёва тебя, как видно, теперь более всего мучает. — Мне думается, что его нездоровье одно из тех ослаблений жизненной энергии, которые часто бывают в этом возрасте. Я помню в таком положении был Владимир Александрович <Иславин> <дядя С. А. Толстой. – Р. А.>, в таком положении был брат Сергей. Он лечился, пил рыбий жир.

Мы здоровы. Погода стояла тут прекрасная, и всё ездил верхом.

Я писал тебе о выхлопатывании свидетельств бесплатных из Комитета наследника. Подумав хорошенько, я решил, что этого не надо, поэтому ты оставь это. — В тот день, как я был в Туле, я видел Давыдова и Львова и узнал, что Писарев тут. Он, кажется, поехал к себе, но ненадолго, и вернётся в Тулу. Я постараюсь увидеть его и достать от него свидетельства. [...]

Л. Т.» (84, 180 – 181).

Следующее письмо, открытое, Лев Николаевич написал жене уже с дороги — из Клёкоток, на пути в Бегичевку, 6 февраля:

«Пишем из Клёкоток, куда благополучно приехали, но без Маши. Она по случаю афер осталась на день с <портнихой> Марьей Кирилловной в Ясной. Мы, — т. е. Таня, Евгений Иванович <Попов>, я и <повар> Пётр Васильевич, сейчас едем далее. Погода тихая, прекрасная, 14 град. От тебя, к огорчению нашему, письма нет. Целую тебя крепко и пеняю за то, что не пишешь. — Оттуда ещё напишем.

Л. Т.

Если озябнем или устанем, остановимся в Молодёнках» (84, 181 - 182).

Пенял Лев Николаевич жене совершенно напрасно: она ответила на письмо его от 5 февраля на следующий день по получении известий из Ясной — 7-го. Вот отрывок письма её от 7 февраля к мужу, уже по адресу в Клёкотки:

«[...] Про свидетельства на бесплатный провоз, ты отказал мне поздно. Я уже наладила хлопоты; поехал в Петербург Литвинов; сын Кауфмана его друг, и Литвинов обещал лично попросить самого Кауфмана дать нам свидетельств. Уж не знаю, что из этого выйдет. <Старичок генерал *Михаил Петрович Кауфман* (1822 – 1902) исполнял в то время должности председателя и главного интенданта в обществе Красного Креста. – Р. А.>

[...] С. Толстая» (ПСТ. С. 555 – 556).

И её письмо 8 февраля, ответ на открытку 6 февраля от мужа:

«Ты упрекаешь мне, милый Лёвочка, что я не писала в Клёкотки, а я писала и туда, и в Чернаву, но письма получались на маслянице страшно неисправно. Сегодня послала вам чужие в Чернаву, целый пакет. Бобринскому я отвечала, что деньги, вероятно, нужны, а что ты уехал.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Граф *Андрей Александрович Бобринский* (1859 – 1930) с 1888 г. служил в канцелярии Государственного совета. С. А. Толстая отвечала на его письмо от 14 февраля, в котором он извещал Льва Николаевича, что комитет для вспомоществования при миссии США ассигновал в распоряжение Толстого две тысячи рублей. – Р. А.]

Мы все здоровы, т. е. я с четырьмя; остальные все разъехались. Сегодня, 8-ое, первый день поста, все за уроками и всё пришло в аккуратность. Это очень приятно во всех отношениях. Я удивилась, что вы и Женю повезли в Бегичевку. Целый придворный штат поехал. Надеюсь, что Маша не слишком страдала и теперь здорова. Сегодня два градуса, маленькие два раза гуляли, я этому очень рада. [...] По погоде вам удобно будет заниматься вашими делами и ездить. Целую всех вас, дай бог быть здоровыми.

С. Т.» (ПСТ. С. 556 – 557).

От 8 февраля началось для семьи Толстого время поста и “говенья”, столь ценимого Софьей Андреевной и её единовверцами по церковной вере за возможность, ничего на самом деле не изменяя в своей жизни, ощутить *иллюзорную* сопричастность к сакральным смыслам человеческого бытия: за счёт участия в церковном идолопоклонстве, публичных молитв под руководством попа — разумеется, с умилением, «с мыслью обновления, избавления от грехов, желания сделаться лучше...» (МЖ – 2. С. 312). Дальше этих благих пожеланий у православных фарисеев дело, конечно же, не идёт, но им и не нужно этого: “высокая” социально-психологическая потребность удовлетворена, а терять что-то из мирских, даже самых греховных, приятностей и выгод, истинно и круглый год, в повседневности слушающая Бога и последуя Христу, они не желают.

Софья Андреевна прибегает вот к такому сопоставлению христианского служения Льва Николаевича с товарищами со своим московским “говением”: «Своего рода служение Богу происходило и в Бегичевке, где продолжалась помощь голодающим и где **<т.е. в окрестностях, а не только в этой деревне. – Р. А.>** было в то время 90 столовых для бедных» (Там же). Точнее же нужно сказать, что именно в Бегичевке, инициативой Толстого, и совершалось уже полтора года *истинное* служение Богу — хотя и в не близком Толстому, духовно тяжёлом ему формате консенсуса с ложным устройством окружающей жизни буржуазно-православной России, враждебно чуждой Истине Бога, как она выражена в учении Иисуса Христа.

К этому служению снова ненадолго примкнул главный его вдохновитель, сам Лев Николаевич: ему нужно было сменить изнурённых физически и эмоционально “выгоревших” товарищей во главе с Павлом Ивановичем (“Пошей”) Бирюковым. 8 февраля, уже из Бегичевки, Толстой сообщает новости Н. Н. Ге-сыну, и, в числе прочего, следующее:

«Мы здесь теперь в Бегичевке с Таней и Машей. Поша тут (это была его статья), <корреспонденция из Бегичевки, напечатанная в № 5 «Недели» 1893 г. за подписью «П. Б.» — Р. А.> Попов, <С. Т.> Семёнов крестьянин. Положение очень тяжёлое в народе, но как чахоточный, на которого страшно взглянуть со стороны, сам не видит своей исчахлости, так и народ. То же и я испытывал в Севастополе, на войне. Все говорили: ужасы, ужасы. А приехали, никаких ужасов нет, а живут люди, ходят, говорят, смеются, едят. Только и разницы, что их убивают. То же и здесь. Только и разницы, что чаще мрут. А этого не видно» (66, 292).

9 февраля Толстой пишет и к жене первое из Бегичевки письмо, в котором упоминает некоторых из своих помощников: “девицу” Заболоцкую, вероятно фельдшера, о которой мы не имеем биографических сведений; художника из семьи обрусевших шведов Германа Романовича Линденберга (1862 – 1933); крестьянского писателя С. Т. Семёнова (1868 – 1922), знаменитого более всего именно симпатиями к нему Толстого. Упомянут снова печально знаменитый Сопоцько, о котором мы уже сказали пару слов выше.

Приводим ниже основной текст письма Л. Н. Толстого от 9 февраля к жене.

«Таня тебе, вероятно, всё опишет, милая Соня, а я только подтвержу и скажу о себе. Доехали мы хорошо. Боялись за Машу, но и она благополучно приехала. В доме было свежо, но теперь мы так натопили, что жарко. Погода всё нехороша. Дороги дурны, мятель, небольшая, но сообщение есть. Нынче приехала Заболоцкая, вчера уехал Сопоцько. Вчера я ходил в ближайшие деревни. Нынче ездил в Софьинку. Впечатление моё, что нужда большая, но к ней ещё больше привыкли, чем в прошлом году, и дело нашей помощи идёт хорошо там, где я был. Но мы намерены объехать все 90 столовых, а видели теперь 5. Приезд наш, по моему мнению, очень был нужен, в особенности потому, что Линденберг ссорится [?] с Семёновым; и тот, и другой хочет уезжать — Линденберг теперь, а Семёнов к весне. Главное, сам Павел Иванович замотался и едва ли доживёт до весны. Надо всё устроить попрочнее. Можно Сопоцько поручить дело Павла Ивановича и на место Сопоцько поместить из двух вновь приехавших. Всё это, вероятно, устроится и объяснится скоро.

Мы здоровы и веселы. По крайней мере, девочки font bonne mine à taucvais jeu [притворяются довольными]. А я чувствую, что надо было приехать; занят своей работой по утрам, и был бы доволен, если

бы не тревожился о тебе и теперешнем твоём одиночестве; особенно, не получив ни одного хорошего письма от тебя. Отчёт напишу здесь и если успею, рассказ, который я обещал в сборник для переселенцев.

[ПРИМЕЧАНИЕ.

Толстой имеет в виду сборник «Путь-дорога. Научно-литературный сборник в пользу общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам» (1893). Но в нём была напечатана только его повесть «Ходите в свете, пока есть свет». Возможно, что в феврале 1893 г. Толстой работал над другим рассказом, предназначенным для этого сборника. – Р. А.]

[...] Очень хочется хорошей погоды и дороги. Тогда скоро всё объездим и вернёмся.

Что дети? Андрюша: он меня интересуется и сам по себе и потому, что он тебя тревожит.

Пётр Васильевич <Бойцов, повар> ночует около меня и ночью храпит. А я, чтобы прекратить его храп, свищу. Нынче <портниха> Марья Кирилловна слышала свист и верно думала, что домовою. Живём мы всё также: обедаем в час, ужинаем в 8. Пища прекрасная. Прощай пока. Целую тебя.

Л. Т.» (84, 182 – 183).

По воспоминаниям Павла Ивановича Бирюкова, не только биографа Льва Николаевича, но и участника, как мы помним, значительной части Бегичевской эпопеи, Толстой в эту, одну из последних, поездок в Бегичевку был «ясен и бодр», и живое его чувство юмора выражалось не только в письмах, но и во время досуга от теперь уже рутинных, надоевших и клонящихся к завершению трудов. Об одной, несколько конфузливой, шалости Толстого Павел Иванович рассказывает следующее:

«...В один вечер он стал прыгать в общей комнате, где собрались около него все тогдашние сотрудники. Вдруг он, подойдя к небольшому круглому, старому столу, предложил на пари, кто может прыгнуть с места на стол обеими ногами и встать, удержавшись, на ноги. Кто-то из присутствовавших молодых людей принял пари. Лев Ник<олаевич> решил начать первый, подошёл к столу вплотную, присел, оттолкнулся и вспрыгнул на стол. Но ножки у стола были уже, вероятно, гнилые, не выдержали и подломились, и Л. Н-чу не

удалось встать, он вместе со столом свалился на пол. Его добродушный хохот, с которым он поднялся, скоро успокоил бросившихся к нему на помощь, и его веселье заразило всех. Л. Н-ч только очень пожалел, что причинил убыток хозяевам и очень извинялся перед ними» (*Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-х тт. М., 1922. Том третий. С. 204 – 205*).

Намерение мужа объехать все 90 действующих в уезде столовых не напрасно, если памятовать время года, смутило Соню, что она и не замедлила выразить в ответном письме вечером 11 февраля, вкупе со своеобразной для неё “порцией” несправедливостей в отношении близких, дорогих Толстому людей:

«Вчера написала Маше, а сегодня получила письма от вас, милые Лёвочка и Таня. Наконец, я хоть узнала, что вы доехали все до Бегичевки. Завтра две недели, что вы уехали. Как у вас тамлюдно, и как это неприятно, что люди, приехавшие помогать — ссорятся и не ладят, как Семёнов с Линденбергом. Павла Ивановича очень жаль, и я уверена, что если ему трудно, то опять не от *дела*, которое он делает, а от какой-нибудь людской или женской путаницы. Неодухотворённые люди хуже всякого животного. Всякая гадость в человеке тем ужасна, что он её знает, что всё в человеке сознательно, а в животном бессознательно, оттого извинительнее. Ужасно боюсь, что отъезд Павла Ивановича запутает все дела помощи. Но после Святой сейчас же в Бегичевку уезжает совсем Ваня Раевский, я сегодня его видела, и он говорит, что охотно возьмёт на себя часть дела. Ему не только можно, но и должно будет всё передать, чего же лучше и проще? Он тамошний, хотя, конечно, Павел Иванович в тысячу раз лучше может всё делать.

У меня сегодня была Матильда <Моллас> и предложила мне учить Сашу за те же 20 рублей, которые я предложила учительнице. До сих пор учила я сама и очень исправно; но у меня мало времени и я очень раздражаюсь, что дурно для наших с Сашей отношений. Я очень рада Матильдиной помощи на эти последние два, три месяца. По-французски же буду продолжать сама. [...]

...Миша читает «Анну Каренину», оторвать не могу и не одобряю, рано ещё. Саша и Ваня с воскресенья не гуляют; всё метели и 15 – 12 градусов морозу с ветром. — Напрасно затеваете 90 столовых объехать. Разве это возможно? И зачем в сущности? [...]» (*ПСТ С. 557 – 558*).

14 февраля Толстой отвечал на это весточку любви (?) от жены, чему днём раньше предшествовал ответ на её же послание от 7-го. Приводим в хронологической последовательности эти письма Л. Н. Толстого.

13 февраля:

«Сейчас суббота вечер. Пишу тебе, милый друг, чтоб завтра отправить в Чернаву. Я дома, один, только что вернулся из деревень по Дону: Никитское, Мясновка и до Пашкова, куда ходил пешком. Чудная погода и дорога. Много обошёл, и ощущение, что сделал кое-что полезного. Сопоцько, который приехал нынче утром, выезжал мне навстречу, и мы с ним вернулись. Девочек нет ещё. Они утром поехали к Мордвиновым на блины. Приезжали звать, и они не могли отказаться. Оттуда хотели ехать по далёким деревням, но Ладыженский <Лев Викторович, помещик в Елифанском уезде и земский начальник. – Р. А.>, которого я встретил дорогой и который тоже был у Мордвинова, сказал мне, что они решили ехать только в ближние деревни. Погода прекрасная, они с кучерами и обе здоровы, поэтому жду их без беспокойства.

Очень досадно, что нельзя помогать дровами, которые страшно нужны. Нынче пишу Писареву, прося его уступить нам из его излишних запасов. К Сопоцько приехали два помощника. К Филосовым приехала их помощница, кажется, очень деловитая девица. Вчера приехал Цингер Иван <И. В. Цингер, сын выдающегося русского математика В. Я. Цингера, женатого на Магдалине Ивановне, сестре покойного И. И. Раевского. – Р. А.> и предлагает свои услуги. Мне бы очень хотелось, чтобы он остался на весну, на место Поши, — главное потому, что он Раевским свой человек; но боюсь, что он слишком молод.

Вчера читали «Прощение», «Pater» Соррée <«Отче наш» Коппе. – Р. А.>, и Таня стала подбивать всех сыграть это для крестьян, и они читали это вслух, разобрав роли: Шаропова, её приятельница, Таня, Поша, Цингер, но, кажется, ничего из этого не выйдет. < Из этого в 1897 г. вышло издание в «Посреднике» этой пьесы в стихах Франсуа Коппе (1842 – 1908), в переводе А. П. Барыковой. – Р. А. >

Я встаю рано, в 7, в 8 пью кофе и с $1/2$ 9 до 1 и более усердно работаю, потом обедаю, потом еду, куда нужно, возвращаюсь к б. В 8-м ужинаем, часто девочки затевают экстренный чай. Таня рисует, читаем, пишем письма, беседуем. Я чувствую себя очень хорошо. О тебе ужасно мало знаем. Это тяжело. Пожалуйста, пиши чаще. Вчера

было известие через Элену Павловну, и в среду Получил твоё единственное длинное письмо <от 7 февраля>.

Дороги теперь хорошие и погода, и потому мы очень скоро всё объездим. Надеюсь, что устроим, т. е. решим, как и кому заместить Пошу. Цингеру мы предложили, но он робеет и просит подумать. Скажи Катерине Ивановне, передав ей мой привет, что я всё советовал ей ехать сюда, а теперь не советую. С её здоровьем заехать сюда и на мельницу, в холода или ростепель, неблагоприятно.

С большим волнением буду ждать завтрашнюю почту, — письмо от тебя. Целую тебя, милый друг.

Л. Т.» (84, 184 – 185).

Хотя Софья Андреевна и приезжала лично в Бегичевку, знакомилась с делом — всего значения морально поддерживающего присутствия в ней Л. Н. Толстого и *сакрального*, а отнюдь не только и не столько утилитарного, значения объездов Духовный Царём деревень и столовых она, конечно же, уразуметь не могла.

Судя по следующему, от 14 февраля, письму Л. Н. Толстого, он отвечает в нём на *три* сразу письма жены, из которых нам известны два: от 8 и от 11 февраля. О последнем Толстой говорит как о более спокойном, чем другие два (и отвечает преимущественно на него). Вероятно, *наименее* «спокойное» уничтожил или он сам, или, позднее, сама Софья Андреевна. Приводим ниже текст толстовского ответа.

«Сейчас 11 часов вечера, воскресенье. Были все сотрудники, пили чай, читали и только что ушли, а вечером присылал Яков Петрович <Шугаев, приказчик Раевских. – Р. А.> сказать, что едут в Москву, и вот пишу тебе хоть несколько слов. Мы благополучны и здоровы. Девочки ездили обе в разные стороны довольно далеко, а я оставался дома. Дело объезда приходит к концу. Мороз сильный, но тихо, и дороги хороши. Сегодня получил твои три письма, из которых последнее более спокойное и хорошее. На Ваню Раевского мы и так возлагаем надежды. Я написал тебе, что ссорились Линденберг с Семёновым. Это было чуть-чуть и ни в ком не оставило неприятного чувства, напротив, они все премилые люди. Нынче была опять Заболоцкая, и простилась уже. Она уезжает на этой неделе. Она удивительно самоотверженная девица. Совсем расстроила своё здоровье здесь.

То, что ты хлопотала о свидетельствах, очень хорошо; только если их дадут, то надо скорее. Нынче получил письмо от американского консула <Крауфорда> и Бобринского, о том, что если нам нужно денег, то они пришлют. Должно быть, это не мне. Я ответил. Письмо от Элен <Е. С. Толстой>, — счастливое. [...]

А ты всё мучаешь себя корректурами. Зачем ты так ночи не спишь? [...]

Ну, пока прощай, до скорого свиданья. Целую тебя и детей. “Анну Каренину” читать Мише, разумеется, рано» (84, 185 – 186).

Более сдержанному в эмоциях эпистолярному собеседнику, уже знакомому нашему читателю консулу США Д. Крауфорду Толстой в тот же день, 14 февраля, и отвечал на запрос его от 2 февраля столь же сдержанно и просто, но честно: «В этом году голод в нескольких частях нашей местности грозен не менее прошлогоднего, и мы продолжаем нашу работу в этом году, хотя не в тех размерах, как в прошлом. В этом году мы имеем свыше 90 столовых (кухонь).

Наши средства не столь обильны, как были в прошлом году. Тем более что мы превысили наш бюджет, так как нужда в топливе оказалась сильнее, нежели мы ожидали. Поэтому всё посланное американским жертвователями для наших голодающих крестьян будет принято с благодарностью» (66, 296).

Ответного письма Крауфорда не сохранилось. Уполномоченный Особого комитета цесаревича гр. А. А. Бобринский в письме от 17 февраля сообщал Толстому: «Благотворительный комитет при Американском посольстве ассигновал в Ваше распоряжение две тысячи рублей, которые мною и были переведены через Международный коммерческий банк 14 сего февраля на Ваше имя в Москву» (*Там же. Комментарий*).

К этому же дню, а также следующему, 15 февраля, относятся два письма С. А. Толстой, не опубликованные в доступном нам сборнике. О причинах этого можно догадаться на основе вот этих сведений в мемуарах Софьи Андреевны «Моя жизнь» о предшествующих писанию этих писем событиях:

«Приехавшая из Бегичевки Екатерина Ивановна Баратынская с ужасом рассказывала мне, что Лев Николаевич по пояс в снегу насилу двигался, обходя столовые и объезжая их, и страшно утомлялся. Я усиленно его вызывала оттуда...» (*МЖ – 2. С. 313*).

Как Софья Андреевна умеет «усиленно вызывать», мы уже демонстрировали читателю. Может, и к лучшему, что подобные её грехи

были деликатно изъяты из книжного издания её писем. Что же касается Екатерины Баратынской, остаётся лишь сожалеть, что девица со столь благородной фамилией, воспитанием, и при том замечательная помощница Льва Николаевича в Бегичевке, гостя у жены его в Москве, вдруг сыграла роль довольно прозаической, и не правдивой к тому же (в отношении погоды), сплетницы. Так или иначе, но страхи за здоровье мужа у Софьи Андреевны усилились. А чего сильно боишься — то скорее прочего и материализовывается: Лев Николаевич действительно не сильно простудился, о чём, в числе прочего, сообщал жене в следующем, от 16 февраля, письме:

«Каждый день приходится писать тебе, милый друг Соня. Вчера писал с Яковом Петровичем, а нынче уже вторник, завтра почта. Наши дела почти приходят к концу: остаются одни ефремовские <т. е. по Ефремовскому уезду. — Р. А.>, Сопоцькины столовые, на которые достаточно 2-х, 3-х дней, самое большее. Но у него побывать необходимо; это говорит и Поша, да я знаю. Он усерден, деятелен, но юн.

У меня второй день насморк и кашель, и я по приказанию дочерей, а главное, помня тебя, не выезжаю, и не выеду, пока не пройдёт совсем. А только гуляю потихоньку. Если бы не дочери и память о тебе, я бы даже не обратил внимания и ездил бы.

Так что мы время своего отъезда намечаем на субботу. Так это Тане удобнее для её школы. <Татьяна Львовна Толстая брала уроки в знаменитой Школе живописи, ваяния и зодчества, располагавшейся в Москве на ул. Мясницкой. — Р. А.> Мы же на самое короткое время проедем в Ясную и поскорее к тебе, чтоб ты перестала тревожиться и не спать до 3-х часов. К субботе мы надеемся получить ответ о дровах от Писарева, которому я писал, и решим дровяной вопрос, т. е. можно ли теперь — теперь только и нужно — раздать дров.

Бобринскому и американскому консулу я тоже ответил, что деньги будут приняты с благодарностью. К этому же времени напишем отчёт, который Поша нынче, кажется, кончает и который надо будет чем-нибудь закончить. Ну, пока прощай. [...] Девочки здоровы и бодры. Таня сейчас приехала, — ездила за 20 верст. Маша ещё не приезжала. Тоже поехала за 20 вёрст. [...]» (84, 186 – 187).

Это последнее в данную поездку Л. Н. Толстого его письмо к супруге из Бегичевки. В нашем распоряжении есть ещё за эти дни два письма С. А. Толстой, от 17 и от 18 февраля (ответ на письмо мужа от 16-го с известием о простуде) (см.: ПСТ. С. 561 – 563). Но они значительной своей частью — светские и семейные новости — для нас малоинтересны. Уведомясь о скором отъезде мужа из ненавистной

и страшной ей Бегичевки, Софья Андреевна, конечно же, сразу “выздоровела” от всех болезней; кроме Льва-младшего, здоровы были и дети (*Там же. С. 561 – 562*). «Здорова совсем и бодра», она заканчивала корректуры пятого тома нового собрания сочинений Л. Н. Толстого. Как раз вычитывался роман «Война и мир», и Соничка наслаждалась интеллектуально и эстетически: «Где ни читай, хоть из середины, везде интересно и тонко умно» (*Там же. С. 561*). Письмо от 18-го содержит свидетельство того, что Соня ожидала именно *возвращения* мужа: то есть приезда к ней, в Москву, а не в яснополянский дом (*Там же. С. 562 – 563*). Но она понимала в то же время, что для Льва Николаевича это было бы сменой одного стресса другим — без физического и морального отдыха. Были и практические причины необходимости заезда в Ясную. Помимо надежд добыть у губернатора в Туле те самые несчастные свидетельства Красного Креста для бесплатного провоза грузов, Толстой желал в зимней тишине завершить писанием очередной отчёт о работе своего бегичевского «министерства добра».

Итак, оправившись от простуды, 20-го он уезжает с дочерью Машей в Ясную Поляну (а Таня едет обрадовать маму в Москву). Под «Отчётом об употреблении пожертвованных денег с 20 июля 1892 г. по 1 января 1893 г.» стоит дата 20 февраля, но основная работа над ним продолжилась на самом деле уже в Ясной Поляне, именно с 21 февраля. «Соавтором» части отчёта — той, что с бухгалтерскими итогами и прочими цифрами — был верный Павел Иванович Бирюков. В этом отчёте Толстой и Бирюков между прочим сообщают:

«Дело наше в продолжение осени и зимы состояло, как и прежде, главным образом в помощи нуждающимся посредством столовых, детских кормёжных, дешёвой продажи печёного хлеба и дешёвой продажи и даровой раздачи дров.

В упомянутые в прошлом отчёте 70 столовых, устроенных сначала только для безземельных, стали приниматься с начала зимы все нуждающиеся, и число столовых увеличилось до 106, число же едоков до 3000.

[...] Во всех деревнях продолжают для грудных детей тех семей, у которых нет коров, детские кормёжные. Количество детей, получающих в этих кормёжных молочную гречневую кашу, около 500. Пекарен устроено 4 [...].

Помощь в снабжении нуждающихся топливом состоит в том, что часть приобретённых нами дров продаётся по дешёвой цене, часть же раздаётся даром наиболее нуждающимся.

[...] Полученных нами пожертвований с теми небольшими обещанными нам взносами достанет только для того, чтобы довести до нового урожая действующие столовые и детские кормёжные. В случае же поступления новых пожертвований мы открыли бы новые столовые и кормёжные в деревнях, которые в них очень нуждаются и давно о том просят» (29, 170, 172).

Не столько для лучшей организации всего этого, сколько для вдохновения своих усталых помощников и требовалось Толстому приезжать в Бегичевку — как ни отрицала эту необходимость семейно-эгоистичная Софья Андреевна. Отчасти и для неё в черновики отчёта Толстой (уже без помощи П. И. Бирюкова) включил изъятие, к сожалению, позднее из окончательного текста свидетельства отчаянного положения народа-кормильца в условиях затянувшихся голода и эпидемий, а кроме того — в условиях слепоты и чёрствости кормимых им обитателей городов, которые выражали фарисейский аргумент о том, что-де “даровая” помощь поощряет народные лень и пьянство:

«Люди и скот действительно умирают. Но они не корчатся на площадях в трагических судорогах, а тихо, с слабым стоном болят и умирают по избам и дворам. Умирают дети, старики и старухи, умирают слабые больные. И потому обеднение и даже полное разорение крестьян совершалось и совершается за эти последние два года с поразительной быстротой. На наших глазах происходит непрерывающийся процесс обеднения богатых, обнищание бедных и уничтожение нищих.

[...] В нравственном же отношении происходит упадок духа и развитие всех худших свойств человека: воровство, злоба, зависть, попрошайничество и раздражение, поддерживаемое в особенности мерами, запрещающими переселение.

[...] Здоровые слабеют, слабые, особенно старики, дети преждевременно в нужде мучительно умирают.

И тут-то при этих условиях говорят и пишут о том, что даровая помощь, пища, приобретаемые не работой, развращают людей.

...Боже мой, как мы строги: народ развратится, если мы не дадим умереть всем старым и слабым с голоду, даром кормя их и затрачивая на это 3 копейки в день. Но если это так развращает получать пищу, не работая за неё, то как же должны быть развращены те люди, которые, поколениями не работая, получали и получают пищу, и не в 3 копейки в день на человека. И неужели уже так опасно то, что народ, целыми поколениями трудившийся на других в тех местах, где он страдает и мрёт, получит раз в 300 лет помощь от тех, которые вскормлены им?» (см.: Там же. С. 354 – 355).

К 21 февраля относятся *встречные* письма супругов, из которых первым мы приведем письмо С. А. Толстой в его основной части:

«Приехала благополучно Таня, мы ей все очень обрадовались, только она не такая беленькая и свеженькая, как поехала. Бегичевский серый, зловещий оттенок непременно ляжет на всяком, кто там побывает. Боюсь за вас двух теперь больше, тем более, что Маша кашляет, и у ней сильный насморк. Застудить грипп всегда дурно; я три недели промучилась потому, что тогда простудила насморк. Теперь мы все здоровы были всё время, слава богу. У меня только иногда болит ещё правая сторона головы и правая рука выше локтя, до плеча; это осталось.

Таня кое-что рассказывала, но мало. Понемногу всё узнаем. Сейчас был Дунаев, пошлёт вам завтра деньги в Ясенки. Лёве как будто лучше, но он всё мечется, не знает, на что решиться; хочется ему купить Дубны, но и не особенно ему нравится это имение. Я думаю, на всё судьба, и теперь уже predetermined, где ему жить. Я ничего не советую ему, боюсь вмешиваться в дела судьбы.

Всё-таки хорошо, что вы опять в Ясной; ближе, спокойнее о вас думать и сообщение легче. Слава богу, что с Бегичевкой покончили.

[...] Ну, прощайте, Лёвочка и Маша, ещё много корректур, а час ночи. Целую вас обоих. [...]

С. Толстая. [...]» (ПСТ. С. 564).

Но с Бегичевкой было ещё совсем даже не «покончено». Толстой в письме того же дня (отправленном традиционно, «с оказией») намекает на это жене достаточно осторожно:

«Таня, живая грамота, надеюсь, приехала благополучно и всё тебе про нас рассказала, милый друг, а я вот в тот же день вечером пишу с Иваном Цингером, который нынче приехал и нынче же в ночь едет. Он бросит это письмо в ящик. Мой кашель прошёл, и я совсем здоров, а Маша всё кашляет, и я её никуда не пушу, пока не пройдет. Все кашляли и Марья Кирилловна <Кузнецова>. Нынче я очень много занимался утром и устал, а вечером ещё исправлял и добавлял Павла Ивановича отчет. И кончил, прибавив немного. Но боюсь, не пропустят. Кроме того, побывав там и пища отчет, я почувствовал, что здесь далеко не так нужна помощь, как там. Здесь первый год и есть заработки. И потому, поговорив с Тулубьевым, которому я дал знать, я постараюсь здесь, если нет вопиющей надобности, о чём я

и ещё узнаю здесь, ничего не делать или ограничиться самой ничтожной помощью. Если расширять помощь, то там. Поэтому мы очень скоро приедем. Хочется всех вас видеть и Лёву, который с вами.

Л. Т.» (84, 187).

На это, от 21 февраля, письмо супруга Софья Андреевна отвечала 23 февраля следующим, писанным, судя по зачину, в заметно худшем прежнего, раздражённом настроении:

«Милые Лёвочка и Маша, получила от вас сегодня два письма, и совестно мне стало, что я написала вам только одно в Ясную. Но я уверена, что *вы* о нас не беспокоитесь. Вот вы все простудились, одна Таня приехала, слава богу, здоровая, да и та посерела немного.

[...] Лёва меняет планы всякий день, но вас теперь хочет дожидаться в Москве. Пока положительного он сделал то, что переплёл довольно успешно книгу и очень этим гордится. На нездоровье опять жалуется.

[...] Все с тоской ждут холеры; к стыду моему и у меня какая-то явилась тоска и безнадёжность. Все эти ожидания холеры теперь ещё соединены со слухами о голоде. В Патровке и Гавриловке прямо мрут от голода, пишет управляющий, и помощи ни откуда никакой — буквально. Везде разговоры о покорности народа судьбе, что просто решили умирать. Да и что же им делать? Всё это так и томит душу.

Не простудись, милая Маша, не мочи ног; я рада, что вы в Ясной и наполовину успокоились. [...]

Меня беспокоит, милая Маша, что если вы уедете без Ивана Александровича, то плохо всё уберёте и запрёте. Пожалуйста, чтоб в доме *никто* не оставался, а то Таня говорила, что <толстовец> Попов хотел две недели жить там один. Я на это *совсем не согласна*. Может жить в конторе, если для папá это необходимо. Во-первых, слишком дрова дороги, да ещё пожар сделают, а во-вторых, что бы в доме ни пропало, все люди будут говорить: там Попов жил, может кто и забрался, всё отперто было и т. д. — Вот вам и неприятно, но что же делать! Кому-нибудь и порядок надо блюсти. Прилип этот Попов безнадёжно, а я всегда не любила, и теперь уж не люблю всякое вторжение чужих в семейную нашу жизнь. Целую вас и жду с радостью.

С. Т.» (ПСТ. С. 565 – 566).

Для завершения такого большого и трудноуправляемого дела, как помощь крестьянам, нужна была ещё, как минимум, одна поездка в Бегичевку. Но как сообщить об этом жене, ожидавшей всенепременного, скорого и окончательного воссоединения семейства — причём именно в Москве? По счастью, деловые переговоры и поездка в Тулу 23 февраля убедила Льва Николаевича, что немедленного его возвращения в Бегичевку не требуется, и он может наконец с лёгким сердцем обрадовать жену:

«Сейчас приехал из Тулы, куда ездил нынче утром после обычных занятий. [...] Вчера был земский начальник Тулубьев, и мы решили ничего здесь не предпринимать. Только съезжу для очищения совести в Щёкино послезавтра; а завтра, если буду жив и здоров и погода хорошая, съезжу к Булыгину. В Туле всё очень удачно и скоро сделал: добыл 40 свидетельств, и Львов обещал выписать дрова. Поэтому пошлите ему 700 рублей. Исполнил и разные дела у Давыдова и Зиновьева. [...] Приедем в субботу <27-го>, если всё будет благополучно. [...] Целую тебя и детей. До свиданья. Погода чудная, и мы здоровы. А. Т.» (84, 188).

27 февраля Толстой приехал («вернулся», как наставляет в мемуарах Софья Андреевна) в московский дом своей семьи, где бесконечная, под влиянием страхов и дурных ожиданий, суэта жены и нерастойные, дополнительно обременяющие отца и мать, развлечения детей — всё так же служили иллюстрацией меткого замечания умнейшего Шарля Рише о нехватке времени для счастья. Сам Толстой в Ясной Поляне, как мы видели — был и в хлопотах, и в трудах, пища упомянутый выше «Отчёт» и, уже в самом завершении, трактат «Царство Божие внутри вас», но был неоднократно и счастлив, являя совсем иную иллюстрацию: портрет гармонического человека, живущего так, как не стыдно посоветовать жить всем и каждому!

10.2. ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ТРЕВОЖНОГО ЛЕТА (11 – 19 июля 1893 г.)

Внешне-биографическая канва периода, хронологически разделяющего две поездки Л. Н. Толстого по делам голодающих в 1893 году,

достаточно небогата. В неё вошли: завершение и окончательное исправление Толстым «Отчёта об употреблении пожертвованных денег с 20 июля 1892 г. по 1 января 1893 г.»; завершение писанием к 13 мая огромного, стоившего Толстому двух лет напряжённого труда, трактата «Царство Божие внутри вас, или Христианство не как мистическое учение, а как новое жизнепонимание»; написание в 1-й полов. июня статьи «Неделание», а в Дневнике под 24 июня — чернового варианта «Требований любви», обдумывания и пробы ряда других творческих замыслов (рассказ «Кто прав?», статьи по искусству и др.).

21 – 29 мая состоялась не длительная, но достаточно значительная по полученным Л. Н. Толстым впечатлениям «организационная» его поездка с дочерью Таней в Бегичевку. Толстой объезжает голодающие деревни, делает нужные распоряжения своим помощникам... но тяжёлыми впечатлениями делится в письмах 23 и 24 мая не с Соней, а с детьми, Львом-младшим и Машенькой.

Вот письмо Льву и Маше с дороги, из вагона Сызранско-Вяземской железной дороги, по пути из Елифани до Клёкоток:

«Мы едем с Таней и сейчас в другом вагоне только увидели Финогена <слуга в доме Раевских. – Р. А.>. Всё у нас не дурно. [...] Денег у нас оказалось всех тысяч 6. Надо их разместить и поскорее окончить всё это тяжёлое неясное дело. На-днях был Линденберг, который совсем уезжает, и Сопоцько, который хорошо и один трудится. Там никого нет, и нам и так было необходимо ехать» (66, 339).

Важный мотив письма — разочарование в сектантах меннонитах, с которыми была у Толстого встреча и беседа в пути: «Они закованные и не лучше православных» (*Там же*). Как свойственно Толстому было идеализировать «народ вообще», и практический опыт голодной эпопеи внёс в это незаслуженное отношение важные и справедливые коррективы, так и «сектантство вообще», со времён «В чём моя вера?» противопоставлявшееся Толстым, как «живые», развивающиеся учения «мёртвой догме» церковников — разочаровало в этом плане Толстого, переставшего и в этом вопросе быть усадебным, кабинетным идеалистом.

На следующий по приезде день, 22 мая, Толстой окунается в майский рай возлюбленной родной природы, записывая некоторые впечатления в Дневнике: «Только пробился лист на берёзах и от тёплого ветра пошла по нём весёлая рябь. — Вечер, смеркается после грозы.

Лошади только пущены, жадно сгрызают траву, помахивая хвостами» (52, 80). Но в этот прекрасный день Толстой посещает самую бедственную из окрестных деревень — Татищево (Данковского уезда Рязанской губ.), в которой была эпидемия голодного тифа: «Бедность ужасна. Ужасен контраст. Ходил по тифозным и к стыду — жутко» (Там же. С. 79).

О том же посещении бедствующего села, в числе прочего — во втором письме к Маше и Лёве, 24 мая:

«Здесь я вчера ездил в Козловку <деревня Ефремовского уезда Тульской губ., близ границы с Данковским уездом Рязанской губ. — *Ред.*>, где всё очень хорошо. Сопоцько с Гардеичем оживлённо, бодро, разумно и просто действуют. Я видел только их и их счета, а не видел народа. Но 3-го дня был долго в Татищеве. Там очень серьёзное получил впечатление: совестно стало, что не сам делаешь это дело, какое оно ни есть, пока оно делается. Больных 19 человек в тифе без призору, как всегда в нечистоте, полуголодные, и 6 человек умерло в продолжение меньше месяца. У Ерофея вся крыша сожжена, но старик и сироты одеты и чисты. Дети заморенные грудные. У Королькова (помнишь, попрошайка) умерла жена 3-го дня, остался 7-недельный мальчик, и я знаю, и все знают, что он умрёт.

Всё больше и больше страдаю от лжи этой жизни и верю в её изменение» (66, 342).

Посетив с 23 по 26 мая несколько “проблемных” деревень (Дневник, 27 мая: «Был в Козловке, в Софьинке, в Бароновке»), вечером 26-го Толстой возвращается в Ясную Поляну.

Вероятно, сама необходимость этой его поездки и пребывание в опасном для здоровья месте снова не оказались в эти дни предметом взаимопонимания супругов. И не только это. Софья Андреевна ворчит в мемуарах о том, что:

«Тотчас же пришлось выслать туда 1000 рублей для непосредственных нужд населения». При том, что и своих забот и расходов в семье было предостаточно: «В Ясной Поляне я жила тогда с меньшими детьми, которые все были больны. Два крупных дела отнимали у меня много времени: и окончание семейного раздела, и печатание Полного собрания сочинений. И то, и другое сердило и раздражало Льва Николаевича. Он хотел бы и землю, и сочинения отдать: первое — крестьянам, второе — на общую пользу, то есть отказаться от

своих прав. Имея в то время 9 человек живых детей, я, конечно, протестовала, и муж мой временами ненавидел меня за это и всё ждал от меня перемены» (*МЖ – 2. С. 318*).

В этих строчках — скупое свидетельство, как можно полагать, многодневного конфликта, в подробностях скрытого от биографов обоими супругами, от которого “бежал” ненадолго в Бегичевку Лев Николаевич. К этим конфликтным отношениям, очевидно, относится и суждение в записной книжке Толстого под 17 мая 1893 года: «Что мне дал брак? Ничего. А страданий много» (52, 231). 23-го мая эта же мысль, но более осторожно, повторяется в его Дневнике, рядом с таким суждением: «Много грешишь тем, что некоторых людей, чаще всего самых близких, с которыми всегда, считаешь неизлечимыми и никогда уж не говоришь им того, что считаешь истиной» (52, 79).

Конечно же, это о «грехе» с женой. Ослабел, но не оставил пока Льва Николаевича и иной, куда более старый грех: половая похоть. Вернувшись 26 мая в Ясную Поляну, Толстой, по воспоминаниям жены, в первую же ночь «взял всё, что мог от этой дешёвой любви» (т. е. «постельной»), а днём записал в Дневнике: «Спал дурно. Конца не будет. Надо работать в сознании» (*Там же. С. 80*). Пиша свои воспоминания в начале 1910-го, то есть через много лет после того, как муж её всё-таки «освободился» (что, кстати сказать, отнюдь не вызвало её радости), Софья Андреевна, вёдливо искавшая в Дневнике мужа всяческий «компромат», обратила внимание на такое суждение, записанное Львом Николаевичем в тот же день: «Как только человек немного освободится от грехов похоти, так тотчас же он отступает и попадает в худшую яму славы людской» (*Там же. С. 82*). На основе этой мысли о связи двух самых “цепких” для множества людей грехов и необходимости бороться с обоими, она развивает в мемуарах «Моя жизнь» целую концепцию, к тому же подаваемую в тоне и формате индивидуального «обличения»:

«...Жил Лев Николаевич всю свою жизнь двумя сильными двигателями своей страстной природы: похотью и славой. Сознывая это, он горячо боролся и хотел, но никогда не мог их побороть. Первое — похоть — отпало благодаря старости; второе — славолубие — осталось навсегда. Плоды же борьбы породили высокое духовное настроение, которое и останется, вероятно, до конца дней Льва Николаевича и которое придало такую духовную красоту его облику и имеет такое влияние на людей» (*МЖ – 2. С. 319*).

Такое суждение, примитивизирующее мотивы христианского исповедничества Толстого, даже не следует и не стоит опровергать. Оно очевидно нелепо, и служит в мемуарах “подкреплением” следу-

ющей лжи Софьи Толстой: о том, что-де Толстой намеренно вожделем и стяжал и в творчестве, и в благотворительной деятельности «любовь людей и славу» (*Там же. С. 320*). Надеемся, наша книга убедительно доказывает совершенно иное! Для нас же этот эпизод нужен как свидетельство глубины непонимания, разделившего супругов уже в начале 1890-х и не уничтоженного ими до конца.

Не лучше ситуация была и с пониманием женой мотивов и результатов текущего благотворительного предприятия Льва Николаевича. Безусловно, Толстой устал от всего, что было связано с Бегичевкой — серьёзно “выгорел” психологически. При этом, однако, не только довёл дело до конца, но не изменил, приобретя тяжёлый и многоценный опыт, изначальной своей установке, которую, как мы видели, не сразу уразумел Н. С. Лесков и с которой, кажется, так и не “ужилась” Софья Андреевна: *важнее любить, чем кормить*. В Дневнике Толстого, после полугодового перерыва, появляется 5 мая 1893 г. запись: «Равнодушие к пошлomu делу помощи и отвращение к лицемерию» (52, 77). Неверно поняв эту мысль, Софья Андреевна, в связи с постоянной в мемуарах «Моя жизнь» темой недостаточного или дурного влияния отца-Толстого на детей, заключает, что сын её Сергей «отрицал, как и его отец, деятельность помощи голодающим», когда в письме к матери от 20 мая 1893 г. рассуждал таким образом:

«Благотворительная деятельность — самое скучное и неприятное дело, поселяет только дурные чувства в народе: зависть, бездеятельность и расчёт на постороннюю помощь откуда-то: из казны, от богатых людей, от zemства...» (*Цит. по: МЖ – 2. С. 317*).

Мы видим, однако, из этого отрывка, что образ мыслей сына Толстого был ближе к тому, который осудил Толстой («помощь вредна, она развращает крестьян»), нежели к пониманию самим Львом Николаевичем того, что есть благотворение, делание добра — именно деятельность, при которой главным условием являются жертвенная любовь и личный труд помогающих (идеал, выраженный Толстым как раз в упомянутом выше черновике 24 июня, в «Требованиях любви») и бережение человеческого достоинства всякого человека.

Из такой-то атмосферы непонимания, враждования семейственно близких ему людей — не с ним, но с Истиной Бога и Христа — Толстой выехал 11 июля в Бегичевку для завершения всего огромного предприятия своего, исторического и святого христианского в миру служения в общечеловеческом деле помощи бедствовавшим русским крестьянам. Доехав до места, то есть Бегичевки, Толстой в первые два дня “берёт штурмом” необходимые для разрешения проблемы и

текущие дела. Осторожно, без негативных подробностей или критических суждений, он сообщает о них в письме к жене от 13-го июля:

«Таня верно писала про наш приезд. Вчера, 12-го, я ездил в Андреевку к Сопощко, свёз ему деньги, 300 рублей, и распорядился о дровах, которые у нас все вышли. Юсуповы желают пожертвовать 500 рублей на наши столовые; управляющий их должен привезти мне деньги. <Жертвователями были светлейший князь Феликс Феликсович Юсупов и его супруга Зинаида Николаевна. — Р. А.> Нынче, 13-го, я собирался пойти к Шарапову <Николай Николаевич Шарапов, брат Павлы Николаевны Шараповой, буд. жены П. И. Бирюкова. — Р. А.>, в Татищево, которого я видел вместе с его старшей сестрой <Анной>, которая здесь, приехав из Женевы, но вечером пошёл страшный ливень (у Мордвиновых даже град, который выбил хлеб), который продолжался до самой ночи. Приехала Павла Николаевна за деньгами. Всё дошло и всё нужно скорее закупать. По утрам я переправлял свою и русскую [и] французскую статью. <Т. е. статью «Неделание», для которой сам Толстой готовил франц. перевод. — Р. А.> Хозяева очень милы. Здоровье наше хорошо. Целую тебя и детей. Кузминские также. Завтра пойду в Татищево и окольные деревни. Есть письмо от <Н. Н.> Страхова, который пишет, что в августе заедет. Я напишу ему, приглашая» (Там же. С. 189 – 190).

Если бы мог надеяться на сочувствие и понимание, Толстой написал бы ей, разумеется, значительно больше. Для примера, в письме к Н. Н. Страхову того же 13 июля есть такие пронзительные строки:

«Здесь мы кончаем наше глупое дело, продолжавшееся два года, и, как всегда, делая это дело, становишься грустен и приходишь в недоумение, как могут люди нашего круга жить спокойно, зная, что они погубили и догубляют целый народ, высосав из него всё, что можно, и досасывая теперь последнее, рассуждать о Боге, добре, справедливости, науке, искусстве. [...] Хочется теперь написать о положении народа, свести итоги того, что открыл[и] эти два года» (66, 367).

По этой же причине у Толстого «не шло» столь желанное Софье Андреевне «безвредное» художественное писание: он осознал себя не только исповедником Христа, но и защитником народа, о котором ему теперь желалось писать документально, не выдумывая образы несуществующих в реальной жизни людей.

К 14 июля относится единственное за эту поездку письмо С. А. Толстой из Ясной Поляны к мужу в Бегичевку. Если не считать приписки о плохом сне, письмо всё хорошее, спокойное, *утреннее*:

«Посылаю свой отчёт, милый Лёвочка. У меня что-то, да не то, выходит недочёт. Я столько раз давала свои деньги, что верно этим и запутала. Получено ещё письмо от Лёвы. Жалуется, что всё худ, весу не прибавил ни одного фунта, хочет ещё остаться; но письмо вообще грустное, и везде проглядывает страстное желание быть здоровым.

[...] Маша была у Марьи Александровны <Шмидт>, а Андрюша с учителями ездил на Козловку, и вот привёз Павла Ивановича <Бирюкова>. [...]

О твоей французской статье «Неделание»; в франц. переводе «*Le non agir*» всё ничего неизвестно. Знает ли Villot <переводчик. – Р. А.> наш козловский адрес? — Как-то вы там живёте и действуете? Я рада, что Поша приехал; дела пойдут успешнее. Целую тебя и Таню, поклонись от меня Елене Павловне.

С. Толстая.

Видела во сне, что умерла Таня, и её везут в телеге женщины, и она завёрнута рогожами. Ужас просто, проснулась точно вся сильно больная, так билось сердце и рыданья в горле» (ПСТ. С. 567 – 568).

Начав переводить новую свою статью «Неделание» самостоятельно, Толстой скоро сдал перевод наёмному в Петербурге переводчику-французу G. Villot. Это было связано с общим разочарованием его в статье и (оправдавшимся, к несчастью) ожиданием того, что она всё равно не будет понята читателями, а большинством — даже не замечена. Месье Villot вскоре, как положено, отправил свой перевод Толстому для согласования и правок.

Практическое дело помощи народу вышло в эти дни для Льва Николаевича снова на передний план. Вот письмо его к жене от 15 июля (уже по получении письма жены от 13-го, доставленного, вместе с прочей корреспонденцией, Павлом Бирюковым):

«Сейчас приехал Павел Иванович и <я> получил ваши письма. Сейчас 4 часа, четверг. Таня ездила и ходила в Софьинку, я сидел дома, переправляя свою французскую статью, сейчас поеду в Прудки, Пеньки и оттуда заеду к Философовым, к которым все собираются и которые вчера были у нас.

Поразительно письмо Попова и Черткова о Дрожжине. Не будет таких людей, никогда узел не развяжется, а когда есть эти люди, становится страшно, особенно за мучителей.

Вчера в Татищеве получил мучительное впечатление. Нет хуже деревни. Обступили заморыши, старые и молодые, и, главное, дети в чепчиках, измождённые, улыбающиеся. Особенно одна двойнишка. Мы устроили с старшей Шарাপовой доставать им молока, кроме детских. Это необходимо при повальных теперь детских поносах. Ещё пристроил на год бездомных. И так изведу все деньги. Ещё не достаёт. Спасибо за письма Маше, целую. Марье Александровне и всем поклон.

Л. Т.» (84, 190).

К заботе о крестьянах добавилась в эти дни для Льва Николаевича ещё одна: об отказавшемся от военной службы и заключённом в камере Воронежского дисциплинарного батальона бывшем сельском учителе, единомышленнике Льва Николаевича во Христе, Евдокиме Никитиче Дрожжине (1866 – 1894). Благодаря В. Г. Черткову, имевшему в Воронежском “штрафбате” надёжного знакомого и помощника, Толстой установил контакт с Евдокимом Никитичем и успел, через Черткова, морально поддержать его. Однако все хлопоты об освобождении Дрожжина, приговорённого к тюремным мучениям аж до 1903 года, не увенчались успехом: в следующем, 1894-м году ему суждено погибнуть от туберкулёза и воспаления лёгких. Другой, упомянутый в вышеприведённом письме Толстого, его помощник в связях с учителем-мучеником, толстовец Е. И. Попов, написал житие воронежского мученика, опубликованное в 1895 году в бесцензурном издании в Берлине.

В приведённом выше и в следующем, завершающем всю заключительную, Десятую Главу нашей книги, письме Л. Н. Толстого к жене от 17 июля фигурируют иные мученики нехристианского устройства русской жизни: *дети*. В обоих письмах это — голодные и больные «заморыши», а в письме от 17-го, обратим внимание: «жалкие заморыши». «Жалкий», «жалкие» — это возлюбленный Софьей Андреевной эпитет, которым она и в письмах мужу, и в своих дневнике и мемуарах щедро “одевает” всех, кто живёт не по её представлениям о жизни и тем приводит себя и окружающих в затруднительное положение: это, кстати, и сам Толстой, и его христианские единомышленники. Это часто и дети Софьи Андреевны — в особенности близкая отцу и не любимая матерью Мария Львовна. Непосредственно

же в эти дни у Сонички «жалок» сын Лев, надорвавший, как мы помним, своё здоровье в «поединке благотворительности» с отцом. Можно заключить, что в своих письмах Толстой осторожно намекает жене, указывает на то, каково может быть *истинно жалкое* положение людей, и кого, а не барских да дворянских деток, истинно нужно жалеть.

Приводим основной текст этого, завершающего всю бегичевскую эпистолярную эпопею, толстовского письма 17 июля.

«Вот и прошли наши десять дней. Остаётся 2 дня. И я не видал, как прошли: утром пишу, поправляю по-русски и французски статью о Золя и Дюма <т. е. статью «Неделание»>, а вечером езжу. Вчера только не успел, — помешали гости; Самарин снимал фотографии, и я ему прочёл статью, потом приехали: <Евгения Павловна> Писарева, Долгорукая Лидия, <её сестра Александра> Бобринская. Я поехал, было, на Осиновую Гору, это 13 вёрст, но не доехал, вернулся. Нынче — тоже. Очень жарко. Я даже не купаюсь, а то прилив к голове. Вечером ездил верхом в Осиновую Гору и Прудки Осиновые. Везде нужно и для народа, насилу доживающего до нови, и для жалких заморышей детей. Денег казалось много, а не только все разместятся — чуть достанут. Хозяева очень милы. [...]

Радуюсь вернуться, хотя и здесь было хорошо. Целую тебя и всех наших. [...]

Больше указанных нами намёков Толстой ничего не мог сообщить жене о своих мыслях и чувствах, бережа её здоровье и покой. 20 июля он — молчаливый, серьёзный — воротился в Ясную Поляну. Более он браться за дела голодающих не планировал, тем более что, как отмечает в биографии многолетнего друга бегичевский его соратник Павел Бирюков, «урожай ожидался средний, была надежда на поправку крестьянского хозяйства» (*Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого. Указ. изд. Том третий. С. 209*).

Свой опыт и выводы из него, вполне сопряжённые с первоначальной христианской этической установкой, выраженной в письме Н. С. Лескову, с анализа которого мы начинали нашу книгу — он доверил только духовно близким людям и бумаге. 17 октября датирован последний «Отчёт об употреблении пожертвованных денег с 1 января 1893 г.», написанный Львом Николаевичем, как и предшествовавший ему, в соавторстве с П. И. Бирюковым (*см.: 29, 202 – 204*). С сухими цифрами и перечислениями, составившими его основу (и «чёрную» работу П. И. Бирюкова), контрастируют завершающие

«Отчёт» живые, эмоциональные строки, приписанные, конечно же, самим Толстым:

«В течение этого года нам пришлось быть свидетелями многих страданий и горя. И опыт нашей деятельности убедил нас более чем когда-либо в том, что нужда и страдания людей происходят не столько от неблагоприятных климатических условий, сколько от отсутствия в людях братской любви. И отсутствие это нельзя заполнить никакими крупными пожертвованиями. Слова “Милости хочу, а не жертвы” остаются всё той же вечной божественной истиной и заставляют чуткого человека сильнее вдумываться и глубже искать причины общественных зол» *(Там же. С. 202).*

Здесь Конец Десятой Главы



Прибавление.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ПОСЛЕДНЕМУ ОТЧЕТУ О ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ

Двухлетнее занятие наше распределением между нуждающимся населением шедших через наши руки пожертвований больше, чем что-либо другое, подтвердило наше давнишнее убеждение в том, что главная доля той нужды, лишений и соединённых с ними страданий и горя, которым мы почти тщетно старались внешним образом противодействовать в одном маленьком уголке России, произошла не от каких-либо исключительных, временных, не зависящих от нас, а от самых общих, постоянных и вполне зависящих от нас причин, заключающихся только в антихристианском, не братском отношении нас, людей образованных, к бедным, чернорабочим, несущим всегда

ту нужду и лишения и связанные с ними страдания и горести, которые только были более, чем обыкновенно, замечены нами в эти последние два года. Если мы в нынешнем году можем не услышать про нужду, холод и голод, вымирание замученных работой взрослых и недоедающих старых и малых сотен тысяч людей, то это произойдет не от того, что этого не будет, но от того, что мы не будем видеть этого, будем забывать про это, будем уверять себя, что этого нет, а если и есть, то это так и должно быть и не может быть иначе.

Но это неправда: этого не только может не быть, но этого не должно быть, и этого не будет; и скоро не будет.

Как ни кажется нам хорошо спрятанной наша вина перед рабочим народом, — как ни искусны, давнишни и общеприняты те отговорки, которыми мы оправдываем свою роскошную жизнь среди замученного работой и недоедающего и служащего этой нашей роскоши рабочего народа, — свет всё более и более проникает эти наши отношения к народу, и мы уже скоро окажемся в том постыдном и опасном положении, в котором находится преступник, когда неожиданный им рассвет застигает его на месте преступления. Ведь если можно было прежде говорить купцу, сбывавшему рабочему народу ненужный, а часто вредный и негодный товар, стараясь взять как можно больше, или даже хороший и нужный рабочему хлеб, но купленный по дешёвым и продаваемый по дорогим ценам, — что он честной торговлей служит нуждам народа; или фабриканту ситцев, зеркал, папирос, или заводчику спирта или пива — говорить, что он кормит народ, давая ему заработок; или чиновнику, получающему тысячи жалованья, собираемого из последних грошей народа, — уверять себя, что он служит для блага этого народа, или — что в эти последние года было особенно очевидно в местах, постигнутых голодом, — если можно было прежде землевладельцу, за бесценок, меньше, чем за хлеб, обрабатывающему свою землю голодными крестьянами, или отдающему эту землю тем же крестьянам за доведенную до последней высоты цену, — говорить, что он, вводя усовершенствованное земледелие, содействует благоденствию сельского населения, — то теперь, когда народ умирает с голода от недостатка земли среди огромных полей помещиков, засаженных картофелем, продаваемым на спирт или для крахмала, уже нельзя говорить этого. Нельзя уже теперь среди этого вырождающегося от недостатка пищи и излишка работы, со всех сторон окружающего нас народа, не видеть того, что всякое поглощение нами произведений работы

народа, с одной стороны, лишает его того, что ему необходимо для его питания, с другой увеличивает его и так уже доведённую до последней степени напряжённость работы. Не говоря уже о безумной роскоши парков, цветников, охот, — всякая поглощённая рюмка водки, всякий кусок сахара, масла, мяса есть с одной стороны столько-то отнятой пищи от народа и столько-то прибавленного ему труда.

Мы, русские, находимся в этом отношении в самых выгодных условиях для того, чтобы ясно видеть наше положение.

Помню, как раз, гораздо прежде голодных лет посетивший меня в деревне молодой, нравственно чуткий, пражский учёный, выйдя зимой из избы сравнительно зажиточного мужика, в которую мы входили, и в которой, как и везде, была замученная работою, преждевременно состаревшаяся женщина в лохмотьях, накричавший себе грыжу больной ребёнок и, как всегда к весне, привязанный телёнок и объягнившаяся овца, и грязь и сырость, и заражённый воздух, и унылый, придавленный жизнью хозяин, — помню, как, выйдя оттуда, мой молодой знакомый начал мне говорить что-то, и вдруг голос его оборвался, и он заплакал. Он в первый раз после нескольких месяцев, проведённых в Москве и Петербурге, где он, проходя по асфальтовым тротуарам мимо роскошных магазинов из одного богатого дома в другой, из одного роскошного музея и библиотеки, дворцов в другие такие же великолепные здания, — в первый раз увидел тех людей, на труде которых стоит вся эта роскошь, и его ужаснуло и поразило это. Ему, в своей богатой и грамотной Чехии, как всякому европейцу, в особенности шведу, швейцарцу, бельгийцу, можно думать, хотя он и будет неправ, что там, где есть относительная свобода, где распространено образование, где каждому дана возможность вступить в ряды образованных, — что роскошь есть только законная награда труда и не губит чужие жизни. Можно забыть как-нибудь про те поколения людей, в копиях того угля, на котором сделана большая часть предметов его роскоши, можно забыть, не видя их, тех другой породы людей, которые в колониях вымирают, работая на наши прихоти; но нам, русским, никак нельзя думать так: связь нашей роскоши с страданиями и лишениями людей одной породы с нами народа, — слишком очевидна. Мы не можем не видеть той цены прямо человеческой жизни, которой покупаются у нас наши удобства и роскошь.

Для нас солнце уже взошло, и скрывать очевидное уже нельзя. Нельзя уже прятаться за правительство, за необходимость управлять народом, за науки, искусства, необходимые будто бы для народа, за священные права собственности, за необходимость поддерживать предания и т. п. Солнце взошло, и все эти прозрачные покровы ничего уже ни от кого не скрывают. Все видят и знают, что люди, которые служат правительству, делают это не для блага народа, который не просит их об этом, а только потому, что им нужно жалованье; и что люди, занимающиеся науками и искусствами, занимаются ими не для просвещения народа, а для гонорара и пенсии; и люди, удерживающие от народа землю и возвышающие на неё цены, делают это не для поддержания каких-либо священных прав, а для увеличения своего дохода, нужного им для удовлетворения своих прихотей. Скрываться и лгать уже нельзя.

Перед правящими, богатыми, нерабочими классами только два выхода: один — отречься не только от христианства в его истинном значении, но от всякого подобия его, — отречься от человечности, от справедливости и сказать: я владею этими выгодами и преимуществами и, во что бы то ни стало, удержу их. Кто хочет их отнять у меня, тот будет иметь дело со мной. У меня сила в моих руках: солдаты, виселицы, тюрьмы, кнуты и казни.

Другой выход — в том, чтобы признать свою неправду, перестать лгать, покаяться и не на словах, не грошами, теми самыми, которые с страданиями и болью отняты у народа, прийти на помощь к нему, как это делалось эти два последние года, а в том, чтобы сломать ту искусственную преграду, которая стоит между нами и рабочими людьми, не на словах, а на деле признать их своими братьями, и для этого изменить свою жизнь, отказаться от тех выгод и преимуществ, которые мы имеем, а отказавшись от них, встать в равные условия с народом, и с ним уже вместе достигнуть тех благ управления, науки, цивилизации, которые мы теперь извне, и не спрашиваясь его воли, будто бы хотим передать ему.

Мы стоим на распутьи, и выбор неизбежен.

Первый выход означает обречение себя на постоянную ложь, на постоянный страх того, что ложь эта будет открыта, и всё-таки сознание того, что неминуемо рано или поздно мы лишимся того положения, которого мы так упорно держимся.

Второй выход означает добровольное признание и проведение в жизни того, что мы сами исповедуем, чего требует наше сердце и

наш разум, и что рано или поздно, если не нами, то другими будет исполнено, потому что только в этом отречении властвующих от своей власти — единственный возможный выход из тех мук, которыми болеет наше лже-христианское человечество. Выход только в отречении от ложного и в признании истинного христианства.

Л. Толстой.
28 октября 1893 года.





ИЗ 1898 ГОДА. Послестория

Только человек, сознающий себя духовным существом, может сознавать человеческое достоинство своё и других людей, и только такой человек не унизит ни себя, ни ближнего поступком или положением, недостойным человека.

(Л. Н. Толстой)

В 1898 г. в имперской буржуазной России вновь голодали её кормильцы. Конечно же, правительство и земства, не ударившие в грязь лицом и в 1891 году, в этот раз повели себя ещё значительно опытней и грамотнее, нежели в начале десятилетия. В фундаментальном труде своём «Наши неурожайи и продовольственный вопрос» (Часть 1, 1909 г.) министр земледелия и государственных имуществ (1894 – 1905) николаевской России Алексей Сергеевич Ермолов «из первых уст», авторитетно повествует о ситуации того времени и о принятых правительством мерах:

«В 1897 году продовольственная нужда [...] обнаружилась в 7 губерниях европейской России, а именно в губерниях: Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Псковской, Тамбовской и Тульской.

[...] Причины недорода в разных местностях были различны. В некоторых из них засуха не дала возможности засеять озими с осени, в других замечалось сокращение посевов, вследствие недостатка у крестьян семян; в третьих озимые посевы частью погибли от неблагоприятных условий зимы и были весной перепаханы, частью пострадали, как и яровые хлеба, от летней засухи и от вредных насекомых. Бедствие, как и в другие неурожайные годы, усугублялось недостатком кормовых средств. Вообще, однако, характерною чертою урожая этого года была его крайняя пестрота. Не только в пределах одной и той же губернии или уезда, но на пространстве одной и той же волости и даже одного хозяйства, встречались полосы и десятины, которые не вернули семян или были скошены на корм скоту, тогда как другие дали удовлетворительный и даже хороший сбор. [...] В этом году, как и во всех предшествовавших и во всех последовавших неурожайных годах, было отмечено, что урожаи на владельческих землях были выше, чем на крестьянских. Лучшее удобрение, лучшая обработка и лучшие семена были тому причиной.

[...] По поручению Министерства внутренних дел, Министерство финансов в этом году закупило, в качестве его комиссионера, за счёт общеимперского капитала, хлеб для пострадавшего от неурожая населения... Было приобретено и распределено около 6 миллионов пудов, на отпущенную из общеимперского капитала сумму в 4 475 000 р.

[...] В губернии, наиболее пострадавшие от неурожая, — Воронежскую, Тамбовскую и Рязанскую, было признано необходимым командировать особых уполномоченных Общества <Красного Креста>.

[...] Всего израсходовано Обществом на помощь населению пяти губерний свыше 550 000 руб., в том числе на продовольственную помощь до 440 000 руб., на пособия погорельцам — 7 500 р., на покупку лошадей и рогатого скота 78 600 р. и на медицинскую и врачебно-питательную помощь до 25 000 рублей.

[...] В следующем 1898 году положение оказалось гораздо хуже, нежели в 1897 г., был довольно сильный неурожай, от которого пострадало 18 губерний...

Для борьбы с последствиями этого неурожая [...] из Государственного казначейства было ассигновано в этом году — 35 214 518 р. [...] Хлеб закупался в 12 губерниях пострадавшего от неурожая района преимущественно местными земскими управами, действовавшими в качестве контрагентов Министерства финансов, а также некоторыми уполномоченными им на то частными лицами. [...] Закуплено было всего хлеба 34 404 440 пудов, на отпущенную из имперского капитала сумму в 29 783 000 рублей» (Ермолов А. С. *Наши неурожаи и продовольственный вопрос*. СПб., 1909. Часть 1. С. 148 – 156).

Были снова, и грамотней, нежели в 1891 – 1892 гг. организованы лесозаготовительные и другие общественные работы, а кроме того разрешено крестьянам ограниченное пользование лесом в казённых дачах. За купленный же крестьянами лес была введена годовая отсрочка платежа. Столовые РОКК получали казённые дрова бесплатно. Уполномоченные РОКК координировали на местах деятельность своей структуры с деятельностью правительства и земств. В пострадавших губерниях «в разгар деятельности Красного Креста действовало 7 518 столовых, в которых кормилось до 1 500 000 человек. Паёк печёным хлебом, мукою и зерном получало 2 170 000 человек. Всего же продовольствием пользовалось 2 700 000 человек, преимущественно женщин, детей, стариков и немощных, в исключительных случаях кормились и работоспособные, но только временно, при отсутствии на местах заработков». Главной же болезнью этого голодного года стала цинга, на борьбу с которой Российский Красный крест командировывал санитарные отряды, открывавшие

на местах временные стационары, общим числом на 15 000 больных. Средств хватило бы и на большее: 3 миллиона рублей в кассу РОКК внёс император, а ещё 1 млн. 750 тыс. рублей поступило добровольными пожертвованиями (*Там же. С. 156 – 158*).

Имея, с одной стороны, опыт организации помощи в 1891 – 1893 гг. с другой же — в большей, нежели в те годы, степени боясь всплеска народных волнений, бунтов, царское правительство реагировало на любые алармистские настроения по поводу «недорода» и «пострадавших от неурожая» более нервно, чем в 1891 г. И всё же такие настроения не покидали Россию всё десятилетие 1890-х и усилились в связи с плохими урожаями в 1896, 1897 и 1898 гг.

Несмотря на огромную творческую занятость (только завершилась труднейшая, многолетняя работа писателя над трактатом «Что такое искусство?» и началась — над «Хаджи-Муратом» и драмой «Живой труп»), Толстому, которого “голодные” слухи в обществе задели и в этот раз, пришлось выступить, как и в 1891-м, с рядом практических инициатив, а также с новой статьёй на тему голода, в которой рассказал о ситуации в сёлах и деревнях известных ему уездов и ещё убеждённой повторил свои выводы о *коренных причинах* голода.

Произошло это при следующих обстоятельствах.

У Константина Сергеевича Станиславского, выдающегося театрального актёра, режиссёра и хорошего знакомого Льва Николаевича, автора первой, 1891 года, постановки на профессиональной сцене комедии Л. Н. Толстого «Плоды просвещения», была младшая сестра, так же актриса, *Зинаида Сергеевна Соколова* (1865 – 1950). Урождённая москвичка, из семьи богатых купцов, состоявших в родстве с С. И. Мамонтовым и братьями Третьяковыми, Зинаида Соколова окончила в 1892 г. педагогические курсы Д. И. Тихомирова в Москве. Вращаясь в интеллигентских кругах, Зинаида Сергеевна прониклась если не напрямую толстовством, то очень близкими и симпатичными Л. Н. Толстому настроениями «просвещённого» сочувствия к народу — но, в отличие от большинства, не остановилась на словесных симпатиях или подачках денежной «благотворительностью». Ещё до замужества, в голод 1891 – 1892 гг., она приобрела личный опыт заведывания столовыми. Выйдя замуж за хирурга Константина Константиновича Соколова, она переехала в 1894 г. в усадьбу близ села Никольское в Воронежской губ., приобретённую по рекомендации знаменитого из тамошних жителей, тоже кормильца крестьян в голодные годы, писателя Александра Ивановича Эртеля. Хозяйство молодым супругам помогал наладить добрый при-

ятель Эртеля с «голодных» лет, уже немало известный нашему читателю — Матвей Николаевич Чистяков. В Никольском Соколовы полностью погрузились в дела деревни. В имении строится амбулатория и К. К. Соколов работает в ней врачом. З. С. Соколова при содействии Эртеля с 1895 г. берётся за открытие школ для крестьян. Устраиваются мастерская, где обучают крестьян ремёслам, «кустарный пункт», где женщины занимаются художественной вышивкой. Летом 1895 г. началась театральная и литературно-музыкальная деятельность, родился Никольский театр, первый в России крестьянский театр.

9 апреля 1893 г. А. И. Эртель писал З. С. Соколовой о добровольно избранном ею образе жизни:

«Казалось бы, что из того, что вот вы, происходя из очень богатой семьи, не наряжаетесь, не носите бриллиантов, не ездите в карете, как это делают “богатые семьи”, а занимаетесь школой, фонарями, чтением, голодающими. Но на самом деле это-то и есть борьба, и далеко не бесплодная» ([https://ru.wikipedia.org/wiki/Соколова, Зинаида Сергеевна](https://ru.wikipedia.org/wiki/Соколова,_Зинаида_Сергеевна)).

Это было то самое трудовое и просвещённое единение с народом, к которому призывал Толстой современников в статье о переписи и со страниц трактата «Так что же нам делать?».



З. С. Соколова с супругом

Понятно, что удары неурожаем и обнищанием по столь опекаемым ею крестьянам «родной» губернии Зиночка Соколова восприняла как личную драму. В её воспоминаниях есть такие строки:

«Стараешься представить себе крестьянина без семян и лошади. [...] В голове зашевелились мысли, понеслись вихрем! Можем ли мы, имеем ли право рассуждать: нужно или не нужно помогать голодающим, что выйдет из этой помощи? Допустимо ли бездействовать? И отвечаю себе: нет! Мысленно перебираю разные доводы против помощи голодающим и опровергаю их.

Пусть опять будет засуха, и ко времени жатвы нивы опять покроются засохшими всходами с массой трещащих кузнечиков, пусть паровые поля опять станут пепельно-серыми, растрескавшимися, а трава на них выгорит и засохнет. Пускай природа сведёт на нет нашу помощь посевными семенами. Ну что же? Крестьян обманет природа, надежда на урожай, но мы-то не обманем, веру крестьянскую в братскую любовь, в сострадание не нарушим, а вера эта в переживаемый год крестьянам, пожалуй, нужна больше, чем большинству из нас!» (*Соколова З. С. Наша жизнь в Никольском. Деревенские записки / Цит. по: Эрдели Г. С. Предшество. Глазами писателей и очевидцев. Воронеж, 2012. С. 6).*

Эту мысль, и даже близкими словами, повторит А. Н. Толстой в сопроводительном письме к её, Зинаиды Соколовой письму, отсылая его на публикацию в газету, а более развёрнуто, в контексте давних своих упований на преодоление сословных рубежей — в статье «Голод или не голод?»

В голодные 1897 – 1898 гг. добрая учительница и кормилица народа не могла не знать, не видеть, сколь существенные меры предпринимают правительство, земства, Красный крест — но перед океаном затяжной на десятилетия народной нужды, снова лишь обострившейся в связи с неурожаем, разве можно было считать их достаточными? Дело ведь было не в цифрах, не в объёмах отправленного нуждающимся продовольствия, не в процентах охвата, а — в том нравственном значении, которое доброе дело имеет для делателей его, для исполнителей воли Бога, известной из евангелий, из учения Христа.

Начиная с осени 1897 г., Зинаида Сергеевна делится своими чувствами и замыслами с московской приятельницей, артисткой Малого театра Екатериной Павловной Полянской, не раз приезжавшей к Соколовым в Никольское для участия в организуемых ими спектаклях для крестьян. Письма свои Соколова просила подругу как-нибудь предать гласности, чтобы начать сбор пожертвований. Е. П. Полянская не нашла лучшего выхода, как переслать одно из писем З. С. Соколовой человеку, в деле сбора средств для помощи голодавшим крестьянам особенно знаменитому и успешному, безусловно авторитетному.

Увы! но им, конечно же, оказался Лев Николаевич Толстой.

Судя по записи в дневнике Софьи Андреевны Толстой, письмо её муж получил 22 января, и тогда же набросал черновик ответа, который, по убеждению Софьи Андреевны, «вряд ли напечатают» (*Толстая С.А. Дневники. М., 1978. Том первый. С. 344*).

Письмо Зинаиды Сергеевны, вместе со своим рекомендательным, Толстой переправил в «Русские ведомости», издавна дружественную некоторым умонастроениям Толстого газету, орган либеральной московской профессуры и земских деятелей, противостоявший консервативным «Московским ведомостям». Письмо Соколовой он снабдил собственным рекомендательным письмом, датированным 4 февраля 1898 г., такого содержания:

«Полагаю, что напечатание прилагаемого частного письма от лица, очевидно хорошо знающего крестьянство и верно описывающего его положение в своей местности, — было бы полезно. Положение крестьян в описываемой местности не составляет исключения: таково же, как мне хорошо известно, положение крестьян в некоторых местностях Козловского <уезда Тамбовской губ.>, Елецкого <Орловской губ.>, Новосильского, Чернского, Ефремовского <Тульской губ.>, Землянского, Нижнедевицкого <Воронежской губ.> и других уездов черноземной полосы. Лицо, писавшее письмо, и не думало о напечатании его и только по просьбе своих друзей согласилось на это.

Правда, что положение большинства нашего крестьянства таково, что очень трудно иногда бывает провести черту между тем, что можно назвать голодом, и нормальным состоянием, и что та помощь, которая особенно нужна в нынешнем году, была так же нужна, хотя и в меньшей степени, и в прошлом, и во всякое время; правда, что благотворительная помощь населению очень трудна, так как часто вызывает желание воспользоваться помощью и тех, которые могли бы продышать и без этой помощи; правда, что то, что могут сделать частные люди, только капля в море крестьянской нужды; правда и то, что помощь в виде столовых, удешевления продажи хлеба или раздачи его, прокормления скота и т. п. суть только паллиативы и не устраняют основных причин бедствия. Всё это правда, но правда и то, что вовремя оказанная помощь может спасти жизнь старика, ребёнка, может заменить отчаяние, враждебность заброшенного человека чувством веры в добро и братство людей. И что важнее всего, несомненно правда то, что всякий человек нашего круга, который, вместо того, чтобы не только думать об увеселениях: театрах, концертах, подписных обедах, бегах, выставках и т. п., подумает о той

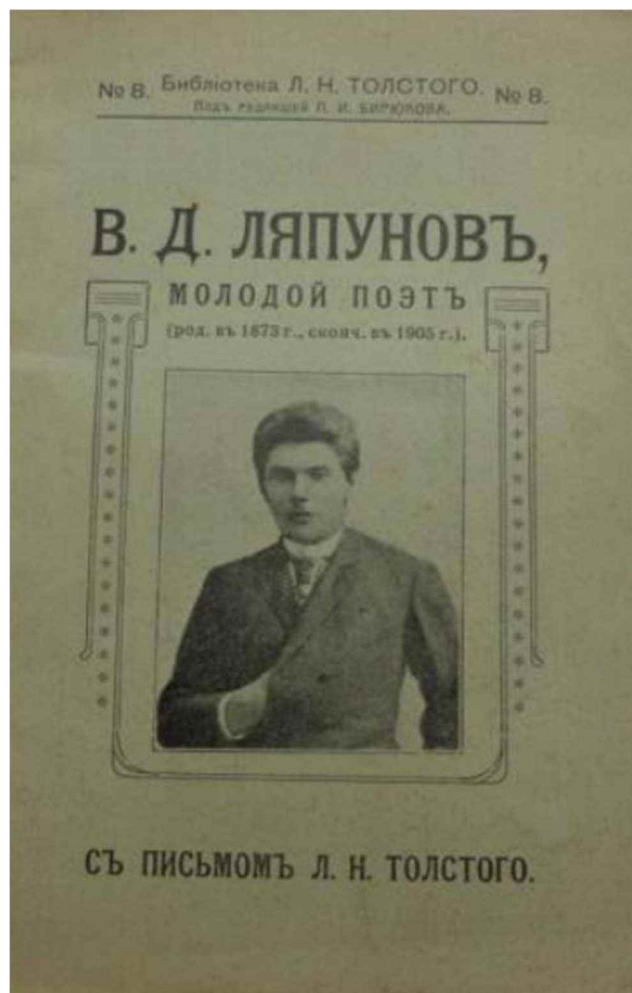
крайней, сравнительно с городской показной жизнью, нужде, в которой сейчас, в эту самую минуту, живут многие и многие из наших братьев, — что такой человек, если он постарается, хоть как бы то ни было, неумело, пожертвовать хоть малейшей долей своих удовольствий, помочь этой нужде, — несомненно поможет самому себе в самом важном на свете деле, — в разумном понимании смысла жизни и в исполнении в ней своего человеческого назначения» (71, 270 – 271).

Как видим, сведения в письме Соколовой о состоянии с продовольствием крестьян в Воронежской губернии, Толстой дополнил некоторыми собственными сведениями. Влияние на ход толстовских мыслей содержания и настроения размышлений г-жи Соколовой несомненно, но далеко не исключительно. Лев Николаевич Толстой давно занимался судьбой секты духоборов, подвергшейся в 1890-х гг. в России особенно жестоким преследованиям, в частности — принудительным переселениям в местности, где, в иных социокультурных и климатических условиях, эти люди, в ту эпоху исповедники неизмеримо более чистой, нежели официальное православие, первоначальной, евангельской веры Христа, оказывались без урожая и заработка — и голодали, болели, гибли. Лишь в самом конце 1897 года российские духоборы получили принципиальное согласие Министерства внутренних дел Российской Империи на переселение — а лучше бы сказать спасение, эвакуацию — из России. Таким образом, тема народного голода и необходимой помощи оставалась для Л. Н. Толстого в начале 1898 года актуальным «фоном».

А другим «фоном» было вторичное уже, но снова живое впечатление от очень хорошего стихотворения очень малоизвестного, вскоре умершего молодым тульского поэта Вячеслава Дмитриевича Ляпунова (1873 – 1905).

В наше время заботами тульского историка Романа Алтухова реконструирована биография Вячеслава Дмитриевича, вызволены из забвения лучшие его стихи... Поэт был уроженцем деревушки Страхово Каширского уезда Тульской губернии (нынче Ясногорский район Тульской области). Родился он в сентябре 1873 г. в семье крестьянина, окончившего сельскохозяйственное училище и служившего управляющим в различных имениях. К моменту встречи с Л. Н. Толстым в Ясной Поляне Вячеслав, грамотный благодаря заботам родителей и, в особенности, деда Филиппа, благоразумно переселился в Тулу, подальше от тягот крестьянского труда, и работал сперва на Оружейном заводе, а позднее даже в банке. Получив, как городской житель, много досужего времени, он всё больше увлека-

ется литературой и искусством: поёт, играет на гитаре, рояле, рисует, посещает театр... Регулярно он посещал и библиотеку, где познакомился с образцами русской литературы. Сильное впечатление произвели на него стихотворения Никитина и Некрасова. Стихотворение «Пахарь», полюбившееся Л. Н. Толстому, без сомнения, имеет признаки подражания обоим названным авторам.



Обложка единственного (посмертного) сборника стихотворений В. Д. Ляпунова (1912)

В конце сентября 1897 г., с пакетом стихов, Ляпунов явился в гости к Толстому. Встретив автора сперва со скепсисом, который, однако, надлежит отнести не к личности молодого поэта, а к поэтам «вообще», Толстой проводил его с волнением и восторгом — благодаря как раз стихотворению «Пахарь», которое позднее отправил на публикацию в журнал «Русская мысль» с рекомендательным письмом (Алтухов Р. Лев Толстой и поэт Ляпунов: <https://proza.ru/2016/11/05/1598>).

И вот накануне окончания писанием и отправки редактору «Русских ведомостей» письма своего по поводу сообщений З. С. Соколовой, Лев Николаевич, судя по записи в Дневнике, как раз перечитывал в свежем номере «Русской мысли» полюбившегося ему «Пахаря» и был «очень тронут» сочувственными к голодному сельскому труженнику строчками:

I.

Эй, ты, вылезь, товарищ! Родной!
Но, касатик кормилец, вали, —
Первый раз что ль идёшь бороздой,
Так на старости лет ты её не криви.

И скрипит, и трещит хомутишко плохой,
Пар столбом от буланого друга,
И бредёт он, качаясь, и с каждой лехой
На боках его слабнет подпруга.

Бороздой он по нивам ходить не отвык,
Не была б борозда искривлёна,
Да кормил-то соломой хозяин-мужик,
Что из крыши для корма свалёна.

Он и сам-то, хозяин, идёт чуть живой,
Почернел будто пень обгорелый...
Разве сытому так бы идти за сохой?
Не впервой, чай, руке огрубелой!

Допахали вчера на господском кругу,
Конь чуть жив до межи дотащился...
Глянул робко хозяин на друга-слугу,
Громко охнул и перекрестился.

На буланого сесть не посмел он верхом,
И с далёкого барского поля
Шёл пешком за сохой, да боролся с грехом
И шептал всё: эх, горькая доля!

Вечеряло; в ночёвку уселись грачи
На макушке засохшей берёзы,
За горою вдали заиграли лучи,
Освещая мужицкие слёзы.

Да! он плакал, и слёз удержать не хотел,
Иль не мог ослабевшей душою,
Всё шагая, на лапти упорно смотрел,
Утирая слезу за слезою.

Как пришли с пахоты ко двору,
Сам калитку буланый отсунул
И глубоко в родимом хлеву
В ясли морду сухую засунул;

Погремел языком там по дну:
Ни зерна в них, ни былки, — обидно, —
Не насыпал как прежде хозяин ему,
Пожалел для товарища, видно.

В это время хозяин швырял с пелены,
Раскрывая порывисто хату,
И уж чёрной соломы клоки свалены
Для обеда усталому брату;

Он потом топором их сплеча изрубил,
Разложил аккуратно в корыто,
Из чугулки горячей водою облил,
Бабе крикнул: «Поди-ко сюда-то.

Что ж, муки добыла али нет?»
И потупился, глядя с тревогой.
«Добыла, — еле слышный раздался ответ
Из дверей развальношки убогой, —

Только пуд кум Матвей дал взаймы,
Да и то попрекал и бранился.
Аль чем Бога с тобою прогневали мы?
Глянь-ко, высох ты весь, изморился?

Ведь пошлёт же Господь бедняку, —
Уморим мы ребят...» — «Ну довольно! —
Брякнул муж. — Подавай, что-ль, муку.
Ты уж, мать, разболталась, чай, больно...»

Ту муку, что сейчас, он разделит с конём,
Сам уляжется спать полусытый,
И останется тайной, что было с ним днём, —
Он заснёт с своим горем забытый.

Принесла та мешок, затряслась вся в слезах,
Не сдержала, знать, бабья натура...
Повернулся к ней пахарь с улыбкой в глазах.
«Фёкла! Что ты? А Бог-то! Эх, дура!...»

И опять утром солнце за лесом взойдёт,
Бедняков и богатых осветит...
Всё добро, всю неправду Господь разберёт
И в дневник Свой великий отметит.

Уж давно пахарь в поле опять за сохой,
С ним грачи вереницею ходят,
Они дружно сжились и при доле плохой
В борозде своё счастье находят.

Но опять всё крива и мелка борозда,
Знать пропала и бодрость и сила;
И на плечи больные «Андревна» соха
Стопудовым ярмом надавила.

Но, закону судеб повинуюсь вполне,
Тянут жалкие Божьи создания,
И не им рассуждать уж, по чьей тут вине
Непосильные терпят страданья.

Что другим, если бедный кормилец мужик,
Исполняя свой подвиг великий,
Наедаться досыта давно уж отвык
И живёт испитой, бледноликий.

Что за труд в продолжение долгого дня!
Он заплачет от думы сокрытой,
Разживётся-ль муки у соседа жена,
Чтоб семье и скотине быть сытой.

Но он крепок, — средь мудрых законов Творца
В милость Божью он верит глубоко,
И с молитвой свой крест донесёт до конца,
И других опередит далёко.

«Эй, пошёл» — раздаётся порой
В тишине бесконечного поля,
И идёт он, качаясь, своей полосой,
Рассеяв мужицкое горе.

Заскородит его горемычной судьбой,
Да слезами польёт от засухи,
И с улыбкой промолвит, довольный собой:
«Ну, теперь не умрём с голодухи.

Лишь бы Бог зародил, а уж там уберём.
Эй, пошёл бороздой! Бестолковый!
Не тужи, обрастём, чередом заживём,
Да с набором хомут справим новый,

Накормлю и овсом, подвяжу колколец,
Как к сватам мы на праздник сберёмся.
Эй, ты вылезь, кормилец-отец,
Будет время, потерпим, дождёмся!...»

Потерпи, мужичок, забавляйся мечтой,
Веселись, разгоняй свою скуку,
Но теперь я с любовью стою пред тобой,
Дай пожать твою грубую руку.

Ты прими мой привет, благодарность возьми
За свой край для родимого края;
Мой поклон пред тобой вплоть до самой земли
Я кладу, на других не взирая.

Друг, спасибо за тех, для кого целый год
Кровь и пот проливаешь в работе,
Кто тобою, как трутень, в довольстве живёт,
И твоей же смеётся заботе.

И за тех, за презренных купцов-торгашей, —
Первый путь твоего разоренья, —
Что жиреют от взятых неправдой грошей,
Позабывши людей назначенье.

И за всех и за вся благодарность я шлю:
Будь здоров и велик в своей доле!
А в минуты сознанья я Бога молю,
Чтоб прошло твоё горькое горе!

Письмо Соколовой было опубликовано 8 февраля, в № 39 «Русских ведомостей». Здесь надо заметить, что если журналы «Русская мысль» и «Вопросы философии и психологии» сделались осторожными симпатантами некоторых религиозных и общественно-политических взглядов Льва Николаевича, то редакция «Русских ведомостей» делается в 1898 году совершенной союзницей Толстого — даже под угрозой цензурных взысканий. Газета публикует сведения Толстого по голоду, о положении духоборов и привлекает пожертвования. Сам Толстой делается частым гостем в редакции. Накануне публикации письма к редактору, в пятницу 6 февраля, его встречает в редакции литературный критик Михаил Гершензон, о чём сообщает в тот же день в письме к брату: «Видел Толстого, который пришёл поговорить о голоде в Тульской губ. Серая блуза, серые штаны, очень сутуловат и робок» (*Гершензон М.О. Письма к брату*

// Гершензон М.О. Избранное: В 4 тт. Москва – Иерусалим, 2000. Т. 4. С. 432).

Широко освещала деятельность Толстого по оказанию помощи голодающим и газета «Неделя». Вот лишь некоторые её публикации: «О приезде гр. Толстого в Москву для организации помощи голодающим в Тульской губернии» («Неделя», 1898, № 18); «Хлебная нужда». Письмо Л. Н. Толстого («Неделя», 1898, № 7); «Письмо о голодных». Беседа с Л. Н. Толстым (Сергей Печорин (С. А. Сафонов). «Россия», 1899, № 13); «Разговор корреспондента “России” с гр. Л. Н. Толстым» («Неделя», 1899, № 20); Михаил Майков. «Что сказал бы Толстой?» («Россия», 1899, № 4 (по поводу предполагаемого праздника роз в пользу бедных)); Письмо гр. Л. Н. Толстого («Вестник Европы», 1900, кн. III, с. 360 – 361).

Наконец, главный творческий результат эпизода 1898 года помощи Толстого голодающим, статью «Голод ил не голод?» не взялись публиковать ни «Русские», ни «Санкт-Петербургские ведомости», а рискнула опубликовать, пусть и с цензурными изъятиями, другая либеральная, много лет читавшаяся Толстым газета — «Русь».

Зимой и раннею весной, по всей вероятности, Толстой ещё не имел собственных планов в отношении бедствующих крестьян — в то же время пристально следя за судьбой духоборов: 17 и 18 марта он пишет в те же «Русские ведомости» и в ряд иностранных газет призыв к общественности о содействии переселяющимся духоборам. Но редакция, желая привлечь внимание к письму мало кому известной г-жи Соколовой, сослалась на Толстого, доставившего его в газету, и жертвователи не замедлили начать высылать деньги именно Льву Николаевичу — то есть по адресу, привычному для некоторых из них ещё с 1891 – 1892 гг.! Толстой начинает статью «Голод или не голод?» как раз с сообщения об этом казусе:

«...С тех пор некоторые лица стали обращать ко мне свои пожертвования для помощи нуждающимся крестьянам. Небольшие пожертвования эти я направил отчасти моему хорошему знакомому в Землянский уезд — 200 руб., ежемесячные же пожертвования смоленских врачей и ещё небольшие пожертвования я переслал в Чернский уезд Тульской губернии моему сыну <Илье Львовичу> и его жене, поручив им распределение помощи в их местности. Но в апреле месяце я получил новые и довольно значительные пожертвования: г-жа Мёвиус прислала 400 р., по мелочи собралось рублей 300, С. Т. Морозов дал 1000 р. — собралось около двух тысяч, и, считая

себя не в праве отказаться от посредничества между жертвователями и нуждающимися, я решил поехать на место, для того чтобы наилучшим образом распределить эту помощь» (29, 215).

Вот так, снова совершенно не готовясь и не желая того, Лев Николаевич сделался снова, как некогда выразился сам по отношению к денежному своему посредничеству, «распределителем блевотины, которой тошнит богачей». Которой особенно обильно стошнило в те дни памятного Софье Андреевне гостя 19 апреля:

«Приезжал С. Т. Морозов, болезненный купец, кончивший курс в университете и желавший жить получше. Он дал для голодных крестьян Льву Николаевичу 1000 рублей. Мы едем с Л. Н. в среду к Илье в Гринёвку, где Л. Н. будет жить и помогать нуждам крестьян в тамошнем околотке. [...] У него 2000 рублей благотворительных денег, которыми он хочет помочь крестьянам в той местности, где хуже всего бедствие» (ДСАТ – 1. С. 376, 377).

Сведения в мемуарах С. А. Толстой «Моя жизнь» существенно дополняют запись дневника:

«Слухи о предстоящем голоде в народе всё более и более распространялись, и заинтересовали, как и в 1891, 1892 годах — нашу семью. Ещё в марте жена сына Ильи, Соня, писала нам из их имения, Гринёвки, что необходимо обратить внимание на положение крестьян и открыть столовые. Предполагалось в имении сына Серёжи, который в то время находился в своём Никольском-Вяземском, немедленно открыть столовую на 100 детей» (МЖ – 2. С. 512).



Софья Андреевна Толстая. 1904 г.

Имение Гринёвка Чернского уезда Тульской губернии в этом году стало местом «эвакуации» детей Толстого, а за ними и отца, от напряжённой психологической атмосферы в доме, связанной в это время с особенными интересами Софьи Андреевны — в частности, общением её с композитором С. И. Танеевым и ревностью к нему Толстого, равно и увлечением музыкой отвратительного для Толстого Р. Вагнера. К 20-м числам апреля супруги относительно примирились, и Соня возжелала поехать на несколько дней в гости к сыну и невестке вместе с мужем. Это решение, если судить по дневнику её, далось ей не без метаний и греха. Вот лишь несколько её записей, касающихся переезда в Гринёвку.

15 апреля. «Л. Н. объявил сегодня, что послезавтра он уезжает к Илюше в деревню, что ему в городе жить тяжело, что у него есть 1400 руб., которые он хочет раздать нуждающимся. Всё это правильно, но мне так показалось грустно и одиноко жить одной с плохой Сашей и Мишей, которого никогда дома нет, что я просто расплакалась и умоляла Льва Николаевича не уезжать ещё от меня, а пожить со мной хоть ещё недельку. Если б он знал, как я слаба душой, как я всячески боюсь себя; боюсь и самоубийства, и отчаяния, и желания развлечь себя — я всего боюсь, себя боюсь больше всего... Не знаю, послушает ли он мою просьбу» (*ДСАТ – 1. С. 375*).

Но 16-го состоялся первый сеанс у нового знакомого и желанного в доме гостя, гениального скульптора, князя Паоло Трубецкого (1866 - 1938), с первого взгляда полюбившегося обоим супругам. К радости Софьи Андреевны, решено было задержаться, дав поработать Трубецкому над скульптурой Льва Николаевича. Впрочем, и не без пользы для толстовского дела: деньги от Саввы Тимофеевича Морозова, увеличившие тогдашнюю денежную «кассу» помощи голодавшим более чем в два раза, были получены как раз благодаря этой задержке!

Наконец, таки выехали. Побывав с мужем у сына и любовно, но неохотно и грустно расставшись со всеми, заглянув после и в весеннюю Ясную Поляну, где тоже так хотелось остаться, Софья Андреевна воротилась на время в Москву, и записала 29 апреля о поездке кое-что в дневник:

«23-го Трубецкой кончил бюст Льва Николаевича. Он очень хорош. Вечером мы выехали с Л. Н. в Гринёвку. [...] В Гринёвке нас встретили верхами сыновья Илья и Андрюша и пешком внуки — Анночка и Миша. Очень было весело их видеть и приехать в деревню. Л. Н. тотчас же приступил к делу: стал объезжать деревни и исследовать,

где голод. Хуже всего в Никольском, и ещё <ближе> к Мценскому уезду. Хлеб едят раз в день и то не досыта. Скотина или продана, или съедена, или страшно худая. Болезней нет. А. Н. устраивает столовые» (Там же. С. 378).

Соня-мемуаристка снова дополняет сама себя:

«Вместе с сыновьями Лев Николаевич открыл сначала 11 столовых, а потом число их дошло до 28-ми. Богатые люди почти насильно навязали ему 4000 рублей денег на помощь голодающим, а потом С. Т. Морозов прислал 1000 рублей и другие лица ещё больше. Льва Николаевича это пугало, так как дело помощи могло затянуться надолго и помешать его умственной или художественной работе» (МЖ – 2. С. 512).

Супруги продолжили общаться посредством писем. Вот главное из письма к жене Льва Николаевича, от 29 апреля:

«[...] Шпинат и яблоки получили. Очень благодарны. Жаль, что ты не написала, как доехала. Ты очень была нервна, уезжая. Я здоров, только удивительно, или скорее не удивительно слаб для своих 70 лет. Делаем кое-какие распоряжения; сейчас 3 часа, хочу съездить в Никольское.

[...] Из Черни были нынче 3 письма и объявление на посылку.

[...] Я доволен и спокоен.

Илюша вчера ездил к Проташинскому, который протестует против столовых в его участке» (84, 308).

Подчеркнём: как ни масштабна и системно грамотно организована была помощь пострадавшим от неурожая со стороны государства, а частной инициативы *официально* и определённо никто в России не запрещал! Ведь это были дополнительные живительные капли на почву народной нужды. Но, как водится, снова явились самоуправные “инициативы” на местах. Мы помним, что в 1891 году стараниями журналистов-доносчиков из «Московских ведомостей» был раздут, в связи с деятельностью Толстого на голоде, грязнейший скандал с политической окраской. Многие забылось — но только не тому консервативному, патриотически-возбуждённому и слегка параноидальному спецконтингенту, который и по сей день преизбыточествует в России. К таковым относился и Алексей Алексеевич Проташинский, помещик Мценского уезда и тамошний земский начальник: как и многие тогдашние контролёры земской деятельности из числа прежних крепостников, он был убеждённым противником лю-

бой общественной самоорганизации, неподконтрольной имперскому чиновничеству. Репутация Толстого в этой среде сразу стала играть с ним дурную игру: одними жалобами Проташинского дело в 1898-м не ограничится... К этому времени совершились репрессии и над печатным органом, согласившимся помочь Толстому. По распоряжению министра внутренних дел 21 апреля 1898 г. издание газеты «Русские ведомости» было принудительно остановлено на два месяца — «за сбор пожертвований в пользу духоборов и за уклонение от исполнения распоряжения московского генерал-губернатора», которое состояло в том, что пожертвования через редакцию в пользу духоборов подлежали передаче администрации, между тем как редакция разумно и смело отослала эти деньги лично Л. Н. Толстому (ПСТ. С. 697. Комментарий).

«Дай Бог, чтоб ты был здоров и спокоен душой. Не утомляйся, пожалуйста, через силу, береги себя, ведь с прошлого голода 7 лет и 6 прошло, не те у тебя уж силы» — пишет Софья Андреевна к мужу в тот же день, 29 апреля (ПСТ. С. 697). Догадываясь о её беспокойстве, Лев Николаевич начинает своё письмо от 30 апреля сведениями о своём здоровье, и уж далее — о делах:

«[...] Я чувствую себя хорошо, — не так слаб, как был при тебе, но и не так бодр, как бы желал и как бываю. Почти ничего не писал. Вчера ездил в Никольское, где окончательно устроил столовые, и к Вариньке. <Племянница Толстого, Варвара Валерьяновна Нагорнова, жившая в своём небольшом имении, в 9 км. от Гринёвки. — Р. А.> Она хлопочет, убирает дом.

[...] Илюша по случаю протеста Проташинского против столовых ездил 3-го дня во Мценск, в заседание красного креста, а вчера в Орёл к губернатору <А. Н. Трубникову>, от которого получено разрешение на столовые. Видел Стаховича, который хочет в субботу приехать сюда. Нынче он уехал с Андрюшей на ярмарку. Соня старательно занимается помощью, но не совсем основательно, так что, для добросовестности исполнения перед жертвователями их поручений, я рад, что приехал сюда.

Был 3-го дня в Лапашине <деревня в полутора км. от Гринёвки. — Р. А.>, где тоже надо открыть столовые. Нынче поеду через Бастыево <ж.-д. станция с почтой. — Р. А.>, где отдам это письмо, опять в сторону Спасского <-Лутовинова>, где устрою столовые. Муки всё не купили. Жду ответа из Воронежа» (84, 309).

С губернатором орловским Л. Н. Толстому повезло. Занимавший этот пост с 1894 года Александр Николаевич Трубников (1853 — 1922), из рода военных и ветеран русско-турецкой войны, остался в

благодарной памяти орловчан как благоустроитель, благотворитель и просветитель края. Впрочем, и такой толковый человек — был всё же не без имперских замашек и суеверий и, как и тульский губернатор, поначалу, как вспоминает в «Моей жизни» С. А. Толстая, «недоброжелательно посмотрел на участие Толстых в деле голода. Тогда сын Илья поехал сам с объяснениями к орловскому губернатору, и ему удалось выхлопотать позволение на открытие столовых. По-видимому, начальство заробело и не решилось препятствовать, боясь народа и высших сфер, более разумных и понимающих, чем господин Проташинский» (МЖ – 2. С. 512).



Александр Николаевич
Трубников

В Дневнике Л. Н. Толстого этих дней мы находим откровения, подтверждающие основательность для недовольств жены его отъездом и оставанием без неё в имении сына. Например, под 29 апреля читаем следующее:

«Стал соображать о столовых, о покупке муки, о деньгах, и так нечисто, грустно стало на душе. Область денежная, т. е. всякого рода употребление денег, есть грех. Я взял деньги и взялся употреблять их только для того, чтобы иметь повод уехать из Москвы. И поступил дурно» (53, 193).

Соничка же искренне, по-доброму радовалась своей новой возможности делать благое и общественное, значимое для многих дело. 1 мая она записывает в дневнике поступившие к ней суммы — с почтой и с посетителями. Светские гости и разговоры ей теперь «томительны, шумны, ничтожны», и на ум приходит постоянно «серьёзная жизнь в Гринёвке». Памятуя, как часто писал ей муж, когда она была

“в деле” помощи крестьянам в 1891-93 гг., она ждёт таких же частых писем и теперь, и уже наготове обида и слёзы, что письма от Льва Николаевича к 1 мая всё нет: «Всё моё горячее к нему отношение начинает остывать; я ему два письма написала, полные такой искренней любви к нему и желания духовного сближения; а он мне ни слова!» (ДСАТ – 1. С. 380).

Она, конечно, не была права. Толстой выехал в нищую, частью и голодавшую, местность — что не могло не привлечь к нему особое полицейское внимание, и без того усилившееся в 1897 году, со времени высылки за границу В. Г. Черткова. Письма могли быть задержаны и прочитаны до передачи адресату. Толстой же в тот день, 1 мая, пишет жене уже третье в этой поездке письмо, такого содержания:

«Милая Соня,

Сейчас получил посылку с письмами из Москвы и объявления, которые отсылаю. Вчера я писал тебе и возил сам письмо в Бастыево по дороге из Губаревки, куда я ездил. Очень было мне хорошо, потому что делаемое дело было нужное, и оно спорилось. Голода нет, но — нужда, усиленная неурожаем, очень тяжёлая, и видеть её полезно нам. Весна совсем открылась — зеленеет всё, и соловьи, и жуки. Нынче явились из Полтавы Линденберг и ещё бывший учитель Губонин — помогать. Я отказал им. Столовые две уже действуют.

Письмо это свезёт Линденберг, который уезжает завтра утром.

[КОММЕНТАРИЙ.

Учитель Губонин — лицо практически не известное, упомянут Толстым в Переписке всего дважды. А вот толстовец-общинник Герман Романович Линденберг (1862 – 1933), по профессии художник-резчик и гравёр, был старым знакомым Льва Николаевича — ещё по бегичевской “голодной” эпопее. К сожалению, самым ярким воспоминанием о нём у Толстого было негативное: о конфликте Линденберга с другим толстовцем и бегичевским волонтером, обожаемым Толстым писателем С. Т. Семёновым — то ли из-за дров, предназначавшихся для крестьян, то ли из-за денег на них. О ссоре их Толстой писал тогда жене в письмах от 9 и 14 февраля 1893 г. (см.: 84, 182, 185). Толстой тогда успел приехать в Бегичевку и предотвратил отъезд необходимого ему Семёнова. Вероятно, по воспоминаниям об этом конфликте он и отказал Линденбергу в участии в новом пред-

приятии помощи голодным. Учитель Губонин, вероятно, просто попал “под раздачу” за компанию с приятелем: позднее в переписке Толстой выражает сожаление, что прогнал и его.

Позднее Г. Р. Линденберг помогал в переселении в Канаду духоборов и, вероятно, сам долго жил в благословенных краях. В советское время жил в Харькове. – Р. А.]

Мука куплена, по 84 к.

Занятия писательские не идут, и я не тужу, потому что на досуге хорошо обдумываю и свои писанья и, главное, свою жизнь. Здоровье совершенно хорошо. Только бы желал, чтобы ты была не слишком засушена и сама не торопилась и не тревожилась. Жду известий.

<Борис Николаевич> Леонтьев <тоже толстовец-общинник и бывший соратник Толстого по Бегичевке. – Р. А.> тоже предлагает свою помощь. Я в том письме писал, что приму Горбуновскую барышню; но теперь решил, что не нужно. Помогает покамест Вера Романовна <Миллер>, будет помогать Андрюша (я его постараюсь привлечь), а и не будет, то дела так мало, что Илюша, Соня и я всё управим. Целую тебя, Мишу, Таню, Сашу.

Л. Т.» (84, 310 – 311).

Сообщая в письме 1 мая П. И. Бирюкову о положении в голодающих деревнях, Толстой пишет:

«Я вот уже 2-ю неделю уехал из мучительной Москвы к Илье и живу у него с его милой женой и внуками, занимаясь распределением посредством столовых тех 1700 р., которые поручили мне для пострадавших от неурожая. Положение лучше, чем 1891 г., хлеб едят чистый, но ничего, кроме хлеба и щей, и хлебом скупаются. Вчера был в деревне, где на 9 дворов 2 лошади и 4 коровы, в другой, где на 18 дворов 9 без лошадей, и в третьей слободке, где на 5 дворов с 20 ребятами ни одной коровы. Это исключительно дурные деревни, но и во всех нужда большая среди слабых. Крестьянство беднеет с каждым годом, но в прежние года на $\frac{1}{2}\%$, на 1%, а в нынешнем году сразу на 7, на 8%, может быть и больше. [...] Можно бы было придти в отчаяние от всей этой жестокости и нравственного оупения людей с одной стороны, и унижения, забитости и нужды с другой — если бы не было ясного представления о том, как это дело должно исправиться» (71, 359 – 360).

Об очевидных для него ещё с 1891 года путях поправления дела Толстой скажет в статье «Голод или не голод?»

Очередные известия в Москву, жене – в письме под 3 мая:

«Вчера получил другое твоё письмо, милый друг. <От 29 апреля. – Р. А.> Спасибо, что пишешь, продолжай так же. Я тоже пишу третье письмо, если считать маленькое, посланное в Ясную. <Ошибка Толстого: с 29 апреля это его четвёртое письмо. – Р. А.> У нас всё очень хорошо.

[...] Третьего дня я ходил с приезжим Линденбергом и другим в Каменку <деревня Мценского уезда, в 12 км. от Мценска. – Р. А.> и к сожалению нашёл большую нищету. Говорят, что причина её — пьянство; но детям, женщинам, старикам от этого не легче. Назад шли полями, заблудились и много исходили, славно устали. С этими гостями дружелюбно простился. Вчера утром читал, писал письма, а после обеда ездил в Сидорово и Никольское. Всё было хорошо. У Серёжи застал на террасе кучу гостей. [...]

Сейчас открыто 8 столовых, человек около 400, и ещё две приготовлены. Больше открывать нельзя по средствам. Соня сейчас выдаёт приехавшим забирать. Андрюша помогает и очень мил. [...]

(84, 311 – 312).

Об известиях, полученных в письмах от супруга, Софья Андреевна оставляет 5 мая запись в дневнике:

«Получила сегодня два письма от Л. Н. Он бодр и здоров, слава богу. Пишет, что открыл восемь столовых и что денег больше нет. Всегда мне казалось, что если одного, двух прокормить — и то хорошо, а не только несколько сот человек. А сегодня показалось так ничтожно девять столовых перед миллионами бедняков. Пожертвований мы не вызывали, Л. Н. уже не по силам много работать; а если б вызвать — денег нам дали бы много» (ДСАТ – 1. С. 381).

И о здоровье, силах, определяемых возрастом — тоже правда... Уезжая 12 апреля из Гринёвки, Софья Андреевна была расстроена не только разлукой с любимым, но и его настроением, не радостным и не спокойным. Собираясь с силами для хлопотного предстоящего дела, он как будто прислушивался к себе: достанет ли их, этих сил? В Дневнике его под 27 апреля есть запись: «Мне хорошо. Немного нездоров. Соня нынче утром уехала — грустная и расстроенная. Очень ей тяжело. И очень её жалко и не могу ещё помочь» (53, 191).

От слабости и сомнений в перспективах начатого дела панацеей оказалась — энергическая деятельность, и именно поэтому Толстой воспринимал перерывы в ней, как нежелательные. Его следующее,

5 мая, открытое письмо к жене, небольшое и явно писанное между делами — хорошо передаёт эту торопливую энергичность Толстого к работе Богу:

«Еду на Бастыево свезти письмо англичанину, узнать, нет ли от тебя писем, и заехать в деревню, где открыли столовую, и вот пишу тебе два слова, чтобы сказать, что мы все благополучны вполне. Жара стоит летняя, всё распустилось вдруг: дуб, черёмуха. Я утром набрал фиалок (отцветают). Дождя нет, грозы ходят кругом.

Л. Т.

<P. S.> Где мои все письма? Я ничего не получаю» (84, 313).

Софья Андреевна, не работавшая в полиции и не занимавшаяся перлюстрацией писем, вряд ли могла бы ответить мужу на этот вопрос.

Письмо Толстого от 6 мая писано было вечером, после всех дневных трудов, на остатках сил — но, несмотря на это, довольно длинно и обстоятельно. Но настроение его, конечно, уже совсем иное, именно вечернее, расслабленное, с созерцанием впечатлений дня и даже немного с философией:

«Нынче, 6-го, не писал тебе, милая Соня. Теперь вечер. 10 часов. Только что приехали <дочь> Маша с Колей <Оболенским>. Я им очень рад. Андрюша едет завтра в Москву, и вот я с ним пишу это. Нынче был сильный дождь с градом. Это важное событие, потому что жара была очень тяжёлая. Я нынче только после дождя съездил в деревню Каменку, где не дружное общество и столовая не ладится, так что я совсем отказал и перенесу в другую деревню. Зато вчера, после того, как я тебе написал письмо на станции, я поехал дальше, в дальние бедные две деревни, Губаревки, и там всё идёт прекрасно. Назад ехал через лес тургеневского Спасского вечерней зарёй: свежая зелень в лесу и под ногами, звёзды в небе, запахи цветущей ракиты, вянущего берёзового листа, звуки соловья, гул жуков, кукушка и уединение, и приятное под тобой, бодрое движение лошади, и физическое, и душевное здоровье. И я думал, как думаю беспрестанно, о смерти. И так мне ясно было, что так же хорошо, хотя и по-другому будет на той стороне смерти, и понятно было, почему евреи рай изображали садом. Самая чистая радость, радость природы. Мне ясно было, что там будет так же хорошо, — нет, лучше. Я постарался

вызвать в себе сомнение в той жизни, как бывало прежде, — и не мог, как прежде, но мог вызвать в себе уверенность.

Если тебе сколько-нибудь неприятно моё желание дать денег на столовые, то посмотри на это желание *comme non avenue* [*фр.* как небывшее] и забудь.

Я управляюсь тем, что есть.

[...] Я совершенно здоров. Напрасно ты присылаешь эти горы провизии. [...] Больше читаю, чем пишу, и не жалею, потому что совсем неожиданно приходят новые мысли, которые, думается, мне самому полезны» (84, 314).

Схожие мысли и настроение мы находим в письме Л. Н. Толстого к старичку поэту Якову Петровичу Полонскому от 20 мая:

«Живу я теперь у второго сына и занимаюсь распределением помощи нуждающимся крестьянам и Чернского и Мценского уезда, на границе которого я живу в 7 верстах от Спасского, через которое часто проезжаю, так как самая большая нужда в деревнях, окружающих Спасское. Очень приятно было узнать, что крестьяне в имении нашего друга были так хорошо наделены землёю, в особенности в сравнении с окружающими, что нужды там нет. Проехал я через сад, посмотрел на кособокий милый дом, в котором виделся с вами последний раз, и очень живо вспомнил Тургенева и пожалел, что его нет. Я уже лет на пять пережил его.

Вы говорите про старость. Я тоже чувствую и очень её приближение, и мне кажется, что то ослабление жизнедеятельности, которое мы чувствуем здесь, не есть уменьшение жизни, а только начинающийся уже переход в ту жизнь, которой мы ещё не сознаём. Когда же мы умрём, мы вдруг сознаём её» (71, 366).

Из следующего послание Льва Николаевича к жене — уже 10 мая:

«Каждый день всё прибавляем по столовой, за исключением вчерашнего дня, Николина дня. Всех столовых теперь 10, около 600 человек. Можно ещё прибавить человек 200, что я и сделаю нынче и завтра, если Бог даст, в двух деревнях: Михайлов брод и Плисково, и на том покончим. Вера Романовна <Цурикова> передаст тебе это письмо и расскажет про нас. Я совершенно здоров. Немного работаю. <Толстой в это время начал работать над «Воззванием», которое послужило началом для статей по рабочему вопросу: «Неужели это так надо?» и «Где выход?». — Р. А.> Нездоровье моё неисцелимое и неприятное — 70 лет дают себя чувствовать, и я привыкаю к нему.

[...] Сейчас еду в Михайлов брод. Если ты не пришлешь денег, то я обойдусь, если и пришлешь, то я, может быть, возвращу их. [...]

 (84, 315 – 316).

Из письма 12 мая:

«Со вчерашнего дня дело усложнилось тем, что в Чернском уезде выдана земская ссуда мукою, большей частью на те самые семьи, которые ходят в наши столовые. Надо уменьшить в этих деревнях и увеличить помощь в других; особенно в Мценском уезде, где нет выдачи, и из которого ходят новые <т. е. не пользовавшиеся прежде столовыми. – Р. А.> деревни. Так нынче были из двух, в которых вероятно очень нужна помощь.

[...] Страхова я колеблюсь пригласить, хотя очень люблю его и с ним легко, и он хороший работник. Но дела так немного, что Соня почти управится. Помощник же для неё лучше женского пола, когда я уеду. Серёжа говорил про Муромцеву. И прекрасно. [...] Посылаю объявления. Если пожертвуешь сколько-нибудь денег, будет хорошо, и не пожертвуешь, ничего. Я рад узнать, что тебе и самой этого хочется» (84, 317 – 318).

В письме Лев Николаевич спутал фамилию помощницы С. Н. Толстой, которая должна была заступить на его место по отбытии из Гринёвки в Ясную Поляну. Ею была юная, прекрасная Елена Павловна Муравская, в ту пору студентка математического отделения. О ней С. Н. Толстая вспоминала в письме к А. И. Толстой от 13 февраля 1933 г.: Муравская «быстро освоилась с местностью и народом, аккуратно выдавала, отвешивала и записывала продукты; мы с ней просидели три дня перед отъездом Л. Н-ча днём и ночью, чтобы свести отчёт денежный» (Цит. по: 84, 317 – 318).

И, наконец, письмо Л. Н. Толстого от 14-го, последнее перед небольшим перерывом, связанным с визитом 17 – 19 мая С. А. Толстой в Гринёвку:

«Ты, вероятно, уж в Ясной, милая Соня, и, судя по твоему письму <от 11 мая>, если всё будет хорошо, приедешь к нам, чему я очень радуюсь, хотя и беспокоюсь за то, что это утомит тебя. [...]

Иду сейчас пешком в Каменку и Бастыево. Боюсь, что в последнем письме, где я говорил о не совсем исправном желудке, я вызвал твоё готовое всегда поднять[ся] беспокойство. Я совсем здоров. Вчера ез-

дил довольно далеко и открыл 4 столовые, в Мценском уезде. В Чернском выдаёт земство очень богато, так что естественно наше дело переносится в Мценский уезд, где и бедноты больше. Вчера я был в деревне, знаменитой Кукуевке. <Кукуевка в те времена была памятна железнодорожной катастрофой 1882 г. – Р. А.> И нынче отсюда были мужики. Ужасная нищета! [...]» (84, 318).

Софья Андреевна приезжает в Гринёвку и, крайне неудачно, два раза за один день, 17 мая, неделикатно прерывает духовно значимое для мужа общение с кем-то из сектантов-духоборов, тех самых, которым Лев Николаевич взялся уже помочь эвакуироваться из проклятой России. Духобор цитировал наизусть гимны своей общины, и Соня, прервав его лишь для того, чтобы вытащить на прогулку с ней и младшими детьми, была выпровожена Толстым «с досадой» и ушла в слезах; вероятно, духобор справедливо упрекнул Толстого в таком поведении, потому что тот скоро разыскал жену и помирился с ней (ДСАТ – 1. С. 382).

Вот ещё ценные наблюдения Сони о том, что она читала в письмах мужа, а теперь увидела вживую или узнала “из первых уст”:

«В Гринёвке идёт горячая жизнь, и мне жаль было, что я не могу в ней участвовать. Открыто двадцать столовых, кроме того, раздача идёт муки; весь день народ с мешками на подводах: то привозят купленное: муку, картофель, пшено, то получают недельную выдачу и развозят по столовым. [...] С начальством идёт какая-то глупая путаница: орловский губернатор Трубников выдал Илье официальную бумагу с позволением открыть столовые и даже выразил благодарность за них. Земский же начальник запрещает их открывать, говоря, что у него тайное предписание не допускать открытия столовых, а арестовать и выслать всех тех, кто вздумает жить среди народа и помогать ему. Каково правительство! И кто кого обманывает?» (Там же. С. 382 – 383).

Лишь заставь русского дурня Богу молиться — не пощадит лба. Приобретённый государством Российским опыт организации помощи в неурожай 1891 – 1892 гг., более системно грамотная и уверенная постановка дела на этот раз обернулись, как и многое в России, своей отрицательной стороной: надеясь управиться собственными силами, правительство стремилось скрыть от общественности, а в особенности от “заграницы” масштабы нового голода и, не запрещая официально, препятствовало благотворительной работе частных лиц, в особенности столь публичных и одновременно «неблагонадёжных», как Толстой. В кругах властных и консервативных понимали, что за работой благотворителя Толстого следит весь мир,

ожидая не одних лишь практических результатов, но и высказываний в печати, так что за безобидным делом открытия Львом Николаевичем столовых непременно воспоследует и деятельность его как публициста-обличителя, критика лжехристианского устройства жизни в России. Толстой имел теперь, в 1898-м, в сравнении с 1891-1893 годами, куда большие возможности именно для *заграничного* позорения российского режима — и, конечно же, был готов, ради Божьей правды-Истины и народного блага, устроить царю с помощниками такое, давно ими заслуженное, позорище в неподцензурной печати. В письме около 17 марта к В. Г. Черткову Толстой упоминает беседу с «богатым лицом» (по предположению исследователей, с купцом, книгоиздателем и меценатом Кузьмой Терентьевичем Солдатёнковым) о том, «как устроить за границей печатный орган, в котором печатались бы все дурные дела, совершаемые русским правительством»: «Я сказал, что обличение зла есть одно из проявлений христианской деятельности и что если бы лицо это и не желало вполне служить своими средствами делу религиозному, люди наших верований могли бы вести такую обличительную газету...» (88, 84).

Вот чем были вызваны противостояние Толстому, слежка за ним и, как мы предполагаем — задержание и чтение писем его к жене и прочим лицам.

В апреле 1898 г. орловский губернатор А. Н. Трубников дал разрешение И. Л. Толстому на открытие *одной* столовой для нуждающихся крестьян: мол, *побалуйся*, барчук, да и станет с тебя!.. В это же время он отправил мценскому уездному исправнику секретное предписание вести наблюдение за столовой. В своих донесениях исправник А. А. Иванов, сообщая о деятельности Л. Н. и И. Л. Толстых по оказанию помощи крестьянам, писал, что помещики встревожены возможными волнениями крестьян соседних деревень, которые будут завидовать кормимым в столовых, и утверждают, что голода в их местности нет (*Копелев В. Новые документы о Льве Толстом // Новый мир. 1956. № 7. С. 275 – 276*). Вероятно, и земская выдача муки именно тем крестьянам, которые уже посещали столовые, была сделана не без указки “сверху”: с целью, с одной стороны, продемонстрировать супругам Толстым с помощниками “излишность” их благотворительного вмешательства, с другой же — натравить голодавших, не получивших ещё совершенно никакой поддержки, на тех, кто получил её избыточно, из двух источников, дабы потом обвинить благотворителей в провоцировании «общественных беспорядков». Между тем, исходя из действительной ситуации, Толстой с сыном Ильёй и его женой, Софьей Николаевной, открыл куда

больше столовых, чем было дозволено. 19 мая 1898 г. А. Н. Трубников направил И. А. Толстому письмо с просьбой столовых больше не открывать.

Письмо своё от 20 мая А. Н. Толстой направил в Москву, зная, что жена со дня на день будет там (она приехала в Москву 22-го утром). Вот его основное содержание:

«...Здоровье моё всё не так хорошо, как я привык — болит позвонок и большая вялость. Но кажется, что лучше. Я вчера довольно далеко тихим шагом ходил пешком по лесам, в Каменку и Бастыево, а нынче сижу дома и берегусь. Утром довольно усердно писал, а теперь берусь за письма, из которых первое пишу тебе.

Илюша вчера ездил в Бастыево и привёз замечательно глупое и жалкое письмо губернатора, который пишет ему, что он разрешил одну или две столовые, а не многие и потому просит больше не открывать, так как ему донёс земский начальник, т. е. Проташинский, что нужды нет, а Проташинский вчера же сам с Илюшей выбирал нуждающихся в своей деревне и признал их больше, чем записал Илюша. Барышню <Муравскую> нынче утром повёз Илюша к Ильинской, в Ефремовский уезд.

[...] Вот все новости наши. Да вчера ещё получено из Черни объявление <денежный перевод. — Р. А.> на моё имя на 1000 р. Не знаю, откуда и зачем. [...]» (84, 319 – 320).

Дело Толстыми, отцом и сыном было поставлено хорошо, и Льву Николаевичу скоро можно было уехать к супруге. Как нельзя кстати, точно к окончанию денег для голодных у Толстого и у жены, подошли частные пожертвования, о которых Лев Николаевич упоминает и в следующем письме к жене, датированном 22-м мая.

Вот значительное для нашей темы содержание этого письма:

«Третьего дня ответил 13 писем. В числе этих писем есть известие от режиссёра, Петербургской драматической группы, которые собрали 2000 рублей для голодающих Тульской губ. Я отвечал и постараюсь поместить их в Ефремовском уезде или в здешней местности, но после урожая (который так дурен). Я так и написал режиссёру. 1000 р. получил от Мансуровой и 500 р. от Кудашевой из Киева.

Вчера были здесь, т. е. у нас, студент и курсистка, которые приехали с деньгами от Вольно-экономического общества в Мценский уезд, за 40 вёрст от нас, и их высылают. [...] Илюша нынче поехал к губернатору.

Я совершенно здоров. По утрам пишу и вечером бодр. Вчера ездил в бедную деревню, 10 дворов, 4 лошади и 4 коровы; денег во всей деревне нет ни копейки. Шубы и кафтаны заложены. И было радостно видеть, что можно помочь хоть немного, хоть на время. Оттуда заехал в Гущино, на ужин (тоже очень бедная деревня, 50 домов, 24 без лошадей). Застал 80 человек за столами под навесом-двором. Чинно и весело сидят старики с стариками, старухи с старухами, дети с детьми. Хозяин обходит с ковригой и ножом, подкладывая хлеб, у кого съеден. Удивительно чинно и трогательно. [...]» (84, 320 – 321).



Помощь голодающимъ въ Тульской губернии. Раздача молока дѣтямъ.

Вольно-экономическое общество и агенты его в 1890 – 1900-е гг., судя по сведениям А. С. Ермолова, оказались в Российской империи в несколько двусмысленном положении. На заседаниях Общества, состоявшихся весной 1898 года, было принято множество общепольных решений и резолюций — да вот только их влияние на реальную политику правительства в условиях неурожая остаётся под вопросом. Среди резолюций были формулировки весьма интересные, близкие воззрениям Л. А. Толстого, сына писателя, высказанным в книге его «В голодные годы» и цитированным нами выше, а отчасти — и позиции его отца. Например, вот такая:

«Для устранения причин экономического расстройтва крестьянского хозяйства, как главной почвы, благоприятствующей столь частому повторению народных бедствий, совершенно недостаточно

частичных мероприятий по техническому улучшению тех или других отраслей народного труда, а необходимы более решительные меры по широкому распространению просвещения в народной массе и по устранению условий, подавляющих личность крестьян и тормозящих их самодеятельность» (*Цит. по: Ермолов А. С. Наши неурожаи и продовольственный вопрос. СПб., 1909. Часть 1. С. 151*). Увы! Подобные решения, радикальные и широкие “захватом” глубинных причин зла, обыкновенно оставались и остаются в России не более, чем благими пожеланиями.

В практической же деятельности Общество на тех же весенних посиделках избрало из своей среды Комитет для помощи пострадавшим от неурожая, «которому уже за первые месяцы его существования удалось собрать до 58 000 руб., распределённых между разными губерниями и областями. Помощь должна была выражаться в устройстве столовых, в кормлении детей при школах, покупке хлеба, муки и картофеля, иногда лошадей для работы и семян для посева.

Сперва Комитет предполагал действовать совместно с Обществом Красного Креста, но это по разным причинам не состоялось, а затем вскоре и самый Комитет был по распоряжению правительства закрыт» (*Там же. С. 152*). А кроме того, деятели Комитета не только в 1898 году, но и позднее, в 1900-х гг., в неурожайные годы, когда Комитет был возобновлён, вызвали в провинции настоящую имперскую паранойю: чиновники и землевладельцы подозревали агентов ВАО «в неблагонадёжности и политической пропаганде», тем более, что молодёжь стремилась держаться обособленно, общаясь только непосредственно с крестьянами и друг с другом, «не входя ни в какие соглашения с прочими учреждениями, работавшими в той же области помощи населению». Это и приводило к скандалам, заканчивавшимся полицейской высылкой благотворителей. И лишь в 1906 – 1907 гг. был введён особый циркуляр, регулирующий отношения агентов Общества с местными администрациями (*Там же. С. 152 – 153*).

Наконец, вот небольшое открытое письмо Льва Николаевича к С. А. Толстой от 24 мая, интересное главным образом упоминанием им о писании статьи о голоде:

«Ты, вероятно, уже получила мои последние два письма. С тех пор ничего нового. Я продолжаю быть здоров. Два дня был занят писанием отчёта и статьи об употреблении пожертвований. Не знаю, куда направить. Попробую <зачёркнуто: «Неделю», «Нов. вр[емя]» и «Сын [отечества]»> «Петербург[ские] Вед[омости]», а потом «Сын

Отеч[ества]» или «Бирж[евые] [ведомости]»; поручу это Меншикову. <Публицист, сотр. газ. «Неделя», в то время близкий по взглядам к Толстому. – Р. А.> — До скорого свиданья. [...]» (Там же. С. 332).

Толстой пробыл в Гринёвке с 24 апреля по 27 мая. Сын Илья Львович, сопровождавший его во время поездок, позднее писал, что при обследованиях «самую трудную работу — распределение количества едоков из каждой крестьянской семьи — отец почти везде производил сам, поэтому целые дни, часто до глубокой ночи, разъезжал по деревням» (Толстой И.А. Мои воспоминания. М., 1969. С. 226). Всего было открыто 20 столовых. Об этой своей работе Лев Николаевич, помимо личных писем, расскажет в том же 1898 году и для читающей публики — в статье «Голод или не голод?», написанной в основном в период с 23 по 26 мая. Доработка статьи была остановлена сильнейшей дизентерией, которой старенький Лев Николаевич заболел, в отсутствие заботы жены, буквально накануне отъезда. Лишь 4 июня, перед окончательным отъездом из Чернского уезда, Толстой пишет к статье прибавление, 6-го возвращается в Ясную Поляну, а 7 июня уже отсылает текст статьи М. О. Меншикову для напечатания в «Санкт-Петербургских ведомостях».

* * * * *

В статье писатель «счёл своей обязанностью» высказать «те мысли и чувства», которые вызвали в нём «новое сближение с крестьянской нуждой»: ещё раз высказать всё то, что было пережито им во время борьбы с голодом на протяжении 1890-х годов. Многие в «Голод или не голод?» может напомнить статьи Толстого на эту тему 1891 – 1893 годов. Снова повествование открывается красочным рассказом об объезде Толстым бедствующих сёл и деревень. Поражает наблюдательность Толстого, знание крестьянской жизни. Объезд деревень начался со знакомого ему до боли в ляжках Спасского, принадлежавшего Ивану Сергеевичу Тургеневу. Толстой расспрашивал о нём крестьян, и ему приятно было узнать, что в имении автора «Записок охотника» крестьяне находились «в исключительно счастливых условиях» (29, 216).

Но если первые впечатления показались не очень тяжёлыми: «Бедствие голода далеко не так велико, как было в <18>91 <г.>», и даже возникли догадки, что толки о нужде крестьян всё же несколько пре-

увеличены. Но посещение других деревень показало, что, хотя прежнего, памятного по 1891 году голода и не было, но «нищета всех жителей была страшная» (Там же).

В статье Толстой поставил три общих вопроса, которые, «судя по газетам, занимали и общество»:

«Есть ли в нынешнем году голод или нет голода?»

Отчего происходит так часто повторяющаяся нужда народная?

И как сделать, чтобы нужда эта не повторялась и не требовала бы особенных мер для её покрытия?» (Там же. С. 220).

И он чётко, последовательно, по пунктам дал на них ответы, предлагая и своим современникам задуматься над ними.

С преогромным неудовольствием повествует Толстой-публицист о тех препятствиях, которые чинят представители власти частному делу помощи голодающим: «Так что, несмотря на несомненную нужду народа, несмотря на средства, данные жертвователями для помощи этой нужде, дело наше не только не может расширяться, но находится в опасности быть совершенно прекращённым» (Там же. С. 219). Понимая, что благотворительная деятельность частных лиц «только капля в море крестьянской нужды», писатель убеждён, что и такие «капли» не вредны и не опасны для общественного спокойствия, а только полезны: что «вовремя оказанная помощь может спасти жизнь старика, ребёнка, может заменить отчаяние, враждебность заброшенного человека чувством веры в добро и братство людей». Здесь вновь находит воплощение толстовская идея о могучей силе христианской любви. «Воспрепятствовать общению людей нельзя, можно только нарушить правильное течение этого общения и там, где бы оно было благотворно, дать ему вредное направление», – утверждает Толстой (Там же. 230). Можно грубым вмешательством исказить, даже задушить главные, духовные смыслы общения просвещённых «элит» с кормильцем их, с народом. Между тем Лев Николаевич убеждён, что помочь всякому человеческому бедствию может только духовный подъём народа, братское единение людей. Эту веру в важность всякого доброго усилия Толстой стремился передать своим читателям.

Что же препятствует этому духовному подъёму в народе? Что «сверху», от правительства и «элит», мешает противостоянию самого народа периодическим ударам природных стихий, отнимавшим урожай? Да всё то же, что и в 1873-м, что и в 1891-м годах: «традиционные» для России, для сволочного «русского мира» неуважение и недоверие в отношениях власти и «элит» к народу!

Отвечая на главный, вынесенный в заголовок вопрос, Толстой прямо заявляет, что «голода нет, а есть хроническое недоедание

всего населения, которое продолжается уже 20 лет, и всё усиливается. [...] Голода нет, но есть положение гораздо худшее» (*Там же. С. 224 – 225*). И писатель повторяет образное, меткое сравнение с вопрошаемым о положении больного врачом, памятное читателю по отчёту его 1893 года: «Всё равно, как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф, ответил бы: “Тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чахотка”» (*Там же. С. 225*).

Показывая бедственное положение народа, Толстой-христианин аскетичен и как художник: в статье он избегает эффектных описаний, обыкновенно служащих к тому, чтобы разжалобить читателя. Он приводит, казалось бы, сухие скучные цифры – выписки из своей записной книжки, где даны подробные расчёты необходимой помощи, чтобы документально подтвердить личные впечатления.

Но для прекращения хронически повторяющихся голодовок в России писатель считает необходимым отнюдь не изменение в этой статистике, а то же, что в начале 1890-х: необходимо *поднять дух народа*, «перестать презирать, оскорблять народ обращением с ним как с животным». Стыдно, что на пороге XX столетия в России разрешено сечение крестьянства розгами, которое, «как Дамоклов меч, висит над каждым крестьянином».

Писатель, публицист и исповедник Христа призывает людей, искренне желающих отплатить добром народу, «все силы свои употребить» на помощь ему. В связи с этим Лев Николаевич предлагает царскому правительству принять комплекс наиважнейших, насущно необходимых, по его мнению, мер. Он предлагает:

1. дать народу свободу вероисповедания;
2. подчинить крестьянство общим для всех граждан, а не исключительным, законам;
3. обеспечить для крестьян свободу вероисповедания, обучения, передвижения» и др.;
4. «главное, снять то позорное клеймо, которое лежит на прошлом и теперешнем царствовании, разрешение дикого истязания, сечения взрослых людей только потому, что они числятся в сословии крестьян» (*Там же. С. 187*).

Одна из сентенций Л. Н. Толстого о необходимости *дать народу* душевное благополучие, эмоциональный комфорт и просвещение, светское и духовное, весьма знаково перекликается с известнейшим высказыванием П. А. Столыпина уже в 1909 году о 20 годах покоя, которые необходимо дать государству, чтобы Россия преобразилась:

«Если б мне сказали: вот ты хочешь добра народу, — выбирай одно из двух: дать ли всему разорённому народу на двор по 3 лошади, по 2 коровы и по три навозные десятины, и по каменному дому, или

только свободу вероисповедания, обучения, передвижения и уничтожение всех специальных законов для крестьян, то, не колеблясь, я выбрал бы второе, потому что убежден, что какими бы материальными благами ни оделить крестьян, если только они останутся с тем же духовенством, теми же приходскими школами, теми же казенными кабаками, той же армией чиновников, мнимо озабоченных их благосостоянием, то они через 20 лет опять проживут всё и останутся такими же бедными, какими были. Если же освободить крестьян от всех тех пут и унижений, которыми они связаны, то через 20 лет они приобретут все те богатства, которыми мы бы желали наградить их и гораздо еще больше того» (Там же. С. 225 – 226).

Можно надеяться, что читатель наш не забыл и этих строк из ответа Льва Николаевича Толстого Николаю Страхову, письма от 24 апреля 1892 года:

«Бывают хорошие минуты, но большей частью, копаясь в этих внутренностях в утробе народа, мучительно видеть то унижение и развращение, до которого он доведён. — И они всё его хотят опекать и научать. Взять человека, напоить пьяным, обобрать, да ещё связать его и бросить в помойную яму, а потом, указывая на его положение, говорить, что он ничего не может сам и вот до чего дойдёт предоставленный самому себе — и, пользуясь этим, продолжать держать его в рабстве. Да только перестаньте хоть на один год спаивать его, одурять его, грабить и связывать его и посмотрите, что он сделает и как он достигнет того благосостояния, о котором вы и мечтать не смеете. Уничтожьте выкупные платежи, уничтожьте земских начальников и розги, уничтожьте церковь государственную, дайте полную свободу веры, уничтожьте обязательную воинскую повинность, а набирайте вольных, если вам нужно, уничтожьте, если вы правительство и заботитесь о народе, водку, запретите — и посмотрите, что будет с русским народом через 10 лет» (66, 204 – 205).

До первого в России революционного взрыва оставалось тогда больше 10-ти лет! Времени хватало... Даже в 1898 году было не поздно изменить на *христианское* отношение к народу и с народом.

Не унижать людей, верить в народ, уважать народ, доверять народу, обеспечить народу возможность «духовного подъёма» (а не ожесточения, которым всегда пользовались «оппозиционные» демагоги!) – этим, по мысли Льва Николаевича, правительство может поспособствовать не только предотвращению собственного кризиса, но и, главное, братскому единению людей в России. Для нас здесь важно характерное сочетание христианских призывов писателя с объективным анализом ситуации в стране и либеральной по своей

сути программой внутривластных преобразований, адресованной царю и правительству, что тоже является своеобразной «традицией» толстовской публицистики. Толстой здесь объективно *либерален, но не оппозиционен правительству* страны, а готов к сотрудничеству в общем деле благоустройства жизни народа.

«Духовный подъём народа» равносильно для Л. Н. Толстого ненасильственному революционному перевороту, могущему пресечь разящим ударом из «ружья духовного» разрушительную работу над народным сознанием революционных радикалов и её последствия – всплеск революционного насилия, разрушения жизни в стране, уже угрожавшего в то время самодержавной России.

Главное же, о чём не дописал и не мог дописать в статье Толстой, но что логически выводится из сказанного — следующее: как религиозное и научное светское знания, так и уважительное отношение «элит» передастся народу. «Только человек, сознающий себя духовным существом, может сознавать человеческое достоинство своё и других людей, и только такой человек не унизит ни себя, ни ближнего поступком или положением, недостойным человека» — эту великолепную максиму мы находим в толстовском «Круге чтения», в записях на 25 октября. И действительно, всякий человек, уважающий себя и просвещённый не одними мирскими знаниями, а нравственным религиозным учением, в котором выразилось бы актуальное и для нашего времени жизнепонимание первоначального, чистого христианского учения — будет **избегать для себя и ближних всякого положения унижительного, недостойного человека**. А к таковому следует отнести и перенаселённость, неизбежно влекущую за собой катастрофы антропогенные и гуманитарные, в частности — войны и голод, равно и нарастающую от поколения к поколению *несвободу*, выхолощенность жизни отдельных людей — во имя выживания в одном поколении, на одной планете, слишком многих! Христианское же отношение к половой связи, к репродукции потомства, к повседневному труду и результатам его — напротив того, навсегда уничтожит самый риск перенаселённости, голодоморов, побоищ и революций.

* * * * *

Как было выше сказано, изначально Толстым предполагалось дать статью «Голод или не голод?», как и отчёт и статьи об употреблении пожертвований, в «С.-Петербургские ведомости», или «Сын Отечества», или «Биржевые ведомости». Толстой просил М. О. Меньшикова «взять на себя труд поместить эту статью» в «Санкт-Петербургских

ведомостях», потому «только, что, говорят, государь читает их». Меньшиков сообщил о переговорах с издателем газеты кн. Э. Э. Ухтомским, его колебаниях и просьбе дать «два-три дня на размышления и на зондирование почвы». Толстому стало ясно, что статья «едва ли будет напечатана в России», а для русской газеты в Англии она слишком tame (робкая). Но всё оказалось не так ужасно. В России статья была напечатана со значительными купюрами в газете «Русь» (1898, №№ 4 – 5, 2 и 3 июля (второе издание)). В текст статьи включён денежный отчёт (согласно указаниям Толстого в письме к Меньшикову). За границей же отрывки из статьи были напечатаны в сб. «Свободное слово» (под ред. П. И. Бирюкова, изд. В. Г. Черткова, 1898, № 1, с. 261–264).

Перепечатанная многими газетами, статья вызвала яростную полемику, что стало признанием важности обсуждения поднятых Толстым вопросов. Вызвала статья и специфическую *контрпропаганду*: точнее, желание оппозиционно настроенных авторов использовать выступление Толстого для усиления «удара» по общественному сознанию *своих* идей. В частности, с «Открытым письмом к автору статьи “Голод или не голод?”» выступил издатель бесцензурной газеты «Русский труд» С. Шарапов, характеризовавший себя «не официальным публицистом: не Грингмут, не князь Мещерский», обвинявший Толстого от имени «той небольшой части нашего “образованного общества”, которая сохранила немного патриотизма». В деятельности Толстого Шарапов усмотрел «вызов правительству, упразднение, дискредитирование его»: «Ваше слово [...] ненапечатанное, разлетится с быстротой молнии по всей России, более того, по всему миру»; «Вы с Олимпа дезертировали, [...] стали публицистом, политиком, общественным деятелем...» (с. 120); «Громовой протест разнёсся по всей России. Гайдебуровской “Руси”, печальному глашатаю, дано предостережение. Читатель подавлен грандиозной картиной Вашей толстовской кисти» (*Передовая статья // Русский труд. 1898. № 44; Шарапов С. Сочинения. Кн 3. Публичные речи. Открытые письма и ответы. СПб, 1899*).

О публикации Шарапова 18 июня 1898 г. цензор Матвеев доносил начальнику Главного управления печати следующее: «В сегодняшнем № 29 еженедельного издания “Русский труд” напечатано начало “открытого письма” издателя “Р. труда” Шарапова к гр. Л. Н. Толстому по поводу статьи в “Руси” “Голод или не голод?”. Великодушно принимая на себя защиту правительственной власти, бессильной и слабой, по мнению автора, в борьбе с пропагандой Толстого, г. Шарапов порицает последних, заявляет, что правительство колеблется,

впадает в ошибки, у него мало силы, мало деятелей, в его распоряжении одни чиновники, думающие более о 20-м числе <день выдачи жалования. – Р. А.>, чем о народе, который их кормит, у него нет программы. Отметив “огромное значение” пропаганды Толстого, Шарапов, обращаясь к нему, говорит: “Вы кличете по всей России, и правительство ничего путного не умеет делать, да и не будет делать, а будет лишь вас грабить”.

Такого рода комментарии к статье Толстого, хотя и делаемые ради опровержения, крайне неприличны и могут произвести самое дурное впечатление, так как автор изображает Толстого как грозную силу, победоносно громящую правительство». Подпись: Цензор Матвеев (ЦГИА. Фонд 777, оп. 5, 1897, д. 16. Лист 96; см. также: ЦГАЛИ, ф. 542, 1, 41. Письмо Е. М. Феоктистова Д. И. Цертелеву).

В свою очередь вступились за «похулённого» писателя А. А. Стахович (№ 34), И. С. Дурново, в обширной статье «Гений и Хулители» («Русский труд», 1898, №№ 41, 42, 44) утверждающий, что Толстой сделал великое дело своим указанием размера народного бедствия и выяснением его причин.

В обществе даже связали со статьёй Толстого опубликование в «Правительственном вестнике» сообщения о пожертвовании императором 12 миллионов рублей в распоряжение Красного Креста.

Но прямые христианские смыслы статьи Льва Николаевича Толстого «Голод или не голод?», кажется, прошли мимо внимания большинства читающей России и, судя по оценкам в литературе деятельности Л. Н. Толстого в 1890-е гг., на голоде, как исключительно благотворительной, «распределительно-кормящей», не уяснены в отечестве славного Льва, великого духовного царя России, и до сего дня.

Прибавление.

ГОЛОД ИЛИ НЕ ГОЛОД?

Нынешней зимою я получил письмо от г-жи Соколовой с описанием нужды крестьян в Воронежской губернии и передал это письмо с своей заметкой в «Русские Ведомости», и с тех пор некоторые лица стали обращать ко мне свои пожертвования для помощи нуждающимся крестьянам. Небольшие пожертвования эти я направил отчасти моему хорошему знакомому в Землянский уезд — 200 руб.,

ежемесячные же пожертвования смоленских врачей и ещё небольшие пожертвования я переслал в Чернский уезд Тульской губернии моему сыну и его жене, поручив им распределение помощи в их местности. Но в апреле месяце я получил новые и довольно значительные пожертвования: г-жа Мёвиус прислала 400 р., по мелочи собралось рублей 300, С. Т. Морозов дал 1000 р. — собралось около двух тысяч, и, считая себя не в праве отказаться от посредничества между жертвователями и нуждающимися, я решил поехать на место, для того чтобы наилучшим образом распределить эту помощь.

Как и в 1891-м году, я считал, что наилучшая форма помощи — это столовые, потому что только при устройстве столовых можно обеспечить хорошей ежедневной пищей стариков, старух, больных и детей бедных, в чём, я полагаю, состоит желание жертвователей. При выдаче провианта на руки цель эта не достигается, потому что всякий хороший хозяин, получив муку, всегда прежде всего замесит её лошади, на которой ему нужно пахать (и поступив так, поступит совершенно правильно, потому что пахать ему нужно для прокормления своей семьи не только в нынешнем, но и в будущем году), слабые же члены семьи будут недоедать в нынешнем году, как и до выдачи, так что цель жертвователей не будет достигнута.

Кроме того, только в форме столовых для слабых членов семей есть какой-нибудь предел, на котором можно остановиться. При выдаче на руки помощь идёт на хозяйство, а для того, чтобы удовлетворить требованиям разорённого крестьянского хозяйства, никак нельзя решить, что крайне и что не крайне нужно: крайне нужна и лошадь, и корова, и выкуп заложенной шубы, и подати, и семена, и постройка. Так что при выдаче помощи на руки приходится выдавать или по произволу, наобум, или всем поровну, без различия. Поэтому я решил распределять помощь, как и в 1891-м и 1892-м годах, — в форме столовых.

Для определения же наиболее нуждающихся семей и числа лиц из каждой из них, которые должны быть допускаемы в столовые, я руководствовался, как и прежде, следующими соображениями: 1) количеством скота, 2) числом наделов, 3) числом членов семьи, находящихся в заработках, 4) количеством едоков и 5) исключительными несчастными случаями, постигшими семью: пожаром, болезнями членов семьи, смертью лошади и т. п.

Первая деревня, в которую я приехал, было знакомое мне Спасское, принадлежавшее Ивану Сергеевичу Тургеневу. Расспросив старосту и стариков о положении крестьян этой деревни, я убедился, что оно далеко не так дурно, как было дурно положение тех крестьян, среди которых мы устраивали столовые в 1891-м году.

У всех дворов были лошади, коровы, овцы, был картофель и не было разорённых домов; так что, судя по положению Спасских крестьян, я подумал, что не преувеличены ли толки о нужде нынешнего года.

Но посещение следующей за Спасским — Малой Губаревки и других деревень, на которые мне указали, как на очень бедные, убедило меня в том, что Спасское находится в исключительно счастливых условиях и по хорошему разделу, и по случайно хорошему урожаю прошлого года.

Так, в первой деревне, в которую я приехал — Малой Губаревке, на 10 дворов было 4 коровы и 2 лошади; два семейства побирались, и нищета всех жителей была страшная.

Таково же почти, хотя и несколько лучше, положение деревень: Большой Губаревки, Мацнева, Протасова, Чапкина, Кукуевки, Гущина, Хмелинок, Шеломова, Лопашина, Сидорова, Михайлова Брода, Бобрика, двух Каменок.

Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка — пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забелённых, если есть корова, и незабелённых, если её нет, — и только хлеба.

Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить.

Так что крайней нужды в окружающей нас местности — районе 7—8 верст — так много, что, устроив 14 столовых, мы каждый день получаем просьбы о помощи из новых деревень, находящихся в таком же положении.

Там же, где устроены столовые, они идут хорошо, обходятся около 1 р. 50 к. на человека в месяц и, как кажется, удовлетворяют поставленной нами себе цели: поддержать жизнь и здоровье слабых членов самых бедных семейств.

Вчера вечером я заехал в деревню Гуцино, состоящую из 49 дворов, из которых 24 без лошадей. Было время ужина. На дворе, под двумя вычищенными навесами, сидели за пятью столами 80 человек столующихся: старики попеременно со старухами за большими столами на скамейках; дети за маленькими столиками на чурбачках с перекинутыми тесинами. Ужинавшие только что кончили первое блюдо (картофель с квасом), и подавалось второе — капустные щи. Бабы наливали корцами в деревянные чашки дымящиеся, хорошо заправленные щи; столощик с ковригой хлеба и ножом обходил столы и, прижимая ковригу к груди, отрезал и подавал ломти прекрасного, свежего, пахучего хлеба тем, у кого был доеден.

Хозяйка и женщина из столующихся служат взрослым, хозяйская дочь, девочка, служит детям.

Ужинавшие были большей частью исхудалые, истощённые, в изношенных одеждах, редкобородые, седые и лысые старики и сморщенные старушки. На всех лицах было выражение спокойствия и довольства. Все эти люди, очевидно, находились в том мирном и радостном настроении и даже некотором возбуждении, которое производит употребление достаточной пищи после долгого лишения её. Слышались звуки еды, степенный разговор и изредка смех на детских столах. Были тут и два прохожих нищих, за которых столовщик извинялся, что допустил их к ужину.

Всё происходило чинно, степенно, точно как будто этот порядок существовал веками.

Из Гущина я поехал в деревню Гневышево, из которой дня два тому назад приходили крестьяне, прося о помощи. Деревня эта состоит, так же как и Губаревка, из 10 дворов. На десять дворов здесь четыре лошади и четыре коровы; овец почти нет; все дома так стары и плохи, что едва стоят. Все бедны и все умоляют помочь им. «Хоть бы мало-мальски ребята отдышали», — говорят бабы. «А то просят папки (хлеба), а дать нечего, так и заснёт не ужинаючи».

Я знаю, что тут есть доля преувеличения, но то, что говорит тут же мужик в кафтане с прорванным плечом, уже наверное не преувеличение, а действительность.

«Хоть бы двоих, троих с хлеба спихнуть, — говорит он. — А то вот свёз в город последнюю свитку (шуба уж давно там), привёз три пудика на восемь человек — на долго ли! А там уж и не знаю, что везти...»

Я попросил разменять мне три рубля. Во всей деревне не нашлось и рубля денег.

Очевидно, необходимо устроить и тут столовую. Так же, вероятно, нужно и в двух деревнях, из которых приходили просить.

Кроме того, нам сообщают, что в южной части Чернского уезда, на границе Ефремовского, нужда очень велика, и до сих пор нет никакой помощи. Казалось бы очевидным, что надо продолжать и расширять дело, и это возможно, так как в последнее время получено ещё довольно значительные пожертвования: 500 р. от кн. Кудашевой, 1000 р. от г-жи Мансуровой, 2000 р. от драматических деятелей.

Но оказывается, что не только расширить дело, но и продолжать его почти нельзя. Продолжать же нельзя по следующим причинам:

Орловский губернатор не разрешает открывать столовые: 1) без соглашения с местным попечительством, 2) без обсуждения вопроса об

открытии каждой столовой с г. земским начальником и 3) без того, чтобы заблаговременно не уведомлять губернатора о том, сколько нужно открывать столовых в известной местности.

Из Тульской же губернии уже приезжал становой с требованием не устраивать столовых без разрешения губернатора. Кроме того, запрещено всем не местным жителям участвовать и помогать в устройстве столовых без разрешения губернатора; без участия же таких помощников, специально занятых сложным и хлопотливым делом столовых, устройство их невозможно. Так что, несмотря на несомненную нужду народа, несмотря на средства, данные жертвователями для помощи этой нужде, дело наше не только не может расширяться, но находится в опасности быть совершенно прекращённым.

Вследствие этого полученные мною в последнее время деньги, а именно:

от кн. Кудашевой	500 р.
» г-жи Мансуровой	1000 »
» драматических деятелей	2000 »
Всего	3500 р.

и ещё некоторые небольшие пожертвования остаются неизрасходованными и будут возвращены их жертвователям, если они не пожелают дать им другое назначение.

На 22 мая отчет полученных и израсходованных мною денег следующий:

Приход

От Смоленских врачей	323 р. 27 к.
Г. Мевкус	400
Кн. Т	100
А. З.	200
Баумана	25
М. К.	40
С.	25
Из «Р. В.»	112 р. 48 к.
От С. В. и Д. С	20
» неизвестной через Д.	16
» Касаткина	25
Из «Р. В.»	200

Баумана	20
Неизвестной	200
Гимназистов	118
За медаль С. Н. Шиль	199
От Ол. Ковалевской	4
С. Т. М.	1000
Е. Ф. Юнге	15
	3012 р. 75 к.

Расход

Мука	2061 р. 18 к.	2584 пуда
Пшено	140 р.	150 пудов
Горох	60 р.	75 п.
Картофель	171 р. 24 коп.	131 четв.
Капуста	27 р. 50 к.	56 пуд. 35 ф.
Извоз	3 р. 10 коп.	
Дрова	56 р. 75 к.	
Масло	27 руб. 80 к.	5 пуд.
Соль	2 р. 40 к.	10 пуд.
	2549 р. 97 к.	

Таково моё личное дело; теперь постараюсь ответить на те общие вопросы, на которые навела меня моя деятельность, — вопросы, которые, судя по газетам, занимали и общество в последнее время.

Вопросы эти следующие:

Есть ли в нынешнем году голод или нет голода?

Отчего происходит так часто повторяющаяся нужда народная?

И как сделать, чтобы нужда эта не повторялась и не требовала бы особенных мер для её покрытия?

На первый вопрос отвечаю следующее: есть статистические исследования, по которым видно, что русские люди вообще недоедают на 30 % того, что нужно человеку для нормального питания; кроме этого, есть сведения о том, что молодые люди черноземной полосы последние 20 лет всё меньше и меньше удовлетворяют требованиям хорошего сложения для воинской повинности; всеобщая же перепись показала, что прирост населения, 20 лет тому назад, бывши

самым большим в земледельческой полосе, всё уменьшаясь и уменьшаясь, дошёл в настоящее время до нуля в этих губерниях. Но и без изучения статистических данных, стоит только сравнить среднего исхудалого до костей, с нездоровым цветом лица крестьянина-земледельца средней полосы с тем же крестьянином, попавшим в дворники, кучера — на хорошие харчи, и сравнить движения этого дворника, кучера и ту работу, которую он может дать, с движениями и работой крестьянина, живущего дома, чтоб увидеть, насколько недостаточным питанием ослаблены силы этого крестьянина.

Когда, как это делалось прежде нерасчётливыми хозяевами и теперь ещё делается, держат скотину для навоза, питая её на холодном дворе кое-чем, только чтобы она не издохла, происходит то, что из всей этой скотины вытерпевает без ущерба своему организму только та, которая находится в полной силе; старые же, слабые, неокрепшие молодые животные или издыхают, или, если и выживают, то в ущерб своему приплоду и здоровью, а молодые в ущерб росту и сложению.

Вот точно в таком положении находится русское крестьянство черноземного центра. Так что, если разуместь под словом «голод» такое недоедание, вследствие которого непосредственно за недоеданием людей постигают болезни и смерть, как это, судя по описаниям, было недавно в Индии, то такого голода не было ни в 1891-м году, нет и в нынешнем.

Если же под голодом разуместь недоедание, не такое, от которого тотчас умирают люди, а такое, при котором люди живут, но живут плохо, преждевременно умирая, уродуясь, не плодясь и вырождаясь, то такой голод уже около 20 лет существует для большинства черноземного центра, и в нынешнем году особенно силён.

Таков мой ответ на первый вопрос. На второй вопрос: отчего это произошло? ответ мой состоит в том, что причина этого духовная, а не матерьяльная.

Военные люди знают, что такое значит дух войска; знают, что этот неосязаемый элемент есть первое главное условие успеха, что при отсутствии этого элемента делаются недействительными все другие. Пускай будут солдаты прекрасно одеты, накормлены, вооружены, пускай будет сильнейшая позиция — сражение будет проиграно, если не будет того неосязаемого элемента, который называется духом войска. То же самое в борьбе с природой. Как только в народе нет духа бодрости, уверенности, надежды на все большее и большее улучшение своего состояния, а есть, напротив, сознание тщеты своих усилий, уныние — народ не победит природы, а будет побеж-

дён ею. А именно таково в наше время положение всего нашего крестьянства и в особенности земледельческого центра. Он чувствует, что его положение как земледельца — плохо, почти безвыходно, и, приспособившись к этому безвыходному положению, уже не борется с ним, а живёт и действует лишь настолько, насколько его к этому побуждает инстинкт самосохранения. Кроме того, самая бедственность положения, до которого он дошёл, ещё усиливает упадок его духа. Чем ниже в своём экономическом благосостоянии спускается население, как тяжесть на рычаге, тем труднее ему подняться, и крестьяне чувствуют это и как бы махнули на себя рукой: «Где уж нам, — говорят они, — *не до жиру, быть бы живу!*»

Признаков этого упадка духа очень много. Один, первый и главный — это полное равнодушие ко всем духовным интересам. Вопросы религиозного совершенно не существует в земледельческом центре; и совсем не потому, что крестьянин твёрдо держится православия (напротив, все отчёты и все сведения священников подтверждают то, что народ всё более и более становится равнодушным к церкви), а потому, что у него нет интереса к духовным вопросам.

Второй признак — это косность, нежелание изменять своих привычек и своего положения. За все эти годы, в то время, как в других губерниях вошли в употребление плуги, железные бороны, травосеяние, посева дорогих растений, садоводство, даже минеральное удобрение, — в центре всё остается по-старому с сохой, трёхпольем, изрезанными полянками в борону шириной и всеми рюриковскими приёмами и обычаями. Даже переселений всего меньше из черноземного центра.

Третий признак — отвращение к сельской работе, — не лень, а вялая, невесёлая, непроизводительная работа, работа, эмблемой которой может служить колодезь, из которого вытягивается ведро не журавцом, не колесом, как это делалось прежде, а просто верёвкой, руками, и вытягивается в ведре, которое течёт и из которого вытекает треть воды, пока его донесут до места. Такова почти вся работа черноземного мужика, кое-как, с огрехами пахущего 16 часов на чуть волочащей ноги лошади пашню, которую он на хорошей лошади, при хорошей пище, хорошим плугом мог бы вспахать в полдня. При этом естественно желание забыться, и потому вино и табак всё более и более распространяются, так что в последнее время пьют и курят мальчишки-дети.

Четвёртый признак упадка духа — это неповиновение сыновей родителям, меньших братьев старшим, неприсылка заработанных на стороне денег в семью и стремление молодых поколений избавиться

от тяжёлой безнадёжной сельской жизни и пристроиться где-нибудь в городе.

Поразительным для нас признаком происшедшего за последние 7 лет упадка было то, что во многих деревнях взрослые и, казалось бы, достаточные крестьяне просят в столовые и идут в них, если их допускают. Этого не было в 1891-м году. Вот, например, случай, показывающий всю ту степень и бедности и недоверия к своим силам, до которой дошли крестьяне.

В деревне Шушмине, Чернского уезда, помещица продаёт крестьянам через банк землю. Она требует с них по 10 р. приплаты за десятину, и то разлагая на два срока по 5 рублей, отдавая притом им землю с посевом и по 2 четверти овса на яровой посев. И при этих поразительно выгодных условиях крестьяне медлят и ничего не предпринимают.

Так что ответ мой на второй вопрос состоит в том, что причины того положения, в котором находятся крестьяне: — потеряли бодрость, уверенность в своих силах, надежду на улучшение своего положения — пали духом.

Ответ же на третий вопрос: как помочь бедственному положению крестьян — вытекает из этого второго ответа. Для того, чтобы помочь крестьянству, нужно одно: поднять его дух, устранить всё то, что его подавляет.

Подавляет же дух народа непризнание в нём теми, которые управляют им, его человеческого достоинства, признание крестьянина не человеком, как все, а грубым, неразумным существом, которое должно быть опекаемо и руководимо во всяком деле, и, вследствие этого, под видом заботы о нём, полное стеснение его свободы и унижение его личности.

Так, в самом важном, религиозном отношении каждый крестьянин не чувствует себя свободным членом своей церкви, свободно избравшим, или по крайней мере свободно признавшим исповедуемую им веру, а рабом этой церкви, обязанным беспрекословно исполнять те требования, которые ему предписаны его религиозными начальниками, присланными к нему и поставленными независимо от его желания или выбора. То, что это есть важная причина подавленного состояния народа, подтверждает то, что всегда, везде, как только крестьяне освобождались от деспотизма церковного, впадая, как это называется, в секту, так тотчас же поднимается дух этого народа, и тотчас же, без исключения, устанавливалось и экономическое благосостояние его. Другое губительное для народа проявление этой заботы о нём есть исключительные законы для крестьянства,

сводящиеся в действительности к отсутствию всяких законов и полному произволу приставленных к управлению крестьянами чиновников.

Для крестьян номинально существуют какие-то особенные законы и по владению землею, и по дележам, и по наследству, *и по всем обязанностям его*, а в действительности же есть какая-то невообразимая каша крестьянских положений, разъяснений, обычного права, кассационных решений и т. п., вследствие которых крестьяне совершенно справедливо чувствуют себя в полной зависимости от произвола своих бесчисленных начальников.

Начальниками же своими крестьянин признаёт, кроме сотского, старосты, старшины и писаря, и урядника и станового, и исправника, и страхового агента, и землемера, и посредника по размежеванию, и ветеринара, и его фельдшера, и доктора, и священника, и судью, и следователя, и всякого чиновника, и даже помещика, всякого господина, потому что по опыту знает, что всякий такой господин может сделать с ним всё, что хочет. Больше же всего подавляет дух народа, хотя это не видно, то постыдное, разумеется не для жертв его, а для участников и попустителей его, — истязание розгами, которое, как Дамоклов меч, висит над каждым крестьянином. Так что на три поставленные в начале вопроса: есть ли голод или нет голода? Отчего происходит нужда народа? И что нужно сделать, чтоб помочь этой нужде? — Ответы мои следующие: голода нет, а есть хроническое недоедание всего населения, которое продолжается уже 20 лет, и всё усиливается, и которое особенно чувствительно нынешний год при дурном прошлогоднем урожае, и которое будет ещё хуже прошлогоднего. Голода нет, но есть положение гораздо худшее. Всё равно, как бы врач, у которого спросили, есть ли у больного тиф, ответил бы: «Тифа нет, а есть быстро усиливающаяся чахотка».

На второй же вопрос ответ мой состоит в том, что причина бедственности положения народа не материальная, а духовная; что причина главная — упадок его духа, так что пока народ не поднимется духом, до тех пор не помогут ему никакие внешние меры, ни министерство земледелия и все его выдумки, ни выставки, ни сельскохозяйственные школы, ни изменение тарифов, ни освобождение от выкупных платежей (которое давно пора бы сделать, так как крестьяне давно переплатили то, что заняли, если считать по теперь употребительному проценту), ни снятие пошлин с железа и машин, ни столь любимые теперь и выставляемые несомненным лекарством от всех болезней — приходские школы, — ничто не поможет народу, если его состояние духа останется то же. Я не говорю, чтоб все эти

меры не были полезны, но они делаются полезными только тогда, когда народ поднимется духом и сознательно, и свободно захочет воспользоваться ими.

Ответ же мой на третий вопрос, — как сделать, чтоб нужда не повторялась, состоит в том, что для этого нужно, не говорю уже уважать, а перестать презирать, оскорблять народ обращением с ним, как с животным, нужно дать ему свободу исповеданья, нужно подчинить его общим, а не исключительным законам, а не произволу земских начальников; нужно дать ему свободу ученья, свободу чтения, свободу передвижения и, главное, снять то позорное клеймо, которое лежит на прошлом и теперешнем царствовании — разрешение дикого истязания, сечения взрослых людей только потому, что они числятся в сословии крестьян.

Если б мне сказали: вот ты хочешь добра народу, — выбирай одно из двух: дать ли всему разорённому народу на двор по 3 лошади, по 2 коровы и по три навозные десятины, и по каменному дому, или только свободу вероисповедания, обученья, передвижения и уничтожение всех специальных законов для крестьян, то, не колеблясь, я выбрал бы второе, потому что убеждён, что какими бы материальными благами ни оделить крестьян, если только они останутся с тем же духовенством, теми же приходскими школами, теми же казёнными кабаками, той же армией чиновников, мнимо озабоченных их благосостоянием, то они через 20 лет опять проживут всё и останутся такими же бедными, какими были. Если же освободить крестьян от всех тех пут и унижений, которыми они связаны, то через 20 лет они приобретут все те богатства, которыми мы бы желали наградить их и гораздо ещё больше того.

Думаю же я, что это будет так, во-первых, потому, что я всегда находил и больше разума, и настоящего знания, нужного людям, среди крестьян, чем среди чиновников, и потому думаю, что крестьяне сами скорее и лучше обдумают, что для них нужнее; во-вторых, потому, что крестьяне, те самые, о благе которых идёт забота, лучше знают, в чём оно состоит, чем чиновники, озабоченные преимущественно получением жалованья, и, в-третьих, потому, что опыт жизни постоянно и безошибочно показывает, что чем больше крестьяне подвергаются влиянию чиновников, как это происходит в центрах, тем более они беднеют и, напротив, чем дальше крестьяне живут от чиновников, как, например, в Сибири, в Самарской, Оренбургской, Вятской, Вологодской, Олонецкой губерниях, — тем больше, без исключения, они благоденствуют.

Вот те мысли и чувства, которые вызывало во мне новое сближение с крестьянской нуждой, и я счёл своею обязанностью высказать их

для того, чтобы люди искренние, действительно желающие отплатить народу за всё то, что мы получали и получаем от него, не тратили бы даром свои силы на деятельность второстепенную и часто ложную, а все силы свои употребили бы на то, без чего никакая помощь не будет действительной, — на уничтожение всего того, что подавляет дух народа и на восстановление всего того, что может поднять его.

26-го мая 1898.

4-го июня 1898 г.

Прежде чем отсылать эту статью, я решил съездить ещё в Ефремовский уезд, о бедственном состоянии некоторых местностей которого я слышал от лиц, внушающих полное доверие.

По пути к этой местности мне пришлось проехать во всю его длину весь Чернский уезд. Ржи в той местности, где я жил, т. е. в северной части Чернского и Мценского уездов, в нынешнем году чрезвычайно плохи, хуже прошлогодних, — но то, что я увидал по пути к Ефремовскому уезду, превзошло мои самые мрачные предположения.

Местности, которые я проехал — около 35-ти вёрст в длину — от Гремячево до границ Ефремовского и Богородицкого уездов и в ширину, как мне говорили, вёрст на 20, — ожидает и в будущем году ужасное бедствие. Рожь на пространстве этого четырехугольника — почти в 100 тысяч десятин — пропала совершенно. Едешь версту, две, десять, двадцать и по обеим сторонам дороги на помещичьих землях вместо ржи сплошная лебеда, на крестьянских — нет даже и лебеды. Так что к будущему году положение крестьян этой местности (также, как мне говорили, пропала рожь и во многих других местах) будет несравненно хуже нынешнего.

Говорю о положении только крестьян, а не вообще землевладельцев, потому что только для крестьян прямо, непосредственно кормящихся своим хлебом и именно ржаным полем, урожай ржи имеет решающее значение, вопрос жизни и смерти.

Как только у крестьянина не хватает своего хлеба на весь обиход или на большую часть его, и хлеб дорог, как нынешний год (около рубля) — так положение его угрожает сделаться отчаянным, подобно положению, скажем, чиновника, лишившегося места и жалования и продолжающего кормить свою семью в городе.

Чиновнику без жалования, для того чтобы существовать, нужно тратить или запасы или продавать вещи, и каждый день жизни при-

ближает его к полной гибели, точно так же крестьянина, принужденного покупать дорогой хлеб выше обычного, обеспеченного определенным заработком количества, с той разницей, что, спускаясь ниже и ниже, чиновник, пока он жив, не лишается возможности получить место и восстановить своё положение, крестьянин же, лишаясь лошади, поля, семян, лишается окончательно возможности поправиться.

В таком угрожающем гибелью положении находится большинство крестьян здешней местности. Но в будущем году положение это будет не только угрожающим, но для большинства наступит самая гибель.

И потому помощь как правительственная, так и частная, будет в будущем году настоятельно необходима. А между тем именно теперь, как в нашей Тульской губ., так и в Орловской, Рязанской и других губерниях, принимаются самые энергические меры для противодействия частной помощи во всех её видах, и, как видно, меры общие, постоянные. Так, в тот Ефремовский уезд, куда я направлялся, совершенно не допускаются посторонние лица для помощи нуждающимся. Устроенная там пекарня лицом, приехавшим с пожертвованиями от Вольно-экономического общества, была закрыта, само лицо выслано и также высланы прежде приезжавшие лица. Считается, что нужды в этом уезде нет и что помощь не нужна в нём. Так что, хотя и по личным причинам, я не мог исполнить своего намерения и проехать в Ефремовский уезд, поездка моя туда была бы бесполезна или произвела бы ненужные осложнения.

В Чернском же уезде за это время моего отсутствия, по рассказам приехавшего оттуда моего сына, произошло следующее: полицейские власти, приехав в деревню, где были столовые, запретили крестьянам ходить в них обедать и ужинать; для верности же исполнения те столы, на которых обедали, разломали, — и спокойно уехали, не заменив для голодных отнятый у них кусок хлеба ничем, кроме требования безропотного повиновения. Трудно себе представить, что происходит в головах и сердцах людей, подвергшихся этому запрещению, и всех тех людей, которые узнали про него. Ещё труднее, для меня по крайней мере, представить себе, что происходит в головах и сердцах других — тех людей, которые считают нужным предписывать такие мероприятия и исполнять их, т. е. воистину не зная, что творят, — отнимать изо рта хлеб милостыни у голодных, больных, старых и детей... Я знаю те соображения, которые выставляются в защиту таких мероприятий: во-первых, надо доказать, что положение вверенного нашему управлению населения не так дурно, как это хотят выставить люди противной нам партии; во-вторых,

всякое учреждение (а столовые и пекарни — это учреждения) должно быть подчинено контролю правительства, хотя в 1891 и 1892 гг. такого подчинения не было; в-третьих, прямое и близкое отношение людей, помогающих населению, может вызвать в нем нежелательные мысли и чувства. Но ведь все эти соображения, если бы они и были справедливы, — а они все ложны — так мелочны и ничтожны, что не могут иметь никакого значения в сравнении с тем, что делается столовыми или пекарнями, раздающими хлеб нуждающимся.

Всё дело ведь состоит в следующем: есть люди, — не будем говорить умирающие, но страдающие от нужды; есть другие, живущие в избытке и по доброму чувству отдающие этим людям свой излишек; есть третьи, желающие быть посредниками между первыми и вторыми и на это отдающие свой труд.

Неужели такие деятельности могут быть для кого-нибудь вредными и может входить в обязанность правительства противодействовать им?

Я понимаю, что солдат-сторож в Боровицких воротах, когда я хотел подать нищему, воспретил мне это и не обратил никакого внимания на моё указание на евангелие, спросив меня, читал ли я воинский устав, но правительственное учреждение не может игнорировать евангелие и требований самой первобытной нравственности, т. е. того, чтобы люди людям помогали. Правительство, напротив, только затем и существует, чтобы устранить всё то, что мешает этой помощи.

Так что правительство не имеет никакого основания для противодействия такой деятельности. Если же ложно направленные органы правительства и требовали бы подчинения такому воспрещению, частный человек обязан не подчиняться такому требованию.

Когда приезжавший к нам становой пристав сказал, что что же мне стоит обратиться к губернатору с просьбой о разрешении устройства столовых, я ответил ему, что не могу этого сделать, так как не знаю такого законоположения, которым запрещалось бы устройство столовых; если же и было таковое, то я не мог бы подчиниться ему, потому что, подчинившись такому законоположению, я завтра мог бы быть поставлен в необходимость подчиниться воспрещению выдачи муки, подачи милостыни без разрешения правительства. Право же подавать милостыню установлено самою высшею властью, и никакая другая власть не может отменить его.

Можно закрыть столовые, пекарни, выслать из одного уезда в другой тех людей, которые приехали помогать населению, но нельзя воспрепятствовать этим высланным из одного уезда людям жить в

каком-нибудь другом, у своих знакомых или в крестьянской избе и служить народу какими-либо другими способами, отдавая точно так же на служение ему свои средства и труды. Нельзя отгородить один класс народа от другого. Всякая же попытка такого отгораживания приносит те самые последствия, которые этим отгораживанием желательно было избежать.

Воспрепятствовать общению людей нельзя, можно только нарушить правильное течение этого общения и там, где бы оно было благотворно, дать ему вредное направление. Помочь предстоящему, как и всякому человеческому бедствию может только духовный подъём народа (я разумею под народом не одно крестьянство, но весь народ, как рабочие, так и богатые классы); подъём же народа бывает только в одном направлении: в бóльшем и бóльшем братском единении людей и потому для помощи народу надо поощрять это единение, а не препятствовать ему. Только таким бóльшим, чем прежде, братским единением людей не только покроется и нынешнее и ожидаемое бедствие будущего года, но и поднимется общее благосостояние всё упадающего и упадающего крестьянства и предотвратится повторение бедствий 91, 92 и нынешнего годов.

(29, 215 – 230)





ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как человек вместе со всеми животными
подчиняется закону борьбы за существование,
так он подчиняется как животное
и закону полового размножения,
но человек как человек находит в себе другой закон,
противный борьбе — закон любви,
и противный половому общению для размножения —
закон целомудрия.

(Дневник. 18 апреля 1890 г.)

Необходимость отчётов о «благотворительной деятельности», опубликованных Львом Николаевичем Толстым, супругой его Софьей Андреевной и сыном их, Львом Львовичем предопределялась нехристианским, утилитаризирующим восприятием обывателями, пошлыми мирскими и массовыми, толпяными человеками лжехристианского мира — но и по сей день строгими, как правило, судьями Толстого-христианина — деятельности Толстых именно как *барской и буржуазной благотворительности*: помощи посредством собранных денег. Взрослые, безнадежно взрослые и испорченные люди все *очень* любят цифры. И публика ждала цифр: сколько получил? сколько потратил? сколько открыл столовых? Сколько накормил мужиков, баб, лошадок, детишек? Сколько денег осталось? и т. п. Не исключаю я между читателями этой книги таковых же, ожидающих от Заключения её того, что я повторю здесь хрестоматийно известные те же сведения, преимущественно из предпоследнего отчёта Льва Николаевича Толстого о помощи голодающим — про 246 столовых и пр. (см.: 29, 162 – 164). Но для того я и давал, пусть и с некоторыми сокращениями, тексты Отчётов Л. Н. Толстого в Прибавлениях к Главам книги моей, чтобы стяжать в строгих очах *такого* моего читателя право не повторять их здесь. Не только и не столько потому, что цифрами Толстого не исчерпываются даже эти, цифровые, «итоги» — и к ним, как минимум, нужно присовокупить 208 столовых сына Толстого, работавшего самостоятельно в Бегичевке, на средства, значительная часть которых была отправлена ему отцом и матерью

(Толстой Л.Л. *В голодные годы*. С. 121). И не в том дело, что, как следует из отчёта Толстого, к цифре в 246 столовых не относятся отдельные столовые для детей школьных лет, «молочные кухни» для малышей и спасение кормёжкой сельскохозяйственных животных. А всё это тоже заведения, которые нужно было устроить и поддерживать. И не в том дело, что Толстой и сын его стремились работать, насколько это было возможно, в продуктивном сотрудничестве с правительственными лицами, с обществом Красного Креста, с земствами и церковью (помощь которой в голоде 1891 – 1892 гг. и позднее особенно ценил Лев Львович). И даже не в том дело, что вообще-то лишь для городской, кормящейся *чужим* хлебным трудом интеллигентской и прочей дармоедской сволочи столь значительно и важно, сколько именно спасено столовыми «тружеников села»; для самих же для этих тружеников, рабов и жертв садо-некрофильской, лжехристианской городской цивилизации было и есть позарез важно добыть посевной материал, спасти корову и прочий скот, уберечь или вовремя приобрести в хозяйство рабочую лошадь, так же как жене его, матери — уберечь от гибели детей. Нет, здесь, в Заклучении книги мы считаем нужным сказать о *другом*, не о цифирных итогах, по той же причине, по которой говорит в общем-то о *другом* сам Лев Николаевич — в своём «Заклучении к последнему отчёту о помощи голодающим», заключающему в Прибавлениях последнюю Главу данной книги.

Вместе с предварившей Бегичевскую эпопею статьёй «О голоде» это «Заклучение» служит великолепным идейным обрамлением святого христианского служения Толстого. Просветлённый разделёнными с народом страданиями, в этом, гораздо менее памятном тексте Толстой предстаёт нам не в хитоне мирского витии, публициста, пусть и наблюдавшего, хорошо знающего критикуемую им реальность, а — в светлых одеждах исповедника, не одним словом, но и примером, Христова служения. Но и в этой, выстраданной ипостаси он повторяет то же, что вызвало против него зло после статьи «О голоде»: народ эксплуатируем, но и не уважаем, и, как следствие, брошен в реальных своих нуждах *безверными* (не имеющими в себе Христовой веры: не доверяющими Богу и не слушающимися Христа) общественными «элитами» России и их прислужниками, представителями знания светского и духовного.

Значимость этого вывода — невозможно переоценить.

Уже разошедшись ко времени писания воспоминаний о голоде с отцом в религиозных вопросах, Лев Львович в книге воспоминаний своих «В голодные годы» намеренно отодвигает на второй план духовное состояние в народе — утверждая, что религия православия в этом отношении соединяет народ с Христом исполняет все насущные задачи (*Там же. С. 77 – 79, 126 – 127*). Зато более «земные», даже утилитарные причины голода: рутина общинности и невежество — названы сыном Льва в качестве ключевых:

«Как же поднять этот упавший дух народный? Вот что всего интереснее. Для этого нужно устранить те же материальные причины и стеснения, вследствие которых упал дух. Значит, от чего же нужда? От внешней, т. е. материальной, стеснённости народа, от причин материальных, а потом уже и от духовных.

[...] Посадите американца, свободного духом, в нашу общину-мир, с нашими законами и порядками, он, как ни будь свободен духом, непременно потеряет эту духовную свою свободу под давлением внешних затруднений.

[...] Отсутствие свободы личности, незнание своих прав и законов, община с её порядками, все внешние тяжёлые условия нашего крестьянства представляют, конечно, материальные, а не духовные причины, держащие его в постоянной нужде и косности. На эти-то условия и надо обратить внимание. Тогда и дух народа поднимется, и проснётся его энергия.

Дайте, кроме свободы, ещё одно великое орудие культуры в руки народу, дайте его вволю, щедро и не скупясь, — просвещение, и вам не придётся больше заботиться о крестьянине» (*Там же. С. 147 – 149*).

Любопытно, что Лев Львович, дожив до середины XX столетия, мог лично убедиться, насколько прав оказался его отец и неправ он. Этика и нравы не улучшаются приращением «свобод» и сытости. Потомки патровских мучеников переселились в города, в которых, в современной, 2022 г., России живут сытнее и вольготнее, чем большинство американцев 1890-х гг. и, в отличие от них, большинство имеют по крайней мере одну ВУЗовскую специальность, т. н. «высшее» образование. Но — свободнее ли они духовно, внутренне, чем, скажем, лвьята Льва Николаевича, толстовцы? Например, те, описанные у Верочки Величкиной — подавшиеся тёплой весной 1892 г. вольно бродить по России, искать Царствие Божие и Небесный Иерусалим? Увы! Только не в «евразийской», то есть цивилизационно мутантной, уродской России! Только не в поганом «русском мире», где

сохранились имперские недоверие и неуважение «элит» и правительства к гражданам, где так и не сформировались полноценное гражданское общество, демократическое самоуправление, зато — вырвана из сердец та любовь ко Христу, которую воспитали церковь и чтение евангелий и о которой свидетельствовал Лев Львович как об условии нравственной и физической стойкости и единства народного в бедствиях:

«Не хлебом единым жив человек. Да, это несомненно. Эта истина подтверждается живыми примерами. Весь наш многотерпеливый, горемычный и нищий народ подтверждает её. Он, несмотря на своё горе, несмотря на нищету, по-своему часто счастлив не весь подряд, это невозможно, исключений много, не одинаково во все года и дни своей жизни, это тоже невозможно, но всё же он не так несчастлив, как нам кажется.

Одной из главных причин этому служит живой христианский дух русского народа. Суть Христова учения глубоко укоренилась в его нравах и сердце. Каждый шаг, каждая мысль, каждый поступок мужика сопровождаются невольным воспоминанием и мыслью об имени Христовом, сопровождаются бессознательным вопросом: «так или не так это, согласно или противно Его учению?»

И это глубокое христианское сознание христианского народа, и по духу своему и по вере, служит главной причиной того, что он и горе своё принимает за радость и голод и нищету переносит с бесконечным смирением.

Коли не хлебом сыт, так словом Божиим, и это не на словах, а на деле, в самой жизни!

Это та всемогущая, живучая, духовная сила русского человека, которая ничем не может быть ни подавлена, ни заглушена. Это та сила, которая спасает и спасала Россию, которая отличает её от других стран.

Христовым именем утешаются, живут, им же и кормится половина народа, и в года голодовок и бедствий не мы с нашими сравнительно мелкими средствами спасаем голодающих и кормим их, а кормят и спасают друг друга сами эти голодающие, делясь между собой последним хлебом. Совесть бедняка, совесть крестьянина, у которого немногим больше, чем у бедного соседа, который сам может завтра дойти до положения нищего, — чутче и отзывчивее нашей совести, совести господ, богачей, которую ничто не будит, а которую, напротив, всё больше усыпляет и притупляет наша жизнь.

Совесть народная — это тот главный “комитет”, который открывают в своей среде голодающие в года бедствий, широко и свободно располагая им. Без этого “комитета” голодовки наши, без сомнения, были бы в тысячу раз страшнее и в материальном, и в духовном отношении» (Толстой Л.Л. *В голодные года*. С. 126 – 127).

Этот-то бесценный “ресурс” и угнетается сытостью и светским знанием вне опоры в Откровении и Христовой вере *живой* — руководящей помыслами и поступками человека. Хлебная «рулетка» заволжского рискованного земледелия, столь остроумно сравненная В. Оболенским в мемуарах с американскими порядками — тоже ведь своеобразное мирское научение... но уже совершенно другого мира, уничтожавшего в пореформенной России жизнь общинную. Жизнь, уже нравственно обезображенную проникшим в неё христианским религиозным *безверием*.

Ведь не всё так ладно было у «христианнейших» жителей Патровки и всего Самарского края, как, в пику “еретику” отцу, стремился изобразить Лев Львович. Между «христианами по духу и по вере» царило дичайшее неравенство: знакомство Л. Л. Толстого с Патровкой началось с дома богатого и влиятельного сектанта, молоканина Симона (т.е., по-православному, Сеньки), в котором не много было признаков голода. Но если «голодный голодного разумел» и бедняк крестьянин подавал из последнего нищему, то такие богачи не спешили делиться своими запасами с голодавшими соседями. Пойманных же на попытке воровства жестоко били (Толстой Л.Л. *В голодные годы*. С. 35 – 36, 74 – 75). И это было весьма “традиционно” для того времени, для “доброто”, “христианнейшего” православным обрядовением, но скудного живою верой, доверием Богу и Христу русского народа. В одном месте своих мемуаров Лев Львович проговаривается о жестокой спекуляции хлебом богачей на односельчанах: о том, что «некоторые крестьяне покупали дешёвых лошадей и солили их себе на еду, считая это выгоднее, чем хлеб (за лошадь в 12 – 15 пудов платили рублей 5, а за столько же пудов муки надо было заплатить втрое), и что «в соседнем селе крестьяне воровали друг у друга хлеб из амбаров, потому что другого выхода им не было» (Там же. С. 20). Bravo, православная Россия! Это надо *суметь* довести себя до того, что о Христовом «чуде» разделения хлебов и рыб промеж тысячней алкавших не мог уже напомнить даже священник в проповеди!

Но простой священник — сам плоть и дух народа. Он не виноват...

Пьянство в народе, когда денег не находилось на хлеб, но они отыскивались на водку — особая мрачная тема, раскрытая Л. Н. Толстым в ряде публицистических выступлений. А ещё одним мрачным признаком разделённой, нелюбовной, то есть мёртвой ко Христу жизни людей русского народа в тогдашней уже, имперской и буржуазно-капиталистической России может служить, в числе прочего, *обилие собак* в деревнях, злейших, кидавшихся не раз на волонтёров Льва Николаевича в окрестностях Бегичевки и даже на него самого. Рассказывает Е. И. Раевская:

«На днях граф уехал вёрст за восемь в с. Орловку, что на Дону (имение Р. А. Писарева). Осмотревши столовую, он шёл садиться в сани, как вдруг на него бросилась собака крестьянская и, прокусивши сапог, выкусила у него из ноги кусок мяса. Графиня Софья Андреевна и Мария Львовна очень испугались, потому что несколько лет тому назад от почти подобной раны граф прохворал несколько месяцев и чуть не поплатился жизнью. — К счастью на этот раз рана скоро зажила, и в эту минуту Лев Николаевич, слава Богу, здоров» (Раевская Е. И. *Лев Николаевич Толстой среди голодающих* // Л. Н. Толстой / Гос. лит. музей. М., 1938. [Т. I]. С. 400).

Огромность и злость этих domesticiрованных в первобытные века «друзей человека», как и их преемников в современной нам городской России: заборов, видеокамер и второсортной биомассы в лице тупых бездарей полицаев и охранников — признак недоверия и страхов людей в отношении друг к другу, то есть желания «обеспечить» себя и кровно, *животно* близких. А желание это, эти страхи в свою очередь, являются гнусными стигматами всё того же *безверия* современных обществ людей: недоверия Богу, непризнания истины учения Христа.

Заброшенность, «богооставленность» — но не Всевышним, конечно, а мирскими «богами», общественными «элитами», от которых и тогда, в эпоху христианского проповедания и служения Льва Николаевича зависело *многое* в преодолении невежества и омрачённости в народных массах — в рассеянии «власти тьмы»!

Культура как концепт этимологически восходит к пахоте, возделыванию поля. Это «возделывание» человеком себя — в духе и разумении. И это — научение быть, для начала на вверенной нам планете Земля, сотворцом Высшего Разума, великого Творца, Бога.

Американцы привезли с собой в Новый Свет пусть и церковную, либо сектантски-догматическую, то есть извращённую, но всё-таки веру. В этом плане американский квакер и русский молоканин или даже православный, но нравственный, смиренный перед Богом человек — хорошо поняли бы друг друга, даже не зная языков друг друга. А вот из теперешней, сытой да гладкой, как собака в полове, *бесящейся с жиру* России, не щадящей своих ресурсов, денег на войну и иные глупости и гадости — бегут не только американцы, но и просто научившиеся *уважать себя* люди из числа русских и россиян.

А начало злу было заложено уже в эпоху Льва Толстого: эпоху секулярного знания и гордыни им просвещённого меньшинства, не пожелавшего, в повседневно *равных* с народом условиях, служить этим знанием с тем, чтобы улучшить, *охристианить* нравы народа, уничтожить «власть тьмы» и сберечь тем самым более природосообразный и свободный, сельский, земледельческий и общинный уклад жизни миллионов россиян. Научить тому, что знали сами: тому, например, что не только не хлебом единым, но даже и не семьёй и детёнышами делается жизнь человека подлинно человеческой. Заботой об уже живущих, их благе — но никак не похотливым и суеверным приплодом всё новых! Не толчеей этой растущей человеческой пены в раздувающихся городах «мегаполисах». Из которых, кстати, и «атаковала» крестьянское солзнение, недовольное порядками в общинах, гнилая идея о «неизбежном крахе» общинного традиционного хозяйствования как «архаичного», то есть не способного прокормить миллионы паразитов в мегаполисах — в свою очередь, развращённых и ождержимых страхами и желанием «обеспечиться» в искусственных условиях лжехристианской цивилизации.

В оценках причин голода 1891 – 1892 (1893) гг. и его последствий противостоят в современной историографии две любопытные концепции. Современным историком С. А. Нефёдовым, анализирующим события в рамках неомальтузианского подхода, выдвинута теория, представляющая голод 1891—1892 годов как часть истинного мальтузианского кризиса (фаза сжатия демографического цикла), то есть действительную нехватку ресурсов из-за быстрого роста населения. При таком объяснении голод был одним из первых проявлений общей социальной, экономической и демографической перенапряжённости, завершившейся только после Второй мировой

войны с переходом к фазе расширения демографического цикла (Нефёдов С. А. *Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России: Конец XV — начало XX века. Екатеринбург, 2005*). Эта теория признана спорной, её активные оппоненты обыкновенно высказывают мнение, что кризис был вызван принципиально решаемыми административными (сбой системы продовольственной помощи) и институциональными (нерациональное общинное землепользование) проблемами. Но этот второй, более массовый по количеству адептов подход не учитывает обыкновенно *коренных причин* той ситуации, которую требовалось решать правительственными мерами. Например, не будь “обнесены” жадностью стремившихся к денежной наживе, продаже хлеба крестьян вкупе с “традиционным” на России воровством запасы хлебные магазины — не было бы “сбоя” на первом этапе продовольственной помощи. Да и общины, без их разрушения, можно было нравственно преобразить задолго до голодной години — чтобы люди в условиях стресса от неурожая, безденежья вели бы себя добрее друг к другу, в букве и духе учения Христа — как дети одного Отца.

Подход же С. А. Нефёдова и его единомышленников интересен нам особо — тем, что касается пусть не коренной причины общественного зла голода, но весьма неочевидных для большинства исследователей причин его. Ниже приводим вкратце его концепцию демографических циклов — теоретические постулаты и их приложение к истории России.

С. А. Нефёдов — сибирский историк, сторонник демографически-структурной теории американского экономиста, социолога и политолога Джека Голдстоуна (*Jack Goldstone, b. 1953*), которую стремится синтезировать с неомальтузианством. Завоеванием последнего стала на рубеже XX – XXI веков концепция «фаз демографического цикла», или, иначе, «большого аграрного цикла» Ф. Симиана и Э. Ле Руа Ладюри.

Первая, «предварительная», фаза, или *фаза расширения*, наступает после того, как голод, войны и эпидемии в конце предыдущего цикла резко уменьшили численность населения, поэтому она характеризуется малой плотностью населения и избытком свободных земель, низкими ценами на продовольствие, относительно высоким уровнем потребления крестьян, низкой земельной рентой.

Вторая, «фаза роста», или *начальная фаза сжатия*, характеризуется быстрым ростом населения, интенсивной распашкой свободных земель, но вместе с тем уменьшением и дроблением крестьянских хозяйств, ростом цен, падением реальной заработной платы и нарастанием социальной напряжённости.

Третья, «фаза зрелости», *развитого сжатия*, характеризуется замедлением или прекращением роста населения, крестьянским малоземельем, ростом ренты и налогов, высокими ценами на продовольствие, низким уровнем реальной заработной платы и потребления, войнами.

Наконец, четвёртая фаза — это фаза *максимального сжатия*, фаза упадка, характеризуемая голодом, эпидемиями, сокращением численности населения.

К признакам перенаселения относятся: крестьянское малоземелье, дробление хозяйств, рост продовольственных цен и арендной платы, падение потребления до прожиточного минимума, рост смертности, задержки браков и ограничение рождаемости, нищета, бандитизм, эмиграция (постоянная и сезонная), большое количество безземельных, интенсификация земледелия, ирригация и мелиорация, переход безземельных крестьян к занятиям ремеслом и торговлей и в связи с этим — переселение сельских жителей в города, рост городов, который, однако, не решает проблемы перенаселения и т. д. Важное следствие перенаселения для сёл — это рост крупного землевладения и усиление социальной дифференциации (*Нефедов С. А. Концепция демографических циклов. Екатеринбург, 2007. С. 21 – 22*). Общинные отношения в этой ситуации обречены, и Л. Н. Толстой был перед греховным состоянием человека в большей степени прав в тех своих духовных, христианских сочинениях, где основой доброй и разумной грядущей жизни ставил личные усилия, нравственное совершенствование людей, нежели в тех, например, где пропагандировал аграрную утопию американского «экономиста с Библией в руках» Генри Джорджа, или же в тех, где призывал правительство так или иначе начать реформы с «насущного» упразднения частной поземельной собственности.

Если неомальтузианская теория «демографических циклов» сама по себе рассматривала население и экономику в целом, то современная демографически-структурная теория Джека Голдстоуна и его школы рассматривает *структуру* — народ, государство и элиту — анализируя взаимодействие элементов этой структуры в условиях

роста населения. В общественной структуре Голдстоуна три базовых элемента: государство (включая сюда монархов, их придворных, чиновников, судей и армию), «элиты» (дворянство, крупные землевладельцы, купцы, высшие чиновники и т. д.) и народ. Государство защищает «дойную корову», трудящийся народ, от своих конкурентов в ограблении труда, за что получает легитимное в глазах обманутых право грабить их — преимущественно в завуалированной форме сбора налогов. «Элиты» традиционных сословных обществ обеспечивают государственную машину лжи и разбоя кадрами чиновников, полицаев, солдатни и рептильных подлецов-интеллигентов в услужении, за что приобретает право отнимать у трудящегося народа часть ресурсов, в частности, в виде ренты с принадлежащей ей земель. «Элита» негативно реагирует на попытки государства увеличить свою долю. Джек Голдстоун учитывает критику неомальтузианства марксистскими историками и приходит к выводу, что государство, элита и народ находятся в состоянии постоянной борьбы за ресурсы — и динамику этой борьбы необходимо учитывать при определении тех ресурсов, которые остаются у простого народа. Государство может обманом или подкупом склонить к этатизму, то есть своей поддержке, значительную часть «элит» и, конечно, простецов из народа, но в целом — изначально независимая структура убийства и разбоя, сама обеспечивающая своё выживание — иногда в ущерб даже самым полезным «элитам» и самым послушливым из числа прослойки городской интеллигентской сволочи. В монархиях эта тенденция выражена сильнее, в «демократиях» же, где люди развращены участием в разбойничьей власти государства — сильнее элемент сотрудничества.

Голдстоун вводит понятия государственного кризиса и брейкдауна (разрушения государства). Это ситуации, в которых значительная часть «элиты» и народа полагает, что политика государства является неэффективной, несправедливой или устаревшей, не отвечающей современным нуждам. В период кризиса противостояние между элементами общественной структуры начинает преобладать над сотрудничеством и борьба за ресурсы становится более острой. Государственный кризис и, на пределе его, брейкдаун могут быть вызваны, например, поражением в войне, банкротством казны или неспособностью подавить беспорядки — но часто является следствием неспособности государства справиться с нарастающими экономическими проблемами, имеющими неочевидные истоки (Нефедов С. А.

Концепция демографических циклов. Екатеринбург, 2007. С. 73 – 74).

Одна из серьёзнейших в течении тысячелетий проблем, погубивших немало локальных цивилизаций — это вызовы, предъявляемые системе «государство – элита – народ» **ростом населения** и адекватность ответов на них со стороны государства. Рост населения приводит к крестьянскому малоземелью, росту цен и ренты, падению потребления, разорению крестьян, миграциям в города, к безработице, нищете, неурожаю, продовольственным бунтам, попыткам конфискации земель у помещиков. При этом рост населения увеличивает в крестьянской среде малоземелье и безземелье именно среди молодёжи — того более общественно и экономически активного поколения, к которому и без того всегда неприязненное недоверие всех политических режимов в России было особенно сильно. Безземельные вытесняются в города, — как это описывает и Толстой в трактате 1-й полов. 1880-х «Так что же нам делать?» и позднейших статьях, таких, как «Единое на потребу. О государственной власти» (1905) — под действие городских безнравственной борьбы людей с людьми, стяжательства и потребительского разврата. Попытки жить не по средствам увеличивают бедность. Обедневшее, безработное население оказывается не в состоянии платить налоги в требуемом размере — в результате государство постепенно приближается к финансовому кризису, банкротству и потере управляемости. А так как, с ростом доходов, увеличением сытности и калорийности питания, вызывающего похоть, развитием медицины, поощряющей заботу о телесности, выпложивать и взращивать больше прежнего детёнышей начинают и «элиты», претендующие на статусные должности, сокращаемые в условиях финансового кризиса государства — можно утверждать, что в «перегреве» системы «государство – элита – народ» участвуют и они. Происходит резкое расслоение элиты, её распад на отдельные фракции, вступающие в борьбу за статусные позиции. Эта борьба ведётся как внутри элиты, так и с государством, от которого элита требует финансовой поддержки, то есть передела долей в распределении поступающих от народа ресурсов. Наконец, возрастает и давление элиты на народ, что вызывает резкое сопротивление со стороны обедневшего населения. Ещё поддерживая репрессивные механизмы своего выживания, «силовики», государство начинает экономить на своей идеологической опоре:

церковниках, интеллигентах. Возрастают сектантство и диссидентство. В этой ситуации конфликт между государством и «элитами» может привести к тому, что оппозиционные фракции «элиты», посредством пропагандистских услуг перешедшей на их сторону литературной, журналюжьем и иной интеллигентской сволочи, даже и попов, призовут на помощь народ или просто откроют двери народному восстанию. Государство скатывается в брейкдаун и гражданскую войну (*Там же. С.74 – 76*).

По мнению С. А. Нефёдова, довольно легко экстраполировать эту схему на картину исторических событий в пореформенной России вплоть до 1917 года: «С индустриализацией Западной Европы после 1850 года демографический рост уже не мог привести к разрушению государства. Но Россия, Китай и Османская империя с их сохранившейся традиционной экономической, политической и социальной структурой, остались уязвимыми к демографическому давлению, которое продолжало нарастать в IX веке и привело к брейкдауну в начале XX века» (*Нефёдов С. А. Демографический структурный анализ социально-экономической истории России: Конец XV — начало XX века. Екатеринбург, 2005. С. 29*).

Действительно, оперируя характерной терминологией неомальтузианцев, можно утверждать, что Россия начала 1890-х гг. находилась несомненно на *стадии сжатия*, «балансируя» где-то между второй и третьей фазами большого демографического цикла.

Например, после теракта в Зимнем дворце 5 апреля 1880 г. император вручил чрезвычайные полномочия графу М. Т. Лорис-Меликову, который предложил удовлетворить требования либеральной дворянской оппозиции, так или иначе сводившиеся к *уступке фактору роста сельского населения*: среди требований, к примеру, фигурировали уничтожение круговой поруки, разрушение общин и разрешение крестьянам продавать землю, полученную в виде наделов по реформе 1861 г.

В соответствии с неомальтузианской теорией, в период Сжатия обедневшее население оказывается не в состоянии платить налоги, и государство вынуждено уменьшать свои предъявляемые к народу требования. Вполне в соответствии с этими построениями теории, в августе 1880 года в России была организована серия сенаторских ревизий с целью выяснения положения в провинции. Под впечатлением отчётов о ревизиях было принято решение о разработке мер, направленных на снижение выкупных платежей. Когда поступили

сведения о неурожае в ряде губерний, правительство поспешило организовать выдачу ссуд голодающим крестьянам, был отменён соляной акциз, а также приняты меры для снижения цены на хлеб в столицах (*Там же. С. 283 – 284*).

Особенно важно отметить, что в подготовленной Министерством финансов записке «О финансовом положении России» в качестве главной причины недоимок указывался именно *рост населения*: «Когда население возросло, отведённая земля оказалась недостаточной для прокормления крестьян и для доставки им средств в уплате налогов и выкупных платежей. Когда же к этому присоединились неурожаи... тогда положение крестьян в целых уездах и даже губерниях стало бедственным, исправное поступление налогов и платежей прекратилось, и правительство само оказалось вынужденным позаботиться о прокормлении нуждающегося населения» (*Цит. по: Там же. С. 285*).

После убийства Александра II (1 марта 1881 года) намеченная реформа стала тем более необходимой, но, как известно, реакция на царубийство определила для России в целом консервативный курс на сохранение традиционной общинности и религии, то есть ограничилась благими намерениями в своеобразном для России консервативном ключе — ничем на практике не решив проблему возрасставшей на селе перенаселённости. При этом predetermined законом демографических циклов правительственные уступки перенаселённости были осуществлены: по закону, принятому 28 декабря 1881 года, выкупные платежи были уменьшены на 1 рубль с каждого душевого надела, а с 1886 г. была отменена подушная подать. Стремясь компенсировать потери бюджета, правительство перевело государственных крестьян на выкуп. Выкупная операция была рассчитана на 44 года, в течение которых крестьяне должны были платить за ссуду в среднем 82 коп. с десятины вместо прежних 56 коп. оброчной подати. Для компенсации потерь от отмены подушной подати был увеличен поземельный налог (который собирался и с дворян), увеличен имущественный налог с горожан... Чтобы до какой-то степени ослабить земельную нужду, правительство решило организовать покупку дворянских земель крестьянами через специально созданный Крестьянский банк. Условия этой покупки были тяжелее условий выкупа земель по реформе 1861 года: крестьяне вносили 25% наличными, а за оставшуюся сумму уплачивали банку 6,5% в

течение 55 лет. В принципе, купив землю на таких условиях, крестьяне ещё долго платили за неё деньги, немногим уступавшие арендной плате, и эту землю можно лишь условно считать крестьянской. Этот затяжной и обременительный процесс выплат предопределил, в числе иных факторов, скорый переход России к третьей и четвёртой стадиям «сжатия», а за ними и к *брейкдауну* — крушению государственности.

В целях укрепления общины, гарантировавшей, как мыслилось государственным мужам тех лет, от крестьянских обнищания и радикализации, были приняты законы о запрещении продажи досрочно выкупленных наделов за пределы общины, об ограничении их залога, о контроле общины за арендой наделов и об упорядочении переделов земли. В свете политики попечительства следует рассматривать также и введение в июле 1889 г. института земских начальников. Как видим, правительство адресовало свои меры *мимо* более глубинной причины зла — растущей перенаселённости сёл и деревень — предпочитая очень «традиционные» для России запретительные, ограничительные и регулирующие меры.

Модернизация западного образца, загнание большинства населения в мегаполисы с отнятием значительной части свободы, Богом даваемой с рождением каждого *нужного Богу*, не выморочного человека — было решением современным, технологичным, но *не скорым*, не спасительным для государства.

Между тем, настоящее, *религиозно-просветительское* решение кризиса с ростом населения буквально напрашивалось в неглупые головы консерваторов эпохи Александра III: институт церковно-приходских школ был создан как для обучения грамоте, так и для *нравственного воспитания* народа — но увы! лишь в «традиционном» для России православии, то есть в духовном эгрегоре еврейства и Библии с её глубоко архаичным даже для XIX столетия благословением Бога еле «проклянувшемуся» некогда, в первобытные времена, человечеству: «раститесь и множитесь, и наполните землю, и господствуйте ей» (*Быт. 1: 28*).

Вне *аскетики* первоначального христианства решения не было и не могло быть! Вместе с тем грамотность увеличивала конкурентоспособность сельского рабочего на городском рынке труда, равно как и личное его самоуважение — отмеченное Л. Н. Толстым в статьях 1891 г. «О голоде», статье 1895 г. «Стыдно», направленной против телесных наказаний крестьянства, а равно и в статье 1898 г.

«Голод или не голод?». Но Толстого не слышали. Страна неумолимо катилась к высшей стадии «сжатия» и *брейкдауну*, революции и гражданской войне.

Кроме того, в соответствии с теорией, «сжатие» и увеличение численности дворянской «элиты» привели к затяжному кризису. «Элита» использовалась государством в роли «100 тысяч полицейских», надзиравших за народом, что создало ненадолго иллюзию «примирения» дворянства с этатистским режимом. Но ни такая «поддержка» доверием и уважением к значительному проценту дворянства, не имевшему права на них уже в силу своей *избыточности* среди живущих, то есть обузливости для общества, ненужности Богу и вредности для природы, ни тем более субсидии банков и прочие сугубо внешние меры — ничего не могли изменить в положении обильно плодящегося потомством, но нищавшего и деградировавшего «качеством» (верой, нравственностью, интеллектом) некогда «привилегированного сословия». «Аграрное перенаселение вызывало разложение крупного хозяйства и окончательное превращение прежнего дворянина-хозяина в эксплуататора крестьянской нужды» (Цит. по: Нефёдов С. А. *Демографически-структурный анализ социально-экономической истории России: Конец XV — начало XX века*. С. 292).

Внешне уступая дворянству, государство в условиях «сжатия» тем не менее тяготело к этатизму — защите собственных интересов. Конфликт с «элитами» становился неизбежен. Социальные реформы правительства включавшие, помимо рабочего законодательства, меры по облегчению податных тягот крестьян и создание Крестьянского банка, вызвали противодействие дворянской партии. Катков и Мещерский поставили министру финансов Бунге в вину приверженность к социалистическим идеям, и, вместе с другими обвинениями, это вынудило министра подать в отставку.

В условиях надвигавшегося голода отыскиваются подтверждающие признаки и для теории Дж. Голдстоуна. Например, в 1891 – 1892 гг. налицо столкновение в России интересов государства и «элит»: новый (с 1 января 1887 г.) министр финансов И. А. Вышнеградский «прибег к решительным этатистским мерам, он ввёл запрет на вывоз хлеба и выступил с предложением о введении подоходного налога для обложения лиц, располагавших “сравнительно большим достатком”». Однако это предложение было отвергнуто правительством, а запрещение на вывоз хлеба продержалось лишь 10

месяцев и было отменено под давлением дворянства и коммерческих кругов. С министром финансов случился удар, и вскоре его вынудили уйти в отставку» (Там же. С. 296).

Независимо от нашего отношения к современным наследникам мальтузианства, нельзя в обрисованной С. А. Нефёдовым историко-экономической и историко-социологической картине не обратить внимание на одну странную фигуру умолчания: автор пропускает, оставляя вне критики, как некий само собой разумеющийся и не значащий акт, вроде дыхания, вылизывания себя или лакания воды, самую «репродукцию» человеческого вида. Если описанные «циклы» и существуют, то всё-таки, отчего бы людям нашей просвещённой современности не учиться у истории и не выйти из фатальности этих «циклов»? Тем более, что у людей XIX – XXI веков репродукция своего вида — отнюдь не безобидное и не «естественное», вписанное в природные циклы, сполна контролируемое природой состояние, а, скорее, часть деструктивной атаки на природу обеспечившего себя питанием, медициной и просвещением, но при этом и возросшего в похоти и распущенности человечества, по-прежнему управляемого из сознания и подсознания животными инстинктами, страхами и механизмами восполнения популяции, которые запускают распущенные, неконтролируемые, не управляемые без религиозной веры поведенческие программы.

На рубеже 1880 – 1890-х и в первой половине 1890-х гг. Толстому досталось крутенько: прежде всего от самого себя, от Льва Толстого, с его, Льва Николаевича, святым, но и «маскималистским» по отношению к мирским установлениям, с точки зрения рабов, жертв и прислужников учения мира — желанием буквально последовать учению Христа. От членов семьи и в особенности от любимой супруги — изуверно, в страхе перед кознями мира, стремившихся пресечь «крайние» шаги мужа и отца. От разочаровавших его «толстовцев». От мира, постоянно отвлекавшего его от дум и творчества — теми происходившими в нём, в мире, глупостями и гадостями, которых бы, значительной их части, не было, хотя бы *старайся* люди, как старался Толстой, жить по учению Христа!

По этой причине в писаниях Льва Николаевича Толстого со второй половины 1880-х до сер. 1890-х, утрачено значительное связующее звено — восполняемое лишь для немногих специалистов и знатоков,

читающих Дневник и письма великого яснополянца, другие источники, но так и не восполненного в обобщающем тексте — ни в художественном творчестве, ни в христианских пророческих и духовных писаниях. Отчасти лишь — в “рубежном” сочинении середины 1890-х, рассказе «Хозяин и работник» с его высоким христианским образом покорности работника человека воле Бога, великого Хозяина Жизни.

Вот как анализирует современный исследователь Ирина Паперно эволюцию в христианском сознании Л. Н. Толстого, от трактата «Так что же нам делать?» к рассказу «Хозяин и работник», фундаментальной антропологической проблематики «я и другой», «раб и господин» (с которой напрямую связан и безжалостный образ убиваемого пожарием на расстоянии кнопки «китайского мандарина» в статье Толстого «О голоде»).

«В 1880-е годы в обширной статье «Так что же нам делать?» Толстой обратился к проблеме “я и другой”. Он писал от первого лица, в жанре, который соединял личные впечатления и воспоминания с философскими и политико-экономическими рассуждениями. В этом сочинении Толстой поставил проблему в социальном ключе, как вопрос о своём положении по отношению к бедным и обездоленным в современном ему обществе» (*Паперно И. Кто, что я? Толстой в своих дневниках, письмах, воспоминаниях, трактатах. М., 2018. С. 172*).

В канун Бегичевской «голодной» эпопеи, конце 1880-х, судя по записям Дневника, Толстой снова был «занят мыслями об отношениях “я и другой” постоянно, в повседневной жизни» (*Там же. С. 169*). К этим размышлениям относится запись в Дневнике под 2 марта 1889 г.:

«Во сне видел: цель жизни всякого человека улучшение мира, людей: себя и других. Так я видел во сне, но это неправильно. Цель моей жизни, как и всякой: улучшение жизни; средство для этого одно: улучшение себя. (Не могу разобраться в этом — после.) А очень важно» (50, 44).

«Толстой, как кажется, находится в конфликте с самим собой, -- рассуждает И. Паперно, — во сне ему видится, что цель жизни включает и себя, и других людей, но наяву он думает об одном себе. Позже он вернулся к этой проблеме во время прогулки и, гуляя, перешёл от понятия «я и другие» к идее «я и Отец»:

«...Думал об этом, гуляя, и пришёл к тому, что удовлетворило меня, что действительно надо быть совершенным, как Отец. Надо быть,

как Отец. [...] Я и Отец одно. [...] Так думал на прогулке. Да, выразить это так: ты посланец от Отца, делать Его дело» (*Там же*).

В другой день, 14 апреля 1889 года, Толстой «приходит к выводу, что в буквальном, а не в аллегорическом смысле вся жизнь — это работа, и работа не для себя одного: человеку дано “перенесение своего интереса в интерес другого, вне себя, в интерес хозяина или дела”, надо на всю жизнь смотреть “как на работу для дела Божьего, или, короче, для Бога”. В конце концов Толстой формулирует молитву, которую он собирается написать на ногте: “Помни, ты работник дела Божьего” (50, 67).

[...] Есть основания считать, что, работая с аллегорическими образами хозяина и работника в дневнике, Толстой думал не только о евангельских притчах, но и о Гегеле. 29 мая 1893 года он записал: «Говорят, существующее разумно; напротив, все, что есть, всегда неразумно. [...] Если есть работники, т. е. работающие люди, то очевидно есть дело, которое нужно сделать, то очевидно, что мир несовершенен, а есть представление и возможность его большего совершенства» (52, 81). Как и в «Так что же нам делать?», он принимал и видоизменял диалектику Господина и Раба, но отвергал гегелевскую формулу о разумности существующего порядка вещей.

[...] В рассказе «Хозяин и работник» (1895) в образе спасительного слияния между хозяином и работником он предложил другое решение, чем в статье «Так что же нам делать?». Более того, Толстой перевел парадигму Господина и Раба из области философии и политической экономии в область богословия, то есть подверг категории Гегеля ресакрализации» (*Паперно И. Указ. соч. С. 169 – 172*).

«В центре «Хозяина и работника» — образ взаимного отношения двух людей, Господина и Раба — парадигма Гегеля, которую Толстой уже подверг драматизации в «Так что же нам делать?». [...] В рассказе на первый план выступает один из главных параметров гегельянской схемы: страх смерти. По Гегелю, именно из-за страха смерти Раб, спасая свою жизнь, подчиняется Господину. В рассказе Толстого, наоборот, работник свободен от страха смерти. [...] “Он чувствует себя в зависимости от главного хозяина”, то есть от Бога. Хозяин же одержим страхом смерти. Сначала в попытке спасти свою жизнь хозяин разрывает связь с работником, но в конце концов возвращается к нему (благодаря лошади, которая сохраняет верность своему хозяину — работнику). То, что приносит спасение и хозяину, и работнику, — это акт слияния с другим, в буквальном

смысле — соединение и в одно тело, и в одну жизнь («ему кажется, что он — Никита, а Никита — он, и что жизнь его не в нем самом, а в Никите»). Именно в этот момент хозяин теряет страх смерти. Работник спасён для этой жизни, а хозяин спасён для жизни вечной. Таким образом, ответ Толстого Гегелю — это замена борьбы за господство над другим христианским самоотвержением ради другого, а именно слияние с другим.

[...] В рассказе «Хозяин и работник» [...] отношения Господина и Раба подменяются отношениями каждого из них с «главным хозяином», пославшим их в эту жизнь, то есть отношения «я и другой» заменяются отношениями «я и Бог». В конце концов и хозяин, и работник умирают, но в смерти пробуждаются к новой жизни у нового Хозяина, а в заключительных строках рассказа такое пробуждение обещано и автору с читателем («Лучше или хуже ему там [...] мы все скоро узнаем», 25, 46).

Это не диалектика господства и рабства по Гегелю, а христианская этика по Толстому. [...] Толстой (как и в других случаях) обратил вспять процесс секуляризации: от философской антропологии он возвращается к христианскому богословию» (*Паперно И. Указ. соч. С. 167 – 169*).

Но столь глубокое и полное выражение глубочайших парадигм христианской веры Толстым именно в художественном сочинении — скорее, исключение. В целом, высокая истина о том, какой альтернативной, более достойной человеческого звания, жизнью мог бы жить христианский, а по его примеру и весь человеческий мир, *мир посланников и работников дела Божия* — оказалась «в рассеянии» по множеству сочинений Толстого, в основном между двумя рубежами: «Крейцеровой сонатой» и «Хозяином и работником». Это и Послесловие к «Крейцеровой», и статья «Первая ступень», и более подробно освещённые нами выше статьи и отчёты Л. Н. Толстого о голоде.

Связь идейно-образного строя «Крейцеровой сонаты» со статьёй «Первая ступень» несомненна. Статья осуждает обжорство и утверждает христианский идеал воздержания, поста. Повесть, утверждая христианский идеал *целомудрия* — осуждает «лакомство сытых», именно блуд и разжигание половой похоти, тесно связанных с сытостью и прикрываемых, освящаемых даже общественным институтом «брака». «Брак» этот самый, в свою очередь, мог бы освящаться детьми, но воспитание их в развратных понятиях родителей — тема,

восходящая ещё к толстовской «Исповеди» — исключает такое оправдание «семейного» сожительства. Росли бы дети, как сознательные работники Бога в мире, а не как жертвы блудной похоти своих родителей — их бы в XIX – XXI вв. даже количественно не было *столько* на Земле: в великой Божьей учебной и творческой Мастерской нет места тем, кому не достанет *общего дела!* Но дети человеческие ставятся родителями, по наследству, в положение общности перекормленных животных, смысл бытия которых — повторение грешной и бессмысленной жизни родителей: обжорство, сладострастие, репродукция и борьба друг с дружкой за наилучшие условия для этого. Но чем ничтожнее такая жизнь родителей и детей, тем выше ценится и агрессивней, настырнее защищается. Городские богачи, замечает Толстой, хлопчут о здоровье и образованности своих чад, тогда как в сельской, крестьянской среде нормальным является смирение с «волей Бога», когда ребёнок умирает. Так не лучше ли признать волю Бога в том, чтобы и не зачинать греха — ненужного в мире детёныша?

Взглядывая с этих позиций на всю христианскую проповедь «позднего» Толстого, важный смысл её можно определить так: у человека или группы людей, начиная с семейной пары, может быть *много* смыслов для соединения, помимо пресловутой половой «любви» и животной функции оплодотворения, вылождения, воспитания человеческих детёнышей. Мы все единый братский коллектив в Божьем мире, все одна семья, дети одного Отца, и заботиться надлежит не столько о низшей, животной функции приплождения на Земле (к веку XXI уже безусловно перенаселённой) всё новых и новых членов, ложно приукрашиваемой поэтами и философами красивыми, как павлиньи перья, но пустыми и лгущими смыслами, сколько о благе и, главное, *смыслах* и творческих результатах жизни уже живущих.

Благо же — в следовании живой вере, актуальному, единому для всех, религиозному жизнепониманию, выразившемуся изо всех мировых религий полнее и ярче всего в первоначальном, неискажённом учении человека Христа. Жизнепониманию, которое утвердило бы между людьми, независимо от неравенства возможностей и качеств, равенство в любви и доверии — этику и нравы именно христианской общности, членов первоначальной Церкви Христовой.

Поклонники традиционных возвеличений семейной жизни обыкновенно настаивают на высоком смысле в рождении и *воспитании*

детей. Но это лишь в традиционной жизни, начиная с пещер, родитель был априори достаточно компетентен для адекватной передачи детям всего учения жизни — и хозяйственно-утилитарной, и нравственной стороны. «Нуклеарные» же семейства нашего лжехристианского мира часто оказываются перед фактом: ребёнок рождён, но вовсе не гарантирован в отношении воспитания. То есть рождён эгоистическими рабами собственных похоти и суеверий, воспринятых в той социокультурной общности, где проживают сами родители. В сильнейшей, откровеннейшей степени о том же похотливом эгоизме и изобличении его с позиций верно понятого и принятого руководством в жизни учения Христа говорит, разъясняя свою позицию, Лев Николаевич в «Послесловии к “Крейцеровой сонате”». Чем больше отклонился человек от христианского идеала — тем больше в его поступках выразится эгоизм, имманентный в разной степени первобытно-личному и общественно-государственному, низшим по отношению к христианскому, религиозным жизнепониманиям. Только христианство как учение, выразившее в себе высшее доступное пока человеку, всемирно-божеское, жизнепонимание, уводит человека от эгоизма животного и ситуативно-паллиативных малых побед над ним — в принципиально иное состояние по отношению к миру, к Богу и к истине:

«Как есть два способа указания пути ищущему указания путешественнику, так есть и два способа нравственного руководства для ищущего правды человека. Один способ состоит в том, что человеку указываются предметы, долженствующие встретиться ему, и он направляется по этим предметам.

Другой способ состоит в том, что человеку даётся только направление по компасу, который человек несёт с собой и на котором он видит всегда одно неизменное направление и потому всякое своё отклонение от него.

Первый способ нравственного руководства <распространённый в язычестве, еврействе и церковном лжехристианстве, включая православие. — Р. А.> есть способ внешних определений, правил: человеку даются определённые признаки поступков, которые он должен и которых не должен делать.

“Соблюдай субботу, обрезывайся, не крадь, не пей хмельного, не убивай живого, отдавай десятину бедным, не прелюбодействуй, омывайся и молись пять раз в день, крестись, причащайся и т. под.”. Таковы постановления внешних религиозных учений: браминского,

буддийского, магометанского, еврейского, церковного, ложно называемого христианским.

Другой способ есть способ указания человеку никогда не достижимого им совершенства, стремление к которому человек сознаёт в себе: человеку указывается идеал, по отношению к которому он всегда может видеть степень своего удаления от него.

“Люби Бога твоего всем сердцем, и всею душой твоей, и всем разумением твоим и ближнего, как самого себя. Будьте совершенны, как Отец ваш небесный”.

Таково учение Христа.

Поверка исполнения внешних религиозных учений есть совпадение поступков с определениями этих учений, и совпадение это возможно.

Поверка исполнения Христова учения есть сознание степени несоответствия с идеальным совершенством. (Степень приближения не видна: видно одно отклонение от совершенства.)

Человек, исповедующий внешний закон, есть человек, стоящий в свете фонаря, привешанного к столбу. Он стоит в свете этого фонаря, ему светло, и идти ему дальше некуда. Человек, исповедующий Христово учение, подобен человеку, несущему фонарь перед собой на более или менее длинном шесте: свет всегда впереди его и всегда побуждает его идти за собой и вновь открывает ему впереди его новое, влекущее к себе освещённое пространство.

[...] Церковные, называющие себя христианскими учения по отношению ко всем проявлениям жизни вместо учения идеала Христа поставили внешние определения и правила, противные духу учения. Это сделано по отношению власти, суда, войска, церкви, богослужения, это сделано и по отношению брака: несмотря на то, что Христос не только никогда не устанавливал брака, но уж если отыскивать внешние определения, то скорее отрицал его («оставь жену и иди за мной»), церковные учения, называющие себя христианскими, установили брак как христианское учреждение, т. е. определили внешние условия, при которых плотская любовь может для христианина будто бы быть безгрешною, вполне законною.

Но так как в истинном христианском учении нет никаких оснований для учреждения брака, то и вышло то, что люди нашего мира от одного берега отстали и к другому не пристали, т. е. не верят в сущности в церковные определения брака, чувствуя, что это учреждение не имеет оснований в христианском учении, и вместе с тем

не видят перед собой закрытого церковным учением идеала Христа, стремления к полному целомудрию и остаются по отношению брака без всякого руководства.

[...] Христианского брака быть не может и никогда не было, как никогда не было и не может быть ни христианского богослужения (*Мф. VI, 5—12; Иоан. IV, 21*), ни христианских учителей и отцов (*Мф. XXIII, 8—10*), ни христианской собственности, ни христианского войска, ни суда, ни государства. Так и понималось это всегда истинными христианами первых и последующих веков.

Идеал христианина есть любовь к Богу и ближнему, есть отречение от себя для служения Богу и ближнему; плотская же любовь, брак, есть служение себе и потому есть во всяком случае препятствие служению Богу и людям, а потому с христианской точки зрения — падение, грех.

Вступление в брак не может содействовать служению Богу и людям даже в том случае, если бы вступающие в брак имели бы целью продолжение рода человеческого. Таким людям, вместо того чтобы вступать в брак для произведения детских жизней, гораздо проще поддерживать и спасать те миллионы детских жизней, которые гибнут вокруг нас от недостатка не говорю уже духовной, но материальной пищи.

[...] В Евангелии ведь сказано ясно и без возможности какого-либо перетолкования — во-первых, то, что женатому не должно разводиться с женой, с тем чтобы взять другую, а должно жить с той, с которой раз сошёлся (*Мф. V, 31 – 32; XIX, 8*); во-вторых, то, что человеку вообще, и, следовательно, как женатому, так и неженатому, грешно смотреть на женщину как на предмет наслаждения (*Мф. V, 28 – 29*), и, в-третьих, то, что неженатому лучше не жениться вовсе, т. е. быть вполне целомудренным (*Мф. XIX, 10 – 12*).

[...] Надо уметь руководствоваться христианским учением, как уметь руководствоваться компасом, а для этого, главное, надо понимать своё положение, надо уметь не бояться с точностью определять своё отклонение от идеального данного направления. На какой бы ступени ни стоял человек, всегда есть для него возможность приближения к этому идеалу, и никакое положение для него не может быть таким, в котором бы он мог сказать, что он достиг его, и не мог бы стремиться к ещё большему приближению. Таково стремление человека к христианскому идеалу вообще и таково же к целомудрию в частности. Если представить себе по отношению полового вопроса

самые различные положения людей — от невинного детства до брака — в которых не соблюдается воздержание, на каждой ступени между этими двумя положениями учение Христа с выставляемым им идеалом будет всегда служить ясным и определённым руководством того, что должно и не должно на каждой из этих ступеней делать человеку.

Что делать чистому юноше, девушке? Соблюдать себя чистыми от соблазнов и, для того чтобы быть в состоянии все свои силы отдать на служение Богу и людям, стремиться к большему и большему целомудрию мыслей и желаний.

Что делать юноше и девушке, подпавшим соблазнам, поглощённым мыслями о беспредметной любви или о любви к известному лицу и потерявшим от этого известную долю возможности служить Богу и людям? Всё то же: не попускать себя на падение, зная, что такое попускание не освободит от соблазна, а только усилит его, и всё так же стремиться к большему и большему целомудрию для возможности более полного служения Богу и людям.

Что делать людям, когда они не осилили борьбы и пали? Смотреть на своё падение [...] как на вступление в неразрывный брак.

Вступление это в брак своим вытекающим из него последствием — рождением детей — определяет для вступивших в брак новую, более ограниченную форму служения Богу и людям. До брака человек непосредственно в самых разнообразных формах мог служить Богу и людям; вступление же в брак ограничивает его область деятельности и требует от него возвращения и воспитания происходящего от брака потомства, будущих слугителей Богу и людям.

Что делать мужчине и женщине, живущим в браке и исполняющим то ограниченное служение Богу и людям, через возвращение и воспитание детей, которое вытекает из их положения?

Всё то же: стремиться вместе к освобождению от соблазна, очищению себя и прекращению греха, заменой отношений, препятствующих и общему и частному служению Богу и людям, заменой плотской любви чистыми отношениями сестры и брата.

И потому неправда то, что мы не можем руководиться идеалом Христа, потому что он так высок, совершенен и недостижим. Мы не можем руководиться им только потому, что мы сами себе лжём и обманываем себя.

[...] “Человек слаб, надо дать ему задачу по силам”, говорят люди. Это всё равно, что сказать: “руки мои слабы, и я не могу провести

линию, которая была бы прямая, т. е. кратчайшая между двумя точками, и потому, чтоб облегчить себя, я, желая проводить прямую, возьму за образец себе кривую или ломаную”. Чем слабее моя рука, тем нужнее мне совершенный образец.

Нельзя, познав христианское учение идеала, делать так, как будто мы не знаем его, и заменять его внешними определениями. Христианское учение идеала открыто человечеству именно потому, что оно может руководить его в теперешнем возрасте.

Человечество уже выжило период религиозных, внешних определений, и никто уже не верит в них.

Христианское учение идеала есть то единое учение, которое может руководить человечеством. Нельзя, не должно заменять идеал Христа внешними правилами, а надо твёрдо держать этот идеал перед собой во всей чистоте его и, главное, верить в него.

Плавающему недалеко от берега можно было говорить: “держишься того возвышения, мыса, башни” и т. п.

Но приходит время, когда пловцы удалились от берега, и руководством им должны и могут служить только недостижимые светила и компас, показывающий направление. А то и другое дано нам» (27, 84 – 92).

Так или иначе, в «Послесловии» и иных, названных выше, сочинениях Толстого, неочевидно связанных друг с другом логикой его духовной биографии, выражено то “всемирное, божеское”, христианское религиозное непонимание, о котором Толстой рассказал читателю, как об одном из сокровищ, открытий своих, ещё из времён трактата «В чём моя вера?». Вернее прежнего оно уяснилось ему под бегичевским серым небом — быть может, в роковой тот день, когда он сам, подобно персонажам «Хозяина и работника», сбившись с дороги в метель, едва не замёрз в санях.

П. И. Бирюков пишет в своей «Биографии Льва Николаевича Толстого», что мысль написать рассказ «Хозяин и работник» пришла Толстому зимой 1892 – 1893 г., и именно в Бегичевке. На эту мысль его навели необычайно сильные в ту зиму метели и вызванные ими рассказы о замёрзших и занесённых снегом путниках (*Бирюков П.И. Биография Льва Николаевича Толстого: В 4-х тт. М., 1922. Том третий. С. 206*). Бирюков ничем не подтверждает своих слов, но их нельзя оставить без внимания, так как он жил с Толстым в Бегичевке и мог слышать от самого автора о замысле этого рассказа. А

заблудиться во время метели привелось даже самому Льву Николаевичу. Е. И. Раевская так описывает этот случай в своём бесценном дневнике, в записи под 5 февраля 1892 г.: «Граф Лев Николаевич ежедневно объезжает, а иногда и пешком обходит за несколько вёрст устроенные им даровые столовые в окрестных деревнях, а если ездит, то всегда один, без кучера, во всякую погоду и по неизвестным иногда ему местностям. Узнаём мы однажды, что он уехал в метель и ещё не возвращался. Мы испугались и послали его разыскивать нашего Алексея Конова: будучи охотником — псарём, он знаком с каждым овражком, каждым кустиком и к тому — отчаянная голова, готов и в огонь и в воду. Алексей отправился верхом и нашёл графа, идущего пешком по снежному полю, а лошадь от него ушла. Алексей её поймал, усадил графа в сани и привёз к нам» (*Раевская Е. И. Лев Николаевич Толстой среди голодающих // Л. Н. Толстой / Гос. лит. музей. М., 1938. [Т. I]. С. 400*)

Современные биографы Толстого проходят мимо этих подробностей, не связывая их ни с идеями «Хозяина и работника», ни с концепцией христианского религиозного понимания жизни, домысленной и доработанной Толстым в эти же тяжелейшие месяцы. Оно и понятно! Кто не ходил и не ездил, как Павел Иванович Бирюков, как Верочка Величкина, как Йонас Стадлинг с Толстым по мертвящим зимним просторам, кто не вглядывался в летнее звёздное небо и в лица полуживых от болезней и слабости крестьян, в глаза голодных детей — тем всегда уж будет невдомёк, *откуда* явились пророку России и христианскому учителю человечества бесценные для него откровения.

Именно концепция «трёх жизнепониманий», явившаяся из-под пера Толстого к 1893 г. в более-менее законченном виде в сочинениях «Религия и нравственность» и «Царство Божие внутри вас...» — ключик к пониманию как мотиваций Льва Николаевича к тому, что ошибочно, как мы доказали в этой книге, причисляется некоторыми современными исследователями к буржуазной «благотворительной деятельности» Толстого, так и к настоящему пониманию осмеиваемых или огульно «ниспровергаемых» многими и по сей день прозрений «Крейцеровой сонаты», «Послесловия» к ней, статей Толстого-христианина «Первая ступень», «Об отношениях между полами» и ряда других сочинений — на которых мы уже не можем задерживать внимание читателя здесь, в Заключении нашей книги о Бегицевской голодной эпопее Духовного Царя России.

Все сочинения, о которых мы упомянули выше, как и более ранние христианские писания Толстого, от «В чём моя вера» и соединения Евангелий, и более поздние — все об одном и том же: о том, что человек суть дитя и работник Бога в мире, но часто лишён знания об этом. Невежество же управляемо страхами, страстями и более знающими «элитами»¹. «Элиты», если бы были людьми Христова служения — были бы Церковью Христа, словами и поступками воплощали бы её в жизнь из незримого теперешнего состояния². Но привилегированные страты, не исключая «духовенство» лжехристианского мира, служат не Богу, а себе, а народ, эксплуатируемый и, через устройства разбойничьих гнёзд государств, грабимый ими — не уважают, как равных в Боге сестёр и братьев. Народ грабим, обманываем, но одновременно и *заброшен!* В этом, как мы показали, сошлись отец и сын (Лев Львович) Толстые. Общинная жизнь пореформенной, «освобождённой» крестьянской России не только не просветлялась, не облагороживалась религиозным христианским и не просвещалась светским полезным знанием, но «власть тьмы» жестоко разрушала её изнутри: на собственные пороки крестьянских масс накладывалось развратительное влияние буржуазного города. Жрать, развлекаться и — плодить подобных себе! Это ли не торжество *безверия?*

Именно недоверие Богу, истине Бога, учению Христа, по-разному являвшее себя в «испорченном дитя» народе и в самых развращённых городских «воспитателях» его — самый *корень зла*. Никак не общинная жизнь, подлежащая разрушению, как полагал Лев Львович, дитя мамимо и московское, а — нравы и пороки людей трудового народа, жившего, слава Богу, тогда ещё крестьянскими общинами. Пороки, которые может помогать выправлять, а нравы улучшать, *охристианивать* истинная, от Христа, первоначальная Церковь — которой не было и нет в России! Была бы Церковь, то есть торжествуй именно во влиятельном, «элитарном» меньшинстве россиян актуальное *христианское жизнепонимание* — не было бы городов, не было бы разбоя избыточным, ненужным Богу на Земле населением по отношению к природе и к чужому труду! И никак не в низкой земледельческой культуре корень зла — ибо она лишь одно из *последствий* недостаточности знаний и вдохновения земледельца к

¹ Например, разжигающее похоть ложное, продажное за деньги искусство — одно из средств такого незримого, но хваткого управления.

² Исторически сложившиеся церкви нашего христианского мира Толстой признал самозванками и разрушительницами в народах веры.

труду, а их недостаточность, в свою очередь — следствие всё той же заброшенности народа теми, кому долженствует служить ему знанием научным и религиозным, но кто вместо этого грабит и одновременно не унижает своим отношением обманываемых и грабимых. И даже «диагностированный» отцом Толстым и признанный на опыте сыном «упадок духа» — тоже ведь следствие *упадка веры* в нашем лжехристианском мире. Недостаточности просвещения утилитарного — и совершенного отсутствия *религиозного учения жизни*, которым в буржуазной России не владели и не владеют и сами «просветители» народа.

Частью такого всехнего, единого учения жизни могло бы быть *учение о воздержании, пищевом и половом*, парцеллированно и неполно выразившееся в статье «Первая ступень» (пищевое воздержание) и повести «Крейцерова соната» с Послесловием к ней (половое воздержание) Л. Н. Толстого. И не одно это... Даже и подступы Толстого этих лет к тяжелейшей теме: Что Такое Искусство? Чем оно должно быть и чем уже не быть в христианском мире? Каково значение наших эстетических впечатлений от музыки? живописи? театра? от природных, наконец, красот и звуков? *Как* управляют нами образ, звук, слово писанное или звучащее? *Что* нужно совершить, услышав Гайдна, Моцарта или соловья? Отчего Красота — именно *венец на челе Добра*, но и она же, именно Красота, а не добро, не любовь сами по себе, спасает нас к осмысленной, радостной жизни в единении и сотворчестве великому творцу, Богу?

Наконец, что даёт всем нам даже это самая пресловутая «первая ступень» Толстого, это аскетическое учение — присутствующее и в христианстве, и в других религиях? Многое! Человек переключает тратимую на половые излишества, на приобретение вкусной пищи и удовольствий время и силы — на служение Отцу, Богу. Он обретает понимание и чувствование себя и ближних как учебного и творческого коллектива в великом Божьем мире: в его Саду, в его Мастерской, на Его поле... Основой основ станет, как теперь для врача или, скажем, ремесленника ювелира — не навредить, а приумножить красоту и добро мира. Не выйти из воли Отца, не нарушить дисциплины и техники безопасности в великолепном Саду, в чудной Мастерской: не разрушать, не драться. Следить, чтобы самому быть при деле и то же — о других: как не бывает ни в каком хозяйстве потребно *бесконечное* количество работников, так и в Божьем мире, на планете Земля, не стоит скапливать миллионы и миллиарды тех,

кто одним своим избыточным, ненужным (ощутимо для них самих) бытием останется *без места* во всеобщем Божьем служении, в общем деле и, по безделию, сделается творимыми суетой, глупостями и гадостями вреден и самому себе, и природе, и Богу, и общему делу! Не выпложивать и не взращивать, тем более с огрехами от массовости, людей, чье выморочное существование поддерживается нынче искусственным устройством городской цивилизации, а, выброшенные за её пределы, в живую, природную и природосообразную человеку жизнь — такие человеческие существа обречены голоду и гибели!

Ведь пресловутая «модернизация» крестьянских жизни и труда, рассматриваемая как панацея от нищеты и голода — это тоже выплодок городских, интеллигентских мозгов. Без просветления сознания людей актуальным религиозным учением — это только всё то же гибельное «покорение природы» возросшей в деструктивном могуществе, но всё столь же испуганной зверушкой Дарвина. Эволюция её в человека, то есть Творение Богом человека, лишь началась с этого состояния — и долженствует быть продолжена сознательно над собой Человеком как великим Божьим замышлением для известного нам мира. И не важно, будут ли на планете Земля в каждую из эпох, в XXI веке и в последующих поколениях, жить просвещённый, обращённый к Богу, т. н. «золотой» миллиард (что ещё приемлемо), или только миллион людей, или даже двое, как Адам и Ева: важно единение этих людей с Хозяином Жизни, с Богом, исполнение ими настоящей воли Отца в познании и поддержании вверенного воле и разуму их Божьего мира и преображении, совершенствовании самих себя.

Почему бы не представить себе такой мир — пусть и в неведомом нам грядущем? Почему не сделать такую жизнь будущих поколений уже нашим ориентиром и идеалом?

«Почему, вместо того чтобы представлять себе людей неудержимо отдающимися похоти и размножающимися, как кролики, и для поддержания своих размножающихся поколений устраивающими себе в городах заводы с приготовлениями химической пищи и живущими среди них без растений и животных, — почему не представить себе людей целомудренных, борющихся с своими похотями, живущих в любовном общении с соседями среди плодородных полей, садов, лесов, с прирученными сытыми друзьями-животными, только с той против теперешнего их состояния разницей, что они не признают

землю ничьей отдельной собственностью, ни самих себя принадлежащими какому-либо государству, не платят никому ни податей, ни налогов и не готовятся к войне и ни с кем не воюют, а, напротив, всё больше и больше мирно общаются народы с народами?

И для того чтобы представить себе жизнь людей такую, не нужно ничего выдумывать и в представлении своём изменять или прибавлять к жизни тех земледельческих людей, которых мы все внаем в Китае, России, Индии, Канаде, Алжире, Египте, Австралии.

Для того чтобы представить себе жизнь такую, не нужно представлять себе какое-либо хитрое, мудрое устройство, а нужно только представить себе людей, не признающих никакого иного высшего закона, кроме единого для всех, выраженного одинаково и в браминской, и буддийской, и конфуцианской, и таосийской, и христианской религии закона любви к Богу и ближнему.

И для того чтобы жизнь была такой, не нужно представлять себе людей какими-либо новыми существами — добродетельными ангелами. Люди будут точно такие же, как теперь, со всеми свойственными им слабостями и страстями, будут и грешить, будут, может быть, и ссориться, и прелюбодействовать, и отнимать имущество, и даже убивать, но всё это будет исключением, а не правилом, как теперь. Жизнь их будет совсем другою уже по одному тому, что они не будут признавать добром и необходимым условием жизни организованное насилие, не будут воспитаны злодеяниями правительств, выдаваемыми за добрые дела.

Жизнь людей будет совсем другою уже по одному тому, что не будет более того препятствия к проповеди и воспитанию в духе добра, любви и покорности воле Бога, которое существует теперь при признании необходимости и законности правительственного насилия, требующего противного закону Бога, требующего выставления преступного и дурного в виде законного и доброго» (*Из статьи Л. Н. Толстого «Конец века»; 36, 359 – 360*).

Путь же к этому состоянию для Человека лежит через признание просвещёнными грамотой и системным научным знанием людьми — в наше время уже большинством — возвращённого миру Львом Николаевичем Толстым учения Христа в его первоначальных силе и значении. Через освобождение себя от наследия зоологического и церковно-традиционалистского. Через послушание известной по Евангелиям и по земным примерам жизни Христа, Льва яснополянского и других великих и святых людей — истине Бога о смысле и

значении жизни человеческой в воле Его как нашего всехнего Отца и Хозяина в мире.

Ясная Поляна.
Октябрь 2021 — май 2022 г.

К О Н Е Ц

Научное издание

Роман Алтухов.

ЦАРЬ ЛЕВ ПРОТИВ ЦАРЯ ГОЛОДА

Монография

Дизайн обложки, вёрстка – Мария Белая
Корректор – Дина Романова

Статьи представлены в авторской редакции.

Подписано в печать
Формат 70 × 100/16. Бумага офсетная.
Печать трафаретная. Гарнитура Times New Roman.

Тираж 75 экз.



ЯСНАЯ ПОЛЯНА

Отпечатано в РИО Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»,
г. Тула, ул. Октябрьская, 14

